РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY

RUS' IN THE 9TH–12TH CENTURIES:

SOCIETY, STATE, CULTURE

EDITED BY
N. A. MAKAROV
AND
A. E. LEONTIEV

MOSCOW – VOLOGDA
«DREVNOSTI SEVERA»
2014

РУСЬ В IX–XII ВЕКАХ

ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, КУЛЬТУРА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Н. А. МАКАРОВА
И
А. Е. ЛЕОНТЬЕВА

МОСКВА – ВОЛОГДА
«ДРЕВНОСТИ СЕВЕРА»
2014

УДК 902/904
ББК 63.4
Р89

Издание подготовлено при финансовой поддержке
ФОНДА О. В. Дерипаски «ВОЛЬНОЕ ДЕЛО»

Ответственные редакторы:
академик Н. А. Макаров, д. и. н. А. Е. Леонтьев

Составитель – к. и. н. И. Е. Зайцева

Рецензенты: д. и. н. А. В. Чернецов, к. и. н. Н. В. Лопатин

Русь в IX–XII веках: общество, государство, культура / Ин-т археологии РАН ; отв. ред. Р89 Н. А. Макаров, А. Е. Леонтьев ; сост. И. Е. Зайцева. – Москва ; Вологда : Древности Севера, 2014. – 432 с. : ил.

ISBN 978-5-93061-088-8

В сборнике публикуются результаты новейших исследований по истории и археологии средневековой Руси, которые были представлены на международной конференции, проведенной в Москве в ноябре 2012 г. при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант 12-01-14038). Статьи, подготовленные на основе 34 докладов участников конференции, будучи объединенными общей темой «Ранней Руси», разнообразны по своему содержанию, методическим подходам и характеру привлекаемых источников. Археологи численно преобладают среди авторов, но в работах историков обозначены важные тематические линии, организующие сборник, – власти и культурной идентичности. Издание может рассматриваться как своеобразное продолжение вышедшей ранее книги «Русь в IX–X вв.: археологическая панорама». Оно дополняет ее новыми данными о власти и воинской элите, культурных ландшафтах и расселении, своеобразии областных традиций, о последующей судьбе сложившихся в X в. систем расселения, политических институтов и культурных явлений.

УДК 902/904
ББК 63.4

The book presents results of the recent research projects on the history and archaeology of Medieval Rus', delivered at the international conference conducted in Moscow in November 2012. Papers, which were prepared on the basis of 34 lectures, submitted at the conference, all relevant to the general theme of «Early Rus'», proved to be varied in content, methodological approach and the range of sources used. Archaeologist dominate among the authors, but publications, presented by historians, outline the main thematic issues of the book – the problems of power organization and cultural identity. The publication can be considered as an extension of previously released book «Rus' in the IX–X Centuries: Archaeological Panorama». It complements its new data about power and military elite, cultural landscapes and settlement expansion, distinctive regional traditions, about the subsequent fate of the current in the X century settlement systems, political institutions and cultural phenomena.

Перевод на английский язык предисловия и резюме – К. Юдельсон

ISBN 978-5-93061-088-8

© Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии РАН, 2014
© Авторы статей (фамилии выделены в «Содержании» курсивом), 2014
© Оформление. ООО НИЦ «Древности Севера», 2014



Гнёздово. Денежно-вещевой клад 2001 г. (случайная находка, ГИМ 110384, оп. 2762). Фото С. А. Авдусиной и А. М. Красниковой

Содержание

Макаров Н. А., Леонтьев А. Е. Предисловие 8

Часть I. ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО, ВОИНСКАЯ ЭЛИТА

Назаренко А. В. Князь и дружина в эпоху договоров Руси с греками 14
Горский А. А. Возникновение Руси в контексте европейского политогенеза конца I тысячелетия н. э. 25
Каинов С. Ю. Находки деталей мечей ранних типов на территории Гнёздова 34
Комар А. В. Мечи Днепростроя (к истории находки 1928 г.) 47
Плавинский Н. А. Вооружение западных земель Руси X – первой половины XI в.: становление древнерусской традиции и формирование региональных особенностей (по материалам с территории Беларуси) 62
Юрасов М. К. Венгеро-хазарские отношения в IX в. и складывание Древнерусского государства 74
Кирпичников А. Н. Исторические данные о создании Русского государства 81

Часть II. РАССЕЛЕНИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ, ГОРОДСКИЕ ЦЕНТРЫ

Бужилова А. П. Антропологические материалы к истории освоения Русской равнины в IX–XIII вв. 90
Александровский А. Л., Леонтьев А. Е., Кренке Н. А., Долгих А. В. Ранняя история ландшафтов древнерусских городов (становление культурного ландшафта) 99
Макаров Н. А., Федорина А. Н., Шполянский С. В. Средневековые селища в округе Владимира-на-Клязьме 108
Фараджева Н. Н., Тарабардина О. А., Гайдуков П. Г. Усадьбы Ярышевой улицы Людина конца средневекового Новгорода в X в. (по материалам Троицкого раскопа) 134
Пиотровский М., Волошин М. Червенские грады: история изучения и новые исследования 161
Коваль В. Ю. Ростиславль Рязанский и проблема «малых городов» средневековой Руси 177
Милованов С. И. К вопросу о времени возведения оборонительных укреплений Печернего города Владимира-на-Клязьме 184
Сытый Ю. Н. Укрепления древнерусского Чернигова 193
Городилин С. В. «Мерские» станы и волости: историография и историческая география 202
Якубчинова М. Раннесредневековое городище Бойна I-Валы – великоморавский центр в юго-западной Словакии 213

Часть III. ИДЕНТИЧНОСТЬ, КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ОБЛАСТНЫЕ ТРАДИЦИИ

Urbańczyk P. Who were the early Rus'? [*Урбанчик П.* Кем были первые русы?] 228
Shepard J. Byzantine Emissions, not Missions, to Rus', and the Problems of «False» Christians [*Шепард Дж.* Торговые эмиссары Византии вместо духовных миссионеров и проблема «ложных» христиан в Древней Руси] 234
Медынцева А. А. О письменности на Руси (IX–X вв.) по данным эпиграфики 243
Винников А. З., Цыбин М. В. Славяне лесостепного Дона и Древнерусское государство 254
Рябцева С. С., Рабинович Р. А. О возможности выделения венгерских древностей в Карпато-Днестровском регионе в IX–X вв. 263
Меламед К. Славянский языческий погребальный обряд в болгарских землях: основа для сравнения 280
Жилина Н. В. Древнерусское прикладное искусство в эпоху становления государственности 286
Кудряшов А. В. Белозерская весь: современный взгляд 299
Завьялов В. И., Терехова Н. Н. Становление ремесла на Руси в раннегосударственный период (по материалам кузнечества Новгородской земли) 312
Михайлова Е. Р. Бескурганные могильники близ Которского погоста: хронология и место среди погребальных древностей лесной полосы Восточной Европы 317

Часть IV. ИСТОЧНИКИ: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Майоров А. В. Малоизвестные списки русских летописей в зарубежных рукописных собраниях 338
Сениченкова Т. Б. Керамика Ладоги VIII–X вв. как источник для реконструкции культурных процессов на Северо-Западе Руси 346
Зайцева И. Е. Детали поясной и уздечной гарнитуры из материалов обследований сельских поселений Суздальского Ополья 363
Асташова Н. И., Сарачева Т. Г. Византийские энколпионы IX–XI вв. из археологического собрания Государственного исторического музея 377
Широухов Р. А. Импорты древнерусских типов на территории пруссов в X/XI–XIV вв. 386
Малыгин П. Д. О времени основания Новоторжского Борисоглебского монастыря 413
Столярова Е. К. Стеклянная гладилка из Гнёздова 421

Список сокращений 429
Сведения об авторах 431

Contents

Makarov N. A., Leontiev A. E. Preface 8

Part I. POWER, SOCIAL STRUCTURE, MILITARY ELITE

Nazarenko A. V. The Prince and his Armed Retinue (Družina) in the Era of Treaties Between Rus' and the Greeks 14
Gorskii A. A. The Formation of Rus' in the Context of the Emergence of European States at the End of the I Millennium AD 25
Kainov S. Y. Finds of Swords Details of Early Types in Gnezdovo 34
Komar O. V. Swords from Dnieprostroi (On the History of a Find Made in 1928) 47
Plavinski M. A. Weaponry in the Western Lands of Rus' in the 10th and Early–11th Centuries: the Emergence of a Medieval Rus' Tradition and Regional Features (Based on Materials from the Territory of Belarus) 62
Yurasov M. K. Hungarian-Khazar Relations in the 9th Century and the Formation of the Medieval Rus' State 74
Kirpichnikov A. N. Historical Data about the Creation of the Russian State 81

Part II. RESETTLEMENT, CULTURAL LANDSCAPES, URBAN CENTERS

Buzhilova A. P. Anthropological Materials Relating to the History of the Settling of the Russian Plain in the 9th–13th Centuries 90
Aleksandrovskii A. L., Leontiev A. E., Krenke N. A., Dolgikh A. V. The Early History of the Landscapes of Medieval Rus' Towns (The Emergence of the Cultural Landscape) 99
Makarov N. A., Fedorina A. N., Shpolyanskii S. V. Land and Town: Medieval Settlements in the Vladimir-on-the-Klyazma Area 108
Faradzheva N. N., Tabardina O. A., Gaidukov P. G. Properties on Yarysheva Street in the Lyudin District of Medieval Novgorod in the 10th Century (Based on the Materials from the Troitsky Excavation) 134
Piotrovskii M., Voloshin M. The Chervensky Towns (Chervenskie grady): the History of their Study and New Research 161
Koval' V. Yu. Rostislavl Ryazansky and the Problem of «Small Towns» in Medieval Rus' 177
Milovanov S. I. Fortifications of the Pecherny Town in Vladimir-on-the-Klyazma: New Archeological Data on the Chronology 184
Sytyi Y. N. Fortifications of Medieval Chernigov 193
Gorodilin S. V. «Mersky» Stans and Volosts: Historiography and Historical Geography 202
Jakubčinova M. The Early Medieval Bojna I-Valy Hill Fort – the Great Moravian Centre in South-Western Slovakia 213

Part III. IDENTITY, CULTURAL PROCESSES, REGIONAL TRADITIONS

Urbańczyk P. Who were the Early Rus'? 228
Shepard J. Byzantine Emissions, not Missions, to Rus', and the Problems of «False» Christians 234
Medyntseva A. A. On the Written Language of Rus' (9th–10th Centuries) on the Basis of Epigraphic Data 243
Vinnikov A. Z., Tsybin M. V. Slavs from the Wooded Steppes of the Don Valley and the Medieval Rus' State 254
Ryabtseva S. S., Rabinovich R. A. On Opportunities for Identifying Hungarian Antiquities in the Carpathian-Dniester Region in the 9th and 10th Centuries 263
Melamed K. A Slavonic Pagan Funerary Rite in Bulgarian Lands: a Basis for Comparison 280
Zhilina N. V. The Applied Art of Medieval Rus' in the Era of State Formation 286
Kudryashov A. V. The Ves in the Byeloozero Region: Current State of Research 299
Zavyalov V. I., Terekhova N. N. The Emergence of Crafts in Rus' in the Period of the Early State (Based on Materials on Blacksmithing in the Novgorod Lands) 312
Mikhailova E. R. Burial Sites with Flat Graves Near Kotorskii Pogost: Chronology and the Place of These Burial-Grounds Among Funerary Sites in Eastern Europe's Wooded Zone 317

Part IV. SOURCES: NEW DATA AND INTERPRETATION

Maiorov A. V. Little-Known Manuscript Copies of Russian Chronicles in Foreign Collections of Manuscripts 338
Senichenkova T. B. The Pottery of Ladoga in the 8th–10th Centuries as a Source for the 'Reconstruction' of the Cultural Processes at Work in the North-West of Rus' 346
Zaytseva I. E. Details of Belt and Harness Sets from the Dwelling Sites of Suzdal Opolye Region 363
Astashova N. I., Saracheva T. G. The Byzantine Enkolpia from the State Historical Museum's Archaeological Collection 377
Shiroukhov R. A. Imported Goods of Ruthenian Types in the Area of Prussians in the 10/11–14th Centuries 386
Malygin P. D. On the Date of the Founding of the Monastery of Sts. Boris and Gleb in Novotorzhok 413
Stolyarova E. K. A Glass Smoother from Gnezdovo 421

List of abbreviations 429
About the authors 431

Предисловие

Начало древнерусской государственности – одна из вечных тем в исторической науке, область взаимодействия разных дисциплин и конкуренции различных научных школ, сфера постоянных дискуссий. Общий интерес к переломной эпохе и глубинным трансформациям, результатом которых стало появление на исторической арене нового государства и новой культурной общности, никогда не затухает. За последние десятилетия научные знания в этой области существенно расширились и обогатились ранее неизвестными фактами, картина исторических событий IX–X вв. стала подробнее и точнее. Однако в изучении многих проблем невозможно поставить точку.

Празднование в 2012 г. 1150-летия зарождения российской государственности послужило закономерным поводом для обращения к вопросам начальной русской истории. Обсуждение научной обоснованности юбилея и правомерности отсчета истории российской государственности от летописной даты «вокняжения Рюрика» вновь заставило задуматься о том, что же достоверно известно науке об исторической ситуации IX–X вв. на Русской равнине. Дискуссии об исторических реалиях, скрывающихся за летописным рассказом о призвании варягов, в очередной раз высветили значение археологических древностей для реконструкции верифицированной картины этих событий. Памятная дата определила тематику серии конференций и ряда научных изданий, посвященных начальной истории Руси, развитию государственности, институтов власти и национального самосознания.

Важнейшим проектом, реализованным Институтом археологии РАН под эгидой Отделения историко-филологических наук РАН в связи с юбилеем, стала подготовка и издание монографии «Русь в IX–X вв.: археологическая панорама», в которой подведены итоги исследования основных письменных источников о ранней Руси, суммированы результаты археологического изучения отдельных областей и раннегородских центров, составлявших каркас формирующейся Руси IX–X вв., и рассмотрены процессы ее политической и культурной интеграции.

В рамках конференции «Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств», проведенной Институтом всеобщей истории РАН 29 октября – 2 ноября 2012 г., была предпринята попытка рассмотреть генезис Руси и ее политических институтов в контексте средневекового европейского политогенеза, в сопоставлении с процессами становления и развития государств в других регионах Европы.

Событием, выходящим за рамки обычной юбилейной деятельности музеев, стала выставка «Меч и златник» в Государственном историческом музее, открытая 2 ноября 2012 г. Впервые в единой экспозиции были представлены богатейшие археологические коллекции из собраний музеев России, Украины и Беларуси, раскрывающие предысторию становления Руси, облик основных раннегородских центров IX–X вв., исторические связи с Византией и Скандинавией, блестящую культуру древнерусских городов XI–XIII вв. Каталог выставки (Меч и златник. К 1150-летию зарождения Древнерусского государства. М., 2012) с исчерпывающей публикацией экспонированных коллекций и очерками, посвященными отдельным аспектам становления и развития Руси, ввел в научный оборот эти важные археологические источники.

Наконец, 6–8 ноября 2012 г. институтами Отделения историко-филологических наук РАН и Государственным историческим музеем был проведен Международный форум «Русь в IX–X вв.: общество, государство, культура», основными организаторами которого выступили Институт археологии РАН и Институт российской истории РАН. Конференция планировалась как научное мероприятие, призванное активизировать взаимодействие историков и археологов. Доклады, представленные на конференции, будучи объединенными общей темой ранней Руси, оказались разнообразны по своему содержанию, методическим подходам и характеру привлекаемых источников. Подобная «пестрота» обычна для больших научных форумов. Настоящее издание – труды конференции, в нем собраны материалы 34 докладов – чуть менее половины всех, представленных на форуме. В сборнике присутствуют работы археологов, историков, антропологов, некоторые публикации подготовлены совместно представителями разных научных дисциплин. Эти сообщения отражают основную проблематику новейших исследований по истории и археологии Руси.

Одним из главных императивов в изучении ранней Руси со второй половины XX в. остается требование расширения источниковой базы как необходимого условия для нового осмысления тех или иных крупных явлений. Успехи исторических наук в этой области в последние десятилетия обеспечивались, во-первых, притоком новых археологиче-

ских материалов, во-вторых, введением в научный оборот некоторых ранее неизвестных письменных источников и глубоким источниковедческим анализом средневековых текстов, делающим возможным более точное их прочтение. Сегодня уже никого не приходится убеждать в исключительной ценности археологических древностей для реконструкции исторической картины IX–X вв. и в значимости археологии как науки, способной быстро наращивать долю своих данных в общем объеме источников о раннем Средневековье. Однако оказывается, что появление новых археологических материалов, как и появление в поле зрения историков отдельных ранее неизвестных средневековых текстов, само по себе не освобождает от историографических стереотипов и умозрительных исторических построений в нашем видении средневековой Руси.

В средневековой археологии сегодня одна из насущных задач – систематизация накопленных материалов, которая сделала бы возможным более полное использование их для реконструкции общих исторических явлений. С многократным ростом объемов археологических материалов значимыми оказываются любые опыты исследования и публикации больших их массивов: издания материалов больших раскопок в средневековых городах, отдельных категорий средневековых вещей из крупных регионов и городских центров, составление археологических карт, документирующих средневековое расселение в отдельных областях. Соединение этих частей в той или иной форме остается сверхзадачей, требующей специальных усилий.

Столь же актуально согласование исторических и археологических материалов, непротиворечивое соединение элементов исторических реконструкций, полученных на основании исследования различных категорий источников. Мы должны признать, что реальное видение многих сторон исторического развития Руси в IX–X вв. у историков и археологов зачастую различно. Существующие сегодня в истории и археологии представления о древнерусских «племенах», городах, дружине, социальной стратификации общества не всегда соотносятся друг с другом. Хотя синтез здесь, как и во многих других областях исторической науки, остается труднодостижимой целью, само обсуждение нестыковок и попытки сблизить образы, созданные в рамках разных дисциплин, необходимы.

Наконец, очевидна потребность в новом осмыслении социального строя и политической организации ранней Руси в контексте современных теоретических моделей социального устройства ранних обществ и сравнительного изучения политогенеза в различных областях средневековой Европы.

Материалы, подготовленные для настоящего сборника, способствуют решению этих сложных задач. Среди этих работ обзорные статьи, освещающие современное состояние исследований отдельных аспектов исторического процесса IX–X вв. и потенциала отдельных категорий источников (статья А. П. Бужиловой об антропологических материалах как источниках для изучения освоения Русской равнины, статья А. А. Медынцевой о письменности на Руси в IX–X вв. по данным эпиграфики, статья А. Л. Александровского, А. Е. Леонтьева, Н. А. Кренке и А. В. Долгих о ранних этапах формирования культурных ландшафтов древнерусских городов); опыты нового осмысления социальной стратификации общества и этнокультурных трансформаций, основанные на более точном прочтении письменных источников (статья А. В. Назаренко о князе и дружине как субъектах политического властвования по материалам договоров Руси с греками, статья П. Урбанчика с обоснованием интерпретации названия «русь» как коллективного имени военно-торговой элиты, первоначально лишенного определенного этнического содержания, статья С. В. Городилина о «мерских станах»); новые интерпретации отдельных групп археологических материалов и публикации новейших находок (статья М. Пиотровского и М. Волошина о «Червенских градах», статья С. И. Милованова о датировке валов Печернего города во Владимире, статья Е. Р. Михайловой о бескурганных могильниках с трупосожжениями близ Которского погоста). Публикации знакомят с археологическими древностями различных, далеко отстоящих друг от друга областей, от Западного Буга и Днестра до Ладоги и Белого озера, обеспечивая широкий географический охват территории Руси и осознание культурного своеобразия отдельных ее регионов. Яркие археологические материалы, впервые вводимые в научный оборот, занимают в издании значительное место. При этом новые источники для авторов почти всегда – стимул для обращения к значимым проблемам истории и археологии Руси. Не все оценки и построения, представленные в публикациях, кажутся безупречно аргументированными, однако при подготовке материалов к печати мы не считали себя вправе вступать в дискуссию с авторами, предлагая им иное видение исторических событий и иные методы анализа источников.

Издание может рассматриваться как своеобразное продолжение вышедшей ранее книги «Русь в IX–X вв.: археологическая панорама». Оно дополняет ее новыми данными о власти и воинской элите, культурных ландшафтах и расселении, своеобразии областных традиций, о последующей судьбе сложившихся в X в. систем расселения, политических институтов и культурных явлений.

Н. А. Макаров, А. Е. Леонтьев

Preface

The emergence of Rus' state is an eternal theme in historical research – a field in which various disciplines come together, which is characterized by rivalry between various schools and is the subject of endless discussion. The wide interest shown in this watershed era and in the profound changes, which would eventually lead to the appearance of a new state and a new cultural community in the historical arena, is unlikely ever to subside. In recent decades scientific knowledge in this field has expanded considerably and has been enriched by hitherto unknown data. The picture of the historical events in the 9th and 10th centuries has become more detailed and more precise. There are, however, many questions which have yet to be exhaustively studied and resolved.

Celebration of the 1150th anniversary of the birth of the Russian state in 2012 stimulated re-examination of the questions connected with the early period of Russian history. Discussion of the scientific justification for celebrating that jubilee and for considering the date of "Ryurik's enthronement", recorded in the chronicles as the starting point for Russian statehood, focused attention once more on what we really know about the historical situation in the Russian plains in the 9th and 10th centuries. Discussions about historical facts, concealed behind the chronicles' narrative about inviting the Varangians, once more underlined the importance of archaeological finds for piecing together a reliable picture of these events. The anniversary duly celebrated predetermined the subjects selected for a series of conferences and a number of academic publications devoted to the early history of Rus, the development of statehood, institutes of power, and national consciousness.

The most important project carried out by the Institute of Archaeology – affiliated to the Russian Academy of Sciences – under the aegis of the Academy's Department of Historical and Philological Sciences in connection with the above-mentioned anniversary – involved the preparation and publication of a monograph entitled: "Rus' in the 9th–10th Centuries: an archaeological overview". This volume served to sum up the research into the main written sources relating to Russia's early history, the results obtained from the archaeological study of specific regions and early-urban centres providing the 'skeleton' for the emergent state that was Rus' in the 9th–10th centuries and the processes of that state's political and cultural integration.

On November 6–8, 2012 institutes from the Academy's Department of Historical and Philological Sciences and the State Historical Museum held an international forum entitled: "Rus' in the 9th–10th Centuries: Society, State, Culture". The main organizers were the Institute of Archaeology and the Institute of Russian History. The conference was planned as a scientific meeting aimed at encouraging interaction between historians and archaeologists. The papers delivered at the Conference were all relevant to the general theme of "Early Rus": they proved to be varied in content, methodological approach and the range of sources used. 'Colourful' diversity of this kind is typical for large-scale academic forums. This publication – the proceedings of that conference – brings together materials from 34 papers, just under half of all those delivered at the conference. This collection of papers includes works by archaeologists, historians and anthropologists and some have been contributed by representatives of other academic disciplines. They reflect the main questions central to the latest research into the history and archaeology of Rus.

One of the main goals pursued in the study of Russia's early history has been the widening of the source base ever since the second half of the 20th century, which is regarded as an essential factor helping to shed new light on various important phenomena. The success of historical research in this sphere has in recent decades been achieved, first, thanks to the influx of new archaeological materials and, secondly, thanks to the introduction into academic circulation of certain hitherto unknown written sources and also to the detailed analysis of medieval texts rooted in source studies, which has made it possible to interpret the texts more precisely. Nowadays nobody needs convincing of how important archaeological records are for the reconstruction of the historical picture of the 9th and 10th centuries and of how significant archaeology is as a discipline capable of rapidly introducing its data into the wide range of sources relevant to the early medieval period. Yet the appearance of new archaeological materials and also that of hitherto unknown medieval texts on historians' horizons does not always set researchers free from historiographical stereotypes and conceptual historical constructs in the way medieval Rus' is viewed.

In medieval archaeology today one of the key tasks before us is approaching the materials already accumulated in a systematic way, so that fuller use might be made of them for the reconstruction of general historical phenomena. Against a background of a growth in the volume of archaeological materials many times over, all

endeavours to investigate and publish wide ranges of such materials are important: publication of materials from large-scale excavations in medieval towns; publication of specific categories of medieval artefacts from large regions and urban centres; archaeological maps documenting medieval settlement patterns in specific areas. Bringing together these initiatives in one form or another remains the overarching task demanding special effort.

Equally relevant at this time is the matching up of historical and archaeological materials, the bringing together of elements of historical reconstructions obtained on the basis of research into different categories of source materials. It has to be acknowledged that the actual representations by historians and archaeologists of many aspects of the historical development of Rus' in the 9th and 10th centuries can diverge and contradict each other. The views that are current today among historians and archaeologists with regard to medieval Russian 'tribes', towns, militias and the social stratification of society do not always match. Although synthesis here, as in many others spheres of historical research, remains an elusive goal, the actual discussion of mismatches and attempts to align the pictures created within the frameworks of different disciplines are essential.

Finally, another need which has come to the fore is that for a new understanding of the social formation and political organization of Rus' in that early period, in the context of modern theoretical models for the structure of early societies, and for the comparative study of political evolution in various regions of medieval Europe.

The materials prepared for this collection of articles will help resolve these complex issues. Publications acquaint us with archaeological artefacts from various regions at great distances from each other – from the Western Bug and Dniester in the South to Ladoga and Byeloozero in the North – covering the wide geographical range of the territory of Rus' and contributing to a greater awareness of the specific cultural character of its various regions. Striking archaeological materials, newly introduced into the academic literature, occupy a prominent place in this publication. At the same time, new source materials for the authors represented here almost always encourage them to turn their attention to significant questions connected with the history and archaeology of Rus. Although not all the appraisals and ideas represented in this volume will seem irreproachably substantiated, it did not seem to us that we were entitled, when preparing these materials for publication, to engage in debate with the authors presenting them or to suggest different views of historical events or different methods for analysing sources.

This volume can be regarded as something in the way of a continuation of the book which appeared earlier entitled "Rus' of the 9th and 10th Centuries: an archaeological overview", supplementing it with new data on power and military élites, cultural landscapes and settlements, the distinct nature of regional traditions and of the way in which settlement patterns, political institutions and cultural phenomena continued to develop in the 10th century.

N. A. Makarov , A. E. Leontiev



Часть I

ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО, ВОИНСКАЯ ЭЛИТА



А. В. Назаренко

Князь и дружина в эпоху договоров Руси с греками

Одним из наиболее устойчивых постулатов в науке о Древнерусском государстве является убеждение, что правящая социальная верхушка этого государства состояла из князя (князей) и группировавшейся вокруг него (них) дружины (дружин). Именно дружина и только она составляла окружение князя в древнейшее время, именно из состава дружины, как правило, набирался аппарат управления на местах, который формировался в процессе огосударствления (окняжения) земель. Голос дружины, особенно так называемой «старшей» дружины (бояр), должен был звучать тем громче и весомей, чем древнее эпоха, о которой заходит речь. Совещание с дружиной было необходимым для князя в любом важном деле – военном или политическом. Игнорирование этого обычая могло иметь тяжелые последствия. Существуют свидетельства категорического отказа бояр исполнять волю князя, если она не была предварительно обсуждена с дружиной[1]. Такого рода данные, которыми в достаточном количестве снабжают историка источники XI–XII вв., способны возбудить впечатление об известной самостоятельности (материальной и политической) дружины, которая, с одной стороны, связана с князем, а с другой – обладает, наряду с князем, своим, порой решающим, голосом в государственных делах.

Отсюда рождается псевдоестественный соблазн (порой, видимо, неосознаваемый) продлить подобное представление о дружине и на предшествующую эпоху IX–X столетий. Возникает мнение – или, скорее, ощущение – о тождестве социально-политической группы, возглавлявшей вместе с князем государство, с княжеской дружиной, о некоей вездесущности дружины (рядом с которой призрачной тенью витает историографический фантом земской, племенной, знати), ее монополии на принадлежность к военно-торговой верхушке Руси древнейшего периода. Выдающееся в отношении богатства погребение, особенно если оно включает социально-статусные элементы – вооружения и / или торгового инвентаря (скажем, гирьки), почти автоматически приобретает определение «дружинного». «Дружинной» становится, наконец, под пером некоторых историков и сама древнерусская государственность ранней поры – по крайней мере до эпохи Владимира Святого (см., например: Котляр, 1998, с. 63–69). Иными словами, взаимоотношения между князем и дружиной, характер и формы участия последней в государственных делах становятся определяющими параметрами политического строя.

Насколько справедлив такой взгляд? Ответ на этот вопрос зависит от того, удастся ли или нет обнаружить дружинную знать в русско-византийских договорах X в. – документальных текстах, безусловно ключевых для реконструкции структуры политической верхушки Древнерусского государства того времени. Заостряя проблему, можно сказать, что само существование «дружинной» теории древнерусской государственности начального периода санкционировано упоминанием «бояр» в славянских переводах договоров с греками.

В самом деле, в преамбулах к договорам князей Олега 911 г. и Игоря 944 г., равно как и в кратком договоре Святослава 971 г. древнерусская договаривающаяся сторона («род русский») («мы о*т* рода Рус*ка г*(о)»: 911 РА 1928 32.28–33.1; 1989 20.38–39; ИХ 23.30; 944 Л 46.20; ИХ 35.23)[2] неизменно пред-

[1] В 1167 г. бояре князя (тогда владимиро-волынского) Мстислава Владимировича отказались поддержать его намерение захватить киевский стол под племянником Владимира Мстиславом Изяславичем: «и рекоша ему дружина его: а собѣ еси кн(я)же замыслилъ, а не ѣдем по тобѣ, мы того не вѣдали. Володимиръ же реч(е) възрѣвъ на дѣцкыя, а се будуть мои бояре» (ПСРЛ 2, стб. 536).

[2] Договоры цитируются по обычным издательским правилам: выносные буквы опускаются в строку и даются курсивом, титла раскрываются в скобках, неупотребительные в современном алфавите знаки (кроме «Ѣ») заменяются на употребительные. Для облегчения ориентации в сложном тексте ссылки на издания договоров

ставлена с большей или меньшей отчетливостью состоящей из трех политических компонентов. Наряду с киевским князем и «родом русским» в его целокупности («всей русью»), а вернее сказать – между ними, обозначена социальная группа, в точном определении которой переводчики греческого текста договоров на славянский язык явно колебались, именуя ее то «князьями», то «боярами». Если оказался бы верен последний перевод, то суждения о первостепенной политической важности института дружины, его государствообразующей роли в древнейшее время приобрели бы прочное основание, ведь именно эти три политических компонента выступают в договорах в качестве носителей, *sit venia verbo,* государственного суверенитета Руси X в.

Вместе с тем ясно и другое: проблема оказывается в своей основе источниковедческой, но исследователи, насколько мы видим, не вполне отдавали и отдают себе отчет в этом принципиальном обстоятельстве, что, впрочем, соответствует общей далеко не достаточной разработанности источниковедения русско-византийских договоров. Если «бояре» / «князья» договоров часто рассматривались, в духе «дружинной» теории (в рамках традиционного представления о дружине как резервуаре для административных назначений со стороны княжеской власти), в качестве посадников киевского князя по городовым волостям, то в силу той же ретроспективной логики, следуя которой автор «Повести временных лет» заставлял еще Рюрика раздавать «мужемъ своимъ грады» (так в Л, в РАИХ – «раздая мужемъ своимъ волости и городы рубити»), а Олега «сажать мужей своих» в Смоленске и Любече (ПСРЛ 1, стб. 20, 23; 2, стб. 14, 16; заметим, что в «Новгородской первой летописи» оба сообщения отсутствуют); это не мешало летописцу в другом месте (в прелиминарном договоре, помещенном в статью 6415 г. и, таким образом, датируемом промежутком от осени 906 до осени 908 г.[3]; ссылка на него дается с условным хронологическим обозначением 907) уверять, что в Любече, равно как в Чернигове, Переяславле, Полоцке и Ростове, «сѣдяху княжья (в И исправлено на «князья», РА «велиции кн(я)зи») подъ Ольго*м* суще» (907 ИХ 22.16–17; РА 1928 31.9; 1989 20.13).

Для нас несомненно, что такая интерпретация неверна. Но чтобы убедиться в этом, надо пристальнее вглядеться в текст договоров.

В договоре 911 г. социально-политическая верхушка Руси, от имени которой, как и от имени «Олга, велико*г*(о) кн(я)зя руска*г*(о)», отправлялись послы в Царьград, в разных списках и даже в пределах одного и того же списка поименована по-разному. Вначале читаем: «о*т* всѣ*х,* и*ж*(е) су*т*(ь) по*д* рукою е*г*(о), свѣтлы*х* и велики*х* кн(я)зь и е*г*(о) велики*х* бояръ» (911 РА 1928 33.4–6; 1989 21.1) или «о*т* всѣ*х,* иже суть по*д* рукою его свѣтълыхъ бояръ» (911 ИХ 23.33–24.1). Чуть далее о послах говорится как отправленных «похотѣньемъ наши*х* князь и по повелѣнию[4] и о*т* всѣхъ, иже суть подъ рукою его сущи*х* Руси» (911 ИХ 24.5–7; РА 1928 33.11–12; 1989 21.4–5), причем к слову «князь» в РА присутствует определение «великих» (как и в приведенной выше глоссе из договора 907 г.). Несколько ниже и в конце преамбулы находим еще один вариант: «о*т* сущи*х* под рукою нашихъ кн(я)зь свѣтлыхъ» (911 ИХ 24.19–20; в РА 1928 33.24–25; 1989 21.10 текст испорчен: пропущено слово «князь») и «ко кн(я)з(е)мъ наши*м* свѣтлы*м* руски*м* и ко всѣ*м,* иже су*т*(ь) по*д* рукою свѣтла*г*(о) кн(я)зя наше*г*(о)» (911 РА 1928 34.2–4; 1989 21.13–14; ИХ 24.26–28).

Коллизия между двумя группами списков наблюдается в первой из приведенных цитат. Первичность краткого варианта ИХ доказывается его наличием в Т (911 66.9–10), который в целом текстологически стоит рядом с РА, а вовсе не с ИХ. Ясно, что мы имеем дело не с пропуском в ИХ, а с редактурой в протографе РА: редактор (составитель владимирского свода начала XIII в., имевший и в остальном склонность к поновлению лексики своих источников: Лурье, 1987, с. 249), не обнаружив «князей», которые только что были упомянуты под 907 г., а главное – дважды названы и несколькими строками ниже, нашел нужным восполнить, с его точки зрения, явно недостающее; однако совсем упразднить «бояр», читавшихся в копируемом им списке, заменив их на «князей», он не решился, а всего лишь, питая слабость к эпитету «великий», снабдил таковым и «бояр». В протографе же читалось только «светлых бояр», как в ИХ.

оформлены следующим образом: после года договора (907, 911, 944 или 971) следует указание на список: Л – Лаврентьевский (по изданию: ПСРЛ 1), РА – Радзивиловский и Московский Академический (РА 1928 – в текстологических примечаниях к вышеуказанному изданию «Лаврентьевской летописи» 1928 г.; РА 1989 – в издании «Радзивиловской летописи» с вариантами по «Московской Академической»: ПСРЛ 38), ИХ – Ипатьевский с вариантами по Хлебниковскому (ПСРЛ 2), Т – Троицкий (Приселков, 1956); затем следует указание на страницу (или столбец) и строку.

[3] В историографическом споре о происхождении статьи 6415 г. (см. последние по времени его обзоры: Свердлов, 2003, с. 138–145; Горский, 2005, с. 147–148) мы склонны поддержать взгляд на нее как на отражение предварительного договора, заключенного непосредственно после похода князя Олега на Константинополь, а не как на компиляцию летописца на основе текстов «Начального свода» и договора 911 г. Источником текста договоров в летописи была копийная книга императорской канцелярии (Malingoudi, 1994, S. 79–87; Малингуди, 1997, с. 79–87; Назаренко, 2012, с. 147–153), а это значит, что в рамках чисто летописной текстологии проблема не решается. Впрочем, для темы данного исследования эта контроверза не имеет существенного значения.

[4] Здесь во всех списках, очевидно, пропущено «(великого) князя нашего», диктуемое как общим смыслом (Шахматов, 1916, с. 34, примеч. к стрк. 3), так и приведенной нами чуть ниже формулой в конце преамбулы: «ко княземъ нашим свѣтлым рускым и ко всѣм, иже суть под рукою свѣтлаго князя нашего».

Анонимному владимирскому (переяславскому?) редактору нельзя отказать во внимательности, но смущался он напрасно. При передаче греч. *ἄρχων* славянские переводчики постоянно колебались между двумя равноправными вариантами – «кънязь» и «бо(л)яринъ» (Лавровский, 1904, с. 100–101; Назаренко, 2009 а, с. 414–416; Стефанович, 2012, с. 385). В данном случае колебания проявляет один и тот же переводчик на пространстве одного и того же небольшого отрезка текста. Едва ли сомнения способно было вызвать наличие у «бояр» какого-то особого «похотенья», наряду с «повелением» «великого князя». Похоже, напротив, переводчик, склонный в общем передавать *ἄρχοντες* как «князья», изменил этому правилу в единственном случае: когда об *ἄρχοντες* говорилось как о пребывающих «под рукою» «великого князя».

Как бы то ни было, нам важнее уяснить другое – что в грекоязычном оригинале договора во всех трех случаях структура древнерусской правящей верхушки была, очевидно, одинаковой, двухчастной: *μέγας ἄρχων + ἄρχοντες*, т. е. «великий князь» + «князья». К последним дважды приложен эпитет «светлые» (*λαμπροί*), но его факультативность, равно как и употребление его применительно к «великому князю» доказывают, что речь идет о простом *epitheton ornans*.

Подтверждением сказанному служит и аналогичная, но менее осложненная терминология договоров 944 и 971 гг. Прозрачнее всего она в последнем, где договор («свѣщанье») заключает «С(вя)тославъ князь рускии» и «иже суть подо мною Русь боляре и прочии» (971 ЛРА 1928 72.24; 72.28–73.1; 1989 36.34–35; ИХ 60.20–21, 26–27). Эта краткая формула встречается и далее: «азъ... и со мною боляре и Русь вся» (971 ЛРА 1928 73.7, 9–10; 1989 36.38–37.1; ИХ 61.3, 5–6) (в обоих случаях в РАИХ читается «бояре»).

То же находим и в договоре 944 г. Сначала читается, что послы посланы «о*т* Игоря, великого князя рускаго, и о*т* всякоя (ИХ «всея») княжья (РА «отъ всѣхъ князеи рускихъ») и о*т* всѣхъ людии Руския земля» (944 ЛРА 1928 47.10–12; 1989 26.1–2; ИХ 36.9–11) (отметим кстати, что составитель протографа РА опять проявляет редакторскую вольность, не терпя редкого *collectivum* «всякоя княжья»). Но точно так же, как и в договоре 911 г., ниже «княжья» вдруг превращается в «бояр»: «великии князь нашь Игорь и боляре его и людье вси рустии» (944 Л 47.16–17; ИХ 36.14–16; в РАИХ снова последовательно читается «бояре»), причем редактор РА (944 1928 47–48, примеч. *а*; 1989 26.4) опять вставляет между «великим князем» и «боярами» «и князи» (эта вставка в издании «Лаврентьевской летописи» 1928 г. совершенно напрасно включена в текст в качестве основного варианта)! Если применительно к договору 911 г. вставку обнаруживало солидарное чтение ИХ и Т, то в данном случае – ИХ и Л. И далее: «великии князь рускии и боляре (РАИХ, как всегда, «бояре») его» (944 ЛРА 1928 48.4–5; 1989 26.12; ИХ 36.30–31); на этот раз, как и в заключительной формуле (см. чуть ниже), владимирский книжник забывает о «князьях», тем выдавая себя с головой. Однажды встречаем редуцированный, также двучленный, вариант другого рода: «къ великому князю рускому Игореви и к людемъ его» (944 ЛРА 1928 52.21–22; 1989 27.30–31; ИХ 41.2–3), но в заключении полная формула восстанавливается: «хранити о*т* Иг*о*ря и о*т* всѣхъ боляр (РАИХ «бояр») и о*т* все*х* людии от (РА «и»; ИХ «и о*т*») страны руския» (944 ЛРА 1928 53.9–10; 1989 27.39; ИХ 41.20–22).

Складывается впечатление, что переводчик договора 944 г. (в отличие от переводившего Олегов договор) держался правила *ἄρχοντες* = «боляре», отойдя от него лишь однажды. Отсюда поспешно было бы делать вывод, будто за три десятилетия, истекшие со времени заключения договора 911 г., древнерусская социально-политическая действительность испытала эволюцию в сторону преобладания именно служилой знати над родовой. Надо учесть, что в двух из трех случаев «боляре» в договоре 944 г. фигурируют как «боляре его», т. е. «великого князя», а такое положение могло выглядеть в глазах переводчика (так же, как и в глазах его собрата по перу, переводившего договор 911 г.) более уместным для «боляр», чем для «князей». Вполне вписывается в такую гипотетическую закономерность и перевод договора 971 г., где *ἄρχοντες* характеризуются как сущие «под» Святославом («подо мною») и «со» Святославом («со мною»), что и могло подталкивать к переводу «боляре». Ведь греческий оборот *οἱ σὺν ἐμοί* или, скорее, *οἱ μετ'ἐμοῦ*, явно просвечивающий за «со мною» договора 971 г., традиционно имел в греческом оттенок подчиненного следования за предводителем (Дворецкий, 1958, т. 2, с. 1076, s. v. *μετά* 1; Liddel, Scott, 1996, p. 1109, s. v. *μετά* A).

Таким образом, представленный только дважды (один раз в договоре 911 г. и один – 944 г.) контекст, когда «князья» и «бояре» оказываются рядом, в обоих случаях является специфическим чтением РА и выдает свое позднейшее происхождение; в остальном же эти два термина разведены: либо «князья», либо «бо(л)яре». Поэтому, полагаем, не подлежит сомнению, что в греческом тексте всех трех договоров, наряду с «великим князем» (*μέγας ἄρχων*) и «всею русью» / «всеми людьми русскими» или «Русской земли» (*πάντες οἱ Ῥῶς / πάντες λαοὶ τῶν Ῥῶς или τῆς Ῥωσικῆς χώρας*), упоминались только *ἄρχοντες*, которые, в силу обычной сбивчивой практики передачи этого термина при переводах на славянский, оказывались то «князьями», то «бо(л)ярами».

Такой вывод не избавляет, однако, исследователя от необходимости понять, какой же из перево-

дов вернее по сути и соответствует древнерусской действительности времен договоров с греками? Кто именно скрывается за стереотипным термином *ἄρχοντες?* Каков социальный и политический статус этих лиц? Шла ли речь о ближайшем окружении «великого князя», «княжих мужах», которых можно было бы, идя за терминологией более поздних источников, назвать «старшей дружиной», т. е. именно «боярами» (Пресняков, 1993, с. 28–29, 317–318; Греков, 1953, с. 297–300; и др.)? Или, напротив, имелась в виду какая-то внедружинная знать – например, местная, земская, элита, которой уместно было бы именоваться «князьями», как титулуют летописцы рубежа XI–XII вв. Мала, древлянского «князя» середины X в., или Рогволода, полоцкого «князя» 970-х годов (НПЛ, с. 110, 125; ПСРЛ 1, стб. 54–56, 76; 2, стб. 43–45, 64) (Рыбаков, 1982, с. 328–329; Толочко, 1992, с. 22; Котляр, 1998, с. 63 и примеч.1; и др.)? Или даже и те, и другие (Свердлов, 2003, с. 197)? Теоретически участвовать в межгосударственных переговорах, сопровождавших заключение договоров (и даже сидеть «по городам») могли бы, действительно, как те, так и другие, но образ древнерусской государственности X в. получался бы при этом принципиально разный (если, конечно, не считать местных «князей» членами дружины киевского князя).

Ответить на эти вопросы помогает обращение к договору 944 г. – в той его части, где детализирован состав посланцев «от рода русского». В отличие от договора 911 г., где список из 15 делегатов представляет всю триаду «великий князь» + «архонты» (до выяснения дела будем называть их так, греческим термином) + «вся русь», в договоре 944 г. видим существенно более многочисленный список, состоящий из 25 (см. примеч. 11) собственно послов («сълы»), перечисленных поименно, и купцов («гостие» / «купьце»). Более того, приведены также имена тех, кто был отправителем каждого из послов в собственном смысле (944 ЛРА 46.19–47.10; ИХ 35.23–36.8). Кого обнимала эта группа отправителей, которая возглавлялась самим Игорем, «великим князем русским», его сыном Святославом и супругой Ольгой?

Послы от этой группы, за исключением посла от Игоря, названы «обычими сълами» (944 ЛРА 46.22; ИХ 35.25), или, в оригинале, вероятно, *οἱ κοινοὶ ἀποκρισιάριοι*. Приведенное греческое выражение, с достаточной очевидностью угадываемое за славянским переводом, можно трактовать двояко. Дело в том, что в среднегреческом языке у слова *κοινός*, наряду с основным исконным значением «общий», было также производное значение «обычный, простой, рядовой» и даже, с оттенком уничижительности, «простой, низкий» – например, *κοινὸς ἄρτος* «обычный хлеб» в отличие от особого, освященного для литургии (Lampe, 1961, p. 761–762, s. v. *κοινός* 2; Liddel, Scott, 1996, p. 968–969, s. v. *κοινός* III)[5]. Таким образом, реконструируемое выражение греческого оригинала *κοινοὶ ἀποκρισιάριοι,* вообще говоря, могло бы обозначать «простых, рядовых послов» – в той мере, в какой их отправители могли быть названы *κοινοὶ ἄρχοντες,* т. е. «простыми, обычными архонтами» в отличие от «великого князя». Тем самым, *κοινοὶ ἀποκρισιάριοι* было бы упрощенным вариантом формулы *οἱ ἀποκρισιάριοι τῶν κοινῶν ἀρχόντων* «послы простых архонтов».

Над правильным пониманием выражения «обычии сълы» обычно не задумываются, хотя чаще всего принимаемое вслед за авторитетным переводом Д. С. Лихачева толкование «общие послы» (ПВЛ, с. 160 и 431, примеч. к словам *сълы и гостье... обьчии сли*), разумеется, никак не может быть верным, потому что послы были как раз не «общие», а представляли каждый отдельное лицо, названное по имени. Может быть, поэтому в тех случаях, когда от такого ложно-очевидного перевода хотят уклониться, прибегают к соображениям общего смысла: «прочие, остальные послы» (Sorlin, 1961, p. 447; Hellmann, 1987, S. 661; см. обзор вариантов перевода: Стефанович, 2012, с. 431, примеч. 137), что вряд ли лучше ввиду утраты всякой смысловой связи с древнерусским текстом. Единственно верным решением представляется выбор между двумя указанными значениями ср.-греч. *κοινός*.

Размышляя над этими двумя формально равновероятными возможностями, хотим обратить внимание на следующее.

Понимая термин *κοινός* в значении «простой, рядовой», мы приписываем составителям договора 944 г. стремление подчеркнуть отличие «великого князя» от прочей «княжьи». Сомневаться в наличии такого стремления не приходится, вот только уместно ли было выпячивать это отличие в отношении Святослава и Ольги? Не логичнее было бы тогда ожидать, что перечисление «обьчих сълов» начнется после отдельно поименованных послов Игоря, его сына и супруги? Между тем, и Святослав, и Ольга недвусмысленно включены в число отправителей «обьчих сълов».

Далее, поскольку мы придерживаемся того взгляда, что славянский перевод не современен самим договорам, а был изготовлен позднее на основе текстов копийной книги константинопольской

[5] Так понимает славянский термин Я. Малингуди, реконструируя, однако, в оригинале греч. *συνήθεις* «обычные» (Malingoudi, 1994, S. 38). Свой выбор исследовательница никак не объясняет, между тем объяснение требовалось бы, потому что, в отличие от греч. *κοινός,* церк.-слав. *обьщь,* др.-русск. *обычии* значения «простой, обыкновенный» не имели. Таким образом, вести речь о «простых» послах можно только при допущении, что в греческом оригинале стояло именно *κοινοί* и что переводчик, не поняв его специфического смысла, употребил привычное, главное, его соответствие в славянском.

канцелярии (см. примеч. 3), то не можем придавать серьезного значения выбору переводчиком редкого термина *къняжья* (СДРЯ 4, с. 362, s. v. КЪНЯЖЬЯ), в котором явно присутствовал смысл собирательности, придававший и переводимому греч. *ἄρχοντες* специфический оттенок *pluralia tantum.* И все же факт остается фактом: переводчик, пусть и работавший уже в конце X или в XI в., понял определение *κοινός* не в смысле, который, казалось бы, диктовался контекстом, – «простой, обычный», а в традиционном смысле «общий», который в данном случае мог вызвать только недоумение, ибо именно «общими» послы, со всей очевидностью, как раз и не были. Отсюда извлекаем по крайней мере одно бесспорное следствие: ни в XI, ни, тем более, в X столетии ср.-греч. *κοινός* не имело преимущественного значения «простой, рядовой»[6], а если даже и имело, то выбор переводчика договора 944 г., идущий вразрез с таким преимущественным значением, стал бы тем более показательным. Да, на этот выбор переводчика могла оказать влияние древнерусская династическая действительность его эпохи, реалии древнерусского *corpus fratrum,* но ведь логикой вещей архаическая «общинная» субстанция братского совладения с погружением в глубь времен должна только усиливаться...

Сказанное заставляет со всей внимательностью присмотреться к главному (в наших глазах оно продолжает оставаться таковым) из возможных прочтений – «общие послы». «Общие», но при том явно не «совместные». Что же могло побудить составителей договора 944 г. употребить греч. *κοινός* в столь загадочном значении? Да ровно то же, что побуждало переводчика на славянский язык избрать вариант *обьчии,* а не, скажем, *обычьныи,* как переводили греч. *συνήθης,* которое напрасно кажется столь очевидным Я. Малингуди в качестве реконструируемого греческого оригинала др.-русск. *обьчии* в выражении «обьчии съльı» (см. примеч. 5). Грекоязычные канцеляристы середины X в., столкнувшись с необходимостью передать название явления, которое по-славянски именовалось «обьчина» или сходно (или, возможно, скандинавский термин этого ряда), воспользовались привычным *κοινωνία* – тем более, что греч. *τὸ κοινόν / τὰ κοινά* искони обозначало «общество, государство», так сказать, *res publica,* а *κοινωνία* – некое «сообщество, общину», совокупность лиц, причастных к *τὸ κοινόν / τὰ κοινὰ.* (Заметим, что трудно точнее охарактеризовать содержание *corpus fratrum,* если не вникать в его семейно-родовую природу, столь далекую от византийской политической реальности.) Тогда *κοινοὶ ἀποκρισιάριοι* значило бы примерно *οἱ ἀποκρισιάριοι τῶν ἀρχόντων (ἐκ) τῆς κοινωνίας* – «послы от сообщества архонтов; послы от архонтов, составляющих (определенную) общность».

Такая «общность» (*обьчина*) выглядит весьма примечательно. С одной стороны, наличие в ней женщин свидетельствует, что речь не может идти о какой бы то ни было политико-административной верхушке. Связи, скреплявшие «обьчину», не могли носить исключительно социальный или политический характер. Из пояснений в самом договоре 944 г. ясно, что по крайней мере существенную часть «обьчины» составляли родичи «великого князя». В то же время (и это – с другой стороны) дело явно не сводилось только к родству, иначе ожидалась бы совсем другая терминология, производная от греч. *γενεά* «род, семейство» или подобного, что-либо вроде *οἱ ἐκ τοῦ μεγάλου ἄρχοντος γενεάς / οἱ συγγενεῖς τοῦ μεγάλου ἄρχοντος* «родичи великого князя». Однако «жена Улебля / Улебова» входила в «обьчину» не потому, что была кровной родственницей Игоря, а потому что была женой Улеба, которого среди отправителей послов мы не видим, а значит, речь шла о его вдове. Последняя могла унаследовать место покойного мужа в коллективе только при условии, что коллектив был спаян, кроме всего прочего, еще и имущественными отношениями. Вот эта-то группа родственников-совладельцев, равно как и сам предмет совладения (государственный доход), и могли именоваться «обьчиной»-*κοινωνία.* Повторим, что этот феномен является характерным проявлением архаического *corpus fratrum* – политико-династического строя, при котором государственная власть и сопряженные с ней доходы считались совместным владением правящего рода в целом, *stirps regia* в широком смысле слова (Назаренко, 1996, с. 58–63; 2009а, с. 417–418; 2009б, с. 47–87). Именно это обстоятельство и побуждает нас думать, что все «архонты»-отправители послов в договоре 944 г. (а не только часть их) составляли кровно-родственный коллектив. «Обьчинность» проявлялась и в том дополнительно усугубляющем ее обстоятельстве, что во времена Олега и Игоря, в первой половине X в., княжеский род, похоже, целокупно сидел в Киеве (Назаренко, 2009а, с. 418–422)[7].

[6] Как представляется автору последнего известного нам вердикта на эту тему: Стефанович, 2012, с. 431 и примеч. 141 – с не очень внятной ссылкой на «словари (Liddell, Scott, 1996 и др.)».

[7] К соображениям, приведенным в названной работе, добавим вкратце еще одно. Окончательно усмирив древлян, Ольга наложила на них «дань тяжку, и двѣ части дани Кыеву идет, а третьяя Вышегороду ко Олзѣ, бѣ бо Вышегород Олгинъ град» (НПЛ, с. 113; ПСРЛ 1, стб. 60; 2, стб. 48). Ольга, конечно же, не сидела в Вышгороде, как сидели по городам киевские посадники и как сидел, например, в Новгороде около 950 г. Святослав (Const. de adm. 9.4–5, p. 44; Назаренко, 2001, с. 277); Вышгород был, очевидно, «Ольгиным градом» в том смысле, что туда стекалось причитавшееся ей полюдье, сама же она пребывала в Киеве. Кому же предназначались две трети древлянской дани, уходившие в Киев? Только ли малолетнему Святославу с дружиной? Очень сомнительно. Если бы это было так, дружинникам князя Игоря нечего было бы жаловаться на Свенельда, который при Игоре выступал, как

Понятно, что члены такой «обычины» могли быть «архонтами»-«княжьей» (и даже должны были быть, судя по семейственной принадлежности титула «князь» на Руси впоследствии), но ни в коем случае – «архонтами»-«бо(л)ярами». Стало быть, перевод «бо(л)яре» в отношении к русским «архонтам» в их сумме (за исключением «великого князя») заведомо неверен, поскольку в составе «архонтов» оказываются «князья» по происхождению и лица, которые никак не могли быть «бо(л)ярами» «великого князя» (женщины).

Итак, социально-политический организм Руси первой половины – середины X в. возглавлялся не киевским князем с боярами-дружиной (ее верхушкой) (Горский, 1989, с. 41–42) и, тем более, не князьями с боярами-знатью вообще (*боярин*ъ в договорах – «социальный обобщающий термин»: Свердлов, 2003, с. 148), а киевским князем вместе с довольно обширным коллективом князей-родичей – княжеским родом.

Если так, то где же княжеская дружина в договорах с греками? Трудно смириться с тем, что социальная группа, которая по другим источникам во всех делах постоянно сопутствует князю, никак не присутствует в столь пространных текстах, как межгосударственные договоры, заключавшиеся князем. Конечно, можно удовлетвориться идеей, что представителями дружин были послы договоров 907, 911 и 944 гг. Но тогда придется расстаться с представлением о «дружинном» государстве на Руси в первой половине – середине X в., потому что вместо биполярной модели древнерусской политической верхушки «князь – дружина» обнаруживалась бы куда более сложная структура собственно княжеской элиты, при которой дружина выступала только в служебной роли, не манифестируя собой государство и не участвуя как таковая в государственных переговорах.

Что так оно и было, показывают протокольные записи о приеме княгини Ольги и многочисленной сопровождавшей ее русской делегации в императорском дворце в 946 или, вероятнее, 957 г.[8], которые донесены трактатом «О церемониях византийского двора»; его авторство приписывается императору Константину VII Багрянородному (он и принимал киевскую княгиню). В этих записях, в отличие от текста договоров, дружина присутствует *explicite* на положенном ей высоком, но служебном месте.

Протокольные схождения между договорами, особенно договором 944 г., и описанием приема княгини Ольги императором Константином VII очевидны и не остались незамеченными в историографии. Как и в договоре 944 г., русская делегация времен Ольги в Царьграде трехсоставна: правящая киевская княгиня, «архонтисса Руси» (*ἡ ἀρχόντισσα Ῥωσίας*), собственной персоной (на месте посла от «великого князя» Игоря в 944 г.), «послы архонтов Руси» (*οἱ τῶν ἀρχόντων Ῥωσίας ἀποκρισιάριοι*) и «купцы» (*οἱ πραγματευταί*) (Const. de cerim. II, 15, p. 594.18, 595.3–4, 597.8–10).

Этот изоморфизм облегчает вычленение в описании константинопольского приема русской княгини тех его элементов, которые не нашли и не могли найти отражения в тексте договора князя Игоря. Так, в силу того, что русскую сторону на переговорах возглавляла сама правительница Руси, в делегации упоминается еще и личная свита княгини. Женская ее часть состояла из «домашних архонтисс-родственниц» (*αἱ οἰκεῖαι συγγενεῖς ἀρχόντισσαι*), которые в другом месте, при перечислении денежных выдач после первого приема, именуются «ближними (женского пола) архонтиссы» (*αἱ ἴδιαι τῆς ἀρχοντίσσης*) (ibid., p. 598.1), и «главнейших служанок» (*αἱ προκρειτότεραι θεράπαιναι / δοῦλαι*) (ibid., p. 594.19–20, 596.7–8,14–15, 598.2), а мужская – из «мужей и родственников архонтиссы» (*οἱ ἄνθρωποι καὶ συγγενεῖς τῆς ἀρχοντίσσης*) (ibid., p. 597.9–10). Здесь же, среди получателей подарков после первого приема, названа и аналогичная группа «мужей Святослава» (*οἱ ἄνθρωποι Σφενδοσθλάβου*), а также небольшая, из шести человек, группа «мужей послов» (*οἱ ἄνθρωποι τῶν ἀποκρισιαρίων*) (ibid., p. 597.14–15). Вот эти-то «мужи» – *ἄνθρωποι* и заслуживают рассмотрения в связи с вопросом о древнерусской дружине.

Статус «мужей архонтиссы» можно уловить при сличении их характеристик с характеристиками женской части свиты княгини.

В самом деле, как мы только что видели, «главнейшие служанки», в отличие от «родственниц», в число «ближних» / «домашних» киевской княгини не входили, тогда как «мужи» вместе с «родственниками архонтиссы» – входили, ибо при распределении денежных выдач выясняется, что группа «мужей и родственников» состояла из «анепсия[9] ее (т. е. Ольги)» (*ὁ ἀνεψιὸς αὐτῆς*) и «8 ближних ее» (*οἱ η ' ἴδιοι αὐτῆς*) (ibid., p. 597.11). Из этого заключаем, что с помощью определения *ἴδιοι / ἴδιαι* «ближние, свои» или, реже, *οἰκεῖοι / οἰκεῖαι* «домашние» визан-

позднее Ольга, в качестве держателя древлянской дани: «се далъ если единому мужевъ много... отрочи Свѣньлжи изодѣлися суть оружиемъ и порты, а мы нази» (НПЛ, с. 109–110; ПСРЛ 1, стб. 54; 2, стб. 42), так как получали бы в два раза больше Свенельдовой дружины. Следовательно, логичнее думать, что в Киеве внешние дани, в том числе и древлянская, перераспределялись среди достаточно многочисленного коллектива. Какого? Думаем, что княжеского рода, ибо другого разумного ответа на этот простой вопрос не видно. Понятно, что такого не могло бы быть, имей представители «княжьи» свои волости и, соответственно, свои дани.

[8] Дискуссионность даты поездки княгини Ольги в Константинополь (см. прежде всего: Литаврин, 2000, с. 174–192; Назаренко, 2001, с. 219–310) в данном случае не имеет сколько-нибудь существенного значения.

[9] Термин «анепсий», устойчиво переводившийся на древнерусский язык как *нетии*, обычно обозначал племянника, т. е. ближайшего, но не непосредственного родственника по нисходящей линии – кровного или свойственника (т. е. родного племянника жены или мужа).

тийские канцеляристы старались охарактеризовать ближайшее окружение правительницы Руси, исключая, однако, собственно клиентелу, пусть и доверенную, *familia,* к которой могли принадлежать, например, женщины вроде Ольговой «ключницы» Малуши, матери будущего князя Владимира Святославича (НПЛ, с. 121; ПСРЛ 1, стб. 69; 2, стб. 57[10]) (совсем не исключаем того, что она также находилась среди «главнейших служанок» во время поездки Ольги в Царьград).

Это окружение отчасти состояло из «родственников» княгини, причем последние весьма выразительно не названы «архонтами», хотя «родственницы» Ольги регулярно именуются «архонтиссами-родственницами». Осмеливаемся думать, что они «архонтами» и не были, так как в противном случае им по протоколу уместнее было бы значиться не в личной свите Ольги, а отдельно, как значатся отдельно послы от «архонтов». О том же можно было бы догадываться и на другом основании – совпадении числа послов от «архонтов» в 944 г. и во время визита княгини Ольги[11]; если бы «родственники» княгини были «архонтами», это должно было бы повести к заметному нарушению численного тождества. Очевидно, не значился в «архонтах» и «анепсий» Ольги[12], потому что группе «мужей и родственников архонтиссы», которая участвовала в императорском пире в хрисотриклине, среди получателей денежных выдач после пира соответствует, как уже говорилось, группа «анепсий ее» и «8 ближних ее» – иными словами, «анепсий» проходил по разряду «родственников» княгини. (Выделять «анепсиев»-«нетиев» из общей массы прочих родственников было, похоже, частью византийского протокола: в связи с переговорами 944 г. также отмечены особо только два «нетия» князя Игоря, но, как есть основания думать, не в самом тексте договора, а в сопроводительных к нему пометках императорской канцелярии: Назаренко, 2012, с. 147–153). Следовательно, «анепсий», равно как и прочие «родственники архонтиссы» были кровными родичами собственно Ольги, но не ее покойного мужа и сына Святослава, т. е. не были членами правящего княжеского рода.

Обратим внимание еще на одну показательную деталь: во время официального представления княгини и русского посольства императору 9 сентября о мужской части свиты Ольги ничего не говорится, при том что женская часть упоминается и весьма настойчиво – четырежды (Const. de cerim. II, 15, p. 594.19–20, 596.7–8,14–15, 598.2)[13]. Такое умолчание не может быть случайным, и приходится думать, что «мужи и родственники архонтиссы» во время приема находились в составе большой мужской группы «послов архонтов Руси и купцов», которая представлялась логофетом дрома императору после княгини и ее женской свиты (ibid., p. 595.3–4), ведь и во время пира с императором «мужи и родственники архонтиссы» названы как бы внутри этой группы, между «послами

[10] Вариант «отъ ключницѣ» читается в ЛРА, НПЛ и летописях новгородско-софийской группы, тогда как в И находим «от милостьницѣ»; последнее присутствовало, вероятно, и в Х (в котором здесь – лакуна), судя по такому же чтению Погодинского списка. Таким образом, чтение «ключницѣ» выглядит первичным, но правка ИХ, относящаяся, надо думать, еще к XII в. (ИХ отражают, по А. А. Шахматову, третью редакцию «Повести временных лет» времен Владимира Мономаха: Шахматов, 1916, с. III–XVI), тем не менее, заслуживает внимания. Хотя и «ключьница», и «милостьница» являются гапаксами на пространстве «Повести временных лет», ясно, что последнее представляет собой более общий термин. При этом в памятниках XII же столетия имеются контексты, в которых «милостники» со всей определенностью исключены из состава «лепшей» дружины и даже противопоставлены ей: «С(вя)тославъ (киевский князь Святослав Всеволодович в 1180 г. – А. Н.) сдумавъ с княгинею своею и с Кочкарем милостьникомъ своимъ, и не повѣде сего мужемь своимъ лѣпшимъ» (ПСРЛ 2, стб. 614).

[11] Несмотря на некоторую сбивчивость списка послов в договоре 944 г., их надо скорее всего насчитывать 25 – если признать, что в группе имен «Сфирка Алвадъ Гудовъ» (944 ЛРА 1928 47.3; ИХ 36.1) после «Сфирка» пропущена притяжательная форма (Шахматов, 1916, с. 52, примеч. к стрк. 4), в группе же «Тудковъ Каршевъ Туръдовъ» (944 ЛРА 1928 46.28–29; ИХ 35.31–32 [«Тудоровъ»]) «Каршевъ» представляет собой не притяжательную форму (тогда следовало бы признать здесь два пропуска имен отправителей), а номинатив (др.-сканд. *Karlsefni: Томсен, 2002, с. 222). Из этого числа надо вычесть двух (послов покойного Игоря и Ольги), так что итог – 23 – окажется тождествен количеству послов в Царьграде во время визита Ольги. Действительно, на момент второго приема 18 октября их значилось 22 (Const. de cerim. II, 15, p. 598.10; стало быть, на первом приеме, на котором зафиксировано 20 послов [ibid., p. 597.12], кто-то из них, в силу тех или иных привходящих обстоятельств, быть не смог), но посла Святослава среди них, вероятно, уже не было (см. примеч. 17). Таким образом, общее число послов и на этот раз составляло ровно 23. На это обстоятельство, при различии в подсчетах, уже обращалось внимание (Грушевський, 1913, с. 424–425; Литаврин, 2000, с. 196–197; Стефанович, 2012, с. 408–409, 414–415), но с целью использовать стабильность количества послов в качестве доказательства того, что они представляли правителей отдельных территориально-политических образований. Нам такой вывод не кажется обязательным. Относительная количественная устойчивость имущественных ячеек, согласно которым распределялся государственный доход внутри княжеского рода, могла объясняться и другими причинами: например, закрепленностью за каждой из них определенной зоны полюдья или т. п. Подробнее свою точку зрения на эту тему, которая выходит за пределы настоящей статьи, мы изложим в другом месте.

[12] В этом отношении вносим поправку в высказывавшееся нами ранее суждение (Назаренко, 2009а, с. 412).

[13] Не очень понятно, следует ли к указанным четырем случаям добавить упоминание «архонтисс» во время предобеденной церемонии в триклине Юстиниана (Const. de cerim. II, 15, p. 597.2): то ли это русские «архонтиссы» – родственницы Ольги (Голубинский, 1901, с. 101; Литаврин, 2000, с. 191–192), то ли те придворные дамы императрицы (семи отделений-«вил» от зост до кандидатисс), представление которых подробнее описано применительно к предшествовавшему приему Ольги императрицей в том же триклине Юстиниана (Const. de cerim. II, 15, p. 595.23–596.5) (Featherstone, 2008, p. 109, not. 225–226).

архонтов Руси» и «купцами» (ibid., p 597.8–10). Если присоединение мужской части свиты Ольги к послам и купцам во время пира понятно (они смотрелись бы странно на женском пире императрицы и княгини в кругу придворных дам, ибо в окружении императрицы мужчин не было), то что могло препятствовать «мужам и родственникам княгини» быть рядом с последней, вместе с «архонтиссами-родственницами», во время представления? Думаем поэтому, что такое последовательное принципиальное разделение свиты киевской княгини в процедуре приема говорит о функциональном различии мужской и женской составляющих свиты: последняя играла чисто церемониальную роль, первая же реально участвовала в переговорах, наряду с послами и купцами.

В справедливости такого вывода нас убеждает и наличие в составе русского посольства также «мужей Святослава». В предположении о не более чем представительском назначении «мужей и родственников архонтиссы», тождественном назначению «архонтисс-родственниц» и «главнейших служанок» княгини, очень трудно будет понять присутствие «мужей Святослава» – ведь сам Святослав в Царьград не прибыл, и свите (если то была именно и только свита) сопровождать было некого[14]. Выходит, персона Святослава была представлена на переговорах не только его послом, но и группой из десяти[15] «мужей».

Заметим, что и мужская часть свиты Ольги была, видимо, той же по численности. На приеме 9 сентября присутствовали девять ее членов («анепсий» + «8 ближних» княгини) – но в результате отсутствия по какой-то причине одного из них, поскольку, вычитая из 16 «ближних» Ольги, присутствовавших на заключительном приеме 18 октября, шесть «ближних» женщин (таково было их число на первом приеме: ibid., p. 598.1), получим именно десять[16].

Что перед нами – совпадение или выверенное равенство? Думается, ближе к истине последнее. Как княгиня Ольга, фактическая правительница Руси, представлена в Константинополе не только собственной персоной, но еще и группой из десяти «ближних» (среди которых были и «родственники» княгини, и ее «мужи»), так и номинальный князь Руси отправляет не одного лишь посла, подобно прочим «архонтам», а и группу также из десяти «мужей». Вероятно, при переговорах, в случае разногласий во мнениях внутри русской делегации, эти как бы личные посольства могли обеспечить численное равновесие между Ольгой и Святославом, с одной стороны, и остальной «княжьей» – с другой. Ведь вряд ли случайно (и это – еще одно численное совпадение) общее количество голосов (воспользуемся современным термином, хотя ясно, что о реальном голосовании речь, скорее всего, не шла) Ольги и Святослава (княгиня + посол Святослава + 10 «ближних» Ольги + 10 «мужей» Святослава) в точности совпадает с количеством послов «архонтов» (22[17]). (Если так, то, заметим кстати, можно сделать вывод о некоторой напряженности отношений внутри «княжьи»-«обычины»–*κοινωνία*.)

[14] М. Федерстоун, по непонятной причине полагая датой рождения Святослава 936 г., считает последнего реальным правителем Руси к моменту поездки Ольги в Царьград (историк относит ее к 957 г.) и потому предполагает, что «мужи Святослава» были выделены киевским князем для сопровождения («to escort») своей матери (Featherstone, 2008, p. 110–111, not. 230). Предположение это не может быть верным, так как еще в 959 г., отправляя послов к германскому королю Оттону I, Ольга действовала как полновластная княгиня, «королева Руси» («regina Rugorum») (Cont. Reg., a. 959, p. 170; Назаренко, 1993, с. 106–107 и соответствующий комментарий; ДРСЗИ. Хрестоматия 4, с. 45–46; Назаренко, 2012, с. 295–300).

[15] Указание на количество в cod. Lipsienis, положенном в основу единственного на сегодняшний день издания трактата «De cerimoniis», отсутствует, но это, вероятно, надо признать дефектом списка, так как в остальном в перечне выплат количество получателей в каждой группе систематически приводится. Следовательно, есть все основания доверять свидетельству cod. Vatopedinus, не изданного пока фрагментарного палимпсеста (Featherstone, Grusková, Kresten, 2005, S. 423–430), где в данном месте указано число 10 (Featherstone, 2008, p. 110, not. 230).

[16] Несколько модифицируем расчет П. С. Стефановича (2012, с. 403–405), который кажется нам тем более убедительным, что в состав «ближних» мужского пола из свиты Ольги надо, по нашему убеждению (см. выше) и вопреки мнению автора гипотезы, включать и «анепсия», доводя тем самым их число до девяти. (Исправлению подлежит и досадная ошибка: дзета [зита] служила в греческом в качестве цифры 7 [ζ΄], тогда как для цифры 6 использовалась вышедшая из употребления старинная буква стигма [ϛ΄].) Против предложенного расчета можно было бы выдвинуть следующее наблюдение. Среди участников приема 18 октября с русской стороны не упомянуты ни «люди Святослава», ни «люди послов»; не следует ли поэтому догадываться, что и «мужей» Ольги на нем также не было? А ведь «мужи» княгини входили в состав ее «ближних». На таком фоне выигрывала бы естественная с виду (указание на число «ближних» «архонтисс-родственниц» на первом приеме выписано не цифирью, а словом: *ἕξ* «шесть») догадка (она, действительно, высказывалась: Popre, 1988, S. 493, Anm. 32), что йота в числе 16 (*ις΄*) – просто лишняя, ошибка писца, хотя контекст вроде бы и не дает для нее повода. Однако радикальным препятствием для такой трактовки, по крайней мере в наших глазах, служит неизменное присутствие на втором приеме не только «ближних» Ольге женщин, но даже и тех же, что и на первом приеме, 18 «служанок» ее, а это делает странной предполагаемую дискриминацию в отношении мужского состава свиты, численно куда более скромного. Что до преждевременного отъезда делегации Святослава, то для него могли быть свои причины (см., например: Назаренко, 2001, с. 301–302; имеющийся здесь перевод ср.-греч. *δοῦλαι* как «рабыни» следует исправить на «служанки»: см. примеч. 17).

[17] См. примеч. 11. Наши подсчеты выполнены, исходя из предположения, что посла Святослава в числе этих 22 послов на втором приеме уже не было, как и всей делегации от Святослава, коль скоро «мужи» последнего не поименованы среди получателей выплат после заключительного приема (Const. de cerim. II, 15, p. 598.8–12; см. также предыдущее примеч.). Впрочем, даже если посол Святослава и был в числе 22 княжеских послов 18 октября, впечатление о преднамеренной общей сбалансированности «голосов» внутри корпуса русских послов все равно остается.

Сказанное подводит к заключению, что в иерархии древнерусского княжеского окружения «мужи» – *ἄνθρωποι*, попавшие в поле зрения византийских церемониймейстеров в середине X в., занимали самое высокое место, принципиально отличаясь от «слуг» – *θεράπαινοι / δοῦλοι*[18]. По сумме церемониальных выплат (20 милиарисиев) они приравнены к «родственникам» княгини (только «анепсий» получил больше – 30 милиарисиев, но это могло быть, как говорилось, следствием собственно византийского протокола) и «архонтиссам-родственницам», хотя князьями-«архонтами» они отнюдь не являлись. Более того, судя по отождествлению «мужей» княгини и ее «родственников» в единой категории «ближних»–*ἴδιοι*, эти «родственники» входили в число «мужей» (ибо «мужи» входить в число «родственников», понятно, не могли), что еще раз подчеркивает весьма высокий статус «мужей». Они участвуют в государственных переговорах, наряду с послами и купцами, хотя сами послами в собственном смысле не являются, и их «протокольный» статус (т. е. оценка их государственно-правового положения византийской стороной) сильно зависит от статуса лица, к которому они «приближены»: «мужи» Ольги получили, как сказано, по 20 милиарисиев, «мужи» Святослава – по 5, а «мужи» послов – по 3 (ibid., p. 597.14–15). Учитывая, что сами послы также, весьма похоже, были взяты из числа «мужей» соответствующего князя-«архонта», эти послы с собственными «мужами» живо напоминают летописного Игорева «воеводу» Свенельда и его «отроков» (см. примеч. 7).

Итак, положение «мужей» Ольги и Святослава, как оно вырисовывается из нашего анализа *De cerim. II, 15*, явно сходствует с положением древнерусской дружинной верхушки – бояр: да, они участвуют в обсуждении политических дел, но лишь как члены личного окружения князя, суверенного голоса не имея, – его имеет только князь или его официальный представитель, посол. Нельзя не отметить и самого выражения *ἄνθρωποι,* очень уж похожего на кальку др.-русск. *мужи* – термина, который, в сочетании с притяжательным определением, вроде «княжи мужи» или т. п., служил обычным обозначением для лиц на княжеской службе (СДРЯ 5, с. 38–39, s. v. МОУЖЬ, знач. 2).

В восприятии греческой стороны, которое вольно или невольно руководствовалось чиновной иерархией, определявшейся степенью близости к персоне императора, положение члена этой дружинной верхушки могло быть даже выше, чем положение посла («ближние» Ольги получили после первого приема по 20 милиарисиев, а послы – всего по 12). Но в династически ориентированной древнерусской политической действительности ближняя дружина стояла ступенькой ниже «княжьи»: самый младший среди «княжьи» был выше ее. Хотя в отношении материального богатства уже упоминавшийся Свенельд, похоже, существенно превосходил многих представителей княжеского рода, в отношении политического властвования он стоял позади «княжьи» в принципе. Богатство бояр было следствием прав, делегированных князем (в случае со Свенельдом – права сбора дани с древлян и уличей), и возникавшее на этой основе возможное политическое влияние носило опосредованный характер, политическая же роль «архонта» – члена княжеского рода обусловливалась непосредственно его династическим положением. Именно поэтому в договорах с греками X в. носителями государственной власти на Руси выступают киевский князь и целокупность княжеского рода (и, добавим, политическая стихия покуда еще не окняженных торгово-ремесленных центров), тогда как дружина, сколь бы влиятельной фактически она ни была в лице своих отдельных представителей, в качестве субъекта политического властвования никак не представлена.

[18] Чтобы избавить это противопоставление от некоторого оттенка трюизма, надо подчеркнуть, что ср.-греч. *δοῦλος*, *δουλεῖα* давно уже не имели специфического для древнегреческого языка значения «раб, рабство», выступая обычным названием для лиц, исполняющих государственную службу, и их положения; ср., например, βασιλικὴ δουλεῖα «царская служба» как обозначение обязанностей высших имперских чиновников (магистров, патрикиев и стратигов) в том же обряднике Константина Багрянородного (Const. de cerim. II, 1, p. 522.16).

Источники и литература

Горский А. А., 1989. Древнерусская дружина. М.

Горский А. А., 2005. Летописный контекст русско-византийских договоров и проблема «договора 907 г.» // Ad fontem – У источника : сб. ст. в честь С. М. Каштанова. М., 2005.

Грушевський М. С., 1913. Історія України-Руси. Т. 1. Вид. 3. Київ.

Дворецкий И. Х., 1958. Древнегреческо-русский словарь / сост. И. Х. Дворецкий ; под ред. С. И. Соболевского. Т. 1–2. М. [Пагинация обоих томов – общая.]

ДРСЗИ. Хрестоматия 4 – Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия. Т. 4 : Западноевропейские источники / сост., перев. и комм. А. В. Назаренко. М., 2010.

Котляр Н. Ф., 1998. Древнерусская государственность. СПб.

Лавровский Н., 1904. О византийском элементе в языке договоров Руси с греками // Русский филологический вестник. Т. 52. Варшава. Вып. 3. [Первое издание вышло в 1853 г.]

Литаврин Г. Г., 2000. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII в.). СПб.

Лурье Я. С., 1987. Радзивиловская летопись // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1 : XI – первая половина XIV в. Л.

Малингуди Я., 1997. Русско-византийские договоры в X веке в свете дипломатики // Византийский временник. Т. 57 (82). М.

Назаренко А. В., 1993. Немецкие латиноязычные источники IX–XI вв. : текст, перевод, комментарий. М. (ДИ).

Назаренко А. В., 1996. Некоторые соображения о договоре Руси с греками 944 г. в связи с политической структурой Древнерусского государства // Восточная Европа в древности и средневековье. VIII Чтения памяти В. Т. Пашуто : Политическая структура Древнерусского государства. М.

Назаренко А. В., 2001. Древняя Русь на международных путях : междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII веков. М.

Назаренко А. В., 2009а. Территориально-политическая структура Древней Руси в первой половине X в.: Киев и «Внешняя Русь» Константина Багрянородного // Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого света : материалы Международной конференции, состоявшейся 14–18 мая 2007 г. в Гос. Эрмитаже. СПб. (Труды Гос. Эрмитажа, XLIX).

Назаренко А. В., 2009б. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М. (Древнейшие государства Восточной Европы, 2007 год).

Назаренко А. В., 2013. Западноевропейские источники // ДРСЗИ.

НПЛ – Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / под ред. М. Д. Приселкова. М. ; Л., 1950.

ПВЛ – Повесть временных лет / подг. текста, перев., статьи и коммент. Д. С. Лихачева; под ред. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. (Литературные памятники).

Приселков М. Д., 1956. Троицкая летопись : реконструкция текста. Л.

ПСРЛ 1 – ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. 2-е изд. / изд. Е. Ф. Карский. Л., 1928.

ПСРЛ 2 – ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись. 2-е изд. / изд. А. А. Шахматов. СПб., 1908.

ПСРЛ 38 – ПСРЛ. Т. 38: Радзивиловская летопись / изд. подг. М. Д. Приселков и др. Л., 1989.

Рыбаков Б. А., 1982. Киевская Русь и древнерусские княжества XII–XIII вв. М.

Свердлов М. Б., 2003. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси VI – первой трети XIII в. СПб.

СДРЯ 1–9 – Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. Т. 1–9–. М., 1988–2012–. [Издание продолжается.]

Стефанович П. С., 2012. Бояре, отроки, дружины: военно-политическая элита Руси в X–XI веках. М.

Толочко А. П., 1992. Князь в Древней Руси : власть, собственность, идеология. Киев.

Томсен В., 2002. Начало русского государства / пер. с нем. Н. Аммона // Из истории русской культуры. Т. 2, кн. 1 : Киевская и Московская Русь / сост. А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. М., 2002. [Первое издание вышло в 1891 г.]

Шахматов А. А., 1916. Повесть временных лет. Т. 1 : вводная часть, текст, примечания. Пгр., 1916 (Летопись занятий Императорской Археографической комиссии. Т. 29).

Const. de adm. – Константин Багрянородный. Об управлении империей : текст, перевод, комментарий / [пер. с греч. Г. Г. Литаврина]; под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева. М., 1989. (ДИ).

Const. de cerim. – Constantini Porphyrogenneti De cerimoniis aulae byzantinae libri duo / rec. I. I. Reiske. T. 1. Bonnae, 1829. (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae).

Cont. Reg. – Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum continuatione Treverensi / ed. F. Kurze. Hannover, 1890. (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi. [T. 50]).

Featherstone M., Grusková J., Kresten O., 2005. Studien zu den Palimpsestfragmenten des sogenannten «Zeremoniebuches». I: Prolegomena // Byzantinische Zeitschrift. Bd. 98. München.

Featherstone J. M., 2008. DI'ENDEIXIN: Display in Court Ceremonial (De cerimoniis II, 15) // The Material and the Ideal: Essays in Medieval Art and Archaeology in Honour of J.-M. Spieser. Leiden.

Hellmann M., 1987. Die Handelsverträge des 10. Jahrhunderts zwischen Kiev und Byzanz // Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlicher Zeit in Mittel- und Nordeuropa. Teil 4: Der Handel der Karolinger- und Wikingerzeit. Bericht über die Kolloquien der Kommission für die Altertumskunde Mittel- und Nordeuropas in den Jahren 1980 bis 1983 / hg. K. Düwel, H. Jankuhn, H. Siems, D. Timpe. Göttingen. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 3. Folge. Nr. 156).

Lampe G. W., 1961. A Patristic Greek Lexicon. Oxford.

Liddel H. G., Scott R., 1996. A Greek-English Lexicon. Oxford.

Malingoudi J., 1994. Die russisch-byzantinischen Verträge des 10. Jhds. aus diplomatischer Sicht. Thessaloniki. (Βιβλιοθήκη Σλαβικῶν Μελετῶν – Bibliothek Slavistischer Studien, 5).

Poppe A., 1988. Werdegang der Diözesanstruktur der Kiever Metropolitankirche in den ersten drei Jahrhunderten der Christianisierung der Ostslaven // Tausend Jahre Christentum in Russland: Zum Millennium der Taufe der Kiever Rus' / hg. K. Ch. Felmy, G. Kretschmar, F. von Lilienfeld, C.-J. Roepke. Göttingen.

Sorlin I., 1961. Les traités de Byzance avec la Russie au X^{e} siècle (II) // Cahiers du monde russe et soviétique. Vol. 2. Paris. Nr. 4.

Summary

A. V. Nazarenko

The Prince and his Armed Retinue (Družina) in the Era of Treaties Between Rus' and the Greeks

Analysis of Russian-Byzantian treaties dating from the middle and third quarter of the 10th century make it possible to conclude that the prince's armed retinue as such is not mentioned in them. These men *(ἄνθρωποι)* in the service of this or that prince figure in the description of a reception for the Kievan princess Olga in Constantinople in 946/957 in a treatise written by emperor Constantine Porphyrogennetos, «De cerimoniis aulae Byzantinae». Unlike the «princes» *(ἄρχοντες)* and princely ambassadors, the men *(ἄνθρωποι)* did not possess any independent political status or represent their state, although their ceremonial money dispensations were sometimes in excess of those paid to ambassadors and they could also exercise their deliberative vote within the framework of the Russian delegation.

А. А. Горский

Возникновение Руси в контексте европейского политогенеза конца I тысячелетия н. э.

Эпоха перехода от Античности к Средневековью традиционно считается временем, когда государственное устройство распространилось на весь Европейский континент. Однако формирование европейских раннесредневековых государств происходило в два этапа. Первый относится к V–VI вв. В этот период государства складывались только на территории, примерно совпадающей с пределами прежней Римской империи, т.е. зоны античной цивилизации: в Западной (в узком смысле – западнее Эльбы) и Южной (к югу от Альп) Европе и в Британии. Ни одно из возникших в V–VI столетиях государств (Франкское, Остготское, Бургундское, Лангобардское, Вестготское, Свевское, англосаксонские королевства) в наши дни не существует.

Второй этап охватывает IX–X столетия. Обычно констатируется, что в это время государственность распространяется на Северную, Центральную и Восточную Европу. Но и в Западной и Южной Европе, где государственность возникла в античную эпоху, а в V–VI вв. сложились раннесредневековые государства, в IX–X столетиях происходило формирование новых государств, причем ныне существующих – Франции, Германии, Италии, Англии (как единого королевства).

Таким образом, в IX–X вв. политогенез происходил практически на всем Европейском континенте, хотя и на разных стадиях. И возникшие тогда государства в большинстве своем существуют поныне – в том смысле, что сохранились основы их территорий, наименования, а также соответствующие им этнические общности. Всего в IX–X вв. сформировалось 14 таких государств: Франция, Германия, Италия, Англия, Дания, Швеция, Норвегия, Чехия, Польша, Русь, Болгария, Хорватия, Сербия, Венгрия.

Неизбежна констатация: именно в IX–X вв. формировалась новая политическая и этническая карта Европы, существующая в основных чертах до наших дней. И следовательно, формирование Руси было составной частью этого *общеевропейского* процесса.

При этом Русь представляла собой в определенном смысле явление уникальное. Обычно воспринимается как само собой разумеющийся тот факт, что у восточных славян сложилось одно государство. Между тем и у западных, и у южных славян, хотя они занимали много меньшую территорию, чем славяне восточные, сформировалось по несколько государственных образований[1].

В данной работе затрагиваются два вопроса, имеющие отношение к общеевропейскому контексту древнерусского политогенеза.

Возникновение Руси и империя франков

Говоря о причинах, приведших к «валу» политогенеза в конце I тысячелетия н. э., можно, вероятно, указать на несколько гипотетических факторов, но один представляется достаточно очевидным: это экспансия Франкского государства при Каролингах, во второй половине VIII–IX в. Она несомненно оказала заметное воздействие на народы Центральной и Северной Европы: современные исследователи полагают, что во многом именно с франкским влиянием следует связывать формирование государственности у скандинавов, западных и отчасти южных славян (Franks, Northmen and Slavs, 2008).

Восточноевропейский регион географически был отдален от зоны франкской экспансии, и прямое ее

[1] В складывании у восточных славян одного государства нет оснований усматривать некую историко-географическую предопределенность, поскольку позже, с XII в., на Руси сформировалась система из более чем десятка фактически независимых государств, просуществовавших несколько столетий.

воздействие на формирование государства восточных славян – Руси – вроде бы не просматривается. Однако есть данные, позволяющие полагать, что Русь не осталась в стороне от этого явления. Содержатся эти данные в древнерусских и византийских источниках.

В «Повести временных лет» (начало XII в.), в рассказе о расселении славян (помещенном во вводную, недатированную часть летописи), говорится: «Волохомъ бо нашедшим на словѣны на дунаискые, и сѣдшимъ в нихъ и насиляющимъ имъ, словѣне же ови пришедше и сѣдоша на Вислѣ, и прозвашася ляховѣ, а от тѣхъ ляховъ прозвашася поляне, ляховѣ друзии лютицѣ, инии мазовшане, а инии поморяне. Тако же и тѣ же словѣне пришедше сѣдоша по Днѣпру и наркошася поляне, а друзии деревляне, зане сѣдоша в лѣсѣхъ; а друзии сѣдоша межи Припѣтью и Двиною и наркошася дреговичи; и инии сѣдоша на Двинѣ и нарекошася полочане, рѣчькы ради, яже втечеть въ Двину, именемъ Полота, от сея прозвашася полочанѣ. Словѣне же сѣдоша около езера Илмера, и прозвашася своимъ именемъ, и сдѣлаша городъ и нарекоша и Новъгородъ. А друзии седоша по Деснѣ, и по Семи, и по Сулѣ, и наркошася сѣверо» (ПСРЛ, 2001, стб. 5; ср.: ПСРЛ, 1997, стб. 6). Таким образом, утверждается, что славяне, жившие на Дунае, подверглись нападению и насилиям со стороны неких *волохов* и вынуждены были переселиться; причем к этим переселенцам с Дуная отнесены как «ляшские» группировки (заселившие территорию будущей Польши), так и ряд восточнославянских – поляне, древляне, дреговичи, полочане, словене и север (северяне). Под «волохами» имеются в виду франки (Шахматов, 1919, с. 25–27; Свердлов, 1993, с. 19; Петрухин, 2000, с. 50–51), которые после разгрома ими Аварского каганата стремились утвердить свое господство в Среднем Подунавье: в конце VIII столетия в состав Франкской империи вошли карантанцы (хорутане), франкское верховенство временами признавали моравane и хорваты[2]. Другое упоминание «волохов» в «Повести временных лет» – в статье 898 г. – говорит о вытеснении их из Среднего Подунавья венграми (ПСРЛ, 1997, стб. 26: «…и почаша воевати на жиущая ту волхи и словѣни. Сѣдяху бо ту преже словѣни, и волъхве прияша землю словеньску; посем же угри прогнаша волъхи, и наслѣдиша землю ту, и седоша съ словѣны, покорившe я подъ ся, и оттоле прозвася земля Угорьска»; ср.: ПСРЛ, 2001, стб. 18), что соответствует реалиям восточнофранкско-венгерских отношений в конце IX – начале X столетия.

Летописное утверждение о переселении части восточных славян с Дуная археологией в целом, казалось бы, не было подтверждено: восточнославянские общности раннего Средневековья формировались главным образом на основе населения культур лесостепной и лесной зоны Восточной Европы VI–VII вв. (см.: Седов, 1982). Но в последние десятилетия были накоплены археологические данные, позволяющие полагать, что вымыслом это утверждение не является. Выяснилось, что в культуре славян Восточной Европы прослеживается среднедунайское влияние, причем отчасти связанное, скорее всего, с инфильтрацией групп населения из Среднего Подунавья. При этом особенно интенсивно данное влияние прослеживается в VIII–IX вв. (Седов, 2002, с. 531–551; Щеглова, 2009). Представление о переселении под давлением волохов-франков, таким образом, могло быть связано с реальными выходцами со Среднего Дуная, имевшими опыт контактов с франкским социумом[3].

Другой «франкский след» обнаруживается в византийских источниках.

При византийском императорском дворе существовала традиция, запрещавшая браки членов царствующей семьи с иноземцами, за одним исключением – для франков, делаемым, по выражению императора Константина VII Багрянородного, «ради древней славы тех краев и благородства их родов» (Константин Багрянородный, 1989, с. 58–61). Подтверждением этих слов явилось обручение в Константинополе в сентябре 944 г. сына Константина Романа с Бертой, дочерью короля Италии (в византийских хрониках – «король Франгии») Гуго (Theophanes continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus, 1838, p. 431. 11–19; 748. 5–12; 917. 11–18; Константин Багрянородный, 1989, с. 100–101). Во время этого события в столице империи находилось русское посольство, заключившее от имени киевского князя Игоря договор с Византией (текст которого сохранился в составе «Повести временных лет»[4]). А через несколько лет, около 948 г., в рассказ византийского придворного хрониста о походе Игоря на Константинополь 941 г. было внесено утверждение, что русские (греч. Ῥῶς) происходят «от рода франков» – *ἐκ γένους τῶν Φράγγων*[5].

Анализ данного известия (Горский, 2008а; Горский, 2012, с. 94–103) привел к выводу, что инфор-

[2] Упоминание о «насилиях» волохов над дунайскими славянами перекликается с рассказом главы 30 сочинения византийского императора Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» (середина X в.) о жестокостях, чинимых франками по отношению к хорватам (Константин Багрянородный, 1989, с. 130–133).

[3] Не исключено, что выходцы из Подунавья, хорошо знакомые благодаря контактам с франками с принципами социально-политической иерархии, могли занять главенствующие позиции в некоторых восточнославянских группировках.

[4] О дате договора см.: Повесть временных лет, 1996, с. 23–26, 431; Назаренко, 2001, с. 267–268.

[5] Оно присутствует в двух византийских хрониках: Продолжателя Феофана и Симеона Логофета в двух (из трех известных) ее редакциях – Хронике Георгия Амартола (с продолжением) по Ватиканскому списку и Хронике Псевдо-Симеона (Theophanes continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus, 1838, p. 423. 15–17; 747. 12–14; Истрин, 1922, с. 60. 26–27).

мация о франкском происхождении *руси* не могла иметь византийское или франкское происхождение, она явно была получена от русской стороны. Вероятнее всего, это было связано с планами правительницы Руси (с 945 г.) княгини Ольги заключить брачный союз с империей[6]. Франкское происхождение русского княжеского семейства позволяло обойти запрет на браки с иноземцами, соблюдавшийся в Константинополе. Понятие «франки» имело тогда в Византии широкое значение: так именовали население государств – наследников империи Карла Великого безотносительно этнической принадлежности (Ohnsorge, 1958, S. 227–254; Константин Багрянородный, 1989, с. 337, 354, 360).

Реальной основой для утверждения о франкском происхождении русской княжеской династии мог стать факт пребывания ее предка и его дружинного окружения на территории франков. Такого рода явление – служба того или иного предводителя норманнов франкским правителям – было весьма распространенным в IX–X вв. (см.: Мельникова, 2008). Так, в IX столетии предводителем викингов, дольше всех находившимся на франкской территории, был тезка летописного Рюрика – представитель датской династии конунгов Рёрик (которого многие исследователи считают одним лицом с родоначальником древнерусской княжеской династии)[7]. Рёрик служил Каролингам с конца 830-х до 870-х гг. (с короткими перерывами)[8], а появился во франкских владениях, скорее всего, уже в 820-е гг., вместе со своими старшими родственниками, изгнанными соперниками из Дании (см.: Пчелов, 2010, с. 140–142, 151). Таким образом, он жил на франкской территории около полувека и, по византийским представлениям, являлся безусловным «франком».

Брачный союз между Русью и Византией при Ольге не состоялся[9], и император Константин в своем трактате предупреждал, что не следует отдавать багрянородных принцесс в жены правителям Руси (равно как Хазарии и Венгрии) (Константин Багрянородный, 1989, с. 64–63). Можно было бы полагать, что сказалось разное понимание происхождения «от рода франков» русской и византийской сторонами: первая исходила из того, что для брака достаточно связи предков Святослава с франкской территорией, Константин же под «благородными родами» франков имел в виду узкий круг знатнейших семейств – Каролингов и связанных с ними родством (ср.: Горский, 2012, с. 102). Однако существует факт, позволяющий думать, что Ольга и ее дипломаты отнюдь не были наивны.

Король Италии Гуго, отец Берты, ставшей невесткой Константина VII, был потомком Карла Великого по женской линии: его мать, тоже Берта, являлась дочерью короля Лотарингии Лотаря II (ум. 869), правнука Карла (см.: Фазоли, 2007, с. 92, 284–285). У Берты была родная сестра Гизла (Гизела). В 882 г. двоюродный дядя, император Карл Толстый, выдал ее замуж за предводителя данов Годфрида. Этот брак скреплял договор, по которому Годфрид получил Фрисландию, бывшую до этого владением его родственника – Рёрика (Annales Xantenses et Annales Vedastini, 1909, p. 51; Историки эпохи Каролингов, 1999, с. 167: «…к нему вышел король Годфрид (Godefridus), и император передал ему королевство фризов, которым прежде владел дан Рорик, дал ему в супруги Гизлу, дочь короля Лотаря»)[10].

Таким образом, если Рёрик и Рюрик – одно лицо, то у русских князей было родство по браку с Каролингами. Посольство 944 г. могло получить информацию, что невеста Романа – дочь короля, чья родная тетка была замужем за близким родственником тогдашнего киевского князя Игоря Рюриковича. Претензии на равенство с королем Гуго в качестве матримониальных партнеров византийских императоров в этом случае вполне обоснованны: русские князья не просто имеют предка, связанного с территорией франков, но, как и Гуго, находятся в свойстве с франкской императорской династией. Их позиция, конечно, несколько слабее, потому что в русском случае, в отличие от итальянского, это свойство не переросло в кровное родство по женской линии, а сам брачный союз с каролингской принцессой был заключен представителем боковой по отношению к Рюрику линии. Но главным, по тогдашним понятиям, был сам факт такого брака: тем самым признавалось равенство Годфрида и его родственников Каролингам, они, как и знатные франкские роды, породнившиеся с императорской династией, оказывались причислены к высшей элите Франкской империи.

[6] Существование таких планов у княгини в отношении ее сына Святослава предполагают на основании совокупности косвенных аргументов исследователи, анализировавшие перипетии визита Ольги в Константинополь, имевшего место в 946 или 957 г. (Müller, 1987, S. 81–82; Литаврин, 2000, с. 211–212; Назаренко, 2001, с. 301–302).

[7] Новейшую сводку данных о Рёрике и историографию проблемы его возможного тождества с Рюриком см.: Пчелов, 2010, с. 134–156.

[8] Большую часть этого времени он управлял Фрисландией (Фризией) – областью в районе устья Рейна (совр. Нидерланды).

[9] Именно с негативной позицией византийской стороны в этом вопросе исследователи связывают низкий статус «людей Святослава» на первом приеме Ольги в императорском дворце и их отсутствие на втором (см.: Назаренко, 2001, с. 301–302).

[10] Если этот Годфрид одно лицо с Годфридом, действовавшим (в том числе вместе с Рёриком) в 850–860-х гг., то он был, скорее всего, двоюродным братом Рёрика, если нет – степень их родства неясна, но то, что Годфрид также принадлежал к роду датских конунгов (Скьольдунгов), несомненно, т.к. он определяется в источниках как rex (Annales Fuldenses, 1891, a. 885, p. 114; Annales Xantenses et Annales Vedastini, 1909, a. 880, p. 46–47; a. 882, p. 51; см. также: Пчелов, 2010, с. 145–147, 151).

Гипотеза о тождестве Рюрика и Рёрика[11] приобретает таким образом дополнительный аргумент. Между тем ее принятие ведет к существенным корректировкам представлений о древнерусском политогенезе: если в Восточную Европу пришел предводитель, хорошо знакомый (как люди из его окружения) с опытом франкского государственного управления (фактически бывший долгое время наместником франкской провинции[12]), то именно это могло стать одной из причин успешной деятельности Рюрика и его преемников по установлению системы властвования, охватившей всю восточнославянскую территорию и приведшей к формированию крупнейшего в Европе государства. В этом случае нужно говорить об опосредованном франкском влиянии на формирование древнерусской государственности.

В связи с данной проблемой представляют исключительный интерес обнаруженные на рубеже XX–XXI вв. археологические свидетельства пребывания данов во Фрисландии. Это два клада с бывшего острова Виринген, входившего во владения Рёрика, ставшие первыми находками «кладов викингов» на франкской территории[13].

Один из кладов (Westerklief I) датируется временем около 850 г., другой (Westerklief II) оказался в земле в начале 880-х гг., незадолго до окончания периода власти норманнских предводителей во Фрисландии. Если в первом присутствуют предметы, маркирующие социальный статус, 78 каролингских монет и 3 восточных, то для второго характерно преобладание арабских монет, причем их количество беспрецедентно для археологических свидетельств пребывания норманнов в Западной Европе – 95 (при 39 каролингских), в том числе 42 целых и 53 фрагментированных (Besteman, 2002; Besteman, 2004a)[14].

Находки куфических монет старше 890-х гг. (начиная с которых их приток заметно увеличивается в связи с началом масштабной чеканки в государстве Саманидов) относительно многочисленны в Восточной Европе (по торговым речным путям которой восточное серебро перемещалось на север), на южном побережье Балтийского моря и в Восточной Скандинавии. По направлению к западу от Балтики их число резко падает. Если в Швеции дирхемы этого времени исчисляются тысячами, а на острове Готланд десятками тысяч (при этом количество кладов превысило полсотни), то в Дании (откуда происходили предводители норманнов, обосновавшиеся во Фрисландии) и Норвегии ситуация совершенно иная: в Дании, включая Сконе (населенную данами южную оконечность Скандинавского полуострова, выступающую в Балтийское море), в кладах и в виде отдельных находок, преимущественно на крупных поселениях, – около 400 монет (в том числе в западной части датской территории – на полуострове Ютландия – менее 100), в Норвегии – немногим более сотни (см.: Skaare, 1976, p. 40–42, 47–48; Wiechmann, 2007, p. 35–42; Blackburn, 2008; Kilger, 2008)[15]. Что касается Западной Европы, где появление куфических монет переднеазиатского происхождения (в отличие от чеканенных в Северной Африке и Испании), несомненно, связано с экспансией норманнов, то здесь находок IX в. еще меньше. В Англии это 3 монеты из одного клада 870-х гг. (Croydon) и несколько десятков отдельных находок (большей частью на месте зимней стоянки т. н. «Великой армии» данов в 872/73 г. в Торксей) (Naismith, 2005, vol. 165, p. 211, 215–217; Brown, Naismith, 2012). На франкской территории (без учета Фрисландии) ближневосточные монеты IX в. и вовсе единичны[16]. Таким образом, по направлению от Восточной Скандинавии на запад наблюдается тенденция к сокращению находок восточных монет (она сохранится и в X столетии при значительном росте общего количества находок) по линии Готланд – материковая Швеция – Дания – Норвегия – Англия – Франкия.

Но территория Фрисландии не вписывается в эту картину. Помимо почти сотни монет из кладов Westerklief I и II, в Нидерландах в виде отдельных находок обнаружено более трех десятков восточных монет, все близ побережья, в зоне действий норманнов (в том числе 7 – на том же острове Виринген); при этом только одна из них относится к X в. (когда данов во Фрисландии уже не было), а из остальных младшая датируется 865/66 г. (Besteman, 2004б, S. 30–34, 39 (n. 33), 41). В сумме количество

[11] См. доводы в ее пользу: Горский, 2012, с. 82–109.

[12] Часто цитируемое определение Рёрика в Ксантенских анналах как «желчи христианства» (fel Christianitatis) связано с конкретным обстоятельством – подробно описанным в источнике разорением норманнами города Ксантены в 863 г., которое стало возможным, потому что Рёрик, управлявший Фрисландией, позволил викингам двинуться вверх по Рейну (Annales Xantenses et Annales Vedastini, 1909, a. 864, p. 20–21; a. 873, p. 32; Историки эпохи Каролингов, 1999, с. 150–151, 158; Annales Bertiniani, 1883, a. 863, p. 61). Фульдские анналы, близкие ко двору восточнофранкских королей, характеризуют Рёрика как «верного королям франков» (Francorum regibus fidelis – Annales Fuldenses, 1891, a. 882, p. 99). О крещении Рёрика в начале 860-х гг. см.: Flodoard von Reims, 1998, S. 307, 335–336.

[13] В 2007 г. еще один норманнский клад (конца IX в.) был обнаружен в Сен-Пьер-де-Флер (Нормандия).

[14] Младшие куфические монеты из клада Westerklief II датируются 871/72 г., каролингские – 877 г.

[15] В 2012 г. был найден клад с большим количеством (более 150) арабских монет IX в. на принадлежащем Дании острове Борнхольм. Но Борнхольм расположен в Балтийском море, в полутора сотнях километров восточнее основной датской территории, и фактически относится к восточноскандинавскому региону (ср.: Kilger, 2008, p. 210).

[16] Одна куфическая монета во Фландрии и одна в открытом в 2007 г. норманнском кладе из Сен-Пьер-де-Флер, Нормандия (см.: Duplessy, 1956, p. 108, 124 (№ 13); McCormick, 2001, p. 823 (A28); Coupland, 2001, vol. 161, p. 159, note 11; Бодуан, 2010, с. 230–231; ср.: Moesgaard, 2011, p. 130–131).

куфических монет старше 890-х гг. во Фрисландии[17] оказывается заметно большим, чем в Англии, притом что территория норманнской экспансии в Британии второй половины IX в. (Денло) превышает по площади соответствующую территорию во Фрисландии примерно втрое. Более того, число «фрисландских дирхемов» оказывается сопоставимо с тем, что обнаружено в самой Дании. Если выделить на датской территории четыре области, каждая из которых примерно равна по площади зоне норманнского присутствия во Фрисландии – Северную и Южную Ютландию, острова Датского архипелага, лежащие в Балтийском море, и Сконе, – соотношение будет следующим: в Северной Ютландии дирхемов старше 890-х гг. зафиксировано в несколько раз меньше, чем во Фрисландии, в Южной Ютландии (откуда происходил Рёрик и его ближайшие родственники) – почти в два раза меньше, и только на островах и в Сконе – несколько больше. Если учесть, что даны во Фрисландии составляли, в отличие от Дании, незначительную часть населения и пребывали не всё IX столетие, а только менее чем полувековой период (с конца 830-х гг., а постоянно – с 850 по середину 880-х, см.: Blok, 1978), а также тот факт, что большая часть дирхемов старше 890-х гг., обнаруженных в Дании, – это не имеющие во Фрисландии аналогов находки из раскопок крупных скандинавских торгово-ремесленных поселений[18], неизбежен вывод, что на территории норманнского присутствия в Нидерландах восточные монеты IX в. встречаются относительно чаще, чем в Дании, хотя исходя из географического положения следовало ожидать прямо противоположной ситуации. При этом местом их особой концентрации (80 % находок) является остров Виринген, который расценивается нидерландскими исследователями как вероятная главная база Рёрика (см.: Besteman, 2002, p. 447–451; Besteman, 2004a, p. 103–105)[19].

Клад Westerklief II по концентрации куфических монет не имеет аналогов в регионе Северного моря. Его размеры соответствуют, скорее, восточноскандинавским «стандартам», они нетипичны уже для Дании и Норвегии: сопоставимое число дирхемов (97) в IX в. здесь встречается только в кладе с острова Фальстер, одного из самых восточных в Датском архипелаге; ни в одном из других ранних датских и норвежских кладов количество куфических монет не достигает полутора десятков (Kilger, 2008, p. 247, tab. 7.10). Даже в первой половине X столетия (когда приток восточного серебра на Север Европы значительно возрастает) число дирхемов в кладах Норвегии, Англии и западной (омываемой Северным морем) части Ютландии не достигает показателя Westerklief II[20].

Обилие куфических монет во Фрисландии середины – второй половины IX столетия не может, таким образом, объясняться только тем, что они доходили туда после использования в Дании, поскольку последняя была в то время относительно беднее арабским серебром. Данный феномен, скорее всего, говорит о наличии у данов, обосновавшихся во Фрисландии, прямых связей с регионом, куда дирхемы поступали в большом количестве. Такими регионами были Восточная Скандинавия и Восточная Европа. Данных об особых отношениях предводителей фрисландских норманнов со Средней Швецией и Готландом не имеется. Что касается Севера Восточной Европы, то в случае, если Рёрик и Рюрик – одно и то же лицо, тесные связи были бы естественны – как до, так и после «призвания» его на княжение. Примечательно, что клад Westerklief I, зарытый около 850 г., их еще практически не обнаруживает: в нем присутствуют всего три восточные монеты, и те использованы в качестве украшения для фибул (Besteman, 2004a, p. 95, 98). Очевидно, установление и развитие прямых связей происходило в период с 850 по 880 год, т. е. в тот хронологический отрезок, к которому относятся события, изложенные в предании о приглашении Рюрика[21].

[17] Из них только четыре – две из клада Westerklief II и две из числа отдельных находок – происходят из Испании и Северной Африки. Таким образом, во Фрисландии обнаружено более 120 куфических монет старше 890-х гг., попавших туда через Балтику.

[18] Фрисландские торгово-ремесленные поселения возникли до начала экспансии норманнов, там использовалась каролингская монета; при этом в крупнейшем из них – Дорестаде – имела место своя чеканка (см.: Coupland, 1988).

[19] Виринген по количеству находок дирхемов на единицу площади оказывается сопоставим с самым богатым арабским серебром регионом Восточной Скандинавии – островом Готланд. На Готланде в кладах 850-х – начала 880-х гг. обнаружено около 18000 дирхемов (см.: Kilger, 2008, p. 248–249), что при площади около 3000 кв. км дает показатель в 6 монет на км. Размеры Виринген ныне равны 27 кв. км, но в IX столетии они были примерно в полтора раза меньше (см.: Besteman 2004a, p. 106). В пересчете на тогдашнюю площадь острова 98 восточных монет из кладов – это 5,5 на км, а с учетом 7-ми отдельных находок – те же 6.

[20] В Дании более крупные клады обнаружены только в областях, прилегающих к Балтийскому морю – на о. Зеландия, в Сконе и на востоке Ютландии; крупнейший норвежский клад содержит 77 дирхемов (см.: Kilger, 2008, p. 200–201). Наибольшее количество дирхемов в Британии – в кладе Cuerdale – около 50 (см.: Naismith, 2005, p. 194, 202, 211). В последние годы в Англии найдено еще несколько норманнских кладов X в., самый крупный из них (Vale of York, или Harrogate) включает 15 восточных монет (см.: Brown, Naismith, 2012, p. 695–696).

[21] Возможно, именно в начале 880-х гг., которым датируется клад Westerklief II, Рёрик (о смерти которого ни одни франкские анналы не сообщают) отбыл в Восточную Европу (см.: Горский, 2012, с. 105–106; неточность датировки «призвания» Рюрика в «Повести временных лет» 862 годом давно признана в историографии, см. об этом: Горский, 2012, с. 11–14). Клад мог быть зарыт кем-то из его окружения – на случай возможного возвращения. Но занявший место Рёрика во Фрисландии Годфрид вскоре вошел в заговор с Гуго, братом свой жены, предъявил непомерные территориальные претензии к императору Карлу Толстому и в 885 г. был убит (см.: Annales Fuldenses, 1891, a. 883, p. 100; a. 885, p. 102, 114; Annales Xantenses et Annales Vedastini, 1909, p. 57; Reginones abbatis Prumiensis chronicon, 1890, a. 885, p. 123–125; Историки эпохи Каролингов, 1999, с. 170), после чего даны были изгнаны из Фрисландии. Судьба владельца клада, как и его соратников, скорее всего, оказалась связана с Русью.

Очень похоже, что археологические находки во Фрисландии являют собой свидетельства «предпосылок» перемещения Рюрика в Восточную Европу: он отправился не в неведомую землю, а в ту, с которой имелись налаженные отношения, в том числе экономические.

Итак, оба главных этнических компонента, участвовавших в складывании государства Русь, – восточные славяне и «варяги» – скорее всего, тем или иным образом получили импульсы политического развития от франков, чья экспансия оказала воздействие на возникновение государств значительной части Европы IX–X вв.

Терминология

В историографии для описания политического развития Восточной Европы в период складывания Руси используются главным образом два термина: *племена* и *княжества*. «Племенами» называют восточнославянские догосударственные общности, расселение которых подробно описано в «Повести временных лет» (поляне, древляне, дреговичи, вятичи, кривичи и др.); «княжествами» именуют составные части государства Русь, управлявшиеся князьями-Рюриковичами. Оба термина производят впечатление древних слов (в отличие, скажем, от

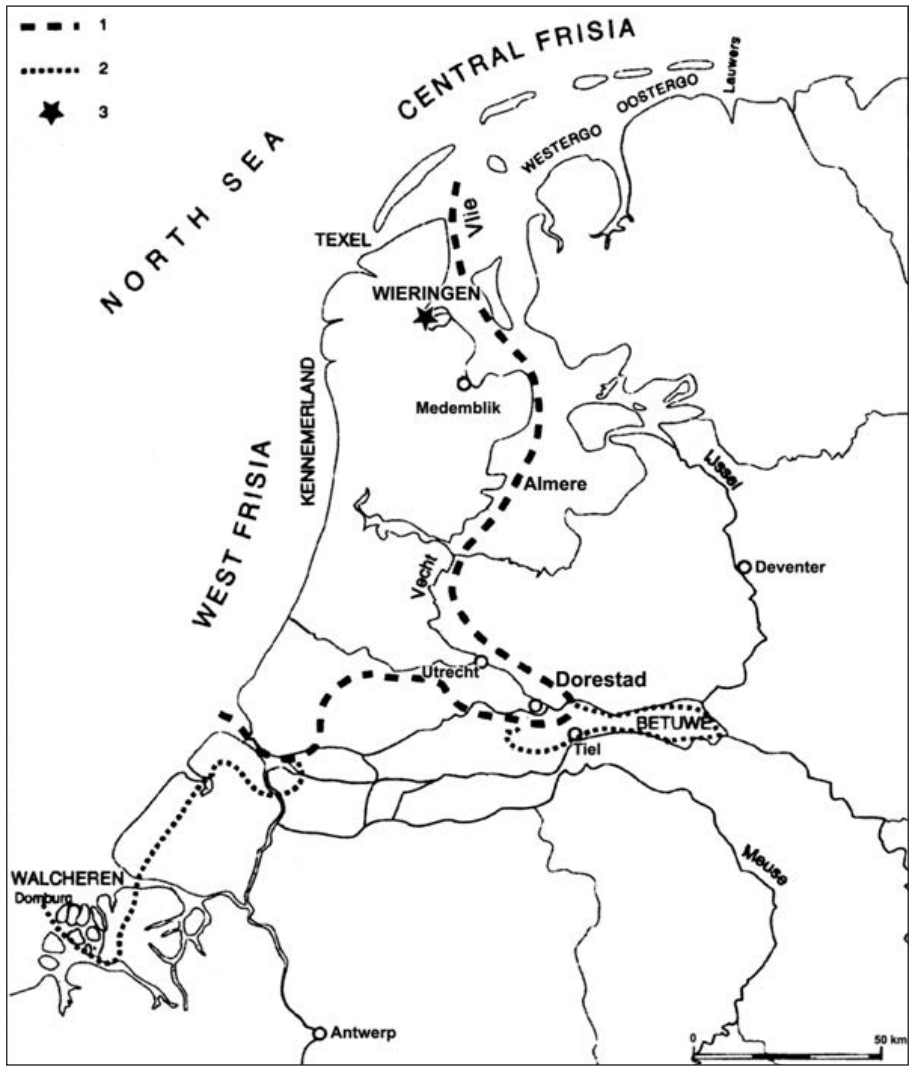


Рис. 1. Фрисландия в IX столетии
(в основе карта, подготовленная Я. Бестменом и Б. Браувенстайном: Besteman, 2002, p. 447; пределы владений Рёрика и Годфрида очерчены авторами главным образом на основе списка владений Утрехтской епископии IX в., см.: Henderikx, 1986, p. 543–552).

1 – пределы территории, несомненно, находившейся под властью Рёрика и Годфрида;

2 – максимально возможные границы распространения власти датских предводителей;

3 – район находки кладов Westerklief I и II

словосочетания «Древнерусское государство», сразу выдающего свою искусственность), из-за чего может сложиться впечатление, что они бытовали в тех же значениях, в которых ныне используются наукой, и в изучаемую эпоху. Но впечатление это обманчивое.

Слово *племя* известно в раннее Средневековье, но оно никогда не применялось к догосударственным славянским общностям. В «Повести временных лет» это слово встречается в значении «потомки» – при изложении библейских сюжетов («племя Афетово», «племя Хамово»), по отношению к аварам («их же несть племени, ни наслѣдъка») (ПСРЛ, 1997, стб. 4–5, 7, 12, 20, 93, 96–97, 183, 234). Восточнославянские группировки, о расселении которых по Восточной Европе в летописи подробно рассказано, как «племена» не обозначаются ни разу.

Слово *княжество* впервые встречается только в конце XIV века[22]. Причем вначале оно употребляется лишь на юго-западе древнерусской территории, на галицко-волынских землях, принадлежащих тогда литовским и польским князьям. Первый известный случай употребления термина «княжество» по отношению к Московской Руси относится к концу XV столетия (Духовные и договорные грамоты, 1950, №. 83, с. 329, 332). То есть не только в X–XI, но даже в XII, XIII и XIV веках никаких «княжеств» на Руси не было.

Укоренение такой неверной и вносящей путаницу терминологии[23] тем более досадно, что Русь в сравнении с западнославянскими странами (источники по ранней истории которых, за малыми исключениями, написаны на латыни) предоставляет уникальную возможность пользоваться аутентичной, славяноязычной терминологией, отображающей политическое развитие.

Славянские догосударственные общности у самих славян особого обобщающего terminus technicus не получили: территории тех или иных славянских группировок обозначались словами, образованными от этнонимов их населения – например, *вятичи* было и названием народа, и территории, которую он занимал; территория древлян называлась *дерева* или *деревы* (Горский, 2008б, с. 12–13). Но такой термин был изобретен в наиболее развитом государстве раннего Средневековья – Византийской империи. Здесь славянские группировки раннего Средневековья называли «славиниями» (*Σκλαβηνία*)[24]. Чаще всего так именуются в византийских источниках политические образования ближайших соседей империи – южных славян, но аналогичный термин прилагался и к славянам западным и восточным: так, император Константин VII Багрянородный в середине X в. в своем трактате «Об управлении империей», рассказывая о восточнославянских общностях, зависимых от киевских князей, определял их как «славинии вервианов, другувитов, кривичей, севериев» (Константин Багрянородный, 1989, с. 50–51)[25] (т. е. древлян, дреговичей, кривичей и северян).

Для обозначения же, говоря современным языком, государственных территорий специальные древнерусские обозначения появились. Они определялись через понятия *земля* и *волость*. В историографии эти термины употребляются, но часто недифференцированно (появился даже гибрид *волости-земли*, подразумевающий синонимичность обоих понятий). Между тем в источниках они, как правило, обозначали разные по характеру территориально-политические образования[26]. *Землями* именовались независимые государства. В древнерусских источниках встречаем словосочетания «Греческая земля» (Византия), «Лядская земля» (Польша), «Угорская земля» (Венгрия), «Болгарская земля» и другие. Соответственно, сформировавшееся на территории расселения восточных славян в течение IX – X вв. государство называлось *Русь*[27] или *Русская земля.* Обе эти формы присутствуют уже в договоре Олега с Византией 911 г. – древнейшем отечественном письменном источнике («в Рускую землю», «пришедшимъ в Русь», «приходящим в Русь», «и да поимуть в Русь», «възратиться

[22] В форме *князьтво,* см.: Грамоти XIV ст., 1974, № 24, с. 50 (1375 г.); № 28, с. 59 (1378 г.); № 29, с. 61 (1378 г.). Ранее существовало слово *княжение*, но оно в домонгольский период не применялось в значении «подвластная князю область», основным его значением было «княжеская власть, правление» (см.: Срезневский, 1893, стб. 1397–1398).

[23] Ее настойчивое применение иногда сбивает с толку даже специалистов: см. работу, в которой всерьез рассуждается, будто автор «Повести временных лет» из всех терминов, обозначавших в древнерусском языке этнические общности, выбрал слово *племя*, и «последовательно» (!) применял его к общностям восточных славян (Tolochko, 2008, p. 170–172, 179).

[24] См. об этом термине (Литаврин, 1984).

[25] Аналогично территориально-политические образования, населенные франками (в широком – византийском – смысле этого понятия, т.е. подданными наследников империи Карла Великого), именовались тем же автором «франгиями» (Φραγγία) – термином, образованным таким же способом добавления окончания ία к этнониму (Константин Багрянородный, 1989, с. 52–53, 106–107, 116–121, 130–137, 140–141).

Использование по отношению к славянским догосударственным группировкам термина *племя* неверно и в случае, если под «племенем» подразумевать только условный научный термин. В современной политической антропологии признается, что между племенной стадией развития и государством существовал переходный этап – т.н. «вождеств» (англ. chiefdom); славянские раннесредневековые общности по всем признакам относятся именно к «вождествам», а не к «племенам», см. (Горский, 2012, с. 32–48).

[26] Подробно см. (Горский, 2008б, с. 8–32).

[27] Словом *Русь* в раннее Средневековье называли как страну, так и народ, причем *русью* именовались и отдельные группы людей, к нему принадлежащих (часто встречающейся в литературе формы множественного числа – «русы» – не существовало, формой же единственного числа от *русь* было *русин*).

в Русь», «възвращен будет не хотя в Русь») (ПСРЛ, 1997, стб. 35–37)[28].

Волостями же именовались составные части «Русской земли», управлявшиеся наместниками ее верховного правителя – киевского князя. Термин *волость* дожил до XX столетия, при этом с XIV века им обозначались небольшие административные округа, объединявшие несколько сельских поселений и города на своей территории не имевшие. В историографии такое значение понятия *волость* часто распространяется и на домонгольский период, но для этого нет оснований. В источниках XI – начала XII в. *волость* выступает как крупная территориальная единица, имеющая центром город, причем город стольный (с княжеским столом). При этом понятие *волость* (восходящее к глаголу «владеть») в данный период связано с владетельными правами исключительно князя, волости определяются по князьям, а не городам-центрам. Общее количество волостей, на которые делилась *Русская земля*, в XI – начале XII в. колебалось от одного до двух десятков (см.: Горский, 2008б, с. 13–18)[29].

Таким образом, формирование государственности нашло отображение в общественном сознании. При описании этапов политического развития раннесредневековой Руси нет необходимости применять искусственные термины и термины-анахронизмы, поскольку источники донесли понятия, использовавшиеся для обозначения территориально-политических образований современниками. Место мифических «племен» и «княжеств» должны по праву занять реально существовавшие *славинии* (с оговоркой, что термин это византийский), *земли* и *волости*.

[28] Аналогичная картина – в договоре с Византией Игоря 944 г. (ПСРЛ, 1997, стб. 47–48, 51, 53).

[29] С XII столетия крупные волости начинают называться в источниках *землями* – т.е. так, как было принято обозначать суверенные государства; такая перемена в словоупотреблении была связана с фактическим приобретением ими независимого статуса, см. (Горский, 2008б, с. 19–30).

Источники и литература

Бодуан П., 2010. Становление герцогства Нормандского в Руане: современное состояние проблемы и перспективы сравнительных исследований // Диалог культур и народов средневековой Европы. СПб.

Горский А.А., 2008а. Русь «от рода франков» // Древняя Русь : вопросы медиевистики. № 2 (32).

Горский А.А., 2008б. Земли и волости // Горский А.А., Кучкин В.А., Лукин П.В., Стефанович П.С. Древняя Русь : очерки политического и социального строя. М.

Горский А.А., 2012. Первое столетие Руси // Средневековая Русь. Вып. 10. М.

Грамоти XIV ст. Київ, 1974.

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв., 1950. М.; Л.

Историки эпохи Каролингов. М., 1999.

Истрин В.М., 1922. Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Т. 2. Пг.

Константин Багрянородный, 1989. Об управлении империей. М.

Литаврин Г.Г., 1984. Славинии VII–IX вв. – социально-политические организации славян // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М.

Литаврин Г.Г., 2000. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII в.). СПб.

Мельникова Е.А., 2008. Укрощение неукротимых: договоры с норманнами как способ их интеграции в инокультурных обществах // Древняя Русь : вопросы медиевистики. № 2 (32).

Назаренко А.В., 2001. Древняя Русь на международных путях. М.

Петрухин В.Я., 2000. Древняя Русь : Народ. Князья. Религия // Из истории русской культуры. Т. 1 : (Древняя Русь). М.

ПВЛ. СПб., 1996.

ПСРЛ, 1997. Т. 1. М.

ПСРЛ, 2001. Т. 2. М.

Пчелов Е.В., 2010. Рюрик. М.

Свердлов М.Б., 1993. К изучению моравских исторических произведений в составе «Повести временных лет» // Феодальная Россия : новые исследования. СПб.

Седов В.В., 1982. Восточные славяне в VI–XIII вв. М.

Седов В.В., 2002. Славяне : историко-археологическое исследование. М.

Срезневский И.И., 1893. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I. СПб.

Фазоли Дж., 2007. Короли Италии (888–962). СПб.

Шахматов А.А., 1919. Древнейшие судьбы русского племени. Пг.

Щеглова О.А., 2009. Волны распределения вещей из Подунавья на Северо-Восток в VI – VIII вв. как отражение миграций или культурного влияния // Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света. СПб. (Труды Гос. Эрмитажа. Вып. 49).

Annales Bertiniani, 1883. Hannoverae.

Annales Fuldenses, 1891. Hannoverae.

Annales Xantenses et Annales Vedastini, 1909. Hannoverae et Lipsiae.

Besteman J., 2002. Danish rule in West Frisia: a failed Normandy in the 9th century // Centre, region, periphery; Medieval Europe Basel 2002. Vol. 1. Hertingen.

Besteman J., 2004a. The two Viking hoards from the former island of Wieringen (the Netherlands): Viking relations with Frisia in archeological perspective // Land, sea and home: Proceedings of a conference on Viking-period settlement at Cardiff, July 2001. Leeds.

Besteman J. C., 2004 б. Scandinavisch Gewichtsgeld in Nederland in de Vikingperiode // Van Solidus tot Euro: Geld in Nederland in economisch-historisch en politiek perspectief. Hilversum.

Blackburn M., 2008. The coin-finds // Means of exchange: Dealing with silver in the Viking Age (Kaupang excavations project publication series, vol. 2). Aarhus.

Blok D. P., 1978. De Wikingen in Friesland // Naamkunde. T. 10. Leuven.

Brown H. M., Naismith R., 2012. Kufic coin // The Winchester mint and coins and related finds from the excavations of 1961–1971. N. Y.

Coupland S., 1988. Dorestad in the ninth century: the numismatic evidence // Jaarboek voor Munt- en Penningskunde. T. 75. Amsterdam.

Coupland S., 2001. The coinage of Lothar I (840–855) // Numismatic chronicle. L. Vol. 161.

Duplessy J., 1956. La circulation des monnaies arabes en Europe occidentale du VIIIe au XIIIe siècles // Revue Numismatique. T. 18.

Flodoard von Reims, 1998. Die Geschichte der Reimser Kirche. Hannover.

Franks, Northmen and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe. Brepols, 2008.

Henderikx P., 1986. The Lower Delta of the Rhine and the Maas: Landscape and habitation from the Roman period to c. 1000 // Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig bodemonderzoek. Jg. 36. Amersfoort.

Kilger Ch., 2008. Kaupang from afar: Aspects of the interpretation of dirham finds in Northern and Eastern Europe between the late 8th and early 10th centuries // Means of exchange: Dealing with silver in the Viking Age (Kaupang excavations project publication series, vol. 2). Aarhus.

McCormick M., 2001. Origins of the European economy: Communication and commerce 300–900. Cambridge.

Moesgaard J. Ch., 2011. Vikings on the Continent: the numismatic evidence // Viking trade and settlement in continental Western Europe. Copenhagen.

Müller L., 1987. Die Taufe Russlands. München.

Naismith R., 2005. Islamic coins from Early Medieval England // Numismatic chronicle. L. Vol. 165.

Ohnsorge W., 1958. Abendland und Byzanz. Weimar.

Reginones abbatis Prumiensis chronicon, 1890. Hannoverae.

Skaare K., 1976. Coins and Coinage in Viking-Age Norway. Oslo.

Theophanes continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus, 1838. Bonnae.

Tolochko O. P., 2008. The Primary Chronicle's «Ethnography» Revisted: Slavs and Varangians in the Middle Dnieper Region and the Origin of the Rus' State // Franks, Northmen and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe. Brepols.

Wiechmann R, 2007. Hedeby and its hinterland: a local numismatic region // Silver economy in the Viking age. L.

Summary

A. A. Gorskii

The Formation of Rus' in the Context of the Emergence of European States at the End of the I Millennium AD

This article examines two questions linked with the European context for the formation of Russia: first, the influence of the Franks' Empire on the shaping of the medieval Russian state and, secondly, the way the emergence of Russian statehood was reflected in terms used to describe the stages in its political development.

С. Ю. Каинов

Находки деталей мечей ранних типов на территории Гнёздова

В ходе многолетних исследований Гнёздовского археологического комплекса получена крупнейшая на территории Древней Руси коллекция предметов вооружения раннегосударственного периода, насчитывающая несколько сотен единиц как наступательного, так и защитного вооружения. Столь значительное количество объясняется не только сравнительно хорошей сохранностью памятника и его многолетними исследованиями, но еще раз подчеркивает значение Гнёздова как важного пункта в системе политических и военных отношений эпохи складывающегося Древнерусского государства (Пушкина, Мурашёва, Ениосова, 2012, с. 272–273; Нефёдов, 2012, с. 285). Показателем высокой степени милитаризованности гнёздовского общества являются многочисленные находки предметов, связанных с комплексом вооружения профессионального воина – мечи, сабли, боевые ножи, некоторые типы топоров, наконечники копий и стрел, защитное вооружение.

Обширная литература, посвященная мечам эпохи викингов, найденным в разных регионах Европы, делает эту категорию находок одной из наиболее важных при решении вопросов, связанных с хронологией памятника.

К настоящему времени мы располагаем данными о 27 целых мечах, их отдельных деталях и фрагментах, обнаруженных в Гнёздове в разное время и при разных обстоятельствах. Тип рукояти, в соответствии с типологией Я. Петерсена, уверенно определяется у 22 экземпляров (Таблица 1) (Kainov, 2012).

Таблица 1

Находки мечей на территории Гнёздова

ТИП МЕЧА	КОЛИЧЕСТВО	МЕСТО НАХОДКИ	
		поселение	курганы
особый тип 2/Mannheim	1 (деталь)	1	–
B	1 (деталь)	1	–
D	1	–	1
E	3	–	3
H	6 (3 целых + 3 детали)	2 (детали)	4 (3 целых + 1 деталь)
V	4	–	4
X	2 (детали)	2	
Y	1		1
тип неясен	2 (1–Y?) (1–E?)	–	2
тип установить невозможно	3	–	3
фрагменты клинков	2	1	1
накладка на рукоять	1	–	1
ВСЕГО	27	7	20

Предложенные в 1919 году в работе Я. Петерсена датировки типов мечей эпохи викингов, полученные на основе анализа норвежского материала, до сих пор являются основой для датировок мечей, найденных на всей европейской территории (Petersen, 1919). При этом зачастую именно они являются определяющими для хронологической локализации археологических комплексов, которые затем становятся основой для датировки и реконструкции различных исторических процессов, имевших место на той или иной территории. При этом практически без внимания остаются вопросы корректности самих датировок Я. Петерсена и возможность их переноса на территории, куда мечи импортировались.

На существование «хронологического разрыва» между норвежскими и «местными» датировками обратил внимание А. Н. Кирпичников, который указал, что ряд типов мечей, встреченных на территории Древней Руси, имеет более длительное бытование, нежели на территории Норвегии (Кирпичников, 1966, с. 27). Исследователь предположил, что «запаздывание» в развитии некоторых мечей из русских находок (типы D, E, H) на 50–100 лет относительно норвежских объясняется не длительным бытованием того или иного меча, позднее попавшего с севера или запада Европы на Русь, а источниковедческими и исследовательскими превратностями Нового времени (лучшая или худшая сохранность и разная частота

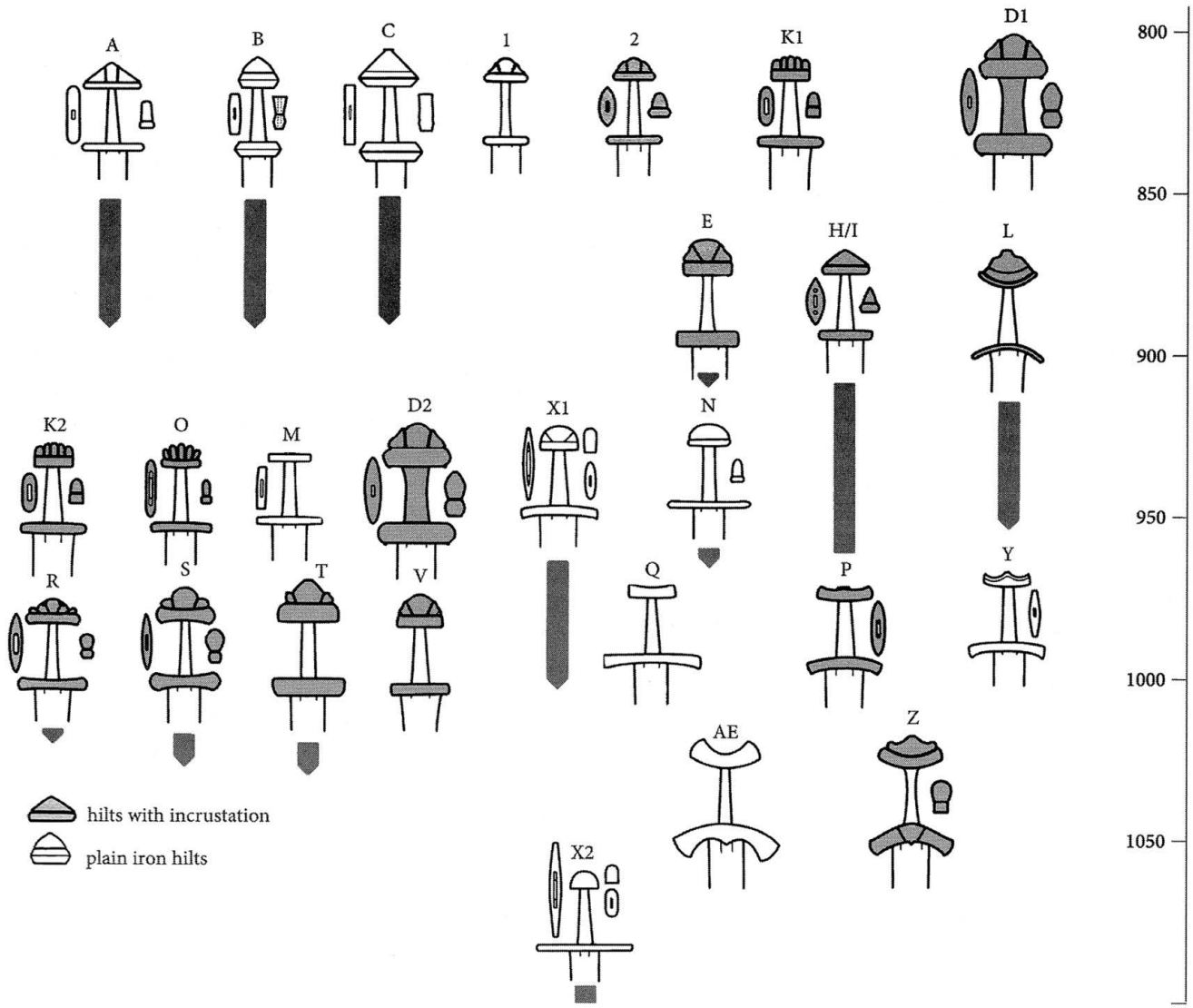


Рис. 1. Хронология мечей «эпохи викингов» (по Ф. А. Андрощуку)

находок археологического материала территориально, вероятное несовершенство некоторых старых хронологических наблюдений, возросшее количество аналогий и т. п.)» (Кирпичников, 1966, с. 42).

Хронология мечей эпохи викингов подробно рассмотрена в монографии Ф. А. Андрощука (Андрощук, 2013, с. 137–166). Опираясь на работу Х. Симонссона, из которой следует, что Я. Петерсен при составлении своей хронологии использовал только двадцать профессионально раскопанных комплексов, Ф. А. Андрощук констатирует, что хронология мечей Я. Петерсена «может быть использована только как очень приблизительная схема относительной датировки мечей. Хронологическая схема Петерсена не предоставляет надежных датировок, а обозначает только основные тенденции преемственности типов» (Андрощук, 2013, с. 161; Simonsson, 1969). На основе анализа материалов погребений некоторых могильников Швеции, главным образом Бирки, Вальсъерде, Ире, а также привлекая данные изобразительных источников, исследователь предложил свой взгляд на хронологию мечей эпохи викингов (Андрощук, 2013, с. 159, рис. 93, табл. VI:1) (рис. 1).

Разделяя мнение Ф. А. Андрощука о возможностях хронологии Я. Петерсена, отметим тем не менее, что предложенная «новая хронология» требует более развернутого обоснования. Также актуальным является вопрос о территориальных особенностях бытования тех или иных типов мечей – т. е. возможно ли создание единой европейской хронологии или необходимо говорить о региональных особенностях распространения и бытования мечей.

Хронология подавляющего большинства типов мечей, найденных в Гнёздово, полностью или частично укладывается в рамки X века – опираемся ли мы хронологию Я. Петерсена или же на хронологию Ф. А. Андрощука. Это не противоречит как археологическому контексту находок, так и наиболее обоснованной к настоящему моменту точке зрения о начале функционирования «дружинного» Гнёздова на рубеже IX–X вв. (Каинов, 2001, с. 60–62; Пушкина, Мурашёва, Ениосова, 2012, с. 271; Фетисов, 2013)[1].

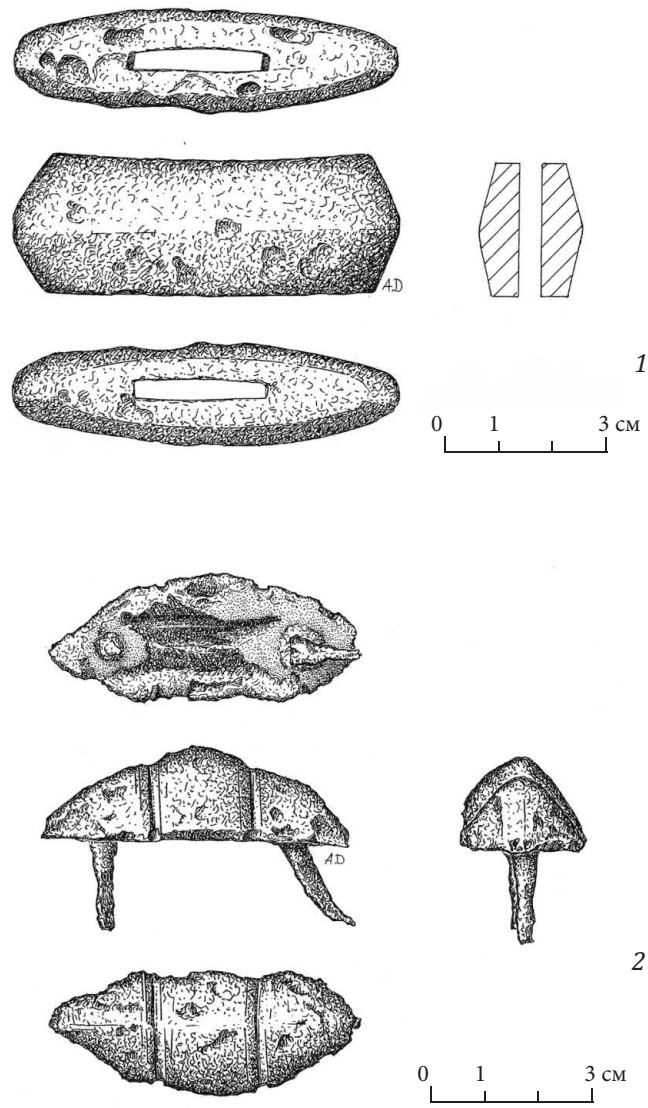


Рис. 2. Детали рукоятей мечей типа В (1) и особый 2/Mannheim (2). (Рис. А. С. Дементьевой)

Тем не менее при раскопках в Гнёздове были найдены две детали мечей, типологическая принадлежность которых не позволяет относить их к X веку.

Первая деталь представляет собой основание навершия от рукояти меча типа В по типологии Я. Петерсена. Она была найдена в 1972 году при раскопках восточной части селища (раскоп ВС–4), в непосредственной близости от вала Центрального городища (рис. 2: 1).

[1] С. С. Ширинский, используя «опыт выборочной датировки отдельных курганных комплексов», выделяет среди гнёздовских курганов относящиеся, по его мнению, к IX веку (Ширинский, 1997, с. 199; Ширинский, 2008, с. 83–86). При этом хронологическая локализация погребального комплекса основывается на датировках не всех вещей, входящих в него, а только выборочных, что, по нашему мнению, приводит в неверным выводам. На ошибочность, например, ранней датировки кургана Л–47/Авд–1950 было указано в нашей статье (Каинов, 2001, с. 60–61).

Недавно была опубликована статья Й. Каллмера, в которой, основываясь на составе монетной коллекции, а также ряда находок ранних вещей (равноплечая фибула, салтовские перстни, обломок ладьевидного браслета, некоторые разновидности гребней, подвеска из сасанидской драхмы с приклепанными салтовскими бляшками), исследователь предполагает существование в первой половине или середине IX века на месте гнёздовского поселения стоянку североевропейских купцов, где осуществлялась торговля с местным населением, а также планировался дальнейший путь (Callmer, 2013, p. 71–72).

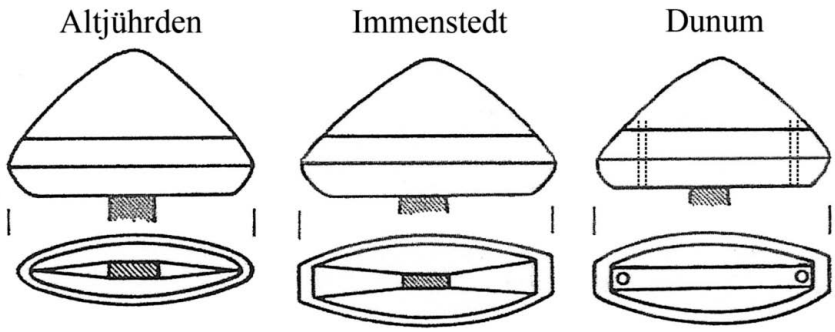


Рис. 3. Навершия рукоятей мечей типов Altjührden, Immenstedt, Dunum

Деталь представляет собой короткий и высокий железный брусок с четким горизонтальным ребром посередине. Верхняя плоскость чуть вогнута. В плане деталь имеет форму сильно вытянутого овала. Длина – 71 мм, высота – 25 мм, толщина – 19 мм, вес – 158 гр.

Я. Петерсен характеризовал рукояти мечей типа В следующим образом: «Перекрестья короткие, высокие, с ребром; в продольном сечении четырехугольные, с наибольшим расширением в середине. Головка навершия треугольная, прямоугольная в продольном сечении. Детали рукояти не орнаментированы» (Петерсен, 2005, с. 98).

В дальнейшем изучение особенностей рукоятей мечей, отнесенных к типу В, позволило говорить о существовании форм, родственных этому типу. Так, Ф. Штайн, рассмотрев континентальный материал, выделила два типа – тип Immenstedt и тип Altjührden (Stein, 1967, p. 78–79) (рис. 3). Первый отличается узкими гранями на боковых сторонах перекрестия и основания навершия, продолжающимися на головку навершия. У второго типа эти грани отсутствовали и в плане основание навершия и перекрестия были ладьевидной формы. Еще один тип меча, родственный типу В, – тип Dunum выделил В. Менгин. Главным отличием этого типа является крепление основания к головке навершия двумя заклепками, что совсем не характерно для мечей типа В, у которых двусоставное навершие закреплялось при помощи расклепанного сверху навершия черена клинка (Menghin, 1980, p. 256). На территории Скандинавии подобные мечи не известны.

Ф. А. Андрощук предложил выделять среди мечей типа В, найденных как на территории Северной, так и Западной Европы, три основных варианта (Андрощук, 2013, с. 41–42) (рис. 4):

– вариант В1 – мечи с овальным и слегка уплощенным на концах основанием и в плане такой же формы перекрестием;

– вариант В2 – мечи с овальным в плане, с суживающимися концами основанием навершия и такой же формы перекрестием;

– вариант В3 – объединяет мечи с овальным и слегка уплощенным на концах основанием навершия и овальным в плане с суживающимся к концам перекрестием[2].

Вариант В1 наиболее схож с типом Immenstedt, а вариант В2 – с типом Altjührden (Androshchuk, 2007, p. 154).

Классификационная схема А. Гайбига, созданная на основе изучения немецкого материала и подробно учитывающая морфологические особенности мечей, позволяет выделять значительно большее количество вариантов мечей, которые можно атрибутировать типу В и сходным формам. Так, мечи типа В соотносятся с комбинационными типами 1 (варианты I–IV, VI) и 5 (варианты II, IV–VI) (Gaibig, 1991, p. 39). Мечи типа Dunum соответствуют варианту V комбинационного типа 1 и вариантам I и III комбинационного типа 5.

Гнёздовское основание навершия можно отнести к варианту В2 (по Ф. А. Андрощуку) или типу Altjührden (по Ф. Штайн).

На территории Европы найдено не менее 125 (без учета древнерусских находок) мечей типа В: Норвегия – 30, Швеция – 29, Германия – 29, Финляндия – 16, Аландские о-ва – 6, Дания – 3, Литва – 3, Эстония – 3, Латвия – 2, Голландия – 1, Франция – 1 (Jakobsson, 1992, p. 208; Андрощук, 2013, с. 42) (рис. 5).

Согласно Я. Петерсену, в Норвегии мечи типа В датируются второй половиной VIII в. Эта датировка принята исследователями и для мечей, найденных в других регионах. С критикой ранней датировки

[2] Выскажем сомнение в целесообразности выделения варианта В3, являющегося, по нашему мнению, всего лишь частным случаем сочетания перекрестия и навершия, характерных для мечей вариантов В1 и В2.

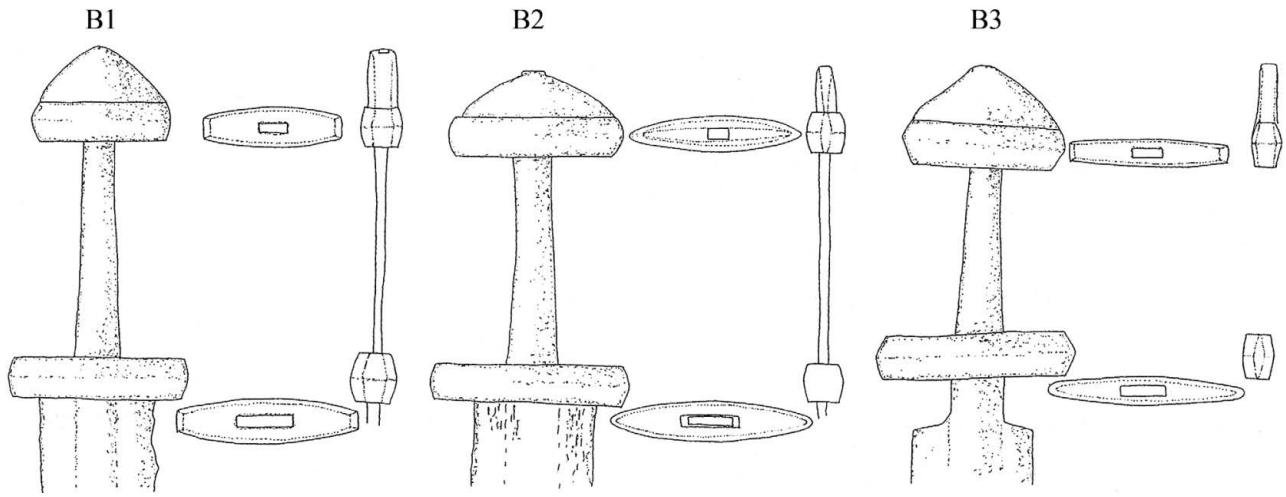


Рис. 4. Варианты мечей типа B (по Ф. А. Андрощуку)

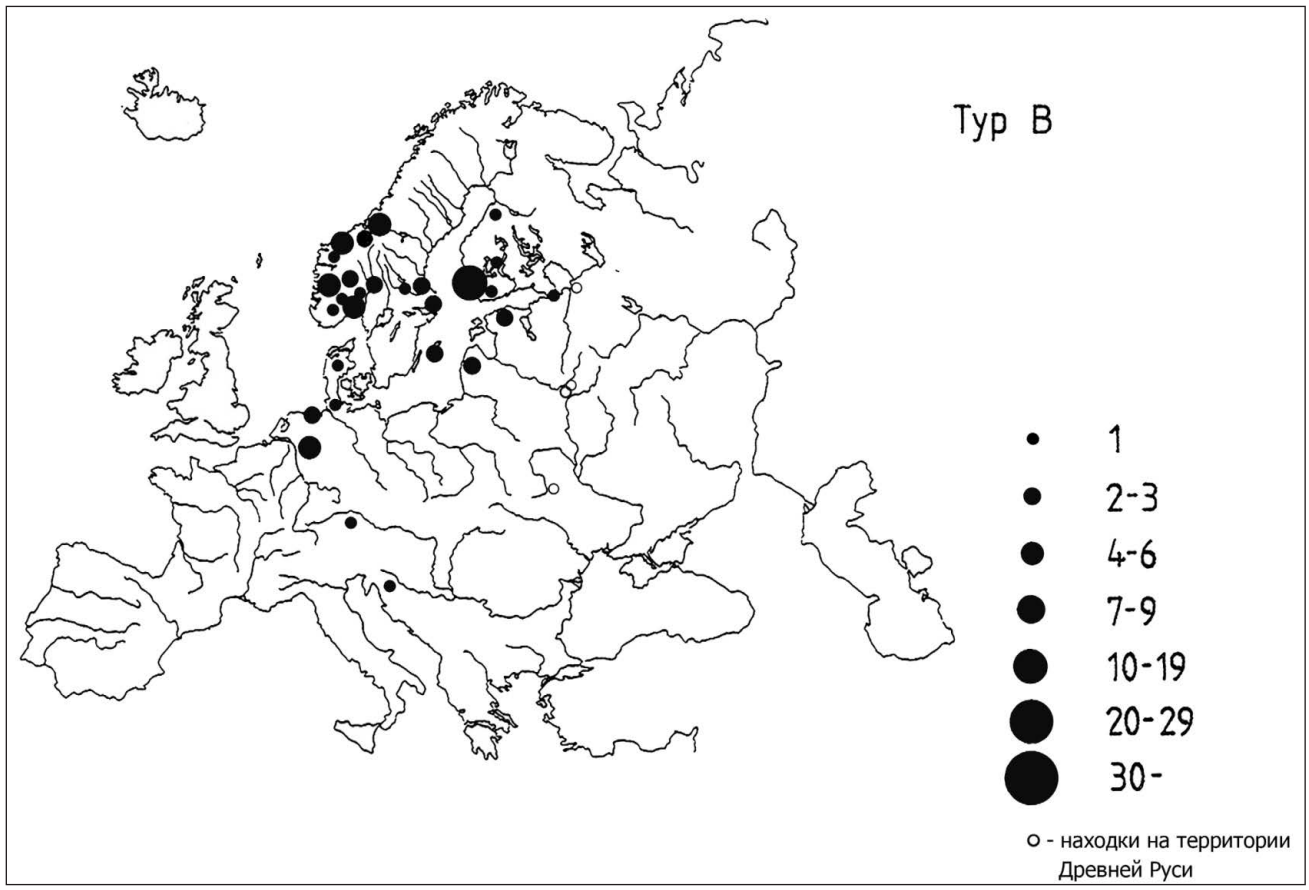


Рис. 5. Распространение мечей типа B (Jakobsson, 1992, p. 217)

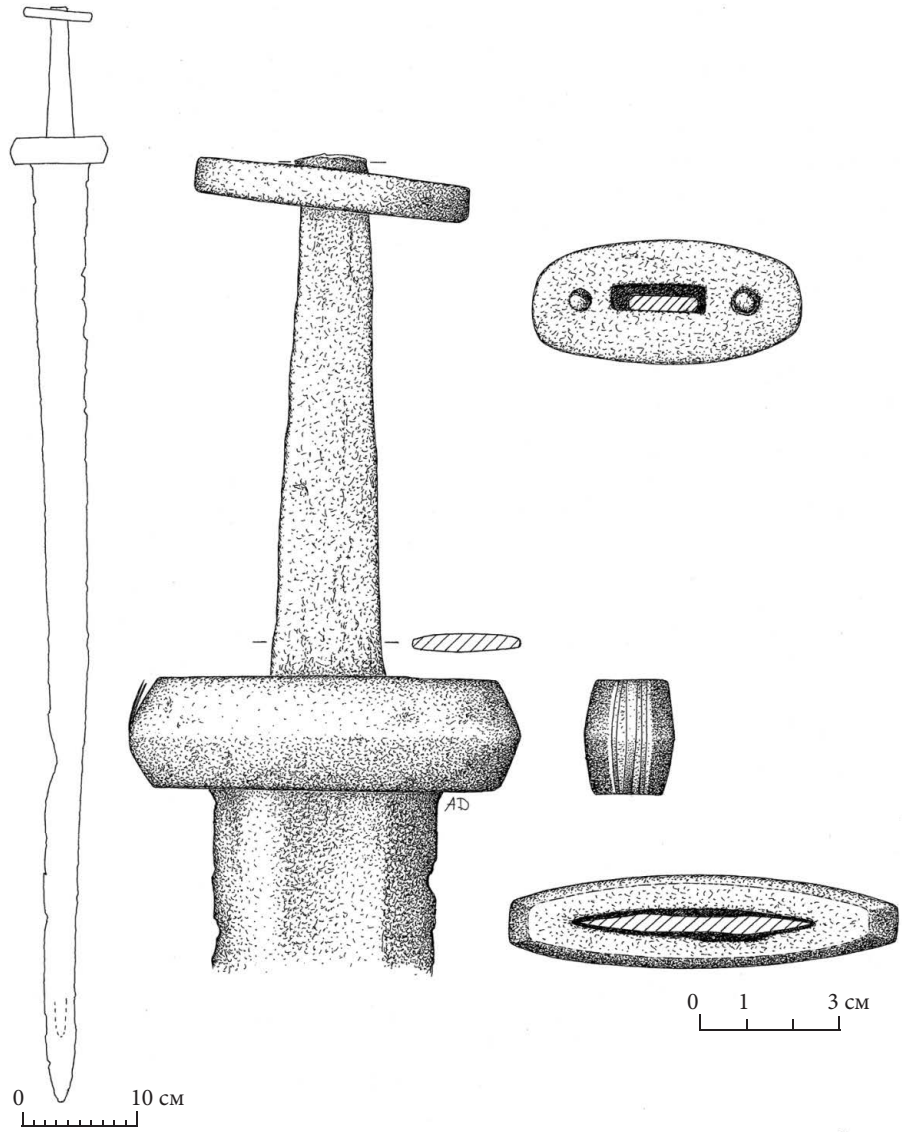


Рис. 6. Меч из кургана 5 могильника у д. Новосёлки (рис. А. С. Дементьевой)

типа В выступил Ф. А. Андрощук, который обосновал появление этого типа не ранее начала IX в. (Androshchuk, 2007, p. 15; Андрощук, 2013, с. 43–44). Верхнюю границу бытования мечей этого типа исследователь относит к концу IX века.

В Каталоге древнерусских мечей А. Н. Кирпичникова указано три меча типа В (Кирпичников, 1966, с. 26). Один из них найден при раскопках кургана № 5 около д. Новосёлки (Смоленская обл., Россия), расположенного всего в нескольких километрах от Гнёздова (рис. 6). По мнению В. С. Нефёдова, погребение в кургане 5 следует датировать второй четвертью X века (Нефёдов, 2001, с. 156; Шмидт, 2005, 160). Особо стоит отметить, что, собственно, к типу В можно отнести только перекрестие меча из Новосёлок[3]. Навершие, характерное для этого типа, заменено на основание навершия от рукояти меча другого типа (типа N?)[4]. По морфологическим признакам перекрестие меча относится к варианту В1 (по Ф. А. Андрощуку). В то же время перекрестие имеет особенность, которая выделяет его из основной массы мечей этого типа, – орнаментация

[3] Клинок меча, судя по соответствию его ширины и размера отверстия под клинок в перекрестии, скорее всего, присутствовал в первоначальной сборке меча из Новосёлок.

[4] Аналогичные основания наверший встречены у двух мечей из Германии (Oedt-Mülhausen, Bederkesa) (Gaibig, 2001, Taf. 105, 1–5; Taf. 115, 1–4). В обоих случаях у мечей отсутствовали головки навершия. Меч из музея города Bederkesa датируется IX веком (Gaibig, 1991, Kat. Nr. 185).

боковых торцевых сторон в виде трех вертикальных инкрустированных проволочек цветного металла (медносодержащий сплав). Толщина боковых проволок – около 1 мм, центральной – 2 мм. Аналогичная инкрустация выявлена на перекрестии и основании навершия меча из Голландии (province Limburg), который, по мнению Я. Пирса, относится или к типу B или к переходному варианту между типами B и H (Pierce, 2002, p. 34–35)[5]. Последнее обусловлено тем, что головка навершия у этого меча скреплена с основанием заклепками (как у типа H), а не при помощи черена рукояти, проходящего через головку и основание навершия (как у типа B). Но в отличие от типа H, поверхность деталей рукояти голландского меча полностью лишена орнаментации. Подобные мечи, как указывалось выше, были выделены В. Менгиным в тип Dunum, который распространен только на территории континентальной Европы и отсутствует в Скандинавии.

Учитывая наличие на перекрестиях мечей из Новосёлок и Голландии схожей инкрустации, насколько известно автору, вообще не встречающейся у мечей «классического» типа B, а также полное морфологическое сходство обоих перекрестий, можно предположить, что и перекрестие из Новосёлок изначально, до его перемонтировки, также принадлежало мечу типа Dunum.

Остальные два древнерусских меча типа B сохранились полностью. Один из них случайно найден у д. Бор на р. Оять в Юго-Восточном Приладожье (Россия). Он обнаружен воткнутым в землю и, видимо, происходил из разрушенного погребения (Raudonikas, 1930, p. 113, 114). Место, где был найден третий меч, хранившийся в коллекции А. А. Бобринского, до некоторых пор считалось неизвестным. Недавно Ф. А. Андрощук обнаружил в архиве Т. Арне записи, которые позволили установить, что вышеупомянутый меч найден при случайных обстоятельствах в 60–х годах XIX века у с. Бичева (Любарский район Житомирской обл., Украина) (Андрощук, 2008, с. 11–12, рис. 3). К сожалению, отсутствие зафиксированного археологического контекста не позволяет датировать эти два меча.

Основание навершия меча из Гнёздова найдено в заполнении ямы № 1 (раскоп ВС–4/1972 г.) вместе с круговой керамикой, что ограничивает нижнюю границу попадания мечевой детали в комплекс 20–30 гг. X века – времени появления гончарного круга в Гнёздове (Асташова, Авдусин, 1972, с. 53–56; Мурашёва, Ениосова, Фетисов, 2007, с. 69).

Вторая интересующая нас деталь меча обнаружена в 1987 году при раскопках Центрального городища (раскоп ЦГ–XX, примыкающий с западной стороны к валу городища).

Она представляет собой верхнюю часть навершия рукояти меча, изготовленную из железа и разделенную вертикально расположенными углублениями на три части. Центральная часть незначительно выше боковых (рис. 2: 2). Оригинальная поверхность детали сохранилась плохо, тем не менее удалось проследить небольшие фрагменты проволоки из цветного металла, а также канавки под инкрустацию проволокой. Расположение фрагментов проволоки и канавок под инкрустацию позволяют заключить, что фронтальная поверхность детали (или ее часть) была покрыта вертикально расположенной проволочной инкрустацией. В углубления, разделяющие деталь на три части, была вставлена проволока, остатки которой зафиксированы в нижней части двух углублений. На торцевой плоскости частично сохранилось покрытие из сплава на основе меди[6], внешние границы которого выступали за край детали, тем самым образуя орнаментальную полосу, разделяющую нижнюю (несохранившуюся) и верхнюю детали навершия. В центральной части торцевой плоскости грубо проделано углубление с целью уменьшить вес детали. В боковые части детали насквозь вставлены два железных штыря, скреплявших головку и основание навершия.

Длина навершия – 5,7 см, высота – 1,7 см, реконструируемая ширина – 2,5 см. Вес – 62 гр. Сохранившаяся длина штифтов – 1,7–1,8 см[7]. Диаметр штырей – 4–5 мм.

Описываемая деталь находит наибольшие соответствия среди мечей особого типа 2 по типологии Я. Петерсена и в меньшей степени – типа Mannheim, родственного особому типу 2.

Я. Петерсен характеризовал рукояти мечей особого типа 2 следующим образом: «навершие двусоставное, перекрестья широкие, с ребром. Головка навершия трехчастная, центральная часть немного выше, чем крайние. Детали рукояти орнаментированы серебряными проволочками, забитыми в проделанные в железной основе вертикальные канавки» (Петерсен, 2005, с. 120).

Тип Mannheim был выделен Х. Янкуном в статье 1939 года (Jankuhn, 1939). Отличие мечей этого типа от особого типа 2 состоит в горизонтальных орнаментальных поясках, проходящих по центру пере-

[5] На боковой стороне основания навершия, сохранившегося значительно хуже перекрестия, выявлена только одиночная канавка под инкрустацию (Pierce, 2002, p. 34).

[6] Анализы, выполненные в отделе археологических памятников Исторического музея с помощью микрорентгенофлуоресцентного спектрометра M1 MISTRAL SDD, позволяют утверждать, что весь цветной металл, использованный при декорировке головки навершия, относится к многокомпонентным латуням (Ениосова и др., 2008, с. 129, табл. 2.7).

	(Cu)	(Zn)	Sn	Pb	Bi	Ag
Инкрустация	85.24	6.00	2.92	4.53	0.21	1.11
Прокладка	87.94	5.04	2.66	3.41	0.14	0.80
Проволока	86.04	7.87	1.74	3.95	0.00	0.40

[7] Длина штырей позволяет предположить, что высота основания навершия составляла около 1,8 см.

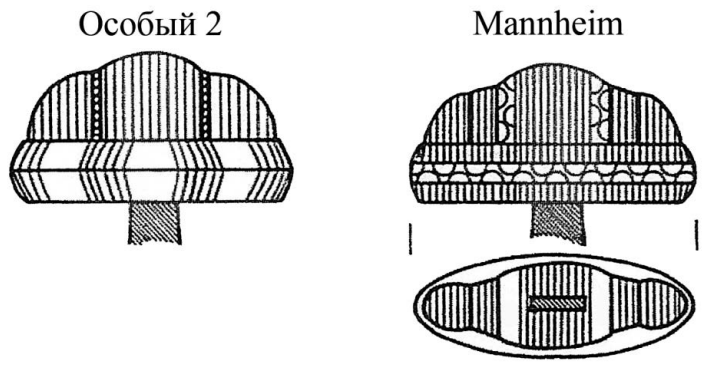


Рис. 7. Навершия рукоятей мечей особого типа 2 и типа Mannheim

крестия и основания навершия. Два таких же пояска расположены вертикально и на центральной части головки навершия (рис. 7).

К специальному изучению мечей особых типов 1, 2 (по Я. Петерсену) и типа Mannheim обращались английские исследователи Г. Дюннин и В. Эвисон (Dunning, Evison, 1964, p. 131–137). На основе особенностей морфологии и орнаментации были выделены три варианта мечей, отнесенных к группе 2. Гнёздовская головка навершия наиболее схожа с вариантами 2a (наиболее соответствует типу Mannheim) и 2b (соответствует особому типу 2 по типологии Я. Петерсена). По форме и наличию вертикальной инкрустации гнёздовская находка наиболее схожа с деталями рукояти меча из Wijk bij Duurstede, Голландия (тип 2b) (рис. 8) (Dunning, Evison, 1964, p. 133, fig. 3:11). Определенное сходство в форме также прослеживается и с навершием меча из De Wierhuizen, Голландия (тип 2a) (там же, p. 135, fig. 4).

Уверенно атрибутировать гнёздовскую деталь мечу особого типа 2 мешает то обстоятельство, что скрепление верхней и нижней частей навершия у этих мечей, насколько известно автору из публикаций, осуществлялось при помощи черена клинка. А как было отмечено выше, деталь из Гнёздова крепилась к основанию навершия железными штырями. Возможно несколько объяснений. Во-первых, деталь могла принадлежать мечу типа Mannheim, у которых в ряде случаев отмечено крепление деталей навершия при помощи черена рукояти. Отсутствие следов крепления вертикальных орнаментальных полос можно объяснить плохой сохранностью поверхности предмета. Во-вторых, нельзя полностью отрицать возможность существования варианта скрепления деталей навершия мечей особого типа 2 при помощи штырей. Их отсутствие выглядит странным при учете того, что оба конструктивных типа сборки навершия присутствуют у мечей типа Mannheim и особого типа 1, существовавших одновременно с особым типом 2.

По подсчетам М. Якобссона, в Европе найдено не менее 29 мечей особого типа 2 (Бельгия – 1, Великобритания – 2, Финляндия – 5, Голландия – 5, Норвегия – 2, Польша – 1, Швеция – 4, Эстония – 1, Германия – 7, Франция – 1) и не менее 24 мечей типа Mannheim (Дания – 1, Германия – 10, Нидерланды – 1, Швеция – 7, Норвегия – 1, Финляндия – 2, территория Пруссии – 1, Польша – 1) (Jakobsson, 1992, p. 211, 215) (рис. 9). Деталь навершия из Гнёздова является самой восточной находкой одного из этих типов мечей и самой ранней находкой меча «эпохи викингов» на территории Древней Руси.

Хронологическая локализация мечей особого типа 2 большинством исследователей определяется в рамках второй половины VIII – первой половины IX в., типа Mannheim – второй половины VIII – начала IX в. (Вешнякова, 2005, с. 320). Ф. А. Андрощук

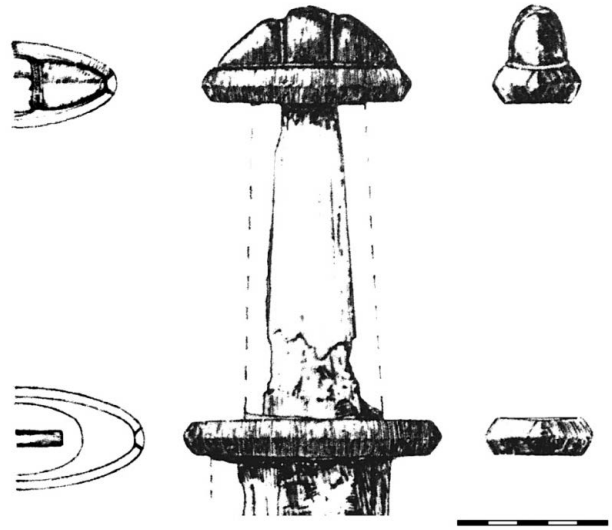


Рис. 8. Рукоять меча из Wijk bij Duurstede, Голландия (Ypey, 1964, p. 154, afb. 1)

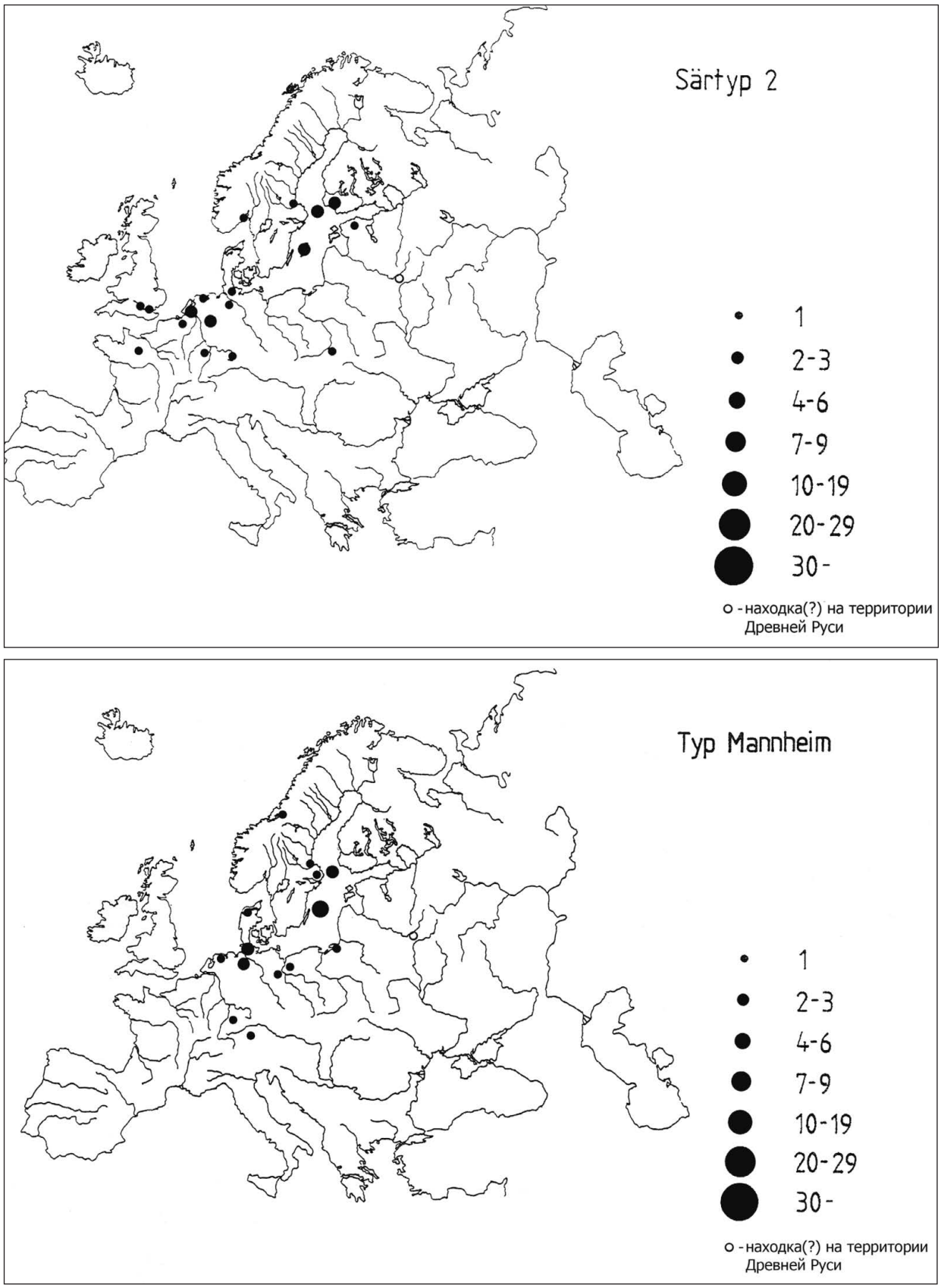


Рис. 9. Распространение мечей особого типа 2 и типа Mannheim (Jakobsson, 1992, p. 222, 231)

датирует мечи особого типа 2 в рамках раннего периода «эпохи викингов», хронологические рамки которого исследователь относит к 750–870 гг. (Андрощук, 2013, с. 157, с. 159, табл. VI: 1)[8]. Стратиграфический контекст находки детали навершия в Гнёздово не позволяет датировать время ее археологизации ранее второй четверти X в. (Авдусин, Пушкина, 1987, с. 24–32; Авдусин, Пушкина, 1988, с. 148–159).

Обнаружение мечей ранних типов на памятнике, где пока не выявлены закрытые комплексы, датирующиеся ранее X века, требует своего объяснения. Одно из них, кажущееся наиболее очевидным, – найденные детали принадлежали мечам, пережившим время своего бытования на основной территории распространения мечей «каролингского» типа. Будучи ценными и редкими для восточноевропейской территории предметами, мечи и в особенности их детали, которые иногда перемонтировались на другие клинки, могли иметь значительно более длительный период бытования, нежели в Западной и Северной Европе[9]. Данное предположение кажется наиболее вероятным в случае с гнёздовской деталью меча типа В, особенно учитывая находку детали меча этого типа (или родственного ему типа Dunum) в Новосёлках.

Но нельзя исключать и того, что активная деятельность на территории поселения в X веке уничтожила более ранние слои. Возможным подтверждением этого служат и другие найденные при раскопках поселения предметы, чья верхняя хронологическая граница не выходит за рамки IX века. Выявление всего «раннего» материала среди гнёздовских коллекций еще не завершено, но уже сейчас очевидно, что это довольно представительная и разнообразная группа предметов.

К раннему снаряжению всадника относятся две шпоры с зацепами, загнутыми вовнутрь. По типологии Я. Жака, одна шпора принадлежит к типу А, вторая – типу В (III технологический тип) (рис. 10: 4). Шпоры типа А на основной территории распространения (Центральная Европа) датируются VI–VIII вв., типа В – VI – началом IX в. (Zak, Mackoviak-Kotkowska, 1988, с. 97, rys. 3)[10].

Среди височных колец, найденных при раскопках гнёздовского поселения, следует отметить три экземпляра. Первое кольцо схоже, но в мелких деталях и по качеству исполнения не идентично кольцам из Фотовижского клада, датируемого 760–770 годами (Комар, Стрельник, 2011, с. 162) (рис. 10: 1). Близкие по исполнению кольца найдены на Битицком городище, разрушенном не позже первой четверти IX века, Опошнянском городище (вторая четверть IX в.) и в катакомбе 74 Верхнего Салтова, относящейся к среднесалтовскому горизонту (790–835 гг.) (Комар, 2012, с. 147–151; Комар, Сухобоков, 2004, с. 166).

Второе височное кольцо, найденное 2012 году при раскопках Т. А. Пушкиной мысовой части городища, аналогично кольцу, происходящему из клада в кв. Уз Новотроицкого городища, отличаясь только материалом изготовления – латунь (рис. 10: 2). По типологии А. В. Григорьева, подобные кольца относятся к первому этапу развития лучевых серег и датируются второй половиной IX века (Григорьев, в печати). Существование Новотроицкого городища определяется в рамках 830-х – 890-х гг. (Комар, Сухобоков, 2004, с. 169).

Третье височное кольцо было найдено при раскопках И. И. Ляпушкина западной части Центрального селища (рис. 10: 3). Оно принадлежит к типу 2 лучевых колец по типологии А. В. Григорьева – лучевые кольца с треугольником, свободным от зерни в центре каждого луча (Григорьев, в печати). Подобные кольца найдены в жилище 24 Новотроицкого городища (830-е – 890-е), в составе Алпатьевского клада (конец IX – начало X вв.), на Супрутском городище (Мурашёва, 2014, с. 126).

Также к ранним вещам, найденным при раскопках поселения, относятся дугообразная бронзовая фибула, принадлежащая к типу, распространенному в Фенноскандии во второй половине VI–VIII вв. (рис. 10: 8); сасанидская гемма, датирующаяся VI – началом VII вв. (рис. 10: 6); щиток византийской пряжки, орнаментальные аналогии которой относятся к VII в., а «форма, конструкция, оформление бордюра» – к VIII – первой половине IX в. (рис. 10: 5), обломок подковообразной фибулы, характерной для Шотландии (но встречающихся и производившихся в Норвегии) середины VIII – начала IX в. (рис. 10, 7) (Вешнякова, 1995, с. 68; Пушкина, 2003, с. 113; Ениосова, Пушкина, 2012, с. 71; Ениосова, 2002, с. 127–128).

Среди массовых находок, таких как, например, бусы, экземпляров, чье бытование ограничивается временем до X века, насколько известно по опубли-

[8] Исследователь в тексте монгорафии (в том числе и в каталоге) объединяет эти два типа меча, хотя и отмечает, что в историографии было предложено выделять особый тип Mannheim (Андрощук, 2013, с. 38–39).

Ф. А. Андрощук все мечи типа Mannheim обозначает как особый тип 2 (напр., № 116, 136, 183 в «Каталоге мечей эпохи викингов…»).

[9] Подобные случаи известны и в Северной Европе. Например, перекрестие меча типа В обнаружено при раскопках поселения Бирки (Швеция) в слое, датирующемся 950–975 гг. (Андрощук, 2013, с. 201).

[10] На территории Древней Руси шпоры с загнутыми вовнутрь зацепами найдены в Волковыске и Дорогобуже в контекстах, датирующихся X в. (Зверуго, 1975, с. 112, рис. 34, 1; Прищепа, Нікольченко, 1996, с. 112–113, рис. 68, 1). За исключением этих двух шпор остальные подобные шпоры (происходящие из западных регионов будущей древнерусской территории) датируются VII–VIII вв. (Петегирич, 2007, с. 110), что позволяет предположить происхождение волковыской и дорогобужской шпор из ранних, разрушенных слоев.

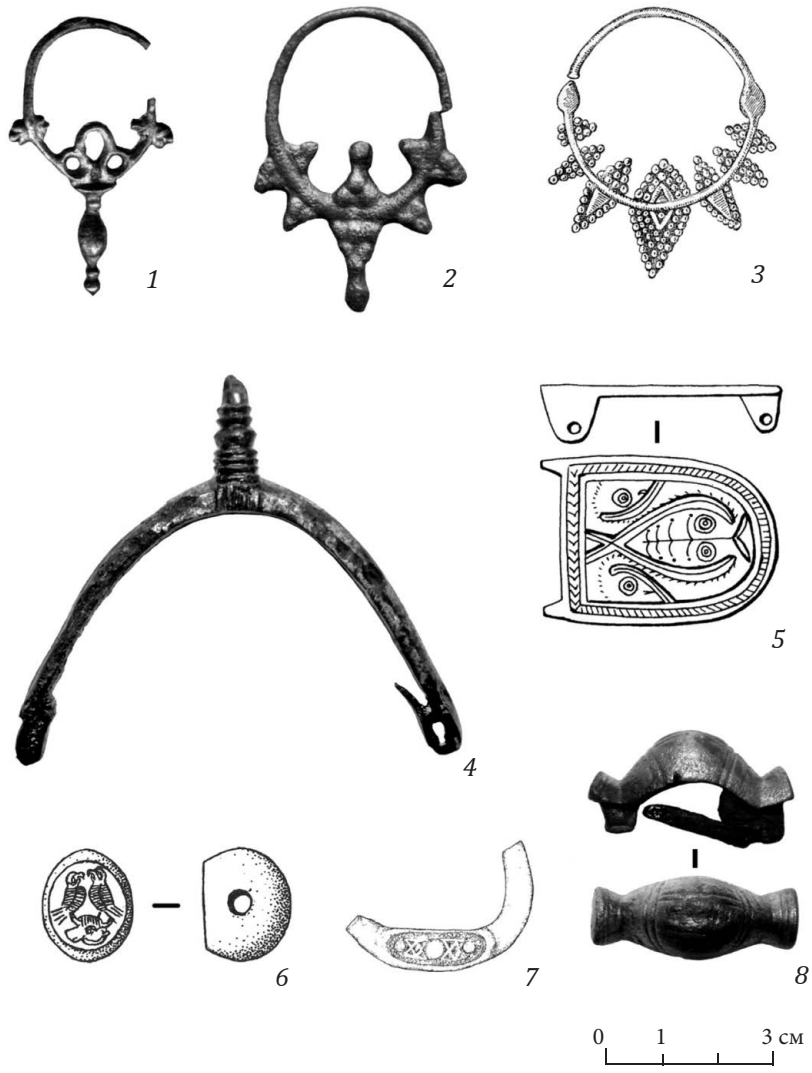


Рис. 10. Ранние вещи из раскопок Гнёздовского поселения: 1–3 – височные кольца, 4 – шпора, 5 – щиток пряжки, 6 – гемма, 7–8 – фибулы

кованным материалам, нет. Тем не менее при изучении бус Центрального городища О. П. Добровой был сделан вывод, что большая часть найденных бус датируется в рамках IX–XI вв. (Доброва, 2012, 2013). То есть несмотря на то, что пик их распространения по материалам Старой Ладоги приходится на X век, датировка части бус более ранним временем не исключена. Также в широких хронологических рамках, включающих IX век, датируются найденные при раскопках поселения гребни первой группы типа 1в, некоторые типы наконечников стрел и топоров, а также ряд украшений.

Все предметы, чья хронология «выпадает» из наиболее распространенных представлений о времени существования «дружинного» Гнёздова, найдены в археологическом контексте X века, за вероятным исключением височного кольца из раскопок И. И. Ляпушкина. Оно обнаружено в заполнении остатков сооружения (№ 9) в сопровождении только лепной керамики, что не исключает датировки постройки IX веком (Вешнякова, Булкин, 2001, с. 47, 49). Несомненно, какая-то часть ранних предметов могла являться ювелирным ломом и хранилась как сырье для изготовления новых предметов. Другие вещи из-за своей редкости, красоты и т.п. могли просто пережить свое время. Тем не менее, с нашей точки зрения, определенная концентрация раннего материала позволяет оставлять открытым вопрос о существовании Гнёздова в период, предшествующий его расцвету в X веке. Интересно отметить, что среди ранних предметов представлены не только североевропейские, но и связанные с Днепровским Левобережьем и Центральной Европой.

Источники и литература

Авдусин Д. А., Пушкина Т. А., 1988. Отчет о работе Смоленской экспедиции МГУ в 1987 г. // Архив ИА РАН. Р–1. № 12251.

Авдусин Д. А., Пушкина Т. А., 1989. Отчет о работе Смоленской экспедиции МГУ в 1988 г. // Архив ИА РАН. Р–1. № 14423.

Андрощук Ф. А., 2008. Древлянская земля в межрегиональных контактах IX–X вв. // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради. Т. 1. Коростень. С. 6–19.

Андрощук Ф., 2013. Мечи викингов. Киев. 712 с.

Асташова Н. И., Авдусин Д. А., 1972. Отчет о раскопках в Смоленске в 1972 г. // Архив ИА РАН. Р–1. № 4927.

Вешнякова К. В., 1995. Сасанидская печать из Гнёздова // Древние культуры и технологии : новые исследования молодых археологов Санкт-Петербурга. СПб. С. 64–70.

Вешнякова К. В., 2005. История изучения мечей эпохи викингов // Петерсен Я. Норвежские мечи эпохи викингов. СПб. С. 307–331.

Вешнякова К. В., Булкин В. А., 2001. Ремесленный комплекс Гнёздовского поселения (по материалам раскопок И. И. Ляпушкина) // Гнёздово : 125 лет исследвания памятника / ред. В. В. Мурашёва. М. С. 40–53. (Труды ГИМ. Вып. 124).

Григорьев А. В., в печати. Лучевые серьги (височные кольца) культур роменского круга древностей.

Доброва О. П., 2012. Полихромные бусы Центрального городища Гнёздова из раскопок 2004–2012 гг // Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства : материалы международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения И. И. Ляпушкина (1902–1968) / ред. В. М. Горюнова. СПб. С. 215–218.

Доброва О. П., 2013. Бусы из раскопок Центрального городища Гнёздова 2004–2012 гг. // Новые материалы и методы археологического исследования. М. С. 133–134.

Ениосова Н. В., 2002. Украшения англо–саксонского и ирландского происхождения на территории Древней Руси // Ладога и Северная Евразия от Байкала до Ла-Манша: связующие пути и организующие центры : Шестые чтения памяти А. Мачинской / ред. Д. А. Мачинский. СПб. С. 127–130.

Ениосова Н. В., Пушкина Т. А., 2012. Находки византийского происхождения из раннегородского центра Гнёздово в свете контактов между Русью и Константинополем в X в. // Сугдейский сборник. Вып. V. Киев; Судак. С. 34–85.

Звяруго Я. Г., 1975. Древний Волковыск X–XIV вв. Минск. 144 с.

Каинов С. Ю., 2001. Еще раз о датировке гнёздовского кургана с мечём из раскопок М. Ф. Кусцинского // Гнёздово : 125 лет исследвания памятника / ред. В. В. Мурашёва. М. С. 54–63. (Труды ГИМ. Вып. 124).

Кирпичников А.Н., 1966. Древнерусское оружие. Вып. 1: Мечи и сабли IX–XIII вв. М.; Л. (САИ. Е1–36).

Комар А. В., 2012. Поляне и северяне // Предпосылки и пути образования Древнерусского государства / ред. Е. А. Мельникова и др. М. С. 128–191. (ДГ, 2010 г.).

Комар А. В., Стрельник М. А., 2011. «Репрессированный» клад: комплекс ювелирных изделий VIII в. из находки у с. Фотовиж // Stratum plus. № 5. 2011. СПб.; Кишинев; Одесса; Бухарест. С. 143–164.

Комар А. В., Сухобоков О. В., 2004. Городище «Монастырище» и древнерусский Ромен: проблема преемственности // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради VIII–X ст. Київ. С. 159–173.

Мурашёва В. В., 2014. «Книга путей и стран» (Алпатьевский клад) // «Славяне и иные языци...» / ред. Н. И. Асташева. М. С. 116-131.

Мурашёва В. В., Ениосова Н. В., Фетисов А. А., 2007. Кузнечно-ювелирная мастерская пойменной части Гнёздовского поселения // Гнёздово : результаты комплексных исследований памятника / ред. В. В. Мурашева. СПб. С. 31–77.

Нефёдов В. С. Новосёлки и Гнёздово // XIV Конференция по изучению скандинавских стран и Финляндии : тез. докл. М.; Архангельск. С. 156–158.

Нефёдов В. С., 2012. Смоленское Поднепровье и Подвинье в период формирования Древнерусского государства по археологическим данным // Предпосылки и пути образования Древнерусского государства / ред. Е. А. Мельникова и др. М. С. 270–299. (ДГ, 2010 год).

Петегирич В., 2007. Поселенські структури V/VI–X ст. Верхньої Надбужанщини як підоснова формування Белзької та Червенської земель // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 11. С. 101–120.

Петерсен Я. 2005. Норвежские мечи эпохи викингов. СПб. 352 с.

Прищепа Б. А., Нікольченко Ю. М., 1996. Літописний Дорогобуж в період Київської Русі : до історії населення Західної Волині в X–XIII століттях. Рівне. 247 с.

Пушкина Т. А., 2003. Находка редкой фибулы из Гнёздова // Ладога и истоки российской государственности и культуры. СПб. С. 111–115.

Пушкина Т. А., 2012. Центральное Гнёздовское городище (предварительные итоги изучения 2008–2012 гг. // Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства : материалы Международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения И. И. Ляпушкина (1902–1968) / ред. В. М. Горюнова. СПб. С. 206–209.

Пушкина Т. А., Мурашёва В. В., Ениосова Н. В., 2012. Гнёздовский археологический комплекс // Русь в IX–X веках : археологическая панорама / отв. ред. Н.А. Макаров. М.; Вологда. С. 243–273.

Фетисов А. А., 2013. К вопросу о нижней дате Гнёздовского археологического комплекса и времени функционирования пути «из варяг в греки» // Грани гуманитарного знания : сб. ст. к 60-летию профессора С. П. Щавелева. Курск. С. 111–117.

Ширинский С. С., 1997. О времени кургана 47, исследованного у д. Гнёздово в 1950 г. // XIII конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии : тез. докл. М.; Петрозаводск. С. 198–199.

Ширинский С. С., 2008. Материалы к изучению относительной хронологии курганов Поднепровья в эпоху легендарных князей Руси: Дира и Аскольда // Дьнеслово. Киев. С. 76–89.

Шмидт Е. А., 2005. Курганный могильник у поселка Новоселки // Курганные могильники VIII–X веков центральной части Смоленского Поднепровья / ред. Ф. Э. Модестов. Смоленск. С. 146–210. (Смоленские древности, 4).

Androshchuk F., 2007. Rural Vikings and Viking Helgö // Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe, Stockholm. Studies in Archaeology, 44 / eds. U. Fransson, M. Svedin, S. Bergerbrant, F. Androshchuk. Stockholm. P. 153–163.

Callmer J., 2013. At the watershed between the Baltic and the Pontic before Gnezdovo // From Goths to Varangians. Communication and Cultural exchange between the Baltic and the Black sea. Black sea studies, 15 / eds. L. Bjerg, J. Lind, S. M. Sindbæk. Aarhus. P. 39–85.

Dunning G. C., Evison V. I., 1964. The Palace of Westminster Swords, Archaeologia, 98. P. 123–158. Pl. 275–XXXII–XLVI.

Geibig A., 1991. Beiträge zur morphologischen Entwicklung des Schwertes im Mittelalter. Offa-Bücher, Neumünster. 375 S.

Jakobsson M., 1992. Krigarideologi och vikingatida svärdstypologi. Stockholm. (Stockholm Studies in Archaeology, 11).

Jankuhn H., 1939. Eine Schwertform aus karolingischer Zeit. Offa 4. S. 155–168.

Kainov S. Yu., 2012. Swords from Gnëzdovo // Acta Militaria Mediaevalia VIII / ed. P. Kotowicz. Kraków; Rzeszów; Sanok. S. 7–68.

Menghin W., 1980. Neue Inschriftenschwerter aus Süddeutschland und die Chronologie karolingischer Spaten aus den Kontinent // Vorzeit zwischen Mainz und Donau. Erlanger Forschungen, Reihe A, Band 26 /ed. K. Spindler. Erlangen. S. 227–272.

Peirce J., 2002. Swords of the Viking Age. Woodbridge. 152 p.

Petersen J., 1919. De norske vikingesverd, Kristiania. 238 p.

Raudonikas W. J., 1930. Die Normannen der Wikingerzeit und das Ladogagebiet. Stockholm. 151 S.

Stein F., 1967. Adelsgräber des 8. Jahrhunderts in Deutschland. Berlin. 438 S.

Simonsson H., 1964. Studie rörande vikingatida vapen- och ryttargravar med utgångspunkt från det västmanländska materialet. Bachelor work. Uppsala University. 1969.

Ypey J., 1964. Vroeg-middeleeuwse wapens uit Nederlandse verzamelingen // Berichten van de rijksdients voor het oudheidkundig bodemonderzoek. P. 153-176.

Zak J., Maćkowiak–Kotkowska L., 1988. Studia nad uzbrojeniem środkowo-europejskim VI–IX wieku. Zachodniobałtyjskie i słowianske ostrogi o zaczepach haczykowato zagiętych do wnętrza. Poznań. 417 p.

Summary

S.Y.Kainov

Finds of Swords Details of Early Types in Gnezdovo

This article introduces into the academic literature two items discovered in the course of excavations within the territory of the Gnezdovo settlement in an archaeological context dating from the 10th century. They are parts of hilts from swords of Type B (the base of a terminal) and of a special Type 2 or Mannheim sword (upper part of the terminal). The period when swords of these types were in use falls within the 8th–9th centuries, which does not coincide with the point of view of most scholars with regard to the time when the Gnezdovo armed force (druzhina) was functioning in the late–9th and early–10th centuries. It is possible that the parts discovered came from swords, which had outlived their usefulness within the main territory where swords of the «Carolingian» type were widespread. Bearing in mind the other objects found at the site dating from before the 10th century, it is possible that activity within the territory of the settlement in the 10th century destroyed earlier layers.

А. В. Комар

Мечи Днепростроя (к истории находки 1928 г.)

В 1928 г. в котловане строительства плотины Днепровской ГЭС были обнаружены 5 мечей X в. Яркая находка со дна Днепра сразу же привлекала к себе внимание хорошей сохранностью мечей, богатой отделкой рукоятей в скандинавском стиле и «франкскими» клеймами на клинках.

Рассмотрев происхождение мечей и вероятные центры их производства, В. И. Равдоникас попытался раскрыть и причину попадания самых мечей в воды Днепра, связав ее с нападением печенегов на русов в районе Крарийской (Кичкасской) переправы, с риторическим вопросом: «Не здесь ли, вблизи Кичкаса, рядом с нынешний плотиной Днепростроя, нашел свою гибель Святослав?» (Равдоникас, 1933, с. 598–616). И хотя исследователь сразу же оговорил, что вовсе не настаивает на такой интерпретации, предложив также и версию о гибели норманнского купеческого судна, транспортировавшего мечи на продажу, именно связь находки с местом гибели Святослава немедленно отметил как наиболее резонансный вывод статьи М. Г. Худяков в своем обзоре сборника (Худяков, 1935, с. 193).

Опираясь на первую публикацию, Б. А. Рыбаков поначалу также писал о Крарийской переправе как месте находки: «Именно здесь и был убит князь Святослав, возвращавшийся из Византии. Если эти мечи не были мечами Святославовой дружины, то они могли быть частью товарной партии мечей, шедшей через Киев по Днепру и затонувшей в результате нападения печенегов» (Рыбаков, 1948, с. 328–329). Позже акцент почему-то сместился на «пороги»: «При работах на Днепрострое в 1933 г. в порогах было найдено на дне Днепра несколько стальных мечей с серебряным узором рукоятей; они, возможно, принадлежали воинам Святослава» (Рыбаков, 1964, с. 47). В дальнейших работах исследователя место находки уже прочно закрепилось за «порогами», что лучше согласовывалось с летописными обстоятельствами гибели Святослава и его воинов, а соответственно, исчезли и оговорки о принадлежности мечей дружине Святослава (Рыбаков, 1982, с. 383; 1984, с. 200). В капитальном каталоге древнерусского оружия А. Н. Кирпичникова данный пункт внесен как «Днепровские пороги, о. Хортица» (Кирпичников, 1966, с. 28, 29, 78, 79; рис. 4; табл. V), хотя ближайший к Хортице порог Вольный располагался в 9 км от острова выше по течению (рис. 1).

Именно в таком виде – как «мечи с днепровских порогов» или «с места гибели дружины Святослава» – иллюстрация чаще всего и воспроизводилась впоследствии в различных исторических и научно-популярных изданиях. Вслед за Н. А. Чернышёвым (Чернышёв, 1963, с. 211) повторяется из работы в работу и утверждение об утрате во время Второй мировой войны всех 5-и мечей, в то время как меч без рукояти с клеймом в виде креста на самом деле сохранился в фондах Днепропетровского исторического музея.

Контекст находки в публикации описан В. И. Равдоникасом весьма лаконично: «В 1928 г. землесосы Днепростроя, работая у его левого берега против Кичкаса, извлекли со дна реки ряд находок разного времени и в том числе 5 мечей, находившихся на глубине 5–6 м ниже современного дна Днепра в этом месте», а пункт находки на мелкомасштабной карте ошибочно нанесен чуть выше Кичкасского перевоза (Равдоникас, 1933, с. 598, 614).

Больше подробностей сообщает Н. А. Чернышёв: «Кроме указанных мечей, во время работ по углублению дна котлована у левого берега Кичкаса при строительстве Днепрогэса, среди находок были: сильно деформированный медный клепаный котел, сабля XVI в. с железной крестообразной рукоятью, несколько золотых и бронзовых монет и две поздние амфоры. В другом месте на Днепрогэсе был извлечен кольчужный доспех (рубашка и штаны)» (Чернышёв, 1963, с. 211).

В качестве дополнительного источника о контексте находки Ф. А. Андрощук привлек легенды о жизни Д. И. Яворницкого (Андрощук, 2001, с. 129), при этом исследователя не смутил тот факт, что В. А. Гринченко в «рассказе очевидца» рапортует

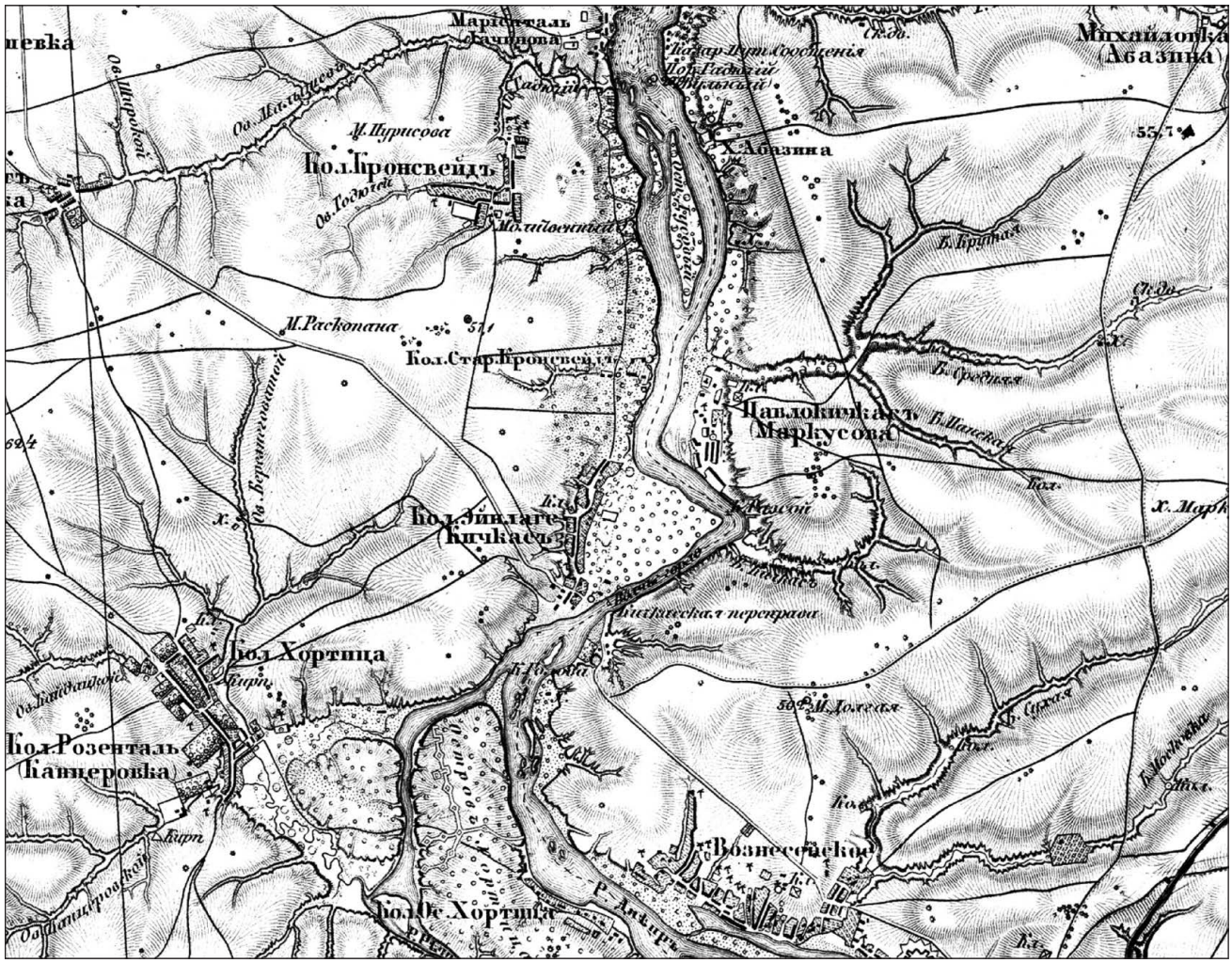


Рис. 1. Участок Днепра от о. Хортицы до Вольного порога на трехверстовке

Д. И. Яворницкому одновременно о находке мечей, двух византийских монет и клада «переплавленных» вещей, т. е. Вознесенского комплекса, исследованного в 1930 г. (Шаповал, 1965, с. 140). Используя карту В. И. Равдоникаса с локализацией находки на Кичкасской переправе, Ф. А. Андрощук, тем не менее, вновь упоминает о «днепровских порогах» (Андрощук, 2001, с. 129–130; рис. 2). В новой работе исследователя находка уже локализируется «у *правого* берега Днепра, напротив Кичкаса», а сопровождающие находки перечислены по Н. А. Чернышёву (Андрощук, Зоценко, 2012, с. 124).

Неточности и сомнительные «подробности» продолжают накапливаться и дальше. Так, в одной из недавних работ утверждается, что мечи были найдены «в 1927 г., в начале строительных работ, в нынешнем бьефе Днепра, на песчаной косе у левого берега Днепра, напротив северной части острова Хортица», причем источником выступает загадочная статья В. И. Равдоникаса 1929 г. (!) (Сокульський, Сокульский, 2012).

Уже В. И. Равдоникас озвучил все три главных версии интерпретации находки: гибель дружины Святослава, нападение печенегов на купеческое судно или его крушение, искупительная жертва (Равдоникас, 1933, с. 613–616). Наибольшую популярность среди историков приобрела версия о возможной связи находки со Святославом, хотя в специализированной археологической литературе ей, наоборот, уделяется меньше всего внимания и в основном со ссылками на мнение Б. А. Рыбакова (Лебедев, 2005, с. 574). Г. Ф. Корзухина склонялась к версии о крушении торгового судна (Корзухина, 1954, с. 37), а А. Н. Кирпичников аргументировал товарный характер партии мечей, по его мнению, направлявшейся на восточные рынки (Кирпичников, 1966, с. 38; 2007, с. 84). Ф. А. Андрощук и В. Дучко обратили внимание на традиционный германский характер жертвования оружия в воду, зафиксированного многочисленными археологическими находками на севере Европы, что в сочетании со сведениями Константина Багрянородного о жертвенном месте

русов на о. Хортица позволило им отнести и днепростроевские мечи к следам ритуала (Андрощук, 2001, с. 130–132; Duczko, 2004, p. 251); эту версию поддержала также Г. Ларссон (Larsson, 2007, p. 253).

Новый повод для реатрибуции днепростроевских мечей дала находка в 2011 г. в Днепре еще одного меча X в. севернее о. Хортица, немедленно получившего в СМИ название «меч Святослава», и, соответственно, возродившая версию о гибели князя вблизи острова (Сокульський, Сокульский, 2012; Остапенко, Нефьодов, 2013). Два территориально близких пункта, действительно, переводят проблему находок мечей X в. на дне Днепра в данном районе в разряд некой закономерности, нуждающейся в приемлемой археологической и исторической интерпретации. Тем важнее и актуальнее становится задача установить реальный археологический контекст и условия обнаружения мечей в 1928 г.

Первая публикация мечей (Равдоникас, 1933) была не только малословной относительно обстоятельств находки, но даже не вспоминала о ее авторах, для которых, в свою очередь, статья стала сюрпризом. М. А. Миллер позже утверждал, что сотрудники Днепростроевской экспедиции принципиально отказывались от передачи своих материалов для публикации в изданиях ГАИМК, настаивая сначала на совместной публикации материалов экспедиции в Украине (Міллер, 1956, с. 163–164). Правда, несколько ранее, еще до отъезда из СССР с отступающими немцами, пытаясь всячески отгородить себя от связи с «гнездом националистической контрреволюционной пропаганды» в Днепропетровском музее после массовых репрессий его сотрудников, М. А. Миллер мотивировал «циркулярный запрет» на публикации в ГАИМК лишь националистическими побуждениями украинских археологов, выражая удовлетворение «ликвидацией указанной группы» в 1933 г. (Миллер, 1938, с. 7, 8, 16; копия в Архиве ИИМК, ф. 24, д. № 161). Как свидетельствует его переписка и других сотрудников с главой Днепростроевской экспедиции Д. И. Яворницким (Епістолярна спадщина…, 1997, с. 355; Епістолярна спадщина…, 2012 , с. 554), в реальности в начале 1933 г. произошло совещание по вопросу формы публикаций, в котором победило мнение А. В. Добровольского и П. И. Смоличева о необходимости предварительного издания коллективных отчетов о работе экспедиции перед публикацией отдельных статей по узкой тематике. А вызвано такое «циркулярное» решение было именно попыткой М. А. Миллера опубликовать в конце 1932 г. в «Проблемах ГАИМК» обзорный отчет о работах Днепростроевской экспедиции под собственной фамилией (Миллер, 1938, с. 16).

Результаты работ экспедиции 1927–1929 гг. планировалось вначале издать в виде краткого отчета Д. И. Яворницкого в «Студиях по изучению территории Днепрогэса» (1931 г.). Впоследствии специально созданная комиссия Днепрогэса ВУАН выразила желание напечатать отдельным томом все полевые отчеты 1928–1929 гг., но дальше редакционного портфеля дело не пошло; повторно сделать это намеревался Институт истории материальной культуры АН УССР в 1934 г. (Козубовский, 1934, с. 10). Параллельно в Днепропетровском краевом историко-археологическом музее готовился второй том «Сборника», который после отстранения от работы Д. И. Яворницкого и репрессий в музее 1933 г. так и не был завершен, а его материалы были переданы в 1934 г. в Киев (Ковалева, 2003, с. 7–8). В 1933 г. в числе других сотрудников экспедиции был арестован и выслан П. И. Смоличев, судя по материалам из личного фонда, собиравший материалы для статьи «Относительно форм и происхождения так называемых варяжских или франкских мечей, найденных в русских курганах» в контексте находки 1928 г. (НА ИА НАНУ, ф. 6, № 84).

По просьбе ИИМК АН УССР, в 1934–1936 гг. участники экспедиции, пережившие первую волну репрессий, повторно прислали свои статьи, которые должны были войти в выпуск «Археологии», разгромленной уже на этапе редактирования (1937 г.) (Миллер, 1938, с. 15–17). В 1938 г. Институт археологии АН УССР вновь собрал и к 1939 г. подготовил отдельно к печати первую часть материалов работ Днепростроевской экспедиции, куда вошел и отчет В. А. Гринченко о наблюдениях на котлованах Днепростроя в 1928 г. Второй том готовился в 1940 г. (Фещенко, 1940, с. 4–5), но ни одному из них так и не суждено было выйти. Редакционные портфели указанных сборников также не сохранились (известны лишь копии отдельных статей в личных фондах авторов).

Каким же образом, несмотря на «циркулярный запрет», в 1933 г. появилась публикация мечей в Ленинграде? В 1932 г. благодаря А. А. Миллеру, пытавшемуся пристроить отчисленного из Ленинградского университета «за антиобщественное поведение» талантливого студента-реставратора графского происхождения Н. А. Чернышёва, последний был командирован на время работы Днепростроевской экспедиции в Днепропетровский музей, где в то время занимал должность заведующего археологическим отделом М. А. Миллер. Здесь Н. А. Чернышёв и занялся реставрацией днепростроевских мечей, полностью расчистив на клинках едва просматривавшиеся клейма. Вернувшись в Ленинград, в процессе подготовки отчета с описанием процесса реставрации предметов и технологии их изготовления, Н. А. Чернышёв обратился за консультацией по чтению клейм на клинках мечей к своему университетскому преподавателю В. И. Равдоникасу. Последний немедленно использовал предоставленные реставратором материалы для собственной публикации, в которой, правда, отмечалось, что Н. А. Чернышёвым тоже готовится отдельная статья (Равдоникас, 1933, с. 599). Но в том же

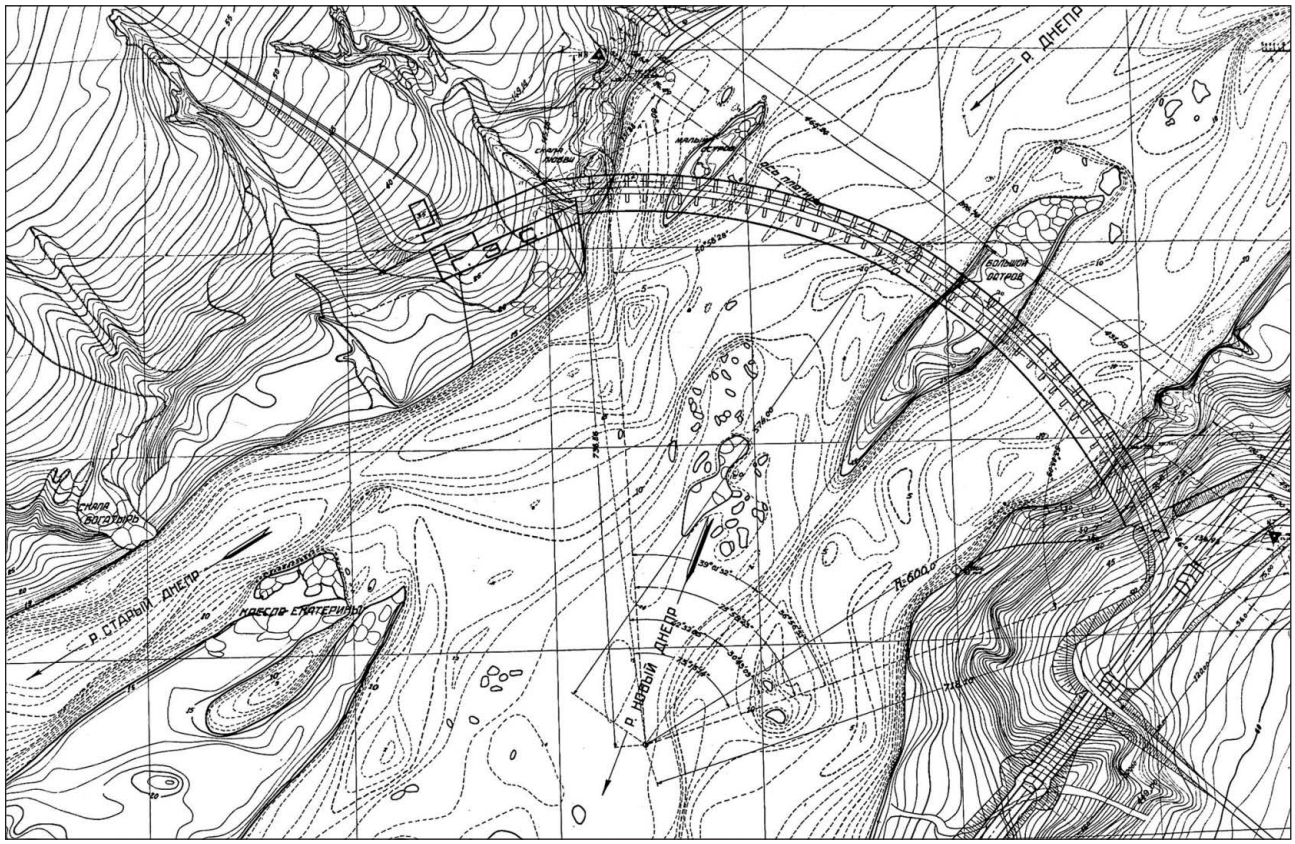


Рис. 2. План сооружений плотины Днепрогэса, 1924 г. (НА ИА НАНУ, ф. 18, № 164)

1933 г. Н. А. Чернышёв был арестован и выслан, а его работа вышла в печати только в 1963 г. (Чернышёв, 1963). Судя по отдельным дословным цитатам в описании мечей, В. И. Равдоникас пользовался черновым текстом Н. А. Чернышёва. Также, очевидно, именно предоставленные Н. А. Чернышёвым прорисовки мечей издал позже А. Н. Кирпичников как «рисунки из архива В. И. Равдоникаса» (Кирпичников, 1966, рис. 4).

Спустя многие десятилетия следует констатировать, что, учитывая утрату 4 мечей во время Второй мировой войны и репрессирование большинства причастных к Днепростроевской экспедиции археологов, далеко не самый этичный поступок «неистового» В. И. Равдоникаса в итоге стал одним из ключевых факторов в счастливом стечении обстоятельств, позволивших не только оперативно ввести памятник в научный оборот, но и, возможно, сохранить его для науки.

Своему открытию мечи Днепростроя также обязаны реалиям бурной эпохи сталинской индустриализации СССР. В 1927 г. выше г. Запорожье началось строительство Днепровской ГЭС («Днепрельстана»), расположенной между землями немецкой колонии Кичкас (на правом берегу) и с. Вознесенка (на левом). Плотина проходила через «Малый» (Стрелецкий, «Малый лозоватый») и «Большой» (Черный, или Федоришин) острова (рис. 2), располагаясь в 1,3 км северо-восточнее о. Хортица и 1,2 км ниже по течению от Кичкасской переправы XIX–XX вв. (рис. 1).

Под фундамент плотины ГЭС следовало прорыть до скальной породы котлован шириной 44 м и общей длиной 766 м. Непосредственно на реку приходилось ок. 590 м котлована, разбитого на три части упомянутыми скалистыми островами (рис. 2). Эти три части получили соответствующие названия: котлованы правого (60 м), левого (165 м) и среднего (270 м) протоков (рис. 2); работы по возведению плотины, дабы не перекрывать все течение Днепра, велись в котлованах поочередно. У левого берега параллельно строился мостовой переход на Дурную скалу. В 1928 г. было завершено возведение перемычек левого и правого протоков; летом этого же года из обоих протоков была откачана вода и начались земляные работы по выборке ила и песка на дне. По проекту для возведения бетонных быков требовалось пройти слой в 2,5–3 м рыхлых донных отложений, а затем местами до 6–7 м валунов и щебня до прочного скального основания. В течение 1929 г. удалось полностью забетонировать котлованы левого и правого протоков, открыв для воды левый проток. А в 1930 г. аналогично был пройден до скалы и забетонирован котлован среднего протока (Рубин, 1932, с. 7–30).

Работы по археологическому наблюдению непосредственно на Днепрострое начались в 1927 г., когда на правом берегу Днепра, возле Кичкаса, развернулось масштабное строительство лагеря для рабочих, а затем и котлованов для зданий и плотины ГЭС. Уже на начальной стадии земляными работами при помощи плугов («грабарями») были разрушены 12 курганов и содран до материка культурный слой древнерусского поселения, обнажив 16 землянок, требовавших доисследования; основные силы Днепростроевской экспедиции были брошены на селище и курганы и в следующем 1928 г.

Постоянное наблюдение за котлованами в реке Днепростроевской экспедицией первоначально вряд ли планировалось. Прибегнуть к нему заставили события лета 1928 г. В кратком отчете о работах 1927–1929 гг. Д. И. Яворницкий писал: «В самом Днепре, напротив колонии Кичкаса, найдено было много разных ценных вещей, а именно: две целых амфоры, большое количество другой посуды, рога оленя, голова с рогами первобыка или бизона; на глубине 10 м, из ила, вытянут был землечерпалкой целый сосуд с разными бронзовыми монетами, из которых 9 монет сейчас есть в Краевом музее г. Днепропетровска, а остальные разошлись по рукам рабочих. Все те монеты, которые в музее, малоазийские, времени понтийского царя Митридата, от 60 г. до нашей эры: четыре монеты Амисуса, три Амасии, одна Газиура и одна Талаура. Случайно также найдена была в воде, возле правого берега Днепра, какая-то византийская монета с лицом царя. Нашел ее один рабочий, который купался в реке и “наступил на что-то твердое ногой”. За эту монету один из строителей-инженеров давал тому рабочему 25 р., но рабочий поспешил продать ее кому-то другому за 35 или 40 р.» (Яворницький, 1929, с. 6).

По мнению Д. И. Яворницкого, именно данную византийскую монету из Кичкаса атрибутировал как солид Юстиниана I Р. Р. Фасмер, упоминавший также о находке медной монеты того же императора в 1927 г. на улице Кичкаса (Фасмер, 1929, с. 293; Кропоткин, 1962, с. 31, № 157). И уж точно, только эти две византийские монеты, фигурирующие в отчете Д. И. Яворницкого, могли побудить Н. А. Чернышёва и И. М. Шаповала упомянуть «византийские монеты» в составе сопутствующих находок днепростроевским мечам.

Обиднее всего для работавших рядом археологов наверняка было пропустить большой клад античных монет, из которых А. Н. Зограф пишет даже не о 9, а только о 6 монетах (Зограф, 1940, с. 295), по-видимому, атрибутированных по фотографии (рис. 3: 1). Упоминание «землечерпалки» (у А. Н. Зо-



Рис. 3. Находки из котлованов лета 1928 г.: 1 – бронзовые монеты; 2 – амфора (НА ИА НАНУ, негативы № 821, 827)

графа – «рефулер»), при работе которой был обнаружен клад монет, скорее всего, указывает на котлован правого протока в период его откачки после сооружения перемычек. Но глубины в 10 м на данном участке не было (максимальная 7 м), поэтому клад залегал, как минимум, под 3-метровой толщей наносов, которые выбирались открытым способом.

Как только вода из правого и левого котлованов была откачана, в дело вступили землекопы и экскаваторы. Днепростроевская экспедиция, испытывавшая острую нехватку кадров из-за огромных масштабов зоны планируемого затопления, выделила в июле 1928 г. для наблюдений ассистента Л. Е. Кистяковского, во всяком случае, именно им составлен реестр находок левого котлована за июль, сохранившийся в архиве П. И. Смоличева (Кістяківський, 1928).

Под № 1 в реестре значится состоящая из двух фрагментов толстостенная амфора темно-красного цвета высотой 0,6 м – по-видимому, это и есть одна из двух «целых» амфор, упомянутых Д. И. Яворницким. Согласно фотографии (рис. 3: 2) – это веретенообразная амфора XII–XIV вв. (Bakirtzis, 1989, Fig. 5; type V; Коваль, 2012, с. 47; группа II, тип 2; Паршина, Созник, 2012, с. 25–26; тип XII), синхронная функционировавшим в этот период на правом и левом берегах Днепра древнерусским поселениям у Кичкаса (Брайчевська, 1962, с. 157–167; Сміленко, 1975, с. 178–187; Козловський, 1992, с. 111–113). Вторая полная форма амфоры могла быть собранной на базе № 11 реестра (без шейки и с отбитыми ручками). На карте из архива В. А. Гринченко (НА ИА НАНУ, ф. В. А. Гринченко, № Г/3) условный знак в виде веретенообразной амфоры с расшифровкой «находки греческой посуды» нанесен на о. Чёрном – возможно, целые формы амфор были найдены в котловане под самым островом. Общее число инвентарных номеров реестра левого котлована за июль (Кістяківський, 1928) – 286 ед., из которых 144 принадлежат фрагментам амфор, 58 – фрагментам других сосудов, 37 ед. костей, рогов, черепов животных и 8 индивидуальных находок (кремневое орудие, грузило, оселок и 5 «обработанных» камней).

В ноябре 1928 г. наблюдение за котлованами по совместительству было поручено младшему археологу экспедиции В. А. Гринченко, сменившему А. В. Добровольского на раскопках каменного сооружения в балке Сагайдачного, в относительной близости от котлованов мостового перехода и левого протока плотины. Остается неясным, проводились ли какие-либо наблюдения в период с августа по октябрь или же они были приостановлены из-за производственных причин. В начале своего отчета В. А. Гринченко сразу оговаривает: «Я не буду говорить здесь про то огромное количество фрагментов посуды различных времен, костей животных, людей, рогов оленя, которых особенно много находили на дне котлована левого берега на протяжении этого лета, а остановлюсь только на предметах, которые пришлось подобрать мне» (Грінченко, 1929, с. 17–18).

Собственно дневника наблюдений за работами на котлованах Днепростроя в ноябре 1928 г. также найти не удалось – скорее всего, таковой существовал лишь в виде черновых записок. Но в нашем распоряжении есть отчеты В. А. Гринченко (1929 г. и его версия 1938 г. для печати) и Д. И. Яворницкого, 3 рукописных черновика отчета в дневниках В. А. Гринченко за 1928–1929 гг. и его переписка с Д. И. Яворницким как главой экспедиции в процессе работ, полевой реестр находок, а также короткие выдержки в рукописях работ других участников экспедиции. К отчету В. А. Гринченко прилагаются 5 фотографий и 6 стеклянных негативов (большинство разбито), запечатлевших мечи сразу после находки до реставрации; шестой отпечаток с негатива хранится в его личном фонде.

В. А. Гринченко проводил раскопки в балке Сагайдачного, согласно дневнику, 19–30 ноября 1928 г. В письме-рапорте Д. И. Яворницкому от 21 ноября исследователь сообщал: «Первые три дня ушли на работу организационного характера, как-то: получил пропуск для хождения по стройке, познакомился со всеми руководителями работ на обеих сторонах Днепра, осмотрел пункты, где могут быть находки. [До] этого времени вроде бы нигде ничего не находилось, а [может] и находилось, но не замечалось. Рукрабы обещали меня извещать, когда что будет, а я частенько думаю [туда] наведываться, но [за] всем не уследишь [при] таком темпе работ: экскаваторизации, [...], бетонизации и такой отдаленнизации» (Епістолярна спадщина…, 1997, с. 134–135). В первом черновике отчета (1928 г.) отмечалось также: «Во время моего пребывания на Днепрельстане в ноябре месяце наступали холода и заморозки, поэтому работы по строительству, особенно земляные, все более и более сокращались: работа проводилась только в котлованах мостового перехода на Дурной скале и в котлованах плотины возле обоих берегов».

Следующее письмо Д. И. Яворницкому от 24 ноября уже содержало новости наблюдений: «Что касается находок на других пунктах, то тут могу Вас порадовать и особенно из котлованов, куда я сам бегаю ежедневно, а также имеем большое сочувствие со стороны руководителей работ, их помощников и сотрудников канцелярий, за исключением рабочих: те всё ищут золото, поэтому посуду некоторую разбивают, а потом от злости забрасывают. Правда, некоторые из первых пытаются забрать предметы домой или хотя бы украсить „кабинет", как завотделом земельно-скальных работ Самохин, который хотел оставить череп у себя в кабинете (череп найден на Дурной, довольно интересный). Но я с ними воюю, и они затем любезно отдают, замечая: „А может, Вы бы оставили, у Вас же тысячи их"» (Епістолярна спадщина…, 1997, с. 136).

Ниже в письме сообщалось о трех воронках в камне на дне правого котлована (двух уже засыпанных), свидетельствующих о полном прохождении здесь рабочими рыхлого слоя донных отложений до скального основания. Из находок отмечались лишь хорошо обточенные каменные шар и цилиндр-растиральник. «Больше особенного в этом котловане нет. На левом берегу в котловане – большой рог оленя, надломанный; много фрагментов амфор, ромбовидная стрелка, шар, такой же, как и в первом котловане, из гранита. Ведёрко, кованное из красной меди, – дно и края неуклюже заклепаны клёпками, и, наконец, два меча. Прекрасные мечи – хорошая работа и хорошая сохранность. Тип варяжских мечей... [далее следует описание мечей № 1 и 2 по В. А. Гринченко] Размеров давать не буду, поскольку ещё не заводил в реестр. Вы скажете: "как они мне их отдали?" Не давали – не давали, но пришлось поговорить и ударить по их благородных "чувствиях", ну и отдали, только расписку потребовали. Ага, найден еще браслет – сделан из трубочки, кажется, серебряной. Это взята длинная пластинка, сделана трубочка – концы спаяны, и затем сделан этот браслет» (Епістолярна спадщина…, 1997, с. 137).

Из находок правого котлована в реестре 1928 г. числятся всего 5 единиц: кроме упомянутых выше каменных шара и растиральника, это половина чугунной гранаты и обломки рогов оленя (№ 43–47); в котловане на Дурной скале – 2 единицы: череп и керамическое изделие типа «носика чайника» (сопло) (№ 77, 78). В отчете также упомянуты фрагменты бивня мамонта из котлована мостового перехода с левого берега на Хортицу (на глубине ок. 3 м) и фрагменты керамики и кремневые орудия с Дурной скалы. В первую часть реестра находок левого котлована за ноябрь, действительно, внесены только два меча. Вместе с ними фигурируют еще 13 единиц: железный наконечник стрелы, стремя, медный котелок («ведерко»), серебряный браслет, 4 фрагмента амфор, часть гранитного шара, фрагмент чугунной гранаты, части рогов (в т.ч. обработанных) и ребро оленя (Грінченко, 1928, № 28–42). Три остальных меча (№ 3–5) занесены в реестр позже (Грінченко, 1928, № 74–76), и, к сожалению, документов, разъясняющих, каким именно образом В. А. Гринченко все-таки удалось их «отбить» у рабочих, нет.

Отчет содержит только финальный рассказ про обнаружение мечей: «Для строительства плотины, в

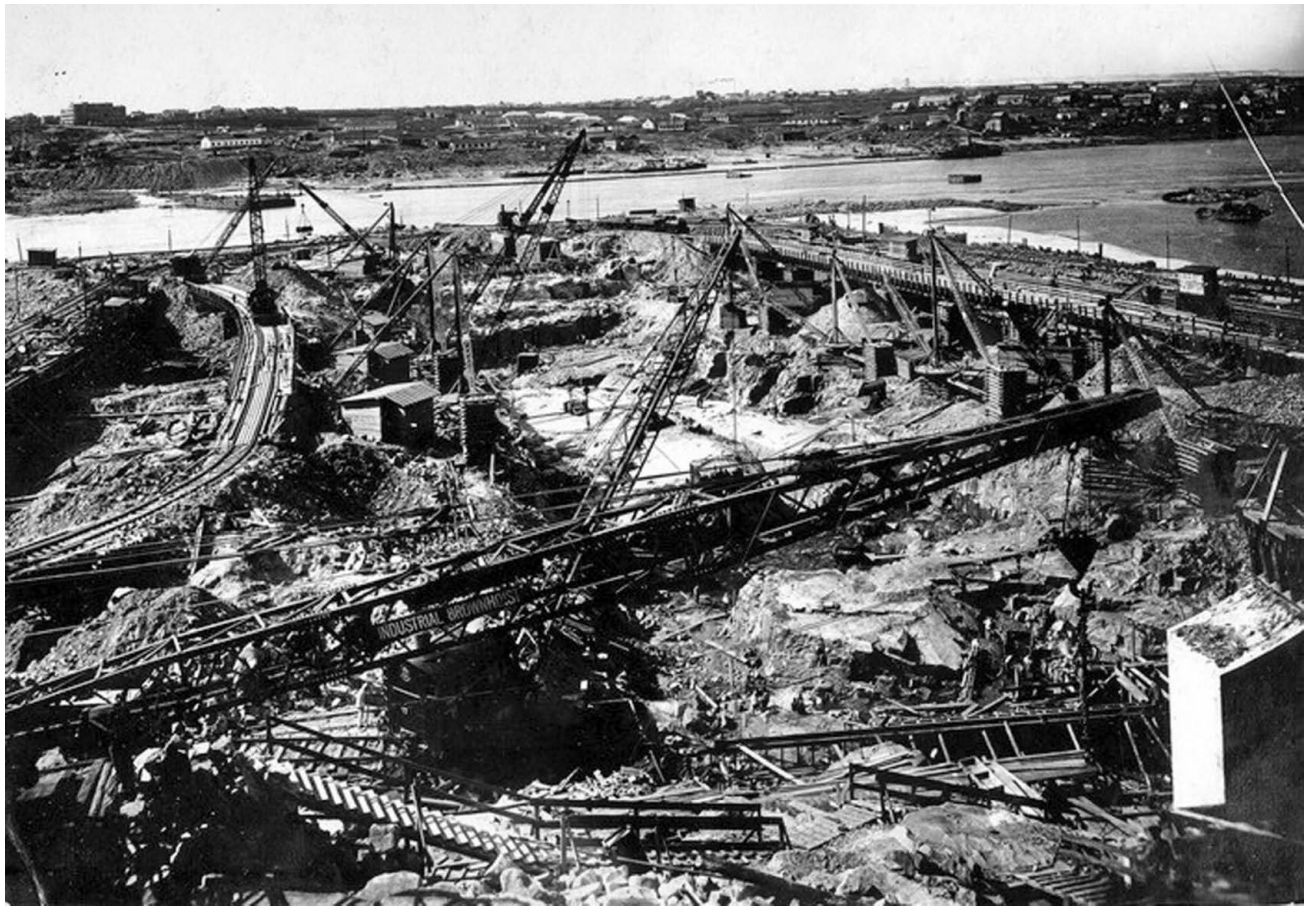


Рис. 4. Котлован левого протока, 1928 г.

левом котловане, нужно было очистить дно Днепра, а на нём лежал толстый слой ила. Выбирая этот ил, под самым левым берегом, на глубине около 7–8 м от уровня воды, рабочие строительства наткнулись на фрагмент меча. [...] Глубже от этого фрагмента, где-то 1,5–2 м, найдены четыре меча, лежащие почти вместе. Можно думать, что все они были вместе, но впоследствии один вода снесла, а возможно, даже сломала» (Грінченко, 1929, с. 19; 1938, с. 22).

При сравнении с рукописными черновиками отчета (Научный архив ИА НАНУ. Фонд В. А. Гринченко, № Г/8) бросается в глаза несоответствие глубин: в первом варианте черновика (1928 г.) обломанный меч найден на глубине «около трех метров (от верха воды)», а остальные мечи – «глубже около 1 метра»; во втором (1929 г.) – на глубине «прибл. 7–8 м» и «прибл. на 1–1,5 м»; в третьем – на глубине «прибл. 7–8 м» и «прибл. 1,5–2 м» соответственно. В кратком отчете Д. И. Яворницкого глубина находки мечей вообще доведена до 10 м (Яворницький, 1929, с. 7).

Взглянув на фото хаотического процесса перемещения земли при выборке котлована (рис. 4), становится ясным, почему В. А. Гринченко испытывал трудности с определением реальной глубины залегания мечей, устанавливая ее уже постфактум. Участок Днепра между Чёрным островом и левым берегом был относительно неглубоким: дно в левой (ближней к берегу) части котлована находилось на глубине 4–6 м, а в правой (ближней к острову) – 6–7 м. Указание В. А. Гринченко о находке мечей возле самого левого берега, скорее всего, приходится на участок глубиной в 4–5 м (рис. 2: урез реки плана на отметке +14 м). Это и объясняет различия в глубинах первого черновика отчета (3 м) и последующих (7–8 м) – в первом варианте В. А. Гринченко просто неверно интерпретировал собственные дневниковые записи, приняв глубину в 3 м от воды (т. е. дна) за уровень реки, исправив это в последующих вариантах. Менее понятно, почему разрыв в глубинах между сломанным мечом и другими 4 мечами к финальному варианту постепенно вырос от 1 м до 1,5–2 м; предпочтение здесь следует отдать первому черновику отчета.

В русскоязычных рукописях статей П. И. Смоличева (Смоличев, 1933, с. 37) и М. А. Миллера (Миллер, 1938, с. 74) воспроизведен идентичный абзац о мечах: «У Кичкасской переправы, при чистке дна сосунами, были извлечены 5 мечей т. н. скандинавского типа. Мечи находились в исключительных условиях, залегая в песке под огромною толщею воды». Кто бы ни был автор этих строк, пересказывая текст коллективного отчета за 1927–1931 гг. (Дніпрельстанівська археологічна експедиція…, с. 14), он добавил от себя вставку о «сосунах», по-видимому, считая, что в 1928 г. песок со дна вынимался так же, как в 1930 г. с уже забетонированных котлованов – земснарядами. Именно этот ошибочный вариант и был повторен В. И. Равдоникасом в публикации (Равдоникас, 1933, с. 598).

Процесс ручной и механизированной выборки песка и ила из осушенных котлованов в реальности позволял хорошо зафиксировать разницу в глубине залегания предметов, поэтому полученные В. А. Гринченко путем расспроса рабочих данные, как минимум, о двухуровневом залегании мечей должны восприниматься с доверием. А следовательно, находка, прочно вошедшая в научный оборот как единый комплекс, распадается не менее чем на два хронологически дистанцированных события, разделенных песчаным наносом мощностью минимум в 1 м. Тот факт, что мечи оказались у двух различных групп рабочих, также заслуживает внимания – похоже, мечи № 3 и 4 по В. А. Гринченко (или № 1, 4 по В. И. Равдоникасу) либо найдены чуть раньше, чем мечи № 1 и 2 (№ 3, 2 по В. И. Равдоникасу), либо были от них несколько обособлены, находясь на участке другой бригады. Поэтому, рассматривая находку в комплексе, рационально разделить ее на три группы по признаку времени обнаружения и поступления в коллекцию: группа А (№ 1, 2), группа В (№ 3, 4) и группа С (№ 5).

Описание и обмеры мечей изданы В. И. Равдоникасом и Н. А. Чернышёвым (Равдоникас, 1933, с. 599–604; Чернышёв, 1963, с. 216–223), нумерация мечей у которых отличается от отчета заменой меча № 1 на № 3 (из типологических соображений); также у В. А. Гринченко заметно не совпадают размеры, что частично объясняется проведением замеров до реставрации. Ниже приведены для сравнения обмеры мечей из реестра, а также отдельные заметки из описания мечей В. А. Гринченко, дополняющие представление об утраченных артефактах. Для иллюстрации технологических приемов исполнения рукоятей отдельные детали выкадрованы (рис. 8).

Меч № 1 (рис. 5: 1; рис. 6: 1). Общая длина – 96,2 см; длина клинка – 76 см; ширина клинка у рукояти – 5,1 см; ширина дола – 2,5 см; длина перекрестья – 13,3 см; толщина перекрестья – 3,2 см; высота рукояти от перекрестья до навершия – 9,2 см; длина навершия – 10,6 см; высота навершия – 7,9 см; диаметр декоративных ячеек – 0,4 см, а их ободков – 0,9 см. «На лезвии с обоих краев и обеих сторон недалеко от края маленькие трещинки. Лезвия пощерблены. К обеим сторонам клинка прилипли вроде бы ткань и что-то типа волос, достаточно густо. Не от ножен ли?». На рукояти ок. 210 витков серебряной проволоки.

Меч попал в руки Н. А. Чернышёва уже полностью очищенным шлифовкой до структуры металла, с поврежденным клеймом. Очевидно, именно он был отдан на металлографический анализ профессору Днепропетровского горного института А. П. Виноградову (Яворницький, 1929, с. 7). Утверждение Н. А. Чернышёва, что анализу подвергнуты и сравнивались все 5 клинков (Чернышёв, 1963, с. 216), ошибочно – состоянием на 1929 г. только один меч выглядел «блестящим», а остальные 4 были покрыты слоем черной окиси.



Рис. 5. Мечи № 1–4 до реставрации (НА ИА НАНУ, ф.18, № 30)

Меч № 2 (рис. 5: *2*; рис. 7: 1). Общая длина – 93,6 см; длина клинка – 77,5 см; ширина клинка у рукояти – 5,5 см, на конце – 3,6 см; ширина дола – 2,7 см; толщина перекрестья на концах – 2,6 см, по центру – 1,6 см; высота рукояти от перекрестья до навершия – 9 см; длина навершия – 8,6 см; высота навершия – 5,5 см. Лезвие заточено, слегка пощерблено. Черенок надломан.

Меч № 3 (рис. 5: *3*; рис. 7: 2). Общая длина – 94 см; длина клинка – 78 см; ширина клинка у рукояти – 5,4 см; длина перекрестья – 11,3 см; длина навершия – 8,8 см; общая высота рукояти – 16 см. Диаметр шайб для заклепок, которыми скреплено навершие, – 1 см.

На рукояти 224 витка серебряной проволоки. Лезвия пощерблены.

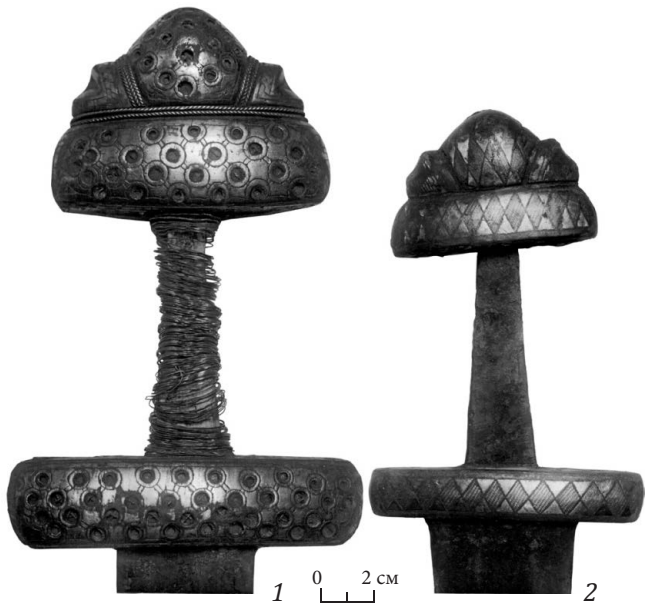


Рис. 6. Рукояти мечей № 1 (1) и 4 (2) до реставрации (НА ИА НАНУ, ф. 18, № 30)



Рис. 7. Рукояти мечей № 2 (1) и 3 (2) до реставрации (НА ИА НАНУ, ф. 18, № 30)

Меч № 4 (рис. 5: *4*; рис. 6: 2). Общая длина – 90,5 см; длина клинка – 75 см; ширина клинка у рукояти – 5,6 см; максимальная ширина черенка – 2,6 см, минимальная – 1,5 см, толщина – 0,5 см, длина перекрестья – 10,5 см; длина навершия – 7,9 см; общая высота рукояти – 15,5 см. Сохранилась одна из шайб для заклепок, которыми скреплено навершие, диаметром 1,1 см. «Лезвия изредка пощерблены».

Меч № 5. Без рукояти, обломан. Общая длина фрагмента – 67 см. Ширина клинка – 5 см; максимальная ширина черенка – 2,8 см, толщина – 0,5 см. «Лезвия пощерблены немного, но местами довольно острые».

Для иллюстрации технологических приемов исполнения рукоятей, исследованных и описанных Н. А. Чернышёвым (Чернышёв, 1963, с. 216–223), их отдельные детали выкадрованы (рис. 8).

Приблизительно в одно время с мечами в левом котловане обнаружены наконечник стрелы (длина – 11,3 см, черенок обломан), стремя, медный котелок с приклепанным дном и ушками (диаметр – 19,6 см, высота – 14,5 см), полый серебряный браслет, заполненный внутри пастой (диаметр – 10,1 см, толщина – 0,9 см). Аналогии предметам происходят в основном из кочевнического контекста половецко-золотоордынского времени XII–XIV вв. В. А. Гринченко также упоминает в письме-рапорте «много фрагментов амфор», но в коллекцию им были взяты только 4 фр.

В 1929 г. при продолжении работ в правом и левом котлованах производилось уже постоянное наблюдение. Реестр находок правого котлована состоит из 71 единиц: 12 фр. «византийских амфор», 19 фр. посуды, 39 костей и рогов, а также «снарядопобный предмет» (Гречковський, Данілевський, Девлад, 1929). Реестр левого котлована гораздо богаче – 741 инвентарная единица, из которых 12 позиций индивидуальных находок (пирофиллитовое пряслице, оселок, нож, топор, «молоток», 2 рыболовных крючка, 3 кремневых орудия, 7 гвоздей), 302 фр. амфор, 301 фр. посуды, 125 костей, зубов, рогов животных и 1 человеческий череп (Данілевський, Девлад, Гречковський, 1929). Дневников наблюдений 1929 г. в фонде Днепростроевской экспедиции нет, как, к сожалению, нет и отчета о наблюдениях за этот год – судя по отсутствию имен наблюдателей в перечне сотрудников экспедиции, археологический надзор над работами в котлованах был поручен практикантам.

Коллекция котлована левого берега сохранилась в Национальном музее истории Украины (полевой шифр «КБЛ»), она состоит из более чем 100 фрагментов гончарных сосудов, аналогичных материалам соседних древнерусских поселений XII–XIV вв. правого и левого берегов, а также более 400 обломков амфор XII–XIII вв. (Строкова, 1983, с. 29). В реестре и коллекции привлекает внимание практически полное отсутствие поливной посуды – скорее всего, таковая считалась «поздней» и не бралась, тогда как черная с лощением посуда XVI–XVII вв. поначалу выбиралась из-за сходства с посудой «культуры полей погребений» и вносилась в реестр, но в финале в коллекцию практически не попала. Что касается древнерусских материалов, то здесь крайне высоким выглядит процент тарной посуды, особенно в левом котловане. Для сравнения, согласно реестру раскопок Кичкасского поселения на правом берегу за 1928 г., из 1396 фрагментов керамики амфо-

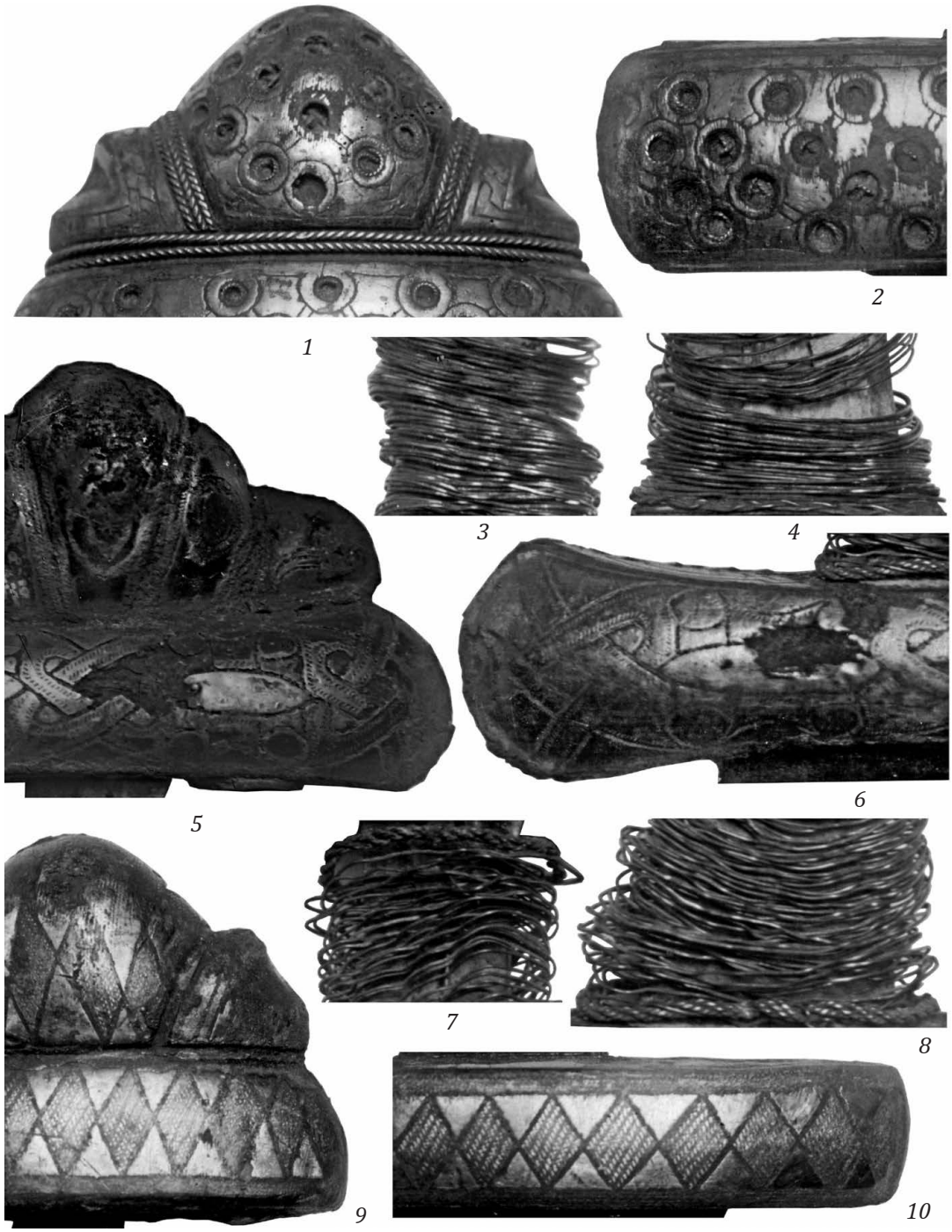


Рис. 8. Детали отделки рукоятей:
1–4 – меч № 1; 5–8 – меч № 3; 9, 10 – меч № 4 (масштаб различный)

рам принадлежали только 137 (Брайчевська, 1962, с. 163–164), а в сохранившейся коллекции раскопок сейчас присутствуют ок. 600 фрагментов горшков и ок. 100 амфор (Строкова, 1983, с. 29). Этот показатель не позволяет считать образовавшийся на дне левого котлована культурный слой лишь следствием механического размывания слоя древнерусских поселений, заставляя также вспомнить о двух «целых» амфорах из находок июля 1928 г.

Самый большой котлован среднего протока наблюдался с 1 июня 1930 г. ассистентом Г. Г. Мартенсом. Здесь археологов, впрочем, ждало разочарова-

ние: «До этого времени дно котлована в среднем протоке было уже практически высушено. Дно составлял сплошной гранит, покрытый большими валунами, щели между которыми были забиты гравием и песком. В этих самых щелях между гравием и находились разные предметы. В 1929 г. средним протоком было пущено главное течение Днепра, и его натиском было снесено всё, что находилось на поверхности дна» (Мартенс, 1931, с. 41). Резко усилившееся после перекрытия правого и левого протоков течение Днепра сыграло роль промывочного инструмента, оставив на месте только камни и предметы, удержанные в щелях гравием. Наблюдения пришлось проводить фактически за взрывными работами, осматривая щели после разлета камней. Именно таким образом Г. Г. Мартенс и собрал возле Чёрного острова 3 рога бизона, медный кинжал, железный нож с ушком для подвешивания, фрагмент железного серпа, цевье ружья, большой железный кинжал и саблю (Мартенс, 1931, с. 41–42).

Сабля из котлована среднего протока – последний недостающий элемент из перечня Н. А. Чернышёва (Чернышёв, 1963, с. 211), как видим, просто перечислившего в качестве сопутствующего мечам контекста самые яркие находки из всех трех котлованов за три года наблюдений (1928–1930 гг.). В реальности, из территориально и хронологически близких мечам находок можно разве что выделить несколько фрагментов амфор с широкой датировкой древнерусским временем, тогда как основная масса материала из донных отложений как левого, так и правого котлованов приходится на период XII–XIV вв., когда рядом по обе стороны Днепра существовали древнерусские поселения.

Кичкасское селище правого берега тянулось южнее от плотины, тогда как одно из жилищ поселения левого берега было прямо срезано котлованом шлюза. Отмеченный выше очень высокий процент амфор на дне котлованов, а также находка клада монет I в. до н.э. вполне могут указывать на существование в определенные исторические периоды лодочного перевоза именно здесь, а не в 1,2 км севернее, в районе Кичкасской переправы, где течение реки значительно быстрее и опаснее. В единую группу с двумя древнерусскими поселениями возле плотины Днепрогэс, несомненно, входило поселение в южной части о. Хортица (т. н. Протолче), где раскопками 1976–1980 гг. исследованы объекты и культурный слой XII–XIII вв., а также ордынского времени XIV – начала XVI в. (Сокульский, Шевченко, Бодянский, Рогожкина, 1977, с. 373–374; Козловський, Ільїнський, 1991, с. 46).

Две наиболее распространенные версии объяснения происхождения днепростроевских мечей: нападение печенегов на войска Святослава или на купеческое судно – обе наталкиваются на препятствие в виде ширины Днепра на рассматриваемом участке (рис. 2). Опасаясь кочевнической засады, судно, несомненно, двигалось бы фарватером (центральным протоком) между островами Стрелецким и Чёрным и уж никак не возле левого берега. Константин Багрянородный описывает остановку русов на острове св. Григория (Хортице), специально отмечая: «от этого острова росы не боятся пачинакита, пока не окажутся в реке Селина» (Константин Багрянородный, 1991, с. 48–49). Резкое расширение русла Днепра начиналось сразу ниже Кичкасской переправы (рис. 1), и проход мимо Чёрного острова фактически знаменовал достижение безопасной от кочевников зоны.

Версию о крушении судна также следует отбросить сразу – в зоне котлована плотины между островом и левым берегом на картах не значится ни камней, ни мелей; к тому же среди материалов наблюдений за котлованом левого берега нет ни единого предмета, который можно было бы уверенно причислить к грузу, такелажу или иным принадлежностям судна, как нет среди них и другого оружия или вещей X в.

Для сравнения в порожистой части Днепра около 1813 г. рыбаками был выловлен византийский посеребренный медный сосуд с монетами императоров Никифора Фоки (963–969 гг.) и Иоанна Цимисхия (969–976 гг.) (Чертков, 1843, с. 209–210; Кропоткин, 1962, с. 31). Из коллекции А. Н. Поля происходит беспаспортная скандинавская булавка (Мельник, 1893, с. 96, табл. X, № 274), место и обстоятельства находки которой не уточняются. В. Н. Зоценко, очевидно, объединяя булавку с финской коньковой подвеской № 299 того же каталога (Мельник, 1893, с. 99, табл. X, № 299), отнес пункт к Звонецкому порогу (Андрощук, Зоценко, 2012, с. 130). В 1958 г. А. В. Бодянский собрал из размыва берега возле с. Старые Кодаки (напротив Койдацкого порога) 5 сферических гирек X в. вместе с обломками древнерусской керамики и железной «вилкой» (Шарафутдинова, Телегин, 1959, с. 15–16). Этот немногочисленный материал тем не менее заставляет ожидать и от остатков купеческого судна, кроме оружия, торговый инвентарь, личные украшения, бытовые предметы, предметы импорта и эквиваленты обмена.

В. И. Равдоникас и Н. А. Чернышёв посчитали мечи продукцией одной мастерской, опираясь на сходство клейм на клинках, что уже изначально было натяжкой: ведь три меча были отнесены к оружейне, выпускавшей мечи с клеймом ULFBERHT, а два – к безымянной мастерской с клеймом в виде креста. Кресты на мечах № 4 и 5 не идентичны, причем костыльный крест стратиграфически наиболее позднего меча № 5 широко используется в клеймах мечей XI–XII вв. (ср.: Кирпичников, 1966, табл. XVIII, 7–9; XXVIII, 1, 2, 4; Oakeshott, 2000, p. 58, 59, 62; Peirce, 2002, p. 133), т. е. его дата открыта. Что касается трёх(?) клинков с клеймом ULFBERHT, то они принадлежали к одной из самых престижных и по-

пулярных оружейных мастерских Северной Европы эпохи викингов (Кирпичников, 2007; Стальсберг, 2010). Полосы мечей № 1, 4 и 2, 3 (рис. 4) разного типа: первые заметно сужаются к концу, вторые на конце шире. При этом клинок меча № 1 с предполагаемым клеймом ULFBERHT самый узкий из трех у рукояти (5,1 см и 5,4–5,5 у мечей № 2–3), а самый широкий клинок меча № 4 (5,6 см) с клеймом в виде креста резко отличается от полосы меча № 5 (5 см).

А. Н. Кирпичников отмечает, что «оформление этих, несомненно, одновременно изготовленных мечей различно; они были явно рассчитаны на индивидуальные вкусы покупателей» (Кирпичников, 2007, с. 84). Особенно специфичной выглядит массивная рукоять меча № 1 общей высотой 20,2 см при стандарте трех остальных в 15,5–16,1 см (рис. 5). Такая рукоять могла быть изготовленной и смонтированной на меч исключительно под конкретного заказчика, готового увеличить общий вес меча за счет возможности нанесения более безопасного рубящего удара кончиком меча (Соловьев, 1985. с. 148–151) под индивидуальную манеру фехтования.

Ни на одном из днепростроевских мечей не было бутероли или оковок ножен. Лишь на клинке меча № 1 зафиксированы остатки ткани, возможно, от ножен, в любом случае свидетельствующие о его другом способе хранения или попадания в воду, чем в случае с мечами № 2–5. Несмотря на хорошую сохранность клинков, на лезвиях всех пяти мечей есть характерные множественные мелкие выщербины от ударов острым предметом, причем у мечей № 1 и 2 они концентрируются только на одном из лезвий. По всей видимости, речь идет о мечах, уже побывавших в битве, а никак не новых, предназначенных для продажи. Наконец, как минимум метровая прослойка песка между мечом № 5 и остальными говорит о неоднократности события, повлекшего попадание мечей в воду. Как свидетельствует стратиграфия Киевского Подола, самые большие темпы накопления аллювиальных наносов Днепра фиксируются в X – начале XI в. (Сагайдак, 1981; 1991; Khamaiko, Komar, 2012).

Находка в 2011 г. в Днепре напротив Чёрной скалы о. Хортица меча X в. полностью ложится в схему днепростроевских мечей: это меч с латинским клеймом на клинке и богатой отделкой рукояти инкрустацией аналогично мечам типа V при форме навершия, аналогичном мечам типа T2 по Я.Петерсону (Petersen, 1919, s. 150–156; pl. III; Кирпичников, 1966, с. 31–32; табл. VI, 3; VIII, 3; X, 1, 4). Необычно лишь его залегание на дне современного русла Днепра, позволившее рыбаку подцепить меч драгой. После начала строительства Днепрогэс стратиграфическая ситуация с донными отложениями Днепра ниже электростанции неоднократно поддавалась антропогенному влиянию. Сначала таковым стало поочередное перекрытие протоков плотины в 1928–1930 гг., разрушительное влияние которого описал Г. Г. Мартенс на примере котлована среднего протока в 1930 г. Повторное сильнейшее воздействие оказали взрывы плотины в 1941 и 1943 гг. Следствием резкого усиления течения стало как размывание верхних слоев донных отложение в районе о. Хортица, так и перемещение верхних слоев в направлении от плотины к острову. На данный момент без геологических исследований, разумеется, сложно сказать, насколько вероятен вариант дальнего перемещения донных отложений с включением культурных остатков на целый километр ниже по течению, но и его предварительно нельзя сбрасывать со счетов.

Меч в реке непосредственно возле Хортицы, где, согласно Константину, русы останавливались для жертвоприношений (Константин Багрянородный, 1991, с. 48–49), резко склоняет чашу весов в пользу версии о ритуальном характере днепростроевских мечей. Среди них нет рядовых или выполненных неискусно – в жертву приносилось только оружие, достойное божества. Благополучно минуя пороги, двигаясь вниз по Днепру, русы приносили кур в качестве благодарственной жертвы священному дубу на острове св. Григория (Хортице). Наоборот, отбывая с Хортицы в сторону опасных порогов в период противостояния с печенегами, следовало приносить охранительные жертвы. Для варяжской части экипажей и пассажиров суден такая ситуация была равноценна выступлению в военный поход, поэтому по древнему германскому обычаю они жертвовали в воды Днепра один или несколько мечей. Не исключено, что две зоны находок мечей (возле Чёрного острова и Хортицы) объясняются именно двумя видами жертв, приносившимися с кораблей, спускавшихся или поднимавшихся по Днепру.

Могли ли среди жертвователей быть воины Святослава, как хотелось бы видеть части исследователей? Бытование мечей типов S, T1, T2 в основном приходится на более поздний период – последнюю треть X – начало XI в. (Андрощук, 2010, с. 72–87), но отделка днепростроевского меча № 1 (тип T1) полностью повторяет декор мечей типа E2, дата которых в древнерусских комплексах не выходит за рамки середины X в. (Каинов, 2001, с. 57–58). Аналогичная ситуация с хортицким мечом 2011 г., рукоять которого по форме сходна с типом T2, но по декору аналогична более раннему типу V. Комбинация элементов среднего и позднего периодов эпохи викингов в этих мечах, скорее всего, указывает на 70–80-е гг. X в., тогда как днепростроевские мечи типа S могут оказаться и несколько более поздними. Именно на отрезок 968–997 гг. приходится период повышенной военной активности печенегов против Руси (летопись фиксирует нападения 968, 971–972, 988, 992, 995–997 гг.). Путешествие через днепровские пороги в это время было связано с особым риском для жизни, что полностью оправдывало в глазах язычника столь дорогостоящую жертву, как меч.

Источники и литература

Андрощук Ф. А., 2001. Гнёздово. Днепровский путь и финал Бирки // Гнёздово : 125 лет исследования памятника. М. (Труды ГИМ. Вып. 124).

Андрощук Ф. А., 2010. Мечи и некоторые проблемы хронологии эпохи викингов // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. М. Т. 1.

Андрощук Ф., Зоценко В., 2012. Скандинавские древности Южной Руси : каталог. Париж.

Брайчевська А. Т., 1962. Древньоруські пам'ятники Дніпровського Надпоріжжя // Археологічні пам'ятки УРСР. Київ. Т. XII.

Гречковський, Данілевський, Девлад., 1929. Реєстр знахідок в котловані на правому березі Дніпра. Кічкас // НА ИА НАНУ. Ф. 18. № 60 а.

Грінченко В. А., 1928. Реєстр речей, придбаних під час розкопок у балці Сагайдачного та випадкові знахідки на Дурній Скелі та в котлованах правого й лівого берегів Дніпра. Кічкас// НА ИА НАНУ. Ф. 18. № 31.

Грінченко В. А., 1929. Коротке звідомлення за археологічні роботи обабіч Дніпра від Кічкасу до Вільного порогу на Запоріжжі (літо 1928 р.). Дніпропетровськ // НА ИА НАНУ. Ф. 18. № 30.

Грінченко В. А. Дослідження на дільниці Дніпра від Кічкасу до Вільного порогу на Запоріжжі 1928 р. Київ, 1938 // НА ИА НАНУ. Ф. 18. № 30.

Данілевський, Девлад, Гречковський. Реєстр знахідок в котловані на лівому березі Дніпра. Кічкас. 1929 // НА ИА НАНУ. Ф. 18. № 60 а.

Дніпрельстанівська археологічна експедиція НКО (рр. 1927; 1928; 1929; 1930; 1931), 1932 // НА ИА НАНУ. Ф. 18. № 130.

Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 1 : Листи вчених до Д. І. Яворницького. Дніпропетровськ, 1997.

Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 6: Листи рідних, друзів і знайомих до Д. І. Яворницького. Дніпропетровськ, 2012.

Зограф А. Н., 1940. Находки понтийских монет митридатовского времени в Ольвии // Ольвия. Киев. Т. 1.

Каинов С. Ю., 2001. Еще раз о датировке гнёздовского кургана с мечом из раскопок М. Ф. Кусцинского (К вопросу о нижней дате Гнёздовского могильника) // Гнёздово : 125 лет исследования памятника. М. (Труды ГИМ. Вып. 124).

Кирпичников А. Н., 1966. Древнерусское оружие // Вып. 1: Мечи и сабли IX–XIII вв. М. ; Л. (САИ. Вып. Е1–36).

Кирпичников А., 2007. Мечи типа ULFBERHT на Восточном пути // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Чернігів.

Кістяківський Л., 1928. Реєстр знахідок з котлована біля лівого берега Дніпра. Кічкас // НА ИА НАНУ. Ф. 6. № 56.

Ковальова І.Ф., 2003. До ювілею Дніпрогесівської археологічної експедиції // Проблеми археології Подніпров'я. Дніпропетровськ.

Коваль В. Ю., 2012. Византийские амфоры (магарики) в Южной Руси // 1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття). Бібліотека VITA ANTIQUA. Київ.

Козловський А. О., 1992. Історико-культурний розвиток Південного Подніпров'я в IX–XIV ст. Київ.

Козловський А. О., Ільїнський В. Є., 1991. Козацькі старожитності Пониззя Дніпра // Археологія. № 4.

Козубовський Ф., 1934. Археологічні дослідження на Дніпрельстані. К. // НА ИА НАНУ. Ф. 18. № 130 а.

Константин Багрянородный., 1991. Об управлении империей. М.

Корзухина Г. Ф., 1954. Русские клады IX–XIII вв. М. ; Л.

Кропоткин В. В., 1962. Клады византийских монет на территории СССР. (САИ Е4–4). М.

Ляшко С. Н., 2003. Днепрогэсовская археологическая экспедиция 1927–1932 гг. и ее роль в развитии отечественной археологической науки // Проблеми археології Подніпров'я. Дніпропетровськ.

Лебедев Г. С., 2005. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб.

Мартенс Г. Г., 1931. Щоденники археольогічних робіт : котлован середньої протоки Дніпра. Кічкас // НА ИА НАНУ. Ф. 6. № 79 а.

Мельник К., 1893. Каталог коллекции древностей А. Н. Поль, в Екатеринославе. Киев. Вып. 1.

Міллер М., 1956. Дніпрельстанівська археологічна експедиція Наркомосу України (1927–1932) // Науковий збірник Українського вільного університету. Мюнхен. Т. VI.

Миллер М. А., 1938. Материалы к истории Поднепровья. Таганрог // Научный архив ИА НАНУ. Ф. 18. № 146.

Остапенко М. А., Нефьодов В. В., 2013. Меч епохи князя Святослава на шляху з варяг в греки // Підводні дослідження: Археологія. Історія. Дайвінг. 5. Запоріжжя.

Паршина Е. А., Созник В. В., 2012. Амфорная тара Партенита (по материалам раскопок 1985–1988 гг.) // 1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття). Бібліотека VITA ANTIQUA. Київ.

Равдоникас В. И., 1933. Надписи и знаки на мечах из Днепростроя // Известия Государственной академии истории материальной культуры. № 100.

Рубин М. С., 1932. Как строилась плотина на Днепрострое // Днепрогэс. Как строилась плотина, гидростанция и шлюз. Харків.

Рыбаков Б. А., 1948. Торговля и торговые пути // История культуры Древней Руси. Домонгольский период. М.; Л. Т. I : Материальная культура.

Рыбаков Б. А., 1964. Первые века русской истории. М.

Рыбаков Б. А., 1982. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М.

Рыбаков Б. А., 1984. Из истории культуры Древней Руси. М.

Сагайдак М. А., 1981. Дендрохронология древнего Киева // Новое в археологии Киева. Киев.

Сагайдак М. А., 1991. Давньокиївський Поділ. Київ.

Сміленко А. Т., 1975. Слов'яни та їх сусіди в Степовому Подніпров'ї (II–XIII ст.). Київ.

Смолічев П. І., 1933. Днепростроевская археологическая зкспедиция Наркомпроса Украины // НА ИА НАНУ. Ф. 6. № 72.

Сокульский А. Л., Шевченко Т. К., Бодянский А. В., Рогожкина Л. В., 1977. Раскопки славянского поселения на острове Хортица // АО 1976 г. М. С. 373–374.

Сокульський А. Л., Сокульський Є. А., 2012. Меч «Володимира Кальцева» з дна Дніпра біля острова Хортиця // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. Київ. Вип. 56 (№ 1).

Соловьёв А. И., 1985. О некоторых характеристиках клинкового оружия // Проблемы реконструкций в археологии. Новосибирск.

Стальсберг А., 2010. Кто такой Ульфберт? // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. М. Т. 2.

Строкова Л. В., 1983. Славянские древности Днепровского Надпорожья в материалах Днепрогэсовской экспедиции 1927–1932 гг. // Древности степного Поднепровья III–I тыс. до н. э. Днепропетровск.

Фасмер Р. Р., 1929. Список монетных находок // Сообщения ГАИМК. Т. 2. С. 281–324.

Фещенко І. М., 1940. Историческое прошлое территории Днепрогэса и порожистой части Днепра // НА ИА НАНУ. Ф. 8. № 4.

Худяков М. Г., 1935. Издания Государственной академии истории материальной культуры им. Н. Я. Марра по археологии в 1933 и 1934 гг. // Советская этнография. № 2.

Чернышёв Н. А., 1963. О технике и происхождении «франкских» мечей, найденных на Днепрострое в 1928 г. // Скандинавский сборник. Таллин. Т. VI.

Чертков А. Д., 1843. Описание войны великого князя Святослава Игоревича против болгар и греков в 967–974 годах. М.

Шаповал І., 1965. В пошуках скарбів.

Шарафутдинова И. Н., Телегин Д. Я., 1959. Отчет об обследовании археологических памятников в районе озера им. Ленина в 1958 г. // НА ИА НАНУ. № 1958/45. Київ.

Яворницький Д. І., 1929. Археологічні досліди на порогах Дніпра 1927–1929 рр. Дніпропетровськ // НА ИА НАНУ. Ф. 18. № 59 а.

Bakirtzis C., 1989. Byzantine Amphorae // Recherches sur la céramique byzantine. Athene. (Bulletin de Correspondance Hellénique. Suppléments. XVIII).

Duczko W., 2004. Viking Rus: Studies on the Presence of Scandinavians in Eastern Europe. Leiden-Boston.

Khamaiko N. V., Komar O.V., 2012. The stratigraphy of the riverside area of Kiev Podol (excavations at the 35, Spaska str.) // Geomorphic Processes and Geoarchaeology : from Landscape Archaeology to Archaeotourism. Moscow ; Smolensk.

Larsson G., 2007. Ship and society: maritime ideology in late Iron Age Sweden. Uppsala.

Oakeshott E., 2000. Records of the Medieval Sword. Woodbridge.

Peirce I. J., 2002. Catalogue of examples // Swords Of The Viking Age. Woodbridge.

Petersen J., 1919. De Norske Vikingesverd. Kristiania.

Summary

O.V. Komar

Swords from Dnieprostroi (On the History of a Find Made in 1928)

This article examines the history and circumstances surrounding a find made in 1928 of five 10th-century Scandinavian swords on the bed of the River Dnieper in the foundation trenches for the Dnieper Electric-Power-Station. On the basis of an analysis of archive materials, the find-spot was charted as between Chernyi island and the left bank of the Dnieper near the village of Voznesenka. The two levels in which the swords had been found were recorded as separated by deposits on the river bed approximately 1 metre thick, which testifies to the fact that the swords had fallen into the river on at least two separate occasions. It was also established which other finds had accompanied the swords, making it impossible to assert that a shipwreck had taken place there or that there had been traces of a battle. Taking into account the new find of a 10th-century sword north of the island of Hortitsa in 2011, the author considers it possible to support the version that there was a link between the swords discussed here and the Germanic tradition of throwing weapons into large expanses of water as sacrifices.

Н. А. Плавинский

Вооружение западных земель Руси X – первой половины XI в.: становление древнерусской традиции и формирование региональных особенностей (по материалам с территории Беларуси)

Вооружение является одной из самых ярких категорий материальной культуры эпохи формирования Древнерусского государства. Как показали фундаментальные исследования А. Н. Кирпичникова, древнерусский комплекс вооружения складывался в результате смешения и трансформации западноевропейских, североевропейских и восточных (кочевых) военно-технических традиций (Кирпичников, 1966а; 1966б; 1971). Специальные оружиеведческие исследования последнего времени в основном посвящены отдельным категориям предметов вооружения IX–XI вв. либо оружию, найденному на определенном памятнике (памятниках) конкретного микрорегиона (например: Артемьев, 1982; Каинов, 2009; Kainov, 2012). Вместе с тем, не менее важным и перспективным представляется анализ комплекса вооружения крупных регионов формирующегося Древнерусского государства. Подобные исследования позволяют определить важнейшие региональные особенности в формировании древнерусского комплекса вооружения, что в дальнейшем поможет уточнить основные тенденции эволюции древнерусского вооружения.

Данная статья представляет собой попытку рассмотрения процесса сложения комплекса вооружения населения западных земель Руси. Под западными землями Руси понимается современная территория Беларуси, за исключением части Белорусского Понеманья (рис. 1), занятой в рассматриваемый период балтами, в первую очередь, населением культуры восточнолитовских курганов – летописной «литвой» (Лухтан, Ушинскас, 1988; Kurila, 2005, pav. 13). Очевидно, что очерченный регион является искусственным и не может полностью соответствовать ни фиксируемым границам археологических культур, ни предполагаемым областям распространения влияния первых известных раннегосударственных центров. Вместе с тем, несмотря на искусственность очерченного региона, рассмотрение определенной категории предметов материальной культуры (в данном случае – находок вооружения) представляется целесообразным, в первую очередь, по источниковедческим соображениям. В настоящее время информация о новых археологических материалах или хранящихся в музеях коллекциях может быть собрана в более полном объеме в границах определенного государства, в нашем случае – Республики Беларусь.

Следует отметить, что находки предметов вооружения, относящиеся к эпохе, непосредственно предшествующей периоду сложения Древнерусского государства, в рассматриваемом регионе крайне немногочисленны. Так, к примеру, во всех погребальных комплексах культуры смоленско-полоцких длинных курганов (КСПДК) в Белорусском Подвинье найдено всего несколько наконечников стрел (курганные могильники Банонь (Экимань), Глинище и Рудня Полоцкого р-на, Поречье (Бирули Докшицкого р-на), грунтовое погребение на городище Свила I Глубокского р-на (Ляўданскі, 1930, с. 186, табл. V: 6; Штыхаў, 1992, с. 120–121, мал. 36: 1–2, 67: 10; 2000, мал. 4: 28))[1]. При этом сходная ситуация наблюдается и в других регионах славянского расселения в последних веках I тысячелетия н. э. Во

[1] Причем в указанных регионах памятники КСПДК следует рассматривать, скорее, не как предшествующие, а как частично синхронные процессу формирования Древнерусского государства (Енуков, 1990, с. 178; Плавінскі, 2011, с. 129–131).

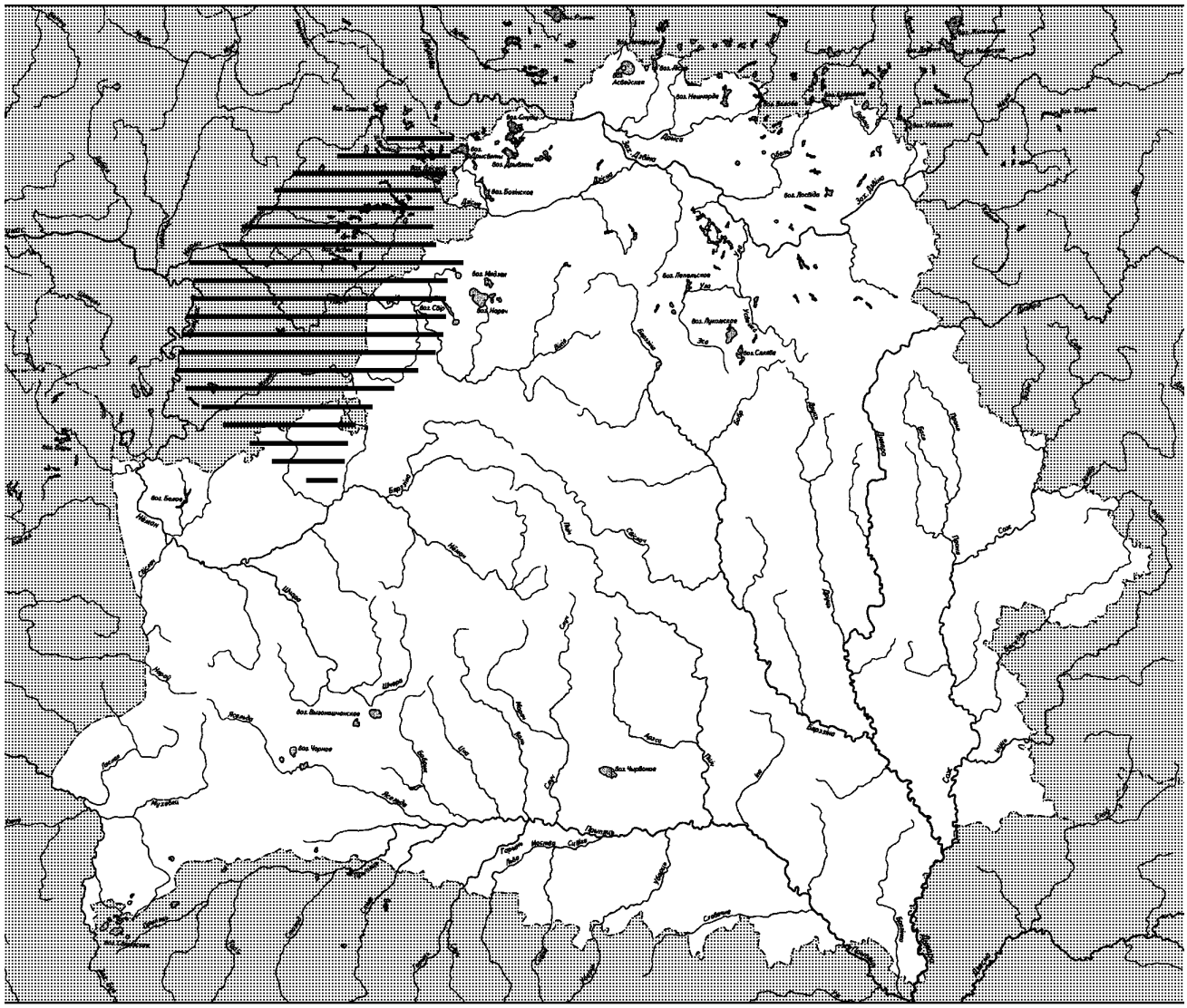


Рис. 1. Ареал культуры восточнолитовских курганов (по Л. Куриле) и современные границы Беларуси

многом это объясняется крайне слабой милитаризацией (точнее, практически полной «демилитаризованностью») погребального обряда славянского и славянизированного населения будущих западных земель Руси. Кроме того, находки предметов вооружения практически отсутствуют в культурных напластованиях городищ последней четверти I тысячелетия. Данный феномен требует отдельного рассмотрения, особенно на фоне представительных коллекций вооружения на памятниках третьей четверти I тысячелетия, таких как городище Никодимово (Седин, 2011), Хотомель (Кухаренко, 1961, табл. 8: 1–17, 22–24) и др.

Переломным моментом в истории вооружения населения современной территории Беларуси стал рубеж IX и X вв. Именно в это время резко возрастает количество археологических находок предметов вооружения и начинается широкое распространение ряда новых типов клинкового, колющего, рубящего и ударного древкового оружия и защитного вооружения. Это, очевидно, связано с процессом формирования в регионе дружинных традиций.

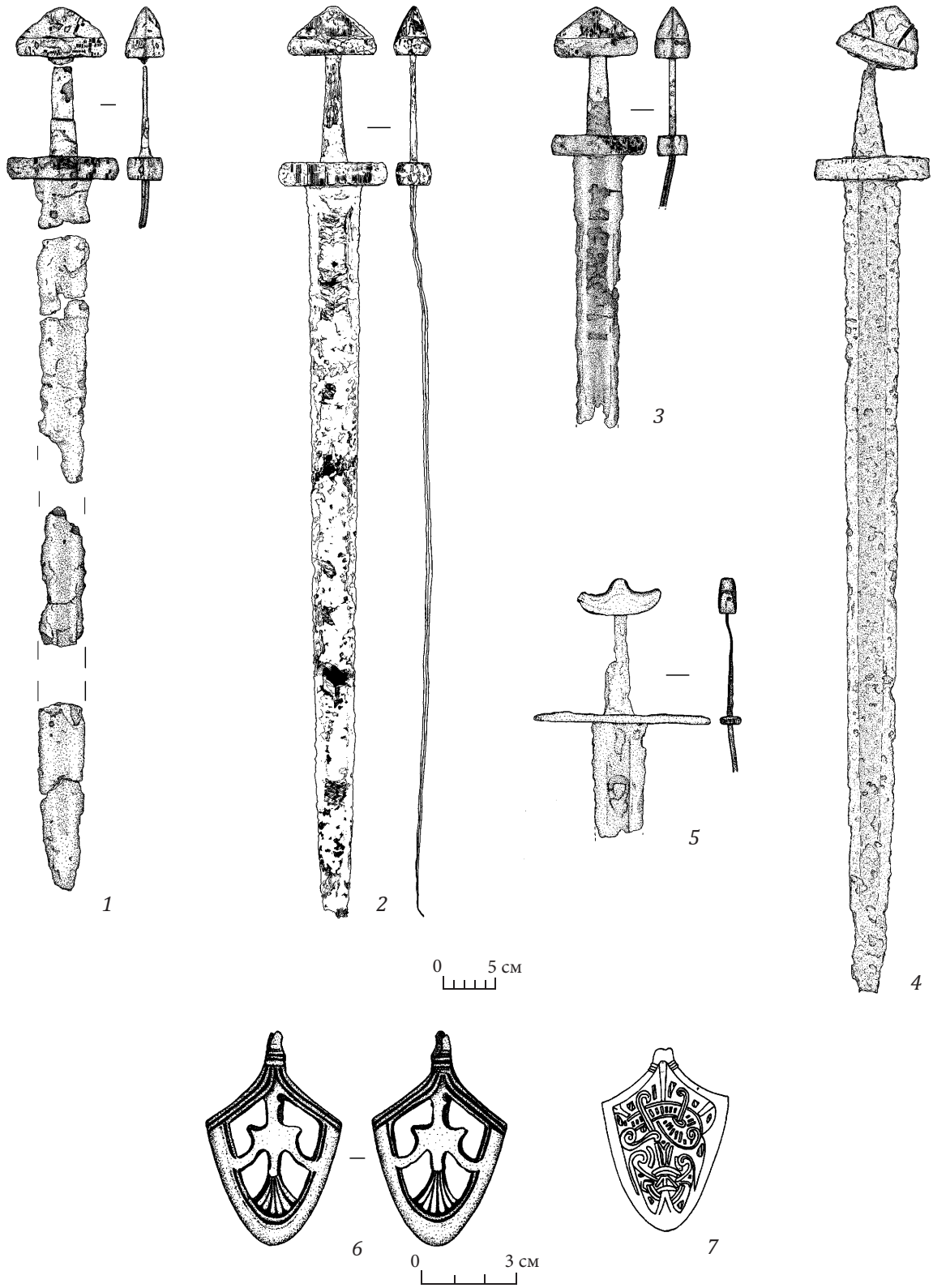


Рис. 2. Клинковое оружие конца IX – первой половины XI в. из западных земель Руси.
Мечи: 1 – Брили, 2 – Витебск, 3 – Руба, 4 – Полоцк, 5 – Гродно.
Наконечники ножен мечей: 6 – территория Беларуси, 7 – городище Франополь (Брестского р-на)
(1, 3 5–6 – рис. автора, 2 – рис. С. А. Бабенко, 4 – рис. И. И. Еремеева)

С конца IX–X в. в западных землях Руси фиксируется использование двулезвийных мечей общеевропейских типов (рис. 2: 1–5). Так, мечи *типа H* по Я. Петерсену происходят из клада, найденного у деревни Брили Борисовского района Минской области, из Витебска и из-под деревни Руба под Витебском. В Полоцке найден меч *типа V*, а в Гродно – фрагмент меча *типа Y* (Плавінскі, 2009, с. 13–19). На клинках мечей из-под Рубы и из Полоцка имеются клейма ULFBERHT. Подобные артефакты в Восточной Европе традиционно рассматриваются как элементы т.н. «северной вуали» (Лебедев, 1991, с. 301–304). Мечи, найденные в западных землях Руси, также концентрируются вдоль магистральных речных путей, проходивших по Западной Двине, Березине и Неману (Плавінскі, 2009, мал. 11).

Коллекция клинкового оружия из западных земель Руси дополняется рядом наконечников ножен мечей (рис. 2: 6–7) североевропейских типов второй половины X–XI в. (Плавінскі, 2009, с. 38–39)[2].

К североевропейским типам вооружения также могут быть отнесены отдельные находки топоров и наконечников копий. Топоры вероятного североевропейского происхождения относятся к *типу VI* по А. Н. Кирпичникову (Кирпичников, 1966б, с. 38–39). В рассматриваемом регионе известно всего 3 экземпляра топоров этого типа, происходящие из Полоцка, курганных могильников Заславль (Минского р-на (рис. 3: 1)) и Избище (Лагойского р-на), датировка которых может быть определена в рамках X–XI вв. (Плавінскі, 2013, с. 33; Штыхов, 1975, рис. 9: 2; Штыхаў, 1992, с. 168, мал. 87: 3; 2008, с. 14, іл. 156: 4). Кроме того, с североевропейскими военно-техническими традициями можно связать топоры индивидуальных форм из курганных могильников Дудовка (Плавінскі, 2013, с. 30) и Проклятое Поле под Лукомлем (Штыхаў, 1992, мал. 50: 1; Плавинский, 2008, с. 218).

Копья североевропейских типов представлены отдельными экземплярами с орнаментированными цветными и драгоценными металлами втулками – Волковыск (Дернович, 2006, с. 22, рис. 12) и курганный могильник Проклятое Поле под Лукомлем Чашникского р-на (Штыхов, 1978, рис. 56) (рис. 3: 2), а также ланцетовидными образцами. Ланцетовидные копья относятся к *типу E* по Я. Петерсену (Петерсен, 2005, с. 59–61), которому соответствуют наконечники *типа I* по А. Н. Кирпичникову с т.н. «готическим орнаментом» на втулке (Кирпичников, 1966б, с. 9, 12). Копья этого типа найдены на городище Кульбачино (Щучинского р-на), в курганных могильниках Устье и Рацкий Бор (Браславского р-на) и в окрестностях Минска (рис. 3: 3–6). Их датировка может быть определена в рамках второй половины/конца X – начала/первой половины XI в. (Плавінскі, 2007, с. 157–158).

Все эти наконечники найдены на балто-славянском пограничье (рис. 8: 1). Оттуда же и, в первую очередь, с западного пограничья Полоцкой земли происходит и серия наконечников копий ланцетовидной формы с неорнаментированной втулкой, которые, вероятно, имеют восточноевропейское происхождение (рис. 8: 2–4). Большинство из них может быть датировано второй половиной X – первой половиной XI в. Наконечники этой серии обычно меньше по размерам, чем классические копья типа E, и имеют иные соотношения пера и втулки (Плавінскі, 2007, с. 158–161). В связи с этим необходимо отметить тот факт, что как классические копья типа E, так и ланцетовидные копья с неорнаментированной втулкой были широко распространены в Юго-Восточной Прибалтике. В особенности, это касается ланцетовидных наконечников с неорнаментированной втулкой (Kazakevičius, 1998, p. 30; 1999). Поэтому, говоря о распространении ланцетовидных наконечников копий на пограничье западных земель Руси, следует иметь в виду то, что они не столько свидетельствуют об использовании североевропейских типов оружия и их дериватов в комплексе вооружения региона, сколько могут рассматриваться как проявление балто-славянских военно-технических контактов.

Очевидно, что находки клинкового, обухового и древкового оружия североевропейских типов крайне немногочисленны по сравнению с другими типами. Кроме того, их распространение (кроме мечей) приходится на вторую половину – середину X в. – период, когда эти типы оружия уже прочно вошли в собственно древнерусский воинский обиход. Поэтому их интерпретация как артефактов североевропейского происхождения *sensu stricto* не совсем правомерна. Вероятно, более корректно рассматривать подобные предметы уже в контексте синкретичных по своему характеру древнерусских дружинных древностей.

Отдельно следует остановиться на находках ланцетовидных наконечников стрел. На данный момент в западных землях Руси их выявлено порядка 100. Можно выделить два региона, где найдено более всего ланцетовидных наконечников, – Белорусское Подвинье и Понеманье (рис. 4: 1). Из 61 наконечника из Подвинья 52 происходят с территории всего двух археологических комплексов – Лукомль и Прудники (рис. 4: 2–8). Причем большинство из них погнуто либо поломано – несет на себе следы использования. Можно говорить о том, что стрелы из этих памятников, как и из ряда других, попали в культурные слои в результате боевого применения во второй половине X – начале XI в. (Плавинский, 2013). При этом очевидно, что у местного населе-

[2] К сожалению, в последние годы количество находок наконечников ножен резко возросло. Однако происходят эти артефакты из коллекций «черных копателей», что не позволяет с полной уверенностью установить места их обнаружения.

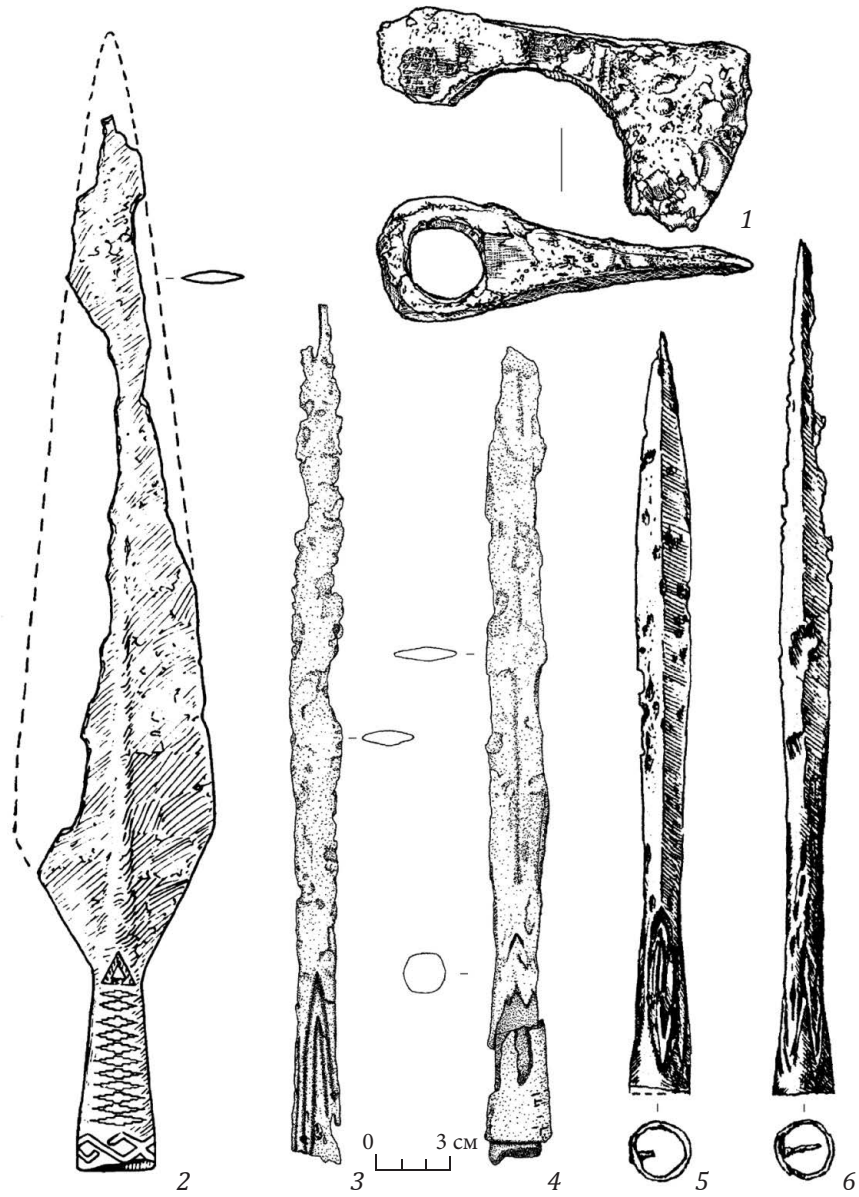
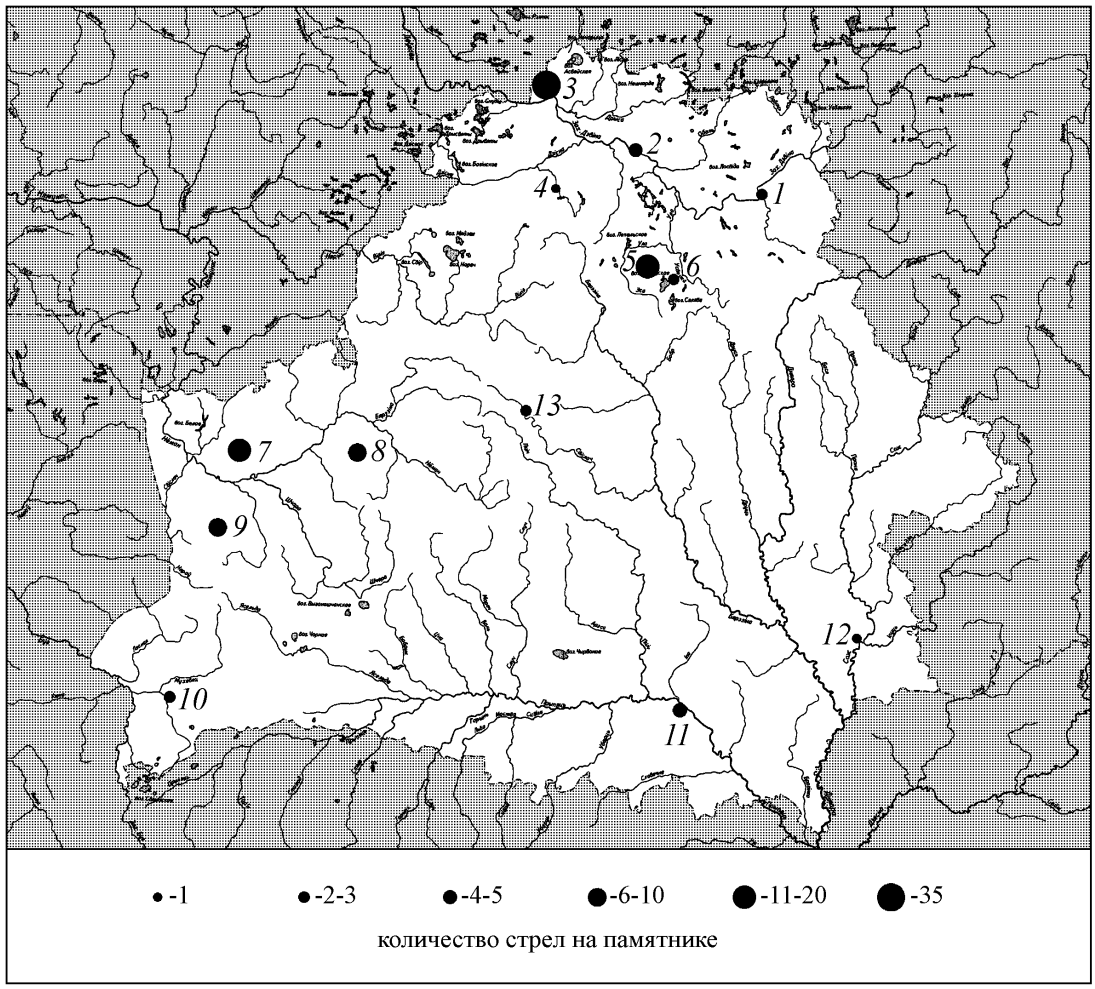


Рис. 3. Оружие североевропейских типов из западных земель Руси:
1 – Заславль, 2 – Проклятое Поле под Лукомлем, 3 – Рацкий Бор, 4 – Устье,
5–6 – Кульбачино (1–2 – по Г.В. Штыхову, 3–4 – рис. автора, 5–6 по С.А. Пивоварчику)

ния ланцетовидные наконечники стрел широкого применения не получили. Однако связать катастрофические события, фиксируемые археологически по выпадению данного типа стрел, с конкретными историческими фактами, известными по летописям, пока представляется затруднительным.

На вторую половину – конец X в. приходится и широкое распространение на территории Беларуси топоров *типов III* и *IV* по А.Н. Кирпичникову. Данные топоры, вероятно, могут рассматриваться как собственно древнерусские типы оружия, сформировавшиеся на территории Руси.

Узколезвийные топоры *типа III* (Кирпичников, 1966 б, с. 35–36), скорее всего, появились в среде роменского и лука-райковецкого славянского населения Среднего Поднепровья. Со второй половины – конца X в. боевые топоры типа III распространяются в Среднем и Верхнем Поднепровье, а на протяжении XI в. они используются как в Поднепровье (в широком смысле), так и во всех древнерусских регионах,



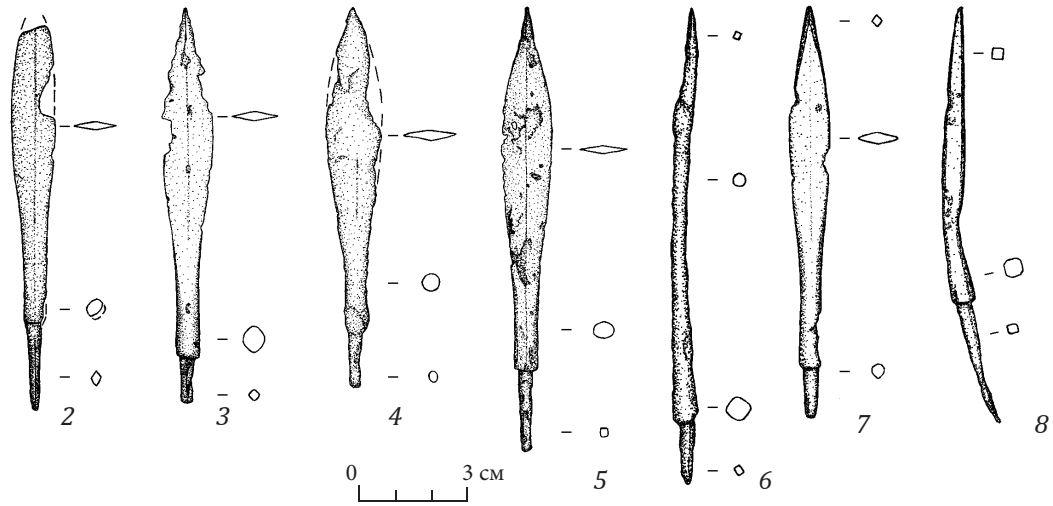


Рис. 4. Находки ланцетовидных наконечников стрел в западных землях Руси:
1 – карта находок (1 – Витебск, 2 – Полоцк, 3 –Прудники, 4 –Свила-1, 5 – Лукомль, 6 – Кастрица, 7 – Кульбачино, 8 – Новогрудок, 9 – Волковыск, 10 – Франополь, 11 – Кимборовка, 12 – Гомель, 13 – Минск), 2–8 – ланцетовидные наконечники стрел из археологического комплекса Прудники (1 – по В. А. Плавинскому, 2–8 – рис. автора)

определенным образом маркируя собой границы Руси. Наиболее вероятно, что именно из южных регионов Руси топоры типа III проникли в Центральную и Северную Беларусь (рис. 5). Возможными путями их распространения были водные артерии – Днепр и Березина (Plavinski, 2011).

Образцы *типа IV* достигают порядка 50% топоров древнерусского времени в западных землях Руси (рис. 6), а в XI в. они составляют абсолютное большинство находок. Распространение данного типа топоров приходится на X в., вероятно, на его вторую половину. Находки топоров типа IV концентрируются вдоль западных границ Полоцкого княжества – в Двинско-Неманском междуречье, а также в Понеманье, где они соответствуют границам славянского расселения. Еще ряд находок выявлен в Среднем

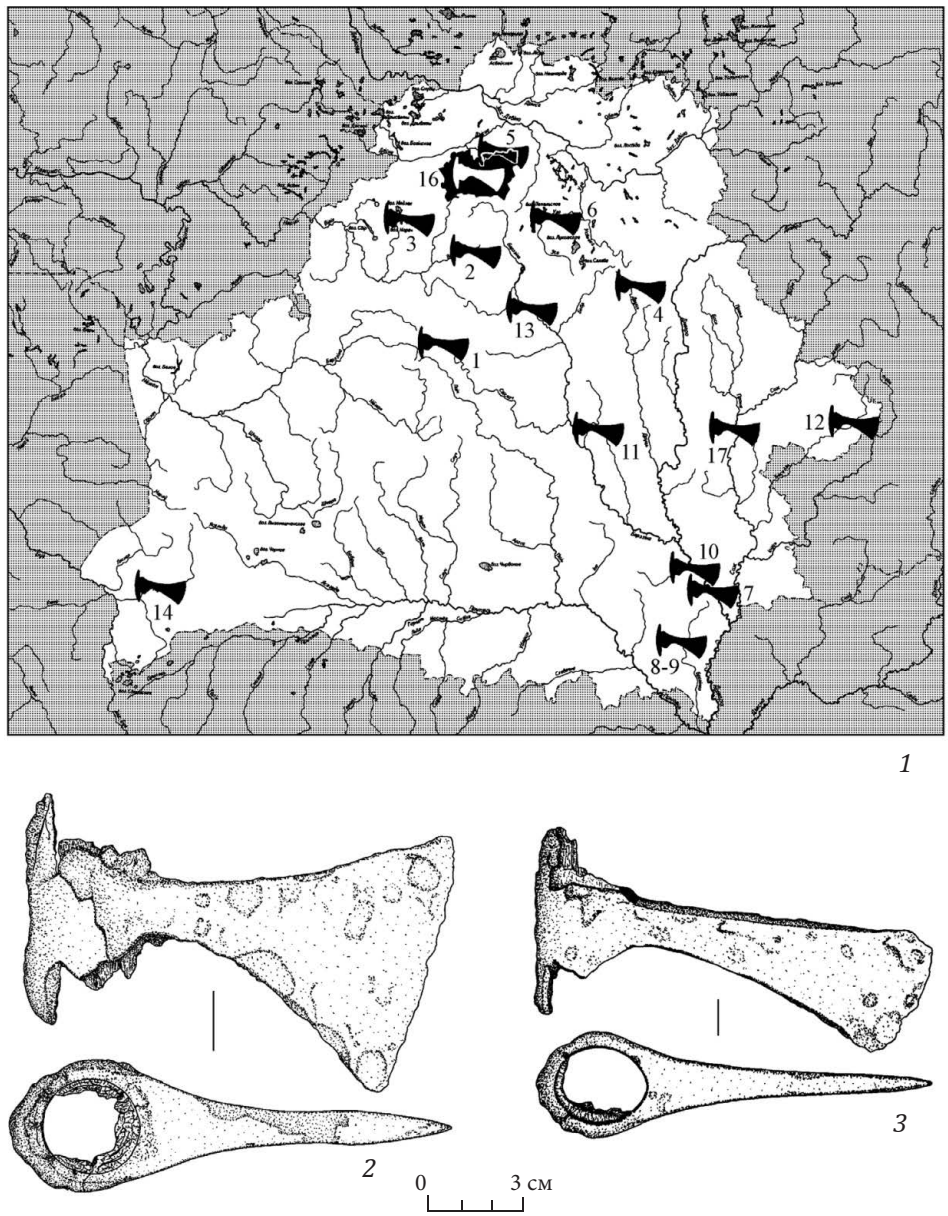


Рис. 5. Находки топоров типа III по А. Н. Кирпичникову в западных землях Руси: 1 – карта находок (1 – Заславль, 2 – Избище, 3 – Новосёлки, 4 – Багриново, 5 – Черневичи, 6 – Княгинки (Заболотье), 7 – Холмеч (Дубовицы), 8–9 – Микуличи, 10 – Гориводы, 11 – Кострицкая слобода, 12 – Хотимск, 13 – Борисов (?), 14 – Санаторий «Буг», 16 – Глубокский р-н, 17 – Гайшин); ***2*** *– курганный могильник Новосёлки (Мядельского р-на);* ***3*** *– курганный могильник Избище (Логойского р-на) (рис. автора)*

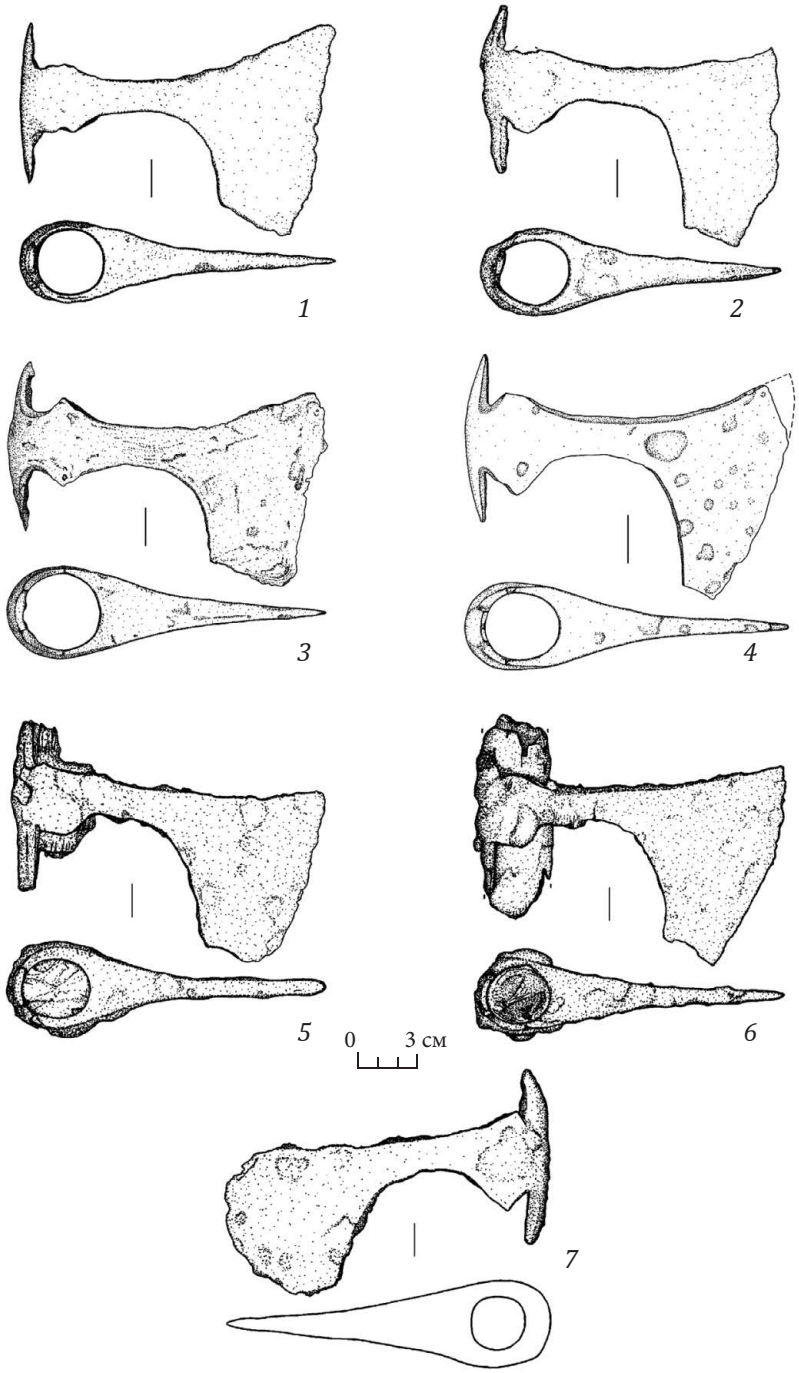


Рис. 6. Топоры типа IV по А. Н. Кирпичникову из курганных могильников на западном пограничье Полоцкой земли: 1–4 – Новосёлки (Мядельского р-на), 5–6 – Погоща, 7 – Укля (Браславского р-на) (рис. автора)

и Верхнем Поднепровье (Плавінскі, 2013, с. 29). Вопрос о месте возникновения топоров типа IV пока остается нерешенным (Кирпичников, 1966 б, с. 36–37). Однако южное направление его проникновения на территорию западных земель Руси представляется наиболее вероятным. Причем основными путями их распространения могли также быть Днепр и Березина. Таким образом, именно эти водные артерии можно рассматривать как основные пути проникновения собственно древнерусских форм обухового оружия на территорию Беларуси.

Отдельную немногочисленную группу составляют предметы вооружения степного происхождения. Изначально степное происхождение имеют боевые топоры с молотковидным выступом на обухе – чеканы. Однако в X в. их уже следует рассматривать как элемент собственно древнерусского комплекса вооружения, глубоко укоренившийся в воинский обиход Руси (Кирпичников, 1966 б, с. 35). Большинство подобных находок в западных землях Руси выявлено в Поднепровье. Следует отметить, что распространение сабель на территории современной Беларуси в X–XI вв. на данный момент уверенно не фиксируется. Вместе с тем не исключено, что на юго-востоке региона – в Поднепровье и Посожье – отдельные сабельные клинки использоваться все-таки могли (Плавінскі, 2009, с. 49).

Имеющийся материал позволяет говорить о том, что на протяжении X в. на территории западных земель Руси распространяются типы вооружения дружинного круга, причем наиболее активно этот процесс фиксируется со второй половины X в. Одной из заметных особенностей комплекса вооружения западных земель Руси, в сравнении с основными центрами формирования древнерусской государственности, представляется ограниченное число предметов вооружения североевропейских типов.

Однако наиболее ярко военно-технические особенности региона проявились в широком распространении отдельных типов оружия ближнего боя, происхождение которых

следует связывать с Юго-Восточной Прибалтикой. По имеющимся данным, этот процесс фиксируется с приблизительно со второй половины – конца X в.

Так с конца X в. на территории Беларуси распространяются топоры *типа IVA* по А. Н. Кирпичникову (рис. 7). Они имели сходную с типом IV форму лезвия, однако различались профилировкой обуха. Топоры типа IV А имели обух без щекавиц и обушных косиц (Кирпичников, 1966 б, с. 37). В Юго-Восточной Прибалтике данный тип появляется раньше, чем на Руси. В Литве топоры типа IV А, вероятно, известны уже в X в. (Michelbertas, 2004, p. 106, 109, pav. 65, 71), по крайней мере, в его конце (Iwanowska, 2006, s. 108–109, tabl. LXXIV: 9). Они также представлены на памятниках, датированных концом X в., на территории Латвии (Atgāzis, 1964, lpp. 124; 1997, att. 5; Радиньш, 2001, с. 110). В западных землях Руси наиболее ранние топоры данного типа появляются синхронно с названными регионами. Они происходят из погребальных комплексов конца X – начала XI в., в частности, найдены в курганных могильниках Погоща Браславского р-на (Плавінскі, 2011, мал. 5: b, e), Черневичи Глубокского р-на (Голубович, Голубович, 1945, рис. 54: 9). Большинство известных находок происходит с балто-славянского пограничья в Двинско-Неманском междуречье. Ряд топоров известен на Понеманье. Примечательно, что чем далее на восток или юг древнерусских земель, тем менее там известно находок топоров типа IV А (Плавінскі, 2013, с. 30–31).

Среди копий X – первой половины XI в. из западных земель Руси как балтские формы могут рассматриваться только отдельные находки наконечников *типа IV* по А. Н. Кирпичникову (Кирпичников, 1966б, с. 15; Плавінскі, 2013, с. 50). Вместе с тем, как уже было отмечено, топография находок ланцетовидных наконечников копий с неорнаментированной втулкой (рис. 8: 1) свидетельствует о значительной роли балто-славянских военно-технических контактов в их распространении на западном пограничье Полоцкой земли.

С середины XI в. в западных землях Руси начинают распространяться мечи *типов I* и *II* по А. Н. Кирпичникову (Кирпичников, 1966 а, с. 53–54). Оба эти типа имеют юго-восточно-прибалтийское происхождение и в определенном смысле, продолжают

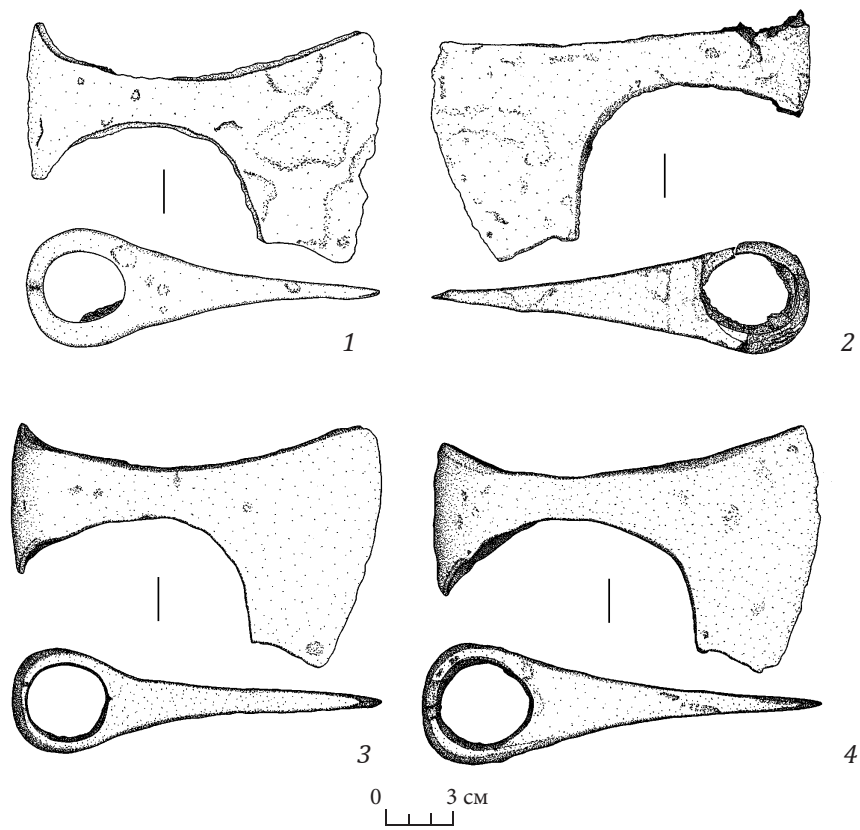


Рис. 7. Топоры типа IV А по А. Н. Кирпичникову из курганных могильников на западном пограничье Полоцкой земли: 1 – Новосёлки (Мядельского р-на), 2 – Устье (Браславского р-на), 3 – Костыки (Вилейского р-на), 4 – Вейна (Лагойского р-на) (рис. автора)

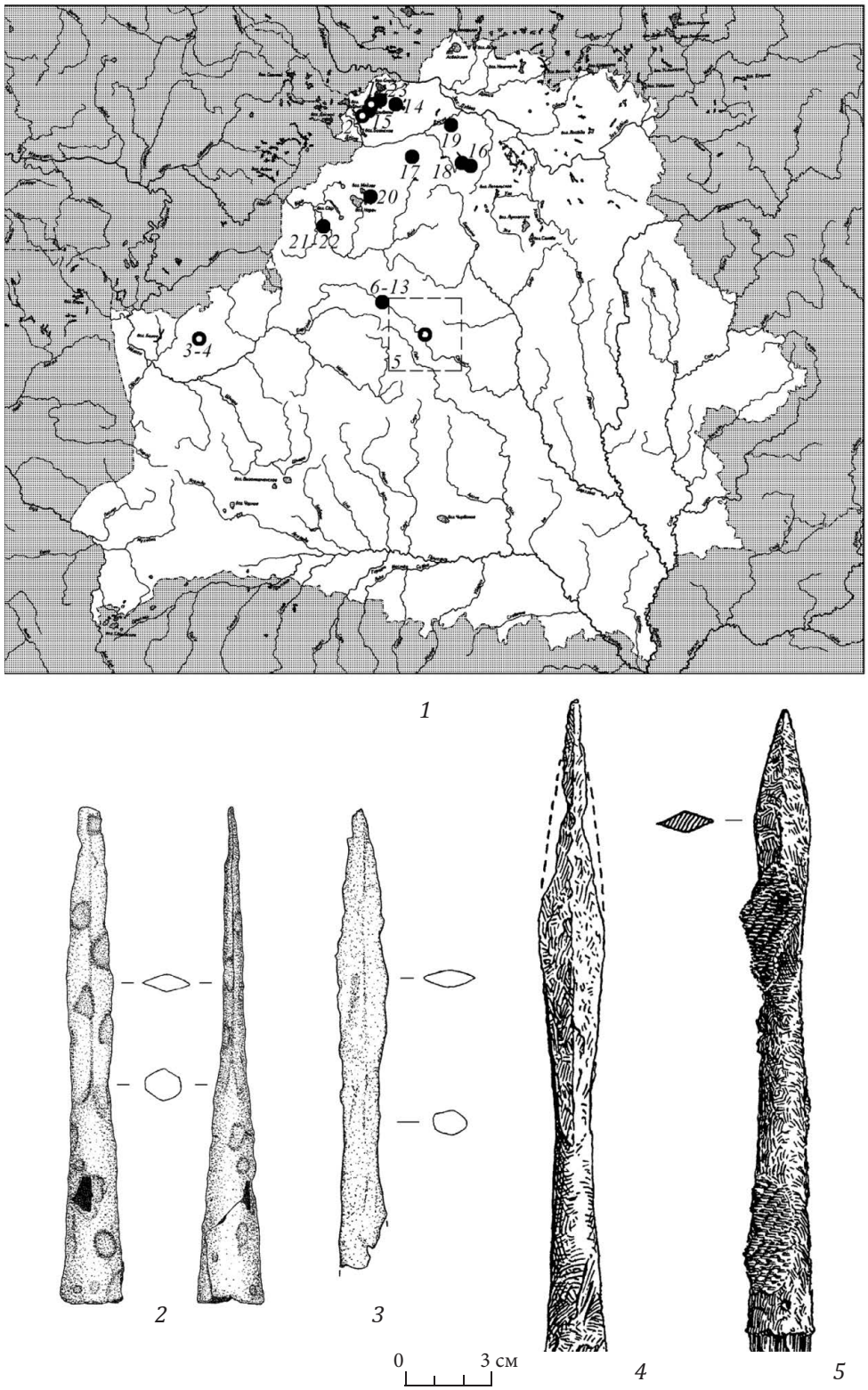


Рис. 8. Находки наконечников копий типа I на территории Беларуси: 1 – карта находок (1 – Рацкий Бор, 2 – Устье, 3–4 – Кульбачино, 5 – окрестности Минска, 6–13 – Заславль, 14 – Укля, 15 – Погоща, 16 – Кубличи, 17 – Залесье, 18 – Шо, 19 – Козловцы, 20 – Новосёлки, 21–22 – Гурковичи, 23 – Заборные Гумна), 2–5 – курганный могильник Заславль (1–3 – рис. автора, 4–5 – по А.Н. Лявданскому)

традиции производства клинкового оружия эпохи викингов. Вместе с ними начинает распространяться целый ряд типов наконечников ножен, первоначально появившихся в юго-восточной части балтийского региона (Плавінскі, 2009, с. 19–23, 39–46).

Влиянием балтских военно-технических традиций также следует объяснять и широкое распространение в западных землях Руси дротиков разных типов, в том числе одношипных и двушипных черешковых. Эта тенденция наиболее ярко проявилась в последующее время – в XII–XIII вв., когда дротики заняли заметное место в комплексе вооружения западнорусского населения (Плавінскі, 2013, с. 56). Однако достаточно часто дротики встречаются уже на памятниках конца X–XI в.

Таким образом, древнерусские военно-технические традиции распространяются на территории Беларуси на протяжении X в., а особенно интенсивно во второй его половине. Очевидно, что комплекс вооружения, как и дружинная субкультура в целом, распространяются в западных землях Руси в уже сформированном виде. Поэтому отдельные предметы вооружения североевропейского или степного происхождения, найденные в регионе, следует рассматривать не только и не столько как отражения соответствующих направлений военно-технических контактов, сколько сквозь призму процессов формирования собственно древнерусского комплекса вооружения.

Практически сразу же древнерусский комплекс вооружения стал испытывать достаточно заметное влияние балтских военно-технических традиций, что отразилось на всех видах оружия ближнего боя. Именно активные славяно-балтские контакты в области военной техники предопределили региональные особенности и своеобразие комплекса вооружения западных земель Руси во второй половине XI–XIII вв.

Источники и литература

Артемьев А. Р., 1982. Копья из раскопок в Изборске // КСИА. Вып. 171. М.

Голубович В., Голубович Е., 1945. Славянские поселения правобережной Дисны в Вилейском округе БССР // КСИИМК. Вып. XI. М. ; Л.

Дернович С. Д., 2006. Скандинавские древности эпохи викингов в Беларуси. Минск.

Енуков В. В., 1990. Ранние этапы формирования смоленско-полоцких кривичей (по археологическим материалам). М.

Каинов С. Ю., 2009. Наконечники ножен мечей из Гнёздова // Acta Militaria Medievalia. T. V. Kraków ; Sanok.

Кирпичников А. Н., 1966 а. Древнерусское оружие. Вып. 1 : Мечи и сабли IX–XIII вв. М. ; Л. (САИ. Вып. Е1– 36).

Кирпичников А. Н., 1966 б. Древнерусское оружие. Вып. 2 : Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX–XIII вв. М.; Л. (САИ. Вып. Е1–36).

Кирпичников А. Н., 1971. Древнерусское оружие. Вып. 3 : Доспех, комплекс боевых средств IX–XIII вв. Л. (САИ. Вып. Е1–36).

Кухаренко Ю. В., 1961. Средневековые памятники Полесья. М. (САИ. Вып. Е1–57).

Лебедев Г. С., 1991. Этюд о мечах эпохи викингов // Клейн Л. С. Археологическая типология. Л.

Лухтан А., Ушинскас В., 1988. К проблеме становления Литовской земли в свете археологических данных // Древности Литвы и Белоруссии. Вильнюс.

Ляўданскі А. Н., 1930. Археолёгічныя досьледы ў Полацкай акрузе // Працы археолёгічнай камісіі. Т. II : Запіскі аддзелу гуманітарных навук Беларускай акадэміі навук. Кн. 11. Мінск.

Петерсен А., 2005. Норвежские мечи эпохи викингов: топохронологическое изучение оружия эпохи викингов. СПб.

Плавинский В. А., 2013. Ланцетовидные наконечники стрел с территории Беларуси // Археология и история Пскова и Псковской земли : материалы 58 заседания. М. ; Псков.

Плавинский Н. А., 2008. Оружие североевропейских типов в комплексе вооружения Полоцкой земли X–XI вв. // XVI конференция по изучению Скандинавских стран и Финляндии : материалы конференции. Ч. I. М. ; Архангельск.

Плавінскі М. А., 2007. Ланцэтападобныя наканечнікі коп'яў на тэрыторыі Беларусі: храналогія і тапаграфія знаходак // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 14. Мінск.

Плавінскі М. А., 2009. Нарысы гісторыі клінковай зброі X–XIII стагоддзяў на Беларусі. Мінск.

Плавінскі М. А., 2011. Насельніцтва Браслаўскага Паазер'я ў другой палове I – пачатку II тысячагоддзя н. э. (па матэрыялах пахавальных помнікаў) // Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 26. Мінск.

Плавінскі М. А., 2013. Узбраенне беларускіх земляў X–XIII стагоддзяў. Мінск.

Радиньш А., 2001. Погребальный обряд и инвентарь латгальских захоронений 10–13 веков // Archaeologia Lituana. № 2.

Седин А. А., 2011. Предметы вооружения из городища Никодимово // Acta Archaeologica Albaruthenica. Vol. VII. Минск.

Штыхаў Г. В., 1992. Крывічы : па матэрыялах раскопак курганоў у Паўночнай Беларусі. Мінск.

Штыхаў Г. В., 2000. Полацкія крывічы // Археалогія Беларусі. Т. 3 : Сярэдневяковы перыяд (IX–XIII ст.). Мінск.

Штыхаў Г. В., 2008. Курганны могільнік Ізбішча-Дзвінаса // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 16. Мінск.

Штыхов Г. В., 1975. Древний Полоцк (IX–XIII вв.). Минск.

Штыхов Г. В., 1978. Города Полоцкой земли (IX–XIII вв.). Минск.

Atgāzis M., 1964. Latgaļu 9.–12. gs. Cirvji // Arheologija un etnogrāfija. № VI.

Atgāzis M., 1997. Āvas cirvji Latvijā // Arheologija un etnogrāfija. № 19.

Iwanowska G., 2006. Cmentarzysko kurhanowe w Żwirblach pod Wilnem. Wprowadzenie w problematykę : katalog. Warszawa.

Kainov S., 2012. Swords from Gnëzdovo // Acta Militaria Medievalia. T. VIII. Kraków; Sanok.

Kazakevičius V., 1998. Military Aspects of Baltic Tribes in the Iron Age. Summary of the research report presented for habilitation, humanities, 05 H History. Vinius.

Kazakevičius V., 1999. Dėl E tipo ietigalių ornamentuotomis įmovomis chronologijos ir kilmės // Archaeologia Lituana. Vol. I. Vilnius.

Kurila L., 2005. Lietuvių etninė riba rytuose IX–XII a. (1. Archeologijus duomenys) // Lietuvos Archeologija. T. 27. Vilnius.

Michelbertas M., 2004. Pajusčio pilkapinas. Vilniaus.

Plavinski M. Axes with the Narrow Blade and Profiled But from the territory of Belarus // Cum Arma et Aeva. Uzbrojenie individualne na przestrzeni dziejów. Toruń.

Summary

M. A. Plavinski

Weaponry in the Western Lands of Rus' in the 10th and Early–11th Centuries: the Emergence of a Medieval Rus' Tradition and Regional Features (Based on Materials from the Territory of Belarus)

This article is an attempt to examine how the range of weaponry used by the population of the western lands of Rus' took shape. By «western lands of Rus'» we mean the modern territory of Belarus apart from the part of the Neman valley in Belarus which was inhabited by Balts in the period under discussion.

Medieval traditions regarding military techniques spread through the western lands of Rus' during the 10th century and particularly intensively in its second half. It is clear that the range of weaponry, as indeed the military sub-culture as a whole, spread to the western lands of Rus' in an already well-developed form. For this reason certain pieces of weaponry of a North-European or steppe origin found in this region should be regarded not only or not so much as reflections of similar trends among military-technical contacts but approached through the prism of the formative processes underway when medieval Russia's own range of weaponry was taking shape.

Almost from the outset the range of weaponry in medieval Rus' was strongly influences by the Balts' traditions with regard to military technology. This can be seen in almost all types of weapons for close combat. It was precisely the existence of contacts between Slavs and Balts in the sphere of military techniques that predetermined the regional features and distinctive characteristics of the range of weaponry used in the western lands of Rus' between the late-11th and 13th century.

М. К. Юрасов

Венгерско-хазарские отношения в IX в. и складывание Древнерусского государства

В отечественной историографии господствующим является представление о том, что на протяжении почти всего IX в. полным хозяином степей Восточной Европы был Хазарский каганат. Лишь в самом конце этого столетия, в связи с вторжением печенегов, гегемония хазар в рассматриваемом регионе уходит в прошлое, а после вытеснения венгров печенегами на Средний Дунай (895 г.) последние постепенно распространили свое влияние на всю степную полосу, примыкавшую с юга к русским землям, за исключением территории собственно Хазарского каганата, или каганского «домена».

Главным недостатком данной точки зрения является признание в целом статичного характера истории Хазарии в IX в., из чего вытекают представления о том, что на всем протяжении этого столетия все проживавшие в южной части Восточной Европы этнические группы были либо данниками кагана, либо зависимыми от него союзниками, участвовавшими по его приказу в военных походах хазарского войска. Между тем Хазария пережила в IX в. период внутренней нестабильности, переросшей в гражданскую войну, результатом которой стал уход из-под власти кагана части хазар, названных в трактате Константина Багрянородного «Об управлении империей» каварами (Константин Багрянородный, 1991, с. 162 [текст], с. 163 [пер.]), которые присоединились к Семи Мадьярам (венг. Hetumogyer)[1] – объединению венгерских племен, появившемуся в степной полосе Восточной Европы не позднее конца первой трети IX в.

Еще в 1952 г. Б. А. Рыбаков высказывал мысль о том, что «Хазария в IX–X вв. была в силах лишь укреплять свою северо-западную границу по Дону и не помышляла о выходе в степи севернее Саркела» (Рыбаков, 1952, с. 86, 88; Рыбаков, 1953, с. 130, 131); из чего можно сделать вывод о том, что венгры (от имени хазар или без их санкции) собирали дань с зависимых от кагана восточных славян. Эта гипотеза была предана скорому забвению в связи с высказанными в адрес академика обвинениями в том, что она имела антисемитскую окраску и возникла в рамках борьбы с «космополитизмом» (Петрухин, 1995, с. 83). Однако учет всех факторов политического развития Хазарии в IX в. и анализ известий мусульманских географов раннего Средневековья приводят меня к выводу о том, что до прихода печенегов Хазарский каганат не всегда реально контролировал территории, находившиеся на пределами собственно Хазарии – в данном случае к западу от нижнего течения Дона. Венгры и примкнувшие к ним этнические группы вполне могли собирать дань от имени хазар или конкретно для себя. Арабский географ Ибн Руста, составивший в 903–925 гг. «Книгу дорогих ценностей» («Китаб ал-а'лак ан-нафиса»), свидетельствует о том, что власть народа ал-маджгарийа (венгров) «распространяется на всех тех ас-сакалиба (славян), которые живут близко от них. Они налагают на них тяжелые налоги (подати, оброки)…»[2] (Шушарин, 1997, с. 106).

По мнению венгерских исследователей, Ибн Руста, использовавший в данном случае сведения т. н. «Анонимной записки о народах Восточной Европы», в описании венгров передает ситуацию, сложившуюся ок. 870 г. (Magyarország történeti kronológiája…, 1986, 66. l[3]) По свидетельству же персидского историка и географа середины XI в. Гардизи, составив-

[1] Названия семи племен содержатся в названном трактате Константина Багрянородного (там же), а само словосочетание «Семь мадьяр» – в средневековом рыцарском романе «Деяния венгров», написанном неизвестным нотарием венгерского короля Белы III (1172–1196) в начале XIII в. См.: P. magistri, qui Anonymus dicitur, Gesta Hungarorum / ed. Ae. Jakubovich // Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. Edendo operi praefuit E. Szentpétery. Vol. I. Budapestini, 1937. P. 33, 37, 41, 47, 50, 78, 94.

[2] Перевод Д. А. Хвольсона уточнен В. П. Шушариным на основании венгерского перевода Кароя Цегледи.

[3] В венгерском востоковедении вместо «Анонимной записки» употребляется название «Традиция ал-Джайхани».

шего компиляцию из сведений предшественников, прежде всего Ибн Русты, длина и ширина владений мадьяр во время проживания в степях Восточной Европы составляла 100 фарсахов (Новосельцев, 2000, с. 296.), т. е. примерно 600 на 600 км. Это явно превышало территорию собственно Хазарии, которую каган Иосиф в письме испанскому еврею Хасдаю ибн Шафруту представляет в виде окружности диаметром 50 фарсахов (ок. 300 км) (Коковцов, 1932, с. 102). Однако в данном случае описанные пределы расселения Семи Мадьяр, скорее всего, отражают тот факт, что караванщики, двигавшиеся во второй четверти IX в. по пути из «Немец в Хазары» или вдоль побережья Азовского и Черного морей, на протяжении 100 фарсахов степного пути встречали исключительно мадьяр, что отражает ситуацию, сложившуюся к западу от нижнего течения Дона в период внутренней нестабильности в каганате, возможно, вызванной принятием иудаизма в качестве государственной религии на рубеже VIII–IX вв.

Большинство исследователей, анализировавших свидетельство Бертинских анналов о посольстве византийского императора Феофила, прибывшем в 839 г. к франкскому императору Людовику I Благочестивому (814–840)(Annales de Saint-Bertin, p. 31), склонны считать именно венгров теми жестокими варварами, которые не позволили послам «хакана росов» вернуться из Константинополя на родину прямым путем (Артамонов, 1962, с. 344; Сахаров, 1980, с. 44; Цукерман, 1998, с. 666). Историки не могут точно датировать время окончания периода внутренней нестабильности в Хазарии. Самая поздняя дата, высказанная Д. М. Данлопом, – 843 г. (Dunlop, 1954, p. 197), но думается, что это произошло десятилетием ранее. При этом крайне маловероятно, чтобы хазарская правящая верхушка сразу же после достижения внутреннего мира в каганате добилась полного подчинения всех этнических групп, проживавших в степях Восточной Европы.

Семь Мадьяр и примкнувшие к ним три племени каваров представляли собой наиболее сильное кочевое объединение Восточной Европы, способное противостоять попыткам его возвращения в т. н. хазарский мир, условно говоря, «внешнюю Хазарию» – территории, зависимые от каганата, но лежавшие вне собственных владений кагана («домена»). Такая ситуация, по моему мнению, сохранялась в степи, по крайней мере, в 30-е – 40-е гг. IX в. Именно тогда венгры могли самостоятельно собирать дань с этнических групп восточных славян, проживавших на пограничных со Степью территориях.

Даже если правителям Хазарии удалось достаточно быстро справиться с гражданской войной на территории каганского «домена», восстановить былое влияние кочевой державы на племена степняков и территориально-политические объединения восточных славян было нелегко и потребовало достаточно много времени – нескольких десятилетий, поскольку за время гражданской войны, которую пережил каганат, геополитическая ситуация в южном секторе Восточной Европы заметно изменилась. Свидетельство Бертинских анналов о посольстве, отправленном в Византию «хаканом росов» в 837 или 838 г., ярко показывает, что в Среднем Поднепровье появилось независимое от Хазарии политическое образование, правитель которого считал себя равным хазарскому кагану.

В связи с тем, что, скорее всего, именно венгры заставили посольство «хакана росов» возвращаться на родину кружным путем, можно предположить, что между объединением венгерских и каварских племен и русами в 40-е г. IX в. сложились враждебные отношения, вызванные борьбой за контроль над степным «коридором», простиравшимся от Нижнего Подонья через Приазовье и Северное Причерноморье до Нижнего Дуная. Через этот «коридор» проходил не только путь «из Немец в Хазары», но и основные маршруты нападений «росов» на владения Византии. Поскольку венгры, по свидетельству Ибн Русты, продавали захваченных в плен славян на невольничьих рынках Крыма (Шушарин, 1997, с. 106), где в рассматриваемое время сохранялись владения «империи ромеев», венгры и кавары должны были всячески препятствовать набегам своих северных соседей на Византию.

В науке закрепилась датировка нашествия руси на византийский портовый город Амастриду временем до 842 г. (т. е. до смерти императора-иконоборца Феофила), о котором повествует «Житие св. Георгия Амастридского» (Васильевский, 1915, с. CIX; Ševčenko, 1977, p. 121–127). Мне представляется, что эту датировку можно уточнить, исправив на «до 838 г.». Вряд ли в условиях, когда русское посольство не могло вернуться из Константинополя на родину прямым путем, венгры позволили бы совершить русам набег на византийские владения.

Хотелось бы обратить внимание еще на один момент. Между 834 и 837 гг. (обзор обоснований датировок см.: Артамонов, 1962, с. 298) на восточной границе Хазарии с помощью византийских специалистов, возглавляемых спафарокандидатом Петроной Каматиром, была возведена мощная крепость Саркел, призванная стать главным звеном в системе обороны каганского «домена» от беспокойных степных соседей. Факт построения Саркела свидетельствует о том, что Хазарии не ранее чем к началу 40-х г. IX в. удалось создать систему, обеспечивающую относительное спокойствие на западных и северо-западных границах каганского «домена» – в среднем и нижнем течении Дона. Что же касается более западных земель, особенно заднепровских степей, то крайне маловероятно, чтобы власть или влияние Хазарии были восстановлены здесь в рассматриваемое время.

Дело здесь не только в том, что в нижнем течении Днепра, Южного Буга и Днестра уже в первой трети IX в. обосновались венгры, но и в возникновении в Среднем Поднепровье «Русского каганата». Можно с большой долей уверенности утверждать, что степные пространства к западу от Днепра уже в начале IX в. вышли из-под хазарского влияния и восстановить его в полном объеме каганат уже не смог. При этом следует отметить, что объектами набегов мадьяр в первой половине IX в. могли быть, прежде всего, уличи и, возможно, волыняне и белые хорваты. Можно также предположить, что во время кульминации гражданской войны в Хазарии, когда еще не возник «Русский каганат», венгры могли от имени хазар собирать дань и с тех этнических общностей, которые перечислены в «Повести временных лет» в качестве данников Хазарии (поляне, северяне, радимичи, вятичи), но, по крайней мере, после построения Саркела и появления в Киеве князя и дружины возможности для набегов мадьяр на земли к востоку от Днепра стали ограниченными.

Такая политическая ситуация в Северном Причерноморье длилась со второй половины 830-х до начала 850-х гг. Она характеризовалась примерным равенством трех сил, претендовавших на гегемонию в рассматриваемом регионе: восстановившейся после гражданской войны Хазарии, возникшего «Русского каганата» и конфедерации венгерских и каварских племен, достаточно рыхлой в политическом отношении. Это равновесие было нарушено примерно в середине 50-х г. IX в., скорее всего, вторжением в степи Восточной Европы первой волны печенегов.

Мнение о том, что печенеги появились на степных пространствах к западу от Нижней Волги во второй трети IX в., высказывалось отечественными историками уже в середине XIX в. (Иловайский, 2008, с. 310–312[4]). В начале XX в. его поддержали немецкий востоковед Йозеф Маркварт и российский историк Ф. И. Успенский (Marquart, 1903, S. 33; Успенский, 1915, с. 218). Об этом же писал позже Б. Д. Греков (Очерки истории СССР, с. 75). Венгерский тюрколог послевоенного времени Карой Цегледи развил эту гипотезу, добавив, что первая война венгров с печенегами произошла ок. 854/5 г. (Czeglédy, 1975, 52. l.). Однако в советской/российской историографии закрепилось мнение о том, что печенеги появились в названном регионе лишь в конце IX в. (Артамонов, 1962, с. 350; Плетнева, 1986, с. 66) С этим согласилась и часть венгерских ученых (Csorba, 1997, 50. l.; Magyarország története tíz kötetben…, 1987, 518. l.). Тем не менее когда в Венгрии по случаю 1100-летнего юбилея «обретения родины» мадьярами на Среднем Дунае, отмечавшегося в 1996 г., была издана серия научно-популярных монографий «Венгерские столетия», автор соответствующего раздела книги о IX в. академик ВАН Дюла Кришто поддержал точку зрения К. Цегледи (Kristó, Makk, 2001, 58. 1.).

Основанием для датировки появления печенегов в степях Восточной Европы концом IX в. служит известие немецкого хрониста Регино Прюмского (ум. в 915), свидетельствующего о том, что в 889 г. венгры были изгнаны из «Скифии» (южной части Восточной Европы) печенегами, которым не хватало степных пространств для размещения «чрезвычайного множества» своих людей[5] (Reginonis abbatis Prumiensis..., p. 131–132). По утверждению М. И. Артамонова, помещенному им в качестве оценки сообщения Регино Прюмского, «никаких данных о проникновении их (печенегов. – *М. Ю.*) сюда (в Причерноморье. – *М. Ю.*) в более раннее время не имеется» (Артамонов, 1962, с. 350).

Относительно убежденности подавляющего большинства исследователей в том, что свидетельство Регино Прюмского является достаточным для датировки времени прихода печенегов в степи Восточной Европы, хочу обратить внимание на то, что оно само по себе является случайным в этой хронике и источник его неизвестен. Если бы в распоряжении Регино был цельный по содержанию рассказ о борьбе венгров с печенегами, закончившейся победой последних, заставивших своих противников переселиться на Средний Дунай, то он, несомненно, указал бы более точную дату. Как известно, уход венгров и присоединившихся к ним племен из Северного Причерноморья датируется 895–896 гг.[6]

Кроме того, если внимательно прочитать главу 38 трактата «Об управлении империей», то в ней описаны две разные эпохи военных столкновений между мадьярами и печенегами, причем настолько, что и печенеги, и венгры по-разному назывались во время первого и второго конфликта, произошедшего между ними. В первом конфликте венгры еще фигурируют как саварты-асфалы (Σάβαρτοι ἄσφαλοι), а печенеги – как кангары (Κάγγαρ). Во втором же конфликте участвовали, соответственно, турки (Τοῦρκοι) и пачинакиты (Πατζινακῖται) (Константин Багрянородный, 1991, с. 158–159). При этом после первого разгрома часть савартов-асфалов отделилась от основной массы венгров и отправилась в сторону Персии (там же).

Если твердо стоять на том, что венгры и печенеги конфликтовали между собой лишь в 889 и 895 гг., как убеждены сторонники концепции о появлении последних в степях Восточной Европы не ранее кон-

[4] Впервые эта работа вышла в Журнале Министерства народного просвещения в 1875 г.

[5] Русский перевод см.: Назаренко, 2010, с. 45.

[6] А. В. Назаренко допускает, что Регино мог использовать «византийскую датировку по александрийской эре (897+5500=6397 г.), пересчитав ее в год от Рождества Христова по константинопольской эре (6397–5508=889)». (Назаренко, 2010, с. 45, примеч. 4).

ца IX в., то получается, что через шесть лет обе враждующие стороны разом сменили свои этниконы, что представляется крайне маловероятным. Более реальным выглядит то, что в первом случае мы имеем дело с первой волной печенегов, появившейся в рассматриваемом регионе на несколько десятилетий раньше второй волны, действительно переправившейся через нижнее течение Волги перед 889 г.

Что же касается точки зрения, впервые сформулированной К. Цегледи, то она базируется на свидетельстве, содержащемся в «Истории» Абу-л-Аббаса Ахмада ибн Абу Йа'куба ал-Йа'куби (ум. в 897 или 905). Здесь под 240 г. х. (854/5 г. н. э.) можно прочитать о том, что проживавшие в Закавказье санарийцы обратились за помощью к правителям «ар-Рума, ал-хазар и ас-сакалиба», т. е. Византии, Хазарии и «Русского каганата», против Буги старшего – арабского наместника на Кавказе[7]. Есть еще известие другого мусульманского источника, приводимое Й. Марквартом, которое свидетельствуют о том, что в том же 240 г. х. в Закавказье переселились 300 семей хазар-мусульман, перешедших через Дарьял[8] (Marquart, 1903, S. 412). Главный тезис К. Цегледи заключается в том, что ок. 240 г. х. произошел первый конфликт мадьяр с печенегами, в результате которого венгерские племена вынуждены были сузить ареал своего кочевания, оставив Донские степи. Фактически это означало, что нижнее течение Днепра стало примерной границей областей кочевания венгров с примкнувшими к ним каварами и печенегов, ставших отныне главной опасностью для Хазарского каганата.

Если признать правоту К. Цегледи, то обращение санарийцев за помощью к правителям сильнейших государственных образований Северного Кавказа и Северного Причерноморья ярко показывает политическую ситуацию, сложившуюся в этом регионе. Хазария уже полностью восстановилась после гражданской войны, Византия продолжала владеть Крымом, а в ареале расселения восточных славян возник «Русский каганат». Отсутствие упоминания мадьяр в рассматриваемом известии может свидетельствовать, прежде всего, об отсутствии у них сплоченного союза племен во главе с верховным вождем, что характерно для эпохи «простого вождества». Это подтверждается информацией трактата Константина Багрянородного «Об управлении империей», где в главе 38 можно прочитать: «Турок было семь племен, но архонта над собой, своего ли или чужого, они никогда не имели, были у них некие воеводы» (Константин Багрянородный, 1991, с. 158–159).

Что же касается печенегов, то, поскольку они только появились в степях Восточной Европы и к тому же находились на том же уровне развития потестарных структур, что и венгры, санарийцы не стали обращаться к ним за помощью. Лидеры этой маленькой кавказской народности явственно представляли себе разницу между сложившимися или складывающимися государственными образованиями и племенами, создающими временный союз, главным образом, в случае серьезной опасности или для совершения совместного набега с целью получения богатой добычи.

Концепция К. Цегледи, безусловно, нуждается в более весомых аргументах, однако она помогает понять, почему именно в 860 г. «народ рос» совершил дерзкий набег на Константинополь. Как указывалось выше, в конце 30-х – начале 50-х гг. IX в. венгры представляли собой силу, препятствовавшую нападениям «росов» на владения Византии. Возникновение «Русского каганата» могло способствовать только ухудшению отношений мадьяр с северными соседями, поскольку поляне, на землях которых появился оселок будущего Древнерусского государства, прежде также платили дань хазарам, а значит, рассматривались кочевыми народностями степной полосы исключительно как объект для набегов и сбора дани. Исходя из этого, можно с большой долей уверенности предположить, что в конце 50-х г. IX в. произошли события, которые разрушили политическое равновесие, существовавшее в Степи, по меньшей мере, два предшествующих десятилетия.

О том, что печенеги могли появиться к западу от Волги в середине IX в., возможно, свидетельствуют «Жизнеописания византийских царей» Продолжателя Феофана, где есть известие о том, что крепость Саркел была построена при императоре Феофиле (829–842) для обороны от печенегов (Theophanes continuatus…, p. 122; Продолжатель Феофана, с. 56–57). Однако, скорее всего, хронист имел в виду современную ему ситуацию середины X в., когда печенеги были сильнейшим этносом степной полосы Восточной Европы. Этим же может объясняться свидетельство византийского хрониста более позднего времени (второй пол. XI в.) Иоанна Скилицы, также утверждающего, что Саркел был построен для обороны от печенегов (Ioannis Scylitzae..., p. 73). Впрочем, Скилица в данном случае просто использовал информацию своего предшественника.

О том, что печенеги могли появиться в степях Восточной Европы несколькими десятилетиями раньше конца IX в., свидетельствует также арабский писатель и путешественник Абу-л-Хасан ал-Мас'уди (ок. 896–956) в своем сочинении «Китаб ат-танбих

[7] Перевод соответствующего отрывка из сочинения ал-Йа'куби, сделанный Т. М. Калининой, см.: ДРСЗИ. Хрестоматия 3, с. 39.

[8] А. П. Новосельцев не учитывает это свидетельство, скорее всего, потому, что считает его недостоверным. По его мнению, «редкая филологическая эрудиция помогла Марквартy сопоставлять самые различные источники, хотя этот ученый был порой склонен к малообоснованным выводам» (Новосельцев,1990, с. 47).

ва-л-ишраф» («Книга предупреждения и пересмотра»). Б. Е. Кумеков так комментирует его информацию: «Между серединой и концом IX в. союз печенежских племен потерпел поражение от союза огузов, кимаков и карлуков. Краткое упоминание об этих событиях сохранилось у ал-Масуди: "Причина переселения этих четырех тюркских племен (баджнак, баджна, баджгард и нукарда) с востока и то, что было между ними, огузами, курлуками и кимаками из войн и набегов на Джурджанийское озеро (Аральское море)…"»[9] (Кумеков, 1972, с. 58). В цитируемом отрывке печенеги скрываются под этниконом «баджнак». Часть печенегов, разгромленная названным союзом кочевых племен, вполне могла форсировать Волгу в ее нижнем течении и появиться уже в середине IX в. к северу от «домена» хазарского кагана.

Есть еще уникальное свидетельство Никоновской летописи об успешной войне Аскольда и Дира с печенегами, помещенное под 6375 г. (ПСРЛ 9, с. 9). Безусловно, хронология этого источника, созданного в XVI в., весьма приблизительна, да и сам большой по объему памятник местами содержит явные домыслы и амплификации, что побуждает многих исследователей к отказу от использования Никоновской летописи в связи с проблемой достоверности ее известий, особенно относящихся к ранним эпохам отечественной истории. Однако безапелляционно заявлять о том, что весь блок уникальных известий Никоновской летописи, относящихся к деятельности Аскольда и Дира, является плодом фантазии составителей этого летописного свода, представляется мне гиперкритичным. Можно, конечно, известие «Того же лѣта избиша множество Печенѣгъ Осколдъ и Диръ» (ПСРЛ 9, с. 9) трактовать как стремление показать историю своих предков как можно более героической, но какой смысл был у книжников XVI в. сочинять известия о втором – неудачном – походе Аскольда и Дира на Царьград, о голоде в Киеве и бегстве из Новгорода в Киев от Рюрика (основателя династии, к которой принадлежали московские великие князья и цари XVI в.!) многих мужей, содержащиеся в той же статье Никоновской летописи под 6375 г. (ПСРЛ 9, с. 9)?

Если мы признаем гипотезу К. Цегледи о первом венгеро-печенежском конфликте, состоявшемся в 50-е гг. IX в., то получается, что ситуация, сложившаяся после этого в причерноморском степном «коридоре», стала весьма благоприятной для организации набега русов на владения Византии. Разгромленные печенегами мадьяры вынуждены были вновь признать над собой сюзеренитет Хазарского каганата и, по свидетельству Константина Багрянородного, три года участвовать во всех войнах хазар (Константин Багрянородный, 1991, с. 158–159). Скорее всего, венгры, кавары и хазары совместными усилиями остановили в рассматриваемое время продвижение печенегов вглубь степной полосы и не позволили им закрепиться западнее Днепра.

Большинство исследователей смущает названный императором Константином трехлетний срок совместного проживания венгров и хазар (обзор мнений см.: там же, с. 392, комм. 7), поскольку нарушает рисуемую ими статическую картину долгого и безусловного нахождения венгерских племен под властью Хазарии. Кроме того, само проживание Семи Мадьяр и примкнувших к ним племен в степях Восточной Европы в то время предполагает признание ими власти или гегемонии Хазарского каганата в этом регионе. Подобные утверждения представляются мне весьма спорными, в то время как трехлетняя служба венгров правителю Хазарии – вполне реальной.

Прежде всего, Константин прямо пишет о том, что венгры «жили вместе с хазарами в течение трех лет, воюя в качестве союзников хазар во всех их войнах»[10], употребляя при этом соответствующий глагол συνοικεῖν («жить в одном месте»). Это означает, что венгры в это время как бы «прибились» к хазарам, проживая где-то на границах Хазарии, что и передает приставка συν. Если бы венгры кочевали тогда на некотором расстоянии от границ каганского «домена», Константин употребил бы в данном случае глагол περιοικεῖν («жить поблизости/вокруг какого-то места»).

Скорее всего, местом проживания мадьяр в то время были Приазовье и Крым (т. н. «Готские Климаты»), где Хазария пыталась в середине IX в. вернуть территории, захваченные Византией во время бушевавшей в каганате гражданской войны. По крайней мере, в Житии св. Константина (Кирилла) есть свидетельство о встрече славянского первоучителя с венграми в окрестностях Корсуня, происшедшей ок. 860 г. (Сказания о начале славянской письменности, с. 78). Присоединяюсь к мнению Д. Кришто, датирующего период, когда венгры жили вместе с хазарами и участвовали во всех их войнах, 858–861 гг. (Kristó, 1980, 92–94. l.). Основанием для такой датировки служит то, что во время путешествия св. Кирилла (Константина) в Хазарию «угры» еще явно жили рядом с хазарами и помогали им в возвращении захваченных «империей ромеев» хазарских владений в Крыму, а в 862 г., по свидетельству Бертинских анналов, они уже появились на окраинах Восточно-франкского королевства (Annales Bertiniani, teil 2, s. 114), что, по всей видимости, свидетельствует об их уходе из-под жесткой власти правителей Хазарии, прекращение участия во всех войнах, которые вели хазары, и переселение в страну Ателькузу. Последний факт (без указания

[9] Автор дает перевод цитаты из труда ал-Мас'уди по изданию: Kitab at-tanbich wa'l-ischraf auctore al-Masûdi... / ed. M. J. De Goeje. Lugduni Batavorum, 1894. P. 181.

[10] «Συνῴκησαν δὲ μετὰ τῶν Χαζάρων ἐνιαυτοὺς τρεῖς, συμμαχοῦντες τοῖς Χαζάροις ἐν πᾶσι τοῖς αὐτῶν πολέμοις» (Константин Багрянородный, 1991, с. 158–159).

даты) описан в трактате Константина Багрянородного «Об управлении империей» (Константин Багрянородный, 1991, с. 160–161).

При этом Д. Кристо допускает, что венгры примерно с 855 г. находились под властью каганата, но едва ли более 15–20 лет. «Когда около 880 г. был создан первоначальный текст традиции ал-Джайхани[11], в нем уже речь не идет о хазарской власти над венграми» (Kristó, Makk, 2001, op. cit. 64. l.). Вряд ли, совершая с 862 г. регулярные походы в Центральную и Юго-Восточную Европу, венгры оставались «верными слугами каганата», как их характеризует, имея в виду весь IX в., А. П. Новосельцев (Новосельцев, 1990, с. 207).

Таким образом, политическая ситуация, сложившаяся в конце 850-х гг. в Северном Причерноморье, была необычайно благоприятной для нового нападения на византийские владения. Настолько благоприятной, что можно было даже предпринять поход на сам Царьград. Оставалось только дождаться удобного момента, когда император вместе с войском отправится на восток, чтобы сдержать новую волну натиска мусульман на «империю ромеев». Вскоре такой случай представился, и 18 июня 860 г. на рейде Константинополя появляются корабли «росов».

[11] Как указывалось выше, здесь имеется в виду «Анонимная записка о народах Восточной Европы».

Источники и литература

Артамонов М. И., 1962. История хазар. Л.

Васильевский В. Г., 1915. Труды. Т. III. СПб.

Иловайский Д. И., 2008. Болгаре и Русь на Азовском море // Иловайский Дмитрий. Начало Руси. М.

Кумеков Б. Е., 1972. Государство кимаков IX–XI вв. по арабским источникам. Алма-Ата.

Константин Багрянородный, 1991. Об управлении империей / текст, пер., комм. под ред. Г. Г. Литаврина и А. П. Новосельцева. 2-е изд. М.

Коковцов П. К., 1932. Еврейско-хазарская переписка в X в. Л.

Назаренко А. В., 2010. Западноевропейские источники // ДРСЗИ. Хрестоматия 4.

Новосельцев А. П., 1990. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М.

Новосельцев А. П., 2000. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI–IX вв. // ДГ, 1998 г. М.

Очерки истории СССР. Период феодализма, IX–XV вв. Ч. I : IX–XIII вв. М., 1953.

Петрухин В. Я., 1995. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI веков. М.

Плетнева С. А., 1986. Хазары. 2-е изд. М.

Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / изд. Я. Н. Любарский. СПб., 1992.

Рыбаков Б. А., 1952. Русь и Хазария (к исторической географии Хазарии) // Академику Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия: сб. ст. М.

Рыбаков Б. А., 1953. К вопросу о роли Хазарского каганата в истории Руси // СА. XVIII.

Сахаров А. Н., 1980. Дипломатия Древней Руси. М.

Сказания о начале славянской письменности / отв. ред. В. Д. Королюк, вступ. статья, пер. и комм. Б. Н. Флори. М., 1981.

Шушарин В. П., 1997. Ранний этап этнической истории венгров. Проблемы этнического самосознания. М.

Цукерман К., 1998. Венгры в стране Леведии : новая держава на границах Византии и Хазарии ок. 836–889 гг. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь.

Успенский Ф. И., 1915. Первые страницы русской летописи и византийские перехожие сказания // Записки Императорского Одесского общества истории и древностей. Т. XXXII. Одесса.

Annales Bertiniani, 1958. // Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte / Neu bearb. von R. Rau. Darmstadt.

Annales de Saint-Bertin, 1964. / ed. F. Grat, J. Vielliard, S. Clémencet. Paris. P. 31.

Csorba C., 1997. Árpád népe. Budapest. 50. l.

Czeglédy K., 1975. Árpád és Kurszán (Az Árpád-ház megalapításához) // Zalai Tükör. 52. l.

Dunlop D. M., 1954. The History of Jewish Khazars. Princeton ; New Jersey.

Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum / Rec. Ioannes Thurn. Berolini ; Novi Eboraci, 1973.

Kristó Gy., 1980. Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. Budapest.

Kristó Gy., Makk F., 2001. A kilencedik és a tizedik század története / Magyar századok. Budapest.

Marquart J., 1903. Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Leipzig.

Magyarország történeti kronológiája. I. k. A kezdetektől 1526-ig. Főszerk. K. Benda. 3. kiad. Budapest, 1986.

Magyarország története tíz kötetben. I. k. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Főszerk. Székely Gy. 2. kiad. Budapest, 1987.

Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum continuatione Treverensi / ed. F. Kurze. Hannover, 1890. (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum. T. 50).

Ševčenko I., 1977. Hagiography of the Iconoclast Period // Iconoclasm. Birmingham.

Theophanes continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus / rec. I. Bekker. Bonnae, 1838.

Summary

M. K. Yurasov

Hungarian-Khazar Relations in the 9th Century and the Formation of the Medieval Rus' State

The civil war which raged in the Khazar Khaganate in the first third of the 9th century made the Hungarians temporary masters of the Black Sea steppe «corridor». In the name of the Khazars they probably collected tribute from those southern ethnic groups of Eastern Slavs, who were not part of the «Russian Khaganate». Restoration of Khazaria after a period of internal instability, which had required the construction of a new system of fortifications on the eastern borders of the Khaganate, lasted the whole of the 830s and possibly the next decade after that as well. In the middle of that same century the first hordes of Pechenegs appeared in the steppes of Eastern Europe, who defeated the Hungarians and occupied the space consisting of the steppe corridor to the east of the lower reaches of the Dnieper.

Thus in the second half of the 850s in the region under discussionan approximately equal balance was established between the main political forces – the Khazars, the Pechenegs and the Hungarians. The latter were forced to settle in the Crimean possessions of Khazaria and to take part in all the wars of the Khaganate for three years (859–861?). This situation was very favourable for the «Russian Khaganate», the ruling élite of which organized a campaign against Constantinople in 860. In 862, however, the Hungarians made their first foray into the lands of Central Europe, which showed that they had refused to obey the Khazar Khagan unconditionally. The new site where the Hungarians settled was the Land of Atelkuzu which scholars locate within the territory of modern Moldova: this signified they had now abandoned their plans to intervene in Russian-Khazar relations.

А. Н. Кирпичников

Исторические данные о создании Русского государства

В 2012 г. отмечено 1150-летие создания Русского государства. Оно начало обустраиваться, по достаточно достоверному сообщению «Повести временных лет», в 862 г. Тогда, возможно, опасаясь мести изгнанных в 862 г. скандинавов, славянские и финские племена (словене, кривичи, чудь, весь, меря, в вариантах русь), по общему решению на добровольной основе пригласили «владеть по праву и по ряду» заморского выходца, то ли скандинава, то ли ободрита, то ли полуславянина-полускандинава – Рюрика с братьями Синеусом и Трувором.

Никоновская летопись, вобравшая в себя неизвестные источники, характеризует это событие необычайно подробно и с подкупающей непротиворечивостью: «И по сем (раздоры между племенами. – *А. К.*) събравъшеся реша к собе: поищем меж себе, да кто бы в нас князь был и владел нами. Поищем и уставим таковаго или от нас, или от Казар, или от Полян, или от Дунайчев, или от Варяг. И бысть о сем молва велия: овем сего, овем другаго хотящем. То же совщаошеся, послаша в варяги» (Ник., 1862, с. 9).

Приведенное сообщение примечательно, оно отчетливо передает ставшее тогда новоосознанным стремление к объединению племен «под одним командованием». Здесь нет комплекса неполноценности или неспособности в связи с поиском некоего иноземного властителя. Наоборот, очевидно, был нужен нейтральный, рассудительный, лишенный местнических предрассудков «правитель».

Характерен подбор стран-кандидатов. Это могущественная Хазария, достаточно развитая Полянская земля, загадочные Дунайцы (вероятно, часть славянского населения Дунайской Болгарии) и, наконец, скандинавские варяги, добиравшиеся в то время до Восточной Европы. К этим последним и послали приглашение.

Обстановка описанного летописцем выбора кандидатов «на престол» не кажется фантастичной. Всё напоминает шумное межплеменное вече (конечно, нельзя исключать здесь действия племенных старейшин). В данном случае был достигнут своеобразный гражданский договор, что свидетельствует о свободном волеизлиянии и демократических порядках. Известие Никоновской летописи, как бы ни относиться к его подлинности, проливает свет на устройство общества, состоящего, во многом, из лично самодостаточных людей.

В тексте Никоновской летописи упомянуто желание иметь одного князя, что не отрицает его возможного дружинного окружения. Были ли у Рюрика братья, Синеус и Трувор, которые «сели» на Белоозере и в Изборске, как написано в «Повести временных лет», гадательно. Возможно, речь идет о знатных представителях придворного окружения главного лица. Этот вопрос пока не прояснен. Уместно вспомнить здесь поэтические и поныне актуальные слова, написанные Алексеем Константиновичем Толстым в 1868 г. (Толстой, 1986, с. 29–30):

И стали все под стягом,
И молвят: «Как нам быть?
Давай пошлем к варягам,
Пускай придут княжить».

Посланцы скорым шагом
Отправились туда
И говорят варягам:
«Придите, господа».

И вот пришли три брата,
Варяги средних лет,
Глядят, земля богата,
Порядка только нет.

Первой резиденцией нового властителя оказалась Ладога – город в устье Волхова, основанный еще до 753 г. Там пришелец заключил с хозяевами договор о своей службе, но вскоре стал и единодержавным правителем.

Ладога в тот период была центром славянской земли (возможно, федеративной столицей северных славянских и финских племен). Словами Ипатьевской летописи «и приидоше к словеном первее, и срубиша город Ладогу, и седе старейший в Ладозе, Рюрик, а другой, Синеус, на Белеозере, а третий, Truвор, Изборьсце» (ИЛ, с. 14).

Сообщение о Ладоге как первой резиденции нового властителя и его братьев помещено в достоверных и наиболее полных списках «Повести временных лет» (Кузьмин, 1967; Мачинский, 2002) – в Ипатьевском, Хлебниковском, Радзивилловском, Московско-Академическом, Летописце Переяславля Суздальского, а также в «Истории Российской» В. Н. Татищева (здесь, видимо, Раскольничья летопись). Напротив, в таких вариантах «Повести временных лет», как летопись Лаврентьевская, Троицкая, имя Ладоги либо опущено, либо в этом месте имеется вставка над строкой «Новг». Только в Новгородской Первой летописи вместо Ладоги написан Новгород.

По мнению А. А. Шахматова, сообщение о Новгороде восходило, если не раньше, к начальному своду 1090 г. (отраженному в Новгородской Первой летописи), затем было унаследовано от этого свода в первой и второй редакции «Повести временных лет», составленных в 1111 и 1116 гг. Напротив, Ладога названа только в третьей редакции «Повести временных лет», оформленной в 1118 г. (Шахматов, 1916, с. 53 и сл.; Гиппиус, 2007, с. 213 и сл.; Носов, Янин, 2011, с. 9–11). Такая схема утверждает первичность известия о происхождении Новгорода. Она, в какой-то мере, приемлема текстологически, но нуждается в археологической коррекции. Новгород, а точнее – Предновгород (Рюриково городище) – во времена призвания варяжских властителей либо не существовал, либо был только что отстроен (как установил Е. Н. Носов, возник не позже 850-х – 860-х гг.). Напротив, Ладога была основана до 753 г. и, следовательно, была на 100 лет, если не более, древнее поселения у истока Волхова, и чтобы попасть внутрь страны по речным путям, ее нельзя было миновать.

Упоминание Новгорода и Ладоги в летописи отделено от истинных событий более чем на два с лишним столетия. Здесь не исключены мифы и предания, впрочем, содержавшие реальную основу. Указание на Ладогу в третьей редакции «Повести временных лет», которая была оформлена во времена князя Мстислава Владимировича, не случайно. Этот князь всеми своими корнями был связан с Новгородом и Балтийским миром. В 1114 г. он вместе с посадником Павлом заложил в Ладоге каменную крепость, что выдвинуло этот город в разряд хорошо укрепленных форпостов на северных границах Руси. Накапливается всё больше фактов о том, что Мстислав задумал и, может быть, частично осуществил строительство в Ладоге сразу пяти каменных храмов, что для своего времени явилось своеобразным рекордом. Была заново организована вся городская структура (Кирпичников, Сарабьянов, 2013, с. 93–95).

В те времена ладожане и поведали летописцу некоторые рассказы о прошлом города и других происшествиях, вероятно, вспомнив о временах Рюрика. Таким образом, известие о Ладоге имеет признаки достоверности, и она действительно являлась естественным первоначальным местопребыванием представителей новой династии и идеообразующим местом развернувшихся в дальнейшем исторических событий.

С приходом Рюрика Ладога на два–три года (по В. Н. Татищеву – на четыре) стала столичной резиденцией образующейся Древнерусской державы. Событие раскрывается, как упоминалось выше, в надежном списке Ипатьевской летописи в следующих словах: «Седе старейший в Ладозе Рюрик» (ИЛ, с. 14). Понятно, что «сиденье» означало место властвования, иерархически соответствующее княжескому владельческому столу.

В дальнейшем столичные функции унаследовали: поселение, предшествующее Новгороду – Рюриково городище, а в 882 г. – «мать городов русских» Киев, то есть главный город страны. Каждому этапу продвижения государственности соответствовал свой центр с окружающей областью. Таких этапов оказалось три, финальным стал общеславяно-русский Киев. Столичные места, следовательно, кочевали географически с севера на юг. Всё это последовательно отмечено в летописи[1]. Северных людей в Киев, на юг, привлекали широкие возможности развития земледельческого хозяйства. Святослав говорил своей матери Ольге, почему он стремится на Балканы, в Переяславец на Дунае, «середу земли», в которой «от Грек злато, паволоки, вина и овощеве разноличныя, из Чех же, из Угорь сребро и комони, из Руси же скора и воск, мед

[1] Некоторые историки с недоверием отнеслись к столичности Ладоги. Так, П. П. Толочко, допускал, что Рюрик первоначально пришел в Ладогу, а затем перебазировался в Новгород. Он пишет далее: «В отличие от Ладоги, где Рюрик просто «седе», в Новгороде он «седее ту княжа», что, вероятно, свидетельствует о более высоком политическом статусе» (Толочко, 2010, с. 117). Такое заключение не бесспорно. «Седе» по отношению к претенденту может и не иметь в источнике приписки «княжить» или «на столе», что, например, продемонстрировано в летописной фразе о междукняжеских переговорах в упомянутой книге того же автора (Толочко, 2010, с. 119.). Лаконичное «седе», а не «седее ту княжить» по отношению к Рюрику может иметь еще одно объяснение. Согласно Иоакимовской летописи, содержащей немало сведений о подлинных событиях, Рюрик, будучи в Новгороде (точнее, в его предшественнике), сам же «проименовался князь великий, еже греческий архикратор или васелевс» (Татищев, 1994, с. 110). Речь явно идет о своеобразном короновании Рюрика и присвоении ему высшего титула «великий князь». Если это соответствует действительности, то это был основополагающий государственный акт (почему-то еще не замеченный историками). Касаясь «сидения» Рюрика в Ладоге, летописец, возможно, давал понять, что новый властитель еще не имел полной титулатуры, а потому и опустил пояснения к слову «седе».

и челяд» (ПВЛ, 1996, с. 32). Киев был центром, из которого нетрудно было достигнуть мест русских племен и заморскую Византию. Торговый перечень привозных товаров, что, нетрудно заметить, соответствует товарам, которыми торговал и которые получал Киев. Есть и политические причины. На севере страны князь был ограничен договором о сборе дани и владении землей. В Киев же он пришел как самовластный правитель, свободный от каких-либо обязательств (Янин, 2007, с. 206, 209).

Приоритетное положение Ладоги-Альдегьюборга как места политического властвования конунгов и даже целых их династий подтверждают скандинавские саги, восходящие к IX–X вв. В этих произведениях (при всей фантастичности их содержания и указания на неподтвержденные загадочные, но, возможно, в какой-то мере реальные события) сообщается о местных владетелях и их семьях. В Ладоге останавливались знатные норманны, чинили и строили корабли, защищались от нападений, у стен крепости происходили битвы, в мирное время здесь встречали и провожали купеческие корабельные караваны, вели дипломатические переговоры, устраивали свадьбы, собирали вече-тинг. Принадлежностью древней династии ладожских ярлов был легендарный заговоренный меч Тюрфинг, который «будет убивать человека всякий раз, как его извлекут из ножен» (Сага о Хервёр, см.: Кирпичников, Сарабьянов, 2013, с. 17–18) . Для северных пришельцев Альдегьюборг-Ладога был первым городом Руси на их пути на Восток. Вплоть до конца XI в. они стремились владеть им как крупным центром с богатыми рынками и сильной крепостью (Джаксон, 1999; 2003; Древняя Русь..., 2009).

Историки до сих пор спорят, зачем и откуда приехал Рюрик с братьями на Русь. А если Рюрик, не дай бог, был скандинавом, то получается государство не русское, а норманнское. Развернулась острая борьба между норманистами, стало быть, буржуазными учеными, и антинорманистами, славящими чистоту славянской крови. Не вдаваясь в эти подробности, скажу кратко: в 862 г. был призван и, конечно, не случайно человек, способный остановить не только внутренние раздоры, но и внешних врагов. Национальность значения не имела.

Политический выбор северорусских и финских племен оказался дальновидным и точным. Викинги-разбойники, терроризировавшие почти всю Европу, не покушались на страну, где уже не служил наемником, а правил, возможно, их соотечественник, судя по всему, опытный полководец и политик. Рюрик возвел в Ладоге крепость и посадил по городам своих мужей-управителей. В летописи, кроме Ладоги, названы Предновгород (ныне Рюриково городище, сам Новгород возник на своем месте в X в.), Ростов, Муром, Полоцк, Изборск, округ Белоозера, несколько позднее – ранний Смоленск (Гнёздово), Любеч и Киев. Так сложилось ядро первоначальной монархической Руси. Задумано оно было в Ладоге. В перечне первых державных, несомненно, тогда существовавших городов по разным причинам не указаны многие города, такие, например, как Псков и Чернигов. Недаром Русь называлась «страной городов». Именно городам принадлежала будирующая роль в строительстве государства.

Рюрика справедливо характеризуют как основоположника государственного здания: «от него всё пошло». Он – первая страница русской истории. Это, как писал историк Е. Ф. Шмурло, «Тезей – афинян, Ромул – римлян, Пжемысл – чехов, Пяст – поляков, Хлодвиг – франков» (Шмурло, 1998, с. 73). Первоучредитель новой Руси по праву занимает уготованное место среди таких же героев-созидателей европейской истории.

В 882 г. преемник Рюрика князь Олег, прозванный Вещим, объединил Северную и Южную Русь и провозгласил Киев «матерью городов русских», т. е. столицей страны.

Масштаб деятельности Олега, судя по «Повести временных лет», поразителен и соответствовал могучему установлению новых общегосударственных целей. Было развернуто массовое строительство городов-крепостей; были подчинены древляне, северяне, радимичи; установлена дань славянам, кривичам, мери; удалось откупиться от набегов воинствующих варягов. Многоплеменное сообщество объединялось под общим самоназванием – «прозвашася Русью»[2]. Олег бросил вызов хазарам: их

[2] Впервые в «Повести временных лет» «начася прозывать Руска земля» сопоставляется с началом царствования византийского императора Михаила, что имело место не в 852 г., как указано в Повести, а в 842 г. Далее в том же источнике приводится, что при упомянутом властителе (точнее – в 860 г.) русы подступали к Константинополю. Вероятнее всего, именно тогда греки и стали прозывать Русскую землю как страну своего противника. После похода, окончившегося неудачей, по данным Никоновской летописи, «створи же (император) мирное устроение» с предложением русам креститься, что нашло некоторый отклик в среде язычников. Эти события исходили из Киева, тогда главного города полян, и характеризовали местную предгосударственную обстановку. Что касается похода 860 г., то в этой акции еще нельзя усмотреть общегосударственной системности, которая с очевидностью складывается начиная с 862 г. – со времени призвания Рюрика с братьями. Последняя дата, как полагают, условна, но, очевидно, она близка к истинной.

Уже после написания данной статьи я познакомился с книгой «Труды Первой Международной конференции "Начала Русского мира", состоявшейся 28–30 октября 2010 года» (СПб., 2011). Книга содержательна, в ней много нового и интересного. К сожалению, в ряде статей допущена переоценка похода 860 г. и его последствий как связанных якобы «с появлением Руси на европейской арене как самостоятельного суверенного государства» (Труды Первой Международной конференции..., 2011, с. 11), что «означало истинное начало российской государственности, не связанное с призванием варягов» (там же, с. 13). В то же время преуменьшается значение событий 862 г., которые, имея в виду факт призвания варяжского князя, не принесли российской истории «никакого реального исторически переломного смысла» (там же, с. 8). Увы, не затухает накал «варяжского вопроса».

данники северяне и радимичи были освобождены от поборов восточного соседа. По договору, заключенному в 911 г. «великим князем» Олегом с Византией, Русь признавалась в качестве юридически самостоятельного субъекта, то есть по статусу оказалась международно признанной державой. Олегу, первому в русской истории, можно приписать создание федеративной армии под единым командованием. Во время похода на Киев в 882 г. в ее состав входили варяги, чудь, меря, весь и кривичи. В 907 г. состоялся удачный поход на греков, в котором участвовали до 14 разноплеменных отрядов. Эта войсковая практика была унаследована московскими князьями. Уместно сказать, что в 1380 г. на Куликовскую битву собралась рать из 36 городов. Воинские подразделения шли на бой, преодолев путь 750–900 км.

Итак, начальные годы создания Русского государства – Киевской Руси – первыми его двумя государственными правителями можно соотнести с 862–882 гг. Именно тогда и возникла, утвердилась и обустроилась могущественная держава в Европе, можно сказать, федеративная империя, где, наряду со славянами-русскими, жили финно-угры, скандинавы, поляки, группы кочевников, представители других племен и народов. Всего в сложении Руси в IX–X вв. приняли участие 25 племен и этнических образований. Молодое государство вобрало в себя не только земли, но и человеческие живительные силы населения Восточной Европы и соседних областей.

Упрочнение государства, конечно, продолжалось и после 882 г. Но уже на раннем этапе сложились его характерные признаки: единство значительной части территории, организованное управление, сложение войска, существование определенных юридических норм, предусматривающих установление налогов, обустройство укрепленных городов, связанных путями сообщения. Здесь следует учесть сложность общеевропейских процессов и взаимоотношений разнородного населения, находившегося на разных уровнях своего развития, касается ли это племенных сообществ, странствующих викингов, земледельцев-славян, охотников-финнов, придворных дружинников, жителей городов и мест, вооруженных купцов.

Базовое население нового государственного образования предстает спаянным общими языком, культурой, обычаями, ремеслом, едиными денежной системой (дирхемы, слитки, меховые деньги), территорией, торговым и экономическим пространством, одной династией и сводом юридических правил – Русской правдой, несколько позднее – православной верой и письменностью. Общими были производство бытовых и других изделий, украшений. Сходными являлись домостроительство, фортификация, архитектура, военное дело и вооружение. Конечно, имелись некоторые различия (например, в развитии северных и южных земель), но они обычно имели частный характер.

Можно сказать, что первоначальное государство основывалось на относительной свободе населения, вольной предприимчивости, этнической уживаемости и социальном мире. Этим объясняется взлет экономики, активное усвоение новой техники, в том числе военной, стремительное развитие городов, ремесла, торговли, транспортных средств, установление евразийских по размаху международных связей.

Конечно, нельзя преувеличивать «вольнолюбивое» устройство новообразованного государства. Не сразу ушли в прошлое племенные обычаи и влияние родовой аристократии. Но сквозь эти старины мощно пробивались новые порядки, разрушавшие местную замкнутость и «зверинский образ жизни». Случались усмирительные походы, принуждения, грабительские дани, пришедшее к власти политическое руководство встречало сопротивление племенных старейшин и князей. Но как бы то ни было, на карте Восточной Европы в середине IX в. утвердилось новое государство – Киевская Русь, которому суждено было исторически постоянное развитие.

Так называемый период феодальной раздробленности в XII – начале XIII в. в науке нередко характеризовался как время ослабления и упадка страны, погрязшей в междоусобных войнах отдельных княжеств и их владетелей. В действительности, это был период экономического подъема, умножения населения, заселения пустующих пространств, перехода к серийному выпуску отдельных изделий, повышения уровня сельской и городской культуры. Упрочился класс вольных торговцев и ремесленников, а смерды отличались относительной свободой и благосостоянием. По темпу своего развития страна находилась в ряду передовых стран Центральной и Западной Европы[3]. Что же касается внутренних войн и столкновений, то они обычно велись группировками элиты и не задевали основные слои общества. Временами нарушался покой тех или иных областей, но эти военных раздоры не могли остановить прогресс земель.

Геополитическое положение Руси, а в дальнейшем России, между Западом и Востоком, многоэтничный состав населения, необозримые размеры территории, открытость и доступность по отношению к соседям, веротерпимость и гостеприимство – всё это обусловило особую широту, природную щедрость и отзывчивость народа.

[3] Эти мысли были мною изложены еще до знакомства с книгой П. П. Толочко «Древнерусская народность» и высказаны в присутствии этого автора в докладе в Киеве 27 августа 2010 г. Более подробно та же тема развернута в упомянутой книге П. П. Толочко, с чем я полностью солидарен.

Уязвимость Руси–России со стороны восточных, западных и северных соседей, победы и поражения, а порой и катастрофы, готовность населения к самопожертвованию, массовый героизм в периоды сражений и войн, жертвенность, удивительное терпение – всё сказалось на формировании качеств народа и его национального характера (Кирпичников, 2003, с. 27). Сочетание этих противоречивых качеств привело к тому, что русские, первоначально жившие в духе вольных традиций, после татаро-монгольского нашествия были вынуждены мириться с социальными невзгодами и нарастающим классовым неравенством.

Постоянно действующим фактором исторической жизни Руси–России явились, как упоминалось, связи с Востоком и Западом. Страна не могла не использовать достижения мировой цивилизации. Особенно на первых порах был важен беспрепятственный доступ к морским путям, международной торговле, в конечном счете – к всемирному человеческому общению и тесным связям со всем Старым Светом, даже в те периоды, когда иноземцы представлялись как военные и идеологические недруги.

В 1237 г. монголы вторглись на территорию Рязанской земли. Спустя три года северо-восточная и южная часть страны лежала в развалинах. Армия завоевателей во время европейских походов насчитывала 100 000 – 150 000 человек. Можно предположить, что в сражениях с войсками русских княжеств и в операциях по захвату городов нападающие обладали 10–30-кратным численным перевесом (Кирпичников, 1976, с. 5). Даже объединенное войско нескольких земель не могло противостоять такой силе, хотя и неоднократно завязывало с ней бой. Монгольские полчища впервые за несколько истекших столетий принесли миру новую войну, основанную на тотальном истреблении всех, кто пробовал сопротивляться. В этом отношении монгольское нашествие оставило далеко позади себя всё, что было известно по междукняжеским распрям и половецким набегам.

Высказываются мнения, что монгольский погром Руси «не очевиден», что летописцы, описывая ужасы опустошения, преувеличили. Археология дает на это отрицательный ответ. Ныне археологически изучены, начиная с Киева, некоторые уничтоженные древнерусские города, наполненные сожженными жилищами и останками сотен погибших людей. Летописец вовсе не преувеличивал, когда писал следующие горестные слова: «Осироте бо тогда и обнища великая наша Руская земля, и отъяся слава и честь. ея, но не вовеки и поработися богомерску царю ... от Батыева времени» (Каз., с. 45). Монгольское вторжение «явилось печальным рубежом в истории русской культуры, задержало ее развитие на 150–200 лет именно в этот момент, когда передовые страны Западной Европы начали быстро развиваться» (Рыбаков, 1949, с. 695).

Последствием военной катастрофы 1237–1241 гг. стало ослабление связей между областями и целыми регионами, упадок торговли, ремесла и строительства, нарушение торговых путей, общее оскудение материальными и человеческими ресурсами. Относительно жизнеспособными оказались Юго-Западная Русь и Новгородско-Псковские земли. Столичные функции от Киева перешли к Владимиру-на-Клязьме. Целостность и единство Киевской Руси стали распадаться. Постепенно началось обособление территорий, на которых возникнут Украина и Белоруссия. При этом, однако, важно отметить, что созданное в домонгольской Руси духовное и материальное богатство не исчезло окончательно. Столетиями «историческая память народа, как верно пишет П. П. Толочко, несмотря на монгольское нашествие, литовские, польские завоевания, сохранила древнерусскую систему понятий и идеалов, осознание своей органической неотъемлемости от киевского наследия, свою русскую идентичность» (Толочко, 2010, с. 65). Как не вспомнить слова Дмитрия Донского, сказанные в 1380 г. перед полком в начале битвы на Куликовом поле: «Все бо есмы от мала до велика братие едины ... род и племя едино ... едино крещение, едина вера христова» (Ник., 1897, с. 58).

Как бы контрастно ни менялись исторические эпохи, ныне Россия, Украина и Беларусь являются прямыми наследниками Киевской Руси, а 1150-летие в 2012 г. предстает как праздник трех братских равноправных народов этих стран, взращенных от общеславянского корня.

На тему бережной памяти вот что можно вспомнить.

В Великом Новгороде высится памятник «Тысячелетие России», талантливо выполненный скульптором М. О. Микешиным в 1861–1862 гг. Его упрекали в том, что он, как бы по ошибке, изваял исторических личностей начиная с Рюрика. Не без основания писали, что государство не мог создать герой, кем бы он ни был, в один день, следовательно, у Рюрика должны быть некие предшественники, подготовившие рождение государства. Действительно, у славян Восточной Европы к середине IX в. сложилась раннегосударственная ситуация в виде, например, племенных княжений. Надо было уловить созревшую идею, которая быстро бы овладела умами людей, идею о необходимости принятия общеземельного государственного устройства. Именно это, подсказанное местной элитой, направление и возглавил Рюрик, сумевший на новом месте понять назревшие задачи большой страны. Его местоположение среди фигур памятника «Тысячелетие России», таким образом, не противоречит истине.

Что означает 1150-летие нашего Отечества? Один из современных политических комментаторов Владимир Соловьёв сказал: «Мы – один из редких народов, существующих на Земле, который до сих пор зачастую не знает не только где могилы их прадедов и прабабушек, но даже кем они были. У нас нет даже одного поколения, которое в течение последних 100 лет завещало что-то своим детям – дело, дом, земельные угодья. Поэтому не верим, что завтра наступит, а живем сегодня». Эти слова во многом справедливы. Наше прошлое, наше культурное наследие нередко считают чем-то второстепенным, скучными археологическими черепками. В действительности, история иногда подспудно движет и укрепляет народ. Пусть, бывает, неосознанно мы – наследники великих традиций; генетически носим в себе влияние веками сложившегося национального характера.

«Юбилей, – как писал философ Иван Ильин, – веха общенародная. Мы должны видеть наш народ не только в его мятущейся страстности, но и в его смиренной молитве, не только в его грехах и падениях, но в его доброте, в его доблести, в его подвигах. И особенно – в том, скрытом от постороннего глаза, направлении его сердца и воли, которым проникнута вся его история» (Ильин, 2006, с. 6).

Источники и литература

Гиппиус А. А., 2007. Новгород и Ладога в «Повести временных лет» // У истоков русской государственности : историко-археологический сборник: материалы Международной научной конференции, 4–7 октября 2005 г., Великий Новгород / отв. ред. Е. Н. Носов, А. Е. Мусин ; ред.-сост. А. Е. Мусин. СПб.

Джаксон Т. Н., 1999. Исландские саги о роли Ладоги и Ладожской волости в осуществлении русско-скандинавских торговых и политических связей // Раннесредневековые древности Северной Руси и ее соседей. СПб.

Джаксон Т. Н., 2003. Ладога и Ладожская волость в исландских сагах и скандинавских стихах // Ладога и истоки Российской государственности и культуры. СПб.

Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия. Т. V : Древнескандинавские источники / сост. Г. В. Глазырина, Т. Н. Джаксон, Е. А. Мельникова. М., 2009.

Ильин И., 2006. Почему мы верим в Россию. М.

ИЛ – Ипатьевская летопись. М., 1998. (ПСРЛ. Т. 2).

Каз. – Казанская история. М. ; Л., 1954.

Кирпичников А. Н., 1976. Военное дело на Руси в XIII–XV вв. Л.

Кирпичников А. Н., 2003. В поисках национальной идеи // Культурное наследие Российского государства. Вып. IV. СПб.

Кирпичников А. Н., Сарабьянов В. Д., 2013. Старая Ладога – первая столица Руси. СПб.

Кузьмин А. Г., 1967. К вопросу о происхождении варяжской легенды // Новое о прошлом нашей страны. М.

Мачинский Д. А., 2002. Почему и в каком смысле Ладогу следует считать первой столицей Руси // Ладога и Северная Евразия от Байкала до Ла-Манша. Связующие пути и организующие центры. СПб.

Ник. – Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. (ПСРЛ. Т. 11. СПб., 1897 ; ПСРЛ. Т. 9. СПб., 1862).

Носов Е. Н., Янин В. Л., 2011. К 1150-летнему юбилею российской государственности: источники и проблемы // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Т. 1. СПб.

ПВЛ – Повесть временных лет / подг. текста, перев., статьи и коммент. Д. С. Лихачёва; под ред. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. (Литературные памятники).

Рыбаков Б. А., 1949. Ремесло Древней Руси. М.

Татищев В. Н., 1994. История Российская. Т. 1. М. С. 110.

Толочко П. П., 2010. Древнерусская народность. Киев.

Толстой А. К., 1986. История государства Российского от Гостомысла до Тимашева // Избранное. М.

Труды Первой Международной конференции «Начала Русского мира», состоявшейся 28–30 октября 2010 года. СПб., 2011.

Шахматов А. А., 1916. ПВЛ. Пг.

Шмурло Е. Ф., 1998. Курс русской истории. Возникновение и образование Русского государства (862–1462). СПб.

Янин В. Л., 2007. О начале Новгорода // У истоков русской государственности : историко-археологический сборник: материалы Международной научной конференции, 4–7 октября 2005 г., Великий Новгород / отв. ред. Е. Н. Носов, А. Е. Мусин ; ред.-сост. А. Е. Мусин. СПб.

Summary

A. N. Kirpichnikov

Historical Data about the Creation of the Russian State

By the middle of the 11th century early states were taking shape in Eastern Europe in the form of tribe-based princedoms. According to reliable information provided by the Tale of Bygone Years (Povest vremennykh let), Slavonic and Finnish tribes of their own free will invited Ryurik from over the seas to come and be their prince. Ryurik's nationality was of no significance to them. Ladoga, which had been founded as early as 753, became Ryurik's capital where he took up residence. Rus' became known as the «land of towns». Towns played a leading role in the building the state. Later a settlement which preceded the emergence of Novgorod, Ryurik Gorodishche, assumed the functions of the capital.

In 882 Ryurik's successor, Oleg the Wise, united Northern and Southern Rus' and proclaimed Kiev to be the «Mother of Russian cities», i. e. the capital of the country. A community of many different tribes had come together using a common name it had itself chosen – «Rus». The core population of this new state had a common language, culture, customs, crafts and monetary system and it also had its own ruling dynasty and code of laws. Later it would also have a shared Orthodox faith and written language. The now united population would manufacture household and other items including jewellery – activities in which all the tribes participated. The way they built their houses and fortifications, their architectural traditions, the weaponry they used and the way they went to war were all similar, although there were, of course, local variations.

The period of feudal fragmentation in the 12th and early-13th century was indeed a period of economic advance. As far as the speed of its development was concerned, Rus' was on a par with the advanced countries of Central and Western Europe. The geo-political position of Rus' between East and West encouraged the use of the achievements of world civilization. Easy access to sea routes enabled Rus' to expand its international trade and maintain close links with the whole of the Old World.

In 1237 the Mongolian invasion began which held back the development of Rus' for 150–200 years. After that incursion, the freedom-loving Russians were obliged to resign themselves to social hardship and growing inequality. The functions of the capital were transferred from Kiev to Vladimir-on-the-Klyazma. Territories which would in the future become the Ukraine and Byelorussia were acquiring a separate identity. It was important that the spiritual and material wealth of pre-Mongol Rus' did not disappear once and for all. The people's historical memory kept alive its awareness of its identity as a nation, as Rus, an awareness which was an integral part of their Kievan heritage.



Часть II

РАССЕЛЕНИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ, ГОРОДСКИЕ ЦЕНТРЫ



А. П. Бужилова

Антропологические материалы к истории освоения Русской равнины в IX–XIII вв.

История освоения Русской равнины в Средневековье неразрывно связана с историей изучения этногенеза русского народа. Антропологические исследования восточных славян берут начало с труда А. П. Богданова «Материалы для антропологии курганного периода Московской губернии» (1867), который заложил отечественную традицию активного использования краниологических данных в этногенетическом анализе.

Если говорить о ключевых работах антропологов, посвященных этой проблеме, то в числе первых необходимо назвать труды В. В. Бунака. В 1932 г. он представил результаты выборочного изучения курганных антропологических материалов с территории нижнего течения Десны, Подольского и Коломенского уездов Московской губернии, а также Бельского и Дорогобужского уездов Смоленской губернии (Bunak, 1932). В. В. Бунак первым отметил географическую разницу в формировании антропологических вариантов населения Русской равнины. Он предположил влияние средиземноморского типа на юго-западное население, выделил общность характеристик северо-западных групп и населения из нижнего бассейна Десны, а также отметил влияние сублапоноидного антропологического типа на некоторые восточные группы населения Русской равнины.

В дальнейшем Т. А. Трофимовой (1946) оценка антропологических вариантов была детализирована уже не на выборочном, а на обширном материале, который включал краниологический анализ около 800 черепов. Т. А. Трофимова выделила в составе восточных славян две группы: европеоидную и уралолапоноидную с последующим разделением их на несколько подвариантов. В целом были выявлены аналогии для населения Новгородской земли с соседними финно-угорскими, прибалтийскими и скандинавскими группами. В зоне междуречья Днепра и Волги население обнаруживало сходство финнов Поволжья и средневекового населения Золотой Орды. Население из курганных групп Московской губернии демонстрировало некоторое сходство с финно-угорским населением Поволжья и Приуралья. Выделенные исследователем особенности географического разнообразия краниологических вариантов привели автора к важному для изучения генезиса древнерусского населения выводу о влиянии на формирование народа двух антропологических типов: субуральского и уральского, причем это влияние, по мнению Т. А. Трофимовой, восходит к ранним эпохам древнейших цивилизаций региона.

В целом же и В. В. Бунак, и Т. А. Трофимова обратили внимание на очевидную антропологическую неоднородность восточных славян, хотя по-разному истолковывали причины этого явления. Т. А. Трофимова придерживалась гипотезы автохтонного развития восточных славян, а В. В. Бунак предполагал, что в начале II тысячелетия н.э. на территорию Русской равнины проникают разные этнические группы из Западной Европы и, осваивая территорию, смешиваются с местными группами лесной полосы.

Позднее другие исследователи, дополняя и вводя в научный оборот новые материалы, придерживались либо гипотезы В. В. Бунака, как Н. Н. Чебоксаров (1947) и В. В. Седов (1952), либо отстаивали автохтонную гипотезу этногенеза восточных славян, как Г. Ф. Дебец (1948).

Обратимся к некоторым результатам исследований В. В. Седова (1979), который опирался не только на разработанные им антропологические материалы, но и как профессиональный археолог привлекал данные по материальной культуре в хронологическом и географическом контекстах. Он первым при рассмотрении этого вопроса представил детальный картографический анализ распределения антропо-

логических вариантов славян на западе и востоке Европы с учетом комбинации двух краниологических признаков – черепного указателя и скулового диаметра. Всего было рассмотрено девять антропологических вариантов, которые делились на три условных кластера: долихо-, мезо- и суббрахикранные типы; для каждого кластера соответственно рассматривались по три подварианта с узким, средним и широким лицом.

Отметим еще одну особенность этого анализа: исследователь применил не сборные краниологические серии, как это традиционно практикуют антропологи, стремясь к увеличению численности материала. Серии черепов были составлены по отдельным археологическим памятникам (могильникам), исследованным в городах или близ крупных поселений. В целом краниологические материалы датируются временем от X до XIV столетия. Исключение представляют серии черепов из славяно-аварских могильников Подунавья, относящихся к более раннему периоду – VI–VIII вв. Всего в этот анализ вошло 117 групп (Седов, 1979).

В результате проведенного картографического анализа, во-первых, со всей очевидностью выявилась пестрота антропологического типа средневековых славян Европы. Во-вторых, при детализации аналогий краниологических типов выявлялся очевидный процесс взаимодействия (метисации) славян с соседними группами европейского населения. И наконец, не менее важным выводом этого исследования следует считать выявление разновекторных миграций самих славянских племен. Как отмечает исследователь, столь сложная картина восприятия географического распределения антропологических признаков отчетливо показала, что, опираясь исключительно на антропологические материалы, разобраться и объективно интерпретировать исторические события освоения Восточно-Европейской равнины не представляется возможным (Седов, 1979). Безусловно, изучать эту проблему необходимо комплексно, опираясь на данные различных наук и прежде всего археологии.

Анализируя антропологическое разнообразие средневековых славян, В. В. Седов (1999) обращается к результатам картографирования археологических находок из Средней и Южной Европы. В результате достаточно аргументированно приходит к заключению, что в VII–X вв. имели место многократные оттоки славянского населения из дунайского региона. Продвигаясь в восточных направлениях, эти группы оседали в различных областях Восточно-Европейской равнины, ранее освоенных славянами. Разнотипность находок (украшения, культовые языческие и христианские предметы, гончарная керамика, предметы конского снаряжения) и их рассеянность на обширной территории указывают на неоднократность миграций из разных регионов Подунавья. По мнению исследователя, такие процессы имели место на протяжении двух–трех столетий.

Обращаясь к проблеме освоения лесной полосы на севере равнины, В. В. Седов (1999а, с. 84) опровергает представление о сравнительно позднем появлении славян на этой территории. По мнению исследователя, в конце IV–V в. в северно-русских землях отмечаются коренные культурные трансформации, которые для археолога реконструируются по серии предметов провинциально-римского происхождения. В ходе анализа он выделяет более 100 археологических памятников с находками конского снаряжения, оружия, украшений, которые имели широкое хождение в ареале Средней Европы, прежде всего пшеворской и вельбарской археологических культур. В. В. Седов приводит доказательства проникновения этих вещей в регионы Восточной Европы не в результате торговых операций, а вследствие миграционных процессов в период IV – начала V в. Более того, он одним из первых, детально обсуждая причины миграции, связывает передвижения населения с глобальными климатическими изменениями в Европе того периода.

Обратим внимание, что обсуждая последствия такого миграционного исхода, В. В. Седов подчеркивает, что предметы провинциально-римского происхождения не могут быть этническими маркерами. Безусловно, среди мигрантов при доминировании славянского этнического компонента были и балты (как западные, так и предки летто-литовцев), и германцы, проживавшие в регионах Средней Европы.

Обсуждая важность миграционных процессов для генезиса древнерусской общности, В. В. Седов во многих публикациях приводит аргументацию существования аборигенного населения на заселяемых мигрантами территориях, однако подчеркивает, что детали взаимодействия пришлого населения с местными племенами трудно поддаются изучению.

Полученная В. В. Седовым на основании комплексного археологического и антропологического анализа картина выявила сложную и неоднозначную карту распределения антропологических вариантов и рассеянность разнотипных, серийных археологических находок как следствие очевидной многоплановой и долговременной истории освоения равнины племенами средневековых славян. Она отражает последствия как взаимодействия славян с различными группами населения, проживавшими по соседству, так и разнообразные миграционные процессы самих славянских племен на территории Европы. Если говорить о миграциях, то намечаются всевозможные по комбинации вариантов тенденции в заселении равнины. Но что очень важно для характеристики этих передвижений, большей частью перемещения были множественными, кратковременными и на сравнительно небольшие дистанции. Вычленяются два важных географических

вектора исхода славянских племен с запада Европы: более ранний северный (среднеевропейский) вектор и более поздний – южный. Подчеркнем, что миграционные перемещения продолжались на территории Русской равнины на протяжении нескольких столетий и в каждый из периодов, которые улавливаются в той или иной мере по археологическим данным, они происходили с разной интенсивностью и разновекторностью.

В 1973 г. вышла в свет монография Т. И. Алексеевой, в которой подводится итог предшествующих антропологических исследований и на значительно более представительных, чем ранее, антропологических материалах рассматриваются вопросы этногенеза восточных славян (Алексеева, 1973). До сих пор эта работа является наиболее полной сводкой краниологических данных по восточным, западным и южным славянам. Подобно своим предшественникам и в соответствии с традициями антропологической науки, Т. И. Алексеева выделила среди восточных славян несколько антропологических типов на основе черепного указателя, скуловой ширины и угла выступания носа. Первые два признака определяют статистически достоверные различия между средневековыми восточнославянскими группами.

По углу выступания носа заметных различий не отмечается, однако в распределении этого признака просматривается определенная географическая закономерность: величина его убывает с запада на восток. Это свидетельствует в пользу незначительной монголоидной примеси, идущей с востока.

В целом в средневековом восточнославянском населении выделяются два компонента признаков: с ослабленным углом выступания носа связывается тенденция мезокефалии, меньшие размеры продольного и поперечного диаметров черепа, более узкое лицо, больший зигомаксилярный угол горизонтальной профилировки, более широкий нос с менее выступающим переносьем. С сильным выступанием носа связываются меньший черепной указатель, более крупные размеры мозгового отдела черепа, более широкое лицо, меньший зигомаксилярный угол горизонтальной профилировки, более узкий нос с высоким переносьем. Процентное соотношение этих комбинаций меняется в зависимости от географической локализации восточнославянских групп: по направлению к востоку увеличивается процент первой комбинации, по направлению к западу – второй.

Таким образом, благодаря анализу средневековых краниологических источников Т. И. Алексеевой удалось наметить различное по степени влияние генетически разнородных элементов на однородную антропологическую основу. Опираясь на данные более чем 1,5 тысяч черепов, исследователь приходит к выводу, что географическая изменчивость краниологических признаков выявляет значительно большую связь их с этносом, нежели с территорией, что свидетельствует об исторической обособленности отдельных этнических групп. Исключение составляет население Поднепровья и Волго-Окского бассейна.

Нетрудно заметить, что, несмотря на отсутствие полной идентичности в классификационных схемах Т. А. Трофимовой, В. В. Бунака, В. В. Седова и Т. И. Алексеевой, все эти авторы отметили (каждый в разной степени) антропологическую неоднородность средневековых восточных славян. Однако комплексный анализ археологических и антропологических источников, так же как и анализ внутригрупповых связей краниологических признаков с учетом географии, произведенный соответственно В. В. Седовым и Т. И. Алексеевой на столь значительных по объему антропологическом и археологическом материалах, позволили выявить причины этой неоднородности.

Данные языкознания и географического анализа топонимики, к которым неоднократно обращался В. В. Седов, расширяя число источников для освещения проблемы происхождения и древнейшей истории славян, не дали большей детализации, чем намечается им по данным археологии (Седов, 1979). Наиболее простая и в то же время исчерпывающая периодизация эволюции языка праславян, предложенная Ф. П. Филиным, согласуется более или менее по В. В. Седову с ранним периодом миграций с Запада. Средний этап развития праславянского языка по Ф. П. Филину датируется временем от конца I тысячелетия до н. э. до III–V вв. н. э., когда происходят серьезные изменения в фонетике языка славян, эволюционирует его грамматический строй, получает развитие диалектная дифференциация, что, возможно, было обусловлено взаимодействием славян с другими этноязыковыми группами в Европе; а поздний этап эволюции праславянского языка (V–VII вв. н. э.) как раз совпадает с началом широкого расселения славян.

Расширяя источники для анализа проблемы краниологического разнообразия славян, Т. И. Алексеева обратилась к результатам антропологического изучения современного русского населения Восточной Европы и главным образом к материалам так называемой Русской экспедиции (Происхождение…, 1965). В. В. Бунак в 60-е годы прошлого столетия сумел организовать беспрецедентную по масштабам антропологическую экспедицию, целью которой было изучить основные антропологические показатели популяций русского народа на европейской территории РФ в местах его исторического расселения. Полевые работы проводились под руководством Т. И. Алексеевой.

До сих пор не удалось повторить столь масштабного исследования русского народа, где географический метод сыграл ведущую роль для выделения территориальных различий внутри одного народа.

Русская антропологическая экспедиция имела целью получить характеристику основных антропологических элементов, вошедших в состав русского народа, а также изучить пути его формирования, поэтому исследования проводились в зоне расселения предков русского народа. В исследование были включены: центральная часть Восточно-Европейской равнины между Верхней Волгой и Окой (Ростово-Суздальская Русь), территории Московского государства, с которым в XV в. слились Великие княжества Рязанское, Смоленское, Тверское, а также область Великого Новгорода и Пскова с отдельными поселениями по Северной Двине, Вятке и Каме (Происхождение…, 1965). Маршруты экспедиции разрабатывались согласно колонизационным потокам восточнославянских племен Средневековья (вятичей, кривичей, северян и словен новгородских). В течение пяти лет (1955–1959 гг.) было обследовано 17 000 человек обоего пола. В результате в русском населении выделено 12 областных антропологических типов. Из них наиболее характерны четыре: ильменско-белозерский, волго-вятский, дон-сурский и верхнеокский. Анализируя географическую изменчивость, В. В. Бунак предположил, что она выявляется вследствие сохранения компонентов балтийского, уральского и понтийского антропологических типов, которые в ходе генезиса русского народа стали составной частью основного славянского субстрата. Этот тезис подтверждается еще и тем, что ни одна из русских групп не демонстрирует полностью комплекс особенностей, характерный для того или иного балтийского, уральского или понтийского антропологических типов. Более того, в основе русских антропологических вариантов лежит один общий антропологический субстрат, вероятно, очень древний, восходящий к коренному населению неолитического или даже мезолитического времени. Исходный общий тип был назван «древним восточноевропейским». Сопоставление антропологических характеристик русских и нерусских групп, проживающих на одной территории, выявило наличие древнего восточноевропейского субстрата и в нерусских группах, что, на взгляд исследователей, подтверждало заявленную исключительную древность выявленного типа. Таким образом, впервые с учетом данных антропологии был обоснованно выделен общий для русского народа субстратный антропологический тип (Происхождение…, 1965, с. 272).

Т. А. Алексеева, опираясь на эти результаты, полученные исключительно по материалам изучения современного населения выделенного географического региона, дополнительно по данным краниологии оценила значительное антропологическое сходство средневекового населения, обитавшего в бассейнах Оки, Днепра, Поволжья и северо-западных земель равнины. Однако, несмотря на заметную однородность физического облика восточных славян, подчеркнула различия между отдельными группами, которые подтверждались при статистическом анализе материала. Выделялось долихокранное узколицее население московских земель, долихокранное со средней шириной лица население тверских и смоленских земель, суббрахикранное со средней шириной лица население новгородских земель. К последним более или менее тяготело население Ростово-Суздальской земли. В результате проведенных сопоставлений автор пришла к выводам о совпадении краниологических морфологических комплексов, т. е. существованию единого субстрата, который мог образоваться на протяжении II тысячелетия н. э. Однако детализация процесса требовала расширения объема материала и изучения сопредельных территорий. Особенно необходимо это для северо-восточных и юго-западных территорий равнины.

Параллельно с работой Русской антропологической экспедиции на северных территориях расселения русского народа работала экспедиция кафедры этнографии МГУ под руководством М. В. Витова, маршрут которой разрабатывался в соответствии с колонизационными потоками из Новгородских и Ростово-Суздальских земель. В течение нескольких полевых сезонов обследовано 8000 человек мужского пола преимущественно русского населения. Кроме того, изучалось расселенное на контактных с русскими территориях финно-угорское население (Витов, 1964). Позднее эти исследования были дополнены исчерпывающими археологическими и палеоантропологическими изысканиями (Макаров, 1990, 1997; Алексеева и др., 1993). На территории современной Украины успешно работала многолетняя Украинская антропологическая экспедиция (Дяченко, 1965). Были собраны многочисленные данные по антропологии белорусов (Бунак, 1956; Денисова, 1958; Дяченко, 1960, 1965).

Десятилетием позднее начались планомерные исследования белорусского народа, итоги которого были сведены в монографиях И. И. Саливон, Л. И. Тегако, А. И. Микулича (1976) и А. И. Микулича (1989). Таким образом, изучение современного и ископаемого восточнославянского населения представлено многими тысячами исследованных черепов, что позволяет не сомневаться в объективности выявленных закономерностей.

Много лет спустя продолжилась разработка антропологических материалов в едином обобщенном анализе с применением методов многомерной статистики. В. Е. Дерябиным (2000) были представлены результаты канонического анализа биологической близости различных популяций русских и их близлежащих соседей на Восточно-Европейской равнине.

Первый и наиболее важный вывод заключается в признании значительного биологического единства русских по всей европейской России. Справедливости ради отметим, что полученная картина не

обнаруживает абсолютного единства. Изученные популяции, несомненно, демонстрируют межгрупповую изменчивость. Однако те группы русских, которые географически близки друг к другу, чаще всего близки и биологически. Иными словами, для европейских русских вычленяется некоторая структура, которая носит очевидный географический характер.

В данном вопросе уместно применить еще один источник – пофамильный картографический анализ русских фамилий, который улавливает, в первую очередь, внутриэтнические процессы. Такая попытка оценить массовую выборку современных русских фамилий на территории России в историко-географическом аспекте была проведена в середине 80-х (Бужилова, 1999). Безусловно, существуют ограничения метода. Во-первых, фамилия социальна, т. е. возникает в определенных социальных слоях. Во-вторых, фамилия как исторический факт появляется раньше в районах экономически наиболее развитых или тесно связанных с теми странами, где установилась прежде. В-третьих, становление фамилий происходит дифференцированно по социальным слоям и неравномерно из-за хозяйственно-экономического уровня отдельных районов. И наконец, процесс «офамиливания» требует времени. В России становление фамилий происходило на протяжении нескольких столетий (Никонов, 1988).

Однако очевидная доступность сбора материала, как и возможность тотального учета фамилий в пределах популяций на обширной территории делает этот источник исключительным для популяционного уровня исследований с применением современных многомерных статистических и географических методов расчета данных.

Кроме того, материал в виде посемейных списков из домовых книг сельсоветов собирался по маршруту Русской антропологической экспедиции, возглавленной В. В. Бунаком в 1955–1959 гг., что позволило напрямую сопоставлять данные по антропологии и ономастике. По материалам списков, охватывающих 17 997 человек, было выявлено 1 184 фамилии. Зафиксированы: 1) редкие фамилии, т. е. фамилии, встречающиеся только в одной популяции – их было зафиксировано 1041, что составило 87,9 % от общего числа выделенных фамилий; 2) распространенные фамилии, т. е. фамилии, встречающиеся одновременно в нескольких популяциях – их было зафиксировано 143, что составило 12,1 % от общего числа. В этом же списке отдельной группой были выделены фамилии, встречающиеся более чем в двух популяциях одновременно – их было отмечено 75, что составило 6,4% от общего количества.

Устойчивость ильменско-белозерского антропологического типа у русского народа, выделенного в свое время В. В. Бунаком, подчеркивалась географической локализацией редких фамилий XV в. (Гущин) и XVI в. (Капустин, Кокотов, Кулаков, Пикалев, Хорев, Чадов). По В. В. Бунаку, этот тип выделяется за счет относительной более высокой доли светлых глаз (около 50 % на фоне размаха 45–56,5 %) и волос, которая не превышает 46%, в то время как в других западных районах эта величина составляет всего 29 %. Рост бороды дает наибольший показатель в ильменско-белозерской зоне, также выделяя этот антропологический тип среди прочих. Сравнительное исследование русского населения и соседних этнических групп, проведенное Т. И. Алексеевой (Происхождение…, 1965), позволило выявить, что русские ильменско-белозерской зоны по ряду признаков занимают промежуточное положение между латышами и эстонцами, с одной стороны, и вепсами – с другой.

Редкие фамилии XVI в. – Аненков, Богатырев, Болотов, Кудеяров – отражают ареал существования так называемого дон-сурского типа, который, по данным В. В. Бунака, по комплексу признаков не имеет аналогий в других группах. Сочетание мезокефалии, малых размеров лицевых диаметров, относительной узколицести, толстогубости, сравнительно сильного роста бороды не встречается за пределами Дон-Сурской зоны.

Верхнеокский антропологический тип объединяют редкие фамилии XVI в. (Жилин, Ерохин, Малахов, Пашков, Терехов) и XVII в. (Байбаков, Левушин, Лужецкий, Малкин, Половинкин). В. В. Бунак отмечает в первую очередь отличия от остальных типов на этой территории, представленные меньшей высотой лица, меньшей длиной тела, более темной радужиной, менее сильным ростом бороды и горизонтальной профилировкой лица. Для этого типа характерны географически приуроченные локальные подварианты, что отражает дискретность верхнееокского антропологического типа, возможно, вследствие влияния смежных антропологических комплексов.

Графическое отражение влияния смежных антропологических комплексов на восточноевропейский антропологический тип было представлено Т. И. Алексеевой по результатам работы Русской антропологической экспедиции (Происхождение..., 1965). Напомним, что на исконной территории расселения русского народа распространен восточноевропейский комплекс признаков, тогда как в зонах контакта с другими народами отмечается более или менее заметное влияние друг на друга соседних антропологических комплексов.

Результаты этого картирования были совмещены с результатами размещения частот встречаемости 75-и распространенных фамилий в исследованных популяциях (Бужилова, 1999). Высокие показатели частот русских фамилий встречаются на территории влияния прибалтийского комплекса на восточноевропейский тип и на северо-западной территории восточноевропейского антропологического типа. По сути, это территория древней Нов-

городчины, своеобразие которой отмечается еще и устойчивой комбинацией географической приуроченности распространенных фамилий: Васильев, Иванов, Кузнецов, Морозов, Петров и Смирнов. Необходимо отметить зоны компактно размещенных высоких частот разнообразия фамилий в южной лесостепной зоне по берегам Дона и на севере равнины в области р. Вятки.

Помимо географического анализа частот распространенных фамилий интересным источником для реконструкции миграционных процессов стал картографический анализ редких фамилий с известной датой и местом их первой письменной регистрации, а затем последующей локализацией в наши дни сугубо в одном регионе. В целом отмечаются следующие направления миграций: с запада на восток (из белозерского региона к вятским землям) и более продвинутый восточный вектор – с берегов Ветлуги к Вятке; с запада на юг (из новгородских земель к смоленским), из центральных владимирских, тверских, московских областей – в южные лесостепные районы. Не менее значителен поток из калужских земель к новгородским, из приокских к верхневолжским.

Трудно предположить, насколько глубоко во времени затронуты эти миграционные процессы, но при детальном рассмотрении схемы они разбиваются на две группы: 1) фамилии, задокументированные в XV–XVI вв.; 2) фамилии, задокументированные в XVI–XVII вв. В целом фамилии из первой группы, т.е. более ранние, располагаются на западе исследованной территории, а более поздние – на востоке. Граница, отделяющая эти две группы, примерно совпадает с границей Русского государства IX–X вв. (Бужилова, 1999).

Не исключено, что редкие фамилии отражают исходные районы миграционных потоков, направления миграционных потоков, время миграций. Тогда наиболее ранние миграции по результатам пофамильного анализа происходят на территории Русского государства в границах IX в. наиболее поздние относятся к периоду XIV–XVI вв. Если говорить об интенсивности миграционных потоков, то западная территория России подвергается постоянному воздействию миграций как в ранние периоды развития государства, так и в более поздние. К такому же выводу приводит нас и анализ распространенных фамилий, что, несомненно, подтверждает результаты антропологического исследования, проведенного по материалам ископаемых и современных групп. По-видимому, формирование антропологических особенностей происходило на всём протяжении генезиса русского народа. Локальная изменчивость формировалась под воздействием различных смежных антропологических типов, а усредненные показатели, дающие основной субстрат комплекса, – под воздействием внутриэтнических миграций на базе древнего восточноевропейского субстрата.

В наше время существует возможность реконструкции процессов этногенеза методами молекулярной генетики. Структура генофонда была изучена Е. В. Балановской и О. П. Балановским как на уровне Европы и Евразии в целом, так и на более низких иерархических уровнях по данным мтДНК и Y-хромосоме (Балановская, Балановский, 2007). Анализ по двум генетическим системам обрисовал в целом известную по данным Т. И. Алексеевой (1973) картину: восточнославянские популяции оказываются сходными между собой и с западнославянскими популяциями, при этом прослеживается своеобразие северных русских популяций (Balanovsky et al., 2008).

Различия северных и южных русских проявляются и при комплексном анализе карт главных компонент изменчивости различных признаков: гаплогрупп Y-хромосомы и классических маркеров (Balanovsky et al., 2008), фамилий (Балановский и др., 2001) и антропологических признаков (Алексеева, 1973; Балановская, Балановский, 2007). По мнению авторов этого комплексного исследования, взаимное подтверждение результатов по четырем системам признаков (принцип полисистемного подхода) не оставляет сомнений в реальности обнаруженной закономерности широтной изменчивости русского генофонда.

Возвращаясь к тезису о единстве антропологического субстрата русского народа, необходимо вспомнить о работе В. П. Алексеева (1969), исследовавшего поздние краниологические материалы Восточной Европы. Он приводит исчерпывающую краниологическую характеристику: русские серии в целом характеризуются среднедлинной и среднешироко́й, невысокой черепной коробкой, среднешироким и средненаклонным лбом, довольно узким и средневысоким лицом. Орбиты по ширине и высоте средние, средними же величинами характеризуются размеры носа. Носовые кости по отношению к профилю лица выступают в целом значительно, как и переносье. По вертикальному профилю лица русские занимают положение промежуточное между ортогнатным и мезогнатным вариантами, в горизонтальной плоскости профилировка резкая, величины ее минимальны даже в пределах вариаций европеоидных серий (Алексеев, 1969).

В. П. Алексеев подчеркнул как особо важное обстоятельство исключительное морфологическое сходство всех краниологических серий современного русского народа. Все локальные варианты, отклоняющиеся от основного антропологического типа очень незначительно, проявляются в пределах единого гомогенного типа. Единственное более или менее заметное отличие от этого типа – уменьшение выступания носа в архангельской, олонецкой, вологодской, витебской и смоленской сериях. При этом горизонтальная профилировка остается такой же, как и в остальных краниологических сериях русского народа.

Таким образом, тот восточноевропейский элемент, который был выделен В. В. Бунаком как основная антропологическая характеристика русского народа, отчетливо проявился и на краниологических материалах населения XVII–XVIII вв. И как видим, в отличие от материалов более ранних периодов демонстрирует относительную монолитность антропологических признаков. Что же явилось стартовым механизмом формирования единства русского народа в IX–XIII вв.? Как справедливо отметил В. В. Седов (1999), огромная роль в становлении древнерусской народности принадлежит многочисленным городам и их обитателям, т. е. городскому сословию. Начало процесса градообразования на Восточно-Европейской равнине определяется IX–X вв. Торгово-ремесленные поселения – будущие города – были заселены местными жителями из сельских общин, однако в силу специфики занятий нередко на поселениях проживали представители других племен равнины. Как указывает в своих исследованиях В. В. Седов (1999), почти с момента основания такие поселения оказывались пестрыми в этническом отношении. Подобное население, не связанное с местными племенными традициями или слабо связанное с ними, могло стать мощной движущей силой в создании и распространении единой материальной и духовной культуры на всей территории Руси. Именно в таком формате разноэтничного заселения срабатывает механизм нивелировки племенного разнообразия, формируется механизм интеграции восточнославянской этноязыковой общности. По мнению В. В. Седова (1999), несомненным катализатором единства восточного славянства была торговля, объединившая крупные протогородские и городские центры в разных географических областях Руси. Большое значение имело распространение среди славянского и неславянского населения Восточной Европы единой христианской религии. И это прежде всего происходило в городских центрах. Кроме того, города стали центрами просвещения и грамотности, и религиозные институты играли тут важнейшую роль. Определяющим в становлении древнерусской народности было также создание и упрочение единого государства. Государственная власть, несомненно, стала мощной консолидирующей силой в единении разноплеменного славянства. Таким образом, единство территории, материальной и духовной культуры и единство языка – всё это как наиболее существенные характеристики этноса могли сформироваться благодаря градообразованию и распространению городского сословия на равнине. Есть ли возможность уловить методами антропологии процесс консолидации разноплеменных общностей на Русской равнине?

Вернемся к краниологическому исследованию, проведенному Т. И. Алексеевой (1973), позднее дополненному с учетом оценки адаптивной изменчивости сельских и городских групп начала II тысячелетия н. э. (Алексеева, Бужилова, 1996). На примере подробного сопоставления городских и сельских групп Т. И. Алексеевой удалось показать закономерное отличие в антропологической характеристике городского населения от синхронного сельского, относящегося к той же локальной группе, что и городское. Более того, независимо от месторасположения или племенной принадлежности (любой критерий в этом контексте уместен) все городские жители по сравнению с разными сельскими группами демонстрировали увеличение черепного указателя и скуловой ширины. Поскольку в сравнительном анализе использовались только синхронные группы, был устранен эффект неизбежных эпохальных изменений, к тому же эпохальная изменчивость приводит к увеличению черепного указателя при уменьшении скуловой ширины, т. е. Т. И. Алексеевой была зафиксирована не эпохальная изменчивость краниологических признаков. Для объяснения обнаруженного феномена было рассмотрено три гипотезы: 1) наличие у городского населения исходно другого генетического субстрата по сравнению с сельскими группами; 2) процесс консолидации разноэтничных групп на территории городов в связи с интенсификацией торговых связей и притока военных иноэтничных наемников и 3) влияние факторов урбанизации на изменение физического облика в условиях города (Алексеева, 1973). И первая и вторая гипотезы маловероятны ввиду того, что целенаправленное заселение единым в генетическом плане родственным населением всех городов, так же как и случайность выдвинутых причин разнообразной метисации не могли привести к единообразной для всех городов антропологической характеристике. Однако незначительная метисация и направленный отбор в результате негативных факторов урбанизации могли повлиять на формирование единообразия в городской среде на фоне единого восточноевропейского субстрата средневекового населения, нивелируя географическое разнообразие. Влияние факторов урбанизации отчетливо фиксируется по данным палеопатологического и демографического анализов (Алексеева, Бужилова, 1996).

Рассмотренные выше результаты антропологических исследований с учетом данных археологии, истории, отчасти языкознания и, в частности, ономастики позволяют утверждать, что в X–XII вв. в пределах территории Древнерусского государства на базе единого древнейшего антропологического субстрата протекал довольно активный процесс этноязыковой интеграции разноплеменного славянского населения, славянизированных финских и летто-литовских племен. В результате сформировался единый этнос – русский народ.

В заключение подчеркнем, что каждой из наук, занимающихся проблемами этногенеза, свойственны собственные методы исследования и исследователям хорошо известны ограничения источников и методов для объективного решения этой научной задачи. Нам представляется, и в этом мы, к счастью, не оригинальны, что решение вопросов славянского этногенеза может быть успешно выполнено при условии междисциплинарного подхода и обоснованной критики источников.

Источники и литература

Алексеев В. П., 1969. Происхождение народов Восточной Европы (краниологическое исследование). М.

Алексеева Т. И., 1973. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М.

Алексеева Т. И., Макаров Н. А., Балуева Т. С., Сегеда С. П., Федосова В. Н., Козловская М. В., 1973. Ранние этапы освоения Русского Севера: история, антропология, экология // Экологические проблемы в исследованиях средневекового населения Восточной Европы. М.

Алексеева Т. И., Бужилова А. П., 1996. Население древнерусских городов по данным антропологии: происхождение, палеодемография, палеоэкология // Российская археология. № 3.

Балановская Е. В., Балановский О. П., 2007. Русский генофонд на Русской равнине. М.

Балановский О. П., Бужилова А. П., Балановская Е. В., 2001. Русский генофонд. Геногеография фамилий // Генетика. Том 37. № 7.

Богданов А. П., 1867. Материалы для антропологии курганного периода в Московской губернии. М. (Известия Общества любителей естествознания, состоящего при Императорском Московском университете. Антропологические материалы; Ч. 1. Т. 4, вып. 1).

Бужилова А. П., 1999. География русских фамилий // Восточные славяне. Антропология и этническая история / под ред. Т. И. Алексеевой. М.

Бунак В. В., 1956. Антропологические исследования в южной Белоруссии // Труды Института этнографии АН СССР. Нов. сер. Т. XXXIII.

Витов М. В., 1964. Антропологические данные как источник по истории колонизации Русского Севера // История СССР. № 6.

Дебец Г. Ф., 1948. Палеоантропология СССР. (Труды Института этнографии АН СССР. Новая серия).

Денисова Р. Я., 1958. К вопросу об антропологическом составе восточных латышей и восточных литовцев // Известия АН ЛатвССР. № 2.

Дерябин В. Е., 2000. Современные восточнославянские народы // Восточные славяне. Антропология и этническая история / под ред. Т. И. Алексеевой. 2-е изд., доп. М.

Дяченко В. Д., 1960. Наслідки роботи Українськоі антропологічноі экспедиціі 1956 року // Мат-ли з антропологіі Украіни. Вып. 1. Київ.

Дяченко В. Д., 1965. Антропологічний склад українського народу. Київ.

Макаров Н. А., 1990. Население Русского Севера в XI–XIII вв. По материалам могильников восточного Прионежья. М.

Макаров Н. А., 1997. Колонизация северных окраин Древней Руси в XI–XIII вв. По материалам археологических памятников на волоках Белозерья и Поонежья. М.

Микулич А. И., 1989. Геногеография сельского населения Белоруссии. Минск.

Никонов В. А., 1988. География фамилий. М.

Происхождение и этническая история русского народа, 1965 / под ред. В. В. Бунака. (Труды Института этнографии АН СССР. Новая серия).

Саливон И. И., Тегако Л. И., Микулич А. И., 1976. Очерки по антропологии Белоруссии. Минск.

Седов В. В. Антропологические типы населения северо-западных земель Великого Новгорода // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. 1952. № 15.

Седов В.В., 1979. Происхождение и ранняя история славян. М.

Седов В. В., 1999 Древнерусская народность. М.

Седов В. В., 1999а. У истоков восточнославянской государственности. М.

Трофимова Т. А., 1946. Кривичи, вятичи и славянские племена Поднепровья по данным антропологии // Советская этнография. № 1.

Чебоксаров Н. Н., 1947. Ильменские поозеры. (Труды Института этнографии АН СССР. Новая серия).

Филин Ф. П., 1962. Образование языка восточных славян. М.; Л., С. 99–110.

Balanovsky O., Rootsi S., Pshenichnov A., Kivisild T., Churnosov M., Evseeva I., Pocheshkhova E., Boldyreva M., Yankovsky N., Balanovska E., Villems R., 2008. Two sources of the Russian patrilineal heritage in their Eurasian context // American Journal of Human Genetics. V. 82(1).

Bunak V., 1932. The craniological Types of the East Slavic Kurgans // Anthropologie. Vol. X. Prague.

Summary

A. P. Buzhilova

Anthropological Materials Relating to the History of the Settling of the Russian Plain in the 9th–13th Centuries

The history of the settling of the Russian plain in the medieval period is inseparably linked with that of the study of the ethno-genesis of the Russsian people. The writings of V. V. Bunak, T. A. Trofimova, T. I. Alekseeva and V. V. Sedov should be regarded as key works devoted to this question. The scholars turned their attention to the evident heterogeneity of the Eastern Slavs, although they have interpreted the reasons for this phenomenon in a variety of ways. T. A. Trofimova supported the hypothesis to the effect that the development of the Eastern Slavs had been autochthonous. V. V. Bunak suggested that at the beginning of the II millennium various ethnic groups from Western Europe penetrated into the territory of the Russian plain and, after settling that territory, merged with local population groups of the wooded zone. The multi-disciplinary analysis of archaeological and anthropological sources along with analysis of intra-group links of craniological features, taking into account both geography and chronology, carried out by V. V. Sedov and T. I. Alekseeva using a large range of anthropological and archaeological materials, made it possible to draw up detailed diagrams of migration processes within the plain and to explain the variations of craniological types found there. In addition, the East European element, which was singled out by V. V. Bunak, while he was studying the modern population as the main anthropological feature of the Russian people, manifests itself clearly only in late craniological materials (17th–18th centuries). So what was the initial mechanism which set in motion the emergence of the unity of the Russian people? In the opinion of V. V. Sedov and based on the results of craniological studies carried out by T. I. Alekseeva, a significant contribution to the formation of the medieval Russian people was made by the numerous towns and their inhabitants, i.e. to the urban class. T. I. Alekseeva succeeded in demonstrating the natural difference between the anthropological description of the urban population and that of the rural population of the same period and belonging to the same local group as the urban population. An insignificant degree of inter-marriage and a targeted selection as a result of the negative factors involved in urbanization could have influenced the trend towards homogeneity in urban environments. The influence of aspects of urbanization is also borne out by palaeo-pathological and demographic analyses.

**А.Л.Александровский, А.Е.Леонтьев,
Н.А.Кренке, А.В.Долгих**

Ранняя история ландшафтов древнерусских городов (становление культурного ландшафта)

Современные археологические раскопки древнерусских городов предполагают не только исследование собственно культурного слоя, но, по возможности, изучение почв, перекрытых культурными слоями, выявление в них признаков, связанных с природными процессами и хозяйственной деятельностью. Привлечение естественнонаучных методов показало, что ниже антропогенных отложений древних городов залегают почвы и различные естественные отложения, представляющие большой интерес для выяснения предыстории изучаемых поселений (Александровский, Кренке, 1993, с. 20–31; Александровский, Александровская, 2007; Долгих, Александровский, 2010, с. 515–526; Александровский, Кренке, Нефедов, 2010, с. 43–61). Оказалось, что эти почвы содержат пахотные горизонты и другие следы деятельности человека накануне и во время становления города. Получаемые результаты позволяют реконструировать процесс превращения природных ландшафтов в городские. Ниже приводятся данные, полученные при исследованиях Старой Ладоги, Новгорода, Рюрикова городища и Ростова.

Старая Ладога, по археологическим данным, является старейшим древнерусским городом. Его начало относится к 50-м гг. VIII в. (Рябинин, Черных, 1988, с. 98, рис. 12). В 2005, 2010 и 2013 гг. в раскопах на Земляном городище Старой Ладоги под культурным слоем общей мощностью 4–5 м повсеместно была обнаружена погребенная почва, сформированная на отложениях Ладожской трансгрессии. Почва темноокрашенная, сильно гумусированная с пахотным горизонтом; глубже, под озерными глинами, лежит нижняя слаборазвитая почва (Александровский, Кренке, Нефедов, 2010, с. 43–61). В раскопе 3 (2005 г.) пахотный горизонт был исследован в северной и западной стенках, в пределах двух разрезов в кв. Д–XV и В–XIX. Здесь он имел мощность от 12 до 15 см и характеризовался ровной нижней границей с резким переходом к подпахотному горизонту (плужная подошва). В раскопе 4 (2010 г.) пахотный горизонт погребенной почвы был прослежен во всех стенках. В юго-восточной части раскопа 5 (2013 г.) найдены борозды от пахотных орудий.

Многие факты свидетельствуют о сложной истории развития почвы в результате деятельности человека на протяжении нескольких веков до начала накопления культурного слоя. Так, в раскопе 4 обнаружены участки с повышенной мощностью пахотного горизонта, что вызвано напахиванием мелкозема почвы. С ними соседствуют участки с эродированным («спаханным») профилем почвы, откуда материал поступал на участки с наросшим профилем. Выявленная пространственная неоднородность пахотного горизонта обусловлена длительной его эксплуатацией.

В кв. И/К–XIV/XV пахотный горизонт перекрывает яму, связанную с ранней постройкой. Рядом, в кв. Е–XV, в стенке раскопа по нижней границе пахотного горизонта видны углубления характерной формы, позволяющие предполагать существование здесь огорода по пашне (рис. 1).

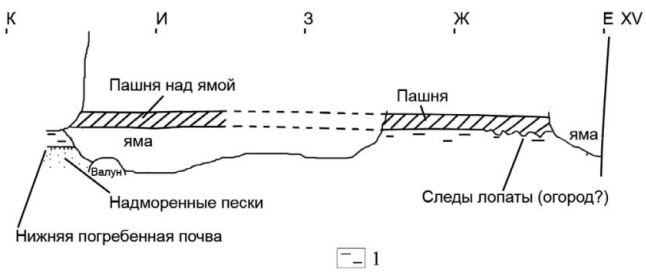


Рис. 1. Старая Ладога.
Условия залегания пахотного горизонта почвы, сформированной на озерных глинах и погребенной под культурным слоем на Земляном городище.
Условные обозначения:
1 – озерные глины Ладожской трансгрессии

Для выяснения времени распашки было проведено радиоуглеродное датирование пахотного горизонта. Особый интерес представляют три даты, полученные по угольками, происхождение которых, очевидно, связано с лесом, ранее существовавшим на месте городища и сведенным под пашню (табл. 1).

Таблица 1

Старая Ладога. Радиоуглеродные даты пахотного горизонта по углю

Образец	Индекс	14С дата, л. н.	Калиброванный возраст, годы н. э., 1σ
Профиль 1, кв. К–XX, верх пашни	Ki–17316	1415±90	539–761
Профиль 1, низ пашни	Ki–17317	1490±140	408–668
Профиль 3, кв. Ж–XV, низ пашни	Ki–17315	1470±120	433–661

Ранее для пахотного горизонта в лаборатории Санкт-Петербургского университета была получена дата 1400±50 л.н. (Лу–5463) (Александровский и др., 2009, с. 682–687). Она имеет сходный калиброванный возраст (540–720 н.э.) и вместе с тремя последними датами образует компактную группу. Учитывая, что две даты из четырех имеют большое среднеквадратичное отклонение и, следовательно, менее надежны, можно полагать, что возраст пахотного горизонта точнее отражают две более молодые даты, указывающие на вторую половину VI–VII в. н. э. Это соответствует палеопочвенным данным о длительной пахоте. Но и эта дата начала распашки может оказаться слишком древней, поэтому она принимается нами как предварительная.

На основании проведенных работ можно выделить следующие стадии формирования отложений и почв:

1. Ладожская трансгрессия. Накопление озерных глин, в верхней части (30 см) гумусированных, богатых фосфором, средний голоцен (суббореал, эпоха бронзы).

2. Формирование профиля высоко плодородной почвы лугово-лесного генезиса, поздний голоцен (первая половина субатлантика, время раннего железного века).

3. Распашка. Почвы были плодородны и, несомненно, распахивались издавна и определенно с VI в. н.э.

4. Образование ямы (постройка), предположительно – VIII в.

5. Новый этап распашки (пахотный горизонт на заполнении ямы), VIII–IX вв.

6. Огород (локально) – следы лопаты (тычки) характерной асимметричной формы (их наклон в одну сторону показывает, с какой стороны производились движения орудия) по нижней границе пахотного горизонта, VIII–IX вв.

7. Начало отложения культурного слоя и погребение почвы, VIII–IX вв.

Новгородское (Рюриково) городище, исторический предшественник Новгорода (Носов, Янин, 2011, с. 11) расположено на правом берегу Волхова, к югу от Великого Новгорода, среди поймы, на останце террасы длиной 650 и шириной 315 м. Раскопками 2010 г. был вскрыт оборонительный ров, вырытый в середине IX в. и окончательно засыпанный в конце XI в. (Носов, Хвощинская, Смирнов, Дорофеева, 2011, с. 79–83). В общей стратиграфии внешний склон рва фиксировался по контакту заполнения с прилегающими горизонтально слоистыми песками аллювиального происхождения. Прослежены слои песка, попавшие в ров на первых этапах его заполнения делювием и залегающие согласно наклону поверхности рва (рис. 2). На этих песках, как на внешнем склоне рва, так, частично, и на его дне, лежит материал переотложенного культурного слоя, также слоистого. С культурным слоем связаны следы металлургического производства, некоторое время существовавшего во рву.

В противоположной, внутренней части рва, на его дне, выявляется слой песка мощностью около 0,5 м, снесенного в ров со стороны городища. Данный песок местами перекрывает тонкий горизонт культурного слоя. На поверхности этого песка сформировалась почва. Она представлена слабогумусированным маломощным горизонтом AY. Отмечаются характерные для почв различия между верхней и нижней ее границами: верхняя – резкая, нижняя – с постепенным переходом к породе. Для формирования подобных слаборазвитых почв необходимо около 50–100 лет.

Следовательно, в процессе заполнения рва был достаточно продолжительный перерыв, в течение которого на его поверхности произрастала растительность (луговая, и/или древесная) под которой формировались почвы. По степени развития профиля почвы, длительность ее формирования и, следовательно, продолжительность существования рва и вообще оборонительных сооружений городища оценивается в 50–100 лет.

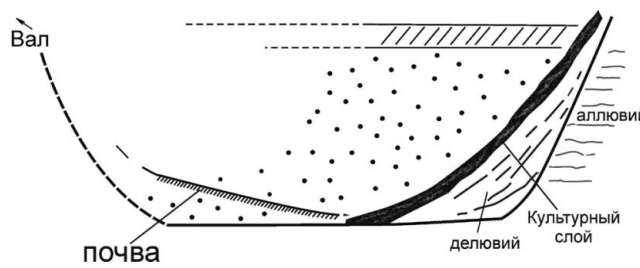


Рис. 2. Рюриково городище. Условия залегания погребенной почвы в заполнении рва

Новгород. В пределах древней части города изучены почвы двух больших раскопов – Троицкого и Десятинного. Почвы Троицкого XI и X раскопов, расположенных в непосредственной близости от центра города, на левом берегу Волхова к югу от стен крепости, были погребены под культурным слоем в X в. По Троицкому XI и X раскопам наиболее ранние дендродаты, показывающие начало застройки, относятся к 930-м гг. (Тарабардина, 2007). Почвы Десятинного раскопа (раскопы 4 и 3), расположенного в западной части древнего города, погребены позже, в конце X – начале XI в. (Олейников, 2009, с. 39, 40).

На всей площади Троицких раскопов под шестиметровым культурным слоем была обнаружена погребенная дерново-подзолистая почва. Она характеризуется относительно развитым гумусовым горизонтом (15 см), ниже которого залегают белесый подзолистый горизонт и бурый оглеенный иллювиальный горизонт. Основное внимание уделялось изучению верхней части профиля этой почвы и выявлению следов распашки.

Впервые пахотный горизонт был обнаружен в раскопе Троицкий X, на удалении в 150–180 м от реки. Ближе к реке, в раскопе Троицкий XI, он отсутствовал (Alexandrovskaya, Alexandrovskiy, Gaidukov, Krenke, 2001). Здесь на всей площади раскопа XI дерново-подзолистая почва (исходно лесная) имела гумусовый горизонт, развитый в большей степени, чем обычно, что обусловлено достаточно длительным ее формированием под вторичным лугом. По степени его развития длительность существования луга, возникшего на месте бывшего леса, оценивается в 50–100 лет; вряд ли больше, так как при более длительном произрастании луговой растительности гумусовый горизонт развивается в большей степени. Например, такие почвы ранее были обнаружены в Москве, в районе Кулижек, на месте лугов, окружавших царские конюшни XV–XVI вв. (Александровский, Бойцов, Кренке, 1997, с. 20–31). Доказательством существования луга на месте раскопа Троицкий XI является хорошо сохранившаяся под культурным слоем дернина, в пределах которой минеральная масса верхней части профиля погребенной почвы была густо переплетена остатками корней луговых трав на глубину 5–8 см. В связи с уникальными особенностями новгородского слоя хорошо сохранились и остатки корней, а также стеблей и листьев трав. Согласно определениям Ю. Е. Алексеева (биологический факультет МГУ), травы принадлежат мезофильным (растущим в условиях нормального увлажнения) луговым злакам Dactulusglomerata (ежа сборная), Helictotricpon (овсец), Cynosuruscristatus (гребенник обыкновенный). В поверхностном горизонте почвы были встречены многочисленные угольки, в основном древесины дуба, меньше было остатков березы, липы и других пород. Эти угли, возможно, имеют отношение к лесу, произраставшему здесь до устройства луга.

Далее от реки, в раскопе Троицкий X, луг сменяется пашней. Борозды имели перекрестное направление (рис. 3). Их ширина составляла до 8 см,

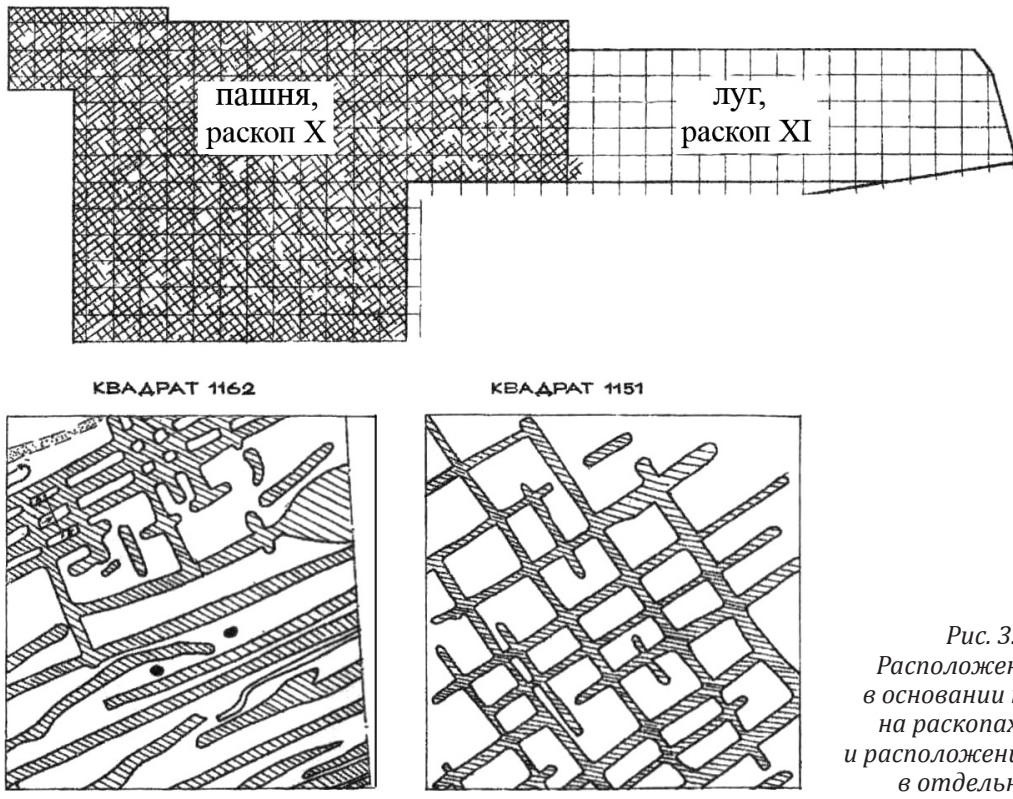


Рис. 3. Новгород. Расположение пашни и луга в основании культурного слоя на раскопах Троицкий X и XI и расположение борозд распашки в отдельных квадратах

глубина – до 4 см. По мнению археологов, они были оставлены узколопастными железными наконечниками сох, характерных для IX–X вв., ширина рабочей части которых составляла 6–8 см (Alexandrovskaya, Alexandrovskiy, Gaidukov, Krenke, 2001). Наложенность борозд друг на друга и перемешанность материала пахотного горизонта свидетельствуют о том, что распашка велась не менее 5 лет. Причем исходно луг был и здесь. Это было видно на краю поля, где под пашней сохранился низ гумусового горизонта, сформировавшегося в течение луговой стадии. Нижняя часть этого горизонта местами видна под пахотным горизонтом на территории раскопа X.

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что до начала застройки Людина конца Новгорода (930-е гг.) здесь в течение 50–100 лет существовал антропогенный луг (табл. 2). Так как застройка здесь шла от реки, то в прибрежной полосе культурный слой появился раньше и перекрыл луг (раскоп XI). На большем расстоянии от реки (более 150 м), в пределах раскопа X, луг был распахан. В дальнейшем, в связи с расширением застройки, пашня всё больше удалялась от реки.

В Десятинном 4 раскопе, расположенном на бóльшем удалении от реки (550 м), под культурным слоем мощностью 2 м также вскрыта дерново-подзолистая погребенная почва лесного генезиса. На последних этапах развития, в первой половине X в., она распахивалась. Пахотный горизонт имеет обычную для Средневековья мощность около 10–12 см. Окраска его светлая, буровато-сероватая, характерная для ранних пашен, образовавшихся до начала накопления культурного слоя. От нижней границы пахотного горизонта протягиваются клиновидные (в верхней части) вертикальные трещины, хорошо прослеживающиеся на фоне белесого подзолистого горизонта (рис. 4). Размытая нижняя граница пахотного горизонта свидетельствует о существовании перерыва между распашкой и началом накопления культурного слоя. Вероятно, на данном месте после распашки в условиях запустения возобновилась естественная растительность (луг или пустырь, заросший кустами или деревьями). Под действием корней, почвенной фауны, других факторов перемешивания и переструктуривания в это время (вторая половина X в.) происходило преобразование нижней границы пашни. В результате этого резкий переход от пахотного горизонта к нижележащему сменился на более постепенный. По степени развития данных процессов длительность запустения можно оценить величиной около 50 лет или несколько больше, но вряд ли она превышала 70 лет. Исследования остаточно-пахотных горизонтов сходных дерново-подзолистых почв, ныне находящихся под лесом, показали, что за 150–200 лет

Таблица 2

Новгород. Этапы развития почв и ландшафтов на месте Троицкого раскопа

Возраст горизонта, этапа	Троицкий X раскоп		Троицкий XI раскоп	
	Культурный слой, горизонт почвы	Этап развития ландшафта	Культурный слой, горизонт почвы	Этап развития ландшафта
930-е гг.	Основание культурного слоя	Начало застройки	Нижняя часть культурного слоя	Застройка
920-е – 930-е гг.	Пахотный горизонт	Пашня	Основание культурного слоя	Начало застройки
Первая половина IX – начало X вв.	Гумусовый горизонт луговой стадии (сохранилась его нижняя часть)	Луг	Гумусовый горизонт луговой стадии и дёрн	Луг
Голоцен	Дерново-подзолистая почва	Лес	Дерново-подзолистая почва	Лес

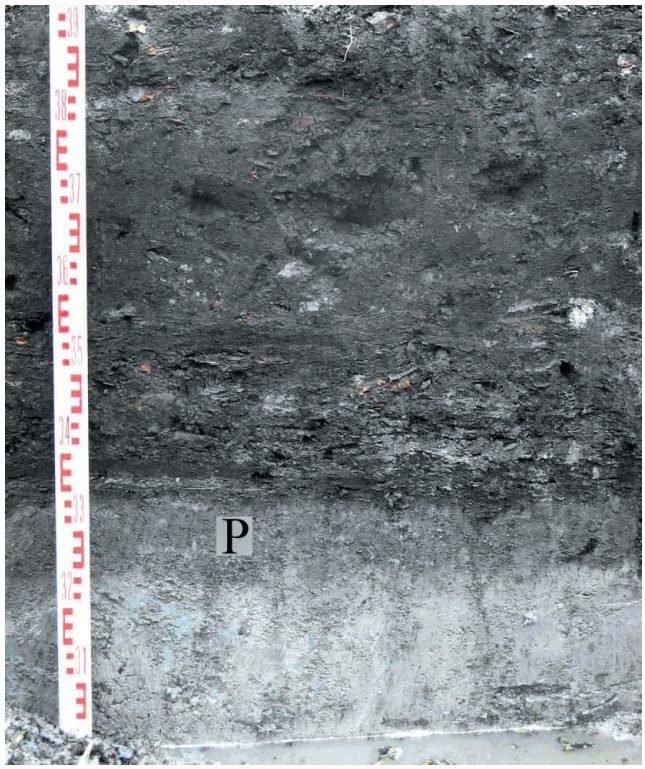


Рис. 4. Новгород. Десятинный раскоп. Пахотный горизонт (P) с «размытой» нижней границей

Таблица 3

Новгород. Этапы развития почв и ландшафтов на месте Десятинного раскопа

Возраст этапа	Слой, признак почвы	Этап развития ландшафта
XIV в.	Культурный слой	Застройка
XIII в.	Почва в слое	Запустение, луговая или древесная растительность
XI–XII вв.	Культурный слой	Застройка
Вторая половина X в.	Размытая подошва пахотного горизонта	Запустение, луг
Первая половина X в.	Пахотный горизонт	Пашня
Голоцен	Дерново-подзолистая почва	Лес

подошва пашни «размывается» значительно сильнее. В отличие от нижней нарушенность верхней границы пашни незначительная.

В нижней части культурного слоя, в 23–47 см выше пахотного горизонта, выделяется погребенная почва XII в. Она образовалась в течение достаточно продолжительного этапа запустения (табл. 3), 50–80 лет, в течение которого ранее отложившийся слой XII в. был трансформирован почвообразовательными процессами.

В *Ростове* погребенные почвы исследованы в раскопах у церкви Григория Богослова в Митрополичьем саду (кремль) и на территории Конюшенного двора. В первом (рис. 5: 1) были проанализированы нижние слои культурных отложений и верхняя часть погребенной почвы. Погребенная почва относится к серым лесным. Ниже верхнего гумусового (гумусо-элювиального) горизонта располагаются второй гумусовый и иллювиальный горизонты. Реликтовый второй гумусовый горизонт имеет темную окраску, залегает на глубине 20–45 см и, по данным радиоуглеродного датирования, относится к среднеголоценовой стадии почвообразования (Александровский, 2011). Следов распашки этой почвы во всех раскопах обнаружено не было. Учитывая возраст ее верхнего гумусового горизонта по радиоуглеродной дате 4010±100 лет (Ki–10517), с ним могут быть связаны находки сет-

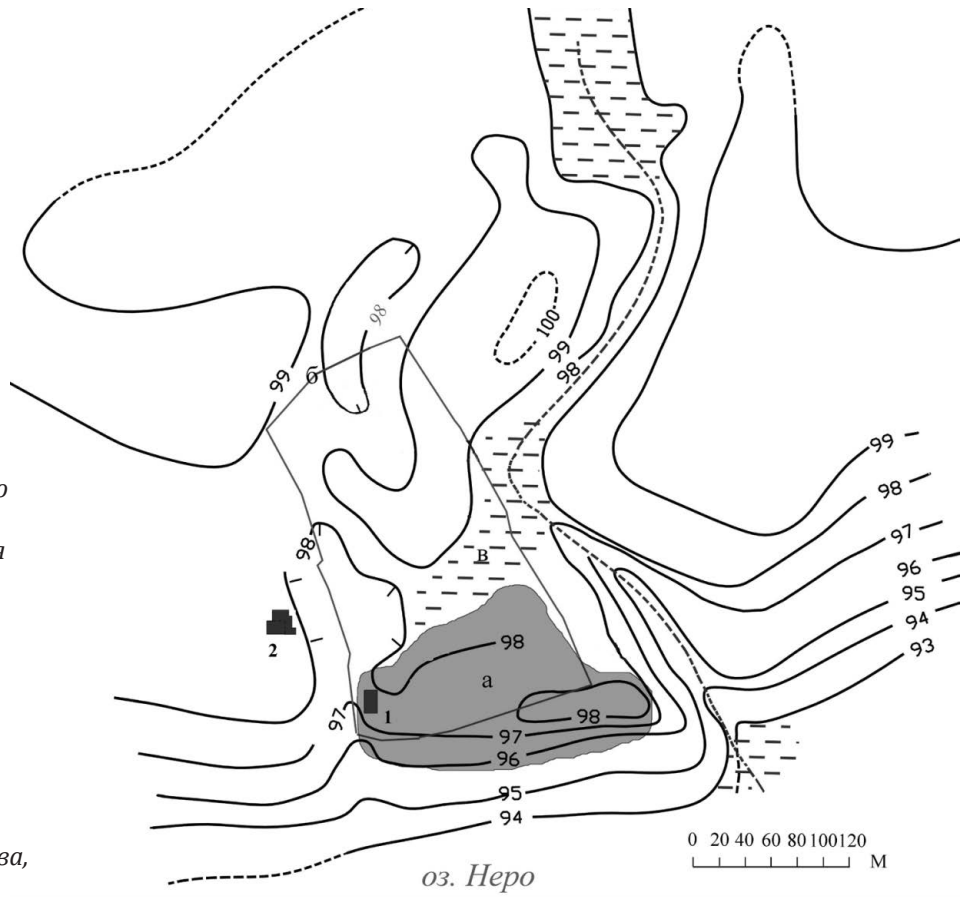


Рис. 5. Территория мерянского поселка в Ростове. Горизонтали даны для уровня палеоповерхности X в. в м над уровнем моря (урез озера – 93 м над уровнем моря).

Условные обозначения:
а – поселение,
б – контур Ростовского кремля,
в – заболоченные участки;
1 – раскоп у ц. Григория Богослова,
2 – раскоп в Конюшенном дворе

чатой керамики эпохи бронзы. Этот горизонт имеет темную окраску и высокое содержание гумуса (8,7 %), не характерное для лесных почв региона, что обусловлено возникновением на этом месте в более позднее время антропогенного луга и достаточно долгим его существованием (не менее 200 лет) на месте сведенного леса. В результате он стал почти таким же темным, как и нижележащий реликтовый горизонт.

Рассматриваемый луг был связан с мерянским поселком, предшествовавшим древнерусскому городу, и оказался затронутым хозяйственной деятельностью. По уголькам из слоя, относящегося к этому поселку и лежащему на поверхности почвы, были получены даты: 1230±80 и 1210±80 л.н. (Ki–10518, 10519). По данным калибровки и археологическим материалам, его накопление возможно отнести к периоду конца VII – начала IX в. (Леонтьев, 2011, с. 64, 65). Первые собственно городские постройки на исследованном участке появились в 980-е гг. (Самойлович, 2001, с. 236, 237, табл. 1).

Раскоп в Конюшенном дворе (рис. 5: 2) выявил аналогичную ситуацию (рис. 6) с той разницей, что луговая поверхность просуществовала здесь дольше. По археологическим данным, хозяйственное освоение участка началось во второй половине XI в., а первые постройки появились на рубеже XII в. (Самойлович, 2007, с. 8, 9; Александровский, Александровская, 2007, с. 43, 44).



Рис. 6. Ростов. Погребенная почва и основание культурного слоя в раскопе Конюшенного двора

В культурном слое городов часто встречаются почвы и без признаков их возделывания. Эти почвы формировались под луговой и древесной растительностью на пустырях, во дворах. В периоды запустения, особенно на окраинах городов, они занимали большие площади. При общем тренде, выражавшемся в расширении города, имели место пульсации его границ и временами возвращение естественной растительности, в том числе и древесной. Колебания в интенсивности освоения, видимо, были характерны и для догородской стадии, причем это могли быть не только пульсации границ освоенной территории, но и перерывы в освоении. Причины этих изменений были в основном социально-экономическими, но не исключаются и природные – изменения климата и уровня паводков или грунтовых вод.

По данным изучения почв, залегающих под культурным слоем древнейших русских городов, выделяются следующие этапы развития исторического ландшафта: 1) *природный*, преимущественно лесной; 2) *протогородской*, или сельский, характеризовавшийся постоянным или периодическим существованием агроландшафтов с пахотными и луговыми пастбищными угодьями; 3) *пригородный*, или переходный от сельского к городскому с чередованием подэтапов формирования культурного слоя, пашен, огородов и почв времени запустения; 4) *ранний городской* с внутригородскими пашнями и огородами (рис. 7).

Общим для всех рассматриваемых городов является наличие ярко выраженных следов достаточно продолжительного догородского этапа освоения ландшафта. Они представлены, в одних случаях, пахотными горизонтами, в других – гумусовыми горизонтами, связанными с появлением антропогенного луга. Иногда обнаруживается наложение признаков, позволяющее реконструировать пашню по лугу или огород по пашне.

На месте Старой Ладоги земледельческое освоение началось в VI–VII вв., а может быть, и еще раньше. Освоение происходило в эпоху чрезвычайно слабой заселенности Южного Приладожья, как и всей Восточной Европы. Информация об истории этой эпохи крайне скудна. По данным наших исследований, привлекательность рассматриваемого участка для земледелия определялась высоким плодородием почв на озерных глинах, богатых фосфором и другими элементами питания растений.

По данным изучения почв и культурного слоя Великого Новгорода, выделяются стабильный центр и пульсирующая окраина города. В центре города, в раскопах Троицкий, Кремлевский, Нутный, культурный слой отличается большой мощностью. В окраинных частях города, удаленных от реки и основных магистралей, мощность слоя существенно ниже, в нем часто встречаются погребенные почвы и другие свидетельства периодического запустения. Рассматриваемая пульсация освоения на ранней городской стадии, выявленная по данным изучения культурного слоя города, видимо, имела место и на протогородской стадии. Об этом свидетельствуют остатки построек в пахотном горизонте, а также следы забрасывания ранних пашен.

Для исследованного участка Великого Новгорода получены точные дендродаты начала застройки в 930-е гг. (Тарабардина, 2007). Освоение территории началось на 50–100 лет раньше, что установлено по результатам изучения гумусового горизонта почвы и остатков луговой растительности, погребенных под культурным слоем. Эти луга, очевидно, связаны с более ранним поселением, следы которого на месте города еще не найдены. Таким образом, не исключается вероятность освоения местности во второй половине IX в., в период существования Новгородского (Рюрикова) городища.

В Ростове Великом, как уже отмечалось, городская застройка появилась позже, чем в Новгороде и Ладоге, в 980-е гг. Почвы, погребенные под ранним культурным слоем, не содержат пахотного горизонта, но имеют явные следы продолжительной, как минимум 200 лет, луговой стадии со следами хозяйственной деятельности. Следовательно, освоение территории человеком началось здесь в VIII в. или даже ранее.

Таблица 4

Свойства почв, начало застройки и длительность догородского (сельского) этапа освоения

Город	Почва	Гумус, %	P_2O_5, %	Начало застройки	Длительность сельского этапа, лет
Старая Ладога	Темногумусовая	17,3	1,07	VIII–IX вв.	≥200
Великий Новгород	Дерново-подзолистая	3,26	0,49	920-е гг.	≥50–100
Ростов Великий	Серая лесная	8,7	0,65	980-е гг.	≥200

Следует отметить, что по всем имеющимся данным давность и длительность периода догородского сельскохозяйственного освоения в Новгороде была меньшей, чем в Старой Ладоге и Ростове Великом. Одной из причин этого, вероятно, была меньшая привлекательность данного места для сельскохозяйственного освоения, так как почвы здесь были не столь плодородны. Это отражено и в типе почвы, и в низком содержании гумуса в ее пахотном горизонте (табл. 4).

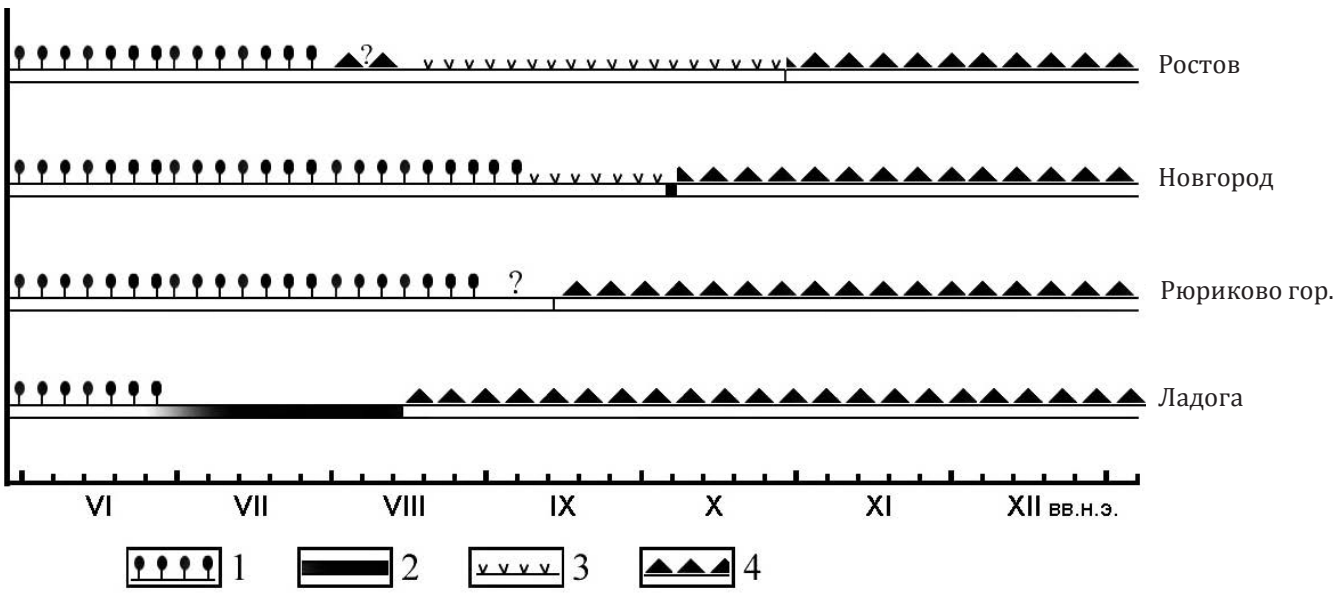


Рис. 7. Изменения ландшафтов городов.
Условные обозначения: 1 – лес, 2 – пашня, 3 – луг, 4 – застройка

В связи с тем, что величины интервалов догородского (сельского) этапа освоения могут быть определены как минимальные, они обозначены со знаком ≥ (табл. 4).

Условия рельефа, в которых возникали древнейшие русские города, не отличались разнообразием. Три рассматриваемых нами города – Новгород, Ладога и Ростов – располагались на низких речных и озерных террасах. На останце озерно-речной террасы находится Рюриково городище. Можно вспомнить Белоозеро, Киевский Подол. Для них характерно накопление мокрого органического культурного слоя большой мощности. Вместе с тем отмечаемая переувлажненность и заболоченность появились позже. В период основания рассматриваемых городов условия были преимущественно автономными, так как меженный уровень рек и высота паводков были существенно ниже современных. Об этом свидетельствуют почвы, погребенные под городским культурным слоем, которые относятся не к болотным, а к дерново-подзолистым, серым лесным, часто с пахотными горизонтами. Преимущество подобного расположения определялось близостью водоемов и, возможно, плодородием почв в ущерб преимуществам высокого рельефа и дренированности территории. Объяснение таким топографическим предпочтениям, дававшим выход к береговой линии озер и рек, можно видеть в археологически прослеживаемой очевидной связи упомянутых городов с водными торговыми путями.

Источники и литература

Александровский А. Л., 2011. Эволюция почв низких террас озера Неро // Почвоведение. № 10. С. 1155–1167.

Александровский А. Л., Кренке Н. А., 1993. Изучение средневековых пахотных горизонтов в Москве и Подмосковье // Краткие сообщ. Ин-та археологии. Вып. 208. С. 20–31.

Александровский А. Л., Бойцов И. А., Кренке Н. А., 1997. Почвы и культурный слой Москвы: строение, история развития, география // Известия РАН, геогр. № 4. С. 82–95.

Александровский А. Л., Александровская Е. И., 2007. Результаты комплексного исследования почв и культурного слоя раскопа в Конюшенном дворе Ростова Великого // Самойлович Н. Г. Конюшенный раскоп в Ростове Великом: результаты охранных археологических исследований 2001–2005 гг. М. Приложение, с. 38–45. (Материалы охранных археологических исследований. Т. 9).

Александровский А. Л., Арсланов Х. А., Давыдова Н. Н., Долуханов П. М., Зайцева Г. И., Кирпичников А. Н., Кузнецов Д. Д., Лавенто М., Лудикова А. В., Носов Е. Н., Савельева Л. А., Сапелко Т. В., Субетто Д. А., 2009. Новые данные относительно трансгрессии Ладожского озера, образования реки Невы и земледельческого освоения Северо-Запада России //Доклады Академии наук. Т. 424. № 5. С. 682–687.

Александровский А. Л., Кренке Н. А., Нефёдов В. С., 2010. Исследования почв и отложений под культурным слоем земляного городища Старой Ладоги // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран / под ред. Носова Е. Н., Белецкого С. В. М. С. 43–61.

Долгих А. В., Александровский А. Л., 2010. Почвы и культурный слой Великого Новгорода // Почвоведение. № 5. С. 515–526.

Леонтьев А. Е., 2011. «Мерянское начало» Ростова // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Т. II. СПб.; М.; Великий Новгород. С. 64–65.

Носов Е. Н., Хвощинская Н. В., Смирнов С. М., Дорофеева Т. С., 2011. Раскопки рва Рюрикова городища в 2010 г. // ННЗ. Вып. 25. Великий Новгород. С. 79–83.

Носов Е. Н., Янин В. Л., 2011. К 1150-летнему юбилею российской государственности: источники и проблемы // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Т. I. СПб.; М.; Великий Новгород. С. 9–11.

Олейников О. М., 2009. Работы в северо-западной части Людина конца Великого Новгорода в 2008 г. (Десятинный I, III, IV раскопы) // ННЗ. Вып. 23. Великий Новгород. С. 36–46.

Рябинин Е. А., Черных Н. Б., 1988. Стратиграфия застройки и хронология нижнего горизонта Староладожского Земляного городища в свете новых исследований // СА. № 1. С. 72–100.

Самойлович Н. Г., 2001. Стратиграфия и хронология Григорьевского раскопа в Митрополичьем саду Ростовского кремля // Практика и теория археологических исследований. М.: ИА РАН. С. 226–242. (Труды Отдела охранных раскопок. Т. 1).

Самойлович Н. Г., 2007. Конюшенный раскоп в Ростове Великом: результаты охранных археологических исследований 2001–2005 гг. М.: ИА РАН. (Материалы охранных археологических исследований. Т. 9).

Тарабардина О. А., 2007. Дендрохронология средневекового Новгорода (по материалам археологических исследований 1991–2005 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М. 22 с.

Alexandrovskaya E. I., Alexandrovskiy A. L., Gaidukov P. G., Krenke N. A., 2001. Woodland, Meadow, Field and Town Layout: Evidence from Analyses of the Earliest Cultural Deposits and Buried Soils in Novgorod // The British Museum. Occasional Paper. Number 141. P. 15 –21.

Summary

A. L. Aleksandrovskii, A. E. Leontiev, N. A. Krenke, A. V. Dolgikh

The Early History of the Landscapes of Medieval Rus' Towns (The Emergence of the Cultural Landscape)

According to data from the study of the soils underneath the habitation levels of Novgorod the Great, Staraya Ladoga, Rostov the Great, it has been possible to identify a proto-urban stage in the settlement of landscapes, which has been found in the territory of the above-listed and other medieval Rus' towns. This stage is characterized by an extension of ploughed areas and meadows in areas where woods have been cut down. In Staraya Ladoga, which emerged in the 8th century, the history of the ploughing up of the land is long and complex. Ploughed areas probably appeared here in the 6th–7th centuries and evolved in a number of stages. It can be assumed that they had appeared early in connection with the fact that the local soil was extremely fertile on its low terrace, the surface of which consisted of lake clays rich in phosphorus and other elements nutritious for plants. In the centre of Novgorod the Great (Troitsky Excavation) building began in the 930s. Yet, according to data gleaned from studying the local soils, some 50–100 years earlier, meadows appeared where woods had been cut down and cleared. In Rostov the building of a permanent town began in the 980s. In the soil underneath the habitation levels, however, there are signs of a stage during which man-made meadows evolved which lasted for at least two centuries and traces were found of a pre-urban settlement.

Н. А. Макаров, А. Н. Федорина, С. В. Шполянский

Средневековые селища в округе Владимира-на-Клязьме

Владимир-на-Клязьме известен историкам средневековой Руси как новый политический центр на Северо-Востоке, созданный княжеской властью и развивавшийся при ее поддержке, в отличие от старых городов, Ростова и Суздаля, появление которых было в большей мере обусловлено внутренними процессами социально-экономического развития. Город был основан Владимиром Мономахом во время его последней поездки в Ростовскую землю в 1108 г. как военно-стратегический пункт, контролировавший движение по Клязьме и прикрывавший Ростов и Суздаль от военной опасности с юга (Насонов, 1951, с. 181–183; Воронин, 1961, с. 39–44; Кучкин, 1984, с. 71, 72). Превращение Владимира в стольный город во второй половине XII в. – проявление политической воли Андрея Боголюбского, сделавшего его центром княжеского управления обширными территориями Северо-Восточной Руси после своего избрания на княжение ростовцами, суздальцами и владимирцами в 1157 г. Вместе с тем археологи неоднократно обращали внимание на присутствие культурного слоя X–XI вв. в отдельных точках на территории будущего города и его ближайших окрестностей, полагая, что освоение этих участков создало предпосылки для устройства на Клязьме княжеской крепости (Воронин, 1959, с. 81).

Материалы археологических раскопок во Владимире, собранные за последние два десятилетия, характеризуют его как крупный городской центр, мощный очаг развития древнерусской культуры, переживший период бурного роста во второй половине XII – первой половине XIII в. и пришедший в упадок после монгольского нашествия. Богатство и высокое социальное положение владельцев усадеб в Мономаховом и Ветшанном городе, документированное находками редких импортов и предметов христианского культа (Жарнов, 2009; Кабаев, Гальчук, 2007), открытием кладов украшений (Очеретин, Родина, 2011) и крупнейшей в средневековой Европе партии сырого янтаря (Зеленцова и др., 2011), в полной мере согласуется с летописными характеристиками Владимира как места сосредоточения богатств, находившегося под особым патронажем княжеской власти. На современном этапе археологического изучения Северо-Восточной Руси существенное значение приобретает вопрос о характере средневекового расселения и уровне освоенности округи Владимира, прояснение исторической взаимосвязи становления города и развития сети поселений на окружающих его территориях.

Выросший на краю высокого левого берега р. Клязьмы Владимир находится на границе двух ландшафтных областей: Владимирско-Юрьевского Ополья, представляющего собой возвышенное плато с темно-цветными почвами, и залесенных низменных территорий Мещеры на правобережье Клязьмы. Можно предположить, что первоначальная история города в бóльшей мере связана с освоением территорий на левобережье, где уже в середине XIX в. были зафиксированы отдельные средневековые памятники и находки. Сведения о некоторых из них были собраны А. С. Уваровым, полагавшим, что «местность современного Владимира можно причислять к древнейшим поселениям мерян» и что на месте кремля могло находиться мерянское городище (Уваров, 1872, с. 45). В 1858 г. Т. Н. Тихонравов исследовал около 70 курганов с ингумациями у с. Доброе в ближайших окрестностях Владимира (Уваров, 1872, с. 45; Доброхотов, 1852). Ряд средневековых памятников на коренной террасе р. Клязьмы был выявлен и частично исследован раскопками в 1950–1960-х гг. (Воронин, 1961, с. 201–208; Горюнова, 1961, с. 57–61). Рассматривая предысторию Владимира, Н. Н. Воронин отметил заселенность отдельных участков на коренной террасе Клязьмы в X–XI вв., присутствие лепной керамики этого времени во Владимире, Боголюбове и на поселении у Сунгирского оврага (Воронин, 1959, с. 74–81). Список памятников железного века – Средневековья в южной части Владимирско-Юрьевского Ополья по-

полнился несколькими объектами в 1970–1980-х гг. в результате раскопок Сунгирского могильника (Леонтьев, 1996, с. 284, 285) и разведок, предпринятых в связи с подготовкой Археологической карты Владимирской области (1995, с. 248–259, 262, 263, 272, 273, 276, 277, 280, 281). Однако в целом вплоть до последнего времени средневековые селища владимирской округи не были объектами систематического поиска. Скудость археологических данных, характеризующих расселение в округе Владимира, особенно заметно обозначилась после создания подробной археологической карты округи Суздаля, позволяющей представить сеть средневекового расселения и культурный ландшафт в центральной и восточной части Ополья.

В 2006 г. Суздальская археологическая экспедиция ИА РАН начала разведки в южной части Владимирско-Юрьевского Ополья, на территориях, лежащих вблизи границы Суздальского и Владимирского княжеств XIV в., реконструированной В. А. Кучкиным (1984, с. 199–201), и находящихся к югу от нее. Эти работы, нацеленные на выявление и обследование памятников железного века – Средневековья, на землях Владимирского княжества были продолжены и расширены в 2011–2013 гг. благодаря грантам РФФИ. В результате полевых исследований 2006–2013 гг. собраны данные о 103 археологических памятниках и местонахождениях в южной части Ополья на общей площади около 105 кв. км: 38 из них находились в долине р. Рпень, (левый приток р. Клязьма) и на прилегающих водораздельных участках; 24 – в районе с. Тарбаево и Туртино (верховья р. Рпень) и 41 – на правом берегу р. Нерль, на ее коренной террасе и в овражных системах на водоразделах (таблица 1; рис. 1). Следует добавить, что проведенные в 2004 г. на территориях к югу от Владимира, на правом берегу Клязьмы, разведки подтвердили предположения о слабой освоенности этой части Мещерской низменности в Средневековье. Селища домонгольского времени на обследованных участках не выявлены[1].

Поскольку территории, непосредственно прилегающие к исторической части Владимира, заняты современной застройкой и в значительной части недоступны для разведок, основное внимание было сосредоточено на участках, удаленных от валов средневекового города на 6–25 км, где традиционный сельский ландшафт избежал значительных нарушений и условия для выявления средневековых селищ более благоприятные. В основном использовались методы и приемы полевых работ, ранее показавшие свою продуктивность при разведках под Суздалем: сплошное обследование земельных участков, включающих сельскохозяйственные угодья и территории современных сёл; возможно более полное выявление средневековых поселений по подъемному материалу на полях и огородах; сбор представительных керамических и вещевых коллекций, обеспечивающих надежное датирование памятников; фиксация координат находок и видимых на поверхности элементов внутренней структуры поселений с помощью GPS. На отдельных памятниках проводилась геомагнитная съемка, позволяющая уточнить границы и выявить элементы планировочной структуры. Однако установка на сплошное обследование территории и создание полной карты археологических памятников (Макаров, 2009), положенная в основу изучения суздальской округи, не может быть в полной мере реализована при обращении к южной части Ополья, поскольку здесь значительные территории выведены из сельскохозяйственного оборота и заняты современной застройкой. В этой ситуации пришлось сочетать сплошное обследование территорий с выборочным обследованием локальных участков и фиксацией отдельных памятников. Карта археологических памятников на одних участках показывает всю сеть поселений, на других – отдельные памятники, сохранившиеся в сильно трансформированном ландшафте.

Общая картина

Общий перечень археологических памятников железного века – Средневековья в южной части Владимирско-Юрьевского Ополья в настоящее время включает 112 объектов (таблица 1, рис. 1). Среди них 4 городища (Боголюбово 1, 2; Васильково и Горицы), 84 селища, 18 местонахождений средневековой керамики и вещей и 5 курганных могильников с сохранившимися или снивелированными насыпями[2]. Данные о 103 объектах целиком собраны или уточнены в 2006–2013 гг., остальные 9 известны по документации полевых работ предшествующего времени. При их обследовании было собрано свыше 5500 фрагментов верхних частей сосудов и около 4850 средневековых вещей.

Археологические памятники, показанные на карте, образуют два значительных массива, находящихся в западной части, вдоль р. Рпень и на выходящих к ней овражных системах, и в восточной, на правом берегу р. Нерль и ее притоках. Неравномерность размещения памятников на карте в значительной степени отражает разный уровень обследованности территорий – на водоразделе Рпени и Нерли, где локализуется наиболее крупное белое пятно, систематические разведки не проводились. Тем не менее имеющийся материал не оставляет сомнений в том, что сеть средневековых поселений широко охватывала южную часть Ополья.

[1] Разведки производились по трассе прокладки линии оптоволоконной связи (Федорина, 2004).

[2] Разведки не подтвердили атрибуцию трех объектов, включенных в Археологическую карту России, как курганных групп, следы курганных насыпей на этих участках отсутствуют.

Таблица 1

**Список археологических памятников X–XV вв.,
выявленных в южной части Владимирского Ополья**

№ (см. карта 1)	Памятник (* – памятники, известные по литературе и архивным данным)	Тип памятника	Площадь (га)	Подъемный материал (шт)	Средневековая и неопр. лепная керамика (венчики/стенки)	Круговая керамика (венчики)			
						X – н. XII в.	XI–XIII вв.	XII–XIII вв.	XIII–XV вв.
102	Боголюбово 3	местонахождение			1/9				
103	Боголюбово*	городище	0,1		+		+	+	+
73	Борисовское 1	селище	0,5					4	2
77	Борисовское 2	селище	0,7	1	19				
69	Васильково 1	селище	12,9	224	27/139	69	41	154	10
67	Васильково 2	селище	1,9	4				14	15
65	Васильково 3	селище	2,4	7				20	2
68	Васильково 4	курганный могильник							
70	Васильково 5	курганный могильник							
72	Васильково 6	селище	6,3	56			3	152	39
66	Васильково*	городище	0,3						
63	Горицы	городище	0,4	1	89				
61	Горицы 2	селище	3,8	1	2			26	14
62	Горицы 3	селище	0,7					2	5
108	Доброе*	курганный могильник							
71	Мордыш 1	селище	5,9	164		2	21	270	15
36	Новая деревня 1	селище	0,5	2		2		31	
37	Новая деревня 2	селище	0,9	1				18	
51	Новгородское 1	селище	6,4	189	10/18	1	57	58	9
49	Новгородское 2	селище	0,2		2/42				
52	Новгородское 3	селище	0,1		23				
50	Новгородское 4	местонахождение			1				
48	Новгородское 5	селище	0,1	1	4/24	1			
53	Новгородское 6	селище	3,0	59	30/159		6		
54	Новгородское 7	селище	1,0	6				5	39
101	Новое 1	селище	0,4		6				
45	Овчухи 1	селище	5,5	26	33/339				4
46	Овчухи 2	селище	2,8	11	5/169				
47	Овчухи 3	селище	4,1	2	6/53	13	7	8	
43	Овчухи 4	селище	5,3	11				126	25
44	Овчухи 5	селище	1,6	5	3/18	4		34	8
83	Ославское 1	селище	1,1		7/88			1	
84	Ославское 1а	селище	0,3		9		1		1
85	Ославское 2	селище	0,9		1/31			1	
94	Ославское 3	селище	11,5		2/4	2	3	48	50
95	Ославское 4	местонахождение						1	
93	Ославское 5	местонахождение						1	
91	Ославское 6	селище	5,0	10	21/227				
92	Ославское 8	местонахождение			1/0				
90	Ославское 9	селище	3,8	5	2/74				2
16	Павловское*	курганный могильник							
15	Павловское 1*	селище	1,8				+	+	?
14	Павловское 2*	селище	3,2				+	+	–
74	Порецкое 1	селище	0,6			4		2	

75	Порецкое 2	селище	13,3	19	1		5	99	81
80	Порецкое 3	местонахождение			2				
78	Порецкое 4	селище	2,2	5	2/7	6		18	8
79	Порецкое 5	селище	0,3				4	5	
76	Порецкое 6	местонахождение							
30	Раславское	селище	9,7	88			11	157	172
59	Садовый 1	селище	0,8	11	2			10	
60	Садовый 2	местонахождение				1			
58	Садовый 3	селище	0,4					3	
57	Садовый 4	местонахождение						1	
56	Садовый 5	местонахождение			1/0				
39	Скородумка 1	селище	1,1	24			1	60	7
40	Скородумка 2	селище	0,5	11	1			25	3
35	Скородумка 3	местонахождение		1				3	
38	Скородумка 4	селище	0,3					10	
42	Скородумка 5	селище	1,6		4		5	11	10
41	Скородумка 6	селище	8,2	21	27	3	78		9
107	Сновицы 1*	селище	0,1						+
106	Сновицы 2*	селище	3,5				+		+
105	Сновицы 3	селище	1,0					2	
104	Сновицы 4	селище	0,1						5
98	Суворотское 1	селище	3,9	116	2/27	1	81	245	17
100	Суворотское 2	селище	1,0	1	20				
87	Суворотское 3	селище	6,7	17	20		4	9	4
82	Суворотское 4	селище	1,8	46				131	91
96	Суворотское 5	селище	2,3	2	3/9			4	3
97	Суворотское 6	местонахождение							1
99	Суворотское 7	селище	0,3						2
89	Суворотское 8	селище	5,9	121	9/36	33	109		
88	Суворотское 9	селище	2,8	26	7/53	14	3	23	
81	Суворотское 10	селище	1,5	5	10/196				
86	Суворотское 12	курганный могильник							
110	Сунгирь (Боголюбово), селище	селище	9,6	166	105/207	30	115	412	216
111	Сунгирь*	городище	0,6		+/+	+	+		
112	Сунгирский (Боголюбово)	грунтовый могильник							
109	Суромна 1	местонахождение					15		
19	Тарбаево 1	селище	1, 1	117			10	123	14
21	Тарбаево 10	селище	2,5		1/0			3	5
22	Тарбаево 11	местонахождение							2
6	Тарбаево 2	селище	1, 3	18				15	3
18	Тарбаево 3	селище	2,2	32				61	12
17	Тарбаево 4	селище	0,5	12				76	8
26	Тарбаево 5	селище	4,9	2584	99/563	6		70	
27	Тарбаево 6	селище	2,5	134	6/126	2	1		
25	Тарбаево 7	селище	2,7	135	11/52			46	
24	Тарбаево 8	местонахождение		4					
23	Тарбаево 9	местонахождение						1	
1	Туртино 2	селище	1,6	22				14	3
3	Туртино 1	селище	12, 6	16				344	176

2	Туртино 3	селище	1,0	3				9	2
5	Туртино 4	селище	2,6	15	1/6		2	36	3
4	Туртино 5	селище	1,7	39	3/18	3	1	79	8
7	Туртино 6	селище	1,8	5				8	
64	Улово*	селище	4,8		+/+		+	+	+
8	Федоровское 1	селище	3,7	27				30	19
12	Федоровское 2	селище	3,2	53	2/0	5	2	77	
13	Федоровское 3	селище	1,0	16	1	2	8	9	3
20	Федоровское 4	селище	0,6	23	3/39	1			
9	Федоровское 5	селище	2,5					6	5
10	Федоровское 6	местонахождение							3
11	Федоровское 7	местонахождение							1
55	Хотенское 1	селище	2,0	1	1	1	12		13
34	Яновец 1	селище	0,6	64	18/133			17	2
33	Яновец 2	селище	2,1	58	1/1		6	114	8
31	Яновец 3	селище	2,2	3			4	47	14
32	Яновец 4	селище	2,1	3	6/40			5	3
29	Яновец 6	местонахождение						1	
28	Яновец 7	селище	0,1					2	1

Скопления средневековых памятников прослежены как вдоль долин наиболее крупных рек, так и на мелких водотоках и водораздельных участках. Хотя ряд крупных поселений приурочен к высокому правому берегу р. Нерль, их общее размещение не было определено конфигурацией речной сети. Топография поселений разнообразна, часть из них размещается на краях надпойменных террас, часть – на склонах возвышенностей, прорезанных оврагами, часто они находятся в верховьях овражных систем. 30 селищ и местонахождений расположены в черте исторических сёл, существующих ныне или существовавших в недавнем прошлом, остальные – за пределами населенных пунктов, преимущественно на участках, используемых в качестве полей.

Площади селищ варьируют от 0,1 до 14 га, при этом распределение площадей не выявляет выраженных групп с близкими размерами. Условно в общем массиве могут быть выделены селища площадью до 1,5 га (33), от 1,5 до 4,5 га (36) и от 4,5 до 14 га (15). Более половины селищ (54) ассоциировано в компактные локальные группы (гнезда), в которых расстояние между ближайшими селищами – от 30 до 550 м. Среди памятников древнерусского времени выделяется 22 подобных группы, в каждой из которых – от 2 до 5 поселений общей площадью от 1,4 до 23,2 га (таблица 2). В соответствии с методиками документирования археологических объектов селища, входящие в состав локальных групп, зафиксированы как отдельные поселения. Однако очевидно, что значительная часть гнезд селищ, в которых поселения одновременны, а расстояния между ближайшими составляло 50–200 м, в исторической реальности представляли собой единые поселенческие комплексы с вынесенными на различные участки дворами и общими земельными угодьями – одно село с общим названием.

Картина изменений растительности в южной части Ополья восстанавливается по материалам четырех естественных разрезов, исследованных палинологическими методами А. С. Алешинской. Наиболее информативен разрез мощностью почти в 2 м, сделанный в заросшем русле безымянного ручья у селища Новгородское I. В нем было выделено 10 спорово-пыльцевых комплексов, характеризующих развитие растительности в районе селища начиная примерно с 4500 BP. Спорово-пыльцевые спектры из нижней части разреза характеризуются преобладанием смешанных широколиственно-хвойных лесов (липа и сосна), смешанных лесов с преобладанием хвойных пород (сосна, ель) и с участием широколиственных пород (преимущественно липы). Вверх по разрезу прослеживаются постепенные изменения в составе леса: уменьшение количества широколиственных пород и увеличение роли березы. На следующем этапе отмечаются существенные изменения как в соотношении между открытыми и лесными пространствами, так и в составе леса. VI и VII спорово-пыльцевые комплексы отражают мощное вмешательство человека в окружающую среду, сокращение лесов в целом, изменения в составе коренных лесов, расширение пахотных угодий. К сожалению, точно определить время этих сдвигов пока не удалось. Аналогичная резкая смена ландшафтов от лесных к открытым отмечается и по ранее изученным разрезам в северной части Ополья (Алешинская и др., 2008). В этих разрезах они датированы в интервале рубежей IX–X

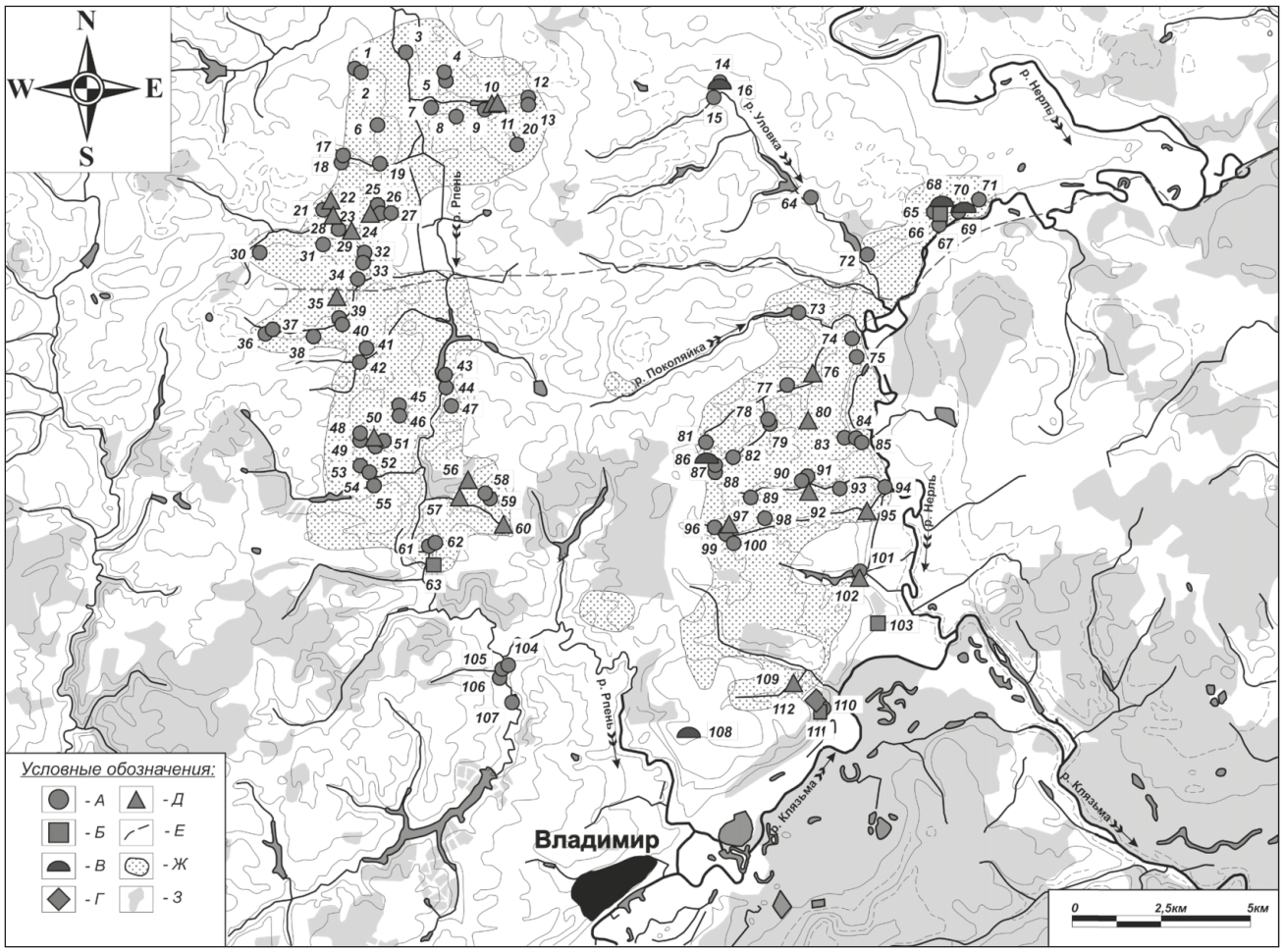


Рис. 1. Археологические памятники раннего железного века – Средневековья в южной части Владимирско-Юрьевского Ополья:
1 – Туртино 2; 2 – Туртино 3; 3 – Туртино 1; 4 – Туртино 5; 5 – Туртино 4; 6 – Тарбаево 2; 7 – Туртино 6; 8 – Федоровское 1; 9 – Федоровское 5; 10 – Федоровское 6; 11 – Федоровское 7; 12 – Федоровское 2; 13 – Федоровское 3; 14 – Павловское 2; 15 – Павловское 1; 16 – Павловское; 17 – Тарбаево 4; 18 – Тарбаево 3; 19 – Тарбаево 1; 20 – Федоровское 4; 21 – Тарбаево 10; 22 – Тарбаево 11; 23 – Тарбаево 9; 24 – Тарбаево 8; 25 – Тарбаево 7; 26 – Тарбаево 5; 27 – Тарбаево 6; 28 – Яновец 7; 29 – Яновец 6; 30 – Раславское 1; 31 – Яновец 3; 32 – Яновец 4; 33 – Яновец 2; 34 – Яновец 1; 35 – Скородумка 3; 36 – Новая деревня 1; 37 – Новая деревня 2; 38 – Скородумка 4; 39 – Скородумка 1; 40 – Скородумка 2; 41 – Скородумка 6; 42 – Скородумка 5; 43 – Овчухи 4; 44 – Овчухи 5; 45 – Овчухи 1; 46 – Овчухи 2; 47 – Овчухи 3; 48 – Новгородское 5; 49 – Новгородское 2; 50 – Новгородское 4; 51 – Новгородское 1; 52 – Новгородское 3; 53 – Новгородское 6; 54 – Новгородское 7; 55 – Хотенское 1; 56 – Садовый 5; 57 – Садовый 4; 58 – Садовый 3; 59 – Садовый 1; 60 – Садовый 2; 61 – Горицы 2; 62 – Горицы 3; 63 – Горицы; 64 – Улово 1; 65 – Васильково 3; 66 – Васильково; 67 – Васильково 2; 68 – Васильково 4; 69 – Васильково 1; 70 – Васильково 5; 71 – Мордыш 1; 72 – Васильково 6; 73 – Борисовское 1; 74 – Порецкое 1; 75 – Порецкое 2; 76 – Порецкое 6; 77 – Борисовское 2; 78 – Порецкое 4; 79 – Порецкое 5; 80 – Порецкое 3; 81 – Суворотское 10; 82 – Суворотское 4; 83 – Ославское 1; 84 – Ославское 1а; 85 – Ославское 2; 86 – Суворотское 12; 87 – Суворотское 3; 88 – Суворотское 9; 89 – Суворотское 8; 90 – Ославское 9; 91 – Ославское 6; 92 – Ославское 8; 93 – Ославское 5; 94 – Ославское 3; 95 – Ославское 4; 96 – Суворотское 5; 97 – Суворотское 6; 98 – Суворотское 1; 99 – Суворотское 7; 100 – Суворотское 2; 101 – Новое 1; 102 – Боголюбово 3; 103 – Боголюбово 1 (Боголюбское); 104 – Сновицы 4; 105 – Сновицы 3; 106 – Сновицы 2; 107 – Сновицы 1; 108 – Доброе; 109 – Суромна 1; 110 – Боголюбово (Сунгирьское); 111 – Боголюбово 2 (Сунгирьское, Чаша); 112 – Боголюбово (Сунгирьский).
Условные обозначения: а – селища; б – городища; в – курганы; г – грунтовые могильники; д – местонахождения; е – граница между Суздальским и Владимирским княжеством, реконструированная по земельным документам XV–XVI вв.; ж – зона сплошных обследований Суздальской экспедиции ИА РАН; з – современные лесные массивы

Таблица 2

Локальные группы (гнёзда) селищ в южной части Ополья. X–XIV вв.

№	Состав группы	Общее количество пятен к. с.*	Суммарная площадь к. с.* (мах, га)	Расстояние между пятнами к. с.* (м)	Время появления древнейшего поселения	Период совместного существования поселений	Количество пятен к. с.* с находками керамики и вещей отдельных хронологических групп		
							к. X–1 п. XII в.	XII–XIII вв.	2 п. XIII–XIV в.
1	Васильково городище, Васильково 1, Васильково 2, Васильково 3, Мордыш 1	5	23,3	110–730	X в.	XII–XV вв.	2	5	4
2	Горицы 2, Горицы 3	2	4,4	470	к. XI – п. п. XII в.	к. XI – п. п. XII – XV в.	2	2	2
3	Новая деревня 1, Новая деревня 2	2	1,4	150	XII в.	XII–XIII вв.		2	
4	Новгородское 6, Новгородское 7, Хотенское 1	3	6,0	280–780	X в.	XII–XV вв.	2	3	2
5	Овчухи 3, Овчухи 4	2	9,4	330	X в. – п. п. XI в.	X – п. п. XI – XII в.	1	2	1
6	Ославское 3, Ославское 4	2	11,5	550	XI – п. п. XII в.	XI – п. п. XII – XIII в.	1	2	1
7	Павловское 1, Павловское 2	2	5,0	310	XI – п. п. XII в.	XI – п. п. XII – XIII в.	2	2	
8	Порецкое 1, Порецкое 2	2	13,9	110	к. XI – п. п. XII в.	XII–XIII вв.	2	2	1
9	Порецкое 4, Порецкое 5	2	2,5	30	XI – п. п. XII в.	XI – п. п. XII – XIII в.	2	2	1
10	Скородумка 1, Скородумка 2	2	1,6	140	XII в.	XII – вт. п. XIII – п. п. XIV в.		2	2
11	Скородумка 5, Скородумка 6	2	9,8	330	к. XI – п. п. XII в.	XI – п. п. XII – XIII в.	1	2	1
12	Суворотское 3, Суворотское 4, Суворотское 9	3	11,3	30–530	X – п. п. XI в.	к. XI – п. п. XII – вт. п. XIII – п. п. XIV в.	2	3	2
13	Суворотское 5, Суворотское 6, Суворотское 7	3	2,6	210–300	XII в.	XII – вт. п. XIII – п. п. XIV в.		1	3
14	Сунгирь городище, Сунгирь селище	2	10,2	40	X – п. п. XI в.	XII – вт. п. XIII – п. п. XIV в.	1	2	2
15	Тарбаево 3, Тарбаево 4	2	2,7	50	к. XI – п. п. XII в.	к. XI – п. п. XII – вт. п. XIII – п. п. XIV в.	2	2	2
16	Тарбаево 5, Тарбаево 6, Тарбаево 7	3	10,1	10–270	X в.	вт. п. X в. – вт. п. XIII – п. п. XIV в.	3	3	2
17	Тарбаево 9, Тарбаево 10, Тарбаево 11	3	2,5	220–380	XII в.	XII – вт. п. XIII – п. п. XIV в.		2	3
18	Туртино 2, Туртино 3	2	2,6	90	XII в.	XII – вт. п. XIII – п. п. XIV в.	2	2	2
19	Туртино 4, Туртино 5	2	4,3	60	к. XI – п. п. XII в.	к. XI – п. п. XII – вт. п. XIII – п. п. XIV в.	2	2	2
20	Федоровское 2, Федоровское 3	2	4,2	70	к. XI – п. п. XII в.	к. XI – п. п. XII – XIII в.	2	2	1
21	Яновец 1, Яновец 2, Яновец 4	3	4,8	220–550	X – п. п. XI в.	к. XI – п. п. XII – вт. п. XIII – п. п. XIV в.	1	3	2
22	Яновец 3, Яновец 6, Яновец 7	3	2,3	320–450	XII в.	XII – вт. п. XIII – п. п. XIV в.		3	2

* к. с. – культурный слой

и X–XI вв. Хотя динамика изменений природной среды южной части Владимирско-Юрьевского Ополья в железном веке – Средневековье требует детализации, уже сейчас очевидно, что средневековая сеть расселения развивалась в открытых обезлесенных ландшафтах, в которых, судя по наличию пыльцы культурных злаков, большие площади были заняты пашнями.

Предыстория

Освоение южной части Суздальского Ополья в раннем железном веке документировано поселениями с находками сетчатой керамики (рис. 2). Культурный слой с сетчатой керамикой, близкой классической дьяковской, зафиксирован на 2 городищах, отдельные фрагменты подобной керамики происходят с 12 селищ, они собраны вместе со средневековыми материалами, образующими основную часть коллекций. Находки сетчатой керамики отмечены на различных удаленных друг от друга участках на р. Нерль и р. Рпень и водоразделах; часть местонахождений приурочена к краям надпойменных террас рек, часть – к склонам возвышенностей, прорезанных овражными системами, удаленным от крупных водотоков. Исходя из сложившихся представлений о времени бытования текстильной керамики в Волго-Окском бассейне, эти материалы можно датировать в широком хронологическом интервале I тыс. до н. э. – первых веков I тыс. н. э. Наиболее выразительные памятники – городища Горицы на р. Рпень и Васильково на р. Нерль с треугольными мысовыми площадками, защищенными валом и рвом. Собранные на остальных памятниках керамические находки не дают воз-

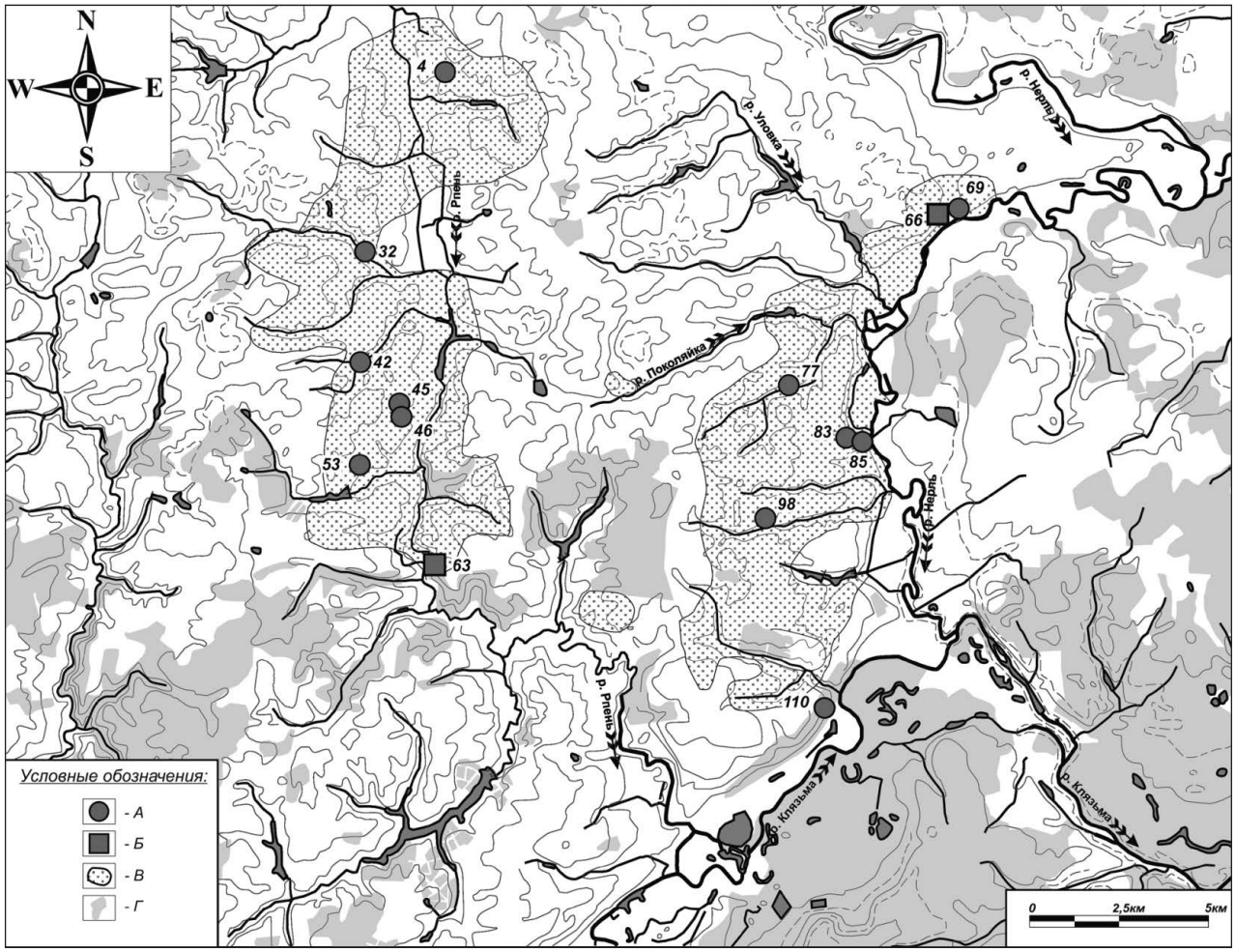


Рис. 2. Поселения с находками сетчатой керамики в южной части Владимирско-Юрьевского Ополья:

4 – Туртино 5; 32 – Яновец 4; 42 – Скородумка 5; 45 – Овчухи 1; 46 – Овчухи 2; 53 – Новгородское 6; 63 – Горицы; 66 – Васильково; 69 – Васильково 1; 77 – Борисовское 2; 83 – Ославское 1; 85 – Ославское 2; 98 – Суворотское 1; 110 – Боголюбово (Сунгирьское).

Условные обозначения: А – селища; Б – городища; В – зона сплошных обследований Суздальской экспедиции ИА РАН; Г – современные лесные массивы

можность полноценно характеризовать поселения раннего железного века, но позволяют сделать заключение о том, что одновременно с городищами на возвышенном левобережье Клязьмы существовала сеть неукрепленных поселений. Концентрация поселений вокруг городищ не прослеживается, их рассредоточенность указывает на то, что хозяйственные интересы насельников предполагали эксплуатацию обширных территорий с разнообразными типами урочищ. Следы этого расселения были в значительной степени стерты в позднейшее время в процессе формирования древнерусских поселений и интенсивного земледельческого использования территорий.

На пяти поселениях в южной части Владимирско-Юрьевского Ополья зафиксировано присутствие украшений и бытовых вещей первой половины – середины I тыс. н.э. (Макаров и др., 2012, с. 158, 159). Среди них нож с чуть выпуклой спинкой; литая ажурная привеска в виде диска с двумя ложножгутовыми планками, заканчивающимися трехчастными петлевидными выступами, характерная для пьяноборских древностей и памятников андреевско-писеральского круга (поселение Овчухи 1); две крестовидные фибулы небольших размеров (селища Овчухи 2 и Васильково 6); железная пряжка с овальной рамкой и удлиненным трапециевидным щитком, неподвижно соединенным с рамой (селище Новгородское 1); бронзовая пряжка с круглой рамкой с утолщенной передней частью и тонким прогнутым язычком (городище Горицы).

Наиболее яркая находка – комплекс бронзовых украшений, обнаруженный на селище Новгородское 1 в виде компактного скопления, перекрытого культурным слоем древнерусского времени. Комплекс включает в себя более 100 предметов, среди которых – круглые плоские полированные бляхи с петлями на обратной стороне; круглые бляхи с выпуклым щитком (полусферическим или коническим); восьмеркообразные бляхи; трубчатые пронизки с расширяющимися концами. Вместе с украшениями были найдены два ножа – с прямой спинкой и серповидный с плавно выгнутой спинкой. Характер находки до конца неясен, возможно, она представляет собой клад. Большинство украшений имеет аналогии в погребальных памятниках пьяноборской культуры Прикамья и могильниках андреевско-писеральского круга в Среднем Поволжье. Комплекс может быть датирован концом I тыс. до н.э. – началом I тыс. н.э., с наибольшей вероятностью – I в. н.э. (Макаров, 2012). В керамических коллекциях девяти поселений (Овчухи 1, 2; Ославское 1, 1а, 2, 6, 9; Новгородское 1; Боголюбово 3) представлены фрагменты лепных сосудов с высоким прямым венчиком или венчиком-раструбом и уступом при переходе к плечику – так называемой керамики мощинского круга, выделенной первоначально по материалам мощинской культуры (Массалитина, 1994, с. 10; 2008, с. 111–113, рис. 3; 4: 1, 2; 7: 20, 21; 9: 3, 4) и получившей, как теперь выясняется, широкое распространение от верховьев р. Десна и Ока и Верхнего Подонья до Верхнего Поднепровья и Ярославского Поволжья (Исланова, 2008, с. 35; 2010, с. 203–207). На поселении Кибол 7 под Суздалем подобная керамика найдена в заполнении ям, датированных радиоуглеродным методом второй половиной IV – VII в. Всего присутствие археологических материалов первой половины – середины I тыс. документировано на 10 памятниках, очевидно, на ряде поселений керамика этого времени не может быть выделена в общей массе лепной керамики, датированной в широком хронологическом интервале.

Поселения с находками датирующих вещей и керамики первой половины – середины I тыс. н.э. открыты на р. Нерль, Рпень и в овражных системах, связанных с ними. Концентрация керамики и вещевых находок этого времени в культурном слое низкая, однако некоторые поселения имели крупные размеры: так, на селищах Овчухи 1 и 2 лепная керамика распространяется на площади 2,8 и 5,5 га. Жизнь здесь продолжалась, по меньшей мере, с I в. н.э. до рубежа IV–V вв. Очевидно, сеть расселения, формировавшаяся в первые века н.э., связана с поселениями предшествующего периода: на шести памятниках с находками этого времени зафиксированы фрагменты текстильной керамики.

Находки средневековой лепной керамики представлены в южной части Владимирско-Юрьевского Ополья на 43 памятниках, еще на 8 поселениях найдена лепная керамика, которая может быть датирована в более широком хронологическом интервале. На 23 из них круговая древнерусская керамика X–XI вв. и датирующие вещи XI–XII вв. не выявлены, из чего можно заключить, что эти памятники должны быть датированы временем ранее XI в. Пространственное расположение и топографические особенности этих поселений во многом повторяют модель предшествующего периода. Среди собранных здесь материалов отсутствуют вещевые находки и керамические комплексы, которые было бы корректно считать хроноиндикаторами третьей четверти I тыс. н.э. или VIII–IX вв. Весьма вероятно, что материалы VII–IX вв. присутствуют на поселениях Ославское 6 и 9, Суворотское 10, на которых грубая и подлощенная лепная керамика встречена вместе с трапециевидными подвесками и бутылковидной привеской с зернью. Отсутствие датирующих находок, которые могли бы служить основой для выделения «мерянского» пласта древностей, непосредственно предшествующего древнерусской колонизации, не означает, что южная часть Ополья в этот период оставалась незаселенной. Однако имеющиеся материалы не позволяют детализировать хронологию. Очевидно, что расселение в этот период развивалось без каких-либо радикальных перемен и не сопровождалось значительным ростом числа поселений.

Древнерусская колонизация

Керамические и вещевые материалы рубежа I–II тыс. н. э. – первых веков II тыс. н. э. образуют многочисленную и выразительную группу на поселениях южной части Ополья, что отражает не только рост числа поселений, но и возросшую интенсивность жизни и хозяйственной деятельности. При хронологическом разделении этих материалов можно выделять узко датированные группы древностей и хронологические группы материалов, датируемые в более широких временных рамках. Не отказываясь от узкого датирования отдельных комплексов и памятников, в настоящей работе памятники будут объединены в более широкие хронологические группы, поскольку подобный подход позволяет четче представить основные тенденции в развитии расселения и общую динамику колонизации.

Хронологический горизонт X – первой половины XII в. выделяется по материалам 33 поселений и местонахождений (рис. 3). Важнейший хроноиндикатор этого периода – древнерусская круговая кера-

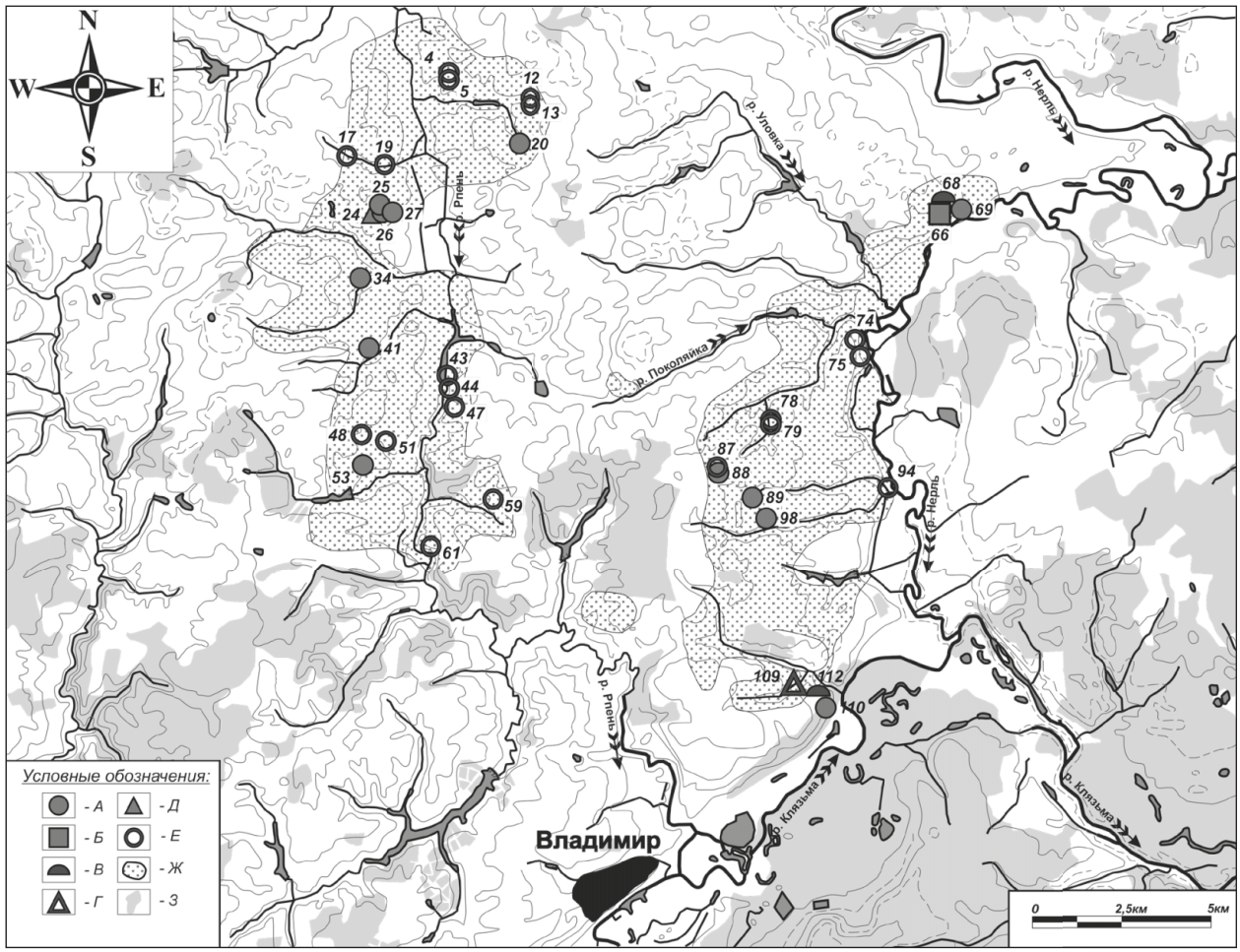


Рис. 3. Археологические памятники X – первой половины XII в. в южной части Владимирско-Юрьевского Ополья. 4 – Туртино 5; 5 – Туртино 4; 12 – Федоровское 2; 13 – Федоровское 3; 17 – Тарбаево 4; 19 – Тарбаево 1; 20 – Федоровское 4; 24 – Тарбаево 8; 25 – Тарбаево 7; 26 – Тарбаево 5; 27 – Тарбаево 6; 34 – Яновец 1; 41 – Скородумка 6; 43 – Овчухи 4; 44 – Овчухи 5; 47 – Овчухи 3; 48 – Новгородское 5; 51 – Новгородское 1; 53 – Новгородское 6; 59 – Садовый 1; 61 – Горицы 2; 66 – Васильково; 68 – Васильково 4; 69 – Васильково 1; 74 – Порецкое 1; 75 – Порецкое 2; 78 – Порецкое 4; 79 – Порецкое 5; 87 – Суворотское 3; 88 – Суворотское 9; 89 – Суворотское 8; 94 – Ославское 3; 98 – Суворотское 1; 109 – Суромна 1; 110 – Боголюбово (Сунгирьское); 112 – Боголюбово (Сунгирьский). Условные обозначения: а – селища с керамическими материалами и вещевыми находками X – начала XI в.; б – городища с керамическими материалами и вещевыми находками X – начала XI в.; в – могильники с погребениями X – начала XII в.; г – местонахождения вещей и керамики X – начала XI в.; д – селища, датированные в широких хронологических рамках X – начала XII в.; е – местонахождения вещей и керамики X – начала XII в.; ж – зона сплошных обследований Суздальской экспедиции ИА РАН; з – современные лесные массивы.

мика ранних типов, фрагменты венчиков сосудов с S-образным или секировидным профилем (типы I, II и IV по: Лапшин, 1992) с плечиком и туловом, покрытым густой линейной орнаментацией. Подобная керамика найдена на 29 поселениях (Тарбаево 1, 4–7; Туртино 4, 5; Федоровское 2–4; Новгородское 1, 5; Скородумка 6; Суромна 1; Овчухи 3, 5; Яновец 1; Садовый 1; Васильково 1 (рис. 6: 25–29); Порецкое 1, 2, 4, 5; Ославское 3; Суворотское 1, 3, 8, 9; Сунгирь), причем на 20 – вместе с лепной средневековой керамикой (кроме Тарбаево 1, 4; Туртино 4; Федоровское 2, 3; Порецкое 1, 5; Суворотское 3; Суромна 1). На селищах Горицы 2 и Овчухи 4 средневековая лепная керамика найдена вместе с круговой древнерусской, датированной в широком интервале XI–XIII вв. Еще на двух памятниках (Тарбаево 8 и Новгородское 6 (рис 5: 17–25)) средневековая лепная керамика найдена вместе с датирующими вещами X–XI вв. Среди вещей, основной период бытования которых приходится на X – первую половину XII в., отметим ножи с узким клиновидным лезвием (Тарбаево 1, 5 (рис. 4: 17) 6, 7; Туртино 4, 5; Федоровское 2–4; Скородумка 6; Новгородское 1, 6; Яновец 1), калачевидные кресала с язычком (Тарбаево 1, 5, 6 (рис. 4: 11, 13); Федоровское 2–4; Яновец 1), ключи от нутряных замков с желудями (Тарбаево 4, 5 (рис 4: 16); Суворотское 8; Новгородское 1, 6); железные боченковидные гирьки, обтянутые бронзой (Тарбаево 5, 6 (рис. 4: 8, 9); Суворотское 8; Сунгирь); грушевидные крестопрорезные бубенчики (Тарбаево 6 (рис. 4: 3); Васильково 1 (рис. 6: 1–4); Суворотское 1 (рис. 10: 10); Суворотское 8 (рис. 7: 2, 6); Сунгирь; Новгородское 6 (рис. 5: 5); Мордыш 1); пластинчатый перстень с выступающим над дужкой полусферическим щитком с растительным орнаментом (Тарбаево 6 (рис. 4: 1); Суворотское 1 (рис. 10: 14)); пластинчатые широкосрединные завязанные перстни, орнаментированные «волчьим зубом» (Тарбаево 5 (рис. 4: 6); Сунгирь); узкопластинчатые перстни, орнаментированные косичкой (Яновец 1); крест-тельник с грубым изображением Распятия (Тарбаево 5 (рис. 4: 4)); подковообразные спиралеконечные фибулы с треугольным сечением дужки Тарбаево 5 (рис 4: 5); Васильково 1 (рис. 6: 8)); подвески из дирхемов (Тарбаево 6: Саманиды, Нух б. Наср, Балх, 952/953 г., рис. 4, 2; Яновец 1: Саманиды, Наср ибн Ахмад, Ма'дан, 320 г.х., 932 г.); желтые многочастные бусы-лимонки (Васильково 1 (рис. 6: 15); Сунгирь); кресты «скандинавского типа» (Сунгирь; Суворотское 8 (рис. 7: 4)).

Очевидно, период жизни части поселений с широкой датой (селища с лепной керамикой без хронологических признаков X–XI вв. и без находок вещей-хроноиндикаторов; селища с круговой керамикой XI–XIII вв., не имеющей признаков для более точной датировки) перекрывает хронологический интервал X – первой половины XII в. Реальное число поселений, существовавших в X – первой половине XII в., могло значительно превышать три с небольшим десятка, однако не все памятники могут быть выделены из общей массы широко датированных.

Поселения X – первой половины XII в. образуют сеть, покрывающую всю территорию южной части Ополья, включая коренную террасу левого берега р. Клязьма, коренную террасу правого берега р. Нерль, берега р. Рпень и водораздельные участки. Одна часть поселений приурочена к основным водным артериям, другая, в том числе поселения, выделяющиеся своими размерами (Тарбаево 5–7; Новгородское 1; Суворотское 3; Суворотское 9), находится в верховьях овражных систем на водоразделах. Поселения варьируются по размерам от небольших – 0,4–1,5 га (Тарбаево 1, 4; Садовый 1; Федоровское 4; Яновец 1) до крупных – более 10 га (Васильково 1; Порецкое 2; Ославское 3). Основными элементами системы расселения являются крупные поселения площадью от 4 до 12 га, представляющие одиночные селища или группы из двух–трех тесно соседствующих селищ, разделенных оврагами. Всего выделяется 11 таких локальных центров, удаленных друг от друга на 2–3 км.

На 14 поселениях этой группы (Тарбаево 5–8; Федоровское 4; Новгородское 6; Яновец 1; городище Васильково, Васильково 1; Суворотское 8, 9; Сунгирь; Суворотское 1; Скородумка 6) и в одном из курганных могильников (Васильково 4) представлены вещевые находки X – начала XI в. В качестве хроноиндикаторов этого времени рассматриваются дирхемы без ушек и отверстий для подвешивания (Васильково 1: фрагмент дирхема, Марваниды, Мумаххид ад-даула Абу Мансур, 1000–1009 гг. (рис. 6: 10); Васильково 4: Бувайхиды, Рукн ад-даула Абу 'Али, Исбахан, 965 г.; Тарбаево 5: фрагмент дирхема булгарского чекана второй половины X в. (рис. 4: 10); Тарбаево 8: Саманиды, Наср ибн Ахмад, по типу Самарканд, с именем халифа ар-Ради или ал-Муттаки, 937–943 гг.); сердцевидные и круглые поясные бляшки (Суворотское 8 (рис. 7: 12, 13); Новгородское 6 (рис. 5: 1)); железные бочонковидные весовые гирьки с медным покрытием (Сунгирь; Тарбаево 5, 6; Суворотское 8); железные пластинчатые кресала (Тарбаево 5 (рис. 4: 7); Новгородское 6 (рис. 5: 8)); железные фитильные трубки (Суворотское 8, 9 (рис. 7: 23); Тарбаево 5: рис. 4: 12); ножи с прямой спинкой (Васильково 1; Сунгирь; Суворотское 1; Суворотское 8, 9 (рис. 7: 25); Новгородское 1, 6; Тарбаево 5 (рис 4: 14, 15), 7). Для выделения этого хронологического горизонта существенны также керамические коллекции с высокой долей лепной керамики (рис. 4: 19, 20, 22), включающие также раннекруговую керамику с S-видным венчиком (тип I по В. А. Лапшину) и сопровождающиеся сериями ножей с узким клиновидным лезвием (Тарбаево 6, 7; Федоровское 4; Суворотское 9). На поселении Тарбаево 5 получены радиоуглеродные даты по образцам углей из ямы и культурного слоя с лепной



Рис. 4. Селища Тарбаево 5, 6. Материалы X – первой половины XII в.:
1–3, 8, 11 – предметы с селища Тарбаево 6; 2–7, 9, 10, 12–22 – предметы с селища Тарбаево 5.
1–6, 10 – цветной металл; 7–9, 11–18 – железо; 19–22 – глина



Рис 5. Селище Новгородское 6. Материалы X – первой половины XII в.:
1–5 – цветной металл, 6–7 – стекло, 8–16 – железо, 17–25 – глина



Рис 6. Селище Васильково 1. Материалы X – первой половины XII в.:
1–14 – цветной металл, 15–16 – стекло, 17–20 – железо, 21–29 – глина



Рис 7. Селище Суворотское 8. Материалы X – первой половины XII в.:
1–20 – цветной металл, 21–29 – черный металл

и раннекруговой керамикой. Две даты, полученные по образцам из ямы: 950–1020 AD (1σ, Ле–9579), 780–970 AD, (1σ, Ле–9580), дают надежное основание для датирования ее заполнения 950–960 гг. Они хорошо согласуются с датировкой третьего образца, отобранного за пределами ямы: 890–990 гг. (1σ, Ле–9581). Радиоуглеродные даты в сочетании с археологическими дают надежное основание для определения нижней даты поселения в пределах третьей четверти X в.

Таким образом, не позднее второй половины X в. в южной части Владимирско-Юрьевского Ополья формируется сеть крупных долговременных поселений, культурный слой которых отличается высокой насыщенностью разнообразными бытовыми остатками, керамикой и предметами из железа. Судя по топографии находок лепной керамики, ранних украшений и бытовых вещей на селищах Васильково 1 (залегают на площади не менее 6 га), Тарбаево 5 и 6 (не менее 7 га), Суворотское 8 (не менее 4 га), Сунгирь (не менее 5 га), значительная их часть изначально складывалась как крупные населенные пункты.

Керамика и вещи XII – первой половины XIII в. присутствуют на 88 поселениях и местонахождениях и составляют наиболее многочисленную группу древностей (рис. 8). К этому времени относится большая часть круговой керамики, включающая распространенные во Владимирско-Юрьевском Ополье типы VII–XI (Лапшин, 1992; Федорина, 2007, с. 33–42), при этом керамика типа VIIIБ рассматривается как характерная для второй половины XII – XIII в., а типа X – как хроноиндикатор середины – второй половины XIII в. (Федорина, 2007, с. 39). В группу вещей, основной период бытования которых ограничен XII–XIII вв., следует включить ключи от замков типа Б (Тарбаево 1, 5, 7; Новгородское 1); калачевидные кресала без язычка (Тарбаево 5, 6; Новгородское 6; Федоровское 3; Яновец 2); топоры типа VI по А. Н. Кирпичникову с двумя парами щековиц (Тарбаево 5–7); фрагменты стеклянных браслетов, гладких и крученых, разного цвета, за исключением гладких черных и коричневых (Мордыш 1 (рис. 9: 19); Тарбаево 5, 7; Туртино 1; Суворотское 1 (рис. 10: 1–3, 5, 6, 8) ; Новгородское 1; Яновец 2); бронзовые пластинчатые щитковоконечные браслеты (Суворотское 1 (рис. 10: 13); Сунгирь); бронзовые рубчатые перстни (Мордыш 1 (рис. 9: 13); Суворотское 1 (рис. 10: 15); Сунгирь); широкосрединные решетчатые двузигзаговые перстни (Суворотское 8); кресты-тельники с шариками на концах (Тарбаево 6; Суворотское 8; Васильково 4); кресты-тельники с эмалью и трехлопастными концами (Васильково 1; Мордыш 1 (рис. 9: 4); Суворотское 8, 9; Тарбаево 5), гладкие прямоконечные энколпионы с черневым изображением креста (Тарбаево 5; Мордыш 1: рис. 9: 7).

Очевидно, к этому же времени относится большинство находок вещей стандартных типов, общий период бытования которых охватывал XI–XIV вв., таких как шиферные пряслица (Васильково 1, 3; Тарбаево 3–6; Туртино 2, 5; Федоровское 2; Скородумка 1; Суворотское 8, 9; Яновец 3; Овчухи 3; Мордыш 1: рис. 9: 20); железные втульчатые ключи от нутряных замков (Тарбаево 1, 3, 5–7; Новгородское 1, 6; Суворотское 1, 8 (рис. 10: 18); Яновец 2; Сунгирь; Раславское 1); свинцовые грузики конической или усеченно-конической формы (Васильково 1; Суворотское 8; Тарбаево 5, 6; Туртино 2, 6); бронзовые шаровидные линейно-прорезные бубенчики (Васильково 1; Мордыш 1 (рис. 9: 8, 9); Тарбаево 1; Туртино 5).

XII–XIII вв. – период максимального роста числа поселений в южной части Владимирско-Юрьевского Ополья. Общая площадь поселений с культурным слоем этого времени – не менее 222 га. Сеть расселения покрывает приречные участки и водоразделы, расстояние между ближайшими одиночными поселениями и локальными группами поселений сокращается до 1–2 км. Основные закономерности в размещении, ландшафтной приуроченности и группировке поселений сохраняются, но их сеть становится гуще. Продолжается развитие 29 поселений, сложившихся в предшествующий период, 11 поселений возникают вблизи старых центров как части принадлежащих к ним локальных групп, 34 формируются на новой основе на ранее не освоенных участках или на местах запустевших поселений. Сохраняется значительный разброс площадей селищ – от 0,1–0,6 до 11–13 га. Варьируют по своим размерам и гнезда – от небольших, состоящих из двух поселений общей площадью 1,4–2,6 га, до крупных общей площадью 10–14 га. Среди прочих заметно выделяется локальная группа поселений у с. Васильково общей площадью 23,2 га. Характерными элементами расселения становятся пары из двух селищ, расположенных рядом друг с другом на противоположных сторонах оврага, зафиксировано девять подобных пар.

В развитии расселения в этот период отчетливо прослеживаются две противоположные тенденции: формирование крупных (10–14 га) сёл с единым пятном застройки или несколькими пятнами на разделенных оврагами площадках (из 13 зафиксированных сёл одна часть выросла на основе ранее возникших поселений, а другая сложилась на новой основе) и образование малодворных (0,1–1,5 га) поселений на неосвоенных участках, преимущественно на оврагах, на расстоянии 1–3 км от материнских селищ. Некоторые малодворные поселения оставались одиночными поселками, другие образовывали пары или были ассоциированы в небольшие гнезда. Поселений площадью от 0,1 до 1,5 га всего 22. Формирование малодворных поселений на оврагах как особого типа поселения прослеживается в южной части Ополья с конца XI – начала XII в. Однако именно во второй половине XII в. образование подобных поселений приобретает массовый характер.

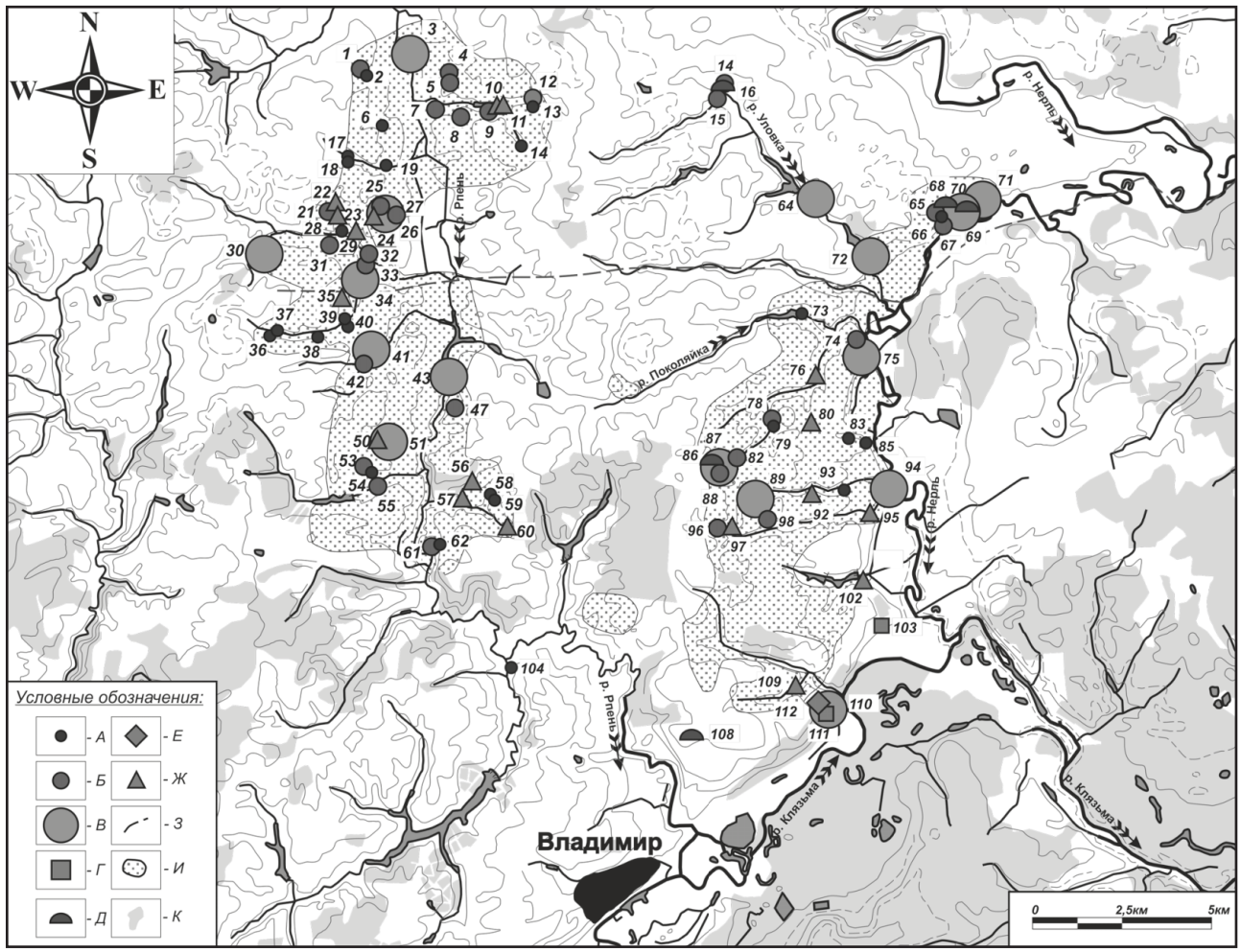


Рис. 8. Археологические памятники второй половины XII – первой половины XIII в. в южной части Владимирско-Юрьевского Ополья:
1 – Туртино 2; 2 – Туртино 3; 3 – Туртино 1; 4 – Туртино 5; 5 – Туртино 4; 6 – Тарбаево 2; 7 – Туртино 6; 8 – Федоровское 1; 9 – Федоровское 5; 10 – Федоровское 6; 11 – Федоровское 7; 12 – Федоровское 2; 13 – Федоровское 3; 14 – Павловское 2; 15 – Павловское 1; 16 – Павловское; 17 – Тарбаево 4; 18 – Тарбаево 3; 19 – Тарбаево 1; 20 – Федоровское 4; 21 – Тарбаево 10; 22 – Тарбаево 11; 23 – Тарбаево 9; 24 – Тарбаево 8; 25 – Тарбаево 7; 26 – Тарбаево 5; 27 – Тарбаево 6; 28 – Яновец 7; 29 – Яновец 6; 30 – Раславское 1; 31 – Яновец 3; 32 – Яновец 4; 33 – Яновец 2; 34 – Яновец 1; 35 – Скородумка 3; 36 – Новая деревня 1; 37 – Новая деревня 2; 38 – Скородумка 4; 39 – Скородумка 1; 40 – Скородумка 2; 41 – Скородумка 6; 42 – Скородумка 5; 43 – Овчухи 4; 47 – Овчухи 3; 50 – Новгородское 4; 51 – Новгородское 1; 53 – Новгородское 6; 54 – Новгородское 7; 55 – Хотенское 1; 56 – Садовый 5; 57 – Садовый 4; 58 – Садовый 3; 59 – Садовый 1; 60 – Садовый 2; 61 – Горицы 2; 62 – Горицы 3; 64 – Улово 1; 65 – Васильково 3; 66 – Васильково; 67 – Васильково 2; 68 – Васильково 4; 69 – Васильково 1; 70 – Васильково 5; 71 – Мордыш 1; 72 – Васильково 6; 73 – Борисовское 1; 74 – Порецкое 1; 75 – Порецкое 2; 76 – Порецкое 6; 78 – Порецкое 4; 79 – Порецкое 5; 80 – Порецкое 3; 82 – Суворотское 4; 83 – Ославское 1; 85 – Ославское 2; 86 – Суворотское 12; 87 – Суворотское 3; 88 – Суворотское 9; 89 – Суворотское 8; 92 – Ославское 8; 93 – Ославское 5; 94 – Ославское 3; 95 – Ославское 4; 96 – Суворотское 5; 97 – Суворотское 6; 98 – Суворотское 1; 102 – Боголюбово 3; 103 – Боголюбово 1 (Боголюбское); 108 – Доброе; 109 – Суромна 1; 110 – Боголюбово (Сунгирьское); 111 – Боголюбово 2 (Сунгирьское, Чаша); 112 – Боголюбово (Сунгирьский).
Условные обозначения: а – селища площадью от 0.25 до 1.5 га; б – селища площадью от 1.5 до 4.5 га; в – селища площадью от 4.5 до 14 га; г – городища; д – курганные могильники; е – грунтовые могильники; ж – местонахождения; з – граница между Суздальским и Владимирским княжеством, реконструированная по поземельным документам XV–XVI вв.; и – зона сплошных обследований Суздальской экспедиции ИА РАН; к – современные лесные массивы



Рис. 9. Селище Мордыш 1. Вещевой материал XII–XIII вв.:
1–18 – цветной металл; 19 – стекло; 20 – камень; 21–24 железо



Рис. 10. Селище Суворотское 1. Вещевой материал XII–XIII вв.:
1–8 – стекло, 9–15 – цветной металл, 16–21 – железо



Рис 11. Селище Тарбаево 1. Вещевой материал XII–XIII вв.: 1–19 – железо

Характер культурного слоя, насыщенного керамикой, печной обмазкой и камнями с термическими сколами, и многочисленные находки бытовых и хозяйственных вещей свидетельствуют о том, что большая часть «малых» селищ представляла собой обычные стационарные поселения, а не временные хозяйственные комплексы.

Керамика и вещевые находки второй половины XIII–XV вв. зафиксированы на 50 поселениях и местонахождениях (рис. 12). Одним из важных хроноиндикаторов второй половины XIII в. следует считать керамику типа X – сосуды с округлым мягкоизогнутым венчиком (Федорина, 2007, с. 39). Для выделения этого хронологического горизонта существенны находки золотоордынских серебряных монет (Васильково 6; Раславское 1; Сунгирьское селище); прямоугольных удлиненных кресал (Тарбаево 1; Федоровское 3); кудельных булавок (Федоровское 2; Сунгирьское селище); топоров с симметричным лезвием (Федоровское 1); цельнолитых грибовид-

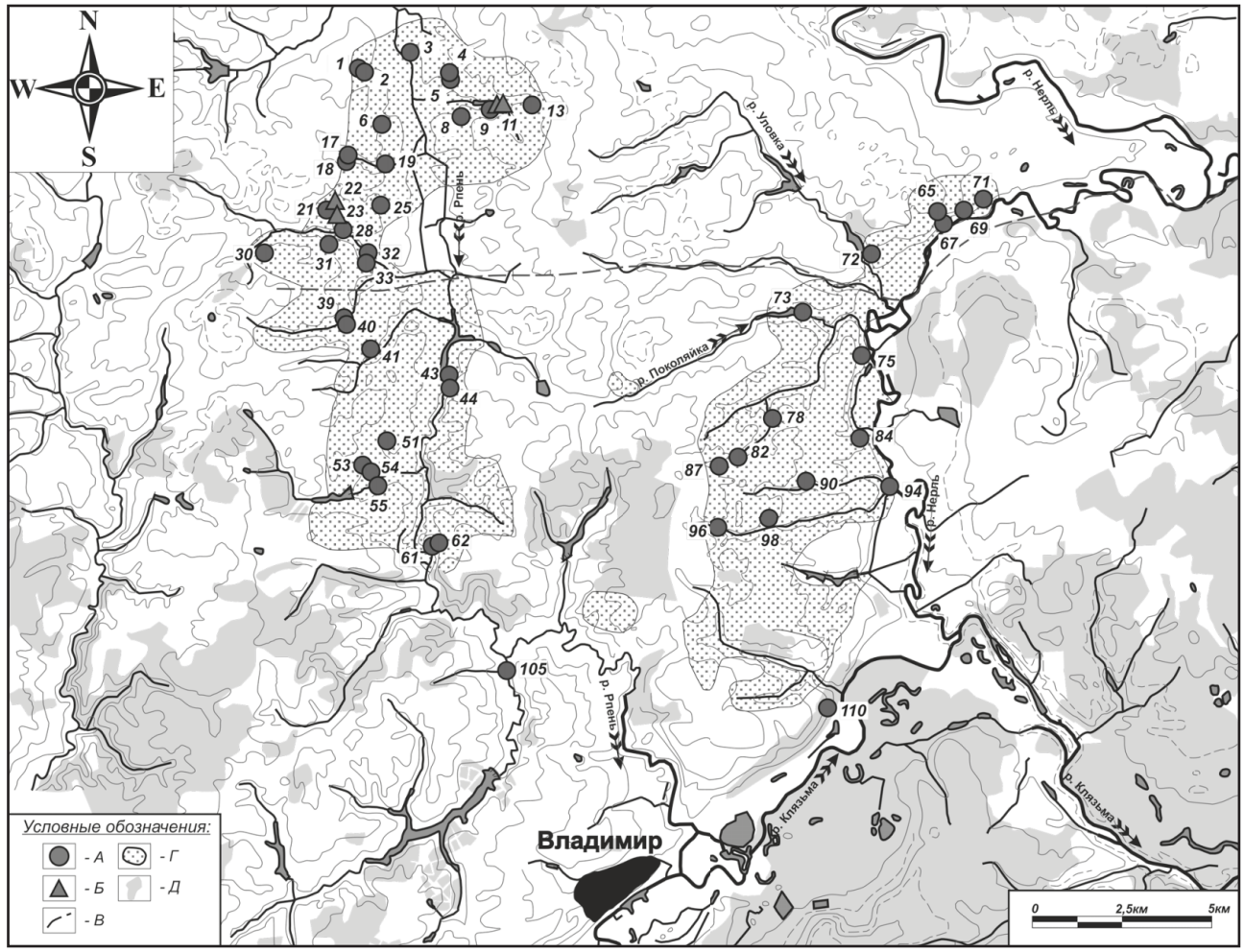


Рис. 12. Археологические памятники второй половины XIII–XV в. в южной части Владимирско-Юрьевского Ополья:
1 – Туртино 2; 2 – Туртино 3; 3 – Туртино 1; 4 – Туртино 5; 5 – Туртино 4; 6 – Тарбаево 2; 8 – Федоровское 1; 9 – Федоровское 5; 11 – Федоровское 7; 13 – Федоровское 3; 17 – Тарбаево 4; 18 – Тарбаево 3; 19 – Тарбаево 1; 21 – Тарбаево 10; 22 – Тарбаево 11; 23 – Тарбаево 9; 25 – Тарбаево 7; 28 – Яновец 7; 30 – Раславское 1; 31 – Яновец 3; 32 – Яновец 4; 33 – Яновец 2; 39 – Скородумка 1; 40 – Скородумка 2; 41 – Скородумка 6; 43 – Овчухи 4; 44 – Овчухи 5; 51 – Новгородское 1; 53 – Новгородское 6; 54 – Новгородское 7; 55 – Хотенское 1; 61 – Горицы 2; 62 – Горицы 3; 65 – Васильково 3; 67 – Васильково 2; 69 – Васильково 1; 72 – Васильково 6; 73 – Борисовское 1; 75 – Порецкое 2; 78 – Порецкое 4; 82 – Суворотское 4; 84 – Ославское 1а; 87 – Суворотское 3; 90 – Ославское 9; 94 – Ославское 3; 96 – Суворотское 5; 98 – Суворотское 1; 105 – Сновицы 3; 110 – Боголюбово (Сунгирьское).
Условные обозначения: а – селища; б – местонахождения; в – граница между Суздальским и Владимирским княжеством, реконструированная по поземельным документам XV–XVI вв.; г – зона сплошных обследований Суздальской экспедиции ИА РАН; д – современные лесные массивы

ных пуговиц с тисненым орнаментом в виде концентрических кругов (Туртино 2; Васильково 6; о хронологии этих предметов см. Сарачева, 2007, с. 84, 85, рис. 4, 9, 10); щитковых перстней с изображениями ладони на щитке; фрагментов кашинной керамики, железной поясной гарнитуры (Сунгирьское селище); ножей с накладными рукоятями (Васильково; Раславское 1; Скородумка 6); плоского срезня с упором с двумя круглыми отверстиями посредине пера (Тарбаево 7).

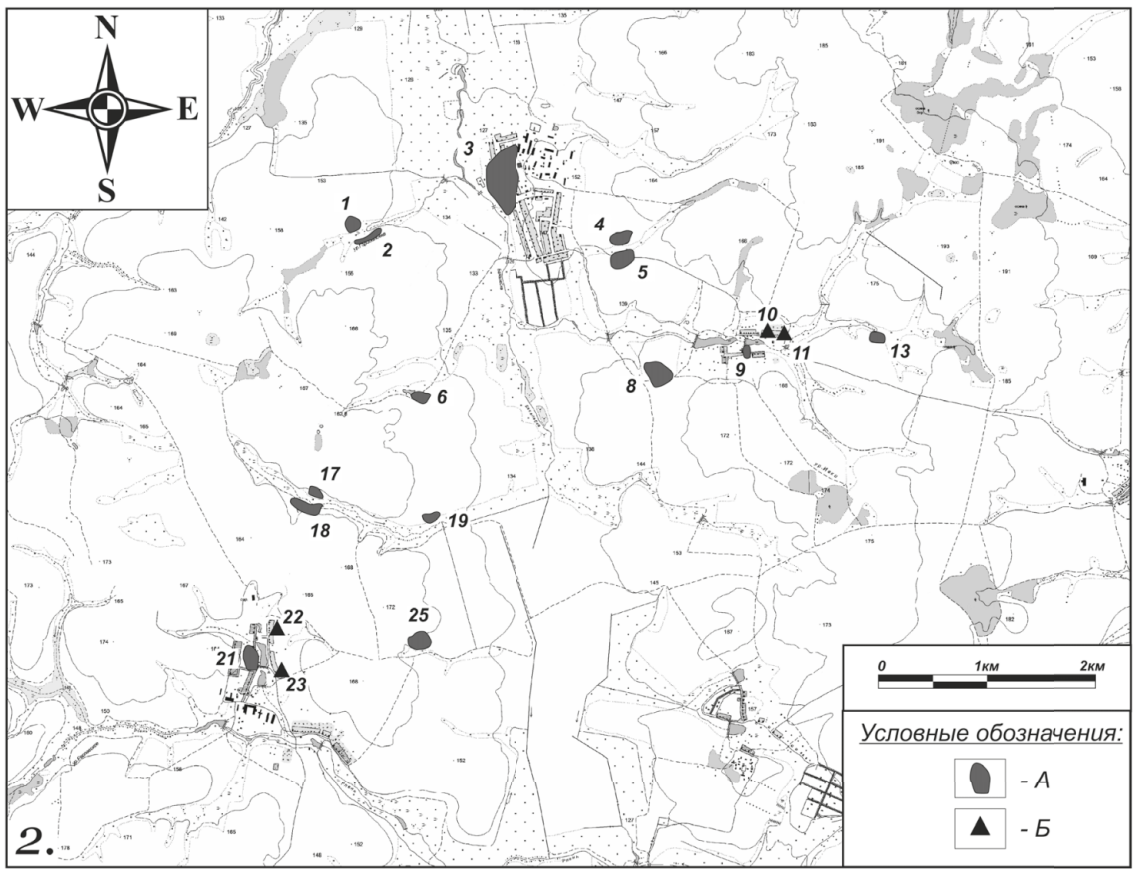
Основу сети расселения второй половины XIII–XV вв. составляли поселения, возникшие в предшествующий период. Лишь семь селищ и местонахождений (Тарбаево 9; Овчухи 5; Сновицы 2, 3; Федоровское 6, 7; Ославское 9) связаны с новыми участками, остававшимися не освоенными в XII – первой половине XIII в. Общее количество поселений сократилось примерно на треть, однако в действительности спад был более значительным, поскольку на ряде поселений с культурным слоем XII–XIII вв. керамика второй половины XIII–XIV вв. была представлена лишь на отдельных участках (рис. 13: А, Б). Тенденция к созданию малодворных поселений, обозначившаяся в предшествующий период, в удельное время не получила продолжения в южной части Владимирско-Юрьевского Ополья. Малочисленность керамики второй половины XIII–XV вв. на небольших селищах на оврагах, очевидно, указывает на то, что продолжительность их существования после середины XIII в. была небольшой, основная масса поселений запустела во второй половине XIII или первой половине XIV вв. Запустел и ряд крупных поселений, стабильно развивавшихся на своих первоначальных местах со второй половины – конца X в. (Васильково 1; Тарбаево 5, 6; Суворотское 8). Тем не менее основная масса крупных поселений продолжила свое существование в удельный период, крупное село окончательно становится в этот период основной единицей расселения.

Для оценки преемственности в развитии расселения существенны данные о времени и характере освоения территории сёл, упоминания о которых содержатся в актах и писцовых книгах XV–XVI вв. или писцовых книгах конца XVI – первой трети XVII в. Обследованиями 2006–2013 гг. охвачено 13 исторических сёл. На их территории зафиксированы средневековые селища, культурный слой которых содержит датирующие материалы XI – первой половины XIII в., или местонахождения керамики этого времени. На территории семи сёл (Порецкое, Ославское, Овчухи, Хотенское, Горицы, Туртино, Раславское) находятся крупные селища, превосходившие по размерам остальные поселения в окружающих микрорегионах: в этих случаях мы можем говорить о полной преемственности в развитии сёл с XI–XII вв. В шести случаях картина оказывается более сложной: наиболее крупные и насыщенные средневековыми находками селища локализуются за пределами исторических сёл (Тарбаево, Федоровское, Суворотское, Новгородское, Яновец), иногда непосредственно примыкают к ним (Васильково), тогда как на территории сёл зафиксированы небольшие селища, возникшие в XII – первой половине XIII в. как дочерние поселения вблизи основных поселков. Таким образом, хотя в основе сети расселения раннего Нового времени в южной части Владимирско-Юрьевского Ополья лежат средневековые поселки, прямая преемственность между локальными центрами домонгольского времени и сёлами эпохи Московской Руси в половине случаев отсутствует.

Анализ пространственного размещения средневековых памятников в южной части Владимирско-Юрьевского Ополья и динамики освоения этой территории показывает, что развитие средневекового расселения на всей территории Ополья имело сходный характер и было подчинено общим закономерностям. Организация расселения во «владимирской» части Ополья в основе своей близка структурам, исследованным в округе Суздаля (Макаров и др., 2005, с. 196–216), в обоих случаях выявлена плотная сеть, образованная крупными поселениями, покрывающая приречные участки и водоразделы и имеющая не линейный, а каркасно-сетевой характер. Общность ярко проявляется в ландшафтной приуроченности и топографии поселений, располагающихся на оврагах и краях речных террас, в единой динамике роста, достигающего максимума во второй половине XII – первой половине XIII вв., наконец, в устойчивости сети расселения, многие узлы которой, сформировавшись в X–XII вв., продолжали свое существование до Нового времени или сохранились до наших дней (Макаров, 2012, с. 67). Исключительно высокая плотность расселения, ранее зафиксированная под Суздалем, характерна и для «владимирской» части Ополья: на каждые полтора квадратных километра обследованной территории здесь приходится по одному поселению XII–XIII вв.

Новые материалы показывают, что освоение древнерусскими колонистами южной части Владимирско-Юрьевского Ополья началось не позднее второй половины X в. и динамично развивалось в XI – начале XII в. К моменту выделения Владимира в качестве самостоятельной волости Андрея Юрьевича («волость Володимерь» впервые упомянута в летописи под 1151 г. (Лаврентьевская летопись, 1997, стб. 335); В. А. Кучкин полагает, что Владимир был отдан Юрием Долгоруким Андрею ранее 1148 г. (1984, с. 86)) на этих землях существовала плотная сеть сельского расселения. Она представляла собой часть общего массива средневековых поселений, сформировавшегося на всей территории Ополья; отдельной зоны концентрации поселений, приуроченной к Клязьме и низовьям Нерли, не прослежива-


N
W
E
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
17
18
19
20
22
21
24
25
26
27
0
1км
2км
Условные обозначения:
- А
- Б
1.


N
W
E
S
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
17
18
19
22
21
23
25
0
1км
2км
Условные обозначения:
- А
- Б
2.

ется. Более того, на южном краю Ополья, непосредственно прилегающем к Клязьме, сегодня отмечена наименьшая плотность средневековых селищ.

Существование обширных белых пятен на археологической карте Ополья и недостаток письменных источников, позволяющих точно локализовать границу Владимирского и Суздальского княжеств на всем ее протяжении, не позволяют окончательно прояснить вопрос о соотношении этой границы и сети средневековых поселений. В поречье Нерли, где эта граница может быть локализована с наибольшей точностью (Кучкин, 1984, с. 199–201), она разделяет локальные группы поселений вблизи сёл Васильково и Порецкое, отстоящие друг от друга лишь на 3,5 км. Одно из крупных селищ находится в 1 км от речки Чертовик, известной как рубеж суздальских и владимирских земель. Для точного размежевания владимирских и суздальских владений на Рпени в источниках XV–XVI вв. нет данных, однако при любой конфигурации границы она должна была пересекать плотный массив средневековых поселений между с. Туртино и д. Скородумка. Создается впечатление, что на обоих участках граница проходила не по пустующим территориям, а разрезала уже сложившуюся сеть расселения.

Специфика развития расселения в южной части Ополья проявляется в том, что в отличие от Суздальской округи во второй половине XIII–XIV вв. стабильное существование примерно половины крупных поселений было прервано: они полностью запустели, были перенесены на новые места или сильно сократились в размерах. Можно полагать, что их упадок связан с монгольским разгромом и военными событиями второй половины XIII в., когда Владимир трижды разорялся ордынскими отрядами (Кучкин, 1984, с. 106, 107). Очевидно, военные катаклизмы и политическая нестабильность оказали воздействие не только на состояние стольного города, но и на сложившуюся систему сельской жизни, нарушив стабильность и устойчивость сельских поселений, в том числе сформировавшихся еще во второй половине X–XI вв.

Хотя основными элементами системы расселения, существовавшей во Владимирско-Юрьевском Ополье с конца I тыс. н. э. до Нового времени были крупные села, по-видимому, именно этот регион – один из наиболее ранних очагов формирования малодворных сельских поселений на водоразделах, за которыми с XIV в. закрепилось наименование «деревня». Этот тип поселения, определивший облик сельских ландшафтов Московской Руси и всего Центра и Севера Русской равнины в позднее Средневековье и раннее Новое время (Веселовский, 1936, с. 27–32; Кочин, 1965, с. 117; Чернов, 1991, с. 112–130), не характерен для сельских территорий Ополья в XIV–XV вв., но ярко представлен среди памятников домонгольского времени. Селища площадью 0,5–1,5 га, приуроченные к верховьям овражных систем, иногда – к слабо выраженным в рельефе понижениям и отвершкам оврагов, которые могли запруживаться в Средневековье, в 2002–2005 гг. были исследованы под Суздалем (Шполянский, 2008, с. 160). В последние годы они выявлены во «владимирской» части Ополья. Первое появление подобных поселений должно быть отнесено к концу XI – первой половине XII в. Датирующие материалы этого времени собраны на владимирских селищах Садовый 1, Тарбаево 1 и 4, а ранее – под Суздалем на поселениях Вишенки 3, 6, 6а, Кибол 11, Торки 4. Число подобных поселений существенно увеличилось во второй половине XII вв., однако во второй половине XIII–XIV вв. большинство из них в Ополье запустело (Шполянский, 2008, с. 168–170).

Очевидно, устройство малодворных земледельческих поселений было эффективным способом продвижения колонизации на водораздельные территории, открывало возможности для более полного использования земельных ресурсов, в том числе для освоения отдельных небольших наиболее удобных для земледелия участков. Отказ от устройства подобных поселений во Владимирско-Юрьевском Ополье во второй половине XIII – XIV в., когда малодворные поселения с тянущимися к ним сельскохозяйственными угодьями получают массовое распространение на Северо-Востоке, можно объяснить

Рис. 13. Средневековые селища в верховьях р. Рпень вблизи с. Тарбаево и Туртино.
***1 –** расселение во второй половине XII – первой половине XIII в.:*
1 – Туртино 2; 2 – Туртино 3; 3 – Туртино 1; 4 – Туртино 5; 5 – Туртино 4; 6 – Тарбаево 2;
7 – Туртино 6; 8 – Федоровское 1; 9 – Федоровское 5; 12 – Федоровское 2; 13 – Федоровское 3;
17 – Тарбаево 4; 18 – Тарбаево 3; 19 – Тарбаево 1; 20 – Федоровское 4; 21 – Тарбаево 10;
22 – Тарбаево 11; 24 – Тарбаево 8; 25 – Тарбаево 7; 26 – Тарбаево 5; 27 – Тарбаево 6.
***2** – расселение во второй половине XIII – XIV в.:*
1 – Туртино 2; 2 – Туртино 3; 3 – Туртино 1; 4 – Туртино 5; 5 – Туртино 4; 6 – Тарбаево 2;
8 – Федоровское 1; 9 – Федоровское 5; 10 – Федоровское 6; 11 – Федоровское 7; 12 – Федоровское 2;
13 – Федоровское 3; 17 – Тарбаево 4; 18 – Тарбаево 3; 19 – Тарбаево 1; 20 – Федоровское 4;
21 – Тарбаево 10; 22 – Тарбаево 11; 23 – Тарбаево 9; 24 – Тарбаево 8; 25 – Тарбаево 7.
Условные обозначения: А – селища; Б – местонахождения

тем, что на плодородных темноцветных почвах Ополья более продуктивным путем оказалось сплошное освоение земельных массивов с устройством крупных сел. Однако опыт устройства малодворных поселений оказался востребован в других областях Северо-Восточной Руси. Таким образом, историческое ядро Владимиро-Суздальской земли стало местом выработки новых стратегий земледельческого освоения лесной полосы, новой организации расселения и землепользования, обеспечивших экономический рост Северо-Восточной Руси в XIII–XV вв.

Сеть сельских поселений, сложившаяся во второй половине X–XI вв. в южной части Ополья, стала одним из необходимых условий появления здесь городского центра. Однако возникновение Владимира-на-Клязьме не было детерминировано внутренним ростом, формированием в этом районе отдельного очага расселения. Очевидно, выделение основанного княжеской властью Владимира в самостоятельную волость сопровождалось разделом сельских территорий Ополья, первоначально формировавшихся как целостная территориально-административная область и управлявшихся в XI в. из Суздаля.

Работа выполнена в рамках серии грантов РФФИ: №№ 11-06-00339-а, 11-06-10003-к, 12-06-10018-к, 13-06-10028к.

Определение куфических монет произведено А. А. Гомзиным, которому авторы статьи выражают искреннюю признательность.

Источники и литература

Археологическая карта России. Владимирская область, 1995. М.

Алешинская А. С., Кочанова М. Д., Макаров Н. А., Спиридонова Е. А., 2008. Становление аграрного ландшафта Суздальского Ополья в Средневековье (по данным археологических и палеоботанических исследований) // РА. № 1.

Веселовский С. Б., 1936. Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV–XVI вв. // ИГАИМК. Вып. 139.

Воронин Н. Н., 1959. Из ранней истории Владимира и его округи // СА. № 4.

Воронин Н. Н., 1961. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв.: в 2-х т. Т. I: (XII столетие). М.

Горюнова Е. И., 1961. Этническая история Волго-Окского междуречья. М. (МИА. № 94).

Доброхотов В., 1852. Древний Боголюбов-город и монастырь и его окрестности. М.

Жарнов Ю. Э., 2009. Возвращение культурных ценностей древнего города // Археологические открытия. Европейская Россия, 1991–2004 гг. М.

Зеленцова О. В., Кузина И. Н., Милованов С. И., 2011. Древнерусские усадьбы из раскопок в Мономаховом городе Владимира в 2008 г. // Археология Владимиро-Суздальской земли: матер. науч. семинара. Вып. 3. М.

Исланова И. В., 2008. Городище Отмичи // Раннеславянский мир и его соседи. Вып. 11. М.

Исланова И. В., 2010. Культурная принадлежность древностей середины I тыс. н. э. Верхнего Поволжья // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Ч. 1. Тула.

Кабаев Д. А., Гальчук Л. Л., 2007. Охранные исследования во Владимире на территории «Нового города» в 2005 г. (раскопки на ул. Гагарина, 2) // Археология Владимиро-Суздальской земли: матер. науч. семинара. Вып. 1. М.

Кочин Г. Е., 1965. Сельское хозяйство на Руси в период образования Русского централизованного государства, конец XIII – начало XVI в. М.; Л.

Кучкин В. А., 1984. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М.

Лаврентьевская летопись, 1997 // ПСРЛ. Т. I.

Лапшин В. А., 1992. Керамическая шкала домонгольского Суздаля // Древнерусская керамика. М.

Леонтьев А. Е., 1996. Археология мери: к предыстории Северо-Восточной Руси. М.

Макаров Н. А., 2009. Археологическое изучение Северо-Восточной Руси: колонизация и культурные традиции // Вестник РАН. Вып. 12.

Макаров Н. А., 2012. Средневековые селища вблизи сёл Тарбаево и Туртино в Суздальском Ополье // Археология Владимиро-Суздальской земли: матер. науч. семинара. Вып. 4. М.; СПб.

Макаров Н. А., Красникова А. М., Зайцева И. Е., 2012. Финские древности первой половины – середины I тыс. н. э. в Суздальском Ополье // Историко-культурное наследие и духовные ценности России: Программа фундаментальных исследований Президиума РАН / отв. ред. Деревянко А. П., Куделин А. Б., Тишков В. А. М.

Макаров Н. А., Леонтьев А. Е., Шполянский С. В., 2005. Сельское расселение в центральной части Суздальской земли в конце I – первой половине II тыс. н. э.: новые материалы // Русь в IX–XIV веках. Взаимодействие Севера и Юга / отв. ред. Н. А. Макаров, А. В. Чернецов. М.

Массалитина Г. А., 1994. Мощинская культура: автореф. дис. … канд. ист. наук. М.

Массалитина Г. А., 2008. Керамический комплекс нижнего слоя городища Воротынск // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Вып. 1. Тула.

Насонов А. Н., 1951. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. М.

Очеретин И. А., Родина М. Е., 2011. Клад украшений из раскопок 2008 г. во Владимире // Археология Владимиро-Суздальской земли : матер. науч. семинара. Вып. 3. М.

Сарачева Т. Г., 2007. Ювелирные изделия второй половины XIII–XVI в. на территории Северо-Восточной Руси // КСИА. Вып. 221.

Шполянский С. В., 2008. Заселение водоразделов в Суздальском Ополье (по материалам исследований последних лет) // Сельская Русь в IX–XIV вв. М.

Уваров А. С., 1872. Меряне и их быт по курганным раскопкам. М.

Федорина А. Н. Отчет о полевых исследованиях в Александровском, Суздальском, Судогодском и Камешковском р-нах Владимирской обл. в 2004 г. // Архив ИА РАН.

Федорина А. Н., 2007. Керамические комплексы средневековых поселений Вишенки 3 и Кистыш 3: сравнительные характеристики // Археология Владимиро-Суздальской земли : матер. науч. семинара. Вып. 1. М.

Чернов С. З., 1991. Археологические данные о внутренней колонизации Московского княжества XIII–XV вв. и происхождении волостной общины // СА. № 1.

Summary

N. A. Makarov, A. N. Fedorina, S. V. Shpolyanskii

Land and Town: Medieval Settlements in the Vladimir-on-the-Klyazma Area

This article is devoted to the results of a cycle of research projects in the southern part of the Vladimir-Yuriev (Suzdal) Opolye, in territories near the border between the Suzdal and Vladimir princedoms of the 14th century and also to the South of that border. As a result of recent research carried out in 2006–2013, data have been collected relating to 103 archaeological sites and localities in the southern part of the Opolye with a total area of 105 square kilometres. New materials demonstrate that the settling of the southern part of the Vladimir-Yurievo Opolye by medieval Russian colonists began no later than the second half of the 10th century and developed apace in the 11th and early – 12th centuries. By the time Vladimir had emerged as an independent district under Andrei Yurievich, there existed a dense network of rural settlements in these lands. This network was part of a general spread of medieval settlements, which had taken shape throughout the territory of the Opolye. The organization of this spread of settlements in the 'Vladimir' part of the Opolye is basically similar to the structures which have been studied in the Suzdal area and they constitute a dense network formed of large settlements covering tracts of land near rivers and watersheds which provide its outer framework. The specific characteristic of settlement in the southern part of the Opolye lies in the fact that in the late – 13th and 14th centuries the stable existence of roughly half these large settlements was interrupted: they were totally abandoned and moved to new sites or they underwent drastic reductions in size. It would appear that this decline was linked with the Mongol rout and the military events in the second half of the 13th century. Evidently the military cataclysms and the political instability had an impact not just on the state of the capital, but also on the patterns of rural life which had taken shape, destroying the stability and sustainability of the rural settlements, including those which had become established as early as the second half of the 10th and the 11th century.

Н. Н. Фараджева, О. А. Тарабардина, П. Г. Гайдуков

Усадьбы Ярышевой улицы Людина конца средневекового Новгорода в X в. (по материалам Троицкого раскопа)*

Важнейшим достижением археологического изучения Новгорода второй половины XX в. являются широкомасштабные раскопки, позволившие изучить целые кварталы средневекового города. Троицкий раскоп, заложенный к югу от Новгородского кремля, является вторым после Неревского по масштабам исследований (рис. 1). Начиная с 1973 г. здесь в результате планомерных полевых работ Новгородской археологической экспедиции МГУ, ИА РАН и Новгородского музея-заповедника на 14 раскопах изучен обширный участок Людина конца средневекового Новгорода общей площадью более



Рис. 1. План Новгорода с обозначением раскопов. Троицкий раскоп отмечен стрелкой

*Статья подготовлена в рамках проекта «Усадебная планировка, стратиграфия и хронология северо-западных усадеб Троицкого раскопа Новгорода», поддержанного грантом РГНФ (№ 11-01-00347а).

7 000 кв. м. Троицкий раскоп затронул территорию одного из древнейших районов города. В этом месте сохранились напластования X в., изучение которых имеет первостепенное значение для представления о формировании и сложении средневекового Новгорода – крупнейшего городского центра Северо-Западной Руси.

В пределах Троицкого раскопа раскрыты мостовые трех средневековых улиц: Пробойной, идущей вдоль берега р. Волхов, и пересекающих ее Ярышевой[1] и Черницыной. Исследованы усадьбы, относящиеся к этим улицам: всего 18 дворов, девять из которых попали в пределы раскопа целиком или почти целиком. Ярышева улица вошла в раскоп лишь небольшим участком длиной 13 м, однако в ходе разведочных шурфовочных работ 1996 г. удалось локализовать точное направление уличной трассы близ перекрестка, что позволило реконструировать планировку и размеры усадебных участков в этой части средневекового квартала Людина конца (Гайдуков, Тихонов, 1997) (рис. 2–3).

Общая характеристика и методика исследования усадеб Ярышевой улицы, формирование планировочной структуры

Четыре усадьбы Ярышевой улицы, получившие буквенные обозначения Р, И, П и О, располагались к югу от перекрестка Ярышевой и Пробойной улиц. Они исследовались на площади смежных Троицких раскопов VIII–XI в течение пятнадцати полевых сезонов (1984–1998 гг.). К числу самых ранних принадлежат только три из них: усадьбы Р, И и П. Возникновение усадьбы О, самой западной из усадеб Ярышевой улицы, связано с более поздним временем.

Угловая усадьба Р, исследованная на раскопе Троицкий XI, располагалась к юго-западу от перекрестка Ярышевой и Пробойной улиц. Северная часть двора выходила на Ярышеву улицу, а восточная – на Пробойную. Усадьба Р вошла в пределы раскопа лишь своей южной оконечностью. Исследован лишь юго-западный угол владения. При этом южная граница усадьбы Р прослежена почти на всю длину, за исключением небольшого отрезка, примыкающего к Пробойной улице. В среднем площадь исследованной части усадьбы Р не превышала 70 кв. м, что составляет примерно девятую часть всего комплекса.

С запада к усадьбе Р примыкает усадьба И. В пределах исследования (раскопы Троицкий VIII, X и XI) оказалось 350 кв. м, что составляет около 2/3 от общей площади этой усадьбы.

Третьим двором Ярышевой улицы к западу от ее пересечения с Пробойной является усадьба П, изученная практически полностью на раскопах Троицкий IX–X. За пределами исследований остался лишь северо-восточный угол двора (площадью около 25 кв. м), примыкающий к Ярышевой улице, а для усадебного комплекса X–XI вв. – более значительный участок вдоль его западной границы. Археологически изученная площадь усадьбы П раннего времени равна 780 кв. м.

Северная граница всех дворов выходила на Ярышеву улицу, с южной стороны территория усадеб ограничена частоколами, разделяющими владения Ярышевой и Черницыной улиц.

В процессе полевых работ на каждом раскопе выстраивалась своя ярусология с отдельной датировкой сооружений и строительных ярусов[2], причем многие сооружения оказались разрезанными границами раскопов. Это обстоятельство сделало необходимым создание общей для всей площади раскопов ярусологии (выявление цельных строительных комплексов, слагающих каждый из ярусов) и общей датировки ярусов с учетом данных дендрохронологии и анализа стратиграфического контекста.

Источниковедческие возможности для решения этой сложной задачи применительно к усадьбам Ярышевой улицы оказались чрезвычайно благоприятными. Северная граница раскопов X и XI общей протяженностью 73 м пересекала усадьбы Р, И и П с запада на восток. По ней выполнен стратиграфический разрез. В его западную оконечность вошли срезы настилов мостовых Ярышевой улицы (27 ярусов), а в восточную – Пробойной улицы (28 ярусов). Для многих из них получены надежные дендродаты, послужившие основой для датировки впервые сформированных для всех раскопов сводных строительных горизонтов. Проанализированы также дополнительные стратиграфические разрезы (профили бортов раскопов VIII–XI), дополняющие общую стратиграфическую картину.

При формировании сводных строительных горизонтов учтены и в ряде случаев скорректированы результаты предыдущих исследований по хронологии Троицкого раскопа (Гайдуков, Дубровин, Тарабардина, 2001; Тарабардина, 2007, с. 9–13), а также работы по синхронизации строительных ярусов соседних раскопов, основанных на стыковке построек, выявленных на пограничных участках (Фараджева, 2009а; 2010а).

На основе комплексного анализа имеющихся планиграфических, стратиграфических и дендрохронологических данных выполнены чертежи свод-

[1] Первое летописное упоминание Ярышевой улицы относится к 1194 г.

[2] Первоначальная датировка сооружений Троицких VIII–X раскопов выполнена А. Ф. Урьевой, Троицкого XI раскопа – О. А. Тарабардиной.

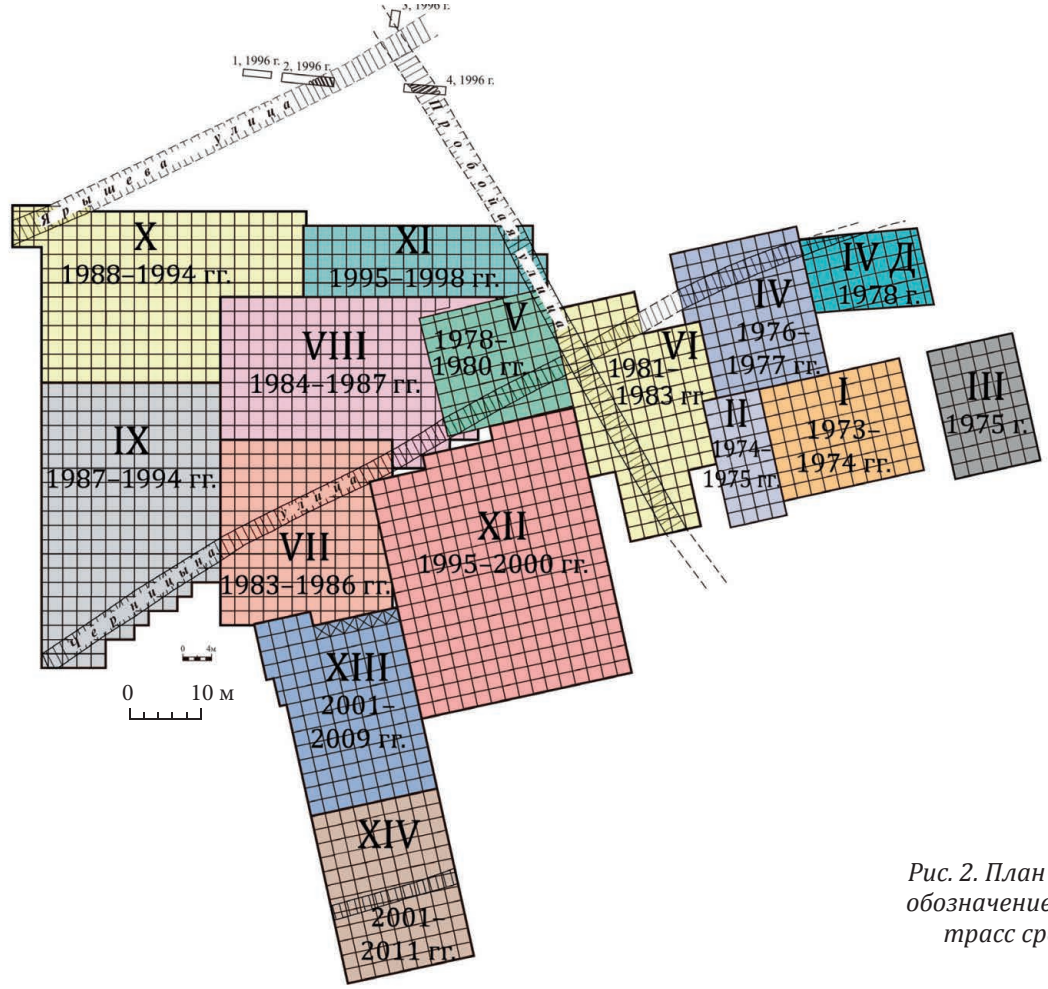


Рис. 2. План Троицкого раскопа с обозначением границ раскопов и трасс средневековых улиц

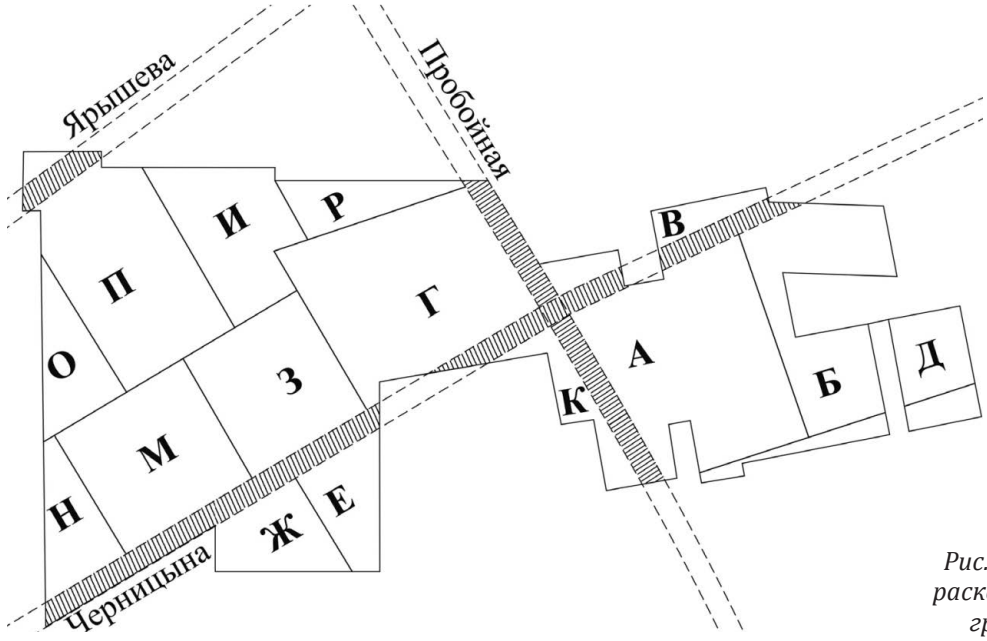


Рис. 3. План-схема Троицкого раскопа с обозначением улиц и границ усадеб (на XIII в.)

ных строительных горизонтов[3], отображающих эволюцию застройки северо-западной группы усадеб Троицкого раскопа на протяжении продолжительного временного отрезка – с 30-х гг. X в. до середины XV в. Настоящая работа посвящена рассмотрению существования этих усадеб в X в. Хронологию начального периода определяют дендродаты 20 датированных сооружений усадеб Р, И и П, а также трех ранних ярусов мощения Пробойной улицы (ярусы 27П, 28П и 29П). Нижние ярусы мостовых Ярышевой улицы материалов для дендрохронологического исследования не дали (см. таблицу 1). Имеющийся материал позволил подробно изучить динамику застройки каждой усадьбы и всего исследуемого городского участка, что существенно отличает Троицкий раскоп от Неревского, ранняя хронология которого базируется лишь на отдельных дендродатах мостовых (Колчин, 1963, с. 90).

Заселению участка, занимаемого усадьбами Ярышевой улицы, предшествовало его хозяйственное освоение. В первой четверти X в. западный участок, позднее занятый усадьбами П и И, использовался под распашку: следы перекрещивающихся и параллельных борозд обнаружены на уровне материка на IX и X раскопах, восточнее же (на XI раскопе) располагались луговые угодья. Исследователями погребенной почвы на Троицком раскопе рассмотрены две модели развития территории, согласно которым в одном случае древнейшие усадьбы Р и Г по Ярышевой и Черницыной улицам существовали одновременно с пашней, а в другом – пашня предшествовала по времени застройке всего участка в целом (Александровский, Гайдуков, Кренке, 1999; Александровская, Александровский, Гайдуков, Кренке, 2000, с. 35).

Наблюдения за характером первоначального микрорельефа и вновь полученные данные по датировке построек усадеб Ярышевой улицы вносят дополнительные аргументы для обоснования второй из предложенных моделей. Существующий перепад материковой поверхности, имевший значительный уклон с запада на восток (в пределах исследованной территории он составляет около 130 см), объясняет пригодность более высокого и сухого участка для пашни. В то же время более низкий и влажный участок луговины, впоследствии занятый усадьбами, примыкающими к Пробойной улице (в том числе усадьбой Р), не возделывался.

Новые данные по датировке ранних строительных горизонтов, полученные благодаря дополнительным дендродатам, свидетельствуют о заселении всей рассматриваемой территории одновременно: возникновение древнейшей застройки на усадьбах Р, И и П относится к 30-м гг. X в. Дневная поверхность древнейших строительных горизонтов определялась формой первоначального микрорельефа – выраженным уклоном материковой поверхности с запада на восток. В пределах усадьбы П уклон составлял около 60 см, на усадьбе И – около 40 см, на усадьбе Р – от 10 до 15 см[4].

Начальный период возникновения и формирования городской застройки в квартале, ограниченном Ярышевой, Черницыной и Пробойной улицами, продолжался около семи десятилетий: с 30-х гг. X в. до рубежа X–XI вв. К этому времени относятся древнейшие постройки, открытые на площади усадеб Р, И и П, ограды, разделяющие дворы, и первоначальное мощение трассы Пробойной и Ярышевой улиц. На основании комплексного анализа всех данных древнейший период разделен на пять строительных горизонтов (рис. 4–8).

Ярышева и Пробойная улицы первоначально существовали в виде грунтовых дорог. Древнейшее мощение трассы Пробойной улицы около усадьбы Г датировано 938 г. (второй строительный горизонт)[5] (рис. 9). Мощение Ярышевой улицы около усадьбы П (в 54 м к западу от Пробойной) произведено чуть позднее: появление древнейшей уличной мостовой здесь планиграфически связано с третьим строительным горизонтом, формирующимся в середине X в. (дендродаты древнейшей мостовой отсутствуют). Тем не менее нельзя исключать вероятности того, что мощение Пробойной и Ярышевой улиц близ их перекрестка (северная граница усадеб Р и И) может датироваться более ранним временем.

Заселение усадеб Ярышевой улицы и разметка дворовых участков, имевших форму прямоугольных наделов, произведено единовременно. Появление изгородей, разграничивающих усадьбы, связано со временем заселения. При разметке территории

[3] Термины «строительный горизонт» и «сводный строительный ярус» в данном случае являются синонимами. При выполнении чертежей строительных горизонтов первостепенная роль отводилась построению единой дневной поверхности, соответствующей времени возникновения застройки каждого из горизонтов. Строительный горизонт включает остатки одновременно существовавших построек и мостовых, а также накопившийся за время их бытования культурный слой с содержащимися в нем артефактами. Строительным горизонтам присвоена сквозная нумерация в соответствии с логикой исторической последовательности, т. е. от древнейших (нижних) к более поздним (верхним). Номера полевых строительных ярусов, индивидуальных для каждого из раскопов, сохранены на чертежах горизонтов при обозначении сооружений. В рамках настоящей работы рассматривается пять древнейших строительных горизонтов.

[4] Поскольку восточная часть усадьбы Р осталась за пределами раскопа, уклон дневной поверхности в ее пределах был, вероятно, выражен сильнее.

[5] В публикациях 1970–1980-х гг. ранние ярусы мостовых Черницыной и Пробойной улиц имеют сходные датировки. Так, нижние ярусы мостовых Черницыной и Пробойной улиц Троицких IV и V раскопов датированы Б. А. Колчиным 930-ми гг. (Янин, Колчин, Миронова, Рыбина, Хорошев, 1978, с. 45; Янин, Колчин, Ершевский, Миронова, Рыбина, Хорошев, 1980, с. 37), 28 ярус Пробойной улицы Троицкого VI раскопа имеет датировку 938 г. (Янин, Колчин, Рыбина, Хорошев, 1983, с. 39), что полностью соответствует дате древнейшего 28-го яруса Пробойной улицы Троицкого XI раскопа.

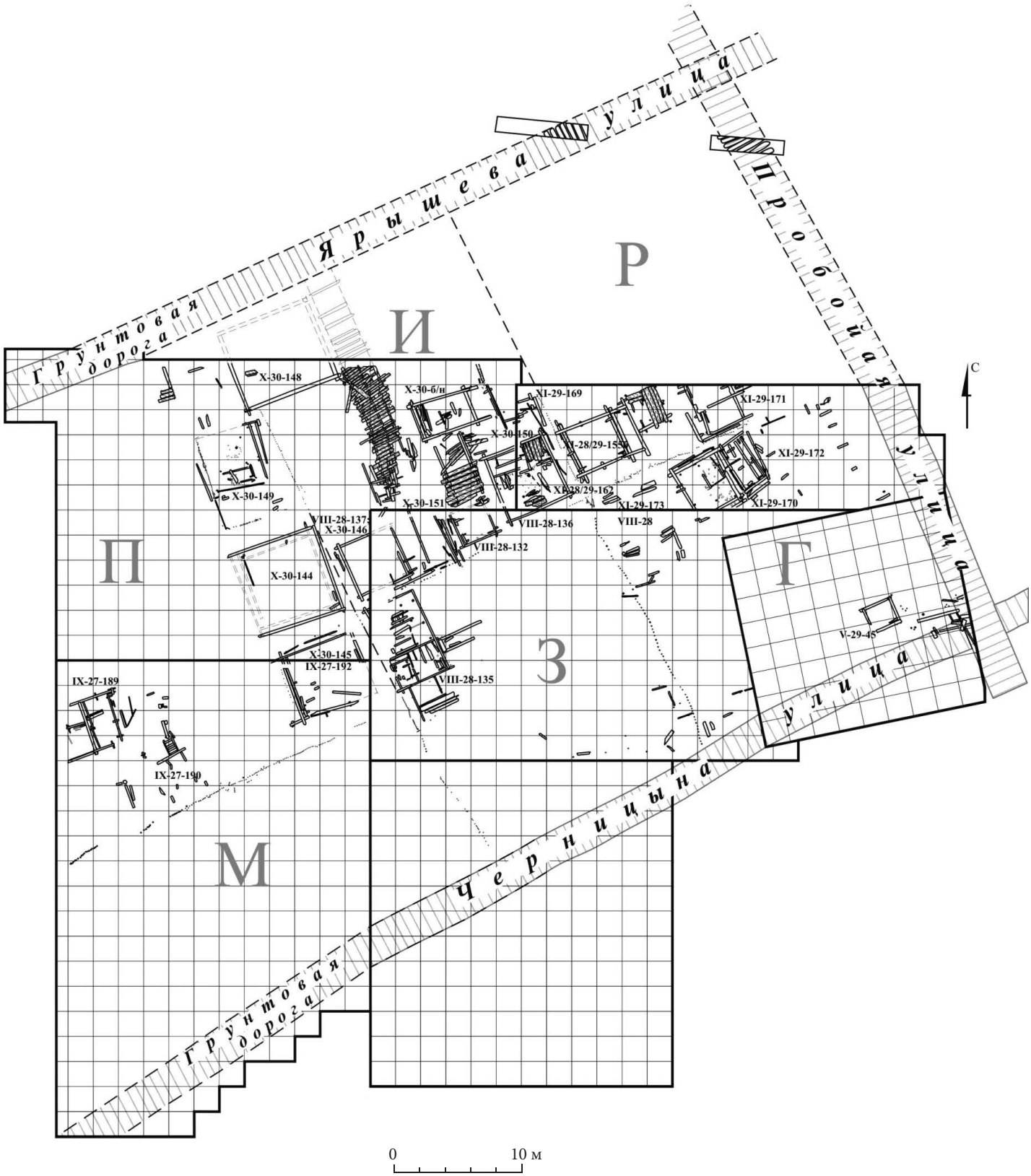


Рис. 4. Застройка северо-западных усадеб Троицкого раскопа на уровне горизонта 1 (930–940-е гг.)

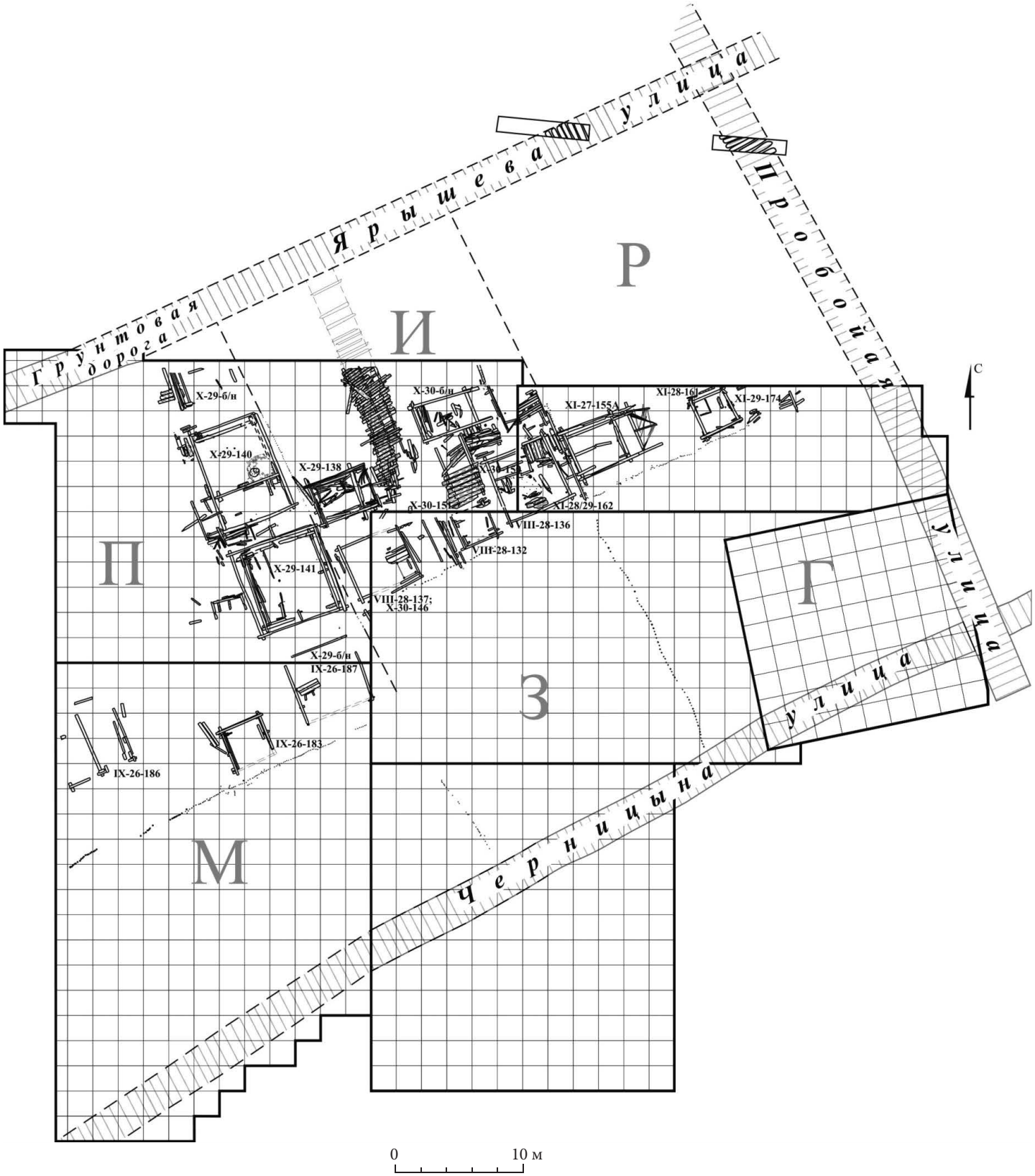


Рис. 5. Застройка усадеб Ярышевой улицы на уровне горизонта 2 (940–950/60-е гг.)

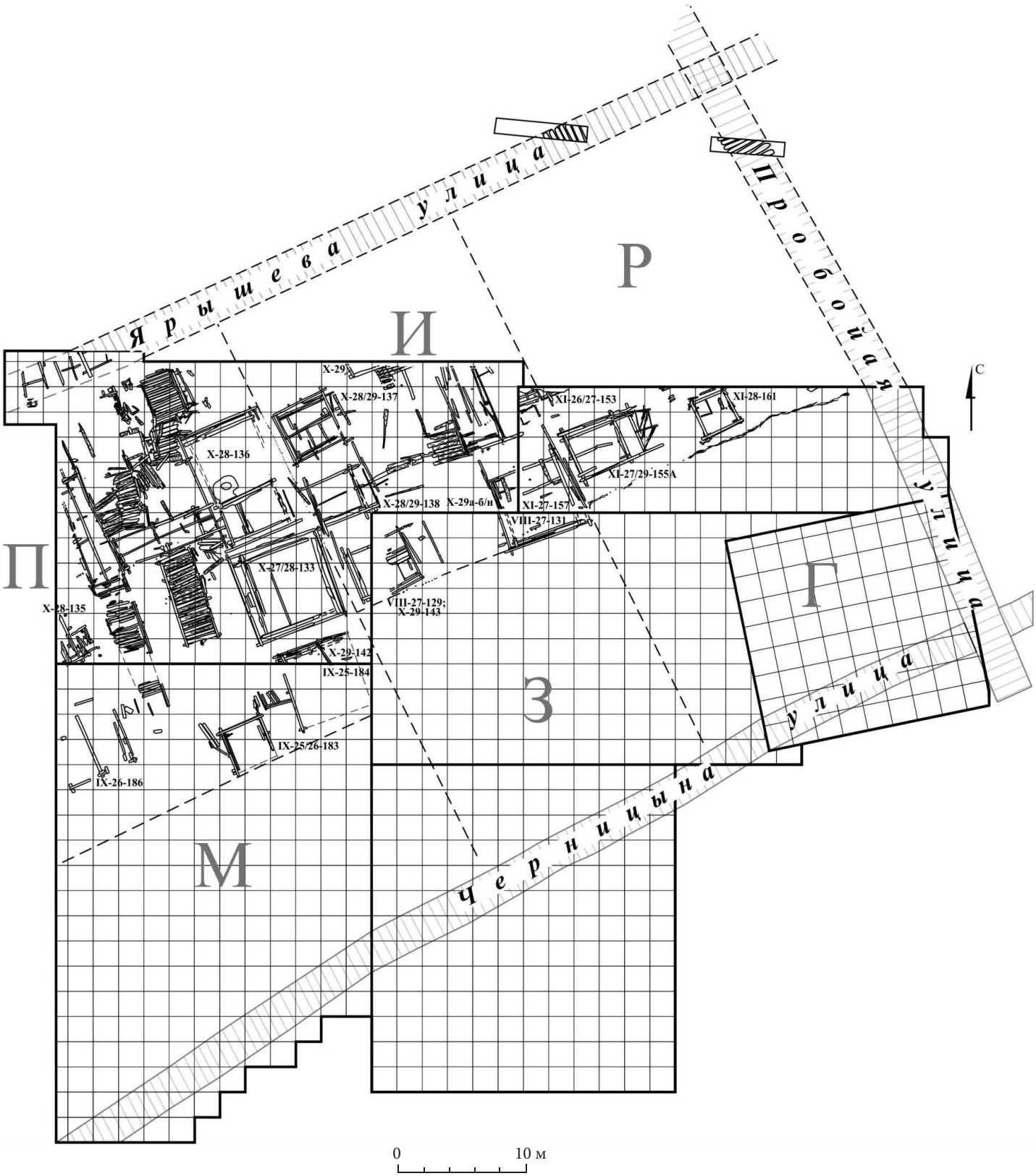


Рис. 6. Застройка усадеб Ярышевой улицы на уровне горизонта 3 (950/60–970/80-е гг.)

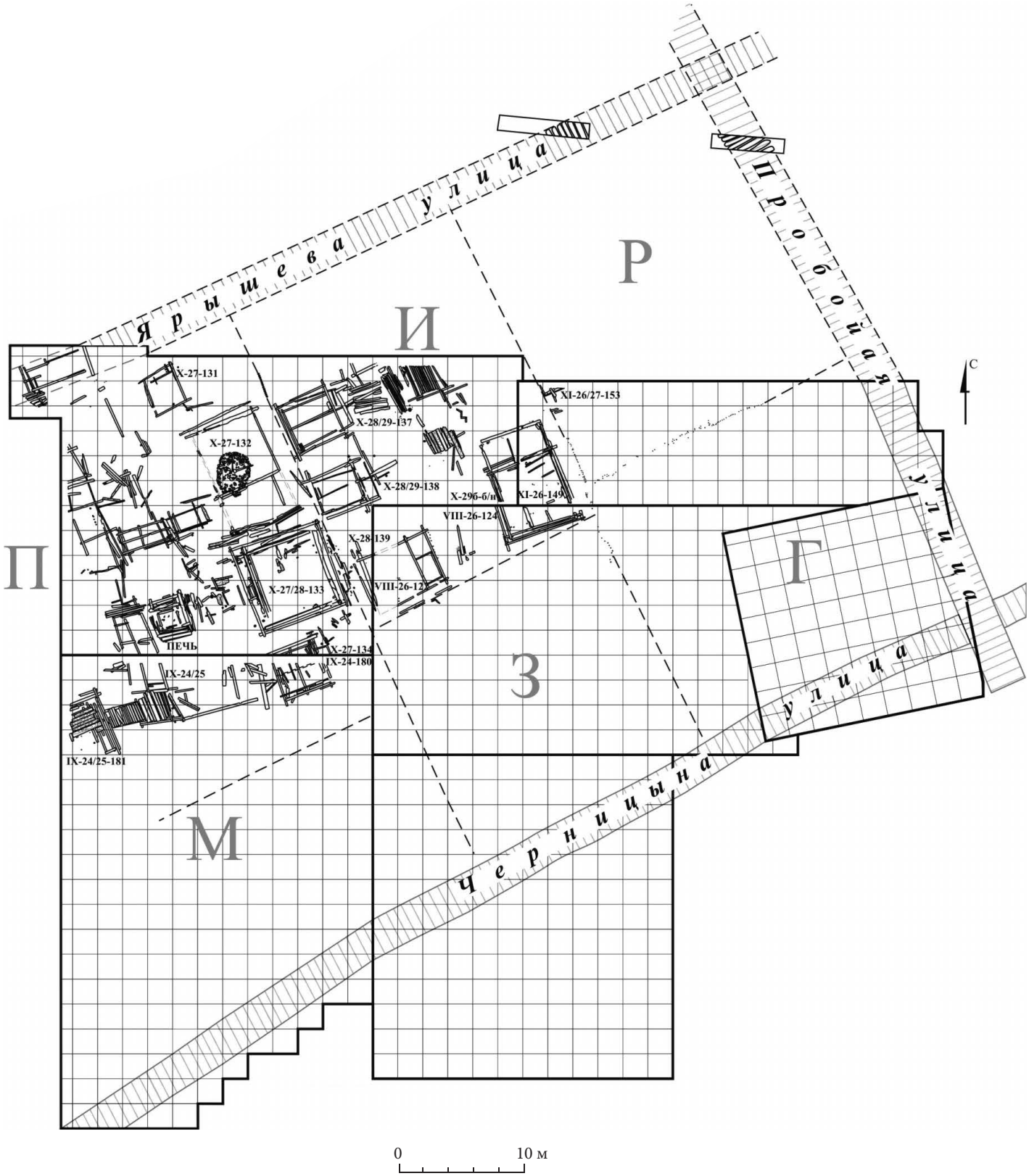


Рис. 7. Застройка усадеб Ярышевой улицы на уровне горизонта 4 (970/80–990-е гг.)

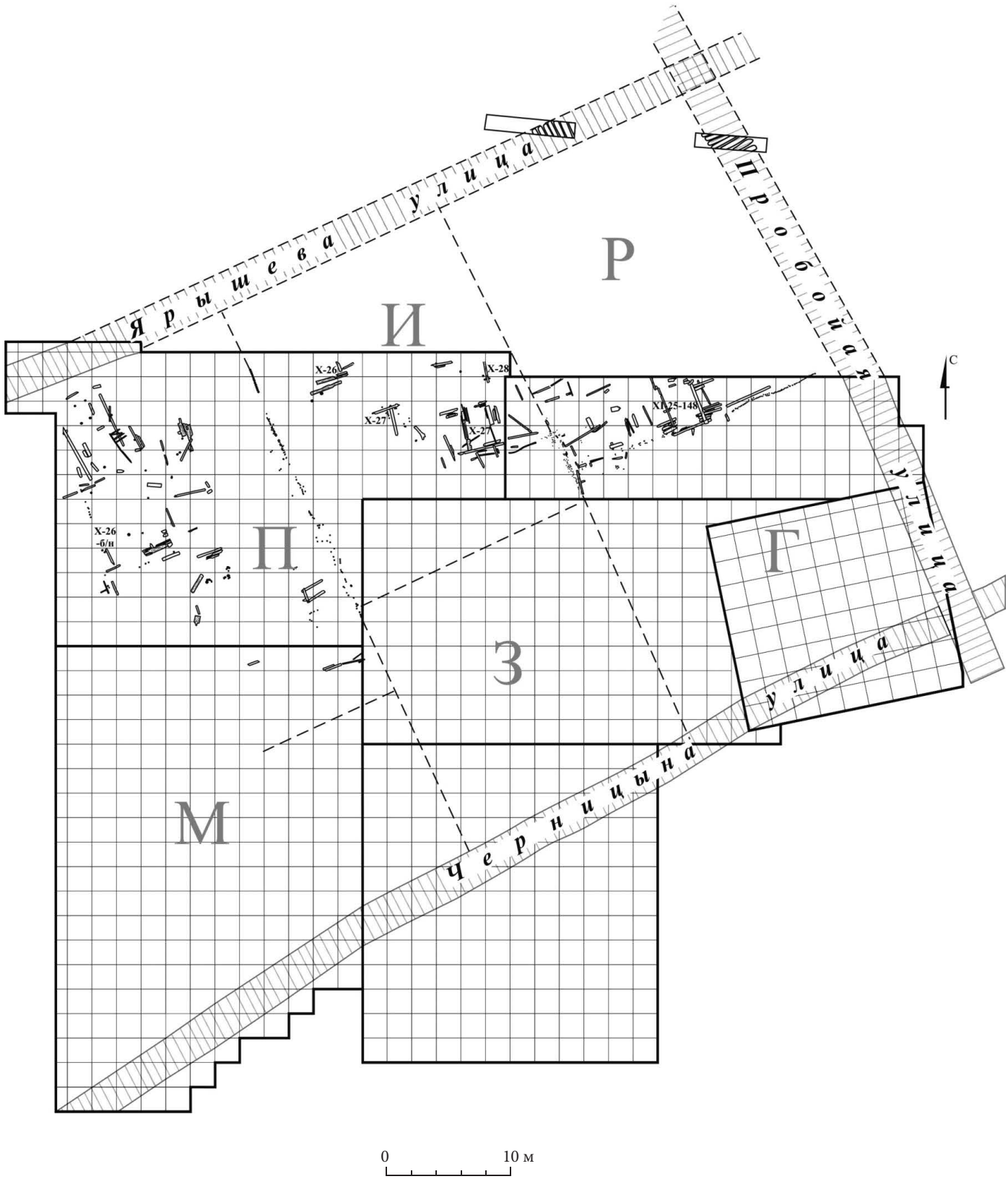


Рис. 8. Застройка усадеб Ярышевой улицы на уровне горизонта 5 (990–1000-е гг.)



Рис. 9. Древнейшее мощение Пробойной улицы.
Горизонт 2. Вид с юга.
Фото П. Г. Гайдукова. 1998 г.

прежде всего было разделено пространство между Ярышевой и Черницыной улицами и определены боковые границы усадеб. Установление местонахождения трассы Ярышевой улицы вблизи ее перекрестка с Пробойной позволило точно реконструировать местонахождение границ дворов и их размеры.

Глубина усадьбы Р по отношению к Ярышевой улице равнялась 24–25 м, а ширина по южной границе – 23 м, соответственно, площадь усадьбы Р составляет около 560 кв. м. Глубину усадьбы И (25 м) определяет тыльное ограждение с южной стороны, разделяющее владения Ярышевой и Черницыной улиц, а ширина ее по Ярышевой улице равняется 21 м. Таким образом, первоначальные размеры усадьбы И составляют около 520 кв. м. Несколько бóльшая ширина усадьбы Р по сравнению с соседней усадьбой И объясняется, вероятно, ее угловым расположением на перекрестке двух улиц.

Граница, отделяющая усадьбы Р и И Ярышевой улицы от дворов Черницыной улицы, располагается на одной линии. На уровне усадьбы П межуличанская граница образует уступ: южная граница усадьбы П сдвинута к югу на 8,5 м. Благодаря этому глубина усадьбы П приближается к 34 м. Данных для локализации западной границы усадьбы П в раннее время недостаточно. Можно говорить лишь о том, что она значительно превышала по размерам соседние владения как по Ярышевой, так и по Черницыной улицам и составляла не менее 950 кв. м.

Значительная глубина усадьбы П, увеличенная к югу к Черницыной улице, и отсутствие ее западной границы, позволяют высказать предположение, касающееся времени освоения этого участка. Вероятнее всего, усадьба П была крайней западной усадьбой из числа первоначальных дворов, выходящих на Ярышеву улицу. Также не исключено, что она была заселена несколько раньше, чем примыкающая к ней с юга усадьба М Черницыной улицы, что позволило владельцам усадьбы П увеличить глубину своего участка за счет пустующей территории. Высказанное предположение подтверждается датировками нижнего яруса западного участка мостовой Черницыной улицы. Если у перекрестка с Пробойной древнейшая мостовая Черницыной датируется 938 г., то участок уличного мощения у усадьбы М появляется не ранее 953 г. (Тарабардина, А–2007, с. 85; 2010).

Древнейшая застройка усадеб Ярышевой улицы

К самым ранним строительным горизонтам усадеб Р, И и П относятся древнейшие постройки и дворовые замощения, а также ограды, разделяющие дворы. Обращает на себя внимание разнообразие конструкций ранних изгородей. В их число входят частоколы из тонких жердей, плетни и бревенчатые заборы на столбах (конструкции «в заплот»), сложенные из горизонтальных бревен с концами, закрепленными в пазах вертикальных столбов (рис. 10–11). Такое ограждение, датированное 936 г., разделяло усадьбы И и Р. Остановимся более подробно на характеристике древнейшей застройки усадеб Ярышевой улицы.



Рис. 10. Плетень и частокол между усадьбами Р и Г. Горизонты 3–4. Вид с востока. Фото П. Г. Гайдукова. 1998 г.



Рис. 11. Ограда «в заплот» и частокол между усадьбами И и Р. Горизонты 3–4. Вид с северо-востока. Фото П. Г. Гайдукова. 1998 г.



Рис. 12. Древнейшая застройка усадеб Р и Г. Горизонт 1. Вид с востока. Фото П. Г. Гайдукова. 1998 г.

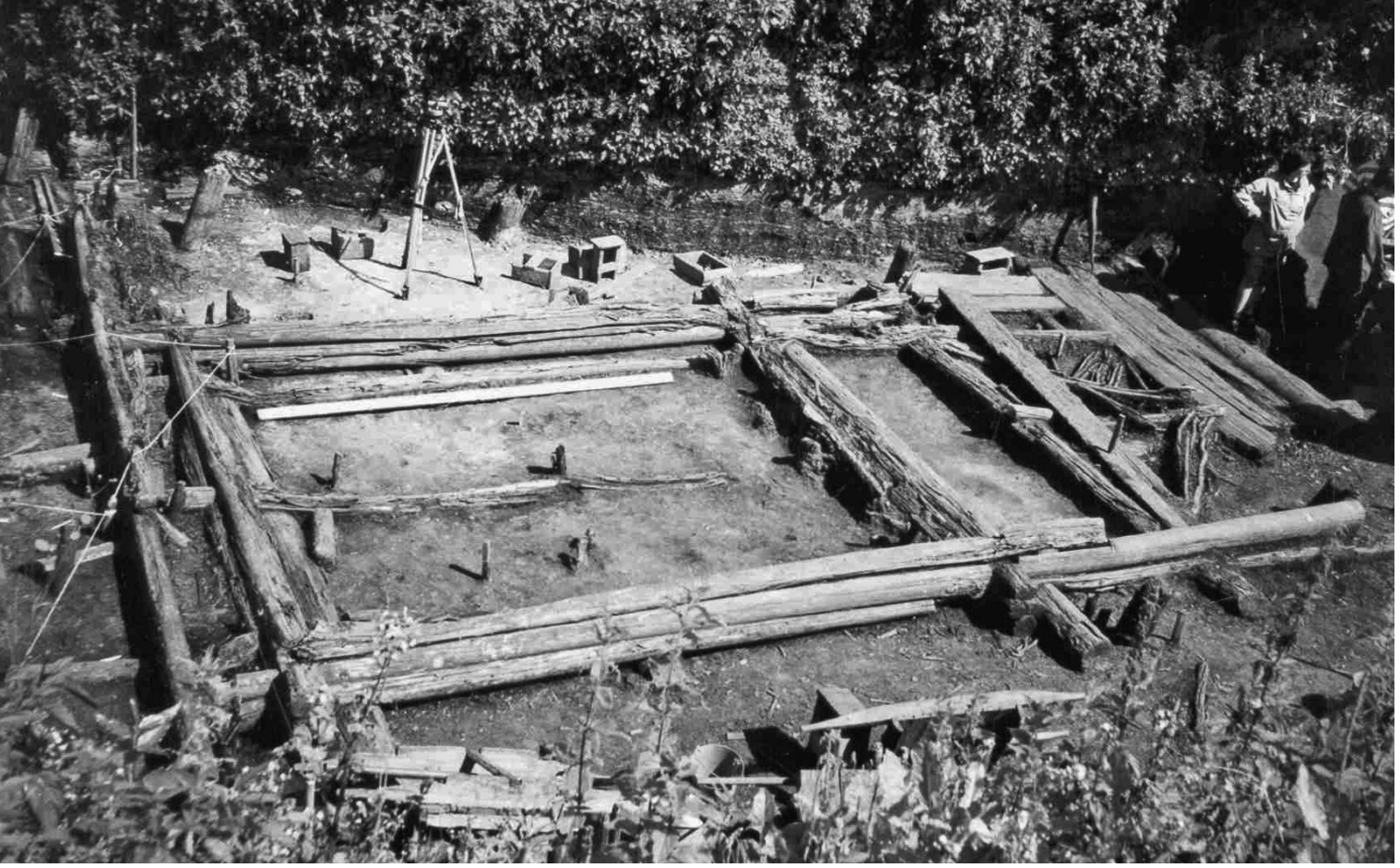


Рис. 13. Усадьба Р. Сооружение XI-27-155А. Горизонты 2–3. Вид с юга. Фото П. Г. Гайдукова. 1998 г.

Застройка усадьбы Р

Древнейшие постройки усадьбы Р (горизонт 1) датируются 30-ми гг. X в. Поскольку в пределы раскопа попала лишь юго-восточная оконечность усадьбы, сведения о застройке комплекса весьма ограничены (рис. 12). Лишь немногие постройки этой усадьбы исследованы полностью. Таковыми являются идентичные по конструкции сооружения XI-29/28-155Б и XI-27-155А[6], последовательно сменившие друг друга в юго-западном углу двора (рис. 13). Обе постройки состояли из подквадратной в плане основной камеры размерами около 16 кв. м и привходного помещения, ограниченного с двух сторон выпусками боковых стен сруба. Под основание нижнего, более раннего строения, датированного 934–936 гг., уложены бревна, служившие своеобразными продольными подкладками. Использование таких подкладок позволяло поднимать уровень основания построек без сооружения фундаментных площадок. Подобная конструкция часто использовалась при возведении хозяйственных строений в раннее время. Переводины пола крепились посредством сквозных врубок в венцах основного сруба. Лаги пола в более поздней постройке 155А поддерживались поперечными подкладками, опиравшимися на столбы-стулья. Печи, судя по конструкции пола, отсутствовали. Такие постройки служили хозяйственными холодными клетями, возможно, имевшими складское назначение. С восточной стороны к ним примыкали крытые настилы на столбах.

Расположенный к востоку от описанной постройки сруб плохой сохранности XI-29-171 датирован временем не ранее 938 г.

Чуть позднее (горизонты 2, 3) в южной части усадьбы Р сооружен четырехстенный сруб XI-28-161[7] очень малых размеров (площадью около

[6] Первая цифра обозначает номер Троицкого раскопа, вторая – номер полевого строительного яруса (иногда двух–трех ярусов), третья – номер сооружения. Для строений, открытых на пограничных участках Троицких раскопов, указаны номера по каждому из раскопов, перечисленные через точку с запятой. Строительные остатки, не получившие полевых номеров, обозначены посредством сокращения «б. н.».

[7] Характеристика построек выполнена в соответствии с классификацией, учитывающей планировку и размерные характеристики сооружений (Фараджева, 2000; 2010б).

К числу четырехстенных построек отнесены однокамерные срубные клети и двухкамерные постройки, состоящие из срубной клети и пристроенных некапитальных сеней, к числу пятистенных – двухкамерные дома с цельнорублеными сенями и «составные» постройки с сенями в виде трехстенных прирубов. Разделение построек на разновеличинные категории отражено в таблице:

Площадь (кв. м) / Планировка домов	Малые	Средние	Большие	Выдающиеся
Четырехстенные	до 25	25–45	45–64	более 64
Пятистенные	до 32,5	32,5–60	60–85	более 85

9 кв. м) с печью, расположенной в углу дома. Три столба опечка сохранили в боковых сторонах пазы для крепления горизонтальной забирки. Данная постройка могла использоваться как в качестве временного жилья в период активного строительства, так и в хозяйственных целях (под основанием сруба отсутствовала фундаментная площадка).

В западной части двора выявлен угол срубного дома, выстроенного не ранее 954–956 гг. (горизонт 3). Возможно, он продолжал стоять и позднее, несмотря на то что в 80-х гг. X в. на территории усадьбы Р произошел пожар, после которого застройка возобновилась не сразу. На уровне горизонта 4 (970–990-е гг.) в южной части усадьбы Р, попавшей в пределы исследования, застройка отсутствовала.

Данных для характеристики планировочной структуры усадьбы Р недостаточно, однако принадлежность южной части двора к хозяйственной зоне не вызывает сомнений.

Застройка усадьбы И

Древнейшая застройка усадьбы И (горизонт 1) представлена пятью срубными сооружениями (Фараджева, Тарабардина, Гайдуков, 2013, с. 131–133). Самый большой по площади срубный дом X-30-148 располагался в северо-западной части двора, вблизи Ярышевой улицы (исследован частично, длина южной стены – 8 м). Скорее всего, он являлся основной постройкой усадьбы.

Юго-западный угол двора занимала второстепенная жилая постройка с печью в углу и привходной конструкцией: сруб VIII-28-137; X-30-146 малых размеров, сооруженный около 936 г. (площадь сруба – около 18 кв. м; ширина привходной конструкции – 2 м). Под основание постройки, в том числе и под его привходную часть, подведена фундаментная площадка. Прослежены остатки бревен, крепивших с внешней стороны земляную подсыпку и ровики в материке, располагавшиеся с внешней стороны от них.

Рис. 14. Усадьба И. Центральная часть двора. Горизонт 4. Вид с востока. Фото П. Г. Гайдукова. 1994 г.



Посредством таких площадок основания срубов поднимались над уровнем дневной поверхности, что обеспечивало влагоизоляцию и способствовало сохранению тепла в помещениях (Фараджева, 2009б).

К востоку от жилого сруба, вплотную к южной тыльной границе двора, располагался малый хозяйственный четырехстенный сруб без отопительного устройства VIII-28-132, построенный не ранее 932 г. В восточной части двора находилась еще одна малая по площади хозяйственная постройка плохой сохранности, аналогичная строениям, открытым на усадьбе Р: сруб удлиненных пропорций (4,4 × 3,0 м) с привходной конструкцией, образованной за счет выпусков ее боковых стен.

В горизонте 2, т. е. в 40-х гг. X в., усадебный комплекс пополнился еще одной подобной постройкой, поставленной вплотную к западной ограде (сруб малых размеров X-29-138).

Юго-восточный угол владения на уровне 1 и 2 горизонтов занимала четырехстенная постройка средних размеров VIII-28-136; X-31/30-150; XI-29/28-162 (площадью 31 кв. м), возведенная около 937 г. Она стояла на фундаментной площадке и имела отопительное устройство в центре. Во внутреннем пространстве сруба сохранились остатки столбиков, поставленных вдоль боковых стен на расстоянии 1,5 м от них.

Площадь двора покрыта вымостками. Основная, шириной около 3 м, опиралась на три лаги. Она вела от Ярышевой улицы вглубь двора и соединяла жилые строения. Было замощено также пространство между хозяйственными постройками в юго-восточной части усадьбы.

В 50–90-е гг. X в. (горизонты 3, 4) организация пространства усадьбы оставалась прежней. Центральная и северо-восточная часть двора сохранили следы нескольких сменивших друг друга замощений (рис. 14). Основная жилая постройка располагалась, вероятно, в северной части усадьбы и осталась за пределами раскопа. Выявлен лишь ее юго-западный угол (X-29-б.н.), часть южной стены срубного дома и остатки крыльца; постройка сооружена около 959 г.

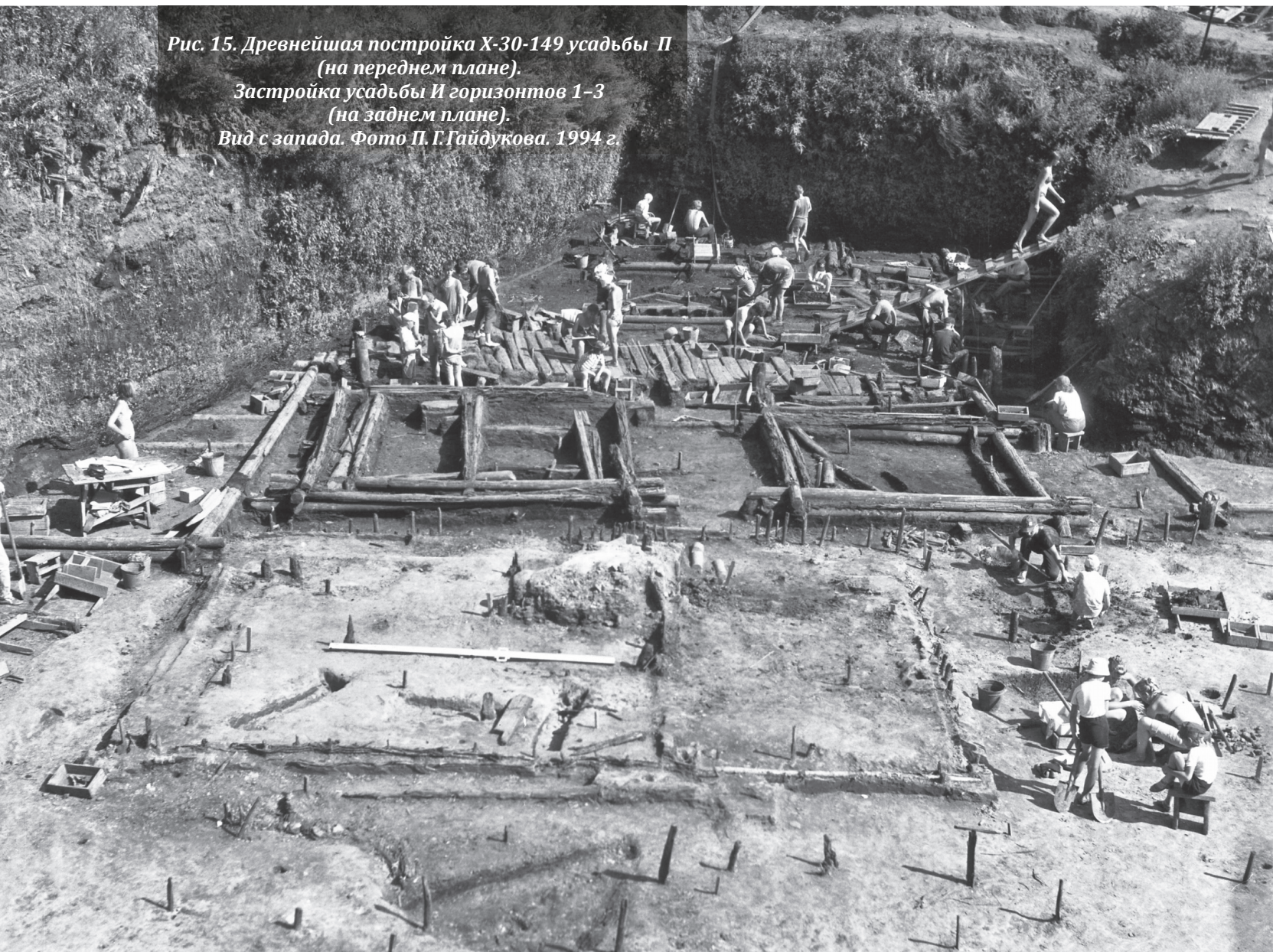


Рис. 15. Древнейшая постройка X-30-149 усадьбы П (на переднем плане). Застройка усадьбы И горизонтов 1–3 (на заднем плане). Вид с запада. Фото П. Г. Гайдукова. 1994 г.



Рис. 16. Усадьба И. Восточная часть постройки VIII-26-124; X-29-б.н.; XI-26-149. Горизонт 4. Вид с северо-востока. Фото П. Г. Гайдукова. 1998 г.

В юго-западном углу усадьбы по-прежнему стояли жилые постройки малых размеров: сруб VIII-27-129; X-29-143 (площадью 18 кв. м) с печью в углу и привходной конструкцией (горизонт 3) и сменивший его на уровне горизонта 4 пятистенный сруб VIII-26-122; X-28-139 (площадью около 25 кв. м). Оба дома являлись, вероятно, второстепенными жилыми постройками: один из них сохранил остатки печи. Под их основаниями прослежены детали крепежа фундаментных площадок.

Севернее, вплотную к западной границе владения, располагались две холодные клети малых размеров с повышенным уровнем пола (переводины пола закреплены посредством сквозных вырубок в стенах). Одна из них (X-28/29-138), вероятно, возникла незначительно раньше другой (X-28/29-137), выстроенной в середине столетия. Эти неотапливаемые постройки могли использоваться в качестве складских помещений (рис. 15).

Представляют интерес постройки средних размеров (около 32 кв. м) с привходными конструкциями, сменившие друг друга в юго-восточном углу двора (горизонты 3, 4). В середине столетия (не ранее 953 г.) здесь был поставлен сруб VIII-27-131; X-29-б.н.; XI-27-157. Дом стоял на фундаментной площадке, укрепленной обвязкой из бревен (концы обвязок скреплялись рубкой «в обло»). Бревна фундаментной площадки со стороны входа были выпущены на 2,4 м, ограничивая крыльцо.

Эту постройку в 974 г. сменил сруб VIII-26-124; X-29-б.н.; XI-26-149 также стоявший на фундаментной площадке (от нее сохранились бревна обноски) (рис. 16). Привходная конструкция строения заслуживает более подробного описания.

Для ее устройства концы двух нижних венцов боковых стен сруба были выпущены в сторону входа на 2,2 м. На концах бревен верхнего из них с внутренней и внешней сторон выбраны подпрямоугольные выемки длиной 25 см и глубиной 5 см. В нижнем бревне соответственно вырублена четверть окружности бревна. Под концы выпусков бревен подведены вертикальные опорные столбы-стулья. В вырубках фиксировались основания вертикальных конструкций, возможно, столбовых опор. С внешней стороны параллельно входной стене дома уложены бревна, служившие подкладками несохранившегося настила. Общая протяженность сруба с привходным помещением составляет 7,8 м.

Обе описанные постройки (горизонты 3, 4) не сохранили следов печей или очагов, однако судя по тщательности отделки и наличию фундаментных площадок, можно предположить, что они отапливались, а их внутренняя планировка повторяла планировку предшествующего им сруба VIII-28-136; X-31/30-150; XI-29/28-162 (горизонты 1, 2), имевшего остатки отопительное устройства в центре. Такие дома допустимо рассматривать в качестве полифункциональных строений, совмещавших разнообразные функции.

Итак, на начальном периоде существования усадьбы И сменилось пять строительных горизонтов, в течение которых возведено не менее 12 срубных построек. В их числе сруб больших размеров, малые по площади двухчастные отапливаемые жилые постройки, жилой пятистенный сруб, однокамерные холодные хозяйственные клети, а также полифункциональные сооружения средних размеров с центральным расположением отопительного устройства. Обнаружена также отдельно стоящая дворовая печь (восточная часть двора, горизонт 3). Конструкции сооружений позднего горизонта, погибшего в пожаре, проследить не удалось. Застройка данного усадебного комплекса отличалась выраженным постоянством: постройки, различные по конструкции и назначению, возводились в определенных зонах дворового пространства. Тыльные углы усадьбы И занимала жилая постройка (очевидно, второстепенная: основной жилой дом располагался в передней части усадьбы) и полифункциональное строение, между которыми в горизонтах 1, 2 стоял неотапливаемый сруб малых размеров. Холодные клети хозяйственного назначения ставились вплотную к боковым оградам, в средней части двора. Площадь двора замащивалась.

От соседних участков усадьба И отделялась оградами, конструкции которых в раннее время были довольно разнообразными. Выявлены плетни и частоколы из тонких жердей, а на границе между усадьбой И и Р, как уже упоминалось, было поставлено бревенчатое ограждение конструкции «в заплот», датированное 936 г.

Стабильность внутренней планировки усадьбы и возведение похожих по конструкции домов в определенных частях двора свидетельствует о том, что на протяжении X в. усадьба И могла принадлежать одним дворовладельцам и их наследникам.

Застройка усадьбы П

С момента появления первоначальной застройки на площади усадьбы П в 930-х гг. и до конца столетия здесь сменилось пять строительных горизонтов (Гайдуков, Фараджева, Дубровин, 1997, с. 43–46). Всего с ранним строительным периодом связано 20 построек, одна дворовая печь, а также три сменявшие друг друга восточные и одна южная ограды из тонких вертикальных жердей.

Постройки древнейшего (первого) строительного горизонта сохранились довольно плохо. Тем не менее полученная информация позволила создать представление о планировке и размерах пяти срубных строений, составляющих первоначальную застройку усадьбы П.

В состав усадебного комплекса входили два четырехстенных сруба средних размеров X-30-144 (размером 5,6 х 5,6 м) и IX-27-192; X-30-145 (6,0 х 5,4 м), а также малый по площади четырехстенный сруб с крыльцом-пандусом IX-27-190 (сохранился фрагментарно). Кроме этого, выявлены двухчастные[8] постройки X-30-149 (7,2 х 4,2 м) и IX-27-189 (исследована частично).

С самого начала на усадьбе отмечена довольно четкая система планировки: три самые крупные постройки (X-30-149, X-30-144 и IX-27-192; X-30-145) располагались по одной линии, практически вплотную к восточной границе владения. Сруб X-30-149 (рис. 15) сооружен не ранее 933 г., сруб X-30-144 – не ранее 931 г. Все три постройки поставлены на своеобразные земляные подсыпки – фундаментные площадки, фиксируемые с внешней стороны дополнительными бревнами. Они скреплены либо рубкой «в обло» – обвязками (сруб X-30-144), либо вбитыми вертикально кольями-обносками (сруб IX-27-191). В двух случаях крепление земляной платформы осуществлено при помощи плетня (X-30-149 и IX-27-192; X-30-145). Под основаниями домов X-30-149 и X-30-144 прослежены остатки земляных подсыпок, сохранившиеся на высоту 10–15 см, а также ровики в материке глубиной 15–20 см, располагавшиеся с внешней стороны от фундаментных конструкций (Фараджева, 2009б). Расстояние между постройками 2,4–3,0 м, а между основаниями фундаментных площадок – от 1,4 до 2 м.

Один из этих домов (двухчастная постройка X-30-149 очень плохой сохранности), вероятно, был жилым. Он сохранил остатки печи, стоящей

[8] Термин «двухчастные» объединяет все двухкамерные постройки, сохранность которых не позволяет судить о конструкции сеней.

в ближнем от входа правом углу основного помещения. Другая постройка (X-30-144), входившая в состав жилого комплекса, могла быть полифункциональной (четырехстенная средних размеров с фундаментной площадкой). Несомненно, здесь находилась жилая зона усадьбы. Схожая постройка плохой сохранности IX-27-192; X-30-145, стоявшая в юго-восточном углу двора, примечательна тем, что под ее юго-восточным углом обнаружен череп коня, являвшийся строительной жертвой[9]. В данном случае строительная жертва могла маркировать также и угол усадебного владения.

Постройки, располагавшиеся вдоль южной границы усадьбы (IX-27-190) и в ее западной части (IX-27-189), связаны с хозяйственной зоной двора: они не отапливались и не имели фундаментных площадок. Малые размеры строения IX-27-190 и особенности конструкции позволяют отнести его к хозяйственным клетям. Постройка имела крыльцо-пандус в виде наклонного настила размерами 1,3 × 0,8 м из досок, чередующихся с перевернутыми плахами. Настил с боковых сторон фиксировался бревнами, для чего в последних был выбран паз в четверть окружности.

В последующее время (горизонт 2) планировочная структура усадьбы П не изменилась. На площади двора на прежних местах стояли шесть срубных домов сходной планировки и назначения.

Комплекс жилых строений, как и раньше, выстроен вдоль восточной границы усадьбы. В его состав входила двухчастная постройка X-29-140 (рис. 17) средних размеров (площадью около 40 кв. м), которая могла быть как цельнорубленой, так и составной (конструкция сеней не установлена). Постройка являлась основным жилым домом усадьбы.

[9] Впервые на присутствие черепов животных под основаниями ранних жилых построек усадьбы П обратила внимание М. В. Петухова (Петухова, А–2011, с. 50–51). Подобные строительные жертвы обнаружены также под основаниями построек раннего времени на соседней усадьбе Г Черницыной улицы (Фараджева, 1999). О подобных жертвоприношениях в Новгороде см.: Седов, 1957; Миронова, 1967.

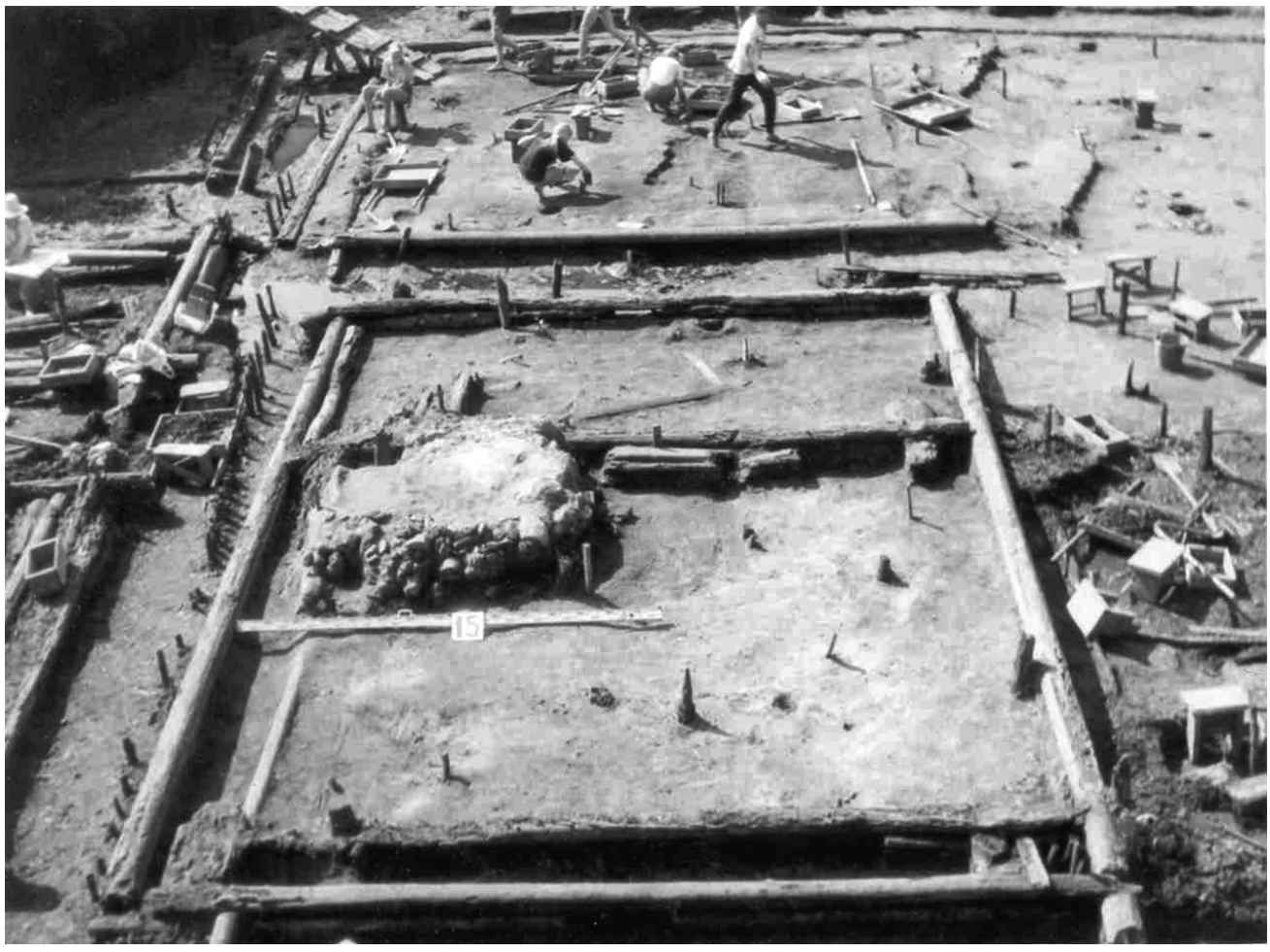


Рис. 17. Усадьба П. Постройка X-29-140. Горизонт 2. Вид с севера. Фото П. Г. Гайдукова. 1994 г.

Сохранились остатки печи на столбовом опечке, располагавшиеся в правом ближнем от входа углу основного помещения. Южнее жилого дома стоял однокамерный четырехстенный сруб средних размеров Х-29-141 (38 кв. м) – полифункциональная постройка. Оба строения имели фундаментные площадки, укрепленные обвязками, сохранившимися на высоту двух венцов. Под основаниями обоих домов обнаружены строительные жертвы – черепа животных.

В северо-восточном углу двора в одном ряду с перечисленными сооружениями, по-видимому, стояло еще одно строение, но плохая сохранность затрудняет его характеристику. Все три постройки поставлены в одну линию на расстоянии около 2 м друг от друга.

Южная (тыльная) сторона двора, как и в более раннее время, предназначалась для хозяйственных служб. В юго-восточном углу двора располагалась постройка IX-26-187; Х-29-б.н. – холодная клеть.



Рис. 18. Лаги древнейшей мостовой Ярышевой улицы. Горизонт 3. Вид с запада. Фото П. Г. Гайдукова. 1994 г.

К западу от нее был поставлен малый хозяйственный сруб-четырехстен IX-27-191 (площадью 13 кв. м). Постройка не отапливалась, однако имела фундаментную площадку с обноской – прием, редко используемый в конструкциях хозяйственных строений.

В юго-западном углу усадьбы продолжала стоять возникшая ранее двухчастная постройка IX-27-189.

Центральная часть двора оставалась свободной. Вполне возможно, что она была замощена: отдельные нижние элементы мощения, зафиксированного на уровне горизонта 3, вполне могли принадлежать более раннему комплексу. Так или иначе, на уровне второго горизонта сохранились фрагментарные остатки замощений или крылец, подходивших с западной стороны к сеням жилой постройки X-29-140 и к середине западной стены полифункционального сруба X-29-141.

В середине X в. напротив усадьбы П впервые было выполнено мощение по трассе Ярышевой улицы. Исследованный участок мостовой имеет протяженность около 7,5 м (ярус 27Я) (рис. 18). Древнейшая мостовая представлена одной плахой настила, остатками двух бревенчатых лаг, а также четырьмя бревенчатыми подкладками под лаги. Ширина улицы, судя по расположению лаг, не превышала 3 м. Начиная с этого времени, работы по возобновлению мостовых Ярышевой улицы проводились уже постоянно.

В середине X в. на усадьбе П произошло обновление застройки (горизонт 3) (рис. 19). Благоустройство территории выполнено чрезвычайно тщательно. Новые срубы, схожие по планировке и назначению, вновь поставлены на основания предшествующих строений. Дворовое пространство усадьбы сплошь покрыто замощением, что является особенностью этого горизонта.

В состав усадебного комплекса 50–60-х гг. X в. входило пять построек. С жилой зоной усадьбы по-прежнему связаны две постройки средних размеров, поставленные вплотную к восточной ограде: двухчастный сруб X-28-136 (построен около 965 г.) и сруб четырехстен X-27/28-133 (сооружен не ранее 936 г.).

Жилой дом X-28-136 (размерами 8,7 × 5,5 м) состоял из подквадратной в плане камеры и сеней шириной 2,7 м. Это либо цельнорубленый пятистен, либо составной сруб (конструкция сеней не определена). В ближнем левом углу постройки основного помещения выявлен развал печи из прокаленной глины, золы и угля, а в малой камере – остатки дощатого пола на лагах. В четырехстенной постройке X-27/28-133 (размерами 6,0 × 6,2 м) от пола сохранились две бревенчатые лаги, уложенные вплотную к входной (западной) стене и на расстоянии 1,8 м.

Обе постройки имели фундаментные площадки с обвязками, причем у сруба X-27/28-133 эта конструкция сохранилась на высоту трех венцов (рис. 20).

В хозяйственной зоне в южной части двора располагались следующие строения. Постройка средних размеров IX-25-184; X-29-142 (площадью около 33 кв. м), стоявшая в юго-восточном углу двора, и малая по площади постройка IX-25/26-183 (13 кв. м), под основанием которой выявлены отдельные поперечные подкладки. Сохранность постройки IX-25-184; X-29-142 достаточно плохая, однако удалось определить конструкцию крыльца в виде наклонного пандуса, примыкающего к ее западной стене. Площадка крыльца настлана из чередующихся плах и досок, концы которых фиксировались в выбранных на четверть боковых бревнах, уложенных под прямым углом к стене сруба. Размеры крыльца 2,0 × 1,4 м. Под северной стеной сооружения обнаружен череп животного.

В юго-западной части двора прослежены две постройки, вошедшие в пределы раскопа частично: это двухчастная постройка средних размеров IX- 26- 186 и угол сруба X-28-135.

Замощение двора состояло из нескольких вымосток. Основная, пересекавшая двор с севера на юг, соединяла центральную и южную часть усадьбы с Ярышевой улицей. Она представляла собой дорожку основательной конструкции длиной не менее 26 м (с учетом реконструированных участков) и шириной около 3 м. Северное ее звено, протяженностью около 10 м, конструктивно практически не отличалось от уличного мощения. Оно состояло из поперечного настила из плах и досок, опирающихся на три линии бревенчатых продольных лаг. Южная часть дорожки была сделана иначе: настил из досок и плах был зафиксирован в продольных вырубках в четверть окружности бревна, выбранных в ограничительных боковых бревнах (такое крепление выявлено в бревне, ограничивающем настил с восточной стороны).

Постройки, расположенные в восточной части двора, соединялись с основной дорожкой дополнительными вымостками. Центральная (около 8,0 × 3,0 м) вела к сеням двухчастной жилой постройки X-28- 136. Несохранившийся настил вымостки опирался на конструкцию из двух звеньев трех продольных бревенчатых лаг с поперечными подкладками под ними. Короткое восточное звено лаг, опиравшееся на фундаментную обвязку дома, соединяло вымостку непосредственно со срубом X-28-136.

С юга к центральной вымостке подходила еще одна (7,0 × 2,8 м), ориентированная с севера на юг. Настил, изготовленный из досок и отдельных плах, опирался на центральную лагу и имел боковые ограничительные бревна.

Сплошным замощением довольно хаотичного характера покрыта часть двора к северу от центральной вымостки. Небрежно сооруженный настил из досок и плах разной длины уложен непосредственно на землю или опирался на отдельные подкладки, местами доски залегали в несколько слоев. К северу от постройки X-28-136 к этому наброску примыкал участок аккуратного мощения из плах в северо-восточной части владения.





Рис. 19. Застройка усадьбы П на уровне горизонта 3. Вид с севера. Фото П. Г. Гайдукова. 1994 г.

В 70–80-х гг. X в. сооружено новое замощение Ярышевой улицы (ярус 26Я). Мостовая прослежена на длину около 6 м, от нее сохранились северная и южная бревенчатые лаги, опирающиеся на подкладки. Выявлено место въезда на усадьбу в виде скопления уложенных вплотную плах.

Усадебная застройка 70–80-х гг. X в. (горизонт 4) включала пять срубных построек и дворовую печь. Новое строительство этого времени не разрушило сложившуюся ранее систему внутриусадебной планировки. На месте жилого сруба X-28-136 поставлен двухчастный сруб X-27-132 средних размеров (8,4 × 5,4 м) с подквадратным основным помещением и сенями шириной 2,8 м. Печь, прослеженная в виде округлого в плане развала колотых камней и прокаленной светло-серой глины, занимала ближний к входу левый угол основного помещения. Дом стоял на фундаментной площадке, прослеженной по отдельным бревнам крепежа. К югу от него располагался четырехстенный сруб X-27/28-133, выстроенный ранее.

В северной части двора, ближе к уличной мостовой, выявлены остатки стен постройки X-27-131 очень плохой сохранности. Возможно, это был четырехстенный сруб малых размеров.

В хозяйственной части двора, в его юго-западном углу, предшествующую постройку сменил малый по площади сруб-четырехстен IX-24-180; X-27-134 (размером 4,2 × 4,2 м). Это холодная клеть с основанием, поставленным на грунт. Настил пола из досок и плах сохранился частично. Его переводины, опиравшиеся на лагу, крепились в стенах при помощи сквозных врубок.

В юго-западном углу владения располагался малый по площади четырехстенный сруб IX-24/25-181, исследованный частично (его ширина по восточной стене 4,8 м). Постройка имела пол из широких досок, опиравшихся на бревенчатые лаги, три из которых уложены вплотную к входной стене, а одна – с интервалом в 2 м. Бревна вокруг основания постройки, возможно, являлись остатками крепежа фундаментной площадки.

К описанной постройке с востока подходила вымостка-крыльцо размерами 2,8 × 1,6 м. Ее конструктивную основу составляли два бревна, концы которых опирались на фундаментную конструкцию



Рис. 20. Постройка X-27/28-133 с фундаментной обвязкой. Усадьба П. Горизонты 3–4. Вид с юго-востока. Фото П. Г. Гайдукова. 1994 г.

сруба. Боковые бревна поддерживали настил из плах, уложенных частично выпуклой стороной кверху.

Эта вымостка соединяла постройку с дорожкой, ведущей к Ярышевой улице. Отметим, что новая дорожка возобновлена на прежнем месте поверх более ранней. Настил дорожки сохранился плохо. В северной части он опирался на две продольные лаги, а в южной – на три. В целом расположение дворовых вымосток и настилов оставалось прежним. Вновь был сооружен центральный настил, соединявший жилую постройку Х-27-132 с дорожкой, ведущей к Ярышевой улице. Зафиксированы также остатки замощений в юго-восточной и северо-восточной частях дворового пространства.

В центральной части двора, между жилой зоной и дорожкой к Ярышевой улице, построена дворовая печь открытого типа размерами 1,0 × 1,4 м. Печь имела бревенчатую обноску, окруженную с внешней стороны отмосткой из досок. Заполнение печи состояло из песка с угольно-зольными включениями.

Таким образом, раннюю застройку усадьбы П характеризует удивительная стабильность застройки и организации внутренней планировки двора. Схожие по размерам и назначению строения возобновлялись на одних и тех же местах. В комплекс жилых строений входили основная жилая постройка, представленная двухчастным отапливаемый срубом, и четырехстенный сруб полифункционального назначения[10]. Обе постройки имели средние размеры и сооружались на фундаментных площадках.

На одной линии с жилыми постройками в юго-восточном углу двора обычно ставилась холодная клеть, используемая в качестве второстепенного жилого помещения, а также для хранения бытового инвентаря. Лишь в 970–980-х гг. здесь была поставлена хозяйственная клеть малых размеров.

Хозяйственную застройку представляли два–три четырехстенных строения малых и средних (реже) размеров, не имевшие отопительных устройств. В числе хозяйственных построек присутствовали как складские клети, так и помещения, используемые в качестве домашних мастерских.

Постройки изначально были дифференцированы, в пределах двора выделялась хозяйственная (в глубине двора) и жилая – (в восточной средней зоне двора) зоны. Центральная часть усадьбы оставалась свободной от застройки.

Преемственность внутренней планировки двора и застройки свидетельствует о стабильности существования этого усадебного комплекса на протяжении всего раннего периода и, вероятно, на его принадлежность одним дворовладельцам. Социальный уровень владельцев усадьбы П, судя по размерам усадьбы, был достаточно высок. Это подтверждается также рядом статусных и редких находок. Среди них две железные рукояти плетей, орнаментированные деревянные ножны с изображением хищной птицы (горизонт 1), бронзовый щитковый перстень с изображением животного и деревянный колок для струнного музыкального инструмента (горизонт 2), железное писало (горизонт 3), бусы из цветных камней, различные украшения и предметы импорта. Можно назвать также вещи, связанные с ювелирным производством: две наковальни (горизонты 1 и 4), заготовка каменной литейной формы (горизонт 3).

Заключение

На рубеже X–XI вв. произошел крупный пожар, полностью уничтоживший застройку в этом квартале города. Сохранились лишь отдельные части сгоревших построек конца X – начала XI в. (горизонт 5). В культурном слое, насыщенном угольно-зольными включениями, выявлены хаотично лежащие обугленные бревна, доски, развалы колотых обожженных камней и прочие разрозненные остатки. К числу датированных объектов этого периода относятся только отдельные звенья частокола между усадьбами Р и Г и мостовая Пробойной улицы, сооруженные около 997 г.

Возобновившаяся в 10–20-х гг. XI в. усадебная застройка заметно отличалась от предшествующей. Изменения эти коснулись внутренней планировки дворов, набора и форм строений, слагающих усадебные комплексы, а также расположения южных границ самих усадебных участков. Последнее явилось следствием нового разделения территорий между Ярышевой и Черницыной улицами, что привело к переносу межуличанской границы на север и некоторому уменьшению размеров усадеб Р, И и П.

Завершая характеристику начального периода жизни на усадьбах Ярышевой улицы Людина конца, еще раз остановимся на основных выявленных моментах.

1. Застройка усадеб Ярышевой улицы возникает в 30-х гг. X в. Территории дворов размечаются и заселяются единовременно. Южная граница усадьбы П по сравнению с усадьбами И и Р сильно выдвинута к Черницыной улице. Благодаря этому усадьба П значительно превосходит по площади соседние владения. Такая особая конфигурация позволяет предположить, что в момент заселения усадьбы М Черницыной улицы еще не существовало и освоение этой территории началось позднее. Отсутствие достоверных данных о местонахождении западной границы усадьбы П и разреженность застройки в ее западной части могут свидетельствовать в пользу того, что и к западу от усадьбы в это время застройки не было и усадьба П являлась крайней по Ярышевой улице.

[10] Судя по характеру слоя и расположению лаг, такие постройки могли иметь отопительное устройство, расположенное в центре помещения. В заполнении постройки Х-27/28-133 помимо находок, обычных для жилого дома, обнаружены льячка, тигель, заготовка каменной литейной формы, куски янтаря.

2. Распространение усадебной застройки от Пробойной улицы и постепенное разрастание городской территории к западу подтверждается характером и последовательностью прокладки уличных мостовых. Судя по стратиграфическим и дендрохронологическим данным, мощение трасс Ярышевой и Черницыной улиц по всей длине осуществлялось не одновременно. На раннем этапе замащивали лишь участки вдоль ближайших к Пробойной улице усадеб. В западной части исследованного участка обе улицы начинают мостить лишь с середины X в. Так, если у перекрестка с Пробойной нижний ярус мостовой Черницыной улицы датируется 938 г., то первое замощение проезда вдоль территории усадьбы М появляется не ранее 953 г. Прослеживается последовательное освоение территории этого городского квартала: от берега Волхова застройка постепенно продвигается на запад, вверх по склону холма. Похожий процесс отмечен и в Неревском конце: в ранних горизонтах Неревского раскопа Великая улица мостилась только к югу от перекрестка с Козмодемьянской улицей, а Козмодемьянская – не далее чем на 9–10 м к западу от него. Регулярное мощение этих улиц зафиксировано на всей площади раскопа лишь в начале XI в. (Засурцев, 1963).

3. Первопоселенцы к моменту освоения этой части городской территории обладали сложившейся строительной культурой. Изначально застройка формируется в качестве усадебной: территории дворов разделены оградами, постройки дифференцированы. Жилые и хозяйственные строения отличаются по конструкции, размерам и планировке. В пределах дворов выделяются хозяйственная (преимущественно в глубине дворов) и жилая (в передней и средней части дворов) зоны. Центральная часть дворов, свободная от застройки, замащивается.

Устойчивость внутренней планировки каждого из рассмотренных усадебных комплексов на протяжении раннего периода может отражать родственную преемственность во владении этими участками на протяжении X в.: усадьбы переходят к потомкам первопоселенцев, освоивших этот район в 930-е гг.

Таблица 1. Соотношение датировок ярусов сооружений усадеб Ярышевой улицы (П, И и Р) с датировками мостовых Ярышевой и Пробойной улиц в X в. (Троицкий VIII, X, XI раскопы)

Ярышева улица	Усадьба П	Усадьба И	Усадьба Р	Пробойная улица
25Я – н.д.			Частокол Р/Г XI-25– 997 г.	26П – 997 г.
26Я – н.д.		Соор. VIII-26-124; X-29-б/н; XI-26-149 – 974 г.		
27Я – н.д.	Соор. X-28-136 – 965 г. Соор. X-27/28 -133 – не ранее 936 г.	Соор. X-29-б/н (крыльцо в сев. части усадьбы) – не ранее 959 г. Соор. VIII-27-131; X-29-б/н; XI-27-157 – 953 г. Соор. VIII-27-129; X-29-143 – не ранее 939 г.	Соор. XI-26/27-153 – 956 г.	27П – не ранее 950 г.
	Соор. X-29-140 – не ранее 936 г.	Соор. XI-28-167 – не ранее 924 г. Соор. VIII-28-136; X-30-150; XI-28/29-162 – ремонт 948 г.		28П – не ранее 938 г.
	Соор. X-30-144 – не ранее 931 г. Соор. X-30-149 – не ранее 933 г.	Соор. VIII-28-137; X-30-146 – 936 г. Соор.VIII-28-132; X-30-121 – 932 г. Соор. VIII-28-136; X-30-150; XI-28/29-162– 937 г.	Соор. XI-29-171 – 938 г. Соор. XI-27/29-155 –934/936 г. Соор. XI-28-164 – не ранее 933 г. Ограда И/Р, XI-29 – 936 г.	

Источники и литература

Александровский А. Л., Гайдуков П. Г., Кренке Н. А., 1999. Исследования древнейшего культурного слоя и погребенной почвы на Троицком XI раскопе в Новгороде в 1998 г. // ННЗ. Вып. 13. С. 358–366.

Александровская Е. И., Александровский А. Л., Гайдуков П. Г., Кренке Н. А., 2000. Лес, луг, пашня, городская застройка по данным исследования древнейшего культурного слоя и погребенной почвы Новгорода // Естественнонаучные методы в полевой археологии. М. Вып. 3. С. 25–36.

Гайдуков П. Г., Дубровин Г. Е., Тарабардина О. А., 2001. Хронология Троицкого XI раскопа // ННЗ. Вып. 15. С. 81–87.

Гайдуков П. Г., Тихонов П. И., 1997. Шурфы в Кремлевском парке // ННЗ. Вып. 11. С. 10–11.

Гайдуков П. Г., Фараджева Н. Н., Дубровин Г. Е., 1997. Динамика застройки новгородской усадьбы X–XV вв. (по материалам усадьбы П Троицкого раскопа) // ННЗ. Вып. 11. С. 42–63.

Засурцев П. И., 1963. Усадьбы и постройки древнего Новгорода // Жилища древнего Новгорода: Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. IV. М. С. 5–165. (МИА. № 123).

Колчин Б. А., 1963. Дендрохронология Новгорода // Новые методы в археологии: Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. III. М. С. 5–103. (МИА. № 117).

Миронова В. Г., 1967. Языческое жертвоприношение в Новгороде (по материалам археологических раскопок) // СА. № 1. С. 215–227.

Петухова М. В., А–2011. Усадьба «П» Троицкого раскопа Великого Новгорода в X–XI вв.: выпускная квалификационная работа, кафедра археологии МГУ. М.

Седов В. В., 1957. К вопросу о жертвоприношениях в древнем Новгороде // КСИИМК. Вып. 68. С. 20–30.

Тарабардина О. А., 2007. Дендрохронология средневекового Новгорода (по материалам археологических исследований 1991–2005 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. М.

Тарабардина О. А., А–2007. Дендрохронология средневекового Новгорода (по материалам археологических исследований 1991–2005 гг.): дис. … канд. ист. наук [рукопись]. М.

Тарабардина О. А., 2010. О динамике строительства в Новгороде в эпоху Ярослава Мудрого // Новгород в эпоху Ярослава Мудрого. Великий Новгород. С. 321–334.

Фараджева Н. Н., 1999. Древнейшие постройки Троицкого XI раскопа // ННЗ. Вып. 13. С. 89–99.

Фараджева Н. Н., 2000. Типология и эволюция срубных построек древнего Новгорода // ННЗ. Вып 14. С. 80–99.

Фараджева Н. Н., 2009а. К вопросу о синхронизации строительных ярусов Троицкого раскопа (по материалам I, II, IV–XI раскопов) // Великий Новгород и средневековая Русь. М. С. 282–294.

Фараджева Н. Н., 2009б. Фундаментные конструкции деревянных построек Людина конца средневекового Новгорода // Хорошие дни: памяти Александра Степановича Хорошева. Великий Новгород; СПб.; М., 2009. С. 563–575.

Фараджева Н. Н., 2010а. К вопросу о датировке строительных ярусов усадебной застройки Троицкого раскопа (по материалам I, II, IV–XI раскопов) // ННЗ. Вып. 24. С. 112–128.

Фараджева Н. Н., 2010б. Постройки Людина конца средневекового Новгорода: автореф. дис. … канд. ист. наук. М.

Фараджева Н. Н., Тарабардина О. А., Гайдуков П. Г., 2013. Усадьба «И» Ярышевой улицы Троицкого раскопа. Топография, стратиграфия, хронология // ННЗ. Вып. 27. С. 127–140.

Янин В. Л., Колчин Б. А., Миронова В. Г., Рыбина Е. А., Хорошев А. С., 1978. Новгородская экспедиция // АО 1977 г. С. 45–47.

Янин В. Л., Колчин Б. А., Ершевский Б. Д., Миронова В. Г., Рыбина Е. А., Хорошев А. С., 1981. Новгородская экспедиция // АО 1980 г. С. 37–39.

Янин В. Л., Колчин Б. А., Рыбина Е. А., Хорошев А. С., 1985. Новгородская экспедиция // АО 1983 г. С. 39–40.

Summary

N. N. Faradzheva, O. A. Tabardina, P. G. Gaidukov

Properties on Yarysheva Street in the Lyudin District of Medieval Novgorod in the 10th century (Based on the Materials from the Troitsky Excavation)

This article is devoted to questions concerning the appearance and development of urban building in the territory of Lyudin District («End») in medieval Novgorod. To this end three early properties of the complex were investigated which were on Yarysheva Street. The work was based on materials from archaeological excavations carried out between 1984 and 1998 in the Troitsky Excavation in Novgorod (Trenches VIII–XI). The multi-disciplinary research carried out there so that the whole range of data might be taken into account (relating to planning, stratigraphy and dendrochronology) made it possible to obtain valuable information relating to the planning of early properties and the way in which they were originally laid out and built on Yarysheva Street during the early period of Novgorod's history from the 930s and right up to the late 10th and early 11th century. The research also made it possible to draw important conclusions about the emergence and development of the lay-out of this part of the city.

The groups of properties examined were among the earliest in the city. The territory occupied by the three properties on Yarysheva Street, southwest of the junction of Yarysheva and Proboinaya Street, had been planned and settled at one and the same time. The shapes of the plots and the data on the dates of the earliest planking for Yarysheva and Chernitsyna streets made it possible to speak of systematic settling of the territory in this quarter of the town, where building was extended in a westerly direction opposite to that of the bank of the Volkhov River. The enduring nature of the internal lay-out of each of the groups of properties during the early period of the city's history indicates that these plots of land remained the property of one and the same family of owners throughout the 10th century.

М. Пиотровский, М. Волошин

Червенские грады: история изучения и новые исследования

Во второй половине X в. завершился процесс кристаллизации государств Пястов, Пшемысловичей, Арпадовичей и Рюриковичей[1]. Тот факт, что правители Чехии, Польши и Венгрии обратились к латинскому христианству, а Русь приняла крещение из Константинополя, имел далеко идущие последствия. По мысли видного британского историка Роберта Бартлетта, «до настоящего времени одна из самых существенных границ культурного разделения славянского мира проходит между теми народами, которые обратились в христианство при помощи германцев, и теми, которые получили крещение от греков» (Bartlett, 1993, p. 20).

К таким пограничным регионам относится Червенская земля, ныне находящаяся на территории Восточной Польши. В этом регионе (рис. 1) нам известна серия малых городов с деревянно-земляными укреплениями, которые возникли в эпоху Средневековья: Дрогичин – Дорогичин, Хелм – Холм, Чермно – Червень, Грудек – Волынь, Сансядка – Сутейск, Пшемышль – Перемышль и городище Трепча рядом с городом Санок, чьё древнерусское название нам неизвестно.

Эти земли в период раннего Средневековья находились на западной периферии Древней Руси. Основные политические изменения на этой территории произошли только в XIV в., после того как Казимир Великий включил ее в состав Польши (*Corona Regni Poloniae*; см.: Rhode, 1955, S. 172–293; Wyrozumski, 1999, fig. 30, 40, 56, 60, 65; Lübke, 2004, S. 52–58; по поводу Червонной Руси см.: On the frontier of Latin Europe..., 2004; Janeczek, 2011). Таким образом, через польские земли, в том числе и в ее современных границах, проходила разделительная линия латинско-византийского пограничья.

В настоящей статье авторы останавливаются на двух археологических комплексах – Чермно и Грудек. Оба города, идентифицированные как Червенские грады[2], расположены на реке Хучва – левом притоке Буга. Название «Червенские грады» появляется в Повести временных лет (далее – ПВЛ) при описании походов Болеслава Храброго в 1018 г. и Ярослава Мудрого в 1031 г.

Под 1018 г. мы читаем: «Болеслав же побежал из Киева, забрав богатства, и бояр Ярославовых, и сестер его, а Настаса – попа Десятинной церкви – приставил к этим богатствам, ибо тот обманом вкрался ему в доверие. И людей множество увел с собою, и города Червенские забрал себе, и пришел в свою землю» (ПВЛ, с. 63, 201; 6526 [1018]).

В 1031 г., согласно ПВЛ, «Ярослав и Мстислав, собрав воинов многих, пошли на поляков, и вновь заняли Червенские города, и повоевали землю Польскую, и много поляков привели, и поделили их. Ярослав же посадил своих поляков по Роси; там они живут и по сей день» (ПВЛ, с. 65, 203; 6539 [1031]).

Однако еще под 981 г. в ПВЛ говорится: «Пошел Владимир на поляков и захватил города их, Перемышль, Червен и другие города, которые и доныне под Русью» (ПВЛ, с. 38, 175; 6489 [981]).

Историческим проблемам, связанным с характером этих городов и их локализации, посвящена значительная литература (Łowmiański, 1953; Rhode, 1955,

[1] Авторы выражают особую признательность своему коллеге из ИИМК РАН А. Е. Мусину, которому не только принадлежит перевод этой статьи на русский язык, но и ценные консультации по атрибуции археологических находок, которыми он неоднократно любезно делился, в частности посещая городище Чермно осенью 2011 г. и летом 2012 г. Сотрудничество между ИИМК РАН и Отделением ИАЭ ПАН в Кракове (сегодня Центр археологии гор и возвышенностей) и, в частности, между М. Волошиным и А. Е. Мусиным восходит к 2006 г., когда началась реализация совместных исследовательских проектов ПАН и РАН («Запад и Восток в христианизации Северной Руси и Малопольши в X–XV вв.» [2006–2010], «Между ромеизацией и романизацией. Польша Пястов и Русь Рюриковичей в процессах европеизации» [2011–2013]). Авторы также благодарны с. н. с. ИА РАН к. и. н. И. О. Гавритухину и организаторам конференции в Москве в ноябре 2012 г.

[2] В польской науке существуют, однако, и скептические оценки такого отождествления, см. например: Kowalczyk, 1978, s. 191–210; 2000, s. 56, 60–62; Tyszkiewicz, 2004, s. 195.

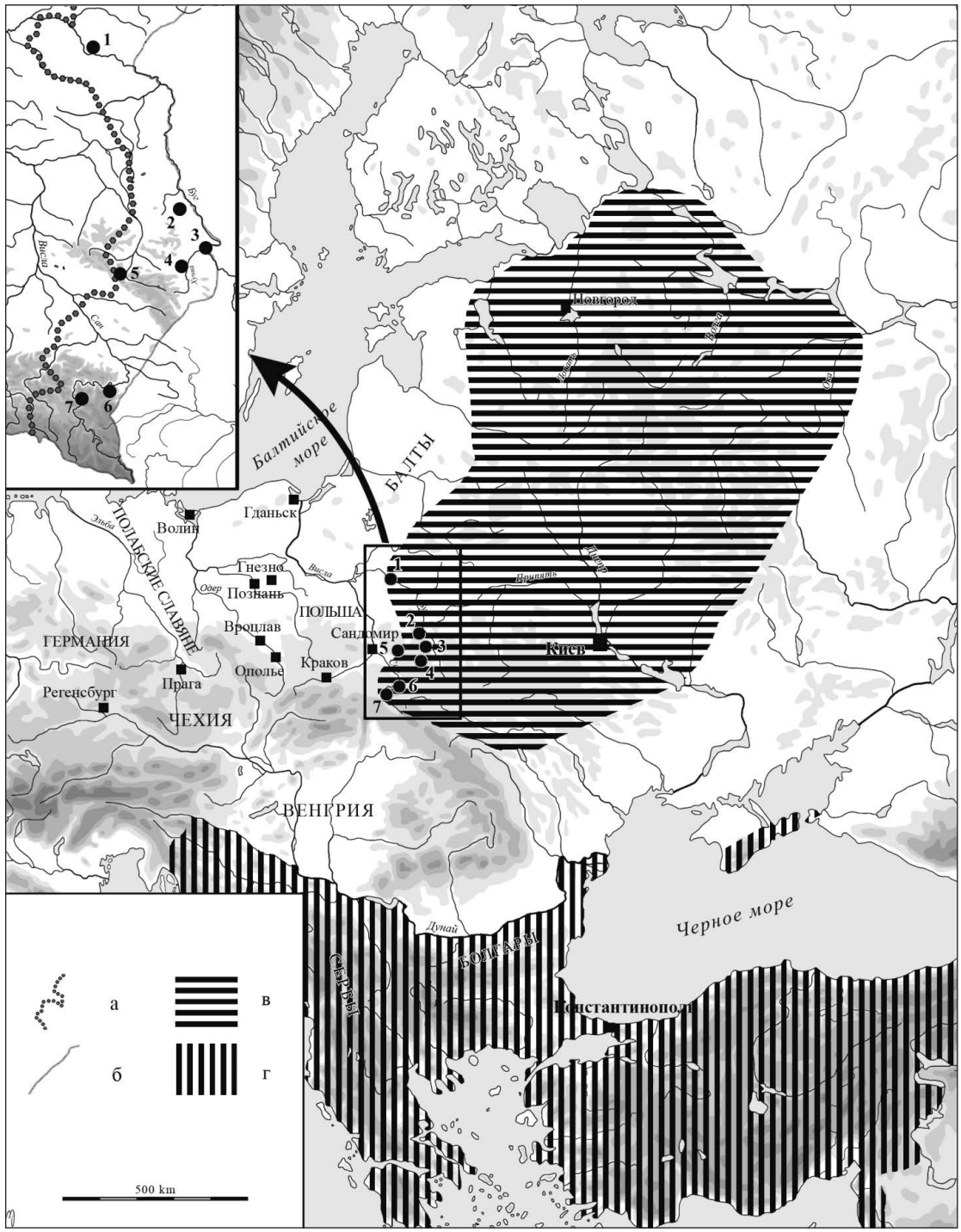


Рис. 1. Червенские грады и другие важнейшие города эпохи Средневековья на территории Восточной Польши в европейском контексте (около 1000 г.). Рисунок – И. Йордан.
а – раннесредневековая граница между Польшей и Древней Русью в X–XIII вв.,
б – современная восточная граница Польши,
в – Древняя Русь ок. 1000 г., г – Византия ок. 1025 г.
Города: 1 – Дорогочин, повят Симятицкий, Подляшское воеводство; 2 – Хелм, повят Хелм, Люблинское воеводство; 3 – Грудек, повят Хрубешув, Люблинское воеводство; 4 – Чермно, повят Томашув Любельский, Люблинское воеводство; 5 – Сутейск, повят Замостье, Люблинское воеводство; 6 – Перемышль, повят Перемышль, Подкарпатское воеводство; 7 – Трепча, повят Санок, Подкарпатское воеводство

S. 48–84; Poppe, 1958; Исаевич, 1972; Wasilewski, 1976; Labuda, 1981, S. 12–13; 1988; Nalepa, 1991; Kowalczyk, 2000; Назаренко, 2001, с. 391–410; Tyszkiewicz, 2004, s. 194–204; Matla-Kozłowska, 2008, s. 282–300; смотри также: Początki sąsiedztwa..., 1996).

Сегодня средневековый Червень надежно идентифицируется с городищем в селе Чермно (гимна Тышовце, повят Томашув Любельский, воеводство Люблинское, Польша). Для подобной идентификации чрезвычайно важна информация Ипатьевской летописи под 1268 г., посвященная топографии польско-русских военных действий и неоднократно упоминающая Червень (ПСРЛ 2, 6776 [1268], s. 865; Kuczyński, 1965, s. 86–87; см. также: Łowmiański, 1953, s. 61–62, przypis 17; Rhode, 1955, S. 49). Отождествление городища Грудек Надбужский (гмина Хрубешув, повят Хрубешув, воеводство Люблинское, Польша) с городом Волынь восходит еще к «Анналам» Яна Длугоша (Annales, 1964, liber I, s. 22; см.: Poppe, 1958).

Историки, анализируя проблему локализации Червенских градов, неоднократно ссылались на материалы археологических исследований как способ уточнить и дополнить информацию письменных источников (Poppe, 1958, s. 227; Labuda, 1996, s. 28; Kowalczyk, 2000, s. 56).

Регулярные археологические исследования Чермно и Грудка проводились неоднократно: в 1940 г., в 1952–1955 гг., в 1976–1979 гг., 1985 г. и, наконец, в 1997 г. (см.: табл. 1). К сожалению, большинство материалов этих исследований остаются неопубликованными и неизвестными научной общественности (по поводу истории изучения Червенских градов см.: Wołoszyn, 2012 [с исчерпывающей библиографией]).

Это произошло не в последнюю очередь потому, что в XX в. этот регион оказался в фокусе польских, советских и украинских политических амбиций. Может показаться странным, но именно в силу господства

Таблица 1

Археологические исследования Чермно и Грудка

	1940–1949	1950–1959	1960–1969	1970–1979	1980–1989	1990–1999	2000–2012
ЧЕРМНО	1940 Л. Чикаленко *(Центральный украинский комитет)*	1952 К. Яджевский *(PRL–ZSRR)*	–	1976–1979 Г. Гурба *(IA UMCS, Lublin)*	1985 А. Урбаньский *(Музей Замостья)*	1997 И. Кутыловская *(IA UMCS, Lublin)*, А. Урбаньский *(Музей Замостья)*, получение дендрохронологических дат	2010–2011 М. Пиотровский при научных консультациях А. Коковского *(IA UMCS, Lublin)*, регулярные исследования Чермно с помощью металлодетектров
					«черные археологи»		
ГРУДЕК		1952–1955 З. Раевский *(PRL–ZSRR)*			1983 С. Ястржемский (*IA UMCS, Lublin)*		2008 г. региональный музей в Хрубешове приобрел в коллекцию 550 археологических предметов из окрестностей Грудка
					«черные археологи»		

IA UMCS, Lublin – Институт археологии, Люблинский университет;
PRL–ZSRR – Польско-советский проект изучения становления Червенских городов (1952–1955) при незначительном вкладе советской стороны

СССР в Центральной и Восточной Европе в 1939–1989 гг. исследования древнерусской археологии на территории Польши оказались не востребованы. Естественно, в официальной коммунистической пропаганде времен ПНР Советский Союз представлялся как главный союзник Польши в войне с Гитлером, однако судьбы многомиллионного польского населения восточных районов страны с трудом вписывались в эту концепцию. Историческая память принимала в расчет как вступление Красной Армии на эту территорию 17 сентября 1939 г., так и очевидно политически мотивированное бездействие советских войск во время Варшавского восстания в августе – октябре 1944 г.

Советская, а затем, с 1941 г., немецкая оккупация активизировала процессы, связанные с окончанием многовекового польского присутствия на восток от Буга; к числу этих событий относятся репрессии НКВД 1939–1941 гг., «волынская резня» 1943 г., устроенная среди мирного польского населения силами Украинской повстанческой армии Организации украинских националистов (УПА ОУН), установление новой советско-польской границы по р. Буг в 1944–1945 гг. При этом судьбы поляков эпохи Второй Польской республики, некогда проживавших на ее восточных землях, в эпоху ПНР полностью замалчивались. Трагические моменты истории взаимоотношений Варшавы и Москвы, а также контроль над научной деятельностью в СССР создавали дополнительные сложности в изучении ранних этапов истории польско-русско/российских/украинских взаимоотношений.

В то же время идея Польши Ягеллонов как Польши многонациональной, интегрированной в Восточную Европу, перестала быть актуальной. После 1945 г. главный акцент делался на истории Польши Пястов в ее «законных», исторических границах. Польские коммунисты, которых общество подозревало в предательстве национальных интересов, стремились представить новые государственные границы, существенно переместившиеся на запад, как свою большую заслугу в войне с Германией. К тому же события Второй мировой войны 1939–1945 гг. и столкновение Польши и Германии дополнительно привели к росту интереса к становлению державы Пястов, рождавшейся на западе страны в



Рис. 2. Комплекс археологических памятников Чермно; по: M. Florek (2012, рис. 1). Рисунок – И. Ожуг, фото – С. Орловский. I – аэрофотосъемка. II – план: а – средневековое поселение; б – средневековые деревянные настилы; в – южное валообразное укрепление; г – кладбище; д – заболоченная зона; е – реконструированное направление речки Синюха, существовавшей до мелиоративных работ 1960-х гг.; A–D – места отбора дендрохронологических спилов

I

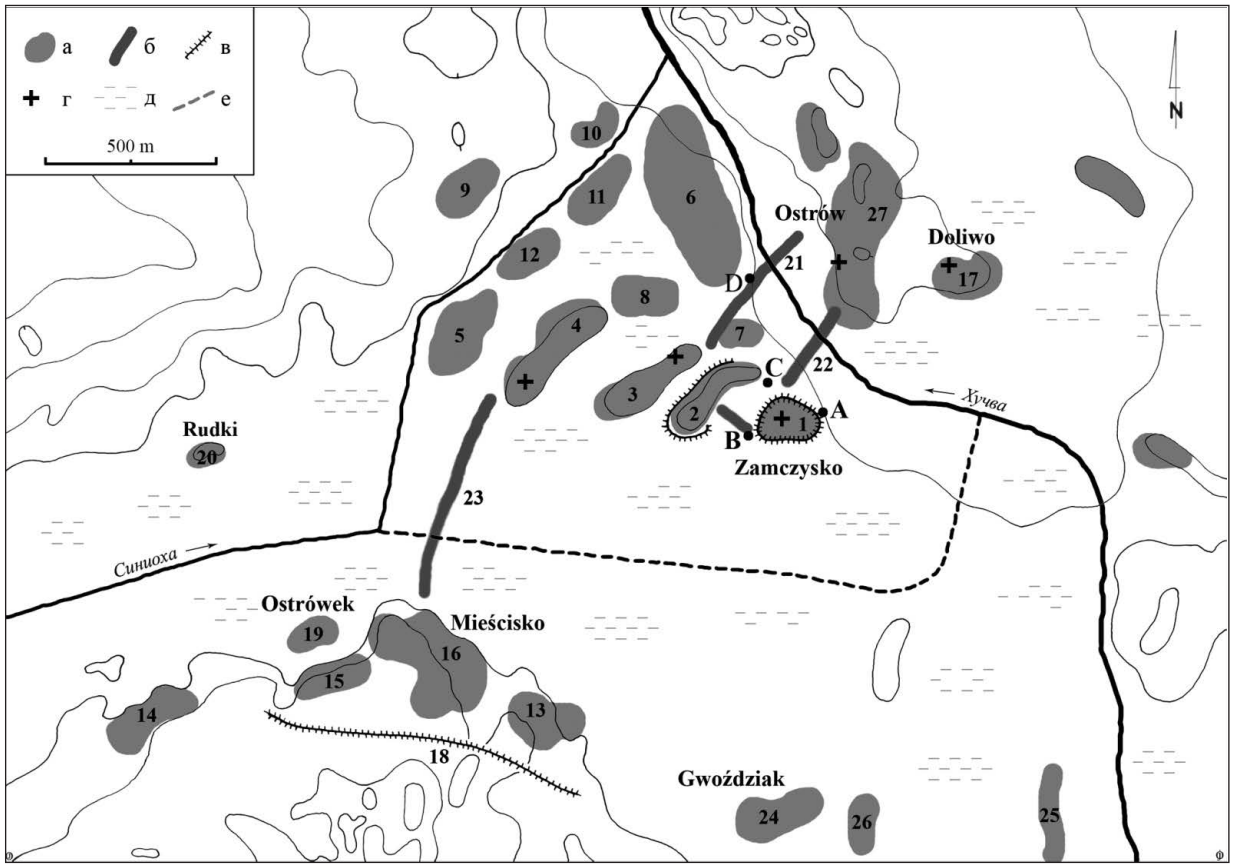
схожих условиях противостояния. Также подчеркивалось, что новая Польша была практически свободна от «этнических меньшинств». Эта Польша не была заинтересована в изучении тем, связанных с этническим пограничьем, в том числе и пограничьем польско-древнерусским. Все эти факторы не способствовали активному изучению истории и археологии восточных земель Польши, которые со средневековой эпохи до новейшей истории оказывались заложниками внешней политики.

Стоит также отметить и научный фактор, не способствовавший активному изучению археологии этих земель: в период 1945–1989 гг. в регионе существовал только один археологический центр – Люблинский университет.

Всё это объясняет, почему археологическое наследие этих территорий с его древнерусскими и византийскими элементами оказалось сегодня недостаточно изученным. Одновременно наметилась другая проблема – Червенскими градами заинтересовались «черные археологи».

Перейдем к краткой характеристике вышеуказанных памятников. Археологический комплекс в Чермно (рис. 2) состоит из укрепленного поселения (Чермно I), расположенного на хорошо эскарпированном холме при слиянии рек Хучвы и ее малого притока Синюхи, двух посадских поселений и группы селищ, расположенной на болотистом берегу Хучвы. Общая площадь комплекса оценивается приблизительно между 75 и 150 га, часть из которой серьезно заболочена (см.: Florek, 2012 [с соответствующей литературой]).

К западу от городища, отделенный небольшой низиной, находился укрепленный посад (Чермно II). К настоящему времени на памятнике известен культурный слой мощностью местами более 1 метра. К западу от укрепленного посада обнаружено неисследованное средневековое кладбище, хотя на самом посаде следов некрополя, современного или предшествующего поселению, не выявлено. В 1985 г. к северо-западу от городища были открыты следы деревянных настилов, которые, предположительно, соединяли посад с заболоченным берегом Хучвы. Дендрохронологическое датирование этих настилов позволяет отнести их к XII–XIII в. (не ранее 1186 – не позднее 1245 гг., со следами двух об-



II

новлений конструкций в 1203 и 1240–1242 гг.; см.: Urbański, 2000; Gurba, 2004). Существует дендродата и для деревянных конструкций вала, которая относится к началу XI в. (имеющиеся спилы датируются 1007, 1027, 1030 и 1050 гг.; см. Urbański, 2000, s. 242), однако она нуждается в верификации. Необходимо отметить, что эти датированные конструкции не принадлежат к самым ранним слоям укрепления.

Поселенческий комплекс Грудка-Волыни (рис. 3) площадью около 15 га состоит из остатков укрепленного городища и группы селищ на посаде. Вал городища был разрушен в нескольких местах ямами и укреплениями двух мировых войн. На территории раннего городища впоследствии возникло кладбище XIII–XIV вв., где в процессе раскопок 1950-х гг. было открыто 466 погребений, 42 из них содержали погребальный инвентарь: бронзовые пуговицы, фрагменты тканей, серьги и перстни, металлические накладки, нательные кресты и бусы. Ближайшие параллели этим предметам происходят с территории Древней Руси. Могильные ямы прорезали жилые и хозяйственные конструкции предшествующего времени, в частности печи и кузницу. К сожалению, дендродаты для этого памятника отсутствуют (см.: Kuśnierz, 2006; 2012a [с соответствующей литературой]).

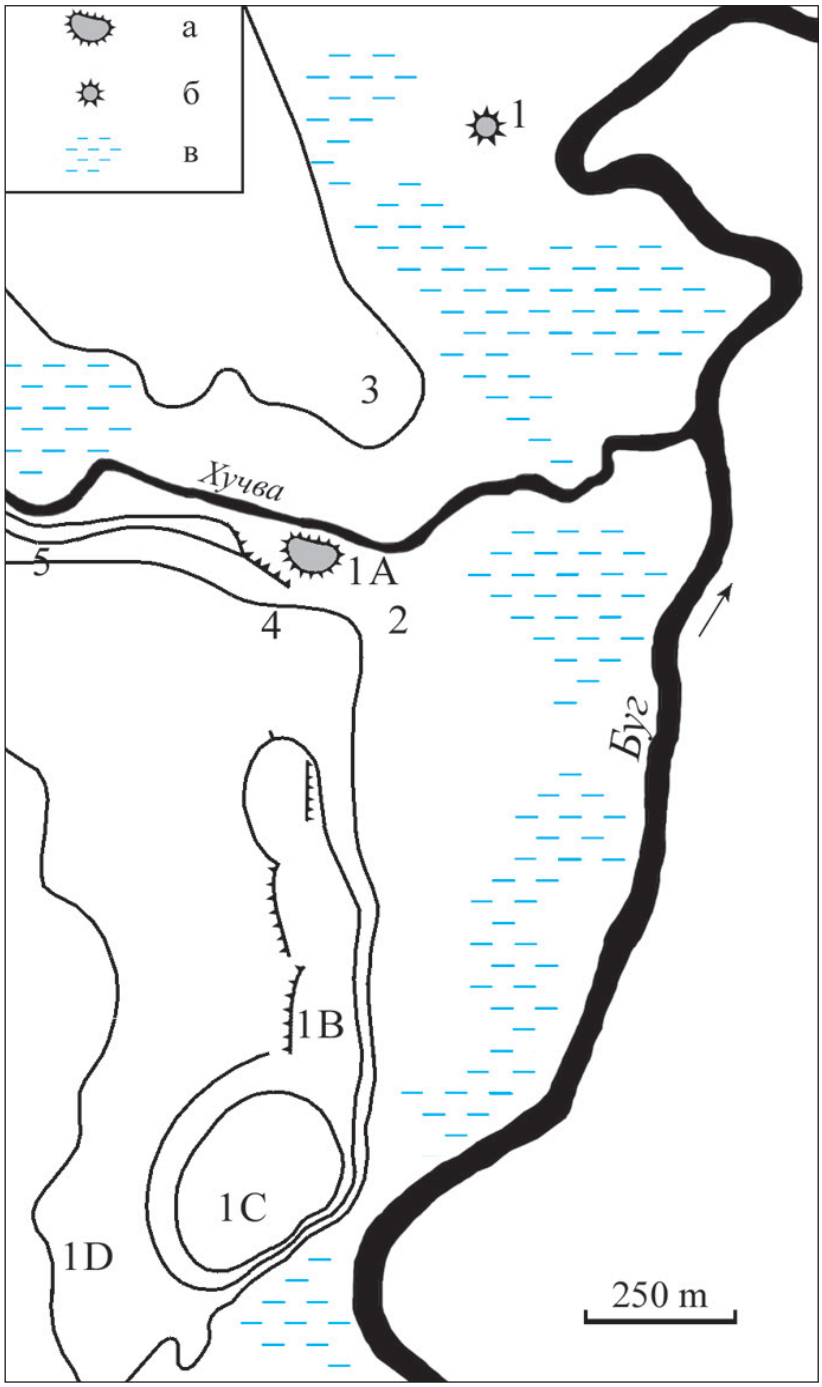
Одновременно находки с посада Грудка оседали в руках местных жителей и любителей старины. В 2006 г. региональный музей в Хрубешове приобрел коллекцию из 550 археологических предметов из окрестностей городища. Среди них стоит отметить украшения и элементы костюма, предметы вооружения, вислые печати, пломбы «дорогичинского типа», предметы личного благочестия (кресты-энколпионы и нательные кресты, иконки-привески). Этот материал датируется XI – началом XV в.

Нам уже приходилось с сожалением констатировать, что Чермно и Грудек интересуют не только серьезных исследователей, но и «черных археологов». В октябре 2010 г. группа специалистов из Люблинского университета во главе с М. Пиотровским под научным руководством профессора А. Коковского начала регулярные сплошные исследования территории памятника Чермно с помощью металлодетекторов. Естественно, это не тот метод, который может заменить систематические раскопки, однако это было адекватным ответом на угрозу со стороны грабителей. Все сделанные находки получили надежную топографическую привязку на плане поселения.

Исследования «горизонтальной стратиграфии» были проведены в Чермно в 2010–2011 гг. Они по-



I



II

Рис. 3. Комплекс археологических памятников Грудек; по: J. Kuśnierz (2012 a, рис. 1). Рисунок – И. Йордан, фото – С. Оровский.

I – аэрофотосъемка;
II – план.
а (1–5) – средневековое поселение,
б – курган «Княжеская могила»,
в – заболоченная зона

зволили собрать 2500 предметов. Наиболее многочисленная группа – это свинцовые пломбы дрогичинского типа» – 404 экземпляра. В то же время здесь было найдено 20 вислых печатей, 20 энколпионов и их фрагментов, 21 крест-тельник, 23 топора, 104 наконечника стрелы и несколько сотен других предметов и украшений. Было найдено только 6 фрагментов стеклянных браслетов. Наиболее замечательной находкой было открытие двух кладов украшений, некогда спрятанных на городище, очевидно, в момент военной угрозы.

Клады были найдены в апреле 2011 г., и их реставрация была завершена в октябре того же года. Эти мероприятия были осуществлены группой археологов и реставраторов из Кракова: E. Nosek, команда профессора Dr. St. Rzadkosz (A. Garbacz-Klempka, P. Jurecki, E. Grajper-Wrona, J. Stępiński, A. Tchórz), I. Jordan, J. Ożóg, U. Potyrało. Всё это стало возможным благодаря финансовой поддержке ряда организаций[3].

Если большинство этих находок относится к XI–XIII в., то открытые здесь клады могут быть датированы XIII и даже началом XIV в. В своей монографии Г. Ф. Корзухина выделила 4 хронологические группы древнерусских кладов. Последняя группа была отнесена ею к периоду 1170–

[3] Министерство образования и научных исследований Федеративной Республики Германии через Центр исследований Центральной и Восточной Европы университета Лейпцига (директор профессор Кристиан Любке) профинансировало реставрацию кладов в июне – октябре 2010 г. В декабре 2011 г. польское Министерство культуры и национального наследия выделило средства на организацию выставки «Чермно – город между Востоком и Западом», которая открылась 28 ноября 2012 г. в музее Томашева Любельского. Это, в свою очередь, позволило провести реставрацию 1500 археологических предметов из Чермно. Наконец, в 2012 г. проект получил грант Добмартон Окс на консервацию и реставрацию сфрагистического материала из Чермно и его исследование: проект «Seals at the Border; Seals in the Context; Seals and Dorogichin Seals from Czermno», см.: URL: http://www.doaks.org/research/byzantine/byzantine-project-grant-reports (дата обращения: 15.07.2014).



Рис. 4. Чермно. Клады № 1 и 2 после консервации и реставрации, октябрь 2011. Фото – К. Васильчук

1240, когда большинство сокровищ было спрятано во время монгольского нашествия (Корзухина, 1954, с. 18–19, 27). Клады из Чермно (рис. 4), несомненно, относятся к четвертой группе, однако их датировка представляется достаточно сложной, особенно при привлечении существующих аналогий. Так, клад из Сокаля (Украина; см.: Петегирич, 2010) весьма похож по составу на сокровище из Чермно. Основываясь на этих параллелях, можно было бы датировать эти клады концом XIII – началом XIV в. Стоит обратить внимание на плоские спиральные ленточные браслеты, которые известны, например, в кладе в Демидове (Украина; см.: Зарубий, 2009, № 10–13). Из этого же клада происходят серебряные наручи, которые известны и в Чермно, и монеты конца XIII – начала XIV в., а именно чекан Вячеслава II (1271–1305) и Иоанна (1296–1346) Чешских (Kotlar, 1975, cat. № 38). Сравнительные наблюдения за некоторыми типами украшений, в частности спиральными браслетами, позволяют предположить, что клады из Чермно могли быть сокрыты в первой половине XIV в. (см. также: Ливох, 2011, с. 42, 58, ссылка 17).

Печати

До недавнего времени печати, принадлежащие византийской традиции, были встречены в Польше в количестве около 20 экземпляров (Wołoszyn, 2003, vol. II, s. 651–665; 2009, fig. 1). Большинство этих печатей было связано с территориями, которые в XI–XIII вв. были частью Древней Руси (Дрогичин, Грудек, Перемышль, Сансядка). Наиболее интригующими были находки печатей на территории Польши Пястов – в Калише в Великопольше (Wołoszyn, 2004, s. 248–250, fig. 2) и Крушвицах на Куявах (Poppe,

1980). В такой ситуации находка около 30 печатей в Чермно[4] заслуживает особого внимания.

Обратимся к некоторым наиболее ярким экземплярам. Две печати с изображением царя Давида (рис. 5: 2–3) могут быть атрибуированы владимир-волынскому князю Давиду Игоревичу (1084–1112). До недавнего времени этот сфрагистический тип, представленный 5 экземплярами на территории Польши, был известен только в Сансядке (Wartołowska, 1958, s. 29–30, fig. 14: 1–5; Soloviev, 1961, fig. 1; Янин, 1970, с. 20, 171 [№ 26–28]). К этим пяти стоит добавить еще один моливдовул, найденный во Владимире-Волынском на Украине (Янин, Гайдуков, 1998, с. 21–22, 115 [№ 26–2], таб. 2: 26, 53: 26).

Еще одна печать с надписью +ДЬНЪСЛОВО на аверсе имеет на обратной стороне изображение св. Иоанна Предтечи (рис. 5: 1). Согласно гипотезе В. Л. Янина, эта печать могла принадлежать князю Ярославу, сыну Святополка Изяславича, который был волынским князем в 1100–1118 гг. (Янин, 1970, с. 83).

Две другие печати несут на себе изображения свт. Василия Великого и архангела (рис. 5: 4–5). Эти моливдовулы соответствуют буллам новгородского происхождения № 229 в своде В. Л. Янина (Янин, 1970, с. 122–123, 211). Весьма близка к печатям из Чермно булла, найденная в Хмельницкой области Украины и опубликованная в третьем томе Свода древнерусских печатей (Янин, Гайдуков, 1998, № 171а, таб. 9: 171а). Эта печать может быть атрибуирована как принадлежавшая князю Рюрику Ростиславичу времени его княжения в Новгороде (1170–1171).

Использование в делопроизводстве вислых свинцовых печатей является особенностью византийской культуры. Так, по подсчетам Дж. Несбитта, только в Гарвардской коллекции хранится около 17 000 печатей, тогда как общее число сохранившихся византийских печатей оценивается в 60 000 (Nesbitt, 2008, p. 150). Такие печати также характерны и для стран Византийского содружества.

В славянских странах, находившихся под латинским влиянием, использование в делопроизводстве свинцовых печатей оказывается явлением маргинальным; так, в Польше X–XIII вв. известно лишь несколько экземпляров (Suchodolski, 2009). Таким образом, печати, найденные в Чермно, стоит рассматривать как еще одно свидетельство того, что Червенская земля была не только западным форпостом Киевской Руси, но и Византийского содружества.



Рис. 5. Чермно. Вислые печати после консервации. Фото – М. Волошин.
1 – княжеская печать с надписью на аверсе +ДЬНЪСЛОВО и изображением св. Иоанна Предтечи на реверсе, Ярослав Святополчич (1100–1118);
2–3 – печати с изображением царя Давида, Давид Игоревич († 1112);
4–5 – печати с изображением свт. Василия Великого и архангела, Рюрик Ростиславич († 1215)

[4] В рамках исследовательского проекта, осуществленного М. Пиотровским при научном руководстве А. Коковского, было найдено 20 печатей, а от местных жителей в дальнейшем было получено еще 10.

Пломбы «дрогичинского типа»

Пломбы «дрогичинского типа» составляют специфическую категорию сфрагистических находок Древней Руси. На сегодняшний день в Чермно известно 404 подобных пломбы (рис. 6).

Из около 40 мест находок таких пломб, перечисленных более 10 лет тому назад в работе В. Перхавко, лишь немногие находятся на территории Волжской Болгарии и Литвы, тогда как основная масса связана с землями Киевской Руси. Общее число находок таких пломб оценивается исследователями как близкое к 15 000, 12 000 из которых, или около 80 % происходят из Дрогичина Надбужского, а 2500 (17 %) – с территории Северной Руси. Только 3 % находок связаны с Западной и Южной Русью, не считая, конечно, самого Дрогичина. Количество находок, зафиксированных одновременно на памятниках этих земель, никогда не превышало 10 экземпляров, что справедливо даже для таких крупных политических центров, как Киев (6 экз.), Чернигов (6 экз.) и Галич (2 экз.) (об этом см.: Перхавко, 1996, с. 220, 222, 225, 242–247).

Естественно, повсеместное применение металлодетекторов в последние годы существенно увеличило число таких находок, и мы можем ожидать как появление новых типов пломб, так и уточнение географии их распространения и статистики, как это уже было продемонстрировано на материалах Белоозера (Захаров, 2005).



Рис. 6. Чермно. Пломбы «дрогичинского типа» после консервации (1–3). Фото – М. Волошин

Проблема назначения пломб «дрогичинского типа» активно обсуждалась в исследованиях XX в. (Рыбаков, 1948, с. 343; Lewicki, 1956; Musianowicz, 1957). Эти исследования основывались на изучении как крупных коллекций основных российских музеев, таких как Государственный исторический музей в Москве, собрание Н. П. Лихачева в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, так и корпусов находок, происходящих из раскопок и сборов на конкретных памятниках, включая Дрогичин, Новгород, Рюриково городище, Старую Рязань. В более широком контексте проблема пломб «дрогичинского типа» изучалась в работах последнего времени, в частности в трудах таких авторов, как Б. Ершевский (1985), В. Перхавко (1996), С. Белецкий (1999), С. Захаров (2005) и О. Олейников (2009), однако нельзя сказать, что современной науке удалось предложить всеми признанную интерпретацию этих сфрагистических памятников.

Известно, что большинство пломб «дрогичинского типа», найденных в XIX в., не имели точной топографической привязки на территории памятника и установленного археологического контекста. Находки из Чермно, благодаря надежной фиксации обстоятельств их обнаружения, служат весьма важным источником по исторической топографии самого памятника. Весьма важен тот факт, что практически все пломбы «дрогичинского типа», обнаруженные в Чермно, были собраны на посаде, вблизи заболачиваемой долины р. Хучвы, а не на самом городище (рис. 7).

Интересно сопоставить особенности топографии обнаружения пломб с другими древнерусским памятниками. Так, в самом Дрогичине эти пломбы происходят не с городища, а с надпойменной части к западу от него (Императорская археологическая комиссия, 2009, с. 899, рис. на с. 898; см. также: Musin, 2012b), т. е. в топографически близкой к Чермно ситуации. Подобную ситуацию можно отметить и в Белоозере (Захаров, 2005).

Известно, что эти пломбы иногда интерпретируются как следствие коммерческой активности, тогда как печати связываются с политическим и административным делопроизводством. Возможно, сегодня есть основания пересмотреть это мнение. Недавние наблюдения Виктории Булгаковой за печатями из Судака в Крыму позволяют предположить, что концентрация печатей здесь может быть связана с коммерческим и таможенным контролем, а не с остатками погибшего архива (Булгакова, 2012). Как уже отмечалось, почти все печати и пломбы «дрогичинского типа» из Чермно были найдены в районе речной поймы, а не на самом городище. Это позволяет предположить, что именно здесь находился речной порт и торговая площадь, где осуществля-

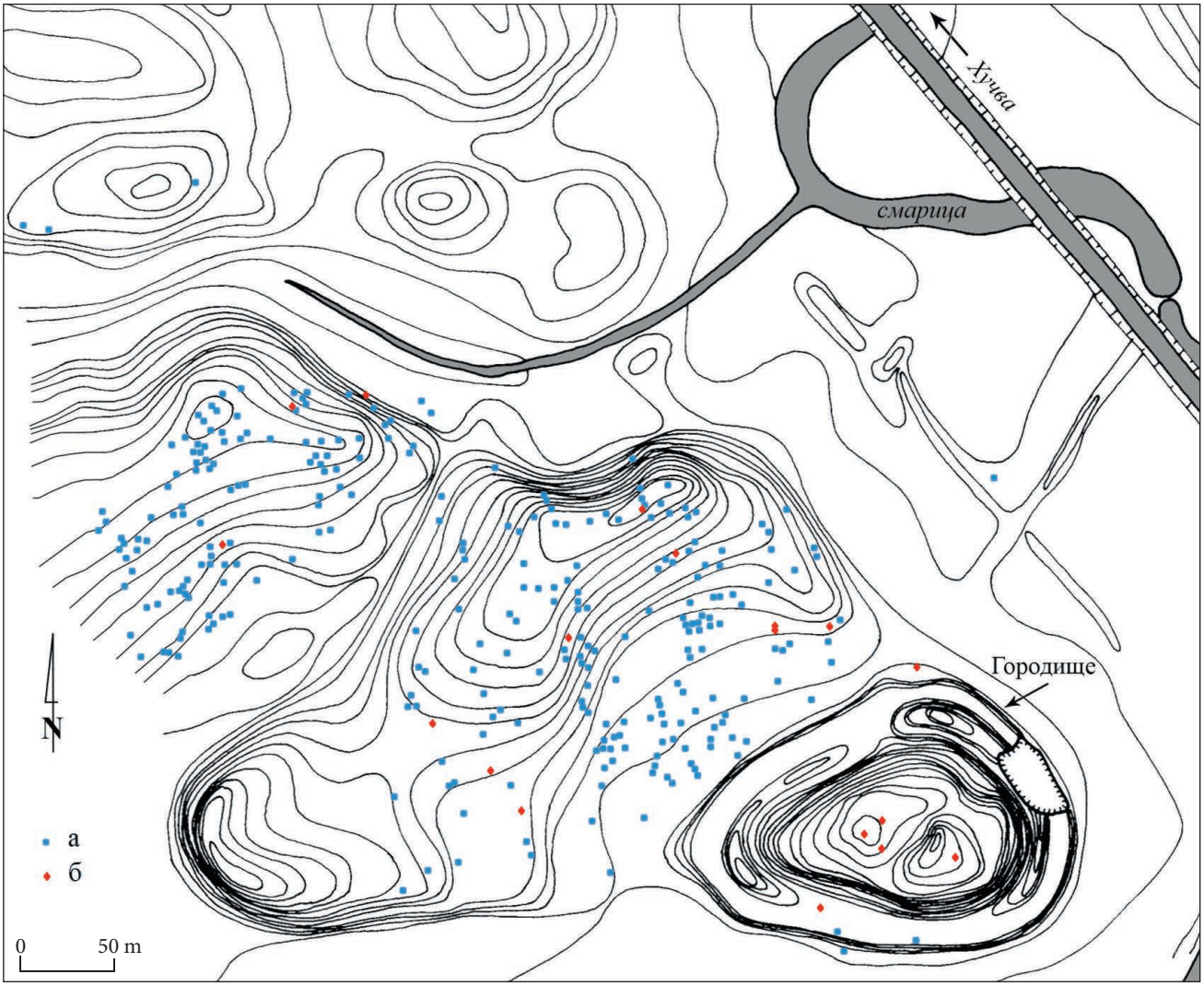


Рис. 7. Чермно. Топография находок вислых печатей и пломб «дрогичинского типа».
Рисунок – М. Пиотровский, И. Ожуг.
а – пломбы «дрогичинского типа», б – вислые печати

лись коммерческие контакты между торговцами из Польши и Руси, однако такое предположение требует дальнейших обоснований.

Предметы личного благочестия

Среди предметов, найденных в Чермно в 2010–2011 гг. и поступивших от местных жителей, представлена серия крестов-реликвариев и нательных крестов. Несколько крестов-реликвариев (рис. 8: 1) относятся к типу III.1.1 по Г. Ф. Корзухиной и А. А. Песковой, весьма распространенному на Руси в XII–XIII вв. (Корзухина, Пескова, 2003, с. 101–110, таб. 48–59). Подобная датировка приложима к еще одному фрагменту энколпиона (рис. 8: 2), который принадлежит оборотной створке креста типа III.2.4 (Корзухина, Пескова, 2003, с. 127–132, таб. 72–75) или IV.4.6 (Корзухина, Пескова, 2003, с. 152–157, таб. 91). Среди нательных крестов есть ряд крестов с эмалями (рис. 9; см.: Мальм, 1968; Staecker, 1999, S. 121–123 [type 1.5.3]).

Материалы раскопок Червенских городов весьма важны для изучения целого ряда исторических тем, включая проблемы взаимоотношения соседних государств. В настоящее время уровень наших знаний о местной материальной культуре не позволяет сделать окончательные выводы касательно особенностей формирования и функционирования средневековой границы между Польшей и Русью. Основания для этого могут быть получены только в результате систематических археологических исследований.

Осенью 2012 года Министерство науки и высшего образования Республики Польша выделило

грант на финансирование проекта по изучению Червенских городов под названием «"Золотое яблоко" польской археологии. Поселенческие комплексы в Чермно и Грудке (Червенские грады) – хронология и функция в свете старых исследований и их верификации» (Национальная программа развития гуманитарных наук, проект № 12H 12 0064 81). Этот проект реализуется в рамках международного сотрудничества совместно с учеными Германии (Лейпциг), России (Санкт-Петербург) и Сербии (Белград).

В рамках реализации проекта в 2013 г. в Чермно были начаты пробные раскопки на поселении № 3. В 2014 г. запланированы исследования вала городища, и здесь мы рассчитываем на будущие находки деревянных конструкций, которые позволят получить дендродаты.

Дендрохронологический анализ остатков лагов, некогда служивших основой для переходов в заболачиваемой части поселения в Чермно, который был произведен в 1997 г., подтверждает существование жизни в этом политическом центре после 1240/1241[5]. Считается общепризнанным, что упадок поселения здесь, как и в Грудке, мог быть связан с требованием

[5] В исследованиях считается, что монгольское нашествие на Русь, завершившееся взятием Киева Батыем 6 декабря 1240 г., было поворотным моментом в истории Восточной Европы (см., напр.: Черепнин, 1977, с. 192–198). Однако существуют свидетельства, что это вторжение не привело к полному уничтожению русской культуры и ремесла. Они знали свое поступательное развитие на Севере Руси, например, в Великом Новгороде. Всё это не позволяет говорить об отсутствии преемственности в развитии местной культуры, в том числе и для Среднеднепровского региона в XIV–XV вв. (Беленькая, 1997). Для того, чтобы должным образом оценить последствия прихода монголов на Русь, в том числе и для использования этого события terminus ante quem в датировке археологических памятников, необходимы дальнейшие исследования (см., например: Чернецов, 2003). Однако в середине XIII в. на юго-западных землях Руси, а именно в Галицко-Волынском княжестве, могла существовать особая культурная ситуация. Княжество процветало под водительством князя Даниила († 1264; по поводу этого правителя и его внешней политики см.: Dąbrowski, 2012), хотя и на этих землях фактор монгольского завоевания сказывался на развитии общества. Известно из летописи, что Даниил стремился привлечь ремесленников в Холм, ныне Хелм на территории Польши (ПСРЛ 2, 6767 [1259], с. 843–845). В совокупности с новыми данными, полученными при раскопках профессора А. Буко монастыря в Столпье (Buko, 2012) и в самом Холме на Соборной горе, всё это позволяет заключить, что в интересующее нас время город переживал небывалый культурный подъем (Buko, Dzieńkowski, Gołub, 2013).

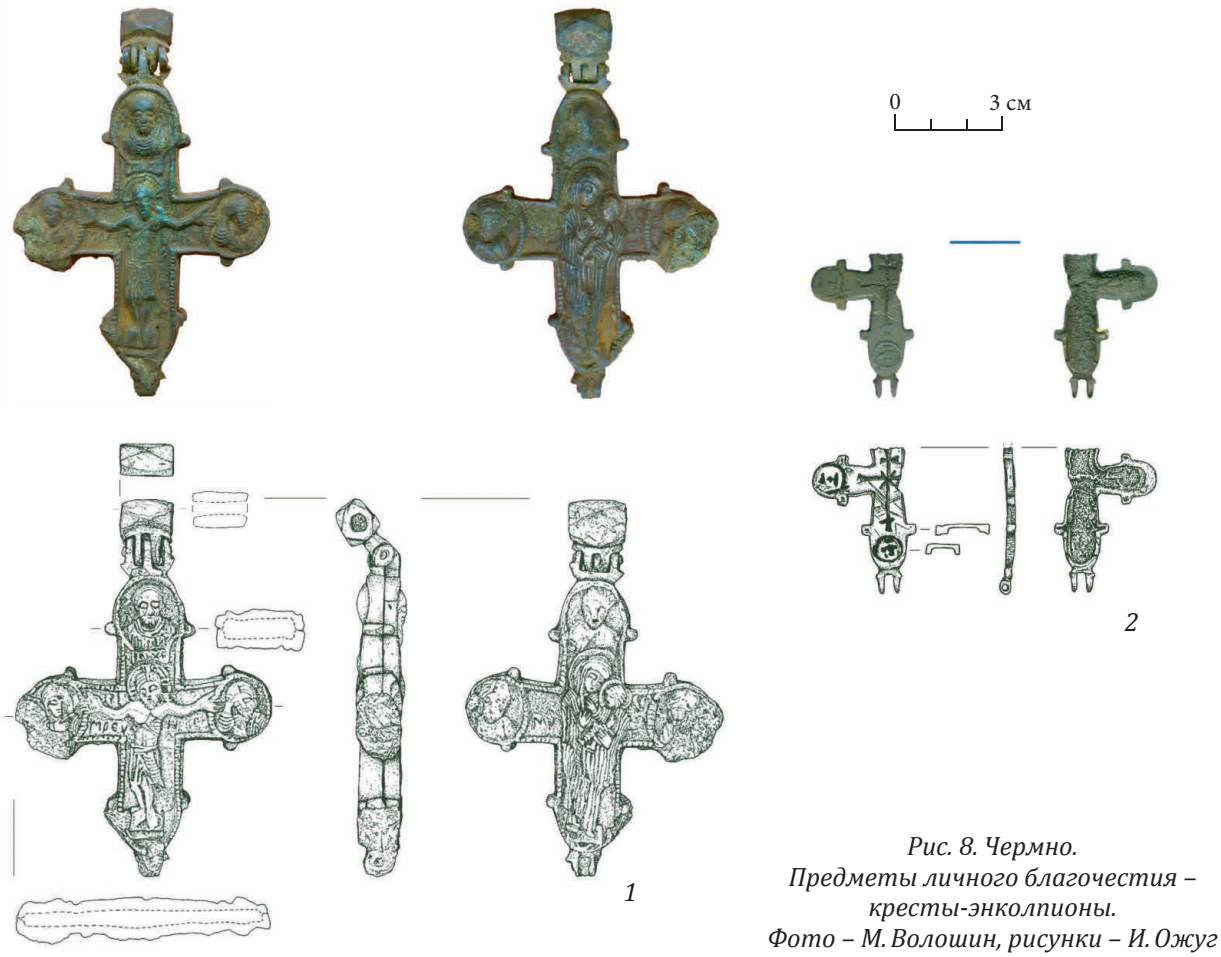


Рис. 8. Чермно.
Предметы личного благочестия – кресты-энколпионы.
Фото – М. Волошин, рисунки – И. Ожуг

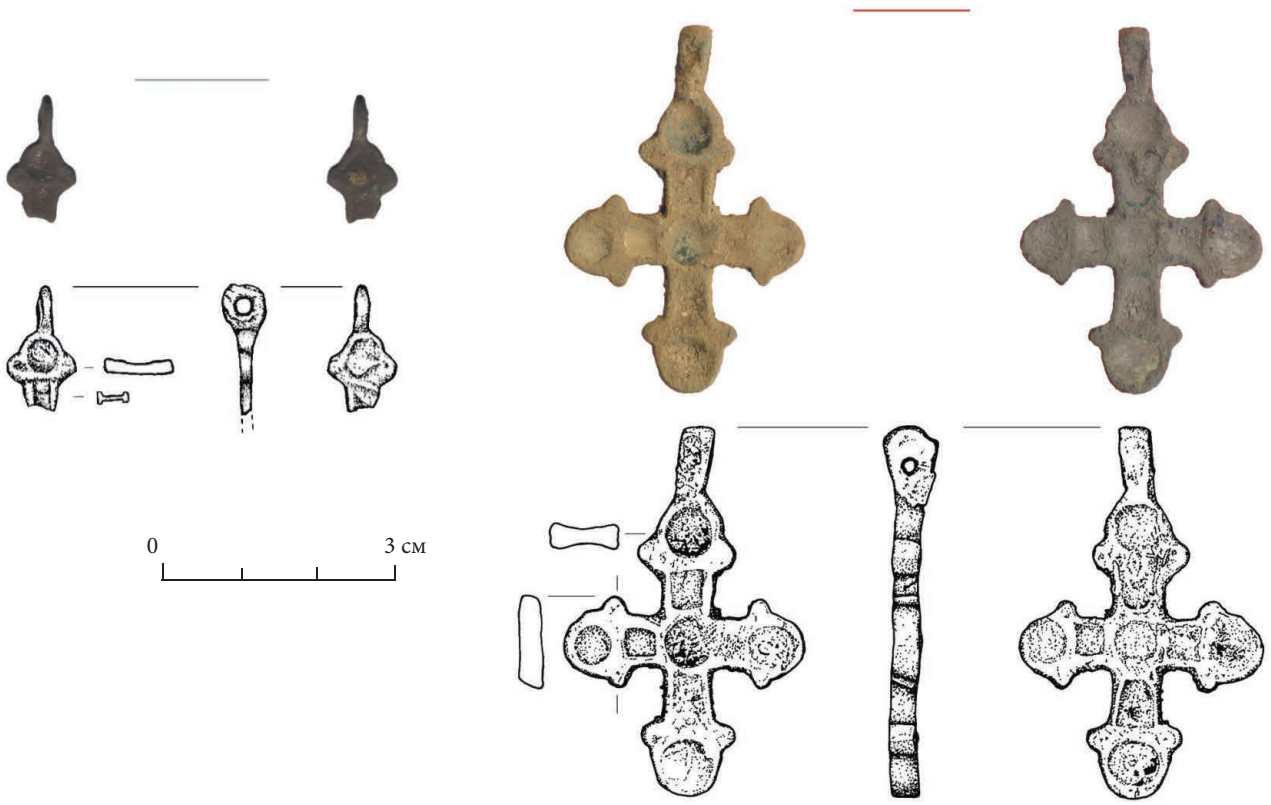


Рис. 9. Чермно, повят Томашув Любельський, Люблинское воеводство, Польша. Предметы личного благочестия – нательные кресты. Фото – М. Волошин, рисунки – И. Ожуг

монголов разрушить местные укрепления в 1260 г. (Urbański, 2000; Gurba, 2004; Kuśnierz, 2012a; 2012b).

Сегодня необходимо дальнейшее исследование богатой коллекции находок из Грудка и Чермно, большинство из которых имеет древнерусское или византийское происхождение. В любом случае для периода XI–XIII вв. местная материальная культура была более древнерусской, нежели польской. Элементы латинской культуры здесь встречаются крайне редко. Это наблюдение пока невозможно распространить на местную керамику, которая сегодня еще не изучена в достаточной степени. Стоит отметить значительное количество предметов личного благочестия, которые использовались жителями Чермно и Грудка, а также пломб «дрогичинского типа». Это означает, что эти города играли важную роль в коммерческом обмене между Русью и Центральной Европой.

Известно, что в XIII–XV вв. западная цивилизация играла на этих землях существенную роль, гораздо более активную, чем византийская. Однако в XI–XII вв. ситуация была совершенно другой. Если мы обратимся к характеру восприятия на Руси европейских технологий и религиозной культуры позднего Средневековья, то станет очевидно, что Русь, следуя традициям раннего Средневековья и сохраняя наследие первых контактов с христианской Европой, продолжала оставаться частью Византийского содружества. Недавно этот процесс изначального приобщения Восточной Европы к общеевропейским ценностям, восходящим к континуитету с поздней Античностью, одним из авторов этой статьи совместно с А. Е. Мусиным был назван «ромеизацией», как связанный преимущественно со взаимодействием с «государством ромеев», в отличие от «романизации», имевшей своим истоком Римскую империю и ее наследников (см.: Musin, Wołoszyn, 2012, p. 705–710).

Можно предположить, что Червенские грады были много бóльшим, чем просто контактной зоной между латинской Польшей и православным населением Древней Руси. Они были западным форпостом византийского мира и центрами распространения влияния византийской цивилизации.

Источники и литература

Беленькая Д. А., 1997. Наследие домонгольской Руси в ремесле XIV–XV веков // Древняя Русь. Быт и культура / отв. ред. Б. А. Колчин, Т. И. Макарова. М. С. 221–225. (Археология СССР. Т. 16).

Белецкий С. В., 1999. Знаки Рюриковичей на пломбах из Дрогичина (по материалам свода К. В. Болсуновского // Stratum plus. № 6. С. 288–330.

Булгакова В. И., 2012. «Скопление печатей с территории Сераскерата» в Константинополе: историографический миф? (К вопросу о византийском институте печатей) // Сугдейский сборник. Вып. 5 : Материалы V Судакской международной научной конференции «Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре» (г. Судак, 23–24 сентября 2010 г.). Киев; Судак. С. 309–326.

Ершевский Б. Д., 1985. Дрогичинские пломбы. Классификация, типология, хронология (по материалам собрания Н. П. Лихачева) // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 17. С. 36–57.

Зарубий Е., 2009. Золоті та срібні прикраси княжої доби в колекції Львівського историчного музею. Львів.

Захаров С. Д., 2005. Свинцовые пломбы Белоозера // Русь в IX–XIV веках. Взаимодействие Севера и Юга / отв. ред. Н. А. Макаров, А. В. Чернецов. М. С. 20–60.

Исаевич Я. Д., 1972. «Грады Червенские» и Перемышльская земля в политических взаимоотношениях между западными и восточными славянами: конец X – начало XI в. // Исследования по истории славянских и балканских народов. Эпоха Средневековья. Киевская Русь и ее славянские соседи / отв. ред. В. Д. Королюк. М. С. 107–124.

Корзухина Г. Ф., Пескова А. А., 2003. Древнерусские кресты-энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. СПб. (Труды ИИМК РАН. 7).

Корзухина Г. Ф., 1954. Русские клады IX–XIII веков. М.; Л.

Ливох Р., 2011. Скарби Волині та Галичини середини X – середини XIII століть // П'яті «Ольжині читання». Пліснеськ, 10 травня 2010 року. Львів; Броди. С. 41–58.

Мальм В. А., 1968. Крестики с эмалью // Славяне и Русь : сб. ст. к шестидесятилетию Б. А. Рыбакова / ред. Е. И. Крупнов. М. С. 113–117.

Императорская археологическая комиссия (1859 – 1917) : к 150-летию со дня основания. У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия / науч. ред.-сост. А. Е. Мусин ; под общей ред. Е. Н. Носова. СПб., 2009. Т. 1.

Назаренко А. В., 2001. Древняя Русь на международных путях : междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII веков. М.

Олейников О. М., 2009. Работы в северо-западной части Людина конца Великого Новгорода в 2008 г. (Десятинный I, III, IV раскопы) // ННЗ, 23. Великий Новгород. С. 36–46.

Перхавко В. Б., 1996. Распространение пломб дрогичинского типа // ДГ, 1994 г. Новое в нумизматике / ред. А. П. Новосельцев. М. С. 211–241.

Петегирич В., 2010. Дві рідкісні знахідки княжої доби із Сокаля на Львівщини // Наукові студії. Історико-краезнавчий музей м. Винники. № 4. С. 254–267.

Рыбаков Б. А., 1948. Ремесло Древней Руси. М.

Черепнин Л. В., 1977. Монголо-татары на Руси (XIII век) // Татаро-монголы в Азии и в Европе / ред. С. Л. Тихвинский.М. С. 186–209.

Чернецов А. В., 2003. К проблеме оценки исторического значения монголо-татарского нашествия как хронологического рубежа // Русь в XIII веке. Древности темного времени / ред. Н. А. Макаров, А. В. Чернецов. М. С. 12–17.

Янин В. Л., 1970. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. I : Печати X – начала XIII в. М.

Янин В. Л., Гайдуков П. Г., 1998. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. III : Печати, зарегистрированные в 1970–1996 гг. М.

Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae / eds. I. Dąbrowski, V. Semkowicz-Zaremba, C. Pieradzka, B. Modelska-Strzelecka. Libri I–II. Warszawa, 1964.

Bartlett R., 1993. The making of Europe. Conquest, Colonisation and Cultural Change 950–1350. London.

Buko A., 2012. Byzantine cultural enclave in Central Europe? An example of the mortared tower complex at Stołpie (south-eastern Poland) // Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe : Archaeological and Historical Evidence / eds. M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M. P. Kruk, A. Sulikowska-Gąska. Vol. I. Kraków; Leipzig; Rzeszów; Warszawa. P. 233–249.

Buko A., Dzieńkowski T., Gołub St., 2013. Rezydencja książęca na «Wysokiej Górce» w Chełmie w świetle wyników badań archeologicznych z lat 2010–2012 // Княжа доба: історія і культура. № 7. С. 175–185.

Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu / eds. S. Czopek, M. Parczewski. Rzeszów, 1996.

Dąbrowski D., 2012. Daniel Romanowicz król Rusi (ok. 1201–1264). Biografia polityczna. Kraków.

Florek M., 2012. Badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Czermnie nad Huczwą (do 2008 roku) // Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem : katalog wystawy / red. J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn. Tomaszów Lubelski; Leipzig; Lublin; Rzeszów. P. 117–149.

Gurba J., 2004. Wczesnośredniowieczny Czerwień i Grody Czerwieńskie na pograniczu polsko-ruskim // Geograficzne problemy pogranicza Europy Zachodniej i Wschodniej / red. H. Maruszczak, Z. Michalczyk. Lublin. P. 53–60.

Janeczek A., 2011. Towns on the Frontier. The Frontier in Towns. Multiethnic Urban Communities in Red Ruthenia in Late Middle Ages // Quaestiones Medii Aevi Novae. № 16. S. 235–264.

Janin V. L., 2001. Zeichen der Macht. Die Novgoroder Hängesiegel // Novgorod. Das mittelalterliche Zentrum und sein Umland im Norden Russlands, Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete / Hrsg. M. Müller-Wille, V. L. Janin, E. N. Nosov, E. A. Rybina Bd. 1. Neumünster. S. 133–141.

Kotlar M., 1975. Znaleziska monet z XIV–XVII w. na obszarze Ukraińskiej SSR : Materiały. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk.

Kowalczyk E. 2000. Momenty geograficzne państwa Bolesława Chrobrego. Na styku historii i archeologii // Kwartalnik Historyczny. T. 57. S. 41–76.

Kowalczyk E., 1978. Systemy obronne wałów podłużnych we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich. Wrocław.

Kuczyński S. M., 1965. O wyprawie Włodzimierza I ku Lachom na podstawie wzmianki z r. 981 w Opowieści lat doczesnych // S. M. Kuczyński. Studia z dziejów Europy Wschodniej X–XVII w. Warszawa. S. 33–118.

Kuśnierz J., 2012. Czermno (Czerwień) – upadek grodu w XIII wieku w świetle danych archeologicznych // BCzerwień – gród między Wschodem a Zachodem : katalog wystawy / red. J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn. Tomaszów Lubelski; Leipzig; Lublin; Rzeszów. P. 151–183.

Kuśnierz J., 2012. Das mittelalterliche Körpergräberfeld auf dem Burgwall von Gródek (altrussischer Volyn') in Anbetracht der erhaltenen Grabungsdokumentation des Vorstandes zur Erforschung der Červenischen Burgen (1952–1955) // Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe : Archaeological and Historical Evidence / eds. M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M. P. Kruk, A. Sulikowska-Gąska. Vol. I. Kraków; Leipzig; Rzeszów; Warszawa. P. 579–601.

Labuda G., 1981. Der Zug des russischen Großfürsten Vladimir gegen die Ljachen im Jahre 981. Ein Beitrag zur Ausbildung der polnisch-russischen Grenze im 10. Jahrhundert // Ostmitteleuropa : Berichte und Forschungen. Gotthold Rhode zum 28. Januar 1981 / Hrsg. U. Haustein, G. W. Strobel, G. Wagner. Stuttgart. S. 11–19.

Labuda G., 1996. Głos w dyskusji // Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu / eds. S. Czopek, M. Parczewski. Rzeszów. S. 27–28.

Labuda G., 1988. Polska, Czechy, Ruś i kraj Lędzian w drugiej połowie X wieku // G. Labuda. Studia nad początkami państwa polskiego. Poznań. Vol. II. S. 167–211.

Lewicki T., 1956. Znaczenie handlowe Drohiczyna nad Bugiem we wczesnym średniowieczu i zagadkowe plomby ołowiane znalezione w tej miejscowości // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. T. 4. S. 289–297.

Łowmiański H., 1953. Problematyka historyczna Grodów Czerwieńskich w związku z planem zespołowych badań polsko-radzieckich // Kwartalnik Historyczny. T. 60. S. 58–85.

Lübke Ch., 2004. Kernräume und Peripherien als Faktoren der Gestaltung Polens im Laufe eines Jahrtausends (10. bis 20. Jahrhundert) // Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie. T. 22. S. 89–103.

Matla-Kozłowska M., 2008. Pierwsi Przemyślidzi i ich państwo (od X do połowy XI wieku). Ekspansja terytorialna i jej polityczne uwarunkowania. Poznań.

Musianowicz K., 1957. Wczesnośredniowieczny ośrodek handlowy w Drohiczynie, pow. Siemiatycze // Wiadomości Archeologiczne. T. 24. S. 285–299.

Musin A., 2012. Na szlakach przeszłości: plomby typu drohiczyńskiego i średniowieczne granice // Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem : katalog wystawy / red. J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn. Tomaszów Lubelski; Leipzig; Lublin; Rzeszów. S. 257–279.

Musin A., Wołoszyn M., 2012. Digging Newly Converted Europe: an archaeological Afterword // Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe : Archaeological and Historical Evidence / eds. M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M. P. Kruk, A. Sulikowska-Gąska. Vol. I. Kraków; Leipzig; Rzeszów; Warszawa. P. 683–711.

Nalepa J., 1991. Prapolski bastion toponimiczny w Bramie Przemyskiej i Lędzanie // Onomastica. T. 36. S. 5–45.

Nesbitt J., 2008. Sigilliography // The Oxford of Handbook of Byzantine Studies / eds. E. Jeffreys, J. Haldon, R. Cormack. Oxford. P. 150–156.

Poppe A., 1958. Gród Wołyń. Z zagadnień osadnictwa wczesnośredniowiecznego na pograniczu polsko-ruskim // Studia Wczesnośredniowieczne. T. 4. S. 227–300.

Poppe A., 1980. Pieczęć ruska z Kruszwicy // Slavia Antiqua. T. 26 (1979). S. 121–126.

Rhode G., 1955. Die Ostgrenze Polens. Politische Entwicklung, kulturelle Bedeutung und geistige Auswirkung. Vol. I : Im Mittelalter bis zum Jahr 1401. Köln; Graz.

Soloviev A. V., 1961. ΑΡΧΩΝ ΄ΡΩΣΙΑΣ // Byzantion. T. 31 (Hommage à G. Ostrogorsky). P. 237–244.

Staecker J., 1999. Rex regum et dominus dominorum. Die wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhänger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden. Lund Studies in Medieval Archaeology. 23. Stockholm.

Suchodolski S., 2009. Nowa bulla Bolesława Krzywoustego i problem ołowianych pieczęci w Polsce wczesnośredniowiecznej // Przegląd Historyczny. T. 100. S. 207–236.

Tyszkiewicz J., 2004. The Oldest Eastern Border of the Piast State – an attempted summary // Quaestiones Medii Aevi Novae. Vol. 9. P. 183–204.

Urbański A., 2000. Nowe datowanie grodziska w Czermnie nad Huczwą // Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego / red. A. Buko, Z. Świechowski. Warszawa. S. 239–243.

Wartołowska Z., 1958. Gród Czerwieński Sutiejsk na pograniczu polsko-ruskim // Światowit. T. 22. S. 7–137.

Wasilewski T., 1976. Dulebowie – Lędzianie – Chorwaci. Z zagadnień osadnictwa plemiennego i stosunków politycznych nad Bugiem, Sanem i Wisłą w X wieku // Przegląd Historyczny. T. 67. S. 181–194.

Wołoszyn M., 2012. Die frühmittelalterlichen ortodoxen Devotionalien in Polen und die Entstehung der ältesten Ostgrenze Polens. Forschungsgeschichten

und Forschungsperspektiven // Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence / eds. M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M. P. Kruk, A. Sulikowska-Gąska. Vol. II. Kraków; Leipzig; Rzeszów; Warszawa. P. 225–289.

Wołoszyn M., 2003. Archeologiczne zabytki ruchome pochodzenia bizantyńskiego i ruskiego z okresu od połowy X do połowy XIII w. z obszaru Polski południowej. Ph. D. thesis, unpublished, Institute of Archaeology, Jagiellonian University. Cracow. Vol. I–VII.

Wołoszyn M., 2009. Vor Vladislaw von Varna. Polen und die Kreuzfahrerstaaten. Ein archäologischer Beitrag // EURIKA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae / ред. В. Григоров, М. Даскалов, Е. Каматарова-Балинкова. София. С. 157–170.

Wołoszyn M., 2004. Zabytki pochodzenia wschodniego we wczesnośredniowiecznej Polsce – wędrówka ludzi, rzeczy, czy idei? // Wędrówka rzeczy i idei w średniowieczu / red. S. Moździoch. Wrocław. S. 225–242. (Spotkania Bytomskie 5).

On the frontier of Latin Europe. Integration and segregation in Red Ruthenia, 1350–1600 / eds. Th. Wünsch, A. Janeczek. Warsaw, 2004.

Wyrozumski J., 1999. Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. – 1370). Kraków.

Summary

M. Piotrovskii, M. Voloshin

The Chervensky Towns (Chervenskie Grady): the History of their Study and New Research

The Czerwieńsk Lands are now in the territory of Eastern Poland. In the Early Medieval period they were on the western edge of Rus. Despite the fact that scholars have turned their attention to the history of the Cherven lands on several occasions, they have not been studied sufficiently thoroughly, mainly because this region became a focus for conflicting Polish, Soviet and Ukrainian ambitions during the 20th century.

This article is devoted to two archaeological complexes on the River Huczwa (a western tributary of the Bug) – Czermno and Grudek. The total territory of the Chermno complex with its fortified settlement and suburbs is calculated to have amounted to between 75 and 150 hectares. The thickness of the surviving sectors of the habitations levels amounts to over 1 metre. The most ancient wooden constructions making up part of the defensive wall date from the beginning of the 11th century. There had, however, been a settlement in that pace earlier as well. Other dendro-dates indicate that life continued in the settlement after 1240/1241. The Grudka-Wołyń archaeological complex with a total area of around 15 hectares incorporates the remains of a fortified settlement and groups of large villages. The cultural layer of the main settlement was seriously damaged by the burial-ground of the 13th and 14th centuries. There are no dendro-dates available for that site.

In 2010–2011 a group of specialists from Lublin University began a thorough investigation of the whole of the Czermno site using metal-detectors. A total of 2,500 objects was collected, which dated mainly from the 11th–13th centuries: 404 lead seals of a Drogiczyński type, about 20 pendant seals, enkolpia, pectoral crosses, axes, arrow-heads and other objects and items of jewellery. The most remarkable find was that of two hoards of jewellery dating from the first half of the 14th century. Most of the objects were of medieval Russian or Byzantine origin.

Virtually all the lead seals were found in Chermno near the river's flood-plain. It is likely that there would have been a river port and a trading area near it.

Three seals from Chermno have been attributed to princes of Vladimir-Volyn – David Igorevich (1084–1112) and Yaroslav, son of Svyatopolk Izyaslavich (1100–1118). Two seals could have originated from Novgorod.

The local material culture in the 11th–13th centuries was that linked to medieval Rus' rather than Poland. The area of the Chervensky towns was probably not just a contact zone between Latinate Poland and Orthodox Rus. It was a western outpost of the Byzantine world and those towns were centres through which the influence of Byzantine civilization could spread westwards.

В. Ю. Коваль

Ростиславль Рязанский и проблема «малых городов» средневековой Руси

«Малые города» – одна из самых многочисленных и в то же время наименее изученных категорий памятников археологии средневековой Руси. Проблему «малых городов» впервые поставил А. В. Куза, составивший карту всех городищ средневековой Руси, куда вошли как летописные города, так и известные только по археологическим данным памятники. Им же проведена первичная классификация городищ, в результате чего из состава 1395 укрепленных поселений удалось выделить ту группу памятников, которые соответствовали городам в том смысле, который вкладывался в это понятие как летописными источниками, так и современными представлениями о сущности города в социально-политическом смысле (Куза, 1983; 1989; 1996). Опираясь на исследования предшественников, А. В. Куза выделил основные археологические признаки древнерусского города и предложил его научное определение в духе марксистской идеологии: древнерусский город – постоянный населенный пункт, в котором с обширных территорий концентрировалась, перерабатывалась и перераспределялась значительная масса прибавочного продукта (Куза, 1983, с. 13). И хотя само это определение практически бесполезно в том случае, когда ставится задача определить, является ли то или иное поселение городом, оно стало фундаментом для разработки признаков древнерусского города, к числу которых А. В. Куза отнес наличие развитой экономики (ремесла, сельского хозяйства, торговли), административного управления, военного дела, культовых сооружений, свидетельств грамотности и культуры, быта феодалов, усадебно-дворовую планировку и сложную плановую структуру города (Куза, 1983, с. 24). Предложенный перечень признаков в целом следовал наработкам Б. А. Рыбакова, который полагал «типичным» «сочетание в городе следующих элементов: крепости, дворов феодалов, ремесленного посада, торговли, административного управления, церквей» (Рыбаков, 1982, с. 433).

В соответствии с перечисленными признаками (скорее – принципами рассмотрения имеющихся материалов) и было проведено исследование древнерусских городов. Всего на Руси, по подсчетам М. Н. Тихомирова, только для домонгольской эпохи летописи упоминают 271 город (1956, с. 32–43), к которым примыкают еще 1124 городища (1395 – 271 = 1124), не упомянутых в летописях, но в большинстве своем зафиксированных археологически, часть из которых могла быть остатками городов (рис. 1). Исследование А. В. Кузы и было направлено на выяснение того, какие из этих укрепленных населенных пунктов можно было бы считать «городами» в социально-экономическом и политическом смысле, поскольку некоторые из летописных «городов» являлись небольшими крепостями или феодальными замками, т.е. могли вовсе не иметь постоянного населения или их население ограничивалось дворней феодала. Эта задача, как представляется, была успешно решена в ходе исследований А. В. Кузы, но за пределами его внимания остался вопрос о том, какие же именно города можно относить к числу «малых». Во всех его работах речь шла о всей совокупности древнерусских городов, причем часто использовались данные, касающиеся Киева, Великого Новгорода и других городов, которые никак нельзя причислить к «малым». Создается впечатление, что под «малыми» А. В. Куза понимал все города Руси, не являвшиеся столицами земель-княжений. К сожалению, исследование А. В. Кузы осталось незавершенным, может быть, поэтому в нем не было сформулировано четкое определение «малого города», не выделены его специфические признаки и не выяснены отличия «малого города» от крупного, от «крепости» или иного локального укрепления (например, той же укрепленной усадьбы феодала). Таким образом, проблема «малых городов», разработка которой была столь успешно начата, осталась все же не до конца разрешенной.

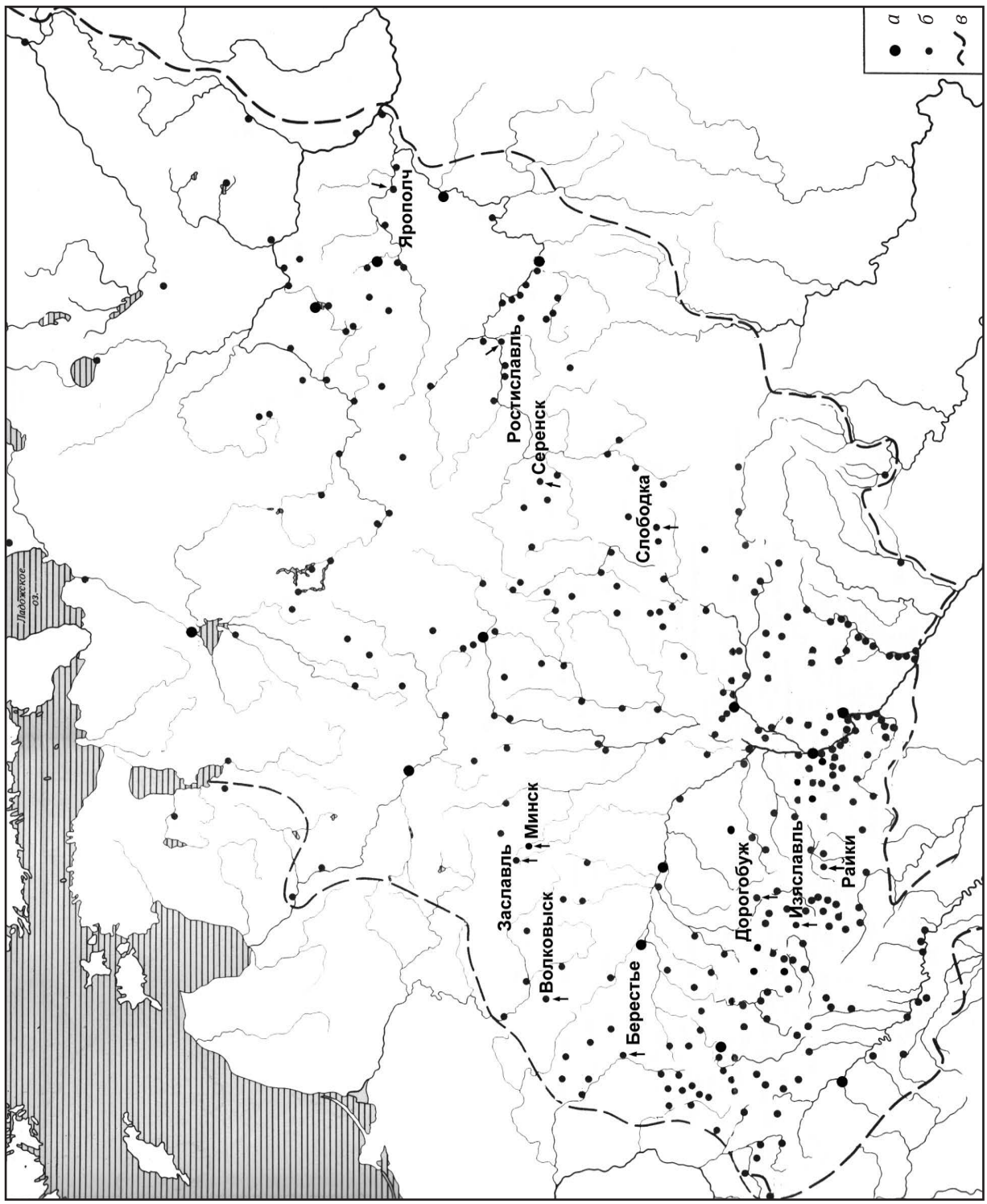


Рис. 1. Города средневековой Руси (по А.В.Кузе) а – крупные города (столицы княжеств домонгольской эпохи); б – прочие города; в – граница Руси в XII–XIII вв.

Начнем с того, что, по мнению А. В. Кузы, для периода XII–XIII вв. полным набором признаков города обладали только те городища, площадь укрепленной территории которых превышала 2,5 га – таких пунктов насчитывалось 83. Вместе с тем, среди одних только летописных городов имеется еще 174 памятника, площадь укрепленной площадки которых колеблется от 0,2 до 2,5 га (правда, значительная часть этих городов относится к периоду X–XI вв.). Половина летописных городов имела укрепленную площадь меньше 2,5 га. Достаточно привести пример Суздаля, детинец которого на начальном этапе истории города имел площадь 1,5 га. Площадь менее 2,5 га имели детинцы таких известных городов, как Мстиславль (1,5 га), Ростиславль Смоленский (1,3 га), Волковыск (1,5 га), Василев (1,3 га), Юрьев на Роси (2 га), Логойск (1,5 га), Берестье (ок. 1 га) и многие другие (Куза, 1989, с. 57). Таким образом, этот критерий не является единственным и даже, пожалуй, самым главным, если учитывать только площади детинцев и не принимать во внимание общую площадь города со всеми его посадами. Но именно посады средневековых русских городов исследованы в наименьшей степени, что создает существенные проблемы при их взаимосопоставлении.

Не менее важным представляется установить отличия «малых городов» от крупных сельских поселений, среди которых имеются такие, площадь которых близка или даже превышает территорию многих «малых городов». Подобные сравнения никогда не проводились, но уже сейчас очевидно, что по многим критериям, выделенным А. В. Кузой, крупные сельские поселения сближаются с городами. Главным их отличием остается отсутствие сложных и мощных фортификационных сооружений, однако даже этот вопрос недостаточно изучен. Между тем количество сельских поселений, исследованных на широких площадях (часто превышающих те площади, которые вскрывались на городских памятниках), сейчас уже достаточно велико и не уступает числу детально обследованных «малых городов».

Для решения проблемы «малых городов» необходимо не только определиться с их дефиницией, но и подробно изучить хотя бы несколько таких городов. Обзор русских городов, предпринятый А. В. Кузой, несомненно, дал необходимый «фон» для дальнейших исследований, однако в распоряжении ученого имелись только разрозненные сведения (как письменные, так и археологические), из которых выстраивалась только самая приблизительная картина. Какие же памятники могут быть использованы для углубленного изучения «малых городов» сегодня? Наиболее полно изученными «малыми городами» Руси сейчас являются (рис. 1, 2):

1) Райковецкое городище – раскопки Ф. Н. Мовчановского 1929–1935 гг., площадь детинца – 1,25 га, вскрытая площадь – 1,25 га (100%), материал опубликован (Гончаров, 1952). Окружающая детинец территория практически не изучена.

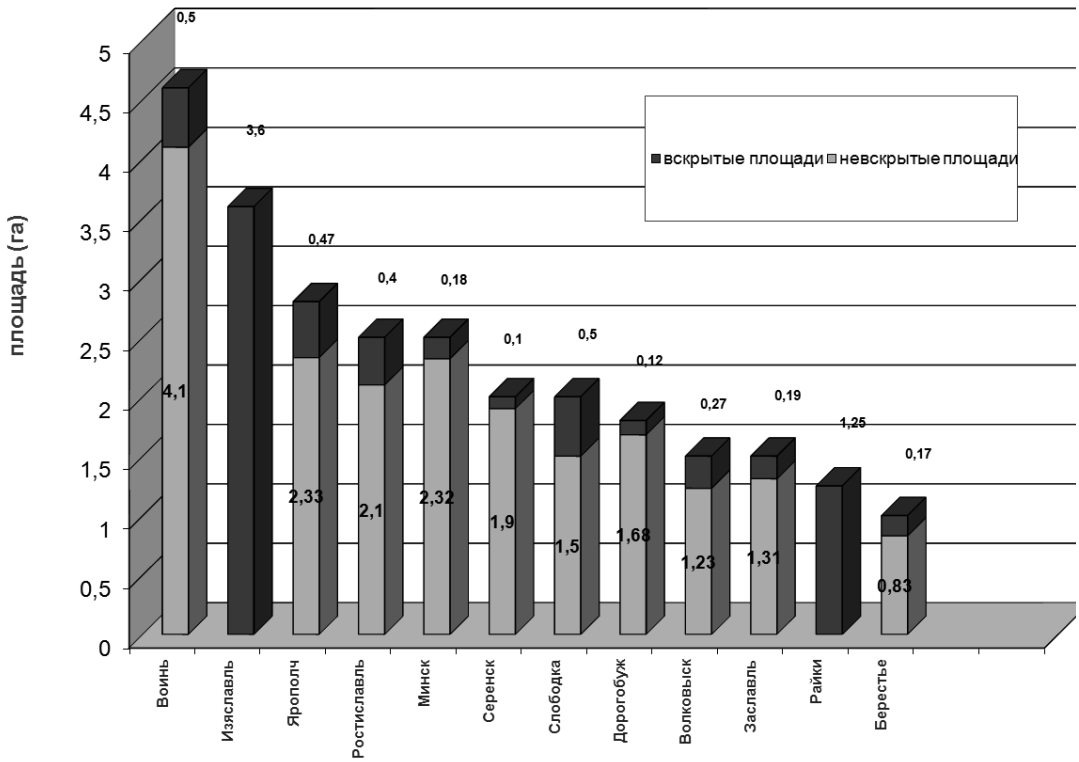


Рис. 2. Сравнительная диаграмма наиболее археологически исследованных «малых городов» Руси

2) Городище у с. Городище Шепетовского района Хмельницкой обл. (предполагаемый Изяславль) – раскопки М. К. Каргера 1957–1964 гг., общая площадь детинца и окольного города – 3,6 га, вскрытая площадь – 3,6 га (100 %), материал не опубликован. Территория посадов не изучена.

3) Городище у с. Слободка Шаблыкинского района Орловской обл. – раскопки Т. Н. Никольской 1959–1966 гг., общая площадь детинца и окольного города – 2 га, вскрытая площадь – более 5 тыс. кв. м (25 %), материал опубликован (Никольская, 1987). Территория посадов не изучена.

4) Волковыск – раскопки В. Р. Тарасенко, Я. Г. Зверуго и Г. И. Пеха 1948–1970 гг.; общая площадь детинца и окольного города 1,5 га, вскрытая площадь 2,7 тыс. кв. м (18 %), материал опубликован (Зверуго, 1975). Посад исследовался крайне фрагментарно.

5) Ярополч-Залесский (городище у с. Пировы Городища Вязниковского района Владимирской обл.) – раскопки В. В. Седова и М. В. Седовой 1956–1970 гг., площадь детинца – 2,8 га, вскрытая площадь – 4,7 тыс. кв. м (17 %), материал опубликован (Седова, 1978). Территория посадов изучена хорошо (на площади 2,3 тыс. кв. м), но материалы этих раскопок в публикацию не вошли.

6) Берестье (г. Брест, Беларусь) – раскопки П. Ф. Лысенко 1969–1980 гг., площадь детинца – около 1 га, вскрытая площадь – 1700 кв. м (17 %), материал опубликован (Лысенко, 1985). Территория посада изучена слабо.

7) Заславль (Изяславль) – раскопки Г. В. Штыхова 1967–1971 гг. и Ю. А. Зайца 1977–1991 гг., площадь детинца (городища «Замок») – 1,5 га, вскрытая площадь – 1,8 тыс. кв. м (12 %), материал опубликован в значительной степени (Заяц, 1995). Территория посада и других структурных частей города обследована хорошо (раскопками на площади 2,6 тыс. кв. м), но опубликована излишне кратко.

8) Воинь – раскопки В. Й. Довженка и В. К. Гончарова 1956–1959 гг., площадь детинца – 4,6 га, вскрытая площадь – 5 тыс. кв. м (10 %), материалы опубликованы (Довженок и др., 1966). Территория посада исследована на площади более 2,7 тыс. кв. м, но этот материал опубликован фрагментарно.

9) Минеск (современный Минск) – раскопки В. Р. Тарасенко и Э. М. Загорульского 1945–1961 гг., площадь детинца – 2,5 га, вскрытая площадь – 1800 кв. м (7 %), материал опубликован (Загорульский, 1982). Территория посада изучена неполно, а сами материалы практически не опубликованы.

10) Дорогобуж – раскопки Ю. Н. Никольченко и Б. А. Прищепы 1972–2003 гг., суммарная площадь детинца и окольного города – до 3 га, вскрытая площадь – 1572 кв. м (5 %), материал опубликован (Прищепа, Нікольченко, 1996; Прищепа, 2011). Посад исследован недостаточно (на площади всего 358 кв. м).

11) Серенск – раскопки Т. Н. Никольской 1965–1985, Т. М. Хохловой 1986–1998 гг., суммарная площадь детинца и окольного города – 4 га, вскрытая площадь – 1500 кв. м (4 %), материал опубликован фрагментарно (Никольская, 1981). Посад городища не исследовался.

Таким образом, до последнего времени подробно археологически были исследованы только 11 «малых городов» Древней Руси. Из них на трех детинцы вскрыты практически полностью (Райки, предполагаемый Изяславль на Волыни и Серенск), но первый памятник опубликован слишком кратко, второй не опубликован вовсе (отсутствует даже ряд отчетов о раскопках), а на третьем (Серенск) детинец был крайне мал по площади и к тому же материалы раскопок в своем большинстве остались неопубликованными. Кроме того, вряд ли могут быть полноценно использованы материалы раскопок в тех городах, где даже детинцы исследованы менее чем на 1/10 их площади. Такие памятники (Воинь, Минск, Дорогобуж) могут привлекаться лишь для решения отдельных вопросов (например, при сравнении систем фортификации). Получается, что из 11 «малых городов» полноценно могут использоваться материалы раскопок лишь 5 памятников – Слободки, Волковыска, Заславля, Ярополча и Берестья. В этих условиях каждый новый памятник такого рода представляет исключительно важное значение.

Таким памятником и является Ростиславль Рязанский – «малый город» Рязанской земли, детинец которого (размерами 2,5 га) исследован на площади 4000 кв. м (16%). Раскопки этого памятника проводились на протяжении 1991–2013 гг., причем исследованию подвергался не только детинец, но и посад, а материалы раскопок регулярно публиковались.

Прежде всего, необходимо рассмотреть Ростиславль с точки зрения его соответствия тем признакам, которые были приняты А. В. Кузой в качестве основных для причисления поселений к категории «городов».

1. Развитая экономика. На посаде Ростиславля исследованы остатки гончарной мастерской с горном (Коваль, 1997) и следы ювелирной мастерской с большим количеством обломков тиглей, обрезками и оплавками цветных металлов. На территории детинца также встречены отдельные тигли и их обломки, литейные формы, но выраженных следов мастерских пока не обнаружено. О сельскохозяйственной составляющей деятельности жителей Ростиславля свидетельствует большое количества карбонизированного зерна в заполнениях котлованов построек и различный инструментарий (косы, серпы). Торговый инвентарь встречен на Ростиславле в виде обломков весов (чашечки и держателя), гирек-разновесов, товарных пломб (включая одну западноевропейскую) и многочисленных монет, среди которых преобладают серебряные дирхемы

золотоордынской чеканки середины – второй половины XIV в. и рязанские денги XV в. (Волков, 2005).

2. Свидетельства административного управления. До сих пор на территории городища не обнаружено печатей, а найденные пломбы (так называемого «дрогичинского» типа) относились, вероятно, к числу товарных, поэтому явных археологических свидетельств деятельности княжеской администрации здесь пока не обнаружено. Вместе с тем, письменные источники свидетельствуют о размещении здесь удельного княжения в первой половине XIV в. – упоминание в НПЛ Ивана Ростиславльского и факт перемещения в 1340-х гг. сюда резиденции великого князя Рязанского, правда, на недолгое время и по экстраординарным причинам (Коваль, 2004).

3. Военное дело. Фортификация Ростиславля при всей кажущейся простоте была достаточно развитой и постоянно эволюционировавшей. Кроме древоземляной стены, перегораживавшей мыс и формировавшей площадку детинца, она включала стену из полых клетей на той стороне мыса, что была обращена к образующему его оврагу, а также дополнительные укрепления на оконечности мысовой площадки, где для этого был приспособлен вал городища дьяковской культуры (Коваль, 2003, с. 256–270). Количество предметов вооружения и воинского снаряжения на Ростиславле весьма велико (Коваль, 2002, с. 381–389). Наступательное оружие представлено наконечниками копий и стрел, боевым топором, а доспех – обломками панцырных пластин и обрывками кольчуг. Особенно много найдено ременных накладок, конских удил, стремян, шпор, входивших в состав воинского снаряжения, причем почти все находки такого рода относятся к золотоордынской эпохе (XIII–XV вв.).

4. Монументальное зодчество. На Ростиславле никогда не было каменных храмов или других каменно-кирпичных построек. В центре городища размещалась деревянная церковь, возведенная при основании города в 1153 г. Размеры церкви были относительно невелики и вряд ли превышали 8×4 м. Церковь была окружена небольшим кладбищем, вплотную примыкавшим к ее стенам.

5. Письменность. Памятники эпиграфики представлены на Ростиславле обломком каменного креста с надписью (Коваль, Медведь, 2000) и обломком горшка с кириллической надписью, выполненной по сырой глине, до обжига (Коваль, Медынцева, Еремеев, 2013). Встречены также орудия письма (железные писала) и остатки книг (части книжных застежек). Особенно важна находка горшка с надписью, свидетельствующая о широком распространении грамотности.

6. Присутствие феодалов фиксируется на городище по находкам дорогой привозной посуды (золотоордынских полихромных и иранской люстровой чаши, стеклянного сирийского кубка) (Коваль, 1998, с. 178–187) и предметов прикладного искусства (наперсных крестов, в т.ч. рогового, бронзовых энколпионов). Вместе с тем, здесь не найдено никаких предметов княжеско-боярского парадного убора, изделий из драгоценных металлов.

7. Внутренняя топография города характеризуется усадебной застройкой и существенной дифференциацией жилых построек по местоположению, размерам и устройству. Наиболее крупные и богатые по находкам постройки имели обширные глубокие погреба под жилыми объемами и располагались либо в полосе вдоль берегового склона площадки, либо вдоль главной (и, вероятно, единственной) улицы, пересекавшей весь город.

8. Планировочная структура. Ростиславль относится к городищам простого мысового типа, окруженным посадами, однако его планировочная схема усложнена наличием мысового узла фортификации в детинце и включением в число посадов прибрежной части (подола).

Таким образом, Ростиславль соответствует подавляющему большинству признаков города, выделенных А. В. Кузой, однако 1 признак из этого списка отсутствует, речь идет о свидетельствах административного управления – печатях с актовых документов. Обращает на себя внимание также отсутствие предметов княжеско-боярского убора, вещевых и денежных кладов, известных не только в столичных центрах, но и многих «малых городах». По этому признаку Ростиславль более всего сближается с Ярополчем Залесским, где также не было обнаружено ни кладов, ни предметов богатого убора, ни каменных храмов, а печать была найдена только одна.

Достаточно полное соответствие Ростиславля признакам древнерусского города позволяет добавить его шестым номером к списку «эталонных» «малых городов» Руси, выделенному выше. По крайней мере, по уровню исследованности детинца он не уступает пяти остальным подобным пунктам (рис. 3). Однако использование даже этого крайне небольшого числа памятников для выяснения отличий «малых городов» от укреплений негородского характера и крупных столичных центров сталкивается с целым рядом различных методических проблем, связанных, прежде всего, с трудностями адекватного сравнения этих памятников, особенно из-за их поливариантности, разнородности по целому ряду признаков.

Площадь детинца Ростиславля составляет 2,5 га, однако раскопки показали, что даже эта территория не была полностью застроена в домонгольскую эпоху, кроме того, имеются некоторые сомнения в том, что стена детинца, отделяющая участок площадью 2,5 га, появилась уже тогда. Полноценно застроенной эта площадка стала только в XIV в., когда стена города существовала уже вне всякого сомнения.

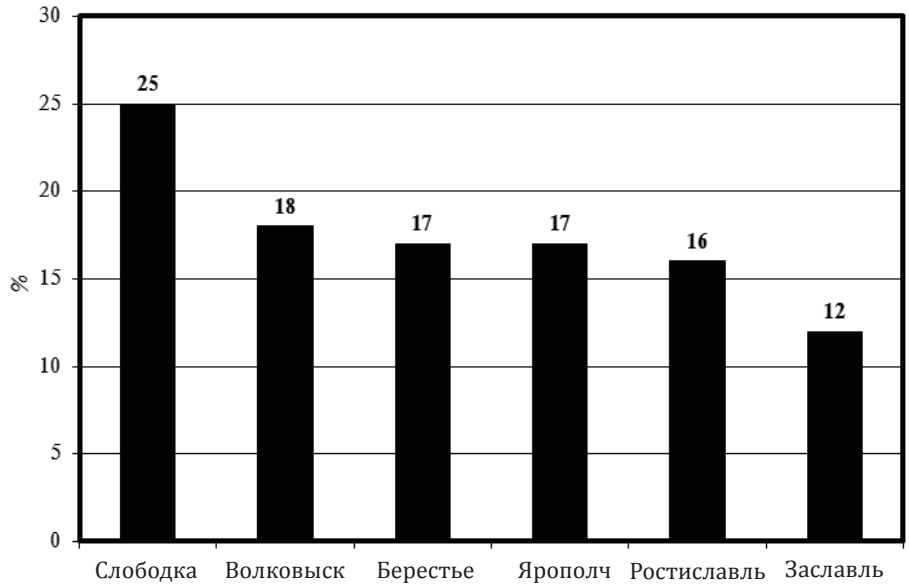


Рис. 3. Степень изученности детинцев в 6 наиболее полно исследованных «малых городах» Руси

Не меньшие проблемы создают различия в общей планировке «малых городов». Семь из 11 перечисленных выше «малых городов» имели кольцевой или овальный в плане замкнутый периметр стены, 4 других относились к городищам мысового типа, но среди них одно не сохранило укреплений (Берестье), а у остальных (Серенск, Волковыск, Дорогобуж) не исследована не только система фортификации, но остается неясной и внутренняя планировка. Получается, что сравнивать фортификацию и планировку Ростиславля с другими «малыми городами» пока практически невозможно. Не помогает и обращение к более широкому кругу аналогий. Владимир-на-Клязьме, например, имевший близкую по форме треугольную площадку, не подходит для сравнения, поскольку являлся крупным городом, изначально обладавшим существенно более мощной фортификацией и обширной территорией, структурирование которой не может быть сравниваемо с тесной площадкой Ростиславля. Новейшие исследования древней Москвы показали, что на начальном этапе своего существования она отнюдь не являлась городищем мысового типа, как это представлялось ранее – ее детинец имел, видимо, кольцевую планировку (Панова, 2011). Наиболее близким по планировке и топографии к Ростиславлю выглядит поокский город Любутск, но он исследован в существенно меньшей степени и пока не может использоваться для сравнения.

Если говорить об отличиях «малых городов» от крупных, то они также прослеживаются по целому ряду признаков. Ростиславль, например, не имел окольного города, обладал относительно небольшими посадами (которые лишь в 2–3 раза превышали площадь детинца). Обращает на себя внимание также небольшое количество специализированных мастерских (зафиксированы остатки только двух – гончарной и бронзолитейной) и заметное преобладании среди населения города в золотоордынский период военно-служилого сословия, что видно по большому количеству воинского снаряжения, сохранившегося в культурном слое. Нельзя обойти вниманием также следы присутствия в детинце ордынцев, что видно по многочисленным (около десятка) обломкам бронзовых зеркал, свидетельствующих о проживании здесь женщин-степнячек. Очевидно, что эти женщины могли попасть в русский город только как жены ордынцев, а значит, общее количество нерусского населения здесь было весьма заметным.

В то же время отличие Ростиславля от столичных или просто крупных городских центров средневековой Руси на всех этапах его существования носило прежде всего «количественный» характер (размеры, площадь, численность населения и уровень его богатства). Большинство качественных характеристик этого города соответствовали «общегородским».

Подводя итог изложенному выше материалу, следует сказать, что сегодня представляется уже совершенно очевидным, что «малые города» имеют существенные отличия от крупных (столичных) центров средневековой Руси, но сами эти отличия еще недостаточно подробно исследованы и четко не сформулированы. При этом в составе «малых городов» могут и должны быть выделены разные группы и типы по размерам, фортификации, исполнявшимся функциям, планировке. Границы между этими группами наверняка будут «размытыми», но

это не является причиной для их игнорирования. В этом смысле значение Ростиславля Рязанского многократно возрастает, поскольку на современном этапе развития археологической науки, при отсутствии большого числа хорошо исследованных поселений, группировка «малых городов» возможна только на базе использования «эталонных» памятников. Ростиславль же остается сегодня единственным «малым городом» мысового типа, изученным с высокой степенью полноты, поэтому его характеристика имеет важное значение для дальнейших штудий в этой области научных знаний.

Источники и литература

Гончаров В. К., 1952. Райковецкое городище. Киев.

Довженок В. Й., Гончаров В. К., Юра Р. О., 1966. Древньоруське місто Воїнь. Київ.

Загорульский Э. М., 1982. Возникновение Минска. Минск.

Заяц Ю. А., 1995. Заславль в эпоху феодализма. Минск.

Зверуго Я. Г., 1975. Древний Волковыск. Минск.

Коваль В. Ю., 1997. Гончарный горн из Ростиславля Рязанского // Археологические памятники Поочья. Вып. 6. Рязань.

Коваль В. Ю., 1998. Предметы восточного импорта из Ростиславля Рязанского // РА. № 2.

Коваль В. Ю., 2002. Предметы вооружения и воинского снаряжения из Ростиславля Рязанского // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья. Вып. 4. Тверь.

Коваль В. Ю., 2003. Детинец Ростиславля Рязанского: проблемы интерпретации и системы фортификации // Кремли России. М. (Материалы и исследования Музея-заповедника «Московский Кремль». Вып. XV).

Коваль В. Ю., 2004. История Ростиславля Рязанского (по данным письменных источников) // Археология Подмосковья. М.

Коваль В. Ю., Медведь А. Н., 2000. Новый памятник средневековой русской письменности Рязанской земли // РА. № 1.

Коваль В. Ю., Медынцева А. А., Еремеев А. А., 2013. Горшок с надписью из Ростиславля Рязанского // РА. № 3.

Куза А. В., 1983. Социально-историческая типология древнерусских городов X–XIII вв. // Русский город. Вып. 6. М.

Куза А. В., 1989. Малые города Древней Руси. М.

Куза А. В., 1996. Древнерусские городища X–XIII вв. Свод археологических памятников. М.

Лысенко П. Ф., 1985. Берестье. Минск.

Никольская Т. Н., 1981. Земля вятичей. М.

Никольская Т. Н., 1987. Городище Слободка XII–XIII вв. М.

Прищепа Б. А., 2011. Дорогобуж на Горині у X–XIII ст. Рівне.

Прищепа Б. А., Нікольченко Ю. М., 1996. Літописний Дорогобуж в період Київської Русі. Рівне.

Рыбаков Б. А., 1982. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М.

Седова М. В., 1978. Ярополч-Залесский. М.

Тихомиров М. Н., 1956. Древнерусские города. М.

Summary

V. Yu. Koval'

Rostislavl Ryazansky and the Problem of «Small Towns» in Medieval Rus'

The «small towns» – one of the most numerous and at the same time – the least studied categories of archeologic objekts in medieval Russia. Still features of such towns and their differences from the large (capital) cities and large rural settlements aren't revealed. Rostislavl Ryazansky is one of the fullest investigated «small towns» of Rus' (its fortification is studied, it is excavated more than 1/6 all squares of the town inside its fortifications). Comparative studying of Rostislavl together with other similar towns opens big prospects for clarification of concrete features of «small towns» of Rus' and creation of their scientific classification.

С. И. Милованов

К вопросу о времени возведения оборонительных укреплений Печернего города Владимира-на-Клязьме[1]

По степени археологической исследованности оборонительный комплекс столицы Владимирского княжества занимает одно из первых мест в археологии городов Древней Руси. Но до сих пор многие вопросы остаются нерешенными и дискуссионными. Среди них – этапы и время строительства отдельных фортификационных сооружений, развитие самого города.

В эпоху Средневековья Владимир-на-Клязьме имел сложную систему оборонительных укреплений, которая до наших дней сохранилась лишь фрагментарно на незначительных участках. Город составляли три укрепленные части: Печерний, или Мономахов город – центральная часть, окруженная по периметру валами, с запада к нему примыкал Новый, или Земляной город с Золотыми воротами, с востока – Ветчаный город (рис. 1). Общая длина фортификаций составляла около 7 км, а площадь города в пределах укреплений около 125 га (Воронин, 1961, с. 131; Археология СССР, 1985, с. 90).

Публикаций, посвященных топографии оборонительных сооружений г. Владимира, в которых представлялась бы история сложения его фортификационного комплекса, не так много.

Впервые концепция развития города была представлена действительным пожизненным членом Владимирской ученой архивной комиссии А. И. Буниным в работе «К исторической топографии города Владимира на Клязьме», вышедшей в 1900 г. (Бунин, 1900). Основываясь на письменных свидетельствах и картографическом материале XVIII в., автор сделал заключение, что оборонительный комплекс города состоял из одной непрерывной линии валов, окружавшей по всему периметру Владимир и двух поперечных валов в центре (Бунин, 1900, с. 40). Согласно летописным данным, Бунин выделил три этапа в развитии города (Бунин, 1900, с. 42–44):

– 1108 г. сооружение первых оборонительных укреплений. А. И. Бунин считал, что так как самая восточная часть Владимира носит название «Ветчаный», следовательно – это самая старая часть города и возведена она Владимиром Мономахом. При этом исследователь отмечал, что простирался он до западных укреплений средней части города (Троицкого вала);

– 1158 г. Андреем Боголюбским сооружаются оборонительные укрепления Нового города, примыкающего с запада к городу Мономаха;

– 1194 г. Всеволод Юрьевич закладывает детинец: «прибавил поперечный вал с восточной стороны (Ивановский и Рождественский валы. – *С. М.*) и тем самым выделил из старого города детинец» (Бунин, 1900, с. 44).

Данная концепция не учитывала археологических материалов, которых на тот момент просто не было, и опиралась лишь на письменные свидетельства и логические построения самого автора, которые не всегда оказывались верны. Например, название восточной части Владимира «Старый город» не означает, что это самая древняя его часть. Но тем не менее, это первая целостная картина, представляющая развитие города, в которой правильно определено, что укрепления западной части возведены при Андрее Боголюбском.

Топография древнего Владимира являлась предметом специального изучения археолога, историка архитектуры Северо-Восточной Руси Н. Н. Воронина. К этой теме он обращался неоднократно в ряде своих работ (Воронин, 1946, 1961). Концепция развития города постоянно уточнялась по мере появления новых данных и окончательно выглядит следующим образом.

[1] Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований «Оборонительные укрепления Печернего города Владимира-на-Клязьме: топография, конструкции, этапы формирования», проект № 13-31-01212.

В 1098–1108 гг. Владимир Мономах возводит укрепления средней части города – «Печерний». В середине XII в. строятся оборонительные укрепления Нового города с Золотыми воротами и Ветчаного города с Серебряными воротами. В конце столетия возводятся каменные стены детинца в юго-западной части среднего города. Данная модель развития города стала общепризнанной и сейчас поддерживается подавляющим большинством исследователей. Она основана на анализе всего круга источников – письменных, картографических и археологических, – доступных на тот момент и полученных Н. Н. Ворониным в ходе собственных работ.

Последней работой, посвященной данной проблематике, является статья Б. П. Николаева «Новое в исторической топографии древнего города Владимира» (2004). В ней автор подвергает критике концепцию Н. Н. Воронина и предлагает свою.

Исследователь считает, что все три составные части древнего Владимира были окружены самостоятельными замкнутыми оборонительными насыпями (Николаев, 2004, с. 155). Исходя из того, что восточная часть носит название «Ветчаный», Б. П. Николаев считает, что это самая старая часть города, которая основана в 990 г. Здесь, как мы видим, используются логические построения, озвученные еще А. И. Буниным в 1900 г. Используя свидетельства Краткого Владимирского летописца, где сообщается, что «Владимир Всеволодович приде в Залешскую землю и постави град другой Володимер и



Рис. 1. План Владимира-на-Клязьме в XII–XIII вв. (по Н. Н. Воронину):

I – Мономахов (Печерний) город;
II – Новый город;
III – Ветчаный город;
IV – детинец;
1 – Золотые ворота;
2 – Оринины ворота;
3 – Медные ворота;
4 – Торговые ворота;
5 – Волжские ворота;
6 – Ивановские ворота;
7 – Серебряные ворота;
8 – ворота детинца;
9 – исследования Ивановского вала в 1953 г., 2010–2011 гг.;
10 – исследования Троицкого вала в 1963 г.;
11 – исследования на территории 13 квартала в 2006–2008 гг.

осыпа спом и постави церковь камену Святого Спаса да Золотые ворота за 50 лет до Великия Богородицы церкви», приходит к выводу, что Владимир Мономах основал Новый город с Золотыми воротами в 1108 г. (Николаев, 2004, с. 157). А уже собственно оборонительные укрепления среднего города возведены Андреем Боголюбским.

Оценивая данную модель развития города и ее доказательную базу, можно утверждать, что она по многим позициям не выдерживает критики и в целом несостоятельна. Отметим самые существенные ошибочные положения автора:

– на территории Ветчаного города, одной из самых исследованных частей Владимира, не выявлено материалов конца X – XI в., а сами оборонительные укрепления этой части города возведены не ранее середины XII в. (Очеретин, Очеретина, 2007; Григорьев, 2008);

– на сегодняшний момент не обнаружены свидетельства существования валов с восточной стороны у Нового города и с западной у Ветчаного.

Из перечисленных выше точек зрения на историю развития города наиболее обоснованной является концепция Н. Н. Воронина, сформировавшаяся в середине XX в. За последующее время получены новые материалы, позволяющие уточнить и скорректировать некоторые положения, предложенные по топографии города.

В 2010–2011 гг. экспедицией Института археологии Российской академии наук проводились охранные археологические исследования в зоне строительства здания по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 61. Участок расположен в историческом центре города. В эпоху Средневековья на данной территории располагались оборонительные укрепления (Ивановский вал), ограничивающие с восточной стороны Печерний город (рис. 1: 9). В соответствии с письменными и картографическими источниками укрепления на данном участке были срыты в конце XVIII – начале XIX в. В последующее время данная территория активно застраивалась вплоть до середины XX в.

На момент начала работ территория исследования представляла собой ровный задернованный участок, свободный от каких-либо строений. Раскоп имел неправильную геометрическую форму (по контуру будущего здания) общей площадью около 323 кв. м. Мощность культурных напластований, зафиксированных в раскопе, составила от 4 до 5 м. На всей его площади прослежены остатки оборонительных укреплений и культурный слой, предшествующий возведению фортификационных сооружений.

На материке залегал слой плотного сильно гумусированного суглинка темно-серого цвета мощностью 18–24 см с небольшим количеством мелких фракций древесного угля. Данный слой фактически не содержал находок, за исключением 58 фрагментов гончарных сосудов, изготовленных из ожелезненной глины с примесью дресвы или песка. На некоторых участках в профилях раскопа зафиксирована ровная нижняя граница слоя, указывающая предположительно на то, что он является древней пашней. На материке не прослежены следы борозд. Данное обстоятельство свидетельствует о том, распашка была неглубокой с использованием легкого пахотного орудия.

Непосредственно на погребенной почве залегал тонкий слой максимальной мощностью 3–4 см, связанный с жилым горизонтом, зафиксированным под первоначальными остатками оборонительных укреплений (рис. 2). К данному горизонту относится несколько хозяйственных ям и две наземные срубные постройки.

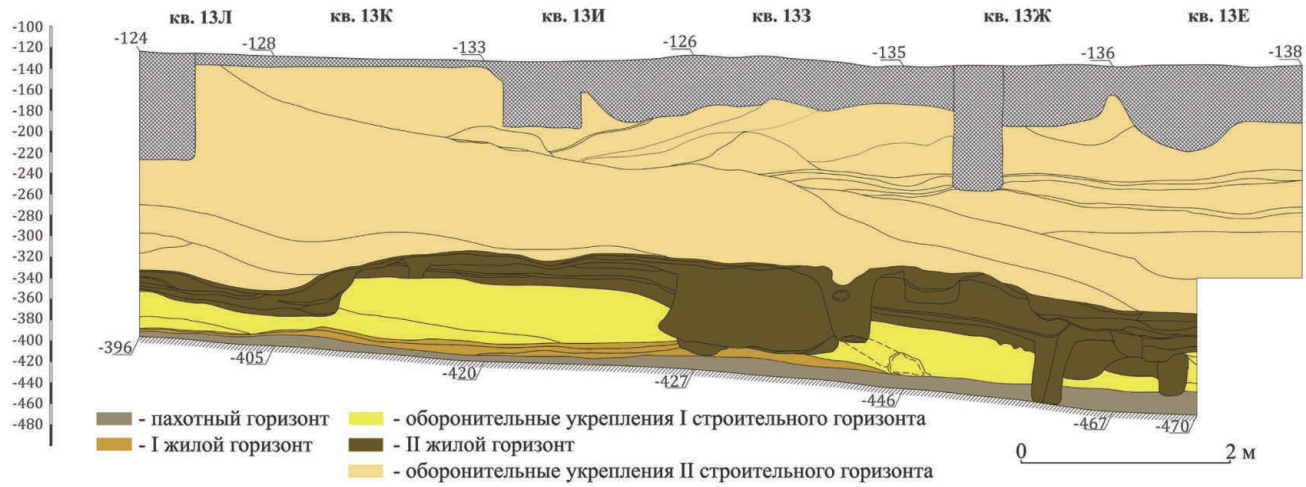


Рис. 2. Поперечный разрез Ивановского вала (северо-восточная стенка участка 5, вид с юго-востока). Исследования 2010–2011 гг.

Объекты и слой, зафиксированные под насыпью вала, представляют собой закрытый комплекс, формировавшийся непродолжительный период. Об этом свидетельствует его толщина. Наблюдения над стратиграфией заполнения ям, сохранностью деревянных конструкций, характером слоя, отложившегося на пахотном горизонте, позволяют говорить, что исследованные в раскопе постройки (усадьба?), существовавшие здесь до начала возведения оборонительных укреплений, не погибли в пожаре, а были разобраны и фактически сразу же на освободившейся территории началось возведение фортификационных сооружений. В пользу этого свидетельствует несколько моментов:

– отсутствие собственно следов пожара, каких-либо сгоревших конструкций или слоев, насыщенных углями и прослеженных по всей площади раскопа;

– сохранность деревянных конструкций или отдельных бревен, возможно, слоев щепы, которые лежали на дневной поверхности перед началом возведения оборонительных укреплений. Дерево недолго находилось на открытом пространстве и не успело сгнить, а было законсервировано насыпью вала;

– засыпка некоторых ям происходила тем же грунтом, из которого сооружались укрепления.

Одной из наиболее важных проблем в исследовании начального этапа освоения восточной части Печернего города Владимира-на-Клязьме является определение времени функционирования жилого горизонта, зафиксированного под насыпью вала.

Всего в ходе работ было собрано 27 индивидуальных находок, из них для определения хронологических рамок может быть привлечено 13 предметов (рис. 3).

Среди них наиболее многочисленную группу составляют стеклянные бусы – 7 экз. Все они изготовлены способом навивки. Битрапецоидные бусы с пропорциями 1 : 1, выполненные из прозрачного голубого стекла, представлены тремя экземплярами, сохранность двух очень плохая, они полностью расстеклованы (рис. 3: 1–3). Время бытования подобных бус на северо-западе и северо-востоке Руси определяется исследователями довольно широко в рамках 2-й четверти XI – 3-й четверти XIII в. (Захаров, Кузина, 2008, с. 191, 195).

Навитые зонные (1 экз.) и кольцевидные бусы (1 экз.), изготовленные из прозрачного желтого стекла (рис. 3: 4, 5), по наблюдениям Ю. Л. Щаповой, в основном датируются XII–XIII вв., но зонные желтые бусы бытуют до XIV в. включительно (Щапова, 1956, с. 166–169). В Биляре они в основном были распространены в XII – начале XIII в. (Валиулина, 2005, с. 88).

Из раскопок происходят две орнаментированные бусины. Одна из них, эллипсоидная черная, выполненная из слоеного стекла (рис. 3: 6). В новгородских материалах подобные бусы со сплошной инкрустацией, изготовленные из листов слоеного стекла, датируются рубежом XI–XII вв. – серединой XIII в. (Лесман, 1984, табл. 1). В Болгаре эти бусы бытуют и в золотоордынское время (Полубоярinova, 1988, с. 177). Последняя бусина, выполненная из черного стекла, относится к типу зонных, она орнаментирована накладными линиями белого стекла, образующими многократный зигзаг (рис. 3: 7). Датируются такие бусы XII–XIII вв. (Щапова, 1956, с. 177; Захаров, Кузина, 2008, с. 197).

С рассматриваемым жилым горизонтом связана находка двустороннего костяного неорнаментированного гребня с частым и редким зубом трапециевидной формы и линзовидного сечения с прямой линией боковой грани (рис. 3: 10). Согласно типологии, разработанной для новгородских древностей, он относится к типу Д, время бытования которого определяется концом X – концом XII в. (Колчин, 1982, с. 164, 165).

К датирующим предметам относятся и два нательных крестика, выполненных из цветных металлов. Один крестик с шаровидным средокрестием и с двумя шариками на концах (большим и малым), образующих пирамидки (рис. 3: 9). Ветви дополнительно украшены перехватом. Данные крестики широко распространены на средневековых памятниках Восточной Европы (Зайцева, 2008, с. 60). Считается, что наибольшее распространение подобные кресты получили со 2-й половины XII в. (Беленькая, 1976, с. 93). Известны эти кресты и в 1-й половине XIV в. (Колпакова, 2003, с. 70).

Из заполнения ямы 72 происходит плоский крестик с трехчастным завершением ветвей, украшенный циркульным орнаментом и ромбовидным средокрестием (рис. 3: 8). Такие кресты также довольно широко распространены и датируются XII–XIII вв. (Зайцева, 2008, с. 62).

Для установления датировки жилого горизонта можно использовать три клейменых донца. Все они относятся к круговым сосудам, изготовленным из ожелезненной глины с примесью дресвы. Определению хронологии различных клейменых изображений на круговой посуде центра Северо-Восточной Руси с использованием материалов Владимира и Суздаля посвящено специальное исследование Е. К. Кадиевой (Кадиева, 2007). К группе клейм, датирующихся серединой XI – серединой XIII в., относятся клеймо в виде двух простых треугольников, соединенных вершинами (рис. 3: 13), и клеймо в виде окружности с вписанными в нее тремя дугами (рис. 3: 14) (Кадиева, 2007, с. 178, 181). К группе геральдических относится клеймо в виде простой «птички», представляющее собой колоколовидный двузубец без отрога в основании (рис. 3: 12). Подобные клейма, приведенные в каталоге исследовательницы, встречены исключительно во Владимире и Суздале и имеют довольно узкую датировку в пределах 2-й половины XII – середины XIII в. (Кадиева, 2007, с. 184).

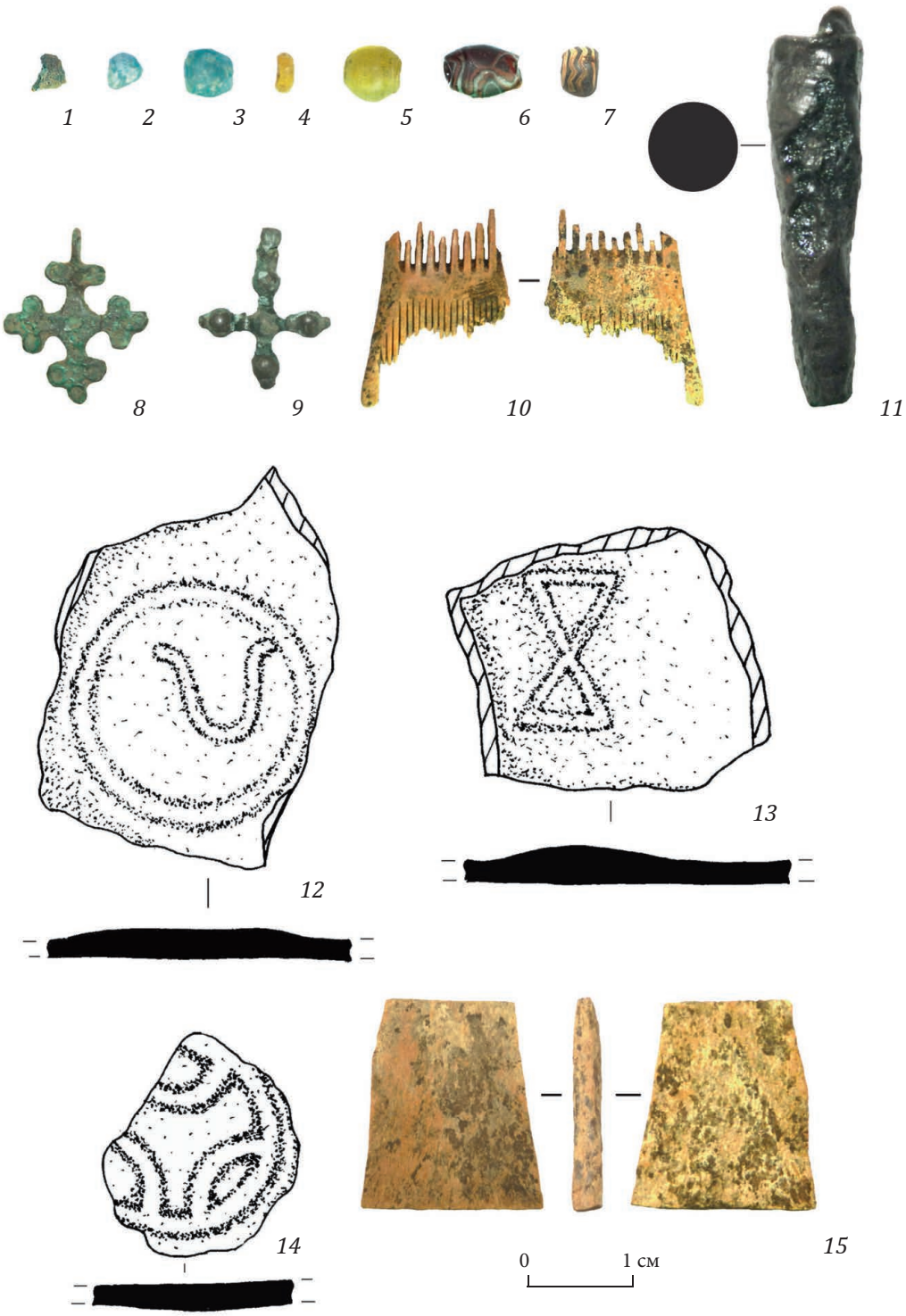


Рис. 3. Индивидуальные находки I жилого горизонта под фортификационными сооружениями Ивановского вала:

1–7 – стеклянные бусы,
8, 9 – нательные крестики из цветного металла,
10 – двусторонний гребень из рога животного,
11 – железная втулка,
12–14 – глиняные клейменые донца,
15 – заготовка гребня из рога животного

Проанализированная вещевая коллекция позволяет датировать комплекс в рамках XII–XIII вв.

Массовый керамический материал жилого горизонта, исследованного в 2010–2011 гг. под насыпью Ивановского вала, включает в себя 1492 фрагмента круговых сосудов древнерусского времени (рис. 4). Керамическая коллекция имеет аналогии в материалах раскопок селищ в Суздальском Ополье XI–XIII вв. (Федорина, 2008, с. 303–304, рис. 2: 1, 2, 8–13, 15–20). Нижняя хронологическая граница жилого горизонта на основе анализа керамического комплекса может быть определена рубежом XI–XII вв., так как здесь не выявлена лепная керамика, характерная для более раннего времени (Федорина, 2008, с. 306).

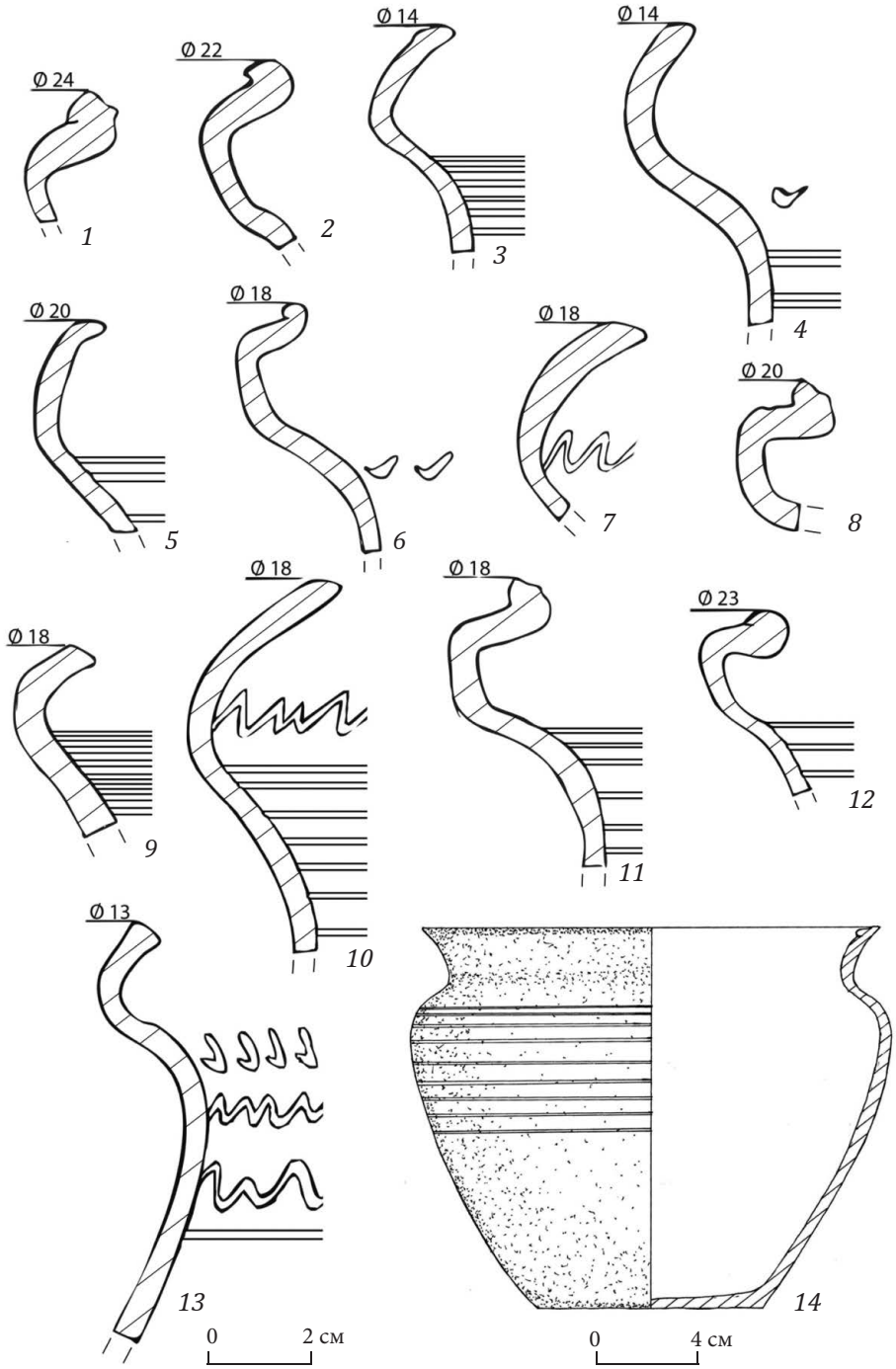


Рис. 4. Массовый керамический материал I жилого горизонта под фортификационными сооружениями Ивановского вала

Таблица 1

Результаты радиоуглеродного датирования проб, отобранных из жилых горизонтов

	Лабораторный номер	Год	Место отбора пробы	Материал	Возраст по С-14 (ВР)	Интервалы калиброванного возраста (AD)	
						1σ	2σ
I жилой горизонт	Poz-54814	2013	постройка 4, кв. 14К, гл. -386, плашка на полу	древесный тлен	960 ± 50	1022–1154	990–1185
	Poz-54815	2013	яма 77, гл. -442, сл. I/22	уголь	975 ± 30	1020–1148	1014–1155
II жилой горизонт	Ле-9263	2011	кв. 17К, гл. -281, сл. III/10	уголь	870 ± 50	1040–1230	1030–1260
	Ле-9264	2011	постройка 1, кв. 183, гл. -305/-307	уголь	860 ± 20	1162–1216	1070–1250
	Ле-9265	2011	постройка 1, кв. 183, гл. -298/-300, плашка	уголь	920 ± 30	1039–1160	1026–1207
	Ле-9266	2011	яма 8, кв. 183К, гл. -330, сл. III/7	уголь	915 ± 30	1039–1161	1030–1208
	Poz-54813	2013	кв. 16Ж, гл. -355, III/10	уголь	900 ± 30	1046–1185	1040–1211

Для уточнения времени функционирования рассматриваемого горизонта радиоуглеродным методом датировано 2 образца угля и древесного тлена, отобранные из разных объектов (таблица 1). Датировка произведена в Познаньской радиокарбонной лаборатории. Суммарный диапазон радиоуглеродных дат – 30-е гг. XI – середина XII в. (Poz-54814, 1022–1154 гг. н.э. (1σ); Poz-54815, 1020–1148 гг. н.э. (1σ)).

Сопоставление приведенных выше дат, датировок предметов, установленных на основе обращения к аналогиям, и результатов изучения керамической коллекции позволяют определить хронологические рамки жилого горизонта в пределах первой половины XII в.

Предложенной датировке не противоречат материалы, происходящие из второго жилого горизонта, находившегося выше первоначальной насыпи вала (рис. 2). Проблема определения характера этого жилого горизонта, причины застройки первых конструкций укреплений – это тема отдельного исследования. Но отметим некоторые характеристики, интересующие нас в связи с рассматриваемой проблемой. Стратиграфически второй горизонт более поздний, чем первый, и он более мощный по толщине (20–30 см), что свидетельствует о долговременности его функционирования. В процессе разбора культурных напластований второго жилого горизонта собрана представительная вещевая (211 предметов) и керамическая (около 10 тыс. фрагментов) коллекции, которые датируются в рамках 2-й половины XII – XIII в.

Помимо этого, радиоуглеродным методом датировано пять образцов угля, связанных с прослойками пожаров в данном стратиграфическом жилом горизонте (таблица 1). Суммарный интервал вероятностей полученных дат охватывает период с 1039 по 1230 г. Как уже отмечалось, нижняя хронологическая граница, установленная при анализе керамической и вещевой коллекции, не выходит за рамки ранее 2-й половины XII в. Таким образом, сопоставление двух датировок, полученных различными методами, позволяет определить функционирование второго жилого горизонта в пределах 2-й половины XII – 1-й трети XIII в. К этому времени близка одна из пяти радиоуглеродных дат – 1162–1216 гг. (Ле-9264, (1σ)) (таблица 1).

Исходя из полученных данных, можно утверждать, что первые оборонительные укрепления восточной части Печернего города были возведены в середине – 2-й половине XII в.

Проводившиеся в 2010–2011 гг. работы не явились первыми в исследовании Ивановского вала.

В 1953 г. по оси ул. Подбельского под руководством Н. Н. Воронина был осуществлен разрез сохранившейся части Ивановского вала (рис. 1: 9). Исследования проводились в 95 м к северо-западу от раскопа 2010–2011 гг. Под насыпью вала также был обнаружен культурный слой, который был датирован авторами работ XI–XII вв. (Воронин, Раппопорт, 1953).

В настоящее время в фондах Владимиро-Суздальского музея-заповедника хранится 13 предметов, происходящих из слоя, на котором был сооружен вал. Они представлены железным ножом, двумя сильно окислившимися предметами из цветного металла, 4 фр. венчиков и 6 фр. стенок круговых сосудов. Вещевой материал не позволяет уточнить хронологическую датировку слоя, определенную нами, но и не противоречит ей. Фрагменты керамики сопоставимы с керамической коллекцией, полученной в 2010–2011 гг. Это сосуды, изготовленные на гончарном круге из ожелезненной глины с примесью песка или дресвы, стенки которых орнаментированы линейным орнаментом. Венчики относятся к типам, датирующимся XII–XIII вв.

В 1961 г. при прокладке уличной магистрали от улицы Володарского осуществлялись небольшие археологические исследования Троицкого вала, ограничивающего Печерний город с западной стороны (рис. 1: 10). В результате раскопок установлено, что насыпь вала была сооружена в один строительный период, а под ней зафиксирован культурный слой (Седов, 1963, с. 37). Мощность этого слоя достигала 30–50 см. Коллекция индивидуальных находок немногочисленна, найдены «зонная бусина из горного хрусталя, обломок витого браслета из черного стекла, железные гвозди, нож, остатки кожаной обуви и обугленное зерно» (Седов, 1963, с. 39). На основании выявленного керамического материала автор работ датировал культурный слой под насыпью вала XII столетием (Седов, 1963, с. 40). Вследствие малочисленности материала более узкая хронологическая датировка комплекса была невозможна.

Уточнить датировку культурного слоя, обнаруженного под насыпью Троицкого вала, позволяют материалы исследований в северо-западной части Печернего города (в современной топографии – 13 квартал исторического ядра Владимира) (рис. 1: 11). В течение трех полевых сезонов (с 2006 г. по 2008 г.) на данной территории экспедицией ИА РАН проводились охранные раскопки. За это время 11 раскопами изучено около 2500 кв. м, около 750 объектов, из которых около 40 % относится к древнерусскому времени. Раскоп, ближайший к Троицкому валу, расположенный по адресу ул. Комсомольская, 6, отстоит от него на 13 м к востоку.

Анализ археологического материала указывает на то, что застройка данного участка происходит не ранее середины XII в. (Зеленцова, Кузина, Милованов, 2011, с. 119). Следовательно, культурный слой, выявленный под насыпью вала, может быть датирован также не ранее этого времени, а сами оборонительные укрепления возведены не ранее 2-й половины XII столетия.

Таким образом, в результате проведенных исследований и полученных материалов в разных частях Печернего города в последние годы можно утверждать, что возведение оборонительных укреплений центральной части древнего Владимира произошло не ранее середины XII в. Определение более точного времени пока представляется затруднительным и требует дальнейших исследований.

Источники и литература

Археология СССР, 1985. Город, замок, село. М.

Беленькая Д. А., 1976. Крестики и иконки из курганов Подмосковья // СА. № 4.

Бунин А. И., 1900. К исторической топографии г. Владимира на Клязьме // ТВУАК. Т. II. Владимир.

Валиулина С. И., 2005. Стекло Волжской Булгарии (по материалам Билярского городища). Казань.

Воронин Н. Н., 1946. Социальная топография Владимира XII–XIII вв. и «Чертеж» 1715 г. // СА. Вып. VIII. М.; Л.

Воронин Н. Н., 1961. Зодчество Северо-Восточной Руси. Т. 1. М.

Воронин Н. Н., Раппопорт П. А., 1953. Отчет об археологических разведках во Владимире летом 1953 г. // Архив Государственного историко-архитектурного и художественного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. № 50.

Григорьев Д. Н., 2008. Раскоп 2007 г. на Нижегородской ул. г. Владимира // Археология Владимиро-Суздальской земли : материалы научного семинара. Вып. 2. М.

Зайцева И. Е., 2008. Изделия из цветных металлов и серебра // Археология севернорусской деревни X–XIII веков : средневековые поселения и могильники на Кубенском озере : в 3 т. / отв. ред. Н. А. Макаров. Т. 2. М.

Захаров С. Д., Кузина И. Н., 2008. Изделия из стекла и каменные бусы // Археология севернорусской деревни X–XIII веков : средневековые поселения и могильники на Кубенском озере : в 3 т. / отв. ред. Н. А. Макаров. Т. 2. М.

Зеленцова О. В., Кузина И. Н., Милованов С. И., 2011. Древнерусские усадьбы из раскопок в Мономаховом городе Владимира в 2008 г. // Археология Владимиро-Суздальской земли : материалы научного семинара. Вып. 3. М.; СПб.

Кадиева Е. К., 2007. Клейма на круговой посуде центра Северо-Восточной Руси: хронология и распространение // Археология Подмосковья. Вып. 3. М.

Колпакова Ю. В., 2003. Предметы христианского культа в археологической коллекции Псковского музея-заповедника // Археология и история Пскова и Псковской земли : материалы научных семинаров за 2001–2002 гг. Псков.

Колчин Б. А., 1982. Хронология новгородских древностей // Новгородский сборник : 50 лет раскопок Новгорода. М.

Лесман Ю. М., 1984. Погребальные памятники Новгородской земли и Новгород (проблема синхронизации) // Археологические исследования Новгородской земли. Л.

Николаев Б. П., 2004. Новое в исторической топографии древнего города Владимира // Материалы областной краеведческой конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н. Н. Воронина (19 апреля 2004 г.). Владимир.

Очеретин И. А., Очеретина С. В., 2007. Оборонительные сооружения «Ветшаного города» г. Владимира (по материалам раскопок 2005 г.) // Археология Владими-

ро-Суздальской земли : материалы научного семинара. Вып. 1. М.

Полубояринова М. Д., 1988. Стеклянные изделия Болгарского городища // Город Болгар : очерки ремесленной деятельности. М.

Седов В. В., 1963. Из полевых исследований 1961 г. // КСИА. Вып. 96. М.

Федорина А. Н., 2008. Керамический комплекс селища Вишенки 3 под Суздалем // Сельская Русь в IX–XVI веках. М.

Щапова Ю. Л., 1956. Стеклянные бусы древнего Новгорода // МИА. № 55.

Summary

S. I. Milovanov

Fortifications of the Pecherny Town in Vladimir-on-the-Klyazma: New Archeological Data on the Chronology

During the medieval period, Vladimir-on-the-Klyazma consisted of three fortified sectors. The central part was known as «Pecherny» Town, which had fortifications all round its perimeter. According to N. N. Voronin they were built between 1098 and 1108. In this article new materials are discussed which make it possible to give a more precise date for their construction.

In 2010–2011 after archaeological investigation of the eastern fortifications of «Pecherny» town (the Ivanovskii Rampart) levels were studied which predated the building of the fortifications. Immediately above the natural soil there was a level of medieval ploughed land. On top of this was a thin level (3–4 cm thick) linked with a horizon of dwellings. On the basis of results received thanks to radio-carbon dating, the study of the ceramic assemblage and individual finds, the date range for this level fell within the first half of the 12th century. This means that the eastern fortifications of «Pecherny» Town were built in the mid-12th century.

In 1961 the western fortifications of «Pecherny» Town (Troitskii Rampart) were investigated. Under them a habitation level was also recorded. The scholar working with this material dated it to the 12th century. Given that the amount of material available was very small, it was not possible to give a more precise date for the assemblage. Further investigations carried out in 2006–2008 made it possible to determine the earliest date for this level in the north-western sector of Pecherny Town. The work was undertaken in the immediate vicinity of the defensive fortifications. Excavation work was carried out over an area of approximately 2,500 square meters. Analysis of the archaeological material indicates that the construction work in this particular sector took place no earlier than the mid-12th century. It therefore follows that the habitation level under the mound of the defensive wall began to be deposited at that time and that the defensive fortifications were erected no earlier than the second half of the 12th century.

Ю. Н. Сытый

Укрепления древнерусского Чернигова

Расположение оборонительных укреплений древнерусского Чернигова и их размеры постоянно вызывают интерес жителей города. Ученые, удовлетворяя любопытство горожан и гостей Чернигова, уже в XIX в. предпринимают попытки определить границы города X–XIII вв. с помощью имеющегося картографического материала, а также анализируя местоположение остатков укреплений на территории города XIX–XX вв. (Ярыгин, 1905, с. 177). В XIX в. были составлены первые описания укреплений, в которых наряду с летописными свидетельствами приводятся анализ остатков различных старинных объектов, отдельных находок, кладов и т. д. В конце XIX в. в процессе подготовки к XIV Археологическому съезду была составлена первая карта древнерусского Чернигова.

При этом А. К. Ярыгин рисует план города XIII в. на плане застройки XIX в. (рис. 1). Созданный А. К. Ярыгиным план стал основой плана древнерусского Чернигова, предложенного Б. А. Рыбаковым (рис. 2: I), а последний использовался при

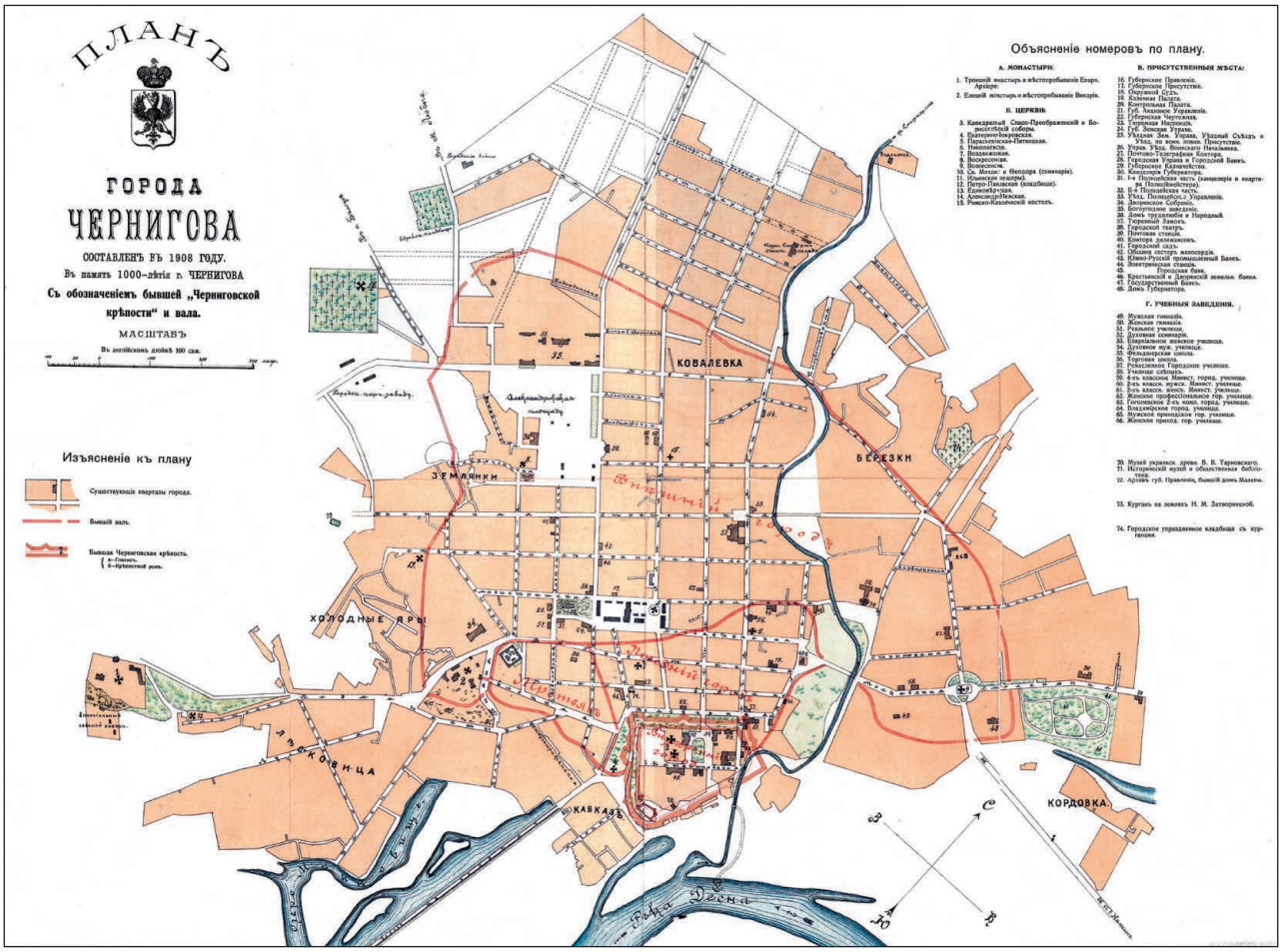


Рис. 1. План укреплений Чернигова А. К. Ярыгина (1908 г.)

составлении дальнейших планов древнерусского Чернигова и этапов его развития (В. А. Богусевич, А. А. Карнабед, В. П. Коваленко, Ю. Н. Сытый, А. В. Шекун, А. Л. Казаков и другие) (Марков, 1816, с. 20; Маркевич, 1852, с. 61–63; Ярыгин, 1898, с. 139–144; Смоличев, 1928, с. 124; Богусевич, 1951, с. 116–125; Карнабед, 1980, с. 15; Коваленко, 1988, с. 22–33) (рис. 2: 2–5).

На плане А. К. Ярыгина были нанесены детинец (в размерах от края террасы р. Десны до здания Коллегиума), укрепления Окольного города (согласно планам Чернигова XVIII в. – начала XIX вв.) и оборонительная линия Передгородья, которая еще была визуально заметна в отдельных местах на полях вокруг застройки города (Ярыгин, 1900, с. 69–77).

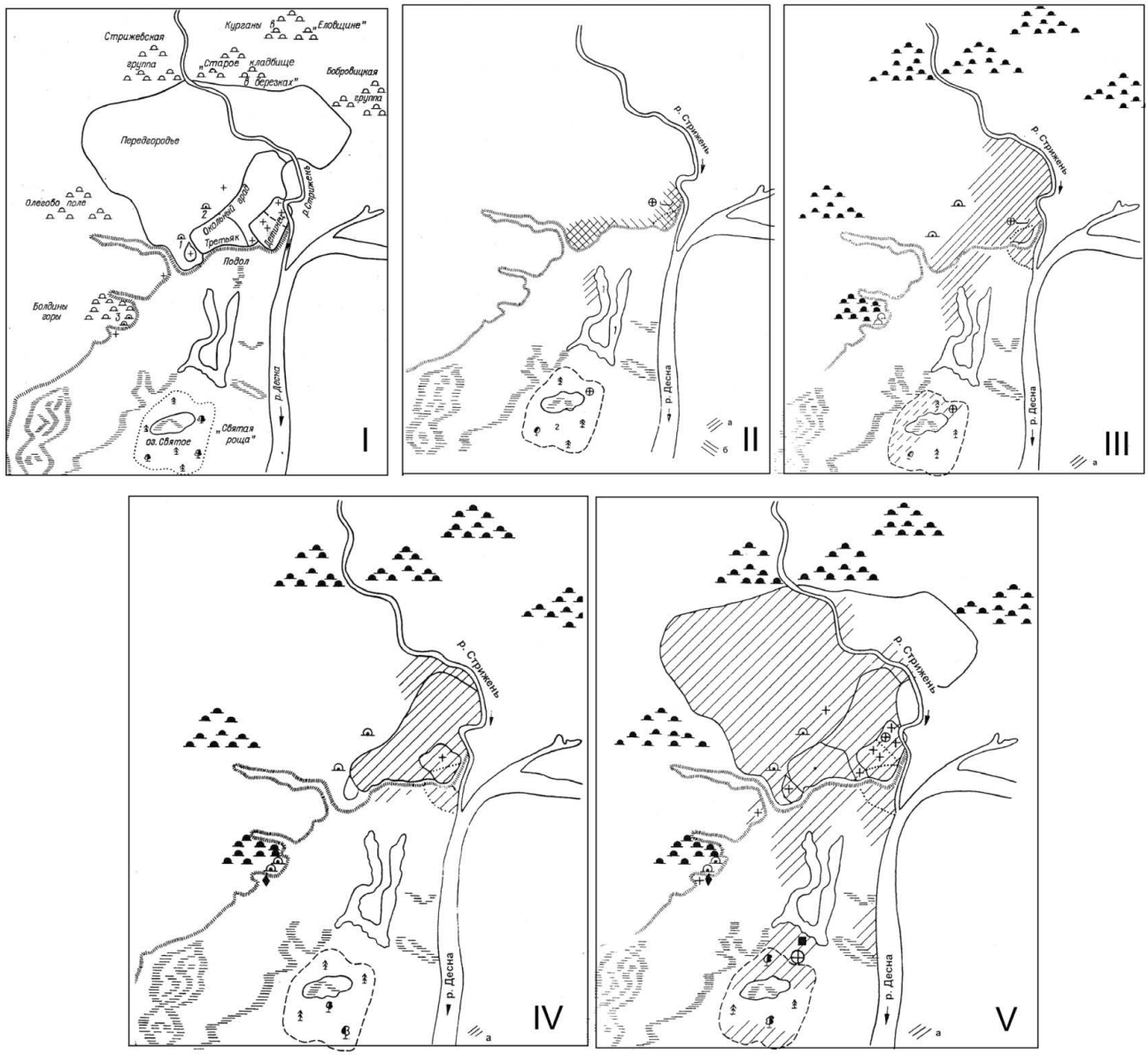


Рис. 2. Планы Чернигова:
I – план Чернигова XII–XIII вв. по Б. А. Рыбакову;
II–V – планы Чернигова по В. П. Коваленко: II – план Чернигова VI – первой половины IX в.
а – распространение культурного слоя VI–VII вв.,
б – распространение культурного слоя VIII – первой половины IX в.;
III – план Чернигова второй половины IX – X в.;
IV – план Чернигова XI – начала XII в.;
V – план Чернигова XII – середины XIII в.

Уже первый план Чернигова 1706 г. (рис. 3) содержит названия его составных частей: детинец – Первый замок черкасский, восточная часть Окольного града – Второй замок черкасский, западная часть Окольного града (имевшая самостоятельные укрепления) – Третий замок черкасский и т. д. (Чернігівщина..., таб. XXXIII). Название «Третий замок черкасский» относилось к наименее укрепленной территории города XVIII в. и, вероятно, дало название укреплениям в западной части Окольного города – Третьяк.

Выяснив детали плана А. К. Ярыгина, напомним степень изученности оборонительных конструкций на сегодня и попробуем разобраться, можно ли доверять плану А. К. Ярыгина и всем последующим планам, составленным на его основе (Ярыгин, 1898, с. 139–144).

Начнем описание со стрелки мыса, образованного краем террасы р. Десна и правым берегом р. Стрижень в месте ее выхода с террасы в пойму. Крайним южным укрепленным участком (в составе детинца XIII в.) являлась т. н. цитадель, или Верхний замок, следы оборонительных конструкций которого в виде рва заметны и сегодня (рис. 4).

На территории цитадели оборонительные конструкции исследовались Г. А. Кузнецовым (1985 г.) (ров шириной 18 м глубиной до 5,2 м) (Кузнецов, 1985/119, с. 16–18), В. П. Коваленко и П. М. Гребнем (1989 г.) (Гребень, 1993, с. 13–23), В. П. Коваленко и И.М Игнатенко (1990–1991 г.) (Игнатенко, Коваленко, 1993, с. 38–39), В. П. Коваленко, И. М. Игнатенко и А. А. Василенко (1991 г.). Во время работ 1989–1994 гг. было выяснено, что более высокий уровень дневной поверхности цитадели над уровнем других частей детинца обусловлен хорошей сохранностью валов и толщиной (до 5 м) культурного слоя на ее внутреннем пространстве. Разрез остатков оборонительных укреплений в виде валов был проведен в двух местах на южной стороне цитадели и в восточной ее части – там, где укрепления повернули с направления запад – восток на север. И. М. Игнатенко описывает конструкцию укреплений в раскопе № 1 таким образом: «...в супеси заполнения клетей были хорошо заметны следы древесного тлена. На отдельных участках вала на местах сгнивших колод крепостного укрепления фиксировались пустоты. Удалось посчитать количество венцов в срубах. Так, в раскопе № 1 зафиксировано 16 венцов на высоту 1,8 м; в траншее № 1 – 26 венцов на 3,4 м. Промеры фиксируют диаметр пустот около 10–15 см.... в траншее № 1, прорезавшей вал с напольной северо-восточной стороны. Были выявлены остатки четырех клетей. Удалось зафиксировать полные размеры двух и один размер третьей. Длина клетей (вдоль насыпи) составляла 4,5 м, ширина (поперек вала) находилась в пределах от 3,0 до 4,3 м. Ширину стены удалось вычислить в 1992 г. ...составляла приблизительно 11,5 м и представляла собой три ряда клетей разной ширины» (Игнатенко, 2012, с. 38–39). Таким образом, исследования показали наличие древнерусских укреплений по всему периметру цитадели.

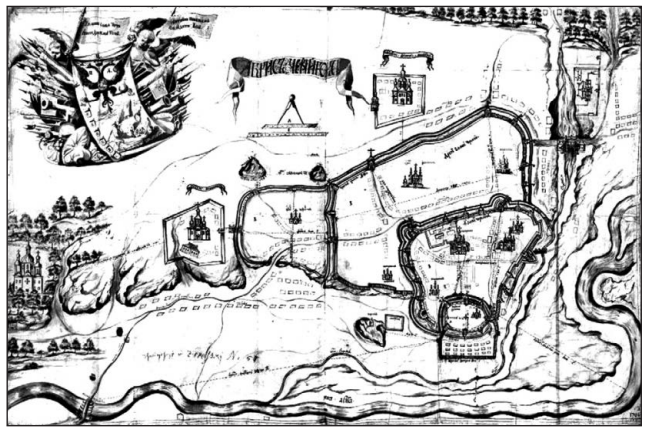


Рис. 3. План Чернигова 1706 г.

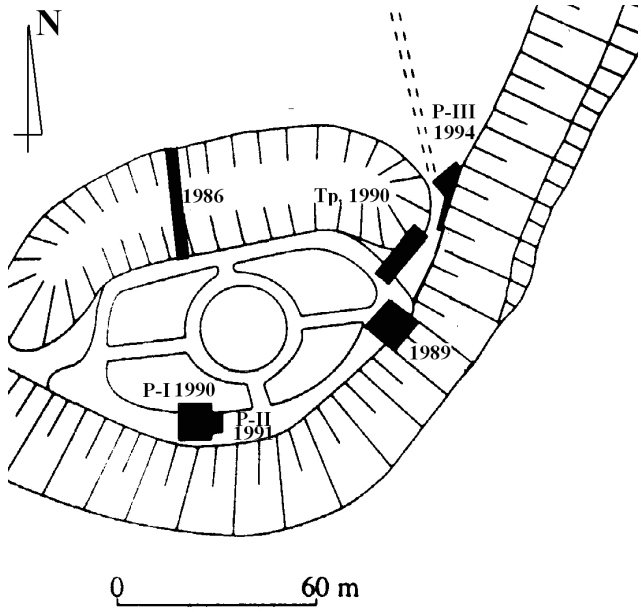


Рис. 4. План цитадели с нанесением раскопов 1985–1994 гг.

Следующая оборонительная линия расположена также в пределах территории детинца (XI–XIII вв.). В 1949 г. Б. А. Рыбаков, проанализировав рельеф детинца и найденный В. А. Богусевичем в 1947 г. ров, предложил провести направление рва по линии юг – север (Рыбаков, 1949, с. 9–14) (рис. 2: I). В дальнейшем это привело к появлению гипотезы о пристройке восточной части укреплений к более древней западной. Такое деление детинца нашло отражение на плане древнего Чернигова, составленном Б. А. Рыбаковым (Рыбаков, 1949, с. 11).

Ров от еще одной оборонительной линии был обнаружен к востоку от Спасского собора в 1951 г. В. А. Богусевичем (Богусевич, 1955, с. 5–6). Работами под руководством В. П. Коваленко в 1984–1985 гг. были исследованы участки вала этой части детинца (со стороны поймы) и повторно найден ров, выявленный впервые в 1951 г. (рис. 5). На основе материалов новых работ В. П. Коваленко предположил, что трасса рва ориентирована по оси восток – запад. Ров начинался от дороги, ведущей к современному устью р. Стрижень, и проходил с юга от Спасского собора в направлении Екатерининской церкви, где соединялся с оврагом, по которому и сегодня проходит дорога из Киева в центр города (Коваленко, 1988, с. 25–28). В то же время В. П. Коваленко, датируя в публикациях время засыпки рва XI в., гипотетически отнес его появление к VI–IX вв. (рис. 2: II).

В результате изменения представлений об ориентации рва развитие города (от стрелки мыса вглубь террасы) стало более правдоподобным и логичным. Как показали исследования А. Л. Казакова и Е. Е. Черненко в 2006–2008 гг., окончательно детинец в рамках XI–XIII вв. сформировался уже в X в. (Черненко, Казаков, Печеный, 2009, с. 315). Однако это не единственные исследования укреплений этой части детинца. В 1946 г. Б. А. Рыбакову удалось зафиксировать остатки укреплений XVII в. в восточной части детинца – на участке, прилегающем к Благовещенскому собору (Рыбаков, 1949, с. 60–69). Отсутствие древнерусских укреплений со стороны р. Стрижень было объяснено их разрушением неоднократными наводнениями. Исследователь отмечал, что уничтожено более 150 м края террасы (при этом он имел в виду направление вдоль берега, а не вглубь террасы р. Стержень). В 1946 г. был выявлен котлован постройки раннеславянского времени под насыпью вала. Такая сохранность возможна лишь при условии, что сооружение VII в. было перекрыто укреплениями

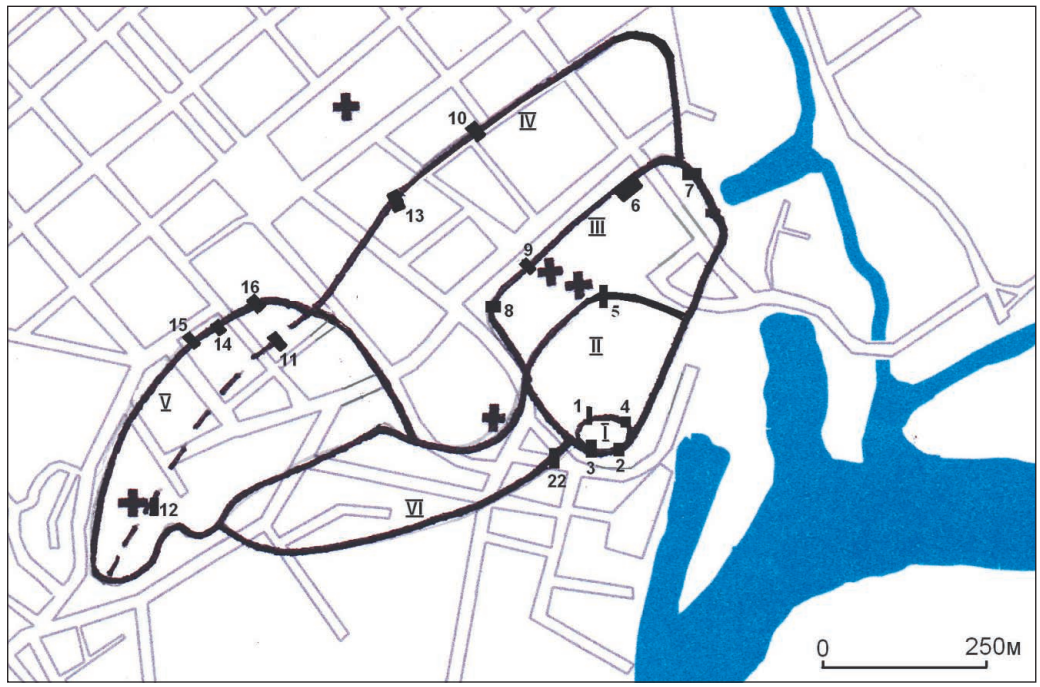


Рис. 5. План укреплений Чернигова X в.:

I – укрепления Верхнего замка;
II – ров на юг от Спасского собора;
III – укрепления на детинце XI в.;
IV – четвертая линия укреплений;
V – укрепления Третьяка;
VI – укрепления на подоле;
1 – разрез рва цитадели 1985 г.;
2 – место исследований церкви 1989 г.;
3 – раскопы 1990–1991 гг. на цитадели;
4 – траншея 1990 г. на цитадели;
5 – траншея 1985 г. около музея;
6 – раскопы 2006 г. на месте дома дворянских собраний;
7 – раскоп 1946 г. Благовещенского собора;
8 – раскоп 1990 г. около Коллегиума;
9 – раскоп 2008 г. около Коллегиума;
10 – траншея 1963 г. по ул. Родимцева;
11 – раскоп 2003 г. по ул. Кирпоноса;
12 – шурф 1983 г. под апсидой Успенского собора;
13 – раскоп 2010 г. по просп. Мира, 17-А;
14 – 1985 г. по ул. Князя Черного, 9;
15 – раскоп 1991 г. по ул. Пролетарской;
16 – раскоп 2010 г. по ул. Князя Черного;
17 – траншея 1982 г. по ул. Подвальной

древнерусского времени, в противном случае котлован был бы уничтожен постройками X–XX вв.

Исследование оборонительных сооружений (по линии которых расположено здание Коллегиума) были продолжены раскопками П. Н. Гребня (1990 г.), В. Я. Руденка (2005), Т. Г. Новик совместно с Е. Е. Черненко (2008 г.) (Гребень, 1992, с. 66–69; Черненко, Новик, 2009, с. 98–100; Черненко, Казаков, Печеный, 2009, с. 315). Эти работы подтвердили синхронность возведения конструкций всех участков укреплений, расположенных параллельно ул. Преображенской (Казаков, Черненко, 2007, с. 119–124). Исследователи, раскопав более 40 м внутренней части вала, пришли к заключению, «что вся северо-западная линия укреплений Черниговского детинца сооружается не позднее X ст. одновременно или в близкие отрезки времени» (Казаков, Черненко, 2007, с. 121).

Если гипотеза о расположении первоначального городища соответствует действительности, то его следует отожествлять с цитаделью, а линия, проходившая южнее Спасского собора, является второй линией укреплений города X ст. Соответственно, строительство линии, расположенной возле Коллегиума, приводило к появлению третьей укрепленной части (все эти укрепления датируются в рамках X в.).

Выяснив количество и направления оборонительных линий на территории детинца XI–XIII вв., попробуем выяснить, какие укрепления существовали на север от него.

В 1962–1963 гг. на перекрестке ул. Горького и Родимцева А. А. Карнабед фиксирует, а в отчете за 1981 г. указывает на остатки рва шириной 9,5 м по ул. Родимцева, 2 (Карнабед, 1972, с. 91; Карнабед, 1981, с. 15; Карнабед, 1991, с. 29). В 1979 г. исследователю удалось найти два рва во дворе дома по ул. Кирпоноса, 7 (Карнабед, Коваленко, 1979, с. 10–11). В 1998 г. А. Л. Казаковым и Г. В. Жаровым эти два рва были обнаружены восточнее при прокладке коммуникаций во дворе по ул. Святониколаевской. Продолжение рвов исследовано Е. Е. Черненко в 2002–2003 гг. в раскопе по ул. Кирпоноса, 7. Рвы расположены на расстоянии 2 м друг от друга: первый (северный, или напольный) имеет ширину 5 м при глубине более 2,4 м, второй (южный) – ширину до 1,7 м и глубину до 0,6–0,85 м (Черненко, Казаков, 2004, с. 63). А. Л. Казаков предложил реконструкцию укреплений меньшего рва в виде установленного в ров частокола, а ров, проходящий к северу от него (со стороны поля), по мнению исследователя, является канавой для водоотвода (Моця, Казаков, 2011, с. 110–117). Датируется ров с частоколом X в., время прекращения его существования – XI в. При такой реконструкции непонятным остается вопрос, куда же делся выкопанный из рва грунт. Для X в. характерны оборонительные конструкции, включавшие в себя ров, вал и частокол, расположенный на расстоянии от внешнего рва. Следы замывов во внешнем рве при наличии естественного уклона местности вполне закономерны.

Продолжение рва с частоколом было зафиксировано А. В. Шекуном под апсидами Успенского собора Елецкого монастыря (1983 г.). Ров имел глубину до 1,5 от уровня материка, в его дне обнаружена ямка с остатками столба (Шекун, 1983, с. 2–6). Во время исследований 2010 г. Е. Е. Черненко по адресу пр. Мира, 17-А исследовала участок рва шириной 3,5 м глубиной 2,5 м (Черненко, Казаков, Рыжий, 2011, с. 364). По ее мнению, данный ров является продолжением рва, выявленного на ул. Кирпоноса, 7.

Если нанести на план ров, который начинается в Елецком монастыре и фиксировался по ул. Родимцева, становится понятным, что мы имеем дело с единой оборонительной линией, которая проходила от края террасы р. Десна (начинаясь над Лесковицей) к краю террасы р. Стрижень. По материалам работ А. В. Шекуна и Е. Е. Черненко, возникновение оборонительной конструкции (рвов) отнесено к X в. Таким образом, это четвертая оборонительная линия, существовавшая в Чернигове в X в. Возникновение четвертой линии связано с существующей застройкой X ст. на территории, которая позже получила название «Окольный град» (Сытый, 2006, с. 117–121). В предыдущей работе, где говорилось о взаимосвязи направления развития города и обеспеченности его кварталов водой, указывалось на существование естественной впадины в рельефе местности, обнаруженной в 2001 г. у здания областной филармонии. Уже тогда было отмечено, что застройка территории к северу от детинца была обусловлена наличием ручья в этой западине (Сытый, 2007, с. 199–210). Формирование застройки вдоль ручья, по нашему мнению, привело к появлению укреплений, которые располагались на 50–70 м севернее от него.

На расстоянии около 200 м от четвертой оборонительной линии X ст. находились ближайшие курганы. Так, ближайший курган, обнаруженный на ул. Воровского, отстоит на 240 м от рва четвертой оборонительной линии; курганы, исследованные на ул. Куйбышева, 13 – на расстоянии 217 м от участка рва по ул. Кирпоноса, 7; курган, исследованный у Пятницкий церкви, – на 197 м от этого рва по пр. Мира, 17-А (Шекун, 2007, с. 106–118). В расположении курганного могильника, полукругом охватывавшего застройку города, существовали правила – не насыпать курганы ближе 100 саженей (сажень без чети).

В. А. Богусевич на основании результатов шурфовки территории террасы и поймы р. Десны высказал предположение о существовании Елецкого городища. А. В. Шекун видит в укреплениях, выявленных под апсидой Успенского собора Елецкого монастыря, и рвах, исследованных по ул. Кирпоноса, 7, посад, расположенный к востоку от Елецкого городища (Сытая, Шекун, 2011, с. 307). Данная четвертая линия общегородских укреплений разрезает

территорию Елецкого монастыря на две части по направлению северо-восток – юго-запад. При таком прохождении рвов по территории монастыря непонятно, в каком месте должно находиться «Елецкое городище». Вероятно, В. А. Богусевич под городищем понимал всю площадь монастыря (до края террасы). А. В. Шекун уже часть территории монастыря относит к его посаду. Логика появления новых линий укреплений в глубину террасы от более древнего образования должна указывать на расположение городища на восточном мысу территории Елецкого монастыря (на террасе над лозовой фабрикой). Этот участок монастырской территории в XVII в. использовался под кладбище и в значительной степени перекопан могильными ямами. Однако следует заметить, что во время шурфовки в перемешанном слое были выявлены в основном материалы XII в. Минимальное количество материалов X в., выявленных в процессе шурфовки, снижает вероятность возможного расположения первоначального городища на территории Елецкого монастыря.

Следует проанализировать место расположения крупнейшего кургана Чернигова – Черной могилы. Черная могила расположена на расстоянии около 190 м от четвертой линии укреплений города и всего на расстоянии в 60 м от укреплений Третьяка. Следует признать, что если жители Чернигова не нарушали традиций, то возведение кургана Черная могила произошло до появления укреплений Третьяка.

Укрепления Третьяка занимают западную часть летописного Окольного града, возникшего позже. Его укрепления проходили от Елецкого монастыря до проспекта Мира и вдоль проспекта Мира доходили до края террасы Десны с запада от Екатерининской церкви.

Укрепление Третьяка исследовались А. Л. Казаковым в 1984 г. (котлован под здание прокуратуры) (Казаков, 1985, с. 104) и второй раз А. Л. Казаковым, Т. М. Вальковой, Т. Г. Новик и Ю. Н. Сытым в 1991 г. по ул. Пролетарская, 7 (Новик, 2002, с. 141). В 2010 г. на углу улиц Кирпоноса и Князя Черного раскопом на значительной площади под руководством Е. Е. Черненко исследовался ров Третьяка, который в целом имеет ширину более 25 м (несколько этапов функционирования) и глубину более 8 м (Черненко, Казаков, Рыжий, 2011, с. 364).

Участок исследований укреплений Третьяка 1991 г. имел продольный и перпендикулярный разрезы вала и раскопанное внутреннее завальное пространство. Под валом объекты отсутствуют, найдена только керамика X в. С внутренней стороны обнаружено несколько округлых в плане котлованов (диаметром до 5 м), датируемых X в. На внутреннем склоне уже оплывшего вала исследована оборонная клеть второго этапа существования укреплений. Эта клеть сгорела во время событий XI в. (летописная дата 1078 г.), что указывает на более раннее появление первого вала (Новик, Сытый, 2008, с. 80–83). По мнению А. В. Шекуна, возведение укреплений Третьяка следует датировать концом X в. (Сытая, Шекун, 2011, с. 307).

Укрепления Третьяка увеличили площадь застройки в северном направлении относительно места расположения четвертой линии укреплений. В то же время следует указать, что укрепления Третьяка выходили на край террасы р. Десна с запада от Екатерининской церкви и создавали разрыв между укреплениями детинца и укреплениями Третьяка со стороны реки. На территории между укреплениями детинца и Третьяка рельеф террасы имеет уклон в сторону поймы, поэтому эффективно укрепить выходы двух рвов вряд ли было возможно. Это создавало угрозу участку города, расположенного между третьей и четвертой линиями обороны.

В 1982 г. А. В. Шекуном на подоле под краем террасы, на котором расположен детинец, был обнаружен участок укреплений (вал шириной 13 м, высотой 1 м), проходивший перпендикулярно к подножию террасы. Время появления оборонительной конструкции по найденным материалам датировано концом X ст. (Веремейчик, Шекун, 2008, с. 60). А. В. Шекун высказал мнение, что вал охватывал участок территории у подножия цитадели. Это предположение основывалось на совпадении укреплений X и XVII вв. С таким мнением согласился В. П. Коваленко, утверждавший, что вал X в. ограждал место древнерусской гавани на р. Стрижень (рис. 2: III–V).

По нашему мнению, место прохождения вала по территории подола определено неправильно. Следует напомнить первые описания укреплений, сделанные еще в XIX в., в частности у М. Е. Маркова и Я. М. Маркевича указано, что вал проходил «...мимо монастыря, под гору на подол, на юг 135 сажень, потом на восток 530 саж., потом к югу на 90 и, наконец, на восток на 40 сажень... » (Марков, 1816, с. 20; Маркевич, 1852, с. 6). Если соединить исследованный в 1982 г. у подножия детинца участок вала с укреплениями под Елецким монастырем, то территория на террасе окажется хорошо защищенной со стороны поймы.

Таким образом, во второй половине – конце X в. Чернигов имел совершенную глубоко эшелонированную систему защиты как со стороны поля, так и со стороны поймы р. Десна.

Площадь цитадели составляет 0,45 га, территория между цитаделью и второй линией укреплений насчитывает 6,1 га, между второй и третьей линиями – 8,5 га, между третьей и четвертой линиями – 37 га; между четвертой линией и внешним краем Третьяка (вместе с полной площадью Елецкого монастыря) – еще 10 га; укрепленная территория подола составляет 5 га. Общая укрепленная площадь X ст. равнялась 67 га.

В XI в. (по наблюдениям В. П. Коваленко и Г. А. Кузнецова) вторая линия укреплений нивелируется, и детинец занимает площадь в 15 га, при этом

в его составе сохраняются обособленные укрепления цитадели (Верхнего замка), который, по мнению И. М. Игнатенко, представляет собой укрепленный княжеский двор (Игнатенко, 1993, с. 121–123). В пределах укреплений Третьяка в XI в. засыпается ров и нивелируется вал с частоколом (четвертая линия укреплений). В восточном направлении от укреплений Третьяка возникают укрепления Окольного града (до поймы р. Стрижень), увеличивая площадь на 37 га. С их появлением, вероятно, окончательно нивелируются укрепления четвертой линии. Только впоследствии появляются укрепления Передгородья, в составе которого существовали как застройка города, так и часть грунтового некрополя (Коваленко, 1995, с. 42–44). Исследователи неоднократно на территории Передгородья фиксировали разнообразные западины в рельефе (русла ручьев), небольшие рвы и канавы. Часть этих укреплений и природных препятствий интерпретируется как остатки летописного острога на территории будущего Передгородья. А. В. Шекун высказал особое мнение относительно летописного острога, отождествив его с укреплениями на подоле.

Укрепление Передгородья исследовались на перекрестке Пяти Углов П. Н. Гребенем (1990 г.) и на северо-запад от перекрестка в 2000 г. В. В. Сохацким (Сохацкий, 2000, с. 6–8), И. М. Игнатенко по ул. Киевской, 20 в 2002 г. По мнению А. Л. Казакова, Передгородье имеет площадь более 120 га (Казаков, 2006, с. 27), по мнению А. А. Карнабеда и В. П. Коваленко, – 325 га, а по подсчетам автора, – 285 га. Значительное увеличение площади (на 285 га) завершило формирование городских укреплений домонгольского времени (рис. 6).

К середине XIII в. Чернигов стал одним из крупнейших городов Европы, укрепленная площадь которого составляла 350 га, а городская агломерация (с открытыми посадами) достигала 400 га.

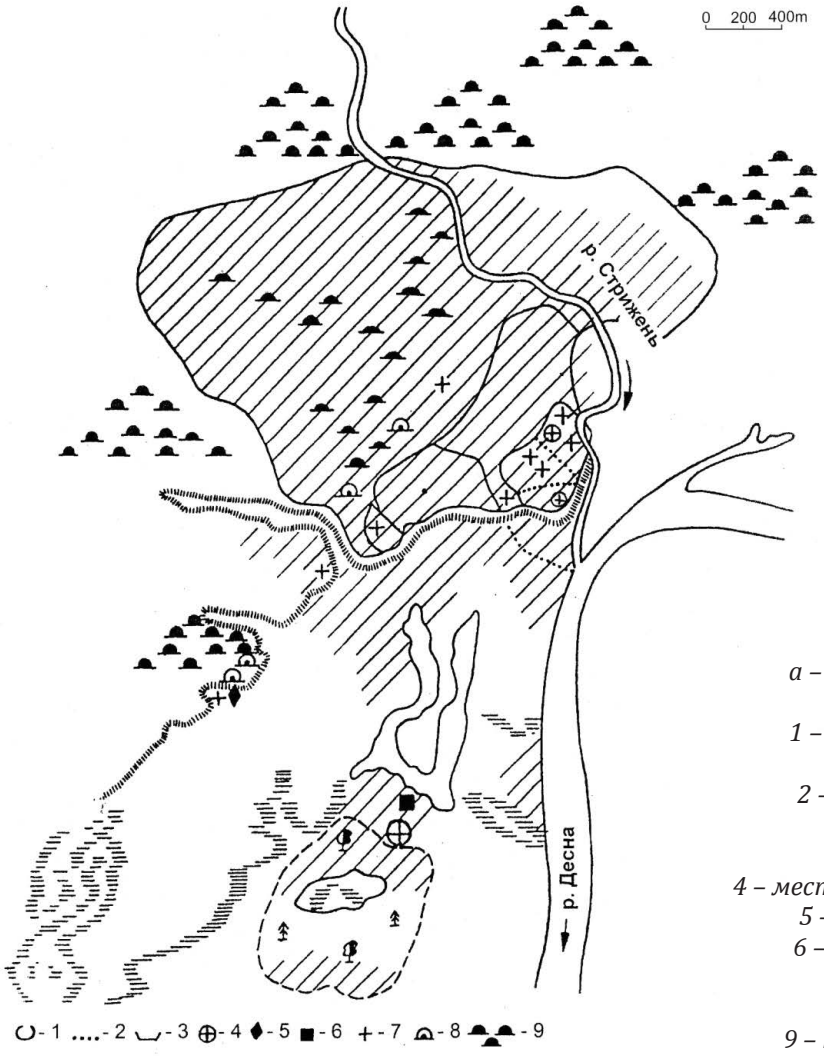


Рис. 6. План Чернигова X–XIII вв. (по А. Л. Казакову):
а – распространение культурного слоя XII – середины XIII в.;
1 – укрепления древнерусского времени (по А. К. Ярыгину);
2 – остатки выявленных укреплений;
3 – остатки древнего некрополя (по В. Богусевичу);
4 – места вероятного расположения святилищ;
5 – Ильинский пещерный монастырь;
6 – комплекс печей по обжигу плинфы;
7 – каменные церкви XI–XIII вв.;
8 – большие курганы;
9 – курганные группы (по Б. А. Рыбакову)

Источники и литература

Богусевич В. А., 1951. Про топографію древнього Чернігова // Археологія. Київ. Т. 5.

Богусевич В. А., 1955. Археологічні розкопки в Чернігові в 1949 та 1951 рр. // Археологічні пам'ятки УРСР. Київ. Т. 5.

Веремейчик Е. М., Шекун А. В., 2008. К вопросу о Черниговском остроге // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради : збірка наукових праць. Коростень. Т. 1.

Гребень П. М., Коваленко В. П., 1993. Дослідження Верхнього замку в Чернігові 1989 р. // Старожитності Південної Русі. Чернігів.

Игнатенко И. М., 1993. Древнейший княжеский двор Черниговского детинца // Деснинские древности. Брянск.

Ігнатенко І. М., 2012. Верхній замок в Чернігові // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. Київ ; Глухів. Вып. 5.

Ігнатенко І. М., Коваленко В. П., 1993. Нові дослідження на Верхньому замку в Чернігові // Археологічні дослідження в Україні 1991 року. Луцьк.

Казаков А. Л., 1985. До питання про соціальну стратифікацію населення Чернігівського посаду X–XIII століть // Перша Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства : тези доповідей. Чернігів.

Казаков А. Л., Василенко А. А., 1990. Охранные раскопки 1990 г. в Чернигове (по ул. 1 Мая) // Научный архив ИА НАН Украины. Фонд экспедиций. № 22.

Казаков А. Л., 1992. Оборонний комплекс XI ст. чернігівського посаду // Чернігівська старовина. Чернігів.

Казаков А. Л., 2006. Чернігів IX–XIII ст. в контексті археологічних джерел // Сумська старовина. № XVIII–XIX.

Казаков А., Черненко Е., 2007. Черниговский детинец IX–XIII вв. в свете новых археологических материалов // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи : збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. Чернігів.

Карнабед А. А., 1972. Минуле і сучасне стародавнього центру Чернігова – Дитинця // Український історичний журнал. № 3.

Карнабед А. А., 1973. Научный отчет об архитектурно-археологических исследованиях 1973 г. на территории охранной зоны Черниговского государственного архитектурно-исторического заповедника в г. Чернигове // Научный архив ИА НАН Украины. Фонд экспедиций. № 116.

Карнабед А. А., 1981. Отчет об архитектурно-археологических исследованиях в охранной зоне Черниговского государственного заповедника в 1981 году // Научный архив ИА НАН Украины. Фонд экспедиций. № 142.

Карнабед А. А., 1974. Научный отчет об архитектурно-археологических исследованиях 1974 года на территории охранной зоны и зоны регулирования застройки Черниговского государственного архитектурно-исторического заповедника в г. Чернигове // Научный архив ИА НАН Украины. Фонд экспедиций. № 111.

Карнабед А. А., 1980. Чернігів. Архітектурно-історичний нарис. Київ.

Карнабед А. А., 1991. Науковий звіт про архітектурно-археологічних охоронні дослідження в м. Чернігові 1991 року // Научный архив ИА НАН Украины. Фонд экспедиций. № 214.

Карнабед А. А., Коваленко В. П., 1979. Отчет об охранных архитектурно-археологических исследованиях на территории охранной зоны Черниговского государственного архитектурно-исторического заповедника в 1979 году // Научный архив ИА НАН Украины. Фонд экспедиций. № 113.

Коваленко В. П., 1988. Основные этапы развития древнего Чернигова // Чернигов и его округа : сборник научных трудов. Киев.

Коваленко В. П., 1995. До вивчення чернігівського передгороддя // Слов'яно-руські старожитності Північного Лівобережжя. Чернігів.

Кузнецов Г. А., 1985. Отчет Черниговского городского отряда ЧАЭ по итогам исследований в полевом сезоне 1985 г. // Научный архив ИА НАН Украины. Фонд экспедиций. № 136.

Маркевич Н., 1852. Историческое и статистическое описание Чернигова. Чернигов.

Марков М., 1816. О достопамятностях Чернигова // Об успехах народного просвещения. СПб. № XLI.

Мезенцев В. І., 1980. Про формування міської території давнього Чернігова // Археологія. № 34.

Моця О., Казаков А., 2011. Давньоруський Чернігів. Київ.

Новик Т., 2002. Подвеска из Чернигова со знаком Рюриковичей // Ювелирное искусство и материальная культура : тезисы докладов. СПб.

Новик Т. Г., Ситий Ю. М., 2008. Дослідження проїзду в оборонному валу Чернігівського Третяка // Чернігівські старожитності : науковий збірник. Чернігів.

Рыбаков Б. А., 1949. Древности Чернигова // Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л. № 11.

Ситий Ю. М., 2000. Закономірності розташування некрополя давньоруського Чернігова X – середини XIII ст. // Некрополі Чернігівщини. Чернігів.

Ситий Ю. М., 2006. Невідома архітектурна пам'ятка давньоруського Чернігова // Чернігівські старожитності. Чернігів.

Ситий Ю., 2007. До питання про взаємозв'язок водопостачання і росту території давньоруського Чернігова // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи: Збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. Чернігів.

Сытая Л., Шекун А., 2011. К вопросу о Черниговском подоле // Переяславіка : Наукові записки Національно-

го історико-етнографічного заповідника «Переяслав» : збірник наукових статей. Переяслав-Хмельницький. Вып. 5 (7).

Смолічев П., 1928. Чернігів та його околиці за часів великокнязівських // Чернігів і Північне Лівобережжя. Київ.

Сохацкий В. В., 1995. Раскопки на территории «окольного града» древнего Чернигова в 1993 г. // Археологічні старожитності Подесення. Чернігів.

Сохацький В. В., 2000. Отчет об археологических раскопках на территории некрополя и Передгородья древнего Чернигова в 2000 г. // Научный архив ИА НАН Украины. Фонд экспедиций. № 109.

Черненко О. Е., Новик Т. Г., 2009. Исследование гидротехнического сооружения XVII – начала XVIII ст. на территории Черниговской крепости // Русский сборник. Брянск. Вып. 5.

Черненко О. Є., Казаков А. Л., 2004. Охоронні археологічні дослідження на Чернігівському посаді // Археологічні дослідження в Україні 2002–2003 рр. Київ.

Черненко О. Є., Казаков А. Л., Рижий В. В., 2011. Дослідження на території м. Чернігів // Археологічні дослідження в Україні 2010. Київ ; Полтава.

Черненко О. Є., Казаков А. Л., Печений Є. В., 2009. Дослідження на території Чернігівського Дитинця у 2008 р. // Археологічні дослідження в Україні 2008 р. Київ.

Чернігівщина : енциклопедичний довідник. Київ, 1990.

Шекун А. В., 1983. Отчет об археологических исследованиях возле Успенского собора Елецкого монастыря г. Чернигова в 1983 г. // Научный архив ИА НАН Украины. Фонд экспедиций. № 160.

Шекун О. В., 2007. Нові дослідження Чернігівського курганного некрополя // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи: збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. Чернігів.

Ярыгин А., 1898. Былое Черниговской земли. Чернигов.

Ярыгин А., 1900. Путеводитель по городу Чернигову. Чернигов.

Ярыгин А. К., 1905. Изыскания о древнем расположении г. Чернигова // Труды XII Археологического съезда. М. Т. III.

Summary

Y. N. Sytyi

Fortifications of Medieval Chernigov

In the second half of the 10th century and at its end Chernigov had four lines of fortifications on a mountain terrace and one in the flood-plain of the River Desna. The total fortified area in the 10th century was 67 hectares, but by the mid-13th century the town had grown and already had a fortified area of 350 hectares. With the open areas of its suburbs that figure came to 400 hectares making Chernigov one of the largest cities in Europe.

С. В. Городилин

«Мерские» станы и волости: историография и историческая география

В связи с историей Волго-Клязьминского междуречья второй половины I – начала II тыс. н. э. упоминаются так называемые мерские станы и волости – позднесредневековые административные единицы, названия которых связываются с жившим в этом регионе, по летописным данным, народом меря (Финно-угры и балты…, с. 67; АКР, 1994, с. 45; АКР, 1999, с. 67). Считается, что названия этих единиц до XVI–XVII вв. сохранили этноним мери и иные мерянские ойконимы. Данные о таких станах и волостях используются для уточнения языковых и археологических границ мери, а также для реконструкции взаимоотношений мери и славян в ходе формирования древнерусской народности. Предполагается типологическая близость этих административных образований по этнографическим и археологическим свойствам между собой и отличие от прочих, не входящих в их число. Это связывается с длительным присутствием на их территории «островов» мерянского субстрата, сохранявшегося в древнерусском окружении.

Сформированная на этой основе гипотетическая модель этнокультурного взаимодействия привлекается даже для интерпретации данных о ситуациях, представляющихся сходными. Так, к примеру, облик «позднее известных по историческим материалам» «мерских станов» сопоставляется с поселениями дьяковской культуры, сохранявшимися после предполагаемого появления пришлого среднеевропейского населения (Седов, 1999, с. 149). Такие объекты, по мнению автора гипотезы, тоже «трудноуловимы» археологически, отчего «остаются пока не изученными», но следует полагать, что «со временем число таких станов постепенно уменьшалось, они сохранялись лишь в отдаленных залесенных микрорегионах, в местностях, не пригодных для пашенного земледелия».

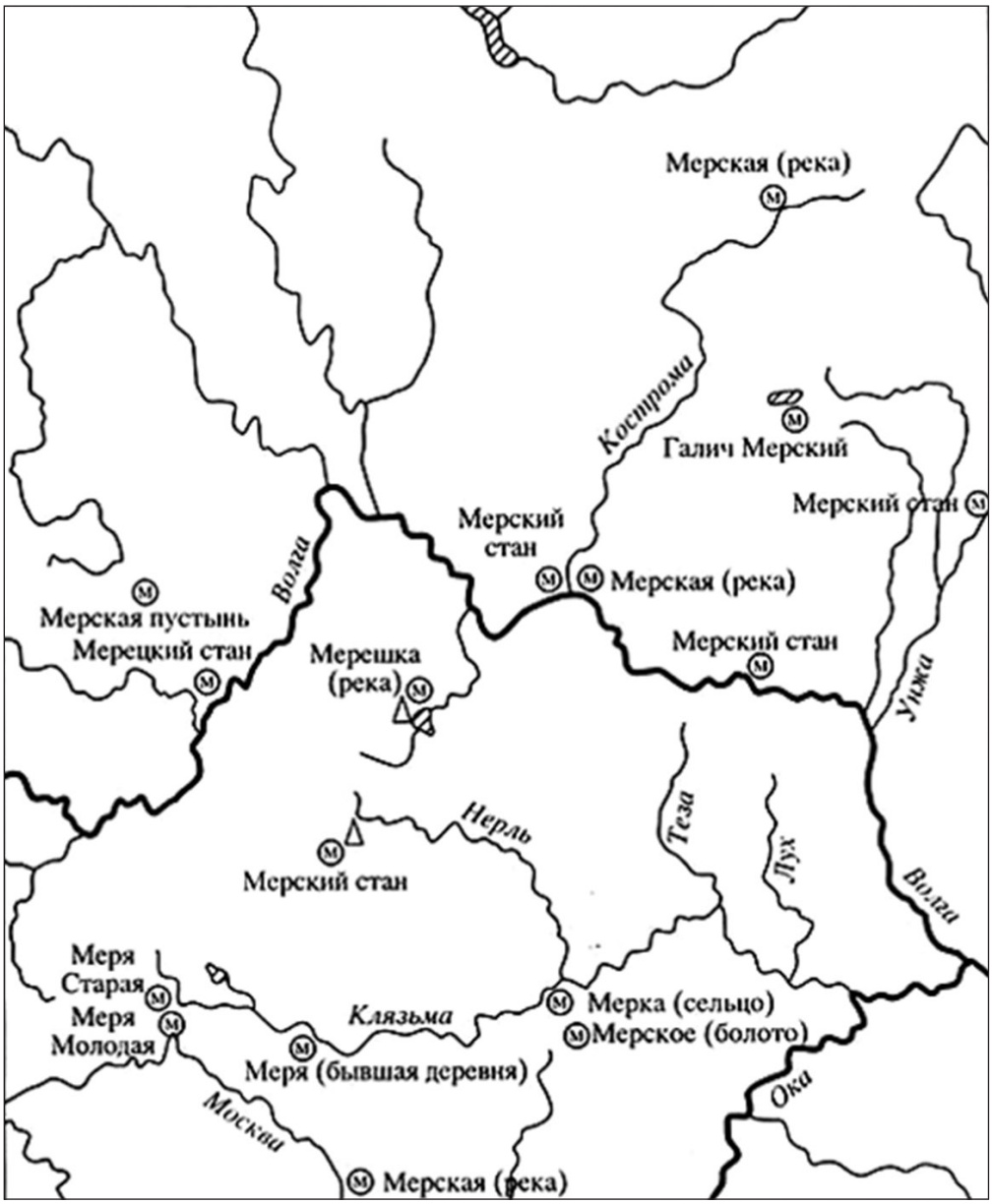
А. К. Матвеев, отметив, что этнотопонимы, образованные от слова «меря», и в особенности «мерские станы» используются для определения границ расселения мери еще «со времен первых исследователей мерянской проблемы А. С. Уварова и Д. А. Корсакова», нанес все выявленные названия подобного рода на карту (Матвеев, 2006, с. 187). «Мерские» станы составили там треть топонимов этого типа (см. карту мерянских топонимов по А. К. Матвееву). Исследователь предложил использовать определенный таким образом мерянский ареал при «установлении мест былого пребывания мери» и при «выявлении топонимов мерянского происхождения», однако не указал источников своих данных об этнотопонимах, в том числе и о «мерских» станах[1] (Матвеев, 2006, с. 188).

В. Н. Седых в обзоре археологии и древней истории Ярославско-Костромского Поволжья в связи с процессом взаимодействия мери и славян, протекавшим, по мнению автора, в разных микрорегионах с разной интенсивностью, говорит об «упомянутых в поздних средневековых источниках “мерских станах”» со ссылкой на мнение А. Е. Леонтьева, согласно которому они «восходят к поселениям финского населения, вытесненного со своих исконных земель и вынужденного осваивать новые жизненные пространства» (Седых, 2001, с. 426).

А. Е. Леонтьев в своей основополагающей для нынешней мерянистики работе, действительно, анализирует особенности «мерских станов» и волостей – отсутствие дорусских и ранних древнерусских памятников, расположение вблизи плотно заселенных русских районов и прежних мерянских земель по берегам озер и непригодность для пашенного земледелия, высказывая гипотезу о широкомасштабном «процессе переселения или вытеснения мери». Перед этим, однако, сказано следующее: «неоднократно упоминавшиеся в литературе станы и волости, сохранившие дорусские названия или со-

[1] Это затрудняет работу со всеми материалами карты А. К. Матвеева. Так, указанная там в качестве этнотопонима в районе Ростова р. Мерешка отсутствует как на современных картах, так и в ростовской Писцовой книге 1629–1631 гг. (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 10750–10752), нет ее и на карте Ростовского уезда Генерального межевания. Также не обнаруживается и р. Мерская в низовьях р. Костромы.

Карта 1



Карта мерянских этнотопонимов по А. К. Матвееву (Матвеев, 2006, с. 187)

держащие основу «мер», обычно рассматриваются как местности, заселенные потомками мери, хотя ни исторических, ни археологических твердых обоснований этой гипотезы пока не выдвинуто» (Леонтьев, 1996, с. 290–291).

Представляется возможным проследить формирование посвященной «мерским» станам и волостям историографической традиции и определить источники, на которых она основана. Первым толчком к ее появлению послужили изыскания краеведов середины XIX в. Растущий интерес к истории Владимиро-Суздальской Руси был подогрет раскопками А. С. Уварова и П. С. Савельева. Еще до публикации их результатов Н. М. Журавлевым издан «Путеводитель по Ярославской губернии». Его скрывшийся под псевдонимом «Ф. Н.» автор Ф. Я. Никольский отметил, что «следы древнейшего народонаселения» региона, «первобытных туземных обитателей» сохранились в «бессознательно усвоенных» именах большей части озер и рек гу-

бернии, а также и ее жилых мест, чуждых «славяно-русскому», татарскому и литовскому языкам (Путеводитель…, с. 6–7). Перечисление происходящих с территории Ярославской, а также Владимирской, Костромской, Вологодской и других соседних губерний гидронимов, относимых к языку дославянского племени или группы родственных племен, заняло три страницы Путеводителя. Приведен и список названий селений «той же эпохи», причем в их число попали и такие, как Исады, Раменье, Турово, Печелки и т. п. Затем высказано предположение, что появление в топонимике «городков» и «городцов», а также численный перевес приводимых далее названий уже явно славянского облика отразили наплыв позднейших пришельцев, поглотивших «прежнее туземное население». Отметив «отсутствие устных преданий об имени и происхождении первоначальных обитателей Ростовской области», Ф. Я. Никольский предложил принять на веру подтверждаемое, по его мнению, приведенными топонимами «сказание древних русских летописей» о князе Гостомысле и сейме старейшин различных племен, избравшем после его смерти единодержавного князя (Путеводитель…, с. 19–21).

Другая работа, предшествовавшая выходу исследования А. С. Уварова – «Список населенных мест Владимирской губернии», изданный Статистическим комитетом МВД. В предваряющем «Список» обзоре истории губернии его редактор, М. Раевский, сожалея, что результаты раскопок А. С. Уварова и П. С. Савельева еще не опубликованы, отметил «несправедливость распространенного мнения, что меря и мурома не оставили по себе никаких исторических следов». Кроме ожидаемых данных археологии, изучению мерянского прошлого, по мнению редактора, послужит и публикуемый список селений, «памятник этнографических судеб края», где нельзя не заметить «имен финского происхождения», звучащих не по-славянски. Приведя ряд примеров, М. Раевский сообщил, что меря оставила свое имя на территории уезда и в письменных источниках: «еще в XVI столетии часть восточной стороны Переславского уезда звалась Мерским станом, соседним с ним был Киучерский, или Кивучерский стан» (СНМ, с. XXXIX–XL). Хотя источник этих сведений не назван, им стали, видимо, публикации актов переславского Троице-Данилова монастыря: во Владимирских губернских ведомостях (Прибавления…, с. 151–152) и в «Историко-статистическом описании Переславского Троицкого монастыря» (Свирелин, 1860, с. 112–114) были изданы списки с жалованной и купчих грамот на монастырское село Будовское «в Переславском уезде в Марском стану» («в Мерском стану»).

Краеведческие работы Ф. Никольского и М. Раевского были учтены и упомянуты А. С. Уваровым в труде, обобщающем итоги его археологических изысканий. Идея использовать при интерпретации материалов раскопок не только скупые известия летописей, но и современную топонимию была им полностью принята, а «Путеводитель по Ярославской губернии» охарактеризован как «замечательный» и «с прекрасными материалами». Поддержав гипотезу о родстве или единстве древнего языка, отраженного в «местных названиях сел, деревень, рек и урочищ», А. С. Уваров при определении границ земель, занятых мерей, «в помощь к сделанным раскопкам» и для «пополнения недостаточности археологических сведений» привлек топонимические данные. По его словам, в первую очередь использовались названия, сохранившие «более или менее ясно самое имя народа, населявшего первоначально это пространство» (Уваров, 1872, с. 8). В результате «Карта Мерянской земли по Археологическим и Филологическим исследованиям», руководствуясь расположением сел и деревень с названиями типа *Мериновка, Мерзлики, Тимерево* и *Меркушево,* распространила ареал мери далеко за Волгу до Сев. Двины и Керженца, а также за Оку и за Тверцу. Предполагалось, что названия, «в которых имя мери слышится в первом или последнем слоге», будучи смежными с летописными местами расселения мерян и пунктами, хранящими «имя мери почти в первобытной целости», позволяют определить границы мери, которые не удалось выявить по археологическим данным. Тем, кто, глядя на «обширное пространство, занятое названиями, напоминающими древнюю мерю», предположил бы, что их созвучие могло быть случайным, в качестве опровержения предлагались сами эти названия: «Мериново, находящееся при колыбели мерянского народа, вблизи озера Клещина, и повторяющееся без всяких изменений в Вологодской, Нижегородской, Тверской и Ярославской губ., всего 8 раз, устраняет всякую возможность простого случая»[2] (Уваров, 1872, с. 10).

Поэтому, видимо, Мерский стан помещен на карте А. С. Уварова не к востоку, как у М. Раевского, а к западу от Переславля по р. Кубри, где и находятся села Мериново и Мередово, а также деревня Мервиново, указывающие, по приведенной теории, на мерю. Впрочем, это перемещение никак не оговорено автором, напротив, со ссылкой на М. Раевского почему-то всё равно сказано о нахождении этих селений в «восточной части Переславского уезда, которая еще до XVI столетия именовалась Мерским станом». Где именно она так именовалась, уточнено не было.

В изданной в том же году книге Д. А. Корсакова, посвященной истории мери и Ростовского княжества по письменным источникам, также со ссылкой на СНМ сказано даже, что «Мерским станом» еще в

[2] Впрочем, стоит отметить, что даже в конце XX в. И. В. Дубов, выделяя с опорой на «мерские» станы и волости «ярославскую», «владимирскую» и «костромскую» мерю, всерьез связывал «мер» в названиях Большое и Малое Тимерево с этнонимом (Дубов, 1982, с. 29).

XVI в. назывался весь Переславский уезд (Корсаков, 1872, с. 14). Видимо, причиной ошибки стало то, что в публикации актов Троице-Данилова монастыря между названиями стана и уезда не было запятой – «в Переславском уезде в Мерском стану», и ученый предположил синонимию названий двух административных единиц разного уровня. При этом, однако, Д. А. Корсаков скептически отозвался об «ученых и исследователях местной старины», пытавшихся провести границы мери с опорой «на раскопки и на местные названия урочищ и поселений, из которых многие до сих пор звучат не по-русски, а иные сохраняют в своем названии имя мери». «Путеводитель по Ярославской губернии» приведен им как курьезный пример: «ярославский историк г. Серебряников и неизвестный автор "Исторического очерка Ярославской губернии"[3], основываясь на сходстве названий урочищ в Ярославской и Вологодской губ., полагают, что поселения мери шли на северо-восток до самого Уральского хребта». По мнению ученого, при имеющемся уровне обработки и критического осмысления материала определить пределы мери и границы ее поселений пока что невозможно (Корсаков, 1872, с. 11–12).

Впрочем, критическое отношение к ориентации лишь на звучание поздних топонимов тогда уже не было редкостью среди специалистов. Так, Н. П. Барсов в 1873 г. писал, что «дополняя недостаток летописных сведений указаниями и свидетельствами поздней географической номенклатуры, следует понимать, что ее значение в вопросах исторической географии признается больше на веру, чем по сознательному и оправданному критикой убеждению; и они лишь тогда получат прочность и несомненность, когда будут проверены путем филологического изучения» (Барсов, 1885, с. IV).

Но этот скептицизм не был услышан. Вслед за трудом А. С. Уварова в 1875 г. вышла статья краеведа В. А. Самарянова о следах «мери, чуди, черемисы, еми и других инородцев» в Костромской губернии. По словам ее автора, «при самом поверхностном взгляде на карту Мерянской земли коренному жителю Костромы, кое-что знающему о своем крае из его прошедшего и могущему, сверх того, дополнять и поверять свои знания непосредственно по достоверным источникам, открывается, что многое и очень существенное из прошедшего Костромской стороны не дошло до сведения археологов» (Самарянов, 1875, с. 47). Пользуясь теми же методами, что и А. С. Уваров, краевед предположил, что «три более или менее обширные Мерские стана или волости существовали в пределах Костромской губернии» (Самарянов, 1875, с. 49). По его мнению, это Мериновская волость в Кинешемском уезде «недалеко от реки Меры», встреченный им в делах местного епархиального архива[4] Мерский стан к западу от г. Костромы у впадения Костромы в Волгу и «Мерский стан» в Верховской волости Унженского уезда. На существование последнего стана, согласно автору статьи, указывало то, что «по документам половины XVIII века там было одно село, к названию церкви которого (Георгиевская) прибавлялись слова: "что в Мерском"». Поскольку в этом случае о собственно стане в источниках речи нет, В. А. Самарянову принадлежит первенство в появлении «мерского стана» не как конкретной исторической административной единицы, а как некоего родового понятия. Впрочем, его краеведческий труд, в котором собраны сообщения и предположения о топонимах и связанных с ними легендах вроде рассказов о галицком кладе Шемяки в золотом корабле и о битве с татарами, по заступничеству Богородицы погибшими в Мерском озере, и не претендовал на научную строгость выводов. Более того, В. А. Самарянов в отличие от именитых современников использовал архивные источники, хотя и не вполне последовательно и квалифицированно.

Новое развитие тема «мерских» станов и волостей получила уже в работе М. К. Любавского об образовании государственной территории великорусской народности. Сам автор определил ее жанр как «этюд», «попытку заполнить пробелы в научной литературе и дать ряд очерков» на основе географической номенклатуры летописных и актовых источников (Любавский, 1929, с. 2–3). По объему привлеченных материалов (летописи, почти все доступные в то время издания актов и писцовых книг, документы из фонда грамот Коллегии экономии, а также снятые С. Б. Веселовским копии с грамот) этот труд выгодно отличается от предшествовавших. В сравнении с временами А. С. Уварова появилось и еще одно важное методологическое отличие: анализируются не современные топонимы, а содержащиеся в источниках XIV–XVI вв. Но сами методы анализа не слишком изменились и принадлежат еще XIX в. Как и предшественники, М. К. Любавский ищет следы веси и мери по названиям, происхождение которых связывает с этнонимами. Так, сёла Весь и Веськово под Переславлем позволили опирающемуся на кажущиеся очевидными созвучия исследователю утверждать, что в область мери входила и часть племени весь. В связи с мерей вслед за А. С. Уваровым названы Галич Мерьский, р. Мерьская (Нерская), д. Меря на р. Вохна. Выявлены также села Меря Старая и Меря Молодая, но автор, лишь цитируя акты, не разобрался в изменениях административного деления, поэтому они повторены трижды подряд – как целый куст поселений в волостях Сурожик,

[3] Под этим заглавием материалы Ф. Я. Никольского, составившие потом «Путеводитель по Ярославской губернии», анонимно печатались в 1850 г. в Ярославских губернских ведомостях.

[4] Приведена даже точная ссылка: «Ревижския сказки церковных причтов 1744 г., опись XI дел 1764 г., вязка 2-я, № 148».

Тростна и в Андреевском стане Звенигородского уезда. Также указан упоминавшийся Мерский стан Костромского уезда (причем уверенно говорится о находящихся в нем «мерянских селах и деревнях», сопоставляемых со звенигородскими) и впервые отмечен в связи с мерей Мерецкий стан Кашинского уезда (Любавский, 1929, с. 10).

М. К. Любавским был реализован план, еще полвека назад намеченный В. А. Самаряновым. Тот отмечал, что на основе систематически подобранных топонимов «археологу-филологу удобнее делать соображения о том, откуда началось и каким путем совершилось движение того или иного инородческого племени и как эти чужеродные племена постепенно обрусевали, поддаваясь влиянию славянского племени, или уходили в другие места» (Самарянов, 1875, с. 59). В центре внимания М. К. Любавского находится именно «славяно-русская колонизация». Типы селений и их имена в актах, по мнению ученого, «дают некоторую возможность угадывать», как шло заселение региона. Правда, автор не был лингвистом, и попытки проследить колонизацию словенами по названиям *Коломна, Радонеж, Северка* и *Коширка* или вятичами по балтским гидронимам *Истра, Яуза, Вязьма* и названиям *Карачарово, Перемышль, Стародуб* сохраняют лишь историографическую ценность.

Напротив, долгая жизнь в науке оказалась суждена высказанной М. К. Любавским там же идее об островах – «остатках инородческих племен» на заселяемых славянами землях, сохранявшихся после XII в. еще «долгое время» и зафиксированных, по мнению ее автора, в позднесредневековых актах. С такими островами субстратного населения М. К. Любавский счел возможным связать «большое число отдельных селений и особенно показательных в данном случае целых местностей, волостей и станов» с «самостоятельными, не заимствованными от рек, озер и урочищ не русскими названиями» (Любавский, 1929, с. 11–12). Они произошли, «несомненно, от инородческих местных обществ, которые прослоились русскими поселенцами и с течением времени обрусели». В рамках гипотезы для примера приведен большой список таких волостей. Однако он не был проверен критически ни в части языковой принадлежности – в число «инородческих» попали славянские Гвоздна, Брошева, Кремична, Угожь и др., ни (хотя это указано как непременное условие) в части связи с гидронимами – названо множество топонимов, образованных по обычному древнерусскому варианту – по реке или озеру: Вохна, Ижва, Пунема, Куность, Инобаж и др. Работа свелась к бессистемному перечислению звучащих непонятно для ее автора названий, как при М. Раевском и А. С. Уварове. Сохранение субстратных топонимов, действительно, подтверждает контакт носителей предшествующей топонимической традиции с древнерусским населением, но сделанный лишь на этом основании вывод о массовом и продолжительном параллельном сосуществовании разноязычных сообществ сложно счесть убедительным.

М. К. Любавский развил связанную с «мерскими» станами и волостями историографическую традицию: раньше на гипотетически соотносимых с мерей из-за их звучания названиях основывались догадки о ее границах, а теперь те же названия, связываемые с мерей столь же гипотетически, стали еще и опорой для умозрительного предположения о длительном сохранении ее в древнерусском окружении.

Новый этап изучения «мерских» станов и волостей наступает в середине XX в. и связан с осмыслением итогов столетних археологических изысканий. В 1961 г. вышел труд Е. И. Горюновой, результат многолетних исследований ею мерянской проблемы. Его автор пришла к выводу, что обрусение мери не было столь интенсивным, как ранее предполагалось, протекая неравномерно, что зафиксировано «как археологическими, так и письменными источниками». На окраинах, по мнению Е. И. Горюновой, «долго еще сохранялись островки с населением, говорившим на мерянских наречиях, это отразилось и на административном районировании б. Владимирской и Костромской губернии» (Горюнова, 1961, с. 248.). Исследовательница, как видим, следует мысли М. К. Любавского и его предшественников, доводя существование предполагаемых «островков» до появления административного деления, фиксируемого в XVI–XVIII вв. Несколько неожиданно отнесение округи Переславля, плотно заселенного района раннего появления древнерусских курганов, к «окраинам». С отсылкой к СНМ О. (а не М., как на самом деле) Раевского вновь сказано, что «Переславский уезд Владимирской губернии еще в XVI в. именовался Мерским станом». Как говорилось, эту ошибку сделал не М. Раевский, а Д. Корсаков, который, однако, Е. И. Горюновой не упомянут.

Далее со ссылкой на «документы местных архивов» сообщается о существовавших «на глухих окраинах б. Костромской губернии» трех мерских станах, «в которых было, по-видимому, сосредоточено иноязычное население – меря». Вновь в число «окраин» попал стан, прилегающий к столице края, источником сведений об архивных документах служит только краеведческая статья XIX в., а мнимая иноязычность Мериновской волости никак не обосновывается. Предполагаемая «устойчивость этнографического облика мери» в Костромском Заволжье объясняется продолжающимися и в начале II тыс. н. э. контактами с «восточным и северо-восточным финским миром», что имело для Е. И. Горюновой особое значение в свете концепции мерянского этногенеза, связываемого ею с влиянием Прикамья.

Другая работа того же периода принадлежит П. Н. Третьякову и посвящена археологическим

аспектам истоков древнерусской народности. Нарисованная там картина «островов» мери, сохранявшихся в некоторых районах Костромского Поволжья до XIV – начала XV вв., по мнению ее автора, «является бесспорной» и «подтверждается историческими сведениями последующих столетий, тоже указывающими на то, что в восточной части Волго-Окского междуречья и за Волгой долго сохранялись местности, занятые мерей, точнее сказать, ее обрусевшими потомками», например, «некоторые из станов, известных по документам XIV–XVI вв., получили свое наименование от этнонима «меря». Они назывались Мерскими станами» (Третьяков, 1970, с. 134–135).

Здесь мы наблюдаем рождение историографической легенды: «после раскопок А. С. Уварова и П. С. Савельева, когда проявился усиленный интерес к судьбам мери, были произведены поиски следов ее в местных архивах. При этом выяснилось, что о мере здесь помнили вплоть до XV–XVI вв. Обнаружилось также, что некогда, в XIII в., а может быть, и раньше, некоторые районы, населенные мерей, были выделены в особые территориальные единицы» (Третьяков, 1970, с. 135). Приведенные факты, на самом деле, – совокупность предположений, не проверявшихся ни их авторами, ни П. Н. Третьяковым.

Однако по его мнению, имеются «вполне определенные сведения» о трех таких станах – в Переславском, Костромском и Кашинском уездах. Их природные качества описываются со ссылками на краеведов и историков, упомянут даже некрасовский дед Мазай. В то же время исследователь не обратился ни к работе Ю. В. Готье (Готье, 1906), что позволило бы ему уточнить названия и расположение этих станов и избежать ошибок в собственной карте, ни к архивным документам. Упоминаются также «мерский стан» на Унже и Мериновская волость около Кинешмы В. А. Самарянова, впрочем, их связь с мерей П. Н. Третьяковым не подтверждается и не опровергается.

Таким образом, не проверив гипотезы предшественников и не сопоставив их с письменными и с археологическими источниками, известные советские ученые использовали их в своих построениях, что придало им характер фактов, подтвержденных археологией. Историографическая традиция, связанная с «мерскими» станами и волостями, была подкреплена авторитетами и уже не нуждалась в обосновании.

Крупный специалист по археологии финно-угров Е. А. Рябинин оценил сделанное в работе П. Н. Третьякова «сопоставление ареала могильников с финно-угорскими традициями и территорий Мерских станов и волостей, известных по источникам XV–XVIII вв.» как интересное, приписав её автору «тезис о финно-угорских “островках”, длительное время сохранявших свою культурную автономию в окружении славянских поселений»[5] (Рябинин, 1986, с. 20). Как и Е. И. Горюнова, Е. А. Рябинин использовал уже традиционно связываемые с мерей костромские топонимы в контексте идеи о «костромской чудской группировке, которая, очевидно, составляла часть мерянского племенного союза» (Рябинин, 1986, с. 114). «Мерские» станы наравне с р. Мерой и Галичем Мерьским стали одним из аргументов в пользу принадлежности этой группировки именно мери: «в географической номенклатуре рассматриваемой территории нашла свое отражение и племенная принадлежность ее древнего населения». Причем если для Е. И. Горюновой тезис о «костромской мере» подтверждал особую роль Прикамья в мерянском этногенезе, то Е. А. Рябинин, напротив, предположил, что «костромская меря – это племенное новообразование с незавершившимися (даже в эпоху распространения в Поволжье курганного обряда) этническими процессами» и сам этноним «меря» появился тут «значительно позже, чем в зоне расселения летописной группировки». Отметив, однако, «пестроту местных названий с финно-угорскими компонентами» и «наличие определенных различий с топонимикой Владимирской земли», автор в подкрепление гипотезы о костромской мере сослался на своеобразие формирования северо-восточной мерянской группы и на мнение языковеда А. И. Попова о том, что «за подлинно мерянские названия могут быть из всех имен сосчитаны только «Меря» и «Мерьская»(-ский)», что, по мнению Е. А. Рябинина, относимо к костромским «мерским» топонимам (Рябинин, 1986, с. 114). Впрочем, А. И. Попов имел в виду скорее сложность достоверного выделения собственно мерянского наследия из субстратной финской топонимики, а упоминания о русских «мерских станах» в своем обзоре указывающих на мерю этнотопонимов избежал, хотя и не оговорив этого специально (Попов, 1974, с. 15).

Как примеры «финно-угорских коллективов, оказавшихся вне зоны начальной древнерусской миграции и еще длительное время сохранявших свою этническую самобытность» в районах, где имелись «все условия для длительной консервации местных традиций», из числа приведенных М. К. Любавским Е. А. Рябинин выделил волости Иледам, Ликурги, Шачебал, Шухомаш и костромской Мерский стан. Позже, описывая модель славяно-мерянских контактов по материалам могильника Осипова Пустынь на р. Кубрь, он связал особенности складывающейся картины с формированием в дальнейшем на рр. Нерль Волжская и Кубрь Мерского стана, по словам ученого, локализуемого там «письменными источниками XIV–XVI вв.» (Рябинин, 1996, с. 179).

[5] Тезис, впрочем, как показано выше, выдвинут еще М. К. Любавским, а П. Н. Третьяков лишь оценил его как «бесспорный».

А. Е. Леонтьев, как говорилось, использовал сведения о «мерских станах» весьма корректно, с оговоркой, что «в свете имеющихся данных есть основания полагать» и со ссылками на В. А. Самарянова, П. Н. Третьякова и Е. А. Рябинина, упоминая, однако, «мерский стан» близ Переславля по р. Нерли и низовьям р. Кубрь, «Мерский стан» под Костромой и заволжские волости Иледам и Ликурги как восходящие к поселениям финского населения (Леонтьев, 1996, с. 291).

Итак, в историографической традиции фигурируют «мерские» станы в Переславском, Костромском и Кашинском уездах, а также в Унженском и в Кинешемском. Все эти 5 «станов» приведены на упомянутой карте А. К. Матвеева (карта 1). Кроме того, в числе «мерских» выступают четыре волости из списка М. К. Любавского – Ликурги, Иледам, Шачебал, Шухомаш. Предполагается, что причиной для их наименования стали языковые и этнографические особенности их населения, долго избегавшего древнерусского влияния.

От историографии перейдем к актам и к исторической географии. «Мерский» стан в Переславле на самом деле, начиная с первых упоминаний в XVI в., находился не к западу, а к востоку от города: по правому берегу Нерли Клязьминской, как и сообщил М. Раевский, а не на Кубри и Волжской Нерли, куда его безосновательно переместил А. С. Уваров и вслед за ним все последующие авторы. Таким образом, гипотезы, основанные на его природных и археологических особенностях, теряют смысловую нагрузку. Кроме того, в актах он постоянно называется не «Мерским», а Нерским и Нерльским, что объясняется расположением стана на р. Нерль и не дает предполагать связи названия с этнонимом. Это отмечено еще у Н. П. Барсова и Ю. В. Готье, а обращавшийся напрямую к актам М. К. Любавский также называет стан Нерльским и Нерьским (Мерьским), верно располагая на Большой Нерли и никак не связывая с мерей (Барсов, 1885, с. 53; Готье, 1906, с. 39; Любавский, 1929, с. 44). Указал этот вариант возникновения названия и П. Н. Третьяков, никак, впрочем, не соотнеся его с возможностью включения стана в число «мерских» (Третьяков, 1970, с. 135). Лишь в группе грамот 1525–1527 гг., связанных с получением Троице-Даниловым монастырем сельца Будовское, встречается ставший причиной заблуждения М. Раевского вариант «Мерский», происхождение которого можно объяснить особенностью манеры конкретного писца (РГАДА, ф. 281, оп. 21. № 15020; ф. 281, № 78/8802 и 78/8803). При этом в прочих актах как современных этой группе, так и во всех позднейших, стан именуется Нерльским, Нерским, а иногда Нерехотским и Мерехотским (Акты, 1975, № 263, с. 267; № 280, с. 282; РГАДА, ф. 281, Переславль. № 168/8892; оп. 21. № 15021; Переславль. 68/8792 и др.). Два последних случая интересны и демонстрацией легкости мены согласных в основе нер- и, возможно, вариантом именования р. Нерль, сохраняющим основу, но добавляющим к ней субстратный формант -хта (-гда).

Мерский стан Костромского уезда граничит с г. Кострома. Акты отражают на его территории раннее княжеское и боярское пригородное землевладение, угодья, входившие в стольнич путь, бортные ухожаи, ценные рыбные ловли и покосы (Антонов, 2001, с. 117, 118, 126). Это ставит под сомнение предположения о его окраинном характере и «вытеснении» туда мерянского населения с консервацией на долгое время каких-то этнолингвистических особенностей. Кроме того, в актах неоднократно упоминается расположенное в ближайшей к городу части стана озеро Мерско(е) (о нем идет речь и в предании о событиях XIII в., приведенном А. В. Самаряновым). Это позволяет предполагать именование возникающей в конце XV в. административной единицы по хорошо известному горожанам лимнониму. В более ранних актах в пределах будущего стана ороним «Мерский» не упоминается (АСВР, т. 3, № 228, с. 248; СГГД, т. 1, № 83). Кроме того, хотя вслед за П. Н. Третьяковым у Е. А. Рябинина сказано, что этот Мерский стан «известен по археологическим данным», явных следов мери на его территории пока не найдено, хотя она достаточно изучена. На полутора десятках памятников зафиксированы материалы каменного века, фатьяновской культуры и культуры сетчатой керамики, но лишь на одном из древнерусских селищ обнаружено «небольшое количество фрагментов лепных гладкостенных сосудов» с примесью дресвы в тесте без орнамента, которые возможно связать с финскими традициями кон. I тыс. н. э. (АКР, 1999, с. 297; Гурина, 1960, с. 188–238; Гурина, 1963, с. 87–108; Кабатов, 2011, с. 245).

Мерецкий стан Кашинского уезда, вопреки П. Н. Третьякову, никогда не назывался Мерским и расположен не по берегу Волги – там находится Нерехоцкий (Нерохоцкий, Нероготцкий) стан, – а к северо-востоку от Кашина, по левому берегу р. Кашинки (Готье, 1906, с. 21; Акты, 1975, № 187, 189, с. 184–185; Акты, 1998, № 116, 117, с. 254–255). Он также пригородный, а не окраинный, и известен лишь с первой четверти XVI в. Пока что можно предполагать, что Мерецкий (Нерецкий, Меретцкий) стан выделяется из Нерехоцкого к 1520-м гг.: с. Троицкое в раннем акте – в Нерехоцком стане, а затем оно же – в Мерецком. В любом случае, его территория формируется на протяжении всего XVI в. К примеру, с. Назарьево с деревнями между 1552 и 1600 гг. перешло из Мерецкого в Гостунский стан того же уезда (АСЗ, т. 4, № 528, с. 440). Название стана, возможно, связано не напрямую с этнонимом, а с этноантропонимом «Мерец» (Матвеев, 2006, с. 187). Нужно также отметить, что неизвестно дорусское название р. Кашинки, на которой находятся г. Кашин и исследуемый стан и с

которой также могло быть связано его название. На его территории нет ни типично мерянской топонимии, ни памятников, принадлежащих финноязычному населению. Расположенная рядом с Чудским (Чюцким) станом, вблизи от сгустков характерных гидронимов (Яхрома, Печмера) и курганных могильников с финскими элементами, территория Мерецкого стана также может быть как-то связана с субстратным наследием, но археологических, лингвистических, исторических или этнографических подтверждений этому нет.

«Мерские станы» Кинешемского и Унженского уездов неизвестны источникам. Существовавшая в реальности на месте первого Мериновская волость с центром в с. Мериново связана с мерей не больше любой из соседних.

Предполагавшийся В. А. Самаряновым на Унже «Мерский стан», судя по всему, – впервые упомянутый в Дозорной книге города Унжи и черных волостей Унженской и Судайской осад 1616/1617 г. погост Мерской (в писцовых и межевых книгах Унженской осады 1685/1686 г. – погост Егорьевский с церковью Георгия, что в Мерском) Верховской волости (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 499, л. 112; ф. 1209, кн. 96, л. 34; ф. 1209, оп. 1, кн. 115, л. 494). Сейчас на его месте находится деревня Георгиевск Мантуровского района Костромской обл., бывшее с. Георгиевское-Верхволостное.

Верховская волость располагалась вверх по течению р. Унжи от Унженского городка (ныне – пос. Унжа). Впервые она упомянута в данной грамоте царя Федора Ивановича 1585 г. (Антонов, 1997, № 78, с. 164). С учетом того, что в Наказной грамоте 1535–1542 гг. Третьяку Котенину среди галичских волостей ее еще нет, но уже названа «Уньжа», можно предположить, что стабильное заселение этого проницаемого для татарских и марийских набегов XV – первой трети XVI вв. приграничного района и его административное оформление начались уже после создания в 1530-х гг. системы обороны, включившей прикрывающие Галич с севера и востока осады с крепостями (АСЗ, т. 1, № 123, с. 97–98). Видимо, лишь после этого на Унже формируются Верховская и Понизовская волости. Междуречье Унжи и марийской Ветлуги стало новым рубежом. Деревни и погосты шли цепочкой по правому берегу Унжи, а более близкое к Ветлуге левобережье оставалось незаселенным как из-за приграничного положения, так и из-за обилия лесов и болот. Но его территория активно эксплуатировалась жителями правого берега и была распределена между ними: «и за рекою за Унжею и в лесах всякие угодья и рыбные ловли в стрежи реки Унжи и в речках и в озерках» (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 115, л. 402). Границы Мерского погоста достаточно ясно восстанавливаются по Дозорной книге 1616/1617 гг. Его наиболее населенная часть с деревней Великое Село располагалась напротив устья впадающей в Унжу р. Меремши, угодья по которой использовались населением деревень Мерского погоста. С именем этой реки и представляется возможным связать происхождение его названия. Примерно так же, тоже от гидронима с обычной финно-угорской основой на *ухт-*, вероятно, образовано и имя соседнего Ухтомского погоста (погост в Ухтоборе) (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 499, л. 127; РГАДА, ф. 1209, кн. 96, л. 14 об.).

После Смуты черная Верховская волость была пожалована боярину Ивану Никитичу Романову, затем по мере роста населения из территории Егорьевского погоста, что в Мерском, выделяются новые приходы погостов Зосимы и Савватия и Воскресения, что в Халоборе, и строятся их храмы. Во второй половине XVII в. угодья по Меремше принадлежат уже их жителям. Так например, церковь Зосимы и Савватия получила «пожню Вольмицу на реке Неремше» (Меремше) (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 115, л. 495).

В новой краеведческой литературе упомянута будто бы шедшая через Мерской погост Мерская дорога, также связываемая с мерей (Белоруков, 2000, с. 56, 205). Однако там смешиваются Георгиевские погосты в Верховской и Межской волостях, попеременно называемые Мерскими (Белоруков, 2000, с. 205, 215), а по единственной отсылке к источнику, эту дорогу упоминающему, обнаруживается не Мерская, а Меринская дорога. Так она названа в отписке 1670 г. о стычке войск Василия Нарбекова с отрядом разинцев в верховьях Ветлуги у р. Шаньга (Крестьянская война…, № 370, с. 468). Однако связь Меринской дороги с Мерским погостом пока что ничем не подтверждена, расстояние между этими пунктами составляет более 60 км. Кроме того, возможно, что в грамоте 1670 г. речь не о Меринской, а об известной Нюринской дороге, связывавшей с. Николо-Шанга и Кажиров монастырь на Ветлуге. Во всяком случае, в писцовых и межевых книгах Унженского уезда именование проходящей по правому берегу Унжи через Егорьевский погост дороги Мерской также не встречается.

По неясному замечанию А. К. Матвеева, где-то там же, в Мантуровском районе, зафиксированы Мерские болота (Матвеев, 1996, с. 20). Возможно, они расположены по берегам Меремши, но автор почему-то не привел их в своей карте этнотопонимов, указав лишь Мерское болото южнее впадения Нерли в Клязьму.

Полученные данные о происхождении названий всех упомянутых на карте А. К. Матвеева «Мерских станов» приведены в таблице 1. Приходится заключить, что связи так называемых «мерских станов» с мерей либо не доказаны, либо недоказуемы. Это не удивительно. Деление уездов возникающего Московского государства на станы формируется лишь со второй половины XV в. для упорядочения налого-

Таблица 1

Административный статус и вероятное происхождение названий «Мерских станов» приведенных на карте А. К. Матвеева

номер на карте	уезд	статус	название (с вариантами)	вероятное происхождение оронима
1	Переславский	стан	Нерльский Нерский Мерский	р. Нерль
2	Костромской	стан	Мерский	оз. Мерско(е)
3	Кашинский	стан	Мерецкий Нерецкий	личное имя Мерец (?)
4	Унженский	погост	Мерской	р. Меремша (?)
5	Кинешемский	волость	Мериновская	с. Мериново

обложения и военной службы, мало учитывая предшествовавшие внутренние структуры княжеств и уделов. Между станами XIII–XIV вв. и станами XVI–XVII вв. обычно не имеется преемственности, более того, значение термина в эти периоды различно (См.: Каштанов, 1982, с. 187; Назаров, 1999, с. 296; Чернов, 2005, с. 340–352). Складывающиеся в конце XV – начале XVI в. новые крупные единицы – станы – получали имена по рекам и озерам, по свойствам рельефа и по селам и погостам, а не по былым этнографическим особенностям населения и формировались чаще всего без учета ранее существовавших общностей (Готье, 1906, с. 188). Их названия обычно не отражали не имевших значения для великокняжеских писцов реликтов далекого прошлого. Кроме того, вероятность масштабной консервации на прилегающих к крупным городам отдельных территориях следов субстрата, отличающих их жителей от соседей вплоть до XV–XVI вв., представляется ничтожной.

Использованию названий с основой *мер-* как несомненно связанных с этнонимом меря мешает также распространенность основы *мер-/нер-* (часто чередующейся в источниках) в гидронимии Северо-Востока, нередко вводившей ученых в заблуждение (Матвеев, 1978, с. 2, 6). Можно, конечно, предполагать, что все эти названия (Нерль, Нерехта, Локсимер и др.) также отражают этноним. Но при таком подходе ареал мери становится неоправданно широк, так как у нас нет критериев, позволяющих уверенно утверждать, что, вероятно, давшее имя Мерскому стану оз. Мерское под Костромой связано с мерей, а, к примеру, р. Мерская, давшая такое же имя Мерскому стану Старицкого уезда (не упомянутому в рассмотренных работах), – не связана. Хотя еще Ю. В. Готье предполагал такую связь, и его гипотеза ничуть не более и не менее обоснованна (Готье, 1906, с. 48). Связь с мерей р. Нерская (Мерская, Мерьская) – притока р. Москвы, оз. Мерского под Дмитровом или Мерского болота в Красноборском районе Архангельской обл. – вопрос, пока что не разрешимый научными методами. Шлейф гидронимов на *мер-/нер-* идет к Балтике, и В. Н. Топоровым приведено немало их убедительных балтских параллелей (Топоров, 1989, с. 55; Топоров, 1972, с. 242). В этот же ряд можно включить смоленскую волость Мирятичи на р. Мерее, упоминаемую под 1136 г., литовский Мереч (Мерець) из «Списка русских городов дальних и ближних» (нынешний г. Меркине в Литве), указанное под 1514 г. владение Мерея (ныне – г. Миёры в Витебской обл. Беларуси) на р. Мерице – притоке Западной Двины и т.д.

Новых данных в развитие гипотезы о «мерских» станах, кроме звучания названий, за прошедшие сто пятьдесят лет не возникло. Языковых и этнографических отличий населения, памятников археологии или особенностей топонимии, выделяющих территории костромского Мерского и кашинского Мерецкого станов, Мерского погоста на Унже или старицкого Мерского стана из числа соседних, пока что также не выявлено. С учетом этого идею о «мерских станах» – островах сохранившегося до позднего Средневековья мерянского этноса, позволяющих определить его границы и изучить процессы взаимодействия с древнерусским населением, видимо, следует временно отложить.

Связываемые с мерей волости Иледам, Ликурги, Шачебал, Шухомаш, как говорилось, были выделены М. К. Любавским практически случайно. Название Шухомаш дано по одноименной реке и связано с дорусским, или именно с мерянским субстратом, не больше, чем у множества таких же волостей рус-

ского Северо-Востока. Шачебал – ойконим, близкий к принимаемым за типично мерянские, возникшие по схеме: основа (часто гидроним, в данном случае – р. Шача) + формант «*-бал*». Но и за пределами гипотетического ареала мери отмечено немало названий (вплоть до Пинеги и Мезени – Чучебала, Юкшеболка), образованных этим образом. Подтверждений тому, что население названных по одноименным селам волостей Шачебал или Ликурга до XIV–XV вв. хранило какие-то субстратные (да еще именно мерянские) особенности, отличающие его от жителей соседних Виги, Заболотья или Ногатина, пока что нет. Название волости Иледам (Ысследом, Иледамская треть, Иледомесская волость) на р. Обноре также, возможно, возникло по схеме, связываемой с мерей: основа + «*-дам/-дом*» (Шельшедам, Кочкодам, Талдом). Такой тип образования топонимов предположительно считают указывающим на определенный тип поселения или групп поселений (Попов, 1974, с. 19). Однако и этот вариант нельзя назвать уникальным, позволяющим выделить волость из окружающей территории как именно мерянскую, каких-то исторических, этнографических или археологических различий с которой не выявлено. Не проверена пока что и вероятная связь ее названия с гидронимами типа Ильдома и Ильд.

Таким образом, вместо картины «мерянских волостей-островов», веками окруженных русским населением, но хранящих свои отличия вплоть до позднего Средневековья, прослеживаются лишь давно известные на всем пространстве русского Северо-Востока факты наличия мощного дорусского слоя гидронимии и отдельных дорусских названий поселений. Они отражают участие субстратного населения в формировании древнерусского этноса, которое и так общепризнано. Древнерусские сёла, как убедительно показал А. Е. Леонтьев, не обтекали места, уже обжитые мерей, а тяготели к ним, при этом часто сохраняя прежние финские имена (Леонтьев, 1996, с. 273). Это ставит под сомнение возможность прямой связи дорусских топонимов с сохранившимися «островами» субстратного населения, окруженного древнерусским. Видимо, использование в научных построениях выделенных М. К. Любавским волостей с якобы дорусскими или действительно дорусскими названиями без исследования их происхождения, без рассмотрения всей топонимии микрорегионов и регионов и без сопоставления с данными истории, археологии и этнографии для каких-то целей, кроме иллюстративных, не представляется оправданным.

Подводя итоги, приходится согласиться и с Д. А. Корсаковым, сетовавшим, что «даже самый материал, из которого можно извлечь некоторые данные о мере, не приведен в порядок, не проверен критически», и с А. Е. Леонтьевым, указавшим, что «вопрос о происхождении “мерских станов” требует специальных археологических изысканий и дополнительного изучения» (Корсаков, 1872, с. 13; Леонтьев, 1996, с. 291). Основанное на восходящей к XIX в. научной традиции восприятие «мерских станов и волостей» как четких маркеров мерянского этноса не способствует постановке этого вопроса на современном уровне и поиску его решений при помощи археологических критериев, поскольку знаний о языке мери по-прежнему недостаточно для точного отделения мерянского топонимического наследия от других финно-угорских языков северо-западной группы (Хелимский, 2006, с. 40). Наличие «мерских станов и волостей» на севере и востоке Костромской обл. при их отсутствии в Пошехонье и Белозерье, в остальном демонстрирующих определенную близость с летописным районом мери, тоже несколько искажает картину. Так, например, опирающиеся на расположение этих станов и волостей представления об уходящих далеко на восток, за Унжу, границах «костромской мери» вновь вызывают к жизни гипотезу об особой языковой и этнической близости мери и мари, поскольку марийское влияние в топонимии этого региона очевидно. В любом случае приходится признать, что на нынешнем этапе проблема реконструкции этнических границ мери вряд ли может быть решена при помощи выделения этнотопонимов.

Источники и литература

Акты Российского государства. Архивы московских монастырей и соборов, XV – начало XVII вв. М., 1998.

Акты Русского государства, 1505–1526 гг. М., 1975.

АСЗ. Т. 1. М., 1997.

Антонов А. В., 1997. Акты галичских монастырей // РД. № 1. М.

Антонов А. В. 2001. Костромские монастыри в XVI – начале XVII века // РД. Вып. 7. М.

АКР, 1994. Ивановская область. М.

АКР, 1999. Костромская область. М.

АСВР. Т. 3. М., 1964.

Барсов Н. П., 1885. Очерки русской исторической географии. География начальной (Нестеровой) летописи. 2-е изд. Варшава.

Белоруков Д. Ф., 2000. Деревни, села и города Костромского края. Кострома.

Горюнова Е. И., 1961. Этническая история Волго-Окского междуречья. М. (МИА. № 94).

Готье Ю. В., 1906. Материалы по исторической географии Московской Руси. Замосковные уезды и входившие в их состав станы и волости по писцовым и переписным книгам XVII столетия. М.

Гурина Н. Н., 1960. Неолитическое поселение Борань // МИА. № 79.

Гурина Н. Н., 1963. Памятники эпохи бронзы и раннего железа в Костромском Поволжье // МИА. № 110.

Дубов И. В., 1982. Северо-Восточная Русь в эпоху раннего Средневековья. Л.

Кабатов С. А., 2011. Памятник русского Средневековья Костромского Поволжья – селище Вёжи // Археология Подмосковья. Вып. 7. М.

Каштанов С. М., 1982. Финансовое устройство Московского государства в середине XIV в. по данным духовных грамот // Исследования по истории и историографии феодализма. М.

Корсаков Д. А., 1872. Меря и Ростовское княжество. Казань.

Крестьянская война под предводительством Степана Разина. М., 1957. Т. 2.

Леонтьев А. Е., 1996. Археология мери. М.

Любавский М. К., 1929. Образование основной государственной территории великорусской народности. Л.

Матвеев А. К., 2006. Ономатология. М.

Матвеев А. К., 1996. Субстратная топонимия Русского Севера и мерянская проблема // Вопросы языкознания. № 1. М.

Матвеев А. К., 1978. Топонимические этимологии. XI. Название озера Неро // Советское финно-угроведение. № 1. Таллин.

Назаров В. Д., 1999. О включении Ярославского княжества в состав Российского централизованного государства // Россия в IX–XX веках : проблемы истории, историографии и источниковедения. М.

Прибавления к Владимирским губернским ведомостям. 1838. № 33. 20 августа.

Путеводитель по Ярославской губернии / составлен членом Ярославского губернского статистического комитета Ф. Н[икольски]м, издан Журавлевым Н. М. Ярославль, 1859.

Рябинин Е. А., 1986. Костромское Поволжье в эпоху Средневековья. Л.

Рябинин Е. А., 1997. Финно-угорские племена в составе Древней Руси. СПб.

Самарянов В. А., 1875. Следы поселений мери, чуди, черемисы, еми и других инородцев в пределах Костромской губернии // Древности. Труды МАО. Т. VI. Вып. 1. М.

Свирелин А., 1860. Историко-статистическое описание Переславского Троицкого Данилова монастыря. М.

СГГД. Т. 1. М., 1813.

Седов В. В., 1999. Древнерусская народность. М.

Седых В. Н., 2001. Археология и древняя история Ярославско-Костромского Поволжья // Очерки исторической географии : Северо-Запад России : славяне и финны. СПб.

Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. VI : Владимирская губерния. СПб., 1863.

Топоров В. Н., 1972. Baltica Подмосковья // Балто-славянский сборник. М.

Топоров В. Н., 1989. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. II // Балто-славянские исследования, 1987. М.

Третьяков П. Н., 1970. У истоков древнерусской народности. Л. (МИА. № 179).

Уваров А. С., 1872. Меряне и их быт по курганным раскопкам. М.

Финно-угры и балты в эпоху Средневековья. М., 1987.

Хелимский Е. А., 2006. Северо-западная группа финно-угорских языков и ее субстратное наследие // Вопросы ономастики. Екатеринбург. № 3.

Чернов С. З., 2005. Домен московских князей в городских станах, 1271–1505 годы // Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. М. Т. 2.

Summary

S. V. Gorodilin

«Mersky» Stans and Volosts: Historiography and Historical Geography

The aim of this article is to analyse historiography and written sources concerning the question of the so called Mersky stans and volosts (Meryalocal areas and small districts), which are believed to exist before 15th–17th centuries. Since 1860s historians have been explaining this name as an ethnonym of Finnish speaking Merja people, which lived in North-eastern Rus' until 11th century. After that living in the same area, their descendents preserved some ethnographical characteristics. The author concludes that the link between of the so called «Mersky stans» and that substratum of the population is in most cases a historiographical legend. As for the rest of the cases, it is impossible to prove the connection until new archaeological and toponymical evidences come to light.

М. Якубчинова

Раннесредневековое городище Бойна I-Валы – великоморавский центр в юго-западной Словакии[1]

В раннем Средневековье городища являлись административными и оборонными центрами, также как и центрами религии и ремесленного производства. Городища занимали, чаще всего, возвышенные места, хотя известны и городища, расположенные на низменности (Šolle, 1984). На сегодняшний день на территории Словакии исследовано несколько городищ, сосредоточенных, прежде всего, на западе Словакии (например: Нитра, Братислава – замок, Братислава – Девин, Победим, Майцихов) и, в меньшей степени, на востоке страны (Спишске Томашовце, Бреков, Земплин). К этим памятникам абсолютно справедливо следует отнести и городище Бойна.

Городище Бойна I-Валы (рис. 1) расположено в юго-восточной части гор Поважски Иновец, представляющих собой естественный барьер между бассейнами рек Ваг (регион Поважие) и Нитра (регион Понитрие). Через горы проходило несколько древних дорог, которые соединяли оба региона (Pieta, Ruttkay, 2006, с. 37). В Поважском Иновце и в его непосредственной близости находилось несколько раннесредневековых памятников, которые могут быть связаны именно с древними горными дорогами. В качестве примера можно упомянуть такие памятники, как Нитрянска Блатница в бассейне р. Нитра (расположены всего в 4 километрах от городища Бойна I-Валы), раннесредневековый дворец Дуцове или близко расположенное знаменитое раннесредневековое городище Победим. Кроме того, в окрестностях села Бойна известны еще и другие археологические памятники, расположенные вдоль древних дорог: Бойна II – городище, Бойна III-Жихлявник и Бойна IV (рис. 2). Памятники Бойна II и Бойна III выполняли, по всей вероятности, оборонительную функцию и обеспечивали защиту главного городища Бойна I-Валы. Также и памятник Бойна IV имел, скорее всего, защитную функцию – несколько валов и рвов тут образуют фортификационную линию (Pieta, 2007, с. 185).

Городище Бойна I-Валы (рис. 1) имеет почкообразную форму, удлиненную в направлении с северо-востока на юго-запад, и находится 390–430 м над уровнем моря. Со всех сторон городище окружено высоким, очень хорошо сохранившимся валом и рвом. Удлиненные боковые стороны городища практически переходят в склон горы и формируют глубокую долину. На памятник можно попасть через двое ворот, расположенных почти прямо друг напротив друга. В этом месте стена городища изгибается внутрь. Узкое пространство ворот, вероятно, могло быть перекрыто надстройкой в виде башни. На западной стороне городища находится предградье, которое защищено невысоким валом и рвом. Городище, вместе с предградьем, занимает площадь 12 га, причем само городище имеет площадь 10,5 га (Pieta, Ruttkay, 2006, с. 37).

Первое упоминание о городище Бойна I-Валы относится к началу XX в. Двое венгерских историков, упоминающих о городище в окрестностях с. Бойна, предполагали, что в этом месте находится исчезнувший средневековый замок (Könyöki, 1905; Némethy, 1912). Другие сведения о городище относятся к 1927–1928 гг. и говорят об обнаружении на памятнике клада из железных предметов, состоящего из нескольких мечей, топоров и серпов. К сожалению, эту информацию не удалось подтвердить (Ruttkay, 1989, с. 321). В пятидесятых годах XX в. антиквар Ф. Факенберг обследовал небольшую площадь горо-

[1] Данное исследование проводилось при поддержке гранта VEGA 02/0117/12 и в рамках проекта APVV–0553–10. За возможность опубликовать результаты работ на памятнике Бойна автор благодарит доктора К. Пьету.

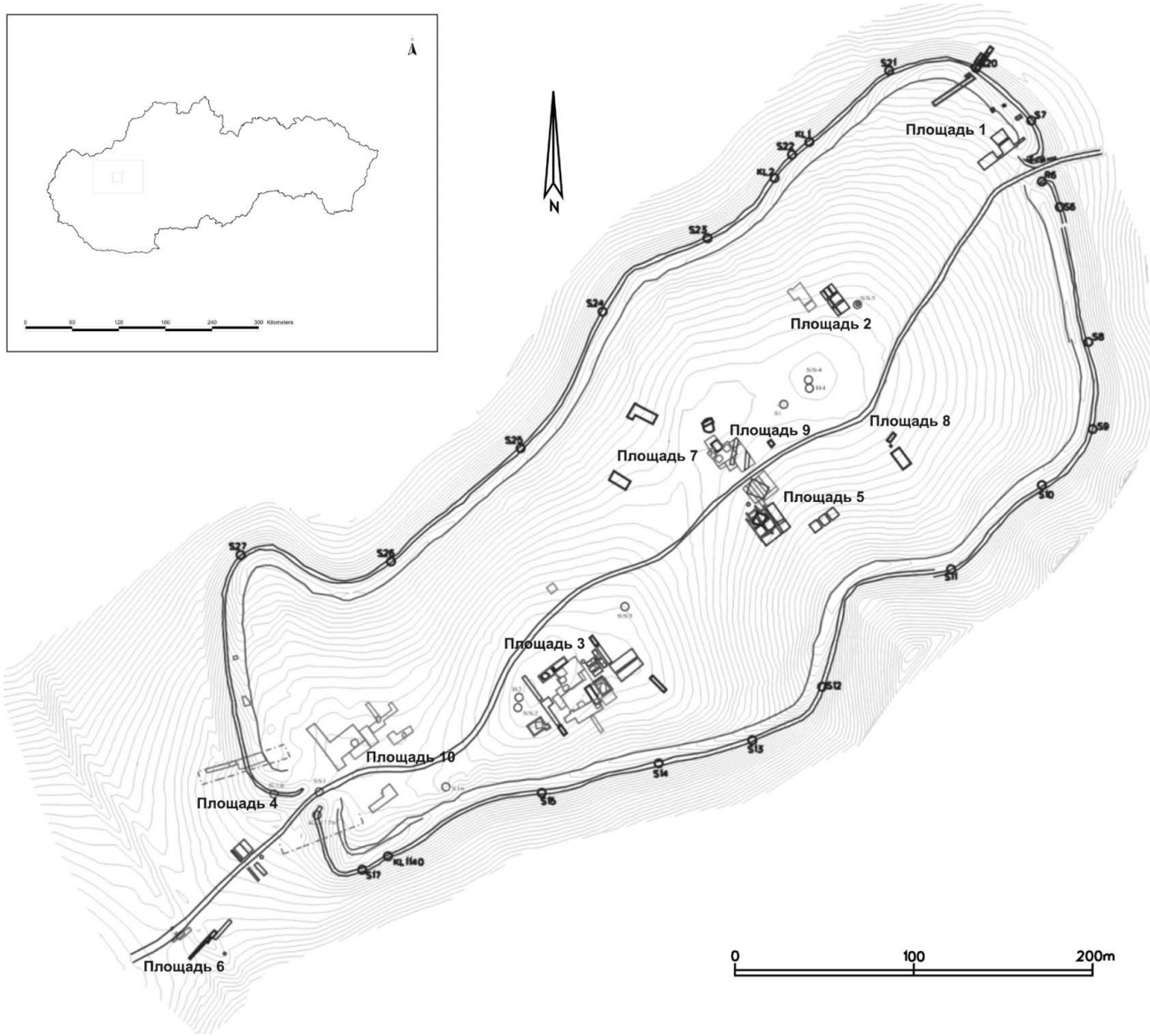


Рис. 1. Бойна I-Валы. План. Схема местоположения городища (по: Е. Блажова)

дища. В результате своих работ Факенберг предположил, что обнаружил каменные фундаменты домов. Тем не менее более поздние исследования показали, что это всего лишь выступающая на поверхность скала (Pieta, Ruttkay, 2006, с. 27). Первое научное исследование городища осуществила доктор Вера Вендтова в начале 1960-х гг. В южной части городища исследовательница заложила небольшой шурф и обнаружила керамический материал, фрагменты глиняной обмазки стен и кости животных. Второй шурф был заложен в северном крыле восточных ворот. Здесь были открыты остатки деревянной конструкции (Krajčík, Lukačka, 1990, с. 20–21). Тем не менее словацкие ученные обратили серьезное внимание на исключительную ценность этого памятника только в 90-х гг. XX в., когда в связи с ростом деятельности черных археологов на памятнике возникла необходимость проведения археологических исследований под руководством Института археологии САН и Департамента по управлению памятниками Словакии. В рамках этих исследований удалось, в том числе от частных коллекционеров, собрать очень интересную коллекцию единичных и крупных находок – «кладов» средневекового времени (Bialeková, Kamhalová, 2000; Katkin, 2000, с. 110; Šalkovský, 2000; Turčan, 2006). Самый большой интерес, который в результате привел к систематическим раскопкам городища, вызвала находка в 2004 г. позолоченных медных бляшек.

Систематическое археологическое исследование городища Бойна I-Валы осуществляется Институтом археологии САН с 2007 г. Исследования направлены, прежде всего, на изучение внутренней площади городища и изучение строительства системы укреплений. Было исследовано также и предградье. В настоящий момент вскрыто 4403 кв.м площади памятника. Во время раскопок было обнаружено почти 30 объектов, расположенных в разных частях городища. Среди них – восемь объектов определено как углубленные жилые объекты (землянки). Четыре землянки находятся на самой верхней площадке, три – в центральной части городища, и одна была обнаружена недалеко от западных ворот. Преобладают подквадратные в плане землянки с каменной печкой и столбовой ямой. Каменные печки, как правило, расположены в одном из углов объекта, с преобладанием северо-восточного направления. Столбовая яма, чаще всего, находится в стенке напротив печки. В одном случае столбовая яма помещена около стенки, в непосредственной близости от каменной печки. Встречаются также объекты без столбовой ямы. В нескольких случаях углубленные объекты помещены очень близко друг к другу и образуют некую «пару». Вполне возможно, что эти землянки либо сосуществовали, либо вторая землянка возникла вскоре после исчезновения первой. Подквадратные в плане землянки относятся к самым многочисленным в наддунайской области. Чаще всего, это объекты без столбовой ямы или с 1–3 ямками. Частью внутреннего устройства землянки является каменная печка, или открытый очаг с каменной выкладкой (Šalkovský, 1998, с. 14).

Среди всех углубленных жилых объектов самым интересным является землянка № 1. Она отличается от остальных овальным планом, наличием глиняной печки и богатым инвентарем. В южной части объекта и в профиле отмечено включение в виде черной обугленной прослойки с большими камнями, причем некоторые из них имеют следы от огня. Можно предположить, что камни являлись частью конструкции каменной печки, которая была построена после разрушения глиняной печки. Заполнение объекта было, в отличие от других землянок, насыщено находками. Здесь были обнаружены обушок топора, фрагмент гривны, кованная накладка замка, один целый и три фрагмента ножей, фрагмент оливковидной бусины, фрагмент бронзовой серьги, несколько каменных оселков и глиняных пряслиц (Jakubčinová, Vangľová, 2013). Кроме упомянутых находок, яма содержала также большое количество керамики, среди которой самым интересным является фрагмент сосуда с

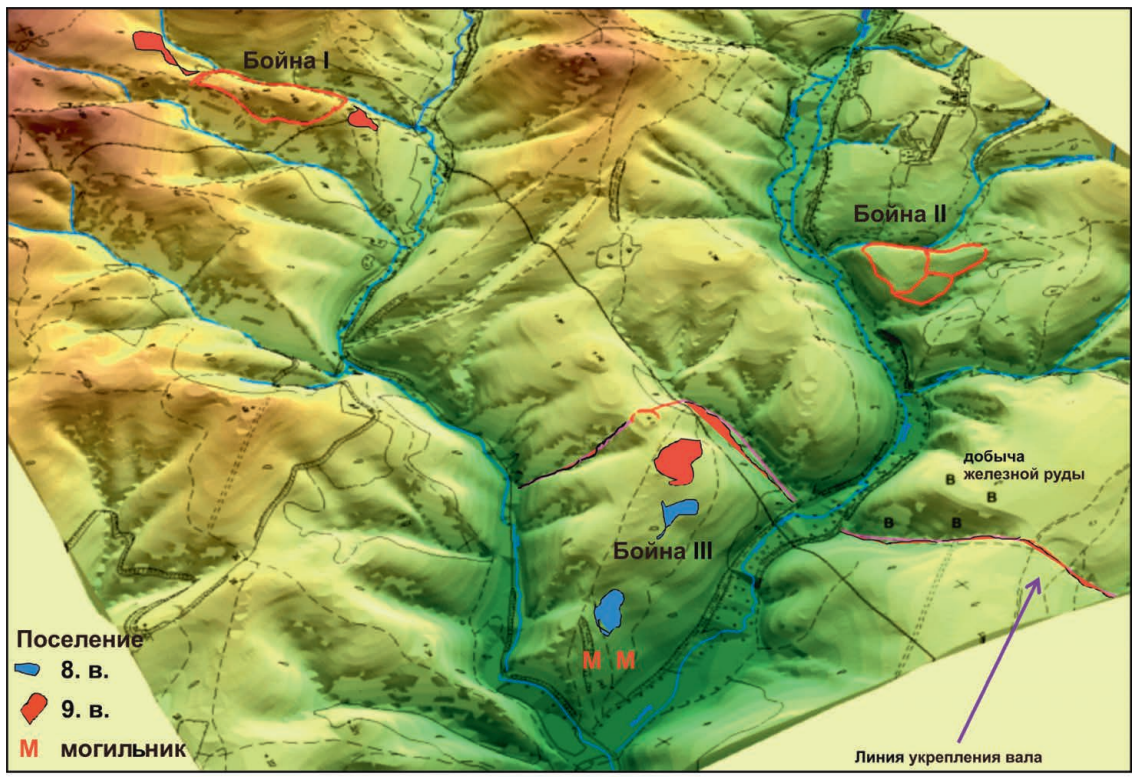


Рис. 2. Древний перевал Бойна с раннесредневековыми городищами между Понитрием и Поважием (карта: Ш. Гритз, цифровая модель: М. Бартик)

валиком (рис. 3: 6). В данном случае речь идет о сосуде большого объема, который редко встречается в археологическом материале этого времени. Такие сосуды обычно предназначались для хранения продуктов (Vangľová, 2012, с. 435). Важным открытием явилась находка двух фрагментов черепов взрослых женщин, обнаруженных в золистой прослойке недалеко от глиняной печки в этом же объекте. В связи с плохой сохранностью костей в культурных слоях памятника это – первое и единственное открытие останков человека на городище Валы (Jakubčinová, Vangľová, 2013). Углубленные постройки с овальной или нерегулярной планировкой известны на территории Словакии только в северо-восточной и центральной частях страны и в подгорных областях. Это довольно редкий тип землянки с открытым очагом или глиняной печкой, без столбовой ямы (Šalkovský, 1998, с. 14).

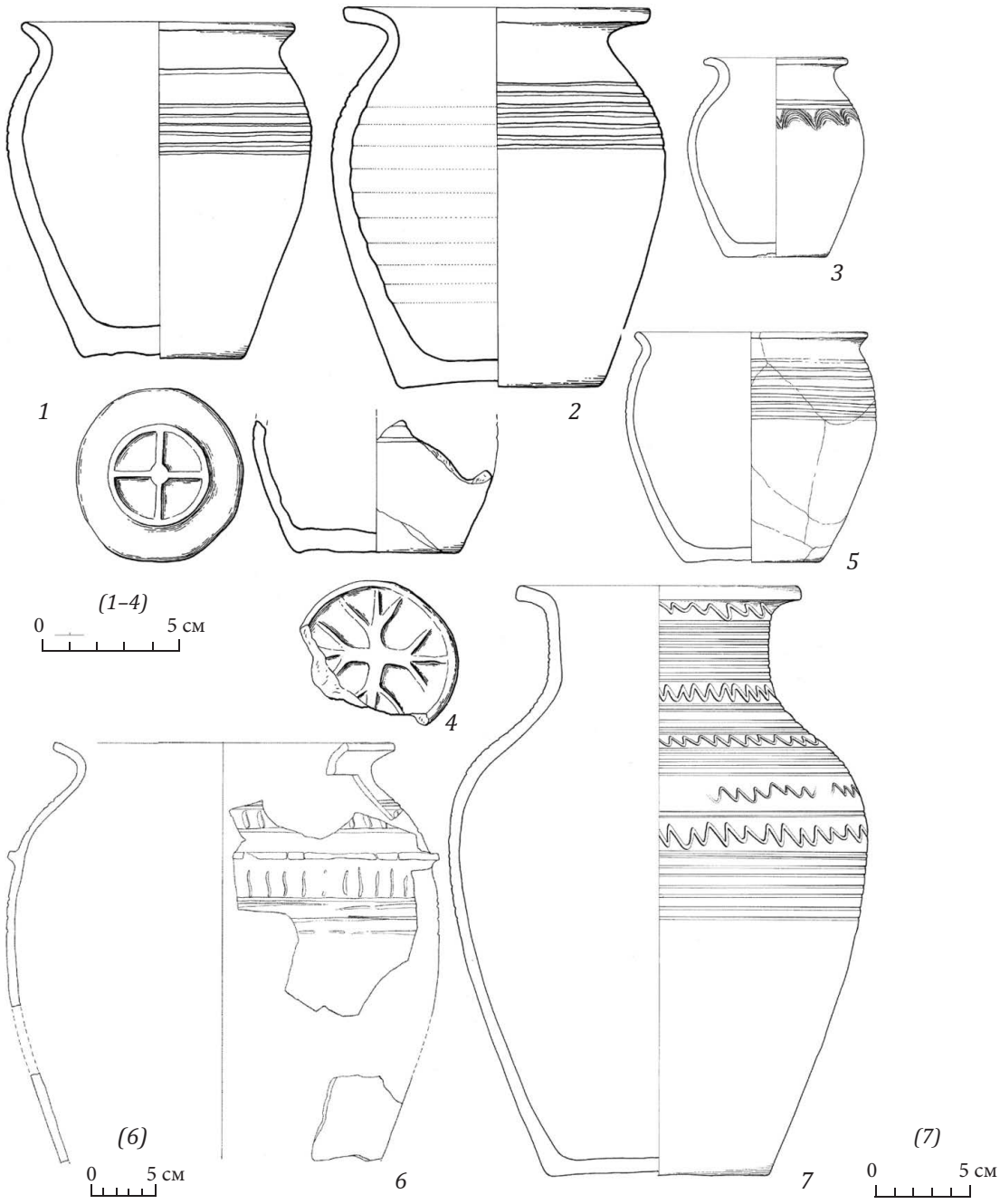


Рис. 3. Бойна I-Валы. Глиняные сосуды – выборка

Во время научно-исследовательских работ большое внимание было уделено укреплению, которое окружает городище со всех сторон. В 2007–2008 гг. исследован поперечный разрез вала в восточной части городища, а в 2009–2012 гг. – западная часть фортификации. В поперечном разрезе восточного вала было видно, что в основе внешней части укрепления лежала срубная конструкция, которая в результате пожара сохранилась фрагментарно. Вал состоял из земляной насыпи, которая укреплялась деревянным каркасом. Частью каркаса являлась плетневая конструкция из ветвей бука толщиной 3–4 см. Плетень располагался между столбами, которые являлись опорой деревянной конструкции вала. Верхняя часть конструкции вала не сохранилась, но, скорее всего, она была выше современной. Подтверждением этого могут быть ее остатки, сохранившиеся в виде красноватых прослоек в восточном профиле северного разреза. Горизонтальные балочные связи сохранились только в виде фрагментов. Таким образом, вертикальные элементы «частокола» являлись частью смешанной деревянно-земляной конструкции, которую с внутренней – открытой – стороны соединяли балочные связи. Во время исследования была открыта часть внутренней камеры укрепления. На внешней стороне восточного укрепления был открыт ров, заполнение которого состояло из прослоек небольших камней. Вероятно, они являются результатом деструкции вала. В стратиграфии вала можно отличить семь слоев с прослойками. Вероятно, четыре нижних слоя относятся к старшей фазе конструкции, а три верхних слоя – к младшей (Pieta и др., 2011, с. 206). В ходе раскопок в заполнении восточной части укрепления было обнаружено несколько намеренно спрятанных «кладов» сельскохозяйственных изделий, в том числе железный котелок и два ведра с тремя обручами, ручками и атташами (Pieta и др., 2011, с. 206).

С 2009 г. археологическое исследование сосредоточилось на изучении способов строительства укреплений и конструкции вала в западной части городища, где он сохранился на высоту 6 м. Эта часть фортификации отличалась от остальных также наличием каменных стенок. Вал состоял из насыпи, построенной на скальной основе. С высоты 60 см вал укреплялся каменным каркасом, состоящим из поперечно расположенных камней. Этот каркас поочередно перекрывался слоями сыпучего материала. Нижняя часть вала впоследствии была укреплена плетнем. Иногда плетень возвышался даже над каменной выкладкой, которая являлась подпорным сооружением внутренней части вала в самых высоких его местах. На валу было обнаружено разрушение с крупными камнями, иногда с отчетливыми следами огня (Pieta и др., в печати). Из восточной и западной частей вала собрано несколько образцов для радиоуглеродного и дендрохронологического анализов. Результаты анализов этих образцов датируют подъем фортификационных работ концом 90-х гг. IX в., причем эти датировки точно соотносятся со второй фазой строительства укреплений (образец C-59865: измерение годичных колец – 800–854 н.э., срубленное после/около 800–854 н.э., см.: Henning, Ruttkay, 2011, с. 279).

Систематическое исследование городища Бойна принесло много информации о внутренней структуре памятника и его материальной культуре. Обнаружено большое количество керамического материала и мелких предметов. Тем не менее из керамики было реконструировано всего несколько целых сосудов (рис. 3). Среди мелких предметов преобладают железные изделия, которые сопровождают глиняные, свинцовые, каменные и немногочисленные бронзовые предметы (Pieta и др., 2011, с. 206, рис. 96: *2, 5*; Pieta, Ruttkay, 2006, рис. 1: 2, 7), и находки стекла (Galuška и др., 2012, рис. 7: 5). Инвентарь представлен, прежде всего, предметами быта, сельскохозяйственными орудиями и ремесленными инструментами, а также предметами, подтверждающими присутствие на городище дружины и высших социальных слоев общества. Об этом свидетельствует большое количество наконечников стрел, боевых топоров, фрагменты кольчуги и наконечник ножен меча, богато украшенный мотивом взлетающих птиц, изготовленный в технике плакирования серебром, ниелло и инкрустации металлом (тавзирование) (Pieta и др., в печати). Среди других изделий следует назвать детали богато украшенного поясного набора воина, шпоры и их детали и части конской упряжи – удила, стремена, застежки для ремней (Jakubčinová, в печати).

Материал из раскопок происходит, прежде всего, из культурных слоев поселения. Меньше всего он представлен в жилых объектах. На городище также обнаружены крупные находки – «клады», являющиеся закрытыми комплексами находок. В большинство таких комплексов входят железные гривны, сельскохозяйственные орудия и ремесленные изделия, но в некоторых из них были обнаружены также части конской упряжи. В качестве примера можно упомянуть клад № 4, в котором обнаружено 5 шпор (Pieta, Ruttkay, 2006, с. 31–36; Jakubčinová, в печати). Во время раскопок 2007–2012 гг. количество «кладов» существенно возросло, и на данный момент число их достигло 25. Увеличилось количество находок деталей снаряжения лошади и всадника, обнаруженных в этих закрытых комплексах.

В коллекции с памятника имеется 57 целых шпор и их фрагментов, 110 больших и маленьких наконечников пояса или ремней, 51 обойма, 17 обойм с удлиненной шейкой, 1 трилистная накладка, 5 накладок с шарниром, 10 крестообразных накладок, 7 целых удил и 19 фрагментов, 1 целый и 3 фрагмента стремян, 109 пряжек разных размеров.

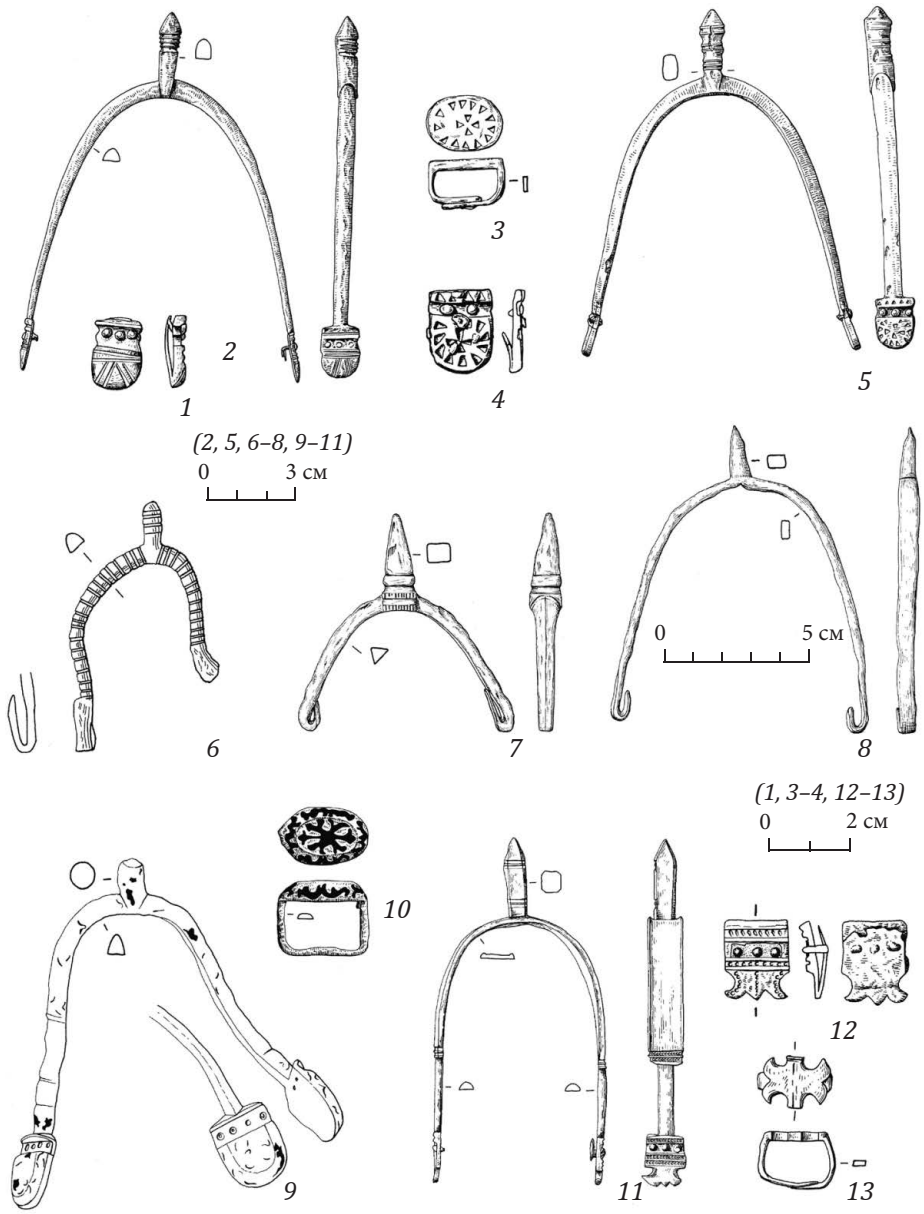


Рис. 4. Бойна I-Валы (1–4, 6–14), Бойна III-Жихлявник (5). Шпоры и накладки – выборка

Таблица 1

Общие сведения о количестве предметов снаряжения всадника и деталей конской упряжи

Шпоры	Шпоры целые	57
Детали шпор	Малые наконечники ремней	40
	Малые обоймы	43
	Малые пряжки	51
Пояс	Наконечники пояса	70
	Обоймы	8
	Пряжки	40
	Накладки с шарниром	5
	Обоймы с удлиненной шейкой	17
	Трилистная накладка	1
Части конского снаряжения	Удила	7/19
	Стремена	1/3
	Крестообразные накладки	10
	Пряжки	18

Кроме упомянутых железных изделий, имеются в коллекции Бойна другие простые изделия, возможно, местного производства, наряду с которыми встречаются ценные позолоченные бронзовые предметы, возможно, импортного происхождения (Jakubčinová, в печати). Количество и вариабельность материала в коллекции памятника Бойна увеличивают также находки, которые попали в хранения разных музеев или обрабатывались другими исследователями (Bialeková, Kamhalová, 2000; Katkin, 2000; Šalkovský, 2002; Turčan, 2006).

Среди перечисленного материала самыми хронологически выразительными являются шпоры: они представлены различными типами и характеризуются большой вариабельностью узоров (рис. 4: 2, 5, 6, 8, 9, 11). В настоящий момент они представляют самую многочисленную коллекцию шпор в Сло-

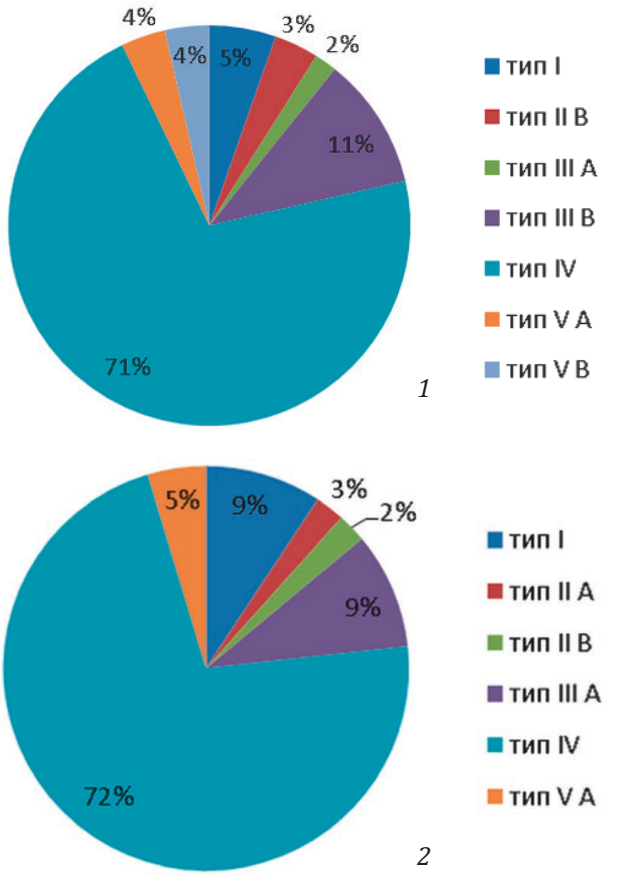


Рис. 5. Бойна I (1) и Победим (2). Процентное соотношение типов шпор по классификации Д. Бялековой

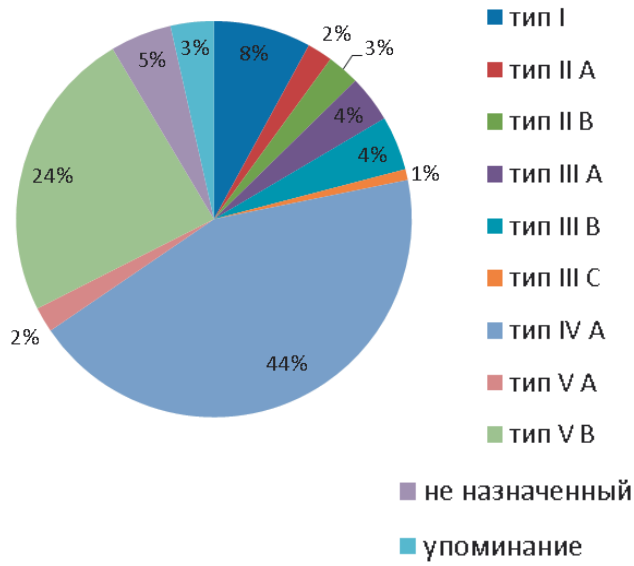


Рис. 6. Словакия. Процентное соотношение отдельных типов шпор из раннесредневековых славянских памятников в Словакии по классификации Д. Бялековой

вакии. Второе место по количеству шпор в материале занимает Победим, памятник, расположенный с противоположной стороны гор Поважски Иновец, в бассейне р. Ваг. Оба памятника расположены относительно близко друг к другу, отмечаются практически одинаковым соотношением типов шпор (рис. 5).

Первым типом в типологическом ряду шпор из городища Бойна I являются шпоры с крючком. Два предмета имеют крючки, изогнутые внутрь, и один экземпляр – крючок, изогнутый наружу. Шпоры с крючками, изогнутыми внутрь, выкованы из железных прутьев, причем шип выкован из одного куска со всей шпорой. Особенной является шпора с крючками, изогнутыми наружу (рис. 4: 6). Одна часть дужки слегка деформирована, вторая сохранилась частично, а нижняя часть дуги со стержнем отсутствует полностью. Дужка украшена парой канавок, которые, однако, заметны только с видимой стороны шпоры. Похоже украшен также шип в конце дуги, причем и в этом случае декорация приурочена к лицевой стороне детали (Pieta, 2013, рис. 2: 4). Согласно Д. Бялековой, эти шпоры можно классифицировать как тип I B, датированный VIII в. н. э. (Bialeková, 1977, с. 120–121). Еще одна такая же шпора с крючками (рис. 4: 7) была обнаружена в непосредственной близости от городища Бойна I-Валы на городище Бойна III-Жихлявник. Заселение славянами этого памятника произошло раньше, чем городища Бойна I-Валы. Шпора из Бойна III имеет очень хорошую сохранность, крючки изогнуты внутрь и почти прикасаются к дужке, в результате чего практически образуют петлю. Дужка имеет треугольное сечение. Шип имеет форму острой четырехгранной пирамидки с ребристым выступом на шейке. Основа шипа украшена продольными короткими канавками (Pieta, Robak, в печати). Шпору можно отнести к типу I A–B по классификации Д. Бялековой (Bialeková, 1977, с. 120–121). Следует отметить, что в Словакии известно 30 шпор с крючками и среди них всего два экземпляра имеют крючок, изогнутый наружу.

К самым многочисленным типам шпор на городище Бойна I можно отнести тип IV по классификации Д. Бялековой (Bialeková, 1977). Этот тип имеет параболически развернутую дугу, которая заканчивается прижимными пластинками треугольной, гербообразной, лопаточкообразной или квадратной форм (рис. 4: 2, 5, 9). В верхней части пластинки находится борозда с тремя заклепками для укрепления шпоры. Этот тип шпор относится к самым распространенным в Словакии (рис. 6) и датирован примерно первой половиной и третьей четвертью IX в. н. э. (Bialeková, 1977, с. 134; Hrubý, 1955, с. 186). К этому типу шпор относится также шпора, украшенная растительным орнаментом, изготовленным при помощи золотого тавзирования (рис. 4: 9; Janošík, Pieta, 2007, рис. 15). В данном случае орнамент представляет собой, скорее всего, подражание каролинг-



Рис. 7. Бойна I-Валы. Накладки пояса, накладки с шарниром, обоймы с удлиненной шейкой – выборка

скому растительному орнаменту в виде древа жизни (Schulze-Dörrlamm, 2009, с. 760, рис. 18). Сходный орнамент находится также на обойме пояса (рис. 4: 10; Janošík, Pieta, 2007).

Остатки кузницы, как и другие находки, свидетельствуют о местном ремесленном производстве и кузнечном деле. Это касается, прежде всего, изготовления поясных наконечников (рис. 7), которые составляют одну из самых многочисленных коллекций на территории Словакии. Они образуют очень разнообразную серию, представленную широким спектром форм и узоров. Среди них особую группу представляют языковидные наконечники пояса, украшенные тремя псевдозаклепками, доминирующими в нижней части наконечника. Псевдозаклепки размещены по краям наконечника, образуя тре-

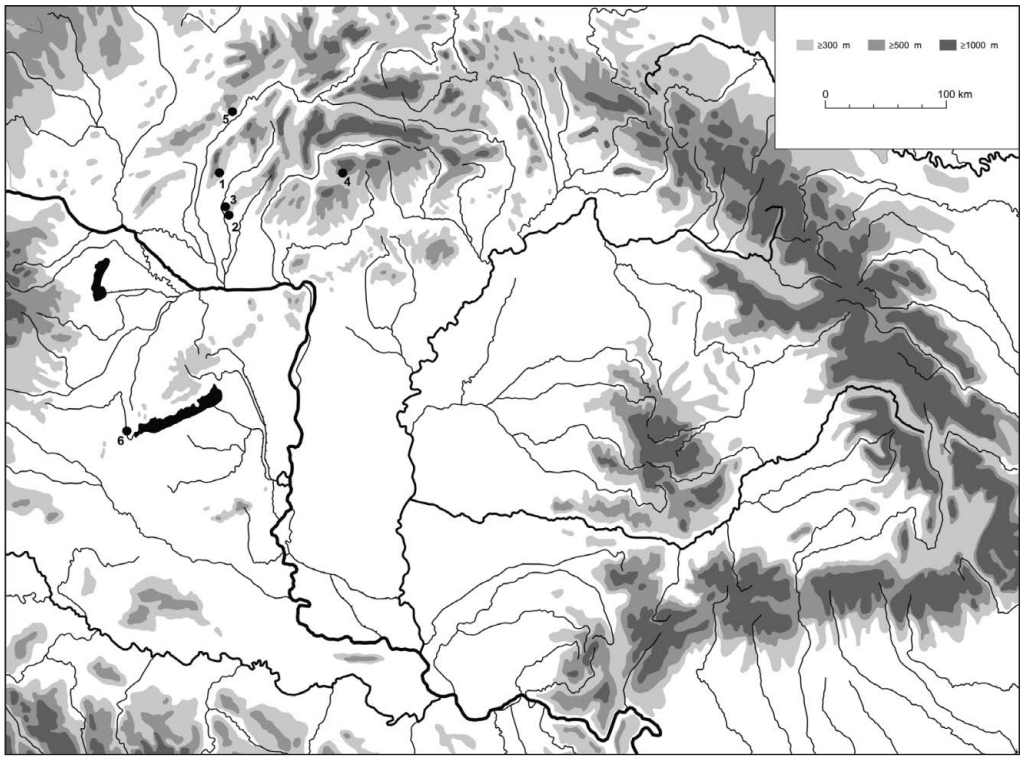


Рис. 8. Карта распространения находок пояса с тремя псевдозаклепками:
1 – Бойна, 2 – Нитра, 3 – Чакаёвце, 4 – Детва, 5 – Дубница-над-Вагом, 6 – Алшорайк – Гатари табла

угольник, причем одна псевдозаклепка находится в нижней части и две – в середине длинных сторон предмета. Пластический орнамент на этих накладках дополнен гравировкой и клеймением. Эти поясные наконечники свидетельствуют о производстве этих изделий на месте, так как они редко присутствуют в материалах других памятников. (Robak, в печати; рис. 7: 7–10; 8–9; преподношение Ш. Павука). Следует отметить, что на памятнике Бойна I было обнаружено 15 таких наконечников пояса, на других памятниках они пока представлены единичными экземплярами. Среди других памятников с находками упомянутых изделий (рис. 8) можно отметить городище Каламарка в Детве (Šalkovský, 1994, таб. 13: 12), грунтовый могильник в Нитре, погребение 6/99 (комплекс Chrenová I – Shell-Baumax; Březinová, Benediková, 2003, таб. 70: 3), городище около г. Дубница-над-Вагом и погребение № 25 в Алшорайк-Гатари табла в Венгрии (Szöke, 1996, рис. 32: 6, рис. 42: 1). К этой группе можно отнести находку из погребения № 189 в Чакаёвцах (Словакия), близкую, но не совсем идентичную другим предметам этой группы (Rejholcová, 1995, таб. XXXV: 13).

В группу находок, составляющих важные детали снаряжения всадника, входят также малые наконечники ремней, которые являлись частью набора шпоры, вместе с небольшой пряжкой и обоймой (рис. 4: 1–2; 4: 3–5; 4: 11–13). Малые наконечники ремней имеют форму, аналогичную пластинкам на шпорах, как и узор на обоих предметах совпадал в рамках одного набора. Преобладает языковидная и прямоугольная форма, но встречаются также листовидный или гербообразный варианты. Они украшены разным орнаментом, но особенного внимания заслуживает узор в виде прочеканенных треугольников, расположенных в виде креста. Этот мотив можно встретить как на пластинках шпор (рис. 4: 5), так и на малых обоймах и наконечниках (рис. 4: 3–4). Мотив креста популярен на шпорах с городища Бойна I-Валы (например: рис. 7: 1–2, 6; 9: 4, 5, 9; Janošík, Pieta, 2007, рис. 16; Pieta и др., 2011, с. 206, рис. 96: 3, 5–6). В коллекции имеются как наконечники ремней, датированные концом аварского каганата, так и наконечники, изготовленные под влиянием каролингского стиля (или импортные) (рис. 7: 4). Среди находок можно найти предметы, которые объединяет одинаковое художественное оформление и которые образуют единый набор, как, например, крестообразные накладки (рис. 9: 4), обойма с удлиненной шейкой, наконечник пояса (рис. 7: 3, 5, 13, 15 (преподношение Й. Яношика); Jakubčinová, в печати). Очень важную роль играют детали конской упряжи (рис. 9). Этот набор предметов является немногочисленным. Самыми характерными изделия-

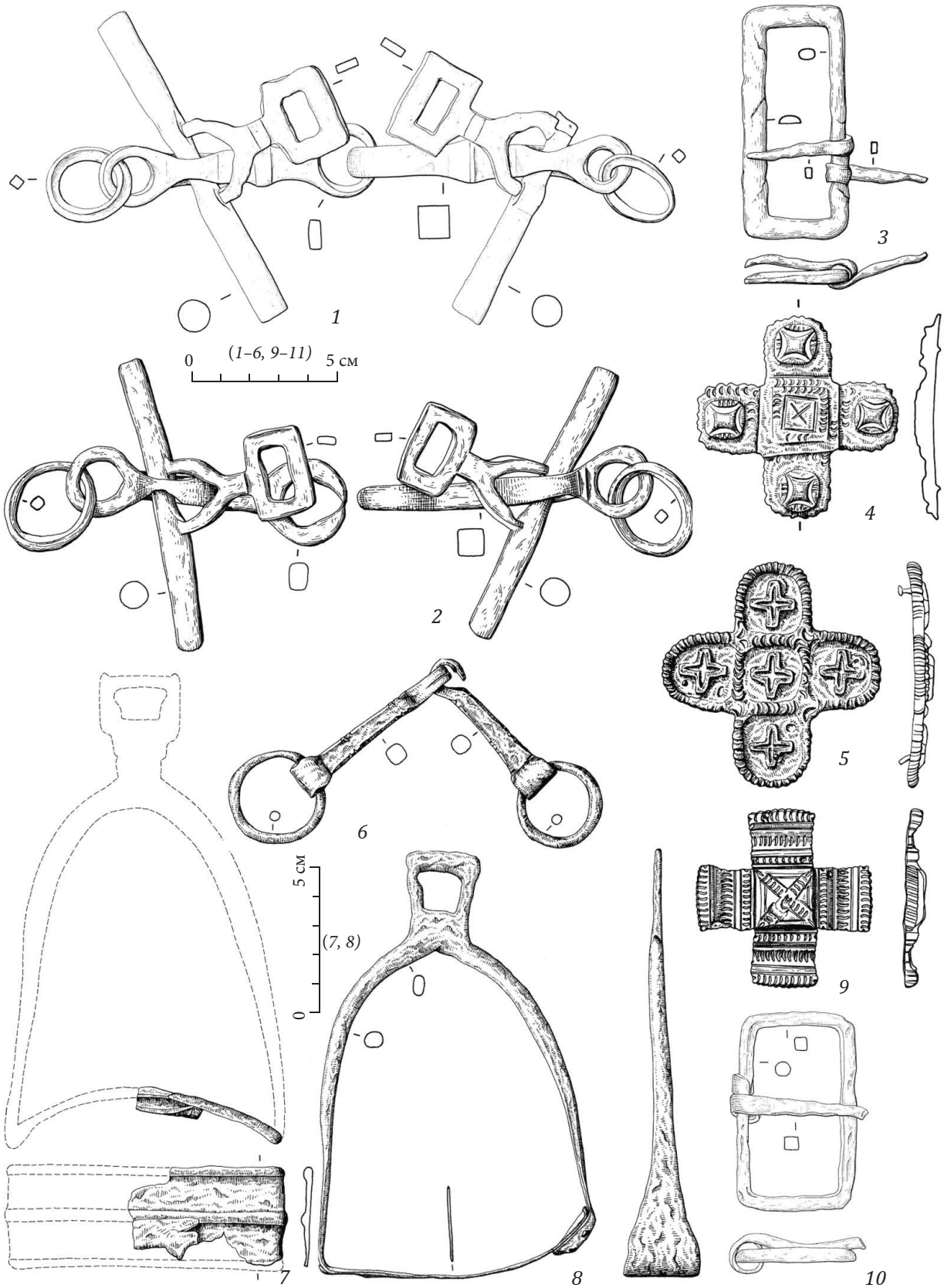


Рис. 9. Бойна I-Валы (1–6, 8–11), Бойна II-Городище (7). Детали снаряжения всадника и коня – выборка

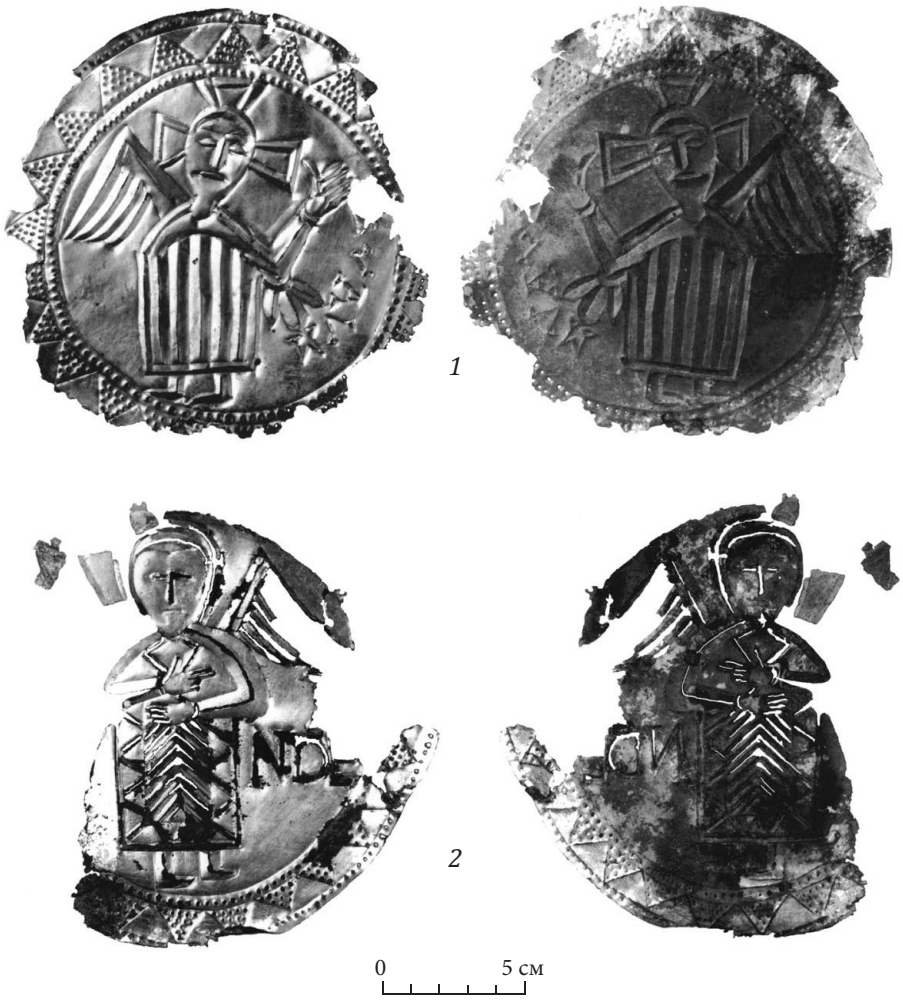


Рис. 10. Бойна I-Валы. Позолоченные бляшки: бляшка 1 (1) и бляшка 4 (2) (лицевая и обратная стороны)

ми являются крестообразные накладки (рис. 9: 4–5, 9), которые служили в качестве разделителя ремней. Крестообразные накладки могут варьироваться по размеру и по оформлению – от самых простых предметов без оформления до предметов со сложным узором. Большую редкость представляет крестообразная накладка с орнаментом в виде пяти крестов, причем каждый крестик помещен внутри обособленного орнаментального поля (рис. 9: 5; преподношение Й. Яношика). Похожее украшение известно на одном из наконечников пояса языковидной формы (рис. 7: 1; преподношение Й. Яношика).

Помимо многочисленных находок из городища Бойна I-Валы, важно упомянуть набор из шести позолоченных медных бляшек и трех круговых рамок. Четыре бляшки имеют форму круга и две – крестообразную форму с закругленными краями. Они были случайно обнаружены в западном предградье. После их приобретения сотрудниками Института археологии САН на месте находки были организованы небольшие раскопки с целю уточнить место их залегания и найти другие фрагменты (Pieta, Ruttkay, 2006, с. 37–49). На всех бляшках изображены прямостоящие крылатые существа с нимбом вокруг головы. Крылья и жесты показаны на каждой из бляшек поразному, однако преобладает жест адорации с поднятыми руками. Это символическое изображение может представлять либо Христа, либо апостолов, либо ангелов. Края бляшек и рамки, обнаруженные рядом с бляшками, украшены линейным узором в виде пустых треугольников, изготовленных клеймением (Pieta, Ruttkay, 2006, с. 37–49). Интересным является также текст на двух бляшках (бляшка 1 и 4, рис. 10; Pieta, Ruttkay, 2006, рис. 11, 12, 15). Он состоит из двух разных типов латинских букв, и его смысл всё еще является предметом исследования (Pieta,

Ruttkay, 2006, с. 53). Существует предположение, что набор бляшек являлся частью переносного алтарика, который после разборки был заброшен в культурном слое памятника (Pieta, Ruttkay, 2006, с. 37).

Подводя итоги, можно отметить, что городище Бойна I-Валы привлекло внимание научного сообщества и широкой общественности. В результате популяризации городища Бойна I-Валы был основан Археологический музей в с. Бойна и сделана частичная реконструкция западного укрепления и землянки, которые находятся на территории памятника. Основным примером для реконструкции землянки являлся жилой объект № 17 (землянка № 5), который находится в центральной части городища. Землянка имеет подквадратную форму со столбовой ямой в центре стенки и хорошо сохранившейся каменной печкой в юго-восточном углу. Реконструкция землянки осуществлена в сотрудничестве со Словацким национальным музеем в Братиславе.

Расцвет городища Бойна I-Валы прекратился в результате военных действий в конце IX – начале X столетия. Как подтверждает дендрохронологический анализ, с этим временем совпадает усиление строительства укреплений и остатки деревянной конструкции вала, уничтоженные в результате пожара. Городище, скорее всего, больше не достигло прежнего процветания. Однако на его уникальное значение в IX в. показывают находки и замечательные результаты археологического исследования, обещающие продолжение раскопок в последующие годы.

Перевод со словацкого – Бибиана Громадова.

Источники и литература

Bialeková D., 1977. Sporen von slawischen Fundplätzen in Pobedim // Slovenská Archeológia. Nitra : Archeologický ústav SAV. 25–1. S. 103–160.

Bialeková D., Kamhalová M., 2000. Slovanské sekerovité hrivny z depozitáru Múzea mincí a medailí v Kremnici // Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku. 1998. Nitra : Archeologický ústav SAV. S. 34–36.

Březinová G., Benediková L., 2003. Výskum na ploche staveniska Baumax (1999–2000) // Archeologické výskumy na plochách stavenísk Shell a Baumax. Katalóg. Březinová G. (výk. red.). Nitra : Archeologický ústav SAV. 237 s.

Henning J., Ruttkay M., 2011. Frühmittelalterliche Burgwälle an der mittleren Donau im ostmitteleuropäischen Kontext: Ein deutsch-slowakisches Forschungsprojekt // Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa : Internationale Konferenz und Kolleg der Alexander von Humboldt-Stiftung zum 50. Jahrestag des Beginns archäologischer Ausgrabungen in Pohansko bei Břeclav, 5–9.10. 2009. Břeclav ; Bonn : Habelt. S. 259–288.

Hrubý V., 1955. Staré Město. Velkomoravské pohřebiště Na valách. Praha, Nakladatelství ČSAV. 539 s.

Galuška L., Macháček J., Pieta K., Sedláčková H., 2012. The Glass of Great Moravia: Vessel and Window Glass, and Small Objects // Journal of Glass Studies. Vol. 54. New York. P. 61–92.

Janošík J., Pieta K., 2007. Nález zvona na hradisku z 9. storočia v Bojnej // K. Pieta, A. Ruttkay, M. Ruttkay (výk. red.). Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva. Wirtschaftliches und politisches Zentrum Nitraer Fürstentums. Nitra : Archeologický ústav SAV. S. 121–158.

Jakubčinová M. Funde der Reiterausrüstung aus der Slowakei aufgrund des Materials aus Bojná. V tlači.

Jakubčinová M., Vangľová T. Príspevok k vnútornej zástavbe hradiska Bojná I. V tlači.

Katkin S., 2000. Nálezy z Bojnej // Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku. 1998. Nitra : Archeologický ústav SAV. S. 110.

Könyöki J., 1905. A középkori várak, különös tekintettel Magyarországra. Budapest : A Magyar tudományos akadémia kiadása. S. 625.

Krajčík J., Lukačka J., 1990. Bojná. Topoľčany : Vlastivedné múzeum. S. 145.

Némethy L., 1912. A nyitra – bajnai elpusztult várról // Archaeologiai Értesítö. Budapest : Akadémiai kiadó. 32. S. 263–265.

Pieta K., 2007. Hradiská Bojná II a Bojná III. Významné sídlo z doby sťahovania národov a opevnenia z 9. storočia. Burgwälle Bojná II a III. Herrensitz der Völkerwanderungszeit und Befestigungen aus dem 9. Jahrhundert // K. Pieta, A. Ruttkay, M. Ruttkay (výk. red.). Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva. Wirtschaftliches und politisches Zentrum Nitraer Fürstentums. Nitra : Archeologický ústav SAV. S. 173–190.

Pieta K., 2013. Bojná – ein frühmittelalterliches Machtzentrum in Reichweite von Gold- und Eisenrevieren // Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschafts – und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 2. M. Hardt und O. Heinrich-Tamáska (výk. red.). Weinstadt : Verlag Bernhard Albert Greiner. S. 423–437.

Pieta K., Haruštiak J., Jakubčinová M., Vangľová T., 2011. Výskum včasnostredovekého hradiska Bojná I v rokoch 2007 a 2008 // Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku. 2008. Nitra : Archeologický ústav SAV. S. 205–211.

Pieta K., Jakubčinová M., Robak Z., Vangľová T. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná v roku 2011 // Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku. 2011. V tlači.

Pieta K., Robak Z. The military finds from Bojná III and Klátova Nová Ves, near Topoľčany, Slovakia. In print.

Pieta K., Ruttkay A., 2006. Bojná – mocenské a christinizačné centrum Nitrianskeho kniežatstva- Bojná – neues Macht – und Chrisitanisierungszentrum des Fürstentums von Nitra // K. Pieta, A. Ruttkay, M. Ruttkay (výk. red.). Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva. Nitra : Archeologický ústav SAV – Ponitrianske múzeum. S. 21–70.

Rejholcová M., 1995. Pohrebisko v Čakajovciach (9. – 12. storočie) : Katalóg. Nitra : Archeologický ústav SAV. 250 s. 160 tab.

Robak Z. The age of migrating ideas. A short contribution to a cruciform decoration of a Great Moravian strap fitment in 9th century. In print.

Ruttkay A., 1989. Bojná // Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia. I/2. Nitra : Archeologický ústav SAV. S. 321–322.

Schulze-Dörrlamm M., 2009. Gegossene Gürtel– und Riemenbeschläge mit karolingischem Pflanzendekor aus Andalusien // Jahrbuch des Römisch–Germanischen Zentrlamuseums Mainz. Mainz. 56. S. 743–788.

Szöke B. M., 1996. Archäologie und Siedlungsgeschichte im Hahóter Becken, Südwest–Ungarn. Antaeus 23, Budapest: Archeological Institute of the Hungarian Academy of Science.

Šalkovský P., 1994. Hradisko v Detve. Nitra: Archeologický ústav SAV. S. 143.

Šalkovský P., 1998. Dedinský dom a sídlo vo včasnom stredoveku // Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku z pohľadu najnovších poznatkov archeológie a etnografie. Bratislava : Národné pamiatkové a krajinné centrum. S. 9–36.

Šalkovský P., 2000. Včasnostredoveké nálezy z hradiska Valisko v Bojnej // Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku. 1998. Nitra : Archeologický ústav SAV. S. 175–176.

Šalkovský P., 2002. Včasnostredoveké hrivny a ďalšie nálezy z hradiska v Bojnej // Študijné Zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Nitra : Archeologický ústav SAV. 34. S. 171–187.

Šalkovský P., 2007. Problém obdĺžnikovitých a oválnych zemníc u Slovanov // Prilozi Instituta za Arheologiju u Zagrebu. 24–1. Zagreb : Institut za arheologiju z Zagrebu. S. 263–276.

Šolle M., 1984. Staroslovanské hradisko. Praha : Vyšehrad. S. 215.

Turčan V., 2006. Depoty z Bojnej v zbierkach Archeologického múzea SNM. Predbežná správa // K. Pieta, A. Ruttkay, M. Ruttkay (výk. red.). Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva. Nitra : Archeologický ústav SAV – Ponitrianske múzeum. S. 159–166.

Vangľová T., 2012. Nádoba s plastickou lištou z včasnostredovekého hradiska Bojná // Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu. G. Březinová, V. Varsik (výk. red.). Nitra : Archeologický ústav SAV. S. 435–438.

Summary

M. Jakubčinova

The Early Medieval Bojna I-Valy Hill Fort – the Great Moravian Centre in South-Western Slovakia

The paper deals with the fort hill Bojná I – Valy located in southeastern Slovakia, in the Považský Inovec Mountains. The fort hill is situated in the cadastre of the village Bojná together with three other contemporary sites. All four sites are close to the old roads connecting Váh and Nitra regions. The Bojná I–Valy hill fort, situated on the ridge of the hill, is on all sides surrounded by a wall and a ditch with two entrances located almost opposite each other. Systematic archaeological excavation of the hill fort has been carried out since 2007, but it has been preceded by several surveys. Its exceptional position in the 9th century is shown by numerous metal finds that document presence of a rich upper social class or a military retinue. There are also important evidences of more permanent settlement (residential buildings) that have been discovered and examined. The Bojná I–Valy fort hill belongs among one of the most important fort hills of the Early Middle Ages in Slovakia.

Перевод на английский – Дана Маркова.



Часть III

ИДЕНТИЧНОСТЬ, КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ОБЛАСТНЫЕ ТРАДИЦИИ

P. Urbańczyk

Who were the Early Rus'?

Linguists have not yet come to a clear conclusion on the philological roots of the original name *Rhos/Rūs/Rus'* found in numerous early medieval Greek, Arabic and Russian sources. There are still contradictory concepts which either support the Scandinavian origin (e.g. Heide, 2006; 2008, footnote 2) or point to the Balto-Finnish roots (e.g. Danylenko, 2006, p. 3). Analysts only agree that this collective name originated somewhere in the northern Russia inhabited by Finns and Slavs and penetrated by Scandinavians.

However, for the discussion of the ethnic identity of the Rus' people, the origin or the original meaning of their name does not matter just like in the cases where the identities of the Celts, Germani or Slavs have been discussed. For the ethno-cultural identification we need sources which provide information referring to the specific traits of people called by specific collective names. Early medieval texts which mention the Rus' are numerous but unclear which results in contradictory conclusions. Therefore, we have to refer to archaeological evidence to enrich our interpretation.

* * *

The very first record of the «ethnonym» is provided by the well-known account of the *Annales Bertiniani* (p. 20) which under the year 839 describes the arrival to the imperial Pfalz in Ingelheim of a delegation sent by the Byzantine emperor Theophilos (829–842) to Louis the Pious (814–840). The envoys included people called *Rhos*, whose king was identified as *chacanus*. An Investigation ordered by the suspicious Frankish emperor disclosed that those people «belonged to the Swedes» who wanted to return home. This same form of the name was later confirmed by other Greek sources – e.g. in the Patriarch Photius' report on the *Rhos* attack on Constantinople in 860, and in the De administrando imperio by Constantine Porphyrogenetus written in the mid-10th century.

In contemporary Arabic sources the people in question were called *Rūs/Rūsiyyah*. A challenging suggestion that Abū 'Abdallāh Muhammad ibn Mūsā **al-Khwārizmī**[1] (ca 780 – ca 850) was the first to mention their name failed under scrutiny. The mistake resulted from an uncritical reading of his *Kitāb sūrat al-Ard* (The Imagination of the Earth) written in the third or fourth decade of the 9th century (Kennedy 1984, p. xxii). This translation of Ptolemy's «Geography» was supplemented with geographic coordinates of 2402 localities which also included a Rūs mountain. Detailed analysis proved that this is an accidental similarity of wording because the locality apparently designated Spanish mountain Rasón (Hraundal, 2009, p. 3).

The story of the Byzantine embassy to the Franks raises some interpretational problems (cf. analysis of the historic context in Duczko, 2004, chapter 1) but this Annales Bertiniani account is the earliest known record of the «ethnonym» *Rhos*. Therefore, the current knowledge allows us to accept that this name has been «internationally» promoted by the Byzantines who made use of some ancient root of the yet unknown origin to designate people who appeared on the northern borders of the Eastern Empire in the second quarter of the 9th century (Stang 1996). The authority of the Bizantine diplomacy made this name popular not only in the Muslim world but also in Latin Europe and finally it has been accepted by the designated people themselves, which later resulted in naming the Kievan Principality *Rus'*[2].

Unfortunately, we cannot confront these Greek and Arabic sources with Old-Norse ones because Scandinavian authors were not much interested in the Eastern Europe/Rus', which they commonly called *Gardarike*. Therefore, there are no original sources to support the opinion that «certainly in the early eighth-century, the term was employed as a self-denomination by the Scan-

[1] Arab authors are mentioned here under their full names. The abbreviations used in the European literature are marked with bold characters.

[2] This resembles the mechanism which led to the formation and acceptance of the state names *Norvegia* and *Polonia* at the turn of the first and the second millennium (Urbanczyk 2008, chapter 12).

dinavians... arriving in those parts of Eastern Europe which were populated by Finish tribes» (Duczko, 2004, p. 23). Similarly unhelpful are West European sources which rarely mention but do not suggest any ethnic identity of the *Ruzzi* (Bavarian Geographer – ca 848) or *Rusci* (Annales Hildesheimenses a. a. 973).

Therefore, available sources do not allow us to conclude that «The Norse background of the Rus' was universally recognized» (Duczko, 2004, p. 122 and 253). This suggestion is based only on a single account in Annales Bertiniani under the year 839 which mentions Scandinavian identity but includes also some nomadic traits. Arabic accounts which describe the situation in Spain (analyzed below) are misleading, while the late compilation known as the *Primary Chronicle* requires a broader contextualized discussion.

* * *

For over two hundred years historians and linguists have been struggling to find the ethnic explanation of this name. The discussion has been dominated by the simplistic interpretation of the *Primary Chronicle*. The original «Normanist theory» formulated by the 18th century German historians (Gottlieb Siegfried Bayer, Gerhard Friedrich Müller and August Ludvig von Schlözer) met with a vigorous opposition from the contemporary Russian historians who quickly responded with the «anti-Normanist theory» which stated that the founders of the Rus' state were of Slavic origin. This line of reasoning has become the foundation of the Russian historiography (e. g. Bazylov, 1975, s. 23 ff) while most of the western scholars acknowledge the Scandinavian or, more precisely «Swedish» origin of those people (e. g. Sawyer, 1989, p. 29). The power of this deeply rooted tradition is visible even in the texts by authors who tried to avoid the ethnic discussion and suggested to concentrate on the speed of the Slavicisation of the «Scandinavian *Rūs*» (Logan, 1991, p. 203).

There is also a compromise position whose promoters suggest that for the early Arab and Byzantine writers *ar-Rūs/Rhos* designated a trading-political organization, irrespective of the real ethnicity of its members (Golden, 1995, p. 621). Those early observers would have called by this name all East-European warriors-merchants and ignored their ethnic affiliation (e. g. Dolukhanov, 1996, p. 190). The mixed-ethnicity interpretation has been recently supported by James E. Montgomery (2000, p. 4f and footnotes 32, 35, 65) who identified in the Ibn Fadlan's report Scandinavian, Khazar and Slavic elements.

Most of the discussants supported their concepts by references to various Arabic texts selected from a broad choice of sources. There is a clear need to discuss more thoroughly all these records which have been usually treated separately. Most of them consist of texts which are in large part the result of the growing interest in the world surrounding the Caliphate. Numerous geographers there applied the name *Rūs*, which almost certainly derived from the ethnonym promoted by the Byzantine diplomacy in the second quarter of the 9th century. Most of the knowledge on Eastern Europe was secondary in the Caliphate but some authors had direct contacts with the *Rūs* themselves.

Among those well informed was the Persian director of the Abbasid post, Abu l-qasim Ubayd Allah ibn Abd Allah **Ibn Khurradādhbih**, who wrote ca 847 the first version of the Kitab al-masalik wa'l-mamalik (The Book of Roads and Kingdoms). He mentions there ar-Rūs merchants who «Are a tribe of the Slavs [*as-Saqaliba*[3]]» and «they declare themselves as Christians», which allowed them to pay smaller taxes (chapter XVc – Lewicki, 1956, p. 77). While in Baghdad, these merchants employed Slavic translators, whose identity cannot be doubted because Ibn Khurradādhbih notes that «the king *as-Saqalib* [is called] *Qnaz*» (chapter II – Lewicki, 1956, p. 67). «Ibn Khurradādhbih was very well-informed, being the Director of Posts and Intelligence for the Abbasid caliph...» which makes his information credible (Shepard, 2011, p. 133). This account implies that at least some of the *ar-Rūs* whom he met were Slavs or they spoke Slavic (cf. discussion in Urbańczyk, 2012).

Thus, the oldest available information shows the lack of ethnic/linguistic clarity regarding those *Rhos/Rūs* people who identified themselves in Ingelheim as Swedes but called their own monarch by the Turkic title «Khagan» (*Annales Bertiniani* a. a. 839), while in other circumstances they declared to be Christians and employed Slavic translators (according to Ibn Khurradādhbih). These two early sources may indicate that in the first half of the 9th century the name *Rūs* referred to the East-European trading-political organization regardless of the real ethnicity of its participants (Golden, 1995, p. 621).

It is only in the 10th century when Arabic sources for the first time disclose knowledge about the Slavs being distinct from the *Rūs* people. Anonymous *Hudud al-alam* (The Regions of the World, p. 159) describes Slavs as neighbors of the Rūs in the east and the west but also as the co-habitants of the same territory. In 903, Persian geographer Abu Ali Ahmad ibn Umar **ibn Rosteh**, in his compilation of the *Kitab al-alaq an-nafisa* (The Book of Precious Gems) distinguished between the two peoples by their burial rites – cremation observed by the Slavs

[3] Activity of the *Saqaliba* merchants travelling between the Baltic and the Caspian Sea is confirmed in *Kitab al-buldan* (The Book of Countries/Towns) written in 902–903 by the Persian author Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad ibn Ishaq al-Hamadani (akaIbn **al-Faqih**) (chapter XIII – Lewicki, 1969, p. 29). And there is no doubt that «the term *Saqaliba* and its derivatives were understood by the older Arab authors (8th–10th century) exclusively as Slavs» (Lewicki, 1952, p. 476). Alternative opinion that «the word *al-Saqaliba* was generally utilised by Islamic authors when depicting not only to Slavs but all people of fair complexion and hair, or sometimes just all inhabitants of Eastern Europe» (Duczko, 2007, p. 26) is not confirmed by the first millennium sources.

and the inhumation practised by the *Rūs* (Lewicki i in., 1977). Surprisingly, he had much information on the latters' habits but did not identify them as any of the known peoples (Ibn Rosteh, chapter XII – Lewicki i in., 1977, p. 39–41) which does not allow us to propose any certain identification either.

One should expect more insight into East-European ethnic distinctions from Ahmad **ibn Fadlan** ibn al-Abbas ibn Rashid ibn Hammad, who reported his personal visit to the Volga Bulgars in 921–922. His diplomatic mission was well prepared and included also interpreters speaking various languages. Despite this his real knowledge of the «northern» people was rather limited and biased and his description of the *ar-Rūsiyyah* consists of a mixture of various mirabilia and information concerning Scandinavians, Slavs and Khazars (Montgomery, 2000: 4f and footnotes 32, 35, 65).

Similar uncertainty may be found in Abu al-Hasan Ali ibn al-Husayn ibn Ali **al-Masoudie's** *Murug ad-dahab wa maadin al-gawahir* (The Meadows of Gold and Mines of Gems) written in 947. This eminent historian and geographer spent much of his life traveling across vast areas – from India to Egypt. He was convinced that the *Rūs* «consisted of many nations» (Dunlop, 1954, s. 21). He admired their competence in sailing merchant vessels and warships. These pagans were independent traders who were not subject to any superior power.

Much less credible is his description of Western Europe which he did not visit but relied only on secondary information or drawn on his knowledge of the East. The good fame of this Arabic «Herodotus» misled some supporters of the «Normanist theory» because he reported that the *Rūs* attacked Andalusia in 912/913 (Lewicki, 1956, s. 251). In fact he might have been drawing on the information provided by the Egyptian geographer Ahmad ibn Abu Ya'qub ibn Ja'far ibn Wahb Ibn Wadih **al-Ya'qubi** (died in 897) who wrote *Kitab al.-buldan* (The Book of Countries), where he claimed that *ar-Rūs* plundered Sevilla in 844.

Some experts interpret these accounts as «misunderstandings» because Arabs in Maghreb and in Spain would not have called the Scandinavians *Rūs* which was a name used specifically in the east (Danylenko 2006, p. 22). This transfer of the eastern reality to Andalusia is also made clear when we read Liutprand of Cremona who visited Constantinople in 968. He heard there that Spain had been attacked by «the Rus' whom we also call Northmen» (*Rusios quos alio nos nomine Nordmannos appellamus or by Rusios nos vero a positione loci nominamus Nordmannos* – Antapodosis V, 15 and I, 11).

Anyway, all these accounts refer to the extreme western part of the Muslim world where, apparently, the ethnic knowledge of the sea-born attackers was rather chaotic. This suspicion is further confirmed by the completely unreliable information by Abū'l-Qāsim Muhammad ibn Ali an-Nasibi **ibn Hawqal**'s *Sūrat al-'Ard* (The Face of the Earth) of 977 where he claimed that the Spanish coast had been attacked by «Slavs, Turks, Petchenegs and Bulgars» (cf. analysis by Christys, 2012).

* * *

Very interesting is the consistently repeated information on the internal three-partite division of the early Rus'. Anonymous author of the early-10th century ***Hudud al-alam*** (p. 159) mentioned «three centers of *Rūs*». Also Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad al-Farisi al-Karhi **al-Istakhri** in his version of «The Book of Roads and Kingdoms» written in the second quarter of the 10th century claimed that «*Rūs* consist of three tribes». This was repeated by **ibn Hawqal**, who finished his version of the Book in 988. This finds confirmation also in the Russian tradition recorded in the 12 th century in the Primary Chronicle, where under the year 882 the Rus' are described as consisting of three groups – «Varangians, Slovenes and others»[4].

These repeated claims of a three-partite ethnicity of the *Rūs* allow us to question the suspicion that this was just «one of the clichés repeated by authors who knew nothing about the subject» (Duczko, 2004, p. 123). For, in fact, they may reflect some general vague knowledge. Especially that the linguistic analyses also suggest triple Slavic-Finish-Scandinavian roots (Кирпичников, Дубов, Лебедев, 1986, с. 203) or indicate contacts of Scandinavians, Veps and Slavs (Stang, 1996, p. 299).

The internal differentiation of the Rus' culture is obvious also for archaeologists, who see that for the 10th century Novgorod the material culture was «influenced by Slavs, Baltic Finns, and Scandinavians. Such an interpretation refers also to the finds from Staraya Ladoga (Roslund, 2007, p. 183 and 186). A mixed Finnish-Scandinavian tradition was also identified in late 10th century grave mounds excavated near Ladoga lake (Logan, 1991, p. 205). Central settlements excavated in north-eastern Russia (e. g. Sarskoe Gorodišče near Rostov) show Finish populations penetrated by Scandinavians. Slavic elements appeared there only in the end of the 10th century.

While in the north the Balto-Finnish contribution is archaeologically visible, further south Scandinavians were confronted with Slavs. Excavators of the great settlement center in Gnezdovo (halfway between Novgorod and Kiev) reconstructed a mixed Slavic-Scandinavian society. Contents of the grave-mounds there (the cemetery consists of over 5000 kurgans) suggest the presence of Scandinavians who accepted «different elements from various East European cultures» including the steppe traditions (Duczko, 2004, p. 188).

[4] In the opening chapter the Rus' are described as distinct not only from Slavs but also from Swedes and Normans and even from Varangians. Only under year 852 we find information that Rus' got its name after those Varangians who settled east of the Baltic Sea.

In the political center of the East-European polity the Scandinavian artifacts from cemeteries are so few that «if our picture of the presence of the Rus' in Kiev were based only on the finds from preserved burials there would be no reason to maintain that people of Norse origin had played a decisive political role in the history of this place». What is visible is «the more pronounced presence of influences from nomadic culture and even some Slav elements» (Duczko, 2004, p. 220). Thus, without the Primary Chronicle the Scandinavian origin of the local Rus' political elite would have passed unnoticed. This dissonance well illustrates the frequent situation when material evidence and written sources do not match. In such cases scholars usually tend to rely rather on the historical texts even if their credibility is doubtful.

The Primary Chronicle suggests slow Slavicisation of the meaning of *Rus'*. Under the year 898 we learn that «Slavic and Rus' nations are one [entity]». The distinction between Varangians and Slavs is still present in reports on the Constantinople expeditions of 907 and 912 but already in 944 the name *Rus'* designates all Igor's subjects who this time are distinguished from the Varangians coming from overseas (*Primary Chronicle* a. a. 941). After 942 when Igor's son was named Svyatoslav[5] the cultural solidarity with the Slavic majority of the inhabitants of the Ryurikid state became decisive, even despite the fact that in the 944 treaty the vast majority of Rus' names were still of Scandinavian origin (cf. analysis by Melnikova, 2004).

«The fact that Igor's son…was given a Slavonic name Swiatoslav showed that a new episode in the history of the family had begun» (Uspenskij, 2011, p. 112). Apparently, the Slavic identity became more and more attractive. This finds a confirmation in the information of 965 by a Jewish visitor to Prague who observed that «the most prominent of the northern tribes speak Slavic... To them belong… the Rus'» (Ibrahim ibn Yaqub, 7). This mechanism of linguistic expansion may be compared to the earlier situation in the Balkans where the nomadic Bulgars adopted Slavic as the official language in their state.

This does not mean, however, that the Rus' turned totally Slavic. The external observers of the mid-10th century still saw their double affinity. In the 9th chapter of the *De administrando Imperio* Constantinos Porphyrogenetos lists double (Scandinavian and Slavic) names to all rapids in Dnieper. Also al-Masoudi separately mentioned Rus' and Slavs among the inhabitants of the North and West. In 965 Ibrahim ibn Yaqub (chapters 4 and 8) did not consider the Kievan Rūs as Slavs, despite the fact that they spoke Slavic.

Such accounts suggest that Slavicisation of the Svyatoslav's state had not yet been completed and the inhabitants kept their differentiated affinities while the very name Rus' referred to the political facts rather than to the ethno-cultural reality. This ethnic differentiation found expression also in the sphere of religious beliefs. Before his conversion in 988 Vladimir the Great «encouraged all sorts of pagan practices among his subjects» (Tolochko, 2011, p. 61). The authors of the «*Povest*» «signal their awareness of the multiplicity of choices available to him, of the cross-currents from Islam and Judaism swirling through the eastern lands» (Shepard, 2011, s. 140). These external influences included also Christianity which had early penetrated the Rus' populations. Already in the mid-9th century Ibn-Khurradādhbih observed some manipulations with Christian identity. A Hundred years later bishop Adalbert recorded similar religious opportunism during his mission to the Kievan state.

The ethno-cultural diversity of his subjects may well explain the determination of Vladimir the Great to look for a uniform religion. His deliberations on the advantages and disadvantages of Judaism, Islam and two versions of Christianity may not be a simple invention of the author(s) of the *Primary Chronicle* but an echo of a serious political problem: How to pacify tensions between factions/populations which referred to different ethnic and religious traditions? The Duke did not try to satisfy everybody like the king of Kaytaks (contemporary Dagestan) who «on Fridays prayed with Muslims, on Saturdays with Jews and on Sundays with Christians» (Lewicki i in., 1977, p. 45).

In 988 Vladimir chose one religion and imposed it ruthlessly. With this he achieved the main political goal, i. e. the ideological unification of his state. From that time on, the still present Scandinavian affinity of the Rus' elite was finally dropped and quickly replaced with the Slavic identity which had been already expanding with the language. That consciously imposed religious change finally gave the Rus' and their state the well known Slavic-Christian face. It was a radical political decision which ended the already advancing acculturation of the stately elite. Christianization also had a centralization effect which helped to overcome the old multi-center power structure.

Therefore, these were not the steadily dying out contacts with Scandinavia and a slow «process of integration with other cultures [that] turned their original identity to something less important and eventually terminated it» (Duczko 2004, p. 7), but a ruthlessly executed change of the ideological foundations which made the display of the Nordic material symbols unattractive or even politically provocative.

Consequently, the latter disappear from the late 10th century graves. The introduction of a new symbolism is also manifested by a new design of the dynastic main attribute (trident) which combined traditional tanga with the new concept of the Holy Trinity. Location of the Church center in Kiev finally made this town the unquestionable capital of the state.

[5] On the origin of this name see Uspenskij, 2011, p. 111, footnote 6.

From this time on, the ethno-national, but also political, name Rus' became inseparably connected with the Orthodox Church and its earlier Scandinavian connotation was turned into a semi-legendary dynastic tradition located in the ancient pre-Christian past.

* * *

This short review indicates that despite the secondary character of their information (Sawyer, 1989, p. 27), basically, the Arabic authors had a correct overall view of the complex ethno-geographic situation in Eastern Europe. When combined with the Byzantine sources and with the «Primary Chronicle» their accounts allow us to see an originally slow process of cultural integration based on the blending of various traditions.

Originally, the term *Rhos/Rūs* was not an ethnonym but a collective designation of a «profession». The *Rūsiyyah* were sailing warriors-merchants who explored the East-European trade routes. They consisted of Scandinavians but also Finns and Slavs. The multi-ethnic meaning of the term deepened when the Rurikid dynasty subjugated Kiev and began to build their state in the area demographically dominated by Slavs but having strong steppe influence. These various elements are not easily discernible historically or archaeologically.

This process was finalized under Vladimir the Great, who reinforced his rule by imposing new religion. His political decision to convert himself and his people led to a quick formation of a new uniform identity. After 988 the Slavicisation of the Kievan state accelerated. Like in the earlier case of the Balkan Bulgars, this was made easier thanks to the vernacular Methodian liturgy which used Slavic translations of the essential texts. This way the «new Christian people» emerged (Primary Chronicle 45) and a Rus' became a Slavic speaking Christian.

Thus, there is no universal solution to the problem of the meaning of the *Rhos / Rūs / Rus'* name. Each time the question posed in the title of this paper is given, the answer will depend on the concrete context defined in chronological and geographical terms. The name should be discussed not only in cultural or linguistic terms but also as a political category of identification.

Original sources

Annales Bertiniani. Ed. G. Weitz. MGH, Ss. Hannover, 1883.

Hudud al-alam. The regions of the world. A Persian geography 372 A. H. – 982 A. D. Ed. V. F. Minorski. E. J. W. Gibb memorial series, N. S., 11. London, 1937.

Ibn Fadlan. Kitāb ilā Malik al-Saqāliba. Polish translation and commentaries by A. Kmietowicz, F. Kmietowicz i T. Lewicki // Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny. Vol. 3. Wrocław, 1985.

Ibn Khurdadhbih. Kitab al-masalik wa'l mamalik. Polish translation of relevant fragments and commentaries by T. Lewicki // Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny. Vol. 1. Wrocław, 1956. P. 43–160.

Ibn Rosteh. Kitab al-Alaq an_Nafisa. Translated and edited by T. Lewicki // Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny. Vol. 2. Wrocław, 1977.

Ibrahim ibn Yaqub. T. Kowalski. Ibrahima ibn Jakuba relacja z podróży do krajów słowiańskich w przekazie al.-Bekriego. Monumenta Poloniae Historica. Series nova. T. 1. Kraków, 1946.

Liutprand. Antapodosis. Ed. J. Becker. MGH, SS rer. Germ., 41.

Primary Chronicle. Ed. by A. Bielowski. MPH I. Lwów, 1864. S. 521–862; Polish translation by Franciszek Sielicki. Wrocław, 1999.

Literature

Bazylov L., 1975. Historia Rosji. Wrocław.

Christys A., 2012. The Vikings in the South through Arab eyes // Visions of community in the post-Roman world. The West, Byzantium and the Islamic world, 300–1100 / W. Pohl, C. Gantner, R. Payne (eds). Farnham. P. 447–457.

Danylenko A., 2006. The name «Rus'». In search of a new dimension // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. T. 52. Z. 1. S. 1–30.

Dolukhanov P. M., 1996. The early Slavs. Eastern Europe from the initial settlement to the Kievan Rus'. London.

Duczko W., 2004. Viking Rus'. Studies on the presence of Scandinavians in Eastern Europe. The Northern World. 12. Leiden.

Ruś wikingów. Warszawa, 2007.

Dunlop D. M., 1954. The history of Jewish Khazars. Princeton.

Golden P. B., 1995. Rūs // Encyclopedia of Islam. T. 8. Leiden. P. 618–629.

Heide E., 2005. Víking – «rower shifting»? An etymological contribution // Arkiv för nordisk filologi. T. 120. S. 41–54.

Viking, week, and Widsith. A reply to Harald Bjorvand // Arkiv för nordisk filologi. T. 123. 2008. S. 23–28.

Hraundal T. J., 2009. When and how did the Rūs /Rhos enter written sources? // North and south, east and west: movements in the Medieval world. Proceedings of the 2nd Postgraduate Conference of the Institute for Medieval Research, University of Nottingham, 30–31 May 2009 / J. Mills, M. Stern (ed.), Nottingham [published in electronic version].

Kennedy E. S., 1984. Studies in the Exact Islamic Sciences, Syracuse.

Lewicki T., 1956. Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny. T. 1. Wrocław.

Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny. T. 2.1. Wrocław, 1969.

Lewicki T., Czapkiewicz M., Kmietowicz A., Kmietowicz F., 1977. Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny. T. 2.2 [Ibn Rosteh]. Wrocław.

Logan F. D., 1991. The Vikings in History. London.

Melnikova E., 2004. The list of old Norse personal names in the Russinan-Byzantine treaties of the tenth century // Studia anthroponymica scandinavica: Tidskrift för nordisk personnamnsforskning. Vol. 22. P. 5–27.

Montgomery J. E., 2000. Ibn Fadlan and the Rūsiyyah' // Journal of Arabic and Islamic Studies. T. 3. P. 1–25.

Roslund M., 2007. Guests in the House. Cultural Transmission between Slavs and Scandinavians 900 to 1300 AD. The Northern World. 33. Leiden [translation of a book originally published in Swedish in Lund in 2001].

Sawyer P. H., 1989. Kings and Vikings. Scandinavia and Europe AD 700–1100. London.

Shepard J., 2011. Concluding remarks // Early Christianity on the way from the Varangians to the Greeks / I. Garipzanov, O. Tolochko (eds.). Kiev. P. 133–146.

Stang H., 1996. The naming of Russia. Oslo.

Tolochko O., 2011. «Varangian Christianity» in tenth-century Rus' // Early Christianity on the way from the Varangians to the Greeks / I. Garipzanov, O. Tolochko (eds.). Kiev. P. 58–69.

Urbańczyk P., 2008. Trudne początki Polski, Wrocław.

Identities of the Saqaliba and the Rusiyyah in early Arabic sources // Visions of community in the post-Roman world. The West, Byzantium and the Islamic world, 300–1100 / W. Pohl, C. Gantner, R. Payne (eds). Farnham, 2012. P. 459–447.

Uspenskij F., 2011. The advent of Christianity and dynastic name-giving In Scandinavia and Rus' // Early Christianity on the way from the Varangians to the Greeks / I. Garipzanov, O. Tolochko (eds.). Kiev. S. 108–119.

Кирпичников А. Н., Дубов И. В., Лебедев Г. С. Русь и варяги: Русско-скандинавские отношения домонгольского времени // Славяне и скандинавы / под ред. Е. А. Мельниковой. М. С. 189–298.

Резюме

П. Урбанчик

Кем были первые русы?

На протяжении более двух сотен лет историки и лингвисты пытаются найти этническое объяснение имени Rhos / Rūs / Русь. Письменные источники IX–X вв. указывают на отсутствие этнической/языковой ясности в отношении этих людей. Археологи со всей очевидностью регистрируют различия в материальной культуре различных районов Древней Руси и наличие в ней балто-финских, скандинавских и славянских элементов, дополненных степными традициями. Поэтому ответ на вопрос о значении названия Rhos / Rūs / рус может быть разным для каждого исторического контекста: требуется точное хронологическое и географическое его определение. Эта этнокультурная дифференциация населения Древнерусского государства может хорошо объяснить решимость князя Владимира, который выбрал одну религию и решительно принял ее в 988 году. После этой даты процесс «славянизации» Киевского государства ускорился, и Русь обрела хорошо известное славяно-христианско-православное лицо.

J. Shepard

Byzantine Emissions, not Missions, to Rus', and the Problems of «False» Christians

I shall glance at three aspects of rulership, religious professions and commerce in Rus' phenomena which at first sight contrast with one another, yet which are in fact mutually compatible. One might explain them wholly in terms of the internal dynamics of Rus' society, but it may be that they also have something to do with the attitudes and incidental side-effects of Byzantium: this empire's qualities were themselves multi-faceted, if not mutually contradictory. Our focus will be on Byzantine emissions of various kinds, which were more constant and influential than the formal Byzantine religious missions: the latter are notable for their virtual absence from such literary sources as have reliable historical contents.

Firstly, though, the aforementioned three aspects of Rus' are worth viewing side-by-side, as being interlinked, rather than merely contrasting. There is, to start with, a familiar aspect: the apparently rapid spread of Christianity among the Rus'. If the Russo-Byzantine treaty of 911 treats the term «Christians» as synonymous with «Byzantines» and takes the Rus' to be all pagans (ПВЛ, с. 19–20), one could no longer make this assumption by 944. The treaty of 944 provides for Rus' to swear by the Christian God, both in the course of legal disputes and in ratification of the treaty itself (ПВЛ, с. 24, 26). The rapid adoption of Byzantine Christianity by members of the political elite is personified by Princess Olga. She signalled her close proximity to the imperial family and her commitment to Christian observance in ceremonial ways, before the eyes of her sizable entourage. And besides taking the priest Gregory to receive fairly generous gifts from the emperor at both her state receptions, Olga was accompanied by many traders alongside envoys representing the other Rus' princes (DC. II. 15, p. 595, 597, 598). One may reasonably infer that trade was one of the subjects the princess «wanted to talk to the emperor about», in the words of Constantine VII's memorandum on the receptions (DC. II. 15, p. 596). This scenario suggests a Rus' leadership interested in trade, disposing of quite a complex apparatus of interpreters and ladies-in-waiting, and showing cultural sophistication. And it fosters the impression that «one thing led to another», a natural progression from commercial exchanges to the adoption of the religion of a prestigious trading-partner.

Such a scenario, however, stands in contrast with ample evidence of robustly non-Christian practices right up to the late tenth century, the second of our aspects of Rus'. The *Povest*'s famous description of Sviatoslav's lifestyle, the 971 treaty's invocation of Perun and Volos, and Leo the Deacon's account of the Rus' penchant for sacrifices gain corroboration from archaeological data about burial-practices at Kiev and Shestovitsa, and offer a rather different picture (ПВЛ, с. 31, 34; Leo the Deacon, p. 149–150. For the archaeological data, see Каргер, 1958, с. 166–205, 212–20; Блифельд, 1977, с. 12–30, 36–42, 92–108). And we should note allegations that Rus' professions of Christianity were false. These were made by two well-informed writers. One, the German bishop Adalbert, was himself the leader of a mission sent in response to Olga's request «for a bishop and priests to be ordained for [her] people» (Adalbert, 2002, p. 214–217). The other allegation comes from the Abbasid Director of Communications and Intelligence, Ibn Khurradadhbih, writing in the mid-ninth century. According to him, some Rus' pay a 10 per cent tax on goods to Byzantine authorities at a place most probably identifiable as Cherson, while others travel on to the Caspian Sea and Baghdad. On Muslim territory they claim to be Christians, so as to pay only the poll-tax and minimise outgoings. This will have constituted an offensive fraud in the eyes of an official like Ibn Khurradadhbih (Ibn Khurradadhbih, 1889, p. 115, 116). Such allegations of fraud deserve attention for two reasons. Adalbert's corroborates the other indications of Rus' paganism's vitality in the later tenth century: imposition of one cult to the exclusion of all others was simply beyond Olga's power, contravening what most members of the political elite saw as the function of their paramount prince (or prin-

cess). And, secondly, Ibn Khurradadhbih signals that the Rus' were acquainted with Christianity from a very early date, and were willing to profess it – presumably with the help of religious symbols such as crosses – for the purpose of maximising profit.

I shall return to the theme of the opportunistic profession of Christian identity, but not before considering the interlinkage between profit, physical survival and pleas for help from the gods, the third of our chosen aspects of Rus'. A couple of eyewitness reports may serve by way of illustration. Profitable dealings were of concern to the Rus' traders whom Ibn Fadlan encountered on the Middle Volga in 921. Each trader would make offerings to an idol, listing his goods for sale and praying to meet a rich merchant «who does not haggle with me». If business was disappointing, the trader would return to his idol repeatedly and make further offerings, in hopes of divine intervention in the market (Ibn Fadlan, 1985, p. 69). In contrast to these traders on the Volga, physical survival was of utmost priority to the Rus' when Constantine VII's agent observed them navigating the Dnieper Rapids in the 940s; in thanksgiving for passing the Rapids and reaching St Gregory's Island, individual Rus' offer up «whatever each may have, as is their custom, and sacrifice live cocks» (DAI, p. 60–61). But presumably commercial profit came to the fore once they arrived with their slaves in Constantinople, and they would then have resorted to the same sort of imprecations as Ibn Fadlan's traders did. We are, in short, dealing with desperate men, and the fact that some feigned Christian beliefs to evade tax – as Ibn Khurradadhbih recorded – is quite compatible with their frequent invocation of spirits, and also perhaps of the Christian God whose cross they may have been wearing. Such eclecticism is understandable if the Rus' resembled other frequent travellers in the North Atlantic and Mediterranean of the early middle ages, ever on the lookout for winning formulae of invocations and talismans, and liable to «spread their bets» by appealing to whatever superhuman powers were rumoured to possess some potency. These dynamics of experimenting are characteristic of societies where significant proportions of the male population are on the move from market to market, and where traditions bound up with agriculture and ancestral shrines carry rather less weight. They are set out clearly in Rimbert's *Life* of Bishop Ansgar, which recounts the proceedings of an assembly called to determine whether or not to allow Ansgar's mission to Birka to proceed. Reportedly, an old man argued in favour of accepting missionaries on practical grounds. Individuals who had travelled west to Dorestad had «felt … this religion to be to their own advantage»; the Christian God had given «great help» to those who placed their hopes in Him when facing «the perils of the sea» (Rimbert, 1978, p. 90–91). Mobility continued to characterise the lifestyle of the Rus' while they were trading with Byzantium in the tenth century, even if the perils of their sea-voyages and of their bases near the steppes required a more collective approach to commerce and a tighter political structure than was necessary along the northern river-ways (Франклин, Шепард, 2000, с. 167–186). It was this mobility and independent-mindedness that Olga had to reckon with when she took over the headship of the political structure of Rus' from her husband Igor, c. 945.

These, then, are the three aspects of Rus', and of the extraordinary enterprises which its leaders and traders were attempting in hopes of material gain, and all with the help of supernatural powers. The aspects are contrasting, but not incompatible, and Rus' attitudes towards profitable trading, physical survival and religious beliefs are best understood as ranging across a kind of spectrum. At one end of this spectrum is Princess Olga, a sophisticated individual who could conceive of Christianity in terms of rites and norms, rather than merely a formula for instant gains or physical survival. Overlapping with her end of the spectrum were persons, men but perhaps more often in the mid-tenth century women, who embraced the faith with similar zeal, but who also valued it in terms of social status; the exotic rites and apparatus which set them apart from those lacking the resources to employ a priest or to buy wine and oil for sacraments[1]. This upper-to-middle section of the spectrum is more or less static, but somewhere in the middle, and more habitually mobile, are those who adopted Christian rites, symbols and perhaps prayers from a mixture of personal belief, ambition for social status and distinction, and desire for their physical preservation from perils of travel and war. These persons, in turn, overlap with full-time merchants whom one might call «commercial travellers», the wealthiest being substantial enough to attend Olga's receptions as what the «Book of Ceremonies» terms *pragmateutai*; at the first reception each of them received the same gift – 12 *miliaresia* – as each envoy, although they only received 7 *miliaresia* apiece at the second reception (DC. II. 15, c. 597, 598). They may well have dealt mainly in slaves, judging by the close attention paid to slave-trading in the treaties. This high-value traffic not only involved major commercial risks for the slave-dealer; it also raised questions of the slaves' identity and religious affiliation, and the 911 treaty provides for the repatriation of any slave who proves to be a Christian (ПВЛ, с. 19). I do not think it too bold to suggest that this issue gave Rus' slave-dealers a strong incentive to purport to be «Christian» themselves. The means of determining who was, and who was not a «Christian» were uncertain. Presumably, it was very often a matter of one man's word against another's, and in such circumstances a slave-trader who could plausibly present himself as a Christian had a better chance of being believed than one who was flagrantly pagan.

[1] See, on the graves of such women and their children at Kiev, Каприв, 1958, с. 208–212, 174-176, 201–203 and table XVI: 11, XXVIII, XXIX. See also Jansson, 2005, p. 73–75; below, p. 00.

The same bias is likely to have weighed more generally in favour of those Rus' involved in criminal or civil cases in Byzantium who made a statement sworn by a Christian oath. So there were strong commercial incentives for the Rus' dealing in Byzantine markets to declare themselves Christian, and to equip themselves with symbols that might confirm their affiliation at a glance, crosses for example. This is not to deny that some of the «Christian Rus'» for whom the 944 treaty provides were baptised. But one suspects that opportunism may have something to do with the swift rise in the numbers of «Christian Rus'» registered in the 944 treaty, as against their total absence from the 911 treaty. There was not very much that the Byzantine authorities could do about this tendency, beyond harbouring doubts, reminiscent oft hose voiced by the Abbasid official Ibn Khurradadhbih.

This brings us to the question of Byzantium's own outlook on evangelisation and missions to convert other peoples to Christianity, and the activist role its propaganda had claimed for emperors since Constantine the Great's time. Should the authorities not have taken advantage of trading operations to spread the Word in the north? The provisions of the 944 Russo-Byzantine treaty might seem to be evidence of them doing so, and there were indeed pragmatic reasons for having oaths and contracts affirmed by a common oath, with violations subject to the same spiritual sanctions. This is not the occasion for exposition of the Byzantine «Establishment's» attitude towards religious missions in general (Shepard, 2002; Иванов, 2003, с. 328–344). One may simply note that despite their professions of zeal, Byzantine emperors in the middle ages were generally more concerned to act as guardians of orthodoxy and flaunt their special relationship with superhuman powers. In fact, there was a mismatch in Russo-Byzantine relations in the mid-tenth century. The emperor Constantine VII was an eloquent advocate of Byzantine exceptionalism and wary of any concessions to foreign regimes which might narrow the culturo-religious gap between them and the «Romans» (Byzantines). I believe that he was particularly averse to the Rus' and saw them as, in effect,Public Enemy Number One, who must be «contained» to the north of the steppes (DAI, p. 50–53; Shepard, 1999, p. 271–272, 274, 277). I shall not go into the reasons, beyond noting that Constantine would have been well aware that an imperially-sponsored mission to the Rus' had failed in the ninth century[2]. Paradoxically, this was the very time when some members of the ruling elite in Rus' were taking Christianity very seriously. Among them was Princess Olga who was baptised in Constantinople, ironically enough under Constantine's auspices. Not that Constantine VII, or any other emperor, was averse to individual Rus' notables receiving baptism. This might be preliminary to their staying in the empire for a while, like «the baptised Rus'» who were prominent in the guard of honour for Muslim envoys received in the Great Palace in 946 (DC. II. 15, p. 579). If they did return home, these individuals might well remain favourably disposed towards the place of their baptism, virtual «implants» who might have their uses in diplomatic terms[3]. But sending a full-blown mission to cooperate with a «barbarian» ruler in the task of transforming his society, aligning it fully to Christian norms, was a different matter. It seems to me overwhelmingly likely that Olga requested such a mission at the time of her visit to Constantinople, turning to Otto the Great upon being denied a full mission by Constantine VII. This rebuff could account for the rather sour note on which her exchanges with the emperor ended, according to the *Povest'*. It depicts her as sending a terse negative response to the message about furs, slaves and military aid that she received from him upon getting back to Kiev (ПВЛ, с. 30).

If deliberate missions sent from the imperial-ecclesiastical complex in Constantinople were very few in number, «emissions» of one sort or another were constant and on a quite massive scale. By emissions I mean virtually any kind of product or by-product of outsiders' dealings with Byzantium and its wares, the intended and unintended consequences of what they acquired from Byzantium, and the interpretations they placed on all this. I will confine myself to two types of emissions, one a kind of «drip-feed» from the capital, the other more or less unplanned, and a virtually everyday occurrenceon the imperial periphery. Firstly, the imperial government persistently associated its worldly success – wealth, military power, long-lasting order – to God and to the worship that emperor and people offered up to placateHim. Display of masses of money to «barbarians» was a standard means of stimulating demand, offering the prospect of enrichment to those who would perform services for the emperor (Peri presbeon, p. 124–125; Lee and Shepard, 1991, p. 30). Many of the gifts that outsiders received from the emperor carried the message of his unique proximity to God. Coins showed the emperor and Christ or a saint, and thus implied that he was the only mortal worthy of being portrayed in this medium. Such portrayal of an individual was liable to generate a mystique around him (or her) in many pre-modern societies (Maguire, 1997, p. 1040–1043, 1051–1052, 1053–1054; Morrisson and Bendall, 2012, p. 218–221).

Byzantine awareness and, indeed, exploitation of the effect this could have on «barbarians» is implied by the medallions and small crosses which emperors distributed at ceremonies and *ad hominem*[4]. One may note, for example, a copper medallion struck with the die of a *mil-*

[2] See the Life of Constantine's grandfather, Basil I, which he commissioned, recounting a mission allegedly successful but, to Constantine's certain knowledge, ineffectual: Vita Basilii. Ch. 97, p. 312–317.

[3] For examples of «men-on-the-spot» in various societies, see Shepard, 2011a, p. 715–722.

[4] DC I. 32, P. 173; Androshchuk, 2011, p. 81; Iordanov, 1979, p. 8–16; Dimitrova-Chudilova, 1994, p. 82–85, 88–91; Prigent, Morrisson and Papadopoulou, 2009, p. 201–213.

iaresion of John I Tzimiskesthat has been unearthed at Krakow (Salamon, 2009, p. 632; Shepard, 2011b, p. xxiii; see also Morrisson and Bendall, 2012, p. 221–225). As M. Salamon has suggested, a returning mercenary could well have brought this north as «a souvenir highlighting the emperor's majesty [rather] than a form of money», and it is not a long step from «majesty» to invocation of superhuman powers. Byzantine emperors were apt to present outsiders with images of themselves in close association with supernal powers in various guises, evocative of earthly success. One example of this is the magnificent silk showing, most probably, John Tzimiskes being received at Constantinople's Gate by two female personifications of the City, each handing him a «victory-crown» (Prinzing, 1993, p. 225–229 and fig. on p. 220; Prinzing, 2007, p. 125–127, 131–132; Stephenson, 2003, p. 62–63 and plate 2; Shepard, 2013, p. 348–349 and Fig. 12.3). This silk was given to an eleventh-century German bishop, Gunther of Bamberg, but portrayals of the emperor went to non-Christian as well as Christian potentates, and one may assume that Byzantine agents impressed upon them the supernatural qualities of the image itself as emphatically as they certainly did to Christian recipients. A court orator hailed Emperor Michael VIII's gift to the city of Genoa of a precious textile bearing his portrait as «a great remedy (φάρμακον) to those who love you. For even your image, if it is beside us, has many powers. It will be a firm means of defence (ἀμυντήριον) against our enemies, or averter of every plot, a strong bulwark (ἀποτρόπαιον) for your city and ours» (Manuel Holobolos, I, p. 46; Maguire, 1997, p. 1039–1040; Toth and Grabačić, 2011, p. 95–96). Manuel Holobolos delivered his original oration in celebration of the treaty Michael VIII made with the Genoesein 1261 (Macrides, 1980, p. 33–37 [arguing for 1265]; Toth and Grabačić, 2011, p. 94 and n. 21). But imperial spokesmen probably talked up the superhuman powers of the emperor's image no less hyperbolically when gifts were made to non-Christians in earlier periods!

The second set of religious emissions, the ones leaking from outposts of empire, can only be glanced at here, although the prime source of such emissions northwards, Cherson, deserves a conference of its own. I shall make two brief observations about the types of emission emanating from this city. Cherson was, in strictly material terms, a lesser market than Constantinople, and the Rus' frequenting it probably still had to pay 10 % transactions taxes (*kommerkia*) throughout the tenth century. But Cherson had the advantage over Constantinople of being reached fairly easily overland, and it was thus accessible to small groups of traders, Rus' among them, already in the ninth century, judging by Ibn Khurradadhbih's reportand by the finds of seals of Chersonite *kommerkiaroi* from the mid-ninth century onwards (for the 10 % payable by the Rus', see Ibn Khurradadhbih, 1889, p. 115; Alekseenko, 2007, p. 123–124, 129–131). In the mid-tenth century, and probably much earlier, Chersonites were travelling constantly across the steppes to the Middle Dnieper (DAI, p. 60–61). One measure of the proximity of Cherson to peoples north of the steppes are the finds of Chersonite copper coins in the Middle Dnieper region. These low-denomination coins presumably reached the Middle Dnieper mainly as small change in traders' purses (Кропоткин, 1962, карта 11, № 171, 177, 191; Богданова, 1991, с. 77–80 and Табл. 2 on С. 160; Ievlev, 2009, p. 666 and fig. 7 on p. 665. See now also Мусин, 2010, с. 35–46). We get a glimpse of contacts of a slightly different sort from Constantine VII's description of the Chersonites' habit, in the mid-tenth century, of engaging individual nomads – Pechenegs – to «perform services» among the Rus' and other northern peoples, «either on the emperor's behalf or their own» (DAI, p. 52–53). These services would seem to have been a mixture of intelligence-gathering and message-bearing, and they give us an idea of the intensity of contacts between the Dnieper Rus' and the imperial periphery. Equally, not all the travel done between Cherson and Khazaria, the Middle Dnieper and beyond need have been for purposes of trading or in the service of the Byzantine state, and this brings us to another, more specifically religious type of emission from Cherson.

Cherson was in the middle ages revered as the see of holy bishops dating back to early Christian times, and one of Constantine-Cyril's accomplishments during his stay there in 861 was to retrieve the relics of St Clement, taking some of them back with him to Byzantium and, eventually, on another mission far to the west, ending up in Rome (Life of Constantine-Cyril, 1973, p. 96; Nikolov, 1997, p. 85–86, 89–90). The archbishop of Cherson's capacity for mission-work occasionally features in extant written sources, as when the patriarch of Constantinople instructed one incumbent of the see to take charge of missionary efforts among the Khazars,whose ruling elite were Judaist (Nicholas Mystikos, 1973, p. 314–315). Patriarch Nicholas Mystikos later thanked him for his «zeal on behalf of that deluded nation», and left it to him to choose who should be ordained as the archbishop of Khazaria, apparently from amongthe local clergy. And a seal of Nicholas found at Cherson attests his correspondence with the archbishop or other notables there (Nicholas Mystikos, 1973, p. 390–391; Алексеенко, 2004, с. 260–264; Wassiliou-Seibt et al., 2010, p. 102). All this is well-known, but only recently has the vigour and range of activities with anunmistakably Christian connotation of Cherson's inhabitants and visitors come into sharper focus, thanks to archaeology. Not only were a sizable number of churches and monasteries in use,some of the most monumental lining the main market-place (Богданова, 1991, с. 104, 108–112; Сорочан, 2009, с. 170–173, 175–183, 192–193, табл. 1 (list of churches datable to fifth to seventh centuries on p. 174)): conversion work culminating in baptism was actively under way, judging by finds there of shallow white-clay cups with black crosses on their base, dat-

able to the ninth and tenth centuries. V. Zalesskaia has interpreted these as «liturgical bowls» from which newly-converted adults would drink milk and honey, symbolising their re-birth in Christ and fitness to enter into paradise (Zalesskaia, 1990, p. 215–216, 221–223). Some of the inhabitants of Cherson went on pilgrimages as far away as the Holy Land, if Zalesskaia is correct in regarding certain cross-encolpia found there as tenth- or eleventh-century mementoes brought back from Syria or Palestine, alongside the small ampoulae that were certainly designed for carrying oil or holy water from the Holy Land (Залесская, 2006, с. 109–110; Jašaeva, 2010, p. 483–484, Abb. 7. 1–2; Abb. 8. 1–2).

There has also come to light a memento of a slightly later pilgrimage, a pierced shell from Santiago de Compostela found in a grave of the eleventh or twelfth century, together with one of the forementioned ampoulae: the well-travelled occupant would seem to have passed through Constantinople, and perhaps more than once (Jašaeva, 2010, p. 485). The scholar who published this shell, T. Jašaeva, also linked with pilgrimages the find at Cherson of a stone mould for casting items in the ninth and tenth century (Jašaeva, 2010, p. 479, abb. 2 (a) and (b) on p. 481) (see Figure 1). On one side of the mould is a circular medallion containing an unnamed saint, with the legend in Greek: «Lord, help the bearer [of this]! Amen». On the other side is a shell-shaped pendant and, separately, a pectoral cross (Jašaeva, 2010, p. 479). Jašaeva infers that Cherson was itself the objective of pilgrims, for whom these objects were manufactured. In light of the cult of the bishops of Cherson whose *Lives* were in circulation in Slavonic translations in the eleventh century, and conceivably earlier still, this is possible (Tolochko, 2011, p. 62). Yet doubt arises as to whether the items need be so pilgrim-specific, especially when one considers that one of them lacks Christian symbolism and looks very like a belt mount (Jašaeva, 2010, p. 481, Abb. 2(b)). At any rate, the mould is an example of religious emissions from the Byzantine world, producing items that may have been for domestic or local consumption, but which were also available to external visitors, who need not have been baptised Christians. Indeed, there could be some connection between the crosses produced from this mould and pendant crosses of a type (Staeckers Type 1.2.2) found in the Middle Dnieper region, near Smolensk, and also at Birka, and datable to the mid-tenth century if not earlier.



a *b*

Figure 1: Stone mould found at Cherson (taken from Jašaeva, 2010, p. 481)

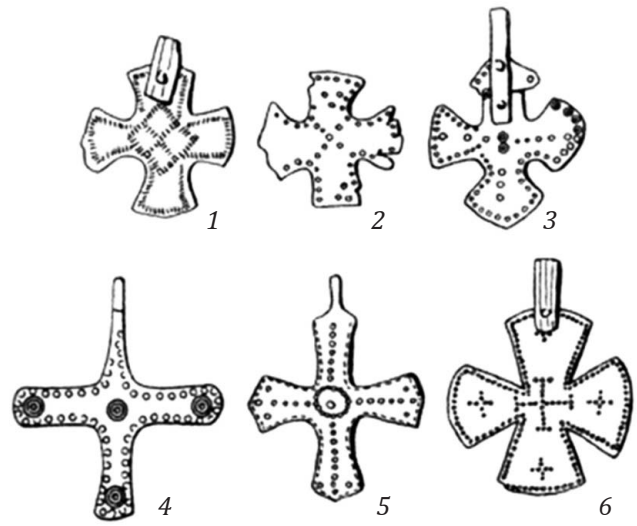


Figure 2: Pendant crosses found in early Rus' graves (taken from Jansson, 2005, p. 75)

Particularly noteworthy are the pendant cross found in a chamber-grave at Gnezdovo (near Smolensk) and the cross found in a chamber-grave at Shestovitsa (near Chernigov). Neither their proportions nor their profiles are identical to those of the crosses that our Cherson mould would have turned out (see Figure 2: 4 and 5). But dotted lines provided ornamental motifs on the mould's products, as they did on the two crosses, and there is a striking similarity between the disposition of the five small roundels on the mould's products and the four on the Shestovitsa cross[5].

Although neither the Gnezdovo nor the Shestovitsa cross can be attributed directly to our Cherson mould, they do seem to have been cast in moulds, whereas the other pendant crosses of this type found in Rus' were made out of sheet-metal (Jansson, 2005, p. 70; fig. 15

[5] For the mould for producing crosses found at Cherson, see Jašaeva, 2010, p. 479 and Abb. 2(a) on p. 481. For illustrations of the pendant cross found at Shestovitsa in Barrow no. 78, see Блифельд, 1977, табл. XXII: 3, с. 211; Jansson, 2005, fig. 15: 4 on p. 75. For the pendant cross found at Gnezdovo in Barrow no. C-198, see Petrukhin and Pushkina, 1997 [1998], fig. 1: 10 on p. 248; Jansson, 2005, fig. 15: 5 on p. 75. For discussion of this type of cross (Staeckers Type 1.2.2) and the contexts of the finds at Gnezdovo and Shestovitsa, see Petrukhin and Pushkina, 1997 [1998], p. 250; Jansson, 2005, p. 70–74.

on p. 75). The Gnezdovo and Shestovitsa crosses are of silver, like most other examples of this type from Rus' and, like five of the examples found in Birka, they come from well-furnished women's chamber-graves. These women have been characterised by Ingmar Jansson as «high up on the social scale» (Jansson, 2005, p. 74), and the similarities in inventories, styles of ornament and ritual between the graves in Birka and the Middle and Upper Dnieper regions could point towards a place, or places, of manufacture in the Russo-Swedish ambit for our two pendant crosses from Gnezdovo and Shestovitsa[6]. The facts that their respective owners were buried in a sitting position, and that the goods in the huge chamber-grave at Shestovitsa included a wooden bucket and the head of a cow besides three pots, bespeak ideas about deportment in and equipment for the next world far-removed from those of Eastern Christian priests or spiritual guides[7]. Nonetheless, the diverse silks and strips of brocade in which the wealthy occupant of the Shestovitsa grave was dressed had most probably been imported from the markets of Byzantium[8]. So one should not rule out the possibility that her pendant cross, one of a total of four silver pendants on her necklace, likewise emanated from the Byzantine world, and perhaps from a workshop in Cherson. The cross might have been acquired by the woman's husband or some male relative, while he was trading there or at some other market where Christian symbols could encourage trust in his word – or lower the rate of taxes payable to the Muslim authorities.

All this is, of course, speculative and one must make clear that no pendant crosses cast specifically from our Cherson mould have been found to the north of the Black Sea steppes or, indeed, anywhere else. Nonetheless, the hazardous trading conditions and the readiness of itinerant traders to invoke higher powers for their physical survival and material profit that we noted earlier would have made such crosses a desirable talisman: «Lord, help the bearer!», in the words of one of our Cherson mould's products. So would the need to pass oneself off as a Christian in situations in the Muslim or Byzantine world where this might reduce one's outgoings on taxes, or improve the chance that one would be taken at one's word in the event of commercial disputes and oath-swearing. So, I suggest, pendant crosses and other types of cross may often have served as symbols of convenience for traders dealing with Muslim or Byzantine authorities. They were «identity-badges» of a sort, but did not necessarily denote full Christian commitment or regular observances. As I have tried to emphasise, multiple affiliations may have seemed prudent to northerners, whether they were trading at Cherson or other Black Sea markets, or at Constantinople itself. Conversely, there could have been some dedicated (and baptized) believers among those professing the faith to Byzantine officials and flashing their pendant crosses. On the spectrum mentioned earlier, the only individuals more or less irrevocably committed to Christian rites and norms were those who had a priest ever to hand, and these were few, perhaps mostly women of high status and with the means to run households. The only such person we know by name is, after all, Olga, whose priest seemingly carried out her directions concerning her funerary rites (ПВЛ, с. 32). She presided over a political structure based on the Middle Dnieper and rather tighter-knit than what ever may have obtained among the Rus' in the ninth century. Yet she was in no position to impose regular Christian worship on her fellow princes, as the abortive nature of Bishop Adalbert's mission shows and the tale of Sviatoslav's rebuff to her attempts to convert him epitomises (ПВЛ, с. 30).

The profusion of sub-Christian practices, especially the co-existence of Christian oaths taken on the cross with robust paganism, may well have prompted Adalbert's cry of fraud. Perhaps the very fact of long acquaintance with Christian rites and easy access to forms of them, including pendant crosses at Cherson, could have fostered sub-Christian observances which only the most pious individuals or socially ambitious Rus' were able to rise above. There are no clear signs of a steady advance towards the institution of regularly practicing Christians or organized worship in Rus' in the later tenth century. In fact, excavations on the south-eastern part of the Starokievskaia Hill at Kiev seem to point towards the peaceful co-existence – or, at least, co-burial – of Christian and non-Christians right up until c. 988. The pit-burial in a coffin of a child wearing a cast-silver cross around its neck lies only a few metres from some chamber-graves, including one that housed a man, his horse and equipment for the after-life, such as riding-gear and a wooden bucket (Боровський, Калюк, 1993, с. 8–9 and Illustration 5 on c. 10). The man, or rather his next-of-kin, could perhaps have believed in Christ's powers, for chamber-graves were not necessarily a mark of wholesale rejection of Christianity. We have already noted the pendant cross resembling products from the Cherson mould that was found in a well-furnished chamber-grave at Gnezdovo (no. C-198). The cross' female owner was buried in the sitting position sometimes favoured by occupants of wholly pagan chamber-graves. The same posture was taken by a woman wearing a pendant cross in another well-stocked chamber-grave

[6] For a map showing the distribution-pattern of finds of pendant crosses of this type (Staeckers Type 1.2.2), see Jansson, 2005, p. 74, fig. 14.

[7] For the contents and funeral ritual of the Shestovitsa chamber-grave (Barrow no. 78), see Блифельд, 1977, с. 22, 58–59, 95, 161–163. For the Gnezdovo chamber-grave (Barrow no. C-198) see the general description, albeit lacking any mention of the silver pendant cross, by Авдусин и др., 1977, с. 41. See also, for mentions of the cross and its cultural context, Avdusin and Pushkina, 1988, p. 30–31.

[8] For the fragments, and the two tortoise-shell brooches and the horseshoe-shaped brooch also forming part of her adornment, see Блифельд, 1977, с. 43, 103–104, 161–162.

at Gnezdovo (C-301) (Petrukhin and Pushkina, 1997 [1998], p. 250). Both these graves also contained candles, a common Christian symbol. Not very far from the forementioned child's grave and the well-equipped rider's chamber-grave on the Starokievskaia Hill stood a structure that seems to have been a shrine replete with the chopped and burnt bones of birds and animals, most probably sacrifices. Among the ashes were also many shards of tenth-century pottery and a pendant cross, although the shrine was clearly dedicated to rites other than those for worshiping the Christian God (Боровський, Калюк, 1993, с. 11–12; Map in Illustration 1, с. 4). The Starokievskaia burial-ground, perhaps even more than the burial-grounds at Gnezdovo and Shestovitsa, encapsulates the «multi-cult» character of tenth-century Rus'. This situation could, I suggest, have lasted indefinitely, as it did in Khazaria, where Muslim, Christian and pagan communities co-existed with a Judaist elite. The assortment of shrines and cult-objects discussed above seems to have been sufficient for all the various needs of the Rus', whether commercial profit, socio-political status, physical survival or spiritual awakening was at issue.

Seen from this perspective, the praise Metropolitan Ilarion and other writers heaped on Prince Vladimir Sviatoslavich for imposing full Christian ecclesiastical organization and worship upon his people at a stroke has some justification. They may simplify matters in depicting the people as hitherto wholly idolatrous and un-Christian and they reveal little about the inner thoughts and mental reservations of the citizens of Kiev, upon whom Vladimir enforced baptism, «rich and poor a like» (Иларион, 1997, с. 38, 40, 44, 46; ПВЛ, с. 53, 58). But the theme of obligatory conformity to a single cult is, significantly, present both in the *Povest'*s vivid details of the mass-baptism (perhaps deriving ultimately from eyewitnesses) and in Ilarion's polished encomium for Vladimir's «strength and might'»; as Ilarion puts it, «his piety was coupled with power» (ПВЛ, с. 52–53; Иларион, 1997, с. 44). If the transformation Vladimir brought about was not quite the instantaneous «Night into Day» that Ilarion depicts, it was a kind of «Grey into Light», in that Vladimir put an end to the «Do-It-Yourself» variants of Christianity that seem to have proliferated until the late tenth century. There was, probably, heavy symbolism in his choice of the Starokievskaia burial-ground as the site for the large, richly-decorated church built in his new palace-complex, dedicated to the Virgin and designed on the lines of the Pharos church in the emperor's Great Palace in Constantinople (Комеч, 1987, с. 168–176). Vladimir was signalling the inseparable bond between regular Christian worship and his unique right to leadership – and doing so on the site of what had been the multi-cult burial-ground of choice of the socio-political elite of Rus' until that time (Каргер, 1958, с. 134, 166, 198–205, 220–227; Килиевич, 1982, с. 42–48; Petrukhin and Pushkina, 1997 [1998], p. 249, 251–252; Androshchuk, 2011, p. 88–89). The «multiple choice» Rus' of the ninth and tenth century had come to an abrupt, and far from inevitable, end.

Original sources

Adalbert. Continuatio Reginonis // ed. A. Bauer and R. Rau. Quellen zur Geschichte der sächsischen Kaiserzeit. Darmstadt, 2002. S. 185–231.

Ibn Fadlan. Risāla // ed. T. Lewicki. Źródla arabskie do dziejów słówiańszczyzny, III. Wrocław-Warsaw-Cracow-Gdansk-Łodz, 1985.

Ibn Khurradadhbih. Kitab al-masalik // ed. and French tr. M. J. de Goeje. Kitab al-masalik wa-al-mamalik (Liber viarum et regnorum). Leiden, 1889. (Bibliotheca geographorum arabicorum 6).

Leo the Deacon. Historiae libri decem / ed. C. B. Hase. Bonn, 1828.

Life of Constantine-Cyril // ed. B. S. Angelov and K. Kodov. Kliment Okhridski, S'brani s'chineniia, III. Sofia, 1973. P. 89–109.

Manuel Holobolos. Orationes // ed. M. Treu. Programm des königlichen Victoria-Gymnasiums zu Potsdam : 2 vols. Potsdam, 1906–1907.

Nicholas Mystikos. Nicholas I Mystikos, patriarch of Constantinople / Letters, ed. and tr. R. J. H. Jenkins and L. Westerink. Washington, DC, 1973. (Corpus fontium historiae byzantinae 6).

Peri presbeon // Peri Strategias / ed. and tr. G. T. Dennis, Three Byzantine Military Treatises. Washington, DC, 1985. P. 10–135 [text of Peri presbeon on P. 124–127].

Rimbert. Vita Anskarii // ed. and tr. W. Trillmich and R. Buchner. Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reiches. Darmstadt, 1978. P. 16–133.

Vita Basiliii // ed. and tr. I. Ševčenko. Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur Liber quo Vita Basilii imperatoris amplectitur. Berlin, New York, 2011. (Corpus fontium historiae byzantinae 42).

Иларион, 1997. Слово о законе и благодати митрополита Киевского Илариона / подготовка текста и комментарии – А. М. Молдован, перевод А. Юрченко // Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачёва и др. СПб. Т. 1. С. 26–56.

Literature

Alekseenko M., 2007. La douane du thème de Cherson au IXe et au X siècle: les sceaux des commerciaires // A. Aibabin and H. Ivakin (eds.). Kiev – Cherson – Constantinople. Kiev ; Simferopol ; Paris. P. 121–164.

Androshchuk F., 2011. Symbols of Faith or Symbols of Status? Christian Objects in Tenth-Century Rus' // I. Garipzanov and O. Tolochko (eds.). Early Christianity on the Way from the Varangians to the Greeks. Kiev. P. 70–89. (Ruthenica. Supplementum 4).

Avdusin D. A. and Pushkina T. A., 1988. Three Chamber Graves at Gniozdovo // Fornvännen 83. P. 20–33.

Dimitrova-Chudilova S., 1994. Durchlöcherte byzantinische Münzen im mittelalterlichen Bulgarien. Bulgarian Historical Review 22/4. P. 82–100.

Ievlev M. M., 2009. A Remarkable 10th Century Warrior Burial from the Tumulus on the Territory of Prince Volodymyr's Town in Kyiv, Ukraine // M. Wołoszyn (ed.) Byzantine Coins in Central Europe Between the 5th and 10th Century. Cracow. P. 659–666.

Iordanov I., 1979. Vizantiiski falshivi zlatni moneti. Numizmatika 13/4. P. 8–16.

Jansson I., 2005. Situationen i Norden och Österuropa för 1000 år sedan – en arkeologs synpunkter på frågan om östkristna inflyttanden under missionstiden // H. Janson (ed.). Från Bysans till Norden. Stockholm. P. 37–95.

Jašaeva, T., 2010. Pilgerandenken im byzantinischen Cherson // F. Daim and J. Drauschke (eds.). Byzanz – das Römerreich im Mittelalter, II. 1. Mainz. P. 479–491.

Lee D. and Shepard J., 1991. A Double Life: Placing the Peri Presbeon // Byzantinoslavica 52. P. 15–39.

Macrides R., 1980. The New Constantine and the New Constantinople – 1261? // Byzantine and Modern Greek Studies 6. P. 13–41.

Maguire H., 1997. Magic and Money in the Early Middle Ages // Speculum 72. P. 1037–1054.

Morrisson C. and Bendall S., 2012. Byzantine «Medals»: Coins, Amulets and Piety // D. Sullivan et al. (eds.). Byzantine Religious Culture. Studies in Honor of Alice-Mary Talbot. Leiden ; Boston. P. 217–238.

Nikolov S., 1997. The Magyar Connection or Constantine and Methodius in the Steppes // Byzantine and Modern Greek Studies 21. P. 79–92.

Petrukhin V. I. and Pushkina T. A., 1997 [1998]. Old Russia: the Earliest Stages of Christianization // M. Müller-Wille (ed.). Rom und Byzanz im Norden. Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum während des 8.–14. Jahrhunderts, II. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Jahrgang 1997, No. 3. S. 247–258.

Prigent V., Morrisson C. and Papadopoulou P., 2009. Quatre tèsseres de plomb et un portrait de l'empereur Christophore Lécapène // Numismatica, Sphragistica and Epigraphica 5. P. 201–213.

Prinzing G., 1993. Das Bamberger Gunthertuch in neuer Sicht // Byzantinoslavica 54. P. 218–231.

Prinzing G., 2007. Nochmals zur historischen Deutung des Bamberger Gunthertuch auf Johannes Tzimiskes // M. Kaimakamova et al. (eds.). Byzantium. New Peoples, New Powers. Byzantina et Slavica Cracoviensia 5. Cracow. P. 123–132.

Salamon M., 2009. A Gilded Miliaresion from Excavations in the Market Square in Cracow // M. Wołoszyn (ed.). Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th Century. Cracow. P. 625–634.

Shepard J., 1999. Constantine VII's Doctrine of «Containment» of the Rus' // Геннадіос. К 70-летию академика Г. Г. Литаврина / ред. Б. Н. Флоря, С. А. Иванов. М. С. 265–283.

Shepard J., 2002. Spreading the Word: Byzantine Missions // C. Mango (ed.). The Oxford History of Byzantium. Oxford. P. 230–247.

Shepard J., 2011 a. Troubleshooters and Men-on-the-Spot: the Emperor's Dealings with Outsiders' // LVIII Settimana di Studio sul tema «Le relazioni internazionali nell'alto medioevo». Settimane di studio della Fondazione Centro Italiano di studi sull'alto Medioevo LVIII. Spoleto. P. 691–733.

Shepard J., 2011 b. Introduction // J. Shepard, Emergent Elites and Byzantium in the Balkans and East-Central Europe. Farnham. P. xix-xxxv.

Shepard J., 2013. Adventus, Arrivistes, and Rites of Rulership in Byzantium and France in the Tenth and Eleventh Century // A. Beihammer et al. (eds.). Court Ceremonies and Rituals of Power in the Medieval Mediterranean. Leiden. P. 337–371.

Stephenson P., 2003. The Legend of Basil the Bulgar-Slayer. Cambridge.

Tolochko O., 2011. «Varangian Christianity» in Tenth-Century Rus' // I. Garipzanov and O. Tolochko (eds.). Early Christianity on the Way from the Varangians to the Greeks. Kiev. P. 58–69. (Ruthenica. Supplementum 4).

Toth I. and Grabačić M., 2011. The Narrative Fabric of the Genoese Pallio and the Silken Diplomacy of Michael VIII Palaiologos // H. G. Meredith (ed.). Objects in Motion: The Circulation of Religion and Sacred Objects in the Late Antique and Byzantine World. Oxford. P. 91–109.

Wassiliou-Seibt A. K. et al., 2010. Seals Published (2002–2006) // Studies in Byzantine Sigillography 10. P. 99–154.

Zalesskaia V. N., 1990. Byzantine White-Clay Painted Bowls and Cylix-Type Cups // R. Morris (ed.). Church and People in Byzantium: Twentieth Spring Symposium of Byzantine Studies, Manchester, 1986. Birmingham. P. 215–224.

Авдусин Д. А. и др., 1977. Раскопки в Гнёздове // АО 1976 г. М. С. 41.

Алексеенко Н. А., 2004. Булла патриарха Николая Мистика из Херсона // Древности. Харьков. С. 260–264.

Блифельд Д. І., 1977. Давньоруські пам'ятники Шестовицы. Київ.

Богданова Н. М., 1991. Херсон в X–XV вв. Проблемы истории византийского города // Причерноморье в Средние века / под ред. С. П. Карпова. Вып. 1. М. С. 8–172.

Боровський Я. Є., Калюк О. П., 1993. Дослідження Київського дитинця // Стародавній Київ : археологічні дослідження 1984–1989 / відп. ред. П. П. Толочко. Київ. С. 3–42.

Залесская В. Н., 2006. Византийские евлогии св. Николая // Христианская иконография Востока и Запада в памятниках материальной культуры Древней Руси и Византии. СПб. С. 108–120.

Иванов С. А., 2003. Византийское миссионерство. Можно ли сделать из «варвара» христианина? М.

Каргер М. К., 1958–1961. Древний Киев. М. ; Л. Т. 1–2.

Килиевич С. Р., 1982. Детинец Киева IX – первой половины XIII в. Киев.

Комеч А. И., 1987. Древнерусское зодчество конца X – начала XII в. : византийское наследие и становление самостоятельной традиции. М.

Кропоткин В. В., 1962. Клады византийских монет на территории СССР. М.

Мусин А. Е., 2010. Находки херсоно-византийских монет на территории Древней Руси и «путь из варяг в греки» // Диалог культур и народов средневековой Европы : к 60-летию со дня рождения Е. Н. Носова / ред. : А. Е. Мусин (ред.-сост.), Н. В. Хвощинская. СПб.

Сорочан С. Б., 2009. Об архитектурном комплексе большой агоры византийского Херсона // ВВ. № 68 (93). С. 170–193.

Франклин С., Шепард Д., 2000. Начало Руси, 750–1200 / пер. с англ. Д. М. Буланина и Н. Л. Лужецкой. СПб.

Резюме

Дж. Шепард

Торговые эмиссары Византии вместо духовных миссионеров и проблема «ложных» христиан в Древней Руси

Статья посвящена трем аспектам (государственное управление, торговля и религия) исторического развития Руси в IX–X веках в связи с проблемой ее христианизации. Среди первых христиан Руси в это время можно выделить две категории. К первым, принявшим христианство со всеми его догмами и обрядностью, относилась, вероятно, наибольшая часть элиты, в основном женщины. Самый яркий пример – княгиня Ольга, видевшая в новой вере основу для будущего политического процветания государства. Вторая категория обращенных – так называемые «ложные» христиане – в основном это купцы, занимавшиеся международной торговлей: в зависимости от ситуации христианство и язычество исповедывались ими в равной мере. Причиной тому явилась политика Византии: ее императоры видели в церкви инструмент распространения своего влияния на северных соседей. Христиане из варварских стран имели привилегии в торговле на рынках империи (в первую очередь в Константинополе) и определенную защиту в пути. Благодаря такой политике, количество новообращенных на Руси стремительно увеличивалось с начала X века.

Судя по археологическим находкам, особое место в политике Византии занимал Херсон. Торговля там была менее выгодна для русских купцов, но это компенсировалось его близким расположением к Киеву и особой репутацией города как религиозного центра в связи с миссиями святителей Кирилла и Мефодия и другими событиями.

О мирном сосуществовании язычества и христианства на Руси в описываемое время свидетельствуют материалы могильников – Гнёздова, Шестовицы и особенно на Старокиевской горе, где в одних и тех же погребениях встречаются черты обрядности обеих религий.

До конца X столетия Русь не была готова принять христианство в качестве государственной религии, что подтверждается неудачными чисто церковными миссиями, например, епископа Адальберта к князю Святославу – политические и экономические меры до поры оказывались более действенными.

Конец двойственности вероисповедания положило крещение всего населения Руси при князе Владимире, чье благочестие, по словам митрополита Илариона, было неразрывно связано с властью.

Описанная картина характерна в целом для ранних государственных образований, когда значительная часть мужского населения, занимавшаяся торговлей, была вынуждена постоянно путешествовать, поэтому местные культы, связанные с земледелием и местными традициями, теряли свой вес.

А. А. Медынцева

О письменности на Руси (IX–X вв.) по данным эпиграфики

Происхождение письменности на Руси, время ее возникновения, ее характер – одна из самых дискуссионных проблем русской истории. Уже в середине XIX столетия ученым стали известны отдельные факты, в основном литературного характера, свидетельствующие о наличии христианства и письменности на Руси задолго до официального крещения. При этом проникновение письменности на Русь связывается обыкновенно с ее христианизацией, которая, по мнению большинства современных исследователей, не была единовременным событием.

Литературные свидетельства о «русской» письменности IX–X вв. известны уже многим поколениям исследователей, и по каждому из них имеется обширная литература, содержащая самые различные их истолкования. В задачу данной работы не входит их специальный анализ. Нужно отметить известную ограниченность этих данных, дошедших в поздних списках и допускающих различное истолкование, хотя комплекс их, несомненно, указывает на использование какой-то письменности в русском раннегосударственном объединении уже в IX–X вв.

Отдельные факты об использовании письменности в дохристианской Руси (имеется в виду время до официального принятия христианства) долгое время, как правило, рассматривались как некоторые любопытные факты, вне процесса исторического развития. Обычно появление письменности связывалось лишь с деятельностью византийских или иных миссионеров по распространению христианства, изолированно от социально-исторических процессов, характеризовавших сложение государственности Древней Руси.

Заслугой ученых советского периода является постановка вопроса о появлении письменности на Руси в связи с общим социально-экономическим развитием, с внутренними потребностями складывающегося государства. О характере этой государственности и времени ее сложения существуют многочисленные гипотезы, обзор которых выходит за пределы данной статьи. Более того, в постсоветское время появились сомнения и в наличии государства «Киевская Русь», и во времени его образования (Данилевский, 1998, с. 164–170). По мнению некоторых ученых, на Руси развитая письменность начинает действовать в условиях смены первобытных (родовых) отношений общинными в процессе формирования городов-государств (Фроянов, Кривошеев, Дворниченко, 1995, с. 117–118, 126). Оставляя в стороне дискуссию о времени и характере возникновения древнерусской государственности, нужно отметить, что такие ее функции, как законодательная, регулярный сбор фиксированной дани, дипломатия, внешняя торговля, настоятельно требовали письменного оформления, чему имеются отрывочные летописные свидетельства. И в наши дни для многих исследователей появление и развитие письменности является несомненным следствием социокультурных процессов, становления государственности и развития торговли и городов (Медынцева, 1983, с. 86–97; Рождественская, 1991, с. 188–200; 1994, с. 8–9; 2012, с. 489–513; Гиппиус, 2004; Франклин, 2010).

Но в решении вопроса о характере используемой письменности этого периода до сих пор не достигнуто существенных успехов. Нельзя не отметить и то обстоятельство, что исторический подход к проблеме возникновения письменности на Руси при неясных и отрывочных сведениях письменных источников подтолкнул к поискам оригинальной, отличной от других письменности, к попыткам доказать, что письмо самостоятельно возникло у восточных славян еще с глубокой древности. Подчас за «оригинальное» письмо выдаются и такие откровенные подделки, как так называемая «Велесова книга». Сочетание больших претензий с неизученностью материала порождает сенсационные и недолговечные «открытия», которые и в наши дни продолжают пышно расцветать на обочинах исторической и филологической науки.

Отсутствие синхронных данных, неясность и отрывочность письменных сведений, относящихся

к тому же к более позднему времени, закономерно обращают внимание на источники эпиграфические эпохи образования древнейшего государственного объединения – Киевской Руси. Но и памятники эпиграфики этого времени немногочисленны и фрагментарны и до конца не расшифрованы, точные датировки их невозможны. Даже датировки определенным хронологическим периодом не всегда доказательны. Тем не менее обобщение известных до сего времени эпиграфических данных уже дает возможность высказать некоторые соображения об использовании письма и его характере в самый ранний период – до официального крещения и первые десятилетия спустя.

Комплексно рассматриваемые редкие эпиграфические находки (надписи на фрагментах керамики, граффити на монетах, на немногочисленных предметах быта), как давно открытые, так и ставшие известными в последнее время, недвусмысленно свидетельствуют о знакомстве с письмом и его использовании в раннегородских поселениях и городах в некоторых сферах, таких как дипломатия, внешняя торговля, по крайней мере с начала – середины X в. (Медынцева, 1983, с. 86–97; 2000, с. 230–252; Рождественская, 1985, с. 21–27; 1987, с. 36–44).

Известные до сего времени памятники эпиграфики IX–X вв. принадлежат к различным письменным системам. В первую очередь необходимо отметить находки рунических надписей, из них несколько датируются интересующим нас временем (более ранние и относительно поздние надписи не учитываются). Две из них найдены в Старой Ладоге. Первая, начерченная на обломке круглой деревянной палочки, на основании данных рунологии и археологической стратиграфии датируется первой половиной IX в. Надпись окончательно не расшифрована, по предположению специалистов, представляет написанное «рёкскими» рунами магическое заклинание на древке стрелы (Мельникова, 1977, с. 158–162; 2001, с. 178–179, 202–206).

Вторая надпись найдена там же, в Старой Ладоге, на раскопе, расположенном близ Варяжской улицы, в слоях второй половины X в. Она начертана на тонкой медной пластинке с ушком для привешивания. По заключению рунологов, большинство рун этой надписи не совсем обычны и чтение ее не бесспорно. Е. А. Мельникова предполагает, что надпись представляет магическое заклинание на амулете. При чтении получаются отдельные допустимые скандинавские слова и их сочетания, но полное смысловое толкование надписи пока невозможно. Всё же, как отмечает Е. А. Мельникова, амулет с магическими рунами мог иметь значение только для скандинава (Мельникова, 1977, с. 163, 169; 2001, с. 202–206). В 1983 г. на Рюриковом городище под Новгородом обнаружены еще две однотипные рунические надписи на подвесках-амулетах, датированные второй половиной X в. (Носов, 1983, с. 22). Позднее датировка их была уточнена: время попадания их в землю определено как вторая половина X – рубеж X–XI вв., следовательно, функционирование их относится к более раннему времени. По содержанию они являются благопожелательными магическими заклинаниями (Мельникова, 2001, с. 180–189).

В последние десятилетия помимо этих надписей стали известны многочисленные знаки на различных предметах и восточных монетах, которые исследователи считают возможным истолковать как рунические, а в некоторых случаях – как возможные знаки кириллической или греческой азбуки (Добровольский, Дубов и др., 1976; 1978, с. 155–156; 1981, с. 53–67; Мельникова, 2001, с. 102–174).

Таким образом, есть вполне определенные сведения об использовании в IX–X вв. на территории Руси рунической письменности, хотя и в ограниченных размерах. Сложность чтения и интерпретации надписей, тем более отдельных рун, оставляет много вопросов относительно их назначения, датировки и языка, на котором они написаны. Но логичнее всего эти рунические надписи связывать со скандинавским населением, жившим в это время на территории Древней Руси, о чем свидетельствует и география их находок, встречающихся в основном на Западе и Северо-Западе территории Руси. Следует отметить и непрерывность использования рунических знаков и надписей, изредка находимых и ранее указанного времени, и позднее, причем позже надписи в многоэтничной среде часто приобретают лишь «руноподобный» облик, как, например, комплекс надписей городища Масковичи (Мельникова, 2001, с. 213–247).

К IX–X вв. специалисты относят арабскую куфическую надпись, вырезанную на боковой поверхности литейной формочки. Формочка найдена на территории Киевского Подола в слоях X в., в мастерской литейщика. Она вырезана из местного овручского шифера, а бляшки, которые в ней отливались, хотя и известны на территории всей Восточной Европы, предназначались в первую очередь для киевского рынка. Но арабская куфическая надпись на формочке ставит ряд вопросов об этническом происхождении владельца. К сожалению, надпись коротка и читается исследователями по-разному. Большинство из них считают, что на формочке написано имя. По предположению Б. И. Маршака, надпись означает «турк», т. е. представитель племени торков (Гупало, Ивакин и др., 1979, с. 49).

Как бы ни читали исследователи эту надпись, перед нами прямое свидетельство использования в Киеве X в. куфического письма, вероятно, тюркоязычным населением.

Таким образом, констатируя употребление рунического (на северо-западе) и в отдельных случаях куфического письма (на юге) на территории Древ-

ней Руси IX–X вв., мы, естественно, должны связывать его употребление с неславянским населением древнерусских городов и торгово-ремесленных поселений с их многоэтничным населением и разнообразными культурными контактами. Письмо, которое могло использоваться славянским населением, представлено в это время фрагментами надписей и отдельными знаками греко-кириллического типа (этот термин употребляется как из-за близости этих алфавитов, так и невозможности при фрагментарности надписей разделить эти письменные системы). Конечно, это не препятствует предположению, что в отдельных случаях и славянское население могло использовать другие письменные системы.

Выше упоминалось об отдельных рунических знаках на восточных монетах. Известна и надпись-граффити на монете, которую открыватели определили как греческую (Добровольский, Дубов, Рождественская, 1982, с. 29–32). Надпись обнаружена на дирхеме из клада восточных монет, найденного под Ленинградом, близ Петергофа. По периодизации Р. Р. Фасмера, клад был зарыт в землю в начале IX в. Монета, на которой обнаружена надпись-граффити, чеканена в 776/777 г., а в IX в. она уже попала в состав клада. Таким образом, надпись датируется по самой монете концом VIII – началом IX в. Надпись прочерчена в две строки между строками арабской легенды на лицевой стороне монеты и представляет собой имя: **Ζαχαρίας**. Авторы публикации на основании формы имени с «**C**» на конце и орфографии надписи (написание через **і**, как в новозаветных греческих текстах) определили ее как греческую. Палеографические особенности надписи, по мнению ее издателей, находят соответствия в греческих надписях IX–X вв., древнеболгарских надписях из Преслава и некоторых древнерусских памятниках письменности XI в. Отмечая невозможность определенно решить вопрос о том, кем сделана эта надпись – греком или представителем какой-либо другой народности, – авторы считают, что имя, вырезанное на дирхеме, должно означать владельца сокровища, купца или путешественника. Монета с надписью должна была пройти долгий путь с Востока через Волжскую Булгарию, Волго-Окское междуречье и Новгородскую землю, заселенную славянским и финно-угорским населением. То обстоятельство, что сама традиция метить монеты зародилась сначала в Древней Руси, а потом уже распространилась в Скандинавию и Центральную Европу, дало основание авторам публикации предположить, что граффити было выполнено жителем Древней Руси, скорее всего, славянином, знакомым с греческим письмом. Есть эпиграфические данные, что жители таких городов, как Тмутаракань и Саркел, в древнерусские их периоды пользовались греческим письмом при цифровых расчетах (Медынцева, 1998, с. 176–185).

Констатируя употребление рунического (на севере и северо-западе) и в отдельных случаях куфического письма (на юге) территории Древней Руси IX–X вв., мы, естественно, должны связывать его употребление с неславянским населением древнерусских раннегородских поселений. Славянским же населением, скорее всего, использовалось письмо греко-кириллического типа (как говорилось, этот термин употребляется из-за близости алфавитов и фрагментарности надписей). В основном они относятся уже к середине и второй половине X в.

Достижения археологической науки в этой области, особенно находка первой достоверной надписи X в. – гнёздовской, новгородские находки (надписи на замках-цилиндрах, деревянная книга-цера с записью отрывков из Псалтыри), давали большие надежды и в области решения проблемы дохристианской письменности, т. е. письменности, используемой до официального крещения. Наибольший интерес в этом плане вызвали новгородские находки, особенно находки двух древнейших деревянных замков-цилиндров с кириллическими надписями, которые по стратиграфии первоначально датировались 70–80-ми гг. X в. (Янин, 1982, с. 138–155; Медынцева, 1984, с. 49–62; 2000, с. 49–62). Два из них (№ 5 и № 6) относились по комплексу данных ко времени до официального принятия христианства (973–980 гг.; 977–980 гг.), тем самым надписи на них по крайней мере на десять лет опережали официальную дату крещения и принятия письменности. Этот хронологически небольшой отрезок времени был важен именно с этой точки зрения, так как появление кириллической письменности на Руси до того времени традиционно связывалось с официальным принятием христианства и ставилось в прямую зависимость от государственных мероприятий Владимира.

Между тем надписи на цилиндрах, относящихся ко времени новгородских княжений Владимира и Ярополка, прямо свидетельствовали об использовании кириллической письменности в среде княжеской администрации при сборе даней в языческое время. Конечно, это не значит, что христианство не могло быть известно жителям Новгорода ранее официального крещения. Об источнике усвоения письменности – древнеболгарские земли – говорят графические особенности надписей. Но важно то, что в то время, когда официальной государственной религией было язычество, в системе государственного фиска употреблялась кириллическая письменность. Особенное значение имеет то, что в надписи на цилиндре № 5 явно отразились как новгородские диалектные особенности (новгородское цоканье), так и определенные графические: использование одного знака **Ъ** для обозначения обоих редуцированных. Так называемые «одноеровые» памятники известны были уже давно, причем встречаются они

как у южных славян, так и на Руси. Исследователи по-разному объясняют происхождение «одноеровых» памятников и время их появления. В то время как некоторые ученые в использовании одного редуцированного видят сравнительно поздние языковые явления, другие склонны считать, что именно «одноеровость» – явление, характерное для первоначальной кириллицы (Гълъбов, 1980, с. 51–52). К тому же и палеографические аналогии надписей на цилиндрах указывали на этот же источник.

Сравнительно точные стратиграфические датировки цилиндров в сочетании с княжескими знаками Ярополка и Владимира Святославичей, казалось бы, давали необходимые данные об использовании кириллической письменности на Руси еще в языческое время, до официального принятия христианства, в то время как графические особенности определенно указывали на ее источник – болгарские земли, а фонетические – на усвоение письма местным населением. Но позднее стало ясным, что археологическая датировка древнейших цилиндров достаточно широка: по условиям стратиграфии они датируются от последней четверти X до середины XI в., и не обязательно, что стратиграфически они относятся к началу этого периода. Тем более что позднее, в 1999 г., неподалеку от этой находки обнаружен целый комплекс деревянных цилиндров XI – нач. XII в., позволяющий предположить, что и более ранние находки относятся к этому же комплексу (Янин, 2000, с. 139). Кроме того, атрибуция княжеского знака как трезубца, принадлежащего Владимиру Святославичу на цилиндре № 5 (№ 7 по позднейшей нумерации В. Л. Янина), вызывает сомнения у некоторых исследователей (Белецкий, 1997, с. 144–145, Гиппиус, 2007, с. 186–187). Возможно, что эти цилиндры (№ 6 и 7 по указанной нумерации) хотя остаются одними из древнейших, относятся ко времени после официального крещения и датируются уже христианской эпохой. При этом графическая связь их с древнейшей болгарской письменной традицией X в. (Медынцева, 1984; Рождественская, 1994, с. 29;) никем не оспаривается. Кроме того, некоторые исследователи склонны придерживаться датировки, высказанной ранее, так как княжеский знак, тождественный княжескому знаку на цилиндре № 7, очень близок знаку на бирке-сорочке, обнаруженной неподалеку в слоях второй половины X в. (Ковалев, 2003, с. 61). Таким образом, датировка данных цилиндров более поздним периодом – первой половиной XI в. – тоже вызывает разногласия, что оставляет возможность правильности их первоначальной датировки. Но нельзя не отметить, что бесспорность использования кириллической письменности древнеболгарского источника в языческой Руси, до ее официального крещения, с появлением более широкой датировки новгородских цилиндров в значительной степени утрачена.

Таким образом, проблема появления письменности на Руси и определения ее источников для времени ранее конца X в. снова становится трудно разрешимой из-за недостатка аутентичных достоверных источников. По-прежнему единственными синхронными источниками для дохристианского периода остаются краткие и фрагментарные эпиграфические источники, принадлежащие к различным письменным системам

Из них (греко-кириллических) сравнительно точную датировку (30-е гг. X в.) имеет гнёздовская надпись на корчаге из кургана № 13. Это пока единственная славянская по языку надпись, хотя и состоящая из одного слова, но хорошей сохранности, происходящая с территории Древней Руси, найденная в языческом курганном погребении, т. е. закрытом комплексе с достаточно выраженным археологическим контекстом и датой – 30-г X в. (рис. 1). Существует несколько вариантов прочтения: **ГОРОѴХЦІА**, **ГОРОѴШНА**, **ГОРОѴХ ѰА**, , **ГОРОѴНЦІА**, **(ГОРЖ ЦІА)**, **ГОРОѴН'А**, **ГОРОѴНА** (рис. 2). Различное

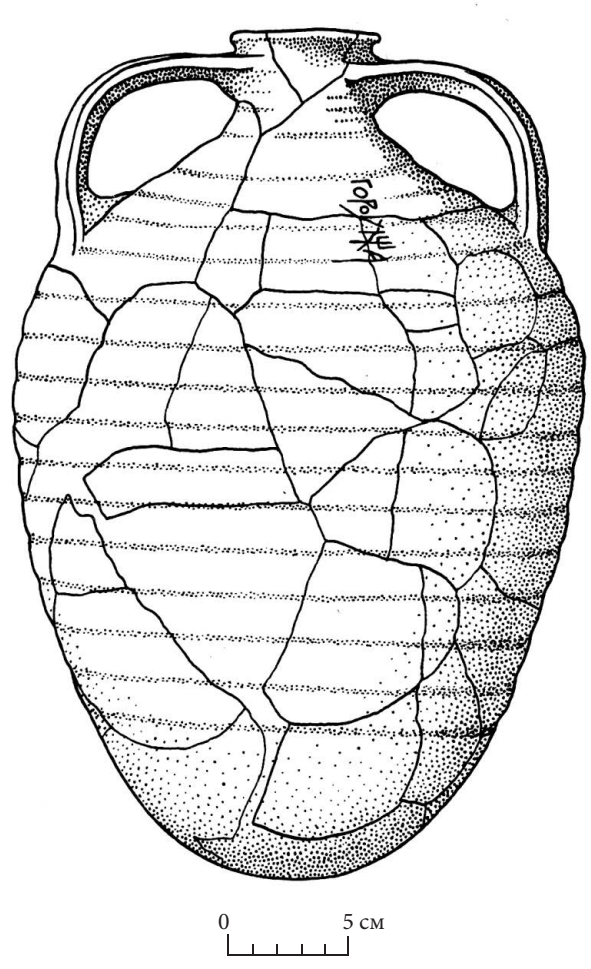


Рис. 1. Корчага из кургана № 13 (Гнёздово)



Рис. 2. Надпись на корчаге из Гнёздова

прочтение предполагает и различное толкование надписи: как обозначение содержимого сосуда – горчичное семя или горчичное масло, нефть (горючее) – или как имя владельца корчаги. Именно последнее истолкование в настоящее время является наиболее принятым. Хотя графические особенности надписи не позволяют пока дать ее достоверное прочтение и допускают различное истолкование ее смысла, бесспорным является одно положение – слово, написанное на корчаге, производное от того же корня, что и славянское **ГОРѢТИ**. В этом смысле гнёздовская надпись – славянская, а само местонахождение ее свидетельствует о ее восточнославянском происхождении. Однако сама ее изолированность и особенности графики снова возобновляют сомнения в ее восточнославянском происхождении и попытки отнести ее к болгарскому источнику, оживившиеся с выходом работы В. С. Нефёдова (2001, с. 64–67). Заново пересмотрев состав погребального инвентаря, сопоставив его с дендродатами Земляного городища Старой Ладоги, он подтвердил датировку насыпки кургана: вторая четверть – середина X в., «скорее всего не ранее 930-х гг.» (Нефёдов, 2001, с. 65). Этнокультурная принадлежность погребенного, как и организовавших похороны людей, определена им как скандинавская, что, на его взгляд, не позволяет считать, что надпись на амфоре сделана славянином. Противоречие между славянским именем, алфавитом и этнической принадлежностью погребенного В. С. Нефёдов объясняет уже высказывавшимся ранее мнением, что амфора с надписью была куплена или захвачена в Причерноморье, а местом нанесения надписи может быть Дунайская Болгария. Это было бы приемлемой гипотезой, если бы она объясняла все особенности надписи, которые «болгарский» вариант полностью не объясняет (подробный перечень вариантов прочтения гнёздовской надписи и сомнений в их правильности см.: Медынцева, 2000, с. 21–31). Кроме того, не следует забывать, что этническую принадлежность погребенных в кургане трех человек невозможно точно определить, даже если считать, что обряд погребения точно соответствует рассказу Ибн-Фадлана о похоронах руса. Помимо широко известной надписи на этой же корчаге начерчен еще один знак, напоминающий латинскую букву **N**. Это могла быть и кириллическая **N** древнейшего начертания, но скорее всего, это руноподобный скан-

динавский или тюркский знак. Подборка подобных знаков на восточных монетах издана в указывавшейся выше работе Е. А. Мельниковой (Мельникова, 2001, с. 109–110). Таким образом, надпись и знаки на корчаге уже несут на себе элементы разных этносов. Попытки определить этническую принадлежность погребенных в кургане людей вообще затруднительны, особенно для языческих погребений, так как аристократическая торгово-дружинная среда, несомненно, включала в себя элементы разных этносов, что отразилось и на погребальном обряде. Это демонстрируют все дружинные комплексы на территории Восточной Европы. Не следует забывать и о сакральности древнейших надписей и знаков на различных предметах. Большинство исследователей письма считают, что древнейшие надписи выполняли магическую функцию, охранительную или благожелательную, как и само письмо, в том числе и славянское. Наличие неизвестной надписи на сосуде было отнюдь не безразлично для владельца при жизни, даже если допустить, что он был неграмотным. Сакральность обычая при погребении разбивать сосуд, принадлежащий умершему, широко засвидетельствована славянской этнографией. Поэтому, если на дорогом сосуде (при наличии обломков еще двух) было начерчено имя владельца, логично считать, что именно он и был захоронен в кургане в качестве основного погребения, а сосуд при жизни, выполняя практические и сакральные функции, принадлежал ему, а не сопровождающим хозяина слугам или рабыням. Сочетание славянского имени со скандинавской обрядностью, если даже считать, что она бесспорно скандинавская, вполне допустимо для дружинных курганов, территориально находящихся на пути «из варяг в греки», в зоне постоянных межэтнических контактов.

Что же касается алфавита, которым выполнена надпись, то в этом вопросе до сих пор нет единого мнения. Некоторые исследователи считают, что она написана греческими буквами, большинство же считает надпись кириллической. Все варианты расшифровки предполагают либо пропуск глухого и наличие лигатуры, либо использование необычного графического знака для обозначения йотации, либо отсутствие йотации и передачу носового звука не специально предназначенной для него в кириллице буквой, а сочетанием, причем графически необычным. Допуски при расшифровке, касающиеся пропуска или обозначения специфически славянских звуков: пропуска глухих, передачи носового, или йотированного позволяют предположить, что гнёздовская надпись представляет вариант «неустроенного» славянского письма, в котором для передачи славянских звуков использовалось письмо или греческое, или вариант «кириллицы», где уже был знак **Ш** или **Щ**, но отсутствовали глухие или носовые, или йотированные (Медынцева, 1983, с. 94). Однако то, что мы знаем об истории кириллического алфавита, как будто свидетельствует против такого предположения. Исследователи давно заметили, что в древнейших кириллических рукописях не было буквы **Щ** (объяснявшейся обычно как лигатура **Ш**+**Т**) и большинства йотированных (Лавров, 1915, с. 7), и в то же время присутствовали специальные буквы для обозначения носовых.

Таким образом, гнёздовская надпись отличается и от древнейшей кириллицы возможным отсутствием знака для носовых, наличием или отсутствием йотированного **Ѵ** (при одном из вариантом расшифровки) или отсутствием глухих и наличием **Ш** (при другом варианте). Нетрудно заметить, что разночтения вызывает истолкование шестого знака. Строго говоря, этот знак не находит близкого соответствия ни в кирллице, ни в греческом письме: необычно начертание **Н** или **Х**, и начертание **Ш** тоже необычной формы, если согласиться с наличием этой буквы, не говоря уже о лигатурном прочтении. Больше всего шестой знак (см. рис. 3) напоминает некоторые тамгообразные знаки, встречающиеся в Причерноморье или Хазарии, и находит в них почти полное соответствие (Драчук, 1976, табл. XXI, XXVII; Флерова, 1997, табл. XXI, № 5). Последний знак представляет полную аналогию, отличаясь лишь «зеркальностью» изображения. Возможно, что гнёздовская надпись принадлежит к тому же типу письма, что и упоминавшиеся выше отрывочные цифровые расчеты, сочетающиеся с тамгообразными знаками, которое использовало население Тмутаракани и Саркела на



Рис. 3. Шестой знак надписи на корчаге, первоначально прочитанный как лигатура двух букв

всем протяжении существования, в том числе и в древнерусское время их бытования. Однако в сложении кириллической азбуки, ее источников и этапов развития до сих пор остается много неясного. Поэтому до тех пор, пока не появились новые данные, нужно констатировать факт, что гнёздовская надпись – славянская и написана в начале X в. письмом с определенными графическими особенностями, не находящими в настоящее время однозначного объяснения. Но несомненно, что она – свидетельство использования в начале X в. письма, близкого к кириллическому или греческого с добавочными знаками.

Помимо гнёздовской надписи из кургана № 13, в Гнёздове обнаружен фрагмент монеты, чеканенной в 912–913 гг. Ахмадом-бен-Исмаилом в Андерабе. На лицевой ее стороне сбоку от легенды прочерчены рядом две буквы – **Ᵽⰲ**. Граффити до сих пор не опубликовано, но Е. А. Мельникова, ссылаясь на автора раскопок Т. А. Пушкину и консультацию Т. В. Рождественской, считает, что буквы не только характерны для кириллицы, но и палеографически указывают на раннее время – до середины XI в. (Мельникова, 2001, с. 107). До полной публикации граффити трудно судить о характере надписи, так как буквы не являются специфическими, отличающими кириллицу от греческой азбуки. При устной консультации Т. А. Пушкина[1] сообщила, что монета относится к случайным находкам и, по всей вероятности, происходит из культурного слоя Гнёздова. Но само наличие буквенных записей (инициалов или счетных, подобных надписям граффити Тмутаракани и Саркела) не вызывает сомнений, и надпись из кургана № 13 в какой-то мере лишается исключительности.

Среди надписей «дохристианской» эпохи нужно отметить еще одну, обнаруженную сравнительно недавно на обломке меча из коллекции Музея древностей Киевского университета. Хотя сведений об обстоятельствах находки не сохранилось, но судя по данным Каталога, он, предположительно, был найден еще в 1890-х гг. На одной стороне его буквами около 2,5 см в технике дамаскирования нанесены буквы, читаемые как **Ⱪⰾⰰⰲ**, по предположению обнаружившего надпись А. Н. Кирпичникова – начало славянского имени типа Словута, Славомир, известных в славянском именослове. Судя по технике дамаскирования и аналогии с другим мечом начала XI в., изготовленным Людотой или Людошей, открытым тем же исследователем, – это клеймо, представляющее имя изготовившего меч мастера. Буквы А. Н. Кирпичников считает кириллическими, а обе надписи, по его обоснованному мнению, являются свидетельствами собственного производства клинков на Руси в X в. Так как меч происходил из дружинного захоронения, о чём свидетельствуют следы преднамеренной порчи, типичной для языческой обрядности дохристианской поры, не использовавшейся в Киевском регионе позже середины – третьей четверти X в., издатель датировал его этим временем, т. е. временем князей Игоря и Святослава.

Типологические и морфологические признаки меча не противоречат такой датировке. Таким образом, это клеймо мастера старше надписи коваля Людоши приблизительно на 50 лет (Кирпичников, 1996, с. 718–722). На другой стороне, по мнению А. Н. Кирпичникова, просматриваются шесть геометрических знаков, подобных клеймам большинства западноевропейских именных мечей. Но возможно, это остатки окончания имени, написанного справа налево, от острия к рукоятке. Тогда реконструируется имя Славомир (Медынцева, 2000, с. 94–95). К сожалению, специфических кириллических букв остатки клейма не содержат. Определенно можно сказать, что клеймо не латинское, обычное для мечей этого времени, известных и на территории Руси. Независимо от реконструкции имени ясно, что мастер, поставивший свое клеймо на клинке, не только освоил производство оружия, но и владел грамотой, понятной потенциальным покупателям или заказчикам.

К дохристианскому времени (а именно к эпохе Святослава Игоревича) исследователи, начиная с Н. П. Кондакова, традиционно относят печать с изображением княжеских знаков на обеих ее сторонах. Отсутствие христианских символов на печати, форма знака – двузубец, имеющая аналогии со знаком на костяной пластинке из слоев Саркела (Белой Вежи) X в. и Новгорода – изображение на днище чаши с дендрологической датой 954–937 гг. (Янин, 1982, с. 149), дают основания для такого предположения. К сожалению, надпись по краю печати неразборчива. В свое время Н. П. Лихачёв, не предпринимая при этом попыток атрибутировать печать, прочел остатки букв **ⰳ ⰵ ⰾ** (Янин, 1970, с. 38–41). Но если чтение самой надписи предположительно, ее наличие сомнений не вызывает. К сожалению, и в этом случае плохая сохранность и фрагментарность сохранившихся букв не позволяют понять: греческую или кириллическую легенду несла на себе древнейшая русская печать.

А. А. Гиппиус по аналогии с древнейшими русскими буллами считает, что легенда печати, скорее всего, должна быть греческой. Рецензируя главу из книги С. Франклина, А. А. Гиппиус, сохраняя в целом очень благожелательный тон, склонен его упрекнуть в том, что тот в процессе распространения письменной традиции не видит границы 988 г. – года официального принятия христианства, связывая практическое использование письменности с личной деловой активностью на протяжении всего предыдущего времени. Детально обсуждая каждую из находок со следами славянской письменности,

[1] Пользуюсь случаем выразить глубокую признательность Т. А. Пушкиной за консультацию по поводу этой монеты. Т. А. Пушкина обратила внимание и на недоразумение в книге Е. А. Мельниковой, где правитель ошибочно назван Исмаилом бен Ахмадом.

рецензент приходит к выводу, что археологические датировки их расплывчаты, и потому задается вопросом: «Достаточно ли этого, чтобы говорить об освоенности славянского письма в практических контекстах в эпоху до официального крещения?». По его мнению, эти незначительные следы (до конца X в.) более реалистично связывать с деятельностью христианских общин и распространением на ее землях христианства, а 988 г. – вполне реальное ее начало. Надежные данные по усвоению письма в «коммерческих целях» отсутствуют, поэтому и говорить об этом нет оснований (Гиппиус, 2004, с. 185, 187). Соглашается с его мнением о христианском источнике письма и Т. В. Рождественская, по мнению которой славянское и греческое письмо начинало проникать в практику через христианизирующийся на рубеже X–XI вв. слой княжеской дружины и обеспечивающих ее быт ремесленников. Но при этом она отмечает, что в начальный, «дописьменный», период используются в прагматических целях лишь отдельные элементы разных графических систем, что отражает этнокультурные контакты на восточнославянской территории разных этносов: скандинавского, славянского, греческого (Рождественская, 2012, с. 485–486).

Действительно, при новой, сравнительно более широкой датировке новгородских цилиндров с их явно выраженными особенностями кириллицы и местными диалектными чертами, утрачивается безусловная определенность данных об использовании кириллицы в языческой Руси. Но все же нельзя окончательно исключить первоначальную «языческую» датировку новгородских цилиндров. Кроме того, сохранившиеся отрывочные эпиграфические источники «дохристианского» периода слишком разнообразны и географически разбросаны по разным пунктам вдоль известных торговых путей, чтобы исключить их из сферы внимания. Они свидетельствуют об использовании письменной системы, кириллической или греческой, в практических целях в военно-торговой среде (княжеской дружины, администрации и высшего слоя ремесленников). Остается открытым другой вопрос – об источниках усвоения грамотности. Характер дошедших до нас источников – обрывки надписей, отдельные буквы на различных предметах быта (амфоры, печать с княжескими знаками на обеих сторонах, меч, граффити на монетах), среди которых отсутствуют надписи или символы, связанные с христианством, за исключением крестообразных знаков, которые могут иметь различную семантику, как и география находок – военно-торговые и ремесленные пункты на трансъевропейском и восточном торговых путях – говорят о военно-торговой среде, т.е. о практическом применении письма, по крайней мере его начатков. Вполне вероятно, что это вопрос сохранности и известной ограниченности самих эпиграфических источников, так как рукописи этого времени до нас не дошли. Более поздние письменные источники, сохраняющие отрывочные сведения об использовании письма и миссионерской деятельности по христианизации Руси в IX–X вв., тоже лаконичны и вызывают различные толкования исследователей (обзор см.: Медынцева, 2000, с. 230–232). Но и у южных славян, сохранивших обширные сведения о письменности, в том числе и эпиграфические, последние предшествуют рукописным, хотя они представлены в значительно большем объеме, наследуя эпиграфическую развитую византийскую и в меньшей степени руническую (тюркскую) традицию. Причем первые памятники эпиграфики, использующие греческий, праболгарский и славянский язык, значительно опережают сохранившиеся славянские рукописи и связаны отнюдь не с христианством, а с государственными институтами языческого протоболгарского государства (Бешевлиев, 1992, с. 20–21).

Вероятно, и в Древней Руси «дорукописный» период, когда разноалфавитное письмо использовалось отчасти стихийно, в практических целях, в сфере торговли, особенно внешней, обеспечивая торговые интересы Руси на внешних рынках, предшествовал засвидетельствованному рукописными источниками периоду с развитым письмом, поддерживаемым государственными институтами, особенно таким мощным, как христианская церковь с ее развитой литературой и разработанной системой обучения. Но очевидно, что по крайней мере с начала X в. торгово-ремесленное население раннегородских центров использовало какую-то письменность, близкую греческой или кириллической, наряду с другими письменными системами, что уже засвидетельствовано остатками надписей. Вполне вероятно, что источником обучения грамотности были ранние христианские общины, деятельность которых не оставила материальных следов, что не исключает других источников распространения грамотности. Во всяком случае, резкое изменение ситуации в процессе официального принятия христианства, когда делается решительный поворот в сторону принятия не только самого православия, но и кириллической письменности и богослужебной литературы, уже существовавшей в Болгарии около века в славянских переводах, предполагает предварительный период длительного знакомства с удобной для письма и приспособленной для славянского языка кириллицей.

От момента, связанного с официальным принятием христианства, дошла до нас многочисленная серия монет первоначального русского чекана, позволяющая сделать определенные выводы относительно характера письменности, принятой в это время. Имеются в виду надписи на златниках и сребрениках Владимира I типа. Исследованиями русских историков, начиная с И. И. Толстого и А. А. Ильина, выяснено, что чеканка первых золотых

и серебряных монет была вызвана политическими потребностями государства, явилась декларацией новых религиозных верований и символом государственной власти. В связи с этим особое значение приобретают надписи на монетах, как их содержание, так письмо и графические особенности. Однако собственно надписями, их палеографическими особенностями долгое время почти никто не занимался, так как они являются чрезвычайно трудным источником, требующим владения специальными методами нумизматического анализа. Только после серии трудов М. П. Сотниковой, завершившихся публикацией монографии (Сотникова, Спасский, 1983; Сотникова, 1982, с. 48–77), где прослежена история каждой монеты и эволюция каждого типа, и статьи по палеографическому обзору легенд, стало возможным использование надписей на монетах в качестве достоверного эпиграфического материала.

Наибольшее значение для суждения о письменности, принятой вместе с официальным крещением, имеют, конечно, златники и сребреники I типа, чекан которых, как установлено, совпадает с этим событием. Они близки и хронологически, и типологически, отличаясь от других монет наличием изображения Пантократора с надписями при нем, в то время как на других типах этот христианский символ заменен на княжеский знак. Содержание легенд необычно – это надписи-декларации, заявляющие о создании нового государства и правах Владимира на престол. На золотых монетах надписи двух типов: 1) «**Владимиръ на столѣ**» (в трех вариантах на 4-х штемпелях); 2) «**Владимиръ, а се его ѕлато**» (в двух вариантах на двух штемпелях). На другой стороне (при изображении Христа) надпись одна и та же (**Исꙋс Христос**), но встречена в пяти вариантах. Серебряные монеты I типа настолько различны, что нельзя говорить о едином их стиле. На лицевой стороне надписи **Владимиръ на столѣ** или **Владимиръ, а се его сребро**, на обороте – **Исꙋсъ Христосъ**, с использованием **Ъ** (рис. 4), лишь на некоторых сребрениках встречаются правильные монограммы **IC XC**.



Рис. 4. Сребреник Владимира I типа

Письмо всех легенд безусловно кириллическое, не встречено ни одной глаголической буквы, ни одного знака «протокирилловского», хотя есть на некоторых сребрениках и златниках особые начертания и ошибки. Объяснение их – специальная тема, но с оригинальным «русским» письмом они не связаны.

Давно отмечено, что по языку надписи славянские, древнеболгарского извода. Об этом говорит форма имени «Владимир» вместо русского «Володимир», «сребро, злато» вместо «серебро – сьребро», «золото». Таким образом, церковнославянизмы нашли отражение в надписях достаточно выразительно. Вместе с тем в надписях наблюдаются не только отдельные ошибочные написания, пропуски букв, но и такие, объяснить которые можно только фонетическим путем, а именно – пропуск слабого гласного (СРЕБРО), написание **Ѥ** вместо **Ь**. Трудно предположить, что это – русские диалектные явления, проявившиеся гораздо позднее. Легче всего это объяснить особенностями древнеболгарского протографа. Важно отметить, что на государственных документах, символах государственной власти и новой веры, какими являются первые русские монеты, используется кириллическая письменность и старославянский (древнеболгарского извода) язык.

Необходимо отметить и другие особенности надписей: на златниках при изображениях Пантократора надписи не греческие, а славянские с использованием **Ъ**, лишь на некоторых используются правильные монограммы по греческому образцу (**IC XC**). Таким образом, надписи на первых монетах Владимира являются прямым доказательством того, что письменность, принятая одновременно с крещением, была славянской, кириллической по письму, эта же письменность была признана и языком религии. То, что Владимир одновременно с принятием христианства принял и славянскую письменность, в отличие от Моравии и Болгарии, где славянский язык и письмо были официально признаны десятилетия спустя после крещения, базировалось, с одной стороны, на успехах славянской письменности и литературы в Болгарии, с другой, – скорее всего, на традиции использования кириллической письменности в государственной и торговой сфере, существовавшей на Руси ранее. Во всяком случае, со времени Дунайских походов Святослава и долгого его пребывания в столице Болгарии того времени, знакомство с кириллической письменностью, удобной для славянской речи, на близком языке, было просто неизбежным. Иначе трудно объяснить выбор Владимира всего десятилетие спустя

после его неудачной попытки реформировать язычество, создав единый культ с Перуном во главе. Таким путем славянские надписи на первых выпусках русских монет декларировали как создание централизованного государства, так и новую культурную и религиозную его политику.

Количество надписей после этого времени увеличивается. С признанием христианства официальной религией государства, появлением специальных школ и богослужебной литературы письменность начинает широко применяться и в этой области. Даже при сравнительно более поздней датировке цилиндров трудно отрицать использование кириллической письменности в сфере сбора даней уже несколькими десятилетиями спустя после крещения. Приблизительно к этому же времени, насколько можно судить, относится и появление первых письменных следов обучения письму – отрывков из Псалтыри на деревянных навощенных дощечках и надписи при берестяном изображении св. Варвары, найденных в Новгороде. Спустя небольшое время появляются и первые берестяные грамоты в Новгороде, и первые датированные граффити в Софии Киевской, надпись на мече коваля Людоши, граффити на корчаге из Белгорода, подпись Анны Ярославны и т. д., демонстрируя, что кириллическая письменность из спорадической грамотности отдельных представителей элитарных военно-торговых слоев, использовавших ее наряду с другими алфавитами, становится обычным для церковной и государственной сфер явлением, достаточно быстро проникшим в быт более демократических городских слоев.

Таким образом, памятники эпиграфики рубежа X–XI – первой половины XI в. позволяют говорить о качественно новом этапе в распространении грамотности на Руси, а именно: проникновение ее в среду привилегированного ремесленничества, княжеской дружины, женщин княжеской фамилии. Одновременно с этим происходит расширение ее использования в традиционных сферах: религии, торговле, в сборе фиксированной дани. Позже наблюдаются только количественные изменения, демонстрирующие распространение грамотности среди горожан. В сферу письменной культуры включаются все более широкие слои городского населения, появляются данные об использовании ее в системе обучения, расширяется применение письменности в повседневном быту: берестяные грамоты и надписи-граффити, надписи на различных предметах, монументальные надписи и, наконец, первые датированные восточнославянские рукописи, демонстрирующие появление уже другого этапа в развитии письменности – не только распространения грамотности, но и появления собственной литературы.

Источники и литература

Белецкий С. А., 1997. Начало русской геральдики (знаки Рюриковичей X–XI вв.) // У источника : сб. в честь чл.-корр. РАН С. М. Каштанова : в 2 ч. / отв. ред. С. О. Шмидт. Ч. 1. М. С. 93–171, 144–145.

Бешевлиев В., 1992. Първобългарски надписи : 2-е изд., преработано и дополнено. София. 269 с.

Гълъбов Ив., 1980. Старобългарски език с увод в славянскато езикознание. София. 180 с.

Гиппиус А. А., 2004. Социокультурная динамика письма в Древней Руси. (О книге: S. Franklin. Writing, Society and Culture in Early Rus, c. 950–1300. Cambridge, 2002) // Русский язык в научном освещении. № 1 (7). С. 171–194.

Гупало К. М., Івакін Г. Ю., Сагайдак М. А., 1979. Дослідження Київського подолу (1974–1975) // Археологія Киэва : дослідження і матеріали / під ред. П. П. Толочко. Київ. С. 38–62.

Данилевский И. Н., 1998. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). М. С. 164–170.

Добровольский И. Г., Дубов И. В., Кузьменко Ю. К., 1976. Рунические надписи и скандинавская символика на куфических монетах // VII Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии : тез. докладов. Л. ; М. С. 155–156.

Добровольский И. Г., Дубов И. В., Кузьменко Ю. К., 1978. Новые источники по истории Древней Руси // Вестник ЛГУ. № 2. С. 40–45.

Добровольский И. Г., Дубов И. В., Кузьменко Ю. К., 1981. Классификация и интерпретация граффити на восточных монетах (коллекция Эрмитажа) // Труды ГЭ. Л. С. 53–67.

Добровольский И. Г., Дубов И. В., Рождественская Т. В., 1982. Новая находка граффити на куфической монете // Вестник ЛГУ. № 2. История. Вып. 1. С. 29–32.

Драчук В. С., 1976. Системы знаков Северного Причерноморья. Киев. 176 с.

Кирпичников А. Н., 1996. Новообнаруженный древнерусский подписной меч // ТОДРЛ. Вып. XLVI. СПб. С. 718–722.

Ковалев Р. К., 2003. К вопросу о происхождении сорочка: по материалам берестяных грамот // Материалы Международной конференции : Великий Новгород, 24–27 сентября 2001. М. С. 57–72.

Лавров П. А., 1915. Палеографическое обозрение кирилловского письма // Энциклопедия славянской филологии. Вып. 4, 1. Пг.

Медынцева А. А., 1983. Начало письменности на Руси по археологическим данным // История, культура,

этнография и фольклор славянских народов : IX Международный съезд славистов : доклады советской делегации. М. С. 86–97.

Медынцева А. А., 1984. Новгородские находки и дохристианская письменность на Руси // РА. № 4. С. 49–62.

Медынцева А. А., 2000. Грамотность в Древней Руси. М. 292 с.

Мельникова Е. А., 2001. Скандинавские рунические надписи : новые находки и интерпретации. М. 496 с.

Нефёдов В. С., 2001. Археологический контекст «древнейшей русской надписи» из Гнёздова // Археологический сборник : Гнёздово : 125 лет исследования памятника. М. С. 64–67. (Труды ГИМ. Вып. 124).

Носов Е. Н., 1984. Продолжение исследований Рюрикова городища // АО 1983 г. М.

Рождественская Т. В., 1985. Основні етапи розвитку східнословянськоі писемності та давньоруська епиграфіка // Мовознавство. Київ. № 5. С. 21–27.

Рождественская Т. В., 1987. Письменная традиция Северной Руси по эпиграфическим данным // Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. М. С. 36–39.

Рождественская Т. В., 1991. О социолингвистической ситуации на Руси в IX–X вв. // Традиции древнейшей письменности и языковая культура восточных славян. М. С. 188–200.

Рождественская Т. В., 2012. Эпиграфические памятники на Руси в эпоху становления государственности // Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. М. С. 489–513. (ДГ, 2010)

Сотникова М. П., Спасский И. Г., 1983. Тысячелетие древнейших монет России // Сводный каталог русских монет X–XI вв. Л. 239 с.

Сотникова М. П., 1982. Палеографический обзор легенд древнейших русских монет // Экономика, политика и культура в свете нумизматики. Л. С. 48–77.

Флерова В. Е., 1997. Граффити Хазарии. М.

Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю., Кривошеев Ю. В., 1995. О социальных основах развития письменности и грамотности в Древней Руси // Славяно-русские древности. Вып. 3 : Проблемы истории Северо-Запада Руси / под ред. И. В. Дубова, И. Я. Фроянова. СПб. С. 114–127.

Янин В. Л., 1982. Археологический комментарий к Русской правде // Новгородский сборник: 50 лет раскопок Новгорода / под общ. ред. Б. А. Колчина. М. С. 138–155.

Янин В. Л., 1970. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. Т. I : Печати X – начала XIII в. М. 326 с.

Янин В. Л., Зализняк А. А., 2004. Надписи на цилиндрах // Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1997–2000 годов). Т. XI. М. С. 146–149.

Franklin S., 2010. Writing, Society and Culture in Early Rus, c. 950–1300. Cambridge University Press. 2002; русский перевод: Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 950–1300 гг.). СПб. 530 с.

Summary

A. A. Medyntseva

On the Written Language of Rus' (9th–10th Centuries) on the Basis of Epigraphic Data

The question as to when a written language first appeared in Rus' is difficult to resolve because of the lack of reliable authentic sources. Archaeological discoveries have been particularly interesting in this respect. In recent decades not only have new finds appeared but it has also proved possible to specify more precise dates and interpretations of inscriptions discovered earlier. This article summarizes the data which epigraphic sources have made available: despite their fragmentary nature these have made it possible to draw certain conclusions. We know of only fragmentary epigraphic sources from the period prior to the official adoption of Christianity relating to various systems of writing, which testify to the fact that written language appeared and was first used for practical purposes: in state diplomacy, craft production and trade. What is also revealing is the location of the places which yielded up finds of this kind: the earliest cities and early urban centers situated along well-known trade routes with well-developed crafts and trade, which enjoyed multi-ethnic trade and cultural links. After the official adoption of Christianity, the situation becomes clearer. A large series of coins from the initial Russian issue makes possible certain conclusions regarding the nature of the written language adopted at that time. Inscriptions on the first Vladimir coins provide direct proof of the fact that the written language adopted at the same time as Christianity was Slavonic and used the Cyrillic alphabet. They also demonstrate that this Cyrillic written language had been recognized as the language of religion.

Inscriptions from the end of the 10th and first half of the 11th century enable us to speak of a qualitatively new stage in the spread of that written language through Rus: it was penetrating into the world of privileged strata of the craft community, princes' armed retinues and women from princely families. At the same time the written language was being more widely used in its traditional spheres: religion, trade and the collection of decreed tribute.

А. З. Винников, М. В. Цыбин

Славяне лесостепного Дона и Древнерусское государство

Территория, освоенная донскими славянами во второй половине VIII начале IX в., представляла собой окраинные районы не только восточнославянского, но и в целом славянского мира. Их поселения и могильники известны как памятники боршевской культуры (Москаленко, 1981; Винников, 1995). Район расселения донских славян с юга и юго-запада граничил с северо-западными рубежами Хазарского каганата (памятники салтово-маяцкой культуры) (Винников, Плетнева, 1998; Плетнева, 1999), с северо-востока – с финноязычными народами (памятники мордвы) (Воронина, 2007), с запада, примерно на расстоянии 150–200 км, находились памятники летописных северян (роменская культура) (Енуков, 2005).

Уже само географическое расположение памятников славян донской группы свидетельствует об их определенной изоляции от других районов славянского мира, что не могло не отразиться на некоторых особенностях их культуры.

Первые полевые исследования, проведенные более 100 лет назад на Боршевском комплексе памятников (Большое Боршевское городище и могильник) А. А. Спицыным, положили начало исследованию памятников донских славян, не считая раскопок воронежских краеведов конца XIX – начала XX в., результаты которых довольно противоречивы. Затем, после значительного перерыва, в конце 20-х гг. XX в. исследования экспедиции ГАИМК (рук. П. П. Ефименко) на тех же Боршевских городищах и могильнике и небольшие работы на ряде памятников на р. Воронеж явились весьма серьезным прорывом в славянской археологии, это были практически первые исследования восточнославянских поселений широкими площадями.

Продолжение полевых исследований памятников донских славян связано с именем А. Н. Москаленко. Масштабные раскопки, проведенные ею на Титчихинском городище в 1954–1962 гг., дали исключительно важный материал для освещения истории и культуры славянского населения данного региона (Москаленко, 1965).

В последующие годы раскопки, проведенные экспедицией ВГУ на ряде других среднедонских памятниках (рук. А. Н. Москаленко, А. Д. Пряхин), существенно дополнили представления об этой группе славянского населения.

Начиная со 2-й половины 60-х – 70-х гг. XX в. полевые исследования в области славянской археологии в бассейне Дона были перенесены на р. Воронеж (рук. Славянского отряда А. З. Винников). Раскопки велись на четырех курганных могильниках и на ряде городищ: Михайловский кордон, I и II Белогорские, Животинное. Эти исследования дали возможность внести определенные коррективы в наши знания об этногенетических процессах, протекавших в данном регионе, в вопросы хронологии пребывания славян в бассейне Дона, в проблему взаимоотношения донских славян со своими южными соседями – аланоболгарским миром (рис. 1).

Окраинное расположение донской славянской группировки, а также ее определенная изоляция объясняют тот факт, что летописи не содержат никакой информации об этой группе славян, и в определении ее племенной принадлежности мы можем рассчитывать только на данные археологии и определенном их сопоставлении с письменными источниками о других славянских группировках.

Начиная с работ А. А. Шахматова (Шахматов, 1907, с. 723), А. А. Спицына (Спицын, 1922, с. 8), затем П. П. Ефименко и П. Н. Третьякова (Ефименко, Третьяков, 1948, с. 12), А. Л. Монгайта (Монгайт, 1964, с. 85) и многих других, включая А. Н. Москаленко (Москаленко, 1965, с. 102), памятники донских славян связываются с южными районами расселения вятичей.

Несколько иную позицию занял И. И. Ляпушкин, который в своей ранней работе, посвященной славяно-русским поселениям IX–XII вв. на Дону и Тамани, относил славянское население Дона к так называемым «сльион», которые упомянуты в письме хазарского кагана Иосифа (Ляпушкин, 1941, с. 239), в последующих своих работах, вводя в научный

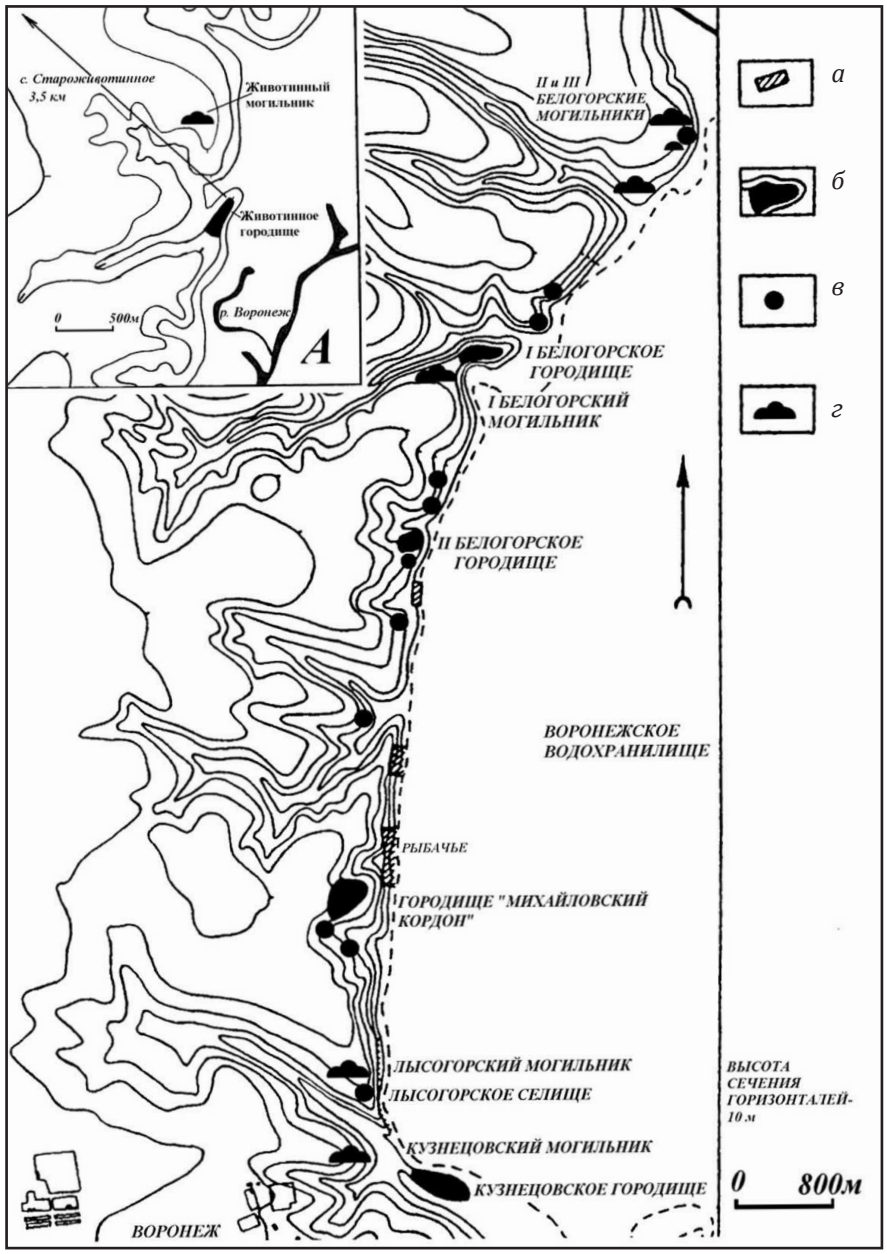


Рис. 1. Схема расположения славянских памятников на северной окраине г. Воронежа (по А. Д. Пряхину, с дополнениями):
а – населенный пункт,
б – городище,
в – селище,
г – курганный могильник;
А – схема расположения Животинного городища и могильника

обиход понятие «роменско-боршевская культура», И. И. Ляпушкин объединяет две группы памятников, подчеркивая их общность (Ляпушкин, 1947, с. 126).

Близких взглядов придерживался и В. В. Седов, который писал: «Славяне бассейна Дона не были ни северянами, ни вятичами, а принадлежали к отдельной территориальной группе, название которой не дошло до нас», и приводит упоминание хазарского кагана Иосифа о «сльион», а далее он отмечает, что боршевская культура не могла эволюционировать из вятических древностей VIII–X вв. Верхнеокского региона, но допустимо предположение, писал В. В. Седов, об отливе части вятического населения в Донской регион (Седов, 1982. С. 142). В другой своей, более поздней, работе, посвященной славянам в раннем Средневековье, он пишет: «…носителями боршевской культуры были славяне, вышедшие из разных праславянских племенных образований» (Седов, 1995, с. 205).

Не совсем четко выражена позиция в данном вопросе А. В. Григорьева, автора последних обобщающих работ по северянам и славянам Окско-Донского междуречья (Григорьев, 2000; 2005). С одной стороны, он в ряде случаев пишет о донских вятичах, а с другой – многие вещи из комплексов памятников донских славян помещает в таблицы и рисунки, характеризующие северян Днепровского Левобережья.

Исследования памятников донских славян в последующие десятилетия позволили найти некоторые ответы на данные вопросы. Прежде

всего необходимо отметить, что на территории распространения памятников донских славян, в ареале боршевской культуры, намечаются локальные микрорегионы, в основе выделения которых лежат, прежде всего, погребальные памятники: Средний Дон (Боршевский могильник) и р. Воронеж (Кузнецовский, Лысогорский, три Белогорских и другие могильники) (Винников, 1995; 1984).

Наличие двух микрорегионов в ареале расселения донских славян объясняется историей освоения восточными славянами Донского бассейна и, прежде всего, теми отправными точками, откуда шел переселенческий поток на Средний и Верхний Дон.

Для Боршевского могильника, на котором исследовано 34 кургана, характерны следующие черты погребального обряда: 1 – трупосожжение за пределами кургана; 2 – деревянные погребальные конструкции в виде камер, кольцевых оградок; 3 – размещение камер с остатками кремации в северо-восточном секторе; 4 – кольцевые ровики вокруг насыпи; 5 – абсолютное преобладание в погребениях (более 90%) славянской лепной керамики (Винников, 1984, с. 8–44). Рядом исследователей неоднократно подчеркивалось наличие довольно существенного сходства между деревянными погребальными конструкциями Боршевского могильника и ряда верхнеокских, которые не без основания связываются с вятическим племенным объединением, и объяснить это можно только этнической общностью населения, оставившего эти памятники.

Совершенно очевидно, что из Верхнеокского региона, вероятно, не ранее 1-й половины, а возможно, и середины IX в., на Средний Дон переселилась достаточно монолитная, сложившаяся в этнокультурном плане группа славянского населения, которую можно связать с вятичами. Именно этот микрорегион необходимо иметь в виду, когда мы говорим о вятическом населении в бассейне Дона (Винников, 1995).

Совершенно иная картина наблюдается на р. Воронеж (левый приток Дона, который связан уже с верхним его течением).

На воронежских могильниках (Лысогорском, I и II Белогорских, Кузнецовском) исследовано 107 курганов, которые содержат разные типы погребений: 1 – трупосожжение на стороне с помещением остатков кремации на погребенной почве в восточной половине; 2 – трупосожжение за пределами кургана с помещением остатков кремации в деревянные камеры; 3 – трупосожжение на стороне с вторичным обжигом на месте захоронения в восточной половине кургана на уровне погребенной почвы; 4 – трупосожжение на месте и захоронение в восточной половине кургана; 5 – трупосожжение на месте в деревянных конструкциях (Винников, 1984).

Коллекция керамики из курганов на р. Воронеж насчитывает более 120 сосудов. Наиболее многочисленна славянская лепная керамика (горшки, миски).

В большом количестве представлена и гончарная керамика салтово-маяцкой культуры: кувшины, горшки, кружки, светильники. Причем эта посуда в основном не результат импорта, хотя в полной мере и это нельзя исключать, а наряду с лепной, правленной на круге кухонной салтовской керамикой, встреченной на I Белогорском городище, свидетельствует об инфильтрации салтовского населения в глубинные районы славянского мира и его проживании на ряде поселений на р. Воронеж вместе со славянами.

Кроме того, в воронежских курганах встречена волынцевская керамика и ряд лепных сосудов, которые являются своеобразным подражанием волынцевским гончарным. Причем волынцевская керамика «классического» образца и подражания ей встречены не только в погребениях, где можно ее представить как какое-то пережиточное явление, но и на поселениях, в частности на Животинном городище.

Имеется также значительное количество сосудов, отражающих своеобразный симбиоз славянского и салтовского керамических производств.

Из пяти типов погребений, выявленных в курганах на р. Воронеж, наиболее многочисленным (более 60%) является первый – трупосожжение на стороне с помещением остатков кремации в восточной половине погребенной почвы, иногда в неглубокие ямки в сосуде или без сосуда. Погребальный обряд с помещением остатков кремации в восточной половине кургана прослежен в ряде районов восточнославянского мира в VIII–IX вв. (дреговичи, кривичи, северяне – единичные погребения, в вятической земле) (Седов, 1973; 1970, с. 85, 127). Но по многим принципиально важным признакам (расположение погребений на уровне древней дневной поверхности; небольшие ритуальные кострища в насыпи; отдельные, специально разбрасываемые угольки в насыпи; помещение остатков кремации и сосудов в подкурганные ямки и пр.) курганы этой группы значительно ближе к курганам Днепровского Правобережья, чем к курганам других регионов восточнославянского мира (Русанова, 1973, с. 29; Тимощук, Русанова, Михайлина, 1981; Седов, 1982, с. 142).

Таким образом, истоки славянской миграции на р. Воронеж необходимо искать в материалах Днепровского Правобережья – поздних памятниках типа Корчак и наиболее ранних лука-райковецкой культуры. Не следует полностью исключать из этого процесса и памятники пеньковского круга, отголоски которых мы видим и в ряде сосудов, встреченных в могильниках на р. Воронеж. Незначительная серия типично волынцевской лощеной посуды дает право говорить о появлении здесь населения и с Днепровского Левобережья.

Что касается деревянных погребальных конструкций, выявленных в воронежских курганах, то они весьма существенно отличаются от конструкций Боршевского могильника: сооружены из од-

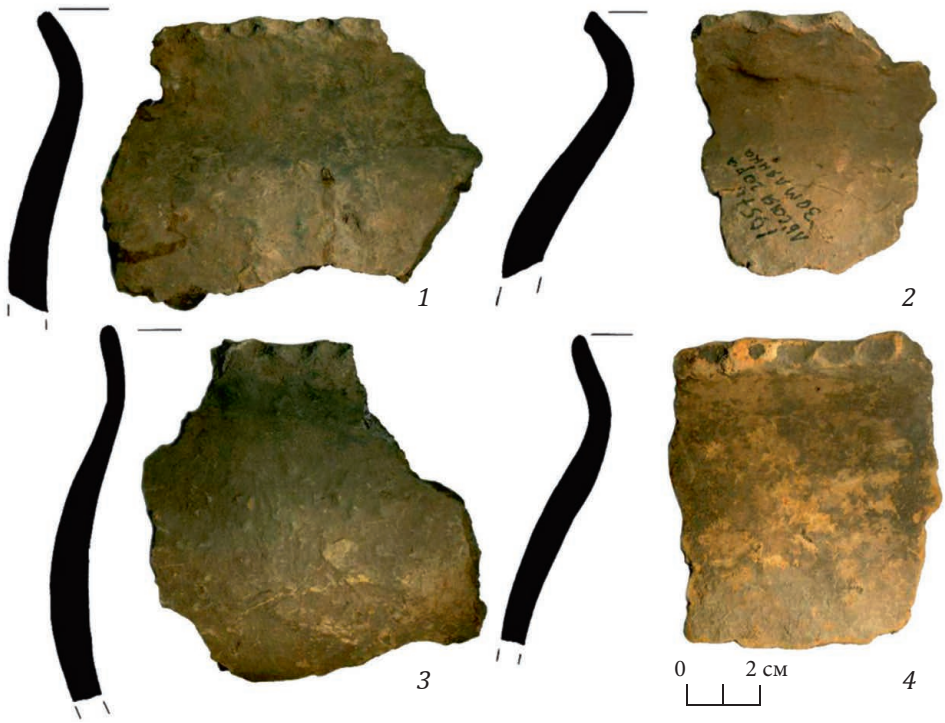


Рис. 2. Керамика с Лысогорского селища

ного венца бревен, сильно обожжены, отсутствуют кольцевые деревянные оградки. В целом можно отметить, что деревянные погребальные конструкции на могильниках на р. Воронеж более простые, нежели на Боршевском могильнике. Создается впечатление, что они конструктивно отражают вырождение данного погребального обряда, являясь более поздними по сравнению с Боршевскими курганами. Появились они на р. Воронеж в процессе миграции какой-то части населения со Среднего Дона во второй половине X в., после прекращения функционирования там славянских вятических поселений.

Итак, заселение славянами бассейна Лесостепного Дона проходило из разных регионов восточнославянского мира. Среднедонской район осваивался в основном выходцами из верхнеокского вятического мира, Верхний Дон (р. Воронеж) заселялся славянами из различных регионов: Правобережье Днепра (культура лука-райковецкая), Днепровское Левобережье (волынцевско-роменские племена), проникали сюда отдельные группы среднедонских вятичей, и на определенном этапе здесь появились незначительные группы алано-болгар – выходцев из ареала салтово-маяцкой культуры.

Одной из ключевых проблем в освещении истории донского славянства является вопрос хронологии, а точнее – время начала освоения славянами этого региона и оставления ими своих поселений. Эта проблема была в свое время предметом довольно острых дискуссий. П. П. Ефименко по результатам раскопок Боршевских городищ и могильника в конце 20-х гг. XX в. датировал эти памятники VIII–X вв. (Ефименко, 1931). Б. А. Рыбаков попытался удревнить эту хронологию до VI–VII вв. (Рыбаков, 1939), но не получил поддержки у исследователей. В монографии П. П. Ефименко и П. Н. Третьякова (Ефименко, Третьяков, 1948), а еще раньше в специальной статье И. И. Ляпушкина (Ляпушкин, 1947) дата VIII–X вв. вновь прозвучала достаточно аргументировано. А. Н. Москаленко уточнила данную хронологию, несколько ее сузив – до IX–X вв. (Москаленко, 1981, с. 102–113).

Довольно противоречива в данном вопросе позиция А. В. Григорьева. С одной стороны, он полностью поддерживает дату, предложенную А. Н. Москаленко – IX–X вв., с другой – отмечает, что наличие волынцевской керамики в курганах на р. Воронеж «позволяет говорить о рубеже VIII–IX вв. как наиболее вероятном времени прихода славян на Дон» (Григорьев, 2000, с. 177).

Исследование памятников на р. Воронеж дало возможность внести некоторые коррективы в хронологию славянских древностей бассейна Дона.

Исследованиями А. Н. Москаленко под насыпями курганов Лысогорского могильника было обнаружено селище. В расчищенной в обрыве берега р. Воронеж полуземлянке найдена керамика – слабопрофилированные горшки, орнаментированные только по верху венчика (рис. 2). Дальнейшие исследования подтвердили наличие под курганами сели-

ща с культурным слоем мощностью 0,15–0,2 м (Москаленко, 1981, с. 45; Пряхин и др., 1997, с. 24–25). Здесь же, на территории курганного могильника, обнаружены два бескурганных ямных погребения. Могильник датируется, судя по раскопанным более чем 30 погребениям, IX–X вв., естественно, селище, на территории которого насыпаны курганы,– еще более ранним временем. По этому поводу В. В. Седов, опираясь на материалы Лысогорского курганного могильника, писал, что «курганы на территории боршевской культуры появились на столетие позже, чем поселения» (Седов, 1982, с. 142). По всей видимости, данное селище можно датировать, учитывая его керамический комплекс, 2-й половиной VIII – рубежом IX в. Аналогичная керамика имеется еще на ряде поселений на р. Воронеж, включая Животинное городище. О наличии славянского населения на р. Воронеж до IX в. свидетельствует и волынцевская керамика – гончарные горшки с высоким прямым венчиком, лощеными поверхностями, пролощенным орнаментом, встреченные как в погребениях, так и на поселениях (Животинное городище).

Прекращение функционирования славянских поселений на р. Воронеж можно отнести к первой половине XI в., о чем свидетельствуют некоторые типы раннегончарной керамики (рис. 3) и ряд фрагментов стеклянных изделий с Животинного городища.

Таким образом, мы имеем определенные основания считать время пребывания славян в северном микрорегионе бассейна Дона (р. Воронеж) со 2-й половины VIII в. до начала – первой половины XI в.

Как уже отмечалось, территория расселения донских славян как Среднего, так и Верхнего Дона (р. Воронеж) практически не граничила ни с одной из восточнославянских группировок. Этим, вероятно, и объясняется почти полное отсутствие каких-либо контактов донских славян с восточнославянским миром. Но при этом не исключается весьма важная роль р. Дон и посредническая роль славянского населения Среднего Дона в торговле восточных славян с Востоком, что неоднократно подчеркивалось в литературе (Винников, 1995, с. 68–72; Григорьев, 2005, с. 156; Леонтьев, Носов, 2012). И сами донские славяне, особенно Среднего Дона (вятичи), были включены в активную торговлю (обмен) с Востоком и со своими южными соседями – населением салтово-маяцкой культуры, северо-западной периферией Хазарского каганата. Контакты донских славян с этой группой соседей были весьма разнообразны, вплоть до совместного с ними проживания на отдельных поселениях, на что выше обращалось внимание (Винников, 2010).

Довольно интенсивные и разнообразные формы взаимоотношений донских славян и населения салтово-маяцкой культуры не исключают данни-ческой зависимости донских славян от Хазарского каганата. Наложение дани в середине VIII в., о чем сообщает летопись, не означает политического подчинения ряда славянских племенных союзов каганату и территориального их включения в состав Хазарского каганата, об этом в источниках нет информации (Плетнева, 1979; Петрухин, 2008).

В глубине территории славян, обложенных данью, имелись алано-болгарские (хазарские) фактории, выполнявшие функции координации по сбору дани, возможно, ее временной концентрации. Такими могли быть Битицкое городище на р. Псёл в северянской земле, Супрутское городище на р. Упа в земле вятичей.

На территории донских славян также, вероятно, были подобные центры, осуществлявшие функции по организации сбора, временного хранения и доставки дани в хазарские крепости, отстоящие к югу на несколько десятков километров. К таким центрам, вероятно, можно отнести Титчихинское городище на Среднем Дону, а на р. Воронеж – I Белогорское или городище «Михайловский кордон».

Естественно возникает вопрос – как рассматриваемый регион соотносился с набирающим силу Древнерусским государством и входила ли территория Верхнего и Среднего Дона в конце I тыс. в государственную территорию. А. Н. Москаленко рассматривала бассейн Дона как «глухие, отдаленные районы» вне пределов древнерусской государственности, куда могло убегать закрепощаемое славянское население (Москаленко, 1966, с. 132–134). Б. А. Рыбаков рассматривал памятники донских славян как самые южные поселения вятичей, которые представляли совершенно самостоятельное политическое объединение независимое от власти киевских князей вплоть до 2-й половины X в. (Рыбаков, 1982, с. 258).

На карте Б. А. Колчина и А. В. Кузы «Формирование государственной территории и древнейшие города Киевской Руси» на конец IX в. территория Древнерусского государства с востока ограничена памятниками волынцевско-роменской группы. Лишь к 70-м гг. X в. бассейн Верхнего Дона (р. Воронеж) и частично Среднего, по мнению данных авторов, включается в территорию Древнерусского государства (Колчин, Куза, 1985, с. 32–33).

Таким образом, славянское население Лесостепного Дона до 60-х гг. X в. было вне пределов Древнерусской государственности. Отметим еще раз, что донские славяне платили дань хазарам, что исключало их одновременное подчинение власти киевского князя. Лишь после похода Святослава на вятичей, поволжских булгар, Хазарию в 964–966 гг., результатом чего стала ликвидация Хазарского каганата как государства, и, возможно, дальнейшего его пути вверх по Дону через земли донских славян можно ставить вопрос о включении этого региона в состав Древнерусского государства.

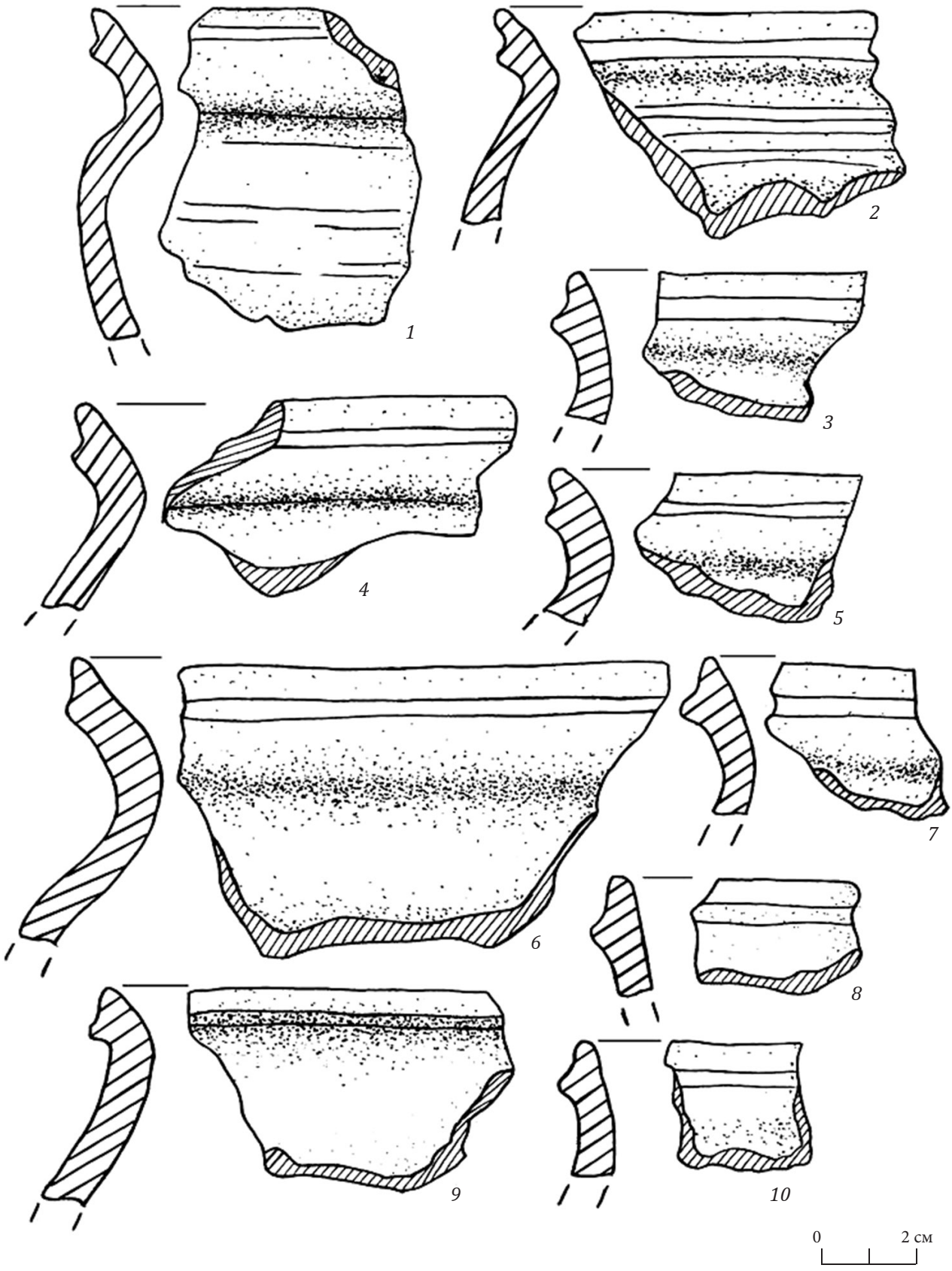


Рис. 3. Раннегончарная керамика с Животинного городища

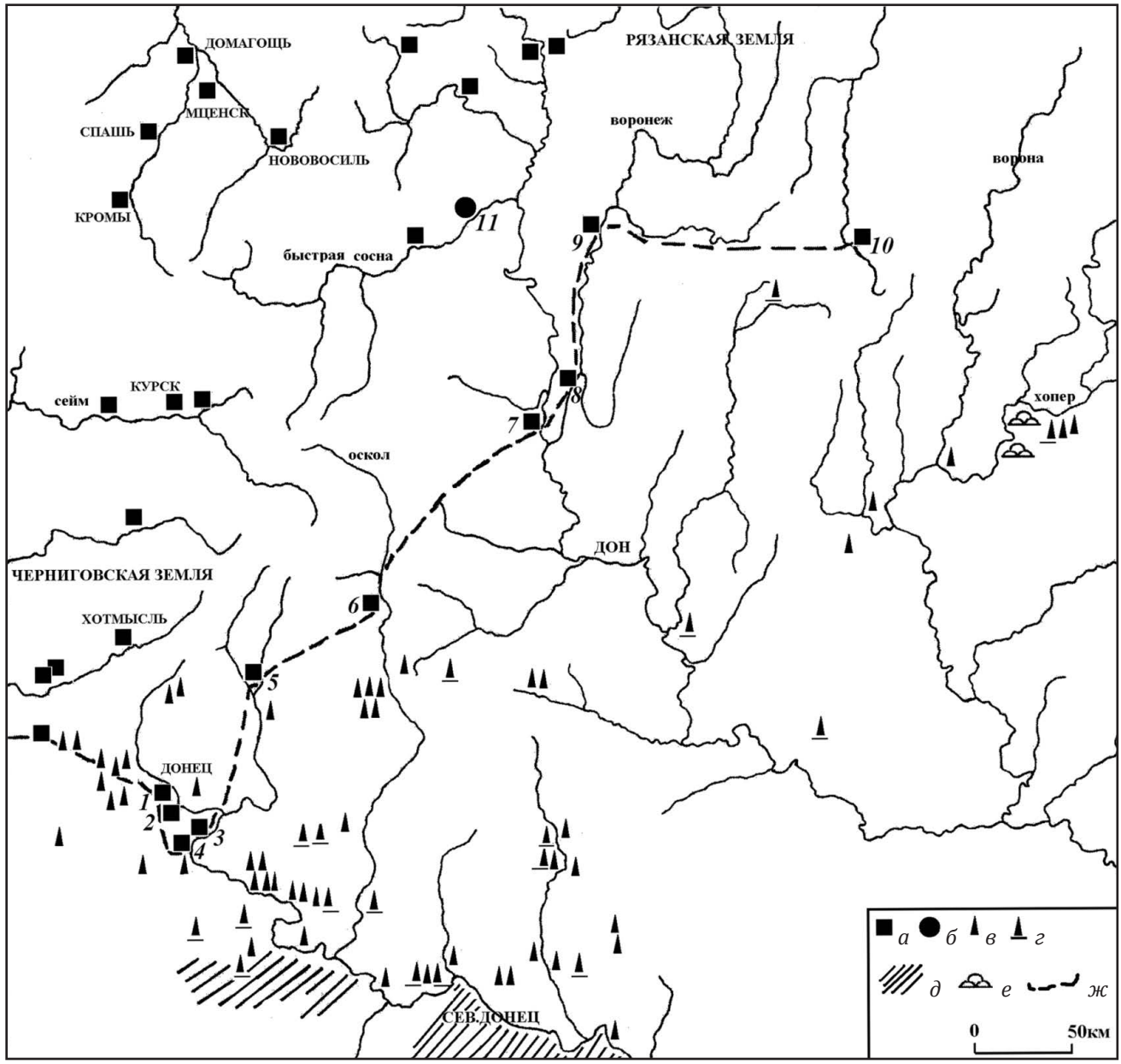


Рис. 4. Юго-восточное порубежье Руси во второй половине XII – первой трети XIII в.:

а – древнерусское городище;
б – древнерусское селище;
в – половецкое каменное изваяние;
г – изваяние, зафиксированное в месте первоначальной установки;
д – район концентрации половецких каменных изваяний;
е – кочевнический могильник;
ж – граница Руси.

Городища: 1 – Донецкое, 2 – Хорошево, 3 – Мохнач, 4 – Гайдары, 5 – Крапивное, 6 – Холки, 7 – Семилукское, 8 – Животинное, 9 – Романово, 10 – Никольское, 11– Лавское

Вопрос о преемственности боршевской культуры Лесостепного Подонья и древнерусской культуры последующего периода остается пока открытым.

Во второй половине XI – первой половине XII в. в Лесостепном Подонье существовали лишь отдельные поселения. Наиболее изученным из них является Лавское поселение под Ельцом (Тропин, 2006). Приток нового населения в рассматриваемый район фиксируется во второй половине XII – первой трети XIII в. Возникают укрепленные поселения, определявшие восточные границы Черниговского и южные границы Рязанского княжеств (Холки на р. Оскол, Семилукское на р. Дон и др.) (рис. 4). Заселение Лесостепного Подонья шло с территории Днепровского Левобережья, бассейна Оки. Формируется общий контур юго-восточной границы Руси. Эта граница маркировалась городищами «донецкой оборонительной линии» (Донецкое, Хорошево, Мохнач, Гайдары, Крапивное, Холки) (Дьяченко, 1983). Наиболее изученными являются городища Донецкое (Дьяченко, 1983) и Холки (Винников, Кудрявцева, 1998а). На Дону информативным памятником на юго-востоке Руси является Семилукское городище (Пряхин, Цыбин, 1991; 1996). На р. Воронеж изучались Животинное городище (Винников, Кудрявцева, 1998б), Романово городище (Андреев, 2001), в верховьях Цны – Никольское городище (Андреев, 2009).

Необходимо обратить внимание на тот факт, что Семилукское городище находилось на значительном удалении от ближайших городских центров Юго-Восточной Руси. Это обстоятельство характерно и для других поселений (Крапивное, Холки). В этом плане представляется весьма продуктивным подход В. В. Енукова к характеристике структуры юго-восточного пограничья Руси, в которой не было жесткой разделительной линии между русскими и половецкими владениями, а понятие «поле Половецкое» могло включать остепненные водораздельные территории, подходившие к плотно заселенным участкам древнерусской территории (Енуков, 2005). Представляется, что похожая ситуация была характерна и для XVI в.

Определению юго-восточных пределов Руси способствует картографирование каменных половецких изваяний, выделение тех из их, которые были зафиксированы в месте первоначальной установки (рис. 4).

В целом после прекращения существования славянской боршевской культуры Лесостепное Подонье в последующее время оставалось для древнерусского населения территорией хозяйственного освоения и не выпало из сферы государственных интересов древнерусских княжеств. Этот процесс не был остановлен и монгольским нашествием.

Источники и литература

Андреев С. И., 2001. Романово городище // Верхнедонской археологический сборник. Липецк. Вып. 2.

Андреев С. И., 2009. Никольское городище // Средневековый город Юго-Востока Руси: предпосылки возникновения, эволюция, материальная культура. Курск.

Винников А. З., 1984. Славянские курганы Лесостепного Дона. Воронеж.

Винников А. З., 1995. Славяне Лесостепного Дона в раннем Средневековье (VIII – начало XI века). Воронеж.

Винников А. З., Плетнева С. А., 1998. На северных рубежах Хазарского каганата : Маяцкое поселение. Воронеж.

Винников А. З., 2010. Донские славяне и алано-болгарский мир: мирное сосуществование или противостояние? // Хазары: миф и история. М. ; Иерусалим.

Винников А. З., Кудрявцева Е. Ю., 1998а. Городище Холки на юго-восточной окраине Древнерусского государства // Вопросы истории славян. Воронеж. Вып. 12.

Винников А. З., Кудрявцева Е. Ю., 1998б. Древнерусское Животинное городище // Вопросы истории славян. Воронеж. Вып. 12;

Воронина Р. Ф., 2007. Лядинские древности. Из истории мордвы-мокши : конец IX – начало XI века. М.

Григорьев А. В., 2000. Северская земля в VIII – начале XI века по археологическим данным. Тула.

Григорьев А. В., 2005. Славянское население водораздела Оки и Дона в конце I – начале II тыс. н. э. Тула.

Дьяченко А. Г., 1983. Славянские памятники VIII – середины XIII в. в бассейне Северского Донца : дис. … канд. ист. наук. Харьков.

Енуков В. В., 2005. Славяне до Рюриковичей. Курск.

Ефименко П. П., 1931. Раннеславянские поселения на Среднем Дону. (Сообщения ГАИМК. Вып. 2).

Ефименко П. П., Третьяков П. Н., 1948. Древнерусские поселения на Дону. (МИА. № 8).

Колчин Б. А., Куза А. В., 1985. Археологические источники и методика исследования // Древняя Русь. Город. Замок. Село. М. (Археология СССР).

Леонтьев А. Е., Носов Е. Н., 2012. Восточноевропейские пути сообщения и торговые связи в конце VIII–X в. // Русь в IX–X веках : археологическая панорама. М.; Вологда.

Ляпушкин И. И., 1941. Славяно-русские поселения IX–XII ст. на Дону и Тамани по археологическим памятникам // МИА. № 6.

Ляпушкин И. И., 1947. О датировке городищ роменско-боршевской культуры // СА. № IX.

Монгайт А. П., 1964. Рязанская земля. М.

Москаленко А. Н., 1965. Городище Титчиха. Из истории древнерусских поселений на Дону. Воронеж.

Москаленко А. Н., 1966. О возникновении древнерусских поселений на Дону// Вопросы истории славян. Воронеж. Вып. 2.

Москаленко А. Н., 1981. Славяне на Дону (Боршевская культура). Воронеж.

Петрухин В. Я., 2008. Славянские данники хазар: к истории Восточной Европы в IX в. // Древности эпохи Средневековья Евразийской лесостепи. Воронеж.

Плетнева С. А., 1979. Сведения русских летописей о восточноевропейских кочевниках эпохи раннего Средневековья (VIII – начало X в.) // Археология восточноевропейской лесостепи. Воронеж.

Плетнева С. А., 1999. Очерки Хазарской археологии. М. ; Иерусалим.

Пряхин А. Д., Беседин В. И., Разуваев Ю. Д., Цыбин М. В., 1997. Вантит : изучение микрорегиона памятников у северной окраины г. Воронежа. Воронеж. Вып. 1.

Пряхин А. Д., Цыбин М. В., 1991. Древнерусское Семилукское городище XII–XIII вв. на р. Дон (итоги раскопок 1984–1986 гг.) // Археология славянского Юго-Востока. Воронеж.

Пряхин А. Д., Цыбин М. В., 1996. Древнерусское Семилукское городище (материалы раскопок 1987–1993 гг.) // На Юго-Востоке Древней Руси. Воронеж.

Русанова И. П., 1973. Славянские древности VI–IX вв. между Днепром и Западным Бугом. (САИ. Вып. Е1-25).

Рыбаков Б. А., 1939. Анты и Киевская Русь // ВДИ. № 1.

Рыбаков Б. А., 1982. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М.

Седов В. В., 1970. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. (МИА. № 163).

Седов В. В., 1973. Ранние курганы вятичей // КСИА. Вып. 135.

Седов В. В., 1982. Восточные славяне в VI–XIII вв. М. (Археология СССР).

Седов В. В., 1995. Славяне в раннем Средневековье. М.

Спицын А. А., 1922. Археология в темах начальной русской истории // Сборник статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову. Пг.

Тимощук Б. А., Русанова И. П., Михайлина Л. П., 1981. Итоги изучения славянских памятников Северной Буковины // СА. № 2.

Тропин Н. А., 2006. Южные территории Черниговo-Рязанского порубежья в XII–XV вв. Елец.

Шахматов А. А., 1907. Южные поселения вятичей // Известия Академии наук. Серия 6. Т. 1.

Summary

A. Z. Vinnikov, M. V. Tsybin

Slavs from the Wooded Steppes of the Don Valley and the Medieval Rus' State

In this article some issues are examined relating to the history of the Slavs from the wooded steppes of the Don Valley on the south-eastern edge of the Slavonic world at the end of the I and beginning of the II millennium AD. Light is shed on issues concerning the settlement of this territory by the Slavs. Questions of chronology, the tribal origins of the Slavs on the Don and their interaction with their southern neighbors – representatives of the Saltovo-Mayatsk Culture (north-western periphery of the Khazar Khaganate) – are discussed and also the period when this territory was absorbed into the medieval state of Rus'.

С. С. Рябцева, Р. А. Рабинович

О возможности выделения венгерских древностей в Карпато-Днестровском регионе в IX–X вв.

Введение

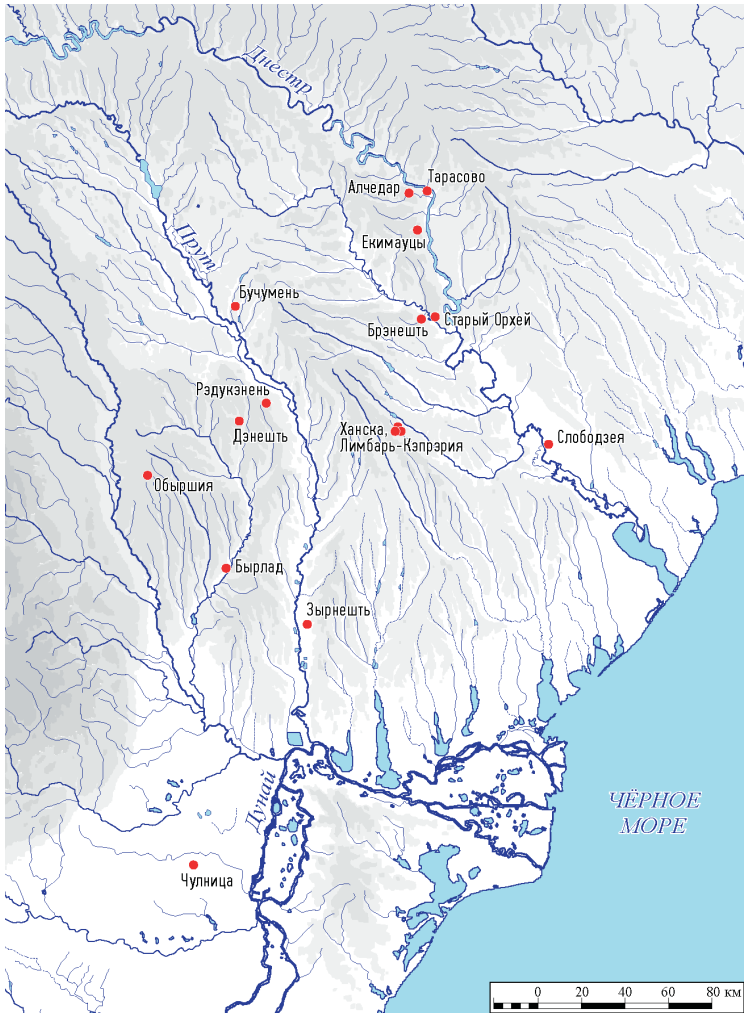
В подобной формулировке вопрос нечасто ставился в региональной историографии. В основном кочевническая проблематика охватывала такие аспекты, как: исследование данных письменных источников об определенных группах номадов; археологическая характеристика древностей, отождествляемых с теми или иными группами степняков; интерпретация контактов оседлого и пришлого в регион кочевнического населения. Последние сводились, в большинстве случаев, к позиционированию именно деструктивной роли кочевников. Нам уже приходилось отмечать особенности культурно-исторического развития Карпато-Днестровских земель в IX–XI вв., обусловленные географическим положением региона. На местное славянское население (носителей древностей лука-райковецкой культуры в IX в.) активно воздействовали (иногда в результате непосредственного переселения) балкано-дунайский, западнославянский и, назовем условно, кочевнический (носители салтово-маяцкой культуры, венгры) культурные миры (Рабинович, Рябцева, 2009, с. 292–304, там же историография).

На основании анализа данных письменных источников мы можем ставить вопрос о возможной и даже существенной роли венгров в истории Карпато-Днестровских земель в период IX–X вв. С 30-х гг. IX в. по 30-е гг. X в., а особенно на рубеже этих столетий, венгры могли оказывать влияние политического характера на Карпато-Днестровский регион. Возможно, эта территория входила в Ателькузу – место пребывания всех или части мадьярских племен накануне обретения родины. Их непосредственное пребывание в регионе оказало существенное влияние на взаимоотношения местного населения с соседями – Дунайской Болгарией и Киевской Русью. Именно венгерский фактор сыграл решающую роль в том, что уличи и тиверцы оказались подчиненными Киевской Руси не ранее середины 30-х гг. X в., хотя попытки овладеть их территорией со стороны Киева предпринимались еще в 885 г.

Данные положения, выдвинутые на основе исследования письменных источников и анализа соответствующей историографии, аргументируются нами в специальной работе (Рябцева, Рабинович, 2007, с. 195–205). Рамки объема настоящей статьи не позволяют остановиться на этом, поэтому обратимся исключительно к данным археологии.

Прежде чем рассмотреть различные категории вещевого материала, который может обсуждаться в свете проблемы именно венгерской атрибуции, отметим следующее. Среди кочевнических древностей IX–X вв. бывает трудно или невозможно выделить именно венгерские. Даже те артефакты, которые, казалось, бесспорно могут отождествляться с венграми, де-факто могли принадлежать и другим этническим группам с общими или близкими материальной культурой, воинской субкультурой. Причем не обязательна даже их принадлежность к кочевому или полукочевому населению. Оседлое население в зоне контактов широко воспринимало в качестве престижных культурных образцов многие элементы воинской субкультуры, снаряжения всадника и коня.

Как полагает румынско-венгерский исследователь Эрвин Галл, можно говорить о венгерской культуре на исходе заключительного этапа обретения родины, среди носителей которой были не только этнические венгры. В частности он отмечает: «Археологический инвентарь «венгерских завоевателей» не может рассматриваться как отражение этнической специфики. Скорее, речь идет о макрорегиональной культуре, которая характеризовала Карпатский бассейн и не принадлежала населению с гомогенной этнической идентичностью» (Галл и др., 2011, с. 229).



Карта 1. Карта упоминаемых в статье памятников, расположенных в Пруто-Днестровье

Тем не менее отказаться от выявления тех древностей, которые можно попытаться отождествить с кочевниками-венграми, на наш взгляд, будет неправильно, так как лишается перспективы сама возможность исследований особенностей культурно-исторического развития Карпато-Днестровских земель.

Рассмотрим наиболее выразительные предметы, происходящие с территории Карпато-Днестровских земель, которые могут свидетельствовать как непосредственно о венгерском присутствии, так и о распространении специфической дружинной культуры, на сложение набора престижных артефактов которой оказывала влияние и венгерская традиция.

Оговоримся сразу, что эти две группы древностей зачастую четко разграничить весьма сложно. Так, наборные пояса, в том числе отражавшие влияние венгерской моды, были весьма популярны у различных этнических объединений на обширной территории от Урала до Балкан. Пояса близкого облика представлены у хазар, венгров, болгар, удмуртов, мари, мордвы, встречаются и в древнерусских памятниках (Фонякова, 1998, с. 635–641; The ancient Hungarians, 1996; Fettih, 1937; Dienes, 1976, p. 79–113; Станилов, 1993, с. 152–163; Мурашёва, 2000, с. 75; Казаков, 2000, с. 87–99).

В то же время каплевидные подвески, аналогичные найденным в Карпато-Днестровском регионе в Ханска (Республика Молдова) и Дэнешть-Васлуй (Румынская Молдова) (карта 1), относятся к наиболее характерным предметам декорировки женского венгерского костюма (Vana, 1954, p. 73, Tad. VI; Spinei, 1999, p. 38) (рис. 3: 59, 63). При этом считается, что специфичные для костюма женские украшения, как правило, не являлись предметом дальней торговли и могли распространяться только с их носительницами (Петрухин, 1983, с. 174; Гавритухин, Казанский, 2006, с. 304).

Предметы вооружения

На городище Екимауцы был найден серебряный позолоченный *наконечник ножен сабли*, декорированный характерным для венгерской торевтики растительным узором (рис. 3: 75; рис. 1: С). В этом же стиле орнаментирована и серебряная позолоченная *листовидная поясная бляшка,* найденная на территории средневекового поселения у с. Тарасова (Рябцева, Чокану, 2009, с. 166, рис. 1, 5) (рис. 3: 74). Для подобных изделий характерен специфический орнамент в виде крина или растительного побега с отогнутыми, зачастую заостренными лепестками. Типичным элементом орнаментации является и поперечный перехват у основания крина или пучка листьев. Характерны также бордюр по краю листа, разделка листьев штриховкой или гравированный орнамент в виде черты или завитка, оканчивающихся точкой (The ancient Hungarians, 1996, с. 32, 33; Орлов, 1984, с. 38).

Найденное на Екимауцах *перекрестие сабли* (рис. 1: В) полностью аналогично встречающимся в венгерских древностях, однако оружие, снабженное им, могло, конечно же, принадлежать представителю и другой этнической группы. Из близлежащих памятников наибольшей полнотой отличаются наборы снаряжения всадника, найденные в венгерских погребениях в Клуже (Трансильвания). В них найдены сабли, стрелы, стремена, псалии, подпружные пряжки, ременные наборы (Spinei, 1999, p. 66, fig. 14; Gáll, Balázs, Gál, 2010, pl. 2–39) (рис. 5: 19–24).

Из этого некрополя происходят и круглые зерненные шаровидные пуговицы, а также две серьги «волынского типа» (типы «B» и «C» по нашей типологии – Рабинович, Рябцева, 1997, с. 236–243) (рис. 5: 11, 13, 14).

К предметам вооружения, свидетельствующим о пребывании венгров в Пруто-Днестровском междуречье, видимо, можно отнести и находки *наконечников стрел.* Недавно С. В. Чера обратил внимание на то, что среди опубликованных наконечников, найденных в результате масштабных раскопок Г. Б. Фёдорова 1950–1960-х гг. на городищах Алчедар и Екимауцы, значительная часть типов по А. Ф. Медведеву (1966) обнаруживается в ареале распространения финно-угорских народов. Так, из 30 типов черешковых наконечников 25 использовались в Поволжье, Прикамье и бассейне р. Вятки. Более того, срезни в виде узкой прямоугольной лопаточки (тип 57), кроме Екимауц, обнаружены только в Мыдлань-Шайском, Малышевском, Стерлитамакском, Крюково-Кужновском могильниках и на Сарском городище. Еще один тип наконечников, бронебойные в виде кинжальчиков ромбического сечения с перехватом и круглой шейкой (тип 97.1), кроме Екимауц, известен только в Поломском могильнике. Оба этих типа датируются только IX–X вв., что может указывать на время появления таких наконечников в Поднестровье. Важно, что распространение одного из типов наконечников (тип 42), обнаруженного в Алчедаре и Екимауцах, А. Ф. Медведев связывает именно с венгерскими миграциями, к тому же эта гипотеза лучше всего объясняет отсутствие наконечников типа 57 и 97.1 где-либо, кроме Поднестровья, Поволжья и Прикамья (Чера, 2010[1]).

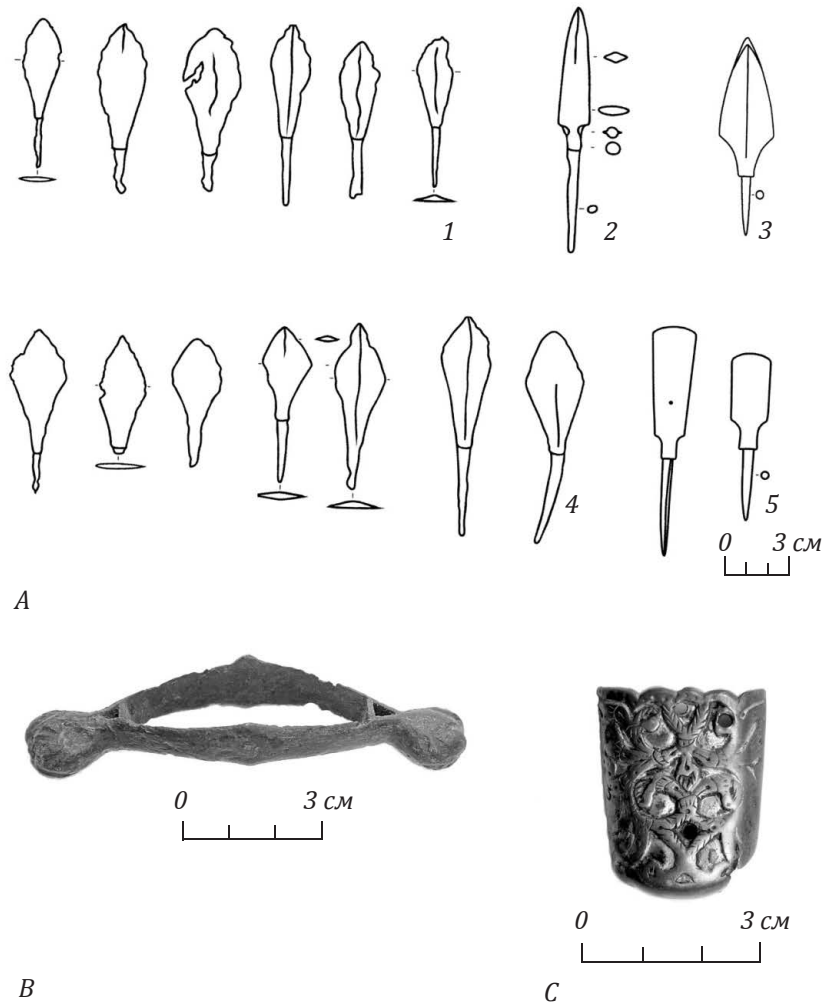


Рис. 1. Предметы вооружения.
А – Екимауцы, Алчедар (Молдова) (Чера, 2013, рис. 1);
В, С – Екимауцы (Молдова)

В 2011–2013 гг. С. В. Чера обработал и ввел в научный оборот 279 экземпляров наконечников стрел, обнаруженных на поселениях Алчедар и Екимауцы и хранившихся в фондах Национального музея археологии и истории Молдовы (Чера, 2013)[2]. К уже отмеченным по работе А. Ф. Медведева типам наконечников стрел (42, 57, 97.1) из Екимауц и Алчедара, связанным с финно-угорским миром, в указанной коллекции прибавились наконечники, близкие к типу 65 (рис. 1: А,1). Помимо статистико-типологической части исследования, автор показал этнокультурную неоднородность групп морфологически сходных наконечников стрел. По его мнению, более 43 % наконечников в выборке могут быть связаны с финно-угорским миром, в том числе 10 % – с характерными венгерскими древностями (Чера, 2013. с. 199). С. В. Чера поставил вопрос об исторических связях между Прикамьем и Поволжьем с Пруто-Днестровьем, проявившихся в наличии некоторых типов черешковых стрел в этих и только в этих регионах (Чера, 2013, с. 199–202).

[1] Чера С. В. 2010. Доклад «О некоторых культурно-диагностических типах наконечников стрел на поселениях Алчедар и Екимауцы» на конференции молодых ученых в университете Высшая антропологическая школа (Кишинёв, Молдова). Выражаем признательность С. В. Чере за предоставленную им возможность использовать текст доклада.

[2] Материалы раскопок памятников Екимауцы и Алчедар, проведенных Г. Б. Фёдоровым в 1950–60-х гг., находятся в фондах научных учреждений Кишинёва, Москвы и Одессы.

Предметы ременной и сумочной гарнитуры и декорировки одежды

На территории Пруто-Днестровского региона было найдено несколько поясных наборов, а также целый ряд отдельных бляшек и накладок. На восточной окраине, на левобережье Днестра, *поясной набор* найден в раннесредневековом могильнике у г. Слободзея (Щербакова, Тащи, Тельнов, 2008, с. 4). Слободзейский курган служил усыпальницей в различные исторические эпохи, но самой многочисленной группой погребений являются захоронения кочевников IX в.

Поясной набор был обнаружен в мужском погребении (№ 18), сопровождавшемся захоронением коня. Поверх берцовых костей захороненного располагались череп и нижние конечности лошади, неподалеку найдены стремена и остатки уздечки (?). Возле черепа человека размещались одноручный гончарный кувшин, две кольцевидные серебряные позолоченные проволочные серьги и остатки жертвенной пищи (кости овцы). На левой плечевой кости погребенного – пять наконечников стрел, на кисти – крючок для крепления колчана. В области груди были найдены накладки на лук, в поясничной области – остатки кожаного ремня с серебряной поясной гарнитурой, с правой стороны – железный нож и кожаный мешочек с железным кресалом и остатками ткани.

Сохранился тридцатисантиметровый обрывок ремня шириной 1,7 см. К ремню на расстоянии 1,8 см друг от друга крепились литые прорезные бляшки щитовидной формы, с прямым гладким верхним и фестончатым полукруглым краем (13 экз.). В центре бляшек расположен гладкий щиток, также с фестончатым оформлением и щелевидной прорезью (рис. 2: 2–7). К поясу крепились и дополнительные кожаные ремешки с аналогичными бляшками, но без прорези и с фестончатым краем со всех сторон (14 экз.) (рис. 2: 8–15). Щиток поясной пряжки декорирован по краю выступами и ложным жемчужником, а в центре – достаточно сложным растительным узором (рис. 2: 1). Поясная бляшка, по форме близкая к слободзейским, но несколько более грубая и отлитая из бронзы, найдена у села Бучулены (Унгенский район Республики Молдова) (рис. 2: 22). Вместе с ней обнаружены бронзовый поясной наконечник и перстень «салтовского типа» с крупной вставкой (Национальный музей археологии и истории Молдовы, акт № 59) (рис. 2: 21).

Наиболее близкой аналогией поясному набору из Слободзейского кургана являются детали пояса из клада Рэдукэнень (Румынская Молдова), который может быть отнесен к IX – первой половине X в. (Teodor, 1980, p. 403–423). В кладе находилось поясная пряжка и 9 серебряных поясных бляшек листовидной формы (без прорезей), у которых и наружный край, и контур внутреннего щитка оформлены фестонами (щиток декорирован углубленным стилизованным узором) (рис. 2: 16–18). Кроме того, имеется одна бляшка с петелькой (рис. 2: 19). В кладе находились достаточно ранние монеты – дирхемы середины VIII в. и начала IX в., целая подборка лунниц и гроздевидных украшений (рис. 3: 21, 27, 52–58). Литая бронзовая лунница из Рэдукэнень с загнутыми «рожками», декорированными дериватами растительных побегов, имеет, с одной стороны, аналогии в великоморавских памятниках (например, Нитра, Чакайовице (Čakajovíce), Прушанку), а с другой – на городище Екимауцы в Молдове (Rejholcová, 1995, s. 226; Dekan, 1979, s. 30. № 156; Klanica, 2006, s. 108, obr. 43) (рис. 3: 17–22). Картографирование мест находок этих изделий наглядно демонстрирует возможный путь их распространения и попадания на территорию Восточной Европы (Pleterski, 2010, s. 152).

Тот же вектор связей Подунавье – Восточная Европа демонстрирует и подборка гроздевидных украшений и штампованно-филигранных лунниц из этого клада, также имеющих прямые аналогии как в древностях Великой Моравии, так и на городищах Екимауцы и Алчедар в Молдове (рис. 3: 1–16, 27, 28, 42, 43, 45–58). Аналогии среди материалов Алчедара имеют в данном кладе и большая дротовая гривна, а также перстни салтовского типа (последние найдены и на городище Екимауцы) (Рябцева, 2006, с.143–168) (рис. 4: 4, 5, 13, 16). На территории Румынии еще одна бляшка щитовидной формы с фестончатым краем (но с криновидным узором в центре внутреннего щитка) была найдена в Обыршия (рис. 2: 20), а с гладким краем и простым щитком – в Пэкуюл луй Соаре (Diaconu, Vîlceanu, 1972, p. 155; Рябцева, Рабинович, 2007, с. 206, рис. 1).

В целом, бляшки щитовидной формы с фестончатым краем встречаются достаточно редко (причем отличительной чертой рассматриваемых изделий можно считать именно углубленные относительно поверхности изделия фестоны). Наиболее близкие аналогии находкам из Карпато-Днестровского региона происходят из Больше-Тиганского могильника (Chalikova, Chalikov, 1981, p. 131, taf. XXIII) и случайной находки (так называемая Сатановская коллекция, ныне хранящаяся в ГИМе)[3]. Необходимо отметить, что подобный специфический бордюр представлен и на ряде щитков пряжек и поясных накладок (например, Орджоникидзе, Украина) (Тюркское наследие …, 2008, с. 214). На территории Карпатской котловины щитовидные бляшки также встречаются нечасто и уже преобладают вещи с выпуклым бордюром (Fettih, 1937, taf. C).

[3] Приносим глубокую благодарность научному сотруднику Института археологии Академии наук Венгрии Аттиле Тюрку за ценные консультации и помощь с литературой.



Рис. 2. Детали поясных и сумочных наборов второй половины IX – начала XI в. Масштабы разные. 1–15 – Слободзея (Молдова); 16–19 – Рэдукэнень, Обыршия (Румыния); 21–22 – Бучулены; 23–36 – Екимауцы (Молдова); 37, 38, 40 – Хомокмедь (Венгрия); 39, 47 – Преслав (Болгария); 41, 42 – Карош (Венгрия); 43 – Ладаньбене-Бенепуста; 44, 46, 51, 55, 56, 58 – Надарова (Болгария); 45 – Гнёздово (Россия); 48, 49 – Пет Могила (Болгария); 50 – Пэкуюл луй Соаре (Румыния); 52, 54 – Шестовицы (Украина); 53 – Киев (Украина); 57 – Надьёс (Венгрия)

По всей видимости, ременные наборы с рассмотренным специфическим декором являются составной частью круга древностей, маркирующих продвижение венгров по территории Восточной Европы. До недавнего времени известные памятники, связанные с присутствием венгров в Восточной Европе, были единичны. По мнению исследователей, археологическим свидетельством пребывания венгров в Поволжье являются материалы Танкеевского и Больше-Тиганского могильников, откуда происходят поясные и уздечные наборы, погребальные маски. Одиночные подкурганные погребения известны в Саратовском и Самарском Поволжье и на юге и западе Украины. Памятники венгров на территории Украины с недавнего времени выделяются в Субботицкий тип, возможно, генетически связанный с караякуповскими древностями Приуралья (Комар, 2011, с. 21–78). По мнению А. В. Комара, венграм принадлежали отдельные подкурганные и бескурганные захоронения второй половины IX века с западной ориентировкой костяков в сопровождении костей коня, снаряжения коня и всадника, наборных поясов, гончарной или серебряной посуды (Субботица, Манвеловка, Твердохлебы, Бабичи, Нововоронцовка, Коробчино, Орджоникидзе, Дмитровка). Из специфического инвентаря в Манвеловке были найдены лицевые маски, а в Дмитровке лицевые покрытия с нашивками на глаза и рот золотых пластинок. При этом исследователь выделяет целую группу декоративных элементов оформления предметов торевтики, представленную на предметах из этой группы памятников и имеющую продолжение в культуре венгров. По мнению А. В. Комара, к этому же кругу древностей, маркирующих присутствие венгров на территории Ателькузы, можно отнести и впускные захоронения в Слободзейский курган, территориально весьма отдаленный от других субботицких памятников (Комар, 2011, с. 65–67). В отличие от киевского коллеги, для которого этот памятник, исследованный на Левобережье Днестра, как бы маркирует западную границу Ателькузы, мы считаем, что о венгерских древностях и венгерском присутствии можно вести речь и для территории Пруто-Днестровского региона (Рябцева, Рабинович, 2007, с. 195–230).

В Пруто-Днестровском междуречье еще один *набор поясных бляшек* был найден на Екимауцком городище (Резинский район, Республика Молдова) в 1951 г. при раскопках богатого комплекса ювелирной мастерской. Оттуда же происходят сердоликовые и пастовые бусы, медные и серебряные украшения, набор кузнечных и ювелирных инструментов, заготовки и отходы производства (Фёдоров, 1953, с. 104–126). Поясной набор состоит из 40 литых бронзовых сердцевидных бляшек с небольшим выступом, декорированных врезным волютообразным узором (рис. 2: 28–33). Бляшки представлены в двух разновидностях: одни – более широкие, другие – узкие, удлиненные (относятся, соответственно, к типам XXVIII Б1 и 2, по типологии В. В. Мурашёвой) (Мурашёва, 2000, с. 45). Узкие накладки крепились, по всей видимости, на свисающей части пояса острой частью вниз (рис. 2: 31–33).

Бляшки, близкие к екимауцким, известны на территории Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы и демонстрируют сложение единого стиля в оформлении поясов. Сходные экземпляры происходят из Карош, Хомокмедь, Ладаньбене-Бенепуста и других мест в Венгрии (The ancient Hungarians, 1996, p. 84, fig. 10, 312, fig. 1, 339, fig. 6; Fettih, 1937, t. XXXV, LXIV, CXXX; Eszter, 2003, p. 505, t. 3; Szóke, 1954, p. 119–139, fig. 6) (рис. 2: 37, 38, 40–43). Но наиболее близкие к екимауцким находки известны из Нижнего Подунавья и с Балкан – Пэкуюл луй Соаре (Румыния), Преслава, Надарово, Шуменского округа (Болгария) (Diaconu, Vîlceanu, 1972, p. 155; Dumitriu, 2001, taf. 46; Дончева, 2004, с. 212–227; Плетнев, 2004, с. 228–240; Станилов, 1993, с. 152–163) (рис. 2: 48–51). На территории Восточной Европы сходные бляшки, но отличающиеся отсутствием каплевидного выступа и некоторыми графическими дополнениями в орнаменте, найдены в Гнёздове, Тимерево и Владимирских курганах, Лядинском, Томниковском могильниках и «Черемисском кладбище» (Мурашёва, 2000, с. 45). Схожие накладки известны как в древнерусских материалах X–XI вв., так и в Прикамье, Волжской Булгарии, у марийцев, черемисов и мордвы (Fettih, 1937, t. XXVII; Мурашёва, 2000, с. 45, 46) (рис. 2: 45).

Несколько отличающиеся от других восточноевропейских, бляшки пояса из Екимауц, по всей видимости, могут быть отнесены к изделиям подунайской ремесленной традиции, представленной находками из Венгрии, Румынии и Болгарии. Наибольшую близость к бляшкам екимауцкого пояса демонстрируют накладки из Пэкуюл луй Соаре (Румыния) и Надарова и Пет Могила (Болгария) (рис. 2: 46–51). Причем находки на территории Болгарии, например, в упомянутом местонахождении из Надарова, не только поясных бляшек, но и шаблонов и другого инструментария для их изготовления, а также бракованных экземпляров, свидетельствуют о том, что мы имеем дело со следами функционирования производственного комплекса (Плетнев, 2004, с. 238; Бонев, Дончева, 2011).

Помимо набора однотипных бляшек с валютообразным орнаментом, на Екимауцах было найдено несколько *бляшек с криновидным и листовидным узором*, а также геометризированная *накладка-розетка*, предназначенная для декорировки сумки или кошеля (Рябцева, Рабинович, 2007, с. 195–230, рис. 1) (рис. 2: 34–36). Миниатюрная бляшка с криновидным узором из Екимауц, вероятно, могла относиться к декору сумки (маленькими бляшками украшали ремешки-застежки) (рис. 2: 11). На горо-

дище было найдено и несколько пряжек от ременных гарнитур, в том числе и миниатюрная, которая могла принадлежать к декору тонкого внутреннего ремешка, служившего для застегивания наборного пояса, или же ремешка, при помощи которого застегивалась сумочка (рис. 2: 23–26).

Наборные пояса и сумочки-ташки, и кошели зачастую находят в одних комплексах. Наиболее распространены такие находки на территории Венгрии, но известны и в Восточной Европе. Подобный комплект представлен, например, в кургане Ц–160 Гнёздовского некрополя. На погребенном, завернутом в шерстяной плащ, была надета шерстяная рубаха или кафтан с шелковой отделкой, перепоясанная наборным поясом (Щербакова, 2010, с. 82–93). Сохранился кожаный ремень длиной около 168 см, декорированный 66 бляшками трех видов. С правой стороны от погребенного были открыты металлические детали гарнитуры поясной сумочки (Мурашёва, 2000, с. 72). Декор пояса и сумки из Гнёздова выполнен в едином стиле, эти вещи могли рассматриваться как комплект. Гнёздовская находка дает некоторое представление о том, как мог выглядеть набор из Екимауц.

Рассматриваемый поясной набор из Екимауц происходит из контекста славянского поселения конца IX – начала XI в. (где представлены, однако, и вещи, выполненные в венгерской традиции, – наконечник ножен и перекрестие сабли, витые гривны и дротовые браслеты, близкие к типичным для памятников культуры Биело-Брдо) (Рябцева, 2006, с. 143–168). Принимая во внимание многочисленные аналогии, пояс из Екимауц может быть отнесен ко второй половине X – началу XI в. Судя по ряду морфологических и декоративных элементов, он тяготеет к группе изделий, выполненных мастерами-ювелирами Карпато-Балканского региона.

На поселении у села Тарасова были найдены упомянутая выше *поясная бляшка листовидной формы,* по характеру декора полностью вписывающаяся в круг венгерских древностей, и ажурная серебряная криновидная накладка без следов крепежа (рис. 3: 72, 74). Практически идентичная, но несколько более грубо выполненная бронзовая криновидная накладка происходит из крепости Диногеция на Дунае (Dinogeţia, 1967, p. 297, fig. 171/7; Din Istoria..., 1971, p. 309, fig. 105. 9). Среди материалов Диногеции (и в целом Карпато-Дунайского региона) эта накладка уникальна, авторы публикации связывают ее появление, равно как и большинства ременных украшений из этого памятника, с древностями печенегов (Dinogeţia, 1967, p. 297). В то же время форма и декор у этих накладок близки к представленным на бляшке, найденной в Венгрии, в захоронении, открытом между Береттьоуйфалу и Фёльдеш (The ancient Hungarians, 1996, p. 35, fig. 9–11). Однако у венгерской бляшки нет элемента ажурности, она более объемная и тщательно проработана резцом. Возможно, находки с территории Молдовы, Румынии и Венгрии объединены общностью прототипов.

В Пруто-Днестровском междуречье достаточно большое количество *деталей наборных ремней*, имеющих аналогии, в том числе и в венгерских древностях, было найдено на поселении Ханска (рис. 3: 60–62, 64–66, 71). Три накладки были обнаружены при раскопках жилища № 72, а еще одна в культурном слое (возможно, происходят из одного набора). Их объединяет наличие по бокам бляшек полукруглых выступов, а также специфический объемный листовидный декор (рис. 3: 60–62). Бляшки из Ханска двух типов. Одна *бляшка-лунница* с выступами с двух сторон и литым орнаментом в виде двух пар сопоставленных друг с другом листьев, расположенных друг над другом (рис. 3: 60). Подобные бляшки встречаются в IX–X вв. в Прикамье, Поволжье, на Алтае. Пояс с такими накладками представлен в богатом женском захоронении № 7 Больше-Тиганского могильника в Прикамье (Халикова, 1976, с. 169, рис. 10). В Южно-Уральском регионе пояса с бляшками-лунницами совстречаются с другими предметами, имеющими венгерские аналогии. Среди материалов Хусаидинского кургана № 1, датируемых IX в., аналогии в древностях Венгрии X в. находят не только лунницевидные бляшки, но и стремена грушевидной формы с широким плоским ушком (Мажитов, 1977, с. 22, 27, рис. 3). Бляшками-лунницами украшены кожаные ремешки и остатки погребального покрывала, обнаруженного в богатом мужском, предположительно, венгерском, погребении у с. Субботица на Ингуле. Всего в этом захоронении было найдено 59 небольших бронзовых позолоченных бляшечек. В расположенном неподалеку женском погребении бляшки сходной формы, но несколько более крупные и совершенно гладкие, использованы для декорировки конской сбруи (Бокий, Плетнева, 1988, с. 103, рис. 4, 100, рис. 1, 112).

В Венгрии такие бляшки происходят из могильников Тисаэзлар-Басхалом и Бана, где датируются IX – началом X в. (Kiss, Bartha, 1970, p. 224, fig. 5. 8). В Басхалом подобными бляшками был декорирован свисающий вниз конец ремня (The ancient Hungarians, 1996, p. 186, fig. 1).

В Болгарии аналогичные бляшки происходят из Дебрене (Добричского окр.). Здесь были найдены 21 отдельная бляшка и пояс с двумя ремнями, украшенными сердцевидными бляшками с листовидным узором (Йотов, 1993, с. 124, табл. II). Гладкие бляшки без листовидных мотивов известны из коллекции Исторического музея г. Шумена, из с. Окрош, Преславца, Могила (Варненского окр.). Болгарские находки датируются в пределах IX – середины XI в. (Станилов, 1993, с. 152, 157, обр. 2). В. Йотов связывает появление лунницевидных бляшек на территории Болгарии с венгерским влиянием (Йотов, 1993, с. 123, 128).



Рис. 3. Изделия из цветных металлов второй половины IX – начала XI в. Масштабы разные. 1–16, 22, 26, 28–32, 75 – Екимауцы (Молдова); 17, 20 – Чакайовице (Словакия); 18 – Прушанку (Чехия); 19 – Нитра (Словакия); 21, 27, 52–58 – Рэдукэнень (Румыния); 23 – Левый Нрадец (Чехия); 24 – Чимбруд (Румыния); 25 – Княжая Гора (Украина); 33 – Германарие; 34, 35 – Джурджулешты; 37–51 – Алчедар; 59–66, 71 – Ханска; 67, 68 – Лимбарь-Кэпрэрия (Молдова); 69 – Добешть (Румыния); 70, 72–74 – Тарасово (Молдова)

Кроме того, на поселении Ханска были найдены *квадратные бляшки* с выступами с одной стороны (рис. 3: 61, 62). Бляшки декорированы выпуклым орнаментом в виде четырехлепестковой розетки с массивными удлиненными листьями и круглой выпуклой сердцевиной, весьма характерным для произведений венгерской торевтики. В Венгрии круглые и многоугольные бляшки с трех- и четырехлепестковой розеткой весьма многочисленны, происходят из Бекешчаба, Карош II, Артанд-Надьфаркадомб, Хенцида, Будапешта и других мест (Revesz, 1994, p. 308–359; Revesz, 1997, p. 422, 423, abb. 3.4; The ancient Hungarians, 1996, p. 98, 170, 213, 214, 235, 304, 404). Как правило, эти накладки принадлежат к декору конской сбруи. Венгерские находки датируются в пределах X в., восточноевропейские – не позднее середины X в. (Халикова, 1972, с. 163; Измайлов, 2000, с. 70–86; Казаков, 1972, с. 163; Амбросиани, Андрощук, 2006, с. 5).

К предметам, которые могли появиться, в том числе и под венгерским влиянием, относятся *круглые полусферические нашивки и накладки*, найденные при раскопках археологического комплекса у с. Ханска (поселение Ханска, могильники Кэпрэрия и Лимбарь) (рис. 3: 64–68). На венгерские аналоги этим бляшкам указывал в свое время и исследователь памятника И. Г. Хынку (Хынку, 1965). Подобные бляшки происходят из Старого Орхея (СО–245, инв. № 266) и Тарасова (Рябцева, Чокану, 2009, с. 166, рис. 1) (рис. 3: 70). Такие же бляшки происходят из Дэнешть, Добешть и Молешть в Румынии (Teodor, 1968, fig. 25; Teodor, 1985, p. 64, fig. 10.21; Spinei, 1994, p. 440, fig. 6.10) (рис. 3: 69). Целые подборки аналогичных бляшек (и накладки, и нашивки) происходят из крепостей Диногеция и Пэкуюл луй Соаре на Дунае, находят подобные изделия и на территории Болгарии (Преслав, Плиска, кр. Скала, с. Окорош и др.) (Dinogeţia, 1967, p. 293, fig. 172; Тотев, 1976, с. 52; Димитров, 1995, с. 61).

В венгерских древностях выпуклые круглые бляшки использовали и как предметы декорировки костюма (в том числе и женской обуви), и для украшения конской сбруи. Однако система креплений и размеры изделий в этих случаях могли отличаться. Целая серия круглых выпуклых ременных бляшек с каймой-жемчужником по краю происходит из погребения № 1 в Бане; подобные бляшки входят в состав уздечной гарнитуры из Кишкунфеледьхаза (Kiss, Bartha, 1970, pl. XXV, 23–39; The ancient Hungarians, 1996, p. 3). Круглые одежные бляшки были найдены в погребении 207 в Пюшпёкладань-Оперьешвёлдь, круглые обувные бляшки присходят из Буй-Дьептелек, Чонград-Вендельхалом, Кечкемет, Ракамаз-Дьепифёльд, Секешфехервар, Сентеш, Хенцида, Чонград (Csallany, 1970, p. 284–294, abb. 17–30; Балинт, 1979, с. 117; The ancient Hungarians, 1996, p. 143, 245, 306).

Встречаются подобные бляшки и на территории Восточной Европы. В качестве деталей декора одежды или пояса подобные накладки использованы, вероятно, в костюме погребенного в одном из Гнёздовских курганов (Кирпичников, 1973, с. 22, рис. 7). Сходные литые бляшки принадлежат к комплексу декора конской узды, найденной, предположительно, в захоронении X – начала XI в. у с. Котовка (Екатеринославская губ.) (Кирпичников, 1973, с. 28, табл. X, 2). Целая серия круглых бляшечек для декорировки обуви происходит из женского (по всей видимости, венгерского) захоронения в Судовой Вишне (Ратич, 1971, с. 162–168).

Поясные пряжки, находимые на территории Карпато-Днестровского региона, делятся на две группы – щитковые и бесщитковые. К находкам, которые могли принадлежать в том числе и к наборным поясам, относятся целая серия пряжек с Екимауц и бронзовая лировидная пряжка из Ханска-Кэпрэрия (Tentiuc, 1996, p. 257, fig. 14.28) (рис. 2: 23–26). Образцы щитковых пряжек с пятиугольным щитком из раннеболгарских и хазарских древностей относятся в основном к VIII–IX вв. (Ковалевская, 1979, с. 37; Халикова, 1976, с. 163). В Подунавье подобные пряжки распространены в конце IX – XI в. Характерны пряжки с гладкими или орнаментированными щитками в том числе и для венгерских памятников (Карош I, Ракамаз, Кенезлё, Басхалом) (The ancient Hungarians, 1996, p. 118, 123, 156, 187). Встречаются они в Болгарии (Преслав, Разградский окр.) и румынской Добрудже (крепостях Исакча и Пэкуюл луй Соаре) (Станилов, 1995, с. 112, обр. 2; Дончева, 2004, с. 212; Diaconu, Vîlceanu, 1972). Лировидные пряжки – один из наиболее распространенных типов поясных застежек X–XI вв. как в Восточной, так и Юго-Восточной и Центральной Европе. Встречаются такие застежки и в венгерских древностях (Revesz, 1987, p. 257–285). В Болгарии лировидные пряжки известны в Преславе, Кюлевче (Станилов, 1995, с. 111), в Румынии – в Тыргшоре, Диногеции, Пэкуюл луй Соаре, Исакче (Dinogeţia, 1967, p. 295, fig. 173; Teodor, 1981, p. 109; Dumitriu, 2001, taf. 68, 72, 84; Diaconu, Vîlceanu, 1972, p. 155).

Одной из наиболее специфических черт венгерского женского костюма X – начала XI в. являются *каплевидные подвески*. На территории Пруто-Днестровского региона литая подвеска с шариком-утолщением в центре была найдена в 1974 г. при раскопках поселения Ханска (инв. № 39). Сходные подвески известны из Дэнешть-Васлуй, Диногеции и Тимишоары (Румыния) (Dumitriu, 2001, taf. 58, 68; Teodor, 1968, fig. 25; Teodor, 1985, p. 64, fig. 10.13; Radulescu, Gall, 2001, p. 163, abb. 8) (рис. 3: 59, 63). На территории Трансильвании находят целые серии украшений с каплевидными подвесками. Украшения состоят из круглых накладок с выпуклостью в центре и каплевидных подвесок. Набор из 11 бронзовых подвесок происходит из Молдовенешть, а из 8 под-

весок – из Арада (Popescu, 1970, cat. 59; The ancient Hungarians, 1996, p. 301). В данном случае мы имеем дело не с отдельными находками, а с погребальным инвентарем захоронений, относимых к кругу венгерских памятников.

В венгерских памятниках каплевидные и листовидные подвески являются очень частыми находками, они происходят, например, из Чонград, Кечкемет, Демкохедь, Тольна Санто, Демкохеть I, Детта, Каба, Марошхедь, Ухть, Токайского клада, Банкеч, Сегед-Шекефехервар, Ракамаз, Буй, Будапешта и других мест (Vana, 1954, tab. VI; Csallany, 1970, taf. XXXVI, XXXVIII; Балинт, 1979, с. 117; Spinei, 1999, p. 38, fig. 6; The ancient Hungarians, 1996, p. 143, 146, 167, 242, 249, 251, 263). Каплевидные подвески входили в состав ожерелий или служили для украшения разнообразных накладок – ромбических, листовидных, круглых, розетковидных, подпрямоугольных. Подобными накладками декорировали головные венчики, воротники и нагрудную часть одежды, пояса, украшения кос (Халикова, 1976а, с. 147). В системе декора ворота женского одеяния иногда прослеживается два ряда накладок. Возможно, накладки без подвесок располагались в затылочной части одежды, а в нагрудной крепились накладки с разнообразными вариантами цельных или ажурных листовидных подвесок. Подвески зачастую декорировались литыми изображениями крина или розетки.

Крестопрорезные бубенчики были найдены в Пруто Днестровском регионе на ряде памятников: в Бранештском могильнике, на городище Екимауцы, поселении Тарасова (Фёдоров, Чеботаренко, Великанова, 1984, с. 19, рис. 8; Рябцева, 2006, с. 168, 158, рис. 5, 4; Рябцева, Чокану, 2009, с. 166) (рис. 4: 3). В Карпато-Балканском регионе серии таких бубенчиков происходят из Бырлада (Teodor, 1978, p. 40, fig. 42: 24–28; Spinei, 1994, p. 458, fig. 24: 7–10), Диногеции (Dumitriu, 2001, taf. 57), Пэкуюл луй Соаре (Diaconu, Vîlceanu, 1972, 140, fig. 56,1), Чулницы (Ioniţa, 2005, 195, fig. 23). Наиболее характерны подобные изделия для территории Восточной Европы. Среди бубенчиков, найденных в Новгороде, этот тип наиболее древний (в слоях середины X – середины XII в. было найдено 22 экз.) (Седова, 1981, с. 156, рис. 62: 1–5). Крестопрорезные бубенчики X–XI вв., как правило, служили предметом декорировки костюма (Мальм, Фехнер, 1967, с. 133, 134). Однако в ряде комплексов того же времени бубенчики входили в состав убора коня (Котовка, Исаева, Подболотье, Чернигов, Гороховатка) (Кирпичников, 1973, с. 28). Возможно, часть крестопрорезных бубенчиков, находимых в Карпато-Днестровском регионе, также относится к предметам декора конской узды. В частности, в могильнике Чиулницы они были обнаружены в погребении с конем (Ioniţa, 2005, p. 123, 124). На территории Молдовы подобные бубенчики в качестве элемента декора конской сбруи были найдены в погребении № 9 одного из «Быковских курганов». В кургане же у с. Зернешты подобный бубенчик был найден у руки погребенного (Кетрару, 1969, с. 51). Однако и в последнем случае захоронение также сопровождалось останками коня. Данные погребения принадлежали кочевникам. В венгерских захоронениях находки крестопрорезных бубенчиков также не редкость.

Украшения в системе венгерского костюма

На территории Подунавья в ювелирном уборе и наборе предметов, связанных с декорировкой костюма обретших родину венгров, происходит синтез нескольких традиций. Можно выделить несколько основных пластов древностей:

– «местных» – позднекестхейский (дротовые браслеты и перстни, серьги со спиральной подвеской и др.), «подунайского-византийский» (в том числе и изделия с зернью и литые подражания им);

– «привнесенных» – собственно венгерский и в широком смысле «восточноевропейский», в первую очередь, «салтоидный».

К характерным для собственно венгерской традиции можно отнести некоторые специфические наборные пояса и сумки-ташки, каплевидные и листовидные подвески, обувные нашивки, пластинчатые перстни с врезными надписями, своеобразные варианты узких пластинчатых браслетов, металлические биконические спиральные бусы, круглые накосные подвески с гравированным орнаментом, металлические орнаментированные навершия шапок. В памятниках Венгрии встречается целый ряд ювелирных изделий, представленных и у других этнокультурных групп, и в других регионах, в том числе в Восточной Европе (например, витые гривны, дротовые и змеиноголовые браслеты и др.) (Hampel, 1905; Vana, 1954, с. 51–104; Эрдели, 1972, с. 139). Вошедшие в венгерский ювелирный убор дротовые и узкие пластинчатые браслеты, а также серьги в виде простых колечек, являются и рядовыми украшениями степняков Восточной Европы в X–XI вв. Весьма широко распространены такие изделия и в восточнославянских древностях. Находят их и на поселениях (Екимауцы), и в захоронениях (Бранешты) Пруто-Днестровского региона (рис. 4: 7–10). В венгерских могилах перстневидные серьги встречаются как в женском, так и в мужском уборе (Бокий, Плетнева, 1988, с. 102, 109, 112). Наследием салтовских традиций в венгерском костюме можно считать некоторые типы наборных поясов, своеобразный вариант серег с литой удлиненной подвеской, состоящей из бусин-перехватов (Vana, 1954, tab. IV; Csallany, 1970, taf. XXXVI; The ancient Hungarians, 1996, p. 350; Бокий, Плетнева, 1988, с. 112). Вошли в венгерский убор и салтовские перстни, в основном их поздний вариант с крупной вставкой и небольшими лапками (Бокий, Плетнева,

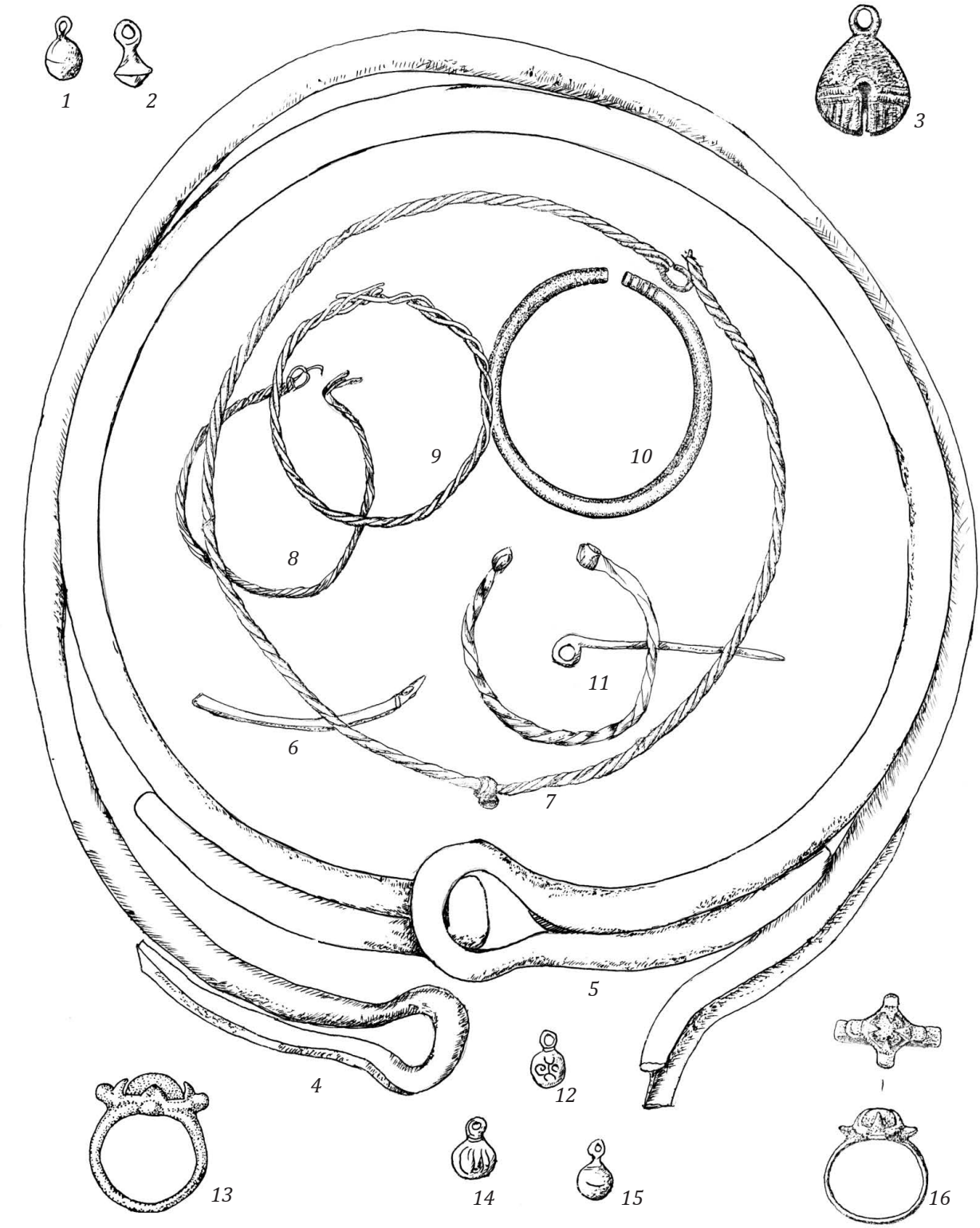


Рис. 4. Изделия из цветных металлов конца IX – X в. Масштабы разные.
1, 2, 12, 15 – Ханска; 3, 6–11, 16 – Екимауцы (Молдова); 4, 13 – Рэдукэнень (Румыния);
5 – Алчедар; 14 – Ханска-Кэпрэрия (Молдова)

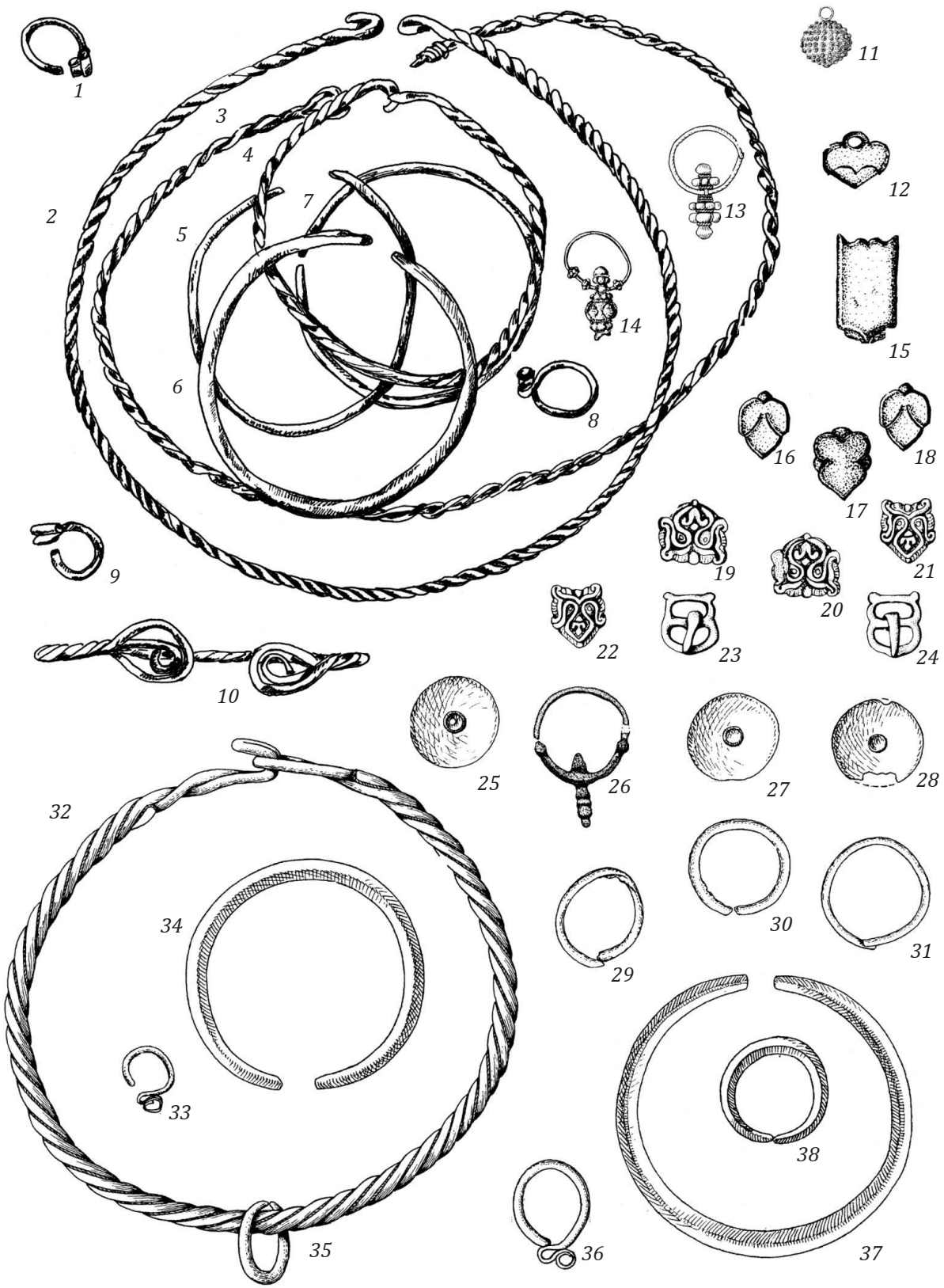


Рис. 5. Изделия из цветных металлов X–XI в. Масштабы разные.
1–10 – Нитра (Словакия); 11–24 – Клуж; 25–36 – Орадя-Салка (Румыния)

1988, с. 112). К вещам, имеющим подунайские истоки, в венгерском ювелирном уборе относятся разнообразные варианты «гроздевидных» серег, в том числе и «волынские» типа «B» и «C», перстневидные кольца с S–видным завитком, тисненые пуговицы-гомбики, перстни с полусферическими зерненными щитками, пластинчатые перстни с расширенными щитками, декорированные изображениями птиц, звезд, циркульным орнаментом (Vana, 1954, p. 94).

Заключение

Итак, при всей сложности этнокультурной интерпретации древностей Карпато-Поднестровья, которые могли соотноситься с раннеисторическими венграми, правомерен вопрос: что же нам удается выделить собственно венгерского?

Пояс из Слободзейского кургана принадлежал, по всей видимости, именно венгру, захороненному в Приднестровской степи по дороге на новую родину.

В Карпато-Днестровском регионе были найдены специфичные для венгров предметы вооружения, убранства коня и всадника, декорировки традиционного женского костюма. Находки хоть и немногочисленны, но достаточно выразительны. Заслуживает внимания, что они встречаются:

на всех типах памятников – сельских (например, Ханска, Дэнешть) и протогородских (Екимауцы, Орхей, Тарасово) поселениях, могильниках (Лимбарь, Кэпрэрия) и кладах (Рэдукэнень);

на разных в культурном отношении памятниках. Это и группа кольцевых городищ типа Екимауцы-Алчедар, и памятники центральной зоны Молдовы – культурные группы Петруха-Лукашевка и Ханска-Рэдукэнень (интерпретации происхождения которых неоднозначны и дискуссионны).

Этот факт говорит о неслучайности тех или иных венгерских находок и предполагает постановку вопроса как о непосредственном пребывании венгров в регионе, так и о степени их влияния.

Учитывая культурную разнородность групп памятников в Молдове (за которой стоит разное, в том числе и этническое, происхождение их носителей), где выявлены элементы венгерского культурного присутствия или влияния, полагаем, что они могут отражать разные явления.

Для памятников типа Ханска (поселение Ханска, могильники Лимбарь, Кэпрэрие) можно предположить, что за венгерскими находками стоит присутствие представителей венгерского этноса или венгерской культуры. Мы отмечали детали ременной гарнитуры, имеющие близкие аналогии в венгерских памятниках, находку каплевидной подвески, специфичной для венгерской женской субкультуры.

В историографии уже давно отмечается полиэтничный характер носителей культуры древностей типа Ханска, в которых ярко выражено как раз присутствие салтово-маяцкого культурного компонента, например, в гончарном производстве (многочисленные двухъярусные гончарные горны салтовской конструкции, керамика), домостроительстве (распространение тамбуров входа, очагов, юртообразных углубленных жилищ), погребальной обрядности (положение погребенных, инвентарь). По данным антропологического изучения, погребенные в могильнике Лимбарь были недавними потомками переселенцев из районов салтово-маяцкой культуры, предположительно, тюрко-болгарами (Древняя культура Молдавии, 1974, с. 127–150; Хынку, 1970; 1973; Чеботаренко, 1982; Рабинович, 1990; 1991; 1997; Великанова 1978; 1983).

Авторы недавно опубликованного исследования по периодизации могильников в центральной зоне Молдовы признали, что «доля участия венгерско-тюркского компонента, чье явное и неявное присутствие среди погребений Кэпрэрия, Лимбарь и Бранешть отмечается исследователями, в формировании этих древностей должна быть выше, чем считается сегодня» (Зверев, Ткачук, 2012, с. 147). Е. Ю. Зверев и К. Т. Ткачук предложили периодизацию, основанную на связи определенных черт погребальной обрядности (положение и ориентировка костяка, расположение рук) с сезонной смертностью и половозрастным распределением у погребенных в могильниках, обслуживающих поселения Ханска и Бранешть. Исследователи уверенно говорят о том, что селище Ханска долгое время (вторая половина IX – X в., этому периоду соответствует время функционирования могильника Кэпрэрия и начало функционирования могильника Лимбарь) не имело постоянных жителей, использовалось как летник, основную массу населения составляли мужчины, проживавшие здесь только в теплое время года. Население поселения росло скачкообразно, благодаря приходу новых волн переселенцев. Лишь в конце X в. с новой волной переселенцев на Ханске появляется значительное число постоянных жителей. Авторы соотносят «сезонный» образ жизни жителей Хански с полукочевой (второй) стадией кочевания у степных народов Евразии, по С. А. Плетневой (Зверев, Ткачук, 2012, с. 146–147).

Таким образом, находки каплевидных подвесок на памятниках типа Ханска и на поселении Дэнешть в Румынской Молдове, не выглядящие обособленно на фоне ощутимого салтовского культурного влияния в регионе, скорее, свидетельствуют о непосредственном проживании здесь носителей венгерской культуры.

Другой контекст, вероятно, имеет присутствие находок венгерского происхождения на памятниках типа Екимауцы-Алчедар (к которым по набору вещей относится и клад Рэдукэнень).

Во-первых, можно вести речь о распространении на территории Карпато-Поднестровья дружин-

ной субкультуры, на сложение набора престижных артефактов которой оказывала влияние венгерская традиция. Из Екимауц и Рэдукэнень происходят сабля и наборные пояса, изготовленные в венгерской традиции. Пользовалась такими поясами и оружием местная знать, возможно, воспринявшая их, этого нельзя исключить, и непосредственно от венгров, пребывавших в регионе.

Во-вторых, можно предположить, что влияние венгров не ограничилось только складыванием дружинной субкультуры. Мы неоднократно затрагивали вопрос о западнославянском происхождении памятников типа Екимауцы-Алчедар (Рабинович, Рябцева, 2007; Рабинович, 1997; Рябцева, 2006; Рабинович, Рябцева, 2006). В поствеликоморавский период на памятниках Чехии и Словакии выделяются материалы, близкие к типичным для культуры Биело Брдо, а в материалах Венгрии и Трансильвании представлены вещи славянского происхождения, в том числе и имеющие великоморавские или подунайские истоки или параллели (Čaplovič, 1954, s. 5–33; Harhoiu, Gall, Lakatos, 2009, p. 225–257) (рис. 5). Набор вещей из Екимауц, Алчедара и Рэдукэнень имеет, в том числе, аналогии и в памятниках культуры Биело Брдо – Кечкемет, Токай, Ваков, Клоштар, Биело Брдо и др. (Vana, 1954, tab. I, II, IV, V). К подобным украшениям относятся бронзовые гривны с петельками на концах, дротовые и витые бронзовые браслеты (рис. 4: 7–10), гроздевидные серьги и особенно их литые подражания (рис. 3: 1–16, 43–58), лунницы и особенно литые варианты (рис. 3: 23–28), «салтовские перстни» (рис. 4: 13, 16), ромбовидные серебряные бусы (рис. 3: 30, 31), шаровидные зерненные пуговицы или подвески (рис. 3: 34–38). Это позволяет, пока крайне осторожно, высказать предположение, что данные памятники в IX–X вв. могут рассматриваться как своеобразный восточный дериват культуры Биело-Брдо. Конечно, это вовсе не означает, что среди носителей культуры памятников Екимауцы-Алчедар были обязательно венгры. Культура Биело-Брдо сложилась в это время в результате культурного симбиоза западных славян и венгров, но среди ее древностей присутствуют памятники с самыми разными соотношениями материалов ее возможных полиэтничных носителей (Vana, 1954, p. 51–104; Балинт, 1979, с. 97–143).

В-третьих, нельзя не заметить сосредоточенности на Екимауцах предметов вооружения, прямо или опосредованно связанных с венграми, – сабля и наконечники стрел. Эрвин Галл обратил внимание на характер распространения сабель в могильниках венгерской культуры в Трансильвании и Верхнем Потисье. Эти находки очень редки, например, в Верхнем Потисье в среднем приходится по одной сабле на могильник. Находки сабель, по мнению этого исследователя, сосредоточены в тех местах, например, в Клуже, где венгры осуществляли политический и военный контроль над теми или иными территориями, в стратегически важных пунктах (Э. Галл и др., 2011, с. 236). Если экстраполировать данное наблюдение на соседний Карпато-Днестровский регион, то мы должны предположить, что присутствие предметов венгерского вооружения, возможно, означало и присутствие какого-то венгерского военного отряда. На основании анализа письменных источников нами было сделано заключение, что именно пребывание венгров в Ателькузе сыграло решающую роль в том, что уличи и тиверцы оказались подчиненными Киевской Руси не ранее середины 30-х гг. X в., хотя попытки овладеть их территорией со стороны Киева предпринимались еще в 885 г. (Рябцева, Рабинович, 2007, с. 224).

Хотелось бы обратить внимание на еще один важный момент в связи с «венгерской проблемой». При сложении дружинной субкультуры в регионах Восточной Европы, как правило, обязательно присутствие скандинавского компонента. И только на территории Молдовы этот скандинавский компонент отсутствует[4]. Венгры задержали приход в Карпато-Днестровские земли Руси и, видимо, тем самым изолировали местное население и местные древности от скандинавского влияния.

[4] Единственной находкой вещи, выполненной в североевропейской традиции, но, скорее всего, на территории Древней Руси, является серебряная позолоченная подвеска «гнёздовского типа», найденная недавно в составе денежно-вещевого клада на территории посада городища Алчедар (Рябцева, Тельнов, 2010, с. 285–300) (рис. 3: 39).

Источники и литература

Амбросиани Б., Андрощук Ф., 2006. Вооружение и восточные контакты Бирки // Русь на перехресті світів. Чернігів.

Балинт Ч., 1979. Венгры и т. н. белобродская культура // Acta arhaeolohica Carpatica. T. XIX.

Бокий Н. М., Плетнева С. А., 1988. Захоронение воина-кочевника X в. в бассейне Ингула // СА. № 2.

Бонев С., Дончева С., 2011. Стаобългарски производствен център за художествен метал при с. Новосел, Шуменско. Велико Търново.

Великанова М. С., 1978. Данные палеоантропологии о перемещении населения в Днестровско-Прутское междуречье в I–II тысячелетиях // Славяно-волошские связи. Кишинёв.

Великанова М. С., 1983. Итоги и перспективы палеоантропологических исследований в Днестровско-Прутском междуречье // Славяно-молдавские связи и ранние этапы этнической истории молдаван. Кишинёв.

Гавритухин И. О., Казанский М. М., 2006. Боспор, тетракситы и Северный Кавказ во второй половине V–VI вв. // Археологические вести. № 13. СПб.

Галл Э., Галл С., Времир М., Гергей Б., 2011. Погребение № 10 из могильника Клуж-Заполья и динамика завоевания венграми Трансильвании // Stratum plus. № 5.

Димитров Я., 1995. Църква и некропол във Външния град на Плиска (края на X–XI в.) // Плиска–Преслав. Т. 7. Шумен.

Дончева С., 2004. За един вид орнаментална украса в ранносредновековна Българска металопластика // Преслав 6. София.

Древняя культура Молдавии, 1974. Кишинёв.

Зверев Е. Ю., Ткачук К. Т., 2012. К вопросу о периодизации могильников Кэпрэрия, Лимбарь и Бранешть в Пруто-Днестровском междуречье // Stratum plus. № 5.

Измайлов И. С., 2000. Балымерский курганный могильник и его историко-культурное значение // Славяне, финно-угры, скандинавы, волжские булгары: доклады Международного симпозиума по вопросам археологии и истории. СПб.

Йотов В., 1993. Находки от ремъчни украси от ранносредновековното селище до село Дебрене, Добричко // Добруджа. 10.

Казаков Е. П., 1972. О некоторых венгерских аналогиях в вещевом материале Танкеевского могильника // Проблемы археологии и древней истории угров. М.

Казаков Е. П., 2000. Измери – главный торговый пункт Волжской Булгарии (конец X–XI в.) // Славяне, финно-угры, скандинавы, волжские булгары : доклады Международного симпозиума по вопросам археологии и истории. СПб.

Кетрару Н. А., 1969. Археологические исследования в Кагульском районе в 1958 г. // Далекое прошлое Молдавии. Кишинёв.

Кирпичников А. Н., 1973. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. Л. (САИ. Е 1–36).

Ковалевская В. Б., 1979. Поясные наборы Евразии, IV–IX вв. Пряжки. М. (САИ Е1–2).

Комар А. В., 2011. Древние мадьяры и Етелькеза: перспективы исследований // Археология і давняя історія України. Вип. 7 : Мадяри в Середньому Подніпров'ї. Київ.

Мажитов Н. А., 1977. Южный Урал в VII–XIV вв. М.

Мальм В. А., Фехнер М. В., 1967. Привески-бубенчики // Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. М. (Труды ГИМ. Вып. 43).

Медведев А. Ф., 1966. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII–XIV вв. М. (САИ. Е1–36).

Мурашёва В. В., 2000. Древнерусские ременные наборные украшения X–XIII вв. М.

Орлов Р. С., 1984. Среднеднепровские традиции в художественной металлообработке в X–XI вв. // Культура и искусство средневекового города. М.

Петрухин В. Я., 1983. Об особенностях славяно-скандинавских этнических отношений в раннефеодальный период (IX–XI вв.) // ДГ, 1981 г. М.

Плетнев В., 2004. Производство на коланни гарнитури в ранносредновековна България // Преслав 6. София.

Рабинович Р. А., 1990. К проблеме культурной и этнической интерпретации памятников типа Петруха-Лукашевка // Археологические исследования молодых ученых Молдавии. Кишинёв.

Рабинович Р. А., 1991. Гончарный горн на поселении X–XII вв. у с. Рудь // Хозяйственные комплексы древних обществ Молдовы. Кишинёв.

Рабинович Р. А., 1997. Карпато-Днестровские земли во второй половине IX – первой половине XIII вв. (историко-археологическое исследование) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб.

Рабинович Р. А., Рябцева С. С., 1997. Ювелирные украшения с зернью из Карпато-Поднестровья в контексте культурно-исторических процессов X–XI вв. // «Stratum+Петербургский археологический вестник», СПб. ; Кишинёв.

Рабинович Р. А., Рябцева С. С., 2006. Об источниках сырья для ремесленного производства на средневековом городище Екимауцы в Молдове // Производственные центры: источники сырья, «дороги», ареал распространения : тезисы конференции. СПб.

Рабинович Р. А., Рябцева С. С., 2009. Особенности развития древнерусской культуры в Пруто-Днестровском междуречье // Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света : материалы Международной конференции, состоявшейся 14–18 мая 2007 г. в Государственном Эрмитаже. СПб. (Труды ГЭ. Вып. XLIX).

Ратич О. О., 1971. Багате поховання рубежу X–XI ст. у Судовій Вишні // Середні віки на Україні. Вип. I. Київ.

Рябцева С. С., 2006. Ювелирные украшения Пруто-Днестровского междуречья в контексте этнокультурных связей региона в X–XI вв. // Revista Arheologică. Serie nouă. Volumul II, № 1–2. Chişinău.

Рябцева С. С., Рабинович Р. А., 2007. К вопросу о роли венгерского фактора в Карпато-Днестровских землях в IX–X вв. // Revista Arheologică. Serie nouă. Volumul III, № 1–2. Chişinău.

Рябцева С. С., Тельнов Н. П., 2010. Алчедарский клад и центры ювелирного производства Восточной Европы конца IX – начала XI в. // Stratum plus. № 5.

Рябцева С. С., Чокану М. М., 2009. Находки средневекового времени с поселения Тарасова в Молдове (по материалам частной коллекции) // Stratum plus. № 5 (2005–2009).

Седова М. В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X–XV вв.). М., 1981.

Станилов С., 1993. Две групи старобългарски ремъчни украси от Североизточна България // Плиска-Преслав. Т. 6. София.

Станилов С., 1995. Метални гарнитури за ремъци и облекло от Дворца във Велики Преслав // Плиска-Преслав. Т. 7. Шумен.

Тотев Т., 1976. Базилика при Сакалова могила // Преслав. 2. София.

Тюркское наследие Евразии VI–VIII вв., 2008. Астана.

Фёдоров Г. Б., 1953. Городище Екимауцы // КСИА. Вып. 50.

Фёдоров Г. Ф., Чеботаренко Г. Ф., Великанова М. С., 1984. Бранештский могильник X–XI вв. Кишинёв.

Фонякова Н. А., 1998. Художественный стиль украшения поясов из Хазарии второй половины VIII–X в. // МАИЭТ. Вып. VI. Симферополь.

Халикова Е. А., 1972. Погребальный обряд Танкеевского могильника и его венгерские параллели // Проблемы археологии и древней истории угров. М.

Халикова Е. А., 1976. Больше-Тиганский могильник // СА. № 2.

Халикова Е. А., 1976 а. Ранневенгерские памятники Нижнего Прикамья и Приуралья // СА. № 3.

Хынку И. Г., 1965. Отчет об археологических раскопках могильников Лимбарь, Кэпрэрия, Лутэрия и поселения Лимбарь-Кэпрэрия у с. Ханска Кутузовского района в 1964 г. Кишинёв // Архив Института археологии и этнографии АН Молдовы. Инв. № 28.

Хынку И., 1970. Лимбарь – средневековый могильник XII–XIV веков в Молдавии. Кишинёв.

Хынку И. Г., 1973. Кэпрэрия – памятник культуры X–XII вв. Кишинёв.

Чеботаренко Г. Ф., 1982. Население центральной части Днестровско-Прутского междуречья в X–XII вв. Кишинёв.

Чера С. В., 2010. Доклад «О некоторых культурно-диагностических типах наконечников стрел на поселениях Алчедар и Екимауцы» на конференции молодых ученых в университете Высшая антропологическая школа. Кишинёв.

Чера С. В., 2013. К вопросу о выделении финно-угорского компонента в коллекции наконечников стрел с городищ Алчедар и Екимауцы // Stratum plus. № 5.

Щербакова Е. Е., 2010. Текстиль из мужского погребения кургана Ц–160 в Гнёздове // СА. № 1.

Щербакова Т. А., Тащи Е. Ф., Тельнов Н. П., 2008. Кочевнические древности Нижнего Поднестровья. Кишинёв.

Эрдели И., 1972. Об археологической культуре древних венгров конца IX – первой половины X в. н. э. // Проблемы археологии и древней истории угров. М.

Čaplovič P., 1954. Slovanské pohrebište v Nitre pod Zoborom // Slovenská archeologia. № 2. Bratislava.

Chalikova E. A., Chalikov A. H., 1981. Altungarn an der Kama und Ural (das Gräberfeld von Bolshie Tigani). Budapest.

Csallany A., 1979. Weiblicher Haarflechteschmuck und Stiefelbeschläge aus der Ungarishen Landnahmezeit im Karpatenbecken // Acta Archaeologica Hungaricae. 31. Budapest.

Dekan J., 1979. Wielkie Morawy. Epoka I sztuka. Bratisława–Wrocław.

Diaconu P., Vîlceanu D., 1972. Păcuiul lui Soare. Cetatea bizantină. I. Bucureşti.

Dienes I., 1973. Honfaglalas kori vertes tarsoly Bedapest-Farkasretöl // Folia archaeologia. XXIV.

Dienes I., 1976. The Hungarians at the Time of the Conquest and their Ancients // Ancient cultures of the Uralian peoples. Budapest.

Dinogeţia, 1967. Aşezarea feudala timpurie de la Bisericuta-Garvan. I. Bucureşti.

Din Istoria Dobrujei. Vol. III . Bucureşti, 1971.

Dumitriu L., 2001. Der mittelalterlich Schmuck des unteren Donaugebietes im 11–15. Jahrhundert. Bucureşti.

Gáll E., Balázs G., Gál S., 2010. La Răscruce de drumuri. Date arheologice privind teritoriul oraşului Cluj-Napoca în secolele X–XIII. Cluj-Napoca.

Eszter I., 2003. A Rétköz honfoglalás és Árpád-Kori emlekanyaga. Nyiregyháza.

Fettih N., 1937. Die Metallkunst der Landnemenden Ungarn. Budapest.

Hampel J., 1905. Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn. Bd. III. Braunschweig.

Harhoiu R, Gall E., Lakatos A., 2009. Gräberfeeldsteile von Oradea-Salca Cheţărie aus dem 5. und 10.–11. Jahrhundert // Archaeologiai Értesítő. 134, 12.

Ioniţa A., 2005. Spaţiul Carpatii meridionali şi Dunărea inferioară în secolele XI–XIII. Bucureşti.

Kiss A., Bartha A., 1970. Graves from the age of the Hungarian conquest at Bana // Acta archaeologica hungaricae. Budapest.

Klanica Z., 2006. Nechvalín, Prušánky. Čtyři slovanská pohřebiště. Díl. I. Brno.

Pleterski A., 2010. Fruhmitterliche Identitäten und Aussagemöglichkeiten der archäologischen Quellen // Antæus 31–32. Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae.

Popescu M., 1970. Podoabe Medievale in Ţarile Romane. Bucureşti.

Radulescu A., Gall E., 2001. Das landnahmezeitliche Graberfeld von Temesvar (Timişoara) – Csókaerdó // Acta Archaeologica Hungaricae. 52.

Rejholcová. M., 1995. Pohrebisko v Čakajovciach (9.–12. storočie). Katalóg. Nitra.

Revesz L., 1987. Liraformige Schnalen im Karpatenbecken // Acta Archaeologica Hungaricae. 39. Budapest.

Revesz L., 1994. Mit beschlägen geschmückte Pferdegeschirre aus den landnahmezeitlichen Frauen- und Männergräbern // Acta Archaeologica Hungaricae. 46. Budapest.

Revesz L., 1997. Ein landnahmezeitliches Frauengrab in Békéscsaba-Ersébethely // Acta Archaeologica Hungaricae. 49. Budapest.

Spinei V., 1994. Moldova în secolele XI–XIV. Chişinău.

Spinei V., 1999. Marile migraţii din Estul şi Sud-Estul Europei în secolele IX–XIII. Iaşi.

Szóke B., 1954. Adatoka Kisalföld IX es X századi Törtenetehez // Arhaeologiai Ertesitó. Vol. 81, 2.

Tentiuc I., 1996. Populaţia din Moldova Centrală în secolele XI–XII. Iaşi.

Teodor D., 1968. Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu pe teritoriul Moldovei // Studii şi Cercetări de Istorie Veche. T. 19. № 2. Bucureşti.

Teodor D., 1978. Teritoriul est-carpatic în veacurile V–XI. Iaşi.

Teodor D., 1980. Tezaurul de la Raducaneni. Iasi // Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie. T. 31. № 3. Bucureşti.

Teodor D., 1981. Romanitatea Carpato-Dunaena si bizantul in veakurile V–XI e. n. Iasi.

Teodor D., 1985. Autohtoni şi migratori la est de Carpaţi în secolele VI–X e. n. // Arheologia Moldovei. X. Iaşi. P. 50–73.

The ancient Hungarians, 1996. Budapest.

Vana Z., 1954. Maďaři a Slované ve světle archeologických nálezů X–XI století // Slovenská archeologia. № 2. Bratislava.

Summary

S. S. Ryabtseva, R. A. Rabinovich

On Opportunities for Identifying Hungarian Antiquities in the Carpathian-Dniester Region in the 9th and 10th Centuries

Data from written sources provide information about the possible role of Hungarians in the lands of Carpathia and the Dniester valley in the 9th–10th centuries. This article examines the most striking artefacts found in the territory of these lands, which can bear witness both to the fact that Hungarians were present in that region and to the spread of the druzhina culture (use by rulers of armed retinues), the emergence of which had been influenced by Hungarian traditions. Certain finds (such as drop-shaped pendants, for instance) probably indicate that representatives of Hungarian culture actually lived in the region. The authors suggest that the concentrated presence of articles of Hungarian weaponry at sites like Ekimautsy and Alchedar in the 9th–10th centuries point to the possible presence there of a Hungarian armed detachment.

К. Меламед

Славянский языческий погребальный обряд в болгарских землях: основа для сравнения

Раннеславянский языческий погребальный обряд на современных болгарских землях на этом этапе изучения не может быть системно описан. Археологические источники, которыми мы располагаем, недостаточны, а иногда весьма спорны. Это требует особого подхода к исследованию: необходимо вначале проанализировать письменные источники о расселении славянских племен на болгарских территориях. Таким образом будут уточнены места, где можно ожидать нахождение языческих славянских некрополей, а также установить их хронологию.

Существует обемная литература по вопросу славянских нашествий на Балканы (Коледаров, 1979; Петров, 1981, с библиографией). Преимущественно по языковедческим данным и по письменным источникам очерчиваются два пути переселения. Один идет от южных склонов Карпат и Среднедунайской низменности, отклоняется на запад и по долинам рек Морава, Тимок, Огоста и Вардар сливается со вторым потоком, который движется от Паннонии и через Белградскую область идет по нижнему течению Болгарской Моравы. Оттуда славянские племена направляются на юг и на запад. На юге от линии Валона – Салоники – устье Марицы они проникают в горные области, включая Родопы. Таким образом около середины VI в. начинается колонизация Дардании, Верхней Мизии и даже Тракии, как пишет Прокопий Кесарийский.

Другим путем проникновения славян на Балканский полуостров является область Нижнего Дуная. На север от реки, на землях нынешней Валахии, заселяются также многочисленные самостоятельные славянские племена. Их набеги на современные болгарские земли происходят преимущественно через Малую Скитию и восточную часть Нижней Мизии, а иногда и через область между бассейнами Вита и Янтры (Ангелов, 1971; Тъпкова-Заимова, 1974). Об этих внедунайских землях в середине VI в. Иордан пишет, что *огромные пространства* населены многолюдным славянским племенем, которое, в свою очередь, делится на множество племен, чьи названия *изменяются по родам и местности* (Йорданес, Гетика, 6313 – 635).

Имеющиеся данные скудны и часто весьма ненадежны. Среди стоящих проблем для уточнения описанной этнической и этнонимической ситуации – наличие множества неидентифицированных и неназванных племен; наличие нескольких племен, которые по разным причинам, обычно из-за войн, чаще других попадают в поле зрения хронистов; описание событий внешними, часто враждебно настроенными авторами. Все-таки мы могли бы составить некую карту, которая местами заполнена по данным топонимии, а еще реже – археологии. Известно сведение Прокопия, что в 550 г. анты и славини, после того как опустошили Илирик и Тракию, *причинили целой Европе непоправимые несчастья, так как перезимовали там, как на своей земле, и нисколько не боялись противодействия* (Прокопий, История ..., с. 146). Это событие справедливо толкуется как определенный, очень важный этап в отношениях между славянами и Византией после примерно полувековых нестихающих нападений и разорений. Несколько различных по виду источников указывают на Софию как одно из мест в Южной Болгарии, ранее других заселенное славянами (Станчева, 1959), также как и район Баткун Пазарджикской области (Въжарова, 1965). Археологические свидетельства раннеславянского присутствия отмечаются также в Хисарлыке (Кюстендил), местности Пернишкая Кракра возле Перника, недалеко от Софии, в Хасковском районе – Любеново и Минеральные Бани (Въжарова, 1973), Нова Махала, Батак и Банско (исследования автора). В последнее время бесспорно славянские поселения изучили в Капитан Андреево, в районе Хасково, на границе с Турцией, а также возле Харманли.

Ни в одном из названных мест пока не обнаружены славянские языческие некрополи. Необ-

ходимо также отметить, что эти земли не входят в первоначальную территорию Дунайской Болгарии. Их присоединение происходило постепенно. Оно начинается с расширения Болгарии на юг от Старой Планины при хане Тервеле (700–721), чтобы закончиться в общих чертах при хане Круме (803–814).

Отсутствие языческих раннеславянских некрополей в современной южной Болгарии, естественно, может быть объяснено случайностью. Гораздо более вероятным объяснением может быть то, что неудачными оказались попытки искать их в соответствии с предварительно составленными представлениями, не оценивая достаточно хорошо исторические обстоятельства. Эти земли принадлежат Византийской империи. В них действует неоспариваемая церковная организация. Исследования показывают, что славяне очень быстро воспринимают христианскую религию (Събев, 1987), они вписываются в местную византийскую структуру, и оставляемые ими некрополи соответствуют характеристикам византийских христианских некрополей. К подобному выводу приводят и некоторые письменные источники, указывая на один случай в 713 г., когда на престоле в Плиске находился хан Тревел, а в Константинополе – император Анастасий II. Дьякон Агатон, протонотариус Константинопольского патриарха, пишет диссертацию. Наряду с другими событиями он описывает, как *во время 11 индиктиона (713 г.), в субботу на св. Пятидесятницу, при заходе солнца, вдруг неожиданно против него восстали собранные в Тракии войска, так как, нарушив заключенный договор, он стал причиной случившегося тогда нападения оногур – болгар, которое завершилось пленением и убийством христиан в Тракии* (Миятев, 1930/1931). Мы не можем точно ответить на вопрос, кто такие упомянутые христиане в Тракии. Но можем припомнить сообщения Паката из Рима или Темистия из Константинополя еще от IV в. о механизме приобщения, который они восхваляют: общий закон для всех, общие правила поведения, общие ценности, общий идеал. В течение последующих веков болгарские властители следовали той же политике.

Подобные выводы подсказывают и анализы некоторых раннесредневековых христианских некрополей, которые датируются началом VIII – началом IX в.: Абланица в районе Благоевграда, Нановица в районе Кырджали, некрополи в районе Хасково (Melamed, 1993), некрополи в долине Средней Струмы у с. Кулата с погребениями того же времени (Милчев, 1960).

На север от Хемуса синхронная картина меняется. Попытки постоянного заселения славян в современной северной Болгарии и Добрудже известны примерно с середины VI в. Прокопий рассказывает о крепости Адина, которую Юстиниан восстановил, *так как варвары-славяне постоянно там прятались, нападали из засады на путников и делали окружающие места непроходимыми* (Прокопий, За строежите, с. 169). Адина располагается где-то в районе между Дуростурумом и Марцианополем (Силистра – Девня) (Велков, 1959, с. 236). По этой же причине была воздвигнута и крепость Улметум – в настоящее время Чаталорман, северо-восточнее г. Чернавода, Румыния (Прокопий, За строежите, с. 169 и сл.).

Следующими сведениями о славянском переселении в восточные части Нижней Мёзии и Малой Скитии мы обязаны Теофану и патриарху Никифору. Эти данные широко и разнообразно толкуются в литературе (Бешевлиев, 1968; Дуйчев, 1972; 1972 а; Коледаров, 1979).

В то же время источники VI – конца VII в. сообщают и о других племенах, включая болгар, которые участвуют в различных событиях, главным образом в нападениях на византийские территории. При этом необходимо отметить, что упоминаемые племена преимущественно смешанные: славяне, гунны, авары, болгары, аланы, а также скифы. Упоминаются и варвары-наемники в византийских войсках. Исторические тексты подтверждают мысль, что по современным северным болгарским землям в течение VI и первых трех четвертей VII в. по различным причинам наряду со славянами скиталось множество варварских племен. Они не всегда точно идентифицированы и названы, и, вероятнее всего, большинство из них не осело в постоянных поселениях к югу от Дуная. Этот факт в большой степени уменьшает вероятность находок там и соответствующих языческих некрополей, в том числе славянских.

На эту сложную и нестабильную этническую картину мы можем наложить синхронные бесспорно славянские археологические памятники современной северной Болгарии. Количество их очень мало. Несомненно славянские поселения, датированные между VI и концом VII в., изучены в Нова Черна Силистренской области. Во второй половине VI в. там в федератской среде поселяются славяне (Милчев, Ангелова, 1971; Ангелова, 1980). Изучены славянские поселения Попина (Въжарова, 1956) и Гарван (Въжарова, 1986) в Силистренской области; на месте сгоревших позднеантичных поселений в Силистре и Войвода Шуменской области (Ангелова, 1980) и Хан Крум Шуменской области (Антонова, 1984; Станилов, 1984, бел. 69). Могут быть названы памятники из местности Стублата возле села Бежаново Ловечской области, отмеченные при осмотре территорий (Въжарова, 1965). Однако высказаны и скептические мнения относительно раннеславянской принадлежности памятников в северной Болгарии (Василев, 1979). К этому следует добавить и обнаружение раннеславянской керамики вместе с позднеантичными образцами в Затворе в Плевенской области (исследования автора).

Нанесенные на географическую карту, эти памятники дают любопытное направление для раз-



Рис. 1. Погребальная урна. VI–VII вв. Могильник Гарван 1 Старец

мышлений. Они заполняют преимущественно Силистренский район. Все остальные памятники, известные до сих пор, расположены на юге и востоке от него, не пересекают линию Силистра – Мадара (Дончева, Ангелова, 1982; Станилов, 1976). Эта воображаемая линия появляется, когда исследуется этническая картина в северо-восточной Болгарии и Добрудже еще от начала нашей эры. Целью было выяснение, колонизировали ли славяне эти земли, как это описывают памятники письменности, в какое время и на какой этнический субстрат они наложились, если действительно пришли массово. Карта поселений существенно не меняется в течение всего исследованного периода, не меняется и с появлением славян в течение VI–VII вв. Славянские памятники фиксируются преимущественно в окружении федератских поселений, чаще всего на местах позднеантичных поселений.

Если судить по известным раннеславянским некрополям в сравнении с болгарскими, славянская колонизация существенно отличалась от колонизации болгар в конце VII в. Мы всё еще не располагаем достаточными материалами, чтобы детально исследовать эту разницу. Причины этого в общем понятны: территория существует как очень оживленный путь, на котором трудно создавать и оборонять постоянные поселения. Но есть необходимость поиска некрополей, чтобы доказать, что эта колонизация состоялась: путь всякой колонизации отмечен погребениями.

Мы располагаем двумя раннеславянскими языческими некрополями с кремациями в урнах: Гарван 1 Старец и Попина 2 Джеджовы Лозы. Их датировки вызывают споры, наиболее приемлемой мне кажется более ранняя дата – VI–VII вв. (Fiedler, 1992, S. 462). К ним можно добавить и находку в Козлодуе, северо-западная Болгария, по Дунайскому побережью (Дунайскому лимесу). Там случайно открыты могилы с кремацией в лепных урнах, датированные второй половиной VI в. (Ангелова, 1986).

Таким образом, на существующих археологических материалах можно сделать некоторые выводы относительно основных характеристик раннеславянского погребального обряда, каким мы его знаем на территории современной Болгарии.

Распространение

Вопреки принятому толкованию сведений из письменных источников, достаточное количество археологических памятников отсутствует. Интересующие нас некрополи известны только в современной северной Болгарии, в крепостях по Нижнедунайскому побережью (Нижнедунайский лимес). Для южной Болгарии данные отсутствуют.

Дата

Вторая половина VI – VII в., о принадлежности некоторых объектов к VIII в. ведутся споры.

Культурная среда

Известные раннеславянские памятники расположены в ранневизантийском федератском окружении, находки часто смешаны с артефактами федератов другого этнического происхождения. Два изученных некрополя в северной Болгарии – Гарван 1 Старец и Попина 2 Джеджовы Лозы – соответствуют одному из культурных пластов в многослойных разноэтнических средневековых поселениях, датированных между концом V и XI в. Место находок урн с обгоревшими костями из Козлодуя, расположенное между тремя поселениями VIII–XI вв. и двумя некрополями по обряду кремации VIII–IX вв., все еще в должной мере не изучено. Позволю себе заметить, что памятники в Козлодуе заслуживают огромного внимания и исследования. Может быть, они ответят на ряд спорных вопросов.

Как правило, культурный слой интересующих нас памятников включает позднеантичную керамику, металл и монеты. Особое внимание привлекают

небольшие бронзовые лучевые фибулы, обычно связываемые с раннеславянским присутствием, но большинство из них является случайными находками вне археологического контекста.

Для южной части современной Болгарии достоверные данные отсутствуют.

Если судить по некоторым характеристикам в некрополях VIII–X вв. в Родопах, славяне располагаются в стабильной христианской среде и быстро крестятся.

Погребальный обряд

Останки кремированы на стороне, обгорелые кости помещены в керамические урны или кучей на дно могильной ямы. Данные о числе могил в некрополях отсутствуют.

Организация некрополя

Данные неточны. По-видимому, могилы расположены рядами или гнездами. В могилах открыты от одной до четырех урн, установленных одна возле другой. Это наблюдение сделано только для некрополя Гарван 1 Старец. Глубина могил – 0,20–0,40 м в Попина 2 Джеджовы Лозы; 0,15–0,70 м в Гарван 1 Старец. Надгробные холмы не насыпались.

Не обнаружены площадки для кремации, но очевидно, что кремация совершалась вне могил, и вне изученной территории некрополя, во всяком случае, в некрополях, исследованных до настоящего времени.

Могильные сооружения: ямы

В качестве урн (рис. 1, 2) использованы только глиняные лепные горшки (по В. В. Седову, преимущественно гончарные. – *ред*.). Глина грубо смешана, с большой примесью песка, крупных кварцевых зерен и камней, иногда с шамотом. Поверхность грубая, обжиг плохой, по-видимому, произведенный на открытых кострищах. Горшки имеют чаще всего форму усеченного конуса, диаметр дна значительно меньше диаметра горла, без ручек. Некоторые урны украшены горизонтальными или волнообразными линиями, неравномерными, нанесенными обычно с помощью единичного острия, и имеют ямки, часто сделанные пальцем. Клейма на дне отсутствуют. Очевидно, горшки являются продуктом домашнего производства. Принадлежат к типам «Прага» и «Пенковка» – еще один признак разнообразия.

Сосуды – дар с жертвенной едой

Данные неточны. В отношении Попина 2 Джеджовы Лозы такие сведения вообще отсутствуют. В некрополе Гарван 1 Старец описаны два случая находок таких сосудов в могилах, где обгоревшие кости находились без урны.



Рис. 2. Погребальная урна. VI–VII вв. Могильник Гарван 1 Старец

Могильный инвентарь

Могильный инвентарь, как правило, очень скудный. Состоит из личных бытовых вещей, простых украшений и частей одежды. Вещи обгоревшие. С уверенностью можно сделать вывод, что сопровождающие вещи были также положены в костер, а затем собраны вместе с обгоревшими костями и положены в урну или просто в яму.

Найдены стеклянные мониста, бронзовые серьги, кольца, другие потерявшие форму бронзовые украшения. Из предметов обихода наиболее часто присутствуют железные ножи, иногда предварительно согнутые пополам (в Гарван 1 Старец), и реже – железные серпы, косы, долота, иглы, а также кольца, огнива, бруски.

Могильные дары: данные отсутствуют.

Жертвенная еда

В могилах отсутствуют кости животных. В соответствии с известными к настоящему времени материалами могильников можно допустить, что погребальный обычай не требовал сопровождающей еды из мяса животных.

Отсутствуют и данные о животных-спутниках. По-видимому, обычай не требовал животных-спутников по пути в вечность.

Поминальные обряды: отсутствует достаточное количество данных. Есть основания предполагать, что соблюдалась практика тризны. Документированы кучи горелых прутиков непосредственно возле урн в Гарван 1 или на территории некрополя в Попина 2.

Некоторые авторы склонны относить к VIII в. вторую славянскую переселенческую волну, которая последовала вслед за первой в VI–VII вв. Выводы сделаны на основании изменений в керамике, обнаруженной в соответствующих раннесредневековых памятниках. Тезис заслуживает внимания, но необходимы новые подтверждающие археологические данные, особенно в отношении некрополей.

Сейчас отсутствует достаточное количество надежных раннеславянских языческих некрополей к югу от Дуная, это особенно заметно по сравнению с многочисленными находками, сделанными на территории севернее реки. Наиболее ярким примером является некрополь в Сырата Монтеору в области Бузыу в районе Карпат, в современной Румынии. Там изучены 1536 могил с кремацией в урнах или ямах. В качестве урн использовались лепные горшки из грубо смешанной глины с добавлением шамота, с шершавой поверхностью, плохо обожженные. Они преимущественно имеют форму усеченного конуса. Клейма на дне отсутствуют. Это указывает на традиции домашнего керамического производства. Некрополь датируется VII в. (Fiedler, 1992, 74–88).

На современных болгарских землях такие масштабные памятники отсутствуют. Этот факт нельзя рассматривать как случайность. Он ясно указывает, что массовая славянская колонизация со второй половины VI в., драматически описанная в хрониках, занимает преимущественно земли Мунтении, юго-восточной Трансильвании, Молдавии и Северной Добруджи (Ангелова, 1980). На юг от Дуная появляются более ограниченные группы, такие как федераты, которые сразу вписываются по Дунайскому лимесу, как и все остальные варварские племена эпохи. Наиболее вероятно, что Дунайский лимес оставался пограничной зоной и для славянских племен с севера.

Источники и литература

Ангелов Д., 1971. Образуване на българската народност. София.

Ангелова Ст., 1980. По въпроса за раннославянската култура на юг и на север от Дунав през VI–VII век // Археология 4. С. 1–12.

Антонова В., 1984. Славянско селище в аула на хан Омуртаг при Чаталар от VII–VIII век // Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. София. С. 106–114.

Ангелова Ст., 1986. Некропол в Козлодуй // Археологически открития и разкопки през 1985 г. : 31 Археологическа конференция въ Велико Търново. С. 184.

Бешевлиев В., 1968. За славянските племена в Североизточна България от VI до IX век // Сборник Преслав I. София. С. 17–25.

Василев Р., 1979. Проучванията на славянските археологически паметници от Северна България от края на VI до края на X век // Археология 3. С. 12–22.

Велков В., 1959. Градът в Тракия и Дакия през късната античност. София.

Въжарова Ж., 1956. Славяно-българското селище край с. Попина, Силистренско. София.

Въжарова Ж., 1965. Славянски и славяно-български селища в българските земи от края на VI до XI век. София.

Въжарова Ж., 1973. Славяне и праболгары в связи с вопросом Средиземноморской культуры // Славяните и Средиземноморския свят, VI–XI век. София. С. 239–266.

Въжарова Ж., 1986. Средновековното селище – с. Гарван, Силистренски окръг, VI–XI век. София.

Дончева Л., Ангелова Ст., 1982. Проблеми на ранносредновековната култура в Южна Добруджа // Симпозиум Славяни и прабългари. Акти. София. С. 163–181.

Дуйчев Ив., 1972. Балканският Югоизток през първата половина на VI век // Сборник Българско средновековие. София. С. 11–69.

Дуйчев Ив., 1972 а. Обединението на славянските племена в Мизия през VII век // Сборник Българско средновековие. София. С. 70–86.

Йорданес. Гетика // ЛИБИ. Т. 1.

Коледаров П., 1979. Политическа география на средновековната Българска държава. Първа част : 681–1018 г. София.

Милчев Ат., 1960. Археологически разкопки и проучвания по долината на Средна Струма // Годишник на Софийския университет – Философско-исторически факултет. Т. 53. Ч. 1. С. 359–463.

Милчев Ат., Ангелова Ст., 1971. Археологически разкопки и проучвания в местността Калето при с. Нова Черна, Силистренски окръг през 1967–1969 г. // Годишник на Софийския университет – Философско-исторически факултет. Т. 54. Ч. 3. С. 1–212.

Миятев Кр., 1930/1931. Един нов извор за историята на Дунавските българи // Известия на Археологическия институт. Т. 6. С 283–286.

Петров П., 1981. Образуване на Българската държава. София.

Прокопий Кесарийски. История на войните // ГИБИ. Т. 2.

Прокопий Кесарийски. За строежите // ГИБИ. Т. 2.

Станилов Ст., 1976. Проучвания върху етническия състав на населението на Първата Българска държава (по археологически данни) // Археология 2. С. 10–22.

Станилов Ст., 1984. Селища и аули // Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов. София. С. 100–105.

Станчева М., 1959. Ранносредновековна керамика от София // Археология 3 – 4. С. 61–68.

Събев Т., 1987. Самостойна народностна църква в средновековна България. София.

Тъпкова-Заимова В., 1974. Славянските заселвания на Балканския полуостров в рамките на варварските нашествия през VI и VII век // Известия на Българското историческо дружество. Т. 19 : Проблеми на прехода от античноста към средновековието. С. 199–207.

Fiedler U., 1992. Studien zu Gräberfelden des 6. bis 9. Jahrhunderts an der unteren Donau. Teil 1, 2. Band 11. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie der freien Universität Berlin. Seminar für Ur- und Frühgeschichte. Bonn.

Melamed K., 1993. Mittelalterliche Bestattungssitten in den Rhodopen // Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 9. S. 5–39.

Summary

K. Melamed

A Slavonic Pagan Funerary Rite in Bulgarian Lands: a Basis for Comparison

The aim of this research was to clarify how the earliest stage in the colonization resulting from Slavonic migration took place within the territory of modern Bulgaria in the 6th–7th centuries. Early-Slavonic pagan funerary rites were virtually unknown in archaeological excavations in Bulgaria, which led the researchers to turn to written sources in order to obtain additional information. It is difficult to identify the Early-Slavonic burial-grounds in the South of Bulgaria because of the rapid penetration of the culture of the newly arrived Slavs by local Byzantine traditions. In northern Bulgaria the search is made more difficult in view of the intensive migration of various barbarian tribes, not just Slavonic tribes. There is no doubt that there were only very few Slavonic sites of that period in general. The pagan burial-grounds Garvan-I, Starets and Popina-2, Dzhedzhovy Lozy(vineyards) have been recorded and also the Kozloduі site in north-western Bulgaria on the banks of the Danube. The burials were carried out after cremation and the remains were placed in pottery urns which were then arranged in pits (containing 1–4 urns) at a depth of up to 70cm. The graves were arranged in rows or in clusters. The cremations took place outside the limits of the burial-ground. The urns were hand-moulded clay pots without handles and in the form of truncated cones. The grave goods were, as a rule, very meagre: bronze jewellery, glass beads, household objects. Traces of funeral feasts were also found.

There are no reliable data on this subject available in the South of Bulgaria

It is most likely that the Danube limes was the furthest limit for the settlement by Slavonic tribes coming from the North throughout the whole period of the colonization of the territory of Bulgaria.

Н. В. Жилина

Древнерусское прикладное искусство в эпоху становления государственности

Произведения искусства второй половины IX – начала XI в., то есть периода, совпадающего со становлением русской государственности, довольно много изучались, но больше говорилось о скандинавском, моравском и византийском искусстве с акцентом на аналогии или гибридные произведения. Важно выявить те процессы, которые происходят именно в русском искусстве, рассмотреть основные произведения и тенденции как осуществление его внутренних потребностей, а не только результат внешних влияний. Сами влияния недостаточно только констатировать, важно увидеть их роль именно внутри русской ситуации данного времени.

Прикладное искусство играет в этом анализе главную роль. О монументальном искусстве восточных славян существуют лишь отрывочные сведения, а монументальное христианское искусство в конце рассматриваемого периода только начало складываться. Именно в произведениях прикладного искусства – украшениях, орнаментированном вооружении, орудиях труда, иногда на совсем небольших и, казалось бы, незначительных предметах – отразились важные для эпохи процессы художественного развития. Определенная орнаментация связалась с этой эпохой по смыслу и стала ее символом. Эти произведения в основном дает археологический материал, в искусствоведении он рассматривается в общем виде, сведения о славянском прикладном искусстве выглядят, скорей, как вступление к подлинному искусству, которое начинается со строительства христианских храмов, создания фресок и икон (Петрухин, 2007).

Технической базой славянского прикладного искусства в художественном металле и ювелирном деле были литье, ковка, гравировка, конструирование из проволоки. Элементарные по декору крупные украшения входили в металлический убор предшествующего и рассматриваемого периода (гривны, височные кольца, браслеты). Тиснение в VII–VIII вв. – это первый относительно сложный прием, создающий стиль с использованием элемента тисненой полусферы. С конца IX в. развивается филигрань, и позднее, в конце XI в., появляются эмаль и чернь. Убор из украшений переходит на уровень ювелирного искусства, формируются стили.

Прикладное искусство восточных славян VI–IX вв., несмотря на идущий процесс выделения элитарного искусства, оставалось в целом близким народному уровню. К VIII в. в связи с изменениями в славянском костюме, отказавшемся от драпированной конструкции основного платья, в прошлое ушли плечевые фибулы и связанные с ними своеобразные варианты общеевропейских и евразийских стилей художественного оформления (полихромного, инкрустационного, резного), выработавшиеся в славянской среде.

Клады IX в. относятся в основном к догосударственному периоду и характеризуют славянскую знать, по костюму и убору не столь сильно отличавшуюся от остального населения. Преобладают богатые клады, но без золота, монет и импортных вещей (Корзухина, 1954, № 1, 3, 6, 7, 9, 10)[1]. Привозные украшения принадлежат ближайшим соседям славян – финно-уграм и кочевникам (Корзухина, 1954, № 2, 8). Все украшения относятся к достилевому уровню, но тем не менее начата стилистическая переработка иностранных (византийских) влияний на базе собственных технологий: появились лучевые височные кольца, связываемые со славянским племенем радимичей. В их формах отражены стилистически переработанные византийские серьги, в технике литья они выглядят оригинально, как свое более простое украшение.

По кладам X в. выделяется два высших социальных слоя. Тип кладов, преобладавших в прежний период (но теперь с золотом), соответствует старой славянской социальной верхушке, теперь немногочислен (Корзухина, 1954, № 12, 13, 20). Новые по составу богатые клады с ювелирными украшениями тонких технологий (зернь, тиснение: лунницы, по-

[1] Здесь и далее в скобках указаны номера кладов по каталогу Г. Ф. Корзухиной (Корзухина, 1954).

лусферические медальоны, гроздевидные наушницы, пуговицы, бусины), без импортных вещей и с изделиями славянского облика характеризуют новую, но местную прослойку дружинной знати, связанную с торгово-ремесленной средой (Корзухина, 1954, № 14, 16–18, 21, 25). Вторая группа преемственно связана с первой, наряду с украшениями тонких технологий есть кованые и литые.

Клады третьей группы содержат импортные, главным образом скандинавские ювелирные изделия высоких технологий (филигранные), это клады из Гнёздово, Новгородской обл. (2001 г.), Среднего Поднепровья из коллекции Е. Я. Сатановского (Корзухина, 1954, № 23; Пушкина, 1996; Путь из варяг…, 1996, с. 48–50, № 148–207; Меч и златник…, 2012, № 53–62, 172, 221–238; Мурашёва, 2008; Торопов, 2009).

Клады третьей группы, скорее всего, принадлежали представителям скандинавской по происхождению военно-дружинной знати, но, вероятно, и представителям богатых торгово-ремесленных кругов. Возможен и смешанный этнический состав (славяне и скандинавы): наряду со скандинавскими много украшений традиционно славянского облика.

Такой состав кладов отражает в целом состав княжеской дружины, состоявшей из этнических славян и варягов. Тем не менее со стороны славян не следует исключать интереса к эффектным иноземным украшениям, некоторые из них могли использоваться вместе со своими.

Декоративное оформление изделий в выделенных группах также различно, различие подчеркивает основное деление, замеченное по типам и технологии вещей.

В традиционной славянской филиграни распространены геометрические стили. К данному времени существует целый ряд их разновидностей: объемно-геометрический – украшение формируется из спаянных между собой гранул и отрезков филиграни; линейно-геометрический и геометрический – корпус украшения создан тиснением, на поверхности выложен орнамент из зерни, состоящий из линий, ромбов и треугольников. Эти стили имеют местные корни (рис. 1: 1–22).

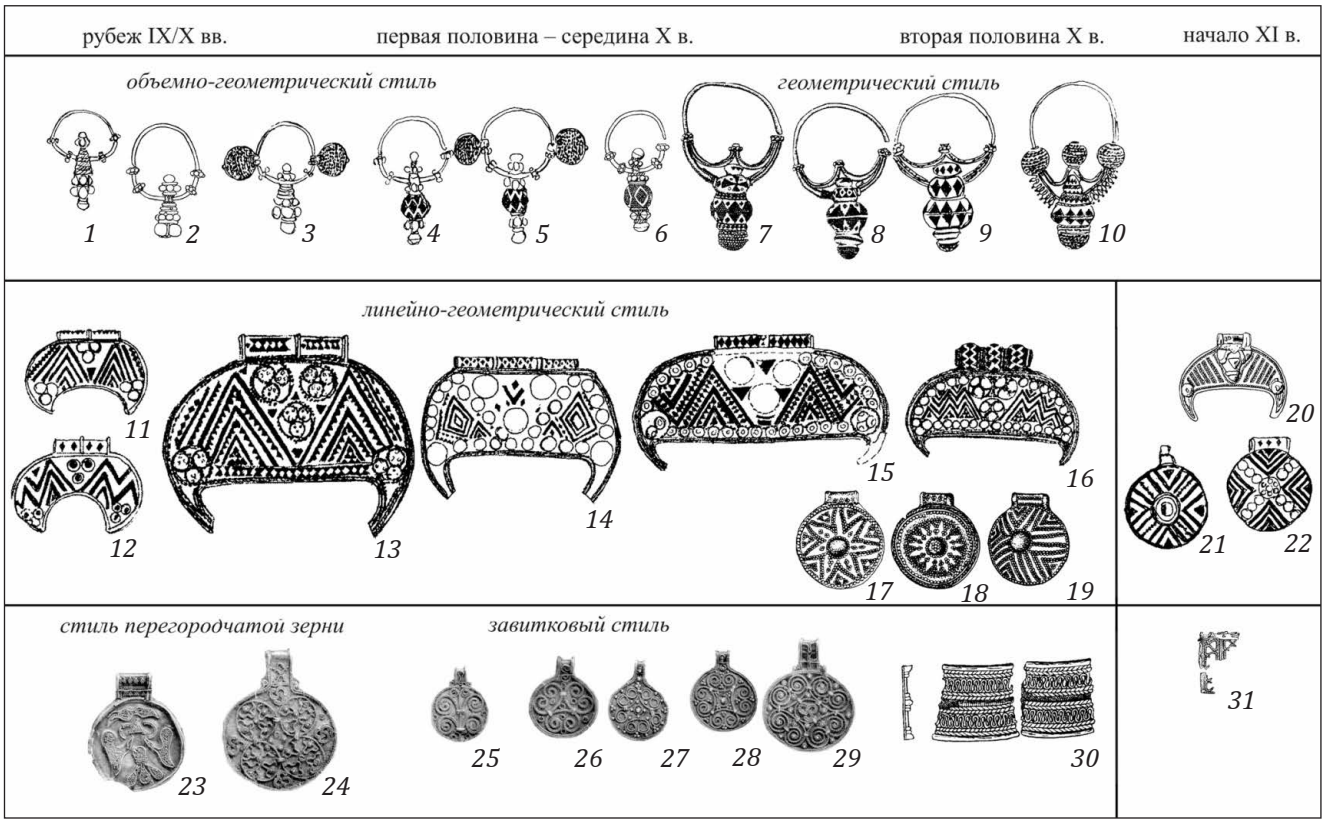


Рис. 1. Стили в филигранном искусстве X – начала XI вв.:
1, 3–5, 12 – Копиевка Киевской губ. (№ 16); 2 – Денис Полтавской губ. (№ 18);
6, 11, 15, 30 – Юрковцы Киевской губ. (№ 15); 7, 8, 13, 17, 19 – Гнёздово Смоленской обл., 1993 (№ 180);
9, 10, 14 – Борщевка Волынской губ. (№ 17); 16, 23–29 – Гнёздово Смоленской обл., 1867 (№ 23);
31 – Васьково; 20, 21 – Скадино Псковской обл. (№ 53);
22 – Белогостицкий монастырь Ростовской обл. (№ 63)

На изделиях скандинавской школы разрабатывается завитковый стиль. В нем преимущественно создаются чисто орнаментальные композиции в виде розеток, но встречаются и более ранние растительно-древовидные мотивы. Очень выразителен стиль перегородчатой зерни, позволяющий создавать изобразительные композиции, причем при передаче зооморфных персонажей сказываются элементы германских звериных стилей Борре и Еллинг, основное развитие которых связано со скандинавской культурой. На Руси таких произведений очень мало, стиль к X в. уже уходит в прошлое. Тем не менее оказываются популярны подвески к ожерелью с изображением распластанной птицы: контур рисунка выполнен филигранью (проволокой с отштампованными зернами), а фон сплошь покрыт зернью. На единичных произведениях наблюдается остаточное сохранение стиля перегородчатой инкрустации эпохи Меровингов. Довольно редко используется гофрированная филигрань (рис. 1: 23–31) (Гущин, 1936, табл. IV: 17, 19, 22–25).

В кладах сохранились в подавляющем большинстве женские украшения, и по ним перехода к скандинавскому убору не наблюдается. Клады, в которых содержатся скандинавские украшения, являются всегда смешанными по составу, чисто скандинавских кладов нет, в большинстве случаев в них преобладают украшения славянской традиции. Русские женщины, относящиеся к элите общества, в костюме и уборе сохранили традиционно-славянский облик. Можно отметить, что при условии утверждения скандинавской по происхождению правящей династии это несколько удивляет.

Стили скандинавского искусства в наиболее чистом виде и типично скандинавские формы изделий главным образом представлены в предметах поясного набора, вооружения, конского снаряжения – то есть в облике знатных и состоятельных мужчин-дружинников. Примеры дают мужские погребения могильника Гнёздово (Смоленская обл.), о том же свидетельствует и клад с мужскими вещами,

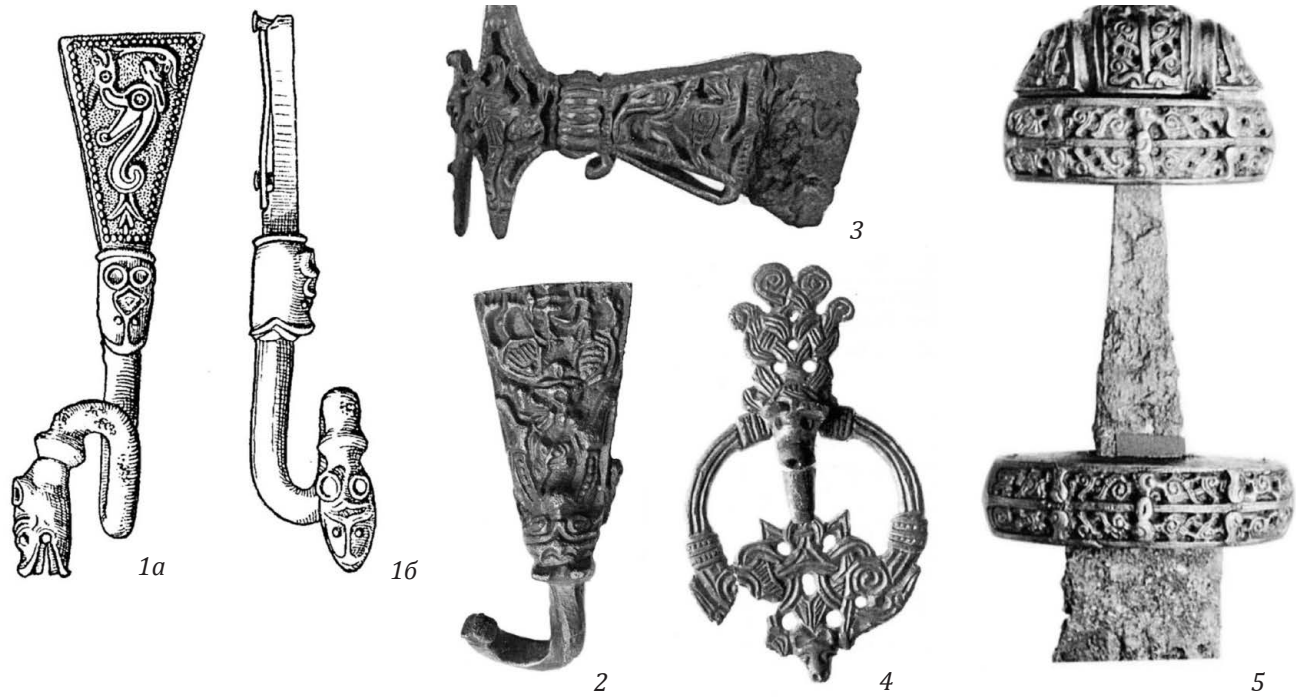


Рис. 2. Стиль Борре на предметах вооружения, мужского снаряжения и фибулах:
1, 2 – уздечные зажимы – Гнёздово, курган Л–47 и Супруты, культурный слой городища; 3 – топор – Старая Ладога; 4 – фибула – Гнёздово, раскопки В. И. Сизова (ЯП 227); 5 – меч – Гнёздово, курган Ц-2



Рис. 3. Стили Борре и Еллинг на литых дисковидных подвесках:
1, 4–6, 8–10, 15 – Гнёздово, клад 1867 г.; 2, 3 – Старая Ладога, переотложенное состояние;
7, 14 – Гнёздово, раскопки В. И. Сизова; 12, 13 – Гнёздово, клад 1993 г.;
11 – Новгород, Ильинский раскоп, 1110–1130 гг.

найденный в 1969 г. на городище Супруты (Тульская обл.) (рис. 2: 1–3, 5) (Авдусин, 1952, рис. 26: 2, 28: 1, 3; 29: 1–3; Кирпичников, 1966, вып. 2, табл. XX: 1; № 58; Рыбаков, 1971, илл. 57; Путь из варяг…, 1996, № 426; Мурашёва, 2008, рис. III). Мощные кольцевидные фибулы с иглой, орнаментированные звериными изображениями, вероятно, преимущественно использовались в мужской одежде (рис. 2: 4) (Путь из варяг…, 1996, № 355).

Главным скандинавским стилем, который известен в это время на Руси, является стиль Борре – его можно назвать определенным стилистическим отклонением в линии развития германского искусства, идущего в основном в направлении развития ленточного плетения и орнаментального синтеза всех элементов (Смирницкая, 2012). Стиль Борре делает стилистическую «остановку» – выделяет объемный, скульптурный декор, крупные зримые «мускулистые» элементы, которые словно провисают от тяжести в рамках овально-ромбической сетки.

Восприятие этой стилистики созвучно идеям силы, воинского захвата, власти, что вполне соответствует началу государственной эпохи. Стиль Еллинг практически одновременен стилю Борре, тем не менее, на Руси он проявился меньше и сохранялся несколько дольше – его стилистические проявления ощутимы до XI в.

На оружии и воинской экипировке, на кольцевидных фибулах, находивших применение в мужской одежде, наблюдаются наиболее чистые и полные варианты стиля Борре, меньше представлена такая составляющая стиля, как овально-ромбическая сетка.

Из женских украшений более чистые и полные варианты стилей Борре и Еллинг встречены на дисковидных подвесках, наблюдаются и переходные стилистические варианты между ними. В целом женские украшения демонстрируют разнообразные варианты скандинавских стилей с более выраженной орнаментальной структурой (рис. 3) (Корзухина, 1954, № 23; Гущин, 1936, табл. III: 1–6, 9–12, 16; Пушкина, 1996; Путь из варяг…, 1996, с. 31, № 27, 28, 381, 382, 240, 241; Седова, 1981, с. 42, рис. 13: 6).

Женский скандинавский костюм сохранил драпированную конструкцию – скалывание деталей одежды скорлупообразными фибулами. Более ранние скорлупообразные фибулы женского костюма сохранили проявления стиля Осеберг, в основном они относятся к стилю Борре, на несколько более поздних примерах в рамках сетки Борре можно наблюдать развивающееся ленточное плетение, переходное к Еллингу. В целом наблюдаются более орнаментализированные варианты стиля Борре с ярко выраженной овально-ромбической сеткой – орнаментальной структурой стиля. Сама форма овальной фибулы является орнаментальным ромбическим звеном, сетка развивается и внутри яче-

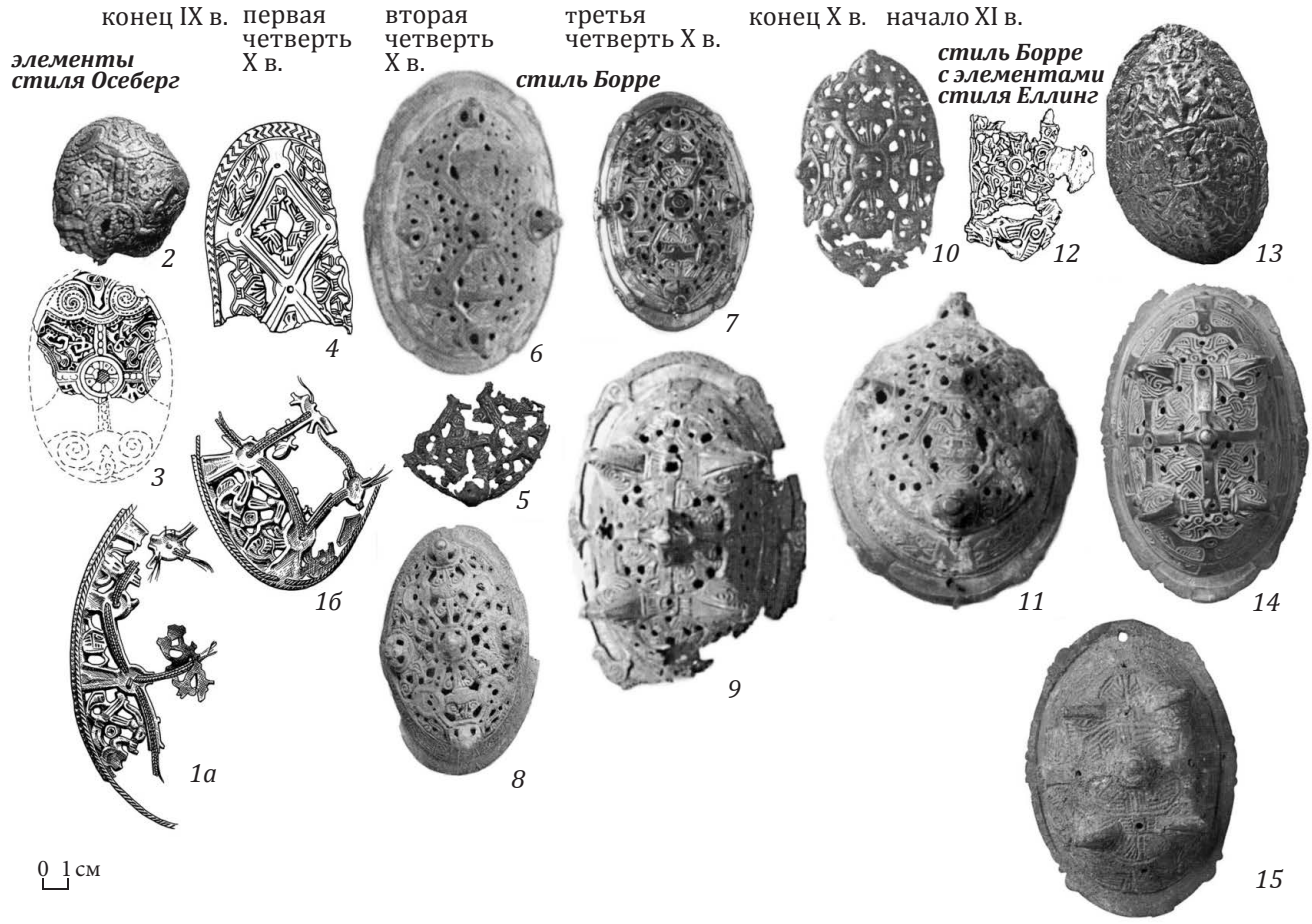


Рис. 4. Овальные фибулы: 1 – Рюриково городище; 2, 3, 5 – Старая Ладога, Земляное городище; 4 – Рюриково городище; 6 – Киев, погребение № 124; 7 – Гнёздово, курган Ц-198; 8 – неизвестный комплекс, Гнёздово, 1867 г.; 9 – Гнёздово, курган № 16 раскопок С. И. Сергеева; 10 – Новгород, Неревский раскоп, ярус 25 мостовой Великой улицы, 1006–1026 гг. 11 – Подъелье (№ 27, 28); 12 – Новгород, Троицкий раскоп; 13 – Старая Ладога, Земляное городище; 14 – Витебская губ., случайная находка 1862 г.; 15 – Владимирские курганы, раскопки А. С. Уварова

ек. Звериные мотивы в орнаментации фибул представлены меньше (рис. 4) (Носов, 1990, рис. 45: 1, 64: 1аб; Путь из варяг…, 1996, № 721, 722; Гущин, 1936, табл. II: 4; Покровская, 2007, рис. 2: 7; Меч и златник…, 2012, № 79, 184, 281).

Равноплечие фибулы, использовавшиеся для женского верхнего покрывала, также в основном развивают ромбическую сетку, которая сменяет узловую сетку стиля Осеберг (рис. 5) (Носов, 1990, рис. 44: 5, 6; Путь из варяг…, 1996, № 361, 362, 364, 365; Кирпичников, Сарабьянов, 2003, с. 66, 69, 85; Меч и златник…, 2012, № 80).

На трехчастных фибулах преимущественно наблюдается другая составляющую стиля Борре – рельефная плетенка с треугольными звеньями, геометризующими ее (рис. 6) (Путь из варяг…, 1996, № 38, 357; Гнёздовский могильник…, 1999, рис. 30; Андрощук, Беляєва, Блажевич, Якубов, 1996, фото на обложке, с. 27).

Последующие стили скандинавского искусства известны на Руси по единичным произведениям – костяное навершие в стиле Маммен, накладка в стиле Рингерике (Путь из варяг…, 1996, № 76, 243).

Стили скандинавского искусства сложны и разработаны, подражать им довольно трудно, но различное использование стилистических компонентов на разных произведениях облегчает их восприятие. И это восприятие наблюдается в частичном или полном воспроизведении композиций местными мастерами. В итоге возникают произведения, выполненные на разном художественном уровне и из разных материалов.

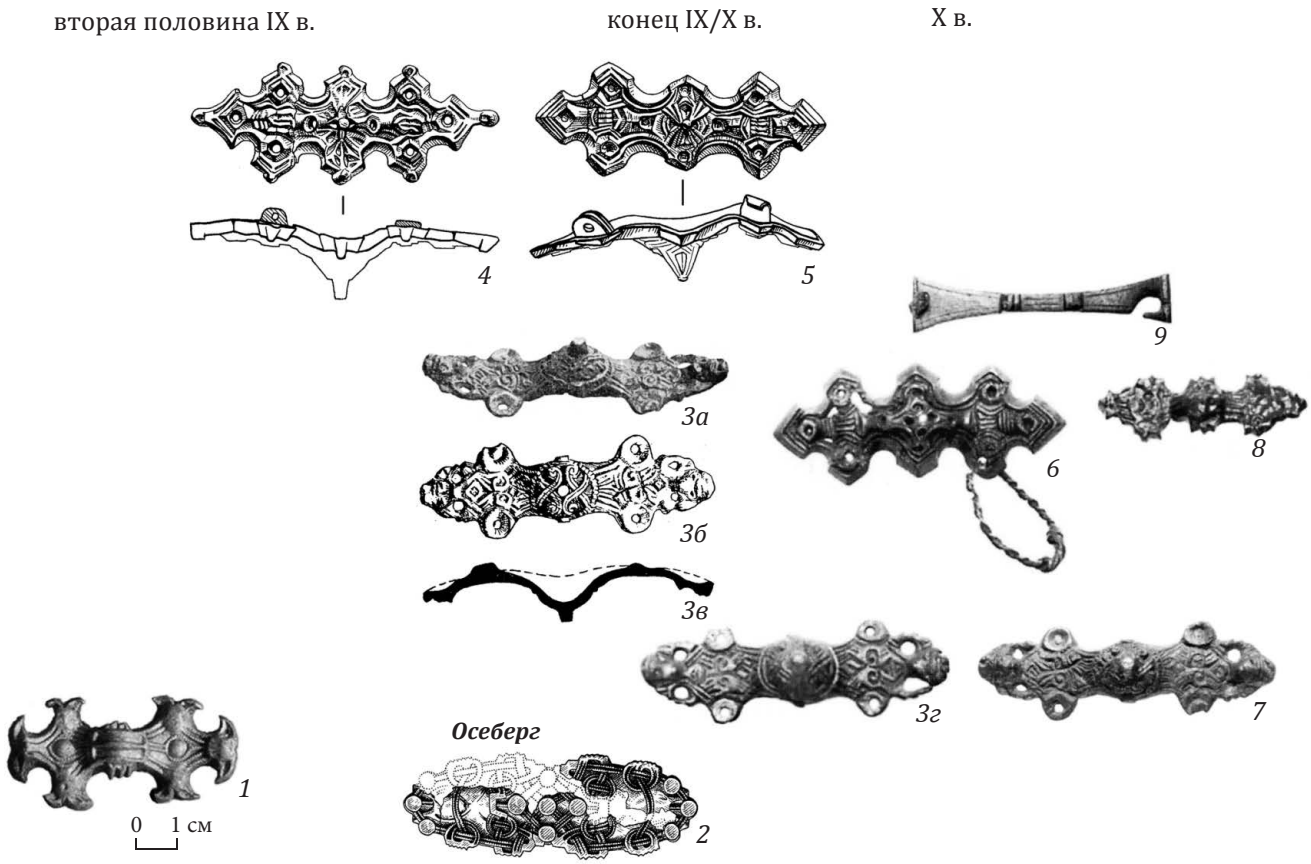


Рис. 5. Равноплечие фибулы: 1–3 – Старая Ладога; 4, 5 – Рюриково городище под Новгородом (ЯП 58); 6 – Гнёздово, точное происхождение не указано; 7 – Гнёздово, курган Ц-252; 8 – Гнёздово, курган Лб-1; 9 – Гнёздово, поселение

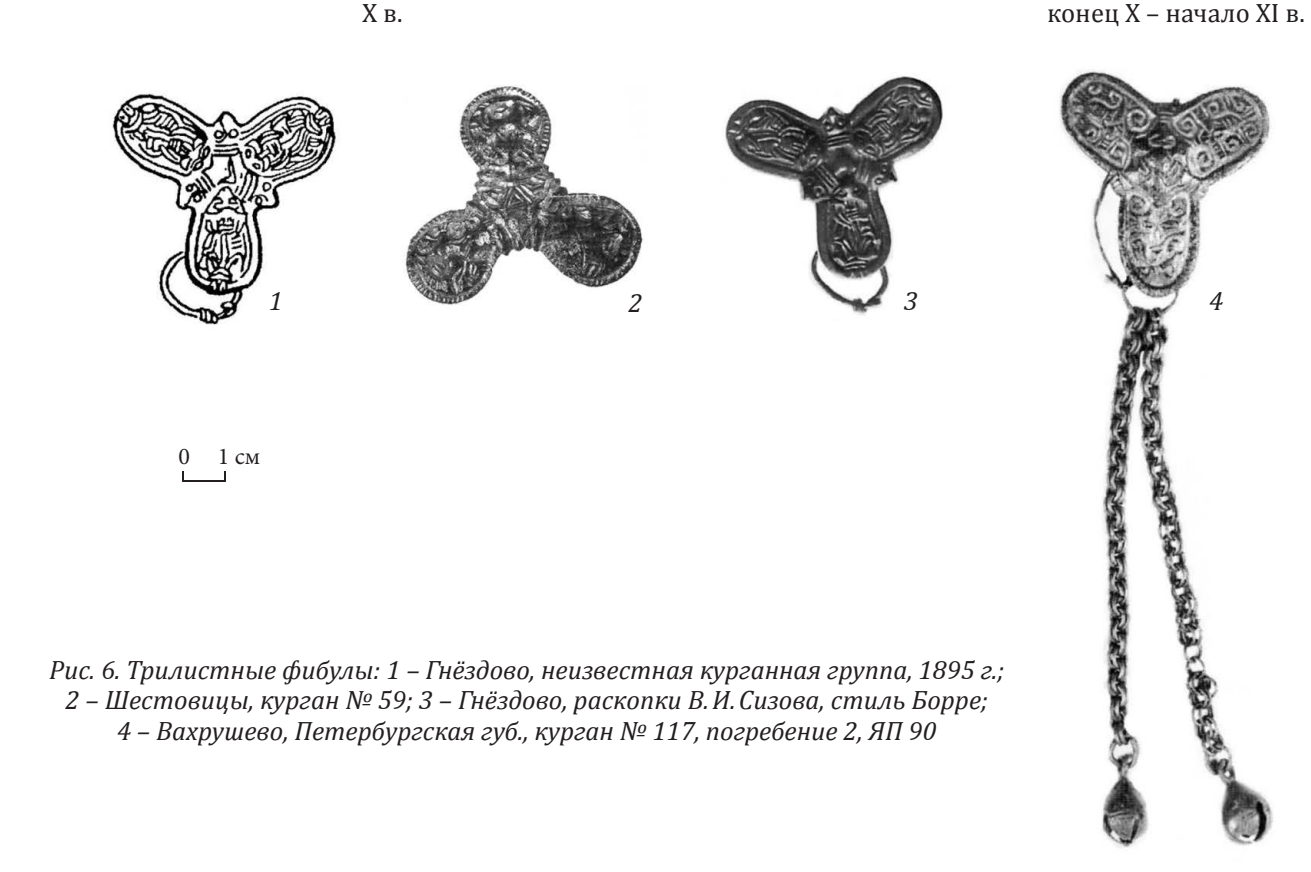


Рис. 6. Трилистные фибулы: 1 – Гнёздово, неизвестная курганная группа, 1895 г.; 2 – Шестовицы, курган № 59; 3 – Гнёздово, раскопки В. И. Сизова, стиль Борре; 4 – Вахрушево, Петербургская губ., курган № 117, погребение 2, ЯП 90

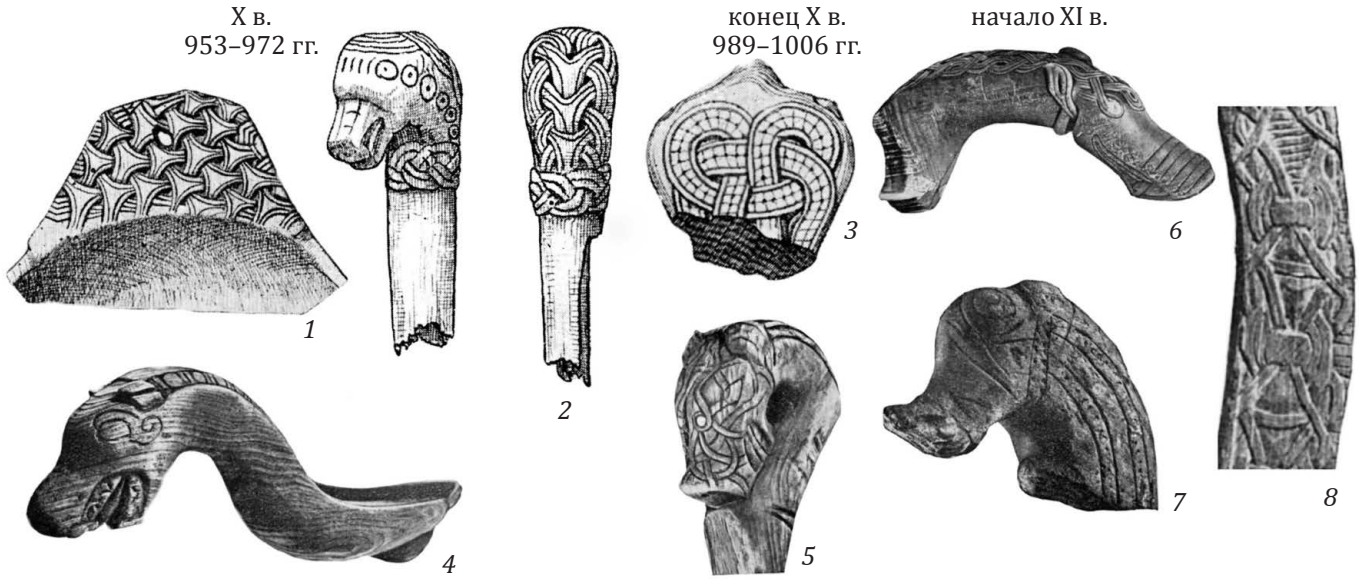


Рис. 7. Плетеный и звериный орнамент в скандинавских традициях X в. в деревянной резьбе из Новгорода Великого:
1, 3 – ручки чаш (28-31-901; 26-25-471); 2, 4–7 – звериноголовые навершия (28-34-1198; 28-36-155, 26-27-918; 25-31-751; 24-28-794; 8 – Сув-37-22(139а)

В целом же какого-то самостоятельного вклада в это искусство со стороны местных мастеров в рассматриваемое время пока не наблюдается, характерное для скандинавского искусства сложное стилистическое движение со стороны русского искусства пока ничем не дополнено. Новое только осваивается. Но важно, что можно увидеть процесс освоения.

В деревянной резьбе, известной по раскопкам в Новгороде Великом, на ручках чаш и крышках сосудов повторяется плетеный орнамент, один из компонентов стиля Борре (рис. 7: 1, 3) (Колчин, 1971, рис. 15: 6, табл. 1: 3, 10; 19: 4; 23: 1, 2; 24: 7; 26: 3). Таинственные навершия с непонятным назначением дают примеры талантливой стилизации звериных голов, передающих часть мотива восьмеркообразного зверя, одного из элементов скандинавского звериного стиля (рис. 7: 2, 4, 5–7). Как отдельный орнамент воспроизводится и ромбическая сетка стиля Борре (рис. 7: 8).

Высокохудожественное воспроизведение орнамента в стиле Еллинг также относится к XI в. (Колчин, 1971, табл. 19: 1, 2). Примеры симбиоза различных стилевых тенденций и формирование собственных оригинальных стилистических вариантов преимущественно относятся к XI в.: топорик из Биляра с сочетанием скандинавской и византийской орнаментации и другие произведения (Рыбаков, 1971, илл. 58, 59).

Широко известен европейский растительный стиль с так называемыми «набухшими» почкообразными элементами, проявившийся в искусстве Венгрии, западных славян, салтово-маяцкой культуры, Волжской Болгарии и Руси. В этом чрезвычайно нарядном стиле оформлялись престижные мужские поясные наборы: ременные бляшки, подвесные к поясу сумочки. На наш взгляд, варианты этого стиля имеют не общие, а сходные истоки, свои в каждом регионе.

Происхождение художественных форм декоративного растительного стиля настолько естественно и логично, что к ним может прийти каждый мастер на определенном этапе профессионального совершенствования.

Стилистический исток данного направления создает искусство линейной резьбы или гравировки (гравировки литейных шаблонов или форм, передаваемых в литье, создания линейных эскизов для чеканки и тиснения). Завитковый орнамент, передаваемый тонкими линиями, оставляет широкие промежутки. На этапе усложнения орнамента между линиями рождаются «набухшие» растительные элементы, которые отчетливее вырисовываются в

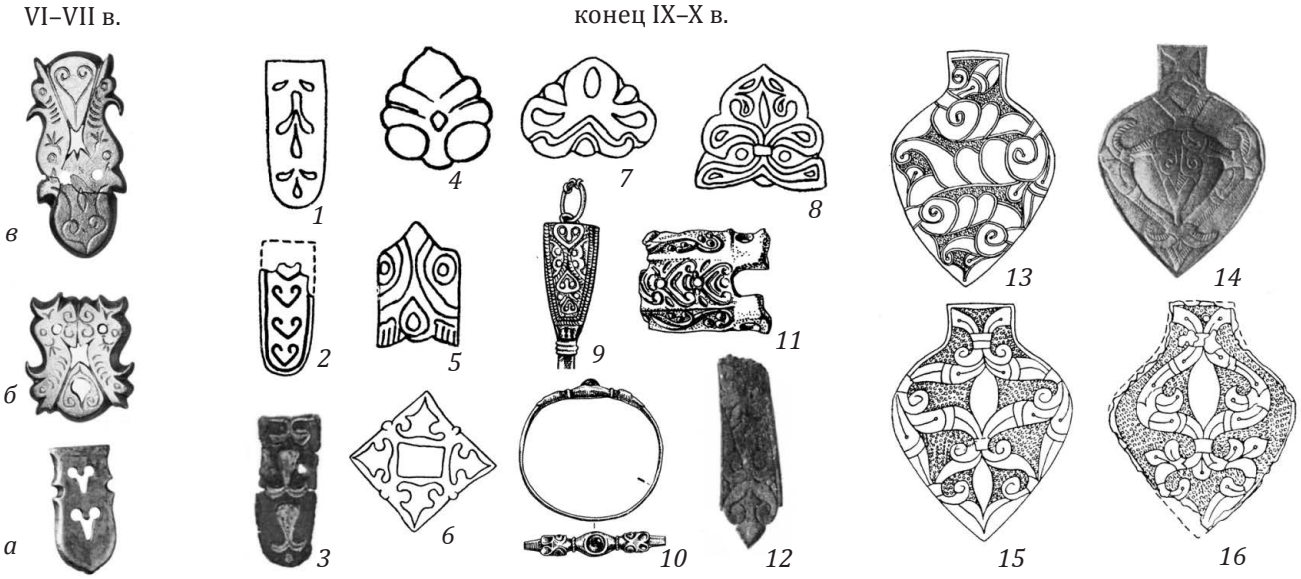


Рис. 8. Складывание декоративного растительного стиля по славяно-русским материалам.
VI–VII вв.: а–в – детали поясного набора из Среднего Поднепровья,
IX–X вв.: 1 – погребение 115, Киев; 2 – Березки, курган 16; 3 – ременная бляшка, Гульбище;
4, 6 – ременные бляшки, Среднее Поднепровье; 5, 7, 8 – Шестовицы;
9 – Рюриково городище, ножницы, слой IX–X вв.; 10 – перстень, золото, слой X–XI вв.;
11 – накладка цветного металла, слой IX–X вв.; 12 – накладки на лук, кость;
13, 14 – Табаевка; 9, 10 – Чернигов

сочетании с фигурно оформленным краем изделия. Затем такие эффектные пышные элементы повторяются в любых сочетаниях и играют главную роль.

Начальный этап со скуповатым гравированным орнаментом представлен во всех центрах существования стиля. Хорошо сложившуюся традицию такого уровня показывают поясные наборы из кладов Поднепровья VI–VII вв. (рис. 8: а–в). Аналогичные простейшие варианты входят в арсенал художественных средств южнорусской школы «А», по Р. С. Орлову (рис. 8: 1–8) (Орлов, 1984, рис. 2: 1, 11; 3: 3; 4; 6: 6, 17, 20, 21, 23, 24, 30; Носов, 1990, рис. 31: 3; 32: 10; 48: 23; Путь из варяг..., 1996, № 692, 697; Меч и златник…, 2012, № 18).

Завершающие высокохудожественные образцы венгерского, моравского и русского декоративного пышного растительного стиля – это параллельные ветви со своими особенностями (рис. 8: 10–16). Венгерская более сохраняет линейную гравировку, подчеркивающую направление листьев. Моравская использует удлиненные прямые листья. Моравская и русская традиции дают своеобразные сочетания растительного орнамента со звериными и антропоморфными включениями. К числу развитых произведений относятся турьи рога с серебряными оковками из Черной Могилы, меч и сабля из Киева второй половины X в. и начала XI в. (Рыбаков, 1971, илл. 1–4; Кирпичников, 1966, вып. 1. Рис. 8: 1; 15; № 7, 58; Меч и златник…, 2012, № 246). В русском варианте декоративного растительного стиля X в. можно видеть один из истоков последующего пышного растительного стиля конца XII – первой трети XIII в., проявившегося на украшениях и произведениях прикладного искусства.

К X в. следует относить очередную волну византийского воздействия, связанную с восприятием растительно-завиткового (кринообразного) орнамента. Стилистически он значительно более строг по сравнению с европейским декоративным стилем и имеет в христианстве символику процветания и власти. Он приходит на Русь с произведениями резьбы по кости и камню, выполненными в Византии, и воспроизводится на предметах ременной гарнитуры, застежках, височных кольцах, оружии. Четкая орнаментальная организация и относительная простота элементов, оформленных упругими кривыми линиями, способствует его быстрому восприятию и распространению.

Византийская струя была ощутима в славянском искусстве и в предшествующий период: спиральный орнамент поясных наборов и фибул VII–VIII вв.; лучевые кольца с шариками на концах и с зерненой структурой IX в. В данный период на лучевых коль-

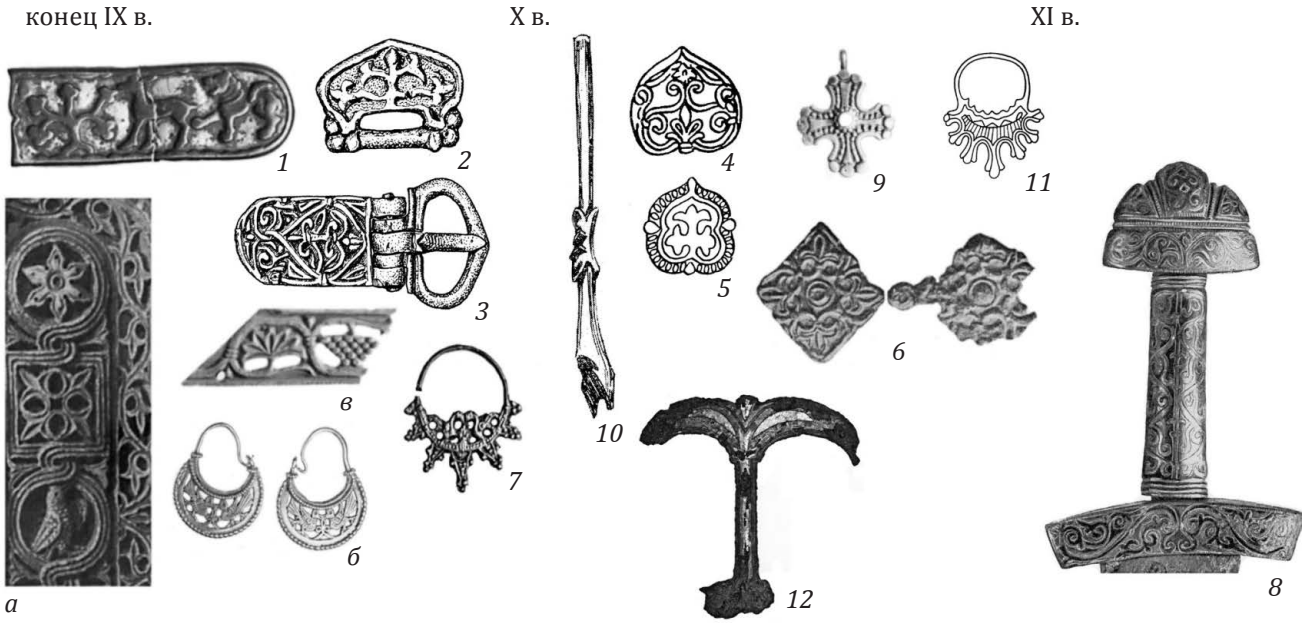


Рис. 9. Растительно-кринообразный орнамент.
Византийские образцы: а – фрагмент алтарной преграды, известняк, X в.;
б – серьги, X в.; в – пластина, кость, Херсонес;
Произведения с территории Руси: 1 – наконечник ремня, Железницы, клад (№ 8);
2, 3 – Супруты, клад 1969 г.; 4, 6 – Гульбище; 5 – Шестовицы; 7 – Супруты, височное кольцо;
8 – меч из Карабчиева, Каменец-Подольский, первая половина XI в.;
9 – крест с кринообразными геометризованными окончаниями, Гнёздово, 1993;
10 – рукоять ложки, дерево, Новгород (26-21-1700);
11 – височное кольцо XI–XII вв. (типичный вариант);
12 – фрагмент маски шлема, X в.; Киев, район Десятинной церкви, случайная находка

цах используется и одна из типично византийских композиций: птицы у древа (височные кольца городища Супруты) (рис. 9) (Рыбаков, 1948, рис. 50; Колчин, 1971, табл. 3: 13; Путь из варяг..., 1996, № 171, 601, 743, 755, 784; Корзухина, 1954. № 8; Мурашёва, 2011, рис. 24, 26; Орлов, 1984, рис. 9: 1, 2; Меч и златник…, 2012, № 247).

Наряду с элитарными стилями в X в. существует пласт демократического, народного искусства, который хорошо представлен деревянной резьбой, известной по новгородским и некоторым другим материалам.

В резьбе по дереву наблюдается обобщенная достилевая трактовка звериных образов. Изображения животных выполнены в первобытно-обобщенной манере, с передачей выразительных реалий (рис. 10: 1–3). Выделяется и группа произведений с чертами начальной стилизации, основанной на принципе дугообразной линии (рис. 10: 4–7). Типичная русская трехгранно-выемчатая резьба сочетается со звериными образами, возникает прием геометрической стилизации при изображении пасти, в последующее время продолжающийся в формировании амулетов развитого древнерусского периода (подвески-челюсти) (рис. 10: 8) (Колчин, 1971, табл. 23: 3; 24: 2; 25: 2; 30: 2; 37: 2, 3; 38: 3, 5). Эти звериные изображения X в. представляют собой ту же народную основу, что, по мнению А. К. Амброза, сказалась и при формировании стилистики антропозооморфных фибул VII–VIII вв. (Амброз, 1993) Деревянной резьбе принадлежит важная роль в сохранении всего наработанного в орнаментике как из местных, так и из привнесенных традиций.

В деревянной резьбе и в глиняной пластике продолжается создание идолообразных антропоморфных изваяний, идолов и домовых в духе языческой эстетики: практически без какой-либо декоративности, основанное на элементарных приемах, с показом крупных, грубых, даже устрашающих черт лица. В них нет красоты.

В художественном металле также может быть намечена линия развития собственных звериных изображений, начинающая с отдельных, несвязанных образов зверей и подходящая к начальным сценам терзания, переплетения. Пока эта связанность не достигла постоянства, не выработала канонов.

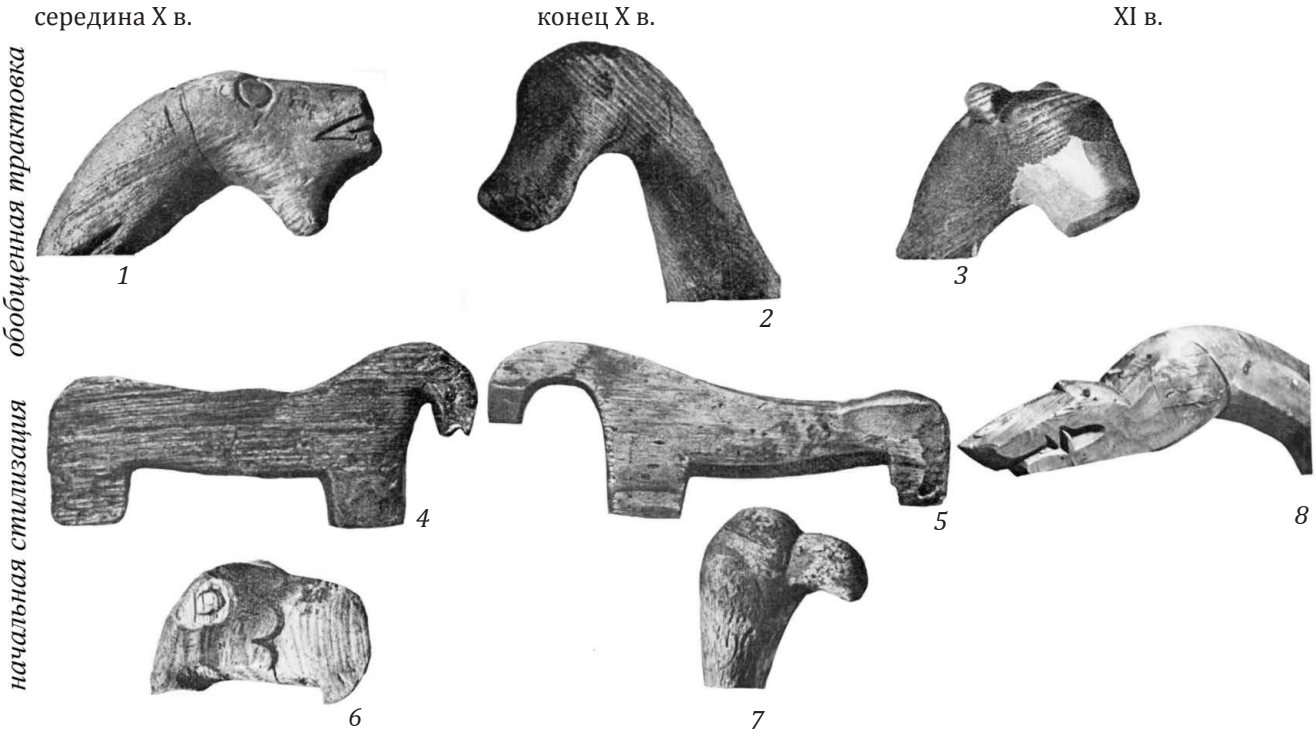


Рис. 10. Трактовка образа зверя в деревянной народной резьбе. Новгород Великий: 1 – 28-33-148; 2 – 26 ярус; 3 – 25-27-924; 4 – 28-30-1055; 5 – 27-34-1439; 6 – 28-31-1044; 7 – 26-29-888; 8 – Ил-28-348

Тем не менее это тот исток или один из истоков, который завершится высоким уровнем тератологического орнамента XII–XIII вв. на черневых браслетах. Стилистические характеристики, которые прочно связывали бы эти звериные изображения с каким-либо иностранным стилем, отсутствуют. Это можно считать собственным движением (рис. 11: 3, 4). Пластины ременного набора из супрутского клада 1969 г. дают образцы подражания стилю Борре, остающиеся на неумелом, малохудожественном уровне (рис. 11: 1, 2) (Мурашёва, 2008, рис. 29; IV).

Процессы смены символов от языческих к христианским или их слияния еще мало успели проявиться в искусстве X в. В это время наблюдается введение символов новой государственной религии в

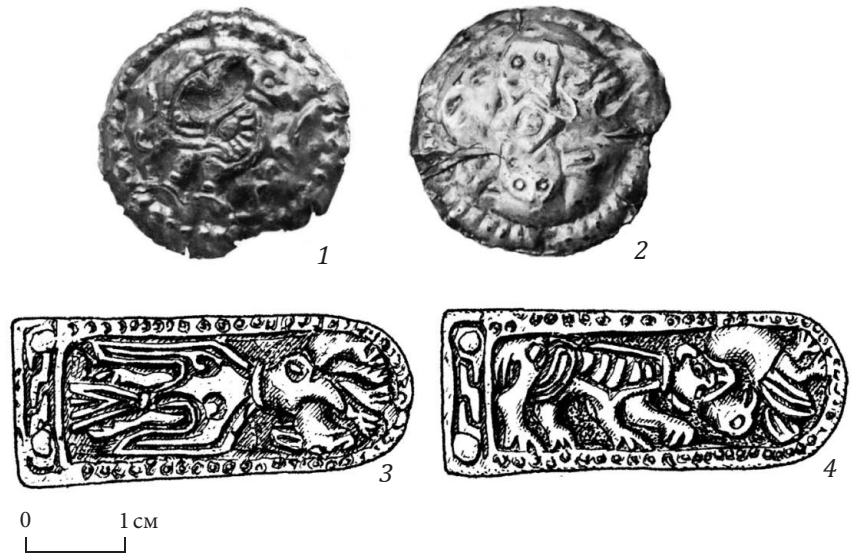


Рис. 11. Звериные изображения X в. на изделиях из металла. Клад в Супрутах 1969 г.: 1, 2 – бляшки оголовья; 3, 4 – ременные наконечники

прикладное искусство. Кресты с геометризованными кринообразными окончаниями стилистически аналогичны крестам на византийских номисмах и русских златниках и сребрениках (Меч и златник…, 2012. № 187, 188; Русь в IX–X веках…, 2012, фото на фронтисписе) (рис. 9: 9).

В прикладном искусстве X в. выделяется государственная сфера, создаются предпосылки для формирования государственной символики, начинается ее орнаментализация. В искусстве власти разные орнаментальные тенденции сливаются более интенсивно, быстрее вырабатываются обобщенные варианты, утрачивающие непосредственную связь с иноземными стилистическими прообразами.

Изобразительная основа знака Рюриковичей (трезубец) содержит криволинейные элементы и имеет стилистические возможности трансформироваться либо в плетено-растительный орнамент, либо в изображение птицы. Различные варианты воплощают эти тенденции в разной мере. Есть варианты с преобладанием скандинавской орнаментики X в. Нарастает тенденция провизантийского растительно-завиткового орнамента. Стилизация знака Рюриковичей в провизантийском направлении является главной тенденцией, и его орнаментальные образы входят не только в русское прикладное искусство, но и в княжескую эмблематику. Знак крина на Руси в последующие времена становится эмблемой княжеского сословия (рис. 12) (Белецкий, 1998, рис. 1: Г – генеалогия по В. Л. Янину; 2: 6, 7, 20, 31, 34, 37, 39, 42–44; 3: 1–3, 6, 7, 9).

На наконечниках ножен мечей и монетовидных подвесках отображена обобщенно-трактованная распластанная птица-орел – прообраз будущей государственной геральдики, связываемая в истоке в равной мере и с византийским, и со скандинавским искусством. В этой сфере особенности отдельных дохристианских стилей гасятся, побеждает провизантийская схематичная трактовка образа распластанной птицы, хорошо известная в дальнейшем по произведениям перегородчатой эмали (Меч и златник…, 2012, № 257).

Государственный убор Владимира, отраженный на монетах, строится по византийскому образцу. Он аналогичен убору Константина Мономаха на византийских монетах. Хотя мы и не можем соединить его с вещевыми реалиями X в., но и такое отображение его в определенном смысле проливает свет на прикладное искусство данного времени. Начинает осуществляться та роль, которую в нем сыграли образцы византийской перегородчатой

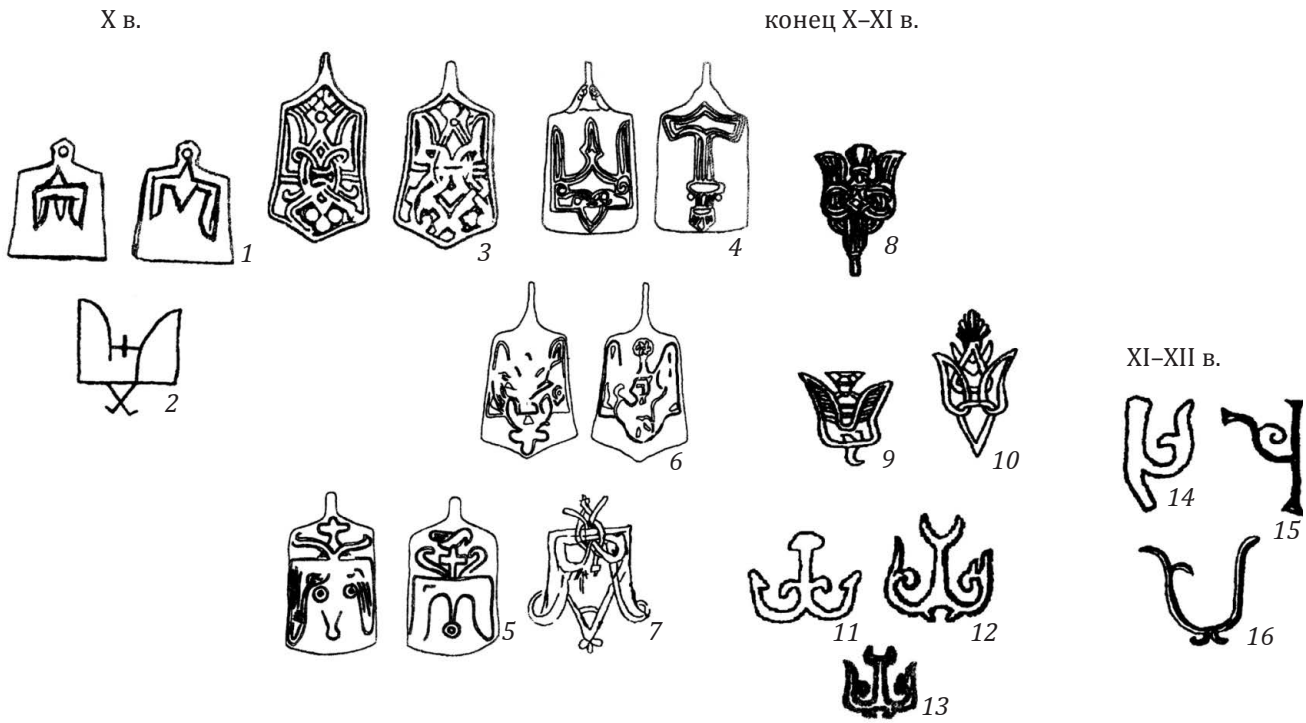


Рис. 12. Орнаментальная стилизация знаков Рюриковичей:
подвески: 1, 3 – Новгород (954–973 гг.); 4 – Рождественский могильник; 5 – Белгород; 6 – Рюриково городище;
знаки: 2 – Иднакар, гребень конца X – начала XI в.; 7–10, 14–16 – IX–XII вв.;
11, 13 – печать Изяслава Ярославича, Новгород; 12 – печать Ярослава Владимировича (?), Белоозеро



Рис. 13. Венец Владимира: 1, 2 – сребреники Владимира, 988–1000 гг., 980–1015 гг.; 3 – златник Владимира, 980–1015 гг.; 4 – номисма 1042–1055 гг., Константин Мономах

эмали. Высокий и дорого убранный венец Владимира на монетах – это диадема с перекрещивающимися обручами стеммы, с декоративными подвесками-ряснами объемной формы (шаровидной или умбоновидной), которые уже утратили роль завязок, они утрированно выведены вперед. Произведения византийской эмали, современные венцу Владимира, выглядели сходно (рис. 13) (Меч и златник…, 2012, № 187, 365, 628, 629).

Разные стилевые истоки искусства не только не слились в X в. в единый национальный стиль, но пока не ясно, какие из художественных тенденций в дальнейшем станут главными. Наблюдаются временные стилистические варианты, многим из них не суждено далее развиваться. Искусство X в. показывает живую и разнообразную основу, создавшую предпосылки для расцвета древнерусского прикладного искусства последующего времени.

Источники и литература

Авдусин Д. А., 1952. Гнёздовская экспедиция // КСИИМК. Вып. 44. М.

Амброз А. К., 1993. К происхождению днепровских антропозооморфных фибул // РА. № 2.

Андрощук Ф. О., Беляєва С. О., Блажевич Н. В., Якубов В. М., 1996. Старожитності Шестовиці // Коллекція археологічних матеріалів з наукових фондів Інституту археології НАНУ. Київ.

Гнёздовский могильник. Ч. 1: Археологические раскопки 1874–1901 гг. (по материалам ГИМ). М., 1999. (Труды ГИМ. Вып. XXXVI).

Белецкий С. В., 1998. Наследование лично-родовых знаков князьями Рюриковичами в X–XI вв. // Труды VI Международного конгресса славянской археологии. М.

Гущин А. С., 1936. Памятники художественного ремесла Древней Руси X–XIII вв. Л.

Кирпичников А. Н., 1966. Древнерусское оружие. Вып. 1, 2. М.; Л.

Кирпичников А. Н., Сарабьянов В. Д., 2003. Старая Ладога – древняя столица Руси. СПб.

Колчин Б. А., 1971. Новгородские древности. Резное дерево. М. (САИ. Вып. Е1–55).

Корзухина Г. Ф., 1954. Русские клады IX–XIII вв. М.; Л.

Меч и златник. К 1150-летию зарождения Древнерусского государства. М., 2012.

Орлов Р. С., 1984. Среднеднепровская традиция художественной металлообработки в X–XI вв. // Культура и искусство средневекового города. М.

Мурашёва В. В., 2008. Супрутский клад : из раскопок 1969 г. М. (Труды ГИМ. Вып. 175).

Носов Е. Н., 1990. Новгородское (Рюриково) городище. Л.

Путь из варяг в греки и из грек… М., 1996.

Петрухин В. Я., 2007. Дохристианские древности: по археологическим материалам IV–X века // История русского искусства: в 22 т. Т. 1. М.

Покровская Л. В., 2007. Металлические предметы скандинавского происхождения из раскопок на Троицком раскопе: топография // У истоков русской государственности. СПб.

Пушкина Т. А., 1996. Новый гнёздовский клад // ДГ, 1994. Новое в нумизматике. М.

Русь в IX–X веках: археологическая панорама. М.; Вологда, 2012.

Рыбаков Б. А., 1948. Ремесло Древней Руси. М.

Рыбаков Б. А., 1971. Русское прикладное искусство X–XIII веков. Л.

Седова М. В. 1981. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X–XV вв.).

Смирницкая Е. В. Германский звериный стиль как орнаментальное искусство // Атлантика. Записки по исторической политике. Выпуск X. Животные в языке и культуре кельтов и германцев. М., Издательство МГУ, 2012. С. 131–182 (с. 163–182 – иллюстрации).

Торопов С. Е., 2009. Два уникальных комплекса ювелирных украшений // Ежегодник Новгородского объединенного государственного музея-заповедника, 2008. Великий Новгород.

Summary

N. V. Zhilina

The Applied Art of Medieval Rus' in the Era of State Formation

This article provides a general survey of the stylistic trends and level of Russian applied art in the 10th century. The main responses to outside influences are described and the local basis of this art is singled out. Archaeological finds from medieval Russian hoards and from excavations in Novgorod the Great, Staraya Ladoga, the Middle Dnieper area and other regions of medieval Russia are analysed.

А. В. Кудряшов

Белозерская весь: современный взгляд

В 70-е гг. XX в., после двух десятилетий исследования белозерских памятников X–XIII вв., Л. А. Голубевой был обобщен и систематизирован материал, полученный в ходе этих работ, в результате появилась известная монография «Весь и славяне на Белом озере. X–XIII вв.». Этот труд был большим шагом вперед в решении проблем генезиса и этнической истории веси (Голубева, 1973).

В 80-е гг. XX в. А. Н. Башенькин провел исследовательские работы в бассейне р. Суды, где ему удалось обнаружить и частично раскопать значительное количество могильников и поселений, содержавших материалы культуры финно-угорского населения, датируемые с начала I тыс. н. э. до XIII в. Данные материалы были отнесены им к культуре судской веси – составной части веси белозерской. Он сумел реконструировать историю населения бассейна р. Суды, выделил в ней несколько периодов, высказал свое мнение по поводу общей характеристики веси, сделанной Л. А. Голубевой (Башенькин, 1989, с. 3–21).

А. Н. Башенькин был не согласен с мнением Л. А. Голубевой о принадлежности веси к прибалтийско-финским народам, считал, что судская весь, как и в целом белозерская весь, ближе по своей культуре к поволжским финнам. Особенностью культуры веси, по мнению А. Н. Башенькина, является сочетание восточно-финских и прибалтийско-финских элементов в женском костюме, орудиях труда и предметах быта, керамике, треть которой была орнаментирована (Башенькин, 1989, с. 9–11). Л. А. Голубева при публикации материалов Крутика в 1991 г. назвала его эталонным памятником белозерской веси. Она также отметила присутствие в материалах Крутика элементов восточно-финских культур, но связывала их появление здесь с торговыми отношениями местного населения с Поволжьем и Прикамьем (Голубева, Кочкуркина, 1991, с. 110–111).

Начало формирования культуры веси А. Н. Башенькин относит к концу I тыс. до н. э. – началу I тыс. н. э., т. е. к раннему железному веку, когда группы восточно-финского населения Волго-Окского междуречья и Прикамья проникают на Суду и на Мологу. Они приносят в Молого-Шекснинское междуречье новые элементы женского костюма, предметы культа, новые виды погребальных сооружений – «домики мертвых» (Башенькин, 1994, с. 28–32). В середине I тыс., с приходом на Мологу славяно-балтского населения, как отмечает А. Н. Башенькин, в составе местного населения происходят большие изменения, в отличие от населения Суды, культура которого продолжает развиваться естественно.

За прошедшие с начала 90-х гг. XX в. более чем два десятилетия в бассейне Шексны и Белого озера были проведены значительные полевые исследования средневековых памятников экспедициями под руководством Н. А. Макарова, А. Н. Башенькина, А. В. Кудряшова (Макаров, 1990; Макаров, Захаров, Бужилова, 2001; Башенькин, 1997, с. 5–35). С середины 90-х гг. XX в. до относительно недавнего времени экспедицией Н. А. Макарова и С. Д. Захарова на высоком методическом уровне были проведены раскопки комплекса у д. Минино на Кубенском озере, материалы которого авторами были отнесены к древностям шекснинско-белозерского круга (Археология севернорусской деревни…, 2007; Археология севернорусской деревни…, 2008; Археология севернорусской деревни…, 2009, с. 92).

С конца 80-х гг. XX в. в бассейне Шексны и Белого озера Шекснинской экспедицией Череповецкого музейного объединения, которой руководил автор, было открыто и обследовано свыше 220 памятников Средневековья, раскапывалось 13 могильников и 21 поселение. На поселениях изучено 11550 кв. м площади культурного слоя. Накопление материалов по истории белозерской веси позволило подтвердить некоторые предположения авторов относительно ее культуры и истории. Вместе с тем, продолжение изучения памятников, принадлежавших финно-угорскому населению региона, новые открытия, сделанные при этом, ставят перед исследователями новые задачи.

В последние годы на р. Андоге, на одном из самых крупных притоков р. Суды, экспедицией Череповецкого музейного объединения удалось раско-

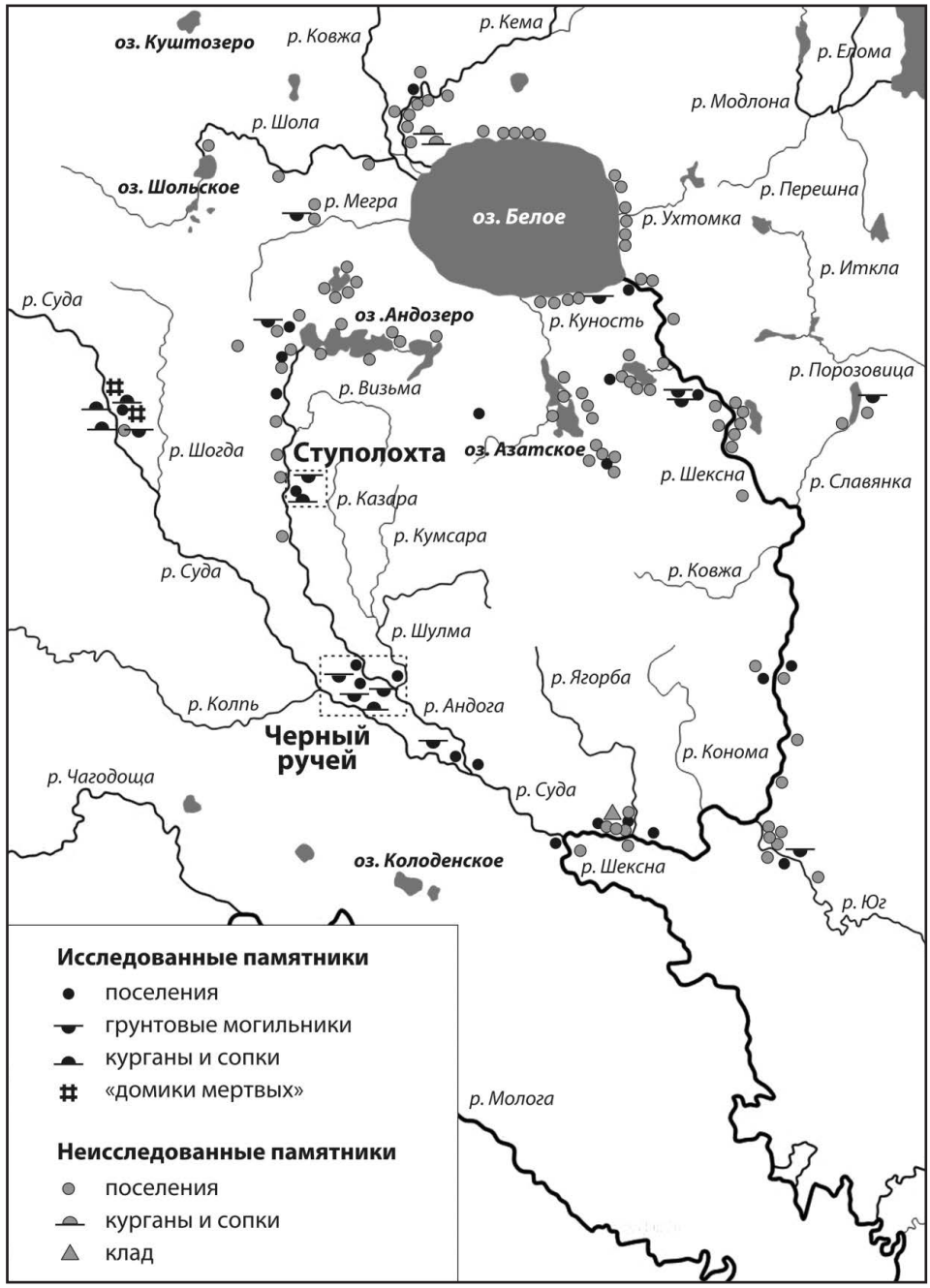


Рис. 1. Памятники бассейна Шексны и Белого озера VIII – начала XI в.

пать поселения и могильники, которые датируются с VII–VIII вв. до рубежа X–XI вв. Речь идет об исследованных комплексах «Черный ручей» и «Ступолохта», включавших в себя несколько могильников и поселений (Кудряшов, 2004, с. 486–497; Кудряшов, 2006 а, с. 439–450; Кудряшов, 2006 б, с. 26–31; Кудряшов, 2008, с. 240–242; Кудряшов, 2012, с. 36–40). При изучении данных комплексов был обнаружен значительный объем древностей, происходивших с далеких от Белозерья территорий, в том числе с Поволжья и Прикамья. В могильнике Черный ручей 4, на поселении Черный ручей 2 и в обнаруженном при его исследовании «погребальном комплексе», который, вероятнее всего, является местом сожжения тел умерших, захороненных в вышеуказанном могильнике, были обнаружены многочисленные детали неволинских поясов – пряжки, наконечники ремней, поясные накладки разных типов: накладки-тройчатки, квадратные изделия с фигурной прорезью, Ж-образные, прямоугольные накладки с при-



Рис. 2. Памятники комплексов «Черный ручей» и «Ступолохта». Вещевой инвентарь: 1, 4–6, 9, 12–17, 20 – поясные накладки; 2, 3, 7, 8 – бусы; 10,11 – браслеты; 18 – поясная пряжка; 19 – наконечник ремня; 21, 22 – ножи; 1, 4–6, 9–20 – бронза; 2, 3, 7, 8 – стекло; 21, 22 – железо. 1, 4–6, 7, 11–13, 16; 18–22 – могильник Черный ручей 4; 3, 10 – могильник Ступолохта; 8, 9, 14, 15, 17 – поселение Черный ручей 2

остренным краем разных видов, накладки круглые и арочные со вставками, роговидные, полуовальные с прорезью, калачевидные с орнаментом и другие (Голдина Р. Д., 1985, табл. VIII; табл. X; табл. XI; табл. XII; табл. XIII; Голдина Р. Д., Водолаго, 1990, табл. XXVI, 1–3; табл. XXIX, 25–31, табл. XXX, 9; табл. XXXI, 5, 6, 24, 29, 55, 61; табл. XXXII, 1–3; 19, 27–29; табл. XXXIV, 38, 39; табл. XXXV, 20) (рис. 2: 1, 2–6, 9, 12–20; рис. 3: 1–4; 7, 8). В «погребальном комплексе» также было обнаружено несколько тисненых накладок с изображением оленя с большими рогами, аналоги которым имеются в раннеболгарских могильниках (Матвеева, Богачев, 2000, табл. 7, 16, 17) (рис. 3: 5, 6). Кроме элементов поясов, здесь обнаружены и другие предметы, имевшие распространение в Прикамье: массивные браслеты круглого и прямоугольного сечений, арочная подвеска с изображением медведя «в жертвенной позе» (Голдина Р. Д., 1985, рис. XV, 16), железная подвеска с отверстием, изображающая коня, бесцветные прозрачные бусы с красными

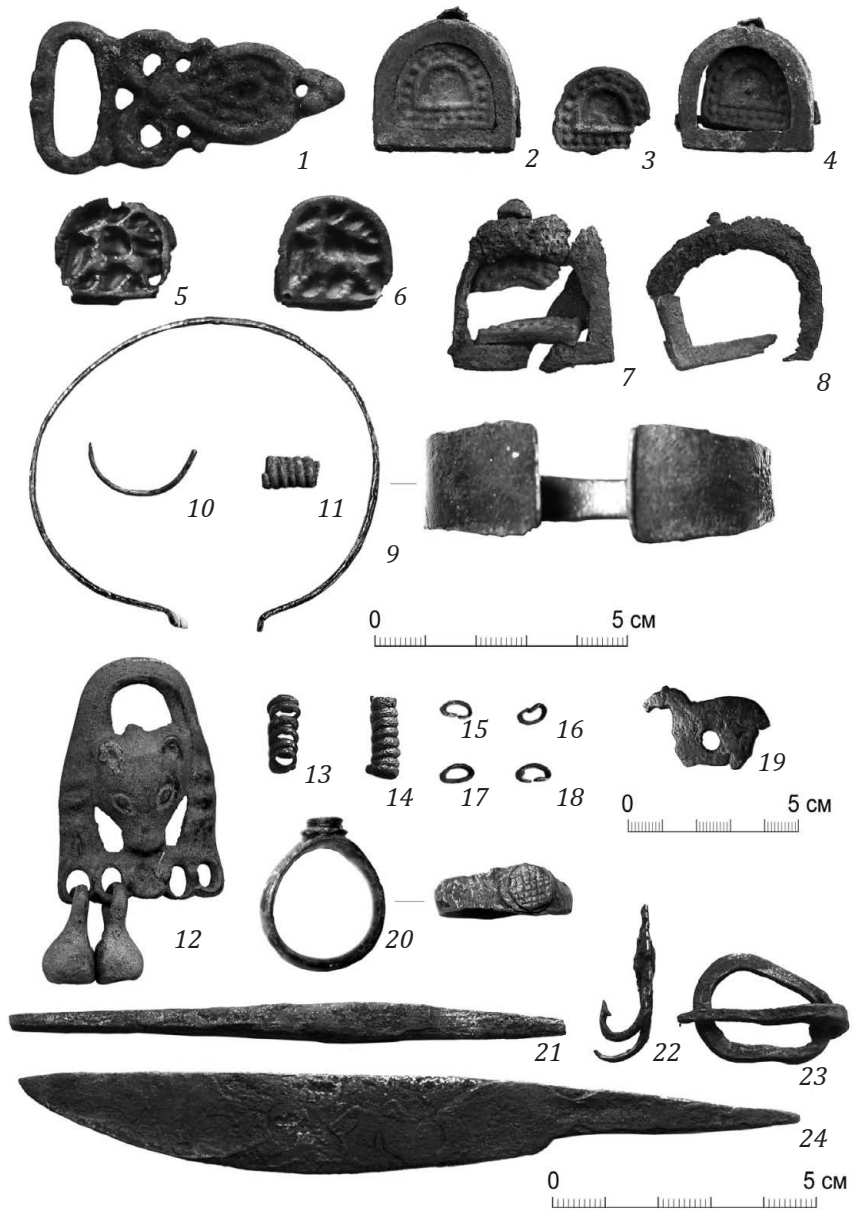


Рис. 3. Памятники комплексов «Черный ручей» и «Ступолохта». Вещевой инвентарь:
1, 21 – пряжки поясные;
2–8 – поясные накладки; 9 – браслет;
10 – фрагмент височного кольца;
11, 13, 14 – спирали;
12, 19 – подвески; 15–18 – обоймы;
20 – перстень; 21 – шило;
22 – рыболовные крючки; 24 – нож.
1–18, 20 – бронза;
19, 21–24 – железо.
1–8, 10,11, 13–18, 21–24 – могильник Черный ручей 4;
12, 19 – поселение Черный ручей 2;
9, 20 – могильник Ступолохта

глазками, буса с выпуклыми глазками (группы неволинских бус IV Б24, IVБ33, по Е. В. Голдиной) (Голдина Е. В.,2010, с. 48–68) (рис. 2: 2, 7, 8, 10, 11; рис. 3: 12, 19; рис. 4: 20). Здесь обнаружены также изделия, часто встречающиеся и в других восточно-финских регионах: ножи с прямой спинкой, инструменты-лопаточки, шумящие подвески и их детали, подвеска с петлей и тремя бугорками, окаймленными «косоплеткой», аналогичная подвеске из Мурома, многочисленные бронзовые спиральки, скобки, обоймочки, серебряная вайнага, железные и бронзовые фитильные трубочки и многое другое (рис. 2: 21, 22; рис. 3: 13–18, 24).

Погребения по обряду сожжения, датированные VII–VIII вв., в могильнике Черный ручей 4 помещались в округлые ямки диаметром 0,4–0,5 м, в ямы овальной формы бóльших размеров, а также в большие ямы-котлованы, имеющие в плане овальную и подпрямоугольную формы. В заполнении последних в виде прослоек лежали кальцинированные кости, угли, вещевые находки. На могильнике Черный ручей 4 получен ряд радиоуглеродных дат, сделанных по углю, происходившему из погребений и ям, и распределившихся в хронологическом диапазоне от VII до X в. Кремации, датируемые IX–X вв., которые также содержали инвентарь, характерный для восточных финнов (мордвы, муромы, мери), обнаружены в ямах или непосредственно под дерном, в виде пятен, содержавших, кроме костей, угольки, редкие фрагменты лепной керамики и вещи.

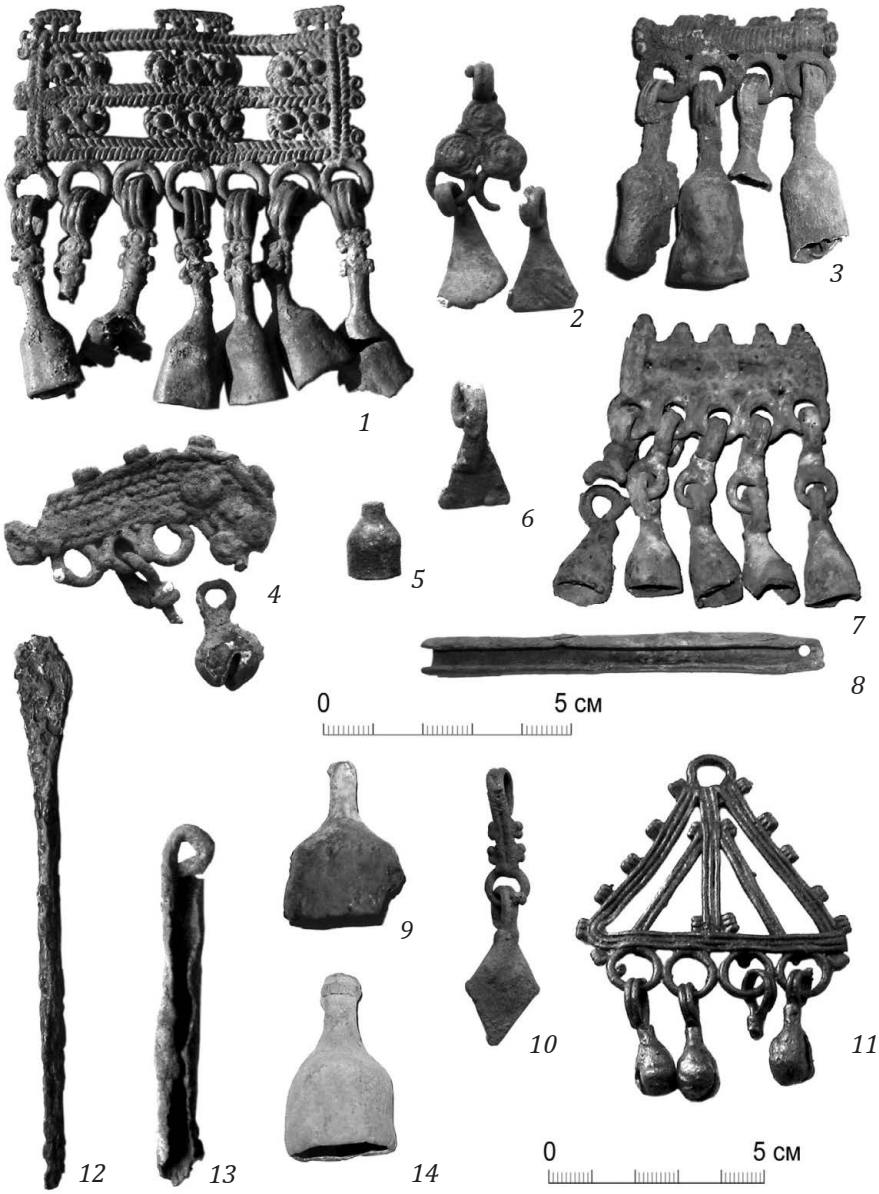


Рис. 4. Поселения и могильники бассейна Шексны и Белого озера.
Вещевой инвентарь:
1–7, 9–11, 14 – подвески;
8, 13 – фитильные трубки;
12 – инструмент – лопаточка.
1–8, 9–11, 14 – бронза.
1 – поселение Октябрьский мост;
2–9, 14 – могильник Ступолохта;
10 – поселение Черный ручей 2;
11 – могильник Минино 1.
1–8, 9–11, 14 – бронза;
12, 13 – железо

Кроме вышеописанного могильника, в урочище «Черный ручей» исследовался курган Черный ручей 3, содержавший погребения по обряду трупосожжения. При раскопках поселения Черный ручей 2 был исследован еще один грунтовый могильник с кремациями – Черный ручей 5. Грунтовый могильник был датирован с помощью радиоуглеродного анализа X в. В насыпи кургана была найдена монета-дирхем (Саманиды, Мансур I ибн Нух I, 350–365 гг., 961–965 гг. от Р.Х. Определение А. А. Молчанова).

Керамика памятников комплекса «Черный ручей» была исключительно лепной (рис. 6). Из 3492 фрагментов лепной посуды, обнаруженных здесь, лишь три имели орнамент – в двух случаях это были отпечатки гребенчатого штампа и один сосуд, часть развала которого была обнаружена на поселении в постройке-полуземлянке, был орнаментирован веревочным, ямочным орнаментами, а также оттисками гребенчатого штампа по срезу венчика и валику, находящемуся под венчиком (рис. 6: 26). Часть керамики комплекса Черный ручей имела следы лощения. Среди лепной посуды оказалось несколько фрагментов с отпечатками «сетки». Средневековая лепная керамика, происходившая с поселения и могильников, отличалась большим разнообразием. Здесь были обнаружены фрагменты нескольких округлодонных сосудов, имевших аналогии в камско-вычегодской керамике, в частности в материалах неволинской, ломоватовской, ванвиздинской культур. Среди этой керамики

имеются сосуды высокого качества, изготовленные из хорошо отмученного теста, имеющие хороший обжиг и гладкую поверхность, черепки их были красного цвета. Вероятнее всего, данная посуда является привозной (рис. 6: 25, 26, 27). Вместе с тем, к этому же виду посуды близки сосуды, содержавшие крупную дресву в тесте и имевшие небрежно заглаженную поверхность. Были среди них сосуды с рыхлым тестом и с замытой поверхностью (рис. 6: 1, 2, 7, 8). Среди реконструированных сосудов было немало изделий, имеющих аналогии в посуде, принадлежавшей поволжско-финским народам – мере, мордве, мурому, марийцам. К ним можно отнести сосуды небольших размеров, имевшие близкие аналогии в городище Выжегша, Малодавыдовском городище, городище Попово на реке Унже, в могильнике Большое Молочное, в марийских Дубовском могильнике и Черемисском кладбище и других памятниках Поволжья (Леонтьев, 1996, рис. 16; рис. 77; рис. 83, 84; рис. 89; рис. 120, 121; рис. 127, 134; Голубева, 1987, табл. LV, 1, 5, 7, 8, 10), (рис. 6: 9–12, 14, 15, 25, 37). Здесь имеется также несколько сосудов, близких к «шекснинско-белозерской» керамике, классифицированной Н. А. Макаровым (Макаров, 1991, с. 129–165). К ним можно отнести грубо изготовленный сосуд диаметром 18 см, близкий к типу VI, по Н. А. Макарову, горшок, близкий к сосудам I основного типа (рис. 6: 28); сосуды, близкие к сосудам редкого типа 1 (рис. 6: 13); редкого типа 3 (рис. 6: 24); редкого типа 4 (рис. 6: 16) по той же классификации. В могильнике Черный ручей 4 обнаружена часть развала приземистого лощеного сосуда с раздутым туловом, имеющего аналогии в керамике мордвы, в частности, в Елизавет-Михайловском могильнике (Голубева, 1987, табл. XLVIII) (рис. 6: 37). На Черном ручье обнаружены также сосуды, которые имеют аналогии и на памятниках I тыс. Верхнего Помостья (Исланова, 2006, с. 225, рис. 66) (рис. 6: 20, 21).

Как уже отмечалось, несмотря на то, что в могильнике Черный ручей 4 обнаружен вещевой инвентарь VII–X вв., характерный в основном для финно-угорского населения Поволжья и Прикамья, погребальный обряд черноручейского населения отличался от погребального обряда восточно-финских народов, у которых в те времена господствовала ингумация, а редкие сожжения с вещевым инвентарем помещались в обычную могильную яму (Голдина Р. Д., 1985, с. 18; Голдина Р. Д., Водолаго, 1990, с. 71, 72; Голубева, 1987, с. 84, 102, 110). В могильниках Черного ручья, как упоминалось выше, большая часть кремаций помещалась в ямы, но иногда, по всей видимости, они размещались и на поверхности земли.

Похожая картина наблюдается на другом андогском комплексе – на Ступолохте, расположенном в 40–50 км выше Черного ручья по течению реки. Здесь были раскопаны поселение, два кургана с погребениями по обряду сожжения. Под курганами, которые были насыпаны в X – первой половине XI в., оказался не только культурный слой поселения, но и более ранний могильник с кремациями. Грунтовый могильник был существенно поврежден при сооружении курганов, а также норами животных. По углю, происходившему из грунтовых погребений, последние могут быть датированы VII–VIII вв. Среди вещевого инвентаря, обнаруженного в насыпи кургана и на погребальной площадке, имеются находки, аналогичные древностям ломоватовского населения, а также близких к нему народов. Среди обнаруженных предметов имеются массивные круглого сечения браслеты, в том числе один с гранчатыми концами, орнаментированный кружковым орнаментом; обнаружены пластинчатый браслет со слегка отогнутыми концами, литой перстень с круглым орнаментированным щитком, крупные бутылковидные подвески, детали нескольких поясов – пряжки и поясные накладки (Голдина, 1985, табл. IV; 1,2; 20–22; 32–34; табл. XXII, 25, 28). Имеются также бусы, в том числе желто-красно-зеленые бусы миллефиори, которые представляли собой восточный импорт, распространявшийся через Прикамье и Поволжье до Скандинавии (Голдина Е. В., Голдина Р. Д., 2010, с. 179). Е. В. Голдиной эти бусы были отнесены к группам VII Б, VII Г неволинских бус (рис. 2: 3; рис. 3: 9, 20; рис. 4: 9, 14) (Голдина Е. В., 2010, рис. 32). В курганах обнаружено большое количество украшений из бронзы, датирующихся концом I – началом II тыс. н.э.: шумящие подвески с прямоугольными, круглыми, петлевидными щитками, подвески со щитками из трех спаянных спиралей, щитками из трех спиралек-пронизок, подвески с цилиндрическими и полуцилиндрическими щитками. Среди находок имеются также оковки кожаной сумочки, подвески-лапки, фрагменты подвески-конька «мерянского типа», обнаружены гривны «глазовского типа», одна целая и несколько во фрагментах, фрагменты втульчатых височных колец, более десятка флаконовидных бус, крестопрорезные бубенчики больших размеров. Здесь также были найдены браслеты – три ладьевидных и один массивный с каннелюрами, полая уточка с лапками-привесками, фрагменты костяных гребней-расчесок (рис. 4: 2–9, 12–14, рис. 5). Многие из перечисленных выше вещей имели распространение в среде восточно-финских народов в IX–X вв. – мордвы, муромы, марийцев, мери (Голубева, 1987, табл. XXIX, 7, 8, 11, 22; табл. XXX, 19; табл. XXXIV, 6, 15, 16; табл. XXXV, 6, 12, 14; табл. LI, 4). Здесь найдены также изделия, имевшие аналогии среди материалов прибалтийско-финских народов: к ним можно отнести ладьевидные браслеты, костяные расчески, полую уточку, бронзовые бусы. Среди погребального инвентаря имеются также бочонковидная весовая гирька, ботало, кубический замочек к ларцу, десяток наконечников стрел, детали рукояти плети с привесками,

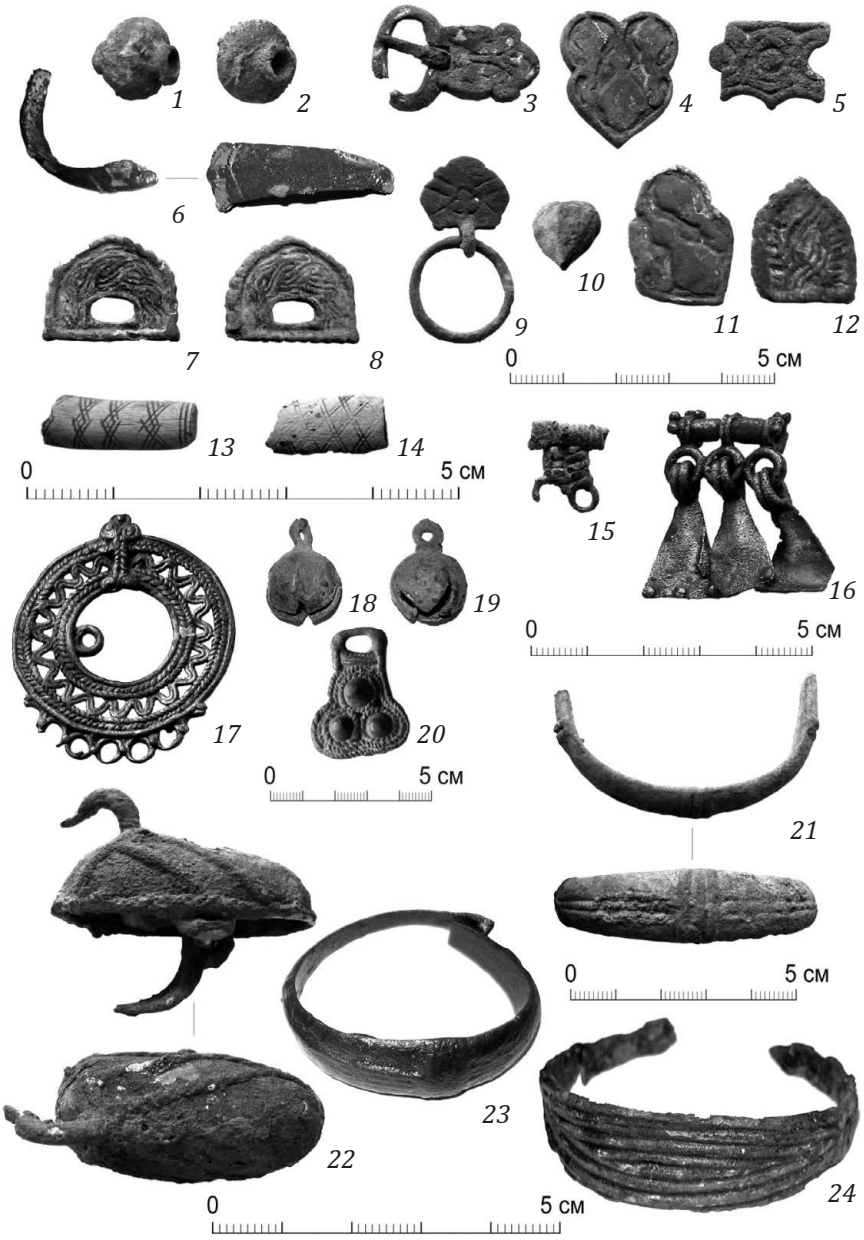


Рис. 5. Поселения и могильники бассейна Шексны и Белого озера. Вещевой инвентарь:
1, 2 – флаконовидные бусы; 3 – поясная пряжка; 4, 5, 7–12 – поясные накладки; 6, 21, 23, 24 – браслеты;
13, 14 – фрагменты гребней-расчесок; 15–20, 22 – подвески; 1–12, 15–24 – бронза.
1–16, 18, 19, 21–24 – могильник Ступолохта; 17 – могильник Минино 1; 20 – поселение Черный ручей 2

топор типа V, по А. Н. Кирпичникову, многочисленные стеклянные, сердоликовые, хрустальные бусы и другие вещи.

Лепная керамика, происходящая из комплекса «Ступолохта», включавшего в себя многослойное поселение и могильники, также отличается разнообразием. Поскольку, как сообщалось выше, курганы X–XI вв. насыпались в два приема из слоя более раннего поселения, перекрыли при этом и сам слой, и более ранний могильник, который при этом также получил серьезные повреждения, керамика комплекса оказалась сильно перемешанной. Ситуацию усугубили многочисленные прокопанные животными норы, а также имеющиеся здесь кладоискательские и угольные ямы. Расчленить керамику по отдельным комплексам, за небольшим исключением, оказалось делом затруднительным. Среди посуды, обнаруженной здесь, имеются сосуды, встречающиеся в среде финно-угорских народов Поволжья – мери, мордвы, марийцев, в Прикамье, на памятни-

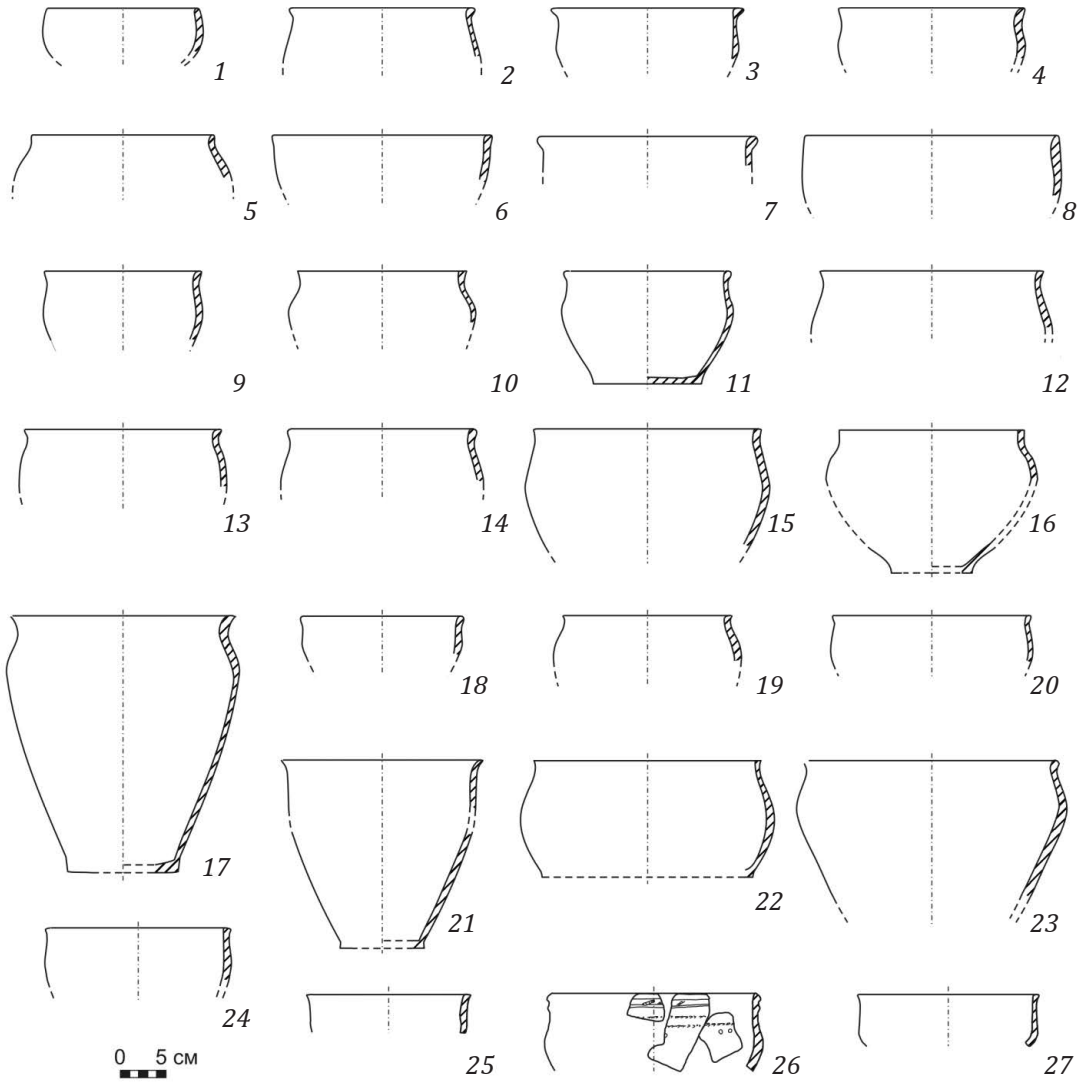


Рис. 6. Керамика комплекса «Черный ручей»:
1, 5 ,7–9, 14, 16, 17, 20, 21, 25–27 – поселение Черный ручей 2;
2–4, 10, 12, 13 – поселение Черный ручей, «погребальный комплекс»;
6, 15, 18, 19, 23, 24 –могильник Черный ручей 5; 22 – могильник Черный ручей 4

ках прибалтийско-финского населения, а также на поселениях и могильниках Белого озера и Шексны (рис. 7). Керамика комплекса «Ступолохта», как и керамика «Черного ручья», слабо орнаментирована. Из всего комплекса средневековой лепной керамики, насчитывающего 2228 фрагментов, орнаментировано 34 фрагмента (1,5 %). Встречается ямочный, веревочный орнамент, отпечатки гребенчатого штампа. Ямки и гребенки иногда образовывали композиции из нескольких поясов. Часть керамики имеет округлодонную форму, аналогии ей встречаются среди лепной глиняной посуды ломоватовской, неволинской культур, а также их соседей (Голубева, 1987, табл. LVI, 33; табл. LVII, 42; табл. LXII, 37, 40, 42; Голдина Р.Д., 1985, табл. XXXIV; табл. XLV; Голдина Р.Д., Водолаго, 1990, табл. LV, LVI, LX). Есть тонкостенные сосуды небольших размеров (рис. 7: 1). Интересны сосуды диаметром 16 см со слегка отогнутым в стороны коротким венчиком, с тонкими примесями в тесте. Некоторые глиняные сосуды этого типа имели «обливку» светло-серой глиной (рис. 7: 2). Интересен сосуд с диаметром устья 14 см, с раздутым туловом, с коротким венчиком, резко отогнутым почти под прямым углом относительно стенок (рис. 7: 4). Сосуд включает в тесто дробленую дресву. Аналогии таким формам глиняной посуды имеются среди ломоватовских и чепецких округлодонных сосудов. Обнаружены они и среди шекснинской посуды (Макаров, 1991, рис. 6: 1, 2, 3). Кроме небольших сосудов, имеются округлодонные горшки больших размеров,

с диаметром устья 24–26 см (рис. 7: 3, 5). Эти сосуды довольно грубы, включают в тесто дресву, по форме имеют близкие аналогии среди керамики ломоватовской, неволинской культур, а также керамики памятников макушинского типа (Голубева, 1987, табл. LXXII, 12, 17; Голдина Р. Д., 1985; Голдина Р. Д., Водолаго, 1990, табл. LVI). Близкую к округлодонным сосудам Ступолохты группу керамики составляют сосуды, имеющие под коротким прямым венчиком налеп-валик. Посуда эта очень хорошего качества, хорошо отмучена, обожжена, имеет черепок серо-коричневого цвета (рис. 7: 29–32). Диаметр сосудов варьирует от 16 до 28 см. Сосуды с валиками встречаются на мерянских селищах Ополья (Кистыш), среди керамики Крутика (Леонтьев, 1996, 92, 10; Макаров, 1991, рис. 4: 5, 6).

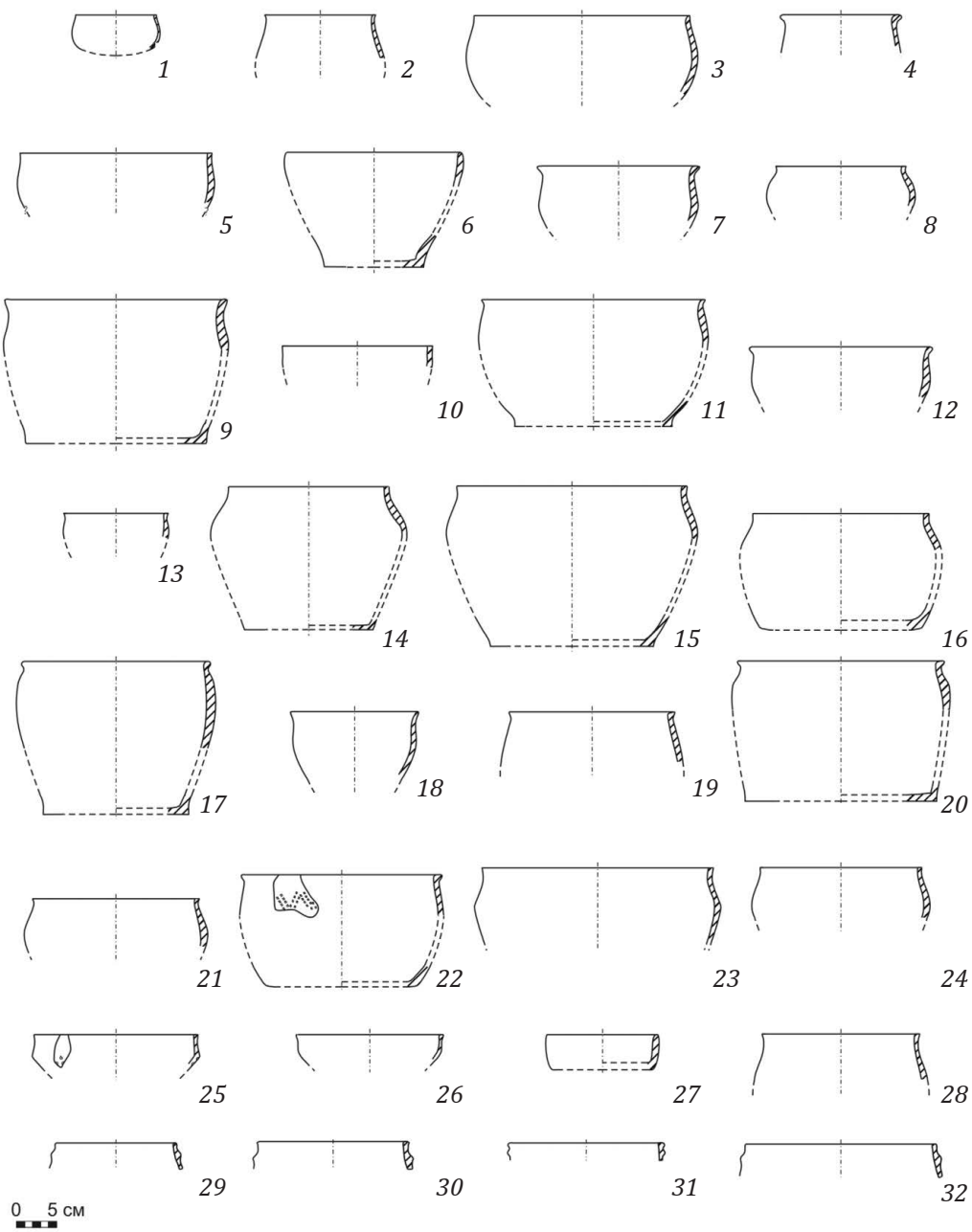


Рис. 7. Керамика комплекса «Ступолохта»:
1, 5, 7–9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 – могильник Ступолохта, курган 1;
3, 11, 22 – поселение Ступолохта, раскоп 2;
4, 13 – поселение Ступолохта, раскоп 4; 5, 23–28, 29–32 – могильник Ступолохта, курган 2

Большую же часть лепной посуды «Ступолохты» составляют сосуды больших и средних размеров. Большинство ее было изготовлено небрежно, содержало примеси дресвы в тесте и, за редким исключением, было неровно обожжено. Многие сосуды были приземистыми, имели раздутое тулово. Часть сосудов была аналогична посуде, известной на мерянских селищах и городищах: городища Выжегша, Малодавыдовское, Сарское, Попово на р. Унже и др. (рис. 7: 25, 26), в могильнике Большое Молочное, а также в могильниках мордвы и марийцев (рис. 7: 9, 11, 17) (Леонтьев, 1996, рис. 127; Голубева, 1987). Часть глиняной лепной посуды Ступолохты имела аналогии в керамике Крутика и была близка к сосудам основных типов I, II, IV, редких типов 1, 2, 4 по классификации Н. А. Макарова (рис. 7: 8, 14, 15, 16, 20, 22, 23) (Макаров, 1991, с. 129–165). Некоторые грубые лепные сосуды, происходящие со Ступолохты, с трудом поддаются определению ввиду того, что данная керамика, по всей вероятности, относится к раннему железному веку, материалы которого имеются в комплексе. Керамическая посуда этого времени в регионе изучена недостаточно.

Подводя итог рассмотрению керамики андогских комплексов, мы можем сделать некоторые предварительные выводы. Выясняется, что среди керамики VIII–X вв., обнаруженной на памятниках «Черного ручья» и «Ступолохты», значительную часть составляют сосуды восточно-финского происхождения, имеющие аналогии в Прикамье, на Средней Волге, в Волго-Окском междуречье. Наибольшую долю их составляет, по нашим наблюдениям, мерянская посуда, распространенная на поселениях и в могильниках в бассейнах Верхней Волги, Клязьмы, Унжи и других регионах проживания мери. Часть данной посуды, в большей степени черноручейской, была лощеной. По форме многие лепные сосуды, обнаруженные на Андоге, имели также близкие аналогии в землях, населенных древними мордвой, муромой, марийцами, на памятниках, им принадлежавших (Елизавет-Михайловский могильник, Черемисское кладбище, Дубовский могильник и другие). Необходимо отметить, что доля шекснинско-белозерской керамики на Черном ручье оказалась незначительной. Здесь имеются в основном сосуды так называемых «редких типов», по Н. А. Макарову. На Ступолохте обнаружены сосуды ряда основных типов (I, II, III, IV), а также сосуды отдельных редких типов, выделенных Н. А. Макаровым. Можно констатировать также, что на Ступолохте керамический комплекс содержит большую долю керамики, относимой к «прибалтийско-финской». Главной отличительной чертой керамики андогских памятников VIII–X вв. была очень малая доля орнаментированной посуды. Особенно это заметно на памятниках Черного ручья. Керамика комплекса «Ступолохта» имеет чуть больший процент орнаментированных сосудов, это можно объяснить тем, что данный комплекс просуществовал дольше, чем памятники «Черного ручья». Слабая орнаментация лепной средневековой керамики Андоги отличает вышеописанные местные памятники от финно-угорских памятников Средней Суды и Шексны, Белого и Кубенского озер (Башенькин, 1989, с. 9; Макаров, 1991, с. 161) и сближает андогскую глиняную лепную посуду с посудой поволжских финнов.

На примере материалов комплексов «Черный ручей» и «Ступолохта» можно проследить процесс проникновения в последней четверти I тыс. в бассейн Шексны нового населения и адаптацию его в местной среде.

Для более полной характеристики культуры местного финно-угорского населения, проживавшего в VIII–X вв. в бассейне Шексны и Белого озера, требуется рассмотреть, (кроме местной керамики, которая характеризовалась выше), женский костюм, местные домостроительные традиции, погребальную обрядность.

Домостроительные традиции местного финно-угорского населения в разных районах Белозерья были различны. На поселении Черный ручей 2 были исследованы постройки-полуземлянки, имеющие в плане прямоугольную форму, – одна была изучена целиком, другая – частично. Размеры полностью раскопанной полуземлянки – 2,4×7,5 м, глубина в материке – до 0,5 м. Постройки удалось датировать с помощью радиоуглеродного анализа VIII–IX вв. Необходимо отметить, что в принадлежавшем поселению могильнике Черный ручей 4 одна из больших могильных ям, которая содержала погребения по обряду кремации, имела форму и размеры, близкие постройке, исследованной на поселении (Кудряшов, 2007, с. 116). Здесь же на поселении исследовались остатки других построек, в том числе наземных, некоторые из них имели подпольные ямы. При раскопках поселения Ступолохта также были обнаружены остатки углубленной в землю постройки подпрямоугольной в плане формы, с очагом внутри котлована, ее размеры – 4×5,5 м, глубина – до 0,45 м. На Средней Шексне, а также на р. Суде в результате исследований поселений также были обнаружены постройки, углубленные в землю. Форма этих сооружений была необычной. Они помещались в котлованах удлиненно-овальной формы. Длина таких сооружений была до 9–10 м, ширина – до 2,5 м, глубина в материке – 0,5 м и более. Впервые такие котлованы построек, по форме напоминающие корпус судна, были обнаружены при раскопках А. Н. Башенькиным поселения Никольское VI на р. Суде, затем остатки подобных строений были исследованы на поселениях Луковец, Октябрьский мост, Никольское-Андогское IV (Кудряшов, 2006 в, с. 24, 25). Постройки, углубленные в землю, вероятнее всего, были сооружениями, которые предшествовали в регионе двухкамерным

срубным постройкам, известным по раскопкам Крутика, Минино 1 на Кубенском озере, Белоозера, Луковца, появившимся в Белозерье в X в. (Голубева, 1973, с. 112–115; Голубева, 1991, с. 39; Археология севернорусской деревни, 2007, с. 96–106; Кудряшов, 2006 в, с. 19–21).

Что касается женского костюма местного финно-угорского населения, то в разное время с VIII по X в. он имел различные вариации, оставаясь в основе своей восточно-финским. Наиболее ранние металлические детали местного костюма свидетельствуют о сильном влиянии на него культур населения Прикамья, Поволжья. Речь идет не только о неволинских поясных наборах, но и входящих в ансамбль костюма шумящих украшениях, деталях головных уборов, браслетах, перстнях и других предметах. В IX, а может быть, и в начале X в., местный костюм начинает включать в себя элементы женских костюмов, распространенных в землях марийцев, мордвы, муромы, а также на территории Волжской Булгарии: шейные гривны «глазовского типа», шумящие подвески со щитками прямоугольной, круглой и арочной форм, коньковые подвески, выполненные в наборной технике, сумочки с бронзовыми оковками, наборные пояса и другие компоненты. Следующий период – X – начало XI в. – характеризуется усилением мерянских компонентов восточно-финской «вуали» местного костюма, распространением в женском уборе втульчатых височных колец, шумящих подвесок со щитками цилиндрической и треугольной форм, зооморфных украшений, в частности, коньков «мерянского типа» и других украшений. X – начало XI в. – время проникновения в регион украшений «прибалтийско-финских», а затем и славянских типов. В женском костюме местного населения появляются ладьевидные браслеты, зооморфные подвески – полые и плоские уточки «приладожского типа», височные кольца с «завитком» и завязанными концами, наборные гребни-расчески и другие изделия.

Автор отдает себе отчет, что появление в регионе ряда украшений, деталей костюма и даже бытовых предметов, происходивших с территорий, далеких от бассейна Шексны и Белого озера, может быть обусловлено торговыми контактами и часть предметов оказалась здесь в результате торговли. Вместе с тем, мы должны понимать, что наряду с торговлей, способствующей распространению различных изделий на ближние и дальние расстояния, важнейшими, если не сказать, главными механизмами сложных процессов взаимопроникновения элементов культуры разных этносов были, как их называют известные исследователи древностей Прикамья Р. Д. Голдина и Е. В. Голдина, «многоэтапные миграции населения», которые, без сомнения, оказывали очень важное влияние на этногенез тех или иных народов (Голдина Е. В., Голдина Р. Д., 2010, с. 157).

В результате исследований последних лет в бассейне Шексны и Белого озера, выясняется, что культура местного финно-угорского населения в конце I тыс. имела смешанный, полиэтничный характер. Исследователю памятников, принадлежавших этому населению, порой представляется, что «белозерской весью» оказывается не конкретное местное население, а группы переселенцев из восточно-финских земель (мери, муромы, мордвы, прикамских народов), перебравшихся от беспокойных соседей в полупустые северные края, что понятие «весь» размывается, исчезает, как и сама ее культура.

Вместе с тем, дело, по всей видимости, обстоит не так. Принимая на своей территории «волны» нового, пусть и родственного населения, впитывая в свою среду чужеродные элементы, весь сохранила в то же время важный компонент своей культуры – погребальный обряд кремации, при этом мы фиксируем на данной территории значительное разнообразие традиций помещения остатков трупосожжений в различные типы погребальных сооружений: в грунтовые могильники, курганы, «домики мертвых». Кремация тел умерших, помещение их в грунтовые могильники и наземные сооружения на сегодня остается важным, хотя и не единственным признаком при идентификации белозерской веси в раннем Средневековье. Это подтверждают вновь открытые, раскопанные и исследуемые до сих пор погребальные памятники на Кубенском озере, Крутике (Археология севернорусской деревни…, 2007; Захаров, Меснянкина, 2011, с. 32–33). При попытках выделить в культуре веси какие-то материальные предметы, исключительно ей принадлежавшие, вещи-этномаркеры, мнения исследователей расходятся. В разное время такими маркерами культуры веси были то некоторые шумящие украшения, то бронзовые бусы, то глиняная лепная посуда, на треть и наполовину орнаментированная (Голубева, 1973, с. 31–49; Башенькин, 1989, с. 10). Керамика, как оказалось, не везде так обильно орнаментирована, как на Крутике и других памятниках Центрального Белозерья. Многие из вещевых «маркеров» оказались ненадежными, так как ареал их бытования, как выяснялось со временем, был много шире локализуемого ареала проживания веси. Единственным предметом, который на сегодня может служить надежным маркером материальной культуры веси, – это массивные литые браслеты с каннелюрами, которые найдены практически по всей территории Белозерья – на памятниках Суды и Андоги, в Белоозере, на Крутике, на памятниках Средней Шексны и, как известно на сегодняшний день, нигде более (Голубева, 1973, рис. 5: 13; Голубева, Кочкуркина, 1991, рис. 36: 11; Башенькин, 2007, рис. 4: 2, 3; Кудряшов, 2006в, рис. 23: 22). Некоторые исследователи относят к весским отдельные типы щитковых перстней, в частности перстни с каннелюрами. Не исключено,

конечно, что часть предметов, принадлежавших веси, могла использоваться и соседями. Примером этому могут быть височные кольца с лопастями («с изображением головы лося»?), известные не только на Белоозере, но и на Усть-Шексне в Рыбинске (Рыкунова И. И., Рыкунов А. Н., Иванов, 2006, с. 10), или наконечники стрел с «двурогим черешком», которые обнаружены на территории Белозерья, а также в вымских могильниках (Захаров, 1996, с. 212–213). Так ли это – покажут дальнейшие исследования.

Реальным фактом являются различия в культуре групп белозерской веси, проживавших в разных регионах Белозерья – на Суде, на Андоге и Андозере, на Средней Шексне, в Центральном Белозерье и других. Данные группы различаются между собой по составу вещевых комплексов, в том числе и керамических, по особенностям погребального обряда, по домостроительным традициям и другим моментам. Эти различия обусловлены разными объективными причинами. Они зависели от плотности самого весского населения в конкретном районе его проживания, а также от численности групп населения, перемещавшихся на Шексну, на Белое озеро и их притоки, от особенностей их культур, отражавших не только свою собственную, «изначальную» культуру, но и культурные элементы народов, соприкасавшихся с ними во время их движения на будущий Русский Север, а также от многого другого.

Но, несмотря на все различия, которые реально читаются исследователями в культуре местного финно-угорского населения, проживавшего в последней четверти I – начале II тыс. в бассейне Шексны и Белого озера, мы всё же должны признать, что это население и было белозерской весью, которая вместе с мерей, мордвой и другими народами вошла в состав населения формирующегося Древнерусского государства, которая встретила в конце X в. на Шексне и Белом озере мощный поток славяно-русских переселенцев и слилась с ним в единую древнерусскую общность.

Источники и литература

Археология севернорусской деревни X–XIII веков : средневековые поселения и могильники на Кубенском озере / под ред. Н. А. Макарова. Т. 1. М., 2007.

Археология севернорусской деревни X–XIII веков : средневековые поселения и могильники на Кубенском озере / под ред. Н. А. Макарова. Т. 2. М., 2008.

Археология севернорусской деревни X–XIII веков : средневековые поселения и могильники на Кубенском озере / под ред. Н. А. Макарова. Т. 3. М., 2009.

Башенькин А. Н., 1989. Некоторые общие вопросы культуры веси, V–XIII вв. // Культура Европейского Севера России. Вологда.

Башенькин А. Н., 1994. Восточно-финские компоненты культуры веси в I – начале II тыс. н. э. // Историко-археологическое изучение Поволжья. Йошкар-Ола.

Башенькин А. Н., 1997. Вологодская область в древности и Средневековье // Вологда : краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда.

Башенькин А. Н., 2007. Сопковидная насыпь у деревни Никольское на реке Суде // Археология: история и перспективы : Третья межрегиональная конференция : сб. ст. Ярославль.

Голдина Е. В., 2010. Бусы могильников неволинской культуры (конец IV–IX вв.). Ижевск.

Голдина Е. В., Голдина Р. Д., 2010. «Дальний импорт» Прикамья – своеобразное проявление процессов взаимодействия народов Евразии (VIII в. до н. э. – IX в. н. э.) // Бусы могильников неволинской культуры (конец IV–IX вв.). Ижевск. Приложение.

Голдина Р. Д., 1985. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. Иркутск.

Голдина Р. Д., Водолаго Н. В., 1990. Могильники неволинской культуры в Приуралье. Иркутск.

Голубева Л. А., 1973. Весь и славяне на Белом озере, X–XIII вв. М.

Голубева Л. А., Кочкуркина С. И., 1991. Белозерская весь (по материалам поселения Крутик IX–X вв.). Петрозаводск.

Голубева Л. А., 1987. Весь. Мурома. Мордва // Финно-угры и балты в эпоху Средневековья / отв. ред. В. В. Седов. М. (Археология СССР). С. 52–64, 81–92, 97–107.

Захаров С. Д., 1996. Железные наконечники стрел из Белоозера // РА. № 2. М.

Захаров С. Д., Меснянкина С. В., 2011. Крутик: новые открытия // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Великий Новгород – Старая Русса, 2011 г. СПб. ; М. Т. 2.

Исланова И. В., 2006. Верхнее Помостье в раннем Средневековье. М.

Кудряшов А. В., 2004. Исследование средневекового археологического комплекса «Черный ручей» на р. Андоге // История и культура Ростовской земли : материалы конференции, 2003 г. Ростов.

Кудряшов А. В., 2006 а. Памятники Средневековья в бассейне Андоги // Археология: история и перспективы : Вторая межрегиональная конференция : сб. ст. Ярославль.

Кудряшов А. В., 2006 б. Погребальный комплекс конца I тыс. н. э. на р. Андоге // Европейский Север России: традиция и модернизационные процессы : материалы научной конференции. Вологда.

Кудряшов А. В., 2006 в. Древности Средней Шексны X–XIV вв. Череповец.

Кудряшов А. В., 2008. Неволинские древности в бассейне р. Шексны // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. 2. М.

Кудряшов А. В., 2012. Исследование средневековых погребальных памятников в бассейне р. Шексны в начале XXI в. // Вестник Череповецкого государственного университета. № 3 (41). Т. 2. Череповец.

Леонтьев А. Е., 1996. Археология мери. М.

Макаров Н. А., 1990. Население Русского Севера в XI–XIII вв. М.

Макаров Н. А., 1991. Лепная керамика поселения Крутик // Белозерская весь (по материалам поселения Крутик IX–X вв.). Петрозаводск.

Макаров Н. А., Захаров С. Д., Бужилова А. П., 2001. Средневековое расселение на Белом озере. М.

Матвеева Г. И., Богачев А. В., 2000. Памятники раннеболгарского времени // История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней : ранний железный век и Средневековье. М.

Рыкунова И. И., Рыкунов А. Н., Иванов Л. М., 2006. Забытый город. Рыбинск.

Summary

A. V. Kudryashov

The Ves in the Byeloozero Region: Current State of Research

At the beginning of the 1970s after two decades of research carried out at sites in the Byeloozero region dating from the 10th–13th centuries, L. A. Golubeva described for the first time the culture of the Ves in a monograph. Ever since the beginning of the 1990s expeditions led by N. A. Makarov, A. N. Bashenkin and the author had been carrying out important research in Byeloozero region. Settlements and burial-grounds dating from the 7th through to the early 9th century on the river Andoga had been excavated by the author of this article: they were part of the «Chernyiruchei» and «Stupolokhta» complexes. During this work a considerable range of antiquities was found originating from territories a long way from the territory of Byeloozero. Cremation remains of the 7th and 8th centuries found in the Chernyiruchei 4 burial-ground had been placed in round pits and also in much larger pits or trenches. Fragments of some round-based vessels were found here, for which Kama and Vychegod pottery provide parallels, and also fragments of hand-moulded vessels similar to those of the Volga Finns.

In the Stupolokhta complex a settlement, a flat-grave burial-ground of the 7th–8th centuries and two burial-mounds containing cremations of the 10th–11th centuries were excavated. Artefacts and vessels were found dating from the end of the I millennium and beginning of the II millennium, for which parallels can be found in sites of the Volga Finns and those of the Kama region.

At the Chernyiruchei 2 and Stupolokhta sites buildings were excavated – semi-dugouts of the 8th and 9th centuries rectangular in plan. Along the river Sheksna middle flood and also along the river Suda, buildings were found laid out in trenches, which were elongated and oval in shape.

Female attire of the local Finno-Ugric population in the 8th–10th centuries retained East-Finnish characteristics. The earliest metal parts of costumes (7th–8th centuries) reflect the strong influence of the cultures of the population in the Kama and Volga valleys. In the 9th and early-10th centuries, elements of costumes as worn by the early Mari, Mordva and Murom tribes appear and in the 10th and early-11th centuries Merya components in female costume come more to the fore. After the end of the 10th century and beginning of the 11th, jewellery of a Baltic-Finnish type penetrates the region and later jewellery of Slavonic types as well.

В. И. Завьялов, Н. Н. Терехова

Становление ремесла на Руси в раннегосударственный период (по материалам кузнечества Новгородской земли)

Становление государственности на Руси оказало заметное влияние на все стороны жизни общества. Нашло оно отражение и в ремесленном производстве. Образование государства знаменовало в индустриальной сфере возникновение новой формы производства – городского ремесла. Для него характерны стандартизация продукции, унификация технологических приемов, приоритет определенных технологических схем при изготовлении отдельных видов изделий.

Одним из центров формирования восточнославянской государственности являлось Приильменье и Поволховье. Многолетние стационарные раскопки на северо-западе Восточной Европы таких эталонных памятников, как Новгород, Старая Ладога, Псков, Рюриково городище, демонстрируют широкие возможности археологии в изучении различных областей деятельности средневекового населения, в том числе и ремесленной.

Проблемы становления древнерусского кузнечного ремесла нашли отражение в ряде монографий (Рыбаков, 1948; Колчин, 1953; 1959; Гурин, 1987; Вознесенська, Недопако, Паньков, 1996). К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время в обобщающих историко-археологических работах, посвященных проблемам раннегосударственного периода, такому важному явлению, как ремесло, не уделяется должного внимания. Так, в последней коллективной обобщающей монографии, посвященной становлению государственности на Руси («Русь в IX–X веках: археологическая панорама»), основное внимание уделено материальной культуре, хронологии, погребальному обряду, торговле, а ремесленному производству – всего несколько страниц (Носов, 2012, с. 105; Захаров, 2012, с. 227–229; Пушкина, Мурашёва, Ениосова, 2012, с. 251–254). Это вполне объяснимо, поскольку традиционные археологические методы исследования не позволяют сколько-нибудь полно осветить вопросы, связанные с древним производством. Основным инструментом для решения этих проблем являются методы естественнонаучных и технических дисциплин. Например, реконструкция технологических процессов кузнечного производства, основанная на металлографических исследованиях изделий из черного металла, предоставляет возможность говорить не только о технической стороне проблемы, но и о таком историческом явлении, как становление новых форм ремесла (городское ремесло) в условиях формирования государственности. Сама постановка вопроса об использовании результатов технологического анализа для исторических построений стала возможной в результате разработанной методики интерпретации аналитических данных (Завьялов, Розанова, Терехова, 2009, с. 8–9). В основе этой методики лежит выявление технико-технологического стереотипа, который отражает характер производственных традиций. Под технико-технологическим стереотипом мы понимаем определенный набор и соотношение признаков, характеризующих материал, категориальный состав, приемы и способы изготовления изделий в конкретной исторической общности. На фоне выделенных традиций можно выявлять инокультурные воздействия (инновации) и проследить степень их влияния на местное ремесленное производство.

Методика использования археометаллографических данных в исторических исследованиях опробована при исследовании таких проблем, как история развития восточноевропейского кузнечества (Терехова и др., 1997), влияние этнокультурных взаимодействий на развитие ремесла (Завьялов, Розанова, Терехова, 2009), состояния ремесла в деструктивный период (Завьялов, Розанова, Терехова, 2007), роль традиций и инноваций в производственной

сфере (Завьялов, Розанова, Терехова, 2012), роль сырьевых ресурсов в развитии ремесленных центров (Завьялов, Терехова, 2013).

Немалую роль в воссоздании истории кузнечного ремесла сыграли начатые в середине XX в. Б. А. Колчиным широкомасштабные археометаллографические исследования разнообразной кузнечной продукции из памятников Древней Руси (Колчин,1953; 1959).

Ещё Б. А. Колчиным было отмечено, что в основе становления северорусского (и в частности, новгородского) городского ремесла в раннегосударственный период лежали высокотехнологичные операции. Это – сварка железа и цементованной стали (в виде так называемой схемы трехслойного пакета). При производстве клинков такая технология наиболее целесообразна, поскольку она придавала орудию вязкость, упругость и высокую твердость стального закаленного лезвия (Колчин, 1953, с. 75). Уже в материалах ранних напластований Новгорода (вторая половина X в.) технологическая схема трехслойного пакета является доминирующей. Констатируя феномен появления высоких технологий в древнерусском ремесле на ранних этапах, Б. А. Колчин заметил, что «процесс зарождения ремесла по обработке железа и стали … остается пока еще невыясненным» и для его решения необходимы материалы более раннего времени (Колчин, 1953, с. 188).

Накопленные к настоящему времени как археологические, так и аналитические материалы позволяют вернуться к этому вопросу и решить узловые проблемы становления древнерусского ремесла. Прежде всего, речь должна идти об истоках высокотехнологичных приемов обработки железа. Как показали исследования ряда европейских учёных (Б. Аррениус, Р. Плейнер, Р. Томсен и др.), на севере Европы трехслойные изделия фиксируются уже в VII в. (Arrhenius B., 1970, Fig. 1: 3). Анализируя результаты этих исследований, мы пришли к выводу, что «классический» вариант этой технологии подразумевает стандартное сочетание формы (группа IV, по Р. С. Минасяну), технологии (трехслойная сварка) и материала (фосфористое железо и высокоуглеродистая сталь) (Завьялов, Розанова, Терехова, 2012, с. 37–53).

Распространение трехслойных ножей в IX–XI вв. на территории Северной Руси мы связываем с активизацией торговли по Балтийско-Волжскому пути, в которой существенная роль принадлежала скандинавским купцам (Завьялов, Розанова, Терехова, 2008). Именно из поселений (городов и торгово-ремесленных центров), включенных в трансъевропейскую торговлю, происходит основная масса трехслойных изделий. Например, древнейшие трехслойные ножи в Восточной Европе (конец VIII – начало IX в.) зафиксированы в Старой Ладоге. Исследователи памятника пришли к выводу о присутствии в Ладоге скандинавских ремесленников. Так, здесь в слоях 750–770-х гг. Земляного города вскрыта железообрабатывающая мастерская, состав артефактов которой обнаруживает полное сходство с находками из раннесредневекового ремесленного центра Хельгё (Рябинин, 1985; 1994, с. 37). Следует отметить, что к выводу о присутствии в Ладоге скандинавских ремесленников пришла и О. И. Давидан на основании анализа предметов из кости (1986, с. 100–101).

Со своей стороны, мы можем добавить, что именно по «классическому» варианту изготовлены трехслойные ножи из Старой Ладоги (Розанова, 1994; Завьялов, Розанова, Терехова, 2008; 2012, с. 53).

Аналогичную картину мы наблюдаем и на материалах из Рюрикова городища – поселения, в котором, по словам Е. Н. Носова, предметы «скандинавской культуры, по всей видимости, являются археологическим отражением прихода Рюрика с дружиной из Ладоги» (1990, с. 190). Ножи из Рюрикова городища изготовлены в технологии многослойной сварки – трехслойный и пятислойный пакет. Так же, как и в Старой Ладоге, орудия представляют «классический» вариант технологической схемы.

Примером распространения скандинавских производственных традиций служат материалы торгово-ремесленного поселения X–XII вв. Городка на Ловати (Вознесенська, 2000). Здесь среди ножей заметно преобладание трехслойных орудий, при этом большинство из них изготовлено по североевропейскому варианту.

В результате археометаллографического анализа большой серии ножей из северорусских памятников нами было установлено, что на территории Древней Руси наряду с «классическими» трехслойными орудиями присутствуют ножи, при изготовлении которых наблюдаются отступления от стандарта: использование или обычного железа, или сырцовой стали, или сварка пакета из однородного материала. Мы рассматриваем этот – восточноевропейский – вариант как попытку местных мастеров освоить новую технологию (Завьялов, Розанова, Терехова, 2008; 2012).

Анализ соотношения «классического» (североевропейского) и восточноевропейского технологических вариантов в материалах различных регионов Северной Руси позволяет определить время внедрения новой технологии и характер ее распространения.

Наиболее четко картина соотношения двух технологических вариантов во времени прослеживается на материалах Новгорода. В ранний период существования города (X в.) ножи североевропейского варианта доминируют, но уже в начале XI в. их доля резко сокращается и возрастает доля орудий, изготовленных по восточноевропейскому варианту.

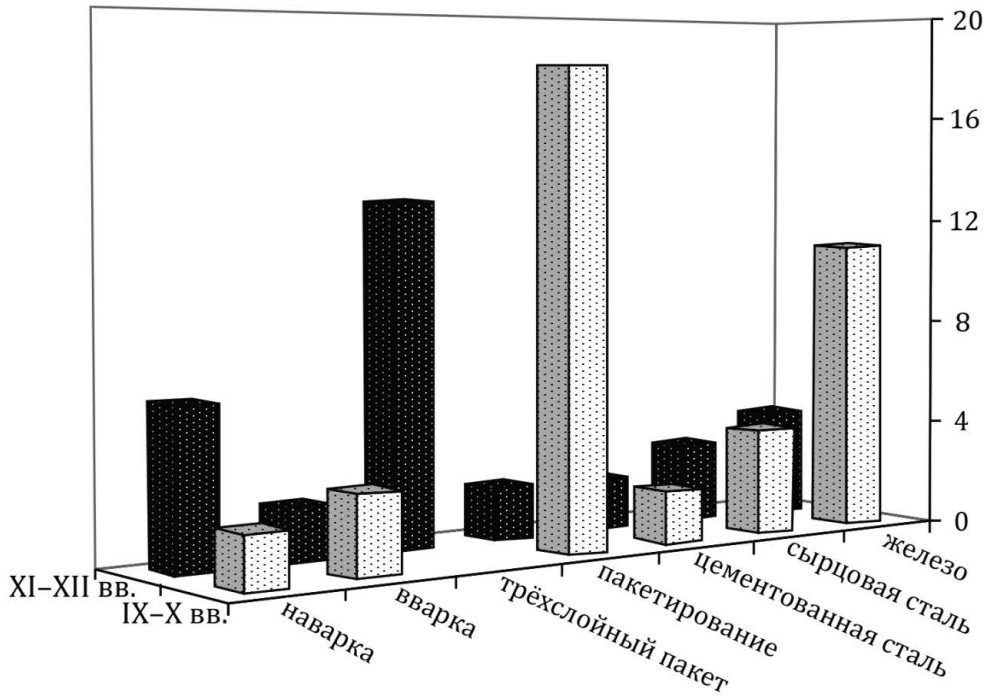


Рис. 1. Соотношение технологических схем на сельских памятниках Новгородской земли

Веским аргументом в пользу распространения в древнерусском кузнечном ремесле инокультурных производственных традиций (IX–X вв.) являются синхронные материалы, отражающие уровень кузнечного ремесла славянского населения Приильменья и Поволховья.

Памятники, материалы которых исследованы металлографически, раскопаны Е. Н. Носовым в 70–80-х гг. XX в. Селище Золотое Колено находится в среднем течении р. Мста. Городище Сельцо – на р. Ларинка в нижнем течении р. Пола. Укрепленное поселение Холопий городок – на правом берегу р. Волхов в месте впадения р. Малый Волховец, несколько севернее Новгорода (Носов, 1984).

Коллекция предметов, на основании которой дана характеристика кузнечного производства из памятников Приильменья, составляет 40 экземпляров. В нее включены такие категории предметов, как ножи, топоры, серпы, косы, сошники, тёсла, шилья, наконечники копий и стрел. Полученные в результате металлографического исследования данные свидетельствует о том, что в большинстве случаев технология их изготовления была проста: ковка предметов целиком из железа или сырцовой стали и использование приема пакетирования заготовки (Носов, Розанова, 1989, с. 105). Орудия, выполненные в высоких технологиях сварки железа и высокоуглеродистой стали (трехслойный пакет), отсутствуют. Встречены единичные предметы, демонстрирующие схему технологической сварки. Но подбор материала (железо и мягкая сырцовая сталь) и низкий уровень исполнения ковочных операций указывают на то, что кузнец не обладал необходимыми навыками для производства качественной продукции.

По основным характеристикам материалы из рассмотренных памятников находят аналогии среди изделий из близкого по времени памятника – городища Любша в 2 км от Старой Ладоги ниже по течению Волхова. В коллекции из Любши (проанализировано 120 предметов) также преобладали орудия, изготовленные по простым схемам, и не зафиксировано ни одного изделия в технологии трехслойного пакета (Розанова, Терехова, Рябинин, Щеглова, 2008, с. 13–48).

Таким образом, на основании рассмотренных материалов можно заключить, что славянские традиции в производстве такой массовой продукции, как ножи, не служили основой формирующегося древнерусского городского кузнечного ремесла.

Характер распространения изделий, выполненных в инновационной технологии, на рядовых памятниках позволяют проследить материалы из памятников XI–XII вв. в бассейне р. Луга (селища Удрай и Передольский погост и могильник Удрай). Исследованная коллекция состоит из 32 предметов и включает такие категории, как ножи, ножницы, то-

поры, кресала, шилья, наконечники копий и стрел. В отличие от материалов памятников, относящихся к более раннему времени (IX–X вв.), здесь мы обнаруживаем совсем иную картину. В основе производства кузнечной продукции лежат сварные технологии. Причем преобладают трехслойные орудия североевропейского технологического варианта.

Можно констатировать, что в XI–XII вв. рядовые поселения вовлекаются в орбиту сформировавшейся культуры городского ремесла. Результаты сравнительного анализа технологических схем, распространенных при производстве железных изделий на рядовых памятниках в IX–X и XI–XII вв., наглядно демонстрирует гистограмма, приведенная на рисунке 1. Так, в ранний период на рядовых поселениях Новгородской земли отсутствует технология трехслойного пакета, доминирующей является технология пакетирования заготовок. Во второй период ведущее положение занимает технология трехслойного пакета.

Итак, на основании рассмотренных материалов мы можем сделать следующие выводы:

1. Формирование древнерусского кузнечного ремесла в раннегосударственный период происходит под воздействием мощного скандинавского импульса. Первоначальное распространение изделий, изготовленных в новой технологии, было связано с торговыми операциями скандинавов. С формированием в середине IX в. Древнерусского государства и вхождением варягов в его структуру происходит распространение технологической инновации и формирование древнерусского технико-технологического стереотипа.

2. Процесс формирования древнерусского технико-технологического стереотипа идет прежде всего в торгово-ремесленных поселениях и раннегородских образованиях, связанных с функционированием Балтийско-Волжского пути.

3. На ранней стадии (IX–X вв.) влияние городского ремесла на сельские поселения незначительно. Но уже начиная с рубежа X–XI вв. эти поселения включаются в орбиту городских производственных центров, как это можно видеть на примере памятников Полужья.

Источники и литература

Вознесенська Г. О., 2000. Техніка ковальського виробництва в Городку на Ловаті // Археометрія. Вип. 4.

Вознесенська Г. О., Недопако Д. П., Паньков С. В., 1996. Чорна металургія та металообробка населення східноєвропейського лісостепу за доби ранніх слов'ян і Київської Русі. Київ

Гурин М. Ф., 1987. Кузнечное ремесло Полоцкой земли IX–XIII вв. Минск.

Давидан О. И., 1986. Этнокультурные контакты Старой Ладоги VIII–X веков // АСГЭ. Вып. 27.

Завьялов В. И., Розанова Л. С., Терехова Н.Н, 2007. Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства. М.

Завьялов В. И., Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2008. Роль Балтийско-Волжского пути в распространении технологических инноваций // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда. М.

Завьялов В. И., Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2009. История кузнечного ремесла финно-угорских народов Поволжья и Предуралья. К проблеме этнокультурных взаимодействий. М.

Завьялов В. И., Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2012. Традиции и инновации в производственной культуре Северной Руси. М.

Завьялов В. И., Терехова Н. Н., 2013. Кузнечное ремесло великого княжества Рязанского. М.

Захаров С. Д., 2012. Белоозеро // Русь в IX–X веках: археологическая панорама. М.; Вологда.

Колчин Б. А., 1953. Черная металлургия и металлообработка Древней Руси (домонгольский период). М. (МИА. № 32).

Колчин Б. А., 1959. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого // МИА. № 65. М.

Лебедев Г. С., 1977. Археологические памятники Ленинградской области. Л.

Лебедев Г. С., 1985. Эпоха викингов в Северной Европе. Л.

Носов Е. Н., 1984. Археологические памятники Новгородской земли VIII–X вв. // Археологические исследования Новгородской земли. Л.

Носов Е. Н., 1990. Новгородское (Рюриково) городище. Л.

Носов Е. Н., 2012. Новгородская земля: Северное Приильменье и Поволховье // Русь в IX–X веках: археологическая панорама. М.; Вологда.

Носов Е. Н., Розанова Л. С., 1989. Технология обработки железа на поселениях в IX–X вв. Приильменья // КСИА. Вып. 198.

Пушкина Т. А., Мурашёва В. В., Ениосова Н. В. Гнёздовский археологический комплекс // Русь в IX–X веках: археологическая панорама. М.; Вологда.

Розанова Л. С., 1994. К вопросу о технологических приемах изготовления железных изделий из Старой Ладоги в докняжеский период // Новгородские чтения. Новгород.

Розанова Л. С., Терехова Н. Н., Рябинин Е. А., Щеглова О. А., 2008. Металлографическое исследование железных изделий Любшанского городища // Ладога и Ладожская земля в эпоху Средневековья. Вып. 2. СПб.

Рябинин Е. А., 1985. Новые открытия в Старой Ладоге (итоги раскопок на Земляном городище в 1973–1975 гг.) // Средневековая Ладога : новые археологические открытия и исследования. Л.

Рябинин Е. А., 1994. У истоков ремесленного производства в Ладоге // Новые источники по археологии Северо-Запада. СПб.

Рыбаков Б. А., 1948. Ремесло Древней Руси. М. ; Л.

Терехова Н. Н., Розанова Л. С., Завьялов В. И., Толмачева М. М. , 1997. Очерки по истории железообработки в Восточной Европе. М.

Arrhenius B., 1970. Knivas från Hekgő och Birka // Fornvanner. N 65.

Summary

V. I. Zavyalov, N. N. Terekhova

The Emergence of Crafts in Rus' in the Period of the Early State (Based on Materials on Blacksmithing in the Novgorod Lands)

The emergence of statehood in Rus' had a conspicuous influence on craft production. The main tool available for studying this influence is the method of archaeo-metallurgy. The development of blacksmithing in medieval Russia in the period of the early state was a response to the powerful impact of that craft which was so well-developed in Scandinavia. This process unfolded in trading and craft settlements and early towns which were beginning to take shape thanks to the functioning of the Great Volga Route. In the early stage of this process (9th–10th centuries) the influence of urban trade on the rural population was insignificant. By the end of the 10th and early-11th century, however, this population was beginning to be drawn into the orbit of the urban craft centres.

Е. Р. Михайлова

Бескурганные могильники близ Которского погоста: хронология и место среди погребальных древностей лесной полосы Восточной Европы

Комплекс средневековых археологических памятников близ дер. Которск Плюсского района Псковской области изучается уже долгое время (см., например, Кузьмин, 1991; Михайлова, 1994; Кузьмин, Михайлова, Соболев, 2000; Михайлова, 2008; Соболев, 2010; Михайлова, в печати). Ядро комплекса составляет примыкающее к городищу-убежищу обширное открытое поселение Которский погост, с которым связано почти полтора десятка разнотипных погребальных памятников: сопки, бескурганные могильники с трупосожжениями, курганы с ингумациями древнерусского времени. Поблизости расположено несколько курганных групп и одиночных насыпей культуры псковских длинных курганов, однако они в основном могут относиться и к более раннему времени (рис. 1).

Бескурганных могильников с трупосожжениями в составе комплекса в настоящее время известно пять. Они были выявлены путем сборов пережженных костей и отдельных обломков древних предметов на лесных дорогах и участках с нарушенным дерном (Которск IX, XV, XVI) либо при раскопках древнерусских курганных кладбищ (Которск III, XI). Могильник Которск XVI пока остается неисследованным, остальные могильники с кремациями в разные годы изучались сотрудниками Северо-Западной археологической экспедиции С. Л. Кузьминым, В. Ю. Соболевым, Б. Г. Лычом и автором данной статьи. Я выражаю искреннюю признательность своим коллегам за возможность опубликовать результаты этих работ.

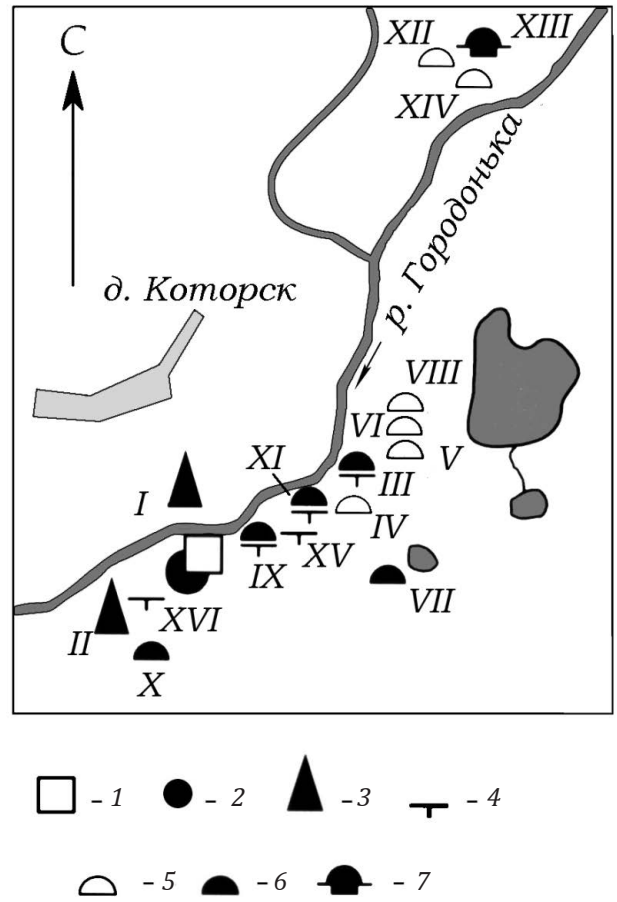


Рис. 1. Схема расположения археологических памятников у деревни Которск (римские цифры на схеме соответствуют индексам памятников). Условные обозначения: 1 – городище, 2 – селище, 3 – сопка (группа сопок), 4 – бескурганный могильник с кремациями, 5 – могильник культуры длинных курганов, 6 – курганный могильник с ингумациями, 7 – курганно-жальничный могильник

1. Бескурганный могильник Которск IX

Наиболее полно изучен могильник Которск IX, расположенный в 0,5 км к юго-востоку от поселения Которский погост, в сосновом лесу, на коренном левом берегу речки Городоньки, на северной оконечности низкой озовой гряды, окруженной заболоченными участками. Территорию могильника пересекает лесная дорога.

Могильник Которск IX представлял собой сложный по структуре памятник, состоявший из бескурганного могильника с кремациями и возведенных на северо-западном краю могильника пяти низких расплывчатых насыпей (рис. 2).

В курганах в процессе раскопок было выявлено в общей сложности 5 ингумаций в могилах, датирующихся XI в. Крайний южный курган (№ 1) захоронения не содержал, курган 4 оказался двумя слившимися насыпями, обозначенными как курганы 4(1) и 4(2).

Раскопки здесь велись в 1991–1992 гг. автором статьи в составе экспедиции С. Л. Кузьмина. Несколькими взаимосвязанными раскопами, заложенными к северу от лесной дороги, были изучены все курганные насыпи и слой могильника с кремациями на площади почти 500 кв. м. Еще один раскоп был заложен южнее лесной дороги, на кургане № 1.

Некоторые дополнительные сведения были получены в 1999 г., когда к югу от дороги в рамках общих работ экспедиции был заложен раскоп площадью 100 кв. м (этими работами вновь руководила автор статьи).

Еще ряд находок происходит из сборов на территории могильника, на вершине озовой гряды, к югу от раскопа 1999 г. Из найденных здесь предметов следует указать половинку дирхема, покрытый окалиной железный крюк (колчанный?), по-видимому, обломок ланцетовидного наконечника стрелы, часть удил, щекавицу топора, железный клин, обломки оплавленных бронзовых украшений.

Общая характеристика бескурганного могильника

Слой бескурганного могильника представляет собой перемешанный позднейшей распашкой, слабо гумусированный песок светло-серого цвета мощностью до 20–25 см, залегающий непосредственно под дерном. В этом слое встречались пережженные косточки, оплавленные металлические и стеклянные предметы, а также черепки лепной керамики.

Пережженных костей мало: с раскопанной площади их собрано немногим более 300 г. По площади раскопа они распределялись довольно равномерно, на отдельных квадратах были более многочисленны, чем на других, но нигде не образовывали заметных скоплений.

Слой гумусированного песка лежал непосредственно на материковом желтом песке. При зачистке по материку были выявлены многочисленные столбовые ямки. Все они округлые или овальные в плане, с отвесными стенками и уплощенным дном. Диаметр ямок колебался в основном в пределах 25–55 см, глубина достигала 20–25 см. Заполнение всех ямок представляло собой тот же слабо гумусированный аморфный светло-серый песок, в котором иногда встречались отдельные косточки или мелкие фрагменты керамики.

В расположении столбовых ям просматривается определенная закономерность (см. рис. 2). Некоторые столбовые ямки располагались попарно. Большинство ям размещалось по периметру неправильного четырехугольника размером приблизительно 4–6×10 или более м, ориентированного поперек гряды. В пределах этого периметра собрано почти три четверти всех находок с бескурганной части могильника, причем наибольшее их количество происходило с территории двух квадратов (квадраты А-3 и Б-3 по полевой документации). Каждый из этих квадратов был почти полностью занят неглубокой (15–20 см) материковой западиной аморфных очертаний.

Возможно, столбовые ямки отмечают собой контур какого-то сооружения (ограды, навеса либо помоста?), где размещались кости и вещи, собранные с погребального костра.

Курганные насыпи располагались к западу и северо-западу от могильника. Раскопки курганов дали сведения, в том числе, и о слое с кремациями, так как он оказался частично перекрыт курганами. Сохранившиеся под насыпями участки слоя бескурганного могильника представляли собой интенсивно гумусированный песок почти черного цвета, содержавший значительное количество пережженных костей, фрагменты лепной керамики и оплавленные предметы из стекла и металла.

Территория памятника, включая курганы, оказалась полностью распахана, по всей вероятности, в эпоху позднего Средневековья или Нового времени. В процессе распашки был разрушен и перемешан слой бескурганного могильника, нарушены насыпи курганов, так что отдельные оплавленные вещи были собраны в вершинах низких песчаных насыпей.

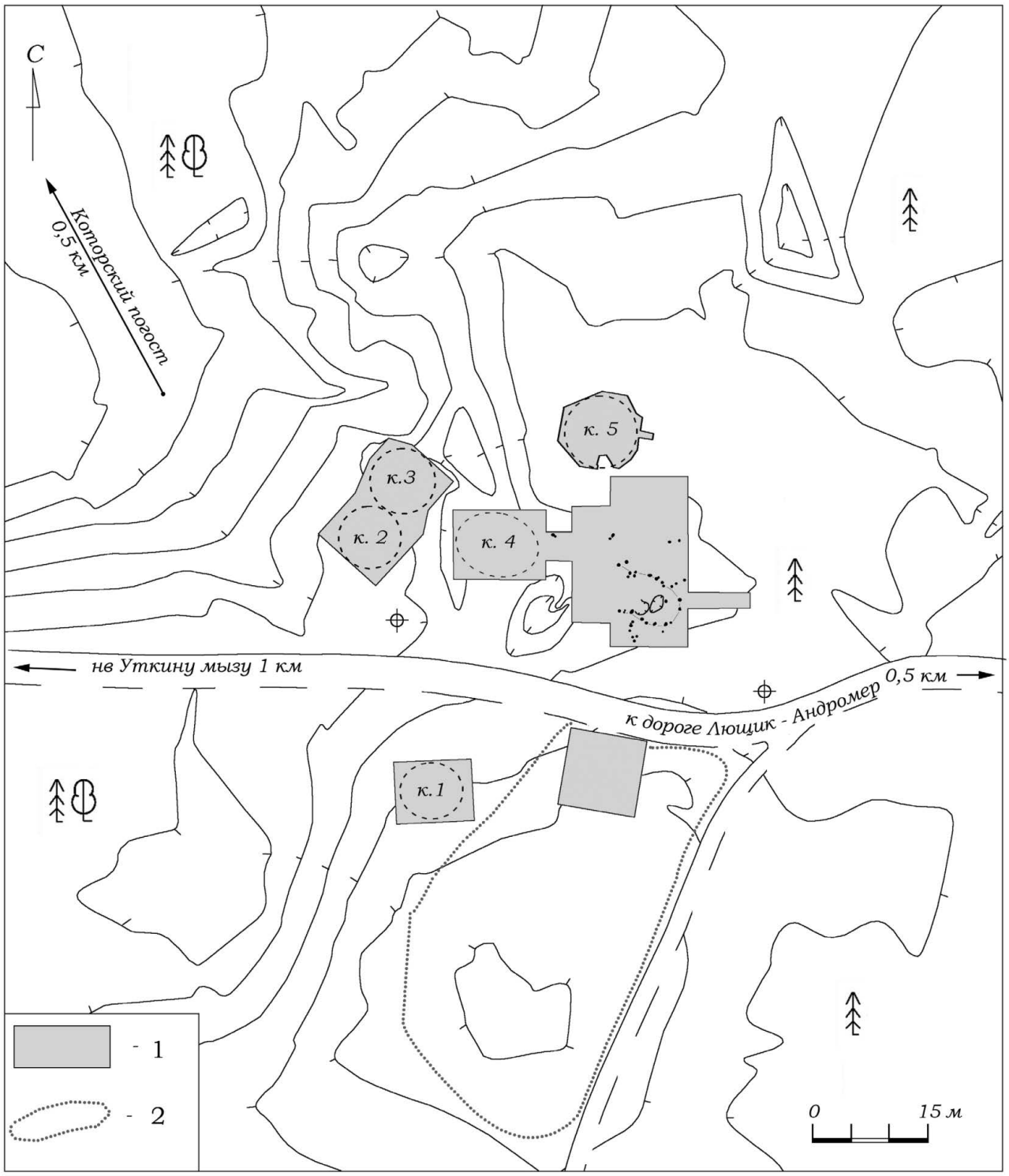
Вещевой материал могильника представлен в основном бронзовыми украшениями, стеклянными и каменными бусами, все вещи носят следы пребывания в огне.

К сожалению, выделение комплексов отдельных погребений оказалось невозможно. Исключение составляют два набора женских украшений, реконструируемые по нахождению на небольшом участке однотипных изделий, в первую очередь бус. Первый из комплексов – это скопление находок в упоминавшейся выше западине в квадрате А-3; второй реконструируется из находок под западной полой кургана №4(2) (см. ниже).

Рассмотрим подробнее наиболее выразительные находки.

Металлические изделия

Единственный точно датируемый предмет – половинка саманидского дирхема, чеканенного при Ахмеде ибн Исмаиле в аш-Шаше в 299 г. х.



Горизонтали проведены через 0,5 м

Рис. 2. Могильник Которск IX.
Топографический план с обозначением раскопов.
Условные обозначения:
1 – раскопанные участки;
2 – неисследованная часть могильника

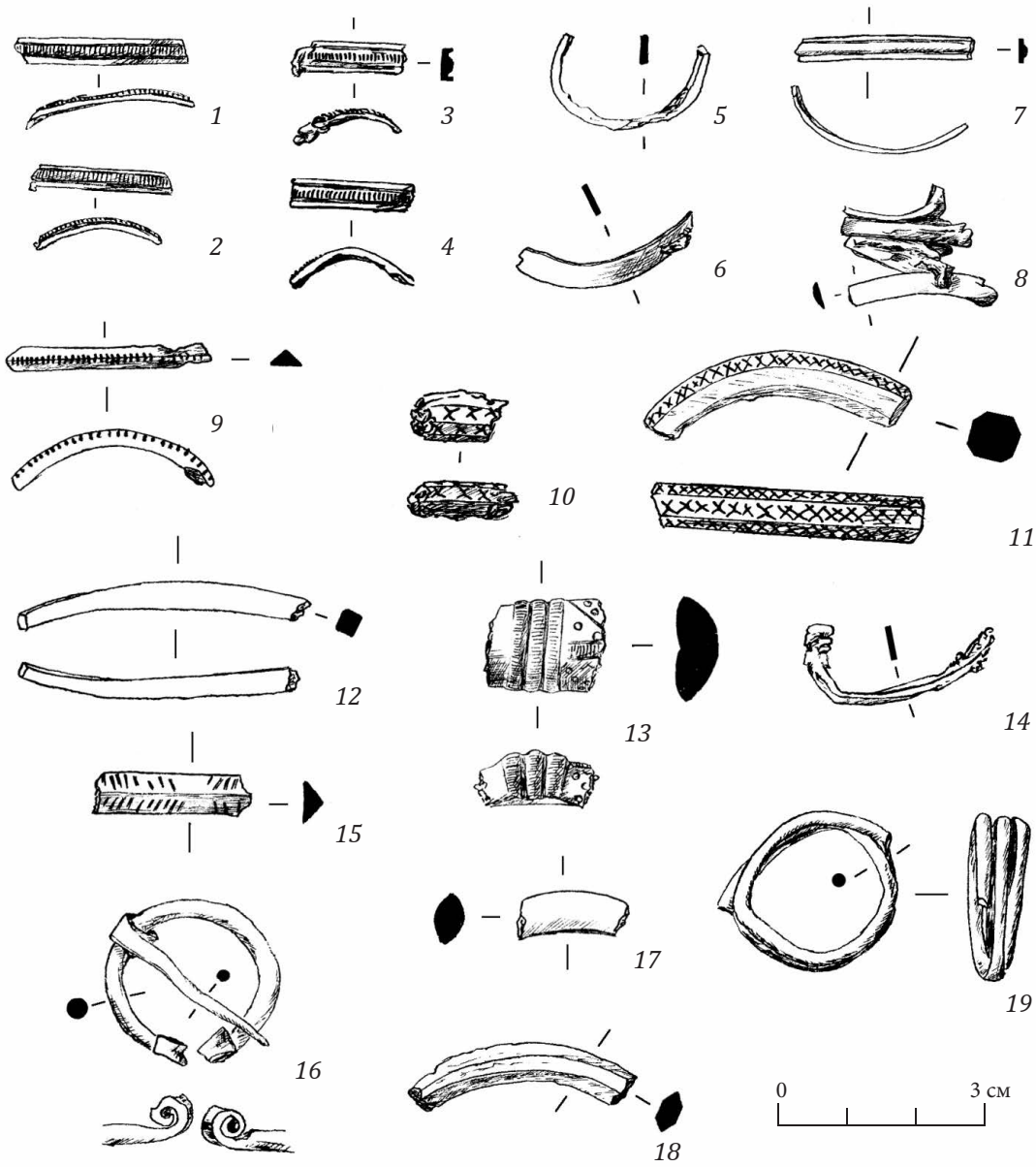


Рис. 3. Могильник Которск IX. Предметы из цветного металла:
1–9 – «накосники»; 10–15 – браслеты; 16–18 – подковообразные застежки;
19 – проволочная спираль. 1–19 – бронза

(911/912 гг. н. э.) (определение И. Г. Добровольского, Государственный Эрмитаж), происходящая из сборов на территории могильника. Еще один фрагмент дирхема, найденный в раскопе 1999 г., оплавлен и определению не поддается.

Самая многочисленная категория находок в раскопе – украшения из бронзы.

Собраны фрагменты крупных бронзовых орнаментированных спиралей, получивших в литературе условное наименование *«накосников»* (см., например, Петренко, 1994, с. 75–76). Они относятся к нескольким типам.

23 обломка происходят от не менее чем двух массивных спиралей с продольным утолщением в центре, орнаментированным насечками (рис. 3: 1–4). Такие спирали часто встречаются в сопках (см., например, Платонова, 2002, с. 135, рис. 5: 20; Кузьмин, 2010, рис. 4: 15). Некоторые из находок в сопках хорошо датируются. Так, целый «накосник» длиной около 14 см был найден в сопке № 4 у дер. Новые Дубовики в Нижнем Поволховье вместе с салтовским перстнем, что позволяет датировать комплекс концом VIII – первой половиной IX в. (Петренко, 1994, рис. 37). Обломки аналогичного «накосника» собра-

ны в соседней сопке (№ 3), в погребении 3. Погребение относилось ко второму ярусу захоронений в этой сопке, убедительно датируемому по набору бус IX в. (Кузьмин, 1992).

Фрагменты спиралей-«накосников» других типов: с гладким продольным утолщением (рис. 3: 7), из узкой бронзовой пластинки сегментовидного сечения (рис. 3: 8) и из гладкой бронзовой ленты шириной 3–4 мм (рис. 3: 5–6) – находят аналогии в сопках, исследованных в бассейне Луги, и в нижних слоях поселения Передольский погост (Платонова, Жеглова, Лесман, 2007, с. 179, рис. 8: 1–2; Кузьмин, 2010, рис. 4). Фрагменты узкой спирали треугольного сечения с тонкими частыми нарезками по внешнему ребру (рис. 3: 9) тождественны находке в погребении в высоком кургане 1 могильника Которск IV, связанном с финальным периодом культуры псковских длинных курганов (IX–XI вв.) (Кузьмин, 1991, рис. 3: 1; Михайлова, 2007, с. 391–392). Фрагмент такой спирали найден также на Староладожском Земляном городище в напластованиях 810–830-х гг. (Кузьмин, 2008, рис. 7).

Другой многочисленной категорией находок являются *браслеты*.

Собрано три обломка бронзового 8-гранного в сечении браслета с утолщенными концами, три смежных внешних грани концов браслета орнаментированы крестообразными насечками (рис. 3: 10–11). Массивные браслеты с утолщенными концами широко распространяются в Европе начиная с V в., но наиболее ранние из них – с концами, округлыми в сечении (Carnap-Bornheim, Ilkjær, 1996, S. 360–365; Wührer, 2000, S. 10–46). Браслеты с массивными гранеными концами в целом наиболее характерны для древностей Юго-Восточной Прибалтики (см., например, Ciglis, 2001, fig. 1; Tvauri, 2012, p. 162), однако наиболее точные аналогии нашей находке связаны с памятниками круга сопок. Браслет с таким же крестовидным орнаментом, но выполненным пуансоном, встречен во втором ярусе уже упоминавшейся сопки № 3 у дер. Новые Дубовики (Кузьмин, 1992). Фрагмент массивной средней части браслета, орнаментированной углубленными мелкими крестиками, найден на поселении Курская Гора, функционировавшем в IX – начале X в. (Клубова, 1992). Браслеты с расширенными массивными концами, орнаментированными многочисленными углубленными крестиками, известны также в памятниках эпохи викингов в Финляндии (Kivikoski, 1973, S. 101, Abb. 737).

Обломок ладьевидного бронзового браслета орнаментирован «гусеничными» валиками и кружковым орнаментом (рис. 3: 13). Это североевропейский по происхождению тип браслетов эпохи викингов, распространившийся в лесной зоне Восточной Европы (см., например: Носов, Плохов, 1994, с. 150, рис.; Мурашёва, Авдусина, 2007, с. 26; Еремеев, Дзюба, 2010, с. 487; Davidan, 1992, Abb. 9: 19). Два обломка ладьевидных браслетов найдены на поселении Передольский погост на Верхней Луге. Оба они, как и которский, орнаментированы углубленными кружками. По мнению Ю. М. Лесмана, ладьевидные браслеты Передольского погоста представляют собой поздний вариант этого типа изделий и датируются не ранее XI в. и не позднее 1161 г. Оснований такой датировки исследователь не привел (Платонова, Жеглова, Лесман, 2007, с. 180, рис. 7: 21, 9: 2).

Найден сильно оплавленный фрагмент узкого бронзового пластинчатого браслета с концами, орнаментированными поперечными бороздками (рис. 3: 14). Аналогичные известны в уже неоднократно упомянутой сопке 3 у дер. Новые Дубовики (Кузьмин, 1992), в слое пожара кон. IX – нач. X в. на городище Городок на Маяте в Южном Приильменье (Еремеев, Дзюба, 2010, с. 201, рис. 183: 1). Отдаленной аналогией могут также служить обломки тонких браслетов со слабо расширяющимися концами овального сечения, украшенные короткими насечками – они найдены на селище Прость в «черном слое» с материалами конца I тыс. н. э., на селище Золотое Колено в комплексе IX – нач. X в. (Носов, Ершевский, Плохов, 1998, с. 29, 31; Носов, Плохов, 1991, с. 126, рис. 5: 4).

Несколькими экземплярами представлены находки *подковообразных застежек*. Целая миниатюрная спиралеконечная застежка с дугой, равномерной на всем протяжении толщины, круглой в сечении (рис. 3: 16), относится к широко распространенному типу. На северо-западе Восточной Европы наиболее ранние могут быть датированы IX в., наиболее поздние встречены в комплексах XIII в. (Мальм, 1967, с. 152–153, Лесман, 1984, с. 135 (№ 29)). Найдены также две оплавленные иглы и фрагменты дуг подковообразных застежек линзовидного и уплощенно-шестиугольного сечения (рис. 4: 17, 18).

Помимо целого перстнеобразного *височного кольца*, найдено семь дугообразно изогнутых обломков тонкой бронзовой проволоки – по-видимому, также фрагменты височных колец (рис. 4: 1–4).

Гладких *трапециевидных привесок* обнаружено 6 экземпляров (рис. 4: 7–11). Трапециевидные привески в целом имеют чрезвычайно широкую дату. В лесной зоне Восточной Европы гладкие трапециевидные привески появляются, по всей вероятности, не позднее VII в. (Гавритухин, 1997, с. 46) и выходят из употребления на рубеже XIII–XIV вв. (Лесман, 1990, с. 62 (III: 12)). Две привески прикреплены к *обоймицам* из согнутого пополам бронзового листа (рис. 4: 7, 10). Абсолютно аналогичная обоймица, к которой на цепочке была подвешена трапециевидная привеска, закреплена на височном кольце, найденном в ингумации под курганом 5 могильника Которск IX. Пластинчатые пятиугольные обоймицы в сочетании с проволочными височными кольцами и трапециевидными привесками встречены на сравнительно небольшой территории: внасыпи у

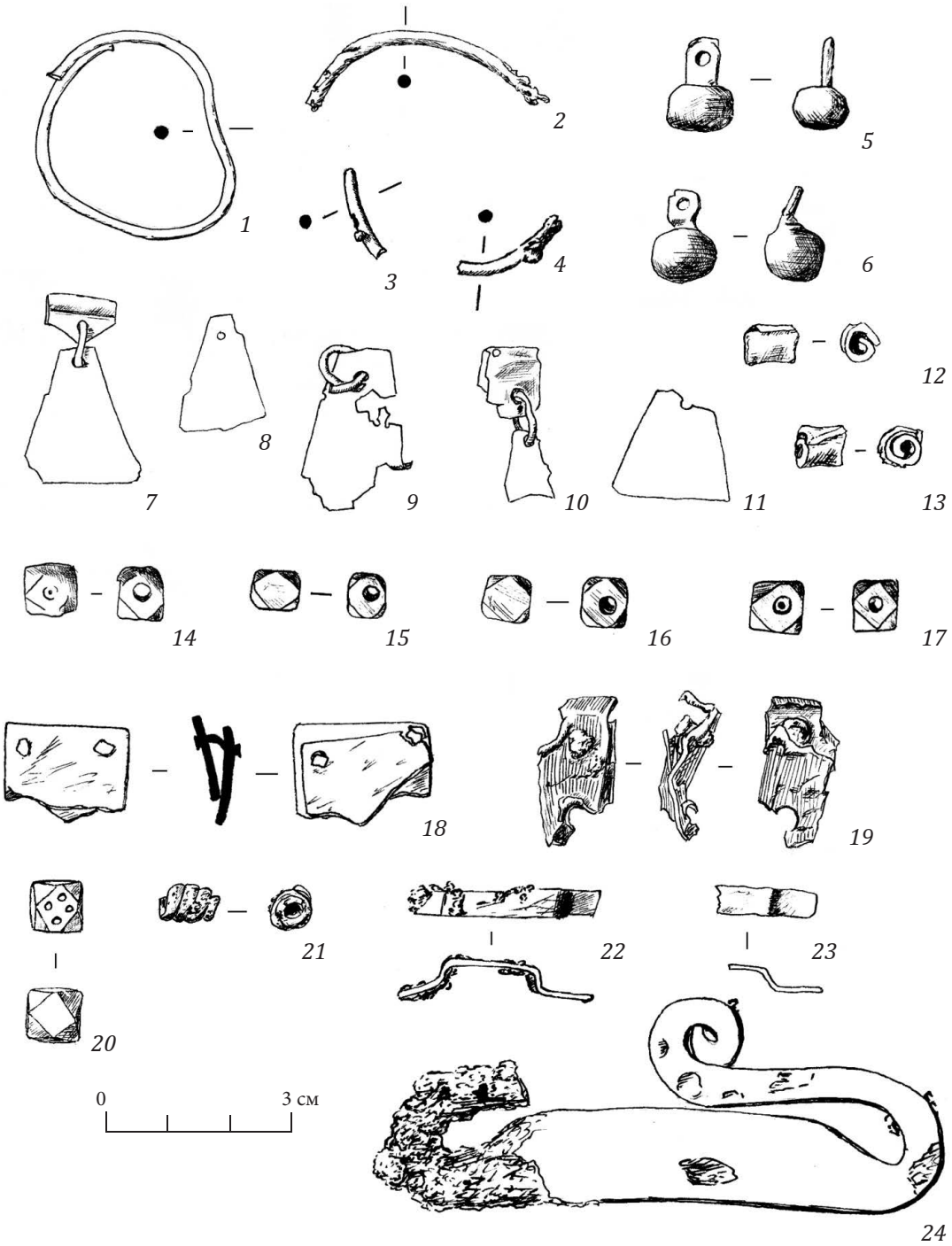


Рис. 4. Могильник Которск IX. Предметы из металла:
1–4 – височное кольцо и обломки аналогичных; 5–6 – пуговицы;
7–11 – трапециевидные привески; 12–13, 21 – пронизки; 14–17 – бусы; 18–19 – накладки;
20 – гирька-разновес; 22, 23 – накладки-скобочки; 24 – кресало.
1–18, 20 – бронза; 19 – бронза, железо; 21, 22, 24 – железо; 23 – серебро

дер. Репьи, в группе сопок Сковородка II, в нижнем слое Изборского (Труворова) городища (Кузьмин, 2001, рис. 4: 2; Седов, 2007, с. 93, рис. 74: 1–3, 6; Михайлова, 2013, рис. 4: 1, 2).

Две литые бронзовые *пуговицы* (рис. 4: 5–6) внешне напоминают находки из поселений культуры псковских длинных курганов (Засобье, Баруздa, нижний слой Труворова городища) (Станкевич, 1960, с. 200, табл. XXII: 5; Седов, 2007, с. 100, рис. 69: 1; Михайлова, 2010, с. 91, рис. 10: 12). Ушки таких пуговиц имеют вид массивной пластины с небольшим отверстием, в отличие от литых пуговиц древнерусского времени с проволочными ушками, которые входят в широкое употребление в самом конце XI в. (Лесман, 1990, с. 60 (III.7)).

Еще одна разновидность украшений – *бронзовые бусы* в виде куба со срезанными углами. На могильнике Которск IX найдено четыре таких бусины, в том числе две – с глазковым орнаментом на гранях (рис. 4: 14–17). К одной из них прикипело стекло. Аналогичная бронзовая бусина («экземпляр очень подержанный») встречена в могильнике Криуши в Восточном Причудье (Спицын, 1903, с. 47, табл. XX: 4а), в погребении начала XII в. (Лесман, 1984, с. 141). 14-гранные бусы с глазковым орнаментом хорошо известны в древностях Западной Финляндии эпохи викингов. Здесь они, как правило, объединены в пронизки из 2–6 частей, но представлены и одночастные экземпляры (Kivikoski, 1939, S. 172; 1973, S. 74, 111, Abb. 499, 815; Lehtosalo-Hilander, 1982, p. 128–129).

Обломанная *двойная квадратная накладка* из бронзы (рис. 4: 18) аналогична найденной в постройке V Поповского городища на р. Унже. Стратиграфически эта постройка относится ко второму периоду жизни на городище, который А. Е. Леонтьев датировал IX в. (Леонтьев, 1989, с. 31–33, 88–91, рис. 11: 21).

Бронзовая *14-гранная гирька* со знаками кратности (по четыре кружка на боковых гранях) (рис. 4: 20). Весовые гирьки (в том числе и 14-гранные) появляются на территории Северной Руси не позднее второй половины IX в., а в X в. уже широко распространены (Давидан, 1987, с. 119–123, рис. 1: 5; Пушкина, 1991, с. 232–233).

Прочие бронзовые изделия представлены маловыразительными спиральками, скобочками и совершенно оплавленными кусочками металла. Изделия из серебра в материалах могильника представлены единственным обломком накладки-скобочки – возможно, от поясного набора (рис. 4: 23). Еще одна целая и две фрагментированных аналогичных скобочки изготовлены из железа (рис. 4: 22).

Железные предметы единичны. В раскопе найдены два обломка железных ножей (кончик лезвия и обломок черенка) и – сразу под дерном – *калачевидное кресало* со следами пребывания в сильном огне (темно-красная окалина) (рис. 4: 24). В Новгороде кресала такого типа датируются 1076–1369 гг. (Лесман, 1984, с. 138 (№ 61)), в те же рамки укладывается бытование подобных кресал во Пскове (Лобанов, 1989, с. 83).

Стеклянные и каменные бусы

Найдено не менее 20 бусин из темно-синего стекла диаметром ок. 6–7 мм, спекшихся друг с другом и с бусами другого цвета (рис. 5: 1–5). Это *крупный рубленый бисер* с мягкими очертаниями. Такие бусы (VIII группа бус Старой Ладоги, подгруппа 3: «рубленый бисер классической формы») хорошо известны в Старой Ладоге, где встречаются начиная с горизонта Е1 (860–920-е гг.) и позднее, на протяжении всего X в. (Львова, 1968, с. 86–87, рис. 4: 28; Френкель, 2007, с. 100). Из такого же темно-синего стекла изготовлен аналогичный, но более мелкий *рубленый бисер* диаметром ок. 3 мм (рис. 5: 6–9). Некоторые бисерины спеклись друг с другом; в одном случае по расположению сплавившихся бисеринок можно предположить, что первоначально они располагались в три-четыре параллельных ряда (см. рис. 5: 9). Верхняя граница бытования рубленого бисера определяется по новгородским материалам – ок. 1161 г. (Лесман, 1984, с. 139 (№ 93)).

Мелкий *бусинный бисер* из заглушенного желтого стекла представлен несколькими оплавленными экземплярами (рис. 5: 10, 11). По новгородской археологической шкале бусинный бисер датируется нач. XII – первой пол. XIV в. (Лесман, 1984, с. 139 (№ 94)). В подробно исследованном Мининском археологическом комплексе наиболее ранняя находка бисера из желтого непрозрачного стекла (единичная) отмечена в комплексе второй пол. X – нач. XI в., а достоверное распространение непрозрачного желтого бисера начинается в пределах первой пол. XI в. (Захаров, Кузина, 2008, с. 190).

Лимоновидные бусы и пронизки (VIII группа, подгруппа 4, по З. А. Львовой) представлены несколькими типами. Одинарные, а также двух- и трехчастные лимоновидные пронизки из *желтого* стекла появляются в X в. и выходят из употребления ко второй трети XII в. (Львова, 1968, с. 88–89; Лесман, 1984, с. 140 (№ 95)). Среди найденных желтых лимоновидных бус можно отметить пронизки с продольными коричневатыми «прожилками» (рис. 5: 13, 14, 16), двучастную пронизку из прозрачного коричневато-желтого («медового») стекла (рис. 5: 15), крупную одинарную (рис. 5: 17).

Лимоновидная бусина из голубого стекла с продольными «жилками» в стекле (рис. 5: 18). Одноцветные лимоновидные бусы (кроме желтых), судя по новгородским материалам, бытовали до конца третьей четверти XI в. (до 1076 г.) (Лесман, 1984, с. 140 (№ 97)).

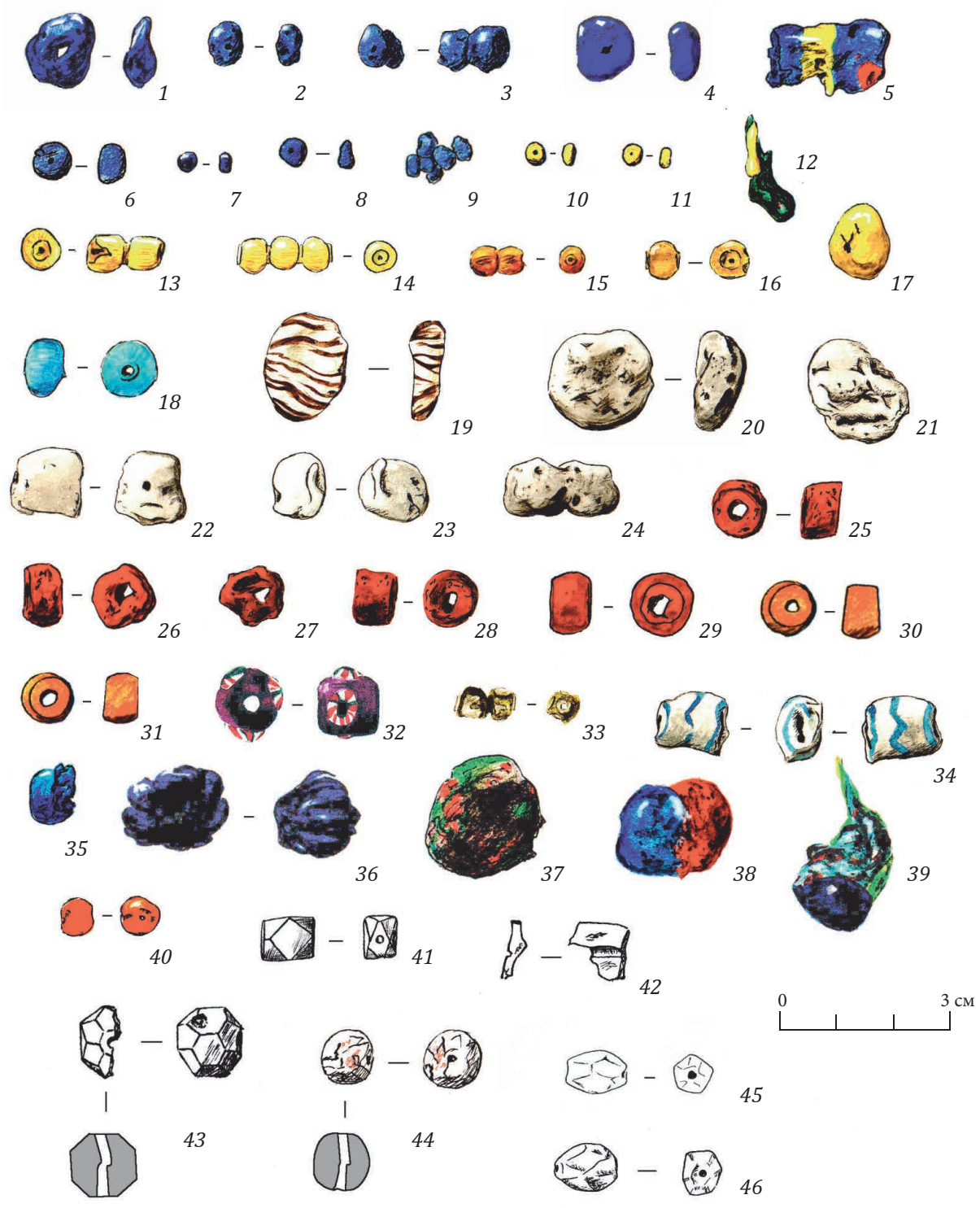


Рис. 5. Могильник Которск IX. Бусы: 1–39 – стекло (1–4, 6–9, 36 – синее стекло, 5 – сплав синего, желтого и красного стекла, 10, 11, 13–17 – желтое стекло, 12 – сплав желтого и темно-зеленого стекла, 18, 35 – голубое стекло, 19 – белое и коричневое стекло, 20–24 – бесцветное стекло, 25–29 – коричневато-красное глухое стекло, 30, 31 – оранжевое глухое стекло, 32 – фиолетовое стекло с цветными глазками, 33 – прозрачное желтое стекло, фольга, 34 – белое и голубое стекло, 37 – сплав стекла разных цветов, в основном зеленого и красного, 38 – сплав синего и красного стекла, 39– сплав стекла разных цветов, в основном синего, голубого и зеленого); 40–43 – сердолик; 44–46 – хрусталь

Крупная *ребристая лимоновидная бусина* из темно-синего стекла (рис. 5: 36). Ребристые лимоновидные бусы принято датировать в пределах IX–X вв. (Львова, 1968, с. 88–89). Однако известны и более поздние находки. Так, в приладожских курганах ребристые лимоновидные бусы встречаются в погребениях X – первой пол. XI в. (Кочкуркина, 1989, с. 262, 265, рис. 83: 4). В Новгороде наиболее поздние ребристые лимоновидные бусы известны в последней четверти XI в. (Щапова, 1956, с. 173–174). Ребристые лимоновидные бусы синего цвета И. А. Сафарова указывает в погребениях Избрижского могильника второй половины XI в. (Сафарова, 1999).

Лимоновидная *продольно-полосатая коричнево-белая бусина* сильно оплавлена (рис. 5: 19). Продольно-полосатые лимоновидные бусы с полосками различных цветов составляют подгруппу 2 группы VIII бус Старой Ладоги. Бело-коричневые бусины этой подгруппы бытовали в течение X – первой половины XI в. (до 1055 г. по новгородской хронологической шкале) (Львова, 1968, с. 85; Лесман, 1984, с. 140 (№ 98)).

Скопление сильно оплавленных *шарообразных бус* из прозрачного бесцветного стекла (21 экз.) было найдено в нижней части слоя черного гумусированного песка под западной полой кургана 4(2). По всей вероятности, это остатки одного ожерелья (рис. 5: 20–24). По новгородской хронологической шкале распространение стеклянных шарообразных бус относится к 21–8 ярусам Неревского раскопа, т. е. 1096–1369 гг. (Лесман, 1984, с. 138 (№ 74)), но эта дата, возможно, с накоплением материала будет уточнена.

Так называемые *прессованные бочонковидные бусы* представлены желтовато-оранжевыми (2 целых экземпляра и три фрагмента) и коричневато-красными (так наз. печеночными) (7 экз.) (рис. 5: 25–31). На Староладожском Земляном городище основная масса желто-коричневых (оранжевых) и печеночно-красных прессованных бус (III группа, по З. А. Львовой) найдена в горизонтах от Е3 до уровня построек горизонта Д включительно, т. е. в отложениях середины VIII в. – первой половины X в. Они имеют многочисленные аналогии в памятниках Северной Европы VIII–IX вв. (Львова, 1968, с. 72–73). Прессованные печеночно-красные бусины встречены в россыпях кальцинированных костей на вершинах нескольких сопок в бассейне Луги (Платонова, 2002, с. 135; Кузьмин, 2010, с. 122). Две бочонковидные прессованные бусины встречены при раскопках в пойменной части Гнёздовского поселения, в слое второй пол. X–XI в. (Френкель, 2007, с. 80–81, рис. 12: 26).

Верхнюю границу бытования этих типов бус уточнила Н. И. Платонова (Залевская) по материалам древнерусских захоронений в Верхнем Полужье: XI – нач. XII в. (Залевская, 1982, с. 53). Отдельные поздние находки прессованных бочонковидных бус известны и в Северной Европе. Так, в могильнике Луйстари в юго-западной Финляндии одна из небольших оранжевых бусин этого типа происходит из погребения с монетами середины XI в. (Lehtosalo-Hilander, 1982, p. 137).

Ю. М. Лесман еще поднял верхнюю дату бочонковидных бус из глухого стекла, предложив датировать печеночно-красные экземпляры до 1116 г., а оранжевые – до 1197 г. (Платонова, Жеглова, Лесман, 2007, с. 183). Правда, насколько можно понять, в тип «бочонковидные оранжевые» исследователь объединил две подгруппы бус. Помимо рассматриваемых здесь небольших гладких светло-оранжевых или коричневато-желтых бусин, в понятие «бочонковидные оранжевые» он включил и другую, позднюю разновидность: довольно крупные бусы ярко-оранжевого цвета, практически всегда покрытые рыхлой белой патиной (в отличие от ранних, отличающихся хорошей сохранностью поверхности), – по-видимому, они изготовлялись из другого стекла. В могильнике Которск IX поздние оранжевые бусы не представлены.

Неправильно-цилиндрическая темно-лиловая *бусина с тремя выпуклыми глазками* (темно-зеленая серединка окружена красными, белыми и зелеными ресничками) встречена в раскопе 1999 г. (рис. 5: 32). Навитые бусы с мозаичными глазками составляют IV группу бус Старой Ладоги, по З. А. Львовой, среди них нередки бусы из лилового стекла. В материалах Земляного городища они представлены с уровня построек горизонта Д (930-е гг.) и выше (Львова, 1968, с. 77–78). Известны такие бусы и в Новгороде. Очень похожая темно-лиловая бусина была найдена в пойменной части Гнёздовского поселения, в горизонте второй пол. X в., здесь аналогичной расцветки глазки обведены белыми петлями (Френкель, 2007, с. 82, рис. 12: 40).

Сильно оплавленная (по-видимому, первоначально цилиндрическая или зонная) *бусина из молочно-белого стекла с тремя голубыми зигзагообразными поясками* (рис. 5: 34), возможно, находит аналогии в могильнике Луйстари в юго-западной Финляндии. Здесь в погребении 404 среди прочих бус найдены шесть зонных из молочно-белого стекла с тремя поперечными зигзагообразными полосками голубого или светло-зеленого цвета. В отличие от которской находки, на бусинах из Луйстари поперечные полоски собраны в узкий поясок посередине бусины. Погребение 404 датируется началом XII в., а бусы такого типа (с разного цвета основой и декором) представлены в могильниках Финляндии периода крестовых походов (т. е. ок. 1050–1150 гг.) (Lehtosalo-Hilander, 1982, p. 141, col. pl. III: 8).

Остальные стеклянные бусы сложно датировать узко. Это двучастная пронизка, декорированная серебряной фольгой под слоем желтого прозрачного стекла (рис. 5: 33), округлая темно-голубая бусина (рис. 5: 35), совершенно расплавившаяся бусина из зеленого и красного стекла (рис. 5: 37) (возможно, это

была цилиндрическая мозаичная пронизка I группы, по З. А. Львовой (ср.: Львова, 1968, с. 67, рис. 1: 5) или 2–3 таких пронизки), а также корольки оплавленного стекла разных цветов (рис. 5: 5, 12, 38, 39).

Сердоликовые бусы представлены следующими типами: шаровидные (целая бусинка диаметром 7 мм и фрагмент бусины диаметром 10–12 мм); уплощенная 14-гранная (1 экз.); фрагмент призматической, по всей видимости, восьмигранной; круглые граненые (3 пояска по 8 граней) (2 фрагмента) (рис. 5: 40–43). Почти все они сильно обожжены и утратили цвет и прозрачность.

Шаровидные сердоликовые бусы появляются на северо-западе Восточной Европы в последней четверти IX в. или в начале X в. (горизонт Е1 Земляного городища и выше) (Рябинин, 1982, с. 171). Из употребления они выходят вскоре после середины XII в. (Лесман, 1984, с. 140 (№ 108)); Фехнер, 1959, с. 175–176). Маленькие шаровидные бусины из сердолика встречены на ряде памятников лесной зоны Восточной Европы конца I тыс.: в пойменной части Гнёздовского поселения в комплексах сер. X в. (Френкель, 2007, с. 83, рис. 12: 52), на селище Весь 5 в Суздальском Ополье (Макаров, Захаров, Шполянский, 2010, с. 115); на селище Минино I на Кубенском озере (Археология севернорусской…, 2008, рис. 177: 1). На всех перечисленных памятниках они представлены 1–2 экземплярами.

Призматические бусы из сердолика, 8-гранные в поперечном сечении, в Которском комплексе встречены в трупосожжениях и на поселении. Такие бусы свойственны североевропейским древностям эпохи викингов (см., например, Arbman, 1940, Taf. 116ff; Petré, 1984, s. 45, 152; Müller, 1970, S. 55, Abb. 1: 1–2, 2: 1–2; Kivikoski, 1973, S. 111, Abb. 817). В Ладоге они появляются только начиная с горизонта Е2 (с 840-х гг.) и широко представлены в слое Д Земляного городища и позднее (Рябинин, 1995, с. 58; Кирпичников, 2007, табл. 1: 2). Крупные призматические 8-гранные бусы найдены в курганах 6 и 13 скандинавского могильника в урочище Плакун (Назаренко, 1985, с. 167, 168, рис. 6: 4, 6), в сопках Пооредежья (вместе с круговой керамикой) (Кузьмин, 2010, рис. 4: 20, 6: 3, 5). Интересно, что в сопках Нижнего Поволховья такие бусы не встречены (Петренко, 1994, с. 74). В Новгороде М. Д. Полубояринова датирует такие бусы второй четвертью X – первой четвертью XI в., отмечая их единичные находки в течение всего домонгольского периода (Полубояринова, 1994, с. 75). По-видимому, самый поздний экземпляр обнаружен в кургане-жальнике 3 могильника Лашковицы I на Ижорском плато, который датируется XIV в. (Рябинин, 2001, с. 62, рис. 8: 48).

14-гранные сердоликовые бусы широко представлены в древностях Юго-Восточной Европы и Подунавья позднеримского времени и эпохи переселения народов, доминируют изделия небольшого размера, часто уплощенные (см., например, Деопик, 1961, с. 210; Ivanišević, Kazanski, Mastykova, 2006, p. 56; Гопкало, 2008, с. 131). Тогда же известны и крупные 14-гранные бусы, которые широко распространяются позднее. Они, в частности, отмечены в словацких памятниках VIII в. (Müller, 1970, S. 55).

В Ладоге 14-гранные бусы из сердолика отмечены только с горизонта Е1 (с 860-х гг.) и получают наибольшее распространение в слоях X–XI вв. (Рябинин, 1995, с. 58; Давидан, 1998, с. 123, 124; Кирпичников, 2007, табл. 1: 5, 7). Они представлены в Нижнем Поволховье в сопках и в могильнике Плакун (Петренко, 1994, с. 74, рис. 33: 3; Назаренко, 1985, с. 167, рис. 6: 4, 6). В пойменной части Гнёздовского селища такая бусина найдена в напластованиях XI в. (Френкель, 2007, с. 92, рис. 6: 9). Исследователи Передольского погоста, основываясь на материалах преимущественно Старой Ладоги и Новгорода, предложили датировать 14-гранные бусы из сердолика на поселениях Северо-Запада следующим образом: «после 860-х, верхняя дата не очень надежна, но бытуют, по крайней мере, до 1096 г.» (Платонова, Жеглова, Лесман, 2007, с. 182). В новгородских материалах 14-гранные бусы встречены в напластованиях второй пол. X – XI вв., но одна такая бусина найдена в слое нач. XIII в., еще одна – первой пол. XIV в. (Полубояринова, 1994, с. 75).

Многогранные сердоликовые бусы в Ладоге появляются в горизонте Д и бытуют вместе с призматическими в X–XI вв. (Рябинин, 1995, с. 58), они найдены и в сопках в окрестностях Ладоги (Петренко, 1994, с. 74). Фрагмент такой бусины найден в погребении 10 на вершине сопки 4 в Передольском погосте (Платонова, 2002, с. 135, рис. 5: 23).

Хрустальные бусы представлены одной шарообразной бусиной (на ее растрескавшейся от жара поверхности заметны следы прикипевшего темно-красного стекла) и несколькими неправильно-овальными гранеными (рис. 5: 44–46).

Шарообразная хрустальная бусина по новгородской хронологической шкале датируется 989–1268 гг. (Лесман,1984, с. 140 (№ 107)), однако работа М. Д. Полубояриновой заставляет удревнить предложенную Ю. М. Лесманом нижнюю дату до X в. в целом (Полубояринова, 1994, с. 77). Шаровидные хрустальные бусы из пойменной части Гнёздовского поселения происходят из комплексов третьей четв. X в. – рубежа X и XI вв. и XI в., возможно, его первой половины (горизонт 2) (Френкель, 2007, с. 83, 108).

Граненые эллипсоидные бусы из хрусталя – 2 целых и 2 фрагмента (возможно, от одной бусины) (рис. 6: 45, 46). Такие бусы встречены и на селище Которской погост в слое пожара второй половины X в. Аналогичные найдены в пойменной части Гнёздовского поселения, в Старой Ладоге, на Рюриковом городище и в Новгороде, на ряде памятников Северной Европы. В целом граненые эллипсоидные хру-

стальные бусы датируются не позднее рубежа X и XI вв. (Френкель, 2007, с. 83, 102, рис. 12: 51).

Керамика бескурганного могильника

Вся керамика бескурганного могильника – лепная. Ни один из черепков не несет на себе следов пребывания в огне или копоти на поверхности.

Большинство сосудов относится к одной из двух основных групп: 1) слабо профилированные горшки с округлыми плечиками, 2) почти баночные сосуды с широкой каннелюрой по плечику.

Слабо профилированные горшки представлены в коллекции фрагментами не менее 10–12 сосудов (рис. 6). Черепки коричневых и желто-оранжевых тонов, со значительной примесью крупной дресвы, в изломе двух-трехслойные. Донца сформованы на подсыпке из мелкой дресвы. Край венчика аккуратно скруглен либо срезан.

Каннелированных сосудов удалось определить не менее 5–6. Это керамика светло-желтого или бледно-оранжевого цвета, слабого обжига, с примесью дресвы. В 3–5 см ниже среза венчика тулово сосуда опоясывает широкая мелкая канавка-каннелюра. Сосуды формовались на основе донного начина, на подсыпке из мелкой дресвы, из лент шириной 1,5–2 см (рис. 7: 1, 2).

Сосуды с каннелюрой нередки на памятниках Северо-Запада. Наиболее многочисленны они в Городце под Лугой (Ефимова, 1977, рис. 2). Отдельные баночные или слабо профилированные сосуды, а также глубокие миски с широкой каннелюрой по плечику найдены на Староладожском Земляном городище, Новгородском (Рюриковом) городище, поселении Холопий городок, Псковском городище, Изборском (Труворовом) городище, городище Рыуге, городище Камно, Передольском погосте, а также в одной из сопок группы Сковородка II недалеко от Которского погоста (Белецкий, 1983, с. 52, рис. 7: 1, 2, 4, 6; Белецкий, 1996, рис. 5: 4, 26: 2, 30: 3; Сеничeнкова, 1998, рис. 1 (Ф III), рис. 3 (Ф 1); Кузьмин, 2001, рис. 3; Носов, Плохов, 2005, табл. 178: 6, 181: 7, 183: 12; Плохов, 2005, табл. 56: 11; Платонова, Жеглова, Лесман, 2007, с. 167, рис. 10: 3).

Кроме посуды этих двух групп, найдены фрагменты двух ребристых мисок и одного миниатюрного горшочка, все – в погребенной почве под курганом 5. Миски однотипны, сформованы из глины с примесью довольно крупной дресвы, из лент шириной ок. 4 см. Поверхность обеих гладкая, заглаженная мокрой рукой или тряпкой (рис. 7: 4, 5). Найден также небольшой фрагмент донышка одной из этих мисок с гладкой нижней поверхностью. Миниатюрный горшочек изготовлен из красноватой глины с примесью мелкой дресвы, поверхность его пятнистая от неравномерного обжига (рис. 7: 3).

Все описанные сосуды соответствуют по форме основным типам глиняной посуды Которского погоста (Михайлова, 1994), но между поселенческой керамикой и керамикой могильника есть и различия. Керамика могильника изготовлена из менее тщательно промешанного теста, очень слабо обожжена (многие черепки мажут руки). Обращает на себя внимание чрезмерная тонкостенность некоторых черепков, неприемлемая для бытовой керамики. Очевидно, найденная посуда была изготовлена специально для употребления в погребальном обряде.



Рис. 6. Могильник Которск IX. Керамика

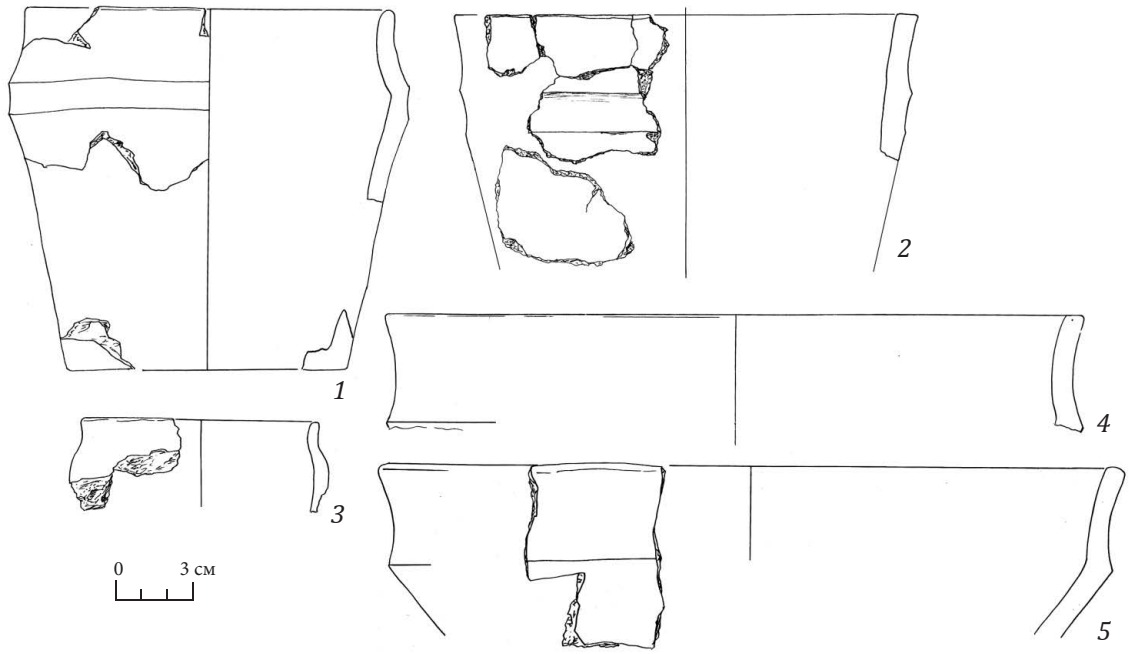


Рис. 7. Могильник Которск IX. Керамика

Общая датировка могильника

Таким образом, вещевой комплекс позволяет датировать бескурганный могильник Которск IX довольно широко – с IX в. (вероятнее, его конца) до XI в.

Большинство металлических украшений находят свои аналогии в материалах сопок: крупные орнаментированные спирали, браслеты, пятиугольные обоймицы для трапециевидных привесок и др. Т. о., эти предметы могут датироваться временем возведения сопок – от IX в. до середины – второй половины X в. Материалы поселений, связанных с сопками и существующих в течение длительного времени, поднимают верхнюю дату соответствующих предметов в пределы XI в.

Стеклянные и каменные бусы могильника хорошо датируются, в первую очередь, по материалам Ладоги и Новгорода. Интересно отметить, что формально их хронология несколько отличается от хронологии металлических изделий: представлены типы, появляющиеся не ранее X в. (навитой бисер из желтого стекла, лимоновидные бусы и пронизки из желтого стекла, лимоновидная полосатая бело-коричневая бусина, бесцветные шарообразные бусы).

Кажущееся противоречие между хронологией бус и металлических изделий обусловлено, повидимому, большей хронологической чувствительностью бус и устойчивостью и простотой форм бронзовых украшений. Сказанное подтверждается двумя реконструируемыми комплексами, в которых сочетаются изделия из стекла и бронзы.

Первый из этих комплексов восстанавливается из находок однотипных бус, обломков одного браслета и одного «накосника» с насечками по продольному утолщению, собранных в материковой западине в центре предполагаемого сооружения. Убор включал крупный и мелкий бисер из темно-синего стекла, мелкий ярко-желтый бисер, две бочонковидные бусины оранжевого цвета (принадлежность всех бус к одному ожерелью подтверждается находками здесь же сплавившихся корольков стекла тех же цветов), орнаментированную спираль-«накосник», браслет с утолщенными концами и, возможно, проволочные височные кольца небольшого диаметра.

Комплекс находок из-под западной полы кургана 4(2) включал в себя ожерелье из не менее чем 21 шароообразной бесцветной бусины и орнаментированную спираль-«накосник». Здесь же были собраны 4 бочонкообразные бусины темно-красного цвета, не менее 5–6 сильно оплавленных крупных бус из темно-синего стекла и комок спекшегося синего бисера, в котором бусинки располагаются в три ряда. На спекшемся комке бисера и одной из оплавленных крупных синих бусин заметно приплавившееся к ним темно-красное стекло, из чего можно заключить, что синие и красные бусы входили в одно и то же ожерелье. Составляло ли это ожерелье комплект с ниткой шарообразных бесцветных бус, сказать невозможно.

Любопытно, что женский убор такого же состава: височное кольцо, спираль-«накосник» и стеклянные бусы (синие), – представлен в могильнике финального этапа культуры псковских длинных курганов

Которск IV – всего в нескольких сотнях метров от описываемого могильника. Курганная группа Которск IV в целом синхронна бескурганному могильнику Которск IX и демонстрирует распространение того же набора женских украшений у населения, практиковавшего иную погребальную обрядность.

В пределах раскопов 1991–1992 гг. найдены преимущественно женские украшения, однако в подъемном материале представлены предметы вооружения и конского снаряжения (рис. 8: 1–5). Случайно ли такое пространственное распределение находок, пока сказать трудно.

Начало функционирования могильника Которск IX следует относить к концу IX – началу X в. Верхняя дата – в пределах XI в. – определяется как находками на могильнике, так и датами ингумаций в возведенных на этом месте курганах. О том, что курганы сооружались близ еще недавно действовавшего могильника, свидетельствует само их расположение – вдоль его края, лишь частично заходя на его территорию.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о наличии в материалах могильника исключительно лепной керамики. Гончарный круг на Северо-Западе, по крайней мере, в городских центрах, появляется в 920-х гг. (Рябинин, 1985, с. 37; Горюнова, 2005, с. 94–95). В середине X в. круговая керамика присутствует уже и на сельских поселениях, где постепенно, в течение второй половины X – XI в., вытесняет лепную. Поэтому памятники с исключительно лепной керамикой обычно относят ко времени до второй четверти X в. Однако среди находок на могильнике есть вещи, появляющиеся уже после этого рубежа и встречающиеся с круговой керамикой на других памятниках.

Кажущееся противоречие объяснимо характером памятника. Учитывая консервативность погребального ритуала, следует ожидать, что в нем будет использоваться посуда, изготовленная традиционным способом. Это предположение тем более правдоподобно, если мы имеем дело с керамикой, специально изготовленной для такого случая.

2. Бескурганный могильник Которск XI

Следы могильника с трупосожжениями были встречены при раскопках В. Ю. Соболевым в 1998 и 1999 гг. древнерусского курганного кладбища Которск XI, расположенного на левом коренном берегу р. Городоньки, в 300 м к северо-востоку от могильника Которск IX и в 0,5 км к востоку от поселения Которский погост.

В погребенном дерне под курганом 23 были собраны обломки расколовшейся в сильном огне подковообразной застежки с усеченно-пирамидальными головками и орнаментированной дугой, сильно оплавленная трапециевидная привеска, фрагмент «накосника» и осколок орнаментированного рогового предмета (рис. 9: 2–5).

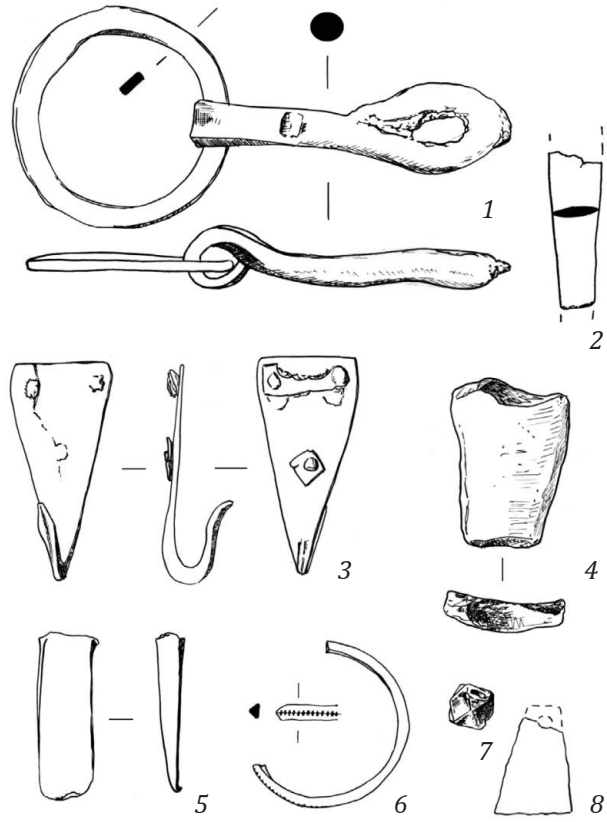


Рис. 8. Могильник Которск IX. Подъемный материал:
1 – удила, 2 – обломок наконечника стрелы,
3 – крюк, 4 –щекавица топора, 5 – клин,
6 – обломок браслета (?), 7 – бусина,
8 – трапециевидная привеска.
1–5 – железо, 6–8 – бронза

Отдельные предметы со следами воздействия огня и пережженные косточки встречались и под другими курганами в южной части группы. Здесь же были собраны мелкие фрагменты лепной керамики, в основном аналогичной керамике могильника Которск IX. Отдельного упоминания заслуживает развал лепного сосуда, обнаруженный в погребенной почве под полой кургана 36 (рис. 9: 1). Это сосуд с вертикальным горлом и почти ребристыми плечиками, по плечику тянется ряд пальцевых вдавлений, на тулове сохранился дугообразный налеп. Отдельные фрагменты подобных сосудов (схожей профилировки, тоже с рядами вдавлений по плечику или под венчиком) были встречены при раскопках Которского погоста.

Для поиска сохранившихся участков могильника с кремациями в 1998 и 1999 гг. рядом с курганами были заложены небольшие раскопы. Под современным дерном залегал слой темно-серого, почти черного аморфного гумусированного песка, содержавший осколки пережженных костей и мелкие

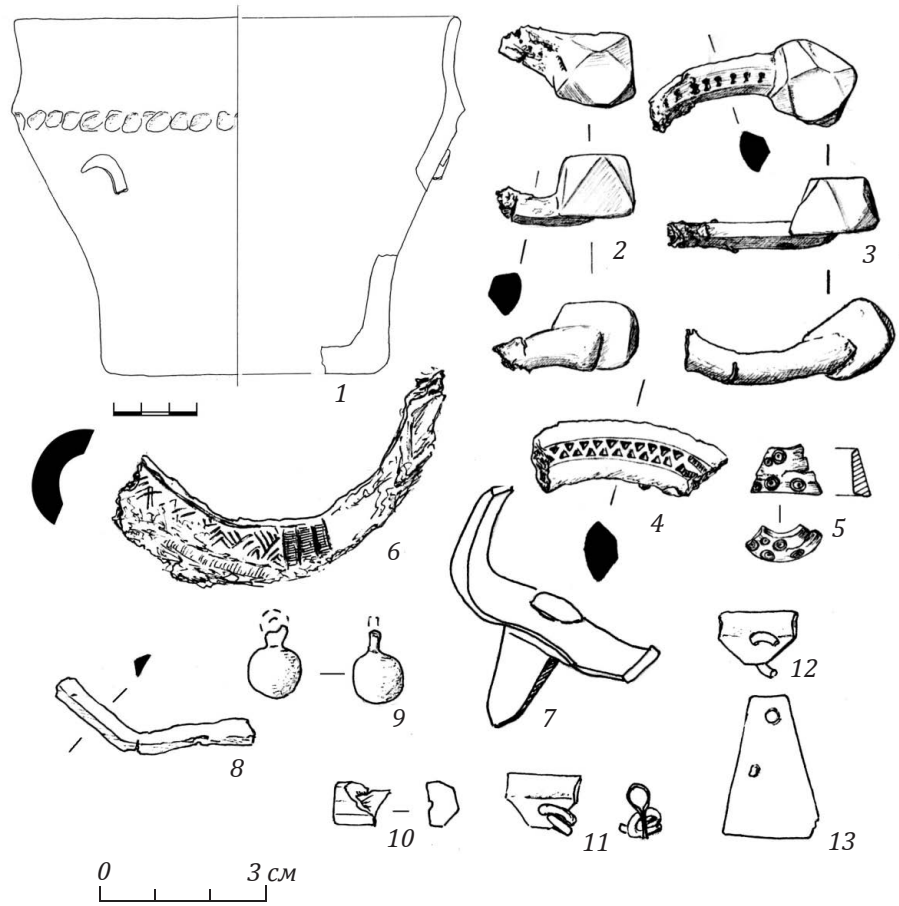


Рис. 9. Могильник Которск XI:
1 – реконструкция лепного сосуда, 2–4 – фрагменты подковообразной застежки,
5 – орнаментированный предмет, 6 – ладьевидный браслет,
7 – ледоходный шип, 8 – дротовый браслет (?), 9 – пуговица, 10 – бусина,
11, 12 – обоймицы для привешивания, 13 – трапециевидная привеска.
1 – керамика, 2–4, 6, 8, 9, 11–13 – бронза, 5 – рог, 7 – железо, 10 – сердолик

фрагменты лепной керамики. Из найденных здесь предметов заслуживают упоминания ладьевидный браслет, плетеная цепочка, трапециевидные привески и пятиугольные обоймицы для их привешивания, литая пуговица, ледоходный шип, осколок сердоликовой бусины (рис. 9: 6–13).

3. Бескурганный могильник Которск III

Аналогичные находки были сделаны при изучении древнерусской курганной группы Которск III, расположенной несколько северо-восточнее могильника Которск XI (раскопки В. Ю. Соболева).

Наиболее выразительный комплекс обнаружен под полой кургана 17. Здесь сохранилась материковая западина с пологими стенками, заполненная почти черным интенсивно гумусированным песком. В этом песке собраны предметы, возможно, составляющие единый комплекс: трапециевидная привеска с рельефным орнаментом, три гладкие трапециевидные привески (две из них прикреплены к пластинчатым обоймицам), четыре обоймицы для привесок, фрагмент круглой привески с ушком, обломки «накосников» или узких браслетов (плоского и треугольного сечения), двучастная желтая лимоновидная пронизка, капля темно-синего стекла и мелкие комки оплавленной бронзы.

В насыпи кургана 22 были собраны обломки толстой бронзовой проволоки, маленький фрагмент округлого украшения из тонкой серебряной пластины с рельефным орнаментом и призматическая 8-гранная бусина из сердолика. Все вещи носили следы пребывания в огне.

Оба упомянутых кургана располагались на юго-восточном краю группы, поэтому здесь же, на свободном от деревьев и кустарника участке, был заложен небольшой разведочный раскоп. Непосредственно под дерном здесь залегал материковый песок, однако при раздерновке найден оплавленный предмет из согнутой узкой бронзовой пластины.

Все определимые предметы аналогичны найденным на других могильниках.

4. Бескурганный могильник Которск XV

Бескурганный могильник Которск XV был выявлен Б. Г. Лычом в 1997 г. Он расположен в 150–200 м к востоку от могильника Которск IX, на левом коренном берегу р. Городоньки, на обращенной в сторону реки северной оконечности низкой озовой гряды, в сосновом лесу. Внешних признаков могильник не имеет.

В 1999 г. в северной части могильника под руководством С. Л. Кузьмина был заложен раскоп площадью 72 кв. м. Материалы могильника оказались в целом аналогичны материалам могильника Которск IX; кроме того, в пределах раскопа было обнаружено женское захоронение по обряду ингумации в могиле, датирующееся в рамках второй пол. XI в. – первой пол. XII в.

Находки, сделанные в раскопе, полностью соответствуют описанным выше: фрагменты орнаментированных «накосников», трапециевидные привески и пятиугольные обоймицы, 14-гранная бронзовая бусина с глазковым орнаментом, литая бронзовая пуговица, лимоновидные бусы и пронизки (желтые, псевдо-золотостеклянная), крупный синий бисер мягких очертаний, сердоликовая шарообразная и бочонковидные темно-красные бусы, подковообразные застежки, роговые накладки гребня и пр.

Соотношение бескурганных могильников с другими памятниками комплекса

Нет никаких сомнений в том, что бескурганные могильники с кремациями представляют собой кладбища жителей Которского погоста (Михайлова, в печати). Об этом свидетельствует в первую очередь общность вещевого и керамического комплекса могильников и поселения, их синхронность и отчетливая топографическая связь.

Однако в непосредственной близости от рассмотренных здесь могильников, в составе того же обширного комплекса, присутствуют и другие погребальные памятники, датирующиеся тем же временем. Речь идет о расположенных к западу от поселения сопках и о группе высоких курганов Которск IV, находящейся вблизи от бескурганных могильников.

Обратимся к сопкам, тем более что находки из раскопанных нами трупосожжений находят в них многочисленные и точные аналогии. В самом Которском комплексе раскопки сопок не производились. Известно, что при осмотре сопки Которск I в 1972 г. Н. В. Хвощинской и в 1988 г. С. Л. Кузьминым на склонах насыпи и у ее подножия были собраны отдельные пережженные косточки, фрагмент костяного изделия с циркульным орнаментом (гребня?) и черепок со следами правки на гончарном круге.

В течение 1970–1990-х гг. было раскопано более десятка насыпей в Нижнем Поволховье, на Мсте, Ловати, Луге и Плюссе (см. цитировавшиеся выше работы В. П. Петренко, С. Л. Кузьмина, Н. И. Платоновой и др. исследователей). Наблюдается значительное сходство всех изученных сопок в строении, погребальном обряде, находках. Погребения в самих сопках немногочисленны. Это обстоятельство уже давно побудило исследователей задуматься над массовым обрядом захоронения «сопочного» населения. В раскопанных согласно современной методике насыпях неоднократно выявлено поверхностное размещение захоронений. Оно имеет разные формы: скопление захоронений в урнах или каменных ящиках на вершине насыпи, коллективное захоронение в деревянном коробе, россыпи кремированных останков по вершине и склонам насыпи.

По всей видимости, как разновидность такого массового обряда можно рассматривать и которские бескурганные могильники с кремациями, о чем уже говорилось ранее (Кузьмин, Михайлова, Соболев, 2000). Вопрос о том, почему могильники расположены в отдалении от сопок, как и о точном хронологическом соотношении сопок и бескурганных могильников в Которском комплексе (были ли сопки возведены до начала функционирования могильников или уже позднее), пока остается открытым.

Курганная группа Которск IV как погребальный памятник продолжает традиции культуры длинных курганов, памятники которой в бассейне Плюссы многочисленны. Хотя в раскопанном здесь кургане представлен тот же женский убор, погребальная обрядность (сожжения по отдельности помещены в высокую курганную насыпь) кардинальным образом отличается от рассмотренных здесь могильников. На сегодняшний день нет серьезных оснований считать, что высокие насыпи распространяются в могильниках псковских длинных курганов под влиянием сопочного обряда, – скорее, это результат самостоятельного развития традиции (Михайлова, 2013, с. 344–345).

Очень интересно соотношение изученных бескурганных могильников с позднейшими курганами с ингумациями. На месте трех из четырех рассмотренных здесь могильников не позднее второй половины XI в. возникают древнерусские курганные кладбища, а на могильнике Которск XV выявлено захоронение женщины в грунтовой могиле. Могильник Которск IX просуществовал недолго, а вот на могильниках III и XI (каждый из них насчитывал более 30 насыпей) захоронения совершались вплоть до начала XIII в. Таким образом, на месте нескольких синхронных языческих могильников одновременно возникает несколько христианских кладбищ.

Важно отметить, что поселение на левом берегу р. Городоньки прекращает свое существование не позднее рубежа XI–XII вв. и, по всей вероятности,

переносится на противоположный берег реки, на место ныне существующей деревни Которск. Тем не менее, старые кладбища продолжают действовать еще около ста лет, что свидетельствует о глубоко укоренившейся традиции. Можно предположить, что и погостская церковь какое-то время оставалась стоять на прежнем месте.

Место в погребальных традициях лесной зоны Восточной Европы

В последнее время раннесредневековые могильники с трупосожжениями без внешних признаков всё чаще фиксируются археологами.

«Поверхностные» могильники с трупосожжениями VI–VII вв. выявлены недавно в западной части Ижорского плато у селений Малли (раскопки М. А. Юшковой) и Коммунар (Михайлова, Фёдоров, 2011).

В последние годы довольно полно изучен могильник на Ратьковском городище во Владимирской области. Некоторыми чертами он напоминает которские могильники. Ратьковский могильник также располагался на длинной гряде (в данном случае это мысовая часть городища, обращенная к реке). Вся гряда была занята слоем коричневой рыхлой супеси, содержавшей значительное число пережженных костей, древних вещей, керамики, зерна. Ниже слоя могильника расчищены многочисленные материковые ямы, заполненные аналогичным грунтом. Находки из могильника датируются в широком диапазоне – от VI–VII до IX–X вв. (Вишневский, Кирьянова, Добровольская, 2007; Вишневский, Новоселова, 2010).

Рассыпные кремации, сочетавшиеся с захоронением немногочисленных пережженных костей в материковых ямах, отмечены на нескольких памятниках второй пол. I – нач. II тыс. в бассейне Волги. Это Попово на Унже, Черный Ручей 4 и Девичья Гора 4 на Андоге, Минино 7 в бассейне Средней Шексны, Большое Молочное на р. Костроме (Рябинин, 1989; Леонтьев, 1996, с. 259, 264, рис. 126; Кудряшов, 2004).

Таким образом, можно предполагать, что россыпи кремированных останков связаны с более широкой, чем сопки, погребальной традицией, по-видимому, очень древней.

Точным соответствием памятникам, раскопанным в Которске, являются одновременные им могильники Владышнево II и Минино II в Мининском археологическом комплексе на Кубенском озере, далеко за пределами ареала сопок (Археология севернорусской…, 2007, с. 130–181). Как и в Которске, в Мининском комплексе на обоих могильниках отмечен коричнево-серый гумусированный слой с костями и вещами сразу под дерном, а также отдельные материковые ямы. Трупосожжения на обоих могильниках сопровождаются вещами второй половины X – первой половины XI в., в течение XI–XII вв. на тех же участках совершаются древнерусские ингумации.

В мининских могильниках представлен местный вещевой комплекс и предметы, распространявшиеся на всей территории Руси. Наиболее сходны с которскими находками бусы, поступавшие на Кубенское озеро, как и на Плюссу, в результате торговли.

Которские и мининские могильники являются яркими примерами погребальной обрядности, практиковавшейся на территории Северной Руси перед распространением христианства. По всей вероятности, поверхностные захоронения сожженных останков – очень древняя погребальная традиция, существовавшая во всей лесной зоне Восточной Европы и окончательно вытесненная только православными похоронными ритуалами.

Источники и литература

Археология севернорусской деревни X–XIII веков : средневековые поселения и могильники на Кубенском озере / отв. ред. Н. А. Макаров. Т. 1 : Поселения и могильники. М., 2007.

Археология севернорусской деревни X–XIII веков : средневековые поселения и могильники на Кубенском озере / отв. ред. Н. А. Макаров. Т. 2 : Материальная культура и хронология. М., 2008.

Белецкий С. В., 1983. Псковское городище (керамика и культурный слой) // Археологическое изучение Пскова / отв. ред. В. В. Седов. М. С. 46–80.

Белецкий С. В., 1996. Начало Пскова. СПб.

Вишневский В. И., Кирьянова Н. А., Добровольская М. В., 2007. Ратьковский раннесредневековый финно-угорский могильник: хронология, культура, обряд // РА. № 2. С. 89–107.

Вишневский В. И., Новоселова Т. Н., 2010. Раннесредневековый финно-угорский могильник на Ратьковском городище (результаты раскопок 2006–2007 годов) // Археология Подмосковья: мат-лы научного семинара. Вып. 6 / отв. ред. А. В. Энговатова. М. С. 67–82.

Гавритухин И. О., 1997. Маленькие трапециевидные подвески с полоской из прессованных точек по краю // Гістарычна-археалагічны зборнік. № 12. Мінск. С. 43–58.

Гопкало О. В., 2008. Бусы и подвески черняховской культуры. Киев.

Горюнова В. М., 2005. Раннегончарная керамика Рюрикова городища и общие тенденции развития раннегончарных комплексов городских центров Северной Руси X – начала XI в. // Носов Е. Н., Горюнова В. М., Плохов А. В. Городище под Новгородом и поселения Север-

ного Приильменья. (Новые материалы и исследования). СПб. С. 82–121.

Давидан О. И., 1987. Весовые гирьки Старой Ладоги // АСГЭ. Вып. 28. С. 119–126.

Давидан О. И., 1998. Сердоликовые изделия из Старой Ладоги // Материалы и исследования по археологии Евразии. СПб. С. 123–132. (АСГЭ. Вып. 33).

Деопик В. Б., 1961. Классификация бус Юго-Восточной Европы VI–IX вв. // СА. № 3. С. 202–232.

Еремеев И. И., Дзюба О. Ф., 2010. Очерки исторической географии лесной части Пути из варяг в греки. Археологические и палеогеографические исследования между Западной Двиной и озером Ильмень. СПб.

Ефимова Н. А., 1977. Лепная керамика из полуземлянок Городца под Лугой // Проблемы истории и культуры Северо-Запада РСФСР. Л. С. 98–101.

Залевская Н. И., 1982. К вопросу о возникновении погостов на Верхней Луге // Северная Русь и ее соседи : межвуз. сб. / отв. ред. А. Д. Столяр. Л. С. 49–54.

Захаров С. Д., Кузина И. Н., 2008. Изделия из стекла и каменные бусы // Археология севернорусской деревни X–XIII вв. : средневековые поселения и могильники на Кубенском озере : в 3 т. Т. 2 : Материальная культура и хронология. М. С. 142–214.

Кирпичников А. Н., 2007. Новые материалы о международных торговых связях средневековой Ладоги с Балтийским регионом и странами Востока // Северная Русь и народы Балтики / отв. ред. Е. Н. Носов. СПб. С. 195–220.

Клубова О. В., 1992. Исследования селища в урочище Курская Гора в 1991 г. // Новгород и Новгородская земля. История и археология : тезисы научной конференции. Вып. 6. Новгород. С. 24–27

Кочкуркина С. И., 1989. Памятники юго-восточного Приладожья и Прионежья X–XIII вв. (реки Сясь, Тихвинка, Капша, Паша, Воронежка, Свирь, Олонка, Тулокса, Видлица, северное и западное побережье Онежского озера). Петрозаводск.

Кудряшов А. В., 2004. Исследования средневекового археологического комплекса «Черный ручей» на р. Андоге // История и культура Ростовской земли: мат-лы конференции 2003 г. Ростов. С. 486–497.

Кузьмин С. Л., 1991. Которский погост – локальный центр конца I – начала II тыс. н. э. в верховьях Плюссы // Материалы по археологии Новгородской земли, 1990 г. М. С. 153–168.

Кузьмин С. Л., 1992. Сопка у д. Новые Дубовики // Археология и история Пскова и Псковской земли, 1991 : мат-лы симпозиума. Псков. С. 52–55.

Кузьмин С. Л., 2001. Комплекс памятников в урочище Миложь у д. Сковородка в контексте древностей Верхнего Поплюсья рубежа I и II тыс. н. э. // Вестник молодых ученых. Исторические науки. 1'01. Специальный выпуск: Археология. С. 56–62.

Кузьмин С. Л., 2008. Ладога в эпоху раннего Средневековья (середина VIII – начало XII в.) // Исследование археологических памятников эпохи Средневековья / отв. ред. А. В. Виноградов. СПб. С. 69–94.

Кузьмин С. Л., 2010. Оредежские сопки // Исследования погребальных памятников на западе средневековой Новгородской земли : сб. науч. ст. / отв. ред. Е. Р. Михайлова. СПб. С. 119–132.

Кузьмин С. Л., Михайлова Е. Р., Соболев В. Ю., 2000. Могильник Которск IX – кладбище населения Которского погоста // Stratum plus. № 5. С. 70–82.

Леонтьев А. Е., 1989. Поповское городище (результаты раскопок 1980–1984 гг.) // Раннесредневековые древности Верхнего Поволжья : материалы работ Волго-Окской экспедиции / отв. ред. В. В. Седов. М. С. 5–105.

Леонтьев А. Е., 1996. Археология мери. К предыстории Северо-Восточной Руси. М.

Лесман Ю. М., 1984. Погребальные памятники Новгородской земли и Новгород (проблема синхронизации) // Археологическое исследование Новгородской земли : межвуз. сб. / под ред. Г. С. Лебедева. Л. С. 118–153.

Лесман Ю. М., 1990. Хронология ювелирных изделий Новгорода (X–XIV вв.) // Материалы по археологии Новгорода. 1988 / под ред. В. Л. Янина и П. Г. Гайдукова. М. С. 29–98.

Лобанов Н. А., 1989. Некоторые бытовые находки из Пскова // КСИА. Вып. 195. С. 90–95.

Львова З. А., 1968. Стеклянные бусы Старой Ладоги. Ч. I : Способы изготовления, ареал и время распространения // АСГЭ. Вып. 10. С. 64–94.

Макаров Н. А., Захаров С. Д., Шполянский С. В., 2010. О датировке средневекового поселения Весь 5 под Суздалем // Диалог культур и народов средневековой Европы. К 60-летию со дня рождения Е. Н. Носова / отв. ред. А. Е. Мусин, Н. В. Хвощинская. СПб. С. 113–141.

Мальм В. А., 1967. Подковообразные и кольцевидные застежки-фибулы // Труды Государственного исторического музея. Вып. 43 : Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. М. С. 149–190.

Михайлова Е. Р., 1994. Керамический комплекс Которского поселения IX–XII вв. // Археология и история Пскова и Псковской земли : мат-лы науч. семинара 1993 г. Псков. С. 51–54.

Михайлова Е. Р., 2007. Культура псковских длинных курганов : памятники финального этапа // Вестник СПбГУ. Серия 6. Вып. 4. С. 389–398.

Михайлова Е. Р., 2008. Исследования селища Которской погост в 2006 году // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени академика В. В. Седова: мат-лы LIII заседания. Псков. С. 215–228.

Михайлова Е. Р., 2010. Комплекс памятников в урочище Колода близ дер. Засобье (Лужский р-н Ленинградской области) // Исследования погребальных памятников на западе средневековой Новгородской земли: сб. науч. ст. / отв. ред. Е. Р. Михайлова. СПб. С. 81–108.

Михайлова Е. Р., 2013. Насыпь у дер. Репьи: место среди погребальных памятников Северо-Запада конца I тыс. н. э. // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени акад. В. В. Седова : мат-лы 58-го заседания. М. ; Псков. С. 335–345.

Михайлова Е. Р., в печати. Которский погост – локальный центр на западе Новгородской земли // Hillforts and Power Centres. Evald Tõnisson's commemoration book ("Muinasaja Teadus").

Михайлова Е. Р., Федоров И. А., 2011. Случайные находки у пос. Коммунар Ленинградской области – предполагаемый могильник I тыс. н. э. // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени акад. В. В. Седова : мат-лы 56-го заседания. М. ; Псков. С. 69–77.

Мурашёва В. В., Авдусина С. А., 2007. Исследования притеррасного участка пойменной части Гнёздовского поселения // Гнёздово. Результаты комплексного исследования памятника / отв. ред. В. В. Мурашёва. СПб. С. 8–30.

Назаренко В. А., 1985. Могильник в урочище Плакун // Средневековая Ладога : новые археологические открытия и исследования / отв. ред. В. В. Седов. Л. С. 156–169.

Носов Е. Н., Ершевский Б. Д., Плохов А. В. О работе на поселении Прость в 1997 г. // ННЗ. Вып. 12. Новгород, 1998. С. 25–31.

Носов Е. Н., Плохов А. В., 1991. Поселение Золотое Колено на Средней Мсте // Материалы по археологии Новгородской земли, 1990 г. / под ред. В. Л. Янина, Е. Н. Носова, П. Г. Гайдукова. М. С. 117–149.

Носов Е. Н., Плохов А. В., 1994. Археологические исследования в Андреапольском районе Тверской области // Тверской археологический сборник. Вып. 1. Тверь. С. 145–151.

Носов Е. Н., Плохов А. В., 2005. Новые раскопки поселений в Северном Приильменье // Носов Е. Н., Горюнова В. М., Плохов А. В. Городище под Новгородом и поселения Северного Приильменья. СПб. С. 122–154.

Петренко В. П., 1994. Погребальный обряд населения Северной Руси VIII–X вв. Сопки Северного Поволховья. СПб.

Платонова Н. И., 2002. О погребальном обряде верхнелужских сопок (по материалам Передольского погоста) // Ладога и ее соседи в эпоху Средневековья / отв. ред. А. Н. Кирпичников. СПб. С. 181–195.

Платонова Н. И., Жеглова Т. А., Лесман Ю. М., 2007. Древнерусский протогородской центр на Передольском погосте // Северная Русь и народы Балтики / отв. ред. Е. Н. Носов. СПб. С. 142–194.

Плохов А. В., 2005. Лепная керамика Рюрикова городища // Носов Е. Н., Горюнова В. М., Плохов А. В. Городище под Новгородом и поселения Северного Приильменья (новые материалы и исследования). СПб. С. 74–81.

Полубояринова М. Д., 1994. Полудрагоценные камни и янтарь в древнем Новгороде // Новгородские археологические чтения : мат-лы научной конференции, посвященной 60-летию археологического изучения Новгорода и 90-летию со дня рождения основателя Новгородской археологической экспедиции А. В. Арциховского. Новгород. С. 75–82.

Пушкина Т. А., 1991. Торговый инвентарь из курганов Смоленского Поднепровья // Смоленск и Гнёздово (к истории древнерусского города) / под ред. Д. А. Авдусина. М. С. 226–243.

Рябинин Е. А., 1982. Бусы Старой Ладоги (по материалам раскопок 1973–1975 гг.) // Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего Средневековья : межвуз. сб. / отв. ред. А. Д. Столяр. Л.: Изд-во ЛГУ. С. 165–173.

Рябинин Е. А., 1985. Новые открытия в Старой Ладоге (итоги раскопок на Земляном городище 1973–1975 гг.) // Средневековая Ладога : новые археологические открытия и исследования / отв. ред. В. В. Седов. Л. С. 27–75.

Рябинин Е. А., 1989. Могильник и селище у д. Попово на р. Унже // Раннесредневековые древности Верхнего Поволжья : материалы работ Волго-Окской экспедиции / отв. ред. В. В. Седов. М. С. 127–170.

Рябинин Е. А., 1995. Начальный этап поступления полудрагоценных камней на Север Европы (новые материалы древнейшей Ладоги и их скандинавские аналогии) // Ладога и Северная Русь : чтения, посв. памяти Анны Мачинской. Старая Ладога, 21–22 дек. 1995 г. СПб. С. 56–61.

Рябинин Е. А., 2001. Водская земля Великого Новгорода (результаты археологических исследований 1971–1991 гг.). СПб.

Сафарова И. А., 1996. Бусы Избрижского некрополя // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья : материалы научного семинара / отв. ред. А. Н. Хохлов. Вып. 3. Тверь. С. 65–93.

Седов В. В., 2007. Изборск в раннем Средневековье. М.

Сениченкова Т. Б., 1998. Керамика Ладоги VIII–X вв. как источник для реконструкции культурных процессов на Северо-Западе Руси : автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб.

Соболев В. Ю., 2010. Погребения с южной ориентировкой в курганной группе Которск XI (Плюсский район Псковской области) // Диалог культур и народов средневековой Европы : к 60-летию со дня рождения Е. Н. Носова / отв. ред. А. Е. Мусин, Н. В. Хвощинская. СПб. С. 169–177.

Спицын А. А., 1903. Гдовские курганы в раскопках В. Н. Глазова. СПб. (МАР. № 29).

Станкевич Я. В., 1960. К истории населения Верхнего Подвинья в I и начале II тысячелетия. Древности северо-западных областей РСФСР в I тысячелетии н. э. / отв. ред. М. А. Тиханова. М. ; Л. С. 7–327. (МИА. № 76).

Фехнер М. В., 1959. К вопросу об экономических связях древнерусской деревни // Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. М. С. 149–224. (Труды ГИМ. Вып. 33).

Френкель Я. В., 2007. Опыт датирования пойменной части Гнёздовского поселения на основании коллекции стеклянных и каменных бус (по материалам раскопок 1999–2003 гг.) // Гнёздово : результаты комплексного исследования памятника / отв. ред. В. В. Мурашёва. СПб. С .78–117.

Щапова Ю. Л., 1956. Стеклянные бусы древнего Новгорода // Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. 1 / под ред. А. В. Арциховского и Б. А. Колчина. М. С. 164–179. (МИА 55).

Arbman H., 1940. Birka I : Die Gräber. Tafeln. Stockholm.

Carnap-Bornheim C. von; Ilkjær J., 1996. Illerup Ådal. 5. Die Prachtausrüstungen. Textband. Aarhus. (Jutland Archaeological Society Publikations XXV : 5).

Ciglis J., 2001. Some notes on the chronology of Latgallian and Selonian artefacts in the Middle Iron Age // Archaeologia Lituana. Vol. 2. P. 48–64.

Davidan O. I., 1992. Kunsthandwerkliche Gegenstände des 8. bis 10. Jahrhunderts aus Alt-Ladoga (Sammlung der

Staatlichen Ermitage in St. Petersburg) // Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Jahrgang 20 (Köln ; Bonn). S. 5–61.

Ivanišević V., Kazanski M., Mastykova A., 2006. Les nécropoles de Viminacium à l'époque des grandes migrations. Paris. (Collège de France – CNRS. Centre de recherche d'histoire et civilization de Byzance. Monographies 22).

Kivikoski E., 1939. Die Eisenzeit im Auraflussgebiet. Helsinki. (SMYA XLIII).

Kivikoski E., 1973. Die Eisenzeit Finnlands. Bildwerk und Text. 2nd ed. Helsinki.

Lehtosalo-Hilander P.-L., 1982. Luistari II. The Artefacts Helsinki. (SMYA 82: 2).

Müller A. von., 1970. Karneolperlen aus Haithabu (Ausgrabung 1963–1964) // Das archäologische Fundmaterial I der Ausgrabung Haithabu 1963–1964. Neumünster. S. 53–55. (Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu. Bericht 4).

Petré B., 1984. Arkeologiska undersökningar på Lovö. Del 2. Fornlämning RAÄ 27, Lunda. Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-Europian Archaeology 8).

Tvauri A., 2012. The Migration Period, Pre-Viking Age and Viking-Age in Estonia. Tartu. (Estonian Archaeology, 4).

Wührer B., 2000. Merowingerzeitlicher Armschmuck aus Metall. Montagnac. (Europe médiévale, 2).

Summary

E. R. Mikhailova

Burial Sites with Flat Graves near Kotorskii Pogost: Chronology and the Place of these Burial-Grounds Among Funerary Sites in Eastern Europe's Wooded Zone

This article introduces into the academic literature materials from excavations of flat burial-grounds containing cremations which have been investigated near the village of Kotorskii Pogost in the Plyusskii District of the Pskov Region, which is part of a large range of medieval sites.

The burial-ground which has been the subject of the most detailed investigation is Kotorsk IX situated at the northern end of a low winding ridge surrounded by swampy areas. The level of the burial-ground consists of pale grey sand with humus content, in which small burnt bones, potsherds and melted objects were found. When the trench was cleared down to the virgin soil post-holes were identified, most of which were arranged round the perimeter of an irregular rectangle – possibly the traces of some kind of structure.

All the pottery found in the burial-ground was hand-made: it had possibly been specially made for funerary rituals. The vessels found there were pots with a curved shoulder and without an accentuated profile, jar-like vessels with fluting round the shoulder and small ribbed bowls.

Other items found at the site were mainly pieces of bronze jewellery, glass and stone beads and all the objects bore traces of having been burnt. It was possible to assemble two sets of jewellery: both consisted of beads, a large decorated spiral and a bracelet.

There are parallels for most of the jewellery items to be found in materials from the large barrows of the sopka type and large settlements in North-western Rus. The range of finds makes it possible to give this burial-ground, Kotorsk IX quite a wide date, ranging from the 9th (probably late-9th) to the 11th century.

Slightly to the East of that burial-ground there is a similar one designated as Kotorsk XV. Traces of two other burial-grounds with cremations were also found during excavations of medieval Russian cemeteries with burial-mounds in the same complex.

Flat burial-grounds with cremations which have so far been studied were the earliest cemeteries for the inhabitants of the settlement of KotorskiiPogost. The cemeteries continued to be used for burials after the adoption of Christianity but using a new ritual. In three of the four burial-grounds, which have been studied, burial-mounds containing inhumations had been erected. On one of them a flat grave containing a female skeleton was found.

The burial grounds Vladyshnevo II and Minino II on Lake Kubenskoye correspond precisely to the sites which have been excavated in Kotorsk. It is important to emphasize that the necropoleisin Kotorsk and Lake Kubenskoye which are so far from each other are linked first and foremost by the funerary rite used, while the objects found and the pottery stem from a very similar cultural context.

Burial-grounds containing not burial-mounds but surface cremations are examples of pre-Christian funerary rites of Northern Rus' before Christianity became widespread. In all probability surface burials containing burnt remains represent a very early funerary tradition, which existed throughout the wooded zone of Eastern Europe and was only finally ousted by the burial rituals of the Russian Orthodox Church.



Часть IV

ИСТОЧНИКИ: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ



А. В. Майоров

Малоизвестные списки русских летописей в зарубежных рукописных собраниях

Летописи – важнейший из всех исторических источников. Основной объем современных знаний о Древней Руси получен на основе их изучения. Никакие другие известные ныне письменные памятники – княжеские грамоты и уставы, послания светских и духовных лиц, берестяная почта жителей городов и проч. – не могут сравниться с летописями по полноте и многообразию исторического материала. Можно сказать, что если бы у нас не было летописей, последовательная и более или менее полная история России начиналась, пожалуй, только с эпохи Петра I или, в лучшем случае, Ивана Грозного. А всё, что было прежде, дошло бы до нас лишь в виде смутных легенд и преданий, отдельных юридических актов, весьма тенденциозных и противоречивых свидетельств иностранцев и молчаливых артефактов, добытых археологами.

Русские летописи известны только по их сохранившимся рукописным спискам. Само понятие «летопись» является производным, возникающим в результате сравнительного изучения различных списков, имеющих общую основу. Открытие каждого нового списка приводит к изменению прежних представлений о летописи вообще. Поэтому фундаментальными задачами исторической науки были и остаются поиск и опубликование новых списков летописей, а также других исторических источников.

Самыми важными среди списков летописей считаются наиболее древние и наиболее полные, не имеющие утрат текста. Открытие такого списка сегодня – чрезвычайное событие, ведь их энергичные поиски в нашей стране и по всему миру ведутся уже не одно столетие, и основная масса открытий такого рода была сделана еще в XVIII – начале XIX в. Тем не менее, введение в научный оборот неизвестных ранее рукописей, содержащих тексты древних летописей, иногда происходит и в наши дни.

В 2011 г. Санкт-Петербургским государственным университетом при поддержке фонда «Русский мир» осуществлено издание Берлинского списка Новгородской Первой летописи (Новгородская Первая летопись. Берлинский список, 2011). После Второй мировой войны этот список считался утраченным – сгоревшим вместе со зданием Германской государственной библиотеки на Унтер ден Линден в мае 1945 г. Рукопись не была учтена и даже упомянута ни в одном издании Новгородской Первой летописи, включая академическое издание 1950 г. и издание 2000 г. в составе Полного собрания русских летописей. Берлинский список практически выпал из поля зрения исследователей, о нем нет даже упоминания в многочисленных работах по истории древнерусского и новгородского летописания. Манускрипт был вновь обнаружен в 2008 г. в отделе рукописей – Прусское культурное наследие Государственной библиотеки в Берлине , расположенной на Потсдамер штрассе, 33.

В отличие от всех других списков Новгородской Первой летописи Берлинский список не имеет утрат и повреждений. Он содержит текст младшего извода этого древнейшего и, пожалуй, самого известного памятника русского летописания, отразившего в своих известиях Начальный летописный свод конца XI в., предшествовавший созданию Повести временных лет.

В результате проведенного исследования установлено: рукопись является копией, снятой по заказу В. Н. Татищева в 1738 г. с древнего оригинала – Летописца Сенатского архива. Таковым, по всей видимости, следует считать Академический список, хранящийся ныне в Библиотеке Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Главное значение Берлинского списка состоит в том, что он был снят с Академического списка еще до того, когда в последнем было утрачено свыше 50 листов, содержащих древний летописный текст.

Василий Никитич Татищев (1686–1750) – видный русский государственный деятель, историк и

археограф, собиратель древнерусских летописей и других исторических документов, один из основоположников исторической науки в России.

О принадлежности Татищеву списка 1738 г. (нынешнего Берлинского списка) Новгородской Первой летописи свидетельствует приложенное к рукописи собственноручное письмо историка к некоему не названному по имени лицу, датированное 12 октября 1749 г. В письме говорится о переправке Татищевым в адрес этого лица нескольких принадлежавших историку рукописей, в том числе и копии с летописи попа Иоанна: «посылаю копию с новогородского попа Иоанна» (Новгородская Первая летопись. Берлинский список, 2011, с. 71–73).

Все отправленные Татищевым в адрес его неизвестного корреспондента рукописи, так же как и копия с летописи попа Иоанна, предназначались для последующего «отдания препочтенному королевскому собранию», членом которого русский историк желал стать. Речь идет, несомненно, о Лондонском королевском обществе по развитию знаний о природе (The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge), основанном в 1660 г. и быстро ставшем одним из наиболее авторитетных научных учреждений в мире.

Свое намерение стать членом Лондонского королевского общества Татищев выражал неоднократно. Подобное желание, вероятно, возникло у историка вследствие знакомства с английским купцом и путешественником Дж. Ганвеем, совершившим длительную поездку через Россию в Персию и дважды посетившим Астрахань в бытность Татищева местным губернатором.

Джонас Ганвей (Jonas Hanway) (1712–1786), ставший впоследствии известным литератором, общественным деятелем и меценатом, несколько лет прожил в России, занимаясь торговлей. В 1743 г. Английская торговая компания отправила его как представителя своей главной конторы в Петербурге в Астраханскую губернию и в Персию с особыми полномочиями произвести ревизию деятельности другого английского купца Д. Эльтона, также бывшего членом компании, но перешедшего на сторону персидских властей и угрожавшего интересам России (Cross, 1996, p. 4, 58, 69, 103, 339–340).

Ганвей несколько раз встречался с Татищевым, произведя на него, по-видимому, благоприятное впечатление. Встречи и беседы с астраханским губернатором английский эмиссар подробно описал в одной из своих книг (Hanway, 1754 b).

Ганвею были хорошо известны склонность Татищева к наукам и его многолетние занятия русской историей. Ганвей и Татищев несколько лет состояли в переписке. Отставка Татищева вызвала у его английского знакомого большое разочарование: Ганвей объяснял ее причины завистью к выдающимся способностям экс-губернатора и нелюбовью к нему клерикалов. Возвращаясь из Персии в Петербург в конце 1744 г., Ганвей еще раз навестил Татищева в Астрахани. Между ними состоялся тогда какой-то особо доверительный разговор, в ходе которого Татищеву были сделаны некие заманчивые предложения (Попов, 1861, с. 384 и след.; Бестужев-Рюмин, 1882, с. 59–62; Кузьмин, 1987, с. 291 и след.).

В начале 1745 г. Ганвей вернулся в Петербург и жил там до 1750 г. В июле этого года он покинул Россию, несколько месяцев путешествовал по Европе, посетив Германию и Голландию, и в конце октября вернулся в Англию. Поселившись в Лондоне, Ганвей много занимался литературной деятельностью, опубликовав в печати более семидесяти различных своих работ. Большую известность и общественное признание он снискал в деле благотворительности, став основателем Морского общества, оказывавшего помощь нуждающимся британским морякам, а также занимая пост управляющего Воспитательным домом в Лондоне (Jayne, 1929).

1747 годом датируется письмо, адресованное Татищевым Дж. Ганвею и его компаньону Р. Динглею, также состоявшему при петербургской конторе Английской торговой компании, в котором русский историк прямо заявляет о желании установить связь с Лондонским королевским обществом.

Оригинал письма не сохранился. Однако о его содержании хорошо известно благодаря двойной публикации Ганвеем в 1754 г. второго издания описания своего путешествия к Каспийскому морю на английском и немецком языках. В обоих изданиях был приведен текст письма Татищева соответственно в английском и немецком переводах (Hanway, 1754 a, s. 83, 85).

Русский историк доводил до сведения английских негоциантов свое уважение к Лондонскому королевскому обществу и особое расположение к английскому народу вообще. «Вам известно, – говорится в письме, – что почти 30 лет, как я предпринял писать русскую историю, которую намереваюсь теперь закончить, и затем надеюсь, что она будет вскоре издана к удовольствию ученого мира». Изложив далее содержание первой и второй частей своей «Истории Российской», Татищев говорит о намерении посвятить ее королевскому обществу.

Историк собирался также представить на суд общества полный текст своего сочинения. Однако для этого ему нужно было найти хорошего переводчика, так как автор не решался посылать в Англию свой труд в оригинале. Татищев считал, что сначала нужно перевести «Историю…» на немецкий язык, поскольку этот язык он сам понимает и в состоянии исправить каждую вкравшуюся ошибку. Когда же немецкий перевод будет сделан, то нетрудно будет переводить и на другие языки. Заканчивал письмо историк просьбой о присылке ему двух переводчиков на немецкий язык (В XIX в. были опубликованы

русские переводы письма Татищева с английского (Г. Н. Геннади) и немецкого (П. П. Пекарский) изданий (Библиографические записки, 1859, с. 628–629; Пекарский, 1864, с. 5–6; Андреев, 1994, с. 34–35).

Таким образом, Татищев рассчитывал, что Ганвей и его компаньон смогут оказать ему реальную протекцию в установлении отношений с Лондонским королевским обществом, на суд которого он собирался представить немецкий или английский перевод «Истории Российской».

Дело с переводом, однако, слишком затянулось, и Татищев, видимо, решил ограничиться отправкой в Лондон оригиналов нескольких своих произведений, а также оригинала и копии двух найденных им русских летописей: «Прошедшего Сент[ября]. 17 д[ня] я послалъ къ вамъ для отдания препочтенному королевскому собранию русскую географию, а 1 сего месяца чрез лекаря Фреера (или Фреира, в оригинале письма неразборчиво. – А. М.) древний манускрыптъ русской истории, ныне третии посылаю: копию с новогородского попа Иоанна, а при томъ новейшая карта Оренбургской губернии, какой, чаю, есче не имели».

Кто же был получателем рукописей Татищева, взявшимся помогать ему в переговорах с Лондонским королевским обществом, в чей адрес была отправлена в том числе и «копия с новгородского попа Иоанна» – нынешний Берлинский список Новгородской Первой летописи?

В письме русского историка, приложенном к Берлинскому списку, получатель рукописи не назван по имени: Татищев обращается к нему в безличной форме – «Государь мой» или «васъ, моего Государя». Однако некоторые подробности, содержащиеся в письме и указывающие на особый характер взаимоотношений корреспондентов, дают определенные основания для идентификации личности адресата.

В конце письма Татищев переходит к личным просьбам более деликатного свойства, свидетельствующим, с одной стороны, о сугубо доверительном характере его отношений с получателем письма, а с другой стороны, определенно указывающим на род занятий последнего.

Итак, письмо Татищева завершается просьбой об оказании ему нескольких личных услуг, а также выяснению вопроса об уплате денег за аналогичные услуги, оказанные ранее. «Просилъ я васъ моего Государя о присылке мне дву паръ лучшихъ шелковыхъ чулокъ цветомъ дикихъ или серых и о часахъ стенныхъ болшихъ с четвертми; и кому денги за присланные стухтоновъ алексиръ и чернилной порошокъ отдать, на оное отповеди не получилъ, прошу меня о томъ уведомить, а ежели что для меня куплено, съ симъ моимъ посланнымъ человекомъ прислать».

Приведенный отрывок не оставляет сомнений в том, что Татищев поддерживал постоянные отношения и вел регулярную переписку со своим корреспондентом. Наряду с пересылкой рукописей и обсуждением планов по представлению трудов русского историка Лондонскому королевскому обществу, Татищев неоднократно просил своего корреспондента поставлять ему в подмосковное имение разнообразные товары для личного пользования – настенные часы, чулки, чернильный порошок и даже медицинский препарат.

Регулярно поставлять товары в столь широком ассортименте и принимать новые заказы от состоятельного клиента мог, разумеется, только купец, специально занимающийся поставками высококачественных иностранных товаров в Россию под индивидуальный заказ.

В письме Татищева есть еще один след, позволяющий предельно сузить круг лиц, могущих быть его получателями. Татищев благодарит адресата за поставленный ему ранее «стухтоновъ алексиръ». Речь здесь идет, несомненно, об одном из самых популярных в XVIII в. медицинских препаратов английского производства – так называемом «Большом желудочном эликсире Стогтона» (Stoughton's Elixir Magnum Stomachii). Английский аптекарь Ричард Стогтон запатентовал свое ставшее знаменитым изобретение в 1712 г. Во избежание подделок изобретатель использовал для разлива своего препарата уникальные фигурные бутыли больших размеров. Необычный внешний вид бутылей, используемых Р. Стогтоном, также способствовал популярности его препарата. В английском языке даже появилось идиоматическое выражение «стогтонская бутыль», обозначающее большого и неуклюжего человека (Griffenhagen, Bogard, 1999, p. 72).

Товар, подобный эликсиру Стогтона, мог поставляться в Россию только из Англии, и такие поставки официально осуществлялись только через Английскую торговую компанию.

В окружении Татищева нам известны только два человека, кто мог бы одновременно выполнять столь разные задачи – быть посредником в переговорах с королевским обществом и поставщиком английских товаров и медикаментов. Это упомянутые выше Дж. Ганвей, в 1745–1750 гг. постоянно живший и ведший торговлю в Петербурге, и его компаньон Р. Динглей, к которым еще в 1747 г., как мы видели, Татищев обращался с просьбой о содействии в переговорах с королевским обществом.

Из двух названных английских купцов-компаньонов, проживавших в Петербурге и ведших свой бизнес в России, на роль посредника в делах Татищева с Лондонским королевским обществом и, следовательно, получателя летописи попа Иоанна и других рукописей в 1749–1750 гг. более всего, на наш взгляд, подходил Дж. Ганвей. Он же и был получателем татищевского письма от 12 октября 1749 г. с упоминанием всех отправленных для передачи в Лондон рукописей.

Очевидно, выполнить поручение Татищева Ганвей намеревался лично. Срок его пребывания в России подходил к концу, и на 1750 г. планировался отъезд в Англию. Этим обстоятельством, надо думать, и объясняется несколько поспешная отсылка ему Татищевым осенью 1749 г. в три приема подряд целой партии предназначавшихся для общества манускриптов.

9 июля 1750 г. Ганвей, судя по его запискам, действительно навсегда покинул Петербург и выехал из России. Этот отъезд практически совпал по времени с кончиной Татищева, последовавшей 15 (26) июля 1750 г.

Выехав из России, английский купец не спешил возвращаться на родину. Конец июля, август, сентябрь и большую часть октября 1750 г. он провел в Европе, посещая разных своих знакомых в Германии и Голландии.

Именно в Голландии обнаруживаются дальнейшие следы бывшей у Ганвея татищевской копии летописи попа Иоанна – нынешнего Берлинского списка Новгородской Первой летописи. Возможно, получив известие о смерти русского историка, английский купец счел себя свободным от всех ранее данных покойному обязательств, а его имущество в виде нескольких рукописей, предназначавшихся для Лондонского королевского общества, попросту присвоил.

После долгого перерыва о нынешнем Берлинском списке Новгородской Первой летописи стало известно в 1824 г. В этом году в Гааге был опубликован каталог библиотеки Г. и Й. Меерманов, в четвертом томе которого под № 1092 значилась рукопись на славянском языке, озаглавленная «О князьях и России с 853 по 1436 г.»; далее указывалось, что рукопись происходит из архивов Сената, написана в 1444 г. и переписана в 1738 г., имеет старинный переплет (Bibliotheca Meermanniana, 1824, vol. III–IV, nr. 1092, p. 180).

Известный ученый-правовед из Гааги Герард Меерман (1722–1771), а также его сын, видный общественный и государственный деятель Соединенных провинций Нидерландов Йохан Меерман (1753–1815) создали одно из наиболее значительных частных книжных собраний в Европе. Много путешествуя по миру, Меерманы приобретали древние письменные документы и манускрипты, инкунабулы, а также карты и гравюры с видами городов, в которых они побывали. Со временем такие поездки превратились в настоящие археографические экспедиции, продолжавшиеся по несколько лет и сопровождавшиеся составлением подробных отчетов и книжных описаний (Uitvinding der boekdrukkunst, 1767).

Вскоре после вторжения в Нидерланды в 1795 г. войск революционной Франции Йохан Меерман, принадлежавший к партии оранжистов, лишился всех своих государственных постов, в том числе был вынужден сложить с себя полномочия регента (т. е. депутата Генеральных штатов Соединенных провинций) и удалиться в изгнание. В 1797 г. он вместе с семьей и домочадцами покинул Нидерланды и вскоре прибыл в Россию, где провел более двух лет (1798–1800). Меерман объездил множество русских городов, подолгу жил в Петербурге, Новгороде и Москве (Хелл, 2000).

Если следовать размещению описаний книг в аукционном каталоге библиотеки Меерманов 1824 г., нынешний Берлинский список Новгородской Первой летописи помещается среди описаний книг той части библиотеки, которая была собрана и принадлежала еще Меерману-отцую. К такому же выводу, анализируя каталог гаагского аукциона 1824 г., пришел и Г. Л. Гейерманс: следующий владелец рукописи Т. Филиппс приобрел ее «в 1824 г. на аукционе в Гааге в составе собрания рукописей голландского правоведа Герарда Меермана (1722–1771 гг.)» (Гейерманс, 1940, с. 168). Это значит, что рукопись 1738 г. с текстом русской летописи, происходящей из архивов Сената, была приобретена основателем гаагского книжного собрания Герардом Меерманом. Наиболее подходящий для такой покупки случай мог представиться в 1750 г., когда в Гааге находился прибывший из Петербурга английский купец Дж. Ганвей, доверенное лицо В. Н. Татищева, привезший с собой принадлежавшие последнему рукописи, в том числе и упомянутый список летописи из Сенатского архива.

Вскоре после смерти Й. Меермана его наследники приняли решение продать семейную коллекцию. С этой целью в июне 1824 г. в Гааге был устроен публичный аукцион. Большую часть книжной коллекции Меерманов приобрел тогда один из их родственников барон Виллем Хендрик Якоб Вестреенен ван Тиланд (1783–1848), приходившийся племенником Йохану Меерману. Вестреенен ван Тиланд продолжил дело Меерманов и значительно пополнил коллекцию новыми приобретениями. Он завещал свое собрание Нидерландам с условием, чтобы все оно целиком хранилось в его доме, в котором на средства государства был бы устроен общедоступный музей, носящий имя Меерманов и Вестреенена.

Сколь ни велики были старания сохранить уникальное книжное собрание Меерманов в Нидерландах, некоторая его часть после аукциона 1824 г. все же оказалась за пределами страны. Среди манускриптов, проданных иностранцам, был список 1738 г. Новгородской Первой летописи.

Новым владельцем рукописи стал один из самых выдающихся коллекционеров XIX в., английский баронет Томас Филиппс (1792–1872). Будучи внебрачным сыном текстильного фабриканта и унаследовав от своего отца значительное состояние, Филиппс истратил его на покупку редких письменных документов и манускриптов. В результате ему уда-

лось создать крупнейшее в истории частного коллекционирования собрание рукописей, особенно значительной была его коллекция манускриптов, писанных на пергамене (Bell, 2004).

Начав приобретение старинных книг еще будучи студентом Оксфордского университета, Филиппс в итоге владел коллекцией, насчитывавшей примерно шестьдесят тысяч рукописных и пятьдесят тысяч редких печатных книг. Это была самая большая в мировой истории коллекция, собранная одним человеком в течение его жизни. Одержимость, с которой действовал Филиппс, разыскивая и приобретая новые книги, нередко вызывала непонимание и даже осуждение окружающих; за собирателем прочно закрепилась репутация «книжного маньяка» (Bell, 2004, p. 121).

В поместье Миддл Хилл в графстве Уочестершир, а затем в Тёрльстейн Хаус в Челтенхэме, куда Филиппс переехал в 1864 г., не оставалось места для проживания не только возможным гостям семейства, но и самим домочадцам: все жилые помещения были заполнены книгами, гравюрами и манускриптами. По воспоминаниям очевидцев, книги и рукописи лежали повсюду – в столовой, в кладовых, на ступенях лестниц, на полу и в бельевых шкафах. Взрослые дочери Филиппса долгие годы не могли выйти замуж, так как им негде было принимать своих женихов (Кунин, 1984; Богенг, 1993, с. 159–164).

В конце жизни баронет попытался передать свою уникальную коллекцию в собственность британского народа. С этой целью он вступил в переписку с тогдашним канцлером государственного казначейства Б. Дизраэли (будущим премьер-министром Великобритании), добиваясь приобретения всех его книг Британской библиотекой. Переговоры шли очень долго, так и не увенчавшись успехом. В результате уникальная коллекция после смерти владельца была распродана по частям, чтобы покрыть его многочисленные долги.

Главными покупателями рукописей Филиппса стали Прусская королевская библиотека, Королевская библиотека Бельгии и Провинциальный архив в Утрехте. Часть книг отправилась за океан, пополнив фонды библиотек Дж. П. Моргана (Нью-Йорк) и Г. Э. Хантингтона (Лос-Анджелес). (В 1946 г. все книги, какие еще оставались от библиотеки Филиппса, были проданы оптом лондонским книготорговцам Ф. и Л. Робинсонам за сто тысяч фунтов стерлингов. Еще несколько десятилетий продолжались распродажи с аукционов. Последняя часть библиотеки была продана в США в 1977 г. (Munby, 1951–1960)).

В год 1150-летия Российского государства Санкт-Петербургским университетом подготовлено еще несколько научных изданий новых и малоизвестных списков русских летописей и средневековых памятников исторической мысли. Среди них – хранящиеся в Британской библиотеке в Лондоне список Вологодско-Пермской летописи и лицевой список Сказания о Мамаевом побоище, а также лицевой список Александрии из Библиотеки Честер Битти в Дублине. Готовится к печати Варшавский список Псковской Первой летописи, найденный в отделе рукописей Польской национальной библиотеки.

Лондонский список Вологодско-Пермской летописи содержит древнейшую редакцию памятника, что еще не было вполне установлено при первом издании летописи в 1959 г. (ПСРЛ. Т. 26), но признается всеми новейшими исследователями.

В результате исследований В. И. Буганова, открывшего ряд новых списков Вологодско-Пермской летописи (Румянцевский, Беловского, Оссолиньских), стало очевидным, что Лондонский список создан между 1499 и 1502 гг. и является «особым вологодско-пермским летописным сводом – источником для позднейших сводов 1520-х и 1550-х гг.» (Буганов, 1963, с. 158–165). В. И. Буганов, в 1975–1996 гг. являвшийся руководителем изданием Полного собрания русских летописей, неоднократно высказывался насчет особой научной ценности и необходимости издания Лондонского списка. К такому же выводу пришел Я. С. Лурье, специально изучавший этот список и его взаимоотношения с другими летописями (Lur'e, 1972, p. 91–93).

Лондонский список представляет собой один из важнейших этапов создания общерусского летописания – Великокняжеский свод 1472 г. Этот свод – самый ранний из известных ныне памятников летописания Русского централизованного государства. При его создании использовались многие древние летописи, не дошедшие до нашего времени (Лурье, 1976, с. 122–149).

Только Лондонский список (в отличие от всех других списков Вологодско-Пермской летописи, а также близких к ней летописей) имеет обширную начальную часть, где отдельно от основного текста помещены: сведения о расселении славянских племен, походе на Царьград князя Олега, тексты договоров Руси с греками X в., подробный рассказ о принятии христианства князем Владимиром, статьи о Борисе и Глебе, Повесть о взятии Царьграда фрягами в 1204 г., Повесть о битве на Калке, Повесть о нашествии Батыя, рассказ о смерти Александра Невского, Повесть об убиении Михаила Черниговского в Орде, Послание новгородского архиепископа Василия к тверскому епископу Федору о земном рае. Все эти тексты – подготовительные материалы к Великокняжескому своду 1472 г., почерпнутые из ранних источников (частично утраченных). По мнению Я. С. Лурье, они специально вынесены древним составителем в начало списка как наиболее ценные.

Вторая и третья редакции Вологодско-Пермской летописи (представленные Академическим и Кирилло-Белозерским списками) принципиально

отличаются от Лондонского списка. Эти редакции соединяют великокняжеское летописание более позднего периода (20-х и 30-х гг. XVI в.) с Пермско-Югорской и Вологодской летописями. Вплоть до 1526 г. текст второй и третьей редакций близок к тексту Воскресенской летописи; это дает основание предполагать, что они восходят к общему протографу – своду 20-х гг. XVI в.

Поскольку достоверность сообщений поздних списков летописи проверяется путем соотнесения их с известиями более ранних списков, Лондонский список имеет ключевое значение при верификации оригинальных известий Вологодско-Пермской летописи за 1480–1499 гг., которые отсутствуют во всех других русских летописях и носят уникальный характер. Задачей отечественной археографи должно стать новое критическое издание Вологодско-Пермской летописи, в основу которого должен быть положен Лондонский список как содержащий наиболее раннюю редакцию памятника.

Особое значение для истории отечественной культуры имеют средневековые лицевые рукописи, посвященные важнейшим событиям русской истории, передающие их смысл изобразительными средствами. К числу таковых, прежде всего, относятся литературные памятники Куликовского цикла, украшенные высокохудожественными живописными миниатюрами.

Для истории нашей страны невозможно переоценить значение победы на Куликовом поле, оказавшей огромное влияние на всю последующую историю России, не только политическую, но, прежде всего, социально-психологическую. В короткое время победа стала легендой, своего рода символом возрождения Русского государства. Пожалуй, ни одному событию в истории Древней Руси не было посвящено столько художественных произведений, без преувеличения вошедших в золотой фонд мировой культуры. Наиболее ярким и содержательным из них является Сказание о Мамаевом побоище. Именно Сказание впервые сообщает известные ныне со школьной скамьи подробности об атаке засадного полка под предводительством князя Владимира Храброго и воеводы Дмитрия, решившей исход битвы, повествует о знаменитом поединке инока Пересвета с татарским богатырем Челубеем и др.

Среди известных ныне списков Сказания выделяются, прежде всего, лицевые рукописи, многие из которых являются выдающимися произведениями средневекового изобразительного искусства. Изготовление таких манускриптов требовало особого мастерства, во все времена лицевые рукописи представляли собой исключительную художественную и материальную ценность.

Большинство известных ныне лицевых списков Сказания находится в нашей стране, давно введены в научный оборот и являются предметом постоянного внимания исследователей. Часть из них опубликована в виде факсимильных изданий по случаю юбилея Куликовской битвы, широко отмечавшегося в 1980 г. (списки Российской государственной библиотеки № 3123, 3155, Государственного исторического музея № 1435, 999а, миниатюры Лицевого летописного свода Ивана Грозного).

До настоящего времени неизданной остается лицевая рукопись, хранящаяся в Британской библиотеке. О существовании ее известно с 1958 г., когда профессором Кембриджского университета Элизабет Хилл было сделано специальное сообщение на IV Международном съезде славистов в Москве (IV Международный съезд славистов, 1962, с. 169–173). О необходимости опубликования и тщательного изучения Лондонского списка Сказания неоднократно высказывались крупнейшие отечественные ученые – Д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев и др. (Дмитриев, 1974, с. 156–179). Однако из-за сложностей во взаимоотношениях между СССР и Великобританией, а также высокой стоимости копирования и издания публикация рукописи долгое время была невозможной.

Лондонский лицевой список Сказания о Мамаевом побоище содержит 64 живописные миниатюры высокого художественного уровня, из которых 14 не встречаются в других известных ныне списках Сказания и признаны уникальными. Кроме того, миниатюры Лондонского списка восходят к наиболее ранним образцам русской живописи Куликовского цикла конца XV – начала XVI в., а текст Сказания по Лондонской рукописи более всего близок к протографу памятника, также датируемому концом XV в. Все это придает лицевой рукописи Британской библиотеки значение основного списка при изучении Сказания о Мамаевом побоище.

В последнее время стали известны новые обстоятельства в отношении Лондонского списка Сказания. Он является второй частью древнего сборника, первую часть которого составлял лицевой список Александрии – средневекового романа об Александре Македонском (Петров, 2005, с. 54–64). Этот список Александрии также сохранился и находится ныне в Библиотеке Честер Битти в Дублине. На официальном сайте Британской библиотеки он ошибочно атрибутирован как лицевой список Жития Александра Невского (http://www.bl.uk).

Популярность романа об Александре в Древней Руси была настолько велика, что имя его главного героя – царя Александра – вошло в именослов русских князей (например, князь Александр Невский и др.). Чтобы избежать нарушения христианского канона имянаречения (поскольку македонский царь Александр, как известно, не был не только христианским святым, но даже и христианином), для русских князей, нарекаемых при крещении этим име-

нем, приходилось подбирать других христианских патронов с именем Александр, прославленных церковью, но не столь популярных, как царь Александр Великий.

Дублинский список Александрии до настоящего времени остается неизученным, его значение и соотношение с другими списками Александрии не определены. Таким образом, Дублинский список остается, по существу, не введенным в научный оборот памятником, как и весь древнерусский рукописный сборник неизвестного пока происхождения, первой частью которого он является.

Источники и литература

Андреев А. И., 1994. Труды В. Н. Татищева по истории России // Татищев В. Н. Собр. соч. М. Т. I.

Бестужев-Рюмин К. Н., 1882. Биографии и характеристики: Татищев, Шлецер, Карамзин, Погодин, Соловьев, Ешевский, Гильфердинг. СПб.

Библиографические записки. 1859. № 20.

Богенг Г. А. Э., 1993. Коллекции автографов / пер., предисл. и примеч. Л. Г. Климанова // Книга : исследования и материалы. М. Сб. 65.

Буганов В. И., 1963. О списках Вологодско-Пермского свода конца XV – начала XVI в. // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран : сб. ст. к 70-летию акад. М. Н. Тихомирова. М.

Гейерманс Г. Л., 1940. Татищевские списки Русской Правды // Проблемы источниковедения. М. ; Л. Сб. 3.

Дмитриев Л. А., 1974. Лондонский список «Сказания о Мамаевом побоище» // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Л. Т. 28.

Кузьмин А. Г., 1987. Татищев. М.

Кунин В. В., 1984. Библиофилы и библиоманы. М.

Лурье Я. С., 1976. Общерусские летописи XIV–XV вв. Л.

Новгородская Первая летопись. Берлинский список / Н. М. Кропачев, вступ. ст.; А. В. Майоров, иссл. СПб., 2011. (Письменные памятники истории и культуры России в собраниях зарубежных архивов и библиотек. Т. I).

Пекарский П., 1864. Новые известия о В. Н. Татищеве. СПб.

Петров А. Е., 2005. «Александрия Сербская» и «Сказание о Мамаевом побоище» // Древняя Русь: вопросы медиевистики. № 2 (20).

Попов Н. А., 1861. В. Н. Татищев и его время. Эпизод из государственной, общественной и частной жизни в России первой половины прошедшего столетия. М.

Хелл И. ван., 2000. Путешествующий библиофил. Йохан Мееpман в Петербурге и Москве (1798–1800) // Россия – Голландия: книжные связи XV–XX вв. / отв. ред. Н. П. Копанева. СПб.

IV Международный съезд славистов : материалы дискуссии. Т. I : Проблемы славянского литературоведения, фольклористики и стилистики. М., 1962.

Bell A., 2004. Phillipps, Sir Thomas, baronet (1792–1872) // Oxford Dictionary of National Biography. Oxford.

Bibliotheca Meermanniana; sive Catalogus librorum impressorum et codicum manuscriptorum, quos maximam partem collegerunt viri nobilissimi Gerardus et Joannes Meerman: morte dereliquit Joannes Meerman, toparcha in Dalem et Vuren, etc., etc.: quorum publica fiet auctio die VIII sqq. junii, anni MDCCCXXIV Hagae Comitum in aedibus defuncti : per bibliopolas S. et J. Juchtmans, Lugduno-Batavos, fratres Van Cleef, Haganos et Amstelodamenses, et B. Scheurleer, Haganum. Hagae Comitum, 1824. Vol. III–IV.

Cross A., 1996. By the Banks of the Neva Chapters from the Lives and Careers of the British in Eighteenth-century Russia. Cambridge.

Griffenhagen G., Bogard M., 1999. History of Drug containers and their labels. Madison.

Hanway I., 1754 a. An historical account of the British trade over the Caspian sea: with the author's journal of travels from England through Russia: into Persia; and back through Russia, Germany and Holland. To which are added, the revolutions of Persia during the present century, ... The second edition, revised and corrected. London.

Hanway I., 1754 b. Zuverlässige Beschreibung seiner Reisen von London durch Russland, Persien etc. Hamburg; Leipzig.

Jayne R. E., 1929. Jonas Hanway: Philanthropist, Politician and Author (1712–1786). London.

Lur'e J. S., 1972. London and Lvov MSS of the Vologda & Perm Chronicle // Oxford Slavonic Papers. N. S. Vol. 5.

Munby A. N. L. Phillipps Studies. Cambridge, 1951–1960. Vol. 1–5.

Uitvinding der boekdrukkunst, getrokken uit het Latynsch werk van Gerard Meerman met ene voorreden en aantekeningen van Henrik Gockinga; hierachter is gevoegt ene lyst der boeken, in de Nederlanden gedrukt voor't jaar MD, opgestelt door Jakob Visser. Amsterdam, 1767.

Summary

A. V. Maiorov

Little-Known Manuscript Copies of Russian Chronicles in Foreign Collections of Manuscripts

This article is devoted to foreign publications of new and little-known manuscript copies of Russian chronicles and medieval works reflecting historical thought compiled by the University of St. Petersburg and supported by the «Russian World» foundation.

In 2011 the Berlin manuscript copy of the Novgorod Primary Chronicle was published: it had been found several years earlier in the Manuscripts Department of the State Library in Berlin. After the Second World War the manuscript copy was believed to have perished in fire. It contains the text of the chronicle's latest recension – the most ancient and probably the most famous work in the field of Russian chronicles. Unlike all other manuscript copies, the Berlin manuscript is the only one which is complete and which has not suffered damage. The manuscript is a copy made on the instructions of V. N. Tatishchev in 1738 from the ancient original – by the chronicler from the Senate Archives. After Tatishchev's death the manuscript was sold in the Netherlands. At the end of the 19th century it was acquired by the Prussian Royal Library.

An edition of the London manuscript copy of the Vologda-Perm Chronicle, written between 1499 and 1502, has also been prepared for publication. This manuscript copy contains the earliest version of the chronicle – the Grand-Ducal Code dating from 1472. When the chronicle was first published in 1959 the above details had not been firmly established. The London manuscript copy is of key importance for verification of the original information provided in the Vologda-Perm Chronicle for 1480–1499, which is not to be found in any other Russian chronicle and is therefore of a unique character.

Back in 1958 it became known that a manuscript copy of Legend of Mamaev's Battle was held in the British Museum. For a long time that manuscript copy was not published. The London manuscript copy of the Legend contains miniatures of high artistic quality and some of them are not found in other manuscript copies known about so far. The miniatures can be traced back to the earliest examples of Russian painting from the Kulikovo Cycle dating from the end of the 15th or beginning of the 16th century and the text of the Legend as presented in the London manuscript copy is closest of all to the protograph of the work, which has also been dated to the end of the 15th century.

In addition a Warsaw manuscript copy of the Pskov Primary Chronicle is also being prepared for publication: it was found in the Manuscript Department of the Polish National Library.

Т. Б. Сениченкова

Керамика Ладоги VIII–X вв. как источник для реконструкции культурных процессов на Северо-Западе Руси

Ладога – ключевой памятник для решения целого круга проблем раннесредневековой истории Руси и Балтийского региона в целом. Интереснейшие находки археологов, стратифицированный культурный слой с выверенными дендродатами, начиная с середины VIII в., – все это привлекает к нему внимание исследователей. Материалы Ладоги широко используются в работах отечественных и зарубежных археологов и историков, посвященных периоду образования Древнерусского государства и, в частности, роли в этом процессе выходцев из Скандинавии (см., например: Кирпичников, Лебедев, Булкин, Дубов, Назаренко, 1980; Кирпичников, 1988; Кирпичников, Сарабъянов, 2003; Лебедев, 2005, с. 447–505; Мачинский, Мачинская, 1988; Мачинский, 2009; Свердлов, 2003, с. 96, 100–101, 108–109, 116–119; Толочко, 1999; Франклин, Шепард, 2009, с. 29–43, 60–64, 98–104; Łosiński, 1980; Stalsberg, 1982; Jansson, 1987). Среди исследователей нет единства в интерпретации отдельных этапов развития поселения. Иногда в той или иной форме высказывается сожаление, что выводы нельзя подкрепить анализом самого массового материала – керамики. Одни исследователи хотели бы с ее помощью определить состав первых поселенцев (Давидан, 1986, с. 103), для других важно уточнить хронологию памятников Северо-Запада и получить датировку посуды не в целом, а по типам в пределах VIII и IX вв. (Носов, 1990, с. 150), для третьих при поиске истоков культуры сопок «камнем преткновения» остается вопрос о происхождении керамики с ребром, называемой в литературе керамикой «ладожского типа» (Кузьмин, 2001, с. 68).

Целью данной работы является характеристика ладожской лепной керамики VIII–X вв. и определение её источниковедческих возможностей.

Изучение технологических особенностей изготовления керамики показало, что приемы, которыми пользовались ладожские гончары, были хорошо известны в лесной зоне Восточной Европы в I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. (Бобринский, 1978.). Вся керамика изготовлена практически по одному рецепту – из глины с включениями дресвы. В единичных случаях отмечается использование растительных примесей, но не исключено, что они имеют естественное происхождение.

Выявлены две программы конструирования сосудов: донно-емкостная и донная, причем, видимо, преобладает первая. Удалось достоверно зафиксировать один способ конструирования полого тела сосуда: кольцевой налеп. В древностях I тыс. н. э. он известен очень широко на памятниках различных культур лесной зоны Восточной Европы и уже не может служить отличительным признаком. В единичных случаях фиксируется очень архаичный способ соединения лент сосуда (т. н. «по желобчатому торцу»), когда верхняя лента как бы «вмазывается» в нижнюю, известный на Северо-Западе с эпохи неолита (Гурина, 1967, с. 34). Два вида начинов при одинаковом способе изготовления полого тела свидетельствуют, по мнению А. А. Бобринского, о глубоко зашедшем процессе смешивания носителей различных культурных традиций: в данном случае проявляется тенденция к сращиванию этих традиций (Бобринский, 1978, с. 170).

Большая часть ладожской керамики имеет гладкую поверхность, заглаженную, видимо, мокрой рукой. Зафиксированы также следы заглаживания поверхности сосудов травой и обработки деревянной лопаткой. Заглаживание травой иногда рассматривается как подражание штрихованной керамике более раннего времени. Однако такой способ обработки поверхности встречается не только в культуре штрихованной керамики, но и в других культурах раннего железного века: днепро-двинской, милоградской, дьяковской. В единичных случаях на ладожской посуде отмечены следы от заглаживания травой внутри сосуда. Такой прием имеет аналогии

в культурах штрихованной керамики, дьяковской и в древностях т.н. «эпохи раннего металла» на Северо-Западе. Я. В. Станкевич отмечала, что ладожские гончары сохранили более древние технологические традиции, «известные по памятникам городецкого и позднедьяковского типа» (Станкевич, 1950, с. 211–212, 216). К сожалению, конкретизировать истоки тех или иных приемов гончарства не удается (Сениченкова, 1998; Сениченкова, 2005).

Характер источника обусловил создание двух дополняющих друг друга классификационных схем (подробно см.: Сениченкова, 1998), предназначенных для археологически целых форм (рис. 1–3, типы обозначены римскими цифрами и литерой Ф) и для определимых фрагментов керамики (рис. 4, типы обозначены арабскими цифрами). Установлено, что набор форм посуды не находит полных аналогий ни в одной из культур предшествующего времени, хотя истоки отдельных типов, кажется, можно проследить.

Типы керамики 2, 4, 6, 8, 9 (рис. 4), на долю которых приходится не более 14 %, по характерным особенностям (специфические формы, орнаментация) находят аналогии среди культур Фенноскандии, относимых обычно к балтским и финским древностям.

Типы 1, 3 и 5 (на их долю приходится около 80 %) занимают ведущее положение во всех горизонтах поселения от Е3-3 до Д. (таблица I). Слабопрофилированные сосуды типа 5 в третьей четверти I тыс. н. э. встречаются в культуре псковских длинных курганов (КПДК) (по классификации Н. В. Лопатина, они наиболее характерны для Псковско-Чудского и Двинско-Ловатского регионов, см.: Лопатин, 2003, с. 54–55; рис. 3: 3; рис. 4: 3, 9; рис. 6: 3, 4, 6), на памятниках удомельского типа (Исланова, 1997, рис. 35: 3, 8, 9, 18; рис. 36: 3, 4, 7, 9, 10; рис. 39), в конце I тыс. – в культуре сопок (Петренко, 1994, с. 71, рис. 29: 1). Сосуды типа 3 (с S-видным профилем) являются широко распространенной формой. Они встречаются в третьей четверти I тыс. н.э. в КПДК: по Н. В. Лопати-

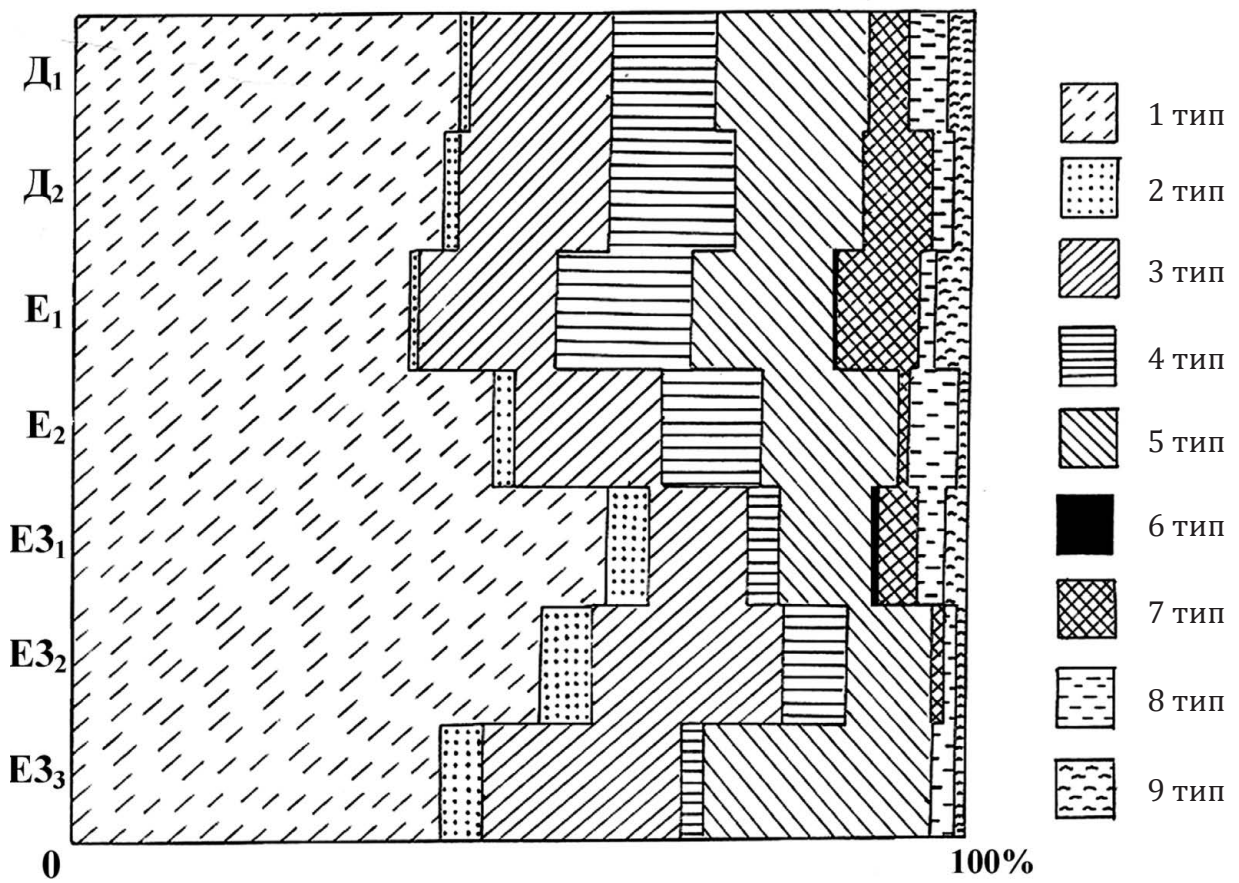
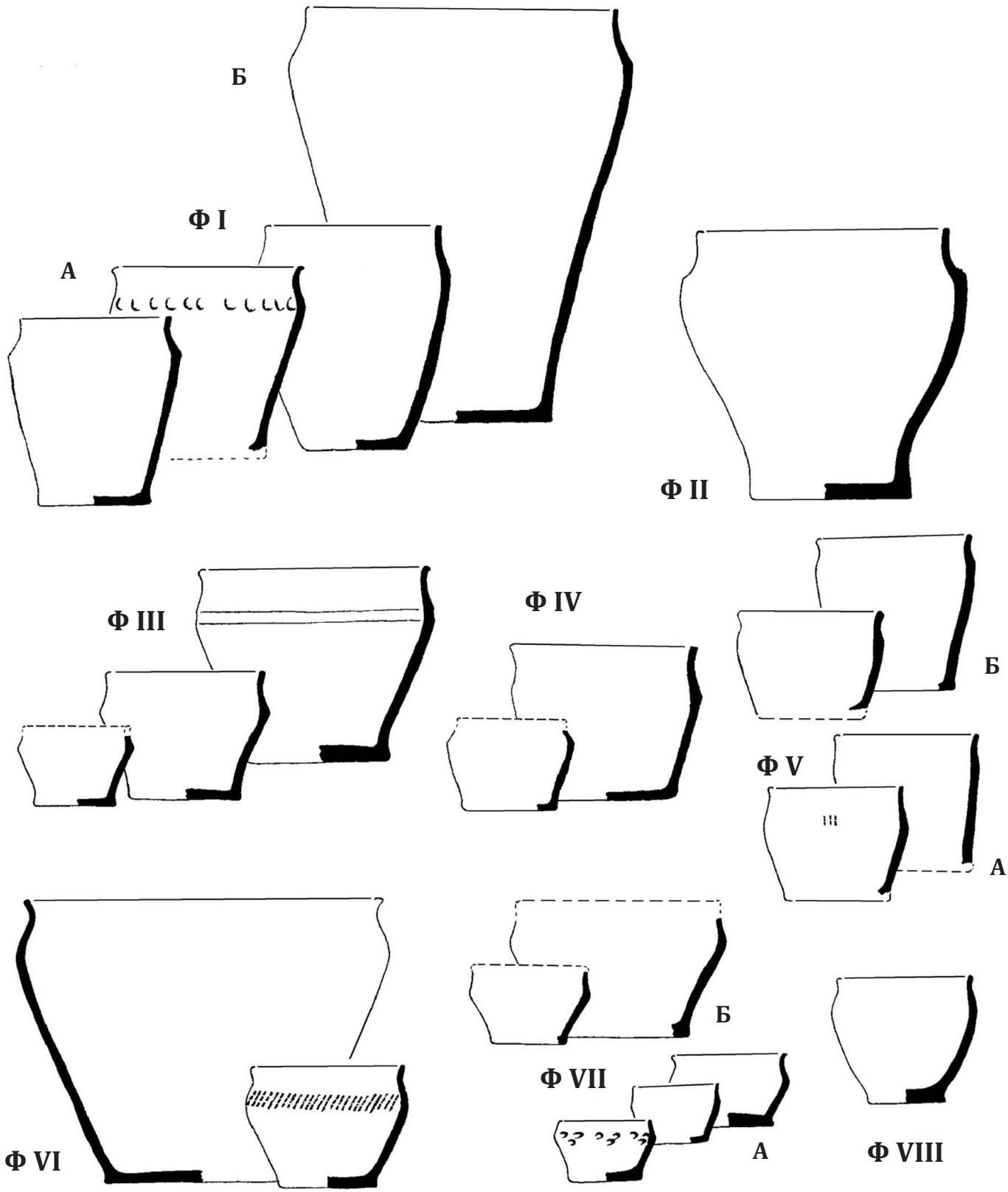


Таблица I. Распределение типов верхних частей сосудов по горизонтам Земляного городища (сер. VIII–X в.)


Б
Ф I
А
Ф II
Ф III
Ф IV
Б
Ф V
А
Ф VI
Б
Ф VII
А
Ф VIII

ну, чаще в Мстинско-Валдайском регионе (Лопатин, 2003, с. 55; рис. 8: 2, 3; рис. 9: 7, 9.) и на памятниках удомельского типа (Исланова, 1997, с. 179, рис. 37: 3, 8, 9, 10). В последней четверти I тыс. н. э. – в смоленских длинных курганах (КСДК) второй традиции, по В. В. Енукову, имеющих сходство в керамическом комплексе с более южными, достоверно славянскими памятниками (Енуков, 1990, с. 89; рис. 40: 7–16), и в культуре сопок (Петренко, 1994, с. 71, рис. 29: 2). Тип 1 – сосуды, у которых переход плечика в тулово оформлен в виде ребра (т. н. керамика «ладожского типа»), встречаются в последней четверти I тыс. н. э. довольно широко – от Швеции до Ярославского Поволжья, правда, их процентное соотношение с другими типами посуды в разных регионах различно. Такие сосуды составляют примерно половину в керамическом комплексе памятников Приильменья и Поволховья, относимых к культуре сопок. Их происхождение пока не удается однозначно связать с каким-либо кругом древностей.

Ладожский керамический комплекс VIII–X вв., как это ни кажется парадоксальным, с одной стороны, однороден, а с другой – эклектичен (Станкевич, 1951, с. 219; Сениченкова, 1998, с. 123). Сопоставление двух классификационных схем позволило поставить вопрос о генезисе «реберчатых» сосудов. При одинаковой профилировке верхней части они имеют различные пропорции и могут быть отнесены к разным типам: сосуды приземистые широкодонные (тип Ф IV), банки с выделенной шейкой (тип Ф VБ), сосуды приземистые с коническим туловом (тип Ф III), горшки «стройных пропорций», у которых высота превышает максимальное расширение (тип Ф IБ), мискообразные сосуды (тип Ф VII) (рис. 1),

Рис. 1. Типы лепных сосудов (горшки).

Тип Ф I. Сосуды «стройных пропорций», у которых соотношение высоты (Н) и диаметра максимального расширения (Д 2) лежит в пределах 0,85–1 (вид А) или 1,01–1,18 (вид Б). Максимальное расширение приходится на верхнюю четверть высоты. Тулово усеченно-коническое, равномерно сужается ко дну, стенки прямые. Плечики высокие, переход их в тулово подчеркнут более или менее резко выраженным перегибом стенок, иногда – явным ребром.

Тип Ф II. Сосуды Ф II типа близки по своим пропорциям к сосудам Ф I типа: соотношение Н : Д 2 = 0,85–1, максимальное расширение приходится на верхнюю четверть высоты. Отличает их от сосудов I типа более или менее четко выраженный характерный изгиб стенок тулова, который придает верхней части округлую форму, а нижней – усеченно-коническую или почти цилиндрическую.

Тип Ф III. К Ф III типу относятся сосуды приземистые, у которых соотношение Н : Д 2 = 0,7–0,79. Максимальное расширение приходится на верхнюю треть высоты. Тулово усеченно-коническое. Плечико высокое, переходящее в тулово через четко выраженное ребро.

Тип Ф IV. Сосуды приземистые (Н : Д 2 = 0,7–0,82 с широким дном, четко выделенными плечиками и слегка раздутым туловом. Переход плечиков в тулово часто подчеркнут ребром.

Тип Ф V. Сосуды баночных форм. Соотношение Н : Д 2 = 0,7–1, т.е. встречаются сосуды удлиненные и приземистые. Тулово почти цилиндрическое. Плечики обычно низкие и их переход в тулово плавный (вид А), но встречены банки, имеющие четко выделенную шейку и высокие плечики (вид Б), переход к которым иногда подчеркнут ребром, что сближает их по профилю верхней части сосуда с горшками Ф I и Ф IV типов. Максимальное расширение приходится на верхнюю треть или четверть высоты.

Тип Ф VI. Горшки с плавным S-овидным профилем, выпуклыми плечиками, невысокой шейкой, слегка отогнутой наружу. Соотношение Н : Д 2 = 0,7. Максимальное расширение приходится на верхнюю треть высоты.

Тип Ф VII. К Ф VII типу относятся мискообразные сосуды, у которых соотношение Н : Д 2 = 0,68–0,77. Можно выделить два вида таких сосудов: А – сосуды с высокой прямой или слегка отогнутой наружу шейкой и низкими плечиками, переход в тулово плавный; Б – сосуды с высокой шейкой, выделенным плечиком, переход которого в усеченно-коническое тулово иногда оформлен в виде ребра.

Тип Ф VIII. Сосуды с короткой шейкой и низким плечиком, плавно переходящим в усеченно-коническое тулово. Н : Д 2=0,9; Д 3 : Д 2 = 0,5.

Масштаб произвольный

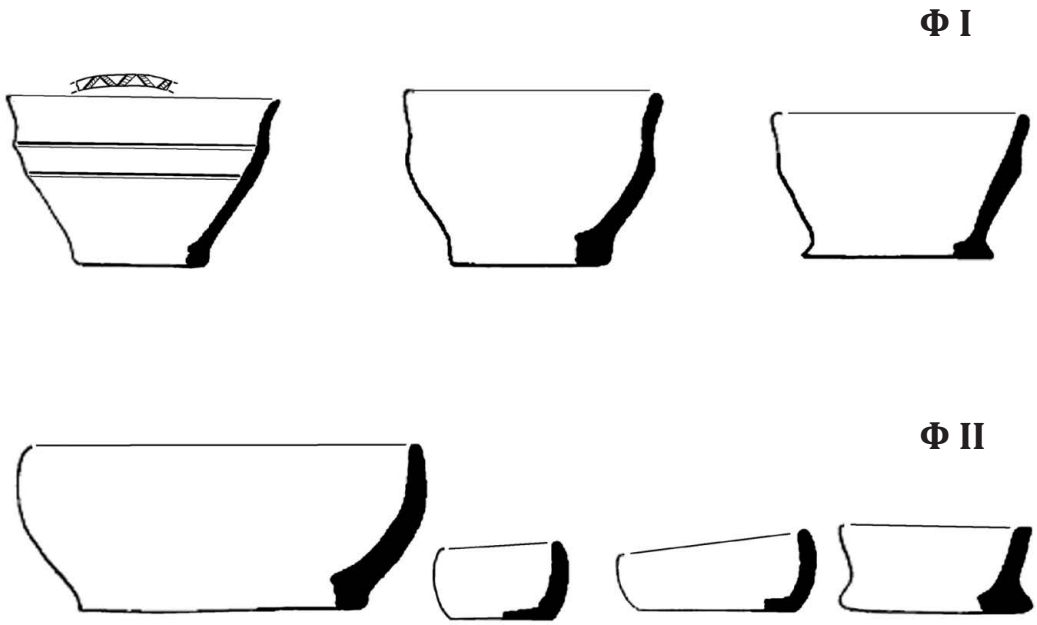


Рис. 2. Типы лепных сосудов (миски): к мискам относятся сосуды, у которых Н : Д 2 = 0,38–0,6.
Тип Ф I. Миски с выделенной шейкой и плечиками, переходящими в усеченно-коническое тулово. Переход может быть образован изломом стенок или подчеркнут ребром (56 %).
Тип Ф II. Миски с округлым туловом, шейка не выделена, край венчика загнут внутрь (44 %).
Масштаб произвольный

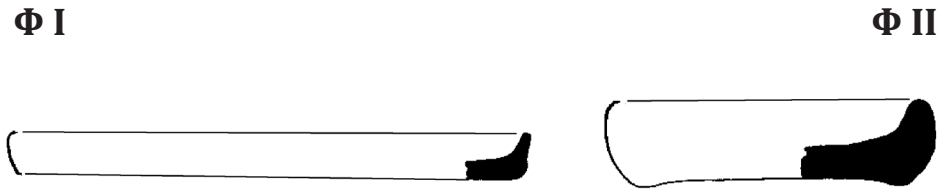


Рис. 3. Типы лепных сосудов (сковороды):
тип Ф I – плоские диски с небольшим бортиком,
тип Ф II – сковородки с высоким (до 3 см) бортиком.
Масштаб произвольный

миски (рис. 2, тип Ф I). Стратиграфическое распределение сосудов типа Ф IV показывает, что их количество уменьшается от горизонта Е3-3 к Д. Сосуды т. н. «стройных пропорций», у которых высота равна или чуть меньше максимального расширения (Ф IА), довольно равномерно встречаются во всех горизонтах поселения. Сосуды, у которых высота превышает максимальное расширение (Ф IБ), встречены в горизонте Е-1. Строго говоря, нахождение таких сосудов в нижних горизонтах толщи Е не исключается, но аналогии им, встреченные на памятниках Приладожья и Приильменья второй половины IX – X и даже первой половины XI в.: поселениях Новые Дубовики, Прость, Золотое Колено, селище Нестеровичи, Рюриковом городище (Носов, 1976, с. 78, рис. 1: 1–4; с. 80; Носов, 1990, с. 149–150, 177, рис. 66; с. 134, рис. 54; Носов, Плохов, 1991, с. 117–149; с. 147, рис. 10: 1; с. 125, 128; Конецкий, 1991, с. 102–103; с. 116, рис. 7: 1), – видимо, говорят о неслучайной концентрации таких сосудов в вышележащих горизонтах Земляного городища. В горизонте Д впервые фиксируется новая для Ладоги категория посуды – сковородки.

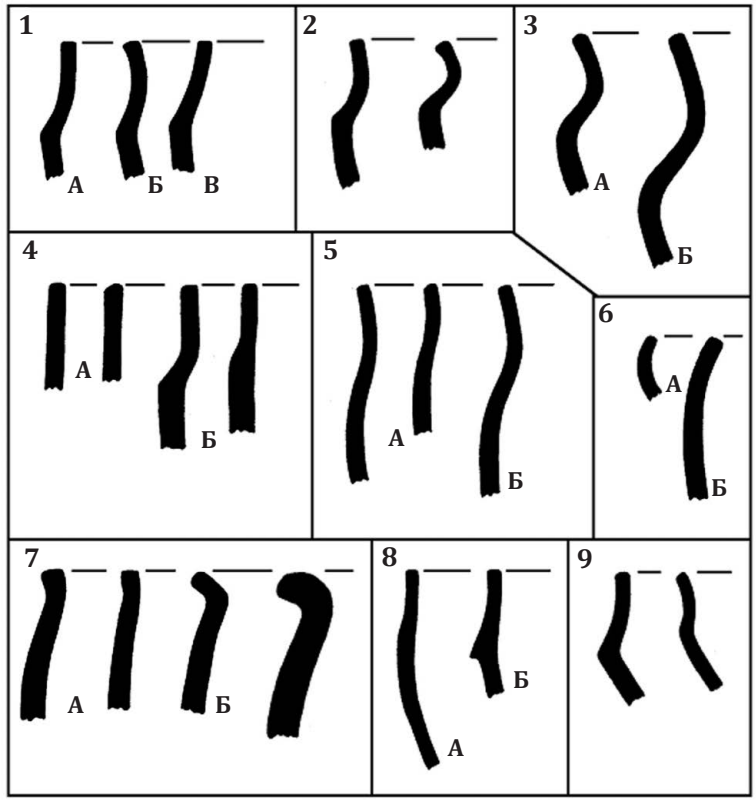


Рис. 4. Типы верхних частей лепных сосудов. Масштаб произвольный.

Тип 1. Фрагменты с высокой прямой (вид А), чуть отогнутой наружу (вид Б) или слегка наклоненной внутрь (вид В) шейкой, четко выраженными плечиками, переходящими в коническое тулово через более или менее резко выраженное ребро. Фрагменты типа 1 могут быть соотнесены с типами ФI, ФIII, ФIV, ФVII, выделенными на основании целых форм, а также с баночными сосудами типа ФV, имеющими выделенные плечики и шейку.

Тип 2. Сосуды с высокой, иногда слегка наклоненной внутрь шейкой, выпуклыми плечиками и раздутым туловом. Фрагменты типа 2 могут быть соотнесены с сосудами типа ФIV.

Тип 3. Фрагменты сосудов с S-овидным профилем. Фрагменты типа 3 близки сосудам типа ФVI и типа ФII.

Тип 4. Сосуды баночных форм. Вид А – с прямыми почти непрофилированными стенками, шейка и плечико не выделены; вид Б – с выделенными шейкой и плечиками. Фрагменты типа 4 могут быть соотнесены с сосудами типа ФV, хотя не исключена возможность, что они могут относиться к некоторым другим типам.

Тип 5. Слабопрофилированные сосуды с высокой прямой (вид А) или чуть отогнутой наружу (вид Б) шейкой. Среди целых сосудов не выделено типа, с которым могли бы быть соотнесены подобные фрагменты.

Тип 6. Сосуды с округлым туловом. Они отличаются отсутствием выраженной шейки и загнутым внутрь венчиком. Насколько можно судить по сохранившимся фрагментам, это были небольшие мисочки (вид А) или округлобокие горшки (вид Б). Фрагменты типа 6 (вид А) могут быть соотнесены с мисками типа ФII; целых сосудов, аналогичных типу 6 (вид Б), не встречено.

Тип 7. Сосуды с очень короткой прямой (вид А) или отогнутой наружу (вид Б) шейкой, покатыми, почти не выделенными плечиками, плавно переходящими в тулово. Найден один раннегончарный сосуд, с которым могут быть соотнесены фрагменты 7 типа.

Тип 8. Широкогорлые сосуды с почти не выделенной верхней частью. Иногда шейка и плечико чуть-чуть намечены. Раздутое тулово плавно сужается ко дну (вид А). Целых сосудов, с которыми можно соотнести фрагменты типа 8, не встречено.

Тип 9. Мискообразные сосуды с максимальным расширением, приходящимся на венчик или плечики (в последнем случае обычно диаметр венчика равен диаметру плечиков). Плечики покатые, переход их в тулово подчеркнут изгибом стенки. На некоторых экземплярах встречается более или менее четко выраженное ребро. Фрагменты типа 9 могут быть соотнесены с сосудами типа ФVII (мискообразными) или мисками типа ФI

На протяжении указанного времени нельзя выделить типы, характерные для VIII, IX и X вв., а также периоды с преобладанием какого-либо типа керамики. Такая картина наблюдается на Земляном городище и в раскопе на Варяжской ул. (таблицы I и II). Можно отметить только более или менее четко выраженные тенденции изменения, например: увеличение высоты сосудов с ребром, появление «гибридных» форм, новых категорий посуды, орнамента.

В литературе высказывались различные точки зрения о происхождении ладожского керамического комплекса. Находки вещей, имеющих аналогии в КПДК, культуре латгальских могильников и КСДК, позволили исследователям предположить приход в Ладогу выходцев из Верхнего Поднепровья, юга Псковщины и севера Белоруссии (Плоткин, 1972; Давидан, 1986, с. 104; Мачинский, Мачинская, 1988, с. 51; Кузьмин, 1989). С этим регионом связывала ладожскую керамику и Я. В. Станкевич. Она отмечала аналогии ладожским «широкогорлым биконическим сосудам» в материалах городищ Верховьев Днепра, в частности, Банцеровского городища (Станкевич, 1950, с. 198–200, 202–203). В настоящее время установлено, что нижний слой Банцеровского городища относится к культуре штрихованной керамики (датируется III в. до н. э. – III в. н. э. или рубежом эр). Верхний слой (датируется третьей четвертью I тыс.) относится к культуре Тушемли-Банцеровщины. На территории центральной и восточной Латвии, восточной Литвы и северо-западной Белоруссии на позднем этапе существования культуры штрихованной керамики (датируется исследователями по-разному, но, видимо, в пределах I–IV вв.) часто встречаются сосуды с прямым венчиком, четко выраженным плечиком, под острым углом переходящим в тулово, конически сужающееся к плоскому дну. Поверхность многих из них покрыта штриховкой, некоторые имеют хроповатую поверхность (см., например: Митрофанов, 1978; Васкс, 1987, с. 77–78; Ушинскас, 1989, с. 64; Егарэйчанка, 1999, с. 164, мал. 42: 2, 4, 6, 7). Определенные черты сходства с керамикой этой культуры обнаруживаются у ладожской посуды как в формах (сосуды с четко выраженным ребром в верхней трети высоты и коническим туловом), способе лепки (кольцевой налеп), так и в характере обработки поверхности (следы заглаживания травой, покрывающие нижнюю часть некоторых ладожских сосудов от ребра до дна), однако связывать напрямую происхождение последней из культуры штрихованной керамики было бы неправильным, в том числе и потому, что между временем, когда эта культура прекращает свое существование (вторая половина IV – первая половина V в.) (Митрофанов, 1978, с. 15 и сл.; Ушинскас, 1989, с. 65;

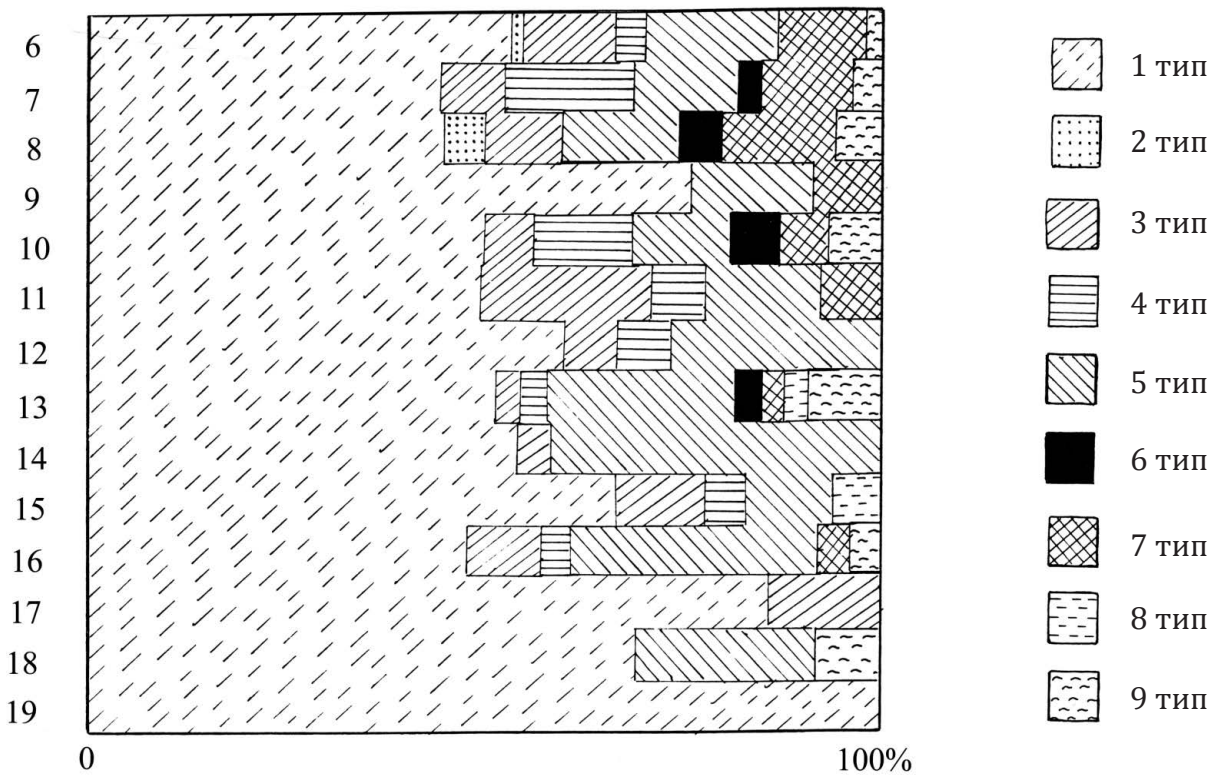


Таблица II. Распределение типов верхних частей сосудов по пластам раскопа на Варяжской ул. (IX–X вв.)

Егарэйчанка, 1999, с. 151–158), и начальной датой ладожского поселения (середина VIII в.) существует значительный хронологический разрыв.

Для верхнего слоя Банцеровского городища характерной является гладкостенная слабопрофилированная керамика; сосудов, напоминающих остроребериые из нижнего слоя, найдены единицы. Исследователи памятника банцеровской культуры – селища Микольцы – считают найденные в небольшом количестве ребристые горшки «наследием культуры штрихованной керамики» (Зверуго, Медведев, 2003, с. 88). Керамикой тушемлинской культуры занимался Е. А. Шмидт. Наиболее близкая ладожским форма – тип 7, по его классификации, – встречена в единичных случаях только в бассейне Западной Двины (Шмидт, 1982, рис. на с. 100; Шмидт, 2003, с. 48, табл. 27: 7). В настоящее время среди исследователей утвердилось мнение, что между культурой Тушемли-Банцеровщины и КПДК не только много общего, но что они на определенном этапе сосуществуют (хотя некоторые склонны считать культуру Тушемли-Банцеровщины стадиально более ранней, см.: Минасян, 1979, с. 182–184; Белецкий, 1996, с. 42–43).

Н. В. Лопатин и А. Г. Фурасьев пришли к заключению, что памятники типа Тушемли-Банцеровщины и КПДК развиваются на основе древностей круга Заозерья-Узмень, которые, в свою очередь, формируются на основе традиций киевской культуры, смешавшихся с местными днепро-двинскими традициями. Авторы предложили типологию сосудов Верхнего Поднепровья и Подвинья для III – VIII в. (Лопатин, Фурасьев, 2007, с. 33, рис. 11; с. 101–102, рис. 51–52). На селище Узмень (вторая четверть I тыс. н.э.), по данным А. Г. Фурасьева, биконическая и ребристая посуда составляет около 17 % керамики (Фурасьев, 2001, с. 9). Однако при взгляде на типологическую схему (Лопатин, Фурасьев, 2007, с. 33, рис. 11) видно, что большинство ребристых сосудов имеет несколько иные пропорции, кроме того, авторы включают в эту группу т.н. сосуды с оттянутым валиком (тип Р-4).

Н. В. Лопатиным были выделены керамические наборы третьей четверти I тыс. н. э., характерные для отдельных регионов КПДК. Различия в керамике между регионами выявляются только на уровне тенденции. Автор отметил, что профилированная керамика наиболее характерна для Мстинско-Валдайского региона (Лопатин, 2003, с. 55). Уже сейчас можно констатировать, что керамический набор КПДК неоднороден и что реберчатая керамика для него в целом не характерна.

Для керамики КСДК (датируется от середины VIII – до рубежа X–XI вв. (Шмидт, 2012, с. 60–61), т. е. синхронна ранней Ладоге) ребристые формы также не являются характерными. Есть приземистые профилированные сосуды с выделенным плечиком, относимые В. В. Енуковым к первой, более древней традиции их сооружения и связываемые с балтским компонентом в культуре. В Ладоге сосуды, аналогичные керамике второй традиции КСДК – тип Ф II, – фиксируются начиная с горизонта Е 2 (после 860-х гг.). Е. А. Шмидт писал, что такая форма («на цилиндрическом основании надстраивался горшкообразный сосуд») является характерной для смоленских кривичей (Шмидт, 1994, с. 34).

В. В. Седов высказал точку зрения о западнославянских истоках реберчатой керамики (Седов, 1970, с. 25–26; Седов, 1970 а, с. 71), опираясь, в частности, на Я. В. Станкевич, указавшую аналогии ладожским реберчатым сосудам на славянских памятниках Польского и Германского Поморья (Станкевич, 1950, с. 195–196). Между тем, говоря о появлении на южном берегу Балтийского моря такой керамики, Я. В. Станкевич ссылалась на точку зрения В. Ленга, который связывал ее происхождение с культурами позднеримского времени (Станкевич, 1950, с. 196).

Гипотезу В. В. Седова поддержали Е. Н. Носов, В. Я. Конецкий, А. В. Плохов. Последний считает, что «в настоящее время западнославянский вариант выглядит наиболее вероятным, несмотря на различия в способе изготовления и орнаментации горшков» (Плохов, 2002, с. 152). Но уже в те годы, когда В. В. Седов озвучил свою точку зрения, большинство немецких и польских археологов связывали со славянами слабопрофилированные сосуды так называемого «пражского типа» или S-образные горшки (Schmidt, 1961, S. 41; Kruger, 1967, S. 65; Łosinski, Rogosz, 1986, p. 13; p. 27, r. 1; Cnotliwy, Łosinski, Wojtasik, 1986, p. 159, r. 1). На славянском поселении VI–VII вв. Дзедзице (территория Западного Поморья, Польша) керамика исключительно лепная, отличающаяся очень хорошим качеством. А. Пожезиньский выделяет несколько типов сосудов, среди которых есть и хорошо профилированнные. Хотя керамика дзедзицкого типа отличается стилистически и по технологическим особенностям от керамики II–VI вв. на этой территории, исследователь считает «вполне реальной» возможность контакта населения эпохи переселения народов с продвинувшимися сюда славянами (Пожезиньский, 2009, с. 568, 575). Немецкие коллеги, исследовав славянские памятники в бассейне Эльбы, отмечают, что у поздних германцев и ранних славян (а последние проникают на эту территорию в конце VII – начале VIII в.) археологический материал невозможно узко датировать. И у тех, и у других в это время использовалась простая неорнаментированная керамика, причем славянские формы VIII–IX вв. – слабопрофилированные (Шнеевайс, 2009, с. 247, 259, рис. 12: 11, 12). Реберчатая керамика на славянских памятниках южного побережья Балтики появляется, видимо, не ранее VIII в. и изготовлена она с помощью гончарного круга. В низовьях Одера (Щецин) в середине VIII в. распро-

страняется круговая керамика суковского, фельдбергского и др. типов (Dworaczyk, 2011, с. 244). Очевидно, что точка зрения о западнославянских истоках реберчатой керамики Новгородской земли нуждается в дополнительном обосновании.

Интересными и очень перспективными представляются исследования т. н. «позднедьяковских» памятников в Верхнем Поволжье, на Валдае, в Верхнем Помостье и Молого-Шекснинском междуречье, проведенные в последние годы целой группой исследователей: А. Н. Башенькиным, В. А. Буровым, В. И. Вишневским, И. В. Ислановой, А. Д. Максимовым, А. С. Сыроватко и др. Термин «позднедьяковские» памятники не совсем удачен, что уже было неоднократно отмечено (Исланова, 2007, с. 306; Исланова, 2008, с. 45, сноска): это уже не «классическая» дьяковская культура, а культура, прошедшая через некие трансформации, связанные, видимо, с неоднократными притоками нового населения. Кроме того, этот термин подразумевает плавную преемственность с «классической» дьяковской культурой, что не всегда очевидно.

Упомянутая территория в начале I тыс. н. э. входит в ареал дьяковской культуры. В середине I тыс. там происходят существенные изменения в материальной культуре. Исследователи отмечают культурные импульсы, происходившие неоднократно из разных регионов, которые, накладываясь на местные традиции (различающиеся в отдельных микрорегионах), дают довольно сложную «мозаичную» картину расселения (Исланова, 2011).

И. В. Ислановой был выделен новый тип памятников – «удомельский», или, как его еще называют, «предсопочный» – где в третьей четверти I тыс. н. э. встречается реберчатая керамика (11 % от всей керамики поселения Юрьевская Горка), имеющая, по мнению исследовательницы, прототипы в дьяковских древностях. На основе памятников удомельского типа (к которому относятся селище и могильник Юрьевская Горка, поселения Ряд 3, Лубенькино 2) в конце I тыс. в Верхневолжье формируется культура сопок, и керамика с ребром, по мнению автора, может быть прототипом керамики «ладожского типа» (Исланова, 1996, с. 14; Исланова, 1997, с. 25, 26, 63). Отмечу, что, несмотря на асинхронность и территориальную удаленность, аналогии большинству типов сосудов поселения Юрьевская Горка имеются среди керамики горизонта Е-3 Ладоги, хотя их процентное соотношение иное.

Истоки реберчатой керамики, найденной на селище Рогово-2 (3-я четверть I тыс. н. э.; Ржевский район), И. В. Исланова и Е. М. Черных находят в памятниках мощинского круга (Исланова, Черных, 2008, с. 171).

Сегодняшние представления о культурных процессах в Верхневолжском регионе обусловлены состоянием изученности памятников и характером источниковой базы. По мере проведения новых исследований ситуация, несомненно, будет уточняться. С точки зрения интересующего нас сюжета важным является установление факта существования реберчатой керамики на памятниках Верхней Волги, как минимум, с третьей четверти I тыс. н. э. и нахождения ее прототипов в древностях более раннего времени.

В Ладоге найдены материалы, которые, возможно, указывают на юго-восточное направление связей: серия миниатюрных сосудиков (рис. 5), аналогии которой встречены на памятниках дьяковской культуры (Розенфельдт, 1971, с. 13, рис. 1: 23, 24, 29; с. 25, рис. 10: 12а, 14, 16, 19а, 20, 21; с. 28, рис. 11: 12, 23, 26, 29; Розенфельдт, 1974, с. 132, рис. 25: 24, 28, 29, 36, 37, 40; Финно-угры и балты..., 1987, табл. XXVI: 24); фрагмент стенки сосуда с т. н. «рогожными отпечатками» (рис. 6: 1), характерными для керамики городецкой культуры (Смирнов, Трубникова, 1965); две глиняные поделки-«таблетки» (рис. 6: 2), аналогии которым имеются в дьяковских и городецких древностях (Гусаков, Кузьминых, 2008, с. 106). Встречены сосуды с двудольным орнаментом (рис. 6: 3; на горшке т. н. «ладожского типа»), встречающимся в материалах дьяковской культуры (Розенфельдт, 1974, с. 137–138, рис. 26: 34; с. 144). Уместно вспомнить и бронзовую очковидную подвеску из горизонта Е3 Земляного городища, аналогичную, по мнению О. И. Давидан, позднедьяковским (Давидан, 1986, с. 100, рис. 1). Об этом направлении связей ранней Ладоги можно говорить пока только предположительно, т.к. данных слишком мало.

И. В. Исланова считает возможным расширить ареал дьяковской культуры на северо-запад, проводя его границу по краю Валдайской возвышенности (Исланова, 2002, с. 457–458, рис. 7, 8). Выделяя 5 территориальных групп памятников, исследовательница предлагает рассматривать северную, Молого-Шекснинскую, группу как локальную или как особый тип памятников (Исланова, 2002, с. 452).

Для Поволховья и Приильменья существует хронологическая лакуна между памятниками раннего железного века и раннесредневековыми, и в культурном отношении эта территория представляется на сегодняшний день своеобразным пограничьем. Материальная культура памятников позднего этапа раннего железного века (I в. до н. э. – III–IV вв. н. э.), по мнению М. А. Юшковой, «не имеет большого сходства» с дьяковской культурой (Юшкова, 2011, с. 16), хотя в керамике «имеются определенные параллели с позднедьяковским керамическим комплексом» (Юшкова, 2011, с. 20).

«Странность» намечающихся по керамике Ладоги связей с территорией Верхневолжья несколько уменьшится, если обратиться к хронологии т. н. «позднедьяковских» памятников. По наблюдениям исследователей (Леонтьев, 1983; Вишневский,

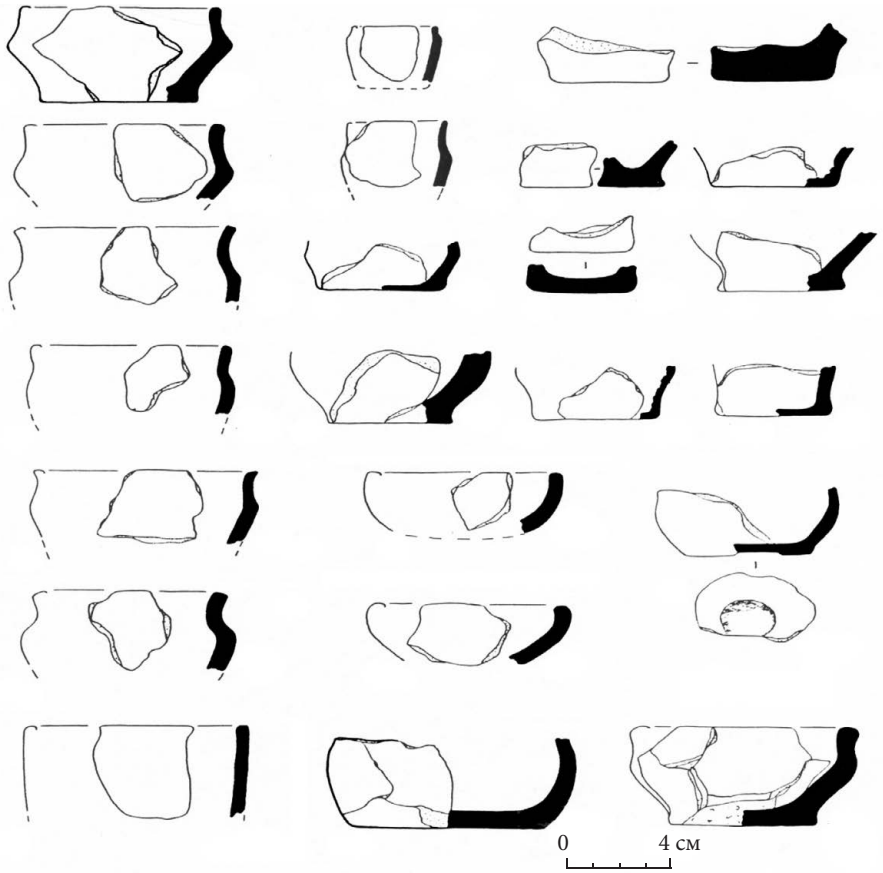
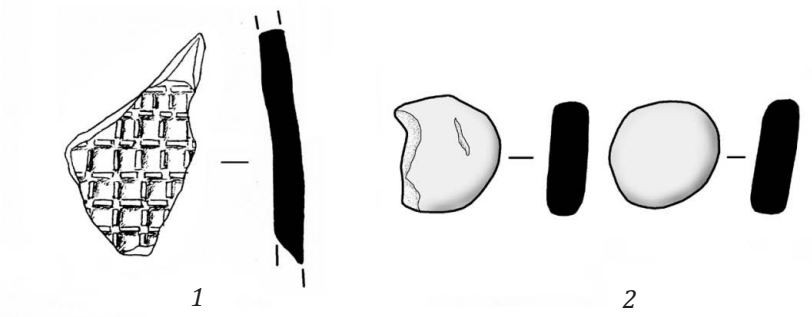


Рис. 5. Миниатюрные сосудики из раскопа на Варяжской улице



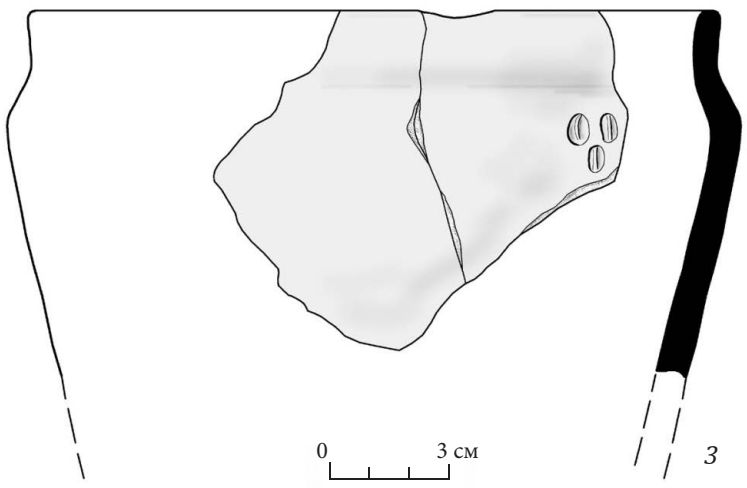


Рис. 6. Находки, имеющие аналогии в дьяковских и городецких древностях (раскоп на Варяжской улице)

1991; Смирнов, 1994; Исланова, 2002), дьяковская культура доживает до VI–VII вв., а на окраинах ее ареала – до конца I тыс. н. э. В этой связи нельзя не вспомнить выдвинутую около 30 лет назад Г. С. Лебедевым гипотезу о существовании на Северо-Западе до появления здесь длинных курганов и сопок некой «предкурганной культуры», которая по основным археологическим характеристикам была бы близка к дьяковской и тушемлинской (Лебедев, 1982, с. 33). В одной из недавних работ В. Я. Конецкий предложил вернуться к ней с учетом материалов, накопленных за эти десятилетия (Конецкий, 2007, с. 265).

К сожалению, на сегодняшний день однозначно дать ответ на вопрос о происхождении ладожского керамического комплекса невозможно. Однако выявленные аналогии ладожской посуде (и в технологических приемах, и в типах сосудов) среди керамики культур лесной зоны Восточной Европы говорят о том, что надо рассматривать как приоритетную восточноевропейскую версию ее происхождения.

Ладога – основной центр культуры сопок. Многие исследователи считают, что эта культура формируется в VIII в. именно в Нижнем Поволховье, в округе Старой Ладоги. Долгое время казалось, что если будет разработана типо-хронологическая шкала керамики Ладоги, то можно будет прояснить и вопросы, касающиеся происхождения культуры сопок.

Исследования сопок ведутся уже около полутора веков, но по-прежнему эти памятники считаются одной из загадок славяно-русской археологии. Большинство исследователей относит их к памятникам славянского населения. В. В. Седов, считая сопки памятниками словен новгородских, подчеркивал, что между сопками и памятниками славян середины I тыс. н. э. генетическая связь не прослеживается. Все более или менее поддающиеся определению детали конструкции и погребального обряда (каменные кучи и вымостки, зольные прослойки в подошве, кости животных, каменные круговые обкладки, сплошное мощение камнем основания насыпи, захоронения коней, а также сам обычай сооружать курган) связывают их, по мнению этого автора, с финскими и балтскими древностями (Седов, 1970, с. 13–33). В работах 1990-х гг. В. В. Седов рассматривал сопки и длинные курганы северной группы как памятники смешанного славяно-прибалтийско-финского населения (Седов, 1990, с. 29–30). Некоторые исследователи (при различии в аргументации) видят истоки традиции сооружения высоких крутобоких насыпей в скандинавских памятниках (Н. В. Тухтина, Д. А. Мачинский, В. Я. Конецкий, И. И. Еремеев).

Важным этапом в изучении культуры сопок стали исследования В. П. Петренко в окрестностях Старой Ладоги. Он не пытался решить вопрос об этнической принадлежности населения, оставившего сопки, а обратился к анализу внутренней структуры этих погребальных памятников. В результате были выделены несколько («четыре, а возможно и пять») типов высоких насыпей, различающихся по топографической приуроченности, конструктивным особенностям и деталям погребального обряда (Петренко, 1985, с. 136–146; Петренко, 1985а, с. 85; Петренко, 1994, с. 44–68). В. П. Петренко удалось предварительно (учитывая состояние источниковой базы) наметить связи сопок I типа с т. н. «высокими насыпями культуры длинных курганов», сопок III типа – с погребальными традициям I тыс. н. э. на территории Восточной Прибалтики, сопок IV типа – со скандинавскими памятниками (Петренко, 1994, с. 114–115). Исследователь писал: «Выявленная неоднотипность сопок, не составляющая последовательных звеньев одной типологической линии развития обряда, заставляет отказаться от моноцентричной схемы происхождения крупногабаритных погребальных сооружений Северо-Запада. Многокомпонентная структура сопок отражает не только процесс взаимодействия разных этнических групп, но и, возможно, показывает неодинаковую социальную организацию некоторых их них ... и, может быть, свидетельствует об отличных судьбах человеческих коллективов ... в разное время и в разных условиях возводивших величественные памятники» (Петренко, 1985, с. 146). Намеченные В. П. Петренко топографические и культурные блоки между выделенными типами сопок и другими погребальными памятниками ладожской округи (сопки I типа – победищенские курганы, сопки III типа – грунтовые могильники, сопки IV типа – плакунские курганы) подтвердили высказанное ранее В. В. Седовым и Е. Н. Носовым мнение об отсутствии жестких границ между различными пластами древностей Северо-Запада (Носов, 1981, с. 55–56; Седов, 1982, с. 64; Петренко, 1985 а, с. 64).

В последние годы благодаря исследованиям С. Л. Кузьмина были получены новые данные о конструкции и погребальном обряде сопок. Исследователь подверг критике некоторые заключения В. П. Петренко (Кузьмин, 1998, с. 8–15; Кузьмин, 1999, с. 14–20; Кузьмин, 1999 а, с. 89–99), хотя и не поколебал, на мой взгляд, основной его вывод об отказе от моноцентричной схемы происхождения сопок.

Погребальный обряд считается достаточно чутким этнокультурным индикатором, но и он, как мы видим, не дает однозначного ответа на вопрос об истоках сопочной традиции, не говоря уже о происхождении населения, сооружавшего высокие насыпи.

Материал из сопок немногочислен, в подавляющем большинстве фрагментарен. В. В. Седов в свое время даже высказал сомнение в его возможности служить полноценным источником для характеристики населения, оставившего сопки (Седов, 1970, с. 24).

Типо-хронологическая шкала керамики культуры сопок не разработана. В. В. Седов выделил два типа посуды: «Самыми распространенными были слабопрофилированные приземистые (низкие, но широкие) горшки с отогнутым наружу венчиком… Приземистые сосуды весьма характерны для финских древностей Восточной Европы… Второй тип керамики включает широкогорлые биконические сосуды с резким переломом в плечиках и чуть отогнутым венчиком... Сосуды биконических и ребристых форм составляют характерную особенность культуры славян междуречья нижней Вислы и Эльбы» (Седов, 1982, с. 63–64, 88, табл. XXII).

В. П. Петренко на материалах сопок Северного Поволховья выделил 5 групп лепной керамики (Петренко, 1994, с. 71, рис. 29). По его заключению, типы сосудов не удается устойчиво соотнести с определенными типами высоких насыпей. Например, сосуды с ребром, аналогичные типам ФI и ФIII ладожской посуды, найдены в сопке 15-III (I-й тип насыпей, по В. П. Петренко) и в сопке 15-I (III-й тип, по В. П. Петренко). Отмечу, что реберчатая керамика наряду с другими типами сосудов обнаружена в курганах скандинавского могильника в урочище Плакун (Назаренко, 1985, с. 167, рис. 7: 4, 5). Все выделенные В. П. Петренко типы керамики встречены и в материалах Староладожского поселения.

Керамический набор культуры сопок представлен различными типами сосудов. Сказать что-либо определенное о территориальных или хронологических различиях пока нельзя. А. В. Плохов попытался поставить вопрос о существовании двух керамических традиций в культуре сопок на территории Приильменья (Плохов, 1992, с. 122), но развития эта тема не получила. Думается, что отказ от характеристики сопочной керамики как исключительно «реберчатой» будет шагом вперед в понимании феномена, называемого «культура сопок».

В ладожском керамическом комплексе на протяжении VIII, IX и X вв. изменения фиксируются только как тенденция. Выявленные различия в погребальном обряде сопок говорят о сложном и непрямолинейном пути формирования этой культуры. Эти выводы, несомненно, обусловлены состоянием источников, в первую очередь, отсутствием в регионе пласта древностей первой половины и третьей четверти I тыс. Это обстоятельство препятствует поиску истоков как сопочного погребального обряда, так и ладожского керамического комплекса. Кроме этого, исследователи обычно ссылаются на специфические особенности керамики (фрагментированность, аморфность, почти полное отсутствие орнаментации), на степень изученности насыпей разных регионов и отсутствие равноценных данных для сопоставления погребальных и поселенческих памятников (Петренко, 1994, с. 113–115). Однако не обратить внимания на тот факт, что выводы, полученные при изучении важнейших археологических источников – керамики и погребального обряда, – так перекликаются, нельзя. Объяснение этому следует искать в самом характере археологической культуры раннего Средневековья. Для этого периода характерны значительная подвижность населения, интеграция и взаимное обогащение культур. В конце I тыс. н. э. на Северо-Западе складывается ситуация, характеризующаяся переплетением этнокультурных и социально-политических процессов (Лебедев, 1981, с. 26; Лебедев, 1985, с. 44–47; Конецкий, 1991, с. 89; Конецкий, 1995; Мачинский, 1986; Мачинский, Мачинская, 1988). Исследователи отмечают происходящие в это время изменения материально-предметного комплекса, выражающиеся в заимствовании отдельных элементов, появлении вещей-гибридов и т. п. Это требует особой осторожности при их интерпретации. Археологическая культура эпохи раннего Средневековья, то есть времени, когда формируются зачатки государственности и складывается новая система социальных связей, по своей сути гетерогенна (Арутюнов, 1989, с. 41–49, 73–80; Савинов, 1991). Погребальный обряд культуры сопок демонстрирует, по справедливому замечанию Е. Н. Носова, начало формирования новой, еще не устоявшейся традиции (Носов, 1994, с. 3).

Выводы, полученные при изучении ладожской керамики, разительно отличаются от тех, которые сделаны исследователями на основании иных категорий археологических источников (украшений, орудий труда, домостроительной традиции и т. д.). История Ладоги, реконструируемая на базе последних и дополненная сведениями письменных источников, предстает бурной и богатой всевозможными потрясениями. Если бы в нашем распоряжении оказался только керамический материал, то впечатление было бы прямо противоположным. Тем не менее, эти скромные выводы могут быть полезны при рассмотрении некоторых дискуссионных вопросов истории поселения и культурных процессов на Северо-Западе.

Одним из них является вопрос о составе первых поселенцев. В настоящее время большинство исследователей считает Ладогу полиэтничным славяно-балто-финским центром, в котором большую роль играли скандинавы. Очень интересную и достаточно аргументированную концепцию возникновения и развития ладожского поселения предложил С. Л. Кузьмин (Кузьмин, 2003; Кузьмин, 2008). Исследователь пришел к выводу, что оно возникло «как колония скандинавов, достигших восточных пределов Балтики до начала эпохи викингов» и что его ранняя история представляет собой цепь катаклизмов, сопровождавшихся многократной полной сменой населения (Кузьмин, 2008, с. 76). Не отрицая присутствия скандинавов среди древнейшего населения Ладоги, считаю необходимым отметить, что археоло-

гический материал не дает основания рассматривать только этот культурный компонент в качестве древнейшего в материальной культуре поселения.

По мнению С. Л. Кузьмина, в 750–760 гг. (I ярус построек) в Ладоге обитала «немногочисленная, но достаточно монолитная» группа норманнов, в составе которой были не только мужчины, но также женщины и дети. В 760–770 гг. (II ярус построек) скандинавская колония прекращает свое существование в связи с появлением в Нижнем Поволховье носителей культурных традиций лесной зоны Восточной Европы (Кузьмин, 2008, с. 76).

На основании изучения керамики этот вывод подтвердить нельзя. Керамический комплекс Ладоги в технологическом отношении и в наборе форм показывает тесную связь с археологическими культурами лесной зоны Восточной Европы. Среди материалов древнейшего горизонта Е3-3 (I и II яруса, по С. Л. Кузьмину) каких-либо кардинальных изменений не наблюдается, как, впрочем, и в керамике вышележащих горизонтов.

Объяснения этому «противоречию» могут быть различны. Если скандинавы принесли с собой иной тип жилища[1], инструментарий и технологические особенности кузнечно-ювелирного производства (элементы мужской субкультуры), то керамика, которую традиционно относят к женской субкультуре, показывает, что население было, по крайней мере, смешанным. Если предположить, что скандинавские «колонисты» (мужчины, женщины и дети, по С. Л. Кузьмину) жили своей общиной, но пользовались керамикой, которую изготавливали «представители культур лесной зоны», то и в этом случае также следует признать, что последние уже жили в Нижнем Поволховье в середине VIII в. Конечно, это объяснения гипотетичны, но любое из них подтверждает высказанное нами ранее (Петренко, Шитова, 1985, с. 188, сноска 17) мнение о том, что в эту эпоху керамика не может служить надежным этническим индикатором.

Видимо, говорить о неоднократной «резкой смене» населения не стоит. В истории Ладоги были и вражеские набеги, и пожары, после которых жизнь начиналась заново. Выявленные С. Л. Кузьминым этапы в жизни поселения, характеризующиеся соотношением разнородных компонентов в материальной культуре, можно объяснить, скорее, пользуясь его же выражением, «направлением военных ветров», чем кардинальной ломкой всего жизненного уклада.

Еще один вопрос, тесно связанный с первым: сложилась ли древнерусская культура Ладоги X–XII вв. в результате развития культуры первых поселенцев или на основе иных культурных традиций? Исследователи Ладоги Н. Е. Бранденбург, Н. И. Репников, В. И. Равдоникас отвечали на него по-разному. Г. Ф. Корзухина, опираясь на известные в то время факты, писала об историческом рубеже, проходящем по границе горизонтов Е2 и Е1, т. е. в пределах от середины IX до рубежа IX и X вв. Она объясняла изменения в материальной культуре Ладоги появлением новых групп населения, но не исключала, что они могли быть связаны с «начавшимся процессом феодализации» (Корзухина, 1961, с. 84). Несомненно, играли роль и тот, и другой факторы.

Во второй половине IX в. в Нижнем Поволховье происходят существенные изменения, отразившиеся в археологическом материале: увеличивается площадь ладожского поселения (застройка выходит за пределы Земляного городища); в округе массово распространяются сопки (большинство их датируется IX–X вв.); появляются захоронения в урочище Плакун; на Земляном городище между 863 и 870 гг. фиксируется тотальный пожар (Рябинин, Черных, 1988, с. 91); разрушаются укрепления на соседнем с Ладогой городище Любша (Рябинин, Дубашинский, 2002, с. 203).

Изучение керамического материала Ладоги не дает оснований для выделения какого-либо рубежа в истории поселения, а говорит о непрерывном развитии его материальной культуры, показывая в то же время и появление некоторых новаций. Вероятно, они связаны с усилением роли славянского компонента в материальной культуре и формированием государственной культуры на основе традиций господствующего этноса и параллельно развивающихся культурных традиций других групп населения, постепенно занимающих подчиненное положение.

И наконец, вопрос о хронологии ладожских древностей и во многом опирающейся на нее хронологии памятников лесной зоны. Конечно, лепная керамика не может служить основой для т. н. «узких» датировок. В последнее время в литературе вновь стал подниматься вопрос о начальной дате Ладоги (см. например, Кирпичников, Сарабьянов, 2012, с. 16), хотя после создания дендрохронологической шкалы его можно было бы считать решенным. Этому способствовало выявление на Северо-Западе целой серии находок римского времени (см. например, Сорокин, Шаров, 2008). Известны находки, относящиеся к более раннему периоду, чем древнейшие напластования Земляного городища, и в самой Ладоге, и в ее ближайшей округе (Петренко, 1984, с. 89–90; Рябинин, Дубашинский, 2002; Кирпичников, Сарабьянов, 2012, с. 146–153). Думается всё же, что дату возникновения поселка на месте будущего Земляного города можно считать установленной. Другой вопрос: был ли он единственным или поблизости располагались другие пункты т. н. «ладожской агломерации», о которой писали исследователи (Мачинский, Мачин-

[1] Большая тема ладожского домостроительства с выяснением происхождения отдельных приемов и традиций в настоящее время детально не разработана.

ская, 1988, с. 46, 54; Мачинский, 1997, с. 73; Мачинский, 2009, с. 483–485; Кузьмин, 1998, с. 12–13; Кирпичников, Сарабьянов, 2003, с. 137–138)?

Опираясь на выявленную эклектичность ладожского керамического комплекса и аналогии с керамикой культур лесной зоны более раннего времени, рискну предположить, что, возможно, он начал складываться не в последней четверти I тыс., а несколько ранее.

Используя выводы, полученные при изучении керамики для построения модели развития Ладоги, надо учитывать, с одной стороны, возможности археологического источника, а с другой – его «вес». Решать спорные вопросы ладожской истории, привлекая только разнородные по происхождению изделия, найденные в культурном слое, методически неправильно, так как их появление может быть объяснено различными причинами: присутствием выходцев из других регионов, торговыми контактами, производством на месте по привозным образцам и т. п. Керамика же характеризует быт постоянных жителей древней Ладоги. Можно предположить, что в том же темпе, в котором развивалось самое массовое, «домашнее», ремесло, видимо, шли изменения и среди населения складывающейся Верхней Руси. Керамика Ладоги VIII–X вв. как важнейший археологический источник характеризует уже качественно новое явление – формирующуюся на основе многих слагаемых древнерусскую культуру. Конкретизировать ход этого процесса весьма сложно.

Источники и литература

Арутюнов С. А., 1989. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М.

Белецкий С. В., 1996. Начало Пскова. СПб.

Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы : источники и методы изучения. М.

Васкс А., 1987. К вопросу о культуре штрихованной керамики и ее ареале // Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков.

Вишневский В. И., 1991. Дьяковская культура в Верхнем Поволжье (VIII–VII вв. до н. э. – VII–VIII вв. н. э.) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М.

Гурина Н. Н., 1967. Из истории древних племен западных областей СССР. Л. (МИА. № 144).

Гусаков М. Г., Кузьминых С. В., 2008. К вопросу о роли носителей «сетчатой» и «штрихованной керамики в формировании культур лесной полосы Восточной Европы в раннем железном веке // КСИА. Вып. 222. М.

Давидан О. И., 1986. Этнокультурные контакты Старой Ладоги VIII–IX вв. // АСГЭ. Вып. 27. Л.

Егарэйчанка А. А., 2009. Культура штрыхаванай керамікі // Археалогія Беларусі. Жалезны век і ранняе сярэднявечча. Мінск.

Енуков В. В., 1990. Ранние этапы формирования смоленско-полоцких кривичей. М.

Зверуго Я. Г., Медведев А. М., 2003. Селище Микольцы (исследования 1983 г.) // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. № 7. Мінск.

Исланова И. В., 1996. О новом типе памятников 3-й четверти I тыс. н. э. // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья. Вып. 1. Тверь.

Исланова И.В., 1997. Удомельское Поозерье в эпоху железа и раннего Средневековья. М.

Исланова И. В., 2002. О локальных группах дьяковских памятников // Тверской археологический сборник. Вып. 5. Тверь.

Исланова И. В., 2007. Верхневолжье и Валдай // Восточная Европа в середине I тыс. н. э. / отв. ред. И. О. Гавритухин, А. М. Обломский. М. (Раннеславянский мир. Вып. 9).

Исланова И. В., 2008. Городище Отмичи. М. (Раннеславянский мир. Вып. 11).

Исланова И. В., 2011. Культурные группы середины – третьей четверти I тыс. н. э. лесной зоны Восточной Европы (по материалам Верхневолжья и Валдая) // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. СПб. ; М. ; Великий Новгород. Т. II.

Исланова И. В., Черных Е. М., 2008. Лепная керамика селища Рогово-2 в Верхневолжье // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и великого переселения народов. Вып. 1. Тула.

Кирпичников А. Н., 1988. Ладога и Ладожская земля VIII–XIII вв. // Славяно-русские древности. Вып. 1 : Историко-археологическое изучение Древней Руси. Л.

Кирпичников А. Н., Лебедев Г. С., Булкин В. А., Дубов И. В., Назаренко В. А., 1980. Русско-скандинавские связи в эпоху образования Киевского государства на современном этапе археологического изучения // КСИА. Вып. 160. М.

Кирпичников А. Н., Сарабьянов В. Д., 2003. Старая Ладога. Древняя столица Руси. СПб.

Кирпичников А. Н., Сарабьянов В. Д., 2012. Старая Ладога. Первая столица Руси. СПб.

Конецкий В. Я., 1991. Комплекс памятников у д. Нестеровичи (к вопросу о сложении локальных центров конца I – начала II тыс. н. э. в бассейне р. Мсты) // Материалы по археологии Новгородской земли. 1990. М.

Конецкий В. Я., 1995. Социальная организация населения Приильменья и формирование коренной территории Новгородской земли в конце I тыс. н. э. // ННЗ. Вып. 9. Новгород.

Конецкий В. Я., 2007. Этнокультурные процессы второй половины I тыс. н. э. на Северо-Западе: итоги и перспективы изучения // У истоков русской государственности : историко-археологический сборник. СПб.

Корзухина Г. Ф., 1961. О времени появления укрепленного поселения в Ладоге // СА. № 3. М.

Кузьмин С. Л., 1989. Малые дома Старой Ладоги VIII–IX вв. (Культурная принадлежность домостроительной традиции) // Археология и история Пскова и Псковской земли, 1988 : тезисы докладов. Псков.

Кузьмин С. Л., 1998. О времени, характере и обстоятельствах славянского расселения на Северо-Западе // Ладога и эпоха викингов : Четвертые чтения памяти Анны Мачинской. СПб.

Кузьмин С. Л., 1999. О погребальной обрядности населения Верхней Руси на рубеже I и II тысячелетий н. э. // Прошлое Новгорода и Новгородской земли : материалы научной конференции. Ч. 1. Великий Новгород.

Кузьмин С. Л., 1999 а. Сопки Нижнего Поволховья: взгляд на проблему на исходе XX века // Раннесредневековые древности Северной Руси и ее соседей. СПб.

Кузьмин С. Л., 2001. Рождение Северо-Западной Руси: демогенез и культурогенез // Миграции и оседлость от Дуная до Ладоги в I тыс. христианской эры : Пятые чтения памяти Анны Мачинской. СПб.

Кузьмин С. Л., 2003. Пожары и катастрофы в Ладоге: 250 лет непрерывной жизни? // Ладога – первая столица Руси : Седьмые чтения памяти Анны Мачинской. СПб.

Кузьмин С. Л., 2008. Ладога в эпоху раннего Средневековья (середина VIII – начало XII в.) // Исследование археологических памятников эпохи Средневековья. СПб.

Лебедев Г. С., 1981. Проблема генезиса древнерусской курганной культуры // КСИА. Вып. 166.

Лебедев Г. С., 1982. О времени появления славян на Северо-Западе // Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего Средневековья. Л.

Лебедев Г. С., 1985. Северные восточнославянские племена (к постановке вопроса о связях внутри славянского мира) // Новое в археологии Северо-Запада СССР. Л.

Лебедев Г. С., 2005. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб.

Леонтьев А. Е., 1983. Древнерусские поселения Верхней Мологи // Археологические исследования в Верхневолжье. Калинин.

Лопатин Н. В., 2003. О происхождении и локальной специфике керамических наборов культуры псковских длинных курганов // КСИА. Вып. 214. М.

Лопатин Н. В., Фурасьев А. Г., 2007. Северные рубежи раннеславянского мира в III–V вв. н. э. // Раннеславянский мир. Вып. 8. М.

Мачинский Д. А., 1986. Этносоциальные и этнокультурные процессы в Северной Руси (период зарождения древнерусской народности) // Русский Север. Проблемы этнокультурной истории, этнографии и фольклористики. Л.

Мачинский Д. А., 1997. Волховская Русь (VIII–IX вв.) // Современность и археология : Международные чтения, посвященные 25-летию Староладожской археологической экспедиции. СПб.

Мачинский Д. А., 2009. Некоторые предпосылки, движущие силы и исторический контекст сложения Русского государства в середине VIII – середине XI в. // Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света : материалы Международной конференции, состоявшейся 14–18 мая 2007 г. в Государственном Эрмитаже / Труды Государственного Эрмитажа. Вып. XLIX. СПб.

Мачинский Д. А., Мачинская А. Д., 1988. Северная Русь, Русский Север и Старая Ладога в VIII–XI вв. // Культура Русского Севера. Л.

Минасян Р. С., 1979. Поселение и могильник на берегу оз. Узмень // Труды Гос. Эрмитажа. Т. XX. Л.

Митрофанов А. Г., 1978. Железный век средней Белоруссии. Минск.

Назаренко В. А., 1985. Могильник в урочище Плакун // Средневековая Ладога : новые археологические открытия и исследования. Л.

Носов Е. Н., 1976. Поселение у волховских порогов // КСИА. Вып. 146.

Носов Е. Н., 1981. Некоторые общие вопросы изучения погребальных памятников 2-й пол. I тыс. н. э. в Приильменье // СА. М.

Носов Е. Н., 1990. Новгородское (Рюриково) городище. Л.

Носов Е. Н., 1991. Археологические памятники верховьев Волхова и Ильменского Поозерья конца I тыс. н. э. (каталог памятников) // Материалы по археологии Новгородской земли. 1990. М.

Носов Е. Н., 1994. Предисловие // В. П. Петренко. Погребальный обряд населения Северной Руси VIII–X вв. Сопки Северного Поволховья. СПб.

Носов Е. Н., Плохов А. В., 1991. Поселение Золотое Колено на средней Мсте // Материалы по археологии Новгородской земли. 1990. М.

Петренко В. П., 1984. Финно-угорские элементы в культуре средневековой Ладоги // Новое в археологии СССР и Финляндии. Л.

Петренко В. П., 1985. Классификация сопок Северного Поволховья // Средневековая Ладога : новые археологические открытия и исследования. Л.

Петренко В. П., 1985 а. Сопки Северного Поволховья в свете балтских и финно-угорских параллелей // Проблемы этнической истории балтов. Рига.

Петренко В. П., 1994. Погребальный обряд населения Северной Руси VIII–X вв. Сопки Северного Поволховья. СПб.

Петренко В. П., Шитова Т. Б., 1985. Любшанское городище и поселения Северного Поволховья // Средневековая Ладога : новые археологические открытия и исследования. Л.

Плоткин К. М., 1972. Балтские элементы в нижнем горизонте Старой Ладоги // Проблемы комплексного изучения Северо-Запада РСФСР. Л.

Плохов А. В., 1992. Лепная керамика центрального Приильменья и славянское расселение (к постановке проблемы) // Новгород и Новгородская земля : история и археология. Новгород. Вып. 4.

Плохов А. В., 2002. Керамика «ладожского типа» в Скандинавии // У истоков Новгородской земли. Любытинский сборник. Вып. 1. Любытино.

Пожезиньский А., 2009. Заселение Западного Поморья в эпоху переселения народов и начальной фазы раннего Средневековья // Stratum-plus. № 5. СПб.; Кишинёв; Одесса; Бухарест.

Розенфельдт И. Г., 1971. Керамика Троицкого городища // Древнее поселение в Подмосковье. М. (МИА. № 184).

Розенфельдт И. Г., 1974. Керамика дьяковской культуры // Дьяковская культура. М.

Рябинин Е. А., Черных Н. Б., 1988. Стратиграфия, застройка и хронология нижнего слоя Староладожского Земляного городища в свете новых исследований // СА. № 1.

Рябинин Е. А., Дубашинский А. В., 2002. Любшанское городище в Нижнем Поволховье (предварительное сообщение) // Ладога и ее соседи в эпоху Средневековья. СПб.

Савинов Д. Г., 1991. Археологические культуры и этнокультурные ареалы Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху раннего Средневековья // Археологические культуры и культурная трансформация: материалы методологического семинара ЛОИА АН СССР. Л.

Свердлов М. Б., 2003. Домонгольская Русь. СПб.

Седов В. В., 1970. Новгородские сопки. М. (САИ. Вып. Е1-8).

Седов В. В., 1970 а. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М. (МИА. № 163).

Седов В. В., 1982. Восточные славяне в VI–XIII вв. М. (Археология СССР).

Седов В. В., 1990. Древности северо-западной части Восточной Европы во 2-й половине I тыс. н. э. // Финны в Европе, VI–XV вв. М. Ч. I.

Сениченкова Т. Б., 1998. Керамика Ладоги VIII–X вв. как источник для реконструкции культурных процессов на Северо-Западе Руси : дисс. … канд. ист. наук. СПб.

Сениченкова Т. Б., 2005. О некоторых технологических особенностях изготовления ладожской посуды VIII–X вв. // АСГЭ. Вып. 37. СПб.

Смирнов А. П., Трубникова Н. В., 1965. Городецкая культура. М. (САИ. Вып. Д1-14).

Смирнов К. А., 1994. Проблема периодизации памятников городецкой и дьяковской культур // РА. № 4. М.

Сорокин П. Е., Шаров О. В., 2008. О новых находках римской эпохи на Северо-Западе // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 2 : Древности Ижорской земли. СПб.

Станкевич Я. В., 1950. Керамика нижнего горизонта Старой Ладоги // СА. Вып. XIV. М.

Станкевич Я. В., 1951. Классификация керамики древнего культурного слоя Старой Ладоги (по материалам раскопок 1947–1949 гг.). // СА. Вып. XV. М.

Толочко П. П., 1999. Ладога и ее округа в первые века русской истории // Раннесредневековые древности Северной Руси и ее соседей. СПб.

Ушинскас В. А., 1989. Роль культуры штрихованной керамики в этногенезе балтов // Славяне : этногенез и этническая история. Л.

Финно-угры и балты в эпоху Средневековья. М. 1987. (Археология СССР).

Франклин С., Шепард Д., 2009. Начало Руси, 75–1200 гг. СПб.

Фурасьев А. Г., 2001. Динамика культурных трансформаций в междуречье Западной Двины и Великой во второй и третьей четверти I тыс. н. э. : автореф. дисс. … канд. ист. наук. СПб.

Шмидт Е. А., 1982. Тушемлинская культура на Верхнем Днепре и формирование смоленских кривичей // Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего Средневековья. Л.

Шмидт Е. А., 1994. Варяги и смоленские кривичи // Тезисы докладов Международной конференции к 100-летию В. И. Равдоникаса. СПб.

Шмидт Е. А., 2003. Верхнее Поднепровье и Подвинье в III–VII вв. н. э. Тушемлинская культура. Смоленск.

Шмидт Е. А., 2012. Кривичи Смоленского Поднепровья и Подвинья (в свете археологических данных). Смоленск.

Шнеевайс Й, 2009. «Полабские славяне» – исследовательский проект на периферии славянского мира // Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света: материалы Международной конференции, состоявшейся 14–18 мая 2007 г. в Государственном Эрмитаже. СПб. (Труды Государственного Эрмитажа. Вып. XLIX).

Юшкова М. А., 2011. Эпоха бронзы и ранний железный век на Северо-Западе России : автореф. дисс. … канд. ист. наук. СПб.

Dworaczyk M., 2011. Methods of analysis and a chronology of early medieval pottery from Szczecin // Археология и история Пскова и Псковской земли : семинар им. академика В. В. Седова: материалы 56 заседания. М.; Псков.

Cnotliwy E., Łosinski W., Wojtasik J., 1986. Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Wolina w świetle analizy porównawczej struktur zespołów ceramicznycz // Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim. Warszawa.

Krüger B., 1967. Dessau-Mosigkau. Berlin.

Jansson I., 1987. Coommunications between Scandinavia and Eastern Europe in the Viking Age. The archaeological evidence // Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und fruegeschichtlichen Zeiten in Mittel- und Nordeuropa. Teil IV : Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Goettingen Philologisch-Historische Klasse. Dritte Folge. Nr 156. Goettingen.

Łosiński W., 1980. Stara Ładoga w świetle ostatniche badań archeologicznych. // Przegląd Archeologiczny. 28.

Łosiński W., Rogosz R., 1986. Metody synchronisacji warstw kulturowych wczesnosredniowiecznych obiektów wielowarstwowych na podstawie analizy ceramiki ze Szczecina // Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim. Warszawa.

Schmidt B., 1961. Die späte Völkerwanderungszeit in Mitteldeutschland. Halle.

Stalsberg A., 1982. Scandinavian Relation with Northwestern Russia during the Viking Age: The Archaeological evidence. Journal of Baltic Studies. v. XIII. № 3.

Summary

T. B. Senichenkova

The Pottery of Ladoga in the 8th–10th Centuries as a Source for the 'Reconstruction' of the Cultural Processes at Work in the North-West of Rus'

This article examines the mass-scale material provided by Ladoga hand-moulded pottery of the 8th–10th centuries, which characterizes the domestic, household and cultural assemblage and determines its potential as a source for resolving a number of questions connected with Ladoga during its earliest period.

The study of the technology used for manufacturing pottery has shown that the methods used by the potters of Ladoga were well known in the wooded zone of Eastern Europe in the period embracing the I millennium BC and the I millennium AD. There is no complete series of parallels for the range of vessel shapes in any of the cultures of the preceding period, although sources for specific types can be traced. The proposed classification table has made it possible to raise the question as to the origins of the predominant shape – the so-called «Ladoga type» pottery. It has not proved possible to single out the types of vessels typical for the 8th, 9th and 10th centuries (Plates I and II).

For that period all that can be noted are the more or less clear trends toward change: for example ribbed vessels become taller, hybrid shapes appear, as do new categories of pottery vessels and new types of decoration.

Parallels for Ladoga vessels, which have been identified (both as regards techniques of manufacture and vessel types) in the pottery of cultures from the wooded zone of Eastern Europe, point to the fact that it is important to follow up first and foremost the East European explanation for the origins of Ladoga pottery.

Comparison of pottery from the «Sopka barrow» culture with that from Ladoga demonstrates that the pottery types are similar. Moreover they cannot always be correlated with those types singled out by certain researchers (V. P. Petrenko) as types characteristic of high burial-mounds. Those types of vessels (including the most representative shape – the «Ladoga type») have also been found in a Scandinavian burial-ground at a location known as Plakun. Evidently in this particular period pottery can no longer serve as a reliable ethnic indicator.

Conclusions arrived at during the study of the pottery do not support the point of view of S. L. Kuzmin regarding «abrupt changes» in the nature of the population of Ladoga in the early period on more than one occasion. They point rather to the fact that in the mid-8th century there were «representatives of cultures from the wooded zone» in Ladoga at the same time as the Scandinavians.

Using the conclusions obtained during the study of various categories of archaeological sources in order to construct a development model for Ladoga, it needs to be remembered on the one hand what their potential was and on the other their importance. It can be assumed that at the same pace, as that in which the most mass-scale «household» craft was developing, changes were also at work among the population of Upper Rus' which was then taking shape. Ladoga pottery of the 8th–10th centuries helped shape a qualitatively new phenomenon – the emerging culture of medieval Rus' on the basis of its many diverse components. Specifying the course of that process is extremely difficult.

И. Е. Зайцева

Детали поясной и уздечной гарнитуры из материалов обследований сельских поселений Суздальского Ополья

Начиная с 2001 г. Суздальская археологическая экспедиция ИА РАН проводит планомерные широкомасштабные работы по выявлению и обследованию средневековых сельских поселений в Суздальском Ополье (Макаров, 2008; Макаров, 2012; Макаров, Федорина, 2013 и др.). Одним из ключевых направлений в этой работе наряду с изучением системы расселения, топографии и планиграфии селищ является сбор вещевых коллекций, которые могли бы служить полноценной основой для определения хронологии памятников и характеристики их материальной культуры. Накопление новых материалов, полученных, главным образом, в результате сбора находок на распаханной поверхности селищ, а также в разведочных шурфах, открывает перспективы для изучения тех категорий древностей, которые ранее были представлены на сельских поселениях небольшими сериями или единичными предметами. Исследование этих предметов позволяет получить не только информацию о хронологии и внутренней структуре средневековых поселений, повседневной жизни их обитателей, но и обратиться к вопросам социальной интерпретации как отдельных памятников, так и локальных групп селищ (Макаров, 2008, с. 4–5).

Перед автором настоящей публикации стоит задача изучения находок из цветных металлов и серебра, собранных экспедицией в 2001–2010 гг.[1] Накопленная за 10 лет коллекция насчитывает около 630 единиц, из них примерно 90 определимых предметов относятся к эпохе позднего Средневековья и Нового времени[2]. Преимущественно это крестытельники и пуговицы. Более 210 находок не имеют узкой даты: это пластины, фрагменты сосудов, заклепки, выплески и куски металла, обоймицы от ножей, обрывки прутов и дрота, проволока. Около 330 предметов датируются эпохой Средневековья – от IX до XV–XVI вв. Наиболее многочисленны здесь находки деталей поясной и уздечной гарнитуры (24 %) и обломки шумящих украшений финно-угорского облика (16 %), далее следуют предметы личного благочестия (12 %), перстни (9 %) и браслеты (7 %). Остальные категории находок представлены меньшим числом экземпляров. Обратимся к самой представительной группе – деталям поясной и уздечной гарнитуры, – насчитывающей 79 предметов, обнаруженных на разных памятниках (рис. 1). Преимущественно это единичные экземпляры, сохранившиеся целиком. Собраны только два набора: в окрестностях села Весь найден набор из 9 одинаковых накладок, другой набор из 3 одинаковых накладок происходит с Ратницкого 4.

Кольца и разделители

В сборах обнаружено 13 круглых гладких поясных колец круглого, подовального и подтреугольного сечений и 2 ременных разделителя – трехчастный и четырехчастный (рис. 2). Большинство колец дошли до нас целыми. Их внешний диаметр составляет от 14,5 до 42,9 мм. Преобладают экземпляры с диаметром 20–23 мм. Диаметр сечения колец колеблется в пределах 3–4,5 мм. На находках из Туртино 2 (рис. 2: 3), Поганого озера 1 и окрестностей села Весь (рис. 2: 5) хорошо видны литейные швы, свидетельствующие об изготовлении изделий в двустворчатых литейных формах. На остальных предметах швы визуально не просматриваются. Сечения колец из Веси (рис. 2: 4) и Поганого озера 1 неравномерные, сами изделия получились несколько ассиметричными. Вероятно, для их создания были использованы восковые модели.

Трехчастный ременной разделитель диаметром 30×32 мм из Вишенок 6 сильно истерт в результате длительного использования. В центре разделителя, отлитого по восковой модели, помещен рисунок многолепесткового цветка (рис. 2: 7). Похожий предмет происходит из к. 5 Тимеревского могильника (Фехнер, Недошивина, 1987, с. 72, рис. 3: 4). Подобные разделители известны в Биляре (История татар, 2006, с. 244)

[1] В работе рассмотрены также предметы, собранные в окрестностях села Весь и переданные экспедиции коллекционером П. Бирюковым. В настоящее время эти предметы готовятся к передаче в ГИМ.

[2] Хочу поблагодарить всех участников экспедиции, внесших свой вклад в формирование коллекции.

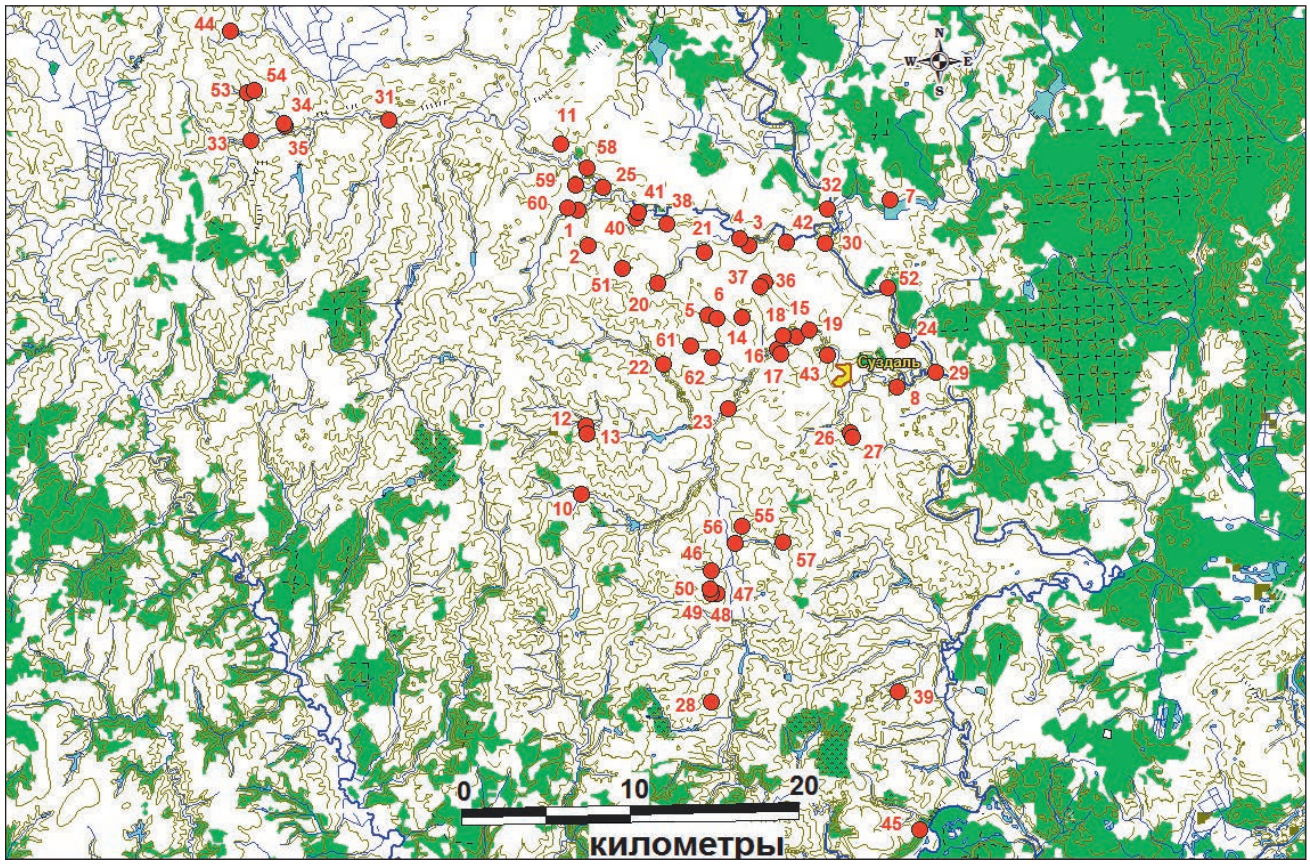


Рис. 1. Памятники, с которых происходят находки предметов из цветных металлов (карта подготовлена А. А. Карпухиным):
1 – Большое Давыдовское 2; 2 – Большое Давыдовское 4; 3 – Весь 3; 4 – Весь 5; 5 – Вишенки 3; 6 – Вишенки 6; 7 – Глазово; 8 – Глебовское 1; 9 – Гнездилово; 10 – Губачево 1; 11 – Жадинское 1; 12 – Карельская слободка 4; 13 – Карельская слободка 5; 14–19 – Кибол; 20 – Кистыш 3; 21 – Кистыш 9; 22 – Константиново; 23 – Крапивье 4; 24 – Красное 3; 25 – Малодавыдовское городище; 26 – Михали 3; 27 – Михали 4; 28 – Новгородское 1; 9 – Новоселка; 30 – Омутское; 31 – Осановец; 32 – Пантелиха; 33–35 – Парша; 36 – Поганое озеро 1; 37 – Поганое озеро 2; 38 – Подолец 1; 39 – Порецкое 4; 40 – Ратницкое 4; 41 – Ратницкое 5; 42 – Романово; 43 – Сельцо; 44 – Скомово 2; 45 – Сунгирь; 46–50 – Тарбаево; 51 – Торки 4; 52 – Троица Берег 4; 53 – Турабьево 1; 54 – Турабьево 2; 55 – Туртино 5; 56 – Туртино 6; 57 – Федоровское 3; 58–60 – Шекшово; 61 – Янево 4; 62 – Янево 6

и на венгерских могильниках, относимых исследователями к X в. (см., например, Fodor, 1996, p. 274, fig. 40).

Четырехчастный разделитель диаметром 38,7 мм из Веси был отлит, вероятно, в каменной форме (рис. 2: 8). Он также сильно изношен. Центральная часть разделителя украшена рисунком многолепесткового цветка с крупной выпуклой серединкой. Почти точные аналогии рассматриваемому предмету (несколько отличается рисунок центрального цветка) происходят из владимирских (Спицын, 1905, с. 154, рис. 362) и костромских курганов (Рябинин, 1986, с. 71, табл. III, 34). Обломок похожего разделителя найден на I Семёновском селище (Казаков, 1991, с. 55, рис. 19: 15). Близкую по стилю орнаментацию имеют детали конского оголовья из кочевнического погребения XI в. в Гаевке (Среднее Подонье; Кирпичников, 1973, табл. VIII). Вероятно, XI – началом XII вв. можно датировать и находку из Суздальского Ополья.

Оба разделителя, возможно, являются деталями конских оголовий[3]. Скорее всего, к конской упряжи относятся и самые крупные кольца диаметром 32,5 мм из Кистыша 3 и диаметром 41–42,9 мм из Турабьево 2 (рис. 2: 2). Реконструкции оголовий с кольцами и разделителями неоднократно опубликованы (см., например, Кирпичников, 1973, с. 28, 31, рис. 12 и др.). Остальные кольца могли использоваться как для соединения ремней поясов, так и для крепления деталей конских оголовий.

[3] В костромских курганах такой разделитель был частью мужского пояса.

Наконечники

Ременных наконечников собрано всего 3 экземпляра. Все они относятся к разным типам. Кованый наконечник длиной 38 мм из Веси 5 имеет вид гладкого конического штырька с раскованным основанием и отверстием для крепления (рис. 2: 11). Наконечники такого типа из Белоозера рассмотрены С. Д. Захаровым (Захаров, 2004, с. 186). Он же указывает на находки подобных предметов в Ярополче и Старой Рязани (Там же). Несколько наконечников в виде штырьков имеется среди погребений Готланда, относящихся к XI в. (Thunmark-Nulen, 1995, Abb 43: 6; Abb. 44: 5). Как правило, в одном комплексе такие наконечники представлены в нескольких экземплярах. П.-Л. Лехтосало-Хиландер реконструировала пояс с пучком подвесных ремешков, фиксирующихся в нижних частях штырьковыми наконечниками (Lehtosalo-Hilander, 1982, p. 172, fig. 49).

К достаточно распространенному на территории Северной Руси в XI в. типу относится наконечник размерами 33×14 мм из Сунгиря, украшенный орнаментом из завитков (класс IX, вид 1Б или класс VII, группа 2 по В. В. Мурашёвой[4]). Скошенный борт наконечника покрыт серебрением (рис. 2: 12). Возможно, в углубленных завитках ранее находилась не дошедшая до нас серебряная проволока. Отличительной особенностью сунгирского экземпляра является нефункциональное обилие шпеньков: на столь небольшой площади их сделано 4. Тем не менее, в результате длительного использования шпеньки всё же обломились, и для фиксации наконечника было проделано отверстие. Аналогии рассматриваемому предмету происходят из Михайловского могильника (Ярославская область) и Новосельска (Юго-Восточное Приладожье; Мурашёва, 2000, с. 123–124), Мининского археологического комплекса на Кубенском озере (Зайцева, 2008, с. 86). Они встречены в комплексах XI в. на целом ряде памятников Северной Европы от Готланда до Исландии (Thunmark-Nulen, 1998, Taf. 133: 5; Jansson, 1977, p. 384, fig. 1).

Последний гладкий наконечник длиной 63 мм из Шекшово 1, вероятно, использовался для крепления ремней конского оголовья. Он имеет вид двускатной трапеции, один конец которой оформлен треугольным вырезом, а другой фигурно выделен (рис. 2: *14*). Длинные гладкие бронзовые накладки с фигурными концами известны в материалах XII–XIII вв. (см., например, комплекс из Николаевки, Кирпичников, 1973, табл. XII). Более распространены были железные болгарские накладки похожих очертаний, подражающие аскизским изделиям (Руденко, 2007, с. 171, рис. 60).

[4] Типы наконечников и накладок приводятся по работе В. В. Мурашёвой «Древнерусские ременные наборные украшения (X–XIII вв.)».

Наносные султаны (2 экз.)

В Подольце 1 и Поганом озере 1 собраны фрагментированные детали конских наносных султанов. От султанчика из Подольца 1 сохранилась большая половина: он представлял из себя орнаментированную пластину бантовидной формы длиной 50 мм, в центре которой находилась втулка высотой 9,6 мм диаметром 7 мм (рис. 2: 16). К ремню пластина султана крепилась при помощи 4 штифтов, верхнюю ее часть украшал орнамент в виде завитков. Изделие отлито по выплавляемой восковой модели. Интересен прием изготовления модели: первоначально в каменной форме были изготовлены восковые модели краев султана, которые потом были соединены через вылепленную отдельно втулку, в которой с тыльной стороны было проткнуто отверстие.

От второго султана до нас дошел небольшой фрагмент пластины длиной 16 мм со шпеньком на обороте. Сохранившаяся часть имеет форму трапеции. Пластина султана, изготовленная с использованием каменной формы, украшена орнаментом в виде растительного побега (рис. 2: 13).

Наносные султаны были частью конских оголовий у кочевников. Их находки зафиксированы в богатых конских погребениях XI–XIII вв. на территории южнорусских степей и в Северо-Восточном Причерноморье (см., например, Армарчук, 2006, с. 220). Рисунок вьюна появляется здесь на деталях уздечной гарнитуры уже в XI в. (набор из Гаевки; Кирпичников, 1973, таб. VIII, IX), правда, в это время он всегда обрамляется рубчатым геометрическим бордюром, и сохраняется до второй половины XIII – начала XIV вв., теперь уже без бордюра (кыпчакское погребение в Ковалевке VI, кург. 6 в Николаевской области; Кызласов, 2010, с. 150). Вероятно, находки из Суздальского Ополья можно датировать временем не ранее XII в.

Распределители ремней конского оголовья

4 бляхи круглой формы служили для укрепления перекрестий ремней конского оголовья. Гладкая чуть выпуклая бляха со скошенным вертикальным бортиком диаметром 24 мм из Романово имела 4 шпенька для крепления (рис. 2: 18). Три из них были обломаны и заменены вставленными в пробитые насквозь отверстия двумя железными и одним бронзовым штырьками. Аналогичные романовской круглые гладкие бляхи с бортиками известны в составе конских оголовий кочевнических погребений конца XI–XII вв. Северо-Восточного Причерноморья (Армарчук, 2006, с. 100, 196).

Литая полая выпуклая бляха из Подольца 1 диаметром 27,2 мм высотой 11,5 мм имеет вид ромашки с выпуклой гладкой серединкой и 9 выпуклыми лепестками (рис. 2: 15). К ремням она крепилась при



Рис. 2. Поясные кольца (1–6, 9–10, 20), разделители ремней (7, 8), поясные наконечники (11, 12, 14), наносные султаны (13, 16), бляхи конских оголовий (15, 17–19).
1, 20 – Кистыш 3; 2 – Турабьево 2; 3 – Туртино 2; 4–6, 8 – окрестности села Весь; 7, 9 – Вишенки 6; 10 – Кибол 11; 11 – Весь 5; 12, 17 – Сунгирь; 14 – Шекшово 1; 15, 16 – Подолец 1; 13 – Поганое озеро 1; 18 – Романово; 19 – Новгородская 1

помощи шпеньков. Около края бляхи пробито отверстие размерами 2×1,7 мм. По данным В. В. Новикова, полная аналогия данному предмету происходит из случайных сборов в Подмосковье (Новиков, 2009 а, с. 62, рис. 62, 20).

Вероятно, к уздечным следует отнести обломок круглой плоской бляхи диаметром более 35 мм из Новгородской 1 (рис. 2: 19). Пластина бляхи толщиной 1,5 мм была отлита по оттиску готового предмета – на поверхности проступает плохо отпечатавшийся рисунок. Шпенек был просто вставлен в еще не остывшее изделие. Плоские бляхи с мелким рисунком известны в составе уздечных наборов в Гнёздово (Новиков, 2009 а, с. 79, рис. 79: 2).

Интересна литая по восковой модели бляха из Сунгиря диаметром 23,5 мм с мелким резным рисунком плетенки и 4 фигурными выступами (рис. 2: 17). На обороте в выступах располагаются шпеньки. Рисунок на рассматриваемом экземпляре читается плохо. На территории Древней Руси известны две достоверные аналогии сунгирской бляхе: одна происходит из слоя конца X в. в Новгороде (Седова, 1981, с. 149), а другая обнаружена Д. П. Европеусом в 1870-х гг. в кургане с трупосожжением у бывшего погоста Бежица в Тверской губернии вместе с накладками скандинавского облика (Исланова, Крымов, Романов, 2005, с. 75). Обе бляхи украшены плетеным орнаментом в стиле Борре с маской зверя в центре. Детально исследовавший эти находки В. В. Новиков считает их разделителями ремней конского суголовья и указывает на многочисленные прототипы и аналогии этим предметам на территории Скандинавии (Новиков, 2009, с. 120). Исследователь относит их к импорту из Скандинавии и датирует второй половиной X в. (там же).

Пряжки

Коллекция собранных на селищах пряжек насчитывает 20 экз. Большинство из них дошли до нас целиком. Две кованые пряжки обнаружены на Малодавыдовском городище и в Тарбаево 5. Рамка пряжки из Малодавыдовского размерами 29 × 21 мм выкована из медного волоченого дрота прямоугольного сечения, концы рамки соединены волоченым латунным стержнем с диаметром сечения 1,7 мм. Кованый язычок также сделан из латуни (рис. 3: 1). По этой же технологии сделана и пряжка трапециевидной формы из Тарбаево 5 размерами 31 × 20 мм (рис. 3: 2). На ней сохранился щиток, изготовленный из сложенной пополам кованой прямоугольной пластины размерами 51 × 11 × 0,5 мм, соединенной двумя заклепками.

Кованые пряжки разных форм, концы рамок которых скреплялись посредством штырей, были в ходу на протяжении длительного времени. Они известны в погребениях могильников Поломской культуры в Прикамье с VIII в. (Мыдлань-Шай; Генинг, 1979, вкладка). Такие пряжки использовались у финно-угров для крепления головных венчиков (см., например, п. 7 Второго Журавкинского могильника второй половины VIII – начала XI в.; Петербургский, Вихляев, Святкин, 2010, с. 80, рис. 5: 11).

Пряжки, подобные суздальским по форме, происходят из к. 85 Тимерево (Фехнер, 1963, с. 18) и из марийских могильников – Юмского (Никитина, 2012, с. 229) и Черемисского кладбища. Погребение с пряжкой из Черемисского кладбища Г. А. Архипов относит к X в. (Архипов, 1973, с. 68, 116). Этим же временем датируется и погребение 5 из Юмского могильника (Никитина, 2012, с. 65). Много таких пряжек из погребений Готланда XI – начала XII вв. опубликовано Л. Тюнмарк-Нюлен (Thunmark-Nulen, 1998, Taf. 125: 3; 1995, Abb. 29: 15[5]). Похожая по технологии изготовления и форме пряжка из Новгорода рассмотрена М. В. Седовой (Седова, 1981, с. 145, рис. 56: 12). Исследовательница датирует ее временем не ранее XII в. (Седова, 1981, с. 147).

Самые многочисленные в рассматриваемой коллекции пряжки, имевшие широкое распространение по всей территории Восточной Европы в конце X – середине XII вв. Это двухчастные пряжки: 4 лировидные с лилиевидным носиком (Шекшово 2, Кибол 3, Сунгирь, Поганое озеро 1), две прямоугольные (Торки 4, Весь), пятиугольная и обломок одночастной овальной пряжки, украшенной рубчатым орнаментом (Кибол 5). Все пряжки, кроме пятиугольной, сделаны по резным восковым моделям (рис. 3: 3–9). Экземпляр пятиугольной пряжки изготовлен по оттиску готового изделия. Он вышел не очень качественным: рамка пряжки в передней части получилась очень тонкой, не отпечатались и не пролились детали рубчатого орнамента, обычно украшавшие изделия данного типа (рис. 3: 10). Многочисленные аналогии этим серийным пряжкам встречены практически на всех памятниках Восточной Европы, где есть материалы XI – первой половины XII вв. (см., например, Спицын, 1905, с. 154; Седова, 1981, с. 144; Захаров, 2004., рис. 94: 1–4, 7–11, 18–20; Моця, Казаков, 2001, с. 225; Петрашенко, 2005, с. 97, 99; Плетнева, 2006, с. 234, рис. 82: 26–29; Казаков, 1991, с. 128, рис. 43; Руденко, 2007, с. 206, рис. 95; Thunmark-Nulen. 1998, Taf. 128). Необходимо отметить, что большинство пряжек этой группы из Ополья имеют миниатюрные размеры.

Интересна трапециевидная пряжка из Карельской слободки V размерами 25–27,7×33,5 мм, изготовленная по оттиску готового изделия. Рамка пряжки оттискиваемого экземпляра была украшена рубчатым рисунком. В углах передней части рамки и на концах поперечной перекладины помещены маленькие резные звериные маски (рис. 3: 13). Точной

[5] Эта пряжка наиболее близка по форме пряжке из Малодавыдовского городища.



Рис. 3. Поясные пряжки.
1 – Малое Давыдовское городище; 2 – Тарбаево 5; 3, 18 – Сунгирь; 4, 14 – окрестности села Весь; 11, 19 – Весь 5; 5 – Кибол 3; 6 – Шекшово 2; 7 – Поганое озеро 1; 8 – Кибол 5; 9 – Торки 4; 10 – ?; 12, 13 – Карельская слободка 5; 15 – Вишенки 3; 16 – Губачево 3; 17 – 18 – Кистыш 3; 20 – Кибол 1а

аналогии данной пряжки обнаружить пока не удалось. Очень похожие по рисунку небольшие резные звериные маски в стиле Борре распространены на деталях ременной гарнитуры скандинавского происхождения (см., например, Мурашёва, 2000, с. 66–67; Новиков, 2012, с. 115, 117, 119).

По восковой модели, полученной в каменной форме, отлита пряжка с трапециевидной рамкой и цельнолитым удлиненным щитком из Карельской слободки 5 (рис. 3: 12). И рамка, и щиток пряжки украшены прочерченным геометрическим орнаментом. Точно такие же пряжки обнаружены в могильнике Kaarina-Ristimäki на территории современной Финляндии (Kivikoski, 1973, Abb. 1199) и на Мурзихинском селище в низовьях Камы (Руденко, 2001, с. 157). Предлагаемая для них К. А. Руденко дата достаточно широкая – XI–XIII вв. (Руденко, 2001, с. 66). В Новгороде в слое 30–60-х гг. XII в. найден набор из наконечников с очень близким рисунком (Седова, 1981, с. 149). Вероятно, пряжки, накладки и наконечники такого вида изготавливались в мастерских Волжской Болгарии. Наибольшее распространение пряжки с цельнолитыми орнаментированными щитками имели в XI – первой половине XII вв.

Две простые однорамчатые пряжки имели форму полукруга с выступающей передней частью рамки и плоской, обращенной к ремню. Пряжка из Веси 5 размерами 25,5 × 22,2 мм отлита по резной восковой модели (рис. 3: 11). Сечение рамки – сегментовидное. Поскольку отливка вышла не очень удачной, пряжка была сильно подшлифована. Другая пряжка также из Веси 5 размерами 23,5 × 19,8 мм изготовлена по восковой модели из плетеных жгутов (рис. 3: 14). Рамка имеет подтреугольное сечение. С этого же памятника происходит еще одна пряжка, сделанная в технике воскового вязания. Подпрямоугольной формы рамка имеет размеры 26,7 × 25 мм (рис. 3: 19). Пряжки, изготовленные в финно-угорской традиции по выплавляемым моделям, свитым из плетеных восковых жгутов, известны в могильниках Прикамья (Генинг, 1979, вкладка), во владимирских (Спицын, 1905, с. 137, рис. 115, 117) и Гнёздовских курганах (Сизов, 1902, т. II, № 23), на болгарских селищах (Руденко, 2007, с. 206, рис. 95: 1) и др.

Пряжка с фигурной рамкой размерами 19х23 мм происходит из Кибола 1а (рис. 3: 20). Язычок пряжки сделан из железа. Полный аналог данному изделию обнаружен в Плёсе (Травкин, 2010, XII–XIV вв.). Такие же по форме пряжки из Новгорода опубликованы М. В. Седовой (Седова, 1981, с. 146, рис. 57: 12, 147; дата – конец XII – конец XIII вв.) и П. Г. Гайдуковым (Гайдуков, 1992, с. 98, 161, рис. 70: 7; дата XV в.).

В Кистыше 3 найдена гладкая прямоугольная пряжка размерами 29,5×21,5–22,4×4 мм с килевидным носиком (рис. 3: 18). Сечение рамки – прямоугольное. Пряжка отлита в двустворчатой форме: на торце хорошо виден литейный шов. Прямоугольные пряжки с килевидными носиками известны в материалах позднего Средневековья XVI–XVII вв. (Руденко, 2007, с. 206, рис. 95: 59–61).

Последние три находки этой группы представлены в обломках. Это половина гладкого кованого щитка пряжки длиной 34 мм, шириной 19,8–20,4 мм, толщиной 0,5 мм из Вишенок 3 (рис. 3: 15). К ремню щиток крепился при помощи двух штифтов, расположенных около его внешнего края. Кованый широкий язычок от пряжки обнаружен в Губачево 3 (рис. 3: 16). Он сильно изношен. Обломок пряжки трапециевидной формы происходит из Сунгиря (рис. 3: 17). Пряжка изготовлена литьем по восковой модели.

Накладки

Из сборов происходят 35 поясных накладок. К распространенным на территории Северной и особенно Северо-Восточной Руси в X – начале XI вв. типам относятся две накладки, собранные на разных памятниках Ополья. Это изделия, имевшие большую популярность у тюрок и восточных финнов в IX–X вв. и попавшие на Русь с Востока. Круглая накладка из Сунгиря диаметром 20 мм имеет углубление в центре диаметром 9 мм (рис. 4: 1; класс III, группа 1А по В. В. Мурашёвой). Вероятно, такие накладки изготавливались или литьем, или штамповкой из листа. Впоследствии пластина накладки разогревалась и в теплый металл вставлялись проволочные шпеньки. На экземпляре из Сунгиря сделаны 4 длинных шпенька, которые подгибались, а не фиксировались зажимами. Круглые гладкие накладки с углублением на древнерусской территории обнаружены во владимирских курганах (Спицын, 1905, с. 132, рис. 58), Тимерево (Мальм, 1963, с. 66, рис. 38: 2), в Мининском археологическом комплексе (Зайцева, 2008, с. 87), Белоозере (Захаров, 2004, рис. 262: 32) и др. В Гнёздово такие накладки входили в состав конского оголовья (Новиков, 2009 а, с. 75, рис. 75).

Другой разновидностью этого типа являются накладки сердцевидной формы с похожим углублением в центре. Экземпляр такой накладки размерами 17×16,3 мм найден на Веси 5 (рис. 4: 2; класс III, группа 1Г–1 по В. В. Мурашёвой). Подобные накладки имеются в Гнёздово, также в составе конских оголовий (Мурашёва, 2000, с. 108), во владимирских курганах (Спицын, 1905, с. 132, рис. 53) и Минино (Зайцева, 2008, с. 90).

Две накладки первой половины X в. можно связать с «волжско-болгарским» центром, выделенным В. В. Мурашёвой (раннеболгарский этап): Мурашева, 2000, с. 92). Это накладка пятиугольной формы с каплевидными выступами размерами 19×17,2 мм из Туртино 5 (рис. 4: 6). В центре накладки имеется отверстие, от которого в разные стороны отходят три трехлепестковых цветка с отогнутыми вниз бо-



Рис. 4. Поясные и уздечные накладки, застежка сумки:
1, 21, 30, 31 – Сунгирь; 2, 4, 10–20, 22 – окрестности села Весь; 3, 7, 8 – Ратницкое 4; 5 – Шекшово 2; 6 – Туртино 5; 9 – Осановец 1; 23, 24 – Кибол 3; 25 – Карельская слободка 4; 26 – Подолец 1; 27 – Карельская слободка 5; 28 – Вишенки 3; 29, 33 – Тарбаево 5; 32 – Турабьево 1; 34 – Шекшово 3; 35 – Малодавыдовское городище; 36 – Сунгирь

ковыми лепестками (класс IX по В. В. Мурашёвой). Накладки с близким рисунком происходят из марийского Дубовского могильника (Архипов, 1974, рис. 43: 25) и Каранаевских курганов на Южном Урале (Мажитов, 1981, с. 108, рис. 58: 14, 15).

Еще один распространенный тип представляет накладка сердцевидной формы с прочерченным растительным орнаментом из Ратницкого 4 (рис. 4: 3; класс XXVIII тип 1А по В. В. Мурашёвой). При отливке металл не полностью заполнил форму и один из краев накладки вышел искаженным. Накладки сердцевидной формы с орнаментом в виде побега обнаружены во владимирских курганах, Тимерево, Гнёздово (Мурашёва, 2000, с. 115–116), в Минино (Зайцева, 2008, с. 90, 93), на болгарских селищах в низовьях Камы (Руденко, 2007, с. 207), в Крюково-Кужновском и Лядинском могильниках (Ястребов, 1893, т. VI, № 15; Мурашева, 2000, с. 46), в марийских Веселовском и Юмском могильниках (Архипов, 1973, с. 155, рис. 43: 6, 8), могильниках Пермского Предуралья (Данич, 2013, с. 192, рис. 2: 32) и др. Обилие таких стандартных накладок в финно-угорских могильниках народов, соседствующих с Волжской Болгарией, вероятно, свидетельствует о том, что именно она и была центром их производства. Квадратные с прорезью и сердцевидные накладки с одинаковым растительным рисунком изготавливались на протяжении всего X в.[6]. А. В. Козлова, исследовавшая накладки этого типа из Новгорода, также связывает традицию их производства с Востоком (Козлова, 2004, с. 190).

Серия накладок относится к продукции «Волжско-болгарского» центра развито-болгарского этапа (по В. В. Мурашёвой) второй половины X – начала XI вв. (Мурашёва, 2000, с. 92–93). Это накладка квадратной формы размерами 16,9 × 17 мм с ободком и рисунком многолепесткового цветка в центре из Веси 5 (класс XXV, вид 1А по В. В. Мурашёвой), представляющая еще один территориально очень распространенный тип (рис. 4: 22). В нижней части таких накладок обычно имеется отверстие, в накладке из Веси оно не пролилось. Область распространения подобных изделий простирается от Южного Урала до Болгарии и Швеции. Они известны в Старокуйбышевском местонахождении (Казаков, 1991, с. 130, рис. 44: 75), марийском Веселовском могильнике (Архипов, 1973, с. 155, рис. 43: 70), удмуртском Солдырском (Иванова, 1999, с. 230), во владимирских курганах, Гнёздово (Мурашёва, 2000, с. 44), Бирке (Hedenstierna-Jonson, Holmqist Olausson, 2006), Дунайской Болгарии.

Столь же широко от Волжской Болгарии до Швеции и Болгарии были распространены накладки с выступом и выемкой (Казаков, 1991, рис. 44: 81; Arbman, 1940, Taf. 91: 2; Станилов, 1993, с. 152, обр. 1: 2). Экземпляр, обнаруженный в Карельской Слободке 5, имеет крупные размеры 22,4 × 19,8 мм и украшен кружковым орнаментом (рис. 4: 27). Он сделан по оттиску готового изделия очень неумело: мастер неправильно подобрал температурный режим, и изделие получилось в кавернах. Шпеньки вставлены из проволочек круглого сечения диаметром 0,9 мм. Это явная попытка неопытного человека копировать накладку, возможно, чтобы восполнить утрату в поясном наборе. Накладки с выступом и выемкой украшали пояса и кошельки и были популярны на протяжении довольно длительного времени (Мальм, 1963, с. 68; Зайцева, 2008, с. 89–90).

Накладка пятиугольной формы размерами 18 × 16,1 мм из Сунгиря (рис. 4: 21; класс XVII, 1А–1 по В. В. Мурашёвой) украшена композицией из двух расположенных друг над другом цветков. Экземпляр накладки из Сунгиря отличается нечеткостью рисунка, утратившего некоторые элементы. Вероятно, он изготовлен по оттиску. Такие же накладки обнаружены во владимирских курганах и мордовском Елизавет-Михайловском могильнике (Мурашёва, 2000, с. 41).

Девять одинаковых накладок от одного пояса из окрестностей села Весь принадлежат к классу XIV по В. В. Мурашёвой (рис. 4: 11–19). Накладки, сделанные с большим мастерством по оттиску восковой пластинки в каменных формах (?), имеют высоту 18,1 мм и несколько различаются по ширине: есть экземпляры шириной 18,4 мм, есть 20 мм. У трех накладок шпеньки изготовлялись вместе с пластинами, у шести это отрезки круглой проволоки с диаметром сечения 1,5 мм, которые были вставлены в еще не остывший металл при отливке. Изначально шпеньки делались длинными, что предусматривало их загибание, а не фиксацию заклепками. Практически полная аналогия рассматриваемым изделиям происходит из Финляндии (Kivikoski, 1973, Taf. 104, Abb. 911). Накладки из I Семёновского селища, Залучья и Чемихино, отнесенные В. В. Мурашёвой к этому классу, несколько отличаются по рисунку (Мурашёва, 2000, с. 38–39).

Пятиугольная накладка высокого качества из Веси 5 размерами 16,5×19,5 мм имеет центральный рисунок трехлепесткового цветка и каплевидные выступы (рис. 4: 20; класс XXXII, 1А–1 по В. В. Мурашёвой). Аналогии этому экземпляру представлены во владимирских курганах (Мурашёва, 2000, с. 116). Пояс, украшенный такими накладками, обнаружен в кургане у д. Заямочное Минской области (Лавыш, 2008, с. 126, рис. 233).

Несколько типов накладок из Ополья не имеют параллелей в материалах Северной Руси, зато известны в комплексах, происходящих из южнорусских земель, Болгарии и Венгрии. Это накладка прямоугольной формы размерами 34,5 × 16,5 × 1,5 мм с 4 шпеньками из окрестностей села Весь (рис. 4: 4). Гладкая литая пластина накладки была вхолодную украшена грави-

[6] Начало производства этих изделий, вероятно, относится к IX в.

рованным геометрическим рисунком. По периметру накладки в канавки рисунка была забита серебряная проволока (класс XXXIII, вид 1Г по В. В. Мурашёвой). Точные аналогии накладке известны в составе конских оголовий в черниговских могильниках Шестовице (2 кургана) и Табаевке[7] (Бліфельд, 1977, с. 193, 226; Мурашёва, 2000, с. 117; Новиков, 2009 а, с. 87, 88, 90). Рассматриваемая накладка – одна из ярких представительниц «Черниговского» производственного центра ременной гарнитуры второй половины X в. (Мурашёва, 2000, с. 94).

Еще 5 накладок можно отнести к изделиям, выполненным в «позднехазарской» традиции (Мурашёва, 2000, с. 88, 91) и, вероятно, попавшим в Суздальское Ополье с юга. Это три одинаковые накладки из Ратницкого 4 (рис. 4: 7, 8) и накладка из Шекшово 2 (рис. 4: 5). Накладки пятиугольной формы из Ратницкого 4 имеют размеры 18 × 16 мм. Они сделаны по оттиску готового изделия, подвергшегося многократному тиражированию. В центре накладок – полусферический выступ, окруженный полуовалом из ложных перлов. В нижней части – прорезь, по углам каплевидные выступы. На территории Древней Руси подобные изделия не были распространены. Только две накладки из курганов Петербургской губернии из раскопок Ивановского (точнее неизвестно) имеют близкие форму и рисунок (дата по В. В. Мурашевой – вторая половина X в.; Мурашева, 2000, с. 108). Тем не менее, такие предметы в большом количестве известны в материалах Болгарии, где они датируются от X в. (Плетньов, Павлова, 2000, с. 86; Минаева, 2012, с. 56, рис. 24). Накладки из Болгарии имеют столь же смазанные рисунки в результате многих оттисков. Экземпляры накладок хорошего качества известны с территории Словакии и Венгрии (Fodor, 1996, p. 140, fig. 1; p. 194, 301).

Известны в Дунайской Болгарии и накладки, аналогичные найденной в Шекшово 2 (Плетньов, Павлова, 2000, с. 85). Ее лицевая поверхность размерами 18 × 25 мм покрыта серебром. Выпуклый рисунок, изображающий трехлепестковый цветок с каплевидными выступами, сделан с большим мастерством. На древнерусской территории похожие по рисунку накладки, но худшего качества, происходят из Гнёздова (класс II, вид 1Г–2 по В. В. Мурашёвой: Мурашёва, 2000, с. 29). Украшенная такими накладками уздечка обнаружена в марийском Дубовском могильнике (Никитина, 2012, с. 58, 374). Болгарские исследователи относят этот тип накладок к X в. (Плетньов, Павлова, 2000, с. 85). Еще одна накладка размерами 19,5×22,1 мм из Веси имеет пятиугольную форму (рис. 4: 10). В центре – крупный рисунок трехлепесткового цветка, внизу прорезь, по бокам каплевидные выступы.

По оттиску готового изделия отлита небольшая накладка круглой формы диаметром 12,5 мм из Осановца 1 (рис. 4: 9). Выпуклую середину окружают мелкие смазанные овалы или кружки. Такие небольшие по размеру накладки широко использовались в X в. для отделки узды, колчанов и кошельков. Их находки известны от Волжской Болгарии (Казаков, 2007, с. 175, рис. 56) до Венгрии (Fodor, 1996, p. 116).

Накладка круглой формы диаметром 18,2 мм из Кибола 3 украшена выпуклым рисунком: кольцо в центре и 6 полуколец по периметру (рис. 4: 23). Наиболее близкой аналогией этой находке является накладка из к. 7 Тимерево (Фехнер, 1963 а, с. 89, рис. 53: 1). Серебряные накладки с подобным рисунком были распространены на венгерских поясах (Fodor, 1996, p. 246).

Из накладок, являющихся хроноиндикаторами XI – начала XII вв., обнаружена всего одна. Это накладка каплевидной формы из Кибола 3 (рис. 4: 24; класс VIII, группа 2 по В. В. Мурашевой). Она имеет размеры 14,3×12,1 мм. Рисунок на накладке –пятилепестковый цветок в окружении перлов – практически не читается. Аналогии этому предмету известны на многих памятниках Северо-Запада Древней Руси, на Готланде, в Швеции и жертвенных местах Лапландии. Ближайшие к Суздальскому Ополью пункты таких находок – это Отмичи и Бустрыгино на Верхней Волге (подборку аналогий см. Зайцева, 2008, с. 91). По мнению К. А. Михайлова, называющему пояса с такими накладками поясами «новгородского» типа, центром их изготовления и распространения был Новгород (Михайлов, 2005, с. 133, 136, рис. 3: 7).

Ко второй половине XI – XII вв. можно отнести три накладки. Накладка овальной формы размерами 35,1×11 мм из Тарбаево 5 (рис. 4: 29) принадлежит к довольно редкому типу. Поле накладки украшено 4 кружками, заполненными мелкими уплощенными шариками. Точно такой же предмет происходит из сборов на городище на Менке в Белоруссии. Опубликовавшая эту находку К. А. Лавыш относит ее ко второй половине X – XI вв. (Лавыш, 2008, с. 126, рис. 232; с. 200), однако, мне представляется, что более вероятна дата XI–XII вв.

Накладка из Сунгиря флаконовидной формы размерами 23,8 × 12 мм (рис. 4: 30) сделана по восковой модели, оттиснутой в жесткой форме. Близкие по форме накладки болгарского производства происходят из вымского Жигановского могильника (Савельева, 1987, с. 152). Накладка из Шекшово 3 круглой формы диаметром 16,5 мм с геометрическим орнаментом получена штамповкой (рис. 4: 34). К разогретой пластине накладки присоединялись два проволочных шпенька. Штампованные накладки относятся к самой поздней хронологической группе древнерусских поясных украшений из цветных металлов (конец XI – XII вв.). Их находки достаточно редки, поскольку в это время мода на

[7] На черниговских накладках центральная фигура ромба заполнена позолотой.

ношение наборных поясов проходит. Целый пояс, украшенный штампованными накладками, происходит из к. 20 в Каблуково в Подмосковье (Недошивина, 2007, с. 134).

Остальные 6 накладок, собранные на разных памятниках, не имеют четких хронологических дефиниций. На Малодавыдовском городище обнаружена накладка квадратной формы размерами 16,4×14 мм, украшенная пятью округлыми выпуклостями (рис. 4: 35). Аналогий этому изделию пока обнаружить не удалось, тем не менее, ее принадлежность к мерянскому горизонту памятника маловероятна. Скорее всего, она относится к верхнему древнерусскому слою с круговой керамикой (Леонтьев, 1996, с. 209). В широких хронологических пределах датируется гладкая штампованная бляшка-скорлупка диаметром 15 мм с отверстием для крепления из Турабьево 1 (рис. 4: 32). Похожими бляшками отделывались колчаны, обнаруженные в венгерских могильниках X в., и пояса из погребений Готланда XI – начала XII вв. (Thunmark-Nulen, 1998, Taf. 139: 9, 10). Еще одна выпуклая бляшка-скорлупка диаметром 12 мм из Вишенок 3[8] изготовлена с помощью литья (рис. 4: 28).

Круглая накладка диаметром 15,2 мм из Сунгиря украшена нарезанными после отливки небрежными полосами (рис. 4: 31). Подобное изделие известно из сборов на Белоозере (Захаров, 2004, рис. 96: 4). Выпуклая накладка из Подольца 1 сделана в виде розетки диаметром 14,5 мм[9] (рис. 4: 26). Накладка из Тарбаево 5 отлита в двустворчатой литейной форме из легкоплавкого сплава (рис. 4: 33). Она имеет круглую выпуклую форму и диаметр 13,4 мм. Край накладки украшен рубчатым рисунком[10].

Детали для крепления поясных привесок

Два предмета использовались для крепления к поясу привесок[11]. XI в., вероятно, следует датировать якорьковую привеску из Карельской слободки 4, изготовленную в одностворчатой форме с крышкой (рис. 4: 25). Якорьковые привески часто встречаются в погребениях восточно-финских могильников в Пермском Предуралье (Белавин, Крыласова, 2008, с. 391–392), есть они и Каранаевских курганах IX–X вв. на Южном Урале (Мажитов, 1981, с. 108, рис. 58: 40).

В Сунгире найден обломок застежки, крепившейся к поясу сумки или поясная привеска (рис. 4: 36). Застежка отлита довольно неаккуратно по оттиску готового изделия. Геометрический рисунок на лицевой стороне вышел плохо и был прочерчен дополнительно. Рассматриваемая вещь – довольно редкая находка на древнерусской территории. Целый экземпляр такой застежки был обнаружен Р. Л. Розенфельдтом в вятичском кургане 4 в Битягово. Исследователь датирует курган XII–XIII вв. (Розенфельдт, 1963, с. 218–219). Близкие по форме крепления были распространены в тюркской кочевой среде с конца VII в., где они использовались как посредники для подвешивания к поясу различных предметов (Степи Евразии, 1981, с. 129, рис. 23).

* * *

Таким образом, рассмотренная нами коллекция металлических деталей поясной и уздечной гарнитуры, собранная на средневековых сельских поселениях Суздальского Ополья, позволяет сделать ряд заключений.

1. Обилие предметов этой категории, составляющих около 24 % всех найденных на селищах средневековых изделий из цветных металлов, и их обнаружение на большом количестве разных поселений позволяют говорить о том, что украшенные металлическими накладками пояса и уздечки широко использовались в повседневной жизни обитателей поселений. Этот вывод хорошо согласуется с наблюдениями В. В. Мурашёвой, согласно которым из владимирских курганов происходит вторая по численности на территории Древней Руси (после Гнёздова) коллекция поясных накладок и наконечников. Однако большая часть коллекции из владимирских курганов до сих пор остается не атрибутированной, она включает предметы, собранные на территории от Владимира до Ростовского озера. Новые материалы свидетельствуют о том, что Суздальское Ополье выступало как один из районов, где традиция ношения декорированных поясов прочно укоренилась в культуре.

2. Большая часть исследованных накладок относится к X – началу XI в. и связана с волжско-болгарским производственным центром. Болгарские накладки начинают попадать к жителям Ополья, вероятно, с рубежа IX–X вв. Наиболее массовый характер их распространение приобретает во второй половине X – начале XI в. Аналогичную картину – обилие накладок болгарского производства – можно наблюдать практически во всех погребальных памятниках X–XI вв. финно-угорских народов, соседствующих с Волжской Болгарией (Казаков, 2007, с. 74–95; Зеленцова, Никитина, Сапрыкина, 2001, с. 33). По наблюдениям Н. А. Макарова, материальная культура поселений Суздальского Ополья IX–XI вв. характеризуется преобладанием в керамических комплексах лепной керамики мерянских форм и широко распространенных типов, не имеющих

[8] Датировка памятника – XII–XIII вв. (Макаров, 2008, с. 19).

[9] По устному сообщению Н. А. Макарова, основная масса керамики из Турабьево 1 датируется от конца X до начала XII вв. Материалы из Подольца 1 относятся к XII–XIII вв.

[10] Материалы, полученные в ходе обследования селища Тарбаево 5, позволяют относить время его возникновения к X – началу XI вв., а период наиболее интенсивной жизни к XII–XIII вв. (Макаров, 2012 а, с. 70–80).

[11] Один из них, возможно, использовался как застежка поясной сумки.

четкой этнической окраски, и шумящих украшений финских типов (Макаров, Федорина, 2013, с. 227). Вероятно, к этому же кругу древностей нужно относить и обилие деталей ременной гарнитуры.

3. Так же, как и во владимирских курганах, на сельских поселениях присутствуют детали поясной и уздечной гарнитуры X в., связываемые со «скандинавской» школой, по В. В. Мурашёвой (Мурашёва, 2000, с. 94). Правда, пока этих изделий удалось обнаружить всего два: пряжку и уздечную бляху.

4. В Ополье найден целый ряд предметов X в., произведенных на территории Южной Руси и не получивших распространения в лесной зоне. Это, в первую очередь, накладки, изготовленные в постхазарской традиции, и прямоугольная накладка из «Черниговского центра», деятельность которого связывается В. В. Мурашёвой с киевским великокняжеским двором (Мурашёва, 2000, с. 94).

Все исследователи, обращающиеся к вопросам социальной интерпретации находок поясных и сбруйных наборов на территории Древней Руси и в кочевнической среде, сходятся во мнении, что эти предметы являются статусными воинскими (Мурашёва, 2000, с. 84; Гаврилина, 1986, с. 65; Михайлов, 2005, с. 132). Можно предположить, что находки южнорусского происхождения, так же, как и изделия «скандинавской» школы, маркируют присутствие в Ополье во второй половине X в. представителей дружины киевского князя.

Нельзя не обратить внимание на достаточно обширный круг предметов, являющихся, вероятно, деталями конской узды. Это и бляхи, и наконечники, и наносные султаны, и накладки. Присутствие наносных султанов, популярных в конской упряжи кочевников, напрямую свидетельствует о наличии выходцев из кочевой среды в составе древнерусской дружины[12].

5. Детали украшения ремней более позднего времени, XI – начала XII в., среди проанализированного материала немногочисленны (всего две накладки и один наконечник), хотя пряжки этого периода представлены в коллекции значительным числом экземпляров. В последние годы усилиями ряда исследователей (К. А. Михайлов, В. Соболев, И. Е. Зайцева) собрана и проанализирована достаточно обширная база данных по накладкам этого времени с территории Северной Руси, которую для краткости вслед за К. А. Михайловым можно назвать деталями «поясов новгородского типа», и мы хорошо представляем себе эти материалы (Михайлов, 2005; Зайцева, 1999, с. 277–292). Очевидно, пояса с накладками, остававшиеся в обиходе населения некоторых районов Северной и Северо-Восточной Руси, с середины XI в. перестали использоваться обитателями сельских поселений Суздальского Ополья.

[12] В 2011 г. в Тарбаево 6 была обнаружена двупластинчатая листовидная бляха с бубенцом, характерный элемент кочевнической уздечной гарнитуры.

Источники и литература

Армарчук Е. А., 2006. Конская упряжь из могильников Северо-Восточного Причерноморья X–XIII веков. М.

Архипов Г. А., 1973. Марийцы IX–XI вв. К вопросу о происхождении народа. Иошкар-Ола.

Белавин А. М., Крыласова Н. Б., 2008. Древняя Афкула: археологический комплекс у с. Рождественск. Пермь.

Бліфельд Д. І., 1977. Давньоруські пам'ятки Шестовиці. Київ.

Гаврилина Л. М., 1986. Прикладное искусство кочевников Восточной Европы X–XIV веков : дис. ... канд. истор. наук. М.

Гайдуков П. Г., 1992. Славенский конец средневекового Новгорода. Нутный раскоп. М.

Генинг В. Ф., 1979. Хронология поясной гарнитуры I тысячелетия н. э. (по материалам могильников Прикамья) // КСИА. Вып. 158. М.

Данич А. В., 2013. Поясные накладки Питерского (Степаново Плотбище) могильника // Поволжская археология. № 1. Казань.

Зайцева И. Е., 1999. Наборный пояс из могильника Минино-II на Кубенском озере // ННЗ. Вып. 13. Новгород.

Зайцева И. Е., 2008. Изделия из цветных металлов и серебра // Археология севернорусской деревни X–XIII веков. Т. 2. М.

Захаров С. Д., 2004. Древнерусский город Белоозеро. М.

Зеленцова О. В., Никитина Т. Б., Сапрыкина И. А., 2011. Поясной набор из могильников поволжских финнов X–XI вв. как единый комплекс // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Т. II. СПб. ; М. ; Великий Новгород.

Иванова М. Г., 1999. Удмурты // Финно-угры Поволжья и Приуралья в Средние века. Ижевск.

Исланова И. В., Крымов Е. Ю., Романов В. В., 2005. Варяги на Верхней Волге (новые находки) // Русь в IX–XIV веках. Взаимодействие Севера и Юга. М.

История татар, 2006. Т. II. Волжская Булгария и Великая степь. Казань.

Казаков Е. П., 1991. Булгарское село X–XIII веков низовий Камы. Казань.

Казаков Е. П., 2007. Волжские болгары, угры и финны в IX–XIV вв. : проблемы взаимодействия. Казань.

Кирпичников А. Н., 1973. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. Л. (САИ. Вып. Е1–36).

Козлова А. В., 2004. Украшения ремня, сбруи и сумок восточного происхождения из раскопок в Великом Новгороде // НН3. Вып. 18. Великий Новгород.

Кызласов И. Л., 2010. Особенности появления аскизских изделий в Европе в XIII–XIV вв. / Русь и Восток в IX–XVI веках. Новые археологические исследования. М.

Лавыш К. А., 2008. Художественные традиции восточной и византийской культуры в искусстве средневековых городов Беларуси (X–XIV вв.). Минск.

Леонтьев А. Е., 1996. Археология мери. К предыстории Северо-Восточной Руси. М.

Мажитов Н. А., 1981. Курганы Южного Урала VIII–XII вв. М.

Макаров Н. А., 2008. Средневековое расселение в Суздальском Ополье: новые результаты и перспективы исследований //Археология Владимиро-Суздальской земли : материалы научного семинара. Вып. 2. М.

Макаров Н. А., 2012. Суздальское Ополье // Русь в IX–X вв.: археологическая панорама / отв. ред. Н. А. Макаров. М. ; Вологда.

Макаров Н. А., 2012 а. Средневековые селища вблизи сел Тарбаево и Туртино в Суздальском Ополье //Археология Владимиро-Суздальской земли : материалы научного семинара. Вып. 4. М.

Макаров Н. А., Федорина А. Н., 2013. Суздальская земля в IX–XI вв.: расселение, культура и балтийские связи // Археология балтийского региона. М. ; СПб.

Мальм В. А., 1963. Поясные и сбруйные украшения // Ярославское Поволжье X–XI вв. М.

Минаева О., 2012. Български паралели на източните находки на металопластиката от Бирка. София.

Михайлов К. А., 2005. Древнерусские наборные пояса XI–XII вв.: северная и южная традиция // Русь в IX–XIV веках. Взаимодействие Севера и Юга. М.

Моця О., Казаков А., 2011. Давньоруський Чернігів. Київ.

Мурашёва В. В., 2000. Древнерусские ременные наборные украшения (X–XIII вв.). М.

Недошивина Н. Г., 2007. Древнерусский могильник Каблуково в Подмосковье // Археология Подмосковья: материалы научного семинара. Вып. 3. М.

Никитина Т. Б., 2012. Погребальные памятники IX–XI вв. Ветлужско-Вятского междуречья. Казань.

Новиков В. В., 2012. Об одном типе скандинавских оголовий X в. с территории Древней Руси и Скандинавии // Археологические вести. № 18 (2012). СПб.

Новиков В. В., 2009. Уздечные наборы на территории Древней Руси в 9–11 вв. (по материалам погребений и поселений) : дис. ... канд. истор. наук. М.

Новиков В. В., 2009 а. Уздечные наборы на территории Древней Руси в 9–11 вв. (по материалам погребений и поселений) : дис. ... канд. истор. наук. М. Приложение.

Петербургский М. М., Вихляев В. И., Святкин С. В., 2010. Второй Журавкинский могильник. Саранск.

Петрашенко В. А., 2005. Древнерусское село : по материалам поселений у с. Григоровка. Киев.

Плетнева С. А., 2006. Древнерусский город в кочевой степи. Симферополь.

Плетньов В., Павлова В., 2000. Ранносредневековни ремечьни апликации във Варненския археологически музей // Известия на народния музей Варна. Кн. 30–31. Варна.

Розенфельдт Р. Л., 1963. Битяговские курганы // СА. № 4.

Руденко К. А., 2001. Материальная культура булгарских селищ низовий Камы XI–XIV вв. Казань.

Руденко К. А., 2007. Волжская Булгария в XI – начале XIII в.: поселения и материальная культура. Казань.

Рябинин Е. А., 1986. Костромское Поволжье в эпоху Средневековья. Л.

Савельева Э. А., 1987. Вымские могильники XI–XIV вв. Л.

Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.). М.

Сизов В. И., 1902. Курганы Смоленской губернии. Вып. 1 : Гнёздовский могильник близ Смоленска // МАР. № 28. СПб.

Спицын А. А., 1905. Владимирские курганы // ИИАК. Вып. 15. СПб.

Станилов С., 1993. Две групи старобългарски ремъчни украси от североизточна България // Плиска – Преслав. Т. 6. София.

Степи Евразии в эпоху Средневековья. М., 1981. (Археология СССР).

Травкин П. Н., 2010. Плёсское ювелирное искусство: 25 веков истории. Иваново.

Фехнер М. В. 1963. Тимеревский могильник // Ярославское Поволжье X–XI вв. М.

Фехнер М. В., 1963а. Предметы языческого культа // Ярославское Поволжье X–XI вв. М.

Фехнер М. В., Недошивина Н. Г., 1987. Этнокультурная характеристика Тимеревского могильника по данным погребального инвентаря // СА. № 2. М.

Ястребов В. Н., 1893. Лядинский и Томниковский могильники Тамбовской губернии // МАР. № 10. СПб.

Arbman H., 1940. Birka I : Die Gräber. Tafeln. Uppsala.

Fodor I., 1996. The ancient Hungarians. Exhibition Catalogue. Budapest.

Hedenstierna-Jonson, C. & Holmquist Olausson, L., 2006. The Oriental Mounts from Birka's Garrison. Antikvariskt arkiv 81. Stockholm.

Jansson I., 1977. Ett rembeslag av orientalistic tup funnet på Island : Vikingatidens orientaliska batten och deras sammanhang // TOR. Vol. XVII: 1975–1977.

Kivikoski E., 1973. Die Eisenzeit Finnlands. Helsinki.

Lehtosalo-Hilander P.–L., 1982. Luistari : the Artefacts. Luistari II. Helsinki.

Thunmark-Nulen L., 1995. Die Wikingerzeit Gothlands: Typentafeln. Stockholm.

Thunmark-Nulen L., 1998. Die Wikingerzeit Gothlands II: Typentafeln. Stockholm.

Summary

I. E. Zaytseva

Details of Belt and Harness Sets from the Dwelling Sites of Suzdal Opolye Region

This article examines a collection of 79 parts of belt and harness sets dating from the 10th–13th centuries (buckles, mounts, strap-ends, rings, strap dividers, nose decorations in horse harness) made of non-ferrous metals. They were collected in the course of surveys of unfortifiedsettlements in the Suzdal Opolye by the Suzdal Archaeological Expedition of the Russian Academy of Sciences in 2001–2010.

The abundance of objects which come into this category account for approximately 24 % of all the medieval objects found in these large villages which were made of non-ferrous metals. This enables us to state that the Suzdal Opolye was one of the areas, in which the tradition of wearing decorated belts was firmly rooted in the local culture.

Most of the belt mounts, which have been studied, date from the 10th or early 11th century and are linked to a Volga Bulgarian production centre. Bulgarian belt mounts probably started to make their way to the inhabitants of the Suzdal Opolye at the very end of the 9th or beginning of the 10th century. According to observations of N. A. Makarov, the material culture of the settlements in the Suzdal Opolye of the 9th–11th centuries is characterized by a predominance in pottery assemblages of hand-moulded pottery of Merya shapes and widespread types, which have no distinct ethnic features and tinklingornaments of Finnish types. It is likely that the large quantity of pieces from strap sets should also be classified as belonging to the same range of antiquities.

As in burial-mounds of the same region, excavated in the 19th century, there are parts of 10th century belt and harness sets in these rural settlements which can be associated with what V. V. Murasheva terms the «Scandinavian school». In the Opolye a whole range of 10th-century articles has been found which were produced in the territory of Southern Russia but did not become widespread in the wooded zone. All the scholars who have been turning their attention to questions of the social interpretation of finds of belt and harness sets in the territory of medieval Rus' and in nomadic settings agree that these objects manifest military status. It can be assumed that the finds which had originated in Southern Russia just like the items of the «Scandinavian» school indicate the presence of representatives of the Kievan prince's armed force in the Opolye in the second half of the 10th century. Finds of nose decorations in horse harness, which were popular in the equestrian harness of nomads, testify directly to the presence of former nomads in that armed force (druzhina).

Decorative parts of straps date from a later period – the 11th and early 12th century – are not found in large numbers, despite buckles of that period being represented by a significant quantity of specimens in the collection. In recent years thanks to the efforts of a number of researchers (K. A. Mikhailov, V. Sobolev, I. E. Zaytseva) quite an extensive data base on belt fittings from that period in the territory of Northern Rushas been compiled and analysed and we now have a clear idea of what those materials represent. It is clear that the belt mounts which remained in everyday use amidst the population of certain regions in Northern and North-Eastern Rus', were no longer used by the inhabitants of the rural settlements in the Suzdal Opolye after the middle of the 11th century.

Н. И. Асташова, Т. Г. Сарачева

Византийские энколпионы IX–XI вв. из археологического собрания Государственного исторического музея

Формирование государственных основ и культуры Древней Руси происходило в условиях тесного взаимодействия с другими народами. Диалоги культур осуществлялись, прежде всего, при посредничестве крупнейших международных торговых путей, пролегавших через территорию Восточной Европы. Ключевую роль среди них сыграл путь «из варяг в греки», позволивший Руси приобщиться к наследию античной цивилизации, преемницей которой стала Византийская империя. Отношения молодого славянского государства с сильным южным соседом складывались по-разному, однако важнейшим итогом взаимодействия, определившим судьбы Руси, было принятие христианства в его восточной форме.

Христианские древности поступали на территорию Древней Руси еще до официального принятия религии, однако с конца X в. поток предметов личного благочестия существенно возрос. Среди привозных реликвий выделяются двустворчатые нагрудные кресты-энколпионы, являющиеся важнейшим источником не только для изучения истории христианства, но и социокультурных связей эпохи, а также преемственности византийской и русской духовных культур.

Судя по археологическим находкам на памятниках так называемой «дружинной культуры» (Гнёздово, Старая Ладога, Рюриково городище и др.), энколпионы появляются на Руси в X в. Первые кресты были привезены, вероятно, побывавшими в святых местах представителями княжеской дружины или паломниками. Они послужили эталоном для местных мастеров, довольно быстро сумевших наладить производство мощевиков на Руси. Наряду с собственно русскими типами продолжали бытовать привозные образцы.

Всплеск интереса к энколпионам в конце XIX в. привел к активному формированию первых частных и музейных коллекций. Ранние энколпионы вызывали интерес своей редкостью. Уже тогда они получили название «сирийские», поскольку их происхождение связывалось с сиро-палестинским регионом. Многие экземпляры действительно были привезены из этих районов, в частности, знаменитая коллекция Б. И. и В. Н. Ханенко, в которую входили предметы, приобретенные в Дамаске и на Кипре (Пескова, Строкова, 2012). В этот же период появились и первые попытки их датировки. Основную массу этих крестов относили к VI–VIII вв. Появление находок из археологических раскопок позволило уточнить хронологические рамки создания и бытования мощевиков этой группы. В настоящее время археологически известные кресты датируются, главным образом, IX–XI вв., иногда они доживают до XII в. Самой поздней находкой такого энколпиона в Восточной Европе является створка мощевика из погребения в Старом Крыме (Крамаровский, Гукин, 2006).

В собрании Исторического музея хранится 34 византийских энколпиона IX–XI столетий (Асташова и др., 2013, с. 15–19). Ранние образцы отличаются устойчивой формой створок с прямыми или слегка расширяющимися концами. По размерам энколпионы делятся на большие (более 8 см) и средние (6–8 см). Кресты выборки несут на себе рельефные, выступающие над уровнем створки композиции, полученные в процессе литья, и углубленные гравированные линейные изображения. На концах ветвей четырех экземпляров расположены каплевидные выступы вытянутой формы. Створка одного энколпиона предназначалась для украшения вставками из камней или стекла (Асташова и др., 2013, кат. 20). Известно несколько болгарских крестов с каменными и стеклянными вставками (Дончева-Петкова, 1992, с. 8).

Для византийских энколпионов характерна композиционная схема, при которой на лицевой створке изображается Распятие с предстоящими, а на оборотной Богоматерь Оранта со святыми в четырех медальонах. Отличительной чертой является



Рис. 1. Византийские литые энколпионы. Размеры: 1 – 8,5×5,6 см; 2 – 10,4×7,7 см

изображение распятого Христа в колобии. Кресты с подобными изображениями широко известны во многих музейных собраниях Британии, Греции, Италии, Венгрии, Сербии, Болгарии, Украины, Чехии, Константинополя, Сирии, Египта (Куницький, 1990; Пескова, Строкова, 2012; Bárány-Oberschall, 1953; Dab-Kalinowska, 1977; Дончева-Петкова, 2011; Kruk et. al., 2006; Марјановић-Вујовић, 1987; Lovag, 1971; Rosenberg, 1924; The Ancient Hungarias, 1996; Pitarakis, 2006; Petrović, 1997).

Среди крестов с прямыми концами есть несколько экземпляров без изображений. В своде древнерусских энколпионов также учтен крест редкого типа без изображений из Старой Ладоги (Корзухина, Пескова, 2003, с. 56, № 19). Широкое бытование подобных образцов на территории Болгарии в IX–XI вв. служит основанием для включения их в византийскую группу.

22 креста коллекции адресные. Среди них преобладают находки из раскопок Херсона, который был проводником византийских традиций на территорию Древней Руси. Кроме того, по одному кресту обнаружено в Киеве, Вщиже и Владимирской губ. Два энколпиона происходят из Гнёздова. Последние – единственные находки из точно датированных слоев второй половины X – начала XI вв. Остальные 12 реликвариев поступили в музей из частных коллекций и могут датироваться только по аналогиям.

На основе исследований последних лет, осуществленных Л. Дончевой-Петковой, В. Н. Залесской и А. А. Песковой, в коллекции музея выделяются три группы по месту происхождения: Византия – 14 экз., ее сирийские провинции – 11 экз. и Балкано-Дунайский регион – 7 экз. Отсутствие изображений на двух энколпионах не позволяет включить их в какую-либо группу (Асташова, Сарачева, 2007, с. 4–5, рис. 1: 1).

В композицию 6 византийских энколпионов со слегка расширяющимися концами и рельефными изображениями включены знаки солнца и луны над Распятием; на оборотной створке Богоматерь находится в окружении евангелистов в четырех медальонах. Отливки различаются лишь изменениями в греческой надписи под руками Христа (фрагмент текста Евангелия от Иоанна, гл. XIX, 26–27: «се сын твой», «се матерь твоя») и разделкой деталей (рис. 1: 1).

К собственно византийским энколпионам принадлежат редкие большие прямоконечные кресты с рельефными образами Распятия и Богоматери Кириотиссы и медальонами на концах ветвей. По обеим сторонам Богоматери, как правило, расположены вертикальные греческие надписи (рис. 1: 2).

Единственный в собрании серебряный штампованный энколпион – великолепный образец, несомненно, византийского производства и даже точнее – константинопольского. Он поступил в музей в результате покупки в 1904 г. и, по словам продавца, был обнаружен на Трехсвятительской улице г. Киева. Сохранились обе створки без ушек и каких-либо следов их присутствия.

Особенностью энколпиона является наличие внутреннего вкладыша для хранения реликвии. По

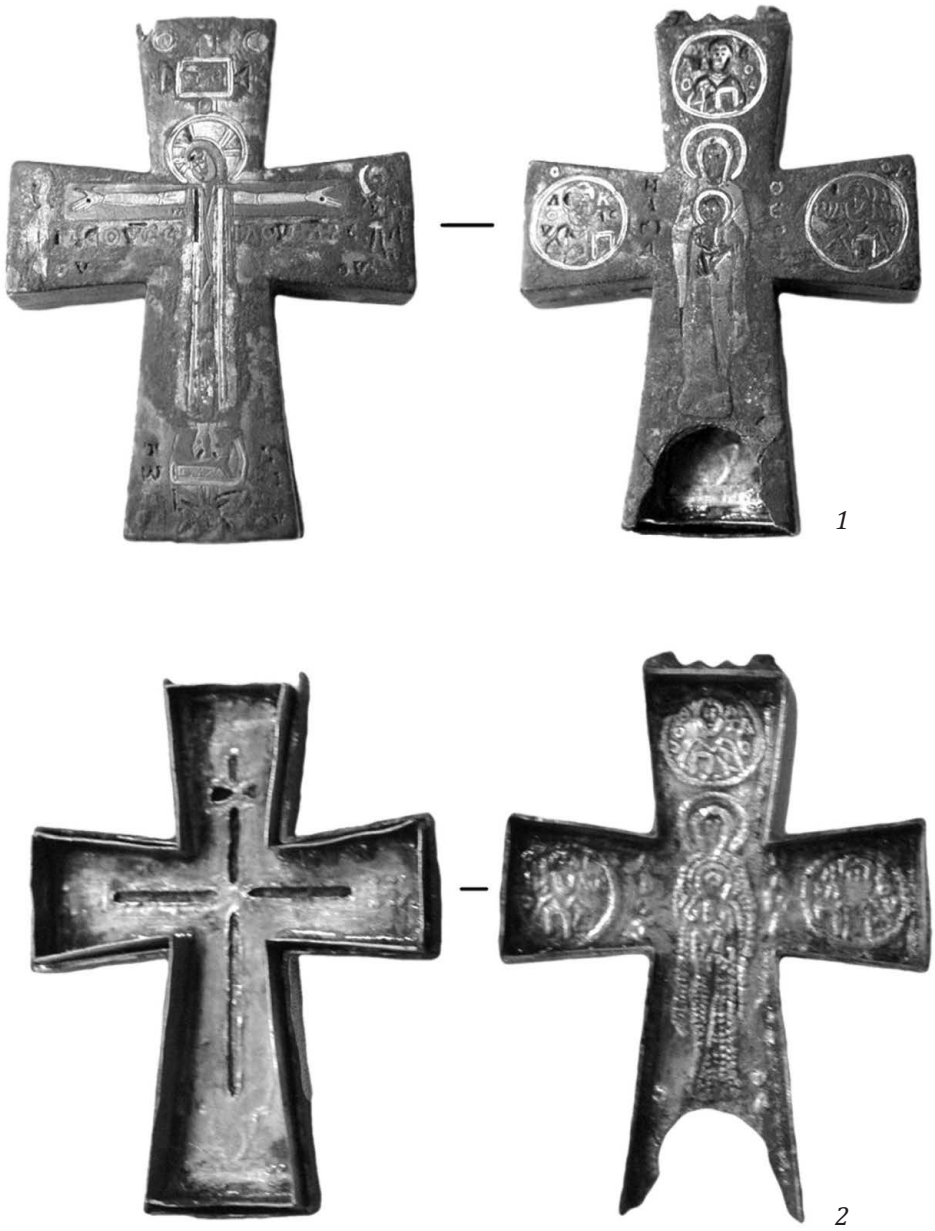


Рис. 2. Энколпион константинопольской работы. Размер 13,3×9,7 см

технологии изготовления этот крест – уникальный в музейной коллекции. Форма створок и вкладыша получена в процессе штамповки на специальных подкладных инструментах. Мастер использовал серебряный лист разной толщины: 0,2–0,3 мм для вкладыша и более толстый – 0,3–0,6 мм – для створок. Изображения выполнены в технике черни и золочения. На лицевой створке расположено Распятие с предстоящими с изображением солнца и луны в верхней части и традиционной греческой надписью «се сын твой», «се матерь твоя». На оборотной створке представлено изображение Богоматери Никопеи со святыми в медальонах на концах ветвей. Нижний медальон не сохранился, так как незначительная толщина листа привела к разлому створки по контуру гравированной линии, обозначающей его границу (рис. 2: 1). Вкладыш реликвария несет на себе изображение Крестного древа, выполненное в технике просечки (рис. 2: 2). Все детали энколпиона удивительно тщательно проработаны, что нечасто встречается на памятниках этой группы медного литья.



Рис. 3. 1 – энколпион сиро-палестинского круга. Размер 6,7 × 4,4 см;
2 –энколпион Балкано-Дунайской провинции. Размер 6,0 × 3,2 см

Иконография киевской находки полностью совпадает с изображениями второго внутреннего золотого креста X в. из Плиски (Дончева-Петкова, 2005, с. 193, рис. 14–15). Он состоит из трех вложенных один в другой золотых реликвариев, на внешнем располагается многофигурная композиция. Исследовательница указывает несколько аналогий редкой находке, среди которых бронзовая створка херсонесского креста из фондов Государственного Эрмитажа. Предположение о том, что экземпляр из коллекции ГИМ является внутренним вторым реликварием, подтверждается не только иконографическим и технологическим сходством с находкой из Плиски, но и отсутствием ушек для крепления створок, а также наличием вкладыша. Л. Дончева-Петкова и В. Н. Залесская предполагают, что подобные кресты, вероятно, изготавливались в константинопольской мастерской, работавшей в восточных традициях (Дончева-Петкова, 2005, с. 207; Залесская, 1964, с. 174).

Кресты с гравированными изображениями относят к сиро-палестинскому региону. Н. П. Кондаков первый обратил внимание на распространенные в византийских провинциях изображения святых в позе Оранты, которые датировал VI–VII вв. (Кондаков, 1915, с. 104). На лицевой створке крестов с прямыми, слегка расширяющимися ветвями, как правило, представлен святой в позе Оранты, иногда между кипарисовыми ветвями; на оборотной находится Богоматерь Знамение или Оранта. Надпись обычно располагается на лицевой створке и содержит имя святого. Изображения отличаются особой декоративностью, которая достигается простыми средствами: одеяния святых украшены косой решеткой, зигзагом и «косичкой» (рис. 3: 1). Судя по немногочисленным находкам в слоях восточноевропейских памятников, «сирийские» кресты в целом характерны для X – первой половины XI в.

Несколько крестов отнесены по иконографическим признакам к балканской группе. Это изделия с прямыми концами и изображениями на лицевой створке Распятия с погрудными рельефными фигурами без медальонов на четырех ветвях. На энколпионах этой группы Христос изображается как в колобии, так и препоясанным. На оборотной створке помещены Богоматерь Оранта и четыре погрудные фигуры на концах ветвей (рис. 3: 2). По размерам энколпионы относятся к группе средних. Согласно наблюдениям Л. Дончевой-Петковой, основанным на стратиграфии находок в Болгарии, подобные кресты датируются X – первой половиной XI в.

Другая разновидность этого типа представлена сокращенной версией классических рельефных энколпионов. Лицевую створку полностью занимает фигура Христа в колобии с четырехконечным крестом в возглавии, предстоящие отсутствуют. На оборотной створке – Богоматерь Оранта без еванге-

листов в медальонах (рис. 4: 1). Такие кресты редко встречаются в отечественных музейных собраниях. Один экземпляр – случайная находка – происходит из Гнёздова (Асташова, Пушкина, 2009, с. 129). Подобные энколпионы распространены на территории Болгарского царства. Исследования у с. Одърци Добричко дали находки не только самих реликвариев, но литейные формы и бракованные отливки, что позволило Л. Дончевой-Петковой прийти к обоснованному выводу об их производстве в Болгарии в X в. (Дончева-Петкова, 1992).

Заметим, что в Гнёздове обнаружены два энколпиона балканского происхождения, один из них в слое (рис. 3: 2). Автор публикации В. В. Мурашёва полагает, что он появился в Верхнем Поднепровье с дружинниками Святослава после его похода в Болгарию (Мурашёва, 2009, с. 179).

Именно на образцах балканской группы появляется препоясанный Спаситель (Пескова, 2005, с. 140). Исходя из этого признака, можно было бы отнести еще один крест собрания к изделиям балканских мастеров. Однако этому мешает форма створок с прямыми, чуть вогнутыми на концах ветвями. Этот экземпляр отличается крупным размером 12,1×9,2×0,4 см, а также весом – 278 г.

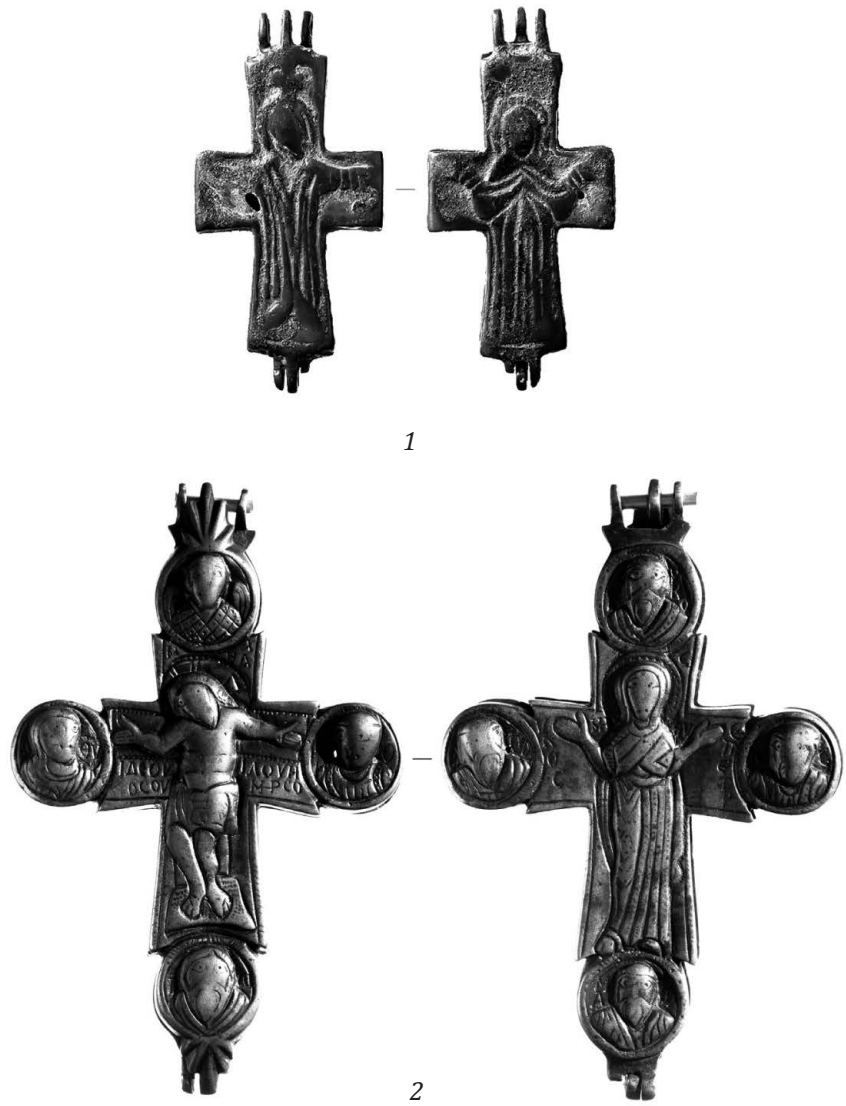


Рис. 4. Энколпионы Балкано-Дунайской провинции. Размеры: 1 – 5,5×3,3 см; 2 – 12,1×9,2 см

Как справедливо заметила А. А. Пескова, морфологические особенности сближают его с процессионными крестами (Пескова, 2006, с. 123–124). Однако отличие рассматриваемого экземпляра состоит в том, что к вогнутым концам добавлены четыре медальона, как бы механически приставленные к ним (рис. 4: 2). Единственная аналогия ему известна лишь в коллекции Национального музея истории Украины (Корзухина, Пескова, с. 47, табл. 6). Исследователи неоднократно отмечали, что подобная форма креста, возможно, способствовала появлению основного типа древнерусских энколпионов с округлыми завершениями концов и боковыми выступами.

Четыре энколпиона принадлежат, по нашему мнению, к переходному от византийского к древнерусскому типу. Конфигурация створок и традиционность иконографии позволяют отнести их к византийскому кругу древностей. Форма створок с прямыми концами, изображение препоясанного Христа и предстоящих без медальонов на боковых ветвях сближают кресты с балканской группой изделий. Возможно, эти энколпионы были одними из первых, выполненными на Руси приезжими мастерами. Это чисто логическое рассуждение связано с

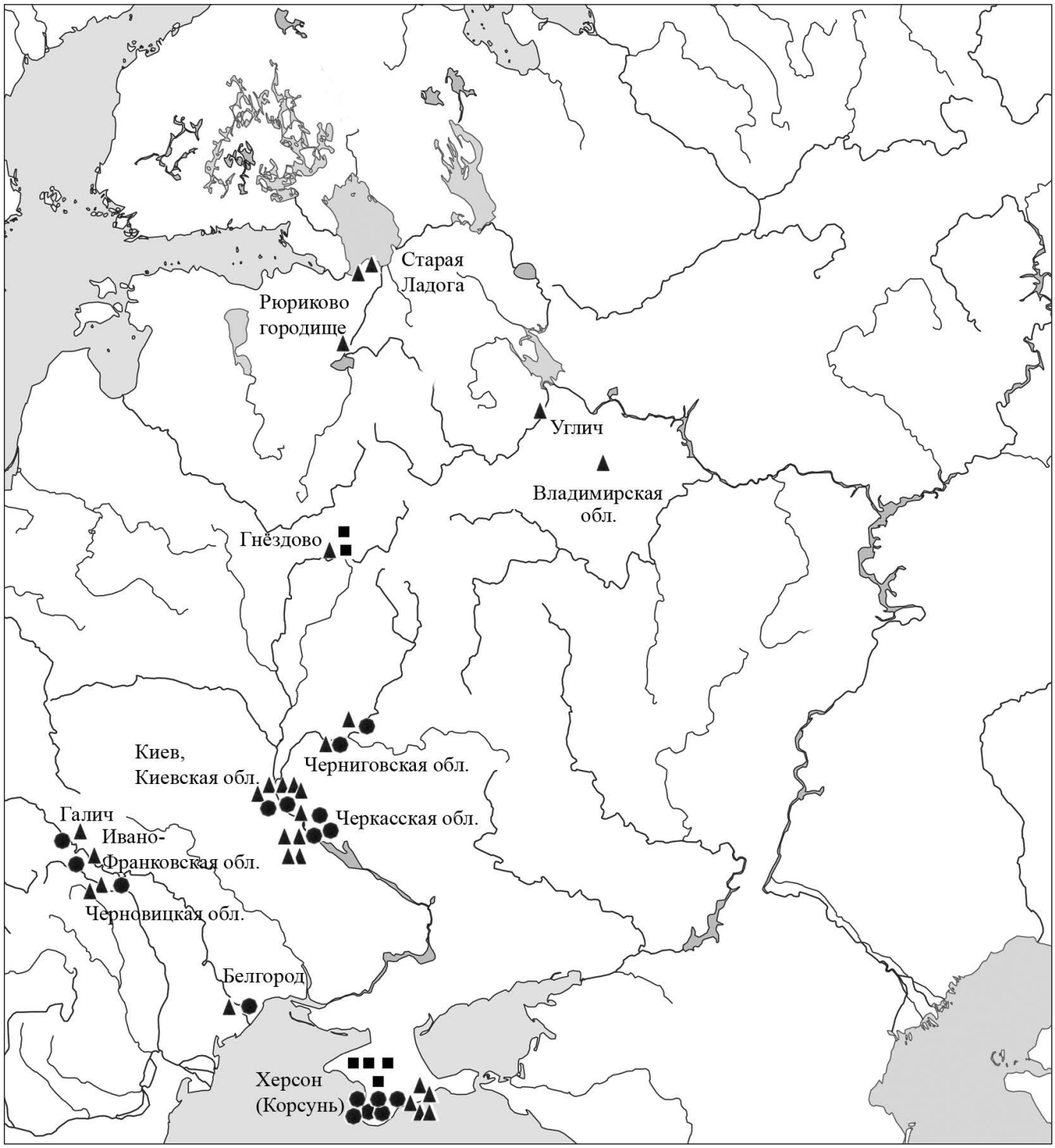


Рис 5. Находки византийских энколпионов на территории Восточной Европы.

Условные обозначения:
▲ *– сирийские энколпионы;*
● *– византийские энколпионы;*
■ *– балканские энколпионы*

вопросом о начальном периоде производства мощевиков на Руси. Трудно представить, что местные мастера сразу начали изготавливать энколпионы, не пройдя определенного пути обучения.

Изучение химического состава ранних энколпионов показывает, что в выборке доминируют многокомпонентные сплавы: они составляют почти половину образцов[1]. Определен химический состав металла 17 крестов, что составляет половину выборки. Следует отметить, что во всех пробах, за исключением одной – сплава на основе серебра, – присутствует свинец более 1 %. В некоторых пробах его содержание довольно высокое: в половине образцов он превышает 10 %, а в многокомпонентной латуни составляет 43 %. Основой всех легкоплавких сплавов проанализированной выборки также выступал свинец. Интересно отметить, что оба энколпиона, обнаруженные в Гнёздове, получены из свинцовых сплавов, в которых присутствует серебро.

Наличие свинца выявлено при анализе состава металла 47 византийских энколпионов из фондов Государственного Эрмитажа в 1960-е гг. в лаборатории ЛОИА АН СССР по методу оптико-эмиссионной спектрографии[2]. В выборке преобладают изделия из оловянно-свинцовой бронзы (34 экз.). Один крест изготовлен из свинцовой бронзы, два – из свинцовой латуни и 10 – из многокомпонентного сплава, в котором в качестве лигатуры присутствуют цинк, олово и свинец. Особенностью сплавов является наличие в каждом образце свинца, концентрация которого варьируется в пределах 2–18 %.

Бронзы использованы преимущественно для литых энколпионов. Лишь один крест с гравированными изображениями получен из бронзы, однако сплав представляет собой не чистую бронзу, а смешанную с латунью. Многокомпонентные латуни употреблялись для изготовления как литых энколпионов, так и доработанных с помощью гравировки и чеканки, то есть так называемых «сирийских». Цинк присутствует в металле большинства крестов (11 экз.), в том числе в одном серебряном сплаве. Как правило, в латунях цинк превышает олово приблизительно в два раза, то есть в этих случаях можно говорить об осознанном различии между бронзами и латунями и о разбавлении латуней бронзовым ломом изделий.

Распределение энколпионов византийского, сирийского и балканского происхождения по типам сплавов показало, что среди семи византийских только один изготовлен из оловянно-свинцовой бронзы, остальные из многокомпонентных сплавов и серебра. Сирийские представлены многокомпонентными латунями и легкоплавкими сплавами (5 экз.); находки из Балкано-Дунайского региона (5 экз.) – преимущественно бронзами, 1 крест получен из латуни, 1 – из легкоплавкого сплава.

Сочетание оловянно-свинцовых бронз с многокомпонентными сплавами при незначительном количестве легкоплавких сплавов характерно для всех выборок ранних энколпионов. Если сравнивать полученную выборку с более репрезентативной болгарской, можно отметить определенные сходства: в ней также преобладают многокомпонентные сплавы, есть свинцовые и оловянно-свинцовые бронзы, а также единичные изделия из сплавов на основе серебра и свинца. Цинк зафиксирован в 77 % образцов. Болгарский металл очень близок к изученному по элементному составу. Таким образом, металл обеих выборок демонстрирует принадлежность к единой производственной традиции.

В настоящее время на территории Руси известно 60 энколпионов византийского происхождения, из них около 40 имеют географическую привязку. Попытка картографировать реликварии, датировка которых не выходит за начало XII в., с учетом трех районов их производства – непосредственно византийская территория, ее восточная провинция и Балканы – дала сложную картину (рис. 5). Однако и в ней выделяются два региона: Среднее Поднепровье и юго-западная часть современной Украины отличается находками собственно византийских и сирийских энколпионов, причем последние доминируют. В то же время следует отметить незначительное количество энколпионов балканского происхождения и их полное отсутствие на территории юго-западных земель, тогда как не только в Болгарии, но и в Сербии и Румынии они хорошо известны. Их нет в Среднем Поднепровье, что, вероятно, свидетельствует о прямом контакте этих земель с Византийской империей. На территории Северо-Западной и Северо-Восточной Руси обнаружены кресты балканского и сирийского производства и полностью отсутствуют собственно византийские.

Если исходить из такого пространственного распределения энколпионов разного места производства, учитывая при этом незначительное число крестов с установленным местом находки, можно предполагать, что основным путем поступления мощевиков на Русь оставался путь «из варяг в греки». И в этом отношении показательно количество ранних энколпионов, обнаруженных в Херсоне, причем разных по происхождению. Очевидно, что здесь оседали многие византийские импорты, в том числе и христианские святыни.

[1] Исследование химического состава энколпионов осуществлено в рентгеноспектральной лаборатории кафедры геохимии геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова по методу неразрушающего рентгенофлюоресцентного энерго-дисперсного анализа. Выражаем искреннюю благодарность заведующему лабораторией Р. А. Митояну за проведенное исследование.

[2] Благодарим А. А. Пескову за предоставленную возможность ознакомиться с результатами анализов химического состава энколпионов.

Источники и литература

Асташова Н. И, Сарачева Т. Г., 2007. Сирийские энколпионы из собрания Государственного исторического музея // Религиозное мировоззрение в древнем и современном обществах: праздники и будни. Севастополь ; Краков.

Асташова Н. И, Пушкина Т.А., 2009. Христианские древности Гнёздова // Хорошие дни : памяти Александра Степановича Хорошева. В. Новгород ; СПб. ; М.

Асташова Н. И., Петрова Л. А., Сарачева Т. Г., 2013. Кресты-энколпионы из собрания Государственного исторического музея. М.

Дончева-Петкова Л., 1992. Проблеми при производството на кръстове-енколпиони (материали, технологии, ателиета) // Археология. XXXIV, 4. София.

Дончева-Петкова Л., 2005. Золотой крест-реликварий из Плиски // Ставрографический сборник. Кн. III : Крест как личная святыня. М.

Дончева-Петкова Л., 2011. Средневековни кръстове-енколпиони от България (IX–XIV вв.). София.

Залесская В. Н., 1964. Часть бронзового креста-складня из Херсонеса // ВВ. Т. XXV. М.

Залесская В. Н., 2006. Византийские евлогии св. Николая // Христианская иконография Востока и Запада в памятниках материальной культуры Древней Руси и Византии. СПб.

Кондаков Н. П., 1915. Иконография Богоматери. Т. II. СПб.

Корзухина Г. Ф., 1958. О памятниках «корсунского дела» на Руси // ВВ. Т. XIV. М.

Корзухина Г. Ф., Пескова А. А., 2003. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. СПб.

Крамаровский М. Г., Гукин В. Д., 2006. Крест-реликварий XII – начала XIII века из могильника в пригороде золотоордынского города Солхат (Крым) // Византийская идея. Византия в эпоху Комнинов и Палеологов. СПб.

Куницький В. А., 1990. Близькосхідні енколпіони на території Південної Русі // Археологія. № 1. Київ.

Мурашёва В. В., 2009. Крест-мощевик из Гнёздова // ARCHEOLOGICA ABRAHAMICA : исследования в области археологии и художественной традиции иудаизма, христианства и ислама. М.

Пескова А. А., 2005. Древнерусские энколпионы XI–XIII веков в русле византийской традиции // Ставрографический сборник. Кн. III : Крест как личная святыня. М.

Пескова А. А., 2006. Истоки иконографии древнерусских энколпионов // Христианская иконография Востока и Запада в памятниках материальной культуры Древней Руси и Византии. Памяти Т. Чуковой. СПб.

Пескова А. А., Строкова Л. В., 2012. Христианские древности Византии в «сирийской коллекции» Б. И. и В. Н. Ханенко. СПб. ; Киев.

Bárány-Oberschall M., 1953. Byzantische Pektoralkreuze aus ungarischen Funden – Forschungen zur Kunstgeschichte und christlischen Archeologie, Baden-Baden.

Dab-Kalinowska B., 1977. Enkolpion aus Kiev aus der Zeit des Mongoleneinbruchts // Jahrbuch der österreichischen Bizantinistik. 26.

Kruk M. P., Sulikowska-Gąska A., Wołoszyn M., 2006. Sacralia Ruthenica. Dzieła staroruskie bądź z Rusią związane z metalu i kamienia w Muzeum Narodowym w Krakowie i w Muzeum Narodowym w Warszawie. Warszawa.

Lovag Z. S., 1971. Byzantine type reliquary pectoral crosses in the Hungarian National Museum // Follia Archaeologica. XXII. Budapest.

Марјановић-Вујовић Г., 1987. Крстови од VI до XII века из збирке Народного музеја. Београд.

Petrović R., 1997. Krstovi vizantijskog carstva. Beograd.

Pitarakis B., 2006. Les croix-reliqusires pectorals bizantines enbronze. Paris.

Rosenberg M., 1924. Geschichte der Goldschmitdekunst auf technischen Grundlage. Niello bis zum Jahre 1000 nach Chr. Frankfurt am Main.

The Ancient Hungarias. Exhibition Catalogue. Budapest, 1996.

Summary

N. I. Astashova, T. G. Saracheva

The Byzantine Enkolpia from the State Historical Museum's Archaeological Collection

More than thirty Byzantine enkolpiaare housed in the collection of the SHM. Fourteen of them are crosses with engraved images, twelve bear cast images and two of them are plain – without images. Research into the technology and chemical composition of the enkolpia, together with the morphological data, makes it possible to distinguish three groups of crosses on the basis of their centre of production: Byzantium itself, Syro-Palestine and the Balkans. The first group predominates in the sample.

A set of production methods for producing the Byzantine enkolpiawas not particularly large in comparison with those used by Russian craftsmen. The enkolpiabeing studied were produced using several techniques, which were different as regards the methods used for depicting images and endorsements. The research into the chemical composition of the metal from which the enkolpiawere made has only just begun. Analyses were undertaken for 17 items. The separation of a metal from three groups of the Byzantine, Syrian and Balkan enkolpiashowed that among seven of the Byzantine samples, only one was made of leaded bronze: the others were made from multi-component alloys and silver. The Syrian items are fashioned from multi-component brasses and low-melting alloys (5 items); the Balkan-Danube artefacts (5 items) primarily from bronzes; one cross was made from brass and another from a low-melting alloy.

The mapping of the enkolpiafrom different production centres on the basis of a small number of finds (as a rule, encolpia from unknown production centres predominate), makes it possible to assume that the main path via which the reliquaries made their way to Russia was still the trade route from the Varangians to the Greeks. Therefore the number of enkolpiafrom different places of origin discovered in Kherson is very typical. Evidently many Byzantine imports, including Christian sacred objects, remained here.

Р. А. Широухов

Импорты древнерусских типов на территории пруссов в X/XI–XIV вв.[1]

Разнообразие импортных предметов в погребальном инвентаре пруссов «позднеязыческого»[2] периода привлекло внимание археологов ещё до 1945 г. (Engel, La Baume, 1937, S. 191–193). Импорты древнерусских типов в прусских землях нередко выступают вместе с северогерманскими бронзовыми «ганзейскими» чашами[3], западноевропейскими серебряными монетами и клинками мечей. Первым к проблеме древнерусских изделий в землях пруссов обращается польский исследователь Е. Антоневич, рассматривающий находки последних в качестве свидетельства наличия торговых связей между пруссами и древнерусскими княжествами (Antoniewicz, 1955, s. 268–274; 1961, s. 9–20). Наличие некоторых древнерусских типов оружия у пруссов констатирует А. Н. Кирпичников (Кирпичников, 1966, с. 48, табл. XXIX: 2). О возможных контактах прусских земель с древнерусскими княжествами вкратце пишет В. И. Кулаков (Кулаков, 1994, с. 121). Основные категории древнерусских импортов, прежде всего связанных с дружиной, рассматриваются в одной из публикаций автора (Shiroukhov, 2012, p. 229–235).

Самбийский полуостров по концентрации предметов древнерусских типов вполне сопоставим с Восточной Латвией (рис. 1). Однако набор и контекст этих находок различен, что обусловлено социальными и политическими особенностями развития регионов (табл. 1).

Таблица 1

Основные категории древнерусских импортов на территории Самбии и Восточной Латвии в XI–XIII вв.

Категория импорта	Самбийский полуостров	Восточная Латвия
Предметы христианского культа	–	+
Украшения и мелкая пластика	+ –	+
Бытовые предметы	+	+
Предметы вооружения	+	+ –
Конское снаряжение	+	–

Применение разработанных хронологий древнерусских древностей (наряду с западноевропейским материалом) вместе с уточнением датировок отдельных прусских комплексов и памятников может стать основой для создания более достоверной хронологии прусских древностей эпохи Средневековья[4].

Активные торговые связи пруссов освещаются средневековыми письменными источниками (Ivinskis, 1995, p. 110) и материально подтверждаются наибольшей концентрацией находок весов и гирек в восточнобалтийском регионе. В границах одной только Калининградской обл., и преимущественно на Самбии, известно более 140 находок весов и 250 весовых гирек X–XIII/XIV вв. Это в 2–3 раза больше, чем на территории южных куршей и даже

[1] Работа выполнена в рамках проекта «Осуществление постдокторантских стажировок в Литве в 2013–2015 гг.» (Postdoctoral Fellowship Implementation in Lithuania 2013–2015) при финансовой поддержке Научного совета Литвы и структурных фондов Европейского союза.

Автор благодарит Норберта Гёсслера, Тимо Ибсена, Роберта Спиргиса, Мирослава Хоффманна, Мартина Энгеля и особенно Константина Скворцова за любезно предоставленные материалы музейных коллекций, архивов и персональных исследований, а также за плодотворную дискуссию по древностям балтов периода Средневековья.

[2] От нем. «Spätheidnische Zeit» – т. н. период «Н», в основном ограничиваемый второй половиной XI – первой половиной XIII в.

[3] От нем. «Hansaschussel».

[4] В период 1980–1990-х гг. хронологию прусских древностей периода Средневековья, созданную восточнопрусскими археологами, попытался уточнить и дополнить В. И. Кулаков (Кулаков, 1989, с. 34–41; 1990 б, с. 15; 1994, с. 69–70).

всей Куронии (Širouchov, 2012, p. 46–48, pried. II. 14; Shiroukhov, 2012, p. 226, fig. 2). В первую очередь это обусловлено доступностью для пруссов широкого спектра торговых маршрутов. Судя по схожести набора древнерусских импортов на территории средневековой Польши и Пруссии (шиферные пряслица, цилиндрические замки, навершия булав, сфероконические шлемы), основная их часть могла попасть на Самбийский полуостров по Висло-Поморскому торговому пути[5]. Такие категории массовых импортов, как цилиндрические замки и ключи к ним, а также шиферные пряслица, могли попадать к пруссам по Даугавскому пути (морем) и, возможно, по Неманскому пути[6].

Контекст находок импортов древнерусских типов, как и подавляющей массы археологического материала у пруссов, обусловлен погребальными памятниками и собственно погребальным обрядом. В большинстве случаев импортные предметы обнаруживаются в богатых двухъярусных погребениях, включающих в себя останки кремированного индивидуума в верхнем ярусе и захоронение коня и соответствующего инвентаря – в нижнем. Например, на грунтовом могильнике сембов/самбов Клинцовка 1 (Wikiau)[7] характерные для древнерусских древностей предметы найдены в 2,5–12 % двухъярусных погребений (Shiroukhov, 2012, fig. 11).

В статье рассматриваются бытовые предметы, предметы вооружения и конского снаряжения, а также более редкие изделия, относимые к мелкой ювелирной, в том числе христианской, пластике.

Бытовые предметы

Шиферные пряслица

Пряслица, вырезанные из овручского шифера розовых оттенков, распространены достаточно широко. Имея единственное зафиксированное место производства – район г. Овруча (Вручий) в Киевской Руси, данные изделия распространились в XI–XIII вв. на широком пространстве от Западной Европы до Волги и Приуралья, от Белого моря и Волхова до Чёрного моря, Днепра и до Балканского полуострова. Так, в одном только Троицком раскопе Новгорода до 2006 г. их было найдено 2710 (Покачев, 2011, с. 12). Шиферные пряслица нередки в материалах раскопок белорусских (Звяруго и др., 2000, с. 410) и польских (Рыбаков, 1948, с. 188–193; Мугуревич, 1965, с. 35; Wołoszyn, 2004, с. 250–251; Павленко, 2008, с. 252) городов.

На территории Восточной Латвии известно более 160 шиферных пряслиц. В Восточной Литве на 24 памятниках X/XI–XIV вв. найдено более 50 шиферных пряслиц (Мугуревич, 1965, с. 36; Kuncienė, 1972, p. 185; 1981, p. 61; Spirģis, 1999, p. 12; Vėlius, 2005, p. 77). Далее на запад до Самбии шиферные пряслица редки и единичны[8].

А. Бецценбергер первым упомянул шиферные пряслица в контексте прусских могильников (Bezzenberger, 1914 a, p. 163). Сегодня на территории пруссов известно не менее 103 шиферных пряслиц, обнаруженных на 25 памятниках XI–XIII/XIV вв. (рис. 1, табл. 2). На территории Самбии обнаружено 99 экземпляров (96 %)[9], из них 97 – в составе погребального инвентаря или на территории могильников (98 %) и только 2 – на поселениях. Позднейшим в ареале пруссов может быть шиферное пряслице, обнаруженное в погребении 16 некрополя XIII/XIV–XV вв. Рувнина Дольна (историческая Бартия) (Antoniewicz, 1961, s. 11).

Наибольшее число шиферных пряслиц найдено в могильнике Клинцовка 1[10]: в 12 % 118 «комплектных» погребений. Из 32 обнаруженных здесь шиферных пряслиц 19 экз. было выявлено в 14 двухъярусных кремациях, а 13 происходит из разрушенных верхних ярусов погребений. В 4 погребениях[11] было обнаружено по 2–3 шиферных пряслица. Все 14 упомянутых погребений сопровождались конскими захоронениями, а в 12 из них присутствовали предметы вооружения. В 9 погребениях из 14 вместе с шифер-

[5] Аналогичная ситуация характерна и для импортов из Западной Европы.

[6] При этом в землях куршей и скальвов, кроме замков и ключей, другие предметы древнерусского типа редки и единичны. Неманский торговый путь считается судоходным только до района современного г. Каунаса (Žulkus, 2007, p. 313).

[7] Памятник известен в публикациях его исследователя В. И. Кулакова также как Ирзекапинис.

[8] Центральная Литва: 1 экз. – Кедайняй (XIV в.); Западная Литва: 1 экз. – Вешвиле, погребение 19 (XI–XII вв.), 1 экз. – Двабишкес, 1 экз. – Довайняй, 1 экз. – Павирвите-Гудай, погребение 46 (XI–XII вв.), 1 экз. – Тельшяй; 1 экз. – Швекшна; Западная Латвия: 1 экз. – Талси (Мугуревич, 1965, с. 41, рис. 6; Kuncienė, 1972, p. 184; Kuncienė, 1981, pav. 6; Budvydas, 2007, pav. XI; Vasiliauskas, 2008, p. 141; Širouchov, 2012, p. 50–51, pav. 73, pried. II: 16; Juknevičius, 2012, p. 291; LNM AR 22 : 11).

[9] Данные публикации автора 2012 г. по самбийским шиферным пряслицам (Shiroukhov, 2012, p. 232–234, fig. 9) дополнены архивными материалами из Музея древней истории г. Берлина (MVF).

[10] Названия прусссских археологических памятников приводятся в соответствии с их источниками и публикациями. В случае исследования памятника до 1945 г., прежде приводится его первоначальное (немецкое либо германизированное прусское) наименование, и затем – новое русскоязычное. Например – Долькайм (Коврово). В случае с памятниками, исследованными после 1945 г., вначале употребляются новые названия местностей, появившиеся в регионе с 1946–1947 гг. При этом, по причине отсутствия новых населённых пунктов на месте прежних разрушенных, некоторые исследователи и в 1990-е гг. употребляют старые названия местностей: Альт-Велау, Кляйнхайде и т. д. Обычно в статье приводится только одно общеупотребительное название памятника, а в приложении-каталоге – все возможные варианты его наименования.

[11] Погребения 30, 40, 41, 119.

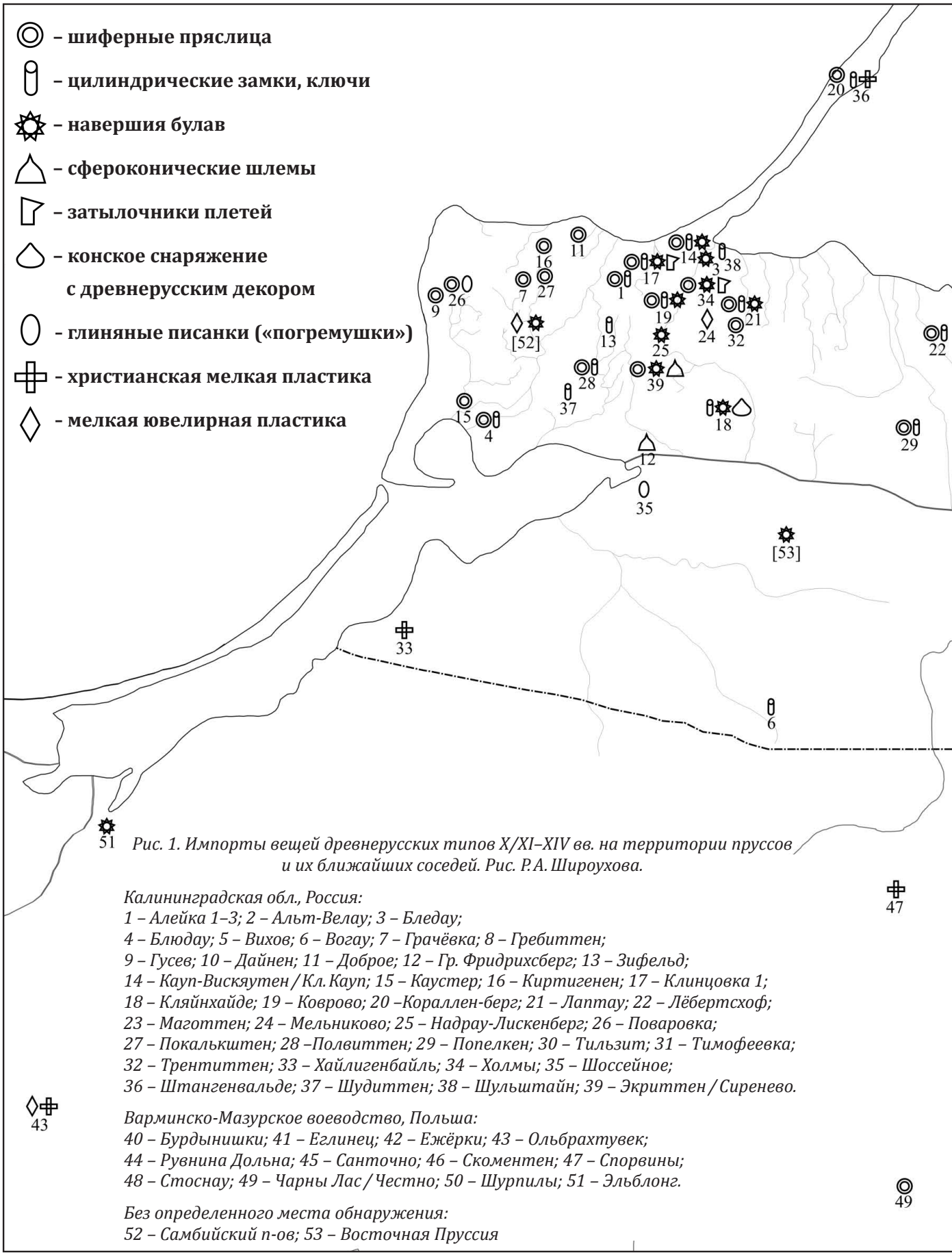


Рис. 1. Импорты вещей древнерусских типов X/XI–XIV вв. на территории пруссов и их ближайших соседей. Рис. Р.А. Широухова.

Калининградская обл., Россия:
1 – Алейка 1–3; 2 – Альт-Велау; 3 – Бледау;
4 – Блюдау; 5 – Вихов; 6 – Вогау; 7 – Грачёвка; 8 – Гребиттен;
9 – Гусев; 10 – Дайнен; 11 – Доброе; 12 – Гр. Фридрихсберг; 13 – Зифельд;
14 – Кауп-Вискяутен / Кл. Кауп; 15 – Каустер; 16 – Киртигенен; 17 – Клинцовка 1;
18 – Кляйнхайде; 19 – Ковррово; 20 –Кораллен-берг; 21 – Лаптау; 22 – Лёбертсхоф;
23 – Маготтен; 24 – Мельниково; 25 – Надрау-Лискенберг; 26 – Поваровка;
27 – Покалькштен; 28 –Полвиттен; 29 – Попелкен; 30 – Тильзит; 31 – Тимофеевка;
32 – Трентиттен; 33 – Хайлигенбайль; 34 – Холмы; 35 – Шоссейное;
36 – Штангенвальде; 37 – Шудиттен; 38 – Шульштайн; 39 – Экриттен / Сиренево.

Варминско-Мазурское воеводство, Польша:
40 – Бурдынишки; 41 – Еглинец; 42 – Ежёрки; 43 – Ольбрахтувек;
44 – Рувнина Дольна; 45 – Санточно; 46 – Скоментен; 47 – Спорвины;
48 – Стоснау; 49 – Чарны Лас / Честно; 50 – Шурпилы; 51 – Эльблонг.

Без определенного места обнаружения:
52 – Самбийский п-ов; 53 – Восточная Пруссия

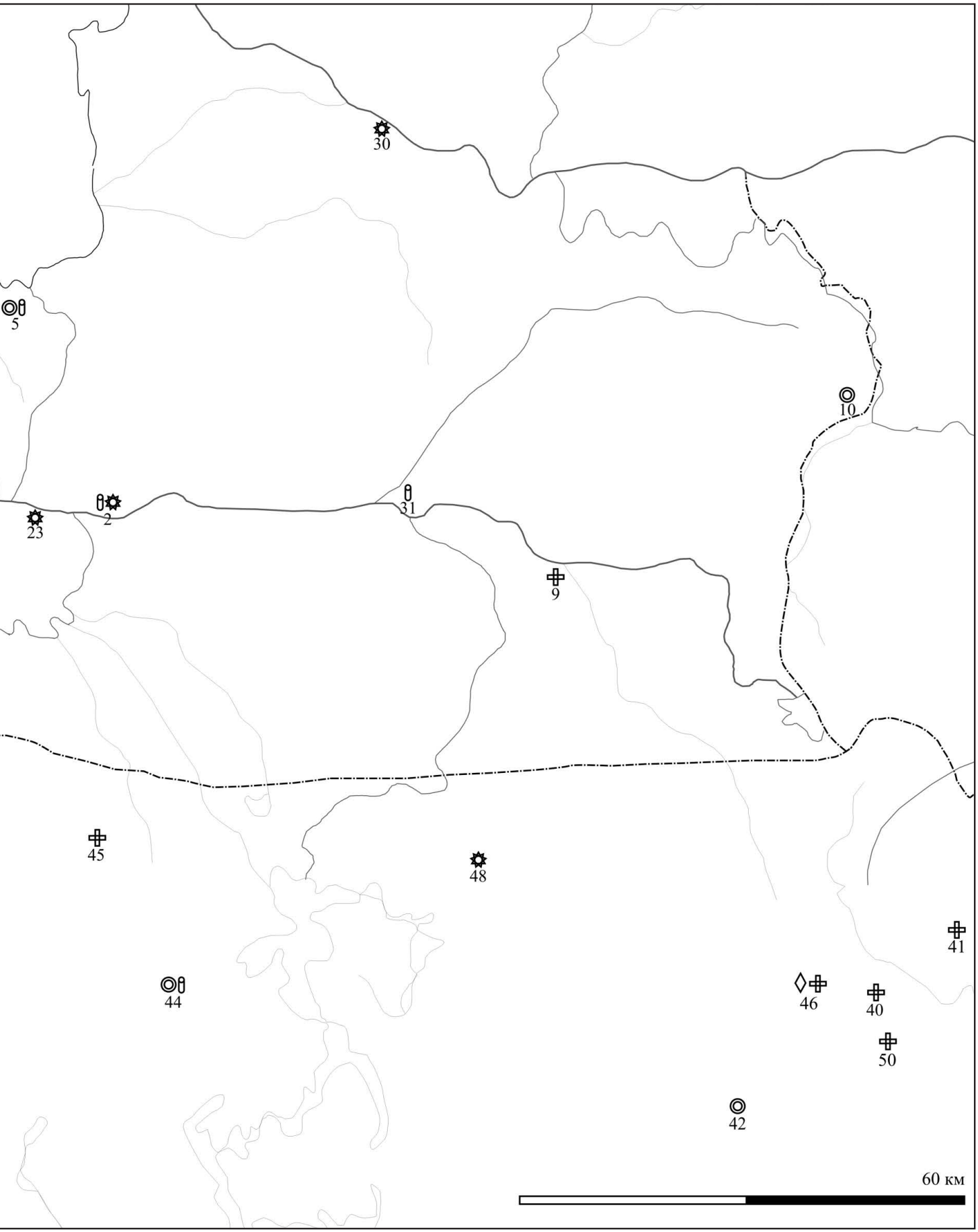

30
5
10
2
31
23
9
45
48
41
44
46
40
50
42
60 км

Таблица 2

Шиферные пряслица на территории пруссов*

(По: Shiroukhov, 2012, p. 232–234, fig. 9; Širouchov, 2012, p. 50–51, pav. 73, pried. II: *16*, с дополнениями и уточнениями)

Калининградская область, Россия					
№	**Памятник, категория**	**Комплекс**	**Коли-чество**	**Место хранения**	**Источник**
1	Алейка 3 (Jaugehnen), мог.	погр. 516, п. м.	2	КГОМ в. ф.	Скворцов, 2007a
2	Блюдау (Bludau), Кострово, мог.	погр.-инг. 4, 13/15	2	PM	Bezzenberger, 1914 b, S. 222, 226
3	Вихов (Viehof), Тюленино, мог.	–	10	PM/MVF	Bezzenberger, 1914 a, S. 163
4	Грачёвка (Craam/Plinken), гор.	п. м.	1	КГОМ	Гуревич, 1960, с. 375, рис. 46: *8*
5	Гребитен (Grebieten), р-н. Поваровка, мог.	–	3	MVF	–
6	Дайнен (Deinen), гор.	–	1	–	Grünert, 1943, S. 8, Abb. 4
7	Доброе / Гора Великанов (Hünenberg), мог.	–	1 (> ?)	–	Kulakov, 1994, с. 115
8	Каустер (Kauster), р-н. Призорово, гор.	п. м.	1	–	–
9	Киртигенен (Kirtigehnen), р-н. г. Светло-горск, мог.	–	3	PM/MVF	–
10	Клинцовка-1/ Ирзекапинис (Wikiau), мог.	погр. 5, 12, 27, 30 (2 экз.), 35, 40 (3), 41(2), 44, 54, 69, 119 (2), 121, 124, 130; Р. 1-4, с. н. (13)	32	КГОМ	Кулаков, 1977, 1978, 1981, 1984; 1990a, с. 73–90; 1999, с. 215–271
11	Кляйн Кауп / Моховое (Kl. Kaup), мог.	погр. 24(26), 27, 31, 32, п. м.	>10	КГОМ в. ф.	Кулаков, 2010 a, с. 194–199; 2010 c, с. 13, рис. 33, 65, 71, 169 a
12	Коврово (Dollkeim), мог.	погр. 10	2	КГОМ	Кулаков, 2004, с. 31, рис. 79: *3–4*, 99: *2*; 2007, рис. 98: *2*.
13	Кораллен-берг (Korallen-Berg), мог.	–	1 (?)	–	Тюрин, 2011, 127
14	Лаптау (Laptau), Муромское, мог.	погр. 5, 9	2	PM	Bezzenberger, 1914 a, S. 163,165
15	Лёбертсхоф (Löbertshof), мог.	–	7	PM/MVF	–
16	Поваровка (Powayen-Kirpehnen), мог.	погр. 17	1	–	Пронин и др., 2006, с. 344, рис. 93: *4*
17	Покалькштен (Pokalksten), Богатое, мог.	–	1	PM/MVF	–
18	Полвиттен (Polwitten), Ровное, мог.	–	1	PM/MVF	–
19	Попелкен (Popelken), Прудовка, мог.	–	5	PM/MVF	–
20	Трентиттен (Trentitten), Зайцево, мог.	–	8	PM/MVF	–
21	Холмы (Mülsen), мог.	погр.70, 77, п. м.	3	КГОМ	Зубков, 2012
22	Экриттен (Ekritten), р-н. Сиренево, мог.	погр. 19	2	PM/MWM	Antoniewicz, 1955, s. 244–245
Варминско-Мазурское воеводство, Польша					
23	Ежёрки (Jeziorki), гор.	–	1	–	Antoniewicz, Okulicz, 1958: tab. XX. 1–3,5
24	Рувнина Дольна (Rowmina Dolna / Unter-plehnen), мог.	погр. 16	1	MWM	Odoj, 1958, s. 123, tab. XV.1
25	Честно-Чарны Лас (Szestno-Czarny Las), мог./пос.?	–	1	IA WU	Wróblewski, 2000, fig. 8.a

* В таблицах 2, 3, 4 применяются следующие сокращения: **в. ф.** – временный фонд, **гор.** – городище, **инг.** – ингумация, **инд.** – индивидуальный, **крем.** – кремация, **мог.** – могильник, **п. м.** – подъемный материал, **погр.** – погребение, **пос.** – поселение, **п. п.** – первая половина, **с. н.** – случайная находка

ными пряслицами были и другие импорты из Западной и Восточной Европы, а также весы и гирьки.

В верхние ярусы погребений пруссов шиферные пряслица чаще всего попадали с погребального костра. Об этом свидетельствуют нагар, перемена цвета и поперечные сколы. Таким образом, шиферные пряслица могли использоваться пруссами уже в течение похорон в качестве погребального приношения. Некоторые пряслица носят следы долговременного использования. Чаще всего это потертости от нитей, намотанных в качестве уплотнителей на веретено, оставшиеся в отверстиях пряслиц[12]. Изредка в прусских погребениях встречаются «истёсанные» пряслица – деформированные изделия уменьшенного размера и неправильной формы[13].

Присутствие шиферных пряслиц вместе с другими импортами в погребениях прусских воинов-всадников[14] подчёркивает экономический характер этой категории инвентаря. В. Л. Янин предложил гипотезу о выполнении некоторыми стандартизированными изделиями древнерусского ремесла платежной роли в «безмонетный» период. Шиферные пряслица вполне могли иметь значение товаро-денег, поскольку: 1) ареал их производства был ограничен; 2) основная зона распространения шиферных пряслиц практически совпадает с территорией обращения серебра на Руси в домонгольский период; 3) шиферные пряслица встречаются в кладах вместе с серебряными слитками и монетами (Янин, 2009, с. 212–213, рис. 53). Возможно, для пруссов шиферные пряслица могли быть не только импортным (а значит – статусным) предметом, но и товарообменной единицей в торговых операциях. Данная проблема заслуживает более детального рассмотрения как в контексте археологии пруссов, так и шире – европейских древностей[15]. Основной фон находок шиферных пряслиц на территории пруссов и древнерусских земель различен: в первом случае это погребальные памятники, во втором – поселенческие объекты.

Говоря о хронологии шиферных пряслиц, следует отметить, что абсолютное большинство прусских шиферных пряслиц имеет отверстие диаметром не свыше 0,7–0,8 см. Такие пряслица отнесены Р. Л. Розенфельдтом ко второй, более поздней, хронологической группе: от второй половины XI до первой половины XIII в. (Розенфельдт, 1964, с. 223). Пряслице нестандартных пропорций (с отверстием более 1 см) обнаружено только на городище Дайнен на надравско-ятвяжском пограничье. По типологии Р. Л. Розенфельдта оно относится к концу X – началу XI в.

Цилиндрические замки и ключи к ним

В древнерусских городах – главных центрах импорта этих изделий и их прототипов в земли балтов – замки и ключи широко представлены уже в напластованиях IX–X вв., а в позднейших становятся неотъемлемым атрибутом быта горожан (Хорошев, 1997, с. 14). Замки и ключи отличает массовость и высокая степень стандартизации. Среди основного перечня древнерусских кузнечных изделий они выделяются трудоемкостью процесса изготовления и многообразием замочных механизмов (Кудрявцев, 2012, с. 119). Массовое производство и стандартизация технических и декоративных параметров этих изделий привели к созданию достоверной типологии. Благодаря хорошо разработанной хронологии замков и ключей древнерусских типов возможно уточнение датировок прусских закрытых археологических комплексов, содержащих эти находки.

На сегодняшний день на территории исторической Пруссии, в основном на Самбии, найдено 15 цилиндрических замков и их фрагментов и 23 ключа, относимых к А–Е типам по Б. А. Колчину, датируемых от X/XI до XV в. (рис. 1, табл. 3). Число для древнерусских материалов незначительное – но это наибольшая концентрация данных изделий для региона Юго-Восточной Балтии[16]. Самыми распространенными являются цилиндрические замки и ключи, относимые к типу А: 21 замок (66 % из 32 изделий определяемых типов). Датировка типа А для новгородских древностей определяется началом XI – первой половиной XIII в. (Кудрявцев, 2012, с. 121, 124), для Смоленска – концом XI – серединой XII в. (Асташова, 1999, с. 113, табл. 2). Й. Херманн по материа-

[12] Могильники Вихов (MVF V.167/169.7970. Nr. 5); Клинцовка 1 (КГОМ 12131.31; 17567.59); Попелкен (MVF III.18516.1046); Трентиттен (MVF VIII.3,4.III Nr. 29 b, f).

[13] Могильник Лёбертсхоф (MVF III.297.2156.18. Nr. 5).

[14] Только в верхнем ярусе погребения 27 были обнаружены 2 группы кальцинированных костей. Кроме шиферных пряслиц, другие явных «женских» предметов инвентаря найдено не было. Антропологические исследования останков погр. Клинцовка 1 не производились (Кулаков, 1990 а, с. 73–81; 1999, с. 215–258; Shiroukhov, 2012, p. 233).

[15] По мнению М. Волошина, шиферные пряслица могли попадать на территорию Польши вместе с «русскими» женами в качестве приданого (Wołoszyn, 2004, p. 251). Учитывая прусский контекст находок шиферных пряслиц, это предположение маловероятно.

[16] В северном ареале куршей (Курземе) цилиндрические замки и их ключи были обнаружены на могильниках Пасильс и Сарайи (погребение 39) (Короткевич и др., 2006, рис. 427–428; Griciuvienė, Grižas, 2009, p. 381–382). В южнокуршском ареале известно 11 цилиндрических замков и 8 соответствующих ключей, происходящих в основном из погребений-кремаций 9 могильников XI–XIII вв.: Бандужяй, Гинтарай, Греже, Лайвяй, Наусодис, Паланга, Рамучяй, Сленгяй (Širouchov, 2012, p. 49, pav. 68, 71, pried. II. 15). На территории ламатов-скальвов пока известна только одна находка ключа к цилиндрическому замку с городища Жакайняй (Fediajevas, 2012, p. 42). Несколько экземпляров таких замков и ключей известно на территории земгалов (Vasiliauskas, 2008, p. 144). Находки цилиндрических замков и ключей к ним на территории Восточной и Центральной Латвии (Кокнезе, Тервете и др.), Литвы (Марвяле) связаны, прежде всего, с Даугавским торговым путем (LPSRA, 1974, tab. 53: 17–18; 71: 6, 10, 15, 25, 35; Bertašius, 2009, taf. 83: 1–5).

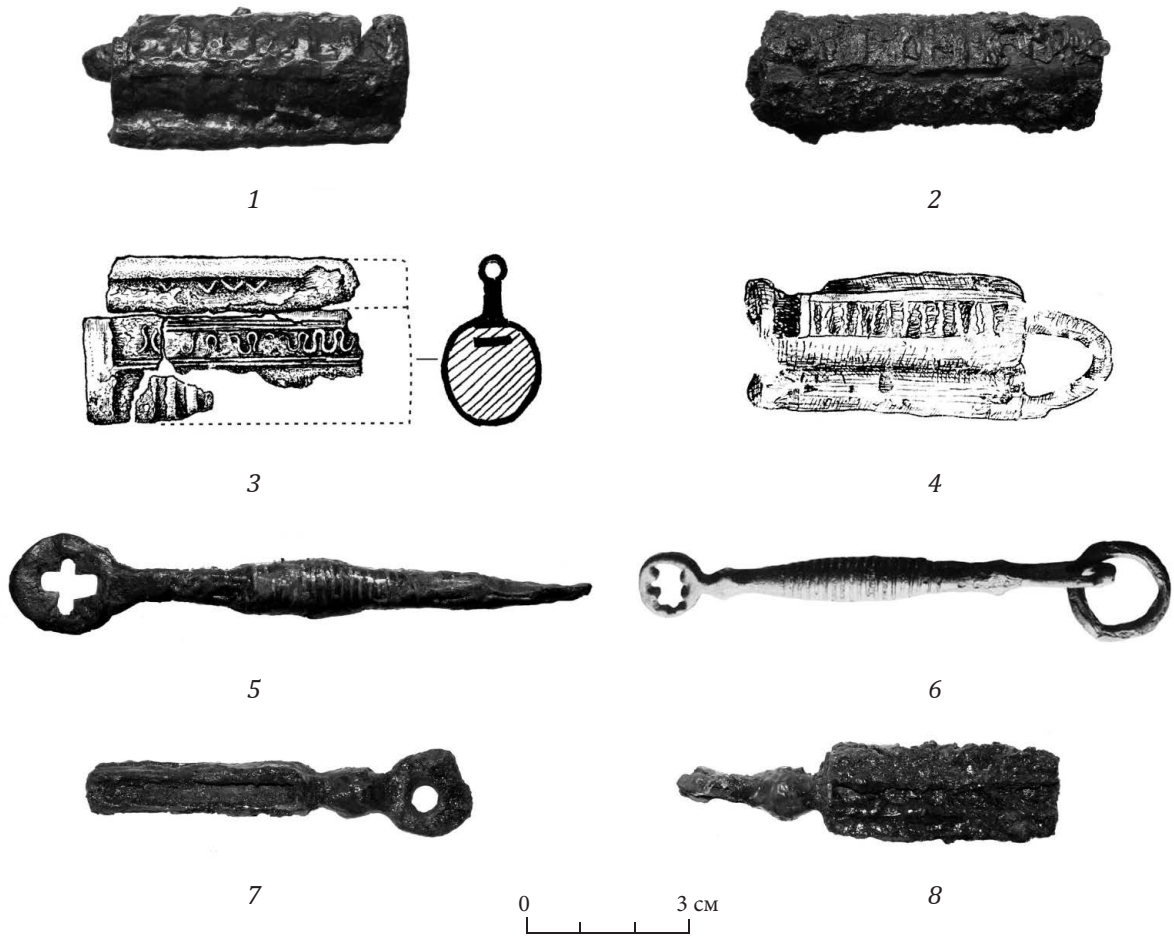


Рис. 2. Цилиндрические замки (1–4) и ключи к ним (5–8), найденные на прусских памятниках XI–XIV вв.: 1–2 – Клинцовка 1, погребение 12, 61 (КГОМ 9775.320, 12325.12); 3 – Алейка 3, погр. 521 (Скворцов, 2007а); 4 – Лаптау, погребение 1 (АИКМП); 5 – Клинцовка 1, погребение 64 (КГОМ 17567.33); 6 – Кауп-Вискяутен (HJA); 7–8 – Альт-Велау, погребение 156 и подъемный материал *(КГОМ 16405.33, 16058.1). Фото 1–2, 5, 7–8 – Р.А. Широухов*

лам средневекового поселения Ралсвик на о. Рюген датирует замки и ключи типа А второй половиной XI – началом XII в. (Hermann, 2005, Abb. 70).

Большая часть прусских контекстных находок замков и ключей типа А относится к могильнику Клинцовка 1, где найдено 9 или 10 изделий рассматриваемого типа (рис. 2: 1–2, 5–6)[17] (табл. 3: № 15–24). Находки наиболее ранних замков и ключей типа А, датируемых рубежом X–XI вв., автору неизвестны.

Уточнить тип трух фрагментированных замков затруднительно, поэтому они отнесены к общему А–Б типу (Вихов, Кауп-Вискяутен) и более обобщенно – к А–В типу (Тимофеевка). В погребении 1 могильника Лаптау был обнаружен замок, предположительно относимый к типу Б (рис. 2: 4). По новгородским данным, замки и ключи типа Б появляются во второй половине XI, используются в течение XII–XIII вв., выходя из употребления к середине XIV в. (Кудрявцев, 2012, с. 121, 124). Для смоленских древностей замки и ключи типа Б датируются протяженным периодом: началом XII – концом XIV в. (в основном XII–XIII вв.) (Асташова, 1999, с. 113, табл. 2). На о. Рюген аналогичные изделия датируются с первой трети XII по начало XIII в. (Hermann, 2005, Abb. 70). Поэтому погребение 1 могильника Лаптау в совокупности с другим инвентарем можно отнести к XII – началу XIII в.

[17] В публикации автора приводится информация о 3 замках и 9 ключах (Shiroukhov, 2012, p. 232). После сверки отчетов В.И. Кулакова (Кулаков, 1980–1983) с публикацией этого же автора материалов могильника Клинцовка 1 1990 и 1999 гг. обнаружилось, что в последних информации о ключах из погребений 32, 69 и 75 не прослеживается. Возможно, к моменту публикации материалов могильника данные изделия не сохранились.

Замки и ключи типа В являются одними из наиболее поздних модификаций, появившихся на территории Древней Руси в домонгольский период, они датируются в пределах второй половины XII – первой половины XV в. (Кудрявцев, 2012, с. 124; Асташова, 1999, с. 113, табл. 2). Замок и ключ типа В, и скорее всего – подтипа В1, обнаружены в могильниках Алейка 3 (погребение 521) и Клинцовка 1 (погребение 28) (рис. 2: 3). Данные погребения в совокупности с другим инвентарем относятся к концу XII–XIII в.

На памятниках пруссов орденского периода, конца XIII–XV в., найдены ключи типа Е (4 экз.), а также по 1 ключу и замку типа Д. Замки и ключи Д–Е типов в Новгороде появляются во второй половине XIII в. и используются до середины XV в. (Кудрявцев, 2012, с. 121, 124). Й. Херманн датирует аналогичные изделия второй половиной XIII – началом XIV в. (Hermann, 2005, Abb. 70), что соответствует начальному этапу их использования (рис. 2: 7–8).

Цилиндрические замки и ключи к ним могли попасть к пруссам как по Висло-Поморскому, так и, возможно, по Неманскому пути. Факт отсутствия находок цилиндрических замков и ключей на памятниках скальвов нижнего течения Немана (Вешвиле, Линкунен), при наличии последних на южно-куршских могильниках, возможно, свидетельствует об определенной роли Даугавского торгового пути в появлении этих изделий в ареале западных балтов. Несмотря на сложность изготовления, часть цилиндрических замков и ключей могла производиться прусскими, куршскими и земгальскими ремесленниками (Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, p. 93; Butėnienė, Butėnas, 2002, p. 58; Vasiliauskas, 2008, p. 145).

Практически все прусские цилиндрические замки и их ключи были найдены в погребениях вместе с оружием, импортами и конскими захоронениями, являясь статусным погребальным инвентарем, отражающим материальное положение погребенного. Вероятно, присутствие замков и ключей в богатых погребениях пруссов отражало переход части недвижимого имущества в «новое состояние» вместе с умершим собственником (Shiroukhov, 2012, p. 232).

Глиняные писанки

Древнерусские писанки, именуемые также погремушками, представляют собой покрытые разноцветной поливой полые яйцевидные глиняные изделия, иногда со «звенящим» шариком-погремком внутри. Датируются в пределах XI–XIII вв. Считается, что писанки могли иметь отношение к восточнославянским языческими верованиям, в которых яйцо являлось символом жизни и плодородия (Макарова, 1966, с. 141–145).

Две писанки («глиняные погремушки») были обнаружены на самбийском могильнике Поварова: в кремации II и ингумации 7, датируемых концом XI – XII в. и XII–XIII вв. (Пронин и др., 2006, с. 37, 81, рис. 37: 4, 198: 2). Ещу одна писанка была найдена случайно в зоне погребений XI–XII/XIII вв. могильника Шоссейное (Скворцов, 2007 b).

Древнерусские писанки встречаются также и в Восточной Латвии (Carnap-Bornheim et al., 2009, S. 176), где их появление связано с торговой активностью на Даугавском пути.

Предметы вооружения

Навершия булав

Бронзовые и железные навершия булав[18] являются характерным атрибутом вооружения пруссов XI–XIII вв., что выделяет последних на фоне других западных балтов.

Скорее всего, прототипы этих булав появляются на территории Древней Руси под влиянием изделий среднеазиатских мастеров в XI в. А. Н. Кирпичников упоминает 102 древнерусских булавы XI–XIII вв. До 1966 г. 90 % всех булав было обнаружено именно на территории России, Украины и Беларуси[19].

Ареал пруссов, и особенно Самбийский п-ов, является местом наибольшей концентрации булав в Балтийском регионе. Всего на территории исторической Пруссии известно 23 находки бронзовых и железных наверший булав более чем на 16 памятниках, из них в Калининградской области – 19 экз., на территории Самбии – 16 экз. (табл. 4).

Большинство прусских булав типов II–IV по классификации А. Н. Кирпичникова относятся к периоду XII – начала XIII в., бытование VI типа относится к XIII–XIV вв. (Кирпичников, 1966, с. 50–56, табл. 14). Хронологию некоторых типов булав уточняют польские исследователи. На территории Польши «звёздчатые» булавы III–IV типов могут датироваться до середины XIII в., а булавы II типа – с XII по XV в. (Liwoch, 2006, p 68; Michalak, 2006, p. 103, 105), что актуально и для прусского материала. Например, булавы I типа, исходя из контекста погребения 1 могильника Клинцовка 1 и 51а могильника Холмы, появляются в XI в. и могут существовать также в XII в., что косвенно подтверждает находка К. Энгелем булавы I типа на грунтовом могильнике Кл. Кауп. Немалая часть самбийских булав найдена в погребениях (6 из 16, т. е. 37,5 %), что способствует уточнению их хронологии.

[18] В восточно-прусской терминологии «Keulenköpfe».

[19] Здесь они в основном распространены на территории Киевского, Новгородского и Галицко-Волынского княжеств (Antoniewicz, 1955, s. 272; Мугуревич, 1965, с. 54; Кирпичников, 1966, с. 50–56, рис. 11, таб. XXV–XXIX; Кирпичников, Медведев, 1985, с. 311; Артемьев, 1990, с. 11–12, рис. 9: 1, 4–5; Артемьев, Гайдуков, 1995, с. 204–206; Кирпичников, Гайдуков, 1997, с. 186–187; Плавинский, 2009, с. 363–381; Дубровин, 2011, рис. 6: 3).

Таблица 3

Цилиндрические замки и ключи к ним на территории пруссов

(По: Shiroukhov, 2012, p. 231–232, fig. 8; Širouchov, 2012, p. 48–49, pav. 69–17, pried. II: 15, с дополнениями и уточнениями)

№	Памятник, категория	Предмет	Тип	Комплекс	Место хранения и инв. номер	Датировка по источнику (века)	Датировка корректированная (века)	Источники и литература
1	Алейка 1, пос.	ключ	А	Р. 7, кв. G. 6. п.м.	–		XI – нач. XIII	Радюш, 2007
2	Алейка 3, мог.	замок	В1	погр. 521	КГОМ в. ф.	XI–XII	кон. XII–XIII	Скворцов, 2007 а
3	Альт-Велау, мог.	ключ	Д	погр. 156	КГОМ 16405.33	XIII–XIV	XIV – нач. XV	Валуев, 1999, рис. 30: 1
4	Альт-Велау, мог.	ключ	Е	п. м.	КГОМ 16058.1	XIII–XIV	XIII/XIV – нач. XV	Валуев, 1998, рис. 93: 3
5	Блюдау, мог.	замок	А?	погр. 3	РМ	–	XI – нач. XIII	Bezzenberger, 1914b, S. 221
6	Вихов(Viehof) Тюленино, мог.	замок, фрагм.	А–Б	–	РМ/ MVF.V.4.6829. Nr.108–109	–	XI/XII – XIII/XIV	–
7	Вогау (Wogau), ?	ключ	Е	–	РМ/MVF	–	XIII/ XIV – нач.– XV	–
8	Долькайм (Коврово), мог.	ключ	А	погр. 66/99?	РМ		XI – нач. XIII	Jentzsch, 1896, Taf. IV, Abb. 58; Кулаков, 2004, рис. 69: 3; RGA T.23
9	Долькайм (Коврово), мог.	замок	А	погр. 66/99?	РМ		XI – нач. XIII	RGA T.23
10	Зифельд, мог.	ключ	–	погр. 8	РМ	–	–	Heydeck, 1909, S. 244
11	Зифельд, мог.	ключ	–	погр. 15	РМ	–	–	Heydeck, 1909, S. 245
12	Кауп-Вискяутен (Кл. Кауп?), мог.	ключ	А	?	РМ I.234	–	XI – нач. XIII	HJA
13	Кауп-Вискяутен/ Восегау, пос.	замок, фрагм.	А–Б	п. м.	КГОМ в. ф.	–	XI/XII–XIII	Ibsen, 2009, Abb. 143
14	Кауп-Вискяутен/ Восегау, пос.	ключ, коррозия	Д?	п. м.	КГОМ в. ф.	XIII–XV	XIV – нач. XV	Ibsen, 2009, S. 337, Abb. 259
15	Клинцовка 1, мог.	ключ	А	погр. 4	–	п. п. XI	XI – нач. XIII	Кулаков, 1980, рис. 4: 27; 1999, с. 215)
16	Клинцовка 1, мог.	замок	А	погр. 12	КГОМ 9772.320	XI	XI – нач. XIII	Кулаков, 1980, рис. 12: 29; 1999, с. 219, рис. 9
17	Клинцовка 1, мог.	ключ	В/В1	погр. 28	КГОМ 12195.55	кон. XI	кон. XII– XIII	Кулаков, 1999, с. 225, рис. 15
18	Клинцовка 1, мог.	замок	А	погр. 39	не сохр.	–	XI – нач. XIII	Кулаков, 1990, табл. LIV; 1999, с. 231
19	Клинцовка 1, мог.	ключ	–	погр. 40	–	–	–	Кулаков, 1999, с. 230
20	Клинцовка 1, мог.	ключ	А	погр. 45	КГОМ 12195.81	п. п. XI	XI – нач. XIII	Кулаков, 1999, с. 233, рис. 26

№	Памятник, категория	Предмет	Тип	Комплекс	Место хранения и инв. номер	Датировка по источнику (века)	Датировка корректированная (века)	Источники и литература
21	Клинцовка 1, мог.	замок	А	погр. 61	КГОМ 12325.12	сер. XI	XI – нач. XIII	Кулаков, 1999, с. 238
22	Клинцовка 1, мог.	ключ	А	погр. 64	КГОМ 12325.21	в. п. XI	XI – нач. XIII	Кулаков, 1999, с. 239
23	Клинцовка 1, мог.	ключ	А	погр. 64	КГОМ 17567.33	в. п. XI	XI – нач. XIII	Кулаков, 1999, с. 239
24	Клинцовка 1, мог.	замок	А	Р-3, с. н.	КГОМ 10709.3	–	XI – нач. XIII	Кулаков, 1978
25	Кляйнхайде (Kleinheide), р-н. г. Гурьевск, мог.	замок	А	п. м.	КГОМ в. ф.	XI–XII	XI – нач. XIII	Скворцов, 2013
26	Лаптау (Laptau), Муромское, мог.	замок	Б?	погр. 1	РМ	–	XI/XII–XIII	Bezzenberger, 1914 a, S. 161; АИКМП/КГОМ
27	Лёбертсхоф (Löbertshof), мог.	замок	А	–	РМ	–	XI – нач. XIII	Gaerte, 1929, Abb. 272: b
28	Лёбертсхоф (Löbertshof), мог.	ключ	А	–	РМ	–	XI – нач. XIII	Gaerte, 1929, Abb. 272: b
29	Попелкен (Popelken), Прудовка, мог.	ключ	А	–	РМ/MVF III.248.1169	–	XI – нач. XIII	–
30	Полвиттен (Polwitten), Ровное, мог.	ключ	А	–	РМ/MVF 12048	–	XI – нач. XIII	–
31	Таммовишкен-Камсвикус (Tammowischken-Kamswikus), Тимофеевка, гор.	замок, фрагм.	А-В	п. м.				Калашников, 2006, с. 34. рис. 11: 4
32	Шудиттен (Schuditten), Орехово, мог.	замок	–	с. н. в р-не погр. 40–52	РМ	–	–	Bezzenberger, 1909, S. 62
33	Шульштайн (Schulstein), Вольное, мог.	ключ	А	п. м.?	РМ	–	XII – нач. XIII	Gaerte, 1929, Abb. 272.a; MVF PM A 848/1, 028
34	Шульштайн (Schulstein), Вольное, мог.	ключ	А	п. м.?	РМ	–	XII – нач. XIII	MVF PM A 848/1, 028
35	Шульштайн (Schulstein), Вольное, мог.	ключ	А	п. м.?	РМ	–	XII – нач. XIII	MVF PM A 848/1, A 031
36	Штангенвальде (Stangenwalde), мог.	ключ	Е	–	MVF		XIII/XIV – нач. XV	Schiefferdecker, 1871, Taf. II: 17; Biermann et al., 2011, Abb.40: 6
37	Штангенвальде (Stangenwalde), мог.	ключ	Е	–	MVF		XIII/XIV – нач. XV	Schiefferdecker, 1871, Taf. II: 22; Biermann et al., 2011, Taf. 30: 4
38	Унтерпленен / Рувнина Дольна (Unterplehnen / Rownina Dolna), гор.	замок	Е	п. м.	MVF III.282.2025		XIII/ XIV – нач. XV	Gössler, Jahn 2013/2014, Taf. 2: 35

Таблица 4

Навершия булав на территории пруссов
(По: Shiroukhov, 2012, p. 229–231, fig. 5; Širouchov, 2012, p. 76–78, pav. 113–114, pried. II: 26, с дополнениями и уточнениями)

Калининградская область, Россия								
№	**Памятник, категория**	**Тип**	**Материал**	**Комплекс**	**Место хранения и инв. номер**	**Датировка по источнику (века)**	**Датировка корректированная (века)**	**Источники и литература**
1	Альт-Велау (Alt-Wehlau), р-н. г. Знаменск, мог.	II	бронза	погребение-ингумация 312	КГОМ 16550.52	XIV	XIV	Валуев, 2003, с. 107, рис. 7: 3; 2006, рис. 6: 2
2	Бледау/Даринен (Bledau-Darienen), Сосновка, мог.	V инд. Сферической формы, на удлиненной втулке	бронза	с. н.	РМ/ MVF PM 1938616	XI–XIII	XII–XIII	Kleeman, 1939, S. 217; АИКМП 2008, табл. CLXIII
3	Клинцовка 1, мог.	I	бронза	погр. 1	КГОМ 9772.291	Нач. XI	XI–XII	Кулаков, 1980, с. 218; 1999, с. 214
4	Клинцовка 1, мог.	V	железо	погр. 10	КГОМ 9772.122	Нач. XI	В. п. XI–XII/XIII	Кулаков, 1980, с. 218 227; 1999, с. 218
5	Клинцовка 1, мог.	V	железо	погр. 12	КГОМ 17567.9	XI или XII	В. п. XI–XII/XIII	Кулаков, 1980; 1999, с. 219
6	Кляйн Кауп/ Малый Кауп (Kl. Kaup), мог.	V переходный, индивидуальный	железо	погр. 24/26	КГОМ, временный фонд	Конец X – нач. XI	XII – нач. XIII	Кулаков, 2010а, с. 194–195; Кулаков, 2011, рис. 5
7	Кляйн Кауп/ Малый Кауп (Kl. Kaup), мог.	I	бронза	п. м.?	РМ	XI–XII	XI–XII	CEN RGA
8	Кляйнхайде (Kleinheide), р-н г. Гурьевск, мог.	I переходный, индивидуальный	бронза	п. м.	–	XI/XII–XIII	XI/XII–XIII	Скворцов, 2013
9	Коврово (Dollkeim), Долькайм, мог.	IV, местного производства (?)	бронза	с. н.	ГИАМР 613	–	XII–XIII	Кулаков, 2004, рис. 85: 2
10	Лаптау (Laptau), Муромское, мог.	V	железо?	погр. 2	РМ	–	XI–XII/XIII	Bezzenberger, 1914 a, S. 162, Fig. 39; Gaerte, 1929, S. 383

11	Маготтен (Magotten), Речное, ?	близкий II	бронза?	–	РМ	–	XII–XIV	Gaerte, 1929, S. 383
12	Надрау-Лискенберг, Низовка (Nadrau-Liskenberg), ?	I на удлиненной втулке	бронза	–	РМ	–	XII–XIII	RGA, т. 35
13	Самбийский/ Калининградский полуостров (Samland)	V	бронза	с. н.	–	–	XI/XII–XIII	–
14	Сиренево, р-н. (Ekritten), мог.	I	бронза	п. м.	–		XI–XII	–
15	Сиренево р-н., Малдайтен, (Maldaiten), мог.	V инд. Сферической формы, на удлиненной втулке	бронза	с. н.	–	–	XII–XIII	–
16	Холмы (Mülsen), мог.	I на удлиненной втулке	бронза	погр. 51а	КГОМ, в. ф.	–	XII–XIII	Зубков, 2012
17	Тильзит (Tilsit), Советск, замковая гора	III	бронза	–	MVF PM II,35,154	XII–XIII	XII–XIII, XIII	http://www.smb-digital.de
18	Шульштайн (Schulstein), Вольное, мог.	IV	бронза	п. м.	РМ	XI–XIII	XII–XIII	Gaerte, 1929, Fig. 383: b; La Baume, 1941, Abb. 7: a; Кирпичников, 1966, табл. XXIX: 2
19	Шульштайн (Schulstein), Вольное, мог.	? (не IV), деформир.	?	п. м.	РМ	–	XII–XIII	MVF PM A 848/1, 035
Варминско-Мазурское воеводство, Польша								
20	Эльблонг (Elbląg)	III	бронза	–	–	–	XI/XII–XIII	Michalak, 2006, ryc. 1: 8
21	Стоснау, Стожне (Stosnau/ Stootznen)	V с индивидуальными чертами	бронза	–	РМ V.7160	XI–XIII	XII–XIII	Gaerte, 1929, S. 383; Engel, 1939, Abb. 8: e
Неопределённые								
22	Восточная Пруссия	IV/V переходный, инд.	бронза?	–	РМ	–	XI–XIII	Gaerte, 1929, S. 383
23	Восточная Пруссия	IV/V, переходный	бронза	–	–	–	XI–XIII	Der Katalog für die Ausstellung in Lüneburg, 1992/1993, S. 26

Булавы I–V и переходных типов имеют аналогии в древнерусских и других европейских материалах (рис. 3). Так, 11 из 19 булав в большей или меньшей степени имеют индивидуальные черты, дополняющие основной тип. В первую очередь это относится к булавам I и V типов. Если булава с могильника Кл. Кауп относится к «классическому» примеру I типа, то в случае с булавами могильника Клинцовка 1 и Холмы сочетаются особенности I и III типов (рис. 3: 1). В двух случаях бронзовые навершия булав сочетают особенности IV и V типов. Также встречаются характерные только для Самбийского полуострова булавы – бронзовые изделия сферической формы на удлиненной втулке (2 экз.) (рис. 3: 5). Кроме упомянутых, наиболее соответствуют древнерусским прототипам булавы I типа из Сиренево/Экриттен (рис. 3: 4), II типа – из Альт-Велау, III типа – из Тильзита и IV – из Шульштайн. Остальные, в том числе и неорнаментированные железные булавы V типа, могут иметь черты локального производства (рис. 3: 2). Возможно, как и в случае с польскими и белорусскими булавами III–IV типов, наиболее качественно изготовленные образцы прусских булав были импортированы, а более грубые являлись местными подражаниями (Strzys, 2005, 111; Плавинский, 2009, с. 378).

Булавы встречаются и в прусских погребениях орденского периода. В ингумации 312 некрополя конца XIII – XV в. Альт-Велау обнаружена бронзовая булава II типа (рис. 3: 6). Это, наряду с другими традиционными для пруссов категориями инвентаря, переходящими из XIII в XIV в., демонстрирует преемственность прусской культуры в новых условиях.

Все авторы, рассматривающие булавы XI–XIII вв. в контексте Северо-Восточной Европы, подчеркива-

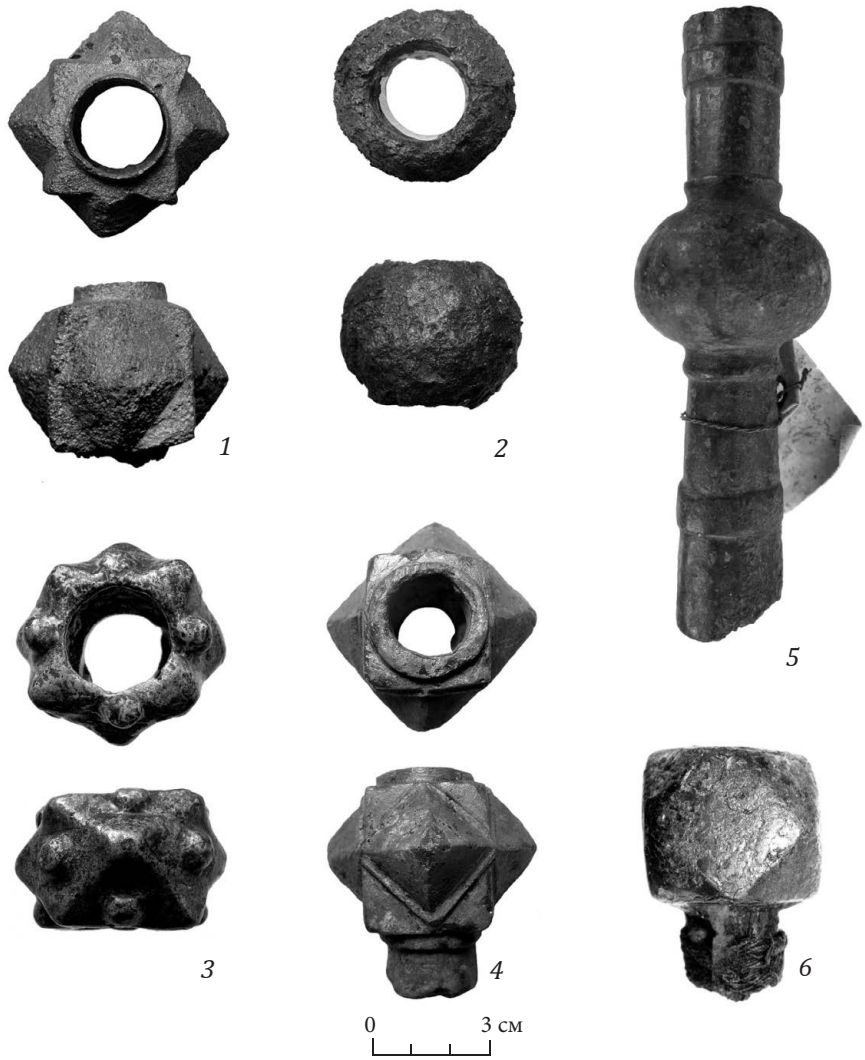


Рис. 3. Навершия булав, найденные на прусских памятниках XI–XIV вв.: 1–2 – Клинцовка 1, погр. 1, 10 (КГОМ 9778.291, 17567.9); 3); 3 – Ковроово (ГИАМР 613); 4 – Сиренево / Экриттен (Širouchov, 2012, pav. 114, 4); 5 – Бледау / Даринен (MVF/PM 1938:616); 6 – Альт-Велау, погр. 312 (КГОМ 16550.52). Фото – Р.А. Широухов

ют их особое социальное значение, относя к особой группе вооружения, отражающей общественное положение собственника (Мугуревич, 1965, с. 54; Кирпичников, 1966, с. 56; Кулаков, 1990 а, с. 33; Валуев, 2003, с. 107; Mäesalu, 2010, с. 143–144). В самбийских погребениях булавы найдены вместе с другими предметами вооружения, конскими снаряжением и захоронениями (нередко 2–3 коня), импортами, весами и гирьками (Shiroukhov, 2012, p. 230).

В пользу особой социальной значимости булав свидетельствует и то, что зоны концентрации их находок в других регионах Балтийского моря и Восточной Европы в XII–XIII/XIV вв. совпадают с основными «регионами власти» – центрами существующих/будущих государственных образований: Белоруссия и Украина (Галицко-Волынское и Киевское княжества), Польша (Малая Польша, Мазовия), Россия (Новгородское княжество), а также на территории Венгрии и Словакии (Ruttkay, 1975, p. 32, abb. 29: 1–4; 1976, p. 315, abb. 45; Плавинский, 2009, с. 363–381; Strzyś, 2005, s. 107–114; Liwoch, 2006, s. 67–79; Michalak, 2006, s. 103–114, ryc. 1).

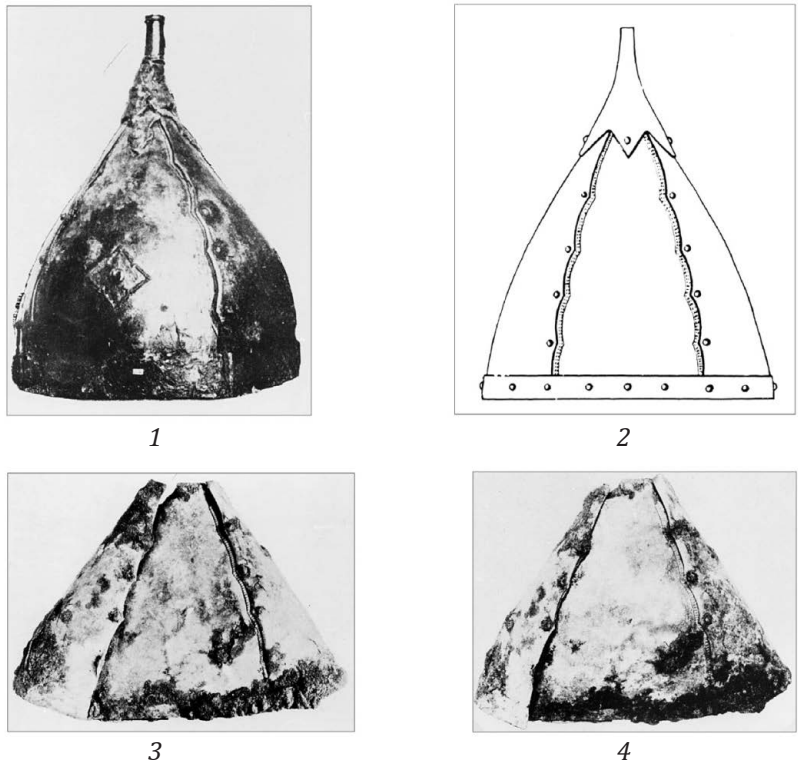


Рис. 4. Сфероконические шлемы:
1 – Гр. Фридрихсберг; 2–4 – Экриттен, погр. 12.
Фото 1, 3, 4 (RGA T.24, 75), рис. 2 (La Baume, 1940, Abb. 4, b)

Булавы в основном использовались дружинниками в конной борьбе (Кирпичников, 1966, с. 55). Погребения, сопровождаемые конскими захоронениями, являются важнейшей формой погребального обряда пруссов XI – первой половины XIII в.[20], что косвенно объясняет концентрацию булав на могильниках Самбии. Кроме того, это могло быть обусловлено и схожестью техник боя, распространенных на обширной территории от Черного до Балтийского морей.

Как и в случае с другими древнерусскими импортами, распространенными на территории Польши, образцы булав могли попадать к пруссам по Вислo-Поморскому пути и по его ответвлениям (Okulicz-Kozaryn, 2000, s. 292). Об этом свидетельствует отсутствие этого оружия в богатых погребениях куршей, скальвов и земгалов. Удаленность прусских булав от первичных центров производства объясняется, скорее всего, посреднической торговлей через территорию Польши либо заимствованием образцов у юго-восточных соседей.

[20] Двухъярусные погребения-кремации, сопровождаемые конскими захоронениями, в этот период составляют от 62 % до 95 % (в среднем 84 %) (Shiroukhov, 2012, с. 245).

Сфероконические шлемы

Более всего шлемов XI–XIII вв. в Восточной Балтии найдено на территориях пруссов и куршей[21], импортированные обнаружены только на Самбии.

До 1945 г. на Самбийском полуострове были найдены 2 сфероконических шлема. Один шлем в 1889 г. обнаружен на территории могильника XI–XII/XIII вв. Гр. Фридрихсберг[22], второй в 1939 г. выявлен в погребении-ингумации 12 могильника Экриттен[23] (Gaerte, 1924, Taf. 1; 1929, Abb. 273; La Baume 1939, Taf. 79: 3, 80: 1; 1940, S. 85–86, Abb. 4. a–b) и является единственной контекстной находкой шлема II типа во всём восточно-балтийском регионе (рис. 4). В первом случае сохранность шлема практически идеальная, во втором шлем деформирован. Оба шлема имеют схожую форму и конструкцию. Они изготовлены из четырех трапециевидных частей, в верхней части каждый шлем увенчан удлиненным полым навершием цилиндрической формы. Оба шлема украшены ажурными накладками и, возможно, были дополнительно покрыты пластинами из полированной бронзы (?).

[21] 5 шлемов (3 местных и 2 импортных) найдено на Самбийском п-ве, 5 шлемов местного производства – на территории куршей (Širouchov, 2012, p. 79–82).

[22] Gr. Friedrichsberg, Лермонтово, р-н. Калининграда.

[23] Ekritten, Ветрово-Сиренево.

Также в течение нескольких сезонов раскопок 2005–2011 гг. у подножья городища и могильника (?) Шурпилы в Северо-Восточной Польше были обнаружены 2 ажурные накладки ромбовидной формы, похожие на накладки, украшающие шлем из Гр. Фридрихсберга (Sawicka, 2011, ryc. 3: a).

По типологии А. Н. Кирпичникова, найденные на Самбии шлемы относятся ко II («черниговскому») типу, датированному периодом от X/XI до конца XII в. (Кирпичников, 1971, с. 26–27, рис. 8; 2009). На территории России известно 7 или 8 находок аналогичных («золоченых») шлемов, датируемых 950–1070 гг. Всего шлемов подобной формы на исторической территории Древней Руси зафиксировано около 40. Шлемы II типа, найденные на территории пруссов, А. Н. Кирпичников датирует первой половиной XI в. (Кирпичников, 2009). Учитывая контекст погребального инвентаря могильников Гр. Фридрихсберг и погребения 12 Экриттен, найденные здесь шлемы могут датироваться до XII в. и, возможно, позже. В последнем случае такой инвентарь, как удила с серповидными псалиями, стремена типа CIII2 по Н. Госслеру[24], инкрустированные копья и бронзовое «ганзейское» блюдо, а также серп с декоративной S-видной рукояткой[25], позволяет датировать погребение XII – началом XIII в.[26].

Шлемы II типа могли попасть на Самбийский полуостров как с Киевской Руси напрямую, так и, скорее всего, с территории Польши. Будучи статусным предметом защитного вооружения, они могли принадлежать здесь представителям нобилитета.

Зооморфные затыльники плетей

На территории пруссов известно 2 находки этих редких для восточно-балтийского региона предметов. На поверхности разрушенных распашкой кремаций могильника Холмы в 2010 г. был обнаружен стилизованный бронзовый затыльник III типа по А. Н. Кирпичникову (Кирпичников, 1973). В схожих условиях в 1977 г. на могильнике Клинцовка 1 был обнаружен затыльник IV типа, по А. Н. Кирпичникову (Кулаков, 1978, рис. 140: 9; 1990, табл. XXXVIII). Тип III представляет собой стилизованное изображение головки хищной (?) птицы с бочёнковидным корпусом, отверстием в верхней части и трубчатым отростком-«клювом». IV тип, напротив – детально проработанное изображение головки хищной птицы, в случае прусского образца – с отчетливо читаемыми клювом, глазами и оперением (Shiroukhov, 2012, p. 231, fig. 7). Оба типа датируются А. Н. Кирпичниковым XI–XIII вв. (с бóльшим акцентом на период XII–XIII вв.), что особенно характерно для затыльников IV типа. Исходя из многообразия этих находок на территории Древней Руси, А. Н. Кирпичников считает затыльники плетей III–IV типов южнорусскими изделиями. К востоку от Руси затыльники IV типа были найдены в Волжской Булгарии; там же открыта и форма для их отливки. А. Н. Кирпичников считает их местными подражаниями древнерусским изделиям (Кирпичников, 1973, с. 42)[27].

Кроме Самбии, затыльники плетей IV типа были найдены на территории Восточной Латвии: 1 бронзовый, IV типа, натуралистично изображающий головку хищной птицы (городище Межотне)[28], и 1 – схематический, из кости (Ерсика). А. Вилцайне относит их к типу II.1 и датирует XII–XIII вв., поскольку оба изделия происходят из верхних культурных слоев городищ. По мнению Е. Грицювене, затыльник из Межотне мог быть импортирован из Новгорода, а А. Вилцайне указывает на юго-восток Древней Руси (Griciuvienė, 2005, p. 159; Vilcāne, 2011, p. 124, 133, att. 3: 1–2).

Считается, что плети использовались в качестве универсального средства управления при верховой езде. Большинство остатков плетей из древнерусских курганов найдено в сочетании с оружием (Кирпичников, 1973, с. 72; Vilcāne, 2011, p. 124). Зооморфные затыльники плетей, наряду с булавами, являются косвенным отражением влияния древнерусской дружинной культуры на пруссов, органично слившейся с местными всадническими традициями.

Конское снаряжение древнерусских типов и с древнерусской орнаментикой

На сегодняшний день на территории Калининградской области (в подавляющем большинстве – на Самбии) известно более 60 могильников X–XIII вв., содержащих свыше 750 конских захоронений. Погребения, сопровождаемые конскими захоронениями, являются важнейшей формой погребального обряда для пруссов рассматриваемого периода. Всадниче ский инвентарь найден в 97% конских погребений (Shiroukhov, 2012, p. 240–241). Не удивительно, что среди многообразия форм встречаются образцы конского снаряжения, связанные с древнерусскими древностями[29].

Наиболее яркой находкой является фрагмент подошвы бронзового стремени, обнаруженной на могильнике Кляйнхайде (Скворцов, 2014). Изделие покрыто чеканным растительным орнамен-

[24] Датируются со второй половины XI по конец XIII в. (Gössler, 2013, S. 146–147, Abb. 3–4).

[25] Характерно для пил, бритв и ножей западных балтов XII–XIII/XIV вв.

[26] Что и предусматривалось В. Ла Бомом, впервые опубликовавшим этот комплекс (La Baume, 1940, с. 84–87).

[27] Этот тезис, как и предположение о возможном происхождении затыльников плетей III типа от IV, остаются под вопросом, поскольку налицо ориентальные признаки иконографии затыльников IV типа.

[28] По форме и декору близок экземпляру с могильника Клинцовка 1.

[29] Например, удила с серповидными псалиями с могильника Блёкен (Осокино) (Gössler, 2013, Abb. 47.1).

том. Для западных балтов, предпочитавших в декоре геометрические мотивы, такой растительный восточный орнамент нехарактерен. По форме и орнаментике стремя из Кляйнхайде практически идентично изделию из Новгорода[30], откуда оно, вероятно, и попало на Самбию. Не исключено, что стремя могло быть и искусным подражанием местных мастеров новгородским прототипам. На том же могильнике найдены стремена и разделители конского оголовья, соответствующие прусским типам, но украшенные нетипичным для пруссов «древнерусским» декором.

Парные железные стремена, таушированные серебром, отличают ромбовидные плетёнки, украшающие оба стремени в нижней боковой части (Скворцов, 2014). Такой орнамент характерен для древнерусских древностей XI–XIII вв., будучи достаточно распространенным – от бытовых предметов до монументальной скульптурной пластики (рис. 5: 1). Поскольку прямые древнерусские аналогии таких стремян автору неизвестны, можно предположить, что перед нами изделия прусских ремесленников, использовавших «древнерусские» мотивы.

То же относится и к найденным здесь же железным разделителям конского оголовья дисковидной формы, таушированным серебром (рис. 5: 2). На каждом из таких разделителей изображен четырехконечный равносторонний крест. Нехарактерный для пруссов четырехконечный равносторонний крест во множестве встречается в мелкой христианской пластике, орнаментике оружия и бытовых предметов, а также украшении фасадов церковных сооружений Древней Руси XI–XIII вв. (см., например: Вагнер, Воробьёва, 1997, табл. 112–118; Мусин, 2005, с. 182). Техника нанесения данного декора не выделяется на фоне других подобных изделий прусских ремесленников периода Средневековья[31]. Как и в случае с описываемыми выше стременами, возникает впечатление, что прусский ремесленник использует мотивы, смысл которых известен их заказчику и/или потребителю. При этом собственно христианская мелкая пластика на территории средневековых пруссов практически не встречается, о чем подробнее ниже. Равносторонний крест в качестве орнаментальной составляющей на таушированных изделиях, напротив, выступает в качестве иной семантической составляющей вместе с предполагаемыми языческими символами как на прусских изделиях XII в.[32], так и в орденский период[33] (рис. 5: 4).

Распространенные практически во всех средневековых конских погребениях ажурные крестовидные/ромбовидные накладки конского оголовья также могут иметь восточные истоки (рис. 5: 3). Их декоративные мотивы могли подвергнуться влиянию ориентальных элементов: розетка, пальметта, зернь.

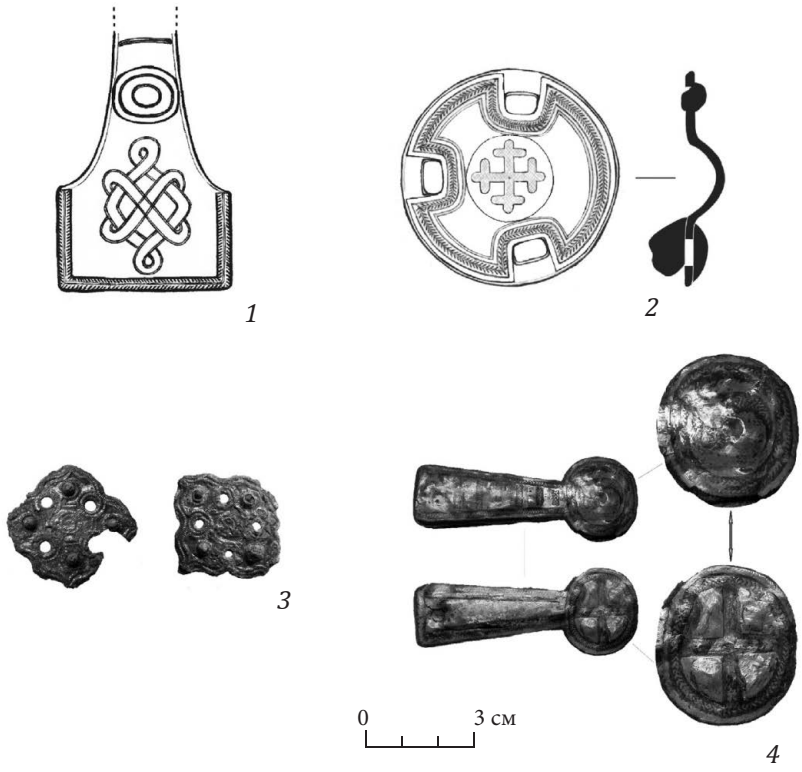


Рис. 5. Предметы всаднического снаряжения пруссов с древнерусскими и христианскими декоративными элементами:
1–2 – Кляйнхайде (Скворцов, 2014);
3 – Клинцовка 1, погр. 10 (КГОМ 9772.174, 175);
4 – Клинцовка 1, погр. 16 (КГОМ 17567.27).
Фото – Р.А. Широухов

[30] «Особой разновидностью стремян типа IX являются те, которые снабжены пластинчатой, как правило, орнаментированной дужкой. Оформлены эти вещи растительными и ленточными узорами, типичными для прикладного искусства XI–XIII вв. Наиболее нарядным является здесь стремя из Новгорода, инкрустированное золотистой бронзой. У стремени из Новгорода узор прочерчен по медно-золоченому фону точечной линией, что напоминает вышивку кожаных туфель XII в. Здесь, по-видимому, обнаруживается стремление создать как в мягком, так и в жестком материале единый в стилистическом отношении убор ног состоятельного всадника» (Кирпичников, 1973, с. 111).

[31] Схожие разделители конской упряжи, покрытые серебром (но без древнерусских мотивов), встречаются на территории северных куршей (Svarāne, 2005).

[32] Накладки конской сбруи Клинцовка-1, погр. 16, конец XI – XII в. (КГОМ 1756727).

[33] Парадные пояса XIV в. с прусских (надравских и самбийских) могильников Альт-Велау, Симонишкен, Штангенвальде.

Древнерусская и византийская иконография в изделиях западно-балтских оружейников

Речь пойдет о наконечниках ножен мечей двух типов, встречающихся в большинстве на территории западных балтов, но изначально иконографически чуждых балтской декоративной традиции. Это наконечники ножен, украшенные изображением двух птиц в медальоне и пальметтой, относимые В. Казакявичусом к IV типу, и наконечники, носящие изображение «креста и усиков», или же креста и плетеного растительного орнамента, принадлежащие к типу Vb, по В. Казакявичусу (Kazakevičius, 1998, p. 304–310). Главными в их орнаментике являются ориентальные растительные и зооморфные мотивы, изначально нехарактерные в таком виде ни для пруссов, ни для других балтов.

Всего в регионе Балтийского моря известно не менее 32 наконечников ножен IV типа (Kazakevičius, 1998; Janowski, 2007 a, s. 162–163, ryc. 5: a). Наибольшее распространение наконечники ножен IV типа получили в ареале пруссов и куршей[34].

Для иконографии прусской дружины X–XIII вв. характерен образ так называемой взлетающей птицы. При этом изображения двух вертикально стоящих напротив друг друга птиц в медальоне с пальметтой кроме наконечников ножен IV типа на территории прусов пока неизвестны. Истоки иконографии данного сюжета следует искать в Византии и на Ближнем Востоке. Мифологический сюжет с двумя птицами у дерева / на дереве (кресте) известен на посуде, украшениях и в архитектурном убранстве византийского происхождения X–XIII вв. (Даркевич, 1975, с. 202–208; Гуревич, 1981, с. 78–79, рис. 61; Janowski, 2007 b, s. 181; Bosselmann-Ruickbie, 2011, S. 136–137, 273, Abb. 36–37)[35]. Вместе с предметами быта, тканями (?) и образцами архитектурной пластики сюжет с двумя птицами у дерева распространяется из Византии в древнерусском прикладном искусстве и зодчестве XI–XIII вв. (Колчин и др., 1985, табл. 169; Вагнер, Воробьёва, 1997, табл. 112: 19–22, 27, 29; Kruk et al., 2006, p. 66, fig. I: 36).

Наиболее близкой аналогией декору на наконечниках ножен IV типа является наконечник ножен IIIb1 типа по Казакявичусу из Турайдас Путели с изображением в верхней части двух птиц, разделенных пальметтой (рис. 6: 1)[36]. Известно также изображение двух вертикально сидящих птиц, разделенных пальметтой на так называемом ранговом топорике Андрея Боголюбского XI–XII/XIII вв. (Кирпичников, 1966, табл. XIX: 1; Мусин, 2005, с. 162).

Несмотря на предполагаемое заимствование этого сюжета из Древней Руси, он получает собственное развитие на территории западных балтов. Продолжая типологию В. Казакявичуса, можно выделить два основных подтипа наконечников ножен IV типа: IVa – выполнен в «ориентальной» стилистике, с реалистично и детально изображенными птицами в отчетливо видимом медальоне (рис. 6: 2–3)[37]; и IVb – изображение птиц сильно геометризировано и не столь детально, птицы расположены в упрощенном медальоне или в треугольной нише-щите, пальметта также упрощена, иногда декор дополнен циркульным/ямочным орнаментом по краям (рис. 6: 4–5)[38]. Наконечники подтипа IVb больше соответствуют геометрическому стилю балтов (Bliujienė, 1999, p. 54–55; 2001, p. 211–212). Можно предположить, что при общей датировке IV типа второй половиной XI – первой половиной XIII в. подтип IVa мог появиться у западных балтов раньше и потом сосуществовать с «упрощенным» подтипом IVb, что, конечно же, нуждается в дополнительном исследовании.

Привнесенный на территорию западных балтов извне, восточный сюжет с двумя птицами и пальметтой получает не только собственное декоративное развитие, но и возможно – интерпретацию. Для пруссов и куршей он мог быть связан как с понятиями статуса и престижа, так и собственными мифологическими представлениями[39].

Иконография наконечников ножен типа Vb имеет схожие истоки. Наконечники этого типа с «крестом, усиками и плетёнками» являются одними из наиболее распространенных в Балтийском регионе в XI–XIII вв., встречаясь от Норвегии до

[34] Известно не менее 19 наконечников ножен: 8 было обнаружено на 6 памятниках северных куршей, 3 – на 2 памятниках южных куршей, 8 – на 6 памятниках пруссов (все на Самбии) (Širouchov, 2012, p. 71, pried. II. 23).

[35] Две расположенные напротив друг друга птицы изображены также на круглых подвесках из Готланда и Бирки (Paulsen, 1953, p. 101; Kazakevičius, 1998, p. 305).

[36] Серебряный наконечник ножен длиной 22 см, выполненный в ажурной восточной технике, был найден в погребении 22 ливского могильника и датируется XI – началом XII в. Единственный в своем роде, этот наконечник имеет и другие восточно-балтийские, а также южнорусские аналогии, выполненные в аналогичной технике, что позволяет говорить о связях этих регионов (Мугуревич, 1965, с. 50–51, рис. 16–17; Kazakevičius, 1998, p. 298–300).

[37] Наконечник ножен из Коврово / Долллькайм (случайная находка), Клинцовка-1 (погр. 33, 68), Холмы (случайная находка) и Самбийского полуострова (случайная находка).

[38] Наконечники ножен из Долллькайм / Коврово (случайная находка?), Мельниково (случайная находка), а также найденные на территории скальвов и южных куршей наконечники ножен из Грабупяй и Сленгяй.

[39] Сюжет с двумя птицами на ветвях «мирового древа» – один из наиболее распространенных в балтской этнографии и фольклоре конца XVIII – первой половины XX в. К сожалению, отсутствие соответствующих археологических материалов XIV–XVIII вв. и более ранних письменных и этнографических источников не позволяет проследить развитие и вероятность связи этих образов. В любом случае можно констатировать, что сюжет с двумя птицами глубоко укоренился в культуре балтов.

Киевской Руси[40] и от Эстонии до Польши. Наибольшая концентрация и разнообразие форм наконечников ножен типа Vb относится к землям западных балтов и их ближайших соседей. На всей территории куршей известно более 80 наконечников ножен типа Vb, обнаруженных на 41 памятнике. На территории пруссов известно, по меньшей мере, 13 наконечников ножен типа Vb, обнаруженных на 8 памятниках и случайно[41] (рис. 6: 7–10). Большинство находок происходит с Самбийского полуострова. Именно у пруссов наконечники ножен данного типа получают наибольшее развитие, видоизменяясь к XIII в. практически до неузнаваемости – в подтип Vc (Širouchov, 2012, p. 73–74).

В основе наконечников ножен типа Vb лежат восточные мотивы, выраженные в характере растительного плетения, равностороннем кресте и пальметте. Ближайшие орнаментально и хронологически близкие аналогии изображения на этих наконечниках ножен имеют в ливских «древовидных» подвесках и в общем – в ливском растительном декоре, частично адаптировавшем древнерусскую (и опосредованно – византийскую) иконографию процветшего креста и древа жизни, а также – скандинавские и общие романские растительные мотивы (Spirģis, 2012, p. 55–57, 65–76, att. 10).

Процветший крест был популярным византийским и древнерусским декоративным мотивом в IX/X–XIII/XIV вв. и нередко изображался на украшениях, а также бытовых предметах, напрямую не связанных с христианским культом (Молчанов, 1985, с. 66–83; Юшкевич, Трофимов, 1997, с. 111–118; Bosselmann-Ruickbie, 2011, S. 138–139, 215–216).

[40] Среди российских находок наконечников типа Vb автору известны изделия из бывшей Подольской губернии и Изборска (Кирпичников, 1966, таб. XXXIII: 8; Седов, 2007, с. 338, рис. 338), а также 2 случайные находки, предположительно происходящие из окрестностей Брянска (Širouchov, 2012, p. 72).

[41] На терерритории Калининградской области известен ещё один наконечник ножен типа Vb, обнаруженный в погребении 59 могильника скальвов Шплиттер (западный район г. Тильзит/Советск) (НЈА).

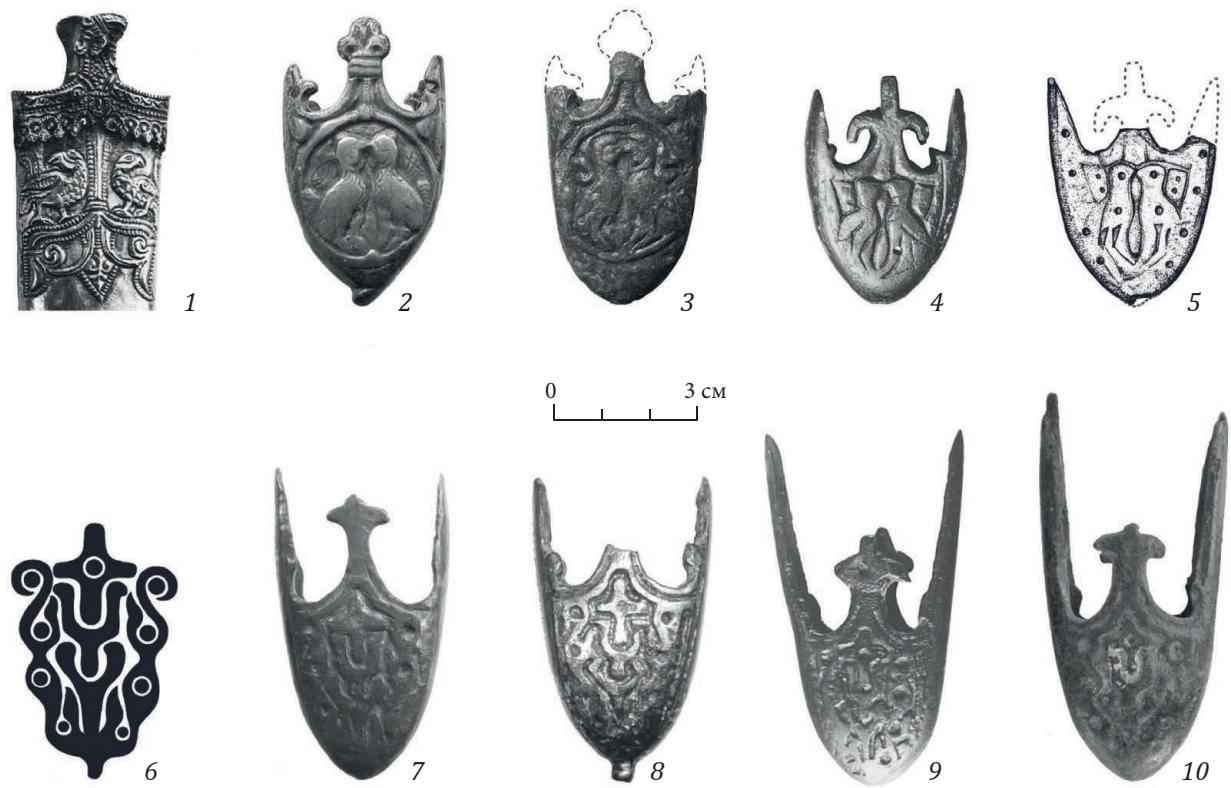


Рис. 6. Наконечники ножен мечей типов IV и Vb и их иконография: 1 – Турайдас Путели, Латвия (DSHI 100 Engel 225/66); 2–5 – наконечники ножен IV типа: 2 – Ковров (ГИАМР 620); 3 – Клинцовка 1, погребение 33 (КГОМ 10709.86); 4 – Долькайм / Ковров (РМ 11489); 5 – Мельниково (Širouchov, 2012, pav. 98, 6); 6 – реконструкция декора наконечников ножен типа Vb на основе изделия из погребения 36 могильника Бандужяй (Западная Литва) (MLIM 47826); 7–10 – наконечники ножен типа Vb: 7 – Покирбен (MVF/PM 1938:488); 8, 9 – Каун-Вискяутен (Carnap-Bronheim, Ibsen, 2012, Abb. 7; PM III. 104.941); 10 – Бледау, погребение 1 (MVF/PM 1939:45). 2–3, 6–10 – фото и прорисовки – Р.А. Широухов; 4 (НЈА); 5 – рис. Н. Тимошенко

В середине – второй половине XII в. образ процветшего креста (и его отдельные детали) получает повсеместное распространение в древнерусском искусстве, в том числе в виде так называемых «тамговидных» знаков собственности высшего сословия (Мусин, 2005, с. 181).

Пока неясно, как предметы с образом процветшего креста проникают на территорию пруссов – из Северной Руси через ливов, северных куршей и далее вниз по морской части Даугавского пути, либо по суше – через земли южных куршей. На восточном побережье Балтийского моря находки наконечников ножен типа Vb формируют 5 зон распространения с севера на юг, в основном – вдоль прибрежной линии (Širouchov, 2012, pav. 100).

В отличие от образа двух птиц и древа/пальметты, иконография процветшего креста более характерна для древнерусского оружия (Кирпичников, 1966, табл. XXXIII: 2–3, XXXIV: 2–5; Мусин, 2005, с. 163–164, 181–182). Древнерусский процветший крест как символ власти и достатка воплотился на наконечниках ножен типа Vb, ставших наиболее популярными именно у куршей и пруссов. Возможно, как и в случае с наконечниками ножен IV типа, процветший крест был интерпретирован западно-балтскими оружейниками и потребителями их продукции как «мировое древо», которое считается актуальным мотивом в средневековом археологическом материале балтов (Bliujienė, 2001, p. 205–219; Janowski, 2007 b, s. 180–182, ryc. 7; Широухов, 2008). В любом случае, находки на территории пруссов наконечников ножен типов IV и Vb отражают импорт идей и образов с Востока. Эти предметы, своего рода ex oriente lux, являются свидетельствами нематериального влияния древнерусской культуры на западных балтов.

Изделия мелкой пластики, восточно-христианская атрибутика

Изделия древнерусской мелкой ювелирной пластики редки на прусских (и особенно – самбийских) памятниках X–XIII вв. В отличие от Восточной Латвии и Литвы, на территории пруссов пока неизвестны стеклянные браслеты, средневековых стеклянных бусин также значительно меньше, и они нуждаются в отдельном исследовании.

Наибольшее количество предметов древнерусского происхождения было найдено в кладах в южнопрусских землях, соседствующих с западными славянами. На Самбии такие комплексы пока неизвестны. Интересным в этом контексте является денежно-вещевой клад из Ольбрахтувко, обнаруженный в 2009 г. В гончарный сосуд вместе с серебряными и бронзовыми украшениями прусского и, возможно, восточно(западно?)славянского происхождения, были положены не менее 75 серебряных бусин-нанизок южнорусского происхождения XI–XII вв., несколько ажурных подвесок-крестиков, 2 ожерелья из стеклянных бусин и большое количество куфических и европейских монет IX–XI вв.[42]

Проволочные височные кольца с серебряными бусинами-нанизками, украшенными зернью, характерные для киевских древностей XII–XIII вв. (Левашова, 1967), также неизвестны в центральном (самбийско-натангийском) ареале пруссов. При этом одно такое изделие обнаружено на ятвяжском городище Шурпилы (Engel et al., 2006, Pl. XIV: 9). Еще пара схожих височных колец, отнесенных К. Енгелем к группе Якимович 1, обнаружена на балто-славянском пограничье у Скурпен, в Северо-Восточной Польше (Skurpien, Kr. Neidenburg) (RGA, т. 105)[43].

В отличие от ливского населения, непосредственно соприкасавшегося с представителями древнерусской культуры, у пруссов символы христианского культа древнерусского происхождения редки. Основная масса нательных крестиков и другой мелкой христианской пластики встречается на близкой пруссам территории Северо-Восточной Польши – в ареале ятвягов (Iwanowska, Niemyjska, 2004, p. 106, pl. 2, 14–26; Sawicka, 2011. s. 265, ryc. 3, f; Wołoszyn, 2001, ryc. 10: 3; Antoniewicz, 1955, s. 266–267; Bogucki, 2009, s. 495–496). Возможно, именно под влиянием северных ятвягов посеребренный крестик-подвеска с пухлыми окончаниями, характерный для древнерусских древностей XII–XIII вв., попадает на территорию пруссов-надравов – в район современного г. Гусев (Гумбиннен)[44]. Правда, последний, судя по другим находкам из этой местности и аналогичным крестикам-подвескам, обнаруженным у селов, может относиться уже к концу XIII – XIV в. (Griciuvienė, 2007, p. 77–78) (рис. 7: 4).

На территории пруссов-бартов из Санточно (район г. Кентшин) происходит находка бронзового энколпиона XI/XII–XIII вв. с изображением св. Бориса и Глеба, имеющего южнорусское происхождение (Dzieńkowski, Wołoszyn, 2012, p. 395–398, fig. 6, 7: 5). Наиболее близкими к центру прусских земель – Самбии – являются две находки энколпионов XII–XIII в. в исторической Бартии – Спорвины (район Бартошице) и Вармии – район Хайлигенбайль (Мамоново) (Antoniewicz, 1955, ryc. 18; Wołoszyn, 2012, s. 233, abb. 7: 1, 8) (рис. 7: 3).

[42] Olbrachtówko/ Olbrachtówek. Варминско-мазурское воеводство, гмина Суш, к югу от г. Эльблонга. Находится на хранении в MWM (MMA 2086).

[43] Также в музее «Пруссия» в Кёнигсберге находился на хранении клад фрагментированных серебряных изделий X–XII вв., часть которых, как например, височные кольца, украшенные зернью серебряные бусины-пронизки и фрагменты браслетов (?), принадлежали к дренерусским древностям. Место находки клада, представленного в архиве Г. Янкуна, не зафиксировано (HJA).

[44] Аналогичный крестик найден на ятвяжском городище Еглинец (РМА V/8664.631).

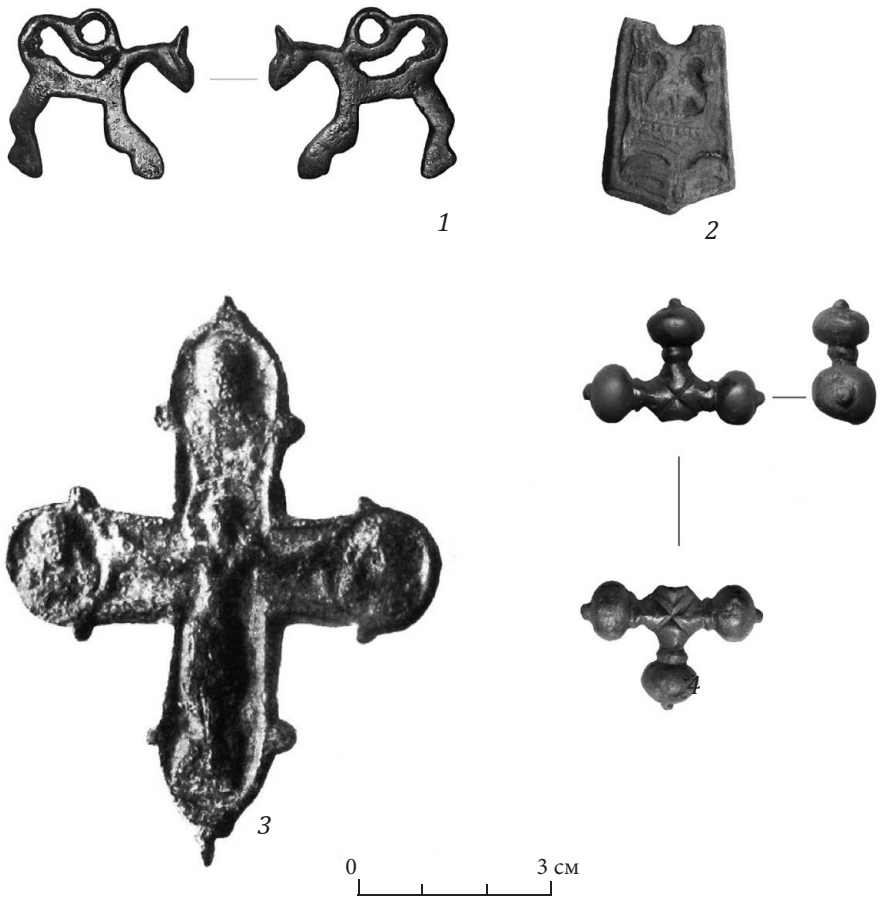


Рис. 7. Мелкая ювелирная пластика:
1 – зооморфная привеска, Самбийский полуостровов (ММВЗ; Širouchov, 2012, pav. 76, 2);
2 –фрагментированная подвеска с тамговидным знаком, Мельниково (КГОМ, в. ф.);
3 – энколпион, Спорвины, район Бартошице (Antoniewicz, 1955, rys. 18, a);
4 – подвеска-крестик, Гусев (КГОМ, в. ф.).
Фото – Р.А. Широухов (кроме 3)

На Самбии к древнерусским ювелирным изделиям относятся только несколько случайных находок. Это зооморфная привеска в форме конька, характерная для древнерусских украшений XI–XII вв. (рис. 7: 1). Обнаружение такой подвески в ареале пруссов еще раз свидетельствует об участии последних в прямой либо опосредованной торговле с Древней Русью, а также предполагает появление в будущем аналогичных находок. В 2012 г. обнаружена фрагментированная подвеска с изображением растительного орнамента, сохранившийся фрагмент которого напоминает процветший крест (рис. 7: 2). Традиционно данные подвески связываются с ливскими древностями нижнего течения Даугавы. Возникшие под влиянием древнерусской культуры, эти подвески в основном встречаются в женских погребениях XII–XIII вв. ливов региона Гауи и Даугавы (Mugurēvičs, 1994, l. 76–80; Spirģis, 2012). Находка такой подвески на Самбии может свидетельствовать о возможной связи пруссов с северорусскими землями посредством Даугавского торгового пути.

Из образцов мелкой христианской пластики на Самбийском полуострове известна только одна находка фрагмента средневекового латинского (?) крестика из мог. Геройское 5 (Širouchov, 2012, p. 52). Наиболее поздней находкой крестика-подвески древнерусского типа можно считать ажурное изделие из Штангенвальде на Куршской косе, обнаруженное среди прусских древностей XIII/XIV–XV вв. (Schieferdecker, 1873, Taf. IV: 18; Antoniewicz, 1955, s. 266). Наряду с находкой шиферного пряслица, замков и ключей типов Д–Е, булавы II типа на прусских некрополях орденского периода Рувнина Дольна и Альт-Велау, находка крестика из Штангенвальде может свидетельствовать о сохранении контактов с древнерусскими землями и их соседями и в контексте новой политической обстановки.

К вопросу о путях проникновения древнерусских импортов и возможных контактах

Чем же вызвана высокая концентрация импортов древнерусских типов на Самбийском полуострове? «Анализируя распространение определенной группы артефактов, крайне сложно из ряда предполагаемых вариантов распространения выявить наиболее подходящий» (Wołoszyn, 2004, s. 241).

Контекст находок большинства предметов древнерусского происхождения в землях пруссов свидетельствует о существовании в прусском обществе прослойки, которой эти предметы были доступны в первую очередь: нобили, дружинники, торговцы, богатые ремесленники и члены их семей. Будучи *de facto* прусской элитой, эти люди являлись основной прослойкой потребления и перераспределения рассматриваемых вещей.

Часть предметов древнерусского типа, ставших популярными у пруссов, по мере возможности могла производиться на месте, следуя восточным прототипам: цилиндрические замки и их ключи, навершия булав. Другая часть анализируемых здесь предметов, связанных с древнерусской (и шире – ориентальной) иконографией, относится к «миграции идей», когда престижные, статусные либо популярные в определенной среде мотивы выступают в новой роли: воплощаются на изделиях местного производства и, возможно, получают новое содержание. Это относится в первую очередь к наконечникам ножен мечей типов IV и Vb, а также к всадни-ческой амуниции.

О вероятности непосредственного присутствия представителей древнерусской культуры на территории пруссов, т. е. «миграции людей», косвенно могут свидетельствовать редкие находки мелкой христианской пластики, обступившие тонкой сетью центр предполагаемого/вероятного государства пруссов – Самбию и Натангию. Православные энколпионы, крестики и образки могли оказаться на территории пруссов: бартов, вармов, натангов или галиндов и ятвягов – в результате военных столкновений с польскими князьями, в дружинах которых теоретически могли находиться древнерусские воины. С другой стороны, эти изделия могли принадлежать и женщинам, оказавшимся в южнопрусских землях в качестве жен или невольниц. Также подобные изделия могли являться военным трофеями либо подарками, привезенными издалека.

Что же пруссы могли предложить в обмен на древнерусские изделия? Похоже, что единственным и практически нигде больше не встречающимся, а значит и незаменимым, предметом импорта с прусских земель был янтарь. Как и розовый шифер, используемый для изготовления пряслиц, этот материал имеет крайне ограниченную географию, а значит – и особую материальную ценность. Как и в случае с шиферными пряслицами, материал для производства которых изредка вывозился в другие местности (Киевский Подол) (Rokitowska, Wołoszyn, 2001, s. 52), с территории Самбии могли вывозиться как сами изделия, так и сырье. Поскольку на исследованных прусских могильниках X–XIV вв. янтарных изделий обнаружено мало, в основном это редкие бусины, а у соседей – куршей, жемайтов, аукштайтов – они встречаются в X–XII/XIII вв. довольно часто (Bliujienė, 2007, p. 414–415, LNM AK), напрашивается вывод об использовании пруссами янтарного сырья как товара, в том числе для торговли с древнерусскими городами.

Янтарные изделия в X–XIV вв. находят в Новгороде, Старой Ладоге, Киеве, Старой Рязани, Новогрудке и других городах Древней Руси. Немало янтарных изделий было обнаружено в курганах радимичей, вятичей и кривичей. В некоторых городах предполагается существование мастерских по обработке янтаря. Продукция славянских мастеров по янтарю ничем не отличалась от производимой в других торгово-ремесленных центрах Балтийского моря: бусины различной формы, разделители, пуговицы, игральные фишки, пряслица и «латинские» крестики. Также на Руси встречаются и особые изделия – крестики ромбовидной формы и «печатные» кольца (Розенфельдт, 1978, с. 200–207; Bliujienė, 2007, p. 423–424; Асташова, 1999, с. 117, табл. 4).

Считается, что янтарь попадал на территорию древнерусских княжеств в качестве сырья двумя основными путями – через Балтийское море, Неву, Ладожское озеро и далее – по Волхову, а также по Даугаве и Днепру (Розенфельдт, 1978, с. 197–198). Весьма вероятно, что в распространении янтарного сырья из Самбии в землях других балтов и далее на восток могли использоваться морское ответвление Даугавского пути, Неманский путь (до Каунаса) и – в случае Польши и Древней Руси – Висло-Поморский путь (рис. 8)[45].

Основной период распространения янтарных изделий на Руси (XII–XIII вв.) совпадает с периодом распространения импортов древнерусских типов у пруссов. Безусловно, нельзя недооценивать гипотетический импорт прусского вооружения, украшений и мехов (?) на восток, а также роль других, возможно, более рентабельных в эпоху викингов видов товарооборота, как работорговля и посредническая торговля. Но янтарь и изделия из него пока являются единственной археологически нащупываемой путеводной нитью в вопросе контактов между Пруссией и Русью в период Средневековья.

[45] Гипотетически часть киевского археологического янтаря-сукцинита могла добываться на правобережье Днепра от Вышгорода до Канева и в Полесье. По мнению Д. Н. Зоценко, киевские янтарные изделия X–XI вв. морфологически близки балтийским, а уже в XI/XII–XIII вв. могли производиться из «днепровского» янтаря (Мацуй, Беличенко, 2011, с. 51–53).

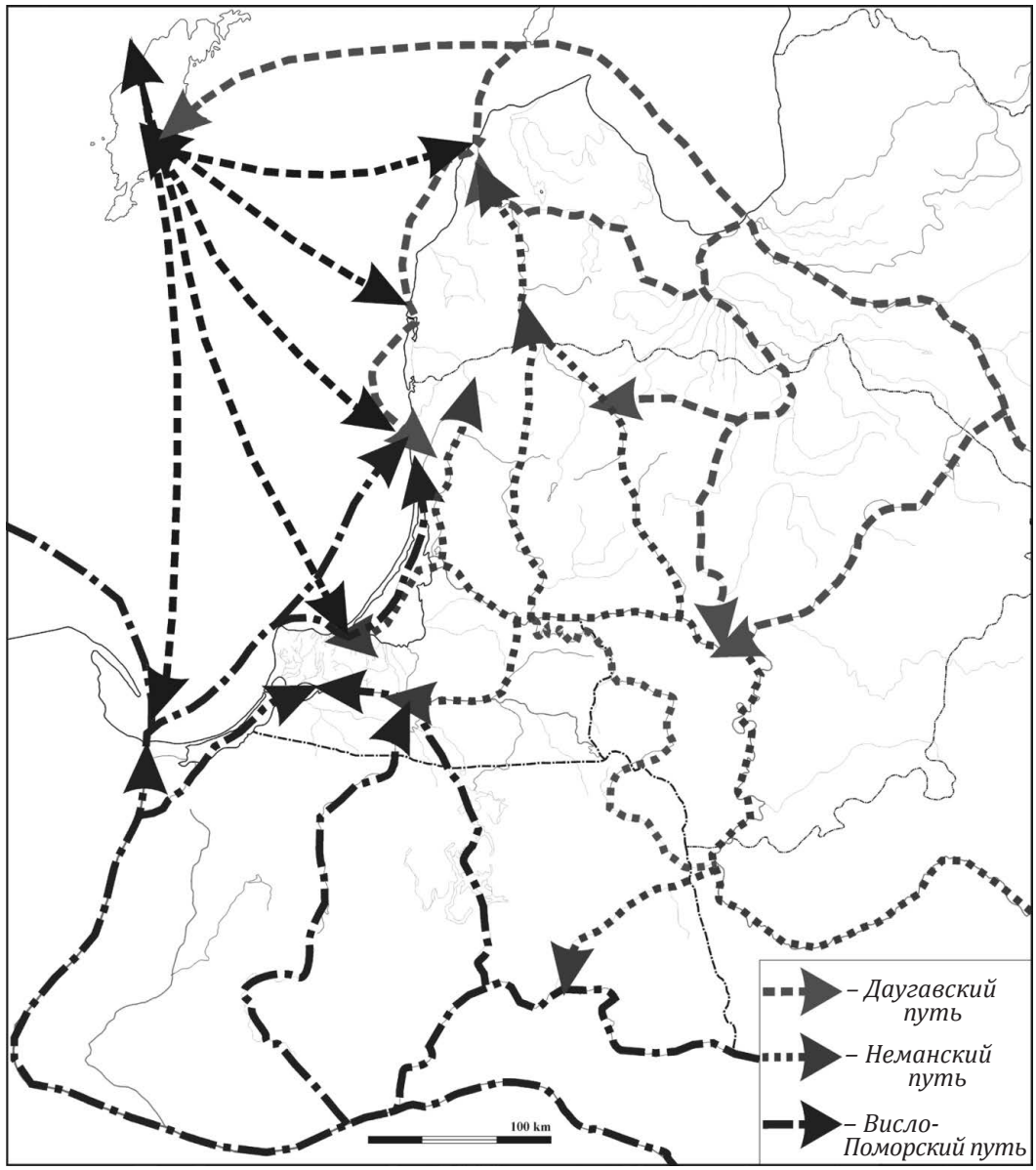


Рис. 8. Основные торговые пути Юго-Восточной Балтии в X/XI – начале XIII в.

Похоже, что до прихода в земли западных балтов ганзейских купцов, немецких рыцарей и колонистов древнерусские княжества оказывали немалое культурное и в некоторых случаях политическое влияние на развитие восточнобалтийского региона, и в том числе – пруссов (Мугуревич, 1965, с. 77–96, 115–116; Žulkus, 2004, p. 187; Blomkvist, 2007, p. 508–510; Širouchov, 2012, p. 11).

Подводя краткие итоги, отметим, что основная масса бытовых предметов, оружия и других изделий древнерусского типа, оказавшихся в прусских землях, связана в первую очередь с «миграцией вещей» – перемещением и распространением артефактов по торговым путям вместе с прусскими и, возможно, древнерусскими торговцами. При этом, говоря о возможных прусских подражаниях и имитациях древнерусских предметов, актуальным кажется высказывание Н. Викер: «Точно отличить объекты, которые были импортированы в ходе торговли, в качестве трофеев либо подарков, от местных имитаций, произведенных для удовлетворения локального спроса, – сложная и комплексная методологическая задача, которая требует изучения всех доступных источников: технологических, иконографических или даже исторических» (Wicker, 2008, p. 249).

Предварительные выводы

– Количество и разнообразие предметов древнерусского типа на территории пруссов, и в особенности на Самбии, свидетельствует о долгосрочных контактах пруссов с древнерусскими землями – с конца X и до рубежа XIII–XIV вв.

– Объекты древнерусского импорта могли попасть на Самбийский полуостров как по существующим в то время основным торговым путям, в том числе через города Польши, так и в процессе гипотетических контактов прусских и древнерусских дружинников, ремесленников, торговцев и других групп населения.

– Популярность древнерусского оружия и конского снаряжения, в том числе дорогого и элитарного, а также соответствующего декора, свидетельствует не только о схожих техниках боя, но также о привлекательности символов власти и, вероятно, древнерусской «феодальной модели» для пруссов.

– Сложившаяся в современной российской науке типология и хронология древнерусских древностей помогает в уточнении и корректировке датировок как самих массовых импортов древнерусских типов у пруссов, так и отдельных комплексов и даже могильников, где они были найдены. Вместе с разработанными типологиями западноевропейских древностей периода Средневековья древнерусские данные должны стать основой для создания более достоверной хронологии прусских древностей X–XIII вв.

– Самобытность культуры может выражаться в сочетании ряда признаков, изначально ей не свойственных. Так, типичные самбийские двухъярусные погребения с булавами, шиферными пряслицами и «ганзейскими» бронзовыми блюдами являют собой пример нигде более не встречаемого сочетания импортированного погребального инвентаря, характерного только для прусской культуры XI–XIII вв.

– Большое количество предметов древнерусского типа, наряду с западноевропейскими импортами в самбийских погребениях XI–XIII вв., свидетельствует о накоплении значительных материальных ресурсов на Самбийском полуострове, сложившихся путем активной торговли, грабежа и войн с соседями и, возможно, в результате формирования централизованных институтов власти, обусловивших концентрацию и перераспределение привозных товаров на местах.

Источники и литература

Артемьев А. Р., 1990. Кистени и булавы из раскопок Новгорода Великого // Материалы по археологии Новгорода. Новгород. С. 5–28.

Артемьев А. Р., Гайдуков П. Г., 1995. Две уникальные булавы из раскопок в Новгороде // ННЗ. Вып. 9. Новгород. С. 202–206.

Асташова Н. И., 1999. Хронология смоленских древностей // Археологический сборник. Труды ГИМ. Вып. 111. М. С. 111–119.

Вагнер Г. К., Воробьёва Е. В., 1997. Архитектурный декор Руси X–XIII вв. // Древняя Русь. Быт и культура / отв. ред. Б. А. Колчин, Т. И. Макарова. М. С. 186–202.

Валуев А. А., 1998. Отчет по раскопкам грунтового могильника «Альт-Велау» у пос. Знаменск (Гвардейского района Калининградской обл.) Калининградским отрядом БАЭ в 1997 г. // Архив КОИХМ. Д. 68, 06.02.06–И. Калининград.

Валуев А. А., 1999. Отчет по раскопкам грунтового могильника «Альт-Велау» у пос. Знаменск (Гвардейского района Калининградской обл.) Калининградским отрядом БАЭ в 1998 г. // Архив КОИХМ. Д. 71, 106, 06.02.06–И. Калининград.

Валуев А. А., 2003. Итоги изучения грунтового могильника Альт-Велау // Проблемы Балтийской археологии. Вып. 1. Калининград. С. 104–116.

Валуев А. А., 2006. Сохранение элементов языческих традиций и культуры пруссов в орденское время (по материалам археологических раскопок могильника Альт-Велау у пос. Знаменск Гвардейского района Калининградской обл.) // Археологические исследования в Калининградской обл. / отв. ред. В. Н. Маслов. Калининград. С. 136–149.

Гуревич Ф. Д., 1960. Из истории Юго-Восточной Прибалтики в I тысячелетии н. э. (по материалам Калининградской обл.). [Отдельный оттиск] // Древности северо-западных областей РСФСР в I тысячелетии н. э. М. ; Л. С. 328–451. (МИА. № 76).

Гуревич Ф. Д., 1981. Древний Новогрудок. Посад – Окольный город. Л. 159 с.

Даркевич В. П., 1975. Светское искусство Византии. Произведения византийского художественного ремесла в Восточной Европе X–XIII в. М. 351 с.

Дубровин Г. Е., 2011. Никитинский раскоп в Новгороде // Новгородские археологические чтения. Вып. 3. Великий Новгород. С. 87–109.

Зайковский Э. М., 2001. Исследование восточнолитовского кургана XIII века с кремацией у д. Ашмянец // LA. Т. 21. С. 413–420.

Звяруго Я. Г., Каробушкина Т. М., Лысенка П. Ф., Штыхау Г. В., 2000. Археалогія Беларусі : сярэдневяковы перыяд (IX–XIII стст.). Мінск. 554 с.

Зубков А. Архив материалов к отчету Самбийской археологической экспедиции ИА РАН по охранным археологическим исследованиям грунтового могильника Холмы XI–XII вв. в 2010 г.

Калашников Е. А. Охранные археологические работы в 2002–2003 гг. // Археологические исследования в Калининградской обл., 2006. / отв. ред. В. Н. Маслов. Калининград. С. 39–43.

Кирпичников А.Н., 1966. Древнерусское оружие. Вып. 2 : Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX–XIII вв. М. ; Л. 147 с. (САИ. Е1–36).

Кирпичников А.Н., 1971. Древнерусское оружие. Вып. 3 : Доспех, комплекс боевых средств IX–XIII вв. Л. 92 с. (САИ. Е1–36).

Кирпичников А.Н., 1973. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. Л. 112 с. (САИ. Е 1–36).

Кирпичников А.Н., 2009. Раннесредневековые золоченые шлемы : новые находки и наблюдения. СПб. 68 с.

Кирпичников А.Н., Гайдуков П.Г., 1997. Булава-«клевец» из раскопок в Новгороде // ННЗ. Вып. 11. Новгород. С. 186–187.

Кирпичников А.Н., Медведев А.Ф., 1985. Вооружение // Древняя Русь. Город, замок, село / отв. ред. Б.А. Колчин. М. С. 298–263. (Археология СССР).

Колчин Б.А., Янин В.А., Ямщиков С.В., 1985. Древний Новгород : прикладное искусство и археология. М. 166 с.

Колчин Б.А., 1958. Хронология новгородских древностей // СА. № 2. С. 92–111.

Колчин Б.А., 1971. Новгородские древности : резное дерево. М. 112 с.

Колчин Б.А., 1982. Хронология новгородских древностей // Новгородский сборник : 50 лет раскопок Новгорода. М. С. 156–177.

Короткевич Б.С., Кузнецова М.Д., Сениченкова Т.Б., 2006. Русь и Балтика в эпоху викингов : каталог выставки Государственного Эрмитажа в Калининградском областном историко-художественном музее, 22.12.2006–01.04.2007. СПб. 120 с.

Кудрявцев А.А., 2010. Замки и ключи средневекового Новгорода (по материалам Троицкого раскопа) // ННЗ. Вып. 24. Великий Новгород. С. 233–248.

Кудрявцев А.А., 2012. Хронология замков и ключей средневекового Новгорода (по материалам Неревского раскопа) // РА. № 4. С. 119–124.

Кулаков В.И. Отчет о работе Балтийской археологической экспедиции ИА АН СССР в Калининградской обл. в 1977 г. // Архив ИА РАН. Р. 1. № 6184.

Кулаков В.И. Отчет о работе Балтийской археологической экспедиции ИА АН СССР в Калининградской обл. в 1978 г. // Архив КОИХМ. Д. 116, 06.02.06–И.

Кулаков В.И. Отчет о работе Балтийской археологической экспедиции ИА АН СССР в Калининградской обл. в 1979 г. // Архив ИА РАН. Р. 1. № 7560.

Кулаков В.И., 1980. Результаты раскопок грунтового могильника у поселка Клинцовка в 1977 году // Acta Baltico-Slavica, XIII. Warszawa. С. 213–244.

Кулаков В.И. Отчет о работе Балтийской археологической экспедиции ИА АН СССР в Калининградской обл. в 1983 г. // Архив КОИХМ. Д. 97, 06.02.06–И.

Кулаков В.И., 1989. Этапы истории пруссов V–XII вв. // Vakarų baltų archeologijairistorija. Red.V. Žulkus. Klaipėda. С. 34–41.

Кулаков В.И., 1990 а. Древности пруссов VI–XIII вв. М. 168 с. (САИ. Г 1–9).

Кулаков В.И., 1990 б. Хронология пруссов VI–XIII вв. (по материалам могильника Суворово) // Istorija. Т. 31. Vilnius. С. 3–19.

Кулаков В.И., 1994. Пруссы (V–XIII вв.). М. 216 с.

Кулаков В.И., 1999. Ирзекапинис // Stratum Plus. Т. 5. СПб. ; Кишинёв ; Одесса. С. 211–273.

Кулаков В.И., 2004. Долькайм-Коврово : исследования 1879 г. Минск. 135 с. (Prussia Antiqua. Т. 2).

Кулаков В.И., 2007. Долькайм-Коврово. Исследования 1992–2002 гг. Prussia Antiqua Т. 4. Минск. 335 с.

Кулаков В.И., 2010. Грунтовый могильник Малый Кауп: раскопки и находки // AL. Т. 11. С. 188–210.

Кулаков В.И. Отчет о разведках и раскопках, проведенных Балтийской экспедицией ИА РАН в 2010 г. на курганно-грунтовом могильнике Моховое, расположенном в лесном урочище Кауп (Зеленоградский район Калининградской обл.) // Архив ИА РАН. Р. 1.

Кулаков В.И., 2011. Балтская часть могильника Кауп // AL. Т. 12. С. 87–98.

Левашова В.П., 1967. Височные кольца. Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. // Труды ГИМ. Вып. 43. М. ; Л. С. 7–54.

Макарова Т.И., 1966. О производстве писанок на Руси // Культура Древней Руси. М. С. 141–145.

Мацуй В.М., Беличенко Е.П., 2011. Добыча, обработка и торговля янтарем от позднего палеолита до Средневековья на территории современной Украины // Торговые пути янтаря : материалы научно-практической конференции, 30 июня 2011 г. / отв. ред. З.В. Костяшова. Калининград. С. 43–54.

Мугуревич Э.С., 1965. Восточная Латвия и соседние земли в X–XIII вв. Рига. 144 с.

Мусин А.Е., 2005. Milites Christi Древней Руси : военная культура русского Средневековья в контексте религиозного менталитета [Militaria Antiqua]. СПб. 368 с.

Павленко С.В., 2008. Исследование древнерусских специализированных поселений по обработке пирофилитового сланца (на примере поселения Прибытки 1) // Сельская Русь в IX–XVI вв. / отв. ред. Н.А. Макаров, С.З. Чернов. М. С. 241–252.

Плавинский Н.А., 2009. Булавы конца X–XIII веков на территории Беларуси // Археология и история Пскова и Псковской земли : семинар имени академика В.В. Седова : материалы 54 заседания (15–17 апреля 2008 г.). Псков. С. 363–381.

Покачев А.К., 2011. Орудия прядения средневекового Новгорода (по материалам Троицкого раскопа) : выпускная квалификационная работа. М.

Пронин Г.Н., Смирнова М.Е., Мишина Т.Н., Новиков В.В., 2006. Могильник Поваровка X–XIII вв. (Калининградская область). М. 380 с. (Материалы охранных археологических исследований. Т. 8).

Радюш О. Отчет об охранных исследованиях на поселениях I–II тыс. н.э. Алейка 1 и 2 в Зеленоградском районе Калининградской обл. в 2007 г. // Архив ИА РАН. Р. 1.

Розенфельдт Р.Л., 1964. О производстве и датировке овручских пряслиц // СА. № 4. С. 220–224.

Розенфельдт Р.Л., 1978. Янтарь на Руси (X–XIII вв.) // Проблемы советской археологии. М. С. 197–208.

Рыбаков Б.А., 1948. Ремесло Древней Руси. М. 792 с.

Скворцов К.Н., 2007. Отчет Самбийской экспедиции ИА РАН по раскопкам грунтового могильника

Алейка 3 Зеленоградского района Калининградской обл. в 2007 г. // Архив ИА РАН. Р. 1.

Скворцов К. Н., 2007. Отчет Самбийской экспедиции ИА РАН по раскопкам грунтового могильника Шоссейное 1 Гурьевского района Калининградской обл. в 2007 г. // Архив ИА РАН. Р. 1.

Скворцов К. Н., 2010. Могильник Митино V–XIV вв. (Калининградская область) по результатам исследований 2008 г. Ч. 1. М. 302 с. (Материалы охранных археологических исследований. Т. 15).

Скворцов К. Н., 2014. Грунтовый могильник III–XIII вв. Кляйнхайде (Гурьевский район Калининградской обл.). Калининград. Рукопись.

Тюрин Е., 2011. Кауп и Кораллен-Берг в финальной стадии эпохи викингов // Культурное наследие Восточной Пруссии. Т. II. Калининград. С. 123–132.

Хорошев А. С., 1997. Замки, ключи и замочные принадлежности // Древняя Русь. Быт и культура / отв. ред. Б. А. Колчин, Т. И. Макарова. М. С. 14–17.

Широухов Р. А., 2008. Наконечники ножен мечей куршского типа XI–XIII вв.: иконография и семантика. Труды Калининградского областного историко-художественного музея (к 65-летию КОИХМ), 2008/2010. Калининград, [в печати]. URL: http://www.simvolika.org/mars_030.htm (дата обращения: 20.08.2013).

Шноре Э. Д., 1961. Асотское городище. Материалы и исследования по археологии Латвийской ССР. Т. II. Рига. 236 с.

Янин В. Л., 2009. Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода. М. 416 с.

Antoniewicz J., 1955. Nektóry dowody kontaktów slowiańsko-pruskich w okresie wczesnośredniowiecznym w świetle zródel archeologicznych // Wiadomosczi archeologiczne. T. XXII. Z. 3–4. Warszawa. S. 233–277.

Antoniewicz J., 1961. Ślady handlu Słowian z Bałtami we wczesnym średniowieczu // RO. T. III–1960. S. 9–20.

Antoniewicz J., Okulicz J., 1958. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1951–1954 w Jeziorku, pow.Giżycko // Materialy Starożytne. T. III. Warszawa. S. 7–69.

Asaris J., 1994. 11.–13. gs. zobena maksts bronzas uzgalu tipi un to izplatiba Kurzeme // AE. Laid. XVI. S. 21–27.

Bertašius M. Marvelė., 2009. Ein Bestattungsplatz mit Pferdegräbern. Marvelės žirgų kapinynas. Bd. II. Kaunas. 390 p.

Bezzenberger A., 1909. Gräberfeld verschiedenen Perioden bei Schuditten, Kr. Fischhausen // Pr. Bd. 22. S. 44–62.

Bezzenberger A., 1914 a. Gräberfeld bei Laptau // Pr. Bd. 23 (I). S. 157–180.

Bezzenberger A., 1914 b. Gräberfeld bei Bludau, Kr. Fischhausen // Pr. Bd. 23 (I). S. 221–248.

Biermann F., Hergheligiu C., Voigt H., Bentz M., Blum O., 2011. Das Graberfeld des. 13. bis 15. Jahrhunderts Stangenwalde bei Rossitten auf der Kurischen Nehrung – Auswertung der Materialen im Berliner Bestand der Prussia–Sammlung (ehemals Königsberg/Ostpreußen) // APA. Bd. 43. S. 215–345.

Bliujienė A., 1999. Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika. Vilnius. 299 p.

Bliujienė A., 2001. Baltų zoomorfinis stilius // LA. T. 21. P. 205–226.

Bliujienė A., 2007. Lietuvos priešistorės gintaras. Vilnius. 560 p.

Blomkvist N., 2007. The discovery of the Baltic. The Reception of a Catholic World-System in the European North (AD 1075–1225). Leiden-Bosyon. 774 p.

Bogucki M., 2009. Drugie znalezisko wczesnośredniowiecznych ozdób srebrnych ze Skomętna Wielkiego pod Ełkiem // Bałtowie i ich sąsiedzi (Marian Kaczyński in memoriam). Seminarium bałtyjskie. T. II / red. A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska. Warzsawa: PaństwoweMuzeum Archeologiczne w Warszawie. S. 495–514.

Bosselmann-Ruickbie A., 2011. Byzantische Schmuck des 9. bis frühen 13. Jahrhunderts. Untersuchungen zum metallen dekorativen Körperschmuck der mittelbyzantinischen Zeit anhand datierter Funde. Wiesbaden. 352 S.

Budvydas U., 2007. Viešvilės kapinynas-I bei neįtvirtinta gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 m. Vilnius. S. 110–113.

Butėnienė E., Butėnas E., 2009. Laivių kapinynas // LA. T. 22. 2002. P. 9–176.

Carnap-Bornheim v. C., Hilberg V., Radiņš A., Schopper F., 2009. Letlands viele Völker. Archäologie der Eisenzeit von Christi Geburt bis zum Jahr 1200. Katalog. Wünsdorf. 192 S.

Carnap-Bronheim von C., Ibsen T., 2012. Wiskiauten–Ausgrabungen vom 26. Juni bis 29. August 2011 // Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie. Eine Forschungseinrichtung der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss-Gottorf. Schleswig. S. 76–79.

Dzieńkowski T., Wołoszyn M., 2012. An encolpion from Czułczyce in south-eastern Poland // Rome, Constantinople and NewlyConverted Europe. Archaeological and Historical Evidence / eds. M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar. Kraków – Leipzig – Rzeszów – Warszawa. S. 391–401.

Engel M., Iwanicki P., Rzeszotarska-Nowakiewicz A., 2006. «Sudovia in qua Sudovitae». The new hypothesis about the origin of Sudovian Culture // AL. T. 7. Vilnius. P. 184–209.

Engel C., 1939. Das Jungste heidnische Zeitalters in Masuren // Pr. Bd. 33. S. 41–57.

Engel C., La Baume W., 1937. Kulturen und Völker der Frühzeit in Preußenlande. Königsberg. 291 S.

Fediajevas O., 2012. Žakainiai hillfort according to the data from the 2004 excavations. Šilutės raj // Archaeological invetigations in Independent Lithuania (1990–2010) / eds.: G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė. Vilnius. P. 40–43.

Gaerte W., 1924. Die Besiedlung und Kultur Königsbergs und seiner Umgebung in vorgeschichtlicher Zeit // Altpreussische Forschungen. H.1. Königsberg. S. 97–140.

Gaerte W., 1929. Urgeschichte Ostpreußens. Ostpreußische Landeskunde in Einzeldarstellungen. Königsberg. 406 S.

Gössler N., 2013. Die mittelalterlichen Steigbügel aus dem Berliner Bestand der Prussia-Sammlung (ehemals Königsberg / Ostpreußen) – Studien zu Typologie, Chronologie und Kulturgeschichte // APA. Bd. 45. S. 109–215.

Gössler N., Jahn Ch., 2013. Die archäologischen Untersuchungen am spätmittelalterlichen Gräberfeld und am Burgwall von Unterplehnen, Kr. Rastenburg (Równina Dolna, pow. Ketrzynski) zwischen 1827 und 1940 – Ein Rekonstruktionsveruch anhand der Materialen im Berliner Bestand der Prussia-Sammlung (ehem. Königsberg/Ostpreußen) // APA. Bd. 45. S. 217–278.

Griciuvienė E., 2005. Žiemgaliai (The Semigallians): Baltų archeologijos paroda. Katalogas. Vilnius. 238 p.

Griciuvienė E., 2007. Sėliai (The Selonians): Baltų archeologijos paroda : Katalogas. Vilnius. 278 p.

Griciuvienė E., Grižas G., 2009. Kuršiai. Genties kultūra laidosenos duomenimis (The Curonians. Tribe Culture According to the Burial data) : Baltų archeologijos paroda : Katalogas. Vilnius. 460 p.

Grünert W., 1939. Nadrauen Grabungen, H. 2. // Zeitschrift der Altertumsgeselschaft Insterburg. Bd. 22. S. 28–45.

Grünert W., 1943. Die frühgeschichtlische Siedlung bei Deinen, Kr. Schloßber Ostpreußen // AP. Bd. 8 (3). S. 6–10.

Hausmann R., 1896. Katalog der Ausstellung zum X. archäologischen Kongress in Riga. Riga. 255 S.

Herrmann J., 2005. Ralswiek auf Rügen. Teil III. Die Funde aus der Hauptsiedlung. Schwerin. 262 S.

Heydeck J., 1909. Zwei Gräberfelder bei Seefeld, Kr. Fischhausen // Pr. Bd. 22. S. 242–247.

Ibsen T., 2009. Etwa hier die Siedlung. Der frühmittelalterische Fundplatz Wiskiauten / Mohovoe in Kaliningrader Gebiet im Lichte alter Dokumente und neuer Forschungen. Dissertation zur Erlaung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Kiel. 509 S.

Ivinskis Z., 1995. Lietuvos istorijos šaltiniai. AHUK, III / Ats. red. S. C. Rowell. Klaipėda. 116 p.

Iwanowska G., Niemyjska A., 2004. Pendants from the earthwork at Jegliniec. Jatving links with North and North-East European culture environment // Archaeologia Lituana, T. 5. Vilnius. P. 92–108.

Janowski A., 2007 a. Wczesnośredniowieczne okucia pochew meczy tzw. trzewiki z tereny Pomorza, Warmii i Mazur // Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integras. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z II Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin, 4–6.09.2006 / red. M. Bogucki, M. Franz, Z. Pilarczyk. Toruń. S. 150–177.

Janowski A., 2007 b. Gotlandzki trzewik pochwy miecza z przedstawieniem drzewa życia ze szczecińskiego podzamcza // AMM, III. S. 177–186.

Jentzsch A., 1896. Bericht über die Verwaltung des Ostpreußischen Provinzialmuseums in der Jahren 1893–1895. III Prähistorische Sammlung // SPÖG. Bd. 37.

Juknevičius A., 2012. The Origins of Kėdainiai // Archaeological investigations in Independent Lithuania (1990–2010) / eds.: G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė. Vilnius. P. 290–294.

Katalog für die Ausstellung in Lüneburg vorgesehenen Stücke, 1992/1993. Aus der Sammlung des Institutes für Prähistorische Archäologie an der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg. Lüneburg.

Kazakevičius V., 1998. Iš vėlyvojo geležies amžiaus baltų ginklų istorijos (Kalavijų makštų apkalai) // LA. T. 15. S. 287–332.

Kleeman O., 1939. Die vorgeschichtlichen Funde bei Cranz und die Siedlung von Wiskiauten // Pr. Bd. 33. S. 201–225.

Kruk M. P., Sulikowska-Gąska A., Wołoszyn M., 2006. Sacralia Ruthenica. Early Ruthenian and Related Metal and Stone Items in the National Museum in Cracow and National Museum in Warsaw. Warsaw. 284 p.

Kulakov V., 1994. Vakarų Lietuvių V–XII a. radiniai Prūsų žemėse // AHUK, II. Klaipėda. P. 107–122.

Kuncienė O., 1978. Svarstyklės ir svoreliai // Lietuvos TSR Archeologijos Atlasas. IV knyga / red. A. Tautavičius. Vilnius. S. 133–134.

Kuncienė O., 1981. Prekyba // Lietuvių materialinė kultūra IX–XIII a. T. II / red. R. Volkaitė-Kulikauskienė. Vilnius. P. 49–82.

La Baume W., 1939. Frühgeschichtliche Helme aus Ostpreussen // Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, Jhg.15, H.11/12.

La BaumeW., 1940. Ein spät-heidnische Reitergrab mit Helm und verzierter Lanzen aus Ekritten // AP. Jg. 4. H. 4. S. 84–87.

La Baume W., 1941. Zur Technik der Verzierung ostpreußischen Waffen der Wikingerzeit // AP. Jg. 6. H. 2. S. 22–29.

Liwoch R., 2006. Buławy z zachodniej Ukrainy. AMM, II. S. 67–78.

Mäesalu A., 2010. A rare Macehead from the village of Tammeküla, Hargla parish // Archaeological Fieldwork in Estonia (Arheoloogilised välitööd Eestis), 2009 / eds. Ester Oras and Erki Russow. Tallinn. P. 141–146.

Michalak A., 2006. Jeszcze o buławach średniowiecznych z ziem polskich. Refleksje na marginesie odkrycia z Bogucina, pow. Olkusz // AMM, II. S. 103–114.

Mugurēvičs Ē., 1994. Piekariņi ar t. s. Rjurikoviču cilts zīmi Latvijā 11.–13. gs. // Arheoloģija un Etnogrāfija. Laid. 17. Rīga. L. 76–83.

Muižnieks V., Vasks A., Vijups A., 2002. Izrakumi Puzes Lejaskroga kapsētā 2001 gd. // Archeologu Pētījumi Latvijā 2000.–2001. gd. Rīga. L. 347–354.

Nowakowski A., 1994. Arms and Armour in the Medieval Teutonic Order's State in Prussia. Lodź. 162 s.

Odoj R., 1958. Sprawozdanie z prac wukopaliskowych przeprowadzonych w Równine Dolnej, pow. Ketrzyn. w 1956–57 // RO. T.1. S. 117–156.

Okulicz-Kozaryn Ł., 2000. Dzieje Prusów. Wroclaw. 530 s.

Paulsen P., 1953. Schwertortbänder der Wikingerzeit. Ein Beitrag zur Frühgeschichte Osteuropas. Stuttgart. 196 S.

Rokitowska B., Wołoszyn M., 2001. Wczesnośredniowieczne zabytki pochodzenia wschodniego z wykopalisk w Pelnatyczach, pow. Przeworsk / Rocznik przemyski. T. 37, 1. Przemysl. S. 43–59.

Ruttkay A., 1975. Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei, I // Slovenska archeológia, T. 23/1. Nitra. S. 119–216.

Ruttkay A., 1976. Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei, II // Slovenska archeológia, T. 24/2. Nitra. S. 245–395.

Rybka K., 2007. Uzbrojenie prusów w świetlie badań nad antropomorficznymi rzeźbami kamiennymi zwanymi babami // Pruskie baby kamienne / red. J. Łapo, G. Bialuński. Olsztyn. S. 35–64.

Sawicka L., 2011. Szurpiły, St. 8 («Mosiężysko»), Woj. Podlaskie. Badania w latach 2008–2010 (Pl. 144–145) // Światowit. VIII (XLIX) / B, 2009–2010. Warszawa. S. 263–268.

Schiefferdecker P., 1871. Der Begräbnisplatz bei Stangenwalde. SPÖG, 12. S. 42–56.

Schiefferdecker P., 1873. Bericht über eine Reise zur Durchforschung der Kurischen Nehrung in archäologischer Hinsicht. SPÖG, 14. P. 32–68.

Shiroukhov R., 2012. Prussian graves in the Sambian peninsula with imports, arms and horse harnesses from the tenth to the 13th century: the question of warrior elite // AB. Vol. 18. P. 224–255.

Širouchov R., 2012. Prūsų ir kuršių kontaktai XI–XIII amži aus pradžioje archeologijos duomenimis. Daktaro disertacija. Humanitariniai mokslai, istorija (05 H). Klaipėda. 335 s.

Spirģis R., 1999. Kokneses pilskalnā atrastā 12. gs. svina bulla // Latvijas vēstures institūta žurnāls, Nr. 2. Riga. L. 5–15.

Spirģis R., 2012. Lībiešu augu ornaments – dekors vai kristietības simbolika // Ikšķiles almanahs. Laid. 4. / red. V. Villerušs. Ikšķile. L. 43–77.

Strzys P., 2005. Ruskie buławy «gwiazdziste» z terenu Małopolski // AMM, I. S. 107–114.

Svarāne D., 2005. Talsu Vilkumuižas ezera 12.–14. gs. tausijas tehnikā sudrabotie dzelzs zirglietu apkalumi un siksnu sadalītāji // AE. LAID. XXII. L. 175–185.

Vasiliauskas E., 2008. Žiemgala XII a. pabaigoje – XVI a. pradžioje: kultūriniai procesai. Daktaro disertacija. Humanitariniai mokslai, istorija (05 H). Klaipėda – Vilnius. 322 p.

Vėlius G., 2005. Kernavės miesto bendruomenė XIII–XIV amžiuje. Vilnius. 112 p.

Vilcāne A., 2011. Pātagas kātu atradumi Latvijā // AE. LAID. 25. L. 117–136.

Volkaitė-Kulikauskienė R., 1970. Lietuviai IX–XII a. Vilnius. 294 p.

Wicker N., 2008. Scandinavian Migration Period Bracteates found outside the Nordic Area. Import or Imitation? // Import and Imitation in Archäeology (Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, Nr. 11) / eds. P. F. Biehl and Y. Rassamakin. Langenweißbach. P. 243–252.

Wołoszyn M., 2001. Archeologiczne zabytki sakralne pochodzenia wschodniego w Polsce od X do połowy XIII w. (wybrane przykłady) // Cerkiew – wielka tajemnica: sztuka cerkiewna od XI wieku do 1917 roku ze zbiorów polskich: katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Zamek Górków w Szamotułach i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, kwiecień-sierpień 2001 / red. Dariusz Stryniak. Gniezno. S. 25–45.

Wołoszyn M., 2004. Zabytki pochodzenia wschodniego we wczesnośredniowiecznej Polsce – wędrówka ludzi, rzeczy, czy idei? // Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu / red. S. Moździoch. Wrocław. S. 241–259.

Wołoszyn M., 2012. Die frühmittelalterlichen ortodoxen Devotionalien in Polen und die Entstehung der ältesten Ostgrenze Polens. Forschungsgeschichte und Forschungsperspektiven // Rome, Constantinople and Newly Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence / eds. M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar. Kraków – Leipzig – Rzeszów – Warszawa. S. 225–289.

Wróblewski W., 2000. Ossa Cremata. Obrządek pogrzebowy Galindów we wczesnym średniowieczy w swetle znalezisk na Grodzisku w Szestnie-Czarnym Lesie // Swiatowit. T. 43. Warszawa. S. 268–285.

Žulkus V., 2004. Kuršiai Baltijos jūros erdvėje. Vilnius. 254 p.

Žulkus V., 2007. Armed and Expected. Traders and their Ways in Viking Times // AB. Vol. 8. P. 310–320.

Summary

R. A. Shiroukhov

Imported Goods of Ruthenian Types in the Area of Prussians in the 10/11–14th Centuries

The number and variety of imported goods of Ruthenian types in the area of Prussians, and particularly – in Sambia, suggests long-term contacts between Ruthenian principalities and Prussians at least from the end of the 10th to, the latest, end of the 13th – beginning of the 14th centuries. Ruthenian imports could reach Sambian peninsula both using main trade routes, including these going through the territory of Poland, and by hypothetical contacts of Prussians with Ruthenian warrior elites, merchants, artisans and other social groups. This could clarify popularity of Ruthenian type mass imports, weapons and partially horse harnesses, including expensive and elitist objects, as well as of the appropriate decor, which reflects not only some everyday life preferences (similar fighting techniques etc.), but also the attractiveness of Ruthenian symbols of «power and rule» for Prussians.

Quite elaborated typology and chronology of Ruthenian antiquities gives an opportunity to clarify and correct dating both for mass Ruthenian imports in Prussian area, and for separate graves and even cemeteries, where they've been occurred. Altogether with well developed typologies of the Western antiquities of the Middle Ages, Ruthenian data should be the basis for a more accurate chronology of Prussian material culture of the 10th–13th centuries.

Plenty of imported goods found in Prussian graves demonstrates the cultural identity that way can be expressed in a combination of several «untypical» features, initially with no purely «ethnographic» context.

П. Д. Малыгин

О времени основания Новоторжского Борисоглебского монастыря

Роль монастырей в христианизации Древней Руси общепризнана. Киевский митрополит середины XI в. Иларион в Похвале князю Владимиру отмечает, что при этом князе «монастыреве на горах сташа, черноризьцы явишася» (Щапов, 1989, с. 131). А в Похвале Ярославу Мудрому находим, что при нем «чернорисци почя множитися и манастыреве почаху бытии» (ПСРЛ 2, 1998, стб. 139).

Однако вопрос о конкретном времени возникновения первых монастырей в лесной зоне Древней Руси остается чрезвычайно сложным. И порой случаются настоящие хронологические курьезы. Так в 2010 г. Московская патриархия вместе с Тверской и Кашинской епархией и губернатором Тверской области торжественно отметила 900-летие Старицкого Успенского монастыря. Однако ни в сводных работах А. П. Ратшина (Ратшин, 1852, с. 511), П. М. Строева (Строев, 1877, стб. 460) и Л. И. Денисова (Денисов, 2007, с. 836–837), ни в списке древнейших русских монастырей Е. Е. Голубинского (Голубинский, 1881, с. 626–653) не удастся найти ни малейших намеков на основание Старицкого монастыря в 1110 г. Его основание определялось этими выдающимися исследователями началом XVI в. Дата «1110» появилась в конце XIX в., когда игуменом Старицкого монастыря Арсением были обнародованы так называемые «древние Помянник и Синодик», где не только фигурировал 1110 г., но и рассказывались истории о посещениях этого монастыря Андреем Боголюбским, новгородским владыкой Гавриилом и первым тверским епископом Симеоном (Арсений, 1895). Наши предупреждения церковным и светским властям о том, что еще в начале XX в. крупнейший исследователь истории церкви на Верхневолжье архиепископ Димитрий (Самбикин) называл записи о 1110 г. в Синодике «неудачной фальсификацией», поскольку все даты были написаны арабскими цифрами и обозначали годы от Рождества Христова, услышаны не были (Малыгин, 2008, с. 202–205; Кучкин, 2010, с. 13).

На территории нынешней Тверской области есть еще один монастырь, ситуация с древней историей которого абсолютно иная, нежели со Старицким Успенским монастырем. Речь идет о Новоторжском Борисоглебском мужском монастыре, основание которого А. П. Ратшин (Ратшин, 1852, с. 467), П. М. Строев (Строев, 1877, стб. 454–455), Макарий (Булгаков) (Макарий, 1995, с. 106), В. В. Зверинский (Зверинский, 2007, с. 79–80), Н. П. Барсуков (Барсуков, 1882, стб. 195–198) и Л. И. Денисов (Денисов, 2007, с. 837–839) относят к первой половине XI в. (утвердившаяся в дореволюционной историографии дата – 1038 г.). Они же считают основателем монастыря преп. Ефрема Новоторжского, или Ефрема Угрина (Угрянина), упоминаемого под 1015 г. в 3-ей Новгородской летописи (Новгородские летописи, с. 176), а канонизированного и вошедшего в общегосударственный пантеон средневековой Руси в 1584–1587 гг. (Хорошев, 1986, с. 177). Дошедшее до нас в многочисленных списках Житие Ефрема Новоторжского составлено в кон. XVI в. (Словарь…, с. 148–150).

В том, что Борисоглебский монастырь в Торжке существовал в домонгольский период, нет ни малейших сомнений. Во-первых, косвенно о существовании монастыря свидетельствуют летописные рассказы о взятии Батыем Торжка в 1238 г., где упоминается «чинъ черноризьскыи» (ПСРЛ 3, с. 76, 288). Во-вторых, исследования Новоторжской археологической экспедиции (научный руководитель П. Д. Малыгин) на территории Борисоглебского монастыря в 1989–1993 гг. доказали, что в конце XII в. здесь был сооружен каменный (плинфяной) храм с высокохудожественными фресками (Малыгин, Салимов, Зайцев, 2003, с. 85–92), разобранный из-за ветхости архитектором Н. А. Львовым в 1784 г. Это единственный каменный монастырский храм домонгольского периода, существовавший на пространстве от Новгорода до Ростова, что свидетельствует об особом статусе Борисоглебского монастыря в глубокой древности. В культурном слое на территории монастыря встречена также керамика, бытовавшая в Торжке до середины XII в. В-третьих, источниковед-

ческие исследования позволяют предположить, что уже в 1148 г. в Борисоглебский монастырь Торжка был сделан вклад князем Юрием Долгоруким (Малыгин, 1987, с. 39–40; Малыгин, 1990, с. 13–14).

Однако по поводу существования Борисоглебского монастыря в XI в. неоднократно высказывались и скептические мнения. Так, Е. Е. Голубинский хотя и внес Борисоглебскую обитель Торжка в список древнейших русских монастырей, тем не менее, исходя из того, что монашество в начале XI в. на Руси лишь зарождалось, сделал вывод о существовании Ефрема Новоторжского «гораздо позднее первой половины XI в.» (Голубинский, 1881, с. 637). А В. О. Ключевский дал весьма резкую оценку главному источнику по ранней истории Борисоглебского монастыря: «Житие Ефрема Новоторжского сохранилось в поздней и плохой редакции, которая состоит из бессвязного ряда статей и всего менее говорит о жизни Ефрема» (Ключевский, 1989, с. 335). Однако великий русский историк всё же отметил включенное в Житие «предание», рассказывающее, что «будто в начале XIV в. тверской кн. Михаил, разорив Торжок и обитель, увез древнее житие Ефрема в Тверь, где оно скоро сгорело» (Ключевский, 1989, с. 335).

Именно это «предание» на основе списков XVI–XVII вв. Жития Ефрема в 1960 г. И. У. Будовниц предложил именовать «Повестью о разорении Торжка в 1315 (1316) г.». Ученый убедительно датировал создание повести временем между 1316 и 1372 гг. и пришел к выводу, что до начала XIV в. в Борисоглебском монастыре Торжка хранилось древнее Житие или «Писание о житии» Ефрема Новоторжского, который уже почитался святым в Новгородской земле (Будовниц, 1960, с. 446–451).

С включением данной повести в Житие Ефрема конца XVI в. оно становится уникальным средневековым источниковедческим памятником. Главной задачей составителей нового (XVI в.) Жития была попытка восстановить истинную биографию Ефрема и историю основанного им монастыря при условии, что в 1316 г. древнее «Писание о житии» в качестве военного трофея было увезено из Торжка тверским князем Михаилом Ярославичем, а затем погибло в пожаре Твери.

Однако по-прежнему главным аргументом против существования Борисоглебского монастыря в первой половине XI в. выступал, на первый взгляд, действительно «убийственный» довод академика М. Н. Тихомирова, который писал в 1956 г.: «Сказочность жития Ефрема доказывается уже тем, что Борис и Глеб не были канонизированы в 1038 г., когда Ефрем будто бы построил в их честь монастырь» (Тихомиров, 1956, с. 386). Действительно, общепризнана дата 1072 г. как время официальной канонизации Бориса и Глеба. Есть, правда, гипотеза об их канонизации около 1050 г. (Поппэ, 1996, с. 477), но и это не 1038 г. Автор этих строк одно время также считал, что Борисоглебский монастырь в Торжке не мог появиться до 1072 г. (Малыгин, 2002, с. 22; Малыгин, Лавренов, 2002, с. 22). Однако некоторые нюансы в описании канонизации Бориса и Глеба заставляли сомневаться в этом.

Наиболее подробно канонизация сыновей князя Владимира описана в трех источниках: «Сказании чудес», «Чтении о Борисе и Глебе» и летописях (Ипатьевская и Лаврентьевская) (Поппэ, 1995, с. 46). При перенесении останков святых князей в новый храм Вышгорода в 1072 г. присутствовал не только киевский митрополит, но и другие иерархи русской церкви. Самый полный список иерархов дает «Сказание» (Парамонова, 2003, с. 243). Известно, что к 1072 г. помимо Киевской митрополии на Руси существовало шесть епархий: Белгородская, Новгородская, Черниговская, Полоцкая, Переяславская и Юрьевская (Поппэ, 1996, с. 443–444). «Сказание» же среди участников торжеств 1072 г. называет представителей лишь четырех епархий, не отмечая полоцкого и, что для нас особо важно, новгородского епископа (Древнерусские княжеские жития, с. 73–74).

История Полоцкой епархии XI в. весьма туманна (Алексеев, 2006, с. 47), чего нельзя сказать о Новгородской кафедре, возглавляемой в 1072 г. епископом Федором (Великий Новгород, с. 82). Его отсутствие на официальной канонизации 1072 г., вопреки мнению А. Поппэ об отдаленности Новгорода от Вышгорода (Поппэ, 1995, с. 46), мы объясняем тем, что в Новгородской епархии Борис и Глеб уже почитались как святые. В новгородской берестяной грамоте № 906, найденной в слое 50-х – 70-х гг. XI в. и представляющей перечень святых, значатся «Борис и Глеб». Это самый ранний ныне известный подлинный документ с их именами в качестве святых (Зализняк, 2004, с. 282–283). Таким образом, в Новгороде реакция на канонизацию Бориса и Глеба была молниеносной и это при том, что новгородского иерарха на торжествах 1072 г. не было.

Однако предполагая почитание Бориса и Глеба в Новгородской епархии до 1072 г., следует отметить, что их имена не включены в месяцеслов Остромирова Евангелия (Парамонова, 2003, с. 252, прим. 117), переписанного для новгородского посадника Остромира в 1056–1057 гг. (Янин, 2003, с. 70–71). А этот факт вновь возвращает нас к основному аргументу тех, кто отрицает 1038 г. в качестве даты основания Борисоглебского монастыря в Торжке – «до 1072 г. Борисоглебских монастырей не могло существовать».

Прояснить эту явно тупиковую ситуацию могло бы древнее Житие Ефрема Новоторжского, но оно, увезенное в качестве военного трофея князем Михаилом Ярославичем из Торжка в Тверь, погибло в пожаре в марте 1316 или в сентябре 1318 г. (Малыгин, 2010, с. 49). Всё это побудило нас задаться вопросом: где, помимо погибшего древнего Жития, могли содержаться сведения о Ефреме Новоторжском и ос-

новании Борисоглебского монастыря. Ответ на этот вопрос представляется однозначным: если погибло древнее Житие, то, может быть, сохранилась древняя Служба Ефрему, передаваемая через литургическую практику и содержащая сведения из погибшего Жития. В «Повести о разорении Торжка в 1316 г.», включенной в Житие Ефрема конца XVI в., мы находим поистине драгоценные свидетельства: «…не по многих летех [после разорения Михаилом Ярославичем Торжка]… благоискуснии мужие града Торшку преподобному чюдотворцу Ефрему *составиша службу, ею же преподобный славится и доныне* [здесь и далее выделено мною. – *П. М.*]. Мало же времени минувшу град Тверь погоре… и книги о житии преподобного чюдотворца Ефрема у них в то время погибе…» (Будовниц, 1960, с. 451, 2-я редакция Жития Ефрема).

Полагаем, что составители Службы Ефрему помнили содержание недавно погибшего Жития («Писания о житии»), а сама Служба продолжала использоваться и после составления в конце XVI в. нового Жития. Уже самое беглое знакомство с рукописными Службами Ефрему Новоторжскому конца XVI – XVIII в. позволяет опровергнуть главный аргумент тех, кто не допускал существования Борисоглебского монастыря в Торжке до 1072 г. В списке второй пол. XVII в. Службы читаем: «Преподобне отче и богоносне Ефреме… *церковь* прекрасну страстотерпцемъ христовымъ *Роману и Давыду воздвиглъ* еси и *обитель составилъ еси*, и в неи трудолюбно подвизася…» (ТГОМ. ТвМ. КП–1879. Лл. 10–10 об., 15, 25 – 1670-е гг.; ГАТО. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 457. Л. 14 об. – рубеж XVII–XVIII вв.; Там же. Д. 726. Лл. 5, 19 об. – 1753 г.).

Таким образом, Ефрем Новоторжский в первой половине XI в. сооружает храм и основывает монастырь во имя патрональных святых князей Бориса и Глеба – Романа Сладкопевца и Давида Псалмопевца (Срезневский, 1860, стб. 8–9). Становится очевидным, что первоначально (1038 г.) монастырь в Торжке был Романодавидовским, а с 1072 г. стал Борисоглебским. Считается, что конфликт между Римом и Константинополем, приведший в 1054 г. к разрыву между ними, был чужд Руси (Щапов, 1989, с. 172). Но нельзя, по нашему мнению, исключать, что переименование общехристианских церковных названий в национальные православные после «превращения» Романа и Давида в святых Бориса и Глеба, отмеченного в «Сказании чудес» (Древнерусские княжеские жития, с. 73–74), могло быть как раз следствием событий 1054 г.

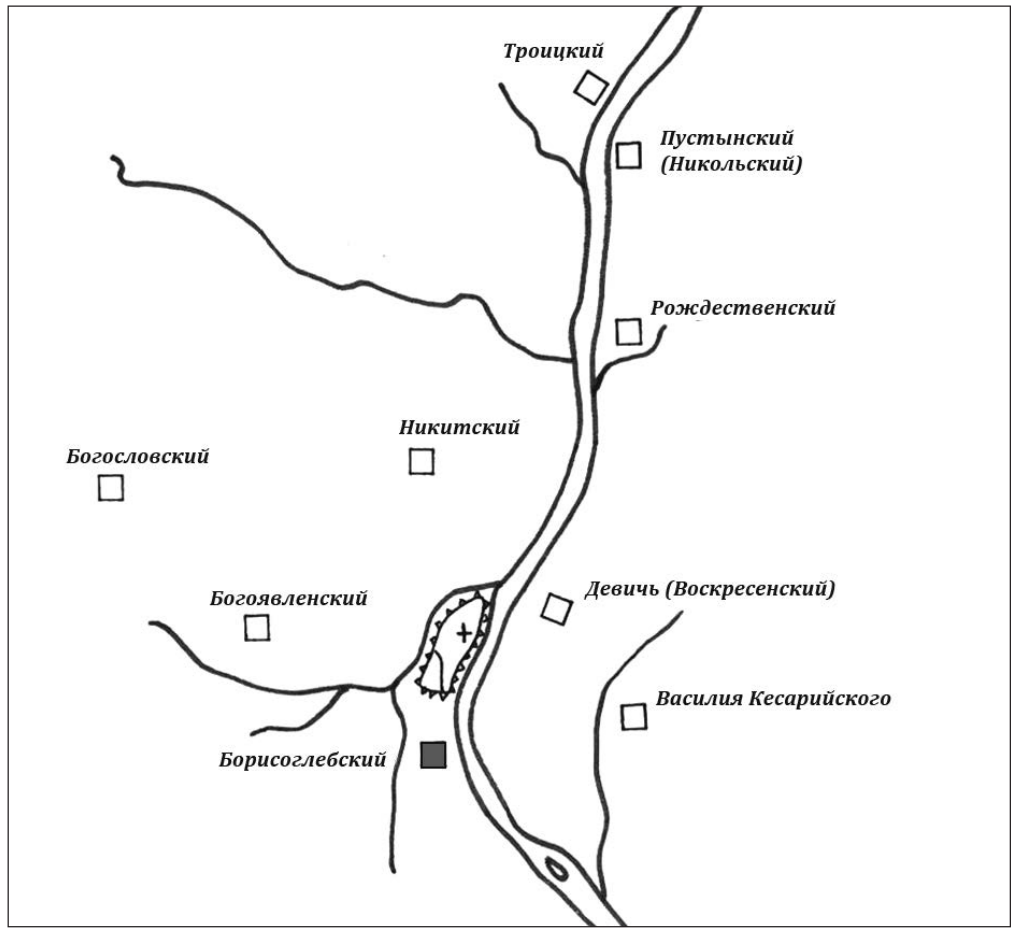


Рис. 1. Городские монастыри Торжка (ситуация на конец XVI в.)

Если наши построения относительно возникновения Новоторжского Борисоглебского монастыря верны, то существование в XI в. в Торжке христианского центра должно было отразиться на жизни населения города и его округи. Топография памятников археологии, на наш взгляд, красноречиво об этом свидетельствует.

Во-первых, само за себя говорит местоположение Борисоглебского монастыря в контексте топографии девяти городских монастырей Торжка конца XVI в. Он расположен всего в 200 метрах от напольных укреплений Новоторжского кремля и единственный из всех монастырей города плотно окружен домонгольским слоем посадов (рис. 1).

Во-вторых, как известно, к середине XI в. относится первое косвенное летописное упоминание о Торопце. Торжок и Торопец – это два древнейших города на территории Тверской области, но относительно процессов христианизации Торжок и Торопец можно назвать в некоторой степени диаметрально противоположными (рис. 2). Если по Житию Ефрема Новоторжского этот первый христианский миссионер *приходит в район Торжка* в 1015 гг., то в 1060-х гг. из Торопца купец по имени Чернь *уходит в Киево-Печерский монастырь*, где после пострижения становится иноком Исакием. Эта ситуация предполагает начало христианизации в Торжке, в то время как в Торопце господствовало язычество (Малыгин, 2007, с. 120–122). Предположение это становится фактом при сравнении топографии курганных языческих могильников в районе Торжка и в Торопце (рис. 3). Если в радиусе 12–25 км от Торжка не фиксируется ни одной курганной группы XI–XIII вв.[1], то в непосредственной близости от Малого городища Торопца еще недавно

[1] В пригородном урочище Митино находятся насыпи культуры длинных курганов (не позднее X в.), а курган на ул. Гончарной вызывает большие сомнения как археологический объект. См.: Археологическая карта России. Тверская область. Ч. 1. М., 2003. С. 419–420, 407.

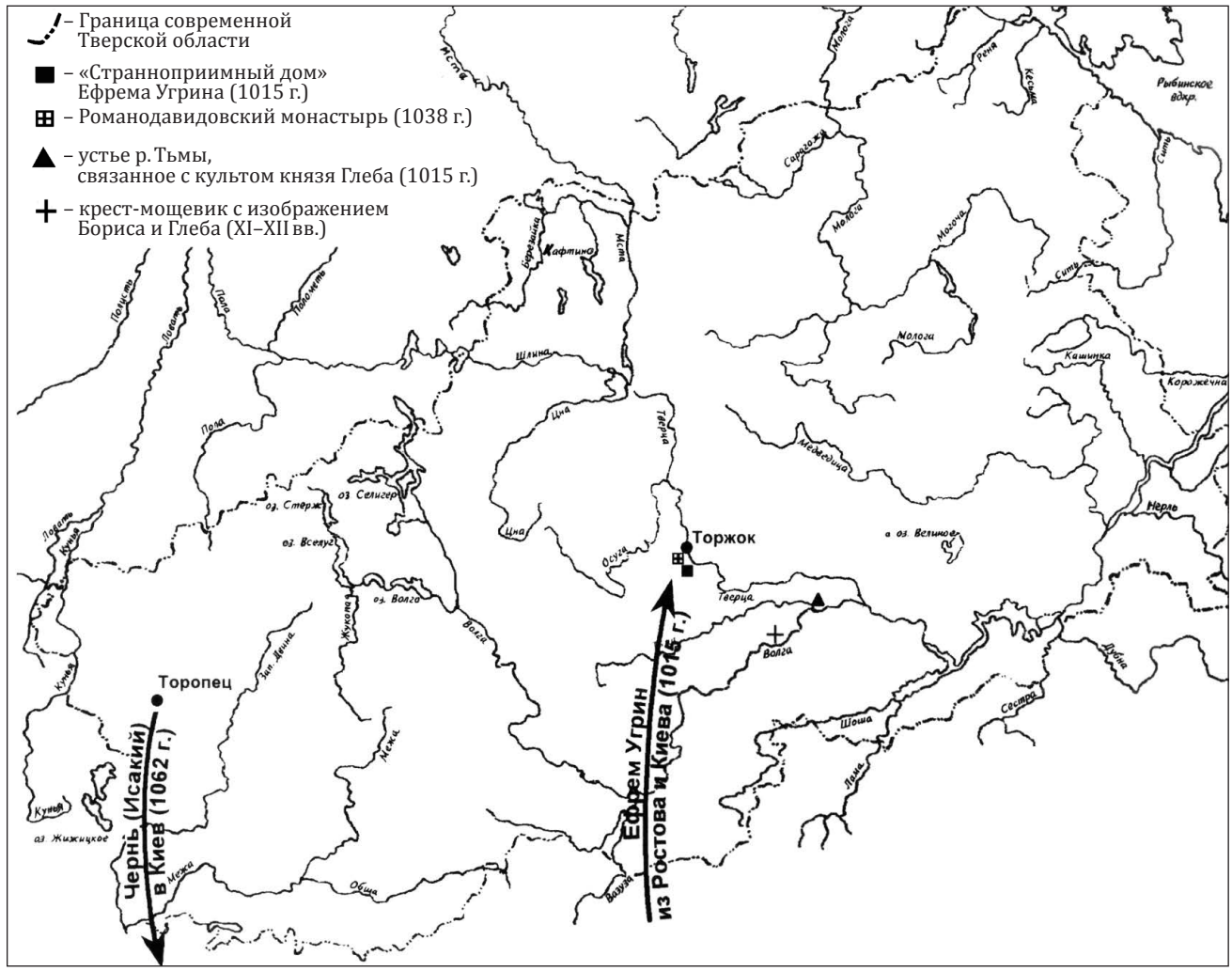


Рис. 2. 1-й этап христианизации (XI в.)

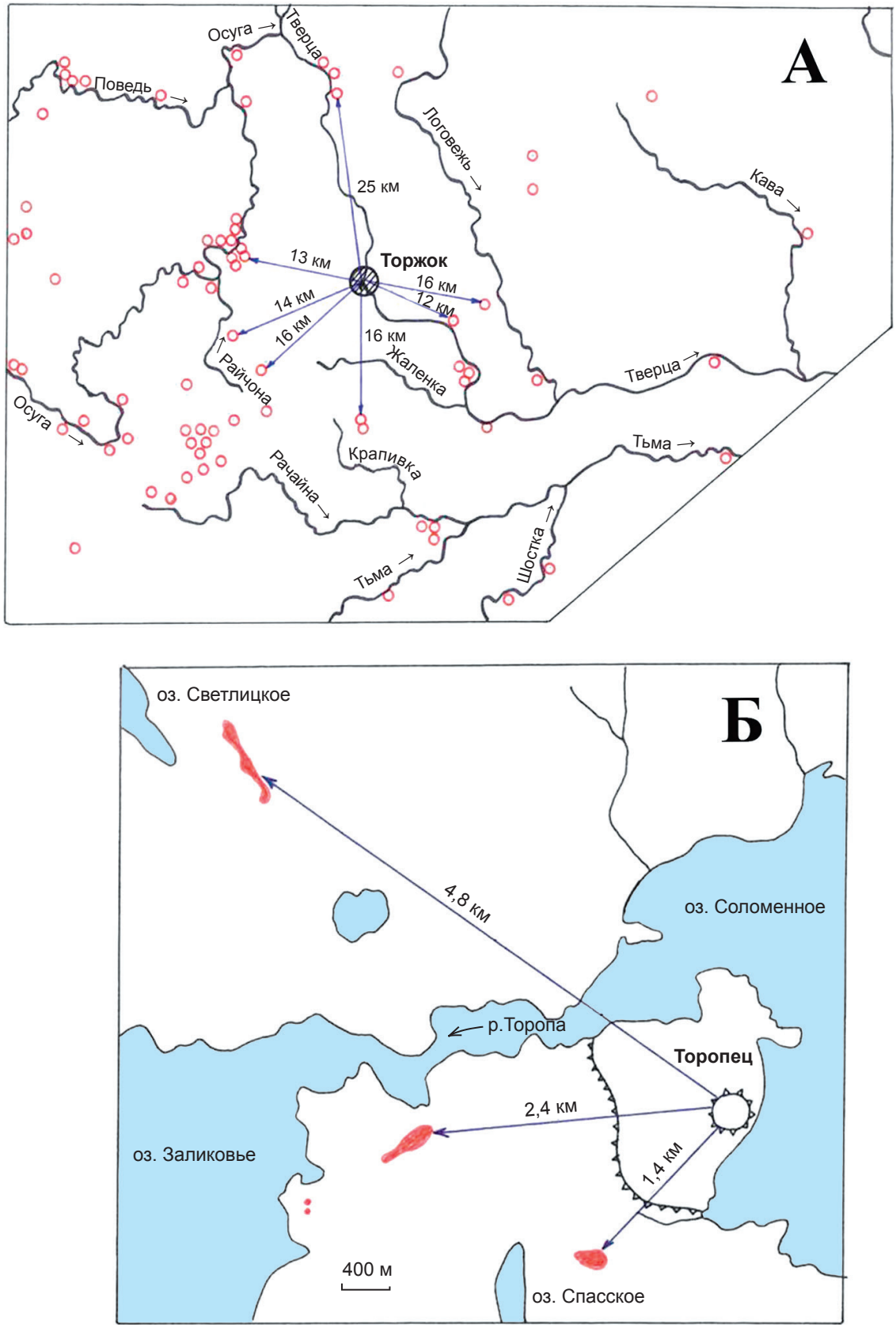


Рис. 3. Топография языческих курганных могильников в районе Торжка (А) и в окрестностях Торопца (Б)

были расположены две группы курганов XI–XIII вв. Они находились в 1,4 и 2,4 км от древнего центра Торопца, а в 5 км отсюда же сохранился как памятник язычеству один из крупнейших могильников культуры длинных курганов VIII–X вв. (Археологическая карта…, с. 300–313). То есть археологическая (курганная, языческая) топография окрестностей Торжка и Торопца косвенно подтверждает свидетельство Жития о приходе в Торжок в первой половине XI в. христианского миссионера Ефрема и объясняет сведения летописи и Киево-Печерского патерика об уходе из Торопца в Киев Черня-Исакия.

В-третьих, в относительной близости от Торжка зафиксированы находки крестов с распятием в курганах и редкие для Верхневолжья находки змеевиков (рис. 4). Всё это говорит о Торжке как древнейшем на Верхней Волге центре распространения христианства (Малыгин, 2007, с. 120, 124).

В заключение остается дать краткий обзор новейшей историографии по вопросу возникновения Борисоглебского монастыря в Торжке. Н. Ф. Дробленкова (1987 г.) не сомневается в древности Борисоглебского монастыря, называя годом его основания 1038-ой (Словарь…, с. 148–150). Я. Н. Щапов относит Торжок к церковным центрам XI–XII вв. и включает город в состав «Переяславской временной митрополичьей епархии второй половины XI в.» (Щапов, 1989, с. 35, карта). Автор комментариев к «Истории Русской Церкви» Макария (Булгакова) А. В. Назаренко включил Новоторжский Борисоглебский монастырь под 1038 г. в список «Монастырей, предположительно основанных в домонгольский период» (Макарий, 1995, с. 673), отметив, что даты 1038 и 1053 (смерть Ефрема), «приводимые в житии XVI в., нельзя считать вполне достоверными» (Макарий, 1995, с. 606). Сомнения А. В. Назаренко связаны с обозначением Ефрема «архимандритом», что для XI в. является анахронизмом. Однако в Житии Авраамия Смоленского (памятник XIII в.) «архимандритом» назван один из основателей Киево-Печерского монастыря Феодосий (Памятники

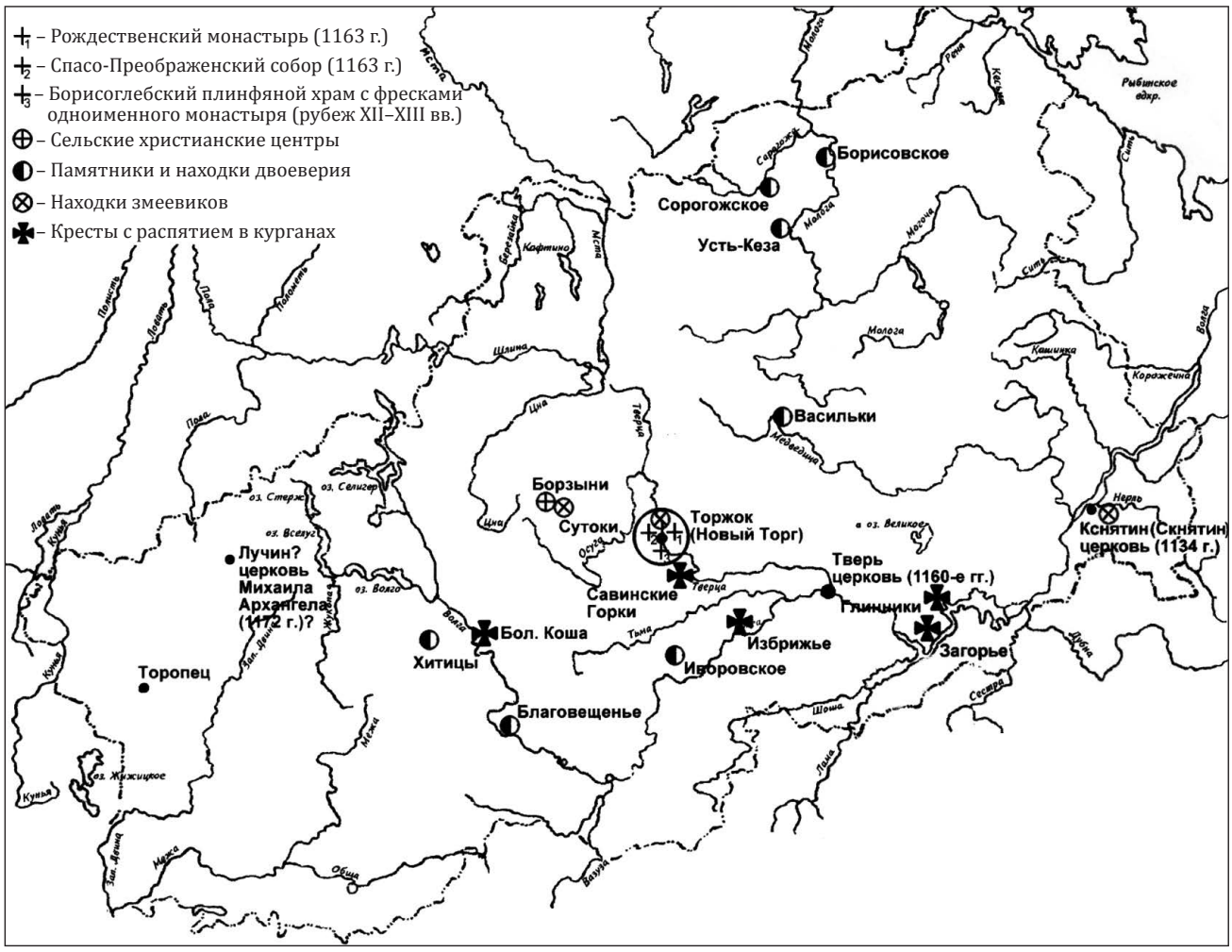


Рис. 4. 2-й этап христианизации (XII в. – 1238 г.)

литературы…, с. 72), который не мог носить этот титул, поскольку в Киеве архимандрития появляется только во второй половине XII в. (Щапов, 1989, с. 159). Очевидно, в житийной традиции «архимандритами» могли обозначаться основатели монастырей.

Продолжая историографический обзор, следует сказать, что Д. С. Лихачев в комментариях ко второму изданию Повести временных лет в серии «Литературные памятники» отмечает основание монастыря Ефремом «Новоторженином», но ошибочно указывает не 1038, а 1030 г. (ПВЛ, с. 471). П. С. Стефанович, уже традиционно считая «сомнительным посвящение монастыря Борису и Глебу до их канонизации», тем не менее допускает его существование в период «ранней истории русской церкви» «вне зависимости от достоверности известий об основании Новоторжского монастыря». При этом основатель обители Ефрем Угрин характеризуется как представитель «знатного рода иностранцев» и «древнерусского боярства» (Стефанович, 2002, с. 52–53). Наконец, справочник, подготовленный в Институте российской истории РАН в 2009 г., для Новоторжского Борисоглебского монастыря в качестве даты основания безоговорочно дает 1038 г. (Водарский, Истомина, 2009, с. 56–57, 474, 519). Для территории нынешней России древнее Новоторжского это издание называет лишь новгородский Юрьев монастырь (1030 г.) (Водарский, Истомина, 2009, с. 56–57), хотя первое летописное упоминание о нем относится к 1119 г. (Великий Новгород, с. 309). Если принять данную корректировку, то Новоторжский Борисоглебский монастырь следует считать древнейшим на территории современной России.

Таким образом, у нас нет серьезных оснований сомневаться, что христианизация Верхневолжья начинается с начала XI в. в районе Торжка (Малыгин, 2007, с. 120–121), а основные события, отмеченные в Житии Ефрема Новоторжского (с уточнениями из Службы), отражают исторические реалии. Бывший конюший боярин ростовского князя Бориса Владимировича Ефрем Угрин († 1053 г.) после трагической гибели в 1015 г. на р. Альте своего князя и брата Георгия ушел из района Киева (где мог принять монашество) и появился близ уже существовавшего Торжка. Сначала в трех верстах от города (в районе теперешнего села Семеновского) он организует «странноприимницу» , а затем в 1038 г. уже на окраине тогдашнего Торжка строит в честь патрональных святых князей Бориса и Глеба Романодавидовский храм и основывает монастырь, который после официальной канонизации 1072 г. сыновей Владимира Святославича становится Борисоглебским.

Источники и литература

Алексеев Л. В., 2006. Западные земли домонгольской Руси : очерки истории, археологии, культуры. Кн. 2. М.

Арсений, 1895. Историческое описание Старицкого Успенского монастыря. Тверь.

Археологическая карта России. Тверская область. Ч. 2. М., 2007.

Барсуков Н. П., 1882. Источники русской агиографии. СПб.

Будовниц И. У., 1960. Повесть о разорении Торжка в 1315 г. // Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом). Т. 16. Л.

Великий Новгород. История и культура IX–XVII веков : энциклопедический словарь. СПб., 2007.

Водарский Я. Е., Истомина Э. Г., 2009. Православные монастыри России и их роль в развитии культуры (XI – начало XX в.). М.

Голубинский Е., 1881. История Русской церкви. Т. 1. М.

Денисов Л. И., 2007. Православные монастыри Российской империи. Полный список всех 1105 ныне существующих в 75 губерниях и областях России (и 2-х иностранных государствах) мужских и женских общин. СПб. [Репринт издания 1908 г.].

Древнерусские княжеские жития / подготовка текстов, пер. и коммент. В. В. Кускова. М., 2011.

Зализняк А. А., 2004. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М.

Зверинский В. В., 2007. Для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской Империи с библиографическим указателем : в 3 т. Т. 2. СПб. (Репринт издания 1892 г.).

Ключевский В. О., 1989. Древнерусские жития святых как исторический источник. М. [Репринт издания 1871 г.].

Кучкин В. В., 2010. Сколько же лет Старицкому монастырю? // Тверские ведомости. № 18 (1802).

Макарий (Булгаков), 1995. История Русской Церкви. Кн. 2. М.

Малыгин П. Д., 1987. К топографии Торжка XII–XIII вв. // История и археология Новгородской земли. Новгород.

Малыгин П. Д., 1990. Древний Торжок (историко-археологические очерки). Калинин.

Малыгин П. Д., 2002. Распространение христианства на Верхневолжье // «И свет во тьме светит…» : сб. науч. тр. ВИЭМ, посв. 2000-летию Рождества Христова. Торжок.

Малыгин П. Д., 2007. Из ранней истории распространения христианства на территории Тверской области // Вестник ТвГУ. Сер. История. Вып. 1.

Малыгин П. Д., 2008. О тверских «юбилеях» (1110, 1135, 1206 гг.) // Михаил Ярославич Тверской – великий князь всея Руси. Тверь.

Малыгин П. Д., 2010. О Михаиле Тверском – политике и святом // Точка зрения. № 7. Тверь.

Малыгин П. Д., Лавренов В. И., 2002. Торжок в символах, эмблемах и гербах. Тверь.

Малыгин П. Д., Салимов А. М., Зайцев А. А., 2003. К изучению плинфы собора Борисоглебского монастыря в Торжке // Архитектурно-археологический семинар: Из истории строительной керамики средневековой Восточной Европы. СПб.

Новгородские летописи. СПб., 1879.

Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981.

Парамонова М. Ю., 2003. Святые правители Латинской Европы и Древней Руси: сравнительно-исторический анализ вацлавского и борисоглебского культов. М.

ПВЛ – Повесть временных лет / подг. текста, перев., статьи и коммент. Д. С. Лихачева; под ред. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. (Литературные памятники).

Поппэ А., 1995. О зарождении культа свв. Бориса и Глеба и о посвященных им произведениях // Russia Medievalis. T. VIII. № 1.

Поппэ А., 1996. Митрополиты и князья Киевской Руси // Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.). 2-е изд. СПб. (Subsidia Byzantinorossica. T. 1).

ПСРЛ 2, 1998 – ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись / под ред. А. А. Шахматова, с предисловием Б. М. Клосса. М., 1998.

ПСРЛ 3 – ПСРЛ. Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 2000.

Ратшин А., 1852. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах в России. М.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1 : XI – первая половина XIV в. / отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., 1987.

Срезневский И. И., 1860. Сказания о святых Борисе и Глебе : Сильвестровский список XIV в. СПб.

Стефанович П. С., 2002. Боярство и церковь в домонгольской Руси // Вопросы истории. № 7.

Строев П., 1877. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. СПб.

Тихомиров М. Н., 1956. Древнерусские города. Изд. 2-е. М.

Щапов Я. Н., 1989. Государство и церковь Древней Руси X – XIII вв. М.

Янин В. Л., 2003. Новгородские посадники. 2-е изд. М.

Summary

P. D. Malygin

On the Date of the Founding of the Monastery of Sts. Boris and Gleb in Novotorzhok

Hagiographic sources link the founding of the Monastery of St. Boris and St. Gleb in Torzhok with the first half of the 11th century and they name asits founder Efremof Novotorzhok (lay name EfremUgrin). Yet V. O. Klyuchevskii, E. E. Golubinskii and M. N. Tikhomirov considered Efrem to be a legendary hero or real person, but one who lived much later than the 11th century. Their main arguments were as follows: the late compilation of the Life of Efrem at the end of the 16th century; the monastery dedicated to «St. Boris and St. Gleb» could not have existed before the official canonization of those saints in 1072. Nevertheless in 1960, I. U. Budovnits, having extracted a special story from the late Life of Efrem which had clearly been written in the 14th century, drew the conclusion that prior to the beginning of the 14th century an ancient Life of Efremhad been held in the Monastery of Sts. Boris and Gleb in Torzhok, which even then had been venerated as holy. Investigations carried out by the Novotorzhok Archaeological Expedition within the territory of the Monastery in 1989 led to the discovery of the remains of a stone church dating from the end of the 12th century. Information contained in liturgical writings (services dedicated to Efremof Novotorzhok) make it possible to state that in Torzhok there had existed a church and monastery prior to 1072 which had been dedicated in the name of its patron saints, Boris and Gleb (to St. Roman and St. David) i. e. the monastery had first been dedicated to Roman and David and after 1072 it had become a monastery of Sts. Boris and Gleb. The main archaeological argument in favour of this date at the beginning of the adoption of Christianity and the missionary activities of Efrem as early as the beginning of the 11th century are the results of research carried out in the territory of the Torzhok District. In the vicinity of Torzhok there is a virtually complete absence of pagan burial-grounds dating from the 11th and 12th centuries.

Е. К. Столярова

Стеклянная гладилка из Гнёздова

К археологическим находкам из стекла, характеризующим материальную культуру эпохи образования Древнерусского государства, относятся так называемые гладильные камни, или гладилки. Это предметы, имеющие полусферическую форму с одной выпуклой и другой вогнутой стороной.

Название этих предметов связано с первоначальным определением их функции по аналогии с гладилками Нового времени, атрибутированными еще в конце XIX в. как инструменты для глажения или прессования влажных льняных тканей, головных уборов, краев и деталей одежды – воротников и манжет. Такой способ использования был установлен по живописным произведениям XVII в. и по каталогам стекольных мануфактур Англии, Германии, Норвегии XVII – начала XVIII в. Известны также голландские гладилки этого времени, часть которых имела рукоятку. Считается, что они были предшественниками горячих железных утюгов. С этой же целью гладилки употребляли и в XIX в., о чем свидетельствуют этнографические данные (Щапова, 1989 а, с. 103; Caune, 1994, lpp. 47, 51; Лесман, 2011, с. 38). По мнению сторонников этой версии, использование стеклянных гладилок для глажения подтверждается тем, что в названия этих предметов в различных европейских языках входило слово «камень» (в немецком – *Glättstein, Gnittelstein*, в норвежском – *Gnie stee*, в голландском – *lekstein*, в английском – *lickstone, knitstone*). Применение же камней для разглаживания исследователями не подвергается сомнению. В частности, А. Цауне приводит сообщение Т. Е. Хэверник о понятии «выглаживатель рубчиков», объясняемом в словаре конца XVI в., изданном в Швеции, как камень или стекло для глажения одежды (Caune, 1994, lpp. 51).

Однако в 80-х гг. прошлого столетия возникли сомнения в истинности применения стеклянных гладилок X–XI вв. для глажения. Например, М. Декувна предполагала их многоцелевое использование: для обработки кож или в качестве грузиков (Dekøwna, 1980, s. 153). Ю. Л. Щапова высказала версию их применения в качестве стекольного сырья для вторичной переработки (Щапова, 1989 а, с. 111). Ю. М. Лесман, изучив находки XI–XIII вв. из Сигтуне (Швеция) и XI в. из Старой Ладоги, пришел к выводу о двойной функции гладилок: для глажения и для выработки изделий, например, бус. О первой, по его мнению, свидетельствуют целые находки или куски с потертой поверхностью – следами использования, о второй – осколки в виде отщепов, отсутствие потертостей и следы сколов на крупных фрагментах (Лесман, 2011, с. 38).

Гладилки, относящиеся к периоду X–XI вв., известны со времени раскопок Х. Арбмана в Бирке (Arbman, 1940). На сегодняшний день есть сведения о сотнях находок с территории Северной и Западной Европы. Например, большое количество найдено во Франции (регионы Иль-де-Франс, Центр, Бургундия, Пуату-Шаранта и др.), есть они в Бельгии, Дании (Рибе), Швеции (Уппланд), Норвегии (Каупанг), Германии (Хайтхабу (дат. Хедебю), Дорстен Хольстерхаузен), Англии (Йорк), Ирландии (Дублин)[1] (Arwidsson, 1984, S. 200; Steppuhn, 1998, Taf. 17, 18). Меньше их в Южной (Испания и Болгария, Стырмен) и Центральной Европе (Чехия, Микульчицы) (Dekøwna, 1980, s. 92–171; Щапова, 1989 а, с. 113). В Восточной Европе гладилки этого времени происходят из Латвии, с городища Даугмале (Caune, 1994, lpp. 48, 50). На территории Руси известна гладилка из Новгорода (Щапова, 1989 а), Суздаля (Седова, 1997, с. 48, рис. 4: 8; Лядова, 2001), находка из Ростова не опубликована[2]. Ю. М. Лесман осколки стекла из Старой Ладоги также полагал частями гладилок (Лесман, 2011, с. 38; Григорьева, Лесман, 2012, с. 61–76). Есть еще гладилка из Москвы, происходящая из мостовой 1804 г. на Красной площади, которую автор публикации относит к X в. на том основании, что все известные гладилки датируются этим временем (Олейников, 1993, с. 32). Однако гладилки из

[1] Благодарю Бернара Гратуза, сообщившего о находках в Северной и Западной Европе.

[2] Благодарю Н. Г. Самойлович за сообщение.

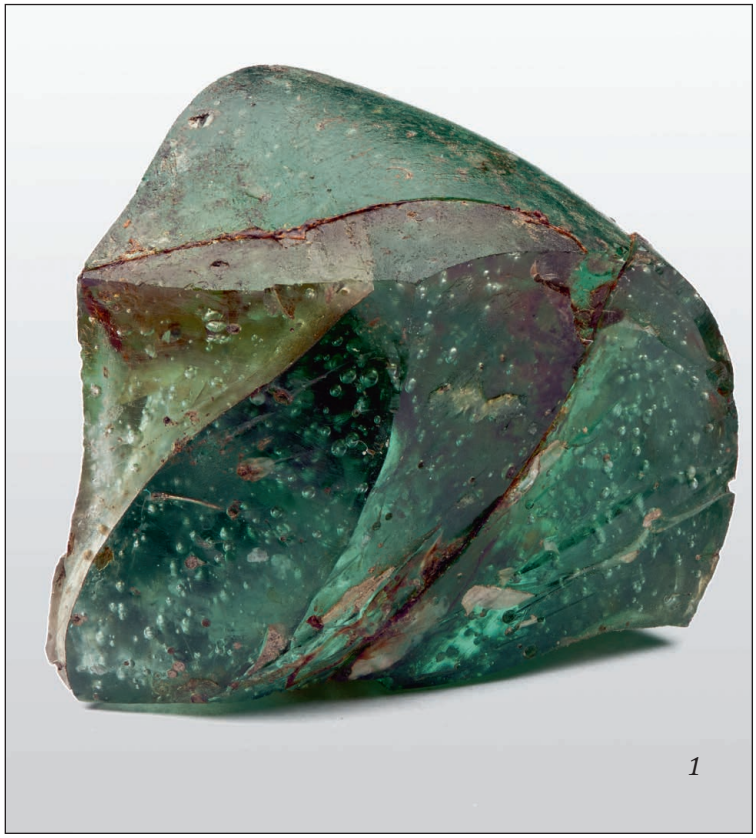




Рис. 1. Гладилка из Гнёздова.
1 – крупный фрагмент, склеенный из трех кусков;
2 – маленький фрагмент с небольшой внешней поверхностью.
(Фото Г.Г.Сапожникова, 2014)

Европы, относящиеся к Новому времени, хорошо известны, так же как и гладилки XII–XVI вв. из Шлезвига (Steppuhn, 2002, S.108), XII–XIII в. из Латвии и XVI в. из Эстонии (Caune, 1994, lpp. 48–49, 51). Также к позднему Средневековью относится находка из Шуи[3].

В 1899 г. в ходе раскопок С.И.Сергеевым Гнёздовских курганов X – начала XI в. в погребении кургана 25 (курган 36, по А.А.Спицыну) Центральной группы, совершённом по обряду сожжения, на огнище были найдены фрагменты гладилки[4]. Описывая в отчете о раскопках эту находку как «5 осколков массивной поделки из стекла зеленоватого цвета в виде шара или лепешки», автор работ не понимал, что представляют собой эти фрагменты стекла (Спицын, 1905, с.38). А.А.Спицын, публикующий результаты работ С.И.Сергеева, включил гладилку в группу посуды, указывая при этом, что не знает, «остатками чего можно признать куски сплющенного стеклянного шара зеленого цвета, толщиною не менее 3 см» (Спицын, 1905, с. 15). Только в 80-х гг. прошлого века Т.А.Пушкина установила принадлежность этих фрагментов стекла к категории гладилок. Впоследствии гладилка из Гнёздова была упомянута в статье Ю.Л.Щаповой, посвященной аналогичной находке из Новгорода (Щапова, 1989а, с. 113).

Сейчас в фонде «Дружинной культуры» Отдела археологических памятников Исторического музея хранятся два фрагмента гладилки, наиболее крупный из которых склеен из трех кусков (рис. 1; 2)[5]. Благодаря ему мы можем представить себе форму гладилки (полусфера с одной выпуклой и другой слегка вогнутой стороной) и установить приблизительные размеры предмета – высота около 4 см, диаметр около 8 см[6]. Второй фрагмент имеет очень небольшую внешнюю поверхность. Изготовлена гладилка из прозрачного стекла желто-зеленого цвета.

[3] Благодарю И.Е.Зайцеву за сообщение.

[4] Благодарю Т.А.Пушкину за помощь при написании статьи и В.В.Мурашеву за возможность исследовать гладилку из фондов ГИМ.

[5] № по книге поступлений 42536, коллекционный список (опись) 1537-В, №№ 223–226.

[6] Несмотря на то, что фрагмент гладилки довольно крупный, он оказался недостаточным для установления точных размеров.

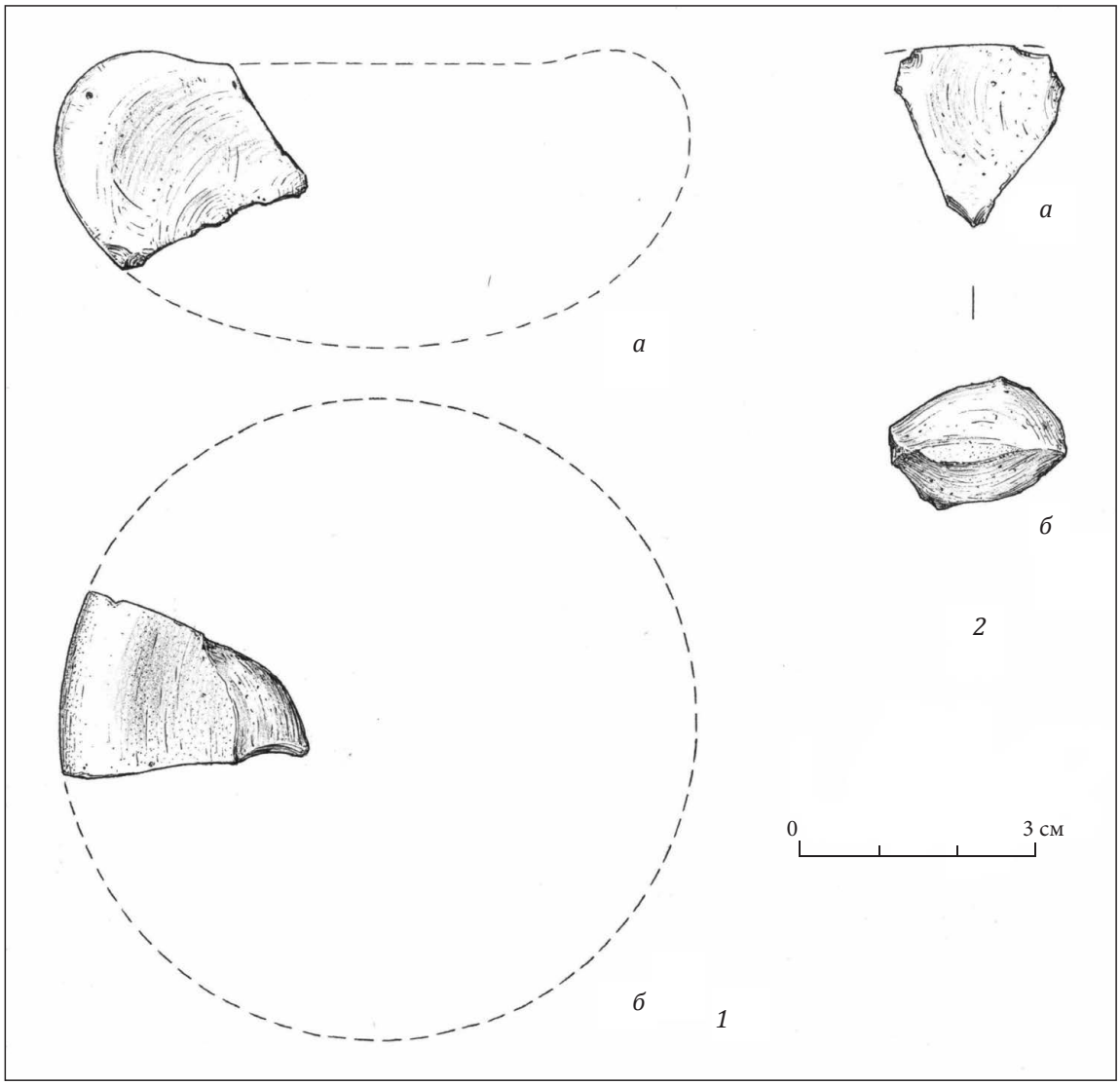
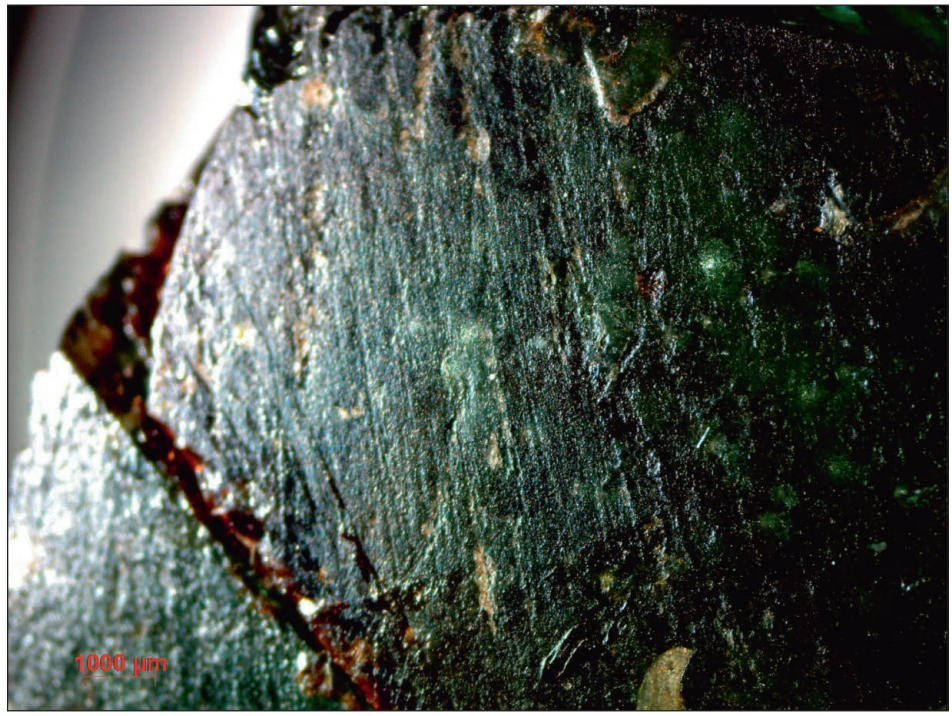


Рис. 2. Гладилка из Гнёздова. Рисунок А. С. Дементьевой:
1 – крупный фрагмент (а – вид сбоку; б – вид сверху);
2 – маленький фрагмент (а – вид сбоку; б – вид сверху)

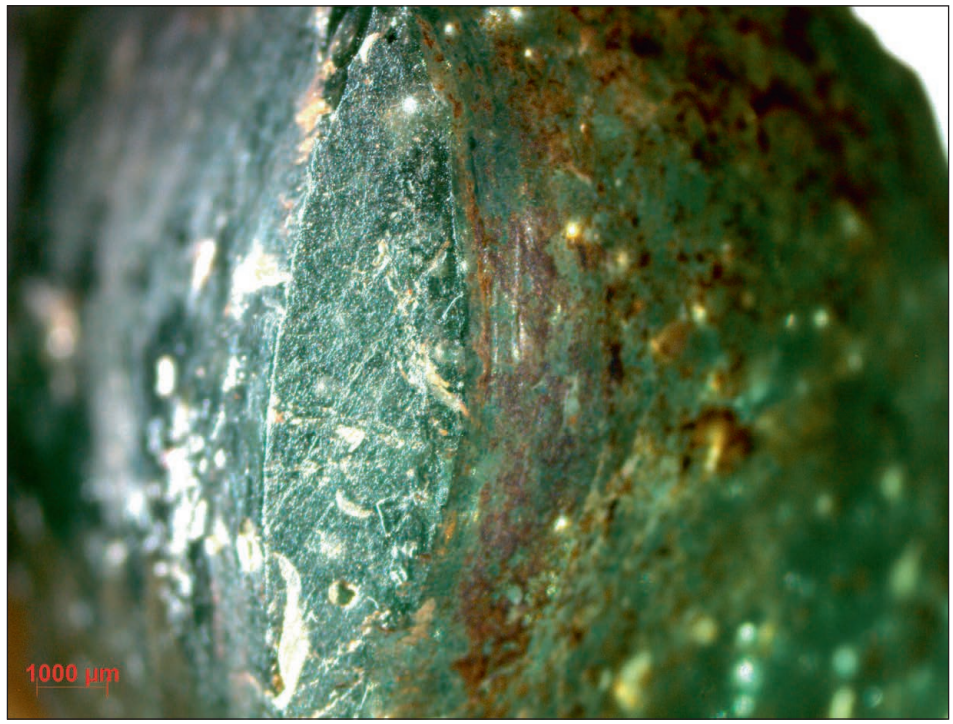
Как следует из литературы вопроса, гладилки были двух видов: цельные и полые (Arwidsson, 1984, S. 199; Steppuhn, 1998, Taf. 17, 18). Гнёздовская находка относится к первому. Технологию изготовления подобных гладилок описала Ю. Л. Щапова: путем литья в каменную форму, из которой гладилка извлекалась с помощью понтии (Щапова, 1989 а, с. 103). Остатки гнёздовской гладилки не имеют следов понтии. Но наличие сферических пузырей, которых очень много, и матовая внешняя поверхность подтверждают использование литья в каменную форму.

На внешней поверхности обоих фрагментов, у крупного ближе к выпуклой стороне гладилки, при увеличении видны неглубокие параллельные царапины (рис. 3). Возможно, это следы использования гладилки, которые, вероятно, могут свидетельствовать в пользу ее применения не только в качестве стекольного полуфабриката. Это, в свою очередь, позволяет согласиться с версией Ю. М. Лесмана о двойной функции этих предметов.

Изучение химического состава гладилок из Западной и Восточной Европы показало, что для их получения использовали два основных класса стекла: K_2O-CaO-SiO_2 и K_2O-CaO-PbO-SiO_2. Химический состав гладилки из Гнёздова изучен с помощью оптико-эмиссионного спектрографического анализа, проведенного А. Н. Егорьковым в Лаборатории археологи-



1



2

Рис. 3. Макрофотография внешней поверхности гладилки из Гнёздова:
1 – поверхность крупного фрагмента;
2 – поверхность маленького фрагмента.
(Пользуюсь случаем принести благодарность С. А. Стефутину, выполнившему макрофотосъемку гладилки из Гнёздова.)

Таблица 1

Результаты анализа химического состава стеклянных гладилок из Гнёздова, Новгорода, Суздаля и Москвы

Шифр лаборат.	748-44	По: Лядова, 2001. Табл. 3 (ан. 608-34)	По: Щапова, 1989, с. 104.	По: Олейников, 1993, с. 32
Предмет	**Гладилка из Гнёздова**	**Гладилка из Суздаля**	**Гладилка из Новгорода**	**Гладилка из Москвы**
Цвет	желто-зеленый	светло-коричневый		желтовато-зеленоватый
SiO_2	осн.	осн.	осн.	57,7
Na_2O	0,3	0,29	1,0	0,6
K_2O	4,5	7,5	4,0	7,4
CaO	14	19	14	22,9
MgO	1,9	2,2	1,6	2,9
Al_2O_3	2,5	3	6,0	2,8
Fe_2O_3	0,3	0,95	4,0	0,9
MnO	0,4	1,4	0,34	0,3
TiO_2	0,4	–	–	–
PbO	–	0,0094	24,0	0,1
CuO	–	0,012	1,0	–
Sb_2O_5	–	–	0,8	–
BaO	–	–	1,8	–
P_2O_5	–	–	3,0	–
SnO_2	–	–	–	–
CoO	–	–	–	–
Ag_2O	–	–	–	–
NiO	–	–	–	–

ческой технологии ИИМК РАН (г. Санкт-Петербург) (табл. 1). По результатам анализа стекло отнесено к химическому классу K_2O-CaO-SiO_2 (тип K_2O-CaO-SiO_2-Al_2O_3). В качестве источника щелочей использована зола растений умеренной зоны (С=93,75), которую по соотношению калия к натрию (K/Na=15>10) можно отнести к чистому калиевому сырью (Щапова, 1983, с. 30; Столярова, 2008, с. 407). Источником щелочных земель были, по-видимому, доломитовые известняки (а=11,95) (Щапова, 1989б, с. 97, табл. 3). В качестве обесцвечивателя применена окись марганца. Красителем, вероятно, следует признать окись железа в трехвалентной форме (Fe_2O_3), хотя его концентрация и недостаточна для окрашивания стекла (0,3 %) (Ланцетти, Нестеренко, 1987, с. 37; Щапова, 1989 б, с. 107, табл. 5). Таким образом, проведенный анализ показал низкое содержание щелочей (4,8 %) и в 3,3 раза превышающее их содержание щелочных земель (15,9 %). Легкоплавкие фракции соединены по норме 0,33. Химический класс и тип стекла, а также использованное щелочное сырье, традиционно применяемое в западноевропейском стеклоделии начиная с конца I тыс. н. э., указывают на Западную Европу как место производства данного изделия.

На корреляционном поле результат анализа гладилки расположился на продолжении гиперболы с b=4 и вблизи продолжения гиперболы, где b=6 (рис. 4). На продолжениях этих же гипербол, но ниже, с содержанием щелочных земель не выше 14 % лежат средневековые стекла, сваренные по римско-византийским правилам (Щапова, 1998, с. 97–98, рис. 13–15). В то же время место расположения гнёздовской гладилки значительно удалено от гиперболы с b=16, описывающей традиционные западноевропейские стекла, вблизи которой расположилась, например, московская гладилка. Вероятно, можно говорить о том, что стекло гладилки из Гнёздова изготовлено в традиции, отличной от тех европейских правил, согласно которым в состав стекла вводили более высокую концентрацию щелочных земель, и о ее генетическом родстве римско-византийским рецептам.

Химический состав находки из Гнёздова не уникален. Сходные характеристики имеют стёкла (правда, их немного) западноевропейского производства, но относящиеся к более позднему времени (рис. 4). Это, например, сосуд с оптическим декором из зеленого стекла, найденный в слоях золотоордынского времени при проведении археологических исследований около здания Сената в Московском Кремле (Панова, 1996, с. 36–37), бусина из серо-голубого стекла, найденная при раскопках слоев XV–XVI вв. в кремле г. Дмитрова (Энговатова, 2003, с. 7, рис. 11, 24), два сосуда из некрополя Вознесенского монастыря в Московском Кремле, один из которых находился в саркофаге Ирины Годуновой (1603 г.), другой – в захоронении ее дочери Феодосии (1594 г.) (Столярова, 2014).

Известен химический состав новгородской и суздальской гладилок: новгородская изготовлена из стекла класса K_2O-CaO-PbO-SiO_2, а суздальская – из стекла K_2O-CaO-SiO_2. На корреляционном поле и та, и другая лежат значительно выше гнёздовской (рис. 4).

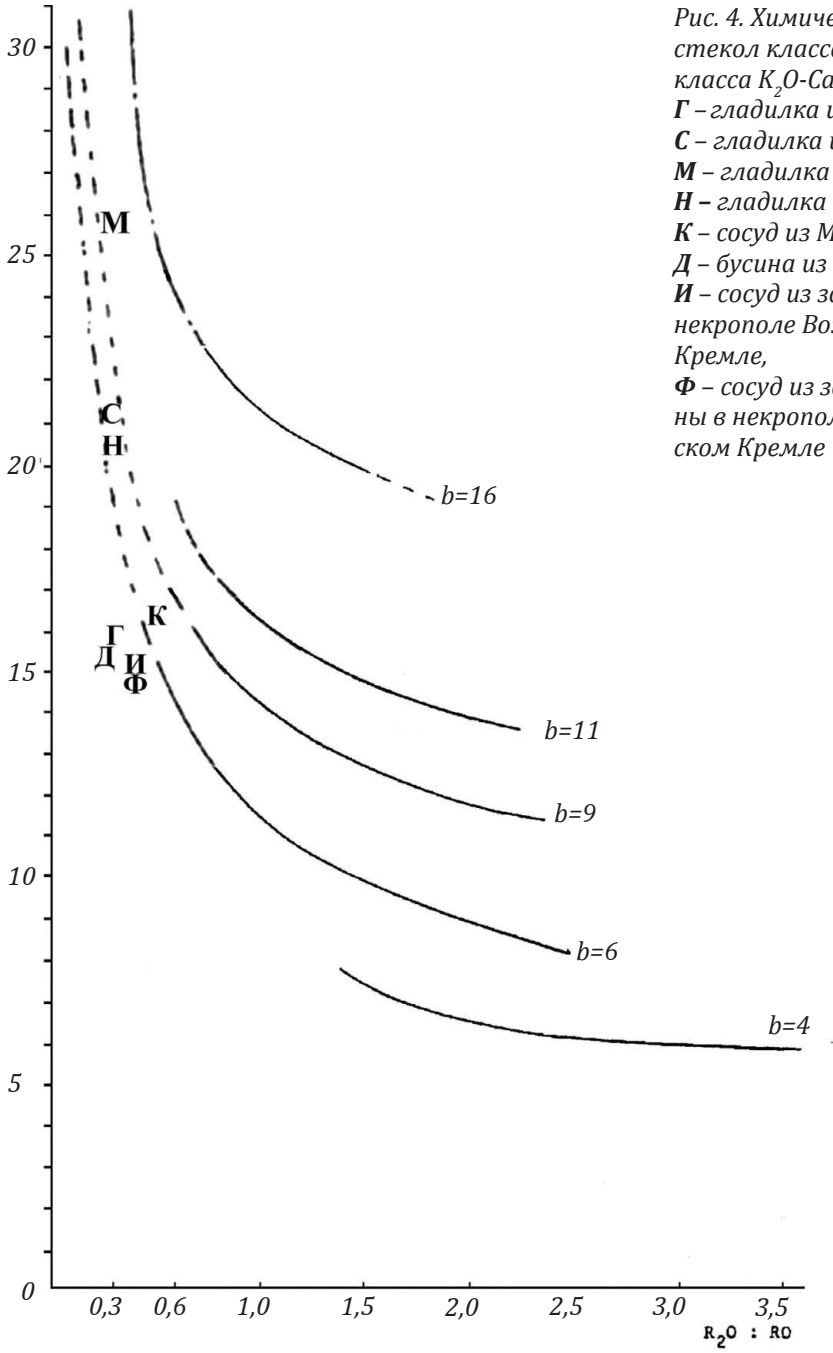


Рис. 4. Химический состав гладилок и некоторых стекол класса K_2O-CaO-SiO_2 и гладилки из Новгорода класса K_2O-CaO-PbO-SiO_2:
***Г** – гладилка из Гнёздова,*
***С** – гладилка из Суздаля,*
***М** – гладилка из Москвы,*
***Н** – гладилка из Новгорода,*
***К** – сосуд из Московского Кремля,*
***Д** – бусина из кремля г. Дмитрова,*
***И** – сосуд из захоронения царицы Ирины Годуновой в некрополе Вознесенского монастыря в Московском Кремле,*
***Ф** – сосуд из захоронения царевны Феодосии Фёдоровны в некрополе Вознесенского монастыря в Московском Кремле*

Большая часть гладилок Бирки была найдена в женских погребениях (Arwidsson, 1984, S. 199). В связи с этим интересно, из какого захоронения происходит гнёздовская находка. Однако инвентарь, обнаруженный в кургане вместе с гладилкой, крайне невыразителен: там были найдены два горшка, один из которых разбитый, два зуба какого-то животного, железная пластина и три железных гвоздика (Спицын, 1905, с. 38). Определить по этому набору, в женском или мужском погребении находилась гладилка, невозможно. Вероятно, поэтому при описании предметов, найденных в ходе раскопок С. И. Сергеева, А. А. Спицын помещает гладилку в группу вещей из мужских, общих и неопределенных захоронений (Спицын, 1905, с. 14, 15).

Находка гладилки в Гнёздове вполне закономерна, если учитывать, что большинство аналогий происходит из торгово-ремесленных протогородских поселений Северной Европы и связанных с ними могильников IX–X вв. (Бирка, Каупанг, Хедебю, Рибе), а Гнёздово – один из крупнейших раннегородских центров Руси, в материалах которого наиболее ярко представлены компоненты скандинавской культуры этого времени (Pushkina, 1997, p. 90; Пушкина, Мурашёва, Ениосова, 2012, с. 272).

Источники и литература

Григорьева Н. В., Лесман Ю. М., 2012. Новые данные о стеклоделии в средневековой Ладоге // Ладога и Ладожская земля. Вып. 3. СПб. С. 61–76.

Ланцетти А. Г., Нестеренко М. Л., 1987. Изготовление художественного стекла. М. 304 с.

Лесман Ю. М., 2011. Стеклянные гладилки: сырье в стеклоделии и инструменты для обработки тканей // Стекло Восточной Европы в древности, Средневековье и Новое время: изучение и реставрация : тезисы докладов Международной научной конференции 23–25 марта 2011 г. М. С. 37–38.

Лядова А. В., 2001. Стекло Владимиро-Суздальской Руси : дис. ... канд. ист. наук. М.

Олейников О. М., 1993. К проблеме возникновения древнерусского стеклоделия // КСИА. Вып. 208. С. 32–39.

Панова Т. Д., 1996. Отчет об археологических исследованиях на территории Московского Кремля в 1995 году // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 19654, 19655.

Пушкина Т. А., Мурашёва В. В., Ениосова Н. В., 2012. Гнёздовский археологический комплекс // Русь в IX–X веках : археологическая панорама / отв. ред. Н. А. Макаров. М. ; Вологда. С. 242–273.

Седова М. В., 1997. Суздаль в X–XV вв. М.

Спицын А. А., 1905. Гнёздовские курганы в раскопках С. И. Сергеева // ИИАК. Вып. 15. СПб.

Столярова Е. К., 2008. Источники щелочного сырья древних и средневековых стекол // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. III. М. С. 405–408.

Столярова Е. К., 2014. Стекло средневековой Москвы (XII–XIV вв.). М. [В печати].

Щапова Ю. Л., 1983. Очерки истории древнего стеклоделия. М. 200 с.

Щапова Ю. Л., 1989 а. Некоторые проблемы средневекового стеклоделия в свете новых данных («гладилка» из Новгорода) // СА. № 4. С. 103–114.

Щапова Ю. Л., 1989б. Древнее стекло: морфология, технология, химический состав. М. 120 с.

Щапова Ю. Л., 1998. Византийское стекло. Очерки истории. М. 288 с.

Энговатова А. В., 2003. Отчет об охранных раскопках в г. Дмитрове Московской области в 2002 г. Т. 11 // Архив ИА РАН. Ф – 1, р – 1, № 23337.

Arbman H., 1940. Birka. I. Die Gräber. Tafeln. Uppsala.

Arwidsson G., 1984. Glättsteine und Glättbretter // Birka. II: 1. Systematische Analysen der Gräberfunde / Ed. Greta Arwidsson. Stockholm. S. 199–202.

Caune A., 1994. 10.–17. gs. Gludināmstiklu Atradumi Latvijā // Arheoloģija un Etnogrāfija. XVII. Apcerējumi par Latvijas arheoloģisko senlietu tipoloģiju un numismātiskajiem atradumiem / Atb. red. Ē. Mugurēvičs. Riga. Lpp. 47–52.

Dekǿwna M., 1980. Szkło w Europie wczesnosredniowiecznej. Wrocław; Warszawa; Krakow; Gdansk.

Pushkina T. A., 1997. Scandinavian finds from Old Russia. A survey of their topography and chronology // The Rural Viking in Russia and Sweden : Conference 19–20 October 1996 in the manor of Karlslund, Őrebro. Lectures / Ed. by Pär Hansson. Őrebro. P. 82–91.

Steppuhn P., 1998. Die Glasfunde von Haithabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu. 32. Neumünster.

Steppuhn P., 2002. Glasfunde des 11. bis 17. Jahrhunderts aus Schleswig. Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und Studien. 16. Neumünster.

Summary

E. K. Stolyarova

A Glass Smoother from Gnezdovo

This article is devoted to one of the objects shedding light on the material culture of the period in which the medieval state of Rus' emerged: a glass smoother found in 1899 during excavations of Gnezdovo burial-mounds of the 10th and early-11th centuries in a burial discovered in Burial-mound 25 (Burial-mound 36 according to A. A. Spitsyn's numbering system) in which the deceased had been cremated. According to the results obtained with the help of optical-emission spectrographic analysis (conducted by A. N. Egorkov) the smoother had been made of glass of the chemical class K_2O-CaO-SiO_2. The interpretation of the features of the chemical composition of the glass (R_2O=4.8%; RO=15.9%) led specialists to conclude that the object had been made following a tradition different from those European rules, according to which the composition of glass contained a higher concentration of alkaline earth elements, and about its genetic similarity to Roman-Byzantine recipes. The find of the smoother in Gnezdovo was perfectly logical, if we take into account that most parallels come from the trading-and-craft proto-urban settlements of Northern Europe and burial-mounds of the 9th and 10th centuries associated with them (Birka, Kaupang, Hedeby, Ribe) and that Gnezdovo was one of the largest early urban centres of Rus', which yielded up materials in which components of the Scandinavian culture of that period were most vividly represented.

Список сокращений

АИКМП – Археологические инвентарные книги бывшего музея «Пруссия» (Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum). Red. Anna Bitner-Wróblewska, Aestiorum Hereditas. Vol. I. Olsztyn, 2008. В настоящее время на хранении в КОИХМ, в т. ч. неопубликованная часть.

АКР – Археологическая карта России.

АСВР – Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. М.

АСЗ – Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века. М.

АО – Археологические открытия. М.

АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.

ВВ – Византийский временник. М.

ВГУ – Воронежский государственный университет.

ВДИ – Вестник древней истории.

ВИЭМ – Всероссийский историко-этнографический музей, г. Торжок.

ГАИМК – Государственная академия истории материальной культуры.

ГАТО – Государственный архив Тверской области.

ГИАМР – Городской музей истории и археологии «Рантава», г. Пионерский, Калининградская обл.

ГИБИ – Гръцки извори за българската история.

ГИМ – Государственный исторический музей.

ГМЗ – Государственный музей-заповедник.

ГЭ – Государственный Эрмитаж.

ДГ – Древнейшие государства Восточной Европы (до 1991 г.: Древнейшие государства на территории СССР: материалы и исследования). М.

ДИ – Древнейшие источники по истории СССР (с 1992 г. – Древнейшие источники по истории Восточной Европы). М.

ДРСЗИ – Древняя Русь в свете зарубежных источников / под ред. Е. А. Мельниковой. М., 2013.

ДРСЗИ. Хрестоматия 3 – Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия. Т. III: Восточные источники. М., 2009.

ДРСЗИ. Хрестоматия 4 – Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия. Т. 4: Западноевропейские источники / сост., перев. и комм. А. В. Назаренко. М., 2010.

ИА РАН – Институт археологии РАН.

ИИАК – Известия императорской археологической комиссии. СПб., Петроград.

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры РАН.

ИЛ – Ипатьевская летопись. М., 1998. (ПСРЛ. Т. 2).

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України.

Каз. – Казанская история. М.; Л., 1954.

КОИХМ (КГОМ) – Калининградский областной историко-художественный музей, Калининград.

КП – книга поступлений.

КПДК – культура псковских длинных курганов.

КСДК – культура смоленских длинных курганов.

КСИА – Краткие сообщения [о докладах и полевых исследованиях] Института археологии АН СССР (с 1960 г.; с 1991 г. ИА РАН). М.

КСИИМК – Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры АН СССР (до 1960 г.).

ЛГУ – Ленинградский государственный университет.

ЛИБИ – Латински извори за българската история.

ЛОИА АН СССР – Ленинградское отделение Института археологии АН СССР.

МАЙЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии.

МАО – Московское археологическое общество.

МАР – Материалы по археологии России.

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР. М., Л.

ММВЗ – Муниципальный музей «Вальдавский замок», Низовье, Калининградская обл.

НА ИА НАНУ – научный архив Института археологии Национальной академии наук Украины.

НАНУ – Національна академія наук України.

НГОМЗ – Новгородский государственный объединенный музей-заповедник.

Ник. – Летописный сборник, именуемый Патриаршею, или Никоновской летописью (ПСРЛ. Т. 11. СПб., 1897 ; ПСРЛ. Т. 9. СПб., 1862).

ННЗ – Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород (с 2000 г. – Великий Новгород).

НПЛ – Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / под ред. М. Д. Приселкова. М.; Л., 1950.

ПАН – Польская академия наук.

ПВЛ – Повесть временных лет / подг. текста, перев., статьи и коммент. Д. С. Лихачёва; под ред. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. (Литературные памятники).

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей.

ПСРЛ 1 – ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. 2-е изд. / изд. Е. Ф. Карский. Л., 1928.

ПСРЛ 2 – ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись. 2-е изд. / изд. А. А. Шахматов. СПб., 1908.

ПСРЛ 2, 1998 – ПСРЛ. Т. 2: Ипатьевская летопись / под ред. А. А. Шахматова, с предисловием Б. М. Клосса. М., 1998.

ПСРЛ 3 – ПСРЛ. Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 2000.

ПСРЛ 38 – ПСРЛ. Т. 38: Радзивиловская летопись / изд. подг. М. Д. Приселков и др. Л., 1989.

ПСРЛ 9 –ПСРЛ. Т. 9: Летописный сборник, именуемый Патриаршей, или Никоновской летописью. [Репринтное воспроизведение издания 1862 г.] М., 2000.

РА – Российская археология. М.

РАН – Российская академия наук.

РГАДА – Российский государственный архив древних актов.

РД – Русский дипломатарий. М.

СА – Советская археология. М.

САИ – Свод археологических источников.

САН – Словацкая академия наук.

СГГД – Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии

иностранных дел: в 5 ч. Ч. 1–4. М., 1813–1828; Ч. 5. М., 1894.

СДРЯ 1–9 – Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. Т. 1–9. М., 1988–2012. [Издание продолжается.]

СНМ – Списки населенных мест Российской империи.

ТвГУ – Тверской государственный университет.

ТВУАК – Труды Владимирской ученой архивной комиссии.

ТГОМ – Тверской государственный объединенный музей.

ТОДРЛ – Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы РАН.

ЯП (Ян Петерсен) – Petersen J. Vikingetidens smykker. Stavanger, 1928.

AB – Archaeologia Baltica, Klaipėda (до т. 6, 2006 – Vilnius).

AE – Arheoloģija un Etnogrāfija, Rīga.

AHUK – Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Klaipėda.

AL – Archaeologia Lituana, Vilnius.

AMM – Acta Militaria Mediaevalia, Kraków-Sanok.

AP – Alt-Preussen, Vierteljahresschrift für Vorgeschichte und Volkskunde, Königsberg.

APA – Acta Praehistorica et Archaeologica, Berlin.

APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

CEN (in: RGA) – C. Engel Nachlass.

Const. de adm. – Константин Багрянородный. Об управлении империей : текст, перевод, комментарий / [пер. с греч. Г. Г. Литаврина]; под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева. М., 1989. (ДИ).

Const. de cerim. – Constantini Porphyrogenneti De cerimoniis aulae byzantinae libri duo / rec. I. I. Reiske. T. 1. Bonnae, 1829. (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae).

Cont. Reg. – Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum continuatione Treverensi / ed. F. Kurze. Hannover, 1890. (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi. [T. 50]).

DSHI 100 Engel – C. Engel Archiv, Herder Institut, Marburg.

HJA – Herbert Jankuhn Archiv, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Schleswig.

IA WU – Institut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

LA – Lietuvos archeologija, Vilnius.

LNMAR– Lietuvos Nacionalinis Muziejus, Archeologijos skyrio kartoteka, Vilnius.

LPSRA – Latvijas PSR arheoloģija. Rīga, 1974.

MVF/MVF PM A – Prussia-Sammlung, Museum für Vor- und Frühgeschichte, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz.

MWM – Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn.

PM – «Prussia» Museum, Königsberg.

PMA – Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa.

Pr. – Sitzungberichte Altertumsgesellschaft «Prussia»/«Prussia»: Zeitschrift für Heimatkunde, Königsberg.

RGA – Rudolf Grenz Archiv, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Schleswig.

RO – Rocznik Olsztyński, Olsztyn.

SPÖG – Schriften der königlichen physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg.

SMYA – Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakausikirja (Helsinki).

Сведения об авторах

Александровский Александр Леонтьевич. Институт географии РАН, г. Москва, Россия.

Асташова Наталья Ивановна. Государственный исторический музей, г. Москва, Россия.

Бужилова Александра Петровна. Институт археологии РАН, г. Москва, Россия.

Винников Анатолий Захарович. Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия.

Волошин Марцин (Wołoszyn, Marcin). Институт археологии и этнологии ПАН, г. Краков, Польша.

Гайдуков Петр Григорьевич. Институт археологии РАН, г. Москва, Россия.

Городилин Сергей Владимирович. Институт российской истории РАН, г. Москва, Россия.

Горский Антон Анатольевич. Институт российской истории РАН, г. Москва, Россия.

Долгих Андрей Владимирович. Институт географии РАН, г. Москва, Россия.

Жилина Наталья Викторовна. Институт археологии РАН, г. Москва, Россия.

Завьялов Владимир Игоревич. Институт археологии РАН, г. Москва, Россия.

Зайцева Ирина Евгеньевна. Институт археологии РАН, г. Москва, Россия.

Каинов Сергей Юрьевич. Государственный исторический музей, г. Москва, Россия.

Кирпичников Анатолий Николаевич. Институт истории материальной культуры РАН, г. Санкт-Петербург, Россия.

Коваль Владимир Юрьевич. Институт археологии РАН, г. Москва, Россия.

Комар Алексей Викторович (Комар Олексій Вікторович). Институт археологии НАНУ, г. Киев, Украина.

Кренке Николай Александрович. Институт археологии РАН, г. Москва, Россия.

Кудряшов Александр Валентинович. Музей археологии Череповецкого музейного объединения, г. Череповец, Россия.

Леонтьев Андрей Евгеньевич. Институт археологии РАН, г. Москва, Россия.

Майоров Александр Вячеславович. Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия.

Макаров Николай Андреевич. Институт археологии РАН, г. Москва, Россия.

Малыгин Петр Дмитриевич. Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия.

Медынцева Альбина Александровна. Институт археологии РАН, г. Москва, Россия.

Меламед Катя. Национальный археологический институт с музеем БАН, г. София, Болгария.

Милованов Сергей Иванович. Институт археологии РАН, г. Москва, Россия.

Михайлова Елена Робертовна. Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия.

Назаренко Александр Васильевич. Институт всеобщей истории РАН, г. Москва, Россия.

Пиотровский Марцин (Piotrowski, Marcin). Институт археологии и этнологии ПАН, г. Краков, Польша.

Плавинский Николай Александрович (Плавінскі Мікалай Аляксандравіч). Национальный исторический музей Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь.

Рабинович Роман Аронович. Университет Высшая антропологическая школа, г. Кишинёв, Молдова.

Рябцева Светлана Станиславовна. Институт культурного наследия АН Молдовы, г. Кишинёв, Молдова.

Сарачева Татьяна Григорьевна. Государственный исторический музей, г. Москва, Россия.

Сениченкова Татьяна Борисовна. Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург, Россия.

Столярова Екатерина Карленовна. Институт археологии РАН, г. Москва, Россия.

Сытый Юрий Николаевич (Ситий Юрій Миколайович). Черниговский педагогический университет, г. Чернигов, Украина.

Тарабардина Ольга Альбертовна. Новгородский государственный объединённый музей-заповедник, г. Великий Новгород, Россия.

Терехова Наталия Николаевна. Институт археологии РАН, г. Москва, Россия.

Урбанчик Пшемыслав (Urbańczyk, Przemysław). Институт археологии и этнологии ПАН, г. Варшава, Польша.

Фараджева Наталия Николаевна. Институт археологии РАН, г. Москва, Россия.

Федорина Анастасия Николаевна. Институт археологии РАН, г. Москва, Россия.

Цыбин Михаил Владимирович. Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия.

Шепард Джонатан (Shepard, Jonathan). Университет Кембриджа, Великобритания.

Широухов Роман Александрович. Вильнюсский университет, Литва.

Шполянский Сергей Владимирович. Государственный исторический музей, г. Москва, Россия.

Юрасов Михаил Константинович. Институт российской истории РАН, г. Москва, Россия.

Якубчинова Мириам (Jakubčinova, Miriam). Археологический институт Словацкой академии наук, г. Нитра, Словакия.

Научное издание

РУСЬ В IX–XII ВЕКАХ: ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, КУЛЬТУРА

Утверждено к печати
Ученым советом Института археологии РАН

Подписано в печать 26.09.2014. Формат 60x90/8.
Усл. печ. л. 54,0. Тираж 350 экз. Заказ № 4130

Институт археологии РАН
117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, 19

ООО НИЦ «Древности Севера»
160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, 58, оф. 48
Тел. / факс (8172) 72-79-60. E-mail: drevnostisevera@mail.ru URL: http://drevnostisevera.ru

Вёрстка: А. А. Бобкова, М. В. Васильева, Н. Н. Падалкина
Дизайн: Н. Н. Падалкина
Технический редактор: М. В. Васильева
Корректоры: Е. В. Дуганова, Т. В. Парменова

Отпечатано в ООО «Первый издательско-полиграфический холдинг»
г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 60, лит. У